



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

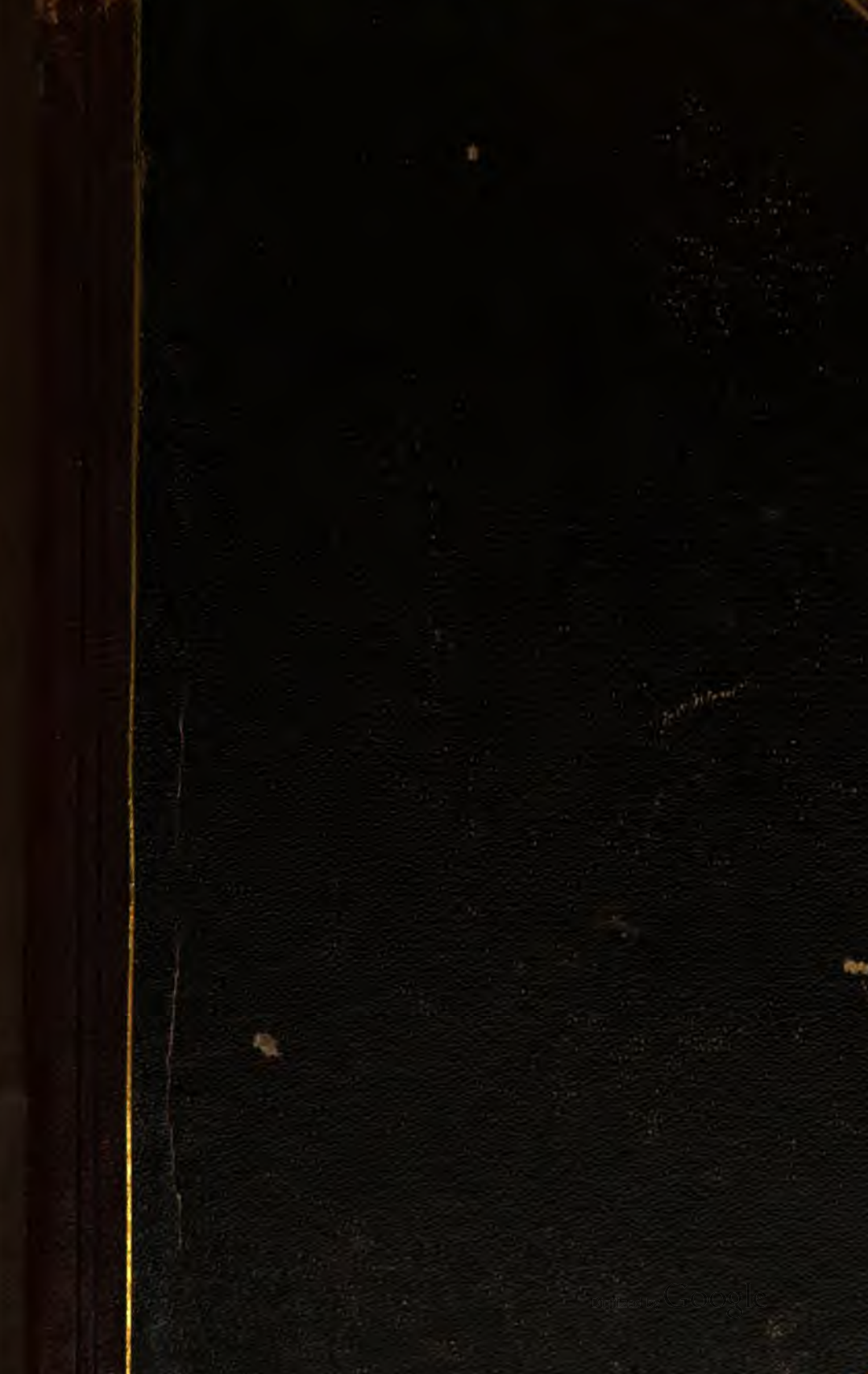
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Confined to Library ~~30262~~

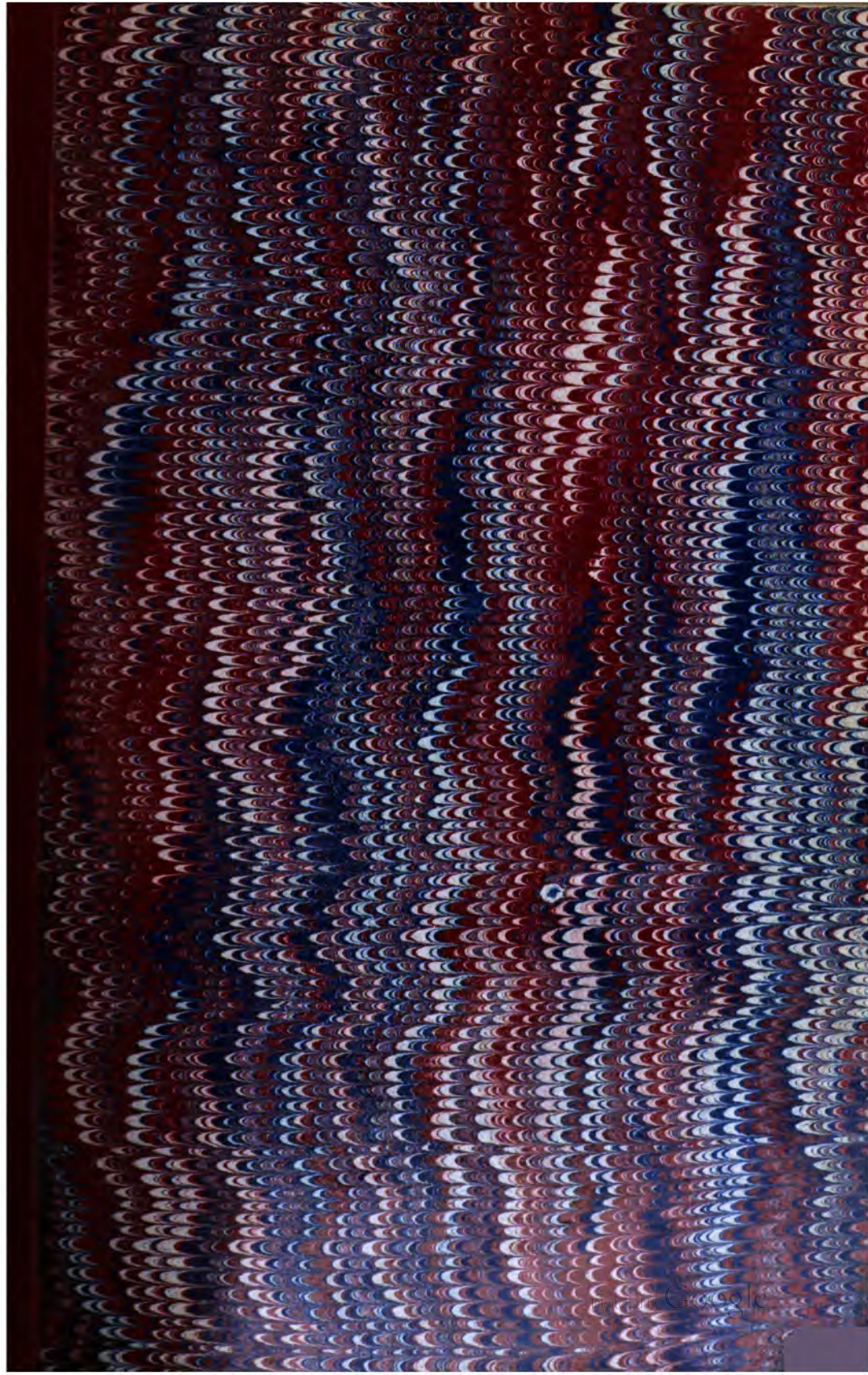


✓ PROV.

NEVILL FORBES BEQUEST

PG-3470.P28.A1.1866 (4-6)

= Rep. Slaw. 510



Presented to the
Library by
Prof. Nevill Forbes.

5/2/25

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Издание Ф. Павленкова.

Цена за каждую часть 1 р.

PG-3470. P28. A1. 1866 (4-6)

ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ГОЛОВACHEVA
(Волосовский пр., д. № 23 51 н.)

1867.

4. 5. 6.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Въ своихъ публикаціяхъ мы постоянно объявляли, что 4-я часть «*Сочиненій Д. И. Писарева*» выйдетъ послѣ 8-й. Это происходило потому, что мы не считали возможнымъ принять на себя нравственную отвѣтственность за возрожденіе похороненной полемики «Современника» съ «Русскимъ Словомъ». Намъ казалось, что послѣ всѣмъ извѣстныхъ дней, когда та и другая партія вдругъ оказались разсѣянными, кидать въ какую-либо изъ нихъ камнемъ значило-бы работать въ пользу тѣхъ, съ кѣмъ мы не можемъ быть солидарными, въ пользу тѣхъ, кто основываетъ свою силу на окружающемъ безсиліи. Вотъ почему мы отъ всей души желали исключенія изъ нашего изданія статьи «Посмотримъ!» Но понятно, что для такого исключенія намъ было все-таки необходимо согласіе самого Д. И. Писарева, который, въ сожалѣнію, въ то время находился въ крѣпости. Въ полной надеждѣ на полученіе его согласія въ будущемъ, мы и откладывали печатаніе той части (4-й), въ которой было предположено авторомъ помѣстить вышеупомянутую полемическую статью. По выходѣ 8-й части, ожидаемое согласіе было наконецъ нами получено и мы считаемъ долгомъ предупредить своихъ подписчиковъ, что, взамѣнъ выбывшей статьи, они найдутъ въ 4-й части три слѣдующія: «*Генрихъ Гейне*», «*Наши усни-тели*», и «*Подвиги Европейскихъ авторитетовъ*». Двѣ первыя изъ нихъ по-являются въ печати въ первый разъ.

Ф. НАВЛЕНКОВЪ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Статьи критическія:

Мыслящій пролетаріатъ	1
Генрихъ Гейне	48
Разрушеніе эстетики	101
Подрастающая гуманность	120

Статьи политическія:

Наши усыпители	1
Подвиги европейскіхъ авторитетовъ	20
Педагогическіе софизмы	39

СТАТЬИ КРИТИЧЕСКІЯ.

МЫСЛЯЩІЙ ПРОЛЕТАРИАТЪ.

I.

Въ нашей умственной жизни рѣзко выдѣляется отъ остальной массы то направленіе, въ которомъ заключается наша дѣйствительная сила и на которое со всѣхъ сторонъ сыпятся самыя ожесточенныя и самыя смѣшныя нападенія. Это направленіе поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую, однако, не смотря на ея малочисленность, все молодое смотритъ съ полнымъ сочувствіемъ, а все драхлѣющее съ самымъ комическимъ недоувѣріемъ. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми дѣятелями; вліяніе этой группы на свѣжую часть общества уже теперь перевѣшиваетъ собою всѣ усилія публицистовъ, ученыхъ и другихъ литераторовъ, подверженныхъ въ большей или меньшей степени острому или хроническому страданію свѣтобоязни; въ очень близкомъ будущемъ общественное мнѣніе будетъ совершенно на сторонѣ этихъ людей, которыхъ остальные двигатели русскаго прогресса постоянно стараются очернить разными обвиненіями и заклеить разными ругательными именами. Ихъ обвиняли въ невѣжествѣ, въ деспотизмѣ мысли, въ глумленіи надъ наукою, въ желаніи взорвать на воздухъ все русское общество вмѣстѣ съ русскою почвою; ихъ называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для нихъ придумано слово «свистопляска»; они причислены къ «литературному казачеству», и имъ же приписаны сооруженіе «бомбы отрицанія» и «калѣйничіе набѣги на науку». Объ нихъ постоянно болѣютъ душою всѣ методичные дѣятели петербургской и московской прессы; ихъ то распекаютъ, то умишляютъ, то поднимаютъ на смѣхъ, то отрекаются отъ

нихъ, то увѣщаютъ; но ко всѣмъ этимъ изъявленіямъ участія они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хороши ли ихъ убѣжденія, но они у нихъ есть, и они ими дорожатъ; когда можно, они проводятъ ихъ въ общество; когда нельзя—они молчатъ; но лавировать и мѣнять флаги они не хотятъ, да и не умѣютъ. Доля ихъ кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натурѣ своей переимѣнить ее. Изъ нихъ вышли люди, которымъ досталась слава геройскихъ страданій, неутомимой, ненасытной ненависти. Другимъ встрѣчались лишь тысячи мелкихъ враговъ, и въ борьбѣ съ препятствіями недостойными, презираемыми проходила ихъ дѣятельность, которая видѣла вдали для себя болѣе широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но имъ много помогаетъ переносить всѣ невзгоды то обстоятельство, что они увѣрены въ себѣ и любятъ живую, сознательную любовью свои идеалы. Ихъ не удивляютъ и тѣмъ болѣе не раздражаютъ комедіи съ переодѣваніями, разыгрываемыя нашими публицистами; въ глубину отечественной учености они не вѣрятъ; красотою отечественной беллетристики не восхищаются; къ однимъ проявленіямъ нашей умственной жизни они равнодушны; къ другимъ относятся съ самымъ спокойнымъ, глубоко сознательнымъ и совершенно безпощаднымъ презрѣніемъ. Да и можетъ ли быть иначе, когда въ литературѣ, какъ и въ обществѣ, цѣлая пропасть отдѣляетъ ихъ отъ офиціозныхъ и патентованныхъ наставниковъ массы? Въ литературѣ они стоятъ совершенно всторонѣ отъ остальной толпы и не чувствуютъ ни надобности, ни желанія приблизиться къ ней или сойтись съ ея искусственными представителями на чемъ бы то ни было. Въ обществѣ они не боятся своего нынѣшняго одиночества. Они знаютъ, что истина съ ними, они знаютъ, что имъ слѣдуетъ покойною и твердою поступью идти впередъ по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдутъ всѣ. Эти люди фанатики, но ихъ фанатизируетъ трезвая мысль, и ихъ увлекаетъ въ неизвѣстную даль будущаго очень опредѣленное и земное стремленіе доставить всѣмъ людямъ вообще возможно большую долю простого житейскаго счастья.

Но мнѣнію Молчалиныхъ и Полоніевъ журналистики и общества, это очень глупые и дурные люди, и къ наиболѣе глупымъ и дурнымъ изъ этихъ отверженныхъ людей давно уже единогласно причисленъ ими авторъ романа «Что дѣлать?». Но изъ всего, написаннаго имъ, всего хуже и всего глупѣе объявленъ именно этотъ романъ.

И дѣйствительно, немудрено, что таковъ былъ общій голосъ всѣхъ критиковъ. Никогда еще то направленіе, о которомъ я упомянулъ вначалѣ, не заявляло себя на русской почвѣ такъ рѣшительно и прямо, никогда еще не представлялось оно взорамъ всѣхъ ненавидящихъ его такъ рельефно, такъ наглядно и ясно. Поэтому всѣхъ, кого кормить и

грѣтъ рутина, романъ г. Чернышевскаго приводитъ въ неописанную ярость. Они видятъ въ немъ и глумленіе надъ искусствомъ, и неуваженіе къ публикѣ, и безнравственность, и цинизмъ, и, пожалуй даже, зародыши всякихъ преступленій. И, конечно, они правы: романъ глумится надъ ихъ эстетикой, разрушаетъ ихъ нравственность, показываетъ ложность ихъ цѣломудрія, не скрываетъ своего презрѣнія къ своимъ судьямъ. Но все это не составляетъ и сотой доли прегрѣшеній романа; главное въ томъ, что онъ могъ сдѣлаться знаменемъ ненавистнаго имъ направленія, указать ему ближайшія цѣли и вокругъ нихъ и для нихъ собрать все живое и молодое.

Съ своей точки зрѣнія наставники наши были правы; но я слишкомъ уважаю своихъ читателей и слишкомъ уважаю самого себя, чтобы доказывать имъ, какъ безконечно позорно для нихъ это обстоятельство и какъ глубоко уронилъ ихъ романъ «Что дѣлать?» тою ненавистью и яростью, которая поднялась противъ него. Читатели мои, разумѣется, очень хорошо понимаютъ, что въ романѣ этомъ нѣтъ ничего ужаснаго. Въ немъ, напротивъ того, чувствуется вездѣ присутствіе самой горячей любви къ человѣку; въ немъ собраны и подвергнуты анализу пробивающіеся проблески новыхъ и лучшихъ стремленій; въ немъ авторъ смотритъ въ даль съ тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нѣтъ у нашихъ публицистовъ и всѣхъ прочихъ, какъ они еще тамъ называются, наставниковъ общества. Оставаясь вѣрнымъ всѣмъ особенностямъ своего критическаго таланта и проводя въ свой романъ всѣ свои теоретическія убѣжденія, г. Чернышевскій создалъ произведеніе въ высшей степени оригинальное и чрезвычайно замѣчательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежатъ ему одному; на остальные русскіе романы онъ похожъ только виѣшнею своею формою: онъ похожъ на нихъ тѣмъ, что сюжетъ его очень простъ и что въ немъ мало дѣйствующихъ лицъ. На этомъ и оканчивается всякое сходство. Романъ «Что дѣлать?» не принадлежитъ къ числу сырыхъ продуктовъ нашей умственной жизни. Онъ созданъ работою сильнаго ума; на немъ лежитъ печать глубокой мысли. Умѣя вглядываться въ явленія жизни, авторъ умѣетъ обобщать и осмысливать ихъ. Его неотразимая логика прямымъ путемъ ведетъ его отъ отдѣльныхъ явленій къ высшимъ теоретическимъ комбинаціямъ, которыя приводятъ въ отчаяніе бѣдныхъ рутинеровъ, отвѣчающихъ жалкими словами на всякую новую и сильную мысль.

Всѣ симпатіи автора лежатъ безусловно на сторонѣ будущаго; симпатіи эти отдаются безраздѣльно тѣмъ задаткамъ будущаго, которые замѣчаются уже въ настоящемъ. Эти задатки зарыты до сихъ поръ подъ грудой общественныхъ обломковъ прошедшаго, а къ прошедшему авторъ конечно относится совершенно отрицательно. Какъ мыслитель, онъ по-

нимаешь и, слѣдовательно, прощаетъ всѣ его уклоненія отъ разумности; но какъ дѣятель, какъ защитникъ идеи, стремящейся войти въ жизнь, онъ борется со всякимъ безобразіемъ и преслѣдуетъ пропіею и сарказмомъ все, что бременить землю и коптитъ небо.

II.

Въ началѣ пятидесятихъ годовъ живетъ въ Петербургѣ мелкій чиновникъ Розальскій. Жена этого чиновника, Марья Алексѣевна, хочетъ выдать свою дочь, Вѣру Павловну, за богатаго и глупаго жениха, а Вѣра Павловна, напротивъ того, тайкомъ отъ родителей выходитъ замужъ за медицинскаго студента Лопухова, который, чтобы жениться, оставляетъ академію за нѣсколько недѣль до окончанія курса. Живутъ Лопуховы четыре года мирно и счастливо, но Вѣра Павловна влюбляется въ друга своего мужа, медика Кирсанова, который также чувствуетъ къ ней сильную любовь. Чтобы не мѣшать ихъ счастью, Лопуховъ официально застрѣливается, а на самомъ дѣлѣ уѣзжаетъ изъ Россіи и проводитъ нѣсколько лѣтъ въ Америкѣ. Потомъ онъ возвращается въ Петербургъ подъ именемъ американскаго гражданина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хорошей молодой дѣвушкѣ и сходится самымъ дружескимъ образомъ съ Кирсановымъ и его женою, Вѣрою Павловною, которые конечно давно знали настоящее значеніе его самоубійства. Вотъ весь сюжетъ романа «Что дѣлать?», и ничего не было бы въ немъ особеннаго, если бы не дѣйствовали въ немъ новые люди, тѣ самые люди, которые кажутся проницательному читателю очень страшными, очень гнусными, и очень безнравственными. «Проницательный читатель», надъ которымъ очень часто и очень сурово потѣшается г. Чернышевскій, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ простымъ и безхитростнымъ читателемъ, котораго любить и уважаетъ каждый пишущій человѣкъ. Простой читатель беретъ книгу въ руки для того, чтобы пріятно провести время, или для того, чтобы чему нибудь научиться; а проницательный—для того, чтобы покуражиться надъ авторомъ и произвести его идеямъ инспекторскій смотръ. Простой читатель, встрѣтившій новую мысль, можетъ не согласиться съ нею, но можетъ и согласиться. Проницательный читатель всякую новую идею считаетъ за дерзость, потому что эта идея не принадлежитъ ему и не входитъ въ тотъ замкнутый кругъ воззрѣній, который, по его мнѣнію, составляетъ единственное вѣстилище всякой истины. У простого читателя есть предразсудки самого скромнаго свойства, въ родѣ того напимѣръ, что понедѣльникъ — тяжелый день или что не слѣдуетъ тринадцати человѣкамъ садиться за столъ. Эти предразсудки происходятъ отъ умственнаго неравнества; они не мо-

гуть считаться неизлечимыми, и большею частью не мѣшаютъ простому читателю выслушивать безъ злобы мнѣнія умныхъ и развитыхъ людей. Предразсудки проницательнаго читателя отличаются, напротивъ того, книжнымъ характеромъ и теоретическимъ направленіемъ. Онъ все знаетъ, все предугадываетъ, обо всемъ судить готовыми афоризмами и всѣхъ остальныхъ людей считаетъ глупѣ себя. Мысль его протоптала себѣ извѣстныя дорожки, и только по этимъ дорожкамъ и двигается. Паньшинъ (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ») и Курнатовскій (въ «Наканунѣ») могутъ считаться превосходными представителями этого типа. Въ жизни дѣйствительной проницательные чататели всего чаще попадаютъ между тѣми людьми, для которыхъ умственный трудъ составляетъ профессію. Всякая посредственность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается въ проницательнаго читателя. Весь запасъ мыслей, сидѣвшихъ въ головѣ посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда приходится повторяться, фразерствовать, переливать изъ пустаго въ порожнее, глупѣть отъ этого пріятнаго занятія, и вслѣдствіе всего этого проникаться глубочайшею ненавистью ко всему, что размышляетъ самостоятельно. Большинство профессоровъ и журналистовъ всѣхъ націй принадлежать къ скучнѣйшему разряду проницательныхъ читателей. Всѣ эти господа могли бы быть очень милыми и неглупыми людьми, но ихъ изуродовало ремесло, точно также какъ ремесло уродуетъ портныхъ, сапожниковъ, гранильщиковъ. Они натерли себѣ на мозгу мозоли, и мозоли эти даютъ себя знать во всѣхъ сужденіяхъ и поступкахъ проницательныхъ читателей. Проницательный читатель скрежещетъ зубами, когда говорить о новыхъ людяхъ, а простому читателю скрежетать по этому случаю нѣтъ никакой надобности. Простой читатель улыбается добродушною улыбкою и говорить преспокойно: «ну, посмотримъ, посмотримъ, какіе это новые люди?»—А вотъ и посмотри.

Надъ существованіемъ новыхъ людей прежде всѣхъ задумался въ нашей беллетристикѣ Тургеневъ. Инсаровъ былъ неудачною попыткою въ этомъ направленіи; Базаровъ явился очень яркимъ представителемъ новаго типа; но у Тургенева очевидно не хватило матеріаловъ для того, чтобы полнѣе обрисовать своего героя съ разныхъ сторонъ. Кромѣ того, Тургеневъ, по своимъ лѣтамъ и по нѣкоторымъ свойствамъ своего личнаго характера, не могъ вполне сочувствовать новому типу; въ его послѣдній романъ вкрались фальшивыя ноты, которыя вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую рецензію г. Антоновича. Эта рецензія была ошибкою, и лучшимъ ея опроверженіемъ является романъ г. Чернышевскаго, въ которомъ всѣ новые люди принадлежать къ базаровскому типу, хотя всѣ они обрисованы гораздо отчетливѣе и объяснены гораздо подробнѣе, чѣмъ обрисованъ и объясненъ герой послѣдняго тургеневскаго романа. Тургеневъ — чужой въ

отношеніи въ людѣмъ новаго типа; онъ могъ наблюдать ихъ только издали, и отмѣчать только тѣ стороны, которыя обнаруживаютъ эти люди, приходя въ столкновеніе съ людьми совершенно другого закала. Базаровъ является одинъ въ такомъ кругу, который вовсе не соотвѣтствуетъ его умственнымъ потребностямъ; Базарову некого любить и уважать, и потому всякому читателю, а «проницательному» въ особенности, можетъ показаться, что Базаровъ неспособенъ любить и уважать. Это послѣднее мнѣніе составляетъ совершенную нелѣпость; нѣтъ того человѣка, у котораго не было бы способности и потребности любить и уважать подобныхъ себѣ людей; ничто не даетъ намъ права думать, чтобы Тургеневъ захотѣлъ ввести на своего героя такую пустую нелѣпицу; онъ просто не зналъ, какъ держать себя Базаровъ съ другими Базаровыми; не зналъ, какъ проявляются у такихъ людей чувства серьезной любви и сознательнаго уваженія; онъ чувствуетъ небывалость этого типа, и недоумѣваетъ передъ нимъ, да такъ и останавливается на этомъ недоумѣніи, все-таки потому, что не хватаетъ матеріаловъ. Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новыхъ людей, поставленныхъ въ положеніе Базарова, т. е. окруженныхъ всякимъ старьемъ и тряпьемъ, то его Лопуховъ, Кирсановъ, Рахметовъ стали бы держать себя почти совершенно такъ, какъ держитъ себя Базаровъ. Но г. Чернышевскому нѣтъ никакой надобности поступать такимъ образомъ. Онъ знаетъ не только то, какъ думаютъ и разсуждаютъ новые люди (это знаетъ и Тургеневъ, по журнальнымъ статьямъ, писаннымъ новыми людьми), но и то, какъ они чувствуютъ, какъ любятъ и уважаютъ другъ друга, какъ устрояютъ свою семейную и всеневную жизнь и какъ горячо стремятся къ тому времени и къ тому порядку вещей, при которыхъ можно было бы любить всѣхъ людей и довѣрчиво протягивать руку каждому. Послѣ этого не трудно понять, почему Тургеневъ принужденъ былъ въ своемъ Базаровѣ остановиться на одной суровой сторонѣ отрицанія и почему, напротивъ того, подъ рукою г. Чернышевскаго новый типъ выросъ и выяснился до той опредѣленности и красоты, до которой онъ возвышается въ великолѣпныхъ фигурахъ Лопухова, Кирсанова и Рахметова.

Новые люди считаютъ трудъ абсолютно необходимымъ условіемъ человѣческой жизни, и этотъ взглядъ на трудъ составляетъ чуть ли не самое существенное различіе между старыми и новыми людьми. Повидимому, тутъ нѣтъ ничего особеннаго. Кто же отказываетъ труду въ уваженіи? Кто же не признаетъ его важности и необходимости? Лордъ-канцлеръ Великобританіи, сидящій на шерстяномъ мѣшкѣ и получающій за это сидѣніе по нѣсколькимъ десяткамъ тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ, твердо убѣжденъ въ томъ, что онъ беретъ плату за трудъ и что онъ съ полнымъ основаніемъ можетъ сказать фабричному работнику,

My dear, мы съ тобой трудимся на пользу общества,—а трудъ святое дѣло. И лордъ-канцлеръ это скажетъ, и графъ Дерби это скажетъ; потому что онъ тоже доставляетъ себѣ трудъ класть въ карманъ поземельную ренту, а между тѣмъ какіе-же они новые люди? Они джентльмены очень старые и очень почтенные. Новые люди отдають полную справедливость тому и другому ихъ качеству, но сами никогда не согласятся уважать трудъ такъ, какъ уважають его лордъ-канцлеръ и графъ Дерби; сами они никогда не согласятся зарабатывать такъ много, сидя на шерстаномъ мѣшкѣ или на бархатной скамейкѣ палаты перовъ. Сами они не хотятъ питать издали платоническую нѣжность къ труду. Для нихъ трудъ дѣйствительно необходимъ, болѣе необходимъ, чѣмъ наслажденіе; для нихъ трудъ и наслажденіе сливаются въ одно общее понятіе, называющееся удовлетвореніемъ потребностей организма. Имъ необходима пища для утоленія голода, имъ необходимъ сонъ для восстановленія силъ, и имъ точно также необходимъ трудъ для сохраненія, поддержанія и развиванія этихъ силъ, заключающихся въ мускулахъ и въ нервахъ. Безъ наслажденія они могутъ обходиться очень долго; безъ труда для нихъ немислима жизнь. Отказаться отъ труда они могутъ только въ томъ случаѣ, когда ихъ разобьетъ параличъ, или когда ихъ посадятъ въ кѣтку, или вообще когда они тѣмъ или другимъ путемъ потеряють возможность распоряжаться своими силами.

Размышляя часто и серьезно о томъ, что дѣлается кругомъ, новые люди съ разныхъ сторонъ и разными путями приходятъ къ тому капитальному заключенію, что все зло, существующее въ человѣческихъ обществахъ, происходитъ отъ двухъ причинъ: отъ бѣдности и отъ праздности; а эти двѣ причины берутъ свое начало изъ одного общаго источника, который можетъ быть названъ хаотическимъ состояніемъ труда. Трудъ и вознагражденіе находятся теперь между собою въ обратномъ отношеніи: чѣмъ больше труда, тѣмъ меньше вознагражденія; чѣмъ меньше труда, тѣмъ больше вознагражденія. Отъ этого на одномъ концѣ лѣстницы сидитъ праздность, а на другомъ бѣдность. И та, и другая порождаетъ свой рядъ общественныхъ золъ. Отъ праздности происходитъ умственная и физическая дряблость, стремленіе создавать себѣ искусственные интересы и увлекаться ими, потребность сильныхъ ощущений, преувеличенная раздражительность воображенія, развратъ отъ нечего дѣлать, поползновенія помыкать другими людьми, мелкія и крупныя столкновенія въ семейной и общественной жизни, безконечные раздоры равныхъ съ равными, старшихъ съ младшими, младшихъ съ старшими, словомъ—весь безконечный рой огорченій и страданій, которыми люди огорчаютъ другъ друга безъ малѣйшей надобности, и которыхъ существованіе можетъ быть объяснено только выразительною поговоркою: «съ жиру собаки бѣсятся». Отъ бѣдности идутъ страданія и мате-

ріальныя, и умственныя, и нравственныя, и какія угодно: тутъ и голодъ, и холодъ, и невѣжество, изъ котораго хочется вырваться, и вынужденный развратъ, противъ котораго возмущается природа самыхъ загрубѣлыхъ созданій, и горькое пьянство, котораго стыдится самъ пьяница, и вся ватага уголовныхъ преступленій, которыхъ нельзя было не совершить преступнику. На серединѣ лѣстницы произведенія бѣдности встрѣчаются съ произведеніями праздности; тутъ меньше дикости, чѣмъ внизу, и меньше дряблости, чѣмъ вверху, но больше грязи, чѣмъ гдѣ бы то ни было; тутъ приходится ежиться, потому что хочется барствовать; приходится жить въ пятачокъ у кухарки или дворника, потому что надо ѣхать на гулянье; держать дѣтей въ холодной дѣтской, потому что надо меблировать гостиную; ѣсть испорченную говядину, потому что надо сшить шелковую мантилью. По всей лѣстницѣ сверху до низу господствуютъ ненависть къ труду и вѣчный антагонизмъ частныхъ интересовъ. Немудрено, что трудъ производитъ при такихъ условіяхъ мало продуктовъ; немудрено и то, что любовь къ ближнему встрѣчается только въ назидательныхъ книгахъ. Каждый рассуждаетъ такъ или почти такъ: если, говоритъ, я прямо потяну съ своего ближняго шубу, то меня за это не похвалятъ и посадятъ въ полицію; но если я подведу подъ шубу кляузы и оттягаю ее тихимъ манеромъ, то мнѣ будетъ двойная выгода: во-первыхъ, не надо будетъ вырабатывать себѣ шубу, во-вторыхъ, всякій будетъ считать меня за умнаго и обходительнаго человѣка.

Не всѣмъ однако такое положеніе дѣлъ нравится; находятся отдѣльныя личности, которыя говорятъ празднымъ людямъ; «вамъ скучно, потому что вы ничего не дѣлаете, а есть другіе люди, которые страдаютъ потому, что бѣдны. Подите разыскивайте этихъ людей, помогайте имъ, облегчайте ихъ страданія, входите въ ихъ нужды, и вамъ будетъ не такъ скучно, и имъ не такъ тяжело жить на свѣтѣ». Это говорятъ хорошіе люди, но новые люди этимъ не удовлетворяются. «Филантропія, говорятъ новые люди, такая же прекрасная вещь, какъ тюрьма и всякія уголовныя и исправительныя наказанія. Въ настоящее время мудрено обойтись безъ того и другого, но настоящее время, подобно всѣмъ прошедшимъ временамъ, занимается только вѣчнымъ замѣтаніемъ и подчищеніемъ тѣхъ гадостей, которыя оно само вѣчно производитъ на свѣтѣ. Когда гадость произведена, ее конечно слѣдуетъ замести и подчистить, но не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы на будущее время прекратить такое невыгодное производство гадостей. Филантропія сама по себѣ оскорбительна для человѣческаго достоинства и заключаетъ въ себѣ глубокую несправедливость; она принуждаетъ одного человѣка зависѣть въ своемъ существованіи и благосостояніи отъ произвольнаго добродушія другого такого же человѣка; она создаетъ нищаго и благо-

творителя, и развращаетъ и того, и другого. Она не уничтожаетъ ни бѣдности, ни праздности; она не увеличиваетъ ни на одну копѣйку продукты производительнаго труда. Въ древнемъ Римѣ, подъ видомъ раздачь дарового хлѣба, а въ новѣйшихъ католическихъ государствахъ южной Европы подъ видомъ раздачь даровыхъ порцій супа у монастырскихъ воротъ, эта милая филантропія развратила въ конецъ массы здоровой черни. Не богадѣльня, а мастерская можетъ и должна обновить человѣчество. Здоровый человѣкъ, посаженный на необитаемый островъ, можетъ прокормить самого себя; силы человѣка увеличиваются въ сотни и тысячи разъ, когда онъ вступаетъ въ промышленную ассоціацію съ другими людьми. Поэтому здоровый человѣкъ, живущій въ цивилизованномъ обществѣ, можетъ и долженъ собственнымъ трудомъ прокормиться и одѣться, приобрести себѣ образованіе и воспитать своихъ дѣтей. Тутъ собственный трудъ не можетъ быть замѣненъ никакимъ другимъ ингредиентомъ. Труду нѣтъ простора, трудъ плохо оплачивается, трудъ порабощается, и отъ этихъ причинъ происходитъ все существующее зло.

Кто хочетъ бороться противъ зла, не для препровожденія времени, а для того, чтобы когда нибудь дѣйствительно побѣдить и искоренить его, тотъ долженъ работать надъ рѣшеніемъ вопроса: какъ сдѣлать трудъ производительнымъ для работника, и какъ уничтожить всѣ неприятыя и тяжелыя стороны современнаго труда? Трудъ есть единственный источникъ богатства; богатство, добываемое трудомъ, есть единственное лѣкарство противъ страданій бѣдности и противъ пороковъ праздности. Стало быть, цѣлесообразная организація труда можетъ и должна привести за собою счастье человѣчества. Говорить, что такая организація невозможна, значитъ подражать тѣмъ дряблымъ старикамъ, которые считаютъ невозможнымъ все, до чего не додумались ихъ предшественники и современники. Складывать руки и вздыхать о несовершенствахъ всего земнаго, когда люди страдаютъ отъ собственныхъ глупостей, значитъ возводить эти глупости въ законы природы и обнаруживать лѣность и робость мысли, недостойныя человѣка свѣжаго, честнаго и одареннаго живымъ умомъ.

Такъ или почти такъ разсуждаютъ о высокихъ матеріяхъ новыя люди; взглядывши въ эти разсужденія, каждый читатель, кромѣ «проницательнаго», увидитъ, что въ нихъ нѣтъ ничего ужаснаго, и что въ нихъ, напротивъ того, много дѣльнаго. Искать обновленія въ трудѣ во всякомъ случаѣ гораздо рациональнѣе, чѣмъ видѣть альфу и омегу человѣческаго благополучія въ учрежденіи палаты депутатовъ или палаты перовъ. Самая лучшая палата можетъ только сберечь доходы страны, а хорошія мастерскія могутъ удесятерить этотъ доходъ, удесятерять, кромѣ того, сумму физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ

работниковъ и приготовляя, такимъ образомъ, съ каждымъ годомъ большее увеличеніе богатства, образованности и всеобщаго благоденствія. Не глупо разсуждаютъ новые люди, а всего лучше то, что не въ разсужденіяхъ о высокихъ матеріяхъ проходитъ ихъ время. Постоянно имѣя въ виду общую задачу всего человѣчества, они между тѣмъ уже разрѣшили ее въ приложеніи къ своей частной жизни. Имъ трудъ пріятенъ, и для нихъ онъ производителенъ; нѣтъ ни одного новаго человѣка, у котораго не было бы его любимаго труда, и этотъ трудъ для него не забава, а дѣйствительно цѣль и смыслъ всей жизни. Новый человѣкъ безъ своего любимаго труда такъ же не мыслимъ, какъ не мыслимъ трудъ безъ него. Прежніе люди заботились о своемъ положеніи въ обществѣ и прежде всего старались составить себѣ карьеру и состояніе, хотя бы пути, ведущіе къ тому и другому, внушали имъ глубочайшее отвращеніе. Для новаго человѣка необходимо прежде всего, чтобы трудъ былъ ему по душѣ и по силамъ. До тѣхъ поръ, пока онъ не найдетъ такого труда, онъ ищетъ его; нашелъ—и кончено дѣло: тогда онъ влюбляется въ него, работаетъ съ увлеченіемъ страсти, наслаждается всѣми радостями творчества и чувствуетъ, что онъ на бѣломъ свѣтѣ не лишній. И нѣтъ такого новаго человѣка, который не нашелъ бы себѣ любимаго дѣла, потому что вообще нѣтъ того здороваго человѣка, который не былъ бы на что нибудь способенъ. И когда всѣ работники на земномъ шарѣ будутъ любить свое дѣло, тогда всѣ будутъ новыми людьми, тогда не будетъ ни бѣдныхъ, ни праздныхъ, ни филантроповъ, тогда дѣйствительно потекутъ тѣ «молочныя рѣки въ иссельныхъ берегахъ», которыми «проницательные читатели» такъ побѣдоносно поражаютъ негодныхъ мальчишекъ. — Это невозможно, рычить одинъ изъ пропицательныхъ. — Конечно невозможно, но было время, когда и паровыя машины были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему быть, тому не миновать.

III.

Опираясь на свой любимый трудъ, выгодный для нихъ самихъ и полезный для другихъ, новые люди устрояютъ свою жизнь такъ, что ихъ личные интересы ни въ чемъ не противорѣчаютъ дѣйствительнымъ интересамъ общества. Это вовсе не трудно устроить. Стоитъ только полюбить полезный трудъ; и тогда все, что отвлекаетъ отъ этого труда, будетъ казаться непріятною помѣхою; чѣмъ больше вы будете предаваться вашему любимому полезному труду, тѣмъ лучше это будетъ для васъ, и тѣмъ лучше это будетъ для другихъ. Если вашъ трудъ обезпечиваетъ васъ и доставляетъ вамъ высокія наслажденія, то вамъ нѣтъ

недобности собирать другихъ людей ни прямо, ни косвенно, ни посредствомъ воровства-мошенничества, ни посредствомъ такой эксплуатаціи, которая не признана уголовнымъ преступленіемъ. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадаютъ съ интересами всѣхъ остальныхъ трудящихся людей — вы сами — работники, и всѣ работники — ваши естественные друзья, а всѣ эксплуататоры ваши естественные враги, потому что они въ то же время враги всему человечеству, въ томъ числѣ и себѣ самимъ. Если бы всѣ люди трудились, то всѣ были бы богаты и счастливы; но если бы всѣ люди эксплуатировали своихъ ближнихъ, не трудясь совсѣмъ, тогда эксплуататоры побили бы другъ друга въ одну недѣлю, и родъ человеческій исчезъ бы съ лица земли. Поэтому кто любитъ трудъ, тотъ, дѣйствуя въ свою пользу, дѣйствуетъ въ пользу всего человечества; кто любитъ трудъ, тотъ сознательно любитъ самого себя, тотъ въ самомъ себѣ любилъ бы всѣхъ остальныхъ людей, если бы только не было на свѣтѣ такихъ господъ, которые невольно или умышленно мѣшаютъ всякому полезному труду.

Новые люди трудятся и желаютъ своему труду простора и развитія; въ этомъ желаніи, составляющемъ глубочайшую потребность ихъ организма, новые люди сходятся со всѣми милліонами всѣхъ трудящихся людей земного шара, всѣхъ, кто сознательно или безсознательно молятъ бога и просятъ ближняго, чтобы не мѣшали ему трудиться и пользоваться плодами труда. Единство интересовъ порождаетъ сочувствіе, и новые люди горячо и сознательно сочувствуютъ всѣмъ дѣйствительнымъ потребностямъ всѣхъ людей. Каждая человѣческая страсть есть признакъ силы, ищущей себѣ приложенія; смотря потому, какъ эта сила будетъ приложена къ дѣлу, данная страсть будетъ называться добродѣтелью или порокомъ и будетъ приносить людямъ пользу или вредъ, выгоду или убытокъ. Силы и страсти, приложенныя къ эксплуатаціи ближняго, должны умѣряться какими нибудь нравственными мотивами, потому что иначе онѣ подведутъ человѣка, путемъ порока, подъ уголовный судъ; но силы и страсти, направленные на производительный трудъ, могутъ безвредно расти и развиваться до какихъ угодно размѣровъ. Люди, живущіе эксплуатаціею, должны остерегаться исключительнаго эгоизма, потому что такой эгоизмъ лишаетъ ихъ всякаго человѣческаго образа и превращаетъ ихъ въ цивилизованныхъ людоедовъ, которые гораздо отвратительнѣе людоедовъ-дикарей. Но люди новые, живущіе трудомъ и чувствующіе фізіологическое отвращеніе къ самой гуманной и добродушной эксплуатаціи, могутъ безъ малѣйшей опасности быть эгоистами до послѣдней степени. Эгоизмъ эксплуататора идетъ въ разрѣзъ съ интересами всѣхъ остальныхъ людей; обогатить себя — для эксплуататора значитъ отнять у другого; эксплуататоръ принужденъ любить себя въ ущербъ всему остальному міру; поэтому, если онъ до-

бродушень и богобоязливъ, онъ старается любить себя умеренно, такъ, чтобы и себѣ было необходимо, и другимъ не слишкомъ больно; но такую умеренность выдержать очень трудно, и потому эксплуататоръ всегда пускаетъ или слишкомъ много эгоизма, такъ, что начинаетъ пожирать другихъ, или слишкомъ мало, такъ что самъ становится жертвою чужого эгоистическаго аппетита. Такъ какъ на нашей прекрасной планетѣ господствуетъ повальная эксплуатация и въ семействѣ, и въ обществѣ, и въ международныхъ отношеніяхъ, то у насъ принято испускать вопли противъ эгоизма, называть эгоистами отъявленныхъ негодяевъ, и, наоборотъ, обвинять въ безнравственности такихъ людей, которые находятся только не на своемъ мѣстѣ. Новые люди держатся вдали отъ всякой эксплуатации, безъ малѣйшаго трепета и безъ всякаго вреда для себя и для другихъ погружаются въ глубочайшую пучину эгоизма, и не принимаютъ на себя ни одного пятна несправедливости, исключительно потому, что умѣютъ найти свое мѣсто и пристраститься къ своему дѣлу.

Если человѣкъ стараго закала занимается медицинскою практикою, то его эгоизмъ выражается въ томъ, что онъ старается сдѣлать въ день какъ можно больше визитовъ и приобрести какъ можно больше зелененькихъ и синенькихъ бумажекъ; онъ эксплуатируетъ своихъ пациентовъ, выслушиваетъ ихъ невнимательно, прописываетъ рецепты на удачу, бываетъ у такихъ больныхъ, которые вовсе не больны и дѣлаетъ все это исключительно по привязанности своей къ синенькимъ и зелененькимъ. Такой человѣкъ, конечно, долженъ иногда крошить свой эгоизмъ и отъ времени до времени читать самому себѣ довольно убѣдительныя наравоученія. Новый человѣкъ занимается медициною не иначе, какъ по страстному влеченію; для него дорогъ каждый часъ, потому что каждый часъ посвящается любимому изученію; для него деньги составляютъ только средство, которымъ онъ поддерживаетъ свою жизнь, чтобы имѣть возможность отдавать эту жизнь труду. Передъ постелью больного онъ является мыслителемъ, разрѣшающимъ научный вопросъ. Ему хочется не обобрать пациента, а вылечить его, потому что вылечить — значитъ разрѣшить задачу; пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; такимъ образомъ интересы медика и интересы больного сливаются между собою, и эксплуатации не существуетъ; докторъ новаго закала можетъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ предаваться своему эгоистическому влеченію, и ему за это скажутъ спасибо и пациенты, и ихъ родственники, и общественное мнѣніе всѣхъ согражданъ. И этому доктору не зачѣмъ пугать себя идеею долга, потому что между долгомъ и свободнымъ влеченіемъ для него не существуетъ различія. А все отчего? Все оттого, что найденъ любимый трудъ, оттого, что человѣкъ попалъ на свое мѣсто. Это условіе необходимо. Безъ него очень трудно, а, можетъ быть, и совсѣмъ невозможно быть честнымъ человѣкомъ вообще.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ жизни новыхъ людей не существуетъ разногласія между влеченіемъ и нравственнымъ долгомъ, между эгоизмомъ и человеколюбіемъ; это очень важная особенность; это такая черта, которая позволяетъ имъ быть человеколюбивыми и честными по тому непосредственно сильному влеченію природы, которое заставляетъ каждого человѣка заботиться о своемъ самосохраненіи и объ удовлетвореніи физическихъ потребностей своего организма. Въ ихъ человеколюбіи нѣтъ вынужденной искусственности; въ ихъ честности нѣтъ шепетливой мелочности; ихъ хорошія влеченія просты и здоровы, сильны и прекрасны, какъ непосредственныя произведенія богатой природы; да и сами они, эти новые люди, ничто иное, какъ проявленія богатой человеческой природы, отмывшей отъ себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вѣковыхъ историческихъ страданій. Если общественное мнѣніе не признаетъ въ этихъ людяхъ простыхъ, но честныхъ представителей своей породы, если оно видитъ въ нихъ что-то особенное, что-то страшное и зловѣщее, то это значитъ только, что это такъ называемое общественное мнѣніе потеряло всякое понятіе о человѣческомъ образѣ, забыло всѣ его примѣты, пугается при встрѣчѣ съ нимъ, какъ съ чѣмъ-то незнакомымъ, и принимаетъ за настоящихъ людей ту странную породу двуногихъ, которую Джонатанъ Свифтъ выводитъ въ путешествіи Гулливера подъ именемъ Іагу (уаюа), и которой глупость и злость такъ рельефно противопоставляются уму и великодушію мыслящихъ и говорящихъ лошадей. Трудясь для самихъ себя, увлекаясь и наслаждаясь процессомъ труда, новые люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый производительный трудъ полезенъ для людей. Сначала новые люди приносятъ пользу и дѣлаютъ добро безсознательно, но потомъ самый процессъ приношенія пользы и дѣланія добра кладетъ начало нравственной связи между тѣми, кто приносятъ и дѣлаютъ, и тѣми, кому приносится и для кого дѣлается. Эта связь крѣпнеть по мѣрѣ того, какъ работникъ новаго закала приноситъ больше пользы и дѣлаетъ больше добра. Это уже старая истина, что намъ свойственно любить тѣхъ, кому мы сдѣлали или дѣлаемъ добро, и эта старая истина на каждомъ шагѣ находитъ себѣ подтвержденіе. Гарибальди любить Италію сильнѣе, чѣмъ какой нибудь другой итальянецъ, и навѣрное теперь старикъ Гарибальди, выносившій свою жизнь въ трудахъ и въ изгнаніи, раненный при Асиромонте итальяскою пулею, любить свою Италію еще сильнѣе, чѣмъ могъ любить ее лѣтъ тридцать тому назадъ пламенный юноша Гарибальди; тогда онъ любилъ въ ней только родину; теперь онъ, кромѣ родины, любитъ въ ней всѣ свои подвиги, всѣ свои страданія, всю блестящую вереницу своихъ чистыхъ воспоминаній. Робертъ Оуэнъ, «свѣтлой старикъ», какъ называютъ его Лопуховъ у г. Чернышевскаго, всю свою жизнь трудился для людей, и,

конечно, подъ старость любовь его къ людямъ была еще шире, еще теплѣе и во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе обильна сознательнымъ прощеньемъ, чѣмъ была та же любовь въ первые дни его молодости. Для такихъ людей, какъ Оуэнъ и Гарibaldi, не существуетъ старческой дряхлости; такіе люди будутъ новыми людьми для всѣхъ вѣковъ и народовъ. Но явленіе, которое мы замѣчаемъ въ ихъ жизни, составляетъ общую принадлежность всѣхъ дѣятелей или мыслителей, отдавшихъ свои силы любимому и полезному труду. Въ этихъ дѣятеляхъ и мыслителяхъ растетъ и крѣпнѣетъ любовь къ людямъ по мѣрѣ того, какъ они втягиваются въ свой трудъ и проникаются сознаниемъ его полезности; они становятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодѣютъ, вмѣсто того чтобы дряхлѣть и пошлѣть; они процессомъ своего живого и разумнаго труда смываютъ съ себя ту грязь, которою обліяли ихъ родители, которою обрызгала ихъ школа и которую постоянно брызжетъ на нихъ «тьма крошечная» окружающей жизни.

Люди прежняго времени были красивы и свѣжи въ умственномъ отношеніи только тогда, когда были молоды; проходило лѣтъ десять, и вся эта красота и свѣжесть пропадала вмѣстѣ съ румянцемъ щекъ; являлась кропотливость и мелочность, копѣчная расчетливость и курьезная трусливость; пѣтушекъ превращался въ каплуна, блестящій студентъ дѣлался отъявленнымъ филистеромъ и «проницательнѣйшимъ» читателемъ. Все это было совершенно естественно, потому что прежніе молодые люди только ярились и горячились, только краснорѣчиво болтали и красиво разнѣживались; забава молодости должна была пройти вмѣстѣ съ молодостью, потому что она была забавою. Кто въ молодости не связалъ себя прочными связями съ великимъ и прекраснымъ дѣломъ или покрайней мѣрѣ съ простымъ, но честнымъ и полезнымъ трудомъ, тотъ можетъ считать свою молодость безслѣдно потерянною, какъ бы весело она ни прошла и сколько бы пріятныхъ воспоминаній она ни оставила. Забирайте съ собою чувства молодости, послѣ не подымете, говоритъ Гоголь, и правду онъ говоритъ. А какъ ихъ заберешь съ собою, если не вложишь ихъ цѣликомъ въ такое дѣло, на которое до послѣдней минуты твоей жизни будетъ откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сдѣлать, о томъ нечего жалѣть, если даже молодость его прошла въ суровомъ трудѣ, вдали отъ дорогихъ и близкихъ людей, безъ наслажденій, безъ объятій любимой женщины. И дорогие люди, и наслажденіе, и любимая женщина—все это, несомнѣнно, очень хорошія вещи, но самъ человѣкъ для самого себя дороже всего на свѣтѣ. Если цѣною труда и лишеній, цѣною потраченной молодости, цѣною потерянной любви онъ купилъ себѣ право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести съ собою на край свѣта и удерживать за собою во всѣхъ испытаніяхъ неизмѣнную молодость и свѣжесть ума

и чувства, то нельзя сказать, что онъ заплатилъ слишкомъ дорого. Онъ отдалъ кусокъ жизни, чтобы по человѣчески прожить всю жизнь; онъ лишился двухъ-трехъ радостей, но въ замѣнъ ихъ получилъ высшее наслажденіе, которое служить украшеніемъ для жизни и поддержкою въ минуту агоніи; онъ получилъ право знать себя настоящую цѣну и видѣть, что цѣна эта не мала.

Вотъ эгоизмъ новыхъ людей, и этому эгоизму нѣтъ границъ; ему они дѣйствительно приносятъ въ жертву всѣхъ и все. Любятъ они себя до страсти, уважаютъ до благоговѣнія; но такъ какъ они даже въ отношеніи къ самимъ себѣ не могутъ быть слѣплыми и снисходительными, то имъ приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою во всякую данную минуту свою любовь и свое уваженіе. Еще больше, чѣмъ своею любовью и своимъ уваженіемъ, они дорожатъ прямыми и откровенными отношеніями своего анализирующаго и контролирующаго я къ тому я, которое дѣйствуетъ и распрямляется въѣвшими условіями жизни. Если бы одно я не могло смотрѣть смѣло и рѣшительно въ глаза другому я, если бы одно я вздумало отвѣчать увертками и софизмами на вопросы другого я, а другое я въ это время осмѣлилось бы смотрѣть сквозь пальцы и удовлетворяться пустыми отговорками перваго, то, вслѣдъ за этимъ поворнымъ сумбуромъ въ душѣ новаго человѣка забушевало бы такое отчаяніе и родилось бы такое конвульсивное отвращеніе къ своей опоганенной особикѣ, что онъ, навѣрное, наплевалъ бы себѣ въ глаза, и потомъ, исказивши себя такимъ образомъ, кинулся бы головою впередъ въ самый глубокий омутъ. Новый человѣкъ знаетъ очень хорошо, какъ онъ неутомимъ и безжалостенъ къ самому себѣ; новый человѣкъ боится самого себя, больше чѣмъ кого бы то ни было; онъ сила, — и горе ему, если когда нибудь его сила обратится противъ него самого. Если онъ сдѣлаетъ такую гадость, которая приведетъ въ немъ внутренній разладъ, то онъ знаетъ, что отъ этого разлада не будетъ другого лекарства, кромѣ самоубійства или сумасшествія. Мнѣ кажется, что такая потребность самоуваженія и такая боязнь собственнаго суда будутъ покрѣпче тѣхъ нравственныхъ перилъ, которыя отдѣляютъ людей стараго закала отъ разныхъ мерзостей, тѣхъ перилъ, черезъ которыя разные недѣлимыя обоого пола такъ свободно и изящно порхаютъ туда и обратно, тѣхъ перилъ, за неимѣніемъ которыхъ новымъ людямъ приходится выслушивать такіа утомительныя наставленія со стороны проникательныхъ читателей, властвующихъ перомъ или одержимыхъ слабостью къ назидательному краснорѣчію. Новые люди всѣми преимуществами своего типа обязаны живительному вліянію любимаго труда. Благодаря ему, они могутъ быть полнѣйшими эгоистами; чѣмъ глубже становится ихъ эгоизмъ, тѣмъ сильнѣе дѣлается ихъ любовь къ человечеству, тѣмъ неизмѣннѣе и прочнѣе держится въ новыхъ

людяхъ ихъ молодость и свѣжестъ, тѣмъ шире раскрываются умъ и чувство, тѣмъ болѣе они дорожатъ своимъ собственнымъ уваженіемъ, тѣмъ строже становится ихъ вѣрность самимъ себѣ, и, вслѣдствіе всего этого, тѣмъ ближе подходятъ они къ всестороннему развитію своихъ силъ и къ безбрежной полнотѣ своего счастья.

IV.

Люди, живущіе эксплуатаціе ближнихъ или присвоеніемъ чужого труда, находятся въ постоянной наступательной войнѣ со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ. Для войны необходимо оружіе, и такимъ оружіемъ оказываются умственные способности. Умъ эксплуататоровъ почти исключительно прилагается къ тому, чтобы перехитрить сосѣда или распутать его интриги. Нанести поражение ближнему, или отпарировать его ловкій ударъ — значить обнаружить силу своего оружія и свое умѣніе распоразаться имъ, или, говоря языкомъ менѣе воинственнымъ и болѣе употребительнымъ, значить выказывать тонкій умъ и обширную житейскую опытность. Умъ заостряется и закаляется для борьбы, но всѣмъ извѣстно по опыту, что чѣмъ лучше оружіе приспособлено къ военному дѣлу, тѣмъ менѣе оно пригодно для мирныхъ занятій. Студенты, при всемъ своемъ остроуміи, могли приурочить свои шпаги только къ мѣшанію въ печь, да еще къ варенію жженки, но и эти двѣ должности оружіе войны и символъ чести исполняетъ довольно плохо. Тоже самое можно сказать и объ умѣ, воспитанномъ для междуусобныхъ распрей. Въ немъ развиваются очень сильно нѣкоторыя качества, совершенно ненужныя и даже положительно вредныя для успѣшнаго хода мирнаго мышленія. Мелкая провицательность, мелкая подозрительность, умѣніе и охота всматриваться очень внимательно въ такіе крошечные случаи всѣдневной жизни, которые вовсе не заслуживаютъ изученія, умѣніе и охота морочить себя и другихъ софизмами, спитыми на живую нитку — вотъ тѣ свойства, которыми обыкновенно отличается умъ практическаго челоувѣка нашего времени. Умъ этотъ непременно дѣлается близорукимъ, потому что практическій челоувѣкъ постоянно смотритъ себѣ подъ ноги, чтобы не попасть въ какую нибудь западню. Мелкихъ неудачъ онъ остерегается очень тщательно, и ему дѣйствительно часто случается избавляться отъ нихъ, благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато надъ общимъ направленіемъ своей жизни практическій челоувѣкъ теряетъ всякій контроль; онъ бредетъ потихоньку и все смотритъ себѣ подъ ноги, а потомъ вдругъ оглядывается кругомъ, и самъ не знаетъ, куда это его занесло. Обобщать факты онъ, благодаря типическимъ свойствамъ своего ума, рѣшительно не умѣетъ; отдавать себѣ отчетъ въ

общемъ положеніи вещей и придавать своимъ поступкамъ какой нибудь общій смыслъ онъ также не въ состояніи; событія уносятъ его съ собою, и величайшая мудрость его состоитъ въ томъ, чтобы не противиться ихъ теченію, котораго онъ все-таки не понимаетъ.

Величайшими представителями этого типа практическихъ людей и эксплуататоровъ можно назвать Меттерниха и Талейрана: никто не скажетъ, чтобы у этихъ господъ не было природнаго ума, но всякій пойметъ также, что этотъ умъ долговременною дрессировкою, начавшеюся съ колыбели, былъ заостренъ и закаленъ для самого односторонняго употребленія, а именно для того, чтобы морочить людей софизмами, не поддаваясь софизмамъ противоположнаго лагеря. Вся тайна призрачнаго могущества Меттерниха и Талейрана заключается въ ихъ гибкости и безцвѣтности, въ ихъ полномъ равнодушіи къ своимъ собственнымъ софизмамъ и въ ихъ всегдашней готовности переходить отъ одного софизма къ другому, совершенно противоположному. Они не имѣли надъ событіями никакой власти и не оказывали на нихъ ни малѣйшаго вліянія, точно также какъ флюгеръ только указываетъ на перемѣну вѣтра, а не производитъ ея. Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому что въ немъ нечего было разбивать — не было никакого твердаго содержанія. Если же Меттерниха разбила революція 1848 года, то это обстоятельство слѣдуетъ приписать исключительно наивности добрыхъ нѣмцевъ; они приняли вывѣску принципа за самый принципъ; вывѣску сняли — они прокричали «*виватъ!*» и конечно остались въ дуракахъ. Умъ Меттерниха, Талейрана и всякихъ другихъ эксплуататоровъ, мелкихъ и крупныхъ, отличается крайнею односторонностью; онъ только на то и годится, чтобы поражать другихъ людей въ сраженіи, т. е. чтобы водить ихъ за носъ. Когда такіе господа руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранѣе, что эти расчеты заставятъ ихъ сдѣлать какую нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушеніе узкаго и близорукаго эгоизма всегда подаютъ поводъ къ самымъ возмутительнымъ несправедливостямъ.

Люди стараго закала знаютъ это очень хорошо, и потому они говорятъ, что умъ долженъ управлять нашими поступками, когда мы сталкиваемся съ посторонними людьми; когда же мы входимъ въ свое семейство или вступаемъ въ сношенія съ своими друзьями, то должны класть свое боевое оружіе въ ножны и дѣйствовать по внушенію чувства, чтобы не изранить и не надуть по неосторожности людей, которыхъ мы дѣйствительно и безкорыстно любимъ. У людей стараго закала голосъ чувства и голосъ разсудка находятся въ постоянномъ разладѣ, и потому они, во избѣжаніе дисгармоніи, всегда заставляютъ молчать одинъ изъ этихъ голосовъ, когда говорить другой. А изъ этого выходитъ есте-

ственное слѣдствіе, что въ своихъ дѣловыхъ сношеніяхъ они почти всегда бываютъ жестоки и несправедливы, а въ своей домашней жизни — нелѣпы и безтолковы. Здоровые люди не должны раздвигать своего существа; каждый предметъ, обращающій на себя ихъ вниманіе, долженъ разсматриваться съ разныхъ сторонъ; впечатлѣніе, которое этотъ предметъ производитъ на непосредственное чувство, также важно, какъ то официальное впечатлѣніе, которое онъ оставляетъ по себѣ въ нашемъ анализирующемъ умѣ. Если существуетъ разногласіе между требованіями нашего чувства и сужденіемъ нашего ума, то эту разногласію надобно устранить: умъ и чувство надо примирить; но примираются они не тѣмъ, что мы скажемъ тому или другому — «молчать!» а тѣмъ, что мы тщательно и спокойно сравнимъ требованія чувства съ сужденіемъ ума, доищемся скрытыхъ причинъ того и другаго, и наконецъ, путемъ безпристрастнаго размышленія, дойдемъ до такого рѣшенія, которымъ одинаково удовлетворятся и умъ, и чувство. У людей, живущихъ присвоеніемъ, соглашеніе между умомъ и чувствомъ невозможно; ихъ чувство проявляется беспорядочными вспышками, которыя имѣютъ чисто фیزیологическое основаніе, а умъ ихъ не признаетъ самымъ элементарныхъ началъ справедливости, потому что справедливость, т. е. общая польза, находится въ вѣчномъ разладѣ съ мелкою, житейскою, личною выгодною. Спрашивается: есть-ли какая-нибудь возможность помирить чувство, вытекающее изъ слабонервности и прекращающееся отъ приѣма лавровишневыхъ капель, съ расчетомъ, основанымъ на рубляхъ и копѣйкахъ и неспособнымъ видѣть, за рублями и копѣйками, ни законовъ природы, ни страданій живаго человѣка? — Конечно, на это нѣтъ никакой возможности и ни малѣйшей необходимости. По настоящему, надо было бы уничтожить и то, и другое, т. е. и безтолковую чувствительность, и безтолковую скарденность; надо было бы возратить изуродованному уму его первобытную способность къ широкому мышленію, обобщающему разрозненные факты и постигающему связь между причинами и слѣдствіями: надо было бы превратить людей стараго закала въ людей новыхъ; но такъ какъ подобное превращеніе совершенно невозможно; то надо махнуть на нихъ рукою: пускай ихъ переходятъ отъ конторскихъ книгъ къ лавровишневымъ каплямъ, отъ страстныхъ объятій къ биржевой игрѣ и отъ благонамѣреннаго надувательства къ добродѣтельному умиленію передъ закатомъ солнца.

Если я такъ долго останавливался на ихъ умѣ и чувствѣ, то это даетъ мнѣ возможность очень коротко охарактеризовать соответствующія особенности ума и чувства новыхъ людей: у нихъ умъ и чувство находятся въ постоянной гармоніи, потому что ихъ умъ не превращенъ въ орудіе наступательной борьбы; ихъ умъ не употребляется на то, чтобы надувать другихъ людей, и поэтому они сами могутъ всегда и во

всемъ довѣряться его приговорамъ; не привыкли мошенничать съ со-
сѣдами, ихъ умъ не мошенничаетъ и съ самимъ хозяиномъ. Зато новые
люди дѣйствительно питаютъ къ уму своему самое безграничное довѣ-
ріе. Это надо понимать не въ томъ смыслѣ, будто каждый изъ нихъ
считаетъ себя умнѣйшимъ человѣкомъ на свѣтѣ. Совсѣмъ нѣтъ. Каж-
дый изъ нихъ думаетъ только, что каждый взрослый человѣкъ, одарен-
ный самыми обыкновенными умственными способностями, можетъ обсу-
дить свое положеніе и свои поступки гораздо лучше и отчетливѣе, чѣмъ
обсудилъ бы ихъ за него, со стороны, величайшій изъ гениальныхъ мы-
слителей. Какъ бы ни было красиво и утѣшительно какое нибудь міро-
совершеніе, сколько бы вѣковъ и народовъ ни считали его за непрелож-
ную истину, какіе бы міровые гении ни преклонялись передъ его убѣ-
дительностью—самый скромный изъ новыхъ людей приметъ его только
въ томъ случаѣ, когда оно соотвѣтствуетъ потребностямъ и складу
его личнаго ума. У cadaго новаго человѣка есть свой внутренній міръ,
въ которомъ личный умъ господствуетъ съ неограниченнымъ самовла-
стіемъ; въ этотъ міръ проникаетъ только то, что пропускаетъ личный
умъ, и только то, что по самой природѣ своей можетъ признать
надъ собою полное господство личнаго ума. Что не покоряется лич-
ному уму, о томъ новый человѣкъ говоритъ очень скромно: «этого
я не понимаю», а что остается непонятнымъ, того новый человѣкъ
не пускаетъ во внутренній міръ и тому онъ свидѣтельствуетъ издали
свое глубочайшее почтеніе, если того требуютъ внѣшнія обстоятельства.

Когда ветхому человѣку приходится вести съ собственнымъ умомъ
откровенныя бесѣды, то при этомъ высказываются довольно щекотли-
выя истины: «Вѣдь я тебя, пріятель, знаю, говорить ветхій человѣкъ
своему уму:—вѣдь ты подлецъ, какихъ мало. Вѣдь если дать тебѣ волю,
ты придумаешь такую кучу гадостей, что мнѣ самому противно сдѣ-
лается, хоть я человѣкъ не брезгливый. Постой же, голубчикъ, я тебя
вышколою». И затѣмъ начинается усовѣщиваніе ума и запугиваніе его
посредствомъ разныхъ крайне почтенныхъ понятій, которыми должны
сдерживаться слишкомъ художественныя его стремленія. Для новаго че-
ловѣка такъ же невозможно производить надъ своимъ умомъ такіа про-
дѣлки, какъ невозможно для всякаго человѣка вообще укусить свой
собственный локоть. Во первыхъ, чѣмъ ты его запугаешь? А во вто-
рыхъ, зачѣмъ запугивать? Не чѣмъ и не зачѣмъ. Новый человѣкъ вѣ-
ритъ своему уму, и вѣритъ только ему одному; онъ вводитъ свой умъ
во всѣ обстоятельства своей жизни, во всѣ завѣтные уголки своего
чувства, потому что нѣтъ той вещи и нѣтъ того чувства, которое его
умъ могъ бы замарать или опозлить своимъ привосновеніемъ. Когда
ветхіе люди влюбляются, они выдаютъ своему уму безсрочный отпускъ
и, благодаря его отсутствію, дѣлаютъ разныя глупости, которыя очень

часто превращаются въ гадости вовсе нешуточнаго размѣра. Дѣвушку или женщину заставляютъ сдѣлать рѣшительный шагъ, а къ этому времени возвращается изъ своей отлучки разсудокъ — и ветхій человѣкъ, испугавшись послѣдствій своей невинной шутки, обращается въ расчетливое бѣгство и потомъ оправдывается тѣмъ, что онъ самъ себя не помнилъ, что былъ, какъ сумашедшій. Ветхіе люди только и дѣлаютъ, что грѣшати и каятся, и неизвѣстно, когда они бывають подлѣе: когда грѣшати или когда каются.

Новые люди не грѣшати и не каются; они всегда размышляютъ, и потому дѣлають только ошибки въ расчетѣ, а потомъ исправляютъ эти ошибки и избѣгаютъ ихъ въ слѣдующихъ выкладкахъ. У новыхъ людей добро и истина, честность и знаніе, характеръ и умъ оказываются тождественными понятіями; чѣмъ умнѣе новый человѣкъ, тѣмъ онъ честнѣе, потому что тѣмъ меньше ошибокъ вкрадывается въ расчеты. У новаго человѣка нѣтъ причинъ для разлада между умомъ и чувствомъ, потому что умъ, направленный на любимый и полезный трудъ, всегда совѣтуетъ только то, что согласно съ личною выгодною, совпадающею съ истинными интересами человѣчества и, слѣдовательно, съ требованіями самой строгой справедливости и самаго щекотливаго нравственнаго чувства. Основные особенности новаго типа, о которыхъ я говорилъ до сихъ поръ, могутъ быть сформулированы въ трехъ главныхъ положеніяхъ, находящихся въ самой тѣсной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились къ общепользовному труду.

II. Личная польза новыхъ людей совпадаетъ съ общою пользою, и эгоизмъ ихъ вмѣщаетъ въ себя самую широкую любовь къ человѣчеству.

III. Умъ новыхъ людей находится въ самой полной гармоніи съ ихъ чувствомъ, потому что ни умъ, ни чувство ихъ не искажены хроническою враждою противъ остальныхъ людей.

А все это вмѣстѣ можетъ быть выражено еще короче: новыми людьми называются мыслящіе работники, любящіе свою работу. Значить, и злиться на нихъ не зачѣмъ.

V.

Обозначенныя мною особенности новаго типа представляютъ только самые общіе контуры, внутри которыхъ открывается самый широкій просторъ всему безконечному разнообразію индивидуальныхъ стремлений, силъ и темпераментовъ человѣческой природы. Эти контуры тѣмъ и хороши, что они не урѣзываютъ ни одной оригинальной черты и не

навязываютъ человѣку ни одного обязательнаго свойства. Въ этихъ контурахъ уживется и насладится полнымъ счастьемъ каждый человѣкъ, если только онъ не испорченъ до мозга костей, произвольно придуманными аномаліями нашей неестественной жизни. Но такъ какъ эти контуры не могутъ дать читателю полнаго понятія о живыхъ человѣческихкихъ личностяхъ, принадлежащихъ къ новому типу, то я обращаюсь теперь къ роману г. Чернышевскаго и возьму изъ него тотъ эпизодъ, въ которомъ сосредоточивается главный его интересъ. Я постараюсь прослѣдить, какъ развивается въ Вѣрѣ Павловнѣ любовь къ другу ея мужа, Кирсанову, и какъ ведутъ себя въ этомъ случаѣ Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна.

Когда Вѣра Павловна, тайкомъ отъ родителей вышла замужъ за Лопухова, то и мужъ, и жена силою обстоятельствъ были принуждены работать пристрастно и усердно. Надо было спастись отъ нужды; онъ занялся переводами и уроками; она также давала уроки; оба трудились добросовѣстно и мало по малу ввели въ свою жизнь комфортъ и изящество. Когда имъ перестала угрожать нужда, Вѣра Павловна задумалась надъ устройствомъ такой швейной мастерской, въ которой былъ бы совершенно устраненъ элементъ эксплуатаціи работницъ. Задумалась и устроила. Много времени потребовалось на то, чтобы ознакомить работницъ съ новымъ порядкомъ, много нужно было осторожности и искусства, чтобы не озадачить ихъ новизною устройства и не оттолкнуть ихъ отъ небывалаго предпріятія; однако Вѣрѣ Павловнѣ удалось побѣдить всѣ эти трудности, и года черезъ два послѣ своего основанія мастерская доставляла всѣмъ швеямъ возможность имѣть просторную и здоровую общую квартиру, сытный и вкусный столъ, нѣкоторые развлечения и частицу свободнаго времени для умственныхъ занятій. Развѣтѣ и окончательное усовершенствованіе мастерской описаны г. Чернышевскимъ очень ясно, подробно и съ тою сознательною любовью, которую подобныя учрежденія естественнымъ образомъ внушаютъ ему, какъ специалисту по части соціальной науки.

Въ практическомъ отношеніи это описаніе мастерской, дѣйствительно существующей или идеальной — все равно, составляетъ, можетъ быть, самое замѣчательное мѣсто во всемъ романѣ. Тутъ уже самые лютые ретрограды не сумѣютъ найти ничего мечтательнаго и утопическаго, а между тѣмъ этой стороною своей романъ «Что дѣлать?» можетъ произвести столько дѣятельнаго добра, сколько не произвели до сихъ поръ всѣ усилія нашихъ художниковъ и обличителей. Ввести плодотворную идею въ романъ и примѣнить ее именно къ такому дѣлу, которое доступно силамъ женщины — мысль, какъ нельзя болѣе счастливая. Если-бы эта мысль заглохла безъ слѣда, то пришлось-бы изумиться умственной вялости нашего общества съ одной стороны, и силѣ обстоя-

тельствъ, задерживающихъ его развитие—съ другой. Но, отдавая должную справедливость этимъ свойствамъ нашей жизни, нельзя не сказать однако, что совершенно безслѣдно мысль эта могла пройти только развѣ между бретинами. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на нее, не одинъ свѣжій голосъ откликнулся на этотъ призывъ къ дѣятельности, обращенный къ нашимъ женщинамъ. Въ этомъ отношеніи г. Чернышевскій, разрушитель эстетики, оказался единственнымъ нашимъ беллетристомъ, художественное произведеніе котораго имѣло непосредственное вліяніе на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую.

Главнѣйшія основанія въ устройствѣ мастерской Вѣры Павловны заключались въ томъ, что прибыль дѣлилась поровну между всѣми работницами и потомъ расходовалась самымъ экономическимъ и расчетливымъ образомъ: вмѣсто нѣсколькихъ маленькихъ квартиръ нанималась одна большая; вмѣсто того, чтобы покупать съѣстные припасы по мелочамъ, ихъ покупали оптомъ. Для личной жизни Вѣры Павловны устройство мастерской и прежніе труды по урокамъ важны въ томъ отношеніи, что они ограждаютъ ее въ глазахъ читателя отъ подозрѣнія въ умственной пустотѣ. Вѣра Павловна — женщина новаго типа; время ея наполнено полезнымъ и увлекательнымъ трудомъ; стало быть, если въ ней родится новое чувство, вытѣсняющее ея привязанность къ Лопухову, то это чувство выражаетъ собою дѣйствительную потребность ея природы, а не случайную прихоть празднаго ума и блуждающаго воображенія. Возможность этого новаго чувства обуславливается очень тонкимъ различіемъ, существующимъ между характерами Лопухова и его жены. Это различіе, разумѣется, не производитъ между ними взаимнаго неудовольствія, но мѣшаетъ имъ доставать другъ другу полное семейное счастье, котораго оба они имѣютъ право требовать отъ жизни.

Гейне въ своей книгѣ о Берне различаетъ два главные типа людей: одни, страстно и упорно сосредоточивающіе свои силы на одной обожаемой идеѣ, причисляются къ іудейскому типу; другіе, раскидывающіе свои силы во всѣ стороны и вездѣ отыскивающіе себѣ наслажденія, составляютъ типъ эллинскій. Гейне замѣчаетъ, что эти типы находятъ себѣ блестящее воплощеніе въ тѣхъ двухъ народахъ, которымъ они обязаны своими названіями, но что, не смотря на то, они часто перекрещиваются между собою, такъ что коренной іудей оказывается эллиномъ по характеру, а чистѣйшій эллинъ — іудеемъ. Гейне самого себя причисляетъ къ эллинскому типу, а своего строгаго критика Берне считаетъ чистымъ представителемъ типа іудейскаго. Оба типа встрѣчаются всего чаще въ смягченномъ и ослабленномъ видѣ, и очень рѣдко доходятъ до своего полнаго развитія.

Разбирая характеры Лопухова и его жены, я могу сказать, что *онъ* былъ преимущественно іудей, а *она* склонялась къ эллинскому типу.

Она любить цвѣты и картины, любить покушать сливокъ, поныжитья въ теплой и мягкой постели, развлечься оперною музыкою; у него въ кабинетѣ нѣтъ ни цвѣтовъ, ни картинъ; на стѣнѣ висятъ только ея портреты и портретъ «святого старика», Роберта Оуэна; онъ много работаетъ, а веселится рѣдко, и воодушевляется только тогда, когда заходитъ рѣчь о его обожаемой идеѣ, о той идеѣ, съ которою связаны имена Оуэна, Фурье и цѣлаго ряда другихъ истинныхъ друзей человѣчества. Эти внѣшнія различія служатъ признаками болѣе глубокихъ внутреннихъ различій. Ей необходимо постоянное присутствіе любимаго чловѣка, постоянно согрѣвающее вліяніе его ласки и нѣжности, постоянное участіе его въ ея работахъ и въ ея забавахъ, въ ея серьезныхъ размышленіяхъ и въ ея полуребяческихъ шалостяхъ. Въ немъ, напротивъ того, нѣтъ потребности въ каждую данную минуту жить съ нею одною жизнью, участвовать въ каждой ея радости, дѣлить поровну каждое впечатлѣніе. Онъ всегда поможетъ ей въ минуту раздумья или огорченія; онъ подойдетъ къ ней, если она позоветъ его, въ минуту веселья, но подойдетъ или по ея призыву, или потому, что безъ ея словъ угадаетъ ея желаніе; въ немъ самомъ нѣтъ внутренняго влеченія къ тѣмъ удовольствіямъ, которыя любитъ она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточиваться; онъ самъ говоритъ о себѣ, что отдыхаетъ только тогда, когда остается совершенно одинъ. Стало быть, въ семейной жизни Лопуховыхъ непремѣнно одинъ изъ супруговъ долженъ былъ въ угоду другому подавлять личную особенность своего характера. При такихъ условіяхъ полное счастье любви совершенно невозможно, тѣмъ болѣе, что такіе люди, какъ Лопуховы, превосходно понимаютъ условія настоящаго счастья и по высотѣ своей умственной организаціи и своего развитія неизбѣжно оказываются очень требовательными въ отношеніи всѣхъ процессовъ психической жизни. Когда къ аккорду любви примѣшивается малѣйшій фальшивый звукъ, соотвѣтствующій едва замѣтному стѣсненію одной изъ любящихся личностей, тогда весь аккордъ оказывается диссонансомъ, и диссонансъ этотъ дѣлается тѣмъ томительнѣе и тяжелѣе, чѣмъ выше и тоньше организація заинтересованныхъ лицъ. Когда умный и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчастливить другъ друга и не могутъ достигнуть этого, и видятъ бесплодность своихъ усилій, то оба становятся мучениками; чтобы выйти изъ этого страшно-драматическаго положенія, имъ необходимо разстаться, какъ бы ни было велико ихъ взаимное уваженіе, и какъ бы ни была сильна связывающая ихъ дружба.

Только на четвертый годъ своего замужества Вѣра Павловна начинаетъ чувствовать, что какія-то потребности ея душевной жизни остаются неудовлетворенными; это смутное чувство неудовлетворенія долго остается несознаннымъ, потому что жизнь Вѣры Павловны въ родитель-

комъ домѣ была очень тяжела; вырвавшись, какъ она говорить, «пзт. подвала», она рада была воздуху свободы, она была полна признательности къ своему освободителю, не смотря на то, что и она, и освободитель ея совершенно справедливо считаютъ признательность унижающимъ чувствомъ, которое поработаетъ одного человѣка и оскорбляетъ другого. Четыре года разумной и свободной жизни развернули богатые способности Вѣры Павловны, изгладили тяжелыя воспоминанія о подвалѣ и дали нашей героинѣ возможность относиться совершенно непринужденно, безъ всякой примѣси признательности къ личности освободителя, который конечно самъ былъ особенно радъ тому, что пропала низкая признательность и явилось совершенно свободное уваженіе. Но уваженіе и признательность Вѣры Павловны къ своему доброму и умному мужу такъ сильны, что она приходитъ въ совершенный ужасъ, когда въ голову ея закрадывается сомнѣніе въ томъ: дѣйствительно ли она его любитъ, и дѣйствительно ли она съ нимъ счастлива.

«Вѣра Павловна просыпается съ этимъ восклицаніемъ, и быстрѣе, чѣмъ сознала она, что видѣла только сонъ, и что она проснулась, она уже вскочила, она бѣжитъ.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мнѣ снился страшный сонъ! Она жметъ къ мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нѣженъ со мною, защити меня!

— Вѣрочка, что съ тобой? Мужъ обнимаетъ ее. — Ты вся дрожишь. Мужъ цѣлуетъ ее. — У тебя на щекахъ слезы, у тебя холодный потъ на лбу. Ты босая бѣжала по холодному полу, моя милая, я цѣлую твои ножки, чтобы согрѣть ихъ.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Мнѣ снился гадкій сонъ, мнѣ снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, какъ не меня? Нѣтъ, это пустой, смѣшной сонъ!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, цѣлуй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крѣпко обнимаетъ мужа, вся жметъ къ нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпаетъ, цѣлуя его.

Въ это утро, Дмитрій Сергѣичъ (Допуховъ) не идетъ звать жену пить чай: она здѣсь, прижавшись къ нему; она еще спитъ; онъ смотритъ на нее и думаетъ: «что это такое съ ней, чѣмъ она была испугана, откуда этотъ сонъ?»

Новые люди никогда ничего не требуютъ отъ другихъ; имъ самимъ необходима полная свобода чувствъ, мыслей и поступковъ, и потому они глубоко уважаютъ эту свободу въ другихъ. Они принимаютъ другъ отъ друга только то, что дается, — не говорю добровольно, — этого мало, но съ радостью, съ полнымъ и живымъ наслажденіемъ. Понятіе жертвы

и стѣсненія совершенно не имѣютъ себѣ мѣста въ ихъ міросозерцаніи. Они знаютъ, что человѣкъ счастливъ только тогда, когда его природа развивается въ полной своей оригинальности и неприкосновенности; поэтому они никогда не позволяютъ себѣ вторгаться въ чужую жизнь съ личными требованіями или съ навязчивымъ участіемъ. Вѣра Павловна въ приведенной сценѣ требуетъ отъ мужа ласки и нѣжности, и онъ, разумѣется, съ радостію исполняетъ ея желанія; но *требуетъ* или проситъ она только потому, что не помнитъ себя отъ испуга; въ нормальномъ положеніи она ничего не станетъ требовать; ей будетъ казаться, что мужъ ласкаетъ ее не по собственному влеченію, не для себя, а для нея, и когда появится эта мысль, тогда ей будетъ тяжело и, наконецъ невозможно принимать тѣ самыя ласки, которыя составляютъ однако потребность ея любящей природы. Лопуховъ понимаетъ это и потому задумывается надъ ея сномъ и надъ происшедшею между ними сценою.

Черезъ мѣсяцъ послѣ страшнаго сна происходитъ слѣдующая сцена, находящаяся въ прямой связи съ предъидущею.

— «Вѣрочка, милая моя, что ты задумчива?

Вѣра Павловна плачетъ и молчитъ. — Нѣтъ, — она утерла слезы, — нѣтъ, не ласкай, мой милый! Довольно. Благодарю тебя! — и она такъ вротко и искренно смотритъ на него: — благодарю тебя, ты такъ добръ ко мнѣ.

— Добръ, Вѣрочка? Что это, какъ это?

— Добръ, мой милый; ты добрый».

Теперь уже никакія силы, никакія старанія не могутъ возстановить нарушенной гармоніи любви. Когда женщина думаетъ, что мужчине ласкаетъ ее по своей добротѣ, вся ея законная гордость возмущается противъ этой обидной доброты, вся ея деликатность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любить, тотъ непременно хочетъ, чтобы любовь доставляла равныя наслажденія ему и другому. Гдѣ это условіе не соблюдено, тамъ мужчина и женщина могутъ быть друзьями, могутъ уважать другъ друга, но любви между ними не можетъ и не должно существовать, потому что любовь была бы нерабоченіемъ для одного изъ нихъ и несчастіемъ для обоихъ. Черезъ два дня натянутость положенія становится еще замѣтнѣе.

«Мужъ сидитъ подлѣ нея, обнявъ ее...

«Да, это не то. Во мнѣ нѣтъ того», думаетъ Лопуховъ.

«Какой онъ добрый, каная я неблагодарная!» думаетъ Вѣра Павловна.

Вотъ что они думаютъ.

Она говоритъ: — мой милый, иди къ себѣ, занимайся или отдохни, — и хочетъ сказать, и умѣетъ сказать эти слова простымъ неулыбчивымъ тономъ.

— Зачѣмъ же, Вѣроника, ты гонишь меня? мнѣ и здѣсь хорошо, — и хочеть, и умѣеть сказать эти слова простыми, веселыми тономъ.

— Нѣтъ, иди, мой милый. Ты довольно дѣлаешь для меня. Иди, отдохни.

Онъ цѣлуетъ ее, и она забываетъ свои мысли, и ей опять такъ сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый, говорить она».

То, что происходитъ между Лопуховымъ и его женою, не бросаетъ ни малѣйшей тѣни ни на него, ни на нее. Съ ихъ стороны не было даже ошибки въ выборѣ, потому что обстоятельства добраго стараго времени, окружавшія Вѣру Павловну въ родительскомъ домѣ, дѣлали всякій свободный выборъ, всякое колебаніе и даже всякое промедленіе совершенно невозможными. Ей надо было прежде всего вырваться изъ подвала; ему, какъ честному человѣку, надо было прежде всего высвободить ее изъ невыносимаго положенія. Если бы, при такихъ условіяхъ, они стали внимательно изучать другъ друга, да исследовать тончайшія особенности характеровъ, то ихъ надо было бы назвать старыми тряпками, вродѣ Рудина, а никакъ не свѣжими людьми новаго типа. Они видѣли другъ въ другѣ честныхъ и умныхъ людей, братьевъ по взгляду на жизнь; этого было совершенно достаточно для того, чтобы онъ смѣло протянулъ ей руку, и для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. Этотъ образъ дѣйствій былъ совершенно согласенъ съ ихъ характерами, и онъ самъ по себѣ былъ безусловно хорошъ. Теперь изъ этого образа дѣйствій развиваются послѣдствія, одинаково тягостныя для Лопухова и для его жены. Вѣтхіе люди не стѣмѣли бы справиться съ этими послѣдствіями; они стали бы обвинять и мучить другъ друга, когда ни тотъ, ни другой ни въ чемъ не виноваты; они стали бы дѣйствовать наперекоръ собственной своей природѣ, и, разумѣется, изъ этихъ неестественныхъ и неразумныхъ усилій не вышло бы ничего, кромѣ безплоднаго страданія; они съ тупою покорностію склонили бы голову передъ такъ называемымъ рѣшеніемъ судьбы, между тѣмъ какъ въ ихъ собственныхъ рукахъ находились бы всѣ средства завоевать себѣ полное и прочное счастье. Новые люди въ подобныхъ случаяхъ поступаютъ совершенно иначе; они спокойно и внимательно осматриваютъ свое положеніе, убѣждаются, что оно дѣйствительно тяжело, стараются передѣлать не природу, а обстоятельства, и, благодаря своимъ разумнымъ усиліямъ, всегда находятъ себѣ счастливый выходъ изъ самыхъ серьезныхъ затрудненій. Цѣльность природы, гармонія между умомъ и чувствомъ и постоянное присутствіе духа должны непремѣнно преодолевать такіа препятствія, передъ которыми вѣтхіе люди останавливаются въ недоумѣніи и приходятъ въ безвыходное отчаяніе.

VI.

Вѣра Павловна надѣется снова найти себѣ счастье и спокойствіе въ серьезной и заботливой любви своего мужа, но Лопуховъ, какъ человѣкъ болѣе опытный, понимаетъ, что надѣяться поздно. Ему тяжело отказываться отъ того, что онъ считалъ своимъ счастьемъ, но онъ не ребенокъ и не старается поймать луну руками. Онъ видитъ, что причины разлада лежатъ очень глубоко, въ самыхъ основахъ обонихъ характеровъ, и потому онъ старается не о томъ, чтобы кое-какъ заглушить разладъ, а, напротивъ, о томъ, чтобы радикально исправить бѣду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться отъ своихъ отношеній къ любимой женщинѣ. Тутъ нѣтъ никакого сверхъестественнаго героизма; тутъ только ясный и вѣрный расчетъ. Когда благоразумный человѣкъ раненъ и когда пуля засѣла въ его ранѣ, онъ не говоритъ доктору: «залечите мнѣ рану», а говоритъ напротивъ того: «углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». Когда рану изслѣдуютъ зондомъ, пациенту очень больно; но ему гораздо выгоднѣе перенести эту сильную боль, чѣмъ оставить въ своемъ тѣлѣ пулю и имѣть въ перспективѣ антоновъ огонь или что нибудь въ этомъ родѣ. Лопуховъ ясно понимаетъ свое положеніе и потому постоянно дѣйствуетъ такъ, какъ люди, неумѣющіе мыслить, дѣйствуютъ только во время рѣдкихъ и случайныхъ припадковъ слѣпного героизма. Ему очень тяжело, но даже въ это тяжелое время ему приходится испытать минуты такого глубокаго наслажденія, о какомъ иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не составитъ себѣ даже приблизительнаго понятія.

«Позволишь-ли ты мнѣ, (говоритъ онъ Вѣрѣ Павловнѣ) просить тебя, чтобы ты побольше рассказала мнѣ объ этомъ смѣ, который такъ напугалъ тебя?»

— Мой милый, теперь я не думала о немъ. И мнѣ такъ тяжело вспоминать его.

— Но, Вѣрочка, быть можетъ, мнѣ полезно будетъ знать его.

— Изволь, мой милый. Мнѣ снилось, что я скучаю отъ того, что не поѣхала въ оперу, что я думаю о ней, о Бозіо; во мнѣ пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозіо, и которая все приталась отъ меня; она заставила меня читать мой дневникъ; тамъ было написано все только о томъ, какъ мы съ тобой любимъ другъ друга, а когда она дотрогивалась рукою до страницъ, на нихъ показывались новыя слова, говорившія, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой другъ, что я еще спрошу тебя: ты только видѣла во смѣ?

— Милый мой, если бы не только, развѣ я не сказала бы тебѣ? Вѣдь я это тогда же тебѣ сказала.

Это было сказано такъ нѣжно, такъ искренно, такъ просто, что Лопуховъ почувствовалъ въ груди волненіе теплоты и сладости, котораго всю жизнь не забудетъ тотъ, кому счастье дало испытать его. О, какъ жаль, что немногіе, очень немногіе мужья могутъ знать это чувство! Всѣ радости счастливой любви ничто передъ нимъ; оно навсегда наполняетъ чистѣйшимъ довольствомъ, самою святою гордостью сердце человѣка.

Въ словахъ Вѣры Павловны, сказанныхъ съ нѣкоторой грустью, слышался упрекъ; но вѣдь смыслъ этого упрека былъ: «мой другъ, неужели ты не знаешь, что ты заслужилъ полное мое довѣріе? Жена должна скрывать отъ мужа тайныя движенія своего сердца: таковы уже тѣ отношенія, въ которыхъ они стоятъ другъ въ другу. Но ты, мой милый, держалъ себя такъ, что отъ тебя не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто передъ тобою, какъ передо мною самой». Это великая заслуга въ мужѣ; эта великая награда покупается только высочайшимъ нравственнымъ достоинствомъ; и кто заслужилъ ее, тотъ въ правѣ считать себя человѣкомъ безукоризненнаго благородства, тотъ смѣло можетъ надѣяться, что совѣсть его чиста и всегда будетъ чиста, что мужество никогда ни въ чемъ не измѣнитъ ему, что во всѣхъ испытаніяхъ, всякихъ, какихъ бы то ни было, онъ останется спокоенъ и твердъ, что судьба почти невластна надъ міромъ его души, что съ той поры, какъ онъ заслужилъ эту великую честь, до послѣдней минуты жизни, какихъ бы ударамъ не подвергался онъ, онъ будетъ счастливъ сознаніемъ своего человѣческаго достоинства. Мы теперь довольно знаемъ Лопухова, чтобы видѣть, что онъ былъ человѣкъ не сентиментальный; но онъ былъ такъ тронутъ этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Вѣрочка, другъ мой, ты упрекнула меня, — его голосъ дрожалъ во второй разъ въ жизни и въ послѣдній разъ; въ первый разъ голосъ его дрожалъ отъ сомнѣнія въ своемъ предположеніи, что онъ отгадалъ, теперь дрожалъ отъ радости: ты упрекнула меня, но этотъ упрекъ мнѣ дороже всѣхъ словъ любви. Я оскорбилъ тебя своимъ вопросомъ; но какъ я счастливъ, что мой дурной вопросъ далъ мнѣ такой упрекъ. Посмотри, слезы на моихъ глазахъ, съ дѣтства первыя слезы въ моей жизни.

Онъ цѣлый вечеръ не сводилъ съ нея глазъ, и ей ни разу не приходилось въ этотъ вечеръ, что онъ дѣлаетъ надъ собою усиліе, чтобы быть нѣжнымъ, и этотъ вечеръ былъ однимъ изъ самыхъ радостныхъ въ ея жизни, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ».

Да; надо быть недюжиннымъ человѣкомъ, чтобы пріобрѣсти полную довѣренность другого человѣка, и надо быть еще болѣе недюжиннымъ

человѣкомъ, чтобы, убѣдившись въ существованіи этой довѣренности, такъ глубоко прочувствовать ту святую радость, которую испытать Лопуховъ. Въ этой радости нѣтъ ничего своекорыстнаго; на ней Лопуховъ не основываетъ никакой практической надежды; послѣ разговора съ женою онъ серьезнѣе прежняго задумывается надъ ихъ общимъ положеніемъ и задаетъ себѣ не тотъ вопросъ: «любитъ ли она его или нѣтъ?» а тотъ: «изъ какого отношенія явилось въ ней предчувствіе, что она не любитъ его?» Психологическая задача, требующая отъ него разрѣшенія, нисколько не измѣняется въ его глазахъ вслѣдствіе того упрека Вѣры Павловны, который возбудилъ въ немъ чувство гордой и мужественной радости; стало быть, радость его основана исключительно на томъ обстоятельстве, что ему всего дороже достоинство собственной личности; а кому это достоинство такъ дорого, кто способенъ такъ сильно радоваться, когда это достоинство встрѣчаетъ себѣ справедливую оцѣнку со стороны любимыхъ и уважаемыхъ личностей, тотъ, разумеется, пройдетъ спокойно и твердо черезъ всякія испытанія; потому что никакія испытанія не могутъ отнять или испортить у него то, чѣмъ онъ дѣйствительно дорожитъ больше всего на свѣтѣ. Когда пустой и слабый человѣкъ слышитъ лестный отзывъ насчетъ своихъ сомнительныхъ достоинствъ, онъ упивается своимъ тщеславіемъ, зазнается и совсѣмъ теряетъ свою крошечную способность относиться критически къ своимъ поступкамъ и къ своей особѣ. Напротивъ того, человѣкъ съ сильнымъ умомъ и съ твердою волею, получая себѣ заслуженную дань уваженія, испытываетъ глубокую и вѣдѣтъ спокойную радость, которая удваиваетъ его бдительность надъ собою, его внимательность къ чистотѣ своей личности и его непоколебимую рѣшимость идти впередъ по тому же неизмѣнному пути правильнаго расчета.

Въ психологическомъ отношеніи чрезвычайно вѣрно то обстоятельство, что Лопуховъ послѣ разговора съ Вѣрою Павловною еще разъ вдумывается въ ея положеніе и наконецъ отыскиваетъ изъ него выходъ. Радость освѣтила весь его организмъ и усилила дѣятельность его мысли; испытавъ эту радость, онъ и себя, и жену, и весь міръ любить сильнѣе, чѣмъ за минуту передъ тѣмъ; а когда вся душа человѣка потрясена приливомъ всеобъемлющей любви и переполнена чистѣйшимъ счастьемъ самоуваженія, въ его мысляхъ нѣтъ мѣста узкому своекорыстію; онъ разрѣшаетъ затрудненія быстро и безстрашно, потому что въ такія минуты онъ готовъ идти на встрѣчу всякимъ страданіямъ, лишь бы только эти страданія навсегда упрочили за нимъ право считать себя честнымъ человѣкомъ. Продумавъ часовъ до трехъ ночи, Лопуховъ убѣждается, что у жены его возникаетъ любовь къ Кирсанову; анализируя характеръ Кирсанова, Лопуховъ замѣчаетъ, что въ этомъ характерѣ есть свойства, которыя необходимы для Вѣры Пав-

ловны и которых нѣтъ у него, Лопухова. Всматриваясь въ поведеніе Кирсанова, Лопуховъ находитъ въ немъ такіе факты, которые заставляютъ его думать, что Кирсановъ давно уже любитъ Вѣру Павловну. Года три тому назадъ Кирсановъ, постоянно бывавшій въ домѣ Лопуховыхъ, вдругъ отдалился отъ нихъ, прикрывая свое отступленіе какими-то несостоятельными предлогами. Приглашенный недавно къ Лопухову, по случаю болѣзни послѣдняго, онъ снова сблизился съ нимъ и съ его женою, но потомъ опять отшатнулся отъ ихъ дома. Сближая всѣ эти обстоятельства, Лопуховъ рѣшаетъ, что Кирсановъ любитъ его жену и держится вдали отъ нея, чтобы какимъ нибудь неосторожнымъ словомъ или взглядомъ не нарушить спокойствіе женщины, пользующейся, по его мнѣнію, полнымъ семейнымъ счастьемъ. Передъ Лопуховыми лежатъ теперь двѣ дороги: во-первыхъ, онъ можетъ оставаться въ положеніи строгаго нейтралитета. Кирсановъ не будетъ ихъ посѣщать; зарождающееся чувство Вѣры Павловны заглухнетъ во время его отсутствія, и семейная жизнь Лопуховыхъ пойдетъ своимъ обычнымъ порядкомъ. Во-вторыхъ, онъ можетъ своимъ вмѣшательствомъ измѣнить ходъ событій. Онъ скажетъ Кирсанову, чтобы тотъ бывалъ у нихъ по прежнему, чувство Вѣры Павловны разовьется, и жизнь ея наполнится радостями взаимной любви.

Проницательный читатель скажетъ, что пойти по второй дорогѣ можетъ только сумасбродъ, что это и глупо, и безнравственно, и чортъ знаетъ на что похоже. Посудите сами, мужъ приглашаетъ къ себѣ въ домъ человѣка, котораго прочитъ въ любовники къ своей женѣ. Хорошъ мужъ, и хороша жена, и хорошо третье лицо! — Ну, когда ветхій человѣкъ или проницательный читатель облегчитъ свою нереполненную грудь громкими возгласами и наговоритъ намъ значительное количество жалкихъ словъ, я возьму на себя смѣлость замѣтить, что прямая обязанность Лопухова состояла въ томъ, чтобы пойти по этой второй дорогѣ и что кромѣ того на ту же самую дорогу указывалъ ему прямой и ясный расчетъ. По расчету выходитъ такъ: Лопуховъ знаетъ, что самъ не можетъ составить счастья своей жены, стало быть ихъ семейная жизнь будетъ тягостна для обоихъ, и кромѣ того, рано или поздно можетъ случиться, что Вѣра Павловна съ горя влюбится въ такого человѣка, который будетъ во всѣхъ отношеніяхъ хуже Кирсанова. Если же она полюбитъ Кирсанова, то тягостное положеніе будетъ разрушено къ обоюдной выгодѣ Лопуховыхъ, которые оба должны желать его прекращенія. Конечно было бы лучше, если бы Вѣра Павловна могла вполне удовлетвориться любовью своего мужа; но такъ какъ это, судя по даннымъ характеристамъ, невозможно, то объ этомъ нечего и толковать. Требования честности въ этомъ случаѣ формируются такъ: человѣкъ не имѣетъ права отнимать счастье у другаго человѣка ни сво-

ими поступками, им словами, им даже молчаніемъ. Если отъ нѣсколькихъ словъ одного зависить счастье другого, и если первый не приноситъ этихъ словъ, то онъ крадетъ чужое счастье и этимъ поступкомъ мараетъ свою личность. Если онъ станетъ говорить въ свое оправданіе, что онъ ничего не дѣлалъ, что онъ умывалъ руки и оставался нейтральнымъ, то замазываетъ себя еще свѣжѣе, потому что такіе жалкіе софизмы каждому честному человѣку покажутся достойными презрѣнія. Лопуховъ могъ бы пойти по первой дорогѣ только въ томъ случаѣ, если бы надѣялся удержать за собою нѣжность своей жены; есть дѣйствительно такіе люди, которые надѣются до послѣдней минуты и поддерживаютъ въ себѣ надежду всякими правдами и неправдами, потому что у нихъ не достаетъ мужества взглянуть въ лицо непріятной дѣйствительности; вслѣдствіе этого, дѣйствительность всегда захватываетъ ихъ врасплохъ, и событія играютъ ими, какъ пѣшками; если Лопуховъ не принадлежалъ къ породѣ этихъ слабодушныхъ оптимистовъ, то, мнѣ кажется, это дѣлаетъ честь тонкости его ума и силъ его характера. А если онъ не былъ оптимистомъ, то ему оставалось только ѣхать къ Кирсанову. Онъ ѣдетъ къ нему на другой день послѣ приведенной мною послѣдней сценки съ женою. Чтобы сдѣлать такой рѣшительный шагъ, даже очень крѣпкому человѣку необходимо собрать всю свою энергію; энергія Лопухова была возбуждена до крайнихъ предѣловъ тою радостью, которую причинилъ ему ласковый упрекъ Вѣры Павловны; процессъ мысли былъ у него таковъ: когда мнѣ такъ безусловно довѣряютъ, надо дѣйствительно вполне оправдывать это довѣріе, и вотъ, находясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ обаятельнаго упрека, Лопуховъ начинаетъ дѣйствовать. Кирсановъ при первыхъ, совершенно невинныхъ, словахъ своего друга вспыхиваетъ и обнаруживаетъ самое лютое негодованіе; но Лопуховъ не только не унимается, а напротивъ того утешаетъ яростнаго Кирсанова и заставляетъ его поступать такъ, какъ онъ, Лопуховъ, того хочетъ. Эта цѣль достигается, конечно, не посредствомъ аргументація, а посредствомъ слѣдующаго простаго и невиннаго предположенія; положимъ, говорить Лопуховъ, что существуютъ три человѣка,—предположеніе, не заключающее въ себѣ ничего невозможнаго;—предположимъ, что у одного изъ нихъ есть тайна, которую онъ желалъ бы скрыть и отъ втораго, и въ особенности отъ третьяго; предположимъ, что второй угадываетъ эту тайну перваго и говоритъ ему: «дѣлай то, о чемъ я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Какъ ты думаешь объ этомъ случаѣ?» На аргументы Кирсановъ не сдавался, но при этомъ предположеніи онъ кладетъ оружіе. «Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрій, говоритъ онъ. Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но въ свою очередь я налагаю на тебя одно условіе. Я буду бывать у васъ; но если я отиравлюсь изъ твоего дома

не одинъ, то ты обязанъ сопровождать меня повсюду; и чтобъ я не имѣла надобности звать тебя, слышишь? самъ ты, безъ моего зова. Безъ тебя я никуда ни шагу—ни въ оперу, ни къ кому изъ знакомыхъ, никуда». Лопуховъ понимаетъ, что Карсановъ хочетъ непремѣнно сблизить его съ женою, и свиданіе невольныхъ соперниковъ по любви кончается тѣмъ, что они, въ первый разъ въ жизни, обнимаются и цѣлуются.

VII.

Ту сцену, въ которой Вѣра Павловна объявляетъ Лопухову, что любить Карсанова, необходимо передать подлинными словами автора. Иначе невозможно изобразить ту удивительную теплоту и нѣжность чувства, которую обнаруживаетъ при этомъ случаѣ суровый человѣкъ новаго типа, человѣкъ, завиданный со всѣхъ сторонъ безсмысленными обвиненіями въ черствости сердца и въ узкой расудочности. Тутъ дѣло идетъ не о романѣ, даже не о г. Чернышевскомъ; тутъ надо отстоять отъ тупой или злонамѣренной клеветы тотъ типъ людей, который одинъ можетъ освѣжить жалкую рутину нашей безсмысленной жизни.

... проговорила: «Милый мой, я люблю его», и зарыдала.

— Чтожъ такое, моя милая? Чѣмъ же тутъ огорчаться тебѣ?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени, и увидишь, что можешь и чего не можешь. Вѣдь ты ко мнѣ очень сильно расположена, какъ же ты можешь обидѣть меня?—Онъ гладилъ ея волосы, цѣловалъ ея голову, пожималъ ея руку. Она долго не могла остановиться отъ судорожныхъ рыданій, но постепенно успокоилась. А онъ уже давно былъ приготовленъ къ этому привнанію, потому и принялъ его хладнокровно, а впрочемъ вѣдь ей не видно было его лица.

— Я не хочу съ нимъ видѣться, я скажу ему, чтобы онъ пересталъ бывать у насъ, говорила Вѣра Павловна.

— Какъ сама разсудишь, мой другъ, какъ лучше для тебя, такъ и сдѣлаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Вѣдь мы съ тобою, чтобы не случилось, не можемъ не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, какъ хорошо жмешь.... Каждое изъ этихъ словъ говорилось послѣ долгаго промежутка, а промежутки были наполнены тѣмъ, что онъ гладилъ ея волосы, ласкалъ ее, какъ братъ огорченную сестру. — Помнишь, мой другъ, что ты мнѣ сказала, когда мы стали женихъ и невѣста? «Ты выпускаешь меня на волю».—Опять молчаніе и ласка. — Помнишь, какъ мы съ тобою говорили въ первый разъ, что

значить любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, имѣть удовольствіе въ томъ, чтобы дѣлать все, что нужно, чтобы ему было лучше, такъ! — Опять молчаніе и ласки. — Что тебѣ лучше, то и меня радуетъ. Но ты посмотришь, какъ тебѣ лучше. За-чѣмъ же огорчаться? Если съ тобою нѣтъ бѣды, какая бѣда можетъ быть со мною?».

Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу доказывать ему, что вы-писанная мною сцена дышетъ жизнью и правдою, и что каждый умный и честный человекъ, поставленный въ положеніе Лопухова, будетъ держать себя точно такимъ же образомъ; я не хочу доказывать ему, что въ этой сценѣ нѣтъ ни капли идеализаціи, и что нѣжность и мягкость чувства составляютъ естественную принадлежность неисторченной чело-вѣческой природы. Все это читатель самъ долженъ передумать и пере-чувствовать при чтеніи превосходныхъ строкъ романа. А кто до этого не додумается и не почувствуется, тому я объяснять не намѣренъ. На той дорогѣ, по которой идетъ Лопуховъ, нѣтъ возможности остановиться или повернуть назадъ. Когда, при его содѣйствіи, развилось и со-зрѣло чувство Вѣры Павловны къ Кирсанову, ему, конечно, оставалось только содѣйствовать этому чувству до конца и устранять всѣ встрѣ-чающіяся препятствія. Этого требовала отъ него самая простая логика, выразившаяся въ извѣстной пословицѣ: «взявшись за гузъ, не говори, что не дюжъ». Пока онъ не брался за гузъ, пока онъ не вмѣшивался въ поступки Кирсанова, до тѣхъ поръ онъ могъ выбирать тотъ или другой образъ дѣйствій, и если бы онъ рѣшился оставаться нейтраль-нымъ вмѣсто того, чтобы поступать активно, то мы могли бы только порицать его за ошибочность расчета, но не имѣли бы права отно-ситься съ презрѣніемъ къ его личности. Мы перемѣнили бы къ худ-шему наше мнѣніе объ умѣ Лопухова, но всѣ нравственные достоинства, способныя ужиться съ дюжиннымъ умомъ, остались бы при немъ въ полной неприкосновенности. Послѣ разговора своего съ Кирсановымъ, Лопуховъ перешелъ черезъ Рубиконъ; онъ взялъ въ свои руки счастье двухъ людей, и если бы, послѣ этого, онъ оплошалъ въ какомъ нибудь отношеніи, то эта оплошность была бы грязною измѣною, позорнымъ банкротствомъ въ нравственномъ отношеніи. Можетъ быть, это бан-кротство было бы не злостное, а только неосторожное, но это не оправ-дывало бы Лопухова. Кто позволяетъ себѣ быть неосторожнымъ на чужой счетъ, тотъ не можетъ считать себя честнымъ человекомъ. Кто не испыталъ своихъ силъ, кто не можетъ на себя положиться, тотъ не имѣетъ никакого права вмѣшиваться въ судьбу другого лица.

Все это я говорю, чтобы доказать читателю, что въ образѣ дѣй-ствій Лопухова не было такихъ проявленій героизма, которыя возвы-шались бы надъ уровнемъ простой честности, обязательной для каж-

даго порядочнаго человѣка. Лопуховъ только развилъ въ своихъ поступкахъ тотъ рядъ послѣдствій, который совершенно логично и неизбежно вытекаетъ изъ его перваго рѣшенія, а логичность и послѣдовательность поступковъ составляетъ, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждаго человѣка, способнаго распорядиться своимъ годовнымъ мозгомъ. Я очень хорошо знаю, что большинство современныхъ людей, считающихъ себя вполне порядочными, противорѣчатъ себѣ на каждомъ шагѣ въ словахъ и въ поступкахъ. Человѣкъ, набѣгающій слишкомъ явнымъ противорѣчій самому себѣ, провозглашается въ настоящее время чуть-чуть не гениемъ по уму, и ужъ во всякомъ случаѣ героемъ по характеру. Но это доказываетъ только, что у современныхъ людей способность размышлять находится почти въ совершенномъ бездѣйствіи. Головной мозгъ считается безполезнѣйшею частью человѣческаго тѣла. Онъ растетъ и развивается по неизмѣннымъ законамъ природы точно такъ, какъ растетъ и развивается на межѣ поляны и черныбыльникъ; на него дѣютъ и выдаютъ всякія нечистоты; никто не обращаетъ вниманія на то, что ему вредно или полезно, и потому, конечно, онъ чахнетъ и искажается, такъ что здоровый и сильный мозгъ считается рѣдкимъ исключеніемъ и внушаетъ къ себѣ глубочайшее уваженіе. Хороша послѣдовательность! Сначала дѣло ведется такъ, какъ будто бы надо было нарочно извратить всѣ человѣческіе умы, а потомъ начинается благоговѣніе передъ тѣми немногими умами, которые, по какому нибудь случаю, не успѣли извратиться. До сихъ поръ люди всегда относились въ массѣ своей породы съ глубокимъ презрѣніемъ, и всегда были расположены ползать на колѣняхъ передъ счастливыми исключеніями, которыя только потому были и остаются рѣдкими исключеніями, что масса не знала и не знаетъ себѣ цѣны и безразсудно пренебрегала и пренебрегаетъ своими естественными богатствами. Такіе люди, какъ Лопуховъ, въ настоящее время рѣдки, но такіе люди нисколько не выше обыкновеннаго человѣческаго роста. Каждый человѣкъ, не родившійся идиотомъ, можетъ развить въ себѣ мыслительную способность, можетъ укрѣпить ее полезнымъ трудомъ, можетъ возвыситься до правильнаго и яснаго пониманія своихъ отношеній къ людямъ, и когда это будетъ исполнено, поступки Лопухова будутъ казаться ему совершенно простыми и естественными, и онъ будетъ спрашивать съ искреннимъ недоумѣніемъ: да развѣ же можно было поступить иначе? Дѣйствительно, иначе поступить нельзя; кто въ положеніи Лопухова сдѣлаетъ меньше, чѣмъ сдѣлалъ Лопуховъ, тотъ перестанетъ быть честнымъ человѣкомъ, а удержать за собою достоинство честнаго человѣка не значитъ еще совершить геройскій подвигъ.

Когда Лопуховъ замѣтилъ, что Вѣра Павловна худѣетъ и блѣднѣетъ отъ напрасныхъ усилій преодолѣть свое чувство, онъ магео и осто-

рожно предложилъ ей отказаться отъ тяжелой борьбы; Вѣра Павловна разгнѣвалась на него за это предложеніе, но потомъ черезъ нѣсколько времени объявила ему, что борьба становится для нея дѣйствительно невыносимою; Лопуховъ, почувствовать, что его присутствіе можетъ сдѣлаться мучительнымъ для Вѣры Павловны; онъ ухаживалъ на нѣсколько недѣль; на его мѣстѣ всякій порядочный человѣкъ поступилъ бы точно также, потому что порядочному человѣку чрезвычайно непріятно мучить своимъ присутствіемъ кого бы то ни было. Возвратившись изъ своей непродолжительной отлучки, Лопуховъ увидѣлъ, что ему лучше было бы совсѣмъ не возвращаться; онъ понялъ — и пенять было вовсе не трудно — что его присутствіе и даже его существованіе ставятъ между Кирсановымъ и Вѣрою Павловною такую преграду, черезъ которую конечно перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо пріятнѣе было бы совершенно устранить. Пока Лопуховъ передъ обществомъ и передъ закономъ сохраняетъ въ отношеніи къ Вѣрѣ Павловнѣ права мужа, до тѣхъ поръ Кирсановъ и Вѣра Павловна принуждены даже передъ ближайшими знакомыми играть недѣлнѣйшую комедію, которая только утомляетъ актеровъ, не обманывая рѣшительно никого. Самому Лопухову также предстоитъ мало удовольствій. Въ этой недѣлнѣйшей комедіи ему приходится играть неблагодарную роль щита, подставного мужа и подставного отца. Самый узкій эгоистъ, въ томъ смыслѣ, какъ это слово понимается отсталыми рутинерами, — самый узкій эгоистъ, говорю я, поставленный на мѣсто Лопухова, пожелалъ бы, ради своего личнаго комфорта, развязаться съ супружескими правами, потерявшими всякое фактическое значеніе. А развязаться можно или разводомъ, или смертію; но разводъ невозможенъ, потому что дѣло это затруднительно и хлопотливо, и сопряжено съ непріятною огласкою; стало быть, остается смерть: но, во-первыхъ, всякому порядочному человѣку жизнь такъ дорога, что онъ рѣшится разбить ее только въ случаѣ самой крайней необходимости; во-вторыхъ, самоубійство Лопухова было бы жестокимъ поступкомъ въ отношеніи къ Кирсанову и къ Вѣрѣ Павловнѣ; эта смерть отравила бы все ихъ счастье и оставалась бы для нихъ на всю жизнь кровавымъ упрекомъ. Конечно они тутъ ни въ чемъ не были бы виноваты; но бываютъ такіа проишествія, которыя, поразивъ воображеніе людей, навсегда оставляютъ по себѣ болѣзненное воспоминаніе, похожее на упрекъ, и этого воспоминанія не вытравить потомъ самый острый анализъ. Очевидно, слѣдовательно, что Лопухову всего разсчитливѣе было бы поступить какъ нибудь такъ, чтобы безъ ущерба для себя устранить препятствіе, которое личность его представляла счастью другихъ, и онъ рѣшился умереть въ глазахъ закона, ожить за границею подъ другимъ именемъ и объяснить потомъ Кирсанову и Вѣрѣ Павловнѣ, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать его самоубійство.

Затруднительная задача разрѣшена, но разрѣшилъ ее не одинъ Лопуховъ; ему принадлежала главная роль, но эту роль было бы невозможно выдержать до конца, если бы Вѣра Павловна и Кирсановъ не были людьми новаго типа. Чувства, мысли и, слѣдовательно, поступки Лопухова были бы далеко не такъ просты, спокойны, послѣдовательны и человѣчны, если бы онъ не имѣлъ возможности во всякую данную минуту уважать свою жену и своего друга. Если бы Вѣра Павловна не была безукоризненно честна въ отношеніи къ своему мужу, то у Лопухова не было бы постоянного и горячаго желанія купить для нея счастье, какою бы то ни было цѣною. Если бы Лопуховъ не былъ увѣренъ, что его жена полюбила Кирсанова серьезною и прочною любовью, то ему было бы невозможно и съ его стороны было бы неразсудительно дѣйствовать съ такою энергіею. Стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ поднимать тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому капризу взбалмошной женщины, у которой черезъ недѣлю можетъ явиться новый капризъ? Если бы Кирсановъ не заслуживалъ полнаго довѣрія, то со стороны Лопухова было бы нелѣпо и безсовѣстно бросить къ нему на шею свою жену. Если бы вообще эти три человѣка не были въ состояніи во всякую минуту смѣло глядѣть другъ другу въ глаза, довѣрчиво совѣтоваться между собою о своемъ общемъ дѣлѣ и полюбовно разрѣшать это дѣло общими силами, то между ними непременно появились бы тѣ неброжелательныя чувства, которыя называются въ обществѣ антипатіею, боязнью, подозрѣніемъ, ревностью, и которыя всѣ вытекаютъ изъ недостатка довѣрія и уваженія. Поэтому, переложить исторію Лопухова на тѣ нравы, которыми удовлетворяется почти все наше современное общество, нѣтъ никакой возможности. Тотъ рядъ поступковъ, который былъ со стороны Лопухова совершенно логиченъ и необходимъ въ отношеніи къ такимъ людямъ, какъ Вѣра Павловна и Кирсановъ, становится нелѣпымъ и смѣшнымъ, если мы на мѣсто Вѣры Павловны поставимъ пустую барыню съ чувствительнымъ сердцемъ, а на мѣсто Кирсанова столь же пустого вздыхателя съ пламенными страстями. Лопуховъ не сталъ бы поступать нелѣпо и смѣшно. Онъ вовсе не похожъ на Донъ-Кихота и всегда съумѣетъ понять, что вѣтряная мельница не исполнитъ и что бараны не рыцари. Новыя люди только въ отношеніяхъ между собою развертываютъ всѣ силы своего характера и всѣ способности своего ума; съ людьми стараго типа они держатся постоянно въ оборонительномъ положеніи, потому что знаютъ, какъ всякій честный поступокъ въ испорченномъ обществѣ перетолковывается, искажается и превращается въ пошлость, ведущую за собою вредныя послѣдствія. Только въ чистой средѣ развертываются чистыя чувства и живыя идеи; давно уже было сказано, что не слѣдуетъ вливать вино новое въ мѣхи старыя, и эта мысль такъ же вѣрна теперь, какъ была вѣрна двѣ тысячи лѣтъ тому

назадъ. — Весь образъ дѣйствій Лопухова, начиная отъ его поѣздки къ Кирсанову и кончая его подложнымъ самоубійствомъ, находитъ себѣ блестящее оправданіе въ томъ полномъ и разумномъ счастьи, которое онъ создалъ для Вѣры Павловны и для Кирсанова. Любовь, какъ понимаютъ ее люди новаго типа, стоитъ того, чтобы для ея удовлетворенія опровергались всякія препятствія.

« — Вѣрочка, говоритъ Кирсановъ своей женѣ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы: — что? хвалиться или не хвалиться мнѣ передъ тобою? Мы — одинъ человѣкъ; но это должно въ самомъ дѣлѣ отражаться и въ глазахъ. Моя мысль стала много сильнѣе. Когда я дѣлаю выводы изъ наблюдений — общій обзоръ фактовъ, я теперь въ часъ кончаю то, надъ чѣмъ прежде долженъ былъ думать нѣсколько часовъ. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактовъ, чѣмъ прежде, и выводы у меня выходятъ и шире, и полнѣе. Если бы, Вѣрочка, во мнѣ былъ какойнибудь зародышъ гениальности, я съ этимъ чувствомъ сталъ бы великимъ гениемъ. Если бы отъ природы была во мнѣ сила создать чтонибудь малое новое въ наукѣ, я отъ этого чувства приобрѣлъ бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочимъ, темнымъ, мелкимъ труженникомъ, который разрабатываетъ мелкіе частные вопросы. Такимъ я и былъ безъ тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то: отъ меня начинаютъ ждать больше, думаютъ, что я переработаю цѣлую большую отрасль науки, все ученіе объ отправленіяхъ нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожиданіе. Въ 24 года у человѣка шире и смѣлѣе новизна взглядовъ, чѣмъ въ 29 лѣтъ (потомъ говорится: въ 30 лѣтъ, въ 32 года и такъ дальше); но тогда у меня не было этого въ такомъ размѣрѣ, какъ теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда безъ тебя и давно бы ужъ пересталъ расти. Да я ужъ и не росъ послѣдніе два-три года передъ тѣмъ, какъ мы стали жить вмѣстѣ. Ты возвратила мнѣ свѣжесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чемъ я остановился бы, на чемъ я уже и остановился было безъ тебя. А энергія работы, Вѣрочка, развѣ мало значить? Страстное возбужденіе силъ вносится и въ трудъ, когда вся жизнь такъ настроена. Ты знаешь, какъ дѣйствуютъ на энергію умственного труда кофе, стакашъ вина; то, что даютъ они другимъ на часъ, за которымъ слѣдуетъ расслабленіе, соразмѣрное этому вишнему и мимолетному возбужденію, то нѣтъ я теперь постоянно въ себѣ, — мои нервы сами такъ настроены постоянно, сильно, живо».

Надо стоять на довольно высокой степеніи развитія не только для того, чтобы испытывать подобное чувство, а даже для того, чтобы понимать его возможность и вѣрить въ его дѣйствительное существованіе. Наша рутинная критика конечно не возвысится до этого пониманія. Обвиняя г. Чернышевскаго въ цинизмѣ, она кроме того обвиняетъ его въ идеа-

лизацин, и такимъ образомъ, по свойственному ей остроумію, внадесть въ неразрѣшимое противорѣчіе. Если р. Чернышевскій—циникъ, и если цинизмъ ставится ему въ порокъ, то это значить, что онъ слишкомъ мрачно смотритъ на жизнь и оскорбляетъ такимъ взглядомъ человѣческое достоинство. Если же онъ повиненъ въ идеализацин, значить, онъ слишкомъ свѣтло смотритъ на жизнь и не замѣчаетъ недостатковъ человѣка. Но нельзя же приписывать одному предмету два противоположныя свойства; нельзя же обвинять писателя въ двухъ порокахъ, которые взаимно исключаютъ другъ друга. Что нибудь одно: или циникъ, или идеализаторъ. А если онъ и циникъ, и идеализаторъ, то это значить, что онъ ни циникъ, ни идеализаторъ, а просто человѣкъ, глубоко уважающій человѣческую природу и превосходно понимающій неисчерпаемое богатство ея физическихъ и умственныхъ силъ. Когда этотъ человѣкъ говоритъ о томъ, что унижаетъ и искажаетъ человѣческую природу, онъ приходитъ въ негодованіе, и тогда его обвиняютъ въ цинизмѣ тѣ люди, которые слишкомъ близоруки и испорченны, чтобы замѣчать униженіе и искаженіе. Когда этотъ человѣкъ говоритъ о тѣхъ рѣдкихъ явленіяхъ, въ которыхъ выражается чистота и сила человѣческой природы, въ его голосѣ слышится радость и надежда, и тогда его обвиняютъ въ идеализацин тѣ люди, которые, считая грязь за норму, видятъ въ нормальныхъ явленіяхъ созданія празднои фантазін. Что можно сказать этимъ обвинителямъ? Имъ можно сказать только, что они слѣпы и потому не понимаютъ ни того, что стоитъ въ уровень съ ними, ни того, что стоитъ выше ихъ.

Въ подтвержденіе моихъ словъ о такъ называемомъ цинизмѣ г. Чернышевскаго, и приведу здѣсь самое рѣзкое мѣсто его романа. «Сторешниковъ (первый женихъ Вѣры Павловны) уже нѣсколько недѣль занимался тѣмъ, что воображалъ себѣ Вѣрочку въ разныхъ позахъ, и хотѣлось ему, чтобы эти картины осуществлялись. Оказалось, что она не осуществить ихъ въ званіи любовницы — ну, пусть осуществляетъ въ званіи жены; это все равно, главное дѣло не званіе, а позы, то есть обладаніе. О, грязь! о, грязь! «обладать» — кто смѣетъ обладать человѣкомъ? Обладаютъ халатомъ, туфлями. — Пустяки: почти каждый изъ насъ, мужчинъ, обладаетъ кѣмъ-нибудь изъ васъ, наши сестры; опять пустяки: какіи вы намъ сестры? — вы наши лакейки! Иныя изъ васъ — многія — господствуютъ надъ нами — это ничего! вѣдь и многіе лакеи властвуютъ надъ своими барамн.» Очень рѣзко, неправда-ли? Но развѣ можетъ быть иначе? Человѣкъ, понимающій любовь Кирсанова, можетъ относиться мягко и снисходительно къ любовнымъ грезамъ Сторешникова только въ томъ случаѣ, если онъ допустить предположеніе, что Кирсановъ и Сторешниковъ — животныя различныхъ породъ. А если онъ этого предположенія не допустить, то ему, разумѣется, будетъ обидно

и досадно видѣть поруганіе человѣческой святости, которая точно также заключается въ Сторешниковѣ, какъ и въ Кирсановѣ. А если обличители г. Чернышевскаго скажутъ, что Кирсановыхъ совсѣмъ не бываетъ, то мы скажемъ на это: поживемъ, увидимъ. Будущее покажетъ намъ, действительно-ли существуетъ новый типъ, или его издумали только въ пнеу солиднымъ людямъ негодные нигилисты.

VIII.

Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна, являющіеся въ романѣ «Что дѣлать?» главными представителями новаго типа, не дѣлаютъ ничего такого, что превышало-бы обыкновенныя человѣческія силы. Они — люди обыкновенные, и такими людьми признаетъ ихъ самъ авторъ; это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придаетъ всему роману особенно глубокое значеніе. Если-бы авторъ показалъ намъ героевъ, одаренныхъ отъ природы колоссальными силами, и если-бы даже повѣствовательный талантъ его заставилъ насъ повѣрить въ существованіе такихъ героевъ, то все-таки ихъ мысли, чувства и поступки не имѣли-бы общечеловѣческаго интереса, и каждый читатель имѣлъ-бы право сказать, что онъ не герой и что ему за рѣдкими исключеніями нечего и гоняться. Человѣческая природа вообще осталась-бы по прежнему подъ гнетомъ тѣхъ несправедливыхъ и нелѣпыхъ обвиненій, которыя набросала на нее вѣковая рутина прошедшаго, побѣдоносно отстаивающая свое существованіе и доказывающая свою законность въ настоящемъ. Конечно, этотъ гнетъ обвиненій и предразсудковъ не снять съ человѣческой природы романомъ г. Чернышевскаго; никакое литературное произведеніе, какъ-бы оно ни было глубоко задумано, не можетъ выполнить такую задачу, которой разрѣшеніе связано съ радикальнымъ измѣненіемъ всѣхъ основныхъ условій жизни; но чрезвычайно важно уже то, что романъ «Что дѣлать?» является въ этомъ отношеніи блестящею попыткою; этимъ романомъ г. Чернышевскій говоритъ всѣмъ самодовольнымъ филистерамъ, что они клеветаютъ на человѣческую природу, что они свою искусственную заботу и ограниченность принимаютъ за нормальное явленіе, освященное естественными законами, что они ставятъ чрезвычайно низко уровень своихъ умственныхъ и нравственныхъ требованій, что они своимъ тупымъ или корыстнымъ самодовольствомъ наносятъ всему человѣчеству значительный вредъ и тяжелое оскорбленіе.

Указывая на Лопухова, Кирсанова и Вѣру Павловну, г. Чернышевскій говоритъ всѣмъ своимъ читателямъ: вотъ какими могутъ быть обыкновенные люди, и такими они должны быть, если хотятъ найти

въ жизни много счастья и наслажденія. Этими смыслами проникнуть весь его романъ, и доказательства, которыми онъ подкрѣпляетъ эту главную мысль, такъ неотразимо убѣдительно, что непременно должны подѣйствовать на ту часть публики, которая вообще способна выслушивать и понимать какія нибудь доказательства. «Будущее, говоритъ г. Чернышевскій, свѣтло и прекрасно. Любите его, стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее, сколько можете перенести: на столько будетъ свѣтла и добра, богата радостью и наслажденіемъ ваша жизнь, на сколько вы сдумаете перенести въ нее изъ будущаго. Стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее все, что можете перенести». Это свѣтлое будущее, въ которое такъ горячо вѣрятъ лучшіе люди, придетъ не для однихъ героевъ, не для тѣхъ только исключительныхъ натуръ, которыя одарены колоссальными силами; это будущее сдѣлается настоящимъ именно тогда, когда всѣ обыкновенные люди, дѣйствительно почувствуютъ себя людьми и дѣйствительно начнутъ уважать свое человѣческое достоинство. Кто старается пробудить уваженіе обыкновенныхъ людей въ ихъ природѣ, возвыситъ уровень ихъ требованій, возбудитъ въ нихъ довѣріе къ собственнымъ силамъ и внушитъ имъ надежду на успѣхъ, тотъ посвящаетъ свои силы великому и прекрасному дѣлу разумной любви; въ такой дѣятельности выражается живое стремленіе къ будущему, потому что свѣтлое будущее можетъ быть достигнуто только тогда, когда много единичныхъ силъ будетъ потрачено на такую дѣятельность. Романъ г. Чернышевскаго дѣйствуетъ именно въ этомъ направленіи, между тѣмъ, какъ вся остальная масса нашей беллетристики сама ходитъ ощупью и не дѣйствуетъ ни въ какомъ направленіи.

Желая убѣдительно доказать своимъ читателямъ, что Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна дѣйствительно люди обыкновенные, г. Чернышевскій выводитъ на сцену титаническую фигуру Рахметова, котораго онъ самъ признаетъ необыкновеннымъ и называетъ «особеннымъ человѣкомъ». Рахметовъ въ дѣйствіи романа не участвуетъ, да ему въ немъ нечего и дѣлать; такіе люди, какъ Рахметовъ, только тогда и тамъ бываютъ въ своей сферѣ и на своемъ мѣстѣ, когда и гдѣ они могутъ быть историческими дѣятелями; для нихъ тѣсна и мала самая богатая индивидуальная жизнь; ихъ не удовлетворяетъ ни наука, ни семейное счастье; они любятъ всѣхъ людей, страдаютъ отъ каждой совершающейся несправедливости, переживаютъ въ собственной душѣ великое горе миллионовъ и отдають на исцѣленіе этого горя все, что могутъ отдать. При извѣстныхъ условіяхъ развитія эти люди обращаются въ миссіонеровъ и отправляются проповѣдывать Евангеліе дикарямъ различныхъ частей свѣта. При другихъ условіяхъ они успѣвають убѣ-

дятся, что въ образованнѣйшихъ странахъ Европы есть такіе дикари, которые глубиною своего невежества и тягостью своихъ страданій далеко превосходятъ готтентотовъ или пауасовъ. Тогда они остаются на родинѣ и работаютъ надъ тѣмъ, что ихъ окружаетъ. Какъ они работаютъ и что выходитъ изъ ихъ работъ — это объяснить довольно трудно, потому что работы ихъ начались очень недавно, всего лѣтъ пятьдесятъ или семьдесятъ тому назадъ, и потому что окончательный результатъ этихъ работъ, передающихся отъ одного поколѣнія дѣятелей къ другому, лежитъ еще далеко впереди. Видятъ они, что настоящее дурно, стараются, чтобы будущее было лучше, и прилагаютъ къ дѣлу тѣ средства, которыя находятся подъ руками. Ихъ не понимаютъ, имъ мѣшаютъ дѣлать добро, и отъ этого ихъ мирная работа принимаетъ совершенно несвойственный ей характеръ ожесточенія и борьбы. Имъ чаще всего приходится брать въ руки школьную указку и объяснять взрослымъ дѣтямъ и цивилизованнымъ дикарямъ азбуку правильного пониманія самыхъ простыхъ вещей. Эти люди, способные по уму и характеру обдумывать и разрѣшать на практикѣ самыя сложныя задачи современной исторіи, обыкновенно бывають принуждены возиться съ самою мелкою черною работою въ теченіе всей своей жизни, и они не отворачиваются отъ черной работы, потому что главная потребность всего ихъ существа состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать что нибудь для облегченія человѣческаго горя. Нельзя сдѣлать все, такъ они будутъ дѣлать, что можно. На свое мѣсто, на которомъ они могли бы развернуть всѣ свои способности, эти люди попадаютъ чрезвычайно рѣдко, и всегда какими нибудь эксцентрическими путями. Правильной карьеры эти люди не сдѣлали себѣ съ самого сотворенія міра. Природа всегда отказывается имъ въ канцелярской смѣтливости и во всякихъ другихъ служебныхъ дарованіяхъ. Поэтому какой нибудь Робертъ Пиль могъ быть первымъ министромъ Англіи и прослыть благодѣтелемъ своего народа, а другой Робертъ, только не Пиль, а Оуэнъ, долженъ былъ непремѣнно, во время всей своей жизни, терпѣть притѣсненія отъ тупыхъ мѣщанъ, а подъ старость прослыть помѣшаннымъ. Поэтому графъ Кавуръ могъ считаться ангеломъ-хранителемъ Италіи и возбудить своею смертію нескончаемые вопли въ европейскихъ журналахъ, поющихъ на голось Тіпсэ'а, а Іосифъ Гарibaldi непремѣнно долженъ былъ получить сначала рану при Аспромонте, а потомъ, вслѣдъ за раной, амнистію, которая была бы обиднѣе всякой раны, если бы, прежде всего, не была смѣшна до послѣдней степени. Гарibaldi и Оуэнъ все-таки выдвинулись изъ невѣдѣнности, и дѣятельность ихъ получила себѣ широкій просторъ; но первый изъ нихъ могъ выдвинуться потому, что для Италіи наступило время политическаго обновленія, а второй потому, что Англія, при всѣхъ недостаткахъ своего общественнаго устройства,

обеспечиваетъ за своими гражданами значительную свободу дѣйствій. На одного выдвинувшагося Оуэна или Гарибальди приходится, навѣрное, по нѣскольку необыкновенныхъ людей, которымъ на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими въ дѣлѣ служенія человѣчеству.

Къ числу этихъ необыкновенныхъ людей, обреченныхъ на неизвѣстность, относится Рахметовъ. Въ то время, когда г. Чернышевскій вводитъ его на короткое время въ свой романъ, ему 22 года. Онъ — потомокъ стариннаго рода и сынъ богатаго помѣщика. Рахметовъ съ 16 лѣтъ былъ студентомъ и на половинѣ 17-го года проникнулся тѣми идеями, которыя дали опредѣленное направленіе всѣмъ богатымъ силамъ его молодой и любящей природы. Кирсановъ, познакоившись съ нимъ, отвѣчалъ на его тревожные вопросы и указалъ ему на нѣкоторыя книги. «Жадно слушалъ онъ Кирсанова въ первый вечеръ, плакалъ, прерывалъ его слова восклицаніями проклятій тому, что должно погибнуть, благословеній тому, что должно жить. Потомъ началъ читать и читалъ, не отрываясь отъ книги, съ 11 часовъ утра четверга до 9 часовъ вечера воскресенья; первыя двѣ ночи не спалъ, такъ, на третью выпилъ восемь стакановъ крѣпчайшаго кофе, до четвертой ночи не хватило силъ ни съ какимъ кофе, онъ повалился и проспалъ на полу часовъ 15.» Черезъ годъ послѣ этого онъ оставилъ университетъ, «поѣхалъ въ помѣстье, распорядился, побѣдивъ сопротивленіе опекуна, заслуживъ анафему отъ братьевъ и достигнувъ того, что мужья запретили его сестрамъ произносить его имя, потомъ скитался по Россіи разными манерами, и сухимъ путемъ, и водою, и пѣшкомъ, и на расшивахъ, и на косныхъ лодкахъ». Съ земли, оставшейся у него послѣ распоряженія по имѣнію, онъ получалъ 3000 рублей дохода, но себѣ изъ этихъ денегъ бралъ только 400 рублей, а на остальные содержалъ семь человѣкъ стипендіатовъ, двоихъ въ казанскомъ университетѣ и пятерыхъ въ московскомъ. На половинѣ 17 года Рахметовъ началъ развивать въ себѣ физическую силу, занимался гимнастикою, возилъ воду, таскалъ дрова, рубилъ дрова, пилилъ лѣсъ, тесалъ камни, копалъ землѣю, ковалъ желѣзо, и при этомъ кормилъ себя почти исключительно полусырою говядиною. Наконецъ, во время странствованій своихъ по Россіи, онъ прошелъ, бурлакомъ, всю Волгу, отъ Дубовки до Рыбинска, и за свою непомѣрную силу получилъ отъ своихъ товарищей по лямкѣ провинце Никитушки Ломова, по имени одного силача, ходившаго по Волгѣ лѣтъ 20 тому назадъ и пользовавшагося между народами значительною извѣстностью. Свою прибрѣтениую силу Рахметовъ поддерживалъ не пада ни труда, ни времени; «такъ нужно, говорилъ: — это дастъ уваженіе и любовь простыхъ людей. Это полезно, можетъ пригодиться». Во всемъ своемъ образѣ жизни Рахметовъ соблюдалъ крайнюю умѣренность. «По дѣльнымъ недѣлямъ у него не бывало во рту куска сахара,

по дѣльнымъ нѣсяцамъ — никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки». Обѣдая въ гостяхъ, онъ съ удовольствіемъ ѣлъ нѣкоторыя блюда, которыхъ не позволялъ себѣ ѣсть дома, но были такія кушанья, отъ которыхъ онъ навсегда отказался. «Причина различія была основательна: «то, что ѣсть, хотя по временамъ, простой народъ, и я могу ѣсть при случаѣ. Того, что никогда не доступно простымъ людямъ, и я не долженъ ѣсть. Это нужно мнѣ для того, чтобы хотя нѣсколько чувствовать, на сколько стѣснена ихъ жизнь сравнительно съ моею». — «Онъ сказалъ себѣ: я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь къ женщинѣ», и объяснялъ слѣдующимъ образомъ причину этого отрицанія: «такъ нужно». Мы требуемъ для людей полного наслажденія жизнью, мы должны своею жизнью свидѣтельствовать, что мы требуемъ этого не для удовлетворенія своимъ личнымъ страстямъ, не для себя лично, а для человѣка вообще, что мы говоримъ только по принципу, а не по пристрастію, по убѣжденію, а не по личной надобности».

Это разсужденіе Рахметова въ логическомъ отношеніи вѣдь не годится. Если я доказываю, что людямъ необходимо полное наслажденіе жизнью, то мнѣ нѣтъ никакой надобности подрывать свои доказательства примѣромъ собственной жизни. Принимать самого себя за исключеніе и ставить себя выше человѣческихъ потребностей и внѣ общихъ физиологическихъ законовъ во всякомъ случаѣ нерационально. Проповѣдью противъ монашества, монахъ Лютеръ самъ женился на монашенкѣ, и его личный примѣръ былъ самымъ убѣдительнымъ подтвержденіемъ его проповѣди. Вообще жизнь и ученіе человѣка должны всегда находиться въ возможно полномъ согласіи; аскетъ, проповѣдующій наслажденіе жизнью, въ своемъ родѣ явленіе такое же слѣпое и безобразное, какимъ были средневѣковыя папы, которые, пьянствуя, роскошничая и развратничая, проповѣдывали постъ, нищету и истязаніе. Людямъ мѣшаютъ наслаждаться или собственные ихъ предразсудки, или внѣшнія обстоятельства. Чтобы побѣждать предразсудки, надо дѣйствовать убѣжденіемъ и примѣромъ, стало быть для борьбы съ предразсудками личный аскетизмъ Рахметова можетъ быть только вреднымъ. Внѣшнимъ же обстоятельствамъ, очевидно, нѣтъ никакого дѣла до личныхъ страстей или до принциповъ Рахметова; было бы наивно думать, что внѣшнія обстоятельства проникнутся уваженіемъ къ личному безкорыстію проповѣдника и, убѣдившись въ собственной непригодности, стыдливо отойдутъ въ сторону. Внѣшнія обстоятельства, какъ слѣбныя, стихійныя силы, не поддаются ни на какія убѣжденія, какъ бы ни была высока и чиста личность убѣждающаго мыслителя. Впрочемъ самый фактъ Рахметовскаго аскетизма нисколько не представляется мнѣ невозможнымъ или сомнительнымъ. Бываютъ натуры, въ которыхъ любовь къ людямъ, сохраняя всю пылкость чувства, принимаетъ непре-

клонность догмата, управляющего всеми мыслями и поступками человека. Чем меньше силы такого человека могут быть приложены к внешней плодотворной деятельности, тем больше эти силы обращаются внутрь, на самого деятеля, которого они тиранят без малейшей пощады и без всякой пользы. У деятеля сердце обливается кровью от того, что он почти ничего не может сделать для облегчения общих страданий, и он на самого себя наливает свою законную досаду. «А, говорит он себя, ты не можешь им помочь, не можешь? так вот же тебе! не помогаешь другим, так страдай же сам вместе с ними, страдай больше их!» И действительно, наваливает он на себя гряду ненужных тягостей и стеснений. Рахметов отказывается от какогонибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько жизнь простых людей стеснена сравнительно с его жизнью. Ну кто-же этому поверить? Какой человек, знающий Рахметова, может подумать, что Рахметов когданибудь, во сне или наяву, забывает о нуждах и стеснениях простых людей? А если он никогда не забывает, то зачем же ему напоминать себя о них ненужными лишениями? Причина одна — общая таким натурам потребность взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости.

Объяснить эту потребность я не умею, потому что ее испытывают и понимают только исключительные натуры; но сомневаться в действительном существовании этой потребности значило бы отрицать множество достовернейших исторических явлений. В общем движении событий бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко, и проходят быстро, так, что их надо ловить на лету, и ими надо пользоваться, как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, появившись или, по крайней мере, полюбовав какуюнибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения, и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду; эти минуты редки, потому что массы вообще понимают туго и самыми ясными идеями проникаются чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, потому что энтузиазм вообще испаряется скоро, как у отдельных людей, так и у целых народов; только в эти минуты массы способны сделать чтонибудь умное и хорошее; поэтому такими минутами надо пользоваться. Так Рахметовы, которым удастся увидеть на своем веку такую минуту, разворачивают при этом всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпохи, и уже конечно никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою и родных, и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни. В эти минуты Рахметовы выстраиваются во весь

рость, и этот колоссальный рост как раз соответствует величю событий; если бы въ эти минуты могли выступить изъ толпы десятки новыхъ Рахметовыхъ, то всѣ они нашли бы себѣ работу по силамъ; но ихъ вообще мало, и, по недостатку въ такихъ людяхъ, всѣ великія минуты въ исторіи человечества до сихъ поръ обманывали общія ожиданія, приводили за собою горькое разочарованіе и смѣнялись вѣковой апатіею. Въ обыкновенное время, когда господствуетъ невозмутимая рутинна, когда тянутся скучные и томительно длинныя историческія антракты, силамъ Рахметовыхъ нѣтъ приложенія; эти силы давятъ и гнетутъ своихъ обладателей, и тѣ мелкія дѣла, къ которымъ онѣ прикладываются, только разжигаютъ въ этихъ людяхъ стремленіе къ полезной дѣятельности, не доставляя этому страстному стремленію ни малѣйшаго удовлетворенія. Вотъ чѣмъ занимается нашъ Рахметовъ: «гимнастика, работа для упражненія силы, чтеніе — были личными занятіями Рахметова; но, по его возвращеніи въ Петербургъ, они брали у него только четвертую долю его времени; остальное время онъ занимался чужими дѣлами или ничѣмъ въ особенности, постоянно соблюдая тоже правило, какъ и въ чтеніи: не тратить времени надъ второстепенными дѣлами и съ второстепенными людьми, заниматься только капитальными, отъ которыхъ уже и безъ него измѣняются второстепенныя дѣла и руководимые люди». Эта дѣятельность была, можетъ быть, очень обширна и важна по своимъ результатамъ, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убѣдительнѣе доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана безъ малѣйшей необходимости. Отдѣльные случаи, въ которыхъ проявляется его ригоризмъ, могли бы быть устранены безъ малѣйшаго ущерба для его любимаго дѣла. Онъ встрѣчается съ молодою вдовою, которая влюбляется въ него; онъ также чувствуетъ къ ней симпатію. Между ними происходитъ объясненіе, вызванное ею, въ которомъ онъ говоритъ: «я былъ съ вами откровеннѣе, чѣмъ съ другими; вы видите, что такіе люди, какъ я, не имѣютъ права связывать чью нибудь судьбу съ своею». — Да, это правда, сказала она, вы не можете жениться. Но пока вамъ придется бросить меня, до тѣхъ поръ любите меня. — «Нѣтъ, этого, я не могу принять, сказалъ онъ: — я долженъ подавить въ себѣ любовь; любовь къ вамъ связала бы мнѣ руки, онѣ и такъ не скоро развяжутся у меня — ужъ связаны. Но развяжу. Я не долженъ любить».

Это уже ни съ чѣмъ несообразно или, вѣрнѣе, сообразно только съ непреодолимою потребностью самобичеванія. Такіе историческіе дѣятели, которые каждый день рисковали головою, не отказывали себѣ въ любви и не находили, чтобы любовь въ какомъ нибудь отношеніи связывала имъ руки. Даже тѣ люди, которыхъ напръ русскій Тацитъ, Страбонъ, давно зачислилъ заслуженнымъ названіемъ чудовищъ и зло-

дѣлать, даже они (по свойственному мнѣ пѣломудрію, я не называю ихъ по имени), даже они были люди женатые, или, еще того лучше — имѣли невѣсты и мечтали объ идеаліяхъ, которыми конечно никогда не суждено было осуществиться. И руки у нихъ — ничего, не были связаны.

Потребность обижать себя доходить у Рахметова до того, что онъ буквально тиранить свое тѣло, подъ тѣмъ предлогомъ, что ему надо испытать, какъ велика его способность переносить физическую боль. «Спина и бока всего бѣлья Рахметова (онъ былъ въ одномъ бѣльѣ) были облиты кровью; подъ кроватью была кровь; войлокъ, на которомъ онъ спалъ, также въ крови; въ войлокѣ были вбиты сотни мелкихъ гвоздей шляпками съ исподи, острыми вверхъ; они высовывались изъ войлока чуть не на полвершка; Рахметовъ лежалъ на нихъ всю ночь. Что это такое, помилуйте, Рахметовъ? съ ужасомъ проговаривалъ Кирсановъ. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякій случай нужно. Вижу, могу.» Ну, а если бы онъ увидѣлъ, что не можетъ, развѣ онъ перемѣнилъ бы что нибудь въ своемъ образѣ жизни и въ своей дѣятельности? Разумѣется, нѣтъ. Скорѣе умеръ бы, чѣмъ перемѣнилъ. Стало быть — какая же это проба? Очевидно, что всѣ подобныя выдумки происходятъ отъ избытка силъ, ненаходящихъ себѣ достаточно широкаго и полезнаго приложенія.

Попытку г. Чернышевскаго представить читателямъ «особеннаго человѣка» можно назвать очень удачною. До него брался за это дѣло одинъ Тургеневъ, но и то совершенно безуспѣшно. Тургеневъ хотѣлъ изъ Инсарова сдѣлать человѣка, страстно преданнаго великой идеѣ; но Инсаровъ, какъ извѣстно, остался какою то блѣдною выдумкою. Инсаровъ является героемъ романа; Рахметовъ даже не можетъ быть названъ дѣйствующимъ лицомъ, и, не смотря на то, Инсаровъ остается для насъ совершенно неосознательнымъ, между тѣмъ какъ Рахметовъ совершенно понятенъ даже по тѣмъ немногимъ выпискамъ, которыя приведены въ моей статьѣ. Правда, мы не видимъ, что именно дѣлаетъ Рахметовъ, какъ не видѣли того что дѣлаетъ Инсаровъ, но за то мы вполне понимаемъ, что за человѣкъ Рахметовъ, а рассматривая Инсарова, мы только до нѣкоторой степени можемъ догадаться о томъ, каковы были намѣренія и желанія автора. Я говорю это совсѣмъ не съ тою цѣлью, чтобы сравнивать г. Тургенева съ г. Чернышевскимъ и отдавать преимущество тому или другому изъ нихъ. Я хочу выразить только ту мысль, что никакой художественный талантъ не можетъ пополнить недостатка матеріаловъ; г. Тургеневъ не видалъ въ нашей жизни ни одного живаго явленія, соответствующаго тѣмъ идеямъ, изъ которыхъ построена фигура Инсарова; г. Чернышевскій видѣлъ, напротивъ того, много такихъ явленій, которые очень вразумительно гово-

рять о существованіи новаго типа и одѣтельности особенныхъ людей, подобныхъ Рахметову. Если бы этихъ явленій не было, то фигура Рахметова была бы также блѣдна, какъ фигура Инсарова. А если эти явленія дѣйствительно существуютъ, то, можетъ быть, свѣтлое будущее всѣмъ не такъ неизмѣримо далеко отъ насъ, какъ мы привыкли думать. Гдѣ появляются Рахметовы, тамъ они разливаютъ вокругъ себя свѣтлыя идеи и пробуждаютъ живыя надежды.

ГЕНРИХЪ ГЕЙНЕ.

I.

Много есть на свѣтѣ хорошихъ книгъ, но эти книги хороши только для тѣхъ людей, которые умѣютъ ихъ читать. Умѣніе читать хорошія книги вовсе не равносильно знанію грамоты. Я оставляю въ сторонѣ тѣхъ отличныхъ и усердныхъ грамотѣевъ, къ разряду которыхъ принадлежитъ чичиковскій Петрушка. Я сосредоточиваю все свое вниманіе на тѣхъ счастливицахъ, которые понимаютъ смыслъ читаемыхъ словъ, предложеній и періодовъ. Разсматривая только этотъ избранный кружокъ, я все таки прихожу къ тому заключенію, что очень немногіе члены этой умственной аристократіи обладаютъ умѣніемъ читать хорошія книги.

Если вамъ, читатель мой, удалось завоевать себѣ это драгоцѣнное умѣніе, то вы, конечно, помните, какимъ продолжительнымъ и упорнымъ трудомъ было куплено это завоеваніе. Во времена вашего студенчества вы начали замѣчать, что жизнь совсѣмъ не такая простая и легкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполнѣ по наставленіямъ родителей и по казеннымъ учебникамъ, растворившимъ передъ вами двери университета. Наставленія родителей могли дать вамъ нѣсколько хорошихъ привычекъ. Казенные учебники могли сообщить вамъ сотни основныхъ научныхъ истинъ. Но вопросъ: «какъ жить?» остался нетронутымъ. Надъ рѣшеніемъ этого вопроса каждый здоровый человѣкъ долженъ трудиться самъ, точно такъ, какъ женщина должна непременно сама выстрадать рожденіе своихъ дѣтей. Для рѣшенія этого основнаго вопроса вамъ понадобилось перебрать, пересмотрѣть, провѣрить всѣ

ваши понятія о мірѣ, о человѣкѣ, объ обществѣ, о нравственности, о наукѣ и объ искусствѣ, о связи между поколѣніями, объ отношеніяхъ между сословіями, о великихъ задачахъ вашего вѣка и вашего народа. Занимаясь этимъ пересмотромъ, вы замѣчали у себя ошибки, которыхъ до поры до времени нечѣмъ было поправить, и огромные пробѣлы, которыхъ нечѣмъ было пополнить. Вы волновались, ваше безсиліе приводило васъ въ ужасъ, вы тревожно искали отвѣтовъ на такіе вопросы, которыхъ сами не умѣли еще поставить и сформулировать; вы чувствовали, что вамъ необходимы какіе то матеріалы, какія то знанія, какое то положительное содержаніе для мысли; весь вашъ организмъ томился умственными потребностями, но вы сами рѣшительно не могли опредѣлить, въ чемъ именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древняго царя, который видѣлъ страшный сонъ, и потомъ, утромъ, не могъ не только понять, но даже и припомнить его. Отъ придворныхъ гадателей требовалось, чтобы они сначала рассказали, а потомъ объяснили царю его таинственное и ужасное сновидѣніе. Во время вашихъ умственныхъ тревогъ вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившіе прежде васъ умственный кризисъ, смотрѣли съ кроткимъ и разумнымъ участіемъ на ваши необходимыя мученія. Значительно преувеличивая силу и мудрость этихъ гадателей, вы требовали отъ нихъ, чтобы они разъяснили вамъ ваше состояніе и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей подъ гнетомъ непривычныхъ сомнѣній и неразрѣшенныхъ вопросовъ. Гадатели указывали вамъ на хорошія книги. Вы хватались за нихъ съ звѣрскою жадностью, но, такъ какъ вы не умѣли ихъ читать, то онѣ усиливали ваше безпокойство, погружали васъ въ отчаяніе, или увлекали васъ на такую дорогу, которая не соответствовала ни вашимъ естественнымъ наклонностямъ, ни окружающимъ васъ обстоятельствамъ мѣста и времени.

По вашимъ пробудившимся умственнымъ потребностямъ вы уже были муцаною. По вашимъ привычкамъ вы оставались еще ребенкомъ. Каждого умнаго человѣка вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебникъ. Васъ не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться съ головою въ самую утомительную, самую скучную, самую добросовѣстную работу. Но вы, по старой привычкѣ, хотѣли работать пассивно, не такъ, какъ трудится изслѣдователь, а такъ какъ занимается ученикъ. Вы готовы были одолѣвать груды книгъ, и просиживать цѣлые мѣсяцы въ библіотекѣ, но только съ тѣмъ, чтобы знающій человѣкъ управлялъ вашими занятіями и ручался вамъ за ихъ успѣхъ. Въ кругу вашихъ знакомыхъ вы постоянно искали себѣ *развивателя*; на полкахъ библіотекъ вы старались найти себѣ книгу *«развитіе»*. Вы хотѣли, чтобы какой нибудь человѣкъ, или какая нибудь

книга влила въ васъ, какъ въ бутылку, тѣ знанія, идеи и стремленія, которыя необходимы честному и дѣльному работнику нашего времени; вы довѣрялись безусловно и людямъ, и книгамъ; вы не умѣли выбирать; если вамъ правилась въ человѣкѣ или въ книгѣ одна какая нибудь сторона, то вы, увлекаясь одною этою стороною, принимали вмѣстѣ съ нею и весь остальной запасъ мыслей, въ которомъ навѣрное было много непригоднаго и несостоятельнаго; если васъ поражала въ человѣкѣ или въ книгѣ какая нибудь одна очевидная нелѣпость, то вы, точно также, изъ за одной этой нелѣпости, браковали весь 'грузъ, въ которомъ навѣрное можно было найти много интересныхъ фактовъ, и даже, быть можетъ, нѣсколько вѣрныхъ и глубокихъ идей. Само собою разумѣется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли васъ вполне, потому что вы требовали отъ нихъ невозможнаго; ни одинъ человѣкъ не можетъ быть *развивателемъ* и ни одна книга не можетъ быть *развитіемъ*. И люди и книги могутъ быть только матеріалами, надъ которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти матеріалы необходимы, потому что безъ впечатлѣній невозможна умственная работа. Но все-таки это матеріалы, а не готовые убѣжденія. Готовыхъ убѣжденій нельзя ни выпросить у добрыхъ знакомыхъ, ни купить въ книжной лавкѣ. Ихъ надо выработать процессомъ собственнаго мышленія, которое непременно должно совершаться самостоятельно, въ вашей собственной головѣ, такъ точно, какъ процессъ пищеваренія совершается вполне самостоятельно въ вашемъ собственномъ желудкѣ.

Сталкиваясь съ различными людьми, читая различныя книги, гоняясь за призракомъ *развитія* и *готовыхъ убѣждений*, точно такъ, какъ алхимики гонялись за призракомъ философскаго камня, вы невольно сравнивали получаемыя впечатлѣнія, становились въ тупикъ надъ противорѣчiями, подмѣчали нелогичности, обобщали вычитанные факты, и такимъ образомъ, укрѣпляли понемногу вашу мысль, закладывая фундаментъ собственныхъ убѣждений, и становились въ критическія отношенія къ тѣмъ людямъ и къ тѣмъ книгамъ, отъ которыхъ вы ожидали себѣ сначала чудесной благодати немедленнаго умственнаго просвѣтленія.

Наконецъ ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительною загадкою. Познакомившись съ своею собственною особою, вы въ то же время поняли общее направленіе окружающей жизни; вы отличили передовыхъ людей и честныхъ дѣятелей отъ шарлатановъ, софистовъ и попугаевъ; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; всѣ эти свѣдѣнія вы получили не заразъ, не отъ одного человѣка, и не изъ какой нибудь одной книги; всѣ эти свѣдѣнія собраны вами по кусочкамъ, извлечены изъ множества различныхъ впечатлѣній, заронены въ вашъ умъ всякими крупными и мелкими собы-

тіяни частной и общественной жизни. Незамѣтно проникая въ вашу голову, всѣ эти основныя свѣдѣнія срослись съ вашимъ умомъ такъ крѣпко, и превращались въ такое неотъемлемое достояніе вашей личности, что вы скоро потеряли всякую возможность опредѣлить гдѣ, когда и какимъ образомъ приобрѣтены составныя части самыхъ дорогихъ и непоколебимыхъ вашихъ убѣжденій.

Когда убѣжденія выработаны, когда цѣль жизни отыскана, тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное чтеніе хорошихъ книгъ. До этого времени вы читали оцуюю. Книги нравились или не нравились вамъ такъ, какъ можетъ нравиться или не нравиться шелковая матерія, кусокъ обоевъ, фарфоровая чашка, соусъ или пирожное; когда авторъ шутилъ, вы смѣялись; когда онъ впадалъ въ элегическій тонъ — вы умилялись; когда онъ аргументировалъ горячо и краснорѣчиво — вы соглашались; когда онъ излагалъ свои мысли вяло и скучно, вы зѣвали. Изъ совокупности этихъ ощущеній, воспринятыхъ совершенно пассивно, составлялся вашъ общій взглядъ на книгу. Авторъ не могъ быть ни вашимъ союзникомъ, ни вашимъ противникомъ, серьезная цѣль книги оставалась вамъ непонятною, вы не могли судить ни о достоинствѣ этой цѣли, ни о томъ, насколько эта цѣль достигается, и на сколько авторъ остается вѣренъ самому себѣ. Вы не могли и не умѣли уловить связь, существующую между данною книгою и всѣми явленіями окружающей жизни; книга казалась вамъ отрывочнымъ явленіемъ, безъ корней въ прошедшемъ, безъ вліянія на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явленіе, — дурное или хорошее, и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знанія ваши увеличились на столько, что дали вамъ возможность прикинуть сознательно къ тому или къ другому знамени, тогда вы начинали пылать тѣмъ фанатическимъ жаромъ, который составляетъ неотъемлемую принадлежность всевозможныхъ неофитовъ. Духъ вашей фанатической исключительности вы, разумеется, примѣняли также и къ чтенію книгъ. Вы считали достойными вниманія только тѣ книги, которыя написаны людьми вашего лагеря. Всѣ остальные книги слѣдовало, по вашему мнѣнію, если не сжечь, то, по меньшей мѣрѣ, осмѣять и забыть. Читая книгу, вы производили надъ авторомъ строжайшее слѣдствіе и, чуть только вы замѣчали, что авторъ въ чемъ нибудь погрѣшилъ противъ вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора къ огромной толпѣ пишущихъ идиотовъ и негодяевъ. Но, тѣмъ больше вы читали, тѣмъ яснѣе становилась для васъ та истина, что цѣльные приговоры, въ родѣ восклицаній «*лобз!*» и «*затылок!*», неуѣстны и въ отношеніи къ людямъ, и въ отношеніи къ книгамъ. Подъ вліяніемъ жизни и чтенія ваши собственныя убѣжденія очистились, выяснились и окрѣпли; вы пристрастились къ книгѣ еще сильнѣе прежняго, вы сдѣлались еще непоколебимѣе, но

вы въ то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи, вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями такихъ людей, которые во многихъ отношеніяхъ уклоняются отъ вашего корана. Положимъ, напримѣръ, что вы матеріалистъ. Краеугольными камнями вашего міросозерцанія оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были деистами и вѣровали даже въ откровеніе; не станете же вы, изъ за этого обстоятельства, отвергать ихъ астрономическія открытія? А если не станете, то вы не должны также относиться съ пренебреженіемъ ни къ химическимъ работамъ Либиха, ни къ физиологическимъ изслѣдованіямъ Рудольфа Вагнера, ни даже къ добросовѣстнымъ компилятивнымъ трудамъ Теодора Вайца, несмотря на то, что всѣ они спиритуалисты, а Рудольфъ Вагнеръ даже піезтистъ.

Положимъ далѣе, что вы фуриеристъ или ирудонистъ. Спрашивается, какимъ образомъ отнесетесь вы къ общественной физикѣ О. Конта или къ историко-философской теоріи Бокля? Причислите-ли вы эти книги къ вреднымъ или къ полезнымъ явленіямъ? Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи? Съ одной стороны вы не можете не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся исторія есть борьба разсудка съ воображеніемъ, и что сильнѣйшимъ двигателемъ прогресса оказывается накопленіе и распространеніе знаній. Усиѣху этой мысли вы должны содѣйствовать всѣми вашими силами, съ другой стороны вы никакъ не можете сочувствовать ни Контовской апологіи нищества, ни боклевскому мальтузіанству. Но если бы вы вздумали, возмутившись этими нелѣпостями, забраковать цѣликомъ Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили вани собственныя идеи, отнявши у нихъ ту подпору, которую онѣ могутъ найти себѣ въ изслѣдованіяхъ и размышленіяхъ этихъ двухъ первоклассныхъ умовъ. Значить, вы должны отдѣлить свѣтлыя идеи отъ ошибочныхъ сужденій; вы должны пользоваться первыми, и опровергать вторыя. Пользуясь свѣтлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться съ этими писателями во всемъ и превозносить каждое слово ихъ сочиненій. Опровергая то, что кажется вамъ ошибочнымъ, вы нисколько не отступаете отъ того уваженія, которое должны внушать вамъ великіе мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значить разбить авторитетъ Бокля и не значить также поставить самого себя выше этого замѣчательнаго мыслителя. Съ другой стороны сказать и доказать, что у Гизо или у Маколя встрѣчаются иногда свѣтлыя мысли, вовсе не значить превратиться въ единомышленника этихъ узкихъ доктринеровъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, то есть, опровергая Бокля и соглашаясь съ Гизо, вы все таки остаетесь вѣрны вашимъ собственнымъ убѣжденіямъ, и вы пользуетесь тою необходимою самостоятельностью,

безъ которой невозможно сильное и плодотворное мышленіе и которая не должна стѣсняться ни раболѣпнымъ благоговѣніемъ передъ великими именами, ни фанатическою исключительностью партій.

Такъ какъ критика должна состоять именно въ томъ, чтобы, въ каждомъ отдѣльномъ явленіи, отличать полезныя и вредныя стороны, — то, понятно, что ограничиваться цѣльными приговорами значитъ уничтожать критику, или, по крайней мѣрѣ, превращать ее въ бесплодное наклеиваніе такихъ ярлыковъ, которые никогда не могутъ исчерпать значеніе разсматриваемыхъ предметовъ. Въ теоріи эта мысль не можетъ вызвать противъ себя никакихъ возраженій. Всякій скажетъ, что это очень старая истина, и что несостоятельность цѣльныхъ приговоровъ давнымъ давно засвидѣтельствована общезвѣстными изрѣченіями о пятнахъ на солнцѣ и о золотѣ въ грязи. Но въ практической жизни цѣльные приговоры продолжаютъ господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у насъ въ Россіи, гдѣ партіи только что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой изъ нашихъ партій есть свои кумиры, которые для противоположной партіи оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызываетъ съ одной стороны восторженное поклоненіе, а съ другой — безпредѣльное и страстное порицаніе. Разногласіе партій очень естественно, необходимо и безъисходно, потому что настоящія причины противоположныхъ сужденій заключаются въ противоположности интересовъ. Всякая попытка примирить партіи была бы бесполезна и бессмысленна. вмѣсто примиренія партій, надо желать, напротивъ того, чтобы каждая партія обозначалась яснѣе и договаривалась до послѣдняго слова. Только тогда общество можетъ узнать своихъ настоящихъ друзей и дать окончательную побѣду тому направленію мысли, которое всего болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ потребностямъ большинства. Но именно для того, чтобы договориться до послѣдняго слова, партіи должны отказаться отъ цѣльныхъ приговоровъ, и подвергнуть одинаково тщательному анализу, какъ своихъ кумировъ, такъ и злѣйшихъ своихъ противниковъ. Вслѣдствіе такой операціи многіе кумиры утратятъ значительную долю своего сказочнаго великолѣпія, многія чучела и страшилища превратятся въ довольно обыкновенныхъ и безобидныхъ людей, но основныя идеи партій обозначатся яснѣе, именно потому, что эти идеи управляли всѣмъ ходомъ анализа, проникшаго въ самую глубину предмета и оцѣнившего всѣ его подробности.

II.

Читатель простить мнѣ мое длинное и утомительное введеніе, когда узнаетъ, что я намѣренъ говорить о Гейне, обращая при этомъ особенное вниманіе на слабыя стороны его поэзіи. Гейне одинъ изъ нашихъ кумировъ, и, конечно, въ мірѣ не было до сихъ поръ ни одного поэта, который въ болѣе значительной степени заслуживалъ бы уваженіе и признательность мыслящихъ реалистовъ. Но, чѣмъ важнѣе и колоссальнѣе какое нибудь явленіе, тѣмъ необходимѣе знать ему настоящую цѣну. Чѣмъ больше пользы можетъ принести нашему умственному развитію чтеніе Гейне, тѣмъ сильнѣе надо стараться о томъ, чтобы къ массѣ этой пользы не примѣшивалась ни одна частица вреда. Чѣмъ неотразимѣе дѣйствуетъ поэзія Гейне на умы читателей, тѣмъ тщательнѣе эти читатели должны оберегать себя отъ умственного раболѣпства передъ Гейне, потому что изъ этаго раболѣпства можетъ развиться вредное обожаніе тѣхъ недостатковъ и пятенъ, которые наложены на поэзію Гейне обстоятельствами времени и мѣста. Приступая къ разбору этихъ недостатковъ и пятенъ, я непременно долженъ былъ напомнить читателю, что критика не имѣетъ ничего общаго съ враждою, что безъ постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтеніе, и что всякое умственное идолопоклонство вредитъ той самой идеѣ, во имя которой оно производится.

Принявши въ соображеніе эти простыя истины, читатель конечно пойметъ, что, критикуя Гейне, я нисколько не желаю ослабить его вліяніе на русское общество, а напротивъ того стараюсь направить, сосредоточить, усилить это вліяніе, такъ, чтобы ни одна его частица не пропадала даромъ и не вырождалась въ нелѣпныя и вредныя увѣщанія, къ которымъ самъ Гейне очень часто подаетъ поводъ своими эксцентричностями и внутренними противорѣчіями.

Въ настоящее время г. Вейнбергъ издаетъ *Сочиненія Генриха Гейне съ переводомъ русскихъ писателей*. Одиннадцать томовъ уже находятся въ рукахъ читающей публики, а все изданіе будетъ состоять изъ 15-томовъ. Можно надѣяться, что это изданіе найдетъ себѣ многихъ читателей, но въ то же время надо желать, чтобы эти читатели сьумѣли усвоить себѣ такую точку зрѣнія, съ которой были бы ясно видны какъ достоинства, такъ и недостатки Гейне. Эту точку зрѣнія я постараюсь указать читателю въ моей теперешней статьѣ.

Какъ понимаетъ самъ Гейне себя и свою литературную дѣятельность? На этотъ вопросъ Гейне отвѣчаетъ не разъ стихами и прозою. Одинъ изъ этихъ отвѣтовъ особенно замѣчателенъ. «Я право не знаю,

говорить Гейне, «стою ли я, чтобы мнѣ когда нибудь украсили гробъ лавровымъ вѣнкомъ. Поэзія, какъ ни любилъ я ее, была для меня всегда лишь священною игрушкой, или священнымъ средствомъ для небесныхъ цѣлей. Я никогда не придавалъ большой цѣны славѣ поэта, и хвалить ли или бранить будутъ мои пѣсни, меня мало беспокоитъ. Но я желаю, чтобы на гробъ мой положили мечъ, потому что я былъ храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за благо человѣчества». (Т. II стр. 120).

Въ этихъ словахъ заключается двойное противорѣчіе. Ведя войну за благо человѣчества, и считая себя *храбрымъ солдатомъ*, Гейне хочетъ въ тоже время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство, — утилитарный и художническій, улаживаются рядомъ, одинъ возлѣ другого, въ приведенныхъ словахъ Гейне. *Поэзія была для меня лишь священною игрушкой*, говоритъ Гейне. Въ этихъ словахъ художническій взглядъ на искусство выразился во всей своей наивности, и въ этихъ словахъ заключается второе внутреннее противорѣчіе, доведенное до самой поразительной рельефности. Въ самомъ дѣлѣ, что такое *священная игрушка*? Есть ли какая нибудь психическая возможность играть тѣмъ, что вы дѣйствительно считаете святынею, или считать священнымъ то, что служить вамъ игрушкою? Противорѣчія очевидны, а между тѣмъ всѣ приведенныя мною слова Гейне выражаютъ чистѣйшую истину, и даютъ превосходнѣйшій ключъ къ пониманію всего Гейне, его міросозерцанія, его стремленій, его поэзіи. Когда есть внутреннія противорѣчія въ самомъ предметѣ, тогда они неизбежны и въ его опредѣленіи, и, чѣмъ полнѣе и вѣрнѣе опредѣленіе, тѣмъ ярче должны въ немъ выступать внутреннія противорѣчія. — Да. Гейне былъ дѣйствительно и храбрымъ солдатомъ, и чистымъ художникомъ; и поэзія была для него дѣйствительно *священною игрушкой*, хотя такое сочетаніе понятій дико и неестественно до послѣдней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно извѣстна. Его сарказмы, направленные противъ традиціонныхъ доктринъ, противъ политическаго шарлатанства, противъ національныхъ предрасудковъ, противъ ученаго педантизма, противъ всѣхъ безчисленныхъ проявленій общеевропейской и спеціально нѣмецкой глупости, его сарказмы составляютъ, безъ сомнѣнія, самую яркую и единственную безсмертную сторону его поэзіи. Не будь у него этихъ сарказмовъ, онъ замѣшался бы въ толпу нѣмецкихъ поэтовъ, писавшихъ гладкіе стихи, и мы знали бы о немъ столько же, сколько знаемъ, напримѣръ, о какомъ нибудь Людвигѣ Уландѣ, или Леопольдѣ Шеферѣ, или Эммануэлѣ Гейбелѣ. Если мы, въ продолженіе цѣлаго десятилѣтія, переводимъ по частямъ прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаемъ собраніе его сочиненій, если мы раскупамъ и читаемъ эти сочиненія не только съ удовольствіемъ, но даже съ нѣко-

торнымъ благоговѣніемъ, то, разумеется, все это дѣлалось, дѣлается и будетъ дѣлаться только изъ любви къ сарказмамъ, или, другими словами, изъ ненависти къ тѣмъ общеевропейскимъ подлостямъ и глупостямъ, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое теченіе мыслей почти никогда не занимаетъ и не можетъ занимать васъ; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже рѣдко можете найти что нибудь похожее на развитіе мыслей; чаще всего вы имѣете передъ собою легкую и кокетливую болтовню о легкихъ пустякахъ; но вы читаете терпѣливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь въ напряженномъ ожиданіи, вы знаете, что вдругъ блеснетъ такая молнія, которая съ избыткомъ вознаградитъ васъ за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Не смотря на ваше постоянное ожиданіе, молнія все-таки застаётъ васъ върасплохъ и поражаетъ васъ своею неожиданностью. Она явилась безо всякихъ приготовленій, совсѣмъ не съ той стороны, откуда вы ее ожидали; она изумида, очаровала васъ и исчезла; начинается опять веселая болтовня, и вы опять съ радостью готовы читать десятки страницъ этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молніи, такой же неожиданной и такой же очаровательной, какъ первая. Надежда на новую молнію и воспоминаніе о прежней помогаетъ вамъ перебираться черезъ тѣ пустынные поляны, надъ которыми господствуетъ безсмыслица романтически чистаго искусства.

Но, какъ ни великолѣпны молніи боевой храбрости и ядовитаго сарказма, однако нельзя не замѣтить, что пустынные поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этимъ полянамъ, читатель начинаетъ понимать, что такое *священная шутка*. Смыслъ этихъ загадочныхъ словъ очень печаленъ. Когда Гейне творить образы, не имѣющіе никакого, даже самаго отдаленнаго отношенія къ борьбѣ за благо человѣчества, тогда онъ благоговѣетъ передъ своею собственною виртуозностью и играетъ тѣми чувствами и мыслями, на которыя нанизываются яркія и роскошныя картины. Соедините это благоговѣніе съ этимъ играньемъ, и въ общемъ результатъ вы получите *священную шутку*.

Но эти два потока — благоговѣніе и игранье — не могутъ идти постоянно рядомъ, не дѣйствуя другъ на друга и не смѣшиваясь между собою. Съ одной стороны благоговѣніе не можетъ оставаться глубокимъ и совершенно искреннимъ, потому что предметъ этого благоговѣнія, художническая виртуозность растрачивается на мелочи, которыя самъ художникъ признаетъ мелочами, годными только для забавы. Слѣдовательно сама виртуозность унижается и становится до нѣкоторой степени смѣшною въ глазахъ художника. Съ другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьезнымъ и торжественнымъ дѣ-

ломъ, когда художникъ увлекается процессомъ творчества и одушевляется силою благоговѣнія передъ собственнымъ волшебнымъ могуществомъ. Словомъ, ни читатель, ни художникъ не знаютъ навѣрное, какія чувства и мысли имъ приходится переживать вмѣстѣ; ни читатель не вѣритъ художнику, ни художникъ не довѣряется читателю; читатель боится принять слова художника за выраженіе искренняго чувства, боится увлечься этимъ чувствомъ, потому что художникъ тотчасъ начнетъ смѣяться надъ тѣмъ, что могло показаться искреннимъ порывомъ, и тогда читатель, распустившій нюни, попадетъ въ число сантиментальныхъ дураковъ, неспособныхъ понимать тонкую иронию; художникъ, съ своей стороны, знаетъ, что читатель остерегается и предвидитъ ироническую улыбку или циническую выходку; художникъ боится оказаться сантиментальнѣе читателя. Поэтому каждое чувство умышленно выражается такъ, что нѣтъ никакой возможности ни повѣрить его искренности, ни сказать навѣрное, что тутъ кроется иронія. «Еще рано, говорить Гейне въ концѣ своего «Путешествія на Гарцъ», солянце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухаетъ такъ сильно, что пары его бьютъ мнѣ въ голову, и въ этомъ опьяненіи я не могу понять, гдѣ оканчивается иронія и начинается небо» (т. I, стр. 91). Эти послѣднія слова прилагаются ко всей поэзіи Гейне, и въ этомъ постоянномъ отсутствіи границы между ироніей и небомъ, въ этой невозможности отличить иронию отъ неба, и положиться на искренность чувства заключается типическій характеръ гейневской поэзіи.

Благодаря этой особенности, большая часть произведеній Гейне, въ цѣломъ, оказываются совершенно непонятными, или, еще вѣрнѣе, въ нихъ нѣтъ никакой цѣлости. Каждое произведеніе Гейне ни что иное, какъ цѣпь причудливыхъ арабесковъ, или гирлянда фантастическихъ цвѣтовъ, очень яркихъ, очень пестрыхъ, очень разнообразныхъ, но набросанныхъ неизвѣстно для чего, разсыпанныхъ безъ всякаго общаго плана, и не имѣющихъ между собою никакой связи. Въ предисловіи къ первому тому русскаго перевода, г. Вейнбергъ высказываетъ слѣдующія мысли: «Намъ до сихъ поръ случается встрѣчать людей очень умныхъ, развитыхъ, но которые, будучи знакомы съ Гейне только по тѣмъ переводамъ изъ него, которые существуютъ на русскомъ языкѣ, съ какимъ то страннымъ изумленіемъ смотрятъ на него и сами сознаются, что не понимаютъ его, не понимаютъ прелести, заключающейся въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Это непониманіе, какъ мы только что замѣтили, происходитъ отъ неполнаго знакомства съ поэтомъ, съ его своеобразною манерою, съ его прихотливыми прыжками отъ одного предмета къ другому, съ его роскошною фантазією; не говоримъ уже здѣсь о жгучемъ остроуміи, которое и каждому непосвященному бросается въ глаза» (т. I, стр. VII). Мнѣ кажется, что съ

этим мнѣніемъ деврозможно согласиться. Если *непосвященные* выучать наизусть всѣ произведенія Гейне, съ перваго до послѣдняго,—они все-таки останутся *непосвященными*, т. е. не доруются ни до какаго осязательнаго смысла, не вынесутъ никакого опредѣленнаго впечатлѣнія, и наконецъ, убѣдятся только въ томъ, что тутъ рѣшительно нечего искать, и что подъ этими цвѣточными іероглифами нѣтъ ничего похожаго на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжковъ и роскошь фантазіи—все это замѣтно съ перваго взгляда, все это бросается въ глаза каждому *непосвященному* наравнѣ съ *жгучимъ остроуміемъ*. Но все это—и фантазія, и прыжки, и манера,—относится только къ *формѣ*, а не къ *содержанію* поэтическаго произведенія. Непосвященный видитъ очень хорошо, не хуже г. Вейнберга, какъ выражаетъ Гейне, но что именно онъ выражаетъ, что онъ хочетъ выразить и передать читателямъ, какія чувства и мысли рвутся наружу изъ его души, какія внутреннія убѣжденія управляютъ его перомъ, и заставляютъ его рисовать бессмысленно блестящіа арабески—это остается тайною для непосвященнаго, это останется вѣчною тайною не только для непосвященнаго но даже и для самаго г. Вейнберга, и я осмѣливаюсь думать, что ключа къ этой тайнѣ не было даже и у Гейне. Мнѣ кажется, Гейне ясенъ для себя и для другихъ только тогда, когда онъ обнаруживаетъ свое *жгучее остроуміе*, т. е. когда онъ, въ качествѣ *храбраго солдата* истребляетъ пронзительнымъ смѣхомъ окружающія глупости и подлости. Когда же онъ обращается къ болѣе мирнымъ занятіямъ, тогда онъ начинаетъ небрежно и презрительно выкидывать изъ себя на бумагу какія-то клочки мыслей и чувствъ, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, и которыя, слѣдовательно, навсегда останутся непонятными для его читателей. Я очень желалъ бы подтвердить мои слова наглядными и убѣдительными примѣрами, но сдѣлать это очень трудно. Примѣровъ существуетъ очень много, и даже выборъ не представляетъ никакихъ затрудненій. Но вотъ въ чемъ бѣда: чтобы доказать безсвязность и безцѣльность произведеній Гейне, надо разказать ихъ сюжеты; но безсвязность и безцѣльность колоссальны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицанія, слезливыя шутки, насмѣшливыя вздохи, притворныя слезы, эротическіе порывы мелькаютъ и кружатся передъ глазами, какъ снѣжинки во время метели. Разнообразіе картинъ удивительное! Быстрота въ смѣнѣ впечатлѣній непостижима! Вы подавлены и ошеломлены пестротою красокъ. Вы принуждены сознаться, что авторъ обладаетъ невѣроятною силою и подвижностью фантазіи. Но зачѣмъ поднять весь этотъ ураганъ маленькихъ, пестрененькихъ, недочувствованныхъ чувствъ и недодуманныхъ мыслей, къ чему онъ клонится, что онъ хочетъ опровергнуть или построить—этого вы не будете

понимать до тех поръ, пока не преобладастъ вамъ своей таинственной мудрости какою нибудь *посвященный*, въ существованіи и возможности котораго я рѣшительно сомнѣваюсь. Если такіе посвященные дѣйствительно существуютъ, и если до нихъ дойдутъ когда нибудь эти страсти, то я убѣдительно прошу ихъ объяснить мнѣ и другимъ недоумѣвающимъ профанамъ, какимъ образомъ возможно и слѣдуетъ понимать напр. извѣстное произведеніе Гейне «Идеи. Книга Ле-Гранъ». Желая показать читателю, что безъ помощи мистагоговъ и іерофантовъ нѣтъ возможности проникнуть въ таинства этого произведенія, которымъ всякій развитой человѣкъ восхищается по заказу, — я постараюсь перечислить хоть малую долю тѣхъ странныхъ картинъ, которыя мелькаютъ одна за другою въ «Книгѣ Ле-Гранъ».

Въ первой главѣ, комическая картина ада, въ видѣ огромной мѣщанской кухни. Въ аду слышится рожовой напѣвъ пѣсни о невыплаканной слезѣ, о той слезѣ, которой не выронила она, женщина, любимая потому, но не отвѣчающая ему взаимностью.

Во второй главѣ, поэтъ, онъ же и графъ Гангесскій, хочетъ застрѣлиться, покушаетъ себѣ пистолетъ, отправляется съ нимъ завтракать въ трактиръ, и видитъ въ стаканѣ рейнвейна остъ-нидскіе пейзажи. Потомъ, выйдя на улицу, онъ встрѣчается съ хорошенькою женщиною, которая своимъ взглядомъ заставляетъ его остаться въ живыхъ.

Въ третьей главѣ, поэтъ выражаетъ свою радость и свою любовь къ жизни.

Въ IV главѣ, поэтъ представляетъ себѣ, какъ онъ на старости лѣтъ схватитъ арфу и споетъ молодымъ людямъ пѣсню *про цѣлѣхъ Бренны*.

Въ пятой главѣ: «Сударыня, я обманулъ васъ! Я не графъ Гангесскій!» оказывается, что поэтъ родился на берегахъ Рейна. Потому являются три дѣвушки, Геріруда, Катарина и Гедвига и тетя ихъ Іоганна. Всѣ онѣ только являются и ровно ничего не дѣлаютъ. Въ этой же главѣ г. Вейнбергъ показываетъ ясно, что онъ не принадлежитъ къ числу *посвященныхъ* и врядъ ли можетъ исправлять должность мистагога. «При прощаніи, говоритъ Гейне, она (Іоганна) подала мнѣ обѣ руки — бѣлыя, милыя руки — и сказала: ты очень добръ; а когда ты сдѣлаешься злымъ, то думай снова о маленькой, умершей Вероникѣ» (т. I, стр. 165). Къ этимъ словамъ г. Вейнбергъ присоединяетъ слѣдующее подстрочное замѣчаніе: «Вероника — какое-то загадочное существо, о которомъ Гейне упоминаетъ нѣсколько разъ съ какою то особенною грустью. Надо предположить, что это была женщина, которую онъ сильнѣе всѣхъ любилъ». Такое примѣчаніе могъ бы, пожалуй, сдѣлать и всякій *непосвященный*. Предположеніе совершенно произвольное, и неизвѣстно, почему оно приписано къ имени Вероники, а не въ какому нибудь изъ многихъ другихъ женскихъ именъ, которыя Гейне

поминаетъ также со вздохами и причитаніями такой же точно сентиментальной искренности. Г. Вейнбергъ могъ бы, напримеръ, съ большимъ удобствомъ сказать тоже самое о Маріи, которую Гейне во второй части «Путевыхъ картинъ», вспоминаетъ очень часто, постоянно называя ее *умершею* или *мертвюю*, постоянно окружая ее или ореоломъ загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колоритъ интересной элегической томности, севозъ которую просвѣчиваетъ вѣчная насмѣшливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какія-то очень таинственныя, никому неизвѣстныя и нисколько не замѣчательныя событія, которыхъ онъ все-таки не рассказываетъ, и которыя, по всей вѣроятности, никогда ни съ кѣмъ не случались. Вообще надо обладать огромнымъ запасомъ довѣрчивости и добродушія, чтобы принимать женскія имена, разсыпанныя по книгамъ Гейне, за имена дѣйствительно существовавшихъ женщинъ, — или чтобы видѣть въ тѣхъ любовныхъ руладахъ и фіоритурахъ, которыми забавляется Гейне, намеки на радости и огорченія дѣйствительно пережитыя самимъ поэтомъ. Мнѣ кажется, что все это — чистѣйшая фантазмагорія, вызванная великимъ виртуозомъ единственно для того, чтобы насладиться собственнымъ волшебнымъ могуществомъ, собственною необыкновенною способностью творить изъ ничего и разрушать въ одну секунду самые яркіе образы.

Въ шестой главѣ воспоминанія дѣтства и превосходный рассказъ о томъ, какъ курфирстъ выѣхалъ изъ Дюссельдорфа и какъ вошли въ городъ французскія войска.

Въ седьмой главѣ юмористическія подробности о школьномъ ученіи. Тутъ появляется барабанщикъ Легранъ, и Гейне рассказываетъ очень остроумно, какимъ образомъ этотъ Легранъ объяснялъ ему, посредствомъ барабаннаго боя, смыслъ новѣйшей исторіи. Тутъ Гейне выходитъ на политическую тропинку, и поэтому становится, разумеется, великолѣпнѣе. Но уже въ концѣ этой главы Гейне, какъ достойный ученикъ наполеоновскаго барабанщика, падаетъ на колѣни передъ великимъ императоромъ.

Этими колѣнопреклоненіями наполнены восьмая и девятая глава. «И святая Елена, говоритъ Гейне въ IX главѣ, сдѣлается священнымъ мѣстомъ, куда народы запада и востока будутъ стекаться на поклоненіе на судахъ, изукрашенныхъ флагами, — и сердца ихъ окрѣпнутъ великимъ воспоминаніемъ о дѣяніяхъ великаго человѣка, пострадавшаго при Гудсонъ-Ло, какъ связано въ писаніи Ласъ-Каза, Омеары и Анто-марки» (т. I, стр. 192). Какъ вамъ нравится это пророчество новой религіи, — Наполеоніанства? Впрочемъ благоговѣніе Гейне передъ *своимъ императоромъ* составляетъ такой интересный патологическій феноменъ, что я буду говорить о немъ ниже, очень подробно.

Въ десятой главѣ, барабанщикъ Легранъ, воплощенная скорбь вели-

кой армии о великомъ императорѣ, умираетъ, и Гейне, угадавши его послѣднее желаніе, прокалываетъ его барабанъ, чтобы онъ не былъ «рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы». — Изъ этихъ послѣднихъ главъ читатель узнаетъ, что великій императоръ былъ другомъ свободы, и что барабаны его армии спасали Еврону отъ рабства.

XI глава начинается словами *Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!* (Отъ великаго до смѣшнаго—одинъ шагъ, сударыня!) Эта истина доказывается тѣмъ, что когда Гейне оканчиваетъ главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и попросила Гейне, какъ доктора, вырѣзать ей мужу мозоли. *Смѣшное* состоитъ въ томъ, что старуха приняла доктора правъ за медика. Что же касается до *великаго*, то его надо искать въ разсказѣ о смерти Леграна; чтобы найти это *великое*, надо непременно обратиться къ помощи іерофантовъ и мистагоговъ.

Въ XII главѣ написаны слова «нѣмецкіе цензоры» и затѣмъ десять строкъ точекъ. Переходъ отъ смѣшнаго и отъ глупой старухи къ нѣмецкимъ цензорамъ не можетъ никому показаться удивительнымъ и рѣзкимъ.

Въ XIII главѣ очень остроумны насмѣшки надъ нѣмецкимъ педантизмомъ и надъ ученой страстью къ безтолковымъ цитатамъ.

Главы XIV и XV. разсуждаютъ о дуракахъ, и отличаются неподржаемымъ остроуміемъ. «Я живу въ томъ же городѣ, говоритъ Гейне, и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствіе, когда подумаю, что всѣхъ дураковъ, которыхъ я вижу, я могу употребить для своихъ сочиненій: это чистыя, наличныя деньги. Теперь у меня обильная жатва: богъ благословилъ меня, дураки отлично уродились въ этомъ году, и я, какъ хорошій хозяинъ, потребляю ихъ въ небольшомъ числѣ, отбираю самыхъ лучшихъ и откладываю на будущее время. Меня очень часто можно встрѣтить теперь на гуляньи, — радостнаго и веселаго. Какъ богатый купецъ, потирая отъ удовольствія руки, ходитъ между ящиками, бочками и тюками своихъ товаровъ, такъ я прохаживаюсь посреди моего народа. Всѣ вы мнѣ принадлежите, всѣ вы мнѣ одинаково дороги, и я люблю васъ, какъ вы сами любите свои деньги, — а это много значить» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить объ оригинальности и дерзкой веселости этихъ двухъ главъ.

Въ XVI главѣ появляется милая подруга съ коричневою собакою. Гейне вмѣстѣ съ коричневою собакою сидитъ у ногъ милой подруги, смотреть ей въ глаза, цѣлуетъ ея руки и разсказываетъ ей о маленькой Вероникѣ. Что онъ разсказываетъ ей—неизвѣстно.

Въ XVII главѣ продолжаютъ сладостныя подробности о милой подругѣ.

Въ XVIII главѣ мы узнаемъ, что «грудь рыцаря была полна тьмою

и скорбю». У рыцаря происходит свиданіе съ синьоромъ Лаурою на берегахъ Бренты, и «таинственно-темный покровъ лежитъ надъ этимъ часомъ».—При этомъ читателю, по обыкновенію, предоставляется понимать, какъ угодно, или даже совсѣмъ не понимать эту таинственную темную главу, заключающую въ себѣ всего полторы странички.

Въ XIX главѣ опять подруга съ коричневою собакой, опять Вероника, растрогавшая г. Вейнберга, опять остъ-индскіе пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне не графъ Гангесскій, и наконецъ желтые пенковые панталоны, повредившіе молодому человѣку во время любовнаго объясненія. Словомъ, рядъ іероглифовъ-ребусовъ.

Въ XX главѣ что то такое о страданіи и о томъ, что молодой человѣкъ хотѣлъ застрѣлиться. Этою главою оканчивается «книга Лэгрантъ».

III.

Подведемъ итоги. Изъ XX главъ только пять—VI, VII, XIII, XIV и XV—удобопонятны и замѣчательны по своему остроумію. Затѣмъ три главы—VIII, IX и X свавословятъ Наполеона; одна глава—XI—повѣствуетъ о глупой старухѣ; одна глава—XII—состоитъ изъ точекъ, и наконецъ, десять главъ не заключаютъ въ себѣ ничего, кромѣ неясныхъ намековъ на какія то чувства, которыя испыталь или о которыхъ фантазироваль поэтъ. Конечно никто не запрещаетъ поэту дѣлиться съ публикою своими чувствами или фантазіями; это даже прямая обязанность поэта, но во всякомъ случаѣ публика имѣетъ право желать, чтобы съ нею говорили удобопонятнымъ языкомъ, чтобы всѣ слова и образы употребленные поэтомъ, имѣли какой нибудь ясный и опредѣленный смыслъ, чтобы поэтъ не задавалъ ей неразрѣшимыхъ загадокъ, и не превращалъ своихъ произведеній въ длинную и утомительную мистификацію. Что такое *цвѣты Бренты*, что такое *Вероника*, что такое *несмысленная слеза*, что такое *графъ Гангесскій* и какой общій смыслъ выходитъ изъ всѣхъ этихъ таинственныхъ незнакомцевъ, все это такіе вопросы, на которые читатель имѣетъ полное право требовать себѣ отвѣта, и если онъ этого отвѣта не получаетъ, то онъ имѣетъ полное право подумать и сказать, что поэтъ шутитъ съ нимъ очень плоскія шутки.

Было бы очень наивно думать, что въ «Книгѣ Лэгрантъ» есть и общій смыслъ, и великая цѣль, но что эта цѣль и этотъ смыслъ запрятаны въ ней черезчуръ глубоко, и, вслѣдствіе этого, могутъ быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и свѣдующими читателями. Ни цѣли, ни смысла въ ней нѣтъ. Такою же точно безцѣльностью, бессвязностью отличаются и всѣ прочія сочиненія Гейне, если

брать и рассматривать каждое произведеніе въ цѣломъ, а не по частямъ. Разсмотрите каждое произведеніе Гейне такъ, какъ я рассмотрѣлъ «Книгу Легранъ» и вы поневолѣ признаете вѣрность моего непочтительнаго приговора.

Было бы также въ высшей степени наивно думать, что безсвязность, безцѣльность и бессмысленность могутъ когда нибудь и при какихъ бы то ни было условіяхъ превратиться въ достоинства. Есть, конечно, любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзіи; есть даже простофили, желающіе прививать эти уродливыя особенности къ ничтожнымъ выкидышамъ своей собственной музы. Но тѣ люди, которыхъ умъ не поврежденъ раболовными отношеніями къ авторитетамъ, и не вертится какъ флюгеръ, сообразно со всѣми капризами эстетической моды, — будутъ говорить постоянно, что стройность, цѣльность и цѣлесообразность составляютъ необходимыя качества cadaго замѣчательнаго произведенія, къ какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и вездѣ останется крупнымъ недостаткомъ.

Но, съ другой стороны, для человѣка, сколько нибудь способнаго понимать и чувствовать, нѣтъ ни малѣйшей возможности отрицать чарующую прелесть гейневской поэзіи. Прелесть эта состоитъ, конечно, не въ безалаберности, не въ своеобразной манерѣ, не въ прихотливыхъ прыжкахъ, словомъ, совсѣмъ не въ томъ блистательномъ юродствѣ, которое, по мнѣнію поверхностныхъ цѣнителей, образуетъ всю настоящую сущность и весь букетъ этого небывалаго и невиданнаго литературнаго явленія. Прелесть эта освѣщаетъ и согреваетъ туманы безалаберности, она заставляетъ насъ забывать и прощать все, и нелѣпость манеры, и безобразія обезьяньихъ прыжковъ; она заставляетъ насъ читать съ удовольствіемъ то, въ чемъ нѣтъ никакого человѣческаго смысла; но она сама, эта загадочная прелесть, выходитъ изъ гораздо болѣе глубокихъ источниковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ достоинствами или недостатками отдѣльныхъ поэтическихъ произведеній. Прелесть эта заключается въ неотразимомъ обаяніи той сильной, богатой, нѣжной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотритъ на васъ во всѣ глаза изъ за каждой строки, какъ бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что то дышетъ, что-то волнуется, что то смѣется и плачетъ, что-то томится и кипитъ во всѣхъ этихъ хаотическихъ образахъ, во всей этой дикой гармоніи шальныхъ и разбросанныхъ словъ.

Передъ вами стоитъ живописецъ. На палитрѣ его горятъ краски невиданной яркости. Онъ взмахнулъ кистью и черезъ двѣ минуты вамъ улыбается съ полотна или даже просто со стѣны, прелестная женская фizioномія. Еще двѣ минуты, и вмѣсто этой фizioноміи на васъ смотрятъ демонически-страстные глаза безобразнаго сатира; еще нѣсколько уда-

ровъ кисти и сатиръ превратился въ развѣсистое дерево; потомъ пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а подъ ней китаецъ на какомъ-то фантастическомъ драконѣ; потомъ все замазано черной краской, и самъ художникъ оглядывается, и смотритъ на васъ съ презрительно-грустною улыбкою. Вы глубоко поражены этой волшебной-быстрой смѣной прелестнѣйшихъ картинъ, которыя взаимно истребили другъ друга, и отъ которыхъ не осталось ничего, кромѣ безобразнаго чернаго пятна. Вы спрашиваете у художника съ почтительнымъ недоумѣніемъ, зачѣмъ онъ губитъ свои собственныя великолѣпныя созданія, и зачѣмъ онъ, при своемъ невѣроятномъ талантѣ, играетъ и шалитъ красками, вмѣсто того, чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, отвѣчаетъ вамъ художникъ.

Вы этого отвѣта не понимаете и просите дальнѣйшихъ объясненій.

— Нѣтъ сюжетовъ, поясняетъ художникъ.

Изумленіе ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетовъ вездѣ и всегда можно найти безчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнѣе и еще грустнѣе.

— Сюжетомъ, говоритъ онъ, язвительно отчеканивая каждое слово, я называю такую мысль, которая овладѣваетъ всѣмъ моимъ существомъ, и не даетъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью, до тѣхъ поръ, пока я не вырву ее изъ себя и не прикую ее къ полотну. Такихъ сюжетовъ я не вижу и не чувствую въ окружающей меня атмосферѣ.

— Но вѣдь были же у васъ мысли, говорите вы, когда вы сейчасъ набрасывали одну картину за другою, или, вѣрнѣе, одну картину на другую.

— Это не мысли отвѣчаетъ художникъ: это мимолетныя настроенія. Вы сами видѣли, какъ они рождались и какъ исчезали. Такими мыльными пузырями, какъ эти настроенія, можно только удивлять и забавлять глупыхъ ребятишекъ, вродѣ вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этотъ щекотливый разговоръ.

Я взялъ тутъ живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась какъ можно нагляднѣе. Дѣйствуя въ области такого искусства, которое по своимъ средствамъ неизмѣримо богаче, и по своему вліянію на общество неизмѣримо сильнѣе живописи, Гейне, подобно моему фантастическому живописцу, не находитъ себѣ сюжетовъ, и, влѣдствіе этого, постоянно шалитъ и играетъ, вмѣсто того, чтобы творить. Играми и шалостями наполнена вся его жизнь, но можно сказать навѣрное, что онъ съ радостью отдалъ бы половину этой жизни, лишь бы только какая нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтическія шалости, и посвятить остальную половину жизни серьезнымъ и великимъ подвигамъ творчества. Граціозное бездѣльничанье мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствуетъ себя

способныъ взбросить Пеліонъ на Оссу, и вступить въ крупный разговоръ со всѣми обитателями Олимпа. Во время своихъ хроническихъ шалостей Гейне небрежно роняетъ на полъ свои жгучіе сарказмы, которые возбуждаютъ въ окружающихъ людяхъ чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могутъ только служить образчиками титанической силы, и не даютъ никакого приблизительнаго понятія о тѣхъ колоссальныхъ подвигахъ, которые совершилъ бы этотъ титанъ, если бы ему удалось найти сюжетъ, и взяться за работу, способную овладѣть всѣмъ его существомъ. Но сюжетъ не нашелся, и титанъ умеръ, не совершивши ничего такого, что было бы вполне достойно его собственныхъ силъ. Титанъ не виноватъ. Если онъ не нашелъ сюжета, то, значитъ, сюжета дѣйствительно и не было, по крайней мѣрѣ для него, для титана. Лѣнь было искать, скажете вы, оттого и не нашелъ. Ошибаетесь, отвѣчу я. Титану нуженъ великій сюжетъ, а такой сюжетъ—не иголка. Онъ не прячется отъ людей и не заставляетъ себя искать днемъ съ огнемъ; такой сюжетъ самъ дерзко и нахально лѣзетъ людямъ въ глаза, поражаетъ ихъ воображеніе, разнуздываетъ ихъ страсти, и возбуждаетъ вокругъ себя ожесточенную борьбу, которая, начавшись въ области мысли, быстро захватываетъ и наполняетъ сферу реальной жизни. Только такой мировой сюжетъ способенъ зажечь въ груди титана тотъ великій пожаръ, отъ котораго полетать во всѣ стороны, какъ блестящія искры, гениальныя произведенія. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы поддержать это мнѣніе прочными доказательствами, надо сначала окинуть общимъ взглядомъ главныя отрасли титанической дѣятельности, а потомъ объяснить смыслъ той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзію Гейне.

IV.

Титаны бываютъ разныхъ сортовъ.

Одни изъ нихъ живутъ и творятъ въ высшихъ областяхъ чистаго и безстрастнаго мышленія. Они подмѣчаютъ связь между явленіями, изъ множества отдѣльныхъ наблюденій они выводятъ общіе законы; они вырываютъ у природы одну тайну за другою; они прокладываютъ чело-вѣческой мысли новыя дороги; они дѣлаютъ тѣ открытія, отъ которыхъ перевертывается вверхъ дномъ все наше міросозерцаніе, а вслѣдъ за тѣмъ и вся наша общественная жизнь. Ихъ открытія даютъ оружіе для борьбы съ природою сотнямъ крупныхъ и мелкихъ изобрѣтателей, которымъ наша промышленность обязана всѣмъ своимъ могуществомъ. Это—Атласы, на плечахъ которыхъ лежитъ все небо нашей цивилиза-

цин (премилое небо?—неправда-ли?) Но, подобно Атласу, эти *титаны мысли* покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. Они ищутъ только истины. Имъ некогда и некого любить; они живутъ въ вѣчномъ одиночествѣ. Ихъ мысли хватаютъ такъ высоко и такъ далеко, ихъ труды такъ сложны и такъ громадны, что они, во время своей многолѣтней работы, ни въ комъ не могутъ встрѣтить себѣ сочувствія и пониманія, и ни съ кѣмъ не могутъ подѣлиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасеніями. Ихъ начинаютъ понимать и боготворить тогда, когда цѣль достигнута и результатъ полученъ. Но и тогда между ими и массою остается длинный рядъ посредниковъ и толкователей. Только при содѣйствіи этихъ второстепенныхъ и третъестепенныхъ дѣятелей масса получаетъ кое какое слабое и смутное понятіе о томъ, что выработалось въ громадныхъ черепахъ этихъ Давалагіри и Гумалари нашей породы. Чистѣйшимъ представителемъ этого типа можетъ служить Ньютонъ.

Другой типъ можно назвать *титанами любви*. Эти люди живутъ и дѣйствуютъ въ самомъ бѣшенномъ водоворотѣ человѣческихъ страстей. Они стоятъ во главѣ всѣхъ великихъ народныхъ движеній, религіозныхъ и социальныхъ. Несмотря ни на какіе зловѣщіе уроки прошедшаго, несмотря на кровавыя пораженія и мучительную расплату, люди такого закала изъ вѣка въ вѣкъ благославляютъ своихъ ближнихъ бороться, страдать и умирать за право жить на бѣломъ свѣтѣ, сохраняя въ полной неприкосновенности святыню собственнаго убѣжденія и величіе человѣческаго достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титанъ идетъ впереди всѣхъ, и, съ вдохновенною улыбкою на устахъ, первый кладетъ голову за то великое дѣло, котораго до сихъ поръ еще не выиграло человѣчество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширныя фактическія знанія, ни на ясность и твердость логическаго мышленія, ни на житейскую опытность и сообразительность. Ихъ сила заключается только въ ихъ необыкновенной чуткости ко всѣмъ человѣческимъ страданіямъ, и въ слѣпой стремительности ихъ страстнаго порыва. Въ былое время, впрочемъ, еще не очень давно, они искали себѣ точку опоры въ бездонномъ пространствѣ голубаго эфира, потомъ они стали вѣрить въ какую то отвлеченную справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать надъ земными гадостями, и наконецъ, по мнѣнію добродушныхъ титановъ любви, должна когда нибудь приступить къ выполненію своего давнишняго замысла. Впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ изобрѣтено книгопечатаніе и усовершенствована во всей Европѣ сельская и городская полиція, титаны любви во многихъ отношеніяхъ измѣнились къ лучшему. Имъ теперь уже нельзя и незачѣмъ проповѣдывать на открытомъ воздухѣ, гдѣ голубой эфиръ рассказываетъ всякому желающему заманчивыя сказки о

всевозможныхъ точкахъ опоры для всевозможныхъ воздушныхъ замковъ. Имъ нельзя увлекать слушателей восклицаніями и тѣлодвиженіями. Имъ пришлось взяться за перо. Они превратились въ кабинетныхъ работниковъ, и поневолѣ должны были познакомиться съ великими трудами титановъ мысли. Это сближеніе между двумя главными областями человѣческаго титанизма, это сліяніе дѣятельной любви и трезвой науки заключаетъ въ себѣ единственные возможные задатки будущаго обновленія.

Третью и послѣднюю категорію можно назвать *титанами воображенія*. Эти люди не дѣлаютъ ни открытій, ни переворотовъ. Они только схватываютъ и облачаютъ въ паразитично яркія формы тѣ идеи и страсти, которыя воодушевляютъ и волнуютъ ихъ современниковъ. Но идеи должны быть выработаны и страсти—предварительно возбуждены другими дѣятелями,—титанами двухъ высшихъ категорій. Матеріаломъ можетъ служить для титановъ воображенія только то, что люди знаютъ, и то, чего они хотятъ. Само собою разумѣется, что не всѣ человѣческія знанія съ одинаковымъ удобствомъ облачаются въ яркія и блестящія формы; никакому титану не придетъ въ голову дивная и смѣльная мысль писать поэму о спутникахъ Юпитера, или о скрытомъ теплородѣ, или о произвольномъ зарожденіи. Для поэмы годится только та часть человѣческихъ знаній, которая глубоко затрогиваетъ человѣческія страсти и притомъ не только страсти однихъ специалистовъ, способныхъ даже горячиться и соориться пзъ за спутниковъ Юпитера, но страсти всѣхъ людей, имѣющихъ возможность познакомиться съ даннымъ вопросомъ. Такими вѣчно живучими знаніями могутъ быть только знанія человѣка о междучеловѣческихъ отношеніяхъ. Въ этой же области междучеловѣческихъ отношеній разыгрываются также и всѣ серьезныя и упорныя человѣческія желанія, всѣ тѣ желанія, которыми характеризуются и отличаются другъ отъ друга различныя историческія эпохи. Значитъ, титаны воображенія располагаютъ богатымъ запасомъ матеріала тогда когда соціальныя знанія и понятія людей отличаются большою опредѣленностью, и когда желанія или стремленія очень ясно обозначены, очень сильны, настойчивы и рѣшительны. Напротивъ того, когда люди сомнѣваются въ состоятельности своихъ знаній, и въ тоже время не умѣютъ отдать себѣ ясный отчетъ въ своихъ собственныхъ желаніяхъ, когда имъ противно прошедшее, и когда они плохо вѣрятъ въ лучшее будущее, тогда титаны воображенія сидятъ безъ сюжетовъ, и, отъ нечего дѣлать, шалаютъ и играютъ красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастье титана Гейне состоитъ вовсе не въ томъ, что какой нибудь Меттернихъ или какой нибудь союзный сеймъ мѣшали ему откровенно объясняться съ нѣмецкою публикою. Это несчастье со-

стоитъ даже и не въ томъ, что сама нѣмецкая публика отличалась поразительнымъ тупоуміемъ и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своимъ злѣйшимъ врагамъ, разорвать на части своихъ лучшихъ и безкорыстѣйшихъ друзей, и подарить міру изъ своихъ собственныхъ нѣдръ, тысячи новыхъ Меттерниховъ и тысячи новыхъ союзныхъ сеймовъ; когда человѣку мѣшаетъ работать грубая матеріальная сила, — это, конечно, очень непріятно. Когда человѣка не понимаетъ то общество, которому онъ отдаетъ кровь своего сердца и сокъ своихъ нервовъ — это еще болѣе непріятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это такія препятствія, которыя могутъ и должны быть побѣждены сильнымъ напряженіемъ ума и воли. При всѣхъ этихъ препятствіяхъ, настоящій источникъ мужественной энергіи и боеваго задора остается нетронутымъ и незасореннымъ. Противъ матеріальной силы можно дѣйствовать хитростью. Инквизиторскую проникаемость меттерниховскихъ ищеекъ можно всегда обманывать неистощимымъ запасомъ тѣхъ уловокъ, изворотовъ, цвѣтистыхъ образовъ и проищескихъ двусмысленностей, которыя постоянно находятся подъ руками каждаго даровитаго писателя, и которыя придаютъ искусно затаенной мысли особенную шаловливую прелесть и раздражающую пикантность. Нѣтъ той гремучей змѣи, которую нельзя было бы опратно и граціозно уложить въ невиннѣйшую и граціознѣйшую корзинку, наполненную самыми великолѣпными и душистыми цвѣтами. И въ этой борьбѣ между меттерниховской ищейкой и даровитымъ писателемъ, побѣда непременно должна склоняться на сторону послѣдняго, потому что ищейка дѣйствуетъ по обязанности службы, а писатель повинуется повелительному гоосу всепоглощающей страсти.

Равнодушіе и непониманіе публики — это также не Богъ знаетъ какое неодолимое препятствіе. Если бы это равнодушіе и непониманіе простиралось на всю литературу безъ малѣйшаго исключенія, т. е., если бы публика не обнаруживала никакой охоты къ чтенію, и не имѣла бы никакого понятія объ умственныхъ наслажденіяхъ, — тогда препятствіе было бы дѣйствительно очень серьезно, и далеко превышало бы силы, не только одного даровитаго писателя, но даже и цѣлаго поколѣнія даровитыхъ писателей. Но, когда занятія текущею литературою сдѣлались насущною потребностью для того общества, которое считаетъ и называетъ себя образованнымъ, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себѣ, въ самое короткое время, понимающихъ и страстно внимательныхъ читателей. Если общество равнодушно къ политикѣ и не понимаетъ современной исторіи, то, по всей вѣроятности, оно не равнодушно къ театру и превосходно понимаетъ микроскопическія красоты лирическаго пустословія и романческаго селадонства.

Чѣмъ равнодушіе становится общество въ великимъ жизненнымъ идеямъ, тѣмъ страстнѣе оно привязывается къ прекраснымъ формамъ, которыхъ пониманіе впрочемъ также извращается и мельчаетъ подъ вліяніемъ общаго умственного оцѣненія. Въ Европѣ такъ бывало всегда. Эпохи политическаго застоя и отупѣнія были всегда золотыми годами для чистаго искусства, которое быстро овладѣвало всѣми умственными силами общества и потомъ немедленно вырождалось и доходило до послѣднихъ предѣловъ вычурности и уродливой аффектаціи. Если титанъ воображенія хочетъ, при такихъ условіяхъ, овладѣть вниманіемъ общества, то ему стоитъ только воспользоваться тѣми формами, которыя нравятся его современникамъ, отчистить, отполировать, эти формы, навести на нихъ новый, волшебнo-ослѣпительный блескъ, и потомъ влить въ нихъ то живое содержаніе, которое было вытѣснено изъ жизни и изъ литературы тяжелыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинута сначала на ослѣпительную форму, сіяющую нуще всякаго мѣднаго таза, но процессъ мышленія, направленного на ближайшіе и важнѣйшіе интересы и вопросы жизни, обладаетъ, всегда и для всѣхъ, такою неотразимою, такою раздражительною и затягивающею прелестью, что ядро орѣха очень скоро будетъ выпуто изъ шелухи, и что шумные споры о красотахъ и недостаткахъ оболочки уступать мѣсто гораздо болѣе ожесточеннымъ преніямъ о питательности или ядовитости содержанія. Пробужденіе притупленного и деморализованнаго общества начинается обыкновенно съ очищенія его эстетическихъ понятій, совсѣмъ не потому, что эти понятія важнѣе всѣхъ остальныхъ, а потому, что деморализованное и притупленное общество только съ этой стороны оказывается доступнымъ для вразумленій. Эту сторону слабѣе караулятъ официальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кромѣ того сама публика только съ одной этой стороны сохраняетъ способность видѣть, слышать, чувствовать, понимать, интересоваться и увлекаться. Руководствуясь тѣмъ инстинктомъ, которымъ обладаютъ титаны, Лессингъ, въ Германіи, и Бѣлинскій, въ Россіи, начали обновленіе общества со стороны его эстетическихъ понятій, которыя, при дальнѣйшемъ развитіи умственного движенія, должны были отодвинуться на самый задній планъ. Гейне также очень ловко умѣлъ бороться съ равнодушіемъ публики и побѣждать ея непониманіе. Какъ Лессингъ и Бѣлинскій сами дѣлались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конецъ неограниченному господству эстетики; такъ точно Гейне, осмѣивая и убивая безсодержательный романтизмъ, пользовался въ теченіе всей своей жизни романтическими формами, которыхъ причудливая и необузданная дивность очаровывала его современниковъ.

Стало быть великое несчастье Гейне заключалось не въ умственной убогости нѣмецкой публики.

Настоящее, роковое несчастье, гораздо болѣе неотразимое, чѣмъ Меттернихъ и филистерство, состояло въ томъ, что сама соль земли находилась въ недоумѣніи, и не знала навѣрное, что и какъ солить. Лучшие люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокругъ себя и внутри себя твердую точку опоры и не могли ея найти. Ихъ мучило безвѣріе въ самоѣ обширномъ и глубокомъ значеніи этого слова. Они не знали, на что надѣяться, и чего желать. Въ этомъ отношеніи лучшие люди первой половины XIX вѣка были гораздо несчастнѣе своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Предшественники вѣрили въ политическій переворотъ; преемники вѣрятъ въ экономическое обновленіе; а посрединѣ лежитъ темная трущоба, наполненная разочарованіемъ, сомнѣніемъ и смутно-безпокойными тревогами; и въ самоѣ центрѣ этой темной трущобѣ сидитъ самый блестящій и самый несчастный ея представитель, Генрихъ Гейне, который весь составленъ изъ внутреннихъ разладовъ и непримиримыхъ противорѣчій.

V.

Передовые мыслители XVIII вѣка были глубоко убѣждены въ томъ, что хорошее правительство можетъ, въ самое короткое время, поставить любой народъ на высшую ступеньку цивилизации и блаженства. Мудрый законодатель и золотой вѣкъ — это по ихъ мнѣнію были два понятія, неразрывно связанныя между собою, какъ причина и слѣдствіе. Задача человечества представлялась въ самоѣ простомъ и элементарномъ видѣ: обезоружь тирановъ, посади мудрецовъ въ государственный совѣтъ, и потомъ блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое блаженство на вѣчныя времена, то наблюдай только за тѣмъ, чтобы мудрецы не глупѣли и не лукавили. Чуть замѣтилъ недосмотръ или фальшь, сейчасъ отставляй мудреца отъ должности, замѣщай его новымъ благодѣтелемъ, и будь увѣренъ, что блаженству твоему не предвидится конца. Тѣ люди, которые вѣрують въ конституцію, какъ въ универсальное лекарство, разсуждаютъ именно такимъ образомъ, потому что всевозможныя конституціонныя гарантіи и уравновѣшиванія клонятся исключительнo въ тому, чтобы регулировать смѣщеніе мудрецовъ, пришедшихъ въ негодность, и выборъ новыхъ мудрецовъ, долженствующихъ занять ихъ мѣсто. Откуда взялось это забужденіе, обольстившее XVIII вѣкъ, и не совсѣмъ утратившее свою силу до настоящаго времени, — понять не трудно. Дѣло въ томъ, что дурное правительство дѣйствительно можетъ причинить народу необъятную массу разнообразнаго зла. Если бы

дурному правительству, въ родѣ турецкаго или персидскаго, удалось при помощи вооруженной силы, утвердиться въ роскошной странѣ, населенной дѣятельнымъ и даровитымъ народомъ и если бы это дурное правительство успѣло задушить всѣ взрывы народного негодованія, то черезъ нѣсколько десятилѣтій страна превратилась бы въ пустыню, и остатки народа сдѣлались бы толпою нищихъ идіотовъ и негодяевъ. Такое разрушеніе народного богатства, народныхъ силъ и народного ума производилось передъ глазами тѣхъ мыслителей, которыхъ работы положили свою печать на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанскаго и Людовика XV превращало Францію въ пустыню, а французовъ въ нищихъ, которымъ были одинаково сподручны идіотизмъ, негодяйство и голодная смерть. Мыслители могли прослѣдить шагъ за шагомъ все развитіе зла; они могли доказать самымъ осязательнымъ образомъ, что все это зло сдѣлано дурнымъ правительствомъ. Они видѣли собственными глазами, какъ колоссально можетъ быть вліяніе правительства въ дурную сторону; они умозаключали совершенно справедливо, что народъ испытать бы значительное облегченіе, если бы правительство, на будущее время, просто и скромно стало воздерживаться отъ грубыхъ ошибокъ и отъ слишкомъ скандальнаго озорства. Но тутъ уже трудно было остановиться во время на пути умозаключеній. Тутъ сейчасъ подвертывалась та, повидимому несомнѣнно истинная мысль, что, если правительство можетъ все погубить, то оно можетъ также все спасти, возсоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

И такъ въ XVIII вѣкѣ дѣло шло о томъ, чтобы вручить правленіе искреннимъ друзьямъ и достойнымъ представителямъ народа. Такой опытъ былъ произведенъ во Франціи, и окончился неудачею. Неудачею не въ томъ смыслѣ, что революція не принесла Франціи никакой пользы, а только въ томъ смыслѣ, что результатъ не соотвѣтствовалъ наивно преувеличеннымъ ожиданіямъ народа и его вождей. Феодализмъ былъ вырванъ съ корнемъ; поземельная собственность распредѣлилась равномерно. Въмѣсто тысячи мѣстныхъ обычаевъ, выработанныхъ одинъ общій кодексъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, одинаково обязательныхъ для герцога и для мужика; наслѣдственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство замѣнено новымъ, гораздо болѣе рациональнымъ, быстрымъ и дешевымъ. Словомъ, великое множество Авгіасовыхъ стойлъ, нечищенныхъ со времёнъ Гуго Капета, снесено прочь до основанія. Въ числѣ этихъ стойлъ цехи заслуживаютъ самаго почетнаго упоминанія. Вообще въ одно десятилѣтіе былъ сдѣланъ невѣроятно громадный и совершенно безповоротный шагъ впередъ, котораго потомъ не могла затуманить самая бѣшеная реакція. Возстановить цехи, внутреннія таможи, мѣстные обычаи, церковную

десятину, помѣщичьи права, — шалишь! Объ этомъ не осмѣливалась заненуться даже *Chambre introuvable* того толстаго Людовика, который наперекоръ всѣмъ историческимъ фактамъ, упорно называлъ себя XVIII. Это значило бы буквально искать вчерашняго дня или прошлотадняго снѣга. Но золотой вѣкъ все-таки не наступилъ, а надежды были такъ неудержимо размахисты и такъ сильно возбуждены, что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступление золотого вѣка повело за собою великое, долгое и мучительное разочарованіе.

Въ это время, подъ вліяніемъ разочарованія и реакціи, въ Европѣ распустился чахлый и блѣдный цвѣтокъ либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренніе либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой вѣкъ всеобщаго довольства и ненарушимаго братолубія не наступитъ никогда. Мечтать намъ бесполезно. Стремиться къ нему безумно и преступно. Земля слишкомъ мала и бѣдна. Люди слишкомъ многочисленны. Страсти ихъ слишкомъ пылки и разнообразны. Вѣчная борьба между людьми неизбежна. Поэтому надо заботиться только о томъ, чтобы борьба всегда и вездѣ рѣшалась личными достоинствами, а не прерогативами рожденія. Надо твердо стоять на той почвѣ, которую расчистили для насъ великіе принципы 1789 года. Съ одной стороны, надо отстаивать приобрѣтенія великаго переворота противъ отвратительныхъ замысловъ реакціонеровъ, мечтающихъ о восстановленіи феодализма; съ другой — надо держать въ ежовыхъ рукавицахъ тѣхъ сумасбродовъ, которые, считая себя законными преемниками тѣхъ великихъ дѣятелей, стараются увлечь общество въ бездну анархіи, разоренія и варварства. Такъ рассуждали либералы, и по этой программѣ располагались всѣ ихъ дѣйствія.

Искренніе либералы, желавшіе доставить народу счастье, но считавшіе это счастье недостижимымъ для массъ, составляли незначительное меньшинство. Настоящая боевая армія либерализма состояла изъ такихъ людей, которые жадно собирали плоды великаго переворота, и нисколько не желали, чтобы число счастливыхъ собирателей увеличилось. На развалинахъ стараго феодализма утвердился новая плутократія, и бароны финансоваго міра, банкиры, негоціанты, коммерсанты, фабриканты и всякіе *надуванты* вовсе не были расположены дѣлиться съ народомъ выгодами своего положенія. Слово *плутократія* происходитъ отъ греческаго слова *плутосъ*, которое значитъ *богатство*. Плутократіею называется господство капитала. Но если читатель увлекался обольстительнымъ созвучіемъ, захочетъ производить *плутократію* отъ русскаго слова *плутъ*, то смѣлая догадка будетъ невѣрна только въ этимологическомъ отношеніи.

Бароны финансоваго міра образовали новый классъ привилегированныхъ особъ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали

защищать только свои собственные привилегіи. Тѣ искренніе друзья народа, которымъ пришлось жить и дѣйствовать въ первой половинѣ текущаго столѣтія, очутились такимъ образомъ въ компаніи самаго сомнительнаго достоинства.

Рыхлая и безсвязная политическая партія, составленная изъ близорукихъ лавочниковъ, честолюбивыхъ шарлатановъ, уклончивыхъ юристовъ и немного искреннихъ, но глубоко разочарованныхъ друзей народа, могла имѣть нѣкоторый смыслъ и кое-какую энергію только тогда, когда надо было осаживать и обуздывать шальныхъ реакціонеровъ, потерявшихъ на старости лѣтъ послѣдніе остатки здраваго человѣческаго разсудка. Императоръ Францъ, князь Меттернихъ, союзный сеймъ, герцогъ Веллингтонъ, маркизъ Ландондерри, *Chambre introuvable*, Карлъ X, іезуиты и піетисты — были настоящимъ и неопровержимымъ сокровищемъ для комически несчастной партіи либераловъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чѣмъ могли бы они заработать себѣ европейскую знаменитость, какими терновыми вѣнцами могли бы они избородить свои интересно-блѣдные лбы, — если бы великодушные реакціонеры не доставляли имъ обильныхъ случаевъ оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и доказывать торжественно, что дважды два четыре, и что мужикъ не любитъ платить десятину? Какъ только пылкіе обожатели средне-вѣковаго порядка вымерли или перестали быть опасными, какъ только либеральная партія одержала побѣду надъ своими благодѣтелями, такъ тотчасъ же либеральная партія распалась на свои составныя части. Честные и умные люди отшатнулись отъ нея прочь; а легіонъ пройдохъ и торгашей, осѣненный знаменемъ *великихъ принциповъ*, сталъ представлять такое умиротворительное зрѣлище, что обнаружилась настоятельная необходимость свернуть и спрятать тихимъ манеромъ компрометирующее знамя и выставить новыи штандартикъ, на которомъ, вмѣсто крикливыхъ словъ: «*братство, равенство, свобода!*» было написано приглашеніе не воровать носовыхъ платковъ и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была имъ необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два четыре, что бережливость есть мать всѣхъ милліоновъ и всѣхъ добродѣтелей, что силою ума и характера поденщикъ можетъ сдѣлаться банкиромъ и перомъ Франціи, что евреи имѣютъ основательныя причины считать себя людьми, и что папѣ было бы очень полезно познакомиться съ системою Коперника, открыть свои объятія всему человѣчеству и записаться въ ряды просвѣщенныхъ и умѣренныхъ либераловъ. Когда же свободная печать начала знакомить міръ съ новыми истинами, опасными для финансоваго феодализма, тогда либералы первые закричали «*караулъ!*» и выдумали новое слово *licence*,

для обозначенія печатныхъ ужасовъ, отъ которыхъ надо укрываться подъ защиту городскаго сержанта.

Барышники знали, чего хотѣли. Они были очень довольны собою и своею политикою. Внутреннія противорѣчія ихъ не смущали. Они говорили, что жизнь не математика, и что непоколебимая вѣрность основной идеѣ такъ же невозможна въ жизни, какъ невозможна въ природѣ математическій маятникъ. Этимъ людямъ было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованіямъ данной минуты, они то отвергали принципъ, допуская въ тоже время его послѣдствія, то отвергали послѣдствія, допуская принципъ.

Такъ, напримѣръ, въ первой четверти нашего столѣтія многіе англійскіе лорды пожелали увеличить доходность своихъ владѣній, и, съ этою цѣлю, нашли удобнымъ превратить пахатныя земли въ пастбища, на которыхъ должны были воспитываться феноменально-жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срокъ заключеннымъ контрактамъ, тогда владѣльцы предложили фермерамъ уходить на всѣ четыре стороны, и, вслѣдъ затѣмъ, немедленно приказали разрушить тѣ усадебныя строенія, въ которыхъ эти люди родились, выросли, быть можетъ, даже состарѣлись и надѣялись умереть. Тысячи семействъ оказались безъ пріюта, старики и дѣти умирали отъ истощенія силъ; женщины разрѣшались отъ бремени въ открытомъ полѣ; словомъ, происходили такія странныя сцены, которыя, повидимому, были ужасны и позволительны только во время нашествія непріятеля. Либеральная европейская пресса ударила въ набатъ. Вотъ, молъ, они каковы: эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопійцы!

Всѣ эти либеральныя завыванія можно было приостановить однимъ простымъ вопросомъ: земля чья?

— Земля господская.

— Такъ чего же вы бѣснуетесь?

— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдутъ?

— Куда угодно. Въ рабочій домъ, въ тюрьму, въ Ирландскій каналъ, въ нѣмецкое море, въ ближайшій прудъ, на висѣлицу, къ чорту на кулички, или въ какое нибудь другое злачное и пріятное мѣсто. Лорды не имѣютъ права, и, какъ добрые граждане, уважающіе законы своего отечества, даже не желаютъ стѣснять своихъ бывшихъ фермеровъ въ выборѣ новой резиденціи.

— Это ужасъ, это убійство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаннымъ разумомъ* (la raison écrite). Вамъ должно быть извѣстно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать съ своей земли возможно большіе

доходы, лордъ только пользуется этою землею, а не злоупотребляетъ. Значить, онъ не только не выступаетъ изъ должныхъ границъ своего неотъемлемого и священнаго права, но даже далеко не доходить до тѣхъ границъ, которыя очерчены вокругъ него вашимъ *писаннымъ разумомъ*. Изъ за чего же вы лезете на стѣну, когда все въ обществѣ обстоитъ благополучно, и когда спокойно и торжественно развертываются прамия и законныя послѣдствія той идеи, передъ которой вы стоите на колѣняхъ? Если же римское опредѣленіе кажется вамъ неудобнымъ, попробуйте сочинить новое. Но при этомъ будьте осторожны. Вы рискуете поднять изъ свѣжей могилы трупъ обезглавленнаго Бабефа. Вы рискуете вызвать изъ глубины далекаго прошедшаго великія тѣни Калъ и Тиверія Граховъ. Вы рискуете потревожить грозный призракъ аграрныхъ законовъ.

Много такихъ потоковъ краснорѣчія можно было бы направить противъ европейскихъ либераловъ, осуждавшихъ энергическія хозяйственныя распоряженія англійскихъ землевладѣльцевъ. Но всѣ эти потоки пропали бы даромъ, потому что либералы рѣшительно ничѣмъ не рисковали. Опасность угрожала бы имъ только въ томъ случаѣ, если бы они хоть сколько нибудь уважали логику. Для человѣка послѣдовательнаго, измѣнить римское опредѣленіе собственности значитъ перестроить сверху все зданіе междучеловѣческихъ отношеній. Для просвѣщеннаго либерала это значитъ внести въ книгу законовъ лишнюю ограничительную закорючку, способную порождать ежегодно дѣй три сотни лишнихъ процессовъ.

Когда благоуханія какого нибудь Авгіасова стойла доводятъ просвѣщеннаго и чувствительнаго либерала до тошноты или до обморока, тогда либераль, очнувшись и сбравшись съ силами, брызгаетъ въ убійственное стойло одеколономъ, или ставитъ въ него курительную свѣчку, или выливаетъ въ него банку ждановской жидкости.

И къ этой либеральной партіи, къ этому разлагающемуся трупу Жиронды, былъ привязанъ, въ теченіе всей своей жизни, гениальный поэтъ Генрихъ Гейне.

VI.

Сарказмы Гейне злы, мѣтки и картинны. Но тѣ политическія убѣжденія, изъ которыхъ они вытекаютъ, очень не глубоки, неясны и не тверды. Гейне—*храбрый солдатъ*; онъ превосходно владѣетъ оружіемъ; но въ его нападеніяхъ нѣтъ общаго плана и руководящей идеи.

Гейне—либераль, но какъ человѣкъ очень умный, очень страстный, переполненный горячею любовью къ людямъ, онъ никогда не могъ за-

стыть и одеревѣть въ близорукой и самодовольной рутинѣ либерализма. Онъ оставался вѣчно неудовлетвореннымъ не только въ дѣйствительной жизни, но даже въ области мыслей и желаній. Вокругъ себя онъ не находилъ ни одного явленія, къ которому можно было бы привязаться горячею и безраздѣльною любовью. Внутри себя онъ не находилъ ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желанія, ради котораго стоило бы, очертя голову, броситься въ пропасть, ни одной мечты, которой умный человѣкъ могъ бы отдаться безъ оглядки всѣми силами своего существа.

Находясь въ такомъ положеніи, спокойныя и холодныя натуры, подобныя Гете и Горацию, мирятся съ тѣмъ убѣжденіемъ, что *жизнь пустая и скучная штука*, принимаютъ за правило, что *надо жить, пока живетъ*, устрояютъ свое существованіе по рецепту умѣренной и свѣтлой эпикурейской мудрости, пишутъ граціозныя оды къ Лигурину и къ Деліи, или дѣлаютъ свой кейфъ на пестрыхъ и мягкихъ подушкахъ западно-восточнаго дивана.

Но для настоящихъ титановъ, для бурныхъ и вулканическихъ натуръ, подобныхъ Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остается навсегда непонятнымъ и недоступнымъ. Эти люди могутъ быть до нѣкоторой степени счастливы только тогда, когда они окунаются съ головою въ омутъ страстной и ожесточенной борьбы за идею. Этимъ людямъ необходимы цѣльныя и громадныя чувства, сильныя и мучительныя потрясенія нервной системы. Имъ необходимо любить, ненавидѣть, желать, стремиться и бороться такъ, чтобы при этомъ совершенно забывать о мелкихъ будничныхъ интересахъ собственной личности. Все это не всегда оказывается возможнымъ, потому что въ исторіи случаются длинныя и томительно скучныя антракты, когда старыя идеи блекнутъ и линяютъ, а новыя только что начинаютъ зарождаться въ рабочихъ кабинетахъ немногихъ титановъ, еще неизвѣстныхъ своимъ современникамъ. Во время такихъ антрактовъ цѣльнымъ и громаднымъ чувствамъ не къ чему привязаться; а между тѣмъ, эти чувства все таки ищутъ себѣ выхода и все таки никакъ не могутъ разлѣяться на мелкую монету усладительныхъ вздоховъ, граціозныхъ симпатій, миловидныхъ волненій, покорныхъ улыбокъ и официальныхъ восторговъ. Зная пустоту и безцвѣтность своего времени, несчастные титаны воображенія, удрученные потребностью любить, ищутъ себѣ предмета любви до конца своей жизни, мечутся, какъ угорѣлые, изъ угла въ уголъ, перерываютъ весь міръ существующихъ идей, стараются влюбить себя насильно, и при этомъ смѣются надъ своими безплодными усиліями такимъ демоническимъ смѣхомъ, отъ котораго у слушателей морозъ пробѣгаетъ по кожѣ. Наконецъ, длинный рядъ безплодныхъ усилій доводитъ титана до такой лихорадочной раздражительности, и награждаетъ его на всю жизнь та-

вою болѣзненною недовѣрчивостію, что ему случается брать въ руки осматривать со всѣхъ сторонъ, и потомъ бросать, съ презрительнымъ смѣхомъ, въ общую кучу забракованныхъ неглѣпостей, ту самую идею, въ которой заключается заря лучшей исторической будущности, и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самыя высокія изъ всѣхъ доступныхъ человѣку наслажденій.

Самъ Гейне превосходно понималъ, или, по крайней мѣрѣ, очень вѣрно угадывалъ настоящую причину своего роковаго несчастія, немѣвшаго, конечно, ничего общаго съ какою нибудь личною утратою, или съ старою исторіею о томъ, что онъ ее любилъ, а она его любила.

«Любезный читатель, говоритъ Гейне во второй части «Путевыхъ Картинъ», можетъ быть и ты изъ числа тѣхъ благочестивыхъ птичекъ, что согласно вторятъ пѣснѣ о байроновской разорванности, пѣснѣ, которую мнѣ уже лѣтъ десять насвистываютъ и напѣваютъ на всѣ лады, и которая даже въ черепѣ маркиза, какъ ты видишь, нашла отголосокъ? Ахъ, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать объ этой разорванности, пожалуй лучше, что самый міръ разорванъ изъ конца въ конецъ. Вѣдь сердце поэта — центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ? Кто хвалится своимъ сердцемъ, что оно осталось у него цѣло, тотъ только доказываетъ, что у него прованческое, оторванное отъ всего міра, сердце. По моему же сердцу прошелъ большой міровой разрывъ и въ этомъ я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостію въ сравненіи съ другими и сочла достойнымъ поэтическаго мученичества. Прежде, въ древніе и средніе вѣка, міръ былъ цѣлъ; несмотря на вѣншія борьбы, было единство въ мірѣ; были и цѣльные поэты. Станемъ чтить этихъ поэтовъ и радоваться ими; но всякое подражаніе ихъ цѣлостности будетъ ложью, которая не обманетъ ничьего здороваго глаза и не избѣгнетъ тогда насмѣшки. Недавно, съ большимъ трудомъ, добылъ я въ Берлинѣ стихотворенія одного изъ такихъ цѣльныхъ поэтовъ, очень жаловавшагося на мою байроническую разорванность, и отъ фальшивыхъ красокъ его и нѣжныхъ сочувствій къ природѣ, которыми вѣяло на меня отъ книги, какъ отъ свѣжаго сѣна, бѣдное сердце мое, и безъ того надорванное, чуть было не лопнуло отъ смѣха, и я невольно вскричалъ: «Любезный мой интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ! Что вамъ за дѣло до зеленыхъ деревьевъ!» (Т. II, стр. 154).

Большой міровой разрывъ, проходящій по сердцу поэта, и отражающійся въ разорванности его произведеній, это, конечно, очень смѣльный поэтический образъ, но въ этомъ образѣ нисколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могутъ ввести въ заблужденіе только слова Гейне о цѣльности міра въ древніе и средніе вѣка. Основываясь на этихъ словахъ, читатель можетъ подумать, что

сердце поэта могло быть цѣло только тогда, и что поэтическая разорванность родилась на свѣтъ вмѣстѣ съ началомъ великой борьбы противъ средневѣковыхъ идей и учреждений. Такое мнѣніе читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежитъ въ гораздо болѣе тѣсныхъ и ясно обозначенныхъ границахъ. Никакихъ признаковъ разорванности нельзя найти, не только въ поэтахъ времени Людовика XIV, не только въ Мильтонѣ и Клопштокѣ, но даже въ Шиллерѣ, и во всѣхъ передовыхъ мыслителяхъ, господствовавшихъ надъ умами французовъ во второй половинѣ прошлаго столѣтія. При Людовикѣ XIV, міръ былъ еще цѣлъ, хотя средневѣковой порядокъ былъ уже нарушенъ въ самыхъ существенныхъ своихъ чертахъ. Въ XVIII вѣкѣ, міръ былъ уже разорванъ діаметрально противоположными стремленіями двухъ непримиримыхъ партій, изъ которыхъ одна тянулась къ будущему, вѣровала въ разумъ, а другая ухватывалась за прошедшее и не вѣровала ни во что, кромѣ штыковъ и картечи. Міръ былъ разорванъ, но сердца поэтовъ и друзей человечества были въ высшей степени цѣльны, здоровы и свѣжи. Эти сердца очутились цѣликомъ по одну сторону разрыва. Въ мысляхъ, въ чувствахъ, въ желаніяхъ Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего походяго на раздвоенность или нерѣшительность. Эти люди не знали никакихъ колебаній, и не чувствовали никогда ни малѣйшей жалости или нѣжности къ тому, что они отрицали и разрушали. По силѣ своего воодушевленія, по рѣзкой опредѣленности своихъ понятій, по своей невозмутимой самоувѣренности эти люди могутъ выдержать сравненіе съ любимымъ средневѣковымъ фанатикомъ. А фанатизмъ и разорванность—два понятія, взаимно исключающія другъ друга. Та разорванность, которую Гейне видитъ въ самомъ себѣ и въ Байронѣ, составляетъ прямой результатъ громаднаго разочарованія, овладѣвшаго лучшими людьми образованнаго міра послѣ неудачнаго финала французской революціи. Тутъ лучшіе люди стали сомнѣваться въ вѣрности своихъ идей, тутъ они бросили грустный и тревожный взглядъ назадъ, на оторванное прошедшее, и тутъ ихъ сердца попали подъ черту міроваго разрыва, потому что имъ показалось, что, вмѣстѣ съ прошедшимъ, они оторвали отъ себя часть своей собственной души. Это былъ оптический обманъ. Эти ужасы привидѣлись имъ только потому, что будущее было заслонено сѣрыми и грязными тучами, сквозь которыя еще не пробивался лучъ новой, руководящей идеи, способной замѣнить собою потерянную вѣру въ чудотворную силу гонимыхъ политическихъ переворотовъ. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучшихъ людей, исчезла впредь до ближайшаго общеевропейскаго разочарованія,—если только такое разочарованіе дѣйствительно возможно. На нашихъ глазахъ живутъ и дѣйствуютъ снова цѣльные люди, идущіе впередъ очень твердыми шагами къ очень опредѣленной цѣли. Въ Прудонѣ, въ Луи-Бланѣ, въ

Лассаль нѣтъ уже никакихъ слѣдовъ байроновской или гейневской разорванности. Если бы въ наше время сформировался великій поэтъ, то его сердце навѣрное было бы также перекинуто, цѣликомъ, за черту міроваго разрыва, и эта цѣльность неимѣла бы ничего общаго съ интендантъ-совѣтникомъ Вельгельмомъ Нейманомъ и съ запахомъ свѣжаго сѣна.

Замѣчу мимоходомъ, что стрѣла, пущенная мимоходомъ въ какого то неизвѣстнаго или, можетъ быть, даже несуществующаго интендантъ-совѣтника Вильгельма Неймана, попадаетъ прямо въ грудь тайнаго совѣтника Вольфганга фонъ Гете. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападеніе было сдѣлано нечаянно. *Путевая картины* были изданы въ 1826 году, тогда, когда Гете былъ еще живъ, и когда всѣ нѣмцы, считавшіе себя сколько нибудь компетентными судьями въ дѣлѣ поэзіи и возвышенныхъ ощущеній, буквально лежали у ногъ этого человѣка, торжественно возведеннаго въ санъ величайшаго изъ европейскихкихъ поэтовъ. Поэтому, нѣтъ почти ни малѣйшей возможности допустить то предположеніе, что Гейне, размышляя о характеристическихъ особенностяхъ истиннаго поэта, упустилъ изъ вида ту крупную личность, которая считалась въ то время настоящимъ воплощеніемъ поэзіи. Если же Гейне, разсуждая о міровомъ разрывѣ, хорошо помнилъ поэтическую фizioномію Гёте, то Гейне долженъ былъ также видѣть и понимать очень ясно, что сердце Гёте осталось совершенно нетронутымъ, что въ этой цѣльности нѣтъ ничего похожаго на страстную цѣльность Вольтера и Дидро, что, слѣдовательно, сердце Гёте *оторвано отъ всего міра*, и что *судьба не сочла его достойнымъ поэтического мученичества*. Эти заключенія совершенно неотразимы. — Никто, конечно, не скажетъ о произведеніяхъ Гёте, что они распространяють запахъ свѣжаго сѣна, и возбуждаютъ въ читателяхъ гомерическій хохотъ, но за то можно сказать навѣрное, что безчисленное стадо подражателей великаго индифферентиста наградило Германію цѣлыми стогами свѣжаго сѣна, и что *любезный интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ*, отъ котораго едва не лопнуло бѣдное сердце Гейне, навѣрное падалъ ницъ передъ Гёте, и, со всею добросовѣстною аккуратностью прусскаго чиновника, старался идти по его слѣдамъ. *Quod licet Zovi, non licet bovi*. (Что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тотъ Юпитеръ, который увлекаетъ многія тысячи быковъ-на ложную дорогу, быкамъ вовсе не свойственную, никакъ не можетъ считаться просвѣтителемъ скотнаго двора. Гёте, конечно, очень уменъ, очень объективенъ, очень пластиченъ и такъ далѣе: все это при немъ и остается на вѣчныя времена. Но своему отечеству Гёте сдѣлалъ чрезвычайно много зла. Онъ, вмѣстѣ съ Шиллеромъ, украсилъ, тоже на вѣчныя времена, свиную голову нѣмецкаго филистерства лавровыми листьями безсмертной поэзіи. Благодаря этимъ

двумъ поэтамъ, нѣмецкій филистеръ имѣетъ возможность мирить высшія эстетическія наслажденія съ самою безцвѣтною пошлостью бюргерскаго прозябанія. Онъ читаетъ своихъ великихъ поэтовъ, и вздыхаетъ надъ ними, и умиляется, и заводитъ глаза, какъ отвормленный котъ, и остается безнадежнымъ пошлякомъ, и твердо увѣренъ при этомъ, что онъ человѣкъ, и что ничто человѣческое ему не чуждо. И все это происходитъ отъ того, что въ великихъ поэтахъ нѣмецкаго филистерства нѣтъ живой струи отрицанія. Именно по этой причинѣ, ихъ любятъ и читаютъ нѣмецкіе филистеры, и по этой же самой причинѣ, любя и читая ихъ, остаются филистерами. Гдѣ нѣтъ желчи и смѣха, тамъ нѣтъ и надежды на обновленіе. Гдѣ нѣтъ сарказмовъ, тамъ нѣтъ и настоящей любви къ человѣчеству. Если хотите убѣдиться въ этой истинѣ, помните, напримѣръ, великолѣпные сарказмы противъ книжниковъ и фарисеевъ. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны съ истинною любовью ненависть, негодованіе и презрѣніе.

VII.

Не удовлетворяясь либерализмомъ и въ тоже время не имѣя возможности выработать себѣ собственными силами другой, болѣе широкой и разумный взглядъ на явленія общественной жизни, Гейне, въ дѣлѣ политики, поневолѣ остался навсегда блестящимъ диллетантомъ. Лучшій изъ нѣмецкихъ либераловъ, Людвигъ Бёрне, стоявшій уже на порогѣ новыхъ экономическихъ теорій, не разъ печатно упрекалъ и уличалъ Гейне въ легкомысліи, въ безхарактерности и даже въ совершенномъ отсутствіи серьезныхъ политическихъ убѣжденій. «Я, говоритъ Бёрне въ своихъ «Парижскихъ Письмахъ» могу снисходительно смотрѣть на дѣтскія игры, на страсти юноши. Но, когда, въ минуту самой кровавой битвы, мальчишка, гоняющійся на полѣ сраженія за бабочками, попадетъ мнѣ подъ ноги; когда въ минуту большаго бѣдствія, когда мы горячо молимся Богу, молодой фатъ становится подлѣ насъ въ церкви, и только глазѣетъ на молодыхъ дѣвушекъ, и перемигивается и перешептывается съ ними, тогда, не будь сказано въ обиду нашей философіи и гуманности, мы не можемъ не сердиться... Кто признаетъ искусство своимъ божествомъ, и тутъ же, смотря по расположенію духа, обращается съ молитвами къ природѣ, тотъ въ одно и тоже время, является преступникомъ противъ искусства и противъ природы. Гейне выпрашиваетъ у природы ея нектаръ и цвѣточную пыль и строитъ ея улья изъ воска искусства, но онъ не строитъ улей для того, чтобы хранить въ немъ медъ, а собираетъ медъ для того, чтобы наполнить улей. Оттого то онъ не трогаетъ, когда плачетъ, потому что вы знаете, что

слезами онъ только поливаетъ свои цвѣточныя гряды. Оттого то онъ не убѣждаетъ тогда, когда говорить правду, потому что въ правдѣ онъ любитъ только прекрасное. Но правда не всегда прекрасна, она не всегда остается прекрасною. Проходитъ много времени, пока она зацвѣтетъ, а отцвѣтаетъ она прежде, чѣмъ принесетъ плоды. Гейне поклонился бы нѣмецкой свободѣ, если бы она была въ полномъ цвѣту; но такъ какъ по причинѣ холодной зимы она закрыта навозомъ, то онъ не признаетъ и презираетъ ее. Съ какимъ прекраснымъ одушевленіемъ онъ говоритъ о республиканцахъ въ церкви Св. Маріи, о ихъ геройской смерти! То была счастливая битва, въ которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивление своимъ врагамъ и умереть прекрасною смертью за свободу! Но еслибъ въ этой битвѣ не было столько прекраснаго, Гейне посмѣлся бы надъ нею. Если бы въ ту приснопамятную минуту, когда Франція очнулась отъ своего тысячелѣтняго сна и поклонилась, что не будетъ больше спать, Гейне посадили въ залъ мяча (jeu de Paume) онъ сдѣлался бы самымъ отчаяннымъ якобинцемъ. Но замѣть онъ въ карманѣ Мирабо трубку съ красно-черно-золотой кисточкой, — къ чорту свободу! И онъ ушелъ бы оттуда, и сталъ бы писать прекрасные стихи въ честь прекрасныхъ глазъ Маріи-Антуанетты».

Политическій диллетантизмъ Гейне охарактеризованъ здѣсь велико-лѣпно. Но Бёрне очень сильно ошибается въ одномъ пунктѣ. Онъ отрицаетъ у Гейне способность глубоко любить и ненавидѣть. Онъ говоритъ, что Гейне плачетъ для того, чтобы слезами поливать свои цвѣточныя грядки. Онъ думаетъ, что великому разорванному поэту легко, пріятно и весело быть диллетантомъ. Онъ не видитъ трагической, роковой и мучительной стороны этого диллетантизма. Это грубая ошибка, впрочемъ совершенно естественная со стороны раздражительнаго и страстнаго политическаго бойца. Что Гейне не былъ на самомъ дѣлѣ счастливымъ и легкомысленнымъ мотылькомъ, что его слезы и его смѣхъ стоили ему недешево, что ему были коротко знакомы жестокія внутреннія бури и разрушительныя умственные тревоги—это доказывается всего убѣдительнѣе тѣмъ страшнымъ разстройствомъ нервной системы, которое, подъ конецъ его жизни, буквально положило на него вѣнецъ *поэтическаго мученичества*. Если бы Бёрне могъ предвидѣть такой исходъ, онъ, по всей вѣроятности, не рѣшился бы упрекнуть въ поливаніи цвѣточныхъ грядокъ великаго и несчастнаго поэта, изнемогавшаго подъ блестящимъ, но тяжелымъ крестомъ вынужденнаго диллетантизма. Да-лѣе, очень страненъ упрекъ въ томъ, что Гейне презираетъ нѣмецкую свободу, закрытую навозомъ, по причинѣ холодной зимы. Тутъ Бёрне, повидимому, зарапортовался. По крайней мѣрѣ, трудно понять, какой осязательный смыслъ вложенъ въ эту хитрую метафору. *Холодная зима*—торжество феодаловъ и ретроградовъ. *Навозъ* — система Меттерниха и

союзного сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы*, нечего и говорить о нѣмецкой свободѣ, какъ о реальномъ фактѣ. Нѣмецкая свобода, какъ реальный фактъ, положительно не существуетъ, если она боится простуды, и благоразумно почиваетъ подъ навозомъ. А чт не существуетъ, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Бѣрне толкуетъ тутъ объ *идеѣ* нѣмецкой свободы, то, во первыхъ, идея не знаетъ никакихъ временъ года, всегда находится въ полномъ цвѣтѣ, никогда не лежитъ подъ навозомъ, и вообще повинуется только законамъ своего собственнаго внутренняго развитія. А во вторыхъ Гейне, при всей своей необузданной страсти персифлировать враговъ и друзей, никогда не отзывался насмѣшливо или презрительно объ идеѣ нѣмецкой свободы. Какъ бы то ни было, главный фактъ—дѣйствительное существованіе гейневскаго диллетантизма все таки не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Въ книгѣ своей «о Людвигѣ Бѣрне», Гейне выписываетъ приведенный выше отрывокъ изъ «Парижскихъ писемъ», для того, чтобы показать, какіе на него взводились неосновательныя обвиненія. «Неопредѣленными словами, но всевозможными намеками меня обвиняютъ тамъ,—говоритъ Гейне, въ самомъ двусмысленномъ образѣ мыслей, если уже не въ совершенномъ отсутствіи его. Точно такимъ же образомъ дается тамъ замѣтить, что я отличаюсь не только индифферентизмомъ, но и противорѣчіемъ съ самимъ собою». (Т. VI, стр. 316.)

Гейне совершенно напрасно говорить о какихъ то *всевозможныхъ намекахъ*. Бѣрне, напротивъ того, выражаетъ свои обвиненія самыми *опредѣленными словами*. Читатель уже видѣлъ обращеніе этихъ обвиненій, и, по всей вѣроятности, согласится, что въ рѣзкихъ сравненіяхъ и анти-тезахъ Бѣрне нѣтъ ничего похожего на косвенный намекъ. Кажется, нѣтъ возможности выражаться яснѣе, прямѣе и нагляднѣе. Гейне думаетъ и утверждаетъ, что онъ стоитъ выше подобныхъ обвиненій, и не хочетъ оправдываться. Но, именно въ той самой книгѣ, въ которой онъ цитируетъ «Парижскія письма», онъ, чуть не на каждой страницѣ, даетъ внимательному читателю самыя поразительныя доказательства своего политическаго безвѣрія и диллетантизма. Онъ, какъ будто нарочно, старается подтвердить всѣ тѣ обвиненія, къ которымъ онъ относится съ самою великолѣпною самонадѣянностью.

Гейне не хочетъ, чтобы его считали союзникомъ Бѣрне. Книга «о Людвигѣ Бѣрне» была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Стараясь отдѣлить себя отъ Бѣрне, Гейне въ то же время не можетъ не уважать его. Этимъ искреннимъ и глубокимъ уваженіемъ проникнута вся книга, въ которой авторъ тѣмъ не менѣе сурово осуждаетъ Бѣрне, и нерѣдко персифлируетъ его. Отклоняя отъ себя всякую умственную солидарность съ та-

кимъ писателемъ, которому онъ самъ не можетъ отказать въ глубокомъ уваженіи, съ такимъ писателемъ, который все таки, до конца жизни, боролся и страдалъ за великую и святую идею,—Гейне очевидно, долженъ былъ собрать всѣ свои силы, пересмотрѣть всѣ свои убѣжденія, и представить самую полную и отчетливую картину своего собственного образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровержимо ему самому и всѣмъ его читателямъ неизбежность, необходимость и глубокую законность его разрыва съ величайшимъ предводителемъ нѣмецкихъ либераловъ. Гейне самъ понимаетъ главную задачу своей книги именно такимъ образомъ: «Я считаю себя обязаннымъ, говорить онъ, изобразить въ этомъ сочиненіи и мою собственную личность, такъ какъ вслѣдствіе сплетенія самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ, какъ друзья, такъ и враги Берне, говоря о немъ, непремѣнно заводи́ли съ большимъ или меньшимъ доброжелательствомъ или зложелательствомъ рѣчь о моей литературной и общественной дѣятельности». (Стр. 311, т. VI).

Какими же чертами изображаетъ Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которыя приводятъ читателя въ изумленіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ, отнимаютъ у него всякое право пожаловаться на недостатокъ откровенности. Диллетантъ нисколько не драпируется въ мантию глубокомысленныхъ соображеній. Художникъ самъ себя выдаетъ головою.

«Надо, говорить Гейне, собственными глазами видѣть народъ во время дѣйствительной революціи, надо нюхать его собственнымъ носомъ, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что хотѣлъ сказать Мирабо словами: «нельзя сдѣлать революцію лаванднымъ масломъ». Пока мы читаемъ о революціи въ книгахъ, всё выходитъ очень красиво, и съ ними повторяется та же исторія, что съ пейзажами, отлично вырѣзанными на мѣди и превосходно отпечатанными на дорогой веленовой бумагѣ; въ этомъ видѣ они чаруютъ вашъ взоръ, а посмотрѣть на нихъ въ натурѣ, то убѣдишься совсѣмъ въ противномъ: вырѣзанный на мѣди навозъ не воняетъ, а-черезъ вырѣзанное на мѣди болото легко перейти глазами въ бродъ». (Т. VI, стр. 240).

Въ той же самой книгѣ Гейне пускаетъ слѣдующую тираду по поводу июльской революціи.

«Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, Марсельеза...

Кончилась моя жажда спокойствія. Теперь я снова знаю, что я хочу, что долженъ, что обязанъ дѣлать... Я си́нъ революціи, и снова берусь за оружіе, надъ которымъ моя мать произнесла свое полное чаръ благословеніе... Цвѣтовъ, цвѣтовъ! Я увѣнчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мнѣ лиру, чтобы я спѣлъ боевую пѣсню. Изъ нея вылетятъ слова, подобныя пламеннымъ звѣздамъ, которыя стрѣляютъ внизъ съ небесной высоты, и сожигаютъ чертоги, и освѣщаютъ хижины... Слова, подобныя метательнымъ копьямъ, которыя взлетаютъ

въ седьмое небо и поражаютъ набожныхъ лицеѣровъ, которые пробрались тамъ въ Святую Святыхъ... Я весь радость и пѣснопѣніе, весь мечъ и огонь». (Т. VI, стр. 208).

Теперь, читатель, сравнивая оба приведенные отрывка, начинаетъ понимать сурово-печальныя слова Берне о мальчишкѣ, преслѣдующемъ пеструю бабочку на полѣ кровопролитнаго сраженія. *Во первыхъ* весь лирический восторгъ Гейне происходитъ,—если вѣрить его собственному объясненію,—оттого, что онъ созерцаетъ революцію на столбцахъ газеты, гдѣ напечатанный навозъ не воняетъ, и гдѣ можно легко перейти въ бродъ глазами черезъ напечатанное болото. Гейне называетъ себя сыномъ революціи, но его сыновняя любовь кончается тамъ, гдѣ она становится несовмѣстною съ лаванднымъ масломъ. Всѣ эти ужасныя минуты борьбы между матерью и лаванднымъ масломъ, несчастный поэтъ остается неизмѣнно вѣренъ портрету матери, отлично вырѣзанному на мѣди и превосходно отпечатанному на дорогой веленовой бумагѣ. Благодареніе передъ портретомъ тѣмъ болѣе прочно, что оно никогда не можетъ помѣшать обожанію лаванднаго масла. *Во вторыхъ*, любуясь портретомъ своей матери, Гейне, какъ настоящій ребенокъ, сосредоточиваетъ свое вниманіе не на выраженіи ея лица, а на яркихъ лентахъ ея чепчика, на тонкомъ узорѣ ея шитаго воротничка, и на блестящихъ камушкахъ ея дорогаго ожерелья. Знакомясь съ революціею по газетамъ, онъ не задумывается надъ ея результатами, а только восхищается ея шумомъ, блескомъ и эффектностью самой борьбы. *Лафайетъ, трехцветное знамя, Марсельеза!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старикъ, котораго водить за носъ первый искатель приключеній! Пестрый доскутъ, напоминающій міру о колоссальныхъ разбояхъ Наполеона! И плохіе стишонки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками, въ то время, когда рѣшается участь даровитаго и энергическаго народа, которому до сихъ поръ постоянно подсовывали пестрые доскуты и эффектныя пѣсенки, вмѣсто здоровой пищи, разумнаго труда, свободныхъ учреждений и общедоступнаго образованія. Смотрѣть на революцію съ эстетической точки зрѣнія значитъ оскорблять величіе народа и профанировать ту идею, во имя которой совершается переворотъ. Въ жизни народовъ революціи занимаютъ то мѣсто, которое занимаетъ въ жизни отдѣльнаго человѣка вынужденное убійство. Если вамъ придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то можетъ случиться, что вы убьете нападающаго на васъ негодяя. Впослѣдствіи, вы будете вспоминать объ этомъ убійствѣ безо всякаго особеннаго смущенія, потому что, разсматривая вашъ поступокъ со всѣхъ сторонъ, и обсуживая его строжайшимъ образомъ, вы постоянно будете получать тотъ результатъ, что убійство было неизбежно, и что всякое другое поведеніе было бы съ ва-

шей стороны низкою трусостью и подлою измѣною въ отношеніи къ тѣмъ лицамъ, которыя имѣли полное право рассчитывать на вашу защиту. Но, совершенно оправдывая свой насильственный поступокъ, вы все таки никогда не будете считать особенно счастливымъ тотъ день, въ который вы были принуждены зарѣзать или застрѣлить человѣка. Вы не будете желать, чтобы такіе эффектные случаи повторялись въ вашей жизни почаще. Печальная необходимость, въ которую вы были поставлены, никогда не перестанетъ казаться вамъ очень печальною. Если же вы, паче чаянія, начнете гордиться, хвастаться и восхищаться тѣмъ мужествомъ, которое вы обнаружили во время схватки, то благоразумные люди подумаютъ о васъ совершенно справедливо, что вы — человѣкъ пустой и трусливый, которому какъ то разъ удалось не струсить, и который потому носитъ съ соимъ неожиданнымъ припадкомъ храбрости, какъ съ какимъ нибудь восьмымъ чудомъ свѣта.

То же самое можно сказать и о насильственныхъ переворотахъ, которые, кромѣ того, можно также сравнить съ оборонительными войнами. Каждый переворотъ и каждая война, сами по себѣ, всегда наносятъ народу вредъ, какъ матеріальный, такъ и нравственный. Но если война или переворотъ вызваны настоятельною необходимостью, то вредъ, наносимый ими, ничтоженъ въ сравненіи съ тѣмъ вредомъ, отъ котораго они спасаютъ, такъ точно, какъ вредъ, наносимый ртутіальнымъ лекарствомъ, ничтоженъ въ сравненіи съ тѣмъ вредомъ, который причинило бы развитіе сифилитической болѣзни. Тотъ народъ, который готовъ переносить всевозможныя униженія и терять всѣ свои человѣческія права, лишь бы только не браться за оружіе и не рисковать жизнью, — находится при послѣднемъ издыханіи. Его непременно поработятъ сосѣди, или уморятъ голодною смертію домашніе благодѣтели. Но, съ другой стороны, такой народъ, который тѣшится переворотами, какъ привычною забавою, всегда оказывается пустымъ, ничтожнымъ, жалкимъ, больнымъ и глубоко-развращеннымъ народомъ. Для примѣра, достаточно сослаться на испано-американскія республики, въ которыхъ правительства смѣняются чуть ли не ежемѣсячно; при этомъ не мѣшаетъ сравнить ихъ съ Соединенными Штатами, въ которыхъ, со времени войны за независимость, былъ всего только одинъ переворотъ.

Чтобы судить о какомъ нибудь переворотѣ, надо всегда сравнивать то, что было наканунѣ борьбы съ тѣмъ, что получилось на другой день послѣ побѣды. Тогда можно будетъ рѣшить, законенъ ли данный переворотъ въ своей исходной точкѣ и плодотворенъ ли онъ въ своихъ результатахъ. Переворотъ, вырванный изъ своей естественной связи съ ближайшимъ прошедшимъ и съ ближайшимъ будущимъ, оказывается просто грязною свалкой, которою можетъ восхищаться только пугливый батальонный живописецъ. Относясь съ почитательнымъ сочув-

ствіемъ къ какому нибудь перевороту, мыслящіе защитники народныхъ интересовъ поступаютъ такимъ образомъ вовсе не изъ любви къ шумнымъ демонстраціямъ и занимательнымъ потасовкамъ, а только изъ любви къ тѣмъ бѣднымъ людямъ, которымъ послѣ переворота сдѣлалось не много легче жить на свѣтѣ. Если бы это облегченіе могло быть достигнуто путемъ мирнаго преобразованія, то мыслящіе защитники народныхъ интересовъ первые осудили бы переворотъ, какъ ненужную трату физическихъ и нравственныхъ силъ.

Если бы Гейне, понимая ясно цѣль и смыслъ великихъ переворотовъ, видѣлъ возможность ихъ полнаго успѣха, если бы онъ держалъ въ рукахъ Ариаднину нить, способную вывести массу изъ лабиринта лишеній и страданій, то, разумѣется, созерцаніе великой идеи, заключающей въ себѣ спасеніе человѣчества и пробивающей себѣ дорогу въ дѣйствительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслажденіе, которое совершенно отбило бы у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками, вродѣ трехцвѣтной тряпки или справляться о томъ, употребляется ли лавандное масло во время народныхъ движеній. Но, такъ какъ Гейне былъ заранѣе убѣжденъ въ томъ, что народъ и послѣ переворота останется при своей прежней, грязной нищетѣ, то эстетическій взглядъ батальнаго живописца и одерживалъ рѣшительную побѣду надъ смутными и безнадежными стремленіями разочарованнаго прогрессиста. Не имѣя возможности интересоваться серьезнымъ смысломъ переворота, потому что такого смысла онъ въ немъ не предполагалъ. — Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смѣлостью и стойкостью патріотическихъ бойцовъ. Восхищеніе это производилось издали. Когда же Гейне подошелъ поближе и замѣтилъ отсутствіе лаванднаго масла, тогда онъ спокойно зажалъ себѣ носъ, и просвисталъ свою насмѣшливую пѣсенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вмѣстѣ составляетъ полное и отчетливое отреченіе отъ серьезной политической дѣятельности. Кто смотритъ на событія съ эстетической точки зрѣнія, тотъ не можетъ быть двигателемъ событій, такъ точно, какъ не можетъ быть хирургомъ тотъ ребенокъ, который смотритъ на ланцеты, какъ на блестящія игрушки.

Далѣе, Гейне характеризуетъ свой политическій образъ мыслей тою любопытною подробностью, что ему, въ молодости, очень хотѣлось сдѣлаться народнымъ ораторомъ, но что, къ сожалѣнію, онъ не можетъ привыкнуть къ табачному дыму, жестоко свирѣпствующему въ собраніяхъ нѣмецкихъ республиканцевъ.

Затѣмъ, онъ объявляетъ, что, если народъ пожметъ ему руку, то онъ, Гейне, немедленно вымоетъ ее. Подаривши міру такія великія политическія истины, Гейне считаетъ себя въ правѣ третировать Берне съ высоты своего величія, потому что Берне переноситъ табачный дымъ

и не таскает съ собою рукомойника въ народныя собранія, гдѣ производятся крѣпкія и многочисленныя рукопожатія.

Гейне заподозриваетъ Берне въ личной зависти.

«И именно въ отношеніи ко мнѣ, говоритъ Гейне, покойный (Берне) предавался такимъ личнымъ чувствамъ, и всѣ его нападенія на меня были ничто иное, какъ мелкая зависть, которую маленькій барабанщикъ чувствуетъ къ большому тамбуръ-мажору. Онъ завидовалъ моему высокому плюмажу, который такъ смѣло развѣвался по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на которомъ было столько серебра сколько онъ, маленький барабанщикъ, не могъ бы купить за всѣ свои деньги, завидовалъ ловкости, съ которою я махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ, любовнымъ взглядамъ, которые бросали на меня молодыя дѣвочки, и на которые я, можетъ быть, отвѣчалъ съ нѣкоторымъ кокетствомъ.» (Т. VI. стр. 261.)

Гейне влюбленъ въ самого себя, потому что ему не удалось влюбиться въ идею. Это очевидно и нисколько неудивительно. Но мы имѣемъ полное право не считать Берне мелкимъ завистникомъ, тѣмъ болѣе, что самъ Гейне даетъ намъ матеріалы для его оправданія.

«Страстныя рѣчи, говоритъ Гейне, въ духѣ рейнско-баварскихъ ораторовъ доводили до фанатизма многіе умы, и такъ какъ республиканизмъ такое дѣло, которое понять гораздо легче, чѣмъ напр. конституционную форму правленія, для уясненія которой необходимы многія другія свѣдѣнія, то прошло немного времени, какъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ сдѣлались уже республиканцами и проповѣдывали новыя убѣжденія. Эта пропаганда была гораздо опаснѣе всѣхъ тѣхъ выдуманныхъ пугалъ, которыми вышеупомянутые доносчики пугали нѣмецкія правительства, и писанное слово Берне, можетъ быть, много уступало въ могущество его устному слову, съ которымъ онъ обращался къ людямъ, принимавшимъ эти слова съ нѣмецкою вѣрою и распространявшимъ ихъ у себя въ отечествѣ съ изумительнымъ рвеніемъ.» (Т. VI, стр. 237.)

И такъ, Гейне хотѣлъ и не могъ сдѣлаться народнымъ ораторомъ по неспособности переносить табачный дымъ. А Берне хотѣлъ, и могъ, и переносилъ дымъ, и дѣйствовалъ и фанатизировалъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ, которые оставались для Гейне *зеленымъ виноградомъ*. Кто же изъ двухъ, Гейне или Берне, обладалъ богато вышитымъ мундиромъ и махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ? Кто изъ двухъ имѣлъ болѣе основательныя причины завидовать другому?

VIII.

Политическій диллетантизмъ отравляетъ всю литературную дѣятельность Гейне и постоянно мѣшаетъ ему сосредоточить свои силы на какомъ бы то ни было предметѣ. Гейне не можетъ ни подчиниться политической тенденціи, ни отдѣлаться отъ нее, Гейне рѣшительно не знаетъ, въ какихъ отношеніяхъ находятся къ политикѣ всѣ другія отрасли человѣческой дѣятельности,—наука, искусство, промышленность, религія, семейная жизнь, умозрительная философія, и т. д. Но Гейне понимаетъ, что какія нибудь отношенія должны существовать между всѣми этими отраслями, и что, такъ или иначе, всѣ эти отрасли могутъ ускорять или замедлять движеніе человечества къ лучшему и будущему. Предчувствуя существованіе какой то общей связи между различными отраслями человѣческой дѣятельности, сознавая необходимость общаго взгляда на всю совокупность этихъ различныхъ отраслей, и въ тоже время не умѣя отыскать тотъ высшій принципъ, во имя котораго можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли, по ихъ дѣйствительному внутреннему достоинству,—Гейне находится въ хроническомъ недоумѣніи и постоянно колеблется между тенденціозными сужденіями недоразвивающагося прогрессиста и непосредственными ощущеніями простодушнаго эстетика. Эти колебанія замаскированы отъ глазъ легкомысленныхъ читателей удивительнымъ блескомъ вѣшной формы, неистощимымъ богатствомъ картинъ, прелестью тонкаго юмора, и неожиданною силою отдѣльныхъ сарказмовъ. Но если вы, закрывши книгу, попытаете отдать себѣ отчетъ въ содержаніи прочитанныхъ страницъ, если вы захотите узнать, въ чемъ убѣдилъ и въ чемъ хотѣлъ убѣдить васъ авторъ, то на всѣ эти вопросы вы не найдете у себя въ головѣ ни одного опредѣленнаго отвѣта, ничего, кромѣ какого-то пріятнаго хаоса удачныхъ шутокъ и граціозныхъ сравненій, подъ которыми скрываются неясныя мысли, общія мѣста или внутреннія противорѣчія. Такъ на примѣръ, если вы захотите узнать отъ Гейне, какъ онъ понимаетъ отношенія искусства къ жизни, то вы не узнаете равно ничего, или, вѣрнѣе, вы узнаете сегодня одно, завтра совсѣмъ другое, послѣ завтра ни то, ни сѣ. Можетъ случиться и такъ, что вы въ одинъ день получите три разнохарактерные отвѣты, которыхъ несовмѣстность поэтъ не замѣтилъ или не хочетъ замѣтить, считая ее, по всей вѣроятности, неизбѣжнымъ атрибутомъ поэтической разорванности. Въ одной изъ предыдущихъ главъ мы видѣли, что Гейне понимаетъ поэзію, какъ *священную шутку*, или какъ *священное средство для необходимыхъ цѣлей*. Какъ ни сбивчиво это опредѣленіе, однако же изъ него все таки можно

заклѣчить, что поэзія, по мнѣнію Гейне, должна подчиняться какому-то высшему соображенію. Цѣль важнѣе средства, и средство всегда должно принаровливаться къ цѣли; въ противномъ случаѣ средство перестаетъ быть средствомъ и превращается въ самостоятельную цѣль. Стало быть, если Гейне признаетъ существованіе *небесныхъ цѣлей*, предписанныхъ для поэзіи, и лежащихъ за ея собственными предѣлами, то онъ обязываетъ поэзію видоизмѣняться сообразно съ тѣми условіями, при которыхъ *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты. При такомъ взглядѣ, самою лучшею оказывается та поэзія, которая всего больше облегчаетъ достиженіе *небесныхъ цѣлей*. Если *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты безъ содѣйствія поэзіи, то поэзія должна скромно и покорно согласиться на самоуничтоженіе. Иначе получится вопіющая нелѣпость: священная игрушка заставитъ людей забыть о *небесныхъ цѣляхъ*, и *храбрые солдаты* превратятся въ легкомысленныхъ школьниковъ. Признавая существованіе *небесныхъ цѣлей* и называя себя *храбрыми солдатами*, Гейне, повидимому, никакъ не можетъ желать подобнаго результата. А между тѣмъ, онъ его желаетъ. По крайней мѣрѣ онъ горько плачется на тѣхъ людей, которыхъ поэзія не имѣетъ самостоятельнаго значенія, и которые, стремясь къ *небеснымъ цѣлямъ*, не хотятъ развлекаться *священными игрушками*.

«Ахъ, говорить Гейне въ своей книгѣ о Людвигѣ Бёрне пройдетъ много времени прежде, чѣмъ мы отыщемъ великое цѣлебное средство; до тѣхъ поръ придется намъ сильно хворать и употреблять всевозможныя мази и домашнія средства, которыя будутъ только усиливать болѣзнь. Тутъ прежде всего приходятъ радикалы, прописывающіе радикальное леченіе, которое однако дѣйствуетъ только наружнымъ образомъ, потому что развѣ только уничтожаетъ общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если имъ и удастся на короткое время избавить человѣчество отъ страшнѣйшихъ мукъ, то это дѣлается въ ущербъ послѣднимъ слѣдамъ красоты, до тѣхъ поръ остававшимся у больного; гадкій, какъ вылечившійся филистеръ, встанетъ онъ съ постели и въ отвратительномъ госпитальномъ платьѣ, пепельно-сѣромъ костюмѣ равенства, станетъ жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, все благоуханіе, вся поэзія будутъ вычеркнуты изъ жизни, и отъ всего этого останется только Румфордовъ супъ полезности. Красота и гений не находятъ себѣ никакого мѣста въ общественной жизни нашихъ новыхъ пуританъ и подвергаются такимъ оскорбленіямъ и угнетеніямъ, какихъ они не испытывали даже при существованіи стараго порядка... Потому что красота и гений не могутъ жить въ обществѣ, гдѣ каждый, съ неудовольствіемъ сознавая свою посредственность, старается унижить всякое высшее дарованіе и свести его къ самому пошлому уровню. Сухое будничное настроеніе новыхъ пуританъ распространяется уже по

всей Европѣ, точно сѣрые сумерки, предшествующіе суровому зимнему времени.» (т. VI. стр. 328.)

Читателю русскихъ журналовъ достаточно знакомы эти старушечьи вопли противъ сухости новыхъ пуританъ и противъ Румфордова супа полезности. Гейне, къ стыду своему, подаетъ здѣсь руку г. Николаю Соловьеву и т. п. Гейне унижается даже до того безмысленнаго предположенія, что новые пуритане говорятъ и дѣйствуютъ подъ вліаніемъ личной зависти. Всѣ они, изволите видѣть, маленькіе барабанчики, желающіе ободрать и испортить галуны съ блестящихъ мундировъ большихъ тамбуръ-мажоровъ. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся въ головѣ какой нибудь старой сплетницы, и повторявшуюся всѣми врагами народа и здраваго смысла, можно опрокинуть простымъ указаніемъ на тотъ фактъ, что новые пуритане глубоко уважаютъ тѣхъ людей, которые лучше другихъ варятъ Румфордовъ супъ полезности или выдумываютъ для этого супа усовершенствованный способъ приготовления.

Новые пуритане охотно признаютъ превосходство этихъ людей, сознательно подчиняются ихъ вліанію, и предоставляютъ имъ видныя роли вождей и распорядителей, добровольно берутъ себѣ скромныя обязанности учениковъ, послѣдователей, исполнителей, переводчиковъ или компиляторовъ и комментаторовъ. Новые пуритане, безъ сомнѣнія, очень уважаютъ науку. У новыхъ пуританъ, конечно, есть также свои социальныя понятія, которыми они дорожатъ очень сильно. Но, какъ въ реальной наукѣ, такъ и въ области социальныхъ понятій, работали и работаютъ до сихъ поръ гении первой величины и множество талантовъ крупныхъ и мелкихъ. И новые пуритане вовсе не отрицаютъ гениальности первоклассныхъ дѣятелей и даровитости второстепенныхъ работниковъ. Значитъ, пуритане возстаютъ вовсе не противъ *всякаго* *высшаго дарованія* вообще, а только противъ непроизводительной затраты всякихъ дарованій, высшихъ, среднихъ и низшихъ. *Пепельно-сѣрый костюмъ равенства*, на который такъ умирительно жалуется любитель трехцвѣтнаго знамени Гейне, надѣвается на людей совсѣмъ не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковымъ вліаніемъ на общественныя дѣла. Это—вещь невозможная. И объ этомъ могли мечтать люди XVIII вѣка только потому, что они придерживались той теоріи, которая признавала всѣ интеллектуальныя различія между людьми—продуктами различныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ послѣ рожденія. Но, такъ какъ въ наше время уже достаточно извѣстна та физиологическая истина, что люди приносятъ съ собою на свѣтъ, вмѣстѣ съ особеннымъ тѣлосложеніемъ, особую организацію мозга и нервной системы, полученную по наслѣдству отъ родителей, и не измѣняющуюся въ своихъ существенныхъ чертахъ ни отъ какихъ позднѣйшихъ впечатлѣній, — то новые

пуритане нашего времени вовсе и не мечтаютъ объ абсолютномъ равенствѣ. Смыслъ того стремленія, которое Гейне называетъ *пепельно-сырымъ костюмомъ*, состоитъ только въ томъ, что тысячи не должны ходить босикомъ и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрѣли на хорошія картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошіе стихи. Кто находитъ подобное стремленіе предосудительнымъ, тотъ желаетъ, чтобы хлѣбъ, необходимый для пропитанія голодныхъ людей, превращался ежегодно въ изящные предметы, доставляющіе немногимъ избраннымъ и посвященнымъ тонкія и высокія наслажденія. Здѣсь Гейне стоитъ очевидно на сторонѣ эксплуататоровъ и филистеровъ, но онъ не всегда разсуждаетъ такимъ образомъ.

«Это свойство, говоритъ Гейне въ *«Романтической школы»*, эту цѣлостность мы встрѣчаемъ и у писателей нынѣшней молодой Германіи, которые также не допускаютъ различія между жизнью и литературною дѣятельностью, не отдѣляютъ политики отъ науки, искусства отъ религіи и въ одно и тоже время являются художниками, трибунами и проповѣдниками правды. Да, я повторяю слово *проповѣдники*, потому что не могу найти болѣе характеристическаго слова. Новыя убѣжденія наполняютъ душу этихъ людей такою страстностью, о какой писатели прежняго періода не имѣли и понятія. Это—убѣжденія въ силѣ прогресса, убѣжденія, вышедшія изъ науки. Мы дѣлали измѣреніе земель, изслѣдовали силы природы, высчитывали средства промышленности,—и вотъ, наконецъ, нашли, что эта земля достаточно велика, что она даетъ каждому достаточно мѣста для того, чтобы построить себѣ на немъ хижину своего счастья, что эта земля можетъ прилично питать всѣхъ насъ, если мы всѣ хотимъ работать и не жить на счетъ другого, что, наконецъ, намъ нѣтъ никакой надобности отсылать болѣе многочисленный и болѣе бѣдный классъ къ небу. Число этихъ знающихъ и вѣрующихъ, конечно, еще весьма не велико.» (т. V, стр. 339.)

Здѣсь *пепельно-сырый костюмъ равенства* представляется въ самомъ привлекательномъ видѣ, а *новые пуритане*, которые выше были заподорены въ мелкой зависти, оказываются художниками, трибунами и проповѣдниками правды, людьми страстно убѣжденными, людьми цѣлостными, людьми знающими и вѣрующими. Нѣтъ ни малѣйшей возможности провести какую нибудь границу между писателями молодой Германіи, къ которымъ Гейне относится съ величайшимъ сочувствіемъ, и тѣми радикалами, которыхъ тотъ же Гейне съ комическимъ негодованіемъ обвиняетъ въ исключительномъ пристрастіи къ Румфордovu супу полезности. Гейне называетъ писателей молодой Германіи художниками, но вѣдь это художество проникнуто насквозь трибунскими стремленіями и проповѣдываніемъ правды. Это художество стремится доказать образамъ, что каждый, при соблюденіи извѣстныхъ условій, можетъ построить

себѣ на землѣ хпжину своего счастья. Это художество выводитъ на свѣжую воду тѣ глупости и подлости, вслѣдствіе которыхъ земля кажется тѣсною и люди принуждены строить себѣ хижины горя и бѣдности или жить нѣ какъ батраковъ, въ чужихъ чуланахъ, конюшняхъ или закуткахъ. Стало быть, это художество приурочено къ Румфордову супу полезности и составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ и питательныхъ его приправъ. Стало быть между Румфордовымъ супомъ и художествомъ вовсе не существуетъ радикальнаго и необходимаго антагонизма, хотя, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что въ жизни людей, построившихъ себѣ собственнымъ трудомъ хижину своего счастья, художество не можетъ имѣть того преобладающаго значенія, которое принадлежитъ ему теперь въ жизни людей, построившихъ себѣ чужимъ трудомъ великолѣпные замки и виллы. Наука, конечно, доказываетъ, что всѣ мы можемъ построить себѣ теплыя и сухія хижины, вмѣщающія въ себѣ достаточное количество чистаго воздуха, но наука до сихъ поръ не думала доказывать, что всѣ мы можемъ увѣшать стѣны нашихъ хижинъ превосходными картинами, поставить въ каждой хижинѣ по одному великолѣпному роялю, держать при каждой сотнѣ хижинъ труппу хорошихъ актеровъ, и тратить каждый день по нѣсколько часовъ на сочиненіе и чтеніе звучныхъ лирическихъ стиховъ. Счастье, доступное для всѣхъ, должно быть, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, гораздо проще и скромнѣе того счастья, которое въ настоящее время доступно немногимъ. Величайшая прелесть общедоступнаго счастья состоитъ не въ разнообразіи и яркости наслажденій, а преимущественно въ томъ, что у этихъ наслажденій нѣтъ обратной стороны, т. е. что эти наслажденія не покупаются цѣною чужихъ страданій.

Внутреннее противорѣчіе, въ которое впадаетъ Гейне, очевидно и безвыходно. Онъ восхищается въ одномъ мѣстѣ тѣми идеями и стремленіями, противъ которыхъ онъ вооружается въ другомъ мѣстѣ. Онъ бросается съ одной точки зрѣнія на другую, и ни на одной изъ нихъ не можетъ остановиться. Когда художникъ поетъ, какъ соловей, безо всякой тенденціи, тогда Гейне находитъ въ его произведеніяхъ запахъ свѣжаго сѣна. Когда художникъ становится на всю жизнь подъ знамя одной, строго опредѣленной идеи, тогда Гейне кричитъ, что міръ затопленъ волнами Румфордова супа. И въ то же время тотъ же Гейне, смотря по минутному настроенію, хвалитъ соловьевъ, подобныхъ Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистовъ, подобныхъ Лаубе и Гуцкову. Словомъ, передъ глазами читателя проходитъ цѣлая радуга всѣхъ возможныхъ мнѣній объ искусствѣ, и читатель, къ ужасу своему, замѣчаетъ, что вся эта радуга выходитъ изъ головы одного человѣка.

Въ выписанномъ мною отрывкѣ о писателяхъ молодой Германіи я долженъ обратить вниманіе читателя на то мѣсто, гдѣ Гейне говоритъ

о *цѣлостности* новыхъ людей; этими словами самъ Гейне подтверждаетъ мое мнѣніе о томъ, что и въ наше время, при совершенной разорванности окружающаго міра, возможна въ писателѣ внутренняя цѣлостность, выходящая не изъ тупаго равнодушія, а изъ страстнаго воодушевленія. Эта страстная цѣлостность, характеризующая представителей молодой Германіи, проводитъ рѣзкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще въ началѣ 30 годовъ, и самимъ Гейне, у котораго никогда и ни въ чемъ не было никакой цѣлостности.

IX.

При своемъ неизлечимомъ политическомъ диллетантизмѣ, котораго не искоренило даже умственное движеніе молодой Германіи, Гейне никогда не могъ подвергать правильной и точной оцѣнкѣ ни событія современной исторіи, ни явленія современной литературы. У Гейне не было никакого твердаго принципа, на которомъ бы онъ могъ построить свою критику. А между тѣмъ онъ любилъ прогуливаться съ критическими намѣреніями и ухватками по различнымъ областямъ настоящаго и ближайшаго прошедшаго. Онъ любилъ разсуждать глубокомысленно и проницательно о политикѣ и литературѣ. Онъ написалъ цѣлую, довольно большую книгу *о Германіи*, и написалъ по французски собственно для того, чтобы познакомить французовъ съ великими и плодотворными тайнами нѣмецкой философіи и нѣмецкой поэзіи. Не знаю, насколько эта книга просвѣтила французскихъ читателей; но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не даетъ ровно ничего, кромѣ того неопредѣленно-пріятнаго ощущенія, которое возбуждается каждою страницей Гейне, написанною очаровательнымъ языкомъ и всегда переполненною самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли въ этой книгѣ нѣтъ ровно никакой, а есть въ ней только хорошо рассказанные анекдоты, забавныя параллели между французами и нѣмцами, да попадаются иногда такія дикія историко-философскія соображенія и пророчества, что читатель не можетъ разобрать шутитъ ли авторъ или говоритъ серьезно; и если авторъ шутитъ, то читателю становится досадно, съ какой стати шутка тянется такъ долго и до такой степени лишена игривости, забавности и азвѣтельности; а если авторъ мудрствуетъ серьезно, то читателю становится положительно совѣстно за автора.

По глубокомысленнымъ соображеніямъ Гейне оказывается, напр., что различныя фазы нѣмецкой философіи въ точности соотвѣтствуютъ различнымъ фазамъ французской революціи. Умѣренный и аккуратный Кантъ изображаетъ собою терроръ Конвента, и, по мнѣнію Гейне, ока-

зывается гораздо смѣлѣе и неумолимѣе Робеспьера. Фихте исправляетъ должность Наполеона, а Шеллингъ играетъ роль реставраціи. Эти ребяческія сближенія до такой степени забавляютъ Гейне, и наполняютъ его сердце такою святою патріотическою гордостью, что онъ нѣсколько разъ съ видимымъ удовольствіемъ возвращается къ этой пріятной и затѣйливой выдумкѣ. Въ концѣ своего сочиненія о нѣмецкой философій онъ до такой степени воодушевляется, что пророчествуетъ міру о великихъ и ужасныхъ событіяхъ, которыя выростутъ со временемъ изъ философскихъ сочиненій Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненныхъ и забытыхъ ближайшимъ потомствомъ. «Если, говоритъ Гейне, разсуждая объ ужасахъ будущей нѣмецкой революціи, имѣющей вырости изъ умозрительной философій, рука кантиста бьетъ сильно и мѣтко, потому что сердце его не волнуется никакимъ переходящимъ по преданію уваженіемъ, если фихтеанецъ смѣло презираетъ всякія опасности, потому что онъ въ дѣйствительности для него не существуютъ; то натуръ-философъ ужасенъ потому, что вступаетъ въ союзъ съ первородными силами природы, можетъ вызвать всѣ силы древне-германскаго пантеизма, и тогда получаетъ ту жажду борьбы, которую мы встрѣчаемъ у древнихъ германцевъ, сражающихся не для разрушенія, не для побѣды, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165). Нѣмецкая гроза, воспитанная Кантомъ, Фихте и Шеллингомъ, будетъ, по соображеніямъ Гейне, необыкновенно ужасна. «При этомъ грохотѣ, говоритъ онъ, орлы падутъ мертвые съ воздушныхъ высотъ, и львы, въ самыхъ далекихъ пустыняхъ Африки, опустятъ хвосты и спрячутся въ свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смѣшна до послѣдней степени, если бы тутъ не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотрѣть на тупое усыпленіе отечества, и что онъ старается оглушить и отуманить себя громомъ несбыточныхъ и неправдоподобныхъ предсказаній. Хотя читатель и понимаетъ до нѣкоторой степени то настроеніе, которое породило эти хвастливыя рулады, однако, во всякомъ случаѣ, восторженные фразы Гейне о міровомъ значеніи нѣмецкой философій оказываются для нашего времени неудачною шуткою или бессмысленнымъ наборомъ словъ. Также ничтожны и бесполезны для читателей разныя отрывочныя замѣтки и разсужденія о Тикѣ, Шлегеляхъ, Новалисѣ, Арнимѣ и другихъ забытыхъ писателяхъ, о которыхъ распространяется Гейне въ своей «Романтической школѣ». Но здѣсь, какъ и вездѣ, Гейне роняетъ по временамъ превосходные сарказмы, которые почти достаточно вознаграждаютъ читателя за отсутствіе общей мысли и за совершенную мертвенность самаго сюжета.

О политическихъ дѣятеляхъ, какъ и обо всѣхъ остальныхъ предметахъ, Гейне судитъ съ плеча, по свободному вдохновенію, рассыпая

совершенно произвольно въ разныя стороны лавровыя вѣнки и дурацкіе колпаки. Такъ какъ въ новѣйшей исторіи очень много мизернаго, то дурацкіе колпаки почти всегда попадаютъ безъ промаха туда, гдѣ имъ слѣдуетъ находиться. За то лавровыя вѣнки, по тѣмъ же самымъ причинамъ, почти всегда залетаютъ туда, гдѣ присутствіе ихъ рѣшительно ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

Особенно замѣчательно то несчастное упорство, съ которымъ Гейне увѣнчивалъ Наполеона, одного изъ самыхъ вредныхъ людей во всей исторіи человѣчества. Обожаніе Наполеона было для Гейне любимымъ конькомъ, съ котораго онъ не слѣзалъ до конца своей жизни. Этотъ конекъ былъ отчасти боевою лошадыю, при содѣйствіи которой Гейне дразнилъ и огорчалъ, съ одной стороны нѣмецкихъ радикаловъ, послѣдователей Берне, съ другой — юродствующихъ патріотовъ, подобныхъ Менцелю и Масману. Первые ненавидѣли Наполеона, какъ представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что онъ осмѣлился многократно разбивать нѣмецкія арміи, выступать съ войскомъ въ нѣмецкія столицы и держать у себя въ передней нѣмецкихъ отцовъ отечества, которыхъ предшественникъ, Арминій, одержалъ такую блистательную побѣду надъ римскимъ полководцемъ Варомъ. Гейне, съ своей стороны, не любилъ радикаловъ за ихъ серьезность и презиралъ тевтомановъ за ихъ дѣйствительную и поразительную тупость. Въ пику обѣимъ партіямъ, онъ падалъ на колѣни передъ великимъ и божественнымъ императоромъ при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Эти колѣнопреклоненія были также направлены въ очень значительной степени противъ тѣхъ официальныхъ политиковъ, которые, побѣдивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Нерасположеніе Гейне къ этимъ политикамъ, къ Меттерниху, къ Веллингтону, къ Кестльри, очень понятно и совершенно основательно. Но, какъ бы ни были вредны и отвратительны эти побѣдители Наполеона, изъ этого однако нисколько не слѣдуетъ, чтобы самъ Наполеонъ былъ очень полезенъ и прекрасенъ. Если благоговѣніе Гейне передъ Наполеономъ имѣло исключительное значеніе протеста, то нельзя не замѣтить, что для этого протеста выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принужденъ былъ написать десятки страницъ вопіющей бессмыслицы. Если же это благоговѣніе было чистосердечно, то я долженъ признаться, что процессъ мышленія, совершающійся въ головѣ великихъ ходожниковъ, заключаетъ въ себѣ тайны, непостижимыя для простыхъ людей. Всего мудренѣе и любопытнѣе та штука, что Гейне, пророчествуя людямъ о томъ, что Наполеонъ сдѣлается божествомъ новой религіи, въ тоже время видитъ очень ясно, и показываетъ своимъ читателямъ съ полною откровенностью пятна «обожаемаго кунира.» Пожалуйста, говоритъ Гейне

во второй части *путешествий картин*, не считай меня безусловным бонапартистомъ, любезный читатель. Я благоговѣю не передъ дѣйствіями, а передъ гениемъ этого человѣка. Безусловно люблю я его только до 18 брюмера. Тутъ измѣнилъ онъ свободѣ. И не по необходимости сдѣлалъ онъ это, а изъ тайной склонности къ аристократизму. Наполеонъ Бонапартъ былъ аристократомъ, аристократическимъ врагомъ гражданского равенства, и мнѣ кажется колоссальнымъ недоразумѣніемъ, что европейская аристократія, въ лицѣ Англіи, съ такимъ ожесточеніемъ боролась съ нимъ... Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда: я никогда не превозношу дѣла и хвалю лишь геній человѣка; дѣло — только его одежда, и исторія ничто иное, какъ старый гардеробъ человѣческаго генія.» (т. II, стр. 111.)

Рѣшительное объясненіе съ любезнымъ читателемъ ни къ чему не ведетъ, и заключаетъ въ себѣ очень мало осмысленнаго смысла. Стараясь отдѣлать геній человѣка отъ его дѣла, Гейнсъ желаетъ открыть самый широкій просторъ эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дѣла человѣка, это, по мнѣнію Гейнса, все равно; это мелкія подробности стараго гардероба; надо только, чтобы въ исполненіи этихъ вредныхъ или полезныхъ дѣлъ проявлялась нѣкоторая виртуозность, нѣкоторая фешенебельная грація и развязность. Эти качества, отъ которыхъ окружающимъ людямъ ни тепло, ни холодно, составляютъ, по мнѣнію Гейнса, настоящую квинтэссенцію человѣка, и требуютъ себѣ нашего благоговѣнія. Политическому дѣятелю предписывается такимъ образомъ быть эффектнымъ, интереснымъ и привлекательнымъ. При соблюденіи этихъ условій, ему отпускаются всѣ его глупости и низости, промахи и преступления. И чѣмъ громаднѣе его ошибки, тѣмъ лучше для него, потому что тѣмъ поразительнѣе становится его эффектность. Съ эстетической точки зрѣнія огромная гадость заслуживаетъ гораздо большаго уваженія, чѣмъ маленькое доброе дѣло. Но, при такомъ отдѣленіи *генія* отъ *дѣла*, совершенно искажается настоящее значеніе слова *геній*. Этимъ словомъ перестаетъ обозначаться то умственное превосходство, передъ которымъ преклоняются съ восторженной любовью всѣ мыслящіе люди. И послѣ такого превращенія, *геній* сохраняетъ свою обаятельность только для слабоумныхъ любителей театральной грандіозности. Гейнсъ объ этомъ не подумалъ. Иначе онъ понялъ бы, что съ *геніемъ* нѣтъ возможности снимать отвѣтственность за направленіе и результаты дѣла. Геній самъ задаетъ себѣ работу. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право требовать отъ него отчета не только въ томъ, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но еще и въ томъ, почему и зачѣмъ, съ какою цѣлью и на основаніи какихъ предварительныхъ соображеній онъ, геній, принялся именно за эту работу, а не за другую. Данный историческій дѣятель только тогда и можетъ быть признанъ

гениемъ, когда его дѣла и вся его жизнь даютъ совершенно удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы, которые могутъ быть поставлены мыслящимъ историкомъ. Выступая на арену борьбы и серьезной дѣятельности, человекъ бросаетъ общій взглядъ на положеніе партій, вдумывается въ потребности и въ понятія своихъ современниковъ, задаетъ себѣ вопросъ о томъ, куда идетъ главный потокъ идей и событій, словомъ, ориентировъ въ лѣсу быстро смѣняющихся явленій, и затѣмъ, вооружившись своими наблюденіями, присоединяется болѣе или менѣе сознательно къ какой нибудь одной группѣ бойцовъ или работниковъ. Если собранныя наблюденія неточны, и сдѣланный выборъ неудовлетворителенъ, молодой дѣятель переходитъ къ другой партіи, или старается сообщить новое направленіе мыслямъ и работамъ своихъ союзниковъ. Становясь подъ то или другое знамя, измѣняя своимъ вліяніемъ такъ или иначе характеръ своей партіи, человекъ набрасываетъ въ общихъ чертахъ весь планъ своей будущей дѣятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадутъ себя знать въ послѣдствіи, и, во всякомъ случаѣ, одержать перевѣсъ надъ достоинствами или недостатками выполненія. Если планъ былъ составленъ разумно, если, при его составленіи, настоящія потребности времени были поняты вѣрно, то вся дѣятельность будетъ плодотворна и благодѣтельна, хоть бы даже въ выполненіи было много отдѣльныхъ ошибокъ и шероховатостей. Если же при составленіи плана, потребности времени были поняты на выворотъ, то вся дѣятельность будетъ тѣмъ болѣе бессмысленна и вредна, чѣмъ больше остроумія будетъ потрачено на подробности выполненія. Но если планъ составленъ невѣрно, если всей дѣятельности дано ложное направленіе, что же это значитъ? Значить, очевидно, что у составителя не достало проницательности, сообразительности и глубокомыслія. Значить, въ геніальности составителя нѣтъ такой крупный изъянъ, который портитъ все дѣло, и превращаетъ неудавшагося генія въ опаснаго и вреднаго сумазброда.

Гейне говоритъ, что Наполеонъ измѣнилъ свободѣ и былъ аристократическимъ врагомъ гражданского равенства. Говоря это, Гейне думаетъ, что это обстоятельство не наноситъ никакого ущерба геніальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависѣло отъ процесса его мышленія, точно будто измѣна и аристократизмъ составляютъ прирожденные качества Наполеона, подобныя цвѣту его глазъ и волось. Измѣнилъ свободѣ и сдѣлался аристократомъ. Гдѣ же у него было соображеніе, куда дѣвалась его прославленная геніальность въ то время, когда онъ рѣшился идти наперекоръ такимъ стремленіямъ, которыя, выходя изъ самыхъ глубокихъ потребностей человеческой природы, доросли уже до своей окончательной зрѣлости. Если онъ рѣшился на борьбу съ этими стремленіями, значитъ онъ надѣялся

побѣдить. А если онъ надѣялся побѣдить и упрочить результаты своей побѣды, значитъ онъ не зналъ людей, не понималъ ни прошедшаго, ни настоящаго, и не составлялъ себѣ никакого приблизительно-вѣрнаго понятія о ближайшемъ будущемъ. Если же, съ другой стороны, онъ говорилъ *après moi—le déluge*, и хотѣлъ побѣдить только для того, чтобы весело прожить на свѣтѣ, то, стало быть, у него не было даже того величественнаго размаха мысли, который побуждаетъ всѣхъ истинныхъ гениевъ строить для далекаго будущаго. При всемъ томъ, онъ, конечно, былъ, если хотите, гениальнымъ полководцемъ, и за это можетъ быть поставленъ наряду съ какимъ нибудь Мальборо, передъ которымъ Гейне ни за что не согласился бы падать на колѣни. Эта частичная гениальность, или, вѣрнѣе, эта виртуозность въ какомъ нибудь одномъ дѣлѣ, это умѣніе быть превосходнымъ орудіемъ какой угодно партіи, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ свѣтлымъ умственнымъ величіемъ, которое характеризуетъ настоящихъ благодѣтелей нашей породы, людей, способныхъ угадывать наши потребности и создавать средства для ихъ удовлетворенія. Не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ полководцемъ, такъ точно, какъ не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ танцоромъ, или отличнымъ знатокомъ красныхъ винъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы каждый отличный полководецъ имѣлъ право на то благоговѣніе, съ которымъ мы относились къ гению, согрѣвшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне самъ знаетъ очень хорошо настоящую цѣну всякой славы.

«Смѣшно было бы, говорить онъ, поставить статую Лафайету на вандомскую колонну, вылитую изъ пушекъ, отбитыхъ въ столькихъ сраженіяхъ—на эту колону, вида которой не можетъ вынести ни одна французская мать, какъ поетъ Барбье. На этой желѣзной колоннѣ поставьте Наполеона, желѣзнаго человѣка. Пусть ему и здѣсь, какъ въ жизни, служить подножіемъ его пушечная слава; пусть онъ въ ужасающемъ одиночествѣ касается челою облаковъ, чтобы каждый честолюбивый солдатъ, увидавъ его тамъ, вверху, недостижимо, могъ изцѣлиться отъ суетной жажды славы, и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводомъ противъ завоевательнаго героизма, орудіемъ мира. Лафайетъ воздвигъ себѣ колонну лучше вандомской, статую лучше металлической или мраморной». (Т. VII, стр. 46).

И такъ Лафайетъ выше Наполеона, военная слава объявлена суетною, и вандомская колонна должна служить честолюбивымъ солдатамъ тѣмъ нагляднымъ предостереженіемъ, которымъ, по соображеніямъ мудрыхъ криминалистовъ, висѣлица служитъ похитителямъ собственности. Стало быть памятникъ, поставленный Наполеону, изображаетъ собою не уваженіе потомковъ къ его гениальности, а только то чувство ужаса, вслѣдствіе котораго люди стараются увѣковѣчить воспоминаніе о ка-

комъ, нибудь громадномъ національномъ бѣдствіи, вродѣ наводненія, пожара, землетрясенія или чумы.

Гейне понимаетъ также, какимъ образомъ наполеоновская система подѣйствовала на французское общество.

«Люди средняго возраста, говоритъ онъ, утомлены раздражающей оппозиціей, выпавшей на ихъ долю въ періодъ реставраціи, или развращены имперіей, которая, своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла всякую любовь къ свободѣ». (Т. VII, стр. 60).

Наконецъ Гейне договаривается до самаго наивнаго и неожиданнаго признанія.

«Правда, говоритъ онъ, что умершій Наполеонъ больше любимъ французами, чѣмъ живущій Лафайетъ, можетъ быть именно потому, что онъ умеръ. Мнѣ по крайней мѣрѣ, это всего больше нравится въ Наполеонѣ, потому что, будь онъ въ живыхъ, мнѣ пришлось бы идти воевать противъ него». (Т. VII, стр. 47).

Это признаніе нисколько не мѣшаетъ Гейне обожать Наполеона по прежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презираетъ послѣдовательность, и перелетаетъ съ удивительною развязностью отъ самой злой насмѣшки къ самому восторженному панегирику. Тотъ человѣкъ, который развратилъ Францію блестящею солдатчиною и систематически старался умертвить въ своихъ современникахъ *всю гражданскую доблесть*, тотъ человѣкъ, котораго лучший подвигъ состоитъ въ томъ, что онъ умеръ, тотъ человѣкъ, котораго надо поставить на колонну для вѣчнаго устрашенія честолюбивыхъ солдатъ, оказывается вдругъ *божествомъ отъ головы до ногъ* (т. III, стр. 99), божествомъ, котораго имя сдѣлалось *лозунгомъ для народовъ* (т. III, стр. 100), такъ что «*востокъ и западъ, встрѣчаясь между собою, понимаютъ другъ друга только посредствомъ этого имени*» (тамъ же). Въ подтвержденіе той мысли, что имя Наполеона дѣйствительно можетъ служить умственной связью между востокомъ и западомъ, Гейне рассказываетъ слѣдующій случай. Въ лондонскую гавань вошелъ корабль, прибывшій изъ Бенгаліи; Гейне посѣтилъ этотъ корабль, почувствовалъ особенное влеченіе къ его пассажирамъ, и захотѣлъ сказать имъ какое нибудь привѣтствіе. Не зная ихъ языка, Гейне, чтобы выразить имъ свое сочувствіе, произнесъ очень почтительно имя «Магометъ». Индѣйцы, желая отвѣтить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этомъ и остановился разговоръ, такъ что обмѣнъ мыслей между востокомъ и западомъ оказался не очень значительнымъ, не смотря на существованіе чудотворнаго имени, «*сдѣлавшагося лозунгомъ для народовъ*».

Довольно трудно сообразить, для какой цѣли рассказанъ этотъ случай, и какое изъ него можно вывести заключеніе. Что индѣйцы знаютъ о существованіи Наполеона? Прекрасно. Но что же изъ этого слѣдуетъ?

Этою честью пользовались въ свое время Аттила, Чингисханъ, Тамерланъ, Надиръ-Шахъ, словомъ всѣ разбойники, занимавшіеся своимъ ремесломъ въ обширныхъ размѣрахъ. Имена этихъ людей всегда были гораздо болѣе извѣстны, чѣмъ имена великихъ изслѣдователей и изобрѣтателей. Эти имена поражали народное воображеніе и дѣлались лозунгомъ для народовъ, но эти имена всегда облегчали международныя сношенія точно на столько же, на сколько имя Наполеона помогло индѣйцамъ разговаривать съ Гейне. Все это очень хорошо извѣстно и самому Гейне, но ему, какъ разорванному поэту, нѣтъ никакого дѣла до самыхъ элементарныхъ требованій здраваго смысла, если только эти требованія мѣшаютъ ему въ данную минуту уронить съ пера эффектный эпитетъ, блестящую метафору или граціозную картинку.

Гейне излагаетъ очень обстоятельно тѣ причины, которыя побуждаютъ его считать Наполеона богомъ. Причины эти заключаются въ томъ, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, говоритъ Гейне, твердый, смѣлый взглядъ есть отличительный признакъ боговъ. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образъ Наля на свадьбѣ Дамаянти, послѣдняя узнала своего возлюбленнаго по движенію его зрачковъ; ибо, какъ сказано, глаза у боговъ всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имѣли это свойство, а потому я и убѣжденъ, что онъ тоже былъ изъ боговъ». (Т. V, стр. 243).

Что вы скажете объ этомъ пассажѣ? Вы скажете, по всей вѣроятности, что это шутка. Но я съ вами не соглашусь, и скажу вамъ, что это просто бессмыслица, которую самъ поэтъ тоже считаетъ за бессмыслицу, и которую онъ, тѣмъ не менѣе, выбрасываетъ изъ себя на бумагу, потому что онъ находитъ ее оригинальною и граціозною. И это самодовольное выбрасываніе бессмыслицъ совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель наконецъ термѣтъ возможность опредѣлить, гдѣ кончается серьезное размышленіе, и гдѣ начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацію. Гейне положительно думаетъ, что поэтъ имѣетъ право производить на свѣтъ такіа сочетанія понятій, которыя никогда и ни при какихъ условіяхъ не могутъ залѣзть ни въ какую человѣческую голову. Онъ часто пишетъ то, чего онъ никогда не могъ думать, и чего, вообще, не можетъ подумать ни одно мыслящее существо.

РАЗРУШЕНІЕ ЭСТЕТИКИ.

I.

Когда какая нибудь новая мысль только что начинает прокладывать себѣ дорогу въ умы людей, тогда неизбежная борьба старыхъ и новыхъ понятій начинается обыкновенно съ того, что представители новой мысли подводятъ итоги всему запасу убѣжденій, выработанныхъ прежними дѣателями, превратившихся въ общее достояніе и господствующихъ надъ умами образованной массы. Это подведеніе итоговъ необходимо для того, чтобы строгій приговоръ, долженствующій поразить всю отжившую систему понятій, не показался обществу голословнымъ и бездоказательнымъ наборомъ смѣлыхъ парадоксовъ. Подводя итоги, представитель новой идеи принужденъ становиться на точку зрѣнія своихъ противниковъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что эта точка зрѣнія никуда не годится. Онъ принужденъ поражать своихъ противниковъ ихъ собственнымъ оружіемъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что, тотчасъ послѣ своей побѣды, онъ изломастъ и броситъ навсегда это старое и заржавленное оружіе. Если бы представитель новой идеи поступилъ иначе, если бы онъ, не обращая вниманія на старыя нелѣпости, прямо началъ проповѣдывать свою теорію, то защитники нелѣпости заговорили бы громко и смѣло, что онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Этотъ говоръ былъ бы очень неоснователенъ, но такъ какъ численный перевѣсъ былъ бы на сторонѣ защитниковъ нелѣпости, то общество повѣрило бы неосновательному говору и успѣхъ новой мысли былъ бы въ значительной степени ослабленъ или замедленъ этимъ обстоятельствомъ. Значить, на первыхъ порахъ надо говорить съ филистерами на фили-

стерскомъ языкѣ и надо подходить къ нимъ съ нѣкоторыми предосторожностями, потому что филистеры—народъ пугливый и всегда готовый поднять безтолковый и оглушительный гвалтъ, очень вредный для общества и для всякихъ новыхъ идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчанія, когда новая идея уже пустила корень въ обществѣ и начала развиваться, тогда всѣ предварительныя работы, произведенныя для посрамленія филистеровъ, уходятъ въ тихую область исторіи, вмѣстѣ съ тою старою системою, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительныя и неизбежно-эфемерныя работы уходитъ цѣлая жизнь очень замѣчательныхъ дѣятелей. Книга — «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», написанная десять лѣтъ тому назадъ, совершенно устарѣла не потому, что ея авторъ былъ въ то время неспособенъ написать что нибудь болѣе долговѣчное, а именно потому, что автору надо было въ началѣ опровергать филистеровъ доводами, заимствованными изъ филистерскихъ арсеналовъ. Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственною неподвижностью нашего общества, въ свою очередь, поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія. Но, чтобы дѣйствительно опрокинуть вредную систему старыхъ заблужденій, надо приниматься за дѣло осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «бросьте вы эти глупости; у васъ есть дѣла гораздо поважнѣе и поинтереснѣе», — то общество изумится, испугается вашей дерзости, не повѣритъ вамъ и приметъ вашъ разумный совѣтъ за гаерскую выходку. Поэтому надо говорить съ обществомъ въ томъ тонѣ, къ которому оно привыкло. Надо говорить такъ: вы, господа, уважаете эстетику. Ахъ, и я тоже уважаю эстетику. Займитесь же вмѣстѣ съ вами эстетическими изслѣдованіями.—Привлекши къ себѣ, такимъ образомъ, сердце довѣрчиваго читателя, лукавый послѣдователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими изслѣдованіями такъ успѣшно, что разобьетъ всю эстетику на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти мелкіе кусочки превратитъ по одиночкѣ въ мельчайшій порошокъ и, наконецъ, развѣетъ этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны.—Куда-жъ ты, озорникъ, дѣвалъ мою эстетику, которую ты уважаешь? спроситъ огорченный читатель, наказанный за свою довѣрчивость. — Улетѣла твоя эстетика, отвѣтитъ писатель, и давно пора тебѣ забыть о ней, потому что не мало у тебя всякихъ другихъ заботъ.—И вздохъ этъ читатель, и поневолѣ примется за социальную экономію, потому что эстетика дѣйствительно разлетѣлась на всѣ четыре стороны, благодаря эстетическимъ изслѣдованіямъ коварнаго

писателя. Когда читатель будетъ, такимъ образомъ, обузданъ и посаженъ за работу, тогда, разумѣется, эстетическія изслѣдованія, погубившія эстетику, потеряютъ всякій современный интересъ и останутся только любопытнымъ историческимъ памятникомъ авторскаго коварства.

II.

Авторъ «Эстетическихъ отношеній» уже на III страницѣ своего введенія показываетъ издала догадливому читателю тотъ результатъ, къ которому онъ желаетъ придти. «Уваженіе къ дѣйствительной жизни, говоритъ онъ, недовѣрчивость къ апіорическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазій, гипотезамъ — вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ». *Если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ* — оговорка очень замѣчательная! Всякій немедленно пойметъ изъ этой оговорки, что вопросъ объ эстетикѣ былъ уже давно рѣшенъ въ умѣ этого писателя, когда онъ принимался за свою магистерскую диссертацию. Авторъ давно понимаетъ, что говорить объ эстетикѣ стоитъ только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тѣхъ людей, которыхъ морочить философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому авторъ, разумѣется, имѣлъ въ виду не основаніе новой, а только истребленіе старой и вообще всякой эстетической теоріи.

Эстетика или наука о прекрасномъ имѣетъ разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если *прекрасное* имѣетъ какое нибудь самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если, вслѣдствіе этого, всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика и, слѣдовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможною. Авторъ «Эстетическихъ отношеній» ведетъ своихъ читателей именно къ этому выводу, хотя и не высказываетъ его совершенно открыто. «Здоровый человѣкъ», говоритъ авторъ, встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые, не приходится ему въ голову же, лать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство», — мнѣніе фантастическое, если подъ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ

недостатковъ, какіе, отъ нечего дѣлать, можетъ отыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресмыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство для меня то, что для меня вполне удовлетворительно въ своемъ родѣ» (стр. 52). Такимъ образомъ, «совершенство» для меня одно, для васъ — другое, для Ивана — третье, для Марьи — четвертое и такъ далѣе, до бесконечности, потому что каждая отдѣльная личность является единственнымъ и верховнымъ судьей въ вопросѣ о томъ, что для нея удовлетворительно. Развивать свой вкусъ для того, чтобъ сдѣлать себя взыскательнымъ и разборчивымъ, — авторъ считаетъ дѣломъ совершенно издѣшнымъ. Онъ называетъ «здоровымъ» того человѣка, который удовлетворяется легко; въ прихотливой строгости требованій онъ видитъ только вредныя послѣдствія праздности, холодности и пресмыщенности.

Само собою разумѣется, что всѣ эти мнѣнія автора относятся къ области прекраснаго, къ той области, въ которой недовольство дѣйствительностью не можетъ повести за собою ничего, кромѣ безплоднаго страданія. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что созерцаніе рафаэлевскихъ картинъ и древнихъ статуй до такой степени воспламенило ваше воображеніе, что всѣ живыя женщины, съ которыми вы встрѣчаетесь, кажутся вамъ некрасивыми. Какая же польза получится изъ вашего недовольства для васъ самихъ или для другихъ людей? Русскія женщины дѣйствительно не такъ красивы, какъ тѣ итальянки, которыхъ видѣлъ Рафаэль, или какъ тѣ гречанки, которыхъ знали древніе скульпторы; но какъ бы ни было велико ваше недовольство, русскія женщины отъ него нисколько не похорошѣютъ, и вы, со всѣмъ вашимъ недовольствомъ, все-таки, до скончанія вѣка, не придумаете ничего такого, что могло бы увеличить ихъ красоту. Значитъ, вы же сами останетесь въ чистомъ проигрышѣ, потому что будете совершенно бесполезно хмуриться и тосковать тамъ, гдѣ другіе будутъ любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство дѣйствительностью, совершенно безплодное и нелѣпое, когда оно обращено на красоту, становится, напротивъ того, очень полезнымъ и уважительнымъ чувствомъ, когда оно направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ руками и умами людей. Тутъ недовольство ведетъ за собою преобразовательную дѣятельность и, слѣдовательно, приноситъ очень реальныя и осязательныя результаты. Всякая эстетика, старая или новая или новѣйшая, строится непременно на томъ основномъ предположеніи, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать въ себѣ свое врожденное стремленіе къ красотѣ. Кто отвергаетъ это основное предположеніе, тотъ отвергаетъ не какія нибудь частныя ошибки той или другой эстетики, а самый принципъ, самый фундаментъ всякой эстетики вообще. Авторъ «Эстетическихъ отношеній» поступаетъ именно такимъ образомъ. Видя, что до-

ровный человекъ удовлетворяется такими предметами и явленіями, въ которыхъ можно замѣтить и неправильности очертаній, и недостаточное богатство красокъ, и разныя другія шереховатости, авторъ становится безусловно на сторону этого здороваго человека и вовсе не требуетъ, чтобы этотъ здоровый человекъ отвернулся, во имя высшей красоты, отъ того, что доставляетъ ему безвредное и освѣжительное наслажденіе. Этотъ здоровый человекъ доволенъ тѣмъ, что онъ видитъ передъ собою; и прекрасно, больше ничего не нужно; не зачѣмъ мудрить надъ этимъ человекомъ; не зачѣмъ отравлять ему его естественное и законное наслажденіе; чѣмъ скромнѣе его требованія, тѣмъ лучше для него и для всѣхъ, потому что тѣмъ больше у него будетъ шансовъ наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопотъ, ни непріятностей.

Вотъ процессъ мысли, скрытый въ тѣхъ словахъ автора, которыя я выписалъ выше; такъ какъ, по естественному развитію этихъ мыслей, каждый здоровый человекъ признается высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ эстетики, то, очевидно, эстетика, какъ наука, становится такою же нелѣпостью, какою была бы, напримѣръ, наука о любви. Каждый любитъ по своему, не справляясь ни съ какими учеными книжками. И каждый наслаждается всѣми впечатлѣніями жизни также по своему, также не справляясь ни съ какими учеными книжками. Слѣдовательно, наука о томъ, какъ и чѣмъ должно наслаждаться, превращается въ бессмыслицу.

III.

«Прекрасное, говоритъ авторъ, есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы-жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни» (стр. 7).

Это опредѣленіе до такой степени широко, что въ немъ совершенно тонетъ и исчезаетъ то, что называется красотою въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Это опредѣленіе показываетъ ясно, что авторъ, какъ мыслящій человекъ, относится совершенно равнодушно къ прекрасному, въ узкомъ и общепринятомъ смыслѣ этого слова. По этому опредѣленію, всякій вполне здоровый и нормально развившійся человекъ прекрасно; все, что не изуродовано въ большей или въ меньшей степени, то прекрасно. Это можетъ показаться парадоксомъ, а между тѣмъ, это совершенно вѣрно. Когда дѣло идетъ, напримѣръ, о человѣческой фizioноміи, то, разумѣется, вопросы о томъ, великъ или малъ ротъ, толстъ или тонокъ носъ, густы или жидки волосы, словомъ, всѣ вопросы, касающіеся собственно до такъ называемой писаной красоты,

могутъ быть интересны только для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей обоего пола, стоящихъ на одномъ уровнѣ развитія съ этою прекрасною дѣвицею. Съ тѣхъ поръ, какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ни толстый носъ, ни большой ротъ, ни жидкіе или рыжіе волосы не помѣшали никому сдѣлаться полезнымъ и великимъ человѣкомъ; крошѣ того, они даже никому не помѣшали пользоваться всѣми наслажденіями взаимной любви. Чѣмъ дольше человѣчество живетъ на свѣтѣ и тѣмъ умнѣе оно становится, тѣмъ равнодушнѣе оно относится къ чистой красотѣ и тѣмъ сильнѣе оно дорожитъ тѣми атрибутами человѣческой личности, которые сами по себѣ составляютъ дѣятельную силу и реальное благо. Цвѣтущее здоровье и сильный умъ кладутъ свою печать на человѣческую фizioномію, жизнь мысли, чувства и страстей оставляютъ на ней свои слѣды; эта печать и эти слѣды заставляютъ каждого умнаго человѣка совершенно забыть о томъ, великъ ли ротъ, толстъ ли носъ и жидки ли волосы. Но здоровье и умъ существуютъ не для того, чтобы класть свою печать на фizioномію; человѣкъ живетъ, мыслитъ, чувствуетъ и волнуется также не для того, чтобы приобрѣтать себѣ то или другое выраженіе лица, печать здоровья и ума, и слѣды пережитыхъ впечатлѣній ложатся на лицо безъ нашего вѣдома и помимо нашего желанія; здоровье, умъ и впечатлѣнія жизни имѣютъ для насъ свое самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ того выраженія, которое они придаютъ нашимъ фizioноміямъ, и гораздо болѣе важное, чѣмъ это выраженіе. Когда мы видимъ по лицу человѣка, что онъ здоровъ, уменъ и много пережилъ на своемъ вѣку, то его лицо нравится намъ, не какъ красивая картинка, а какъ программа нашихъ будущихъ отношеній къ этому человѣку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться съ этимъ человѣкомъ, потому что его лицо говоритъ намъ то, чего не могъ бы намъ сказать самый безукоризненный греческій профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываемъ и предчувствуемъ въ его обладателѣ энергическаго, твердаго, вѣрнаго, умнаго и полезнаго друга. Когда лицо нравится намъ, такимъ образомъ, какъ намекъ на умъ, характеръ и біографію даннаго субъекта, тогда, очевидно, эстетика остается не при чемъ. Мы смотримъ на лицо человѣка такъ, какъ, при покупкѣ серебряной или золотой вещи, мы смотримъ на пробу. Проба не придаетъ вещи никакой красоты; она только ручается за ея цѣнность. При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ фizioлогіи и въ гигиенѣ.

Я не буду слѣдить за борьбою нашего автора съ нѣмецкимъ эстетикомъ Фишеромъ по вопросу о прекрасномъ въ дѣйствительности. Намъ нѣтъ дѣла до этой борьбы, потому что для насъ, въ настоящую минуту, не имѣютъ рѣшительно никакого значенія всѣ глубокомысленныя

умовѣнія Фишера и другихъ нѣмецкихъ идеалистовъ. Результатъ борьбы состоитъ въ томъ, что, по мнѣнію нашего автора: «прекрасное въ объективной дѣйствительности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяетъ человѣка». А если это такъ, то, разумѣется, «искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности». Выражаясь другими словами, цѣль искусства состоитъ не въ томъ, чтобы создать такое чудо красоты, котораго нѣтъ и не можетъ быть въ природѣ. Въ чемъ же состоитъ цѣль искусства? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, авторъ перебираетъ всѣ различныя отрасли искусства, и на этомъ анализѣ я считаю не лишнимъ остановиться.

IV.

Авторъ начинаетъ свой анализъ съ архитектуры и съ перваго же шага ставить господамъ эстетикамъ убійственную дилемму. По его мнѣнію, надо или выключить архитектуру изъ числа искусствъ, или причислить къ искусствамъ садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лѣпное мастерство и вообще «всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой нибудь портикъ или палаццо есть произведеніе искусства на томъ основаніи, что онъ построенъ красиво и радуетъ глазъ правильностью своихъ формъ, то на такомъ же точно основаніи надо будетъ называть произведеніями искусства—аллею съ подстриженными деревьями и кресло съ рѣзною или точеною спинкою, и фарфоровый чайникъ съ закорюченною ручкою, и штуку обоевъ, расписанныхъ яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цвѣтами, перьями и блондою, и дамскую прическу, придуманную и исполненную какимъ нибудь знаменитымъ *artiste en cheveux*. Мало того, даже клюквенный кисель, вылитый въ кухонную форму, оказывается также произведеніемъ искусства. Въ самомъ дѣлѣ, кисель можно было бы подать на столъ въ видѣ сплошной, безформенной массы, лежащей на блюдѣ; онъ былъ бы точно также вкусенъ и удобоваримъ; но его подаютъ въ видѣ башни съ зубчиками и фестончиками, и это дѣлается именно потому, что человѣкъ не есть грубый скотъ; ему мало того, чтобы отправить кисель въ желудокъ; ему хочется, кромѣ того, погрузиться въ созерцаніе зубчиковъ и фестончиковъ и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умиляться душою надъ непрочностью земной красоты. Такимъ образомъ, кисель, вылитый въ форму, не только удовлетворяетъ эстетическому чувству обѣдающаго человѣка, но даже пробуждаетъ въ его отзывчивой душѣ высокія размышленія, точно такія же размышленія, какія обыкновенно обуреваютъ

явчательнаго путешественника, соверщающаго какой нибудь обвлившійся портикъ времени Септимія Севера или какой нибудь опустѣлый палаццо венеціанскаго партиція. Значить, ясно, что архитектура не имѣетъ ни малѣйшаго права обитать въ такихъ хоромахъ, въ которне, по распоряженію непослѣдовательныхъ эстетиковъ, не допускаются ея родныя сестры и ближайшія родственницы. Французы давно это поняли и поэтому парикмахеры называютъ у нихъ *artistes en cheveux*, и нашъ знаменитый мебельный мастеръ, г. Туръ, навѣрное посмтрѣлъ бы на васъ съ глубокимъ презрѣніемъ, если бы вы вздумали оспаривать у него право на титулъ художника. Такъ оно, дѣйствительно, и должно быть, если сущность, цѣль и оправданіе искусства заключаются въ его стремленіи къ красотѣ. Тогда и старуха, которая бѣлится и руманится передъ зеркаломъ, окажется художникомъ, превращающимъ свою собственную особу въ художественное произведеніе. Всѣ отрасли промышленности, говоритъ нашъ авторъ, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаемъ искусствами въ такой же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышляются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія цѣли (которыя всегда имѣетъ архитектура) подчиняются этой главной цѣли.

Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненныя подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что нибудь дѣйствительно нужное или полезное, сколько произвести что нибудь прекрасное. Какъ рѣшить этотъ вопросъ,—не входитъ въ сферу нашего разсужденія; но какъ рѣшенъ будетъ онъ, точно такъ же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотритъ мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоящіе 10,000 франковъ, такими же глазами долженъ смотрѣть онъ и на изящный кіоскъ, стоящій 10,000 фр. Быть можетъ, онъ скажетъ, что всѣ эти вещи—произведенія не столько искусства сколько роскоши; быть можетъ, онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннѣйшій характеръ прекраснаго — простота» (стр. 85).

Мыслитель будетъ совершенно правъ, если посмотритъ съ презрѣніемъ на шаль, на часы и на кіоскъ, но онъ будетъ совершенно неправъ, когда начнетъ утверждать, что истинное искусство чуждается роскоши. Истинному искусству нѣтъ рѣшительно никакого дѣла до экономическихъ соображеній. Истинное искусство есть чуждающее растеніе, которое постоянно питается соками человѣческой роскоши. Являясь всегда и вездѣ неразлучнымъ спутникомъ роскоши, оно никакъ не можетъ ея

чуждаться. И Микель Анджелло, и Рафаэль расписывали свои фресками потолки и простѣнки папскаго дворца, подобно тому, какъ различныя московскіе художники украшаютъ «пукетами и амурами» стѣны тѣхъ апартаментовъ, въ которыхъ Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ наслаждается радостями семейной жизни съ своею супругою, Олимпиадою Самсоновною, урожденною Большовою. Фрески Рафаэля, по мнѣнію такого чистокровнаго и даровитаго эстетика, какъ Анри Тенъ, не имѣютъ почти никакого самостоятельнаго значенія. Они составляютъ просто дополненіе архитектуры. «Въ самомъ дѣлѣ, разсуждаетъ Тенъ, отчего же фрескамъ и не быть дополненіемъ архитектуры? Не ошибочно ли разсматривать ихъ отдѣльно? Чтобы понимать идѣи живописца, надо становиться на его точку зрѣнія. А Рафаэль, разумѣется, смотрѣлъ на всю задачу именно такимъ образомъ. *Пожаръ въ Борго* составляетъ украшеніе арки, которую ему поручено было чѣмъ нибудь наполнить. *Парнаоссъ и Освобожденіе св. Петра* украшаютъ простѣнки надъ дверью и надъ окномъ, и ихъ мѣсто обязываетъ ихъ принять извѣстную форму. Эти картины не приставлены къ стѣнамъ зданія; онѣ сами составляютъ часть зданія; онѣ облачаютъ зданіе такъ, какъ кожа облачаетъ тѣло. Если онѣ принадлежатъ къ архитектурѣ, то какъ же имъ не подчиняться архитектурнымъ требованіямъ?... «Вотъ, объясняетъ онъ далѣе, арка окна выгибается величественно и просто; линія этой арки благородна (noble) и бордюра изъ лѣпныхъ украшеній сопровождаетъ ея прекрасную округлость, но мѣста по бокамъ и наверху остаются пустыми; надо ихъ наполнить, а для этого годятся только фигуры, неуступающія архитектурѣ въ полнотѣ и серьезности; лица, предающіяся увлеченію страсти, составили бы диссонансъ; здѣсь не можетъ быть мѣста безпорядку естественныхъ группъ. Надо, чтобы дѣйствующія лица выравнивались сообразно съ высотой простѣнка; наверху арки должны стоять маленькія дѣти или согнувшіяся фигуры, а по бокамъ большія, вытянутыя во весь ростъ» *).

А вѣдь мы, право, не умѣемъ цѣнить достоинствъ нашей отечественной литературы; вѣдь у насъ даже въ эстетической «Эпохѣ» или въ столь же эстетическомъ «Атенеѣ» были немислнмы словонизверженія о томъ, что «la ligne est noble» и что «les personnages s'adaptent selon la hauteur du rappeau». А у французовъ это—сплошь и рядомъ, такъ что даже самый ревностный реалистъ начинаетъ конфузиться за автора только тогда, когда ему, по какому нибудь странному случаю, приводится переводить эти деликатессы на русскій языкъ.

Какъ бы то ни было, а изъ словъ Тена все таки видно очень ясно, что истинное искусство съ величайшею готовностью превращало себя

*) L'Italie et la vie italienne. (Revue des deux Mondes, 1865, 1 janvier.)

въ лакея роскоши. Художникъ подчинялся всѣмъ требованіямъ роскоши такъ раболѣпно, что соглашался уродовать, въ угоду имъ, свои картины, соглашался разставлять группы по ранжиру, — словомъ, весьма охотно протестировалъ свою творческую мысль. Можетъ ли мыслитель сказать послѣ этого, что *истинное искусство чуждается роскоши*? Если же мыслитель рѣшится выгнать изъ храма *истиннаго искусства* — Рафаэля Санціо, то, спрашивается, кто же останется въ этомъ храмѣ послѣ изгнанія главнаго жреца? И спрашивается еще, не превратится ли тогда этотъ храмъ *истиннаго искусства* въ мастерскую человѣческой мысли, въ которой изслѣдователи, писатели и рисовальщики, каждый по своему, будутъ стремиться къ одной великой цѣли — къ искорененію бѣдности и невѣжества?

Въ умѣ автора «Эстетическихъ отношеній» это превращеніе совершилось давнымъ-давно; но въ 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено къ пониманію такихъ плодотворныхъ идей; поэтому автору и приходится, до поры, до времени, оставлять въ неприкосновенности какой-то призракъ *истиннаго искусства*, въ существованіе котораго онъ, человѣкъ, осмѣлившійся заговорить въ эстетическомъ трактатѣ о 10,000 *фринковъ*, уже нисколько не вѣритъ.

V.

Выбрасывая архитектуру изъ храма *истиннаго искусства*, авторъ «Эстетическихъ отношеній» не считаетъ нужнымъ даже упомянуть мимоходомъ о томъ безбрежномъ морѣ фразъ, которое изливаютъ на счетъ архитектурныхъ памятникоевъ разные туристы и дилетанты, считающіе себя любителями и цѣнителями изящнаго, во всѣхъ его проявленіяхъ. Авторъ совершенно правъ въ своемъ спокойномъ презрѣніи къ этимъ фразамъ; возражать противъ нихъ серьезно нѣтъ никакой возможности, а сибѣться надъ ними очень неудобно въ такомъ трудѣ, который долженъ былъ подвергнуться суду ученаго ареопага. Но такъ какъ литературные враги автора могутъ прикинуться, будто они принимаютъ его презрительное молчаніе за доказательство его невѣденія или его неумѣнія опровергнуть фразерство дилетантовоѣ, — то я брошу здѣсь бѣглый взглядъ на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось, конечно, не разъ слышать и читать возгласы о томъ, что архитектура такого-то вѣка и такого-то народа воплощала въ себѣ всю жизнь, все міросозерцаніе, всѣ духовныя стремленія этого вѣка и этого народа. Французскіе историки и туристы особенно бойко и самоувѣренно умѣютъ читать исторію и мысли отжившихъ народовъ въ каменныхъ сводахъ, колоннахъ, портникахъ; капите-

лахъ, фронтонахъ и разныхъ другихъ архитектурныхъ украшеніяхъ. У этихъ господъ на каждомъ шагу встрѣчаются выраженія: «гранитная поэма», «эпопея изъ мрамора»; эти выраженія прикладываются ими къ очень большимъ зданіямъ, въ родѣ Колизея, Ватикана или собора св. Петра; если бы они были послѣдовательны, то маленькія строенія, съ претензіями на элегантность, должны были бы называться на ихъ фигурномъ языкѣ—мадригалами изъ кирпича или сонетами изъ дуба.

Если повѣрить этимъ господамъ на слово, то окажется, что имъ, для основательнаго изученія прошедшаго, совсѣмъ не нужны письменные документы; они берутся угадать и рассказать вамъ всю подноготную на основаніи мраморныхъ поэмъ и гранитныхъ эпопей. Приведите такого господина въ древній греческій храмъ и предупредите его заранѣе, что это—точно греческій храмъ, вашъ господинъ сію минуту начнетъ вамъ объяснять, что во всемъ характерѣ и во всѣхъ отдѣльныхъ подробностяхъ архитектуры отразилась свѣтлая и гармоническая полнота греческаго духа. И столь усладительно начнетъ онъ вамъ повѣствовать о греческомъ духѣ, и такую элегическую грусть онъ на себя напуститъ по тому случаю, что древніе греки всѣ померли, и такую онъ передъ вами развернетъ картину олимпійскихъ игръ или элевзинскихъ таинствъ, что вы совсѣмъ растаете и припишете все его краснорѣчіе чудотворному влиянію греческаго духа, замурованнаго въ стѣны, въ колонны и въ оводы древняго храма. Приведите этого господина въ Алгамбру и скажите ему, что она была построена въ такомъ-то вѣкѣ, такимъ-то калифомъ—сію минуту польются увлекательныя рѣчи о пылкости арабской фантазіи. А въ готическій соборъ лучше ужъ совсѣмъ не водите вашего словоохотливаго туриста, — тутъ ужъ конца не будетъ чтенію гранитныхъ поэмъ; въ каждомъ стрѣльчатомъ окошкѣ онъ будетъ усматривать выраженіе средневѣковаго идеализма, стрѣмившагося оторваться отъ земли и улетѣть въ пространство эфира. Словомъ, туристъ всегда будетъ угадывать вѣрно, по той простой причинѣ, что онъ, какъ человѣкъ довольно начитанный, будетъ всегда знать заранѣе, что именно въ данномъ случаѣ должно быть угадано. Если мы знаемъ заранѣе, что такое-то зданіе было построено тогда-то, такимъ-то человѣкомъ, для такого-то употребленія, то, разумѣется, входя въ это зданіе, мы невольно вспоминаемъ о томъ, какъ жилъ этотъ человѣкъ, что онъ дѣлалъ, что онъ думалъ. А такъ какъ большинство людей не умѣетъ анализировать свои собственныя впечатлѣнія, то этимъ людямъ и кажется, что ихъ воспоминанія расщепляются въ нихъ именно самою *формой* зданія, и что, слѣдовательно, эта форма находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей того человѣка, о которомъ приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнѣнія можетъ быть доведена совершенно

очевидно и осязательно, посредствомъ анализа нѣкоторыхъ другихъ, совершенно аналогическихъ процессовъ нашей мысли. Показываютъ намъ, напримѣръ, картину, на которой нарисовано нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ; фисіономіи у нихъ очень молодыя, но волосы — бѣлые, какъ снѣгъ; вы, конечно, тотчасъ соображаете, что они напудренны, и мысль ваша немедленно переносится въ XVIII столѣтіе. Пудра и XVIII столѣтіе—два представленія, неразрывно связанныя между собою въ нашемъ умѣ; мы знаемъ, что мода эта существовала именно тогда; мы знаемъ, что она не существовала ни въ какое другое время; мы видѣли множество картинъ и портретовъ, на которыхъ люди XVIII вѣка представлены съ напудренными головами, и, такимъ образомъ, мы, совершенно незамѣтно и нечувствительно привыкли къ той мысли, что пудра дѣйствительно характеризуетъ собою XVIII столѣтіе. Но кто же, въ самомъ дѣлѣ, рѣшится утверждать, что эта странная мода находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей тогдашнихъ людей? Въ этой модѣ есть, конечно, одна черта, характеризующая собою тогдашнее общество; но эту черту мы находимъ во многихъ другихъ модахъ; эта черта заключается въ искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показываютъ намъ, что преобладающимъ значеніемъ пользовалось въ тогдашней Европѣ сословіе совершенно праздное, которое, отъ нечего дѣлать, принимало съ восторгомъ самыя нелѣпыя выдумки парикмахеровъ и другихъ законодателей моды. Но почему искусственность и вычурность проявились при Людовикѣ XV, въ посыпаніи головы бѣлыми порошкомъ; а при Людовикѣ XIV, въ ношеніи огромныхъ париковъ,—этого ни одинъ мыслитель въ мірѣ не объяснитъ намъ общими причинами, заключавшимися въ духѣ времени и народа. Конечно, и пудра, и парики имѣютъ свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая можетъ быть интересною только для собирателя историческихъ анекдотовъ.

То же самое можно сказать и объ архитектурныхъ памятникахъ. То обстоятельство, что въ данное время строилось въ данной странѣ значительное количество бесполезныхъ и великолѣпныхъ зданій, доказываетъ, конечно, что въ данной странѣ были въ данное время такіе люди, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ огромные капиталы или, по какимъ нибудь другимъ причинамъ, могли располагать, по своему благоусмотрѣнію, громадными массами дешеваго человѣческаго труда. А по этой канвѣ политической и соціальной безалаберщины пылкая фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогреваемая хорошимъ жалованьемъ или страхомъ наказанія, конечно, должна была вышивать самыя величественныя и самыя пестрыя узоры; но видѣть въ этихъ узорахъ проявленіе народнаго міросозерцанія, а не индивидуальной фан-

тази, — позволительно только тѣмъ туристамъ, которые серьезно рассуждаютъ о благородствѣ круглой арки или о возвышенности стрѣльчататаго окна.

VI.

Бросивъ бѣлый взглядъ на скульптуру и на живопись, авторъ «Эстетическихъ отношеній» приходитъ къ тому выводу, что «произведенія того и другаго искусства, по многимъ и существеннѣйшимъ элементамъ (по красотѣ очертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.), неизмѣримо ниже природы и жизни». Доказательства въ пользу этого положенія авторъ беретъ отчасти изъ личныхъ впечатлѣній, отчасти изъ анализа тѣхъ необходимыхъ отношеній, которыя существуютъ между идеаломъ художника и живою дѣйствительностью. «Мы должны сказать, оворить авторъ, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и что надобно только пройти по какой нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ. Въ этомъ согласится большая часть тѣхъ, которые привыкли думать самостоятельно» (стр. 87).

Такъ какъ авторъ сказалъ уже въ самомъ началѣ своего разсужденія, что «прекрасное есть жизнь», и такъ какъ красота статуй заключается не въ жизни, то есть, не въ выраженіи лица, а въ строгой правильности очертаній и въ совершенной соразмѣрности частей, то, разумеется, каждое неизуродованное и умное лицо живаго человека оказывается гораздо красивѣе всевозможныхъ мраморныхъ или мѣдныхъ лицъ. Только въ этомъ смыслѣ и могутъ быть поняты слова автора, потому что иначе трудно было бы себя представить, какимъ образомъ въ Петербургѣ, который, какъ извѣстно, вовсе не славится красотой своихъ обитателей, могутъ встрѣчаться на каждой многолюдной улицѣ по нѣскольку лицъ, болѣе прекрасныхъ, чѣмъ лица статуй Кановы. Мое предположеніе подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ говоритъ о «красотѣ очертаній», а не о «правильности». Очевидно, что *правильность* не имѣетъ въ его глазахъ почти никакого значенія. Объ идеалѣ скульптора авторъ говоритъ, что онъ «никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы творческой фантазіи очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта» (стр. 87).

Противъ этой очевидной истины могутъ спорить только неисправные идеалисты, способные до сихъ поръ принимать за чистую монету

разсказы о томъ, что «художники, какъ боги, входятъ въ зевсовы чертоги и, читая мысль его, видятъ въ вѣчныхъ идеалахъ то, что смертнымъ въ доляхъ малыхъ открываетъ божество». Кто не вѣритъ въ прогулки художниковъ по чертогамъ Зевса и кто не признаетъ существованія врожденныхъ идей, тотъ, конечно, долженъ согласиться, что художникъ, подобно всѣмъ остальнымъ смертнымъ, почерпаетъ изъ опыта все свое внутреннее содержаніе и, слѣдовательно, всѣ мотивы своихъ художественныхъ произведеній.

Говоря о живописи, авторъ обращаетъ вниманіе на несовершенство ея техническихъ средствъ. «Краски ея, говоритъ онъ, въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица,—грубое, жалкое подражаніе; вмѣсто нѣжнаго тѣла, она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое» (стр. 90). «Руки человѣческія грубы, говоритъ онъ далѣе, и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа» — вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природою» (стр. 92). Къ ландшафтной живописи авторъ также относится безъ малѣйшаго благоговѣнія. Онъ сомнѣвается въ томъ, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзажъ, и говоритъ, что «человѣкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природою вполне, не находитъ недостатковъ въ ея красотѣ» (стр. 94).

Говоря о музыкѣ, авторъ прежде всего отдѣляетъ вокальную музыку отъ инструментальной. Потомъ, разсматривая вокальную музыку или пѣніе, онъ отдѣляетъ естественное пѣніе отъ искусственнаго. Естественнымъ онъ называетъ то пѣніе, которое возникаетъ у человѣка само собою, въ минуту радости или грусти, изъ потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не изъ стремленія къ прекрасному. Это естественное пѣніе авторъ считаетъ произведеніемъ практической жизни, а не произведеніемъ искусства. Искусственное пѣніе, по мнѣнію автора, прекрасно въ той мѣрѣ, въ какой оно приближается къ естественному. А инструментальная музыка, въ свою очередь, прекрасна настолько, насколько она приближается къ вокальной. «Послѣ того, говоритъ авторъ, мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеніе явленій жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству» (стр. 101).

Въ поэзіи авторъ находитъ тотъ неизбѣжный недостатокъ, что ея образы всегда оказываются блѣдными и неопредѣленными, когда мы начинаемъ ихъ сравнивать съ живыми явленіями. «Образъ въ поэтическомъ произведеніи, говоритъ авторъ, точно такъ же относится къ дѣйствительному, живому образу, какъ слово относится къ дѣйствительному

предмету, имъ обозначаемому, — это не болѣе, какъ блѣдный и общій, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность» (стр. 102).

Кто усомнится въ вѣрности этой мысли, тому я могу предложить слѣдующее доказательство. Извѣстно, что высшій родъ поэзіи — драма; извѣстно, что лучшія драмы въ мірѣ написаны Шекспиромъ; выше шекспировскихъ драмъ въ поэзіи нѣтъ ничего; стало быть, если образы шекспировскихъ драмъ окажутся блѣдными и неопредѣленными намеками на дѣйствительность, то о всѣхъ остальныхъ поэтическихъ произведеніяхъ нечего будетъ и говорить. Но всякій знаетъ, что всѣ драмы, въ томъ числѣ и драмы Шекспира, достигаютъ нѣкоторой опредѣленности, приближающей ихъ къ дѣйствительности, только тогда, когда онѣ играютъ на сценѣ; всякій знаетъ далѣе, что играть удовлетворительнымъ образомъ шекспировскія роли могутъ только замѣчательные актеры; значить, необходима цѣлая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическимъ образамъ нѣкоторую опредѣленность; значить, необходимы умъ, талантъ и образованіе для того, чтобы понимать, комментировать *блѣдныя и неопредѣленные намеки на дѣйствительность*. Это пониманіе и комментированіе составляютъ всю задачу талантливаго актера, и удовлетворительнымъ рѣшеніемъ этой задачи актеръ приобретаетъ себѣ всемірную извѣстность. Стало быть, задача дѣйствительно очень трудна и *намекы дѣйствительно блѣдны и неопредѣленны*. Но это еще не все. Всякому извѣстно, что одна и таже роль играется различными актерами совершенно различно и, между тѣмъ, одинаково удовлетворительно. Одинъ понимаетъ характеръ дѣйствующаго лица такъ, другой — иначе, третій — опять по своему, и если всѣ они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволенъ; значить, всѣ понимаютъ вѣрно и, значить, поэтический образъ уподобляется неопредѣленному уравненію, которое, какъ извѣстно, допускаетъ множество различныхъ рѣшеній. Послѣ этого, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что поэзія, по самой сущности своей можетъ давать только блѣдныя и неопредѣленные намеки на дѣйствительность.

Перебравъ, такимъ образомъ, всѣ искусства, авторъ приходитъ къ тому общему заключенію, что прекрасное въ живой дѣйствительности всегда стоитъ выше прекраснаго въ искусствѣ. Если, слѣдовательно, искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дѣйствительности, то спрашивается, что же оно должно дѣлать? Оно должно, по мірѣ своихъ силъ, воспроизводить дѣйствительность. — Что именно оно должно воспроизводить? — Все, что есть *интересно* для человѣка въ жизни. — Для чего нужно это воспроизведеніе? — На этотъ послѣдній вопросъ авторъ отвѣчаетъ такъ: «потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслѣ слова (изысканія искусства),

есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности» (стр. 151).

Если художникъ долженъ знакомить насъ съ *интересными* сторонами жизни, то, очевидно, онъ самъ долженъ быть на столько мыслящимъ и развитымъ человѣкомъ, чтобы умѣть отдѣлать интересное отъ неинтереснаго. Въ противномъ случаѣ, онъ потратитъ весь свой талантъ на рисованіе такихъ мелочей, въ которыхъ нѣтъ никакого живаго смысла, и всѣ мыслящіе люди отнесутся къ его произведенію съ улыбкою состраданія, хотя бы даже мелочи, выбранныя художникомъ, были воспроизведены превосходно. «Содержаніе, говоритъ авторъ, достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто оно — пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно, важностью своей идеи, не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ подобными пустяками? Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. Человѣкъ самъ себѣ цѣль; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ». (129). Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводитъ и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, авторъ съ справедливымъ негодованіемъ отзывается о томъ ложномъ розовомъ освѣщеніи, въ которомъ является дѣйствительная жизнь у поэтовъ, подчиняющихся предписаніямъ старой эстетики и усердно наноляющихъ свои произведенія разными *прекрасными* картинами, то есть, описаніями природы и сценами любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь, говоритъ авторъ, заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка; вообще вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаетъ какой-то сентиментальный, розовый колоритъ; вмѣсто серьезнаго изображенія человѣческой жизни, произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе точныхъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго рассказы интересны только для людей того же нравственнаго или фیزیологическаго возраста» (стр. 137).

Весь смыслъ и вся тенденція «Эстетическихъ отношеній» концентрируются въ слѣдующихъ превосходныхъ словахъ автора: «наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ примѣнить къ пользѣ человѣка свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цѣль его: для вознагражденія человѣка, въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью,—воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоценную, дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности, быть нѣкоторою замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни».

УІІ.

Познакомившись съ содержаніемъ «Эстетическихъ отношеній», мы посмотримъ теперь, какое направленіе должна была принять критика, построенная на тѣхъ теоретическихъ основаніяхъ, которыя заключаетъ въ себѣ эта книга. «Эстетическія отношенія» говорятъ, что искусство ни въ какомъ случаѣ не можетъ создавать свой собственный міръ, и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведеніемъ того міра, который существуетъ въ дѣйствительности. Это основное положеніе обязываетъ критика разсматривать каждое художественное произведеніе непременно въ связи съ тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Налагая на критика эту обязанность, «Эстетическія отношенія» ограждаютъ его отъ опасности забрести въ пустыню стариннаго идеализма. Затѣмъ, «Эстетическія отношенія» предоставляютъ критику полнѣйшую свободу. Роль критика, проникнутаго мыслями «Эстетическихъ отношеній», состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы прикладывать къ художественнымъ произведеніямъ различныя статьи готоваго эстетическаго кодекса. Вмѣсто того, чтобы исправлять должность безличнаго и безстрастнаго блюстителя неподвижнаго закона, критикъ превращается въ живого человѣка, который вноситъ и обязанъ вносить въ свою дѣятельность все свое личное міросозерцаніе, весь свой индивидуальный характеръ, весь свой образъ мыслей, всю совокупность своихъ человѣческихъ и гражданскихъ убѣжденій, надеждъ и желаній. «Искусство, говоритъ авторъ, *воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человека въ жизни.*» Но что именно интересно и что не интересно? Этотъ вопросъ не рѣшенъ въ «Эстетическихъ отношеніяхъ», и онъ ни подъ какимъ видомъ не можетъ быть рѣшенъ разъ навсегда; каждый

критикъ долженъ рѣшать его по своему, и будетъ рѣшать его такъ или иначе, смотря по тому, чего онъ требуетъ отъ жизни и какимъ образомъ онъ понимаетъ характеръ и потребности своего времени. «Содержаніе, говоритъ авторъ, достойное вниманія мыслящаго человека, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто бы оно — пустая забава» — Что такое мыслящій человекъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго человека? Эти вопросы опять-таки должны рѣшаться каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ, отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависить, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, приговоръ критика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣшивши, что содержаніе *неинтересно* или, другими словами, *недостойно вниманія мыслящаго человека*, критикъ, основываясь на подлинныхъ словахъ автора «Эстетическихъ отношеній», имѣетъ полное право посмотреть на данное произведение искусства съ презрѣніемъ или съ *соплатательною* улыбкою. Положимъ теперь, что одинъ критикъ посмотритъ на художественное произведение съ презрѣніемъ, а другой — съ восхищеніемъ. Столкнувшись, такимъ образомъ, въ своихъ сужденіяхъ, они затѣвуютъ между собою споръ. Одинъ говоритъ: содержаніе неинтересно и недостойно вниманія мыслящаго человека. Другой говоритъ: интересно и достойно. Само собою разумѣется, что споръ между этими двумя критиками, съ самаго начала, будетъ происходить совсѣмъ не на эстетической почвѣ. Они будутъ спорить между собою о томъ, что такое мыслящій человекъ, что долженъ этотъ человекъ находить достойнымъ своего вниманія, какъ долженъ онъ смотрѣть на природу и на общественную жизнь, какъ долженъ онъ думать и дѣйствовать. Въ этомъ спорѣ они принуждены будутъ развернуть все свое міросозерцаніе; имъ придется заглянуть и въ естествознаніе, и въ исторію, и въ социальную науку, и въ политику, и въ нравственную философію, но объ искусствѣ между ними не будетъ сказано ни одного слова, потому что смыслъ всего спора будетъ заключаться въ *содержаніи*, а не въ *формѣ* художественнаго произведенія. Именно потому, что оба критика будутъ спорить между собою не о формѣ, а о содержаніи, именно потому, что они, такимъ образомъ, будутъ оба признавать, что содержаніе важнѣе формы, — именно поэтому они оба окажутся адептами того ученія, которое изложено въ «Эстетическихъ отношеніяхъ.» И ни одинъ изъ обоихъ критиковъ не будетъ имѣть права упрекать своего противника въ отступничествѣ отъ основныхъ истинъ этого ученія; оба они будутъ стоять одинаково твердо на почвѣ общей доктрины и будутъ расходиться между собою въ тѣхъ именно вопросахъ, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляетъ въ полное распоряженіе каждой отдѣльной личности.

Доктрина «Эстетическихъ отношеній» именно тѣмъ и замѣчательна, что, разбирая основы старыхъ эстетическихъ теорій, она совсѣмъ не за-

мѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетику, который можетъ судить только о формѣ, а мыслящему человѣку, который судить о содержаніи, то есть, о явленіяхъ жизни. О томъ, каковъ долженъ быть мыслящій человѣкъ, «Эстетическія отношенія», разумѣется, не говорятъ и не могутъ сказать ни одного слова, потому что этотъ вопросъ совершенно выходитъ изъ предѣловъ той задачи, которую они рѣшаютъ. Стало быть, расходясь между собою въ вопросѣ о мыслящемъ человѣкѣ, критики не имѣютъ ни малѣйшаго основанія ссылаться на «Эстетическія отношенія». Это было бы также остроумно, какъ если бы кто нибудь въ спорѣ о косвенныхъ налогахъ сталъ ссылаться на учебникъ математической географіи. Математическая географія—наука очень почитенная, но въ рѣшеніи социальныхъ вопросовъ она совершенно некомпетентна.

ПОДРОСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ.

(Сельскія картины).

I.

Послѣднее десятилѣтіе нашей литературы было посвящено акклиматизированію европейскаго либерализма на обширныхъ и холодныхъ равнинахъ Россіи, или, другими словами, прививанію гражданскихъ доблестей и гуманныхъ идей къ дѣйствиельнымъ умамъ и сердцамъ нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ. Успѣхъ гуманизирующихъ операцій превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія. Во всѣхъ нашихъ городахъ, и почти во всѣхъ нашихъ селахъ уже томятся, изнываютъ, лепечутъ, граціозничаютъ и миндаляются тысячи щедушныхъ субъектовъ, въ которыхъ всѣ почтенные европейскіе либералы, отъ графа Росселя до Юліана Шмидта, будутъ принуждены узнать своихъ младшихъ братцевъ, еще робкихъ и неопытныхъ, но уже способныхъ выводить тоненькимъ дискантомъ нѣкоторыя модуляціи общелиберальнаго маяканья. Теперешняя робость и неопытность нашихъ подрастающихъ либеральчиковъ не должна внушать ни малѣйшихъ опасеній за будущее процвѣтаніе російскаго либерализма. Роль либерала такъ многосложна, трудъ его такъ утомителенъ, путь его усыпанъ сплошь такими крупными и острыми терніями, что въ одно десятилѣтіе нѣтъ никакой возможности усвоить себѣ ту невозмутимую ясность взоровъ и ту безукоризненную солидность поведения, которыми непремѣнно долженъ отличаться опытный либераль, созрѣвшій въ великой школѣ балансированія, мистификаторства и самоувѣреннаго переливанія изъ пустого въ порожнее. — Главная обязанность либерала состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы всѣмъ выраженіемъ своей фізіономіи, всѣми своими словами и всѣмъ внѣшнимъ

видомъ своихъ поступковъ заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великимъ идеямъ и интересамъ, которыя возбуждаютъ въ немъ почти такія же чувства, какія персидская романка возбуждаетъ въ клоуѣ. Всѣ усилія либерала должны постоянно направляться къ тому, чтобы всѣ его поступки противорѣчили всѣмъ его словамъ, и чтобы это противорѣчіе оставалось постоянно совершенно незамѣтнымъ для той безхитростной сермяжной публики, которую слѣдуетъ ублажать и растрогивать либеральными представленіями. Если же противорѣчіе сдѣлается чересчуръ очевиднымъ, то либераль долженъ тотчасъ объяснить, съ надлежащею торжественностью, что уваженіе его къ великимъ принципамъ остается неизмѣннымъ, но что обстоятельства мѣста и времени, къ сожалѣнію, требуютъ себѣ довольно значительныхъ уступокъ, изъ которыхъ, однакоже, для всей почтенной публики не произойдетъ ничего, кромѣ существенной пользы и великаго удовольствія. Либераль долженъ постоянно стремиться и порываться впередъ, не двигаясь съ мѣста, и тщательно удерживая другихъ людей отъ всего того, что становится похожимъ на дѣйствительное движеніе. Кто изъ либераловъ поумнѣе, тотъ продѣлываетъ всѣ эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого онъ надуваетъ. Кто попростѣе, — и такихъ несравненно больше — тотъ либеральничаетъ чисто-сердечно, не замѣчая въ своей особѣ и въ своей доктринѣ никакихъ внутреннихъ противорѣчій, разсуждая по наслышкѣ, ностуная по привычкѣ, и съ дѣтскою безпечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожаютъ другъ друга, и что знанія великихъ идей водружается надъ кучей сора.

Можете ли вы себѣ вообразить смиренную корову, украшенную хорошиимъ кавалерійскимъ сѣдломъ?—Я полагаю, что эта корова представила бы намъ зрѣлище довольно комическое, но въ то же время и печальное; затянута подпруга сильно угнетала бы ея коровью натуру и приводила бы ее въ такое крайнее смущеніе, которое, конечно, выражалось бы во всей ея огорченной наружности; глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человѣкъ долженъ былъ бы сжа-
диться надъ ея несчастіемъ и снять съ ея спины совершенно несвойственное ей украшеніе. Но представьте себѣ, для усиленія комизма и для уничтоженія плачевности, что въ осѣдланную корову вселился бысь гордости и самодовольства; представьте себѣ, что она, жестоко перетянутая подпругою, желаетъ изумить и очаровать васъ тонкостью своей коровьей талии и легкостью своей коровьей походки; представьте себѣ, что она подражаетъ манеромъ кровнаго англійскаго скакуна, старается принять молодцоватый видъ и бравурную осанку, раздуваетъ ноздри, поднимаетъ хвостъ коломъ, и пробуетъ пуститься съ правой ноги галопомъ. Представьте себѣ такую картину, и вы получите нѣкоторое сла-

бое понятіе о томъ неистощимомъ комизмѣ, которымъ переполнены всѣ слова, движенія и поступки добродѣтельнаго либерала, самодовольно навѣсившаго на себя то, что давить и гнѣть его; и что на каждомъ шагу произносить строжайшій приговоръ надъ самыми неистребимыми поползновеніями его мелкой душонки. Этотъ уморительный типъ добродѣтельнаго либерала или осѣдланной коровы разобранъ съ замѣчательнымъ успѣхомъ въ повѣсти г. Слѣпцова: «Трудное время», въ которой мученикомъ либерализма является юный и просвѣщенный помѣщикъ, Александръ Васильевичъ Щетининъ. Объ этомъ господинѣ Щетининѣ, изнывающемъ подъ тяжестью собственной гуманности, я и поведу теперь разговоръ съ читателями.

II.

Щетининъ живетъ въ своемъ имѣніи и старается увѣрить себя и другихъ въ томъ, что онъ занимается хозяйствомъ, гуманизируетъ сельскихъ обывателей, интересуется европейскою политикою и слѣдитъ очень внимательно за развитіемъ научной агрономіи. Занятія хозяйствомъ заключаются въ томъ, что Щетининъ по вечерамъ бесѣдуетъ съ своимъ прикащикомъ, который изъ этихъ конференцій выноситъ, но всей вѣроятности, то утѣшительное убѣжденіе, что надувать и обирать молодыхъ агрономовъ очень сподручно и совершенно безопасно. Гуманизированіе земледѣльцевъ производится посредствомъ тщательнаго взиманія установленныхъ штрафовъ за потравы; это взысканіе четвертаковъ и полтинниковъ клонится вовсе не къ тому, чтобы вознаградить помѣщика, а собственно и единственно къ тому, чтобы воспитать въ земледѣльцахъ уваженіе къ принципу собственности, чтобы развить въ нихъ чувство законности; чтобы вложить въ грубые умы пониманіе человѣческихъ правъ и обязанностей, и чтобы, наконецъ, сдѣлать человѣка царемъ окружающей его зоологической природы, то есть, чтобы вооружить земледѣльца хворостиною, при содѣйствіи которой онъ развивалъ бы чувство законности и подавлялъ бы коммунистическіе инстинкты во всѣхъ деревенскихъ коровахъ, телятахъ, баранахъ и свиньяхъ. Поглощенный великимъ житейскимъ дѣломъ народнаго воспитанія, Щетининъ конечно не можетъ уже посвящать много времени политикѣ и теоретической агрономіи; поэтому и не мудрено, что книжки ученыхъ журналовъ лежатъ неразрѣзанными, и что пачки русскихъ и иностранныхъ газетъ остаются нераспечатанными. Орошая потомъ лица своего обширную и еще нетронутую ниву русскихъ народныхъ силъ, Щетининъ принужденъ отказывать себѣ даже въ тѣхъ скромныхъ умственныхъ наслажденіяхъ, которыя для образованнаго человѣка составляютъ насущную потреб-

ность. Понятно, что, при такихъ условіяхъ, неразрѣзанность журналовъ и нераспечатанность газетъ должны быть вѣнчаны Щетинину въ особенно высокую патріотическую заслугу.

У нашего гуманизатора есть жена, Марья Николаевна, женщина молодая, честная, горячая и энергическая, принявшая за чистую монету либеральныя разговоры доблестнаго супруга, и постоянно ожидающая, во все время своего трехлѣтняго замужества, что вотъ-вотъ начнется какая-то, несомнѣнъ извѣстная ей, но великая и святая работа, которой всѣ честные люди съ наслажденіемъ отдадутъ весь свой умъ, всю свою волю, всю свою жизнь. Но время идетъ, Щетининъ занимается погрѣхами, и Марья Николаевна начинаетъ недоумѣвать. Ей представляется, что благосостояніе всѣхъ русскихъ людей вообще, и сельскихъ обывателей въ особенности, еще не Богъ знаетъ какъ далеко подвинется впередъ, если даже труды Щетинина утвердятъ господство мужицкихъ хвостовъ надъ всѣми деревенскими телѣтами. Ей кажется, что въ этой работѣ очень мало великаго и святаго, и что не такими подвигами наполняется жизнь тѣхъ людей, которые дѣйствительно умѣли понять всю тяжесть долга, лежащаго на нихъ въ отношеніи къ ихъ бѣдному и нечужденному народу. Въ то время, когда Марья Николаевна недоумѣваетъ и тревожится, къ Щетинину прѣзжаетъ на лѣто его товарищъ по университету, Рязановъ, одинъ изъ блестящихъ представителей моего возлюбленнаго базаровскаго типа. Появленіе этого новаго лица ускоряетъ неизбѣжную развязку. Прислушиваясь къ разговорамъ Рязанова съ Щетининымъ, Марья Николаевна начинаетъ смотрѣть на своего мужа совершенно трезвыми глазами и отдавать должную дань презрѣнія его игрунечному либерализму. Добродѣтельное собраніе четвертаконъ и полтинниковъ становится для нея невыносимымъ, и она рѣшается уѣхать отъ мужа, чтобы устроить себѣ полезную и разумную жизнь. Для тѣхъ проницательныхъ читателей, которые пустятся въ лукавыя соображенія, и замѣчу тотчасъ же, что она уѣзжаетъ не съ Рязановымъ, а одна, и уѣзжаетъ вовсе не за тѣмъ, чтобы предаваться удовольствіямъ взаимной любви. Повѣсть г. Слѣпцова оканчивается тѣмъ, что Рязановъ и Марья Николаевна холодно прощаются между собою въ домѣ Щетинина, который, внезапно очутившись на развалинахъ своего семейнаго счастья, начинаетъ мечтать о наживаніи капитала и о расходованіи его на пользу человѣчества, словомъ, перекладываетъ маниловскія фантазіи на языкъ совершенно образованнаго общества. — Какъ видите, между тремя главными дѣйствующими лицами повѣсти разыгралась простая, но мучительная драма, тѣмъ болѣе интересная и замѣчательная, что ея составные элементы — грошовый либерализмъ, безпощадный анализъ и неподкупная честность, — находятся уже теперь во многихъ русскихъ семьяхъ. Не вдаваясь въ подробный разборъ замѣчательной повѣсти

г. Слѣпцова, я постараюсь бросить бѣглый взглядъ на основную причину разыгравшейся драмы.

При первомъ же свиданіи Щетинина съ Рязановымъ, читателю становится замѣтно, что Щетининъ боится Рязанова и совершенно безуспѣшно старается держать себя съ нимъ развязно и самостоятельно. Читатель тотчасъ усматриваетъ также и причины щетининской трусливости. Щетининъ во всѣхъ отношеніяхъ чистѣйшій нуль, существо безличное, безцвѣтное, безформенное, неспособное ни любить, не вѣрить, ни сомнѣваться, ни знать, ни мыслить, ни дѣйствовать, а способное только выло и безстрастно повиноваться, по силѣ инерціи, данному толчку. Щетинину, какъ и всякому другому нулю, вовсе не хочется признавать себя нулемъ; онъ старается заглушить въ себѣ мучительное ощущеніе собственнаго ничтожества; онъ усиливается втянуть себя въ мысли, въ чувства и въ стремленія; не имѣя ни къ чему опредѣленныхъ влеченій, онъ кидается на все, что его окружаетъ и обнаруживаетъ очень много внѣшней подвижности и суетливости, именно потому, что всѣ идеи и всѣ отрасли дѣятельности для него совершенно одинаковы; подвижность и суетливость его находятся въ тѣсной связи съ его вялостью и безстрастностью; онъ суетится потому, что надо себя обманывать; а потребность обманывать себя происходитъ отъ того, что во всемъ его существѣ господствуютъ пустота и холодъ, которые его самого привели-бы въ ужасъ, еслибы онъ осмѣлился заглянуть въ самаго себя спокойнымъ и внимательнымъ взглядомъ. Будь у него какіянибудь страсти, онъ полюбилъ бы тотъ или другой строй понятій, и тогда онъ потерялъ бы возможность суетиться и разыгрывать роль услужливаго казачка передъ каждою новою варіаціею жизни или мысли. Щетининъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые никогда не могутъ быть искренни, потому что у нихъ нѣтъ ничего такого, что они могли бы назвать своею умственной или нравственною собственностью; ихъ мысли, ихъ чувства, ихъ желанія,—все это прицѣплено, пришито и приклеено къ нимъ; при случаѣ, старый слой этой драпировки покрывается новымъ слоемъ, и это наклеиваніе и нашиваніе производится ими такъ давно, съ такой ранней юности, что они ужъ и сами не знаютъ и не спрашиваютъ, есть ли у нихъ чтонибудь свое, подъ грудю истлѣвшихъ лохмотьевъ. Но что верхній слой драпировки, тотъ слой, которымъ они пародируютъ, составляетъ для нихъ постороннюю массу, все неприросшую къ ихъ тѣлу, это они сами чувствуютъ, и это ощущеніе отравляетъ все ихъ существованіе. Представьте же себѣ теперь, какое множество кошекъ скребутъ ихъ сердце, когда они встрѣчаются съ такими людьми, которые сами, со всѣми своими чувствами и убѣжденіями, вылиты какъ будто изъ одного куска металла, и которые, вслѣдствіе этого, съ перваго взгляда замѣчаютъ въ другихъ людяхъ

каждою малѣйшую искусственность или придуманность. — Рязановъ видитъ насквозь Щетинина, и понимаетъ его такъ, какъ самъ Щетининъ себя понять не можетъ. Щетининъ объ этомъ догадывается, хотя впрочемъ и не можетъ себя представить, до какихъ размѣровъ простирается пониманіе его товарища, и хотя врядъ ли даже считаетъ возможнымъ, чтобы его, Щетинина, кто нибудь умѣлъ созерцать въ томъ совершенно мизерномъ и голенюкомъ видѣ, въ какомъ онъ представляется Рязанову. Но уже и неопредѣленныхъ догадокъ Щетинина достаточно для того, чтобы вогнать его въ лихорадочное состояніе, при которомъ онъ и говорить, и ходить, и смѣется совершенно неестественнымъ образомъ, какъ будто бы все это дѣлается у него совсѣмъ не по собственному желанію, а по какому-то постороннему заказу. Рязановъ все это видитъ, и, съ неумолимостью искренняго и цѣльнаго человѣка, разными гладнокровными репликами и замѣчаніями, на каждомъ шагу даетъ чувствовать своему собесѣднику, что всѣ его слова и движенія не клонятся ни къ чему и появляются на свѣтъ неизвѣстно зачѣмъ. Такъ, на примѣръ, Щетининъ, послѣ первыхъ объятій, начинаетъ упрекать Рязанова въ томъ, что тотъ не писалъ къ нему. Рязановъ очень хорошо понимаетъ, что эти упреки дѣлаются для разговорца, и что Щетинину на самомъ дѣлѣ вовсе даже и не хотѣлось получать отъ него писемъ. Поэтому на кислосладо-любезный вопросъ: «и не стыдно?» Рязановъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ, братъ, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросаютъ совсѣмъ». Щетининъ пробуетъ изъ дружески-сентиментальнаго тона перейти въ дружески-шутливый, и снова беретъ такую, вѣду, въ которой звучитъ фальшь и пустота. «Эхъ ты! говорить онъ, а еще сочинитель называешься.» — Шутка натянута и поэтому никуда не годится. Рязановъ тотчасъ и обнаруживаетъ эту натянутость. «Такъ что жъ, что сочинитель? Что жъ мнѣ для тебя письма что-ли сочинять?» Щетининъ желаетъ поправиться, и продолжаетъ говорить ненужныя слова, которыхъ ненужность немедленно разоблачается. Наконецъ, въ крайнемъ смущеніи, онъ объявляетъ, что путается въ словахъ отъ радости, причиненной ему свиданіемъ. И разумѣется вретъ, потому что, на самомъ дѣлѣ, онъ почти совсѣмъ не радъ, и во всемъ его поведеніи нѣтъ ничего кромѣ условныхъ знаковъ радости, изображаемой неизвѣстно для чего. Если бы на мѣстѣ Рязанова былъ другой Щетининъ, то, услышавъ извѣстіе о причинѣ путаницы, и зная навѣрное ложность этого показанія, этотъ другой Щетининъ все-таки считалъ бы своею обязанностью прижать чувствительнаго друга къ груди своей, или, по крайней мѣрѣ, крѣпко стиснуть его руку и взглянуть на него сладостными глазами. Но Рязановъ, какъ безчувственный скотъ, только ворочается на диванѣ, и на просьбу друга извинить его радостное замѣшательство, отвѣчаетъ спокойно: «Ничего. Это даже хорошо, что ты путаешься»

ся.»—То есть: галопируй, корова, на тебя смотрѣть забавно. — Можно сказать навѣрное, что въ эту минуту въ душѣ радующагося Щетинина проползло что-то похожее на ненависть къ тому другу, который посмотрѣлъ съ такимъ убійственнымъ спокойствіемъ на разсыпанные перлы его поддѣльныхъ чувствъ. Онъ задумался, потомъ, сказавши нѣсколько загадочныхъ плоскостей, началъ ходить по комнатѣ, и наконецъ пустилъ новую демонстрацію нѣжности «нѣтъ, вѣдь я тебѣ радъ, очень радъ!» точно будто бы ему приходилось отвѣчать внутреннему голосу, который говорилъ ему: ты совсѣмъ не радъ. Но чтобы перлы дружескіе не остались не подобранными и на этотъ разъ, Щетининъ торопится насильно всунуть ихъ въ руки Рязанова. Производится крѣпкое пожатіе рязановской руки, и Щетининъ становится спокойнѣе, потому что, такимъ образомъ, нѣжная демонстрація получаетъ, покрайней мѣрѣ, внѣшній видъ приличной обоюдности.

III.

Если Щетининъ очень милъ, когда разсуждаетъ о пріятностяхъ погоды и дружелюбія, то, безъ сомнѣнія, онъ становится вдесятеро милѣе, когда заводитъ рѣчь о предметахъ возвышенныхъ и мудреныхъ. Рязановъ спрашиваетъ у него мимоходомъ: «а дѣти есть у тебя?» Вопросъ важется, очень невинный, но Щетининъ находитъ удобнымъ распространиться по этому поводу насчетъ родительскихъ обязанностей. Оказывается, что обзаводиться дѣтьми позволительно только тогда, когда для нихъ кое-что заготовлено. Рязановъ этого мнѣнія нисколько не оспариваетъ, и спрашиваетъ очень добродушно: «успѣшно-ли идетъ заготовка?» Щетининъ, чувствуя въ присутствіи Рязанова хроническое смущеніе, сначала замѣчаетъ, что нельзя не копить, а вслѣдъ затѣмъ начинаетъ въ чемъ-то оправдываться, «понимаю, понимаю, говоритъ онъ; да только вовсе я не такой человѣкъ, какъ ты думаешь».—Хотя Рязановъ ни однимъ своимъ словомъ не выразилъ того, что считаетъ Щетинина за какого-то особеннаго человѣка, однако онъ ему не противорѣчитъ, и даже изъявляетъ полное согласіе выслушать отъ самого Щетинина, какой-же онъ именно человѣкъ. Щетининъ приступаетъ къ дѣлу очень храбро. «А вотъ я какой человѣкъ... Я человѣкъ...» Но тѣмъ все объясненіе и кончается. «Да нѣтъ, — продолжаетъ Щетининъ гораздо скромнѣе, я не могу о себѣ говорить. Чортъ знаетъ, я какъ-то не умѣю.» Рязановъ молчитъ. Тогда Щетининъ вынуждается разсказать ему, что онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Рязановъ на все согласенъ. Разсказъ оказывается очень несложнымъ. Все дѣло въ томъ, что Щетининъ подарилъ крестьянамъ землю, которою они владѣли, а крестьяне, подозревая въ этомъ подвигъ братолюбія какую нибудь военную хитрость, не хотѣли брать

подарокъ, но потомъ, склонившись на увѣщаніи посредника, взяли землю и подписали уставную грамоту. Слушая этотъ трогательный разсказъ, Рязановъ, по настоящему, долженъ былъ-бы умилиться надъ безморыстіемъ и великодушіемъ своего либеральнаго друга. Но Рязановъ, къ удивленію чувствительнаго читателя, выслушалъ все повѣствованіе съ невозмутимымъ хладнокровіемъ, и потомъ произнесъ слѣдующія убійственныя слова. «Ну, такимъ манеромъ, стало быть, ты совершилъ въ предѣлѣ земномъ все земное?» — Я называю эти слова убійственными, потому что въ нихъ заключается для Щетинина и для всѣхъ подобныхъ ему, осѣдланыхъ коровъ вообще, страшная правда. Самое лучшее, что могутъ сдѣлать эти люди, имѣть чисто отрицательное значеніе, и состоять въ томъ, что они отказываются отъ права парализировать чужую дѣятельность и отравлять лишними заботами чужое существованіе. Отнявши у себя возможность вредить другимъ, или, цопрайней мѣрѣ, ослабивъ эту возможность, эти люди дѣйствительно могутъ умереть совершенно спокойно, не огорчая и не волнуя себя тою мучительною мыслью, что они оставляютъ на землѣ какое нибудь недовершенное дѣло, что жизнь ихъ еще нужна ихъ согражданамъ, и что смерть ихъ причинить обществу какой нибудь, хотя-бы даже микроскопическій убытокъ. Обеспечивъ за своими крестьянами средства питаться, при самомъ напряженномъ трудѣ, чернымъ хлѣбомъ, лукомъ и квасомъ, Щетининъ дѣйствительно совершилъ въ предѣлѣ земномъ все земное. Но, къ счастью для самого себя, Щетининъ неспособенъ понять, какое глубокое значеніе заключается въ словахъ Рязанова; вслѣдствіе этого, Щетининъ принимаетъ эти слова за одну изъ обыкновенныхъ шуточныхъ выходокъ Рязанова, и отвѣчаетъ очень весело: «Какое? Нѣтъ, братъ, это еще только начало». — Рязановъ съ очень естественною недоувѣрчивостью спрашиваетъ: «а еще-то что-же?» — потому что, дѣйствительно, что-же еще можетъ сдѣлать Щетининъ, когда земля уже подарена? — Оказывается, что *тутъ-то вотъ и начинается настоящее дѣло*, — и притомъ, какое дѣло! — «*Соціальное любезный другъ, соціальное*». — Услышавъ отъ своего либеральнаго друга такое мудреное слово, Рязановъ уже прямо начинаетъ надъ нимъ смѣяться, такъ точно, какъ засмѣялся-бы надъ Хлестаковымъ обитатель Петербурга, которому случилось бы присутствовать при разсказѣ о балахъ и обѣдахъ испанскаго посланника. — «Ничего я противузаконнаго не затѣваю, продолжаетъ Щетининъ, никакихъ я теорій не провожу, я дѣлаю только то, что всякій изъ насъ обязанъ дѣлать». — Приступъ очень недуренъ. Во-первыхъ, выражено полное уваженіе къ закону; во-вторыхъ, заявлено столь-же полное недоувѣріе къ неосновательнымъ теоріямъ; въ-третьихъ обнаружено сознание гражданскихъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ насъ. Словомъ, все было-бы превосходно, если-бы только Щетининъ смѣлъ по-

вести эту рѣчь дальше, приставляя одинъ округленный періодъ къ другому, и тщательно наблюдая за тѣмъ, чтобы во всѣхъ этихъ періодахъ не выразилось ни одной, сколько нибудь опредѣленной, идеи. Но я уже замѣтилъ въ самомъ началѣ этой статьи, что въ одно десятилѣтіе невозможно сформировать такихъ либераловъ, которые были бы посвящены во всѣ тайны европейскаго шарлатанства. Кромѣ того, надо принять въ соображеніе, что Рязановъ не такая публика, передъ которою было бы особенно удобно изливать чувствительныя фразы, не заключающія въ себѣ осязательнаго смысла. Сознавая свое печальное положеніе, Щетининъ умолкаетъ и съ горы начинаетъ царапать клеенку на диванѣ, — чего никогда не дѣлалъ покойникъ Пальмерстонъ, и чего не дѣлаютъ въ настоящее время ни Россель, ни Гладстонъ, когда имъ приходится говорить публично о красотахъ англійской конституціи и о непомѣрномъ благосостояніи англійскаго пролетарія. — Хотя Щетинину еще далеко до великихъ западныхъ образцовъ, однако же и онъ не съ разу признаетъ себя побѣжденнымъ, и дѣлаетъ еще нѣсколько попытокъ озадачить Рязанова балами и обѣдами испанскаго посланника. «Прежде всего, говоритъ онъ, ты долженъ согласиться съ тѣмъ, что всякое общественное дѣло тогда только можетъ быть прочно, когда оно основано на чисто-народныхъ началахъ». — Рязановъ, по добротѣ души своей, соглашается безпрекословно. «Пока народъ не подастъ своего голоса, продолжаетъ Щетининъ, пока онъ молчитъ и только слушаетъ, — никакая пропаганда не поведетъ ни къ чему». — Такъ какъ Рязановъ никогда не предлагалъ Щетинину сдѣлаться миссіонеромъ какой-бы то ни было, умной или глупой, идеи, то, сохраняя строго-выжидательное положеніе, Рязановъ спрашиваетъ только: «ну такъ что-жь?» — Эта сдержанность Рязанова окончательно губитъ его либеральнаго собесѣдника. Вздумавъ Рязановъ возражать, Щетининъ тотчасъ воспрянулъ бы, и безконечная трескотня словъ благополучно устранила бы вопросъ о томъ, чѣмъ занимался юный землевладѣлецъ въ деревнѣ, и можетъ-ли онъ вообще совершить въ предѣлѣхъ земномъ еще хоть что-нибудь путное. Но Рязановъ только соглашается и ждетъ; поэтому Щетининъ принужденъ приступить къ дѣлу, котораго, къ сожалѣнію, не оказывается въ наличности. «А то, говоритъ онъ, что слѣдовательно мы должны всѣ наши силы направить на то»... Но на что именно господа Щетинины должны направить всѣ свои силы, и какія такія силы у нихъ имѣются — этого мы конечно не узнаемъ никогда, потому что этого не знаетъ и самъ ораторъ, который, въ своемъ отчаяніи, прерываетъ свою возвышенную рѣчь самою неуклюжею диверсіею, совершенно равносильною смиренной мольбѣ о пощадѣ. «Да ты, можетъ быть, спать хочешь?» спрашиваетъ Щетининъ, рѣшительно не зная, на какое то должны быть направлены всѣ силы господъ Щетининыхъ. Рязановъ, конечно, достаточно намо-

трѣлся въ Петербургѣ на милыхъ людей, царяпоющихъ клеенку и направляющихъ на какое нибудь непонятное и неизвѣстное имъ *то* всѣ свои несуществующія силы. Потому онъ отпускаетъ щетининскую душу на покаяніе, и произноситъ великодушно: «да, братъ, хочу». — Щетининъ оправляется, и придаетъ своему отступленію приличный видъ, выражая надежду, что они еще успѣютъ обо всемъ переговорить. — Рязанову въ скоромъ времени удалось познакомиться довольно близко съ щетининскими *мы*, и съ *нашими* силами, которыя всѣ должны быть направлены на *то*.

Дѣйствіе происходитъ въ городѣ, въ бывшемъ дворянскомъ, а нынѣ соединенномъ клубѣ всѣхъ сословій, во время мирового съѣзда, засѣдающаго въ одной изъ комнатъ того же клуба.

Картина первая: *Наши силы* направляются.

— Какъ поживаете, говорилъ Щетининъ, раскланиваясь съ другимъ; только что вышедшимъ изъ буфета, помѣщикомъ.

— Вотъ какъ видите, отвѣчалъ тотъ. — Закусиваемъ. Какъ же намъ еще поживать? Ха, ха, ха! Вотъ съ Иванъ Павлычемъ ужь по третьей прошлись. Да, чортъ, ихъ не дождешься, говорилъ онъ, указывая на посредниковъ. — Господа, что же это такое, наконецъ? Скоро ли вы опростаетесь? Въ буфетѣ всю водку выпили, ужь за хересь принялись.

— Да велите накрывать, заговорили другіе.

— Столъ нуженъ.

— Господа, тащите ихъ отъ стола!

— Эй, человѣкъ, подай, братецъ, ведро воды, мы ихъ водою разольемъ. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нѣтъ, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Всѣ ѣсть хотятъ. Кого вы хотите удивить.

— Что тутъ еще разговаривать съ ними! Господа, вставайте! Засѣданіе кончилось. Дѣла къ чорту. Гоните мужиковъ! Эй, вы, пошли вонъ.

Такимъ образомъ кончилось засѣданіе. Посредники, съ озабоченными и утомленными лицами, складывали дѣла, снимали дѣпи, потягивались и уходили въ буфетъ».

И послѣ этого есть еще люди, осмѣливающіеся говорить, что у насъ нѣтъ инициативы!

Картина вторая: *Наши силы* направлены.

«Черезъ часъ послѣ обѣда дворяне ходили по комнатамъ, какъ во снѣ: всѣ что-то говорили другъ другу, кричали, пѣли и требовали все шампанскаго и шампанскаго... Въ одной комнатѣ хоромъ пѣли какую-то пѣсню, но потомъ образовалось два хора, такъ что ужь никто ничего не могъ разобрать, никто никого не слушалъ....

— Кубокъ литарный....

— Чтобы солнцемъ не пекло....

— Полонъ давно....

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость!... Ура-а! шампанскаго!... Пей, пей, пей!...

Повольте вамъ сказать... Чтобы солнцемъ... Поди къ чорту... Ура! Шампанскаго!..

— Во-о-дхи! вдругъ заоралъ кто-то отчаяннымъ голосомъ.

Въ другой комнатѣ сидѣлъ судья на креслѣ, а прочіе стояли. Судья произносилъ какія-то слова, а хоръ повторялъ ихъ. Два посредника держали подъ руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судья. Купецъ кланялся въ ноги и просилъ ручку. Судья накрывалъ его полой своего сюртука и произносилъ какія-то слова; хоръ подхватывалъ; третій посредникъ махалъ цѣпью.

Щетининъ съ Рязановымъ вышли на крыльцо. Смеркалось. У воротъ вълуба ихъ уже дожидался запряженный тарантасъ. На дворѣ видно было, какъ одинъ помѣщикъ стоялъ, упершись въ стѣну лбомъ, и мучительно расплачивался за обѣдъ.

Тотчасъ послѣ этой панорамы *нашихъ силъ*, Рязановъ имѣлъ неслыханную жестокость напомнить либеральному кругу, въ самомъ безобидномъ тонѣ, о томъ разговорѣ, который остался недоконченнымъ по случаю отхода собесѣдниковъ ко сну.

— «Что ты такое началъ рассказывать, когда я пріѣхалъ, помнишь?— про какое-то социальное дѣло, спросилъ Рязановъ своего товарища, когда они выѣхали въ поле».

Щетининъ могъ бы очень резонно отвѣтить своему другу, что Римъ не въ одинъ день построенъ: что необходимо мѣшать пріятное съ полезнымъ; что пѣсни, пропѣтыя хоромъ, принадлежать къ области чистаго искусства, которое, какъ доказалъ г. Антоновичъ, разгоняетъ мрачныя мысли, ослабляетъ своекорыстные инстинкты и обуздываетъ неестественные порывы; что, впрочемъ, мы вообще не созрѣли, что наши молодныя силы бродятъ и кипятъ; что свѣтлое вино творится изъ мутнаго броженія; и что, вслѣдствіе этого, даже тотъ господинъ, который *мучительно расплачивался за обѣдъ*, можетъ еще со временемъ сдѣлаться всякихъ социальныхъ дѣлъ мастеромъ. Словомъ, Щетинину представлялся отличный случай наговорить три короба разныхъ либеральныхъ безсмыслицъ; но неопытность Щетинина была слишкомъ велика, и блестящая панорама *нашихъ силъ* подѣйствовала на него слишкомъ подавляющимъ образомъ. Онъ даже не попробовалъ барахтаться, и на ядовитый вопросъ товарища отвѣтилъ самымъ покорнымъ и болѣзненнымъ стономъ, въ которомъ слышалось и *пардонъ* и *караулъ*. — «Нѣтъ, оставь

это, — прощу я тебя: сдѣлай милость, оставь, отвѣтишь Щетининъ». Борова начинаетъ признаваться, что сѣдло сильно намозолило ей спину.

IV.

На другой день послѣ прїѣзда Рязанова къ Щетинину, разыгрывается одна изъ самыхъ обыкновенныхъ деревенскихъ сценъ. Мужичья телушка забрела въ барскій хлѣбъ; ее поймали и заманили на барскій дворъ; мужикъ приходитъ къ Щетинину, просить объ ея освобожденіи; Щетининъ требуетъ установленнаго штрафа. Разговоръ между мужикомъ и Щетининимъ происходитъ въ присутствіи Рязанова и Марьи Николаевны. За нѣсколько секундъ до начала этого разговора Щетининъ усердно рисовался передъ Рязановымъ трудностями своей общественной дѣятельности.

«Поживи-ка, братъ, здѣсь, говорилъ онъ, да погляди на насъ, чернорабочихъ, какъ мы тутъ съ сырымъ матеріаломъ управляемся». — «Вотъ ты тогда и увидишь, говорилъ онъ далѣе, что мы должны, мало того, что помогать имъ; но еще убѣждать и упрашивать, чтобы они намъ позволили имъ же быть полезными». — Слова Щетинина тотчасъ находятъ себѣ блистательное оправданіе. Кусокъ сырого матеріала вваливается къ нему въ переднюю и становится передъ нимъ на колѣни. Чернорабочій Щетининъ приходитъ въ негодованіе и настоятельно требуетъ отъ мужика, чтобы онъ уважалъ въ себѣ свое человѣческое достоинство. Мужикъ согласенъ уважать, лишь бы только ему отдали его телушку, не взыскивая съ него штрафа. Щетининъ начинаетъ убѣждать и упрашивать мужика, чтобы онъ ему позволилъ быть полезнымъ сырому матеріалу. — «Ну слушай! говоритъ Щетининъ. Пойми, что мнѣ твоихъ денегъ не нужно; я отъ этого не разбогачу! Я беру съ тебя штрафъ для твоей же пользы, для того, чтобы ты былъ впередъ осмотрительнѣе, зря не распускалъ бы свотини. Сами же вы благодарить будете, что васъ уму-равму учатъ». Возмущаясь мужичьиными колѣнопреклоненіями, какъ поруганіемъ человѣческаго достоинства, Щетининъ, въ то же время, самъ требуетъ отъ мужика умственного раболѣпства, гораздо болѣе вреднаго, опаснаго и унижительнаго, чѣмъ всевозможныя колѣнопреклоненія. Въ старину бывали такіе воспитатели, которые заставляли ребенка нюхать розгу, и спрашивали у него, чѣмъ нахнеть? Ребенокъ долженъ былъ отвѣчать: «умомъ». И, разумѣется, ребенокъ отвѣчалъ именно такимъ образомъ, потому что зналъ заранѣе, чего отъ него требуютъ, и чему онъ можетъ подвергнуться въ случаѣ своего нежеланія дать формальный отвѣтъ, намекающій на спасительныя свойства тѣлеснаго наказанія. Щетининъ поступаетъ съ мужикомъ то же

точь такъ, какъ поступали съ ребенкомъ старинные воспитатели, которые, по крайней мѣрѣ, были совершенно послѣдовательны, то есть, ни мало не заботились о человѣческомъ достоинствѣ, и очень благосклонно смотрѣли на колѣнопреклоненія ребенка, желающаго, изъясненіями покорности, изъавить себя отъ приближающейся розги. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны, нѣтъ никакой возможности предполагать, что мужикъ убѣдится аргументаціею Щетинина; а съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что мужикъ во всемъ будетъ поддакивать Щетинину, чтобы обезоружить его своимъ смиреніемъ. Всѣ слова Щетинина мужикъ только и можетъ понимать въ томъ смыслѣ, что барину желательно видѣть мужицкую покорность, которая должна проявляться не въ цѣлованіи барскихъ ручекъ, а въ скромномъ и почтительномъ выслушиваніи безтолковыхъ барскихъ рѣчей. Мужикъ, конечно, готовъ принять на себя и эту эпитимію, такъ точно, какъ онъ готовъ былъ валяться въ ногахъ и обливаться слезами. Но мужикъ, очевидно, долженъ считать себя обманутымъ и обиженнымъ, когда онъ видитъ, что перенесенная эпитимія не вмѣняется ему ни во что, и что вся его покорность не уменьшаетъ требуемаго штрафа ни на одну полушку. Какъ было два рубля десять копѣекъ, такъ и осталось два рубля десять копѣекъ. А что баринъ заставлялъ его нюхать розги и хвалить ихъ превосходный запахъ — это все составляетъ вторую шкуру, содранную съ вола вопреки здравому смыслу и буквѣ закона. Чего хотѣлъ Щетининъ отъ мужика? Могъ ли онъ надѣяться на то, что мужикъ пойметъ и прочувствуетъ его разсужденія?

Конечно, человѣческимъ надеждамъ законъ не писанъ, но если бы Щетининъ потрудился самъ обдумать смыслъ своихъ словъ, то онъ увидѣлъ бы немедленно, что, обращаясь съ ними къ мужику, онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ знаніе такихъ вещей, о которыхъ тотъ не можетъ имѣть никакого понятія. Щетининъ говоритъ мужику: «мнѣ твоихъ денегъ не нужно». — Чудесно, думаетъ мужикъ. А мнѣ мои деньги нужны. Значитъ, онѣ при мнѣ и останутся. — Но тутъ Щетининъ объясняетъ далѣе: «я беру съ тебя штрафъ для твоей же пользы». — «Вотъ тебѣ разѣ! думаетъ мужикъ. Да какое тебѣ дѣло до моей пользы? И съ какихъ это поръ тебѣ припала охота думать о моей пользѣ? Такъ я тебѣ сейчасъ взялъ и повѣрилъ!» Эти вопросы, въ той или другой формѣ, непременно должны промелькнуть въ умѣ мужика, въ то самое время, когда онъ отвѣчаетъ Щетинину умиленнымъ голосомъ. — «И такъ много довольны, батюшка, Ликсанъ Васильичъ. Благодаримъ покорно!» — И на эти вопросы, очень невыгодные для Щетинина, мужикъ не можетъ найти въ своей головѣ такіе отвѣты, которые могли бы доказать ему, что Щетинину дѣйствительно есть дѣло до его пользы. Чтобы рѣшить вопросы въ этомъ смыслѣ, мужику надо знать,

что въ западной Европѣ происходили обширныя народныя движенія, что надъ этими движеніями принуждены были задуматься высшіе классы общества, что это раздумье породило цѣлыя отрасли литературы, что новыя идеи залетѣли наконецъ въ Петербургъ, что къ этимъ новымъ идеямъ прислушался Ликсанъ Васильичъ, и, что, вслѣдствіе этого, у Ликсана Васильича явилось стремленіе заботиться о мужицкой пользѣ. Ничего этого мужикъ не можетъ знать, и, поэтому, въ словахъ Щетинина онъ не можетъ видѣть ровно ничего, кромѣ самаго безсовѣстнаго и топорнаго лицемѣрія, которое, онъ, мужикъ, по зависимости своего положенія, обязанъ принимать за чистѣйшее великодушіе. Можно сказать навѣрное, что, выслушавъ медовыя рѣчи Щетинина съ горькимъ заключеніемъ: «подавай 2 р. 10 к.», мужикъ унесетъ съ собою болѣе непріязненное чувство, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда Щетининъ прямо и рѣзко отвѣтилъ бы ему на первую его просьбу: пошелъ вонъ! неси деньги!—Тутъ дѣло шло бы на чистоту, и мужикъ не видѣлъ бы того, что принимаетъ за обманъ, и что, дѣйствительно, должно казаться шарлатанствомъ даже и всякому другому, болѣе развитому и знающему человеку. Щетининъ говорить, что онъ не разбогатѣетъ отъ 2 р. 10 к. Это вѣрно. Онъ дѣйствительно беретъ штрафъ не за тѣмъ, чтобы обогатиться. Штрафы совсѣмъ не для того и установлены, чтобы обогащать людей, потерпѣвшихъ убытокъ отъ потравы. Но и не для того также они установлены и взыскиваются, чтобы приносить пользу мужикамъ, распускающимъ скотину. Штрафы не имѣютъ и не могутъ имѣть никакого педагогическаго значенія. Взыскивая съ мужика деньги, Щетининъ, конечно, думаетъ про себя: нѣтъ, братъ, шалишь! Попробуй-ка я дать тебѣ поблажку, такъ вы у меня всѣ поля до чиста вытравите. — Размышляя такимъ образомъ, Щетининъ опредѣляетъ очень вѣрно цѣль и смыслъ штрафовъ, которые, вмѣстѣ со многими другими видами взысканія, существуютъ единственно для того, чтобы ограждать собственность отъ разныхъ умысленныхъ и неумысленныхъ поврежденій. Люди смѣлые и нензуродованные прививными идеями выражаютъ прямо и откровенно тѣ размышленія, которыя Щетининъ, какъ робкая и безотвѣтная жертва либерализма, старается утаить даже отъ самого себя, не смотря на то, что всѣ его дѣйствія обуславливаются именно одними этими размышленіями. Тѣ жалкія плоскости, которыя Щетининъ говорить о мужицкой пользѣ и объ ученіи уму-разуму, конечно, никого не обморочатъ, и всего менѣе способны обмануть мужика, который, какъ я объяснилъ выше, застрахованъ отъ этого обмана именно своимъ круглымъ невѣжествомъ. Мужикъ своимъ простымъ отвѣтомъ: «и такъ много доплатимъ» опрокидываетъ всю щетининскую галиматью. Дѣйствительно, мужики имѣютъ полное право сказать, что ихъ и такъ ужъ черезчуръ много учили со всѣхъ сторонъ уму-разуму; если это ученіе принесло

мало пользы, то это доказываетъ ясно, что всякая дидактическая система несостоятельна, и что, по этой системѣ, сколько не учи, все ничему не выучишь. Если бы существовала какая нибудь возможность развить въ безправномъ человѣкѣ чувство законности посредствомъ взысканій, то мужики наши давнымъ давно сравнялись бы въ этомъ отношеніи съ самыми просвѣщенными націями земного шара. Неужто, въ самомъ дѣлѣ, съ нашихъ мужиковъ до сихъ поръ мало взыскивали? Неужели до сихъ поръ позволяли безнаказанно нарушать ихъ обязанности? Неужели до сихъ поръ всѣ желающіе могли свободно уклоняться отъ платежа подушныхъ податей, отъ несенія рекрутской повинности, отъ барщины, отъ оброка и отъ всякихъ другихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей? Ничего подобнаго, разумѣется, никогда не было и не могло быть. Если же взысканія всегда были очень строги, если послабленій никакихъ не давалось, то, очевидно, слабое развитіе чувства законности обуславливается у нашихъ мужиковъ не недостаточностью взысканій, а именно, тѣмъ низкимъ уровнемъ нравственнаго развитія, которое составляло общій удѣлъ всѣхъ неимущихъ классовъ нашего общества. Значитъ, какіе штрафы ни берите съ мужика, ничего вы въ немъ не разовьете, кромѣ бѣдности и ожесточенія. Въ какомъ направленіи должно дѣйствовать на умъ и чувства мужика денежное взысканіе, это мы видимъ изъ разговора между тѣмъ же самымъ обладателемъ телушки и щетининскимъ конторщикомъ, Иваномъ Степанычемъ. — «Ну, теперь, позвольте, говорить мужикъ, такъ будемъ говорить: ваша скотина зашла ко мнѣ въ огородъ. — Ну и загоняй ее! отвѣчаетъ Иванъ Степанычъ. — Загнать недолго, да на что-жъ такъ-то? — Какъ на что? Баринъ штрафъ заплатить. — Ну, это тягайся тамъ съ вами еще! А незамай же, я ей ноги переломаю, она лучше ходить не станетъ. — Вотъ ты поговори еще! — Право слово, переломаю. Что въ самомъ дѣлѣ?

Видите, куда дѣло-то пошло? Въ мужикѣ начинаютъ шевелиться самыя противупообщественныя и воинственныя стремленія, пробужденныя тою самою мѣрою, которая, по доктринѣ Щетинина, должна была образумить и гуманизировать грубаго земледѣльца. Переломаетъ онъ ноги барской скотинѣ, изъ этого, разумѣется, завяжется дѣло, гораздо болѣе важное, чѣмъ дѣло о потравѣ, и мужика накажутъ строго, какъ буйнаго и дерзкаго человѣка. И либералы, подобные Щетинину, по своей глупости или по своей подлости, будутъ возлагать на это наказаніе разныя розовыя надежды, и будутъ говорить раззоренному или отодранному мужику, что его раззорили или отодрали для его пользы, единственно и исключительно для его собственной пользы. Но добродушный Иванъ Степанычъ смотритъ на дѣло гораздо проще, и высказываетъ свои мысли безъ малѣйшей утайки. «То есть, я вамъ скажу, — говорить

онъ, тутъ же, при мужикѣ, обращаясь къ Рязанову, — тутъ какую нужно дубину!» — Вотъ оно, великое-то слово, рѣшающее задачу! — Такъ или иначе, прямыми или косвенными путями, съ тонкими деликатностями или безъ оныхъ, всѣ сантиментально живые либералы, подобные Щетинину, приходятъ все-таки, въ концѣ концовъ, къ воздыханію о дубинѣ, которая, впрочемъ, составляетъ по прежнему послѣднюю и высшую санкцію щетининскаго авторитета. Мужикъ говоритъ: *ттайся тамъ съ вами еще!* Мужикъ плохо вѣрить въ возможность отстоять свое право въ судѣ. Ошибается ли онъ въ этомъ случаѣ? Уже самый фактъ его недоувѣрчивости свидѣтельствуетъ достаточно о тѣхъ урокахъ, которые давало прошедшее ему, его родственникамъ и всѣмъ его предкамъ. Недоувѣрчивость выработалась изъ традиціи, а традиція составила изъ опытовъ жизни. Превратилось ли, по крайней мѣрѣ, теперь существованіе тѣхъ причинъ, которыя породили эту недоувѣрчивость? Въ каждомъ почти номерѣ газетъ можно найти такіе эпизоды, въ которыхъ эти причины продолжаютъ дѣйствовать. Въ той же повѣсти г. Слѣпцова разсказывается одинъ крошечный случай, который, по своей ничтожности, не могъ бы попасть ни въ какія газеты, который, однако, совершенно оправдываетъ мужицкую недоувѣрчивость. Волостной старшина говоритъ съ посредникомъ.

— А вотъ, повѣствуетъ старшина, я забылъ вашей милости доложить: батюшка тутъ приходилъ съ садовникомъ. У нихъ опять эти пустяки вышли.

— Какіе пустяки?

— Изъ телятъ. Зашли батюшкины телята къ садовнику въ огородъ; садовникъ ихъ засталъ, стало быть это, на дворъ заперъ. Батюшка, значить, сейчасъ приходитъ, такъ и такъ, какъ ты могъ полковничьихъ телятъ загонять?

— Какихъ полковничьихъ телятъ?

— Да то есть это батюшкиныхъ-то. Онъ такъ считаетъ, что, молъ, полковникъ я.

— Да.

— Ну теперь это теща его выскочила, телятъ обыкновенно угнали...

— Ну, что же?

— Кто ихъ разберетъ? Садовникъ жалится: онъ, говоритъ, у меня на шесть цѣлковныхъ овощей помялъ, а батюшка теперь за безчестіе съ него то есть требуетъ пятнадцать что-ли-то.

— Пятнадцать цѣлковныхъ, подтверждаетъ писарь.

— За какое же безчестіе?

— Ну, тещу его, слышь, обидѣлъ.

— Какъ же онъ ее обидѣлъ?

— Слюнявой что-ли назвалъ. Уже богъ его знаетъ. Слюнявая, го-

ворить, ты, смѣясь, объясняетъ старшина. Ну, а батюшка говорить мнѣ, говорить, это очень обидно. Пятнадцать цѣлковыхъ теперь и требуютъ.

Посредникъ тоже засмѣялся; даже писарь хихикнулъ себѣ въ горсть.

— Ну, это я послѣ разберу, вставая, говоритъ посредникъ. А теперь, братъ, вотъ что: вели-ка ты мнѣ лошадокъ привести.

— Готовы-съ.

Весь этотъ веселый разговоръ очень замѣчательный. Происшествіе кажется старшинѣ до такой степени мелкимъ, что онъ даже едва не забылъ доложить о немъ посреднику; дажѣ онъ называетъ этотъ случай *пустяками*, потомъ говоритъ, что телятъ *обыкновенно* угнали, и посредникъ, услышавъ объ этомъ совершенно противузаконномъ поступкѣ, спрашиваетъ: *ну что же?* Значить и посредникъ считаетъ это дѣло совершенно *обыкновеннымъ* и незаслуживающимъ дальнѣйшаго вниманія. Наконецъ, вся исторія разрѣшается общимъ смѣхомъ, и посредникъ уѣзжаетъ, откладывая разбирательство дѣла до другого раза, вѣроятно, потому, что изъ за такихъ пустяковъ не стоитъ себя задерживать. Теперь потрудитесь только себѣ вообразить, что вся эта исторія разыгралась въ обратномъ порядкѣ. Не *полковникіе* телята зашли къ садовнику, а наоборотъ, садовникіе телята зашли къ *полковнику*. *Полковникъ* загоняетъ ихъ. Садовникъ съ своею тещею идетъ на приступъ отбивать своихъ плѣнныхъ телятъ. Что же изъ этого выходитъ? Прежде всего садовнику и его тещѣ накладываютъ въ шею домашними средствами. Потомъ ихъ обоихъ, какъ разбойниковъ, связываютъ, представляютъ въ волостной судъ. Старшина немедленно даетъ знать посреднику о томъ, что въ волости произошло необыкновенное буйство. Посредникъ прѣзжаетъ и тотчасъ разсматриваетъ дѣло. Въ лучшемъ случаѣ, садовникъ и его теща получаютъ достаточную порцію розогъ, и выплачиваютъ *полковнику* значительное денежное вознагражденіе. Въ худшемъ случаѣ, дѣло доходитъ до уголовного суда, садовникъ и его теща отправляются въ острогъ, а впоследствии, быть можетъ, и на поселеніе. Теперь возьмите опять исторію въ томъ видѣ, въ какомъ она рассказана у г. Слѣпцова, и представьте себѣ, что садовникъ вздумалъ сопротивляться, когда полковникъ съ тещею пришелъ отбивать у него телятъ. Происходитъ драка, въ которой садовникъ играетъ оборонительную роль. При всемъ томъ, садовникъ оказывается виноватымъ, и подвергается строгому наказанію за непочтительное обращеніе съ чиновными особами. Послѣ этого, спрашиваю я васъ, что же остается дѣлать мужику и всякому другому чиновнику 15-го класса? Имѣютъ ли люди дѣйствительное основаніе относиться недовѣрчиво къ судебнымъ разбирательствамъ? Объясняется ли наклонность этихъ людей къ самоуправству ихъ собственною порочностію, или же она находится въ зависимости отъ ка-

кихъ нибудь другихъ внѣшнихъ, т. е., общественныхъ условий? Предложивши читателю призадуматься надъ этими вопросами, я возвращаюсь теперь къ разговору Щетинина съ хозяиномъ арестованной телушки. Въ этомъ разговорѣ Щетининъ унижается, наконецъ, до явной и наглої лжи. Такъ какъ мужикъ продолжаетъ упрямивать пропріетера, и никакъ не хочетъ понять, что наказаніе составляетъ неотъемлемое право преступника, право, которое преступникъ никому не долженъ уступать ни за какія блага, то Щетининъ говоритъ наконецъ мужику:

— Законъ, понимаешь? законъ. — Мужикъ, разумѣется, отвѣчаетъ: *слушаю-сь*, что онъ отвѣтилъ бы и въ томъ случаѣ, когда бы его называли осломъ или дуракомъ. — *Такъ что жъ я могу сдѣлать, а?* Ну? спрашиваетъ Щетининъ. Видите какъ это мило! Щетининъ представляетъ мужику дѣло въ такомъ видѣ, что законъ обязываетъ его, Щетинина, брать установленный штрафъ, и *строго запрещаетъ* ему подарить мужику 2 р. 10 к. с. Онъ бы, изволите видѣть, и радъ былъ не взять ничего, и оказать благодѣяніе, но тогда онъ самъ сдѣлается преступникомъ и подвергнетъ себя законному наказанію. Изъ своего разговора съ Щетининымъ, мужикъ долженъ, стало быть, вывести то заключеніе, что въ Россіи существуютъ такіе законы, которые запрещаютъ одному человѣку дарить свои собственныя деньги другому человѣку. И вотъ какимъ образомъ Щетининъ воспитываетъ въ грубыхъ поселянахъ чувство законности. Вотъ какимъ образомъ мы, *чernорabочіе*, *управляемся съ сырыми матеріалами*. Вотъ какимъ образомъ мы, *мало того, что помогаемъ имъ, но еще убѣждаемъ и упрямиваемъ, чтобы они намъ позволили имъ же быть полезными*, то есть налгать имъ въ глаза, и вытаскивать изъ кармана два рубля десять копѣекъ.

V.

Въ тотъ же день, за обѣдомъ, Щетининъ горько жалуется Марьѣ Николаевнѣ и Рязанову на неблагодарныхъ плотниковъ, которые, за всю его щедрость и доброту, заплатили ему тѣмъ, что, по своей лѣности и небрежности, испорчили ему лѣсу на пятьдесятъ рублей. Марья Николаевна выслушиваетъ молча изліяніе огорченного хозяина. Рязановъ, съ своей стороны, не обнаруживаетъ никакого сочувствія, и совершенно хладнокровно напоминаетъ Щетинину о тѣхъ законныхъ средствахъ, которыя онъ можетъ употребить противъ провинившихся работниковъ; онъ можетъ отправить ихъ, для надлежащаго предупрежденія, къ станому; или же онъ можетъ, черезъ посредника, взыскать съ нихъ деньги за испорченный матеріалъ; имѣя въ рукахъ такіа дѣйствительныя средства, Щетининъ, очевидно, не долженъ унывать и оплакивать

свою горькую долю. Марья Николаевна, едва знакомая съ Рязановымъ, не понимаетъ того, къ чему направляется его тактика и съ великодушнымъ негодованіемъ честной женщины вступается за работниковъ.

— Но вѣдь они бѣдные, говорить она: вы забываете... откуда же они возьмутъ пятьдесятъ рублей.

Рязановъ нисколько не смущается ея негодованіемъ, и ведетъ свою атаку дальше, съ несокрушимымъ хладнокровіемъ.

— Ежели говорить онъ, наличныхъ денегъ не имѣють, то, можетъ быть, окажется движимость, скоть.

Негодованіе Марьи Николаевны, конечно, увеличивается. — «Ну, н..» спрашиваетъ она.

— Продадутъ-съ, продолжаетъ Рязановъ добродушно и весело. Что-жъ имъ въ зубы-то смотрѣть.

— Да вѣдь это я не знаю, что такое... Это варварство! Внослѣдствіи Марья Николаевна объявляетъ, что она въ эту минуту просто готова была убить Рязанова.

Противъ слова *варварство* Рязановъ ровно ничего не имѣетъ. Онъ отвѣчаетъ: очень можетъ быть-съ.

— Такъ какъ же вы предлагаете такіа средства?

— Я никакихъ средствъ не предлагаю, я только напоминаю.

— Что-же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагаетъ на человѣка извѣстныя обязанности. Пользуешься правомъ, — исполняй и обязанности.

— Какія обязанности? Вы ему напоминаете, что онъ можетъ, если захочетъ, злоупотреблять своимъ правомъ.

— Нисколько-съ. Напротивъ я ему напоминаю только о томъ, какъ слѣдуетъ благопріобрѣтать, а злоупотребляетъ ужъ это онъ самъ.

— Развѣ это злоупотребленіе, если онъ прощаетъ этихъ плотниковъ?

— А вы какъ же думали? Конечно злоупотребленіе (тутъ Рязановъ могъ бы даже сослаться на самаго Щетинина, который, за нѣсколько часовъ предъ тѣмъ, тянулъ съ мужа штрафъ для того, чтобы не сдѣлать злоупотребленія и не погрѣшить предъ закономъ). Если бы онъ одинъ только пользовался правомъ карать и миловать, тогда богъ съ нимъ, пусть бы его дѣлалъ, что хотѣлъ. Если ему Богъ далъ такую добрую душу, такъ что-жъ тутъ разговаривать. Хочешь идти по міру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что насъ много, что онъ, оставляя безнаказанными разныхъ мошенниковъ, поощряетъ ихъ на новыя мошенничества и подаетъ гибельный примѣръ. А отъ этого мы всѣ страдаемъ онъ портитъ у насъ рабочія руки. Ну, хорошо еще, что я вотъ могу жить такъ, ничего не дѣлая; но если бы я былъ рабочая рука, да я

бы... я бы непременно испортился. Я бы сказалъ: а! такъ вотъ что! Стало быть, можно дѣлать все, что хочешь. Пошелъ бы въ кабакъ, эй! братцы, рабочія руки, пойдите наниматься въ работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись къ кому нибудь садъ сажать; набрали бы денегъ впередъ, потомъ взяли бы насажали деревья корнями вверхъ, а дорожки всѣ изрыли бы и ушли. Ищи насъ! Что-жъ, развѣ это хорошо?

Щетинину очень не нравятся рязановскіе монологи. Онъ чувствуетъ, что все это клонится къ какому то неудобному для него заключенію, хотя, по слабоумію своему, и не понимаетъ, къ какому именно.

— Богъ тебя знаетъ, наконецъ сказалъ Щетининъ, для чего ты все это говоришь.

Но Рязанова нельзя ни запугать негодованіемъ, ни обезоружить смиренною мольбою. Онъ продолжаетъ разворачивать зондомъ глубокую рану своего истерзаннаго товарища.

— А для того и говорю, поясняетъ онъ, что не хочу тебя лишить дружескихъ совѣтовъ. Вижу я, что другъ мой колеблется, что ему угрожаетъ опасность, что онъ можетъ сдѣлаться жертвою собственной слабости, да и намъ всѣмъ нанакостить; ну, вотъ я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему, и не сказать: другъ, остерегись! не поддавайся искушенію, не поблажай беззаконію, ибо оно наглымъ образомъ посягаетъ на нашу собственность. Священное право поругано, отечество въ опасности... Другъ, мужайся, говорю я, и снѣши препроводить обманувшія тебя рабочія руки въ руки правосудія.

— Вотъ ты говоришь, препроводить, началъ Щетининъ: — ну, хорошо; а что бы ты сказалъ, если бы я въ самомъ дѣлѣ такъ поступилъ? — Въ этихъ словахъ Щетинина скрывается слѣдующій смыслъ: развѣ ты не видишь, что я человеколюбивъ и великодушенъ? Похвали же ты меня хоть сколько нибудь за мою гуманность! Похвали хоть косвеннымъ образомъ, ругая тотъ поступокъ, котораго я, по гуманности моей не сдѣлалъ!—Но Рязановъ отказывается на отрѣзъ даже и въ косвенныхъ похвалахъ.

— Что бы я сказалъ? говоритъ онъ, я сказалъ бы; вотъ примѣрный хованнъ! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказалъ: это человекъ послѣдовательный; а лучшей кто бы могъ хвалить тебѣ сказать?—Рязановъ отвѣчаетъ такимъ образомъ Щетинину, что его гуманность сводится къ чистѣйшей безхарактерности, которая не позволяетъ ему, ни вывести изъ даннаго принципа его логическія послѣдствія, ни отбросить основной принципъ, если эти неизбежныя послѣдствія кажутся ему отвратительными. Щетининъ принужденъ склонить голову вѣдъ этимъ разговоромъ.

— Такъ-то оно такъ, со вздохомъ сказалъ Щетининъ: — да... да

нѣтъ, братъ, я нахожу, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ надо поступать непослѣдовательно. — Далѣе у Щетинина оказывается, что въ практическомъ дѣлѣ строгая послѣдовательность невозможна, и что этого нельзя и требовать. Уловка эта стара, какъ міръ; ею всегда пользовались слабоумные или недобросовѣстные люди, когда люди послѣдовательные или честные доводили ихъ до капитуляціи посредствомъ того назвѣстнаго діалектическаго маневра, который называется *reduction ad absurdum*, и состоитъ въ томъ, что основной принципъ проводится до самаго конца и превращается въ очевидную нелѣпость или въ возмутительную гнусность. Люди слабоумные, благодаря своей многочисленности, сумѣли дать обширный ходъ той жалкой и ложной мысли, будто бы въ жизни невозможна строгая послѣдовательность. Дѣйствительно, послѣдовательность очень неудобна для тѣхъ людей, которые въ основаніе своей дѣятельности кладутъ ложный принципъ, то есть, такую идею, въ которой затаено что-нибудь нелѣпое или вредное для общества. Послѣдовательность, ведеть въ этомъ случаѣ именно къ тому, что затаенная нелѣпость, развернувшись во всей своей красотѣ, покрываетъ позоромъ самого адепта невѣрной идеи. Поэтому, имѣя въ виду такую непріятную перспективу, слабоумные люди стараются зажмурить глаза и утѣшаютъ себя тѣмъ плоскимъ разсужденіемъ, что они всегда сумѣютъ измѣнить своему принципу, какъ только этотъ принципъ потащитъ ихъ въ вопиющую нелѣпость. На словахъ можно предаваться этимъ сладкимъ надеждамъ, сколько угодно, но жизнь постоянно разрушаетъ эти ребяческія фантазіи, и, выводя изъ каждаго принципа всѣ его послѣдствія, даже самыя нелѣпныя и самыя безобразныя, насильно навязываетъ ихъ каждой отдѣльной личности, основавшей на данномъ принципѣ всю свою дѣятельность. На словахъ вы можете браковать все, что вамъ угодно, но у жизни есть своя собственная логика, которая переломитъ вашу непослѣдовательную брезгливость и непременно вымажетъ васъ съ ногъ до головы общеобязательною краскою или грязью, соответствующею основнымъ требованіямъ вашего принципа. Отъ этого окрашиванія или загрязненія вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у васъ не достанетъ характера рѣшительно оттолкнуть прочь основной принципъ. И такъ Щетининъ признается, что онъ не въ силахъ быть послѣдовательнымъ, или, другими словами, что онъ не хочетъ и не можетъ исполнять, во всемъ ихъ объемѣ, тѣ обязанности, которыя налагаются на него принципъ собственности. Тогда Рязановъ даетъ ему почувствовать, что, по всей вѣроятности, и плотники не хотятъ и не могутъ быть послѣдовательными, то есть, исполнять, во всемъ ихъ объемѣ, тѣ обязанности, которыя налагаются на нихъ принципъ труда. Щетининъ находитъ это сравненіе совершенно неосновательнымъ, потому что у плотниковъ *нѣтъ никакой определенной цѣли, къ которой бы они стреми-*

мисль. Произнося послѣднія слова, Щетининъ, по видимому, намекаетъ на то, что у него есть великая и опредѣленная цѣль, и что онъ измѣняетъ принципу собственности именно изъ любви къ этой цѣли, о которой плотники не имѣютъ понятія. Но Рязановъ сейчасъ же выводитъ все дѣло на чистоту; онъ выражаетъ сомнѣніе въ томъ, чтобы у плотниковъ не было опредѣленной цѣли. — Они, отвѣчаетъ Щетининъ, только о томъ и стараются, чтобы какъ можно меньше работать и въ то же время какъ можно больше получать. — Рязановъ находитъ, что это — цѣль очень опредѣленная, и, вслѣдъ затѣмъ спрашиваетъ у Щетинина, къ чему же онъ самъ-то стремится: «Къ тому, чтобы какъ можно больше работать и какъ можно меньше получать? Такъ что ли?» — Щетининъ совершенно становится въ тупикъ и произноситъ коснѣющимъ языкомъ: «н-нѣ...» — Ну, добываетъ его Рязановъ, такъ что-жъ тутъ разговаривать еще! Стало быть, стремленія-то у насъ съ ними одни и тѣ же; разница только въ томъ, что мы сознательно желали бы ихъ приспособить къ нашему ховяйству, они же, какъ всѣ глупорожденные, безсознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этотъ случай у насъ средства такіа имѣются для понужденія ихъ, средства, къ народнымъ обычаямъ принаровленные. Вотъ въ древніе вѣка нравы были грубые, — тогда и орудія, которыми понуждались глупорожденные къ труду, тоже были неусовершенствованныя, какъ-то: исправники, стѣновне и проч., теперь-же, когда нравы значительно смягчены и сельскіе жители вполне сознали пользу просвѣщенія, и понудительныя мѣры употребляются болѣе деликатныя, духовныя такъ сказать, а именпо: увѣщанія, штрафы, уединенные амбары и такъ далѣе. Вотъ и хорошедимся мы такимъ манеромъ и долго еще будемъ хорошиться, доколѣ мѣра беззаконій нашихъ не исполнится. Только зачѣмъ же тутъ церемониться-то ужъ очень, нюпи-то разводить зачѣмъ, я не понимаю. Штука эта самая простая и весь вопросъ въ томъ, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузся.

Щетининъ раздавленъ и уничтоженъ этими правдивыми словами, такъ точно какъ въ древности оказался уничтоженнымъ и раздавленнымъ благонравный юноша, которому вмѣсто ожидаемой похвалы, былъ данъ весьма непріятный совѣтъ продать богатое наслѣдство и раздать деньги нищимъ. Щетининъ не находитъ больше никакого возраженія, и разговоръ прекращается.

Въ мысляхъ Марьи Николаевны этотъ разговоръ производитъ рѣшительный переворотъ.

VI

Въ головѣ Марьи Николаевны начинается усиленная работа мысли; то, о чемъ она только-что начинала догадываться, обрисовывается передъ нею совершенно ясно и пугаетъ ее слишкомъ знакомою и понятною рельефностью своихъ очертаній; смыслъ той жизни, которую она ведетъ съ своимъ супругомъ, постигнуть; соответствующее имя или клеймо найдено и приложено къ этой разлюбезной и высокопочтенной жизни такъ крѣпко, что его не вытравить никакими горькими слезами. Марья Николаевна становится похожа на леди Макбетъ; она чувствуетъ на всей своей особѣ какое-то пятно, и, не имѣя силъ съ нимъ помириться, въ то же время не знаетъ, какимъ образомъ отъ него отдѣлаться. Можно себя представить, какія нѣжныя чувства питаетъ она къ тому милому либералу, который, пользуясь ея неопытностью, замаралъ ея чистую личность и обезсмыслилъ ея молодую жизнь. Она приходитъ къ своему мужу, какъ воплощеніе его совѣсти, и требуетъ отъ него строжайшаго отчета во всей его прошедшей дѣятельности, въ которой онъ сулилъ ей чудеса либерализма и подвиговъ человеколюбія. «Когда ты хотѣлъ на мнѣ жениться, говоритъ она ему, ты что мнѣ сказалъ тогда? Вспомни? Ты мнѣ сказалъ: мы будемъ вмѣстѣ работать, мы будемъ дѣлать великое дѣло, которое, можетъ быть, погубитъ насъ, и не только насъ, но и всѣхъ нашихъ; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете въ себѣ силы, пойдемте вмѣстѣ. И я пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсѣмъ понимала, что ты тамъ мнѣ рассказывалъ. Я только чувствовала, я догадывалась. И я бы пошла, куда угодно. Вѣдь ты видѣлъ, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла съ горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я вѣрила, что мы будемъ дѣлать настоящее дѣло. И чѣмъ же все это кончилось? Тѣмъ, что ты ругаешься съ мужиками изъ-за каждой копѣйки, а я огурцы солю, да слушаю, какъ мужики бьютъ своихъ женъ — и хлопаю на нихъ глазами. Послушаю, послушаю, потомъ опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такою, какою ты меня сдѣлалъ, — такъ я бы вышла за какогонибудь Шинкина, теперь у меня можетъ быть ужъ трое дѣтей было-бы. (Это послѣднее мѣсто въ монологѣ Марьи Николаевны не совсѣмъ понятно. Почему же Шинкинъ можетъ сдѣлать то, чего до сихъ поръ не сдѣлалъ Щетининъ? Неужели же Щетининъ такъ глубоко проникнулся ученіемъ мальтузіанцевъ, что соблюдаетъ moral restraint въ своей собственной супружеской жизни. Или неужели онъ такъ высоко понимаетъ обязанности отца, что наложилъ на себя обѣтъ цѣломудрія до тѣхъ поръ, пока для будущихъ дѣ-

той не будетъ подготовлено достаточное обезпеченіе? Всѣ это очень неясно.) Тогда я покрайней мѣрѣ знала бы, что я мать, знала бы, что я себя гублю для дѣтей, а теперь... Пойми, что я съ радостью пошла бы землю копать, если бы видѣла, что отъ этого польза не для насъ однихъ; что я не просто ключница, которая выгадываетъ каждый грошъ и только и думаетъ о томъ: ахъ, какъ бы кто не съѣлъ лишняго фунта хлѣба! ахъ, какъ бы... Какая гадость!»

Передъ этими строгими требованіями, Щетининъ оказывается чистѣйшимъ банкротомъ. Онъ остается бевгласнымъ. Онъ даже не пробуетъ защищаться. О работѣ надъ сырымъ матеріаломъ нѣтъ и помину. Впрочемъ, Щетининъ до такой степени мелокъ и ничтоженъ, что онъ даже и теперь не понимаетъ ни характера своей супруги, ни глубины того отчаянія, которое слышится въ ея кровавыхъ упрекахъ. Она говоритъ ему о своей изуродованной жизни, о своихъ загубленныхъ надеждахъ, о своихъ профанированныхъ стремленіяхъ къ добру и къ истинѣ, она называетъ его жалкимъ обманщикомъ, укравшимъ и заѣвшимъ чужой вѣкъ, — а онъ въ это время все наровитъ пожать ея ручку или ухватить ее за талию, онъ думаетъ, что ее можно успокоить и убаготворить супружескими нѣжностями. — Нѣтъ, говоритъ она ему далѣе, вѣдь я это все ужъ давно, давно поняла, и все это у меня вертѣлось въ головѣ; только я какъ-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вотъ эти разговоры мнѣ помогли. Я тутъ очень разстроилась, взволновалась. Это совсѣмъ лишнее. И случилось потому, что и всѣ эти мысли долго очень скрывала: все хотѣла себя разувѣрить; а вѣдь, по настоящему, знаешь, надо бы что сдѣлать? Надо бы мнѣ, ничего не говоря, просто взять да уѣхать...» Именно. Такъ и слѣдуетъ поступать съ тѣми прощальницами, которые сулятъ вамъ золотія горы и потомъ оставляютъ васъ на бобахъ. Марья Николаевна имѣетъ полное право поступить съ Щетининимъ гораздо строже, чѣмъ поступаютъ кредиторы съ злостнымъ банкротомъ. Банкротъ крадетъ только деньги, а Щетининъ, своимъ либеральнымъ фразерствомъ, укралъ у нея жизнь, ту жизнь, которую она могла бы отдать сильному, честному и полезному дѣятелю, и которую она, теперь, быть можетъ, уже не сумѣетъ устроить разумнымъ образомъ. Любимая женщина говоритъ нашему либеральному буржуа, что отъ него слѣдуетъ ей бѣжать безъ оглядки, не говоря ему ни слова, какъ бѣгутъ здоровые люди отъ зачумленнаго больного, который уже находится при послѣднемъ издыханіи, и который уже неспособенъ ни принимать лекарства, ни выслушивать слова любви и утѣшенія, ни даже узнавать своихъ ближайшихъ родственниковъ и друзей. Чѣмъ же отвѣчаетъ онъ ей на это жестокое оскорбленіе? Пробуждается ли въ его тѣлѣ душі хоть искра мужественной гордости, хоть слабое воспоминаніе, далекій и блѣдный отблескъ тѣхъ

титанических стремлений, которыми онъ такъ безсовѣстно рисовался въ былые годы передъ этою же самою женщиною? Провозносить ли онъ хоть одно слово о трудѣ, объ общемъ благѣ, о борьбѣ, словомъ о тѣхъ высшихъ идеяхъ, которыя должны господствовать надъ всею жизнью энергическаго мужчины, осмѣливающагося домогаться любви и уваженія честной и умной женщины? Стараются ли онъ убѣдить ее въ томъ, что онъ не обманулъ ее, что его жизнь полна, широка и разумна, и что, уѣзжая отъ него, она уѣдетъ именно отъ той дѣятельности, которую она сама же ищетъ? Наконецъ, если онъ чувствуетъ невозможность защищаться, то способенъ ли онъ, по крайней мѣрѣ, съ ужасомъ оглянуться на самого себя, оцѣнить всю свою неудовлетворительность, и потомъ, осудивши прошедшее, рвануться впередъ къ новой чистой, высокой и плодотворной дѣятельности? Нѣтъ, ничего подобнаго не находимъ мы въ его отвѣтѣ. Титаническія стремленія были взяты на прокатъ и выражались въ былое время довольно удачно и увлекательно только потому, что у молодого человѣка обыкновенно горятъ глаза и звучитъ въ голосѣ искреннее чувство, когда ему приходится строить воздушные замки о жизни и работѣ вдвоемъ, въ присутствіи той молодой дѣвушки, которая ему нравится. Теперь цѣль жизни достигнута, молодая дѣвушка превратилась въ молодую даму, и поэтому титаническія стремленія отправлены обратно въ тотъ магазинъ, изъ котораго они были взяты на поддержаніе; дорога къ этому магазину уже забыта и заросла травой, такъ что въ попыткахъ невозможно уже найти ничего такого, что хоть издали напоминало бы прежній пылъ великодушнаго энтузіазма. Щетининъ застигнутъ врасплохъ и не находитъ у себя подъ руками ничего, кромя своей супружеской нѣжности, искренней и теплой, но рѣшительно неспособной превратить жалкую тряпичку въ порядочнаго человѣка. «Маша, лепечетъ онъ, Маша! что ты говоришь! Да вѣдь... ну... да... да вѣдь я люблю тебя. Ты понимаешь это?»

Пульхерію Ивановну дѣйствительно можно было бы удержать словомъ *люблю*, если бы она, на старости лѣтъ, вздумала уѣхать отъ Афанасія Ивановича, для присканія себѣ разумной и честной дѣятельности. Марья Николаевна уходитъ въ свою комнату, повторивши Щетинину еще разъ, что она не можетъ огурцы солить. Щетининъ, послѣ ея ухода, погружается на нѣсколько минутъ въ мрачное недоумѣніе, потомъ отправляется вслѣдъ за своею супругою, но дверь оказывается запертою, и на его вопросъ: «можно войти?» Марья Николаевна, съ своей стороны, отвѣчаетъ вопросомъ: «Зачѣмъ?» Щетининъ видитъ, что входитъ дѣйствительно не зачѣмъ, и удаляется во-свояси. Черезъ нѣсколько времени, онъ приходитъ въ спальню, надѣясь увидѣться съ своею супругою; но надежда его не осуществляется; Марья Николаевна проводитъ ночь у себя въ комнатѣ. На другой день Щетининъ съ Рязан-

новымъ ѣдутъ въ городъ, и совершаютъ тамъ всю красоту *нашихъ силъ*, направленныхъ на истребленіе шампанскаго и водки. Вечеромъ они возвращаются домой, и Марья Николаевна сама приходитъ мириться съ своимъ разогорченнымъ супругомъ. Она даже проситъ у него прощенія; онъ, разумѣется, открываетъ ей свои объятія. Но эта трогательная сцена примиренія показываетъ совершенно ясно, что окончательный разрывъ неизбеженъ. Въ этой сценѣ полное и неизлечимое ничтожество Щетинина становится еще болѣе очевиднымъ. Марья Николаевна находится въ примирительномъ настроеніи собственно потому, что она, — какъ ей кажется, — отыскала возможность пристроить себя къ полезному дѣлу, не выѣзжая изъ деревни. Когда она враждовала, то враждовала она не съ личностью своего мужа, а съ тѣмъ образомъ жизни, на который онъ обрекъ самого себя, и въ который затянулъ и ее. Когда она мирится, то мирится также только съ образомъ жизни, потому что находитъ возможность произвести въ немъ необходимыя усовершенствованія. Но Щетининъ ничего этого не понимаетъ. Ему все это дѣло представляется въ томъ видѣ, что вотъ-мошь барыня извоили шибко прогнѣваться, а потомъ положили гнѣвъ на милость, такъ какъ все это происходитъ отъ живости ихъ характера и совершенно извиняется молодостью ихъ лѣтъ, особенно если еще принять въ соображеніе красоту ихъ наружности, предоставляющей имъ полную свободу капризовъ. Поэтому онъ выѣзжаетъ исключительно на нѣжностяхъ и на любезностяхъ, усердно выражаетъ ей теплоту своихъ чувствъ, и не высказываетъ ни одной дѣльной мысли по поводу того плана, въ которомъ, для Марьи Николаевны, заключается настоящий узелъ всего поднятаго вопроса. Мнѣ кажется, умная женщина непременно должна почувствовать глубокое отвращеніе къ тому мужчине, который, въ разговорахъ съ нею, никогда не можетъ или не хочетъ забыть ея полъ, то есть, всегда говорить съ нею, какъ съ женщиною, и никогда не говорить съ нею, какъ умный человѣкъ съ умнымъ человѣкомъ. Если онъ не хочетъ говорить съ нею такимъ образомъ, — это значитъ, что онъ ставитъ ее ниже себя и считаетъ ее неспособною увлекаться тѣми интересами, которые составляютъ общее достояніе всего мыслящаго человечества. Если не можетъ, — это значитъ, для него не существуетъ ни одной страсти выше и сильнѣе полового влеченія; это значитъ, что нѣтъ для него во всемъ мірѣ ни одной великой идеи, которую онъ любилъ бы на столько, чтобы, вглядываясь и вдумываясь въ нее, забыть, хоть на нѣсколько минутъ, о пріятной наружности своей собесѣдницы и о священныхъ обязанностяхъ любезнаго кавалера. Въ первомъ случаѣ, умная женщина должна чувствовать себя глубоко оскорбленною, и, если она дѣйствительно умна, то она непременно сдумаетъ показать мужчине, третирующему ее съ высоты своего величія, что онъ ошибается въ ней

очень сильно. Во второмъ случаѣ, со стороны женщины обнаружится скоро полное презрѣніе къ вѣчно-любезному, и, слѣдовательно, безнадежно-пошлому кавалеру. Именно эта участь и должна постигнуть Щетинина. Ему приходится узнать на самомъ себѣ, что женщина любить не любовь мужчины, а его личность, и что, слѣдовательно, самая безукоризненная пламенность любви неспособна реабилитировать того субъекта, который самъ по себѣ безцвѣтенъ и ничтоженъ.

— «Да, говорить Щетининъ Марьѣ Николаевнѣ, заглядывая ей въ лицо, ну такъ стало быть, стало быть ты не сердись. Это главное.» Эти слова исчерпываютъ до дна всю пошлость этого человѣка. — Нѣтъ, отвѣчаетъ, Марья Николаевна; да вѣдь я тогда не сердилась. Вѣдь это совсѣмъ не то. И затѣмъ она, чтобы переменить разговоръ, спрашиваетъ: «ну что же тамъ въ городѣ?» Вы видите, что она уже начинаетъ уклоняться отъ объясненій съ нимъ. Она говоритъ: «вѣдь это совсѣмъ не то», и даже не пробуетъ ввести его въ міръ своихъ мыслей; она чувствуетъ, что онъ ея не пойметъ, и это чувство становится для нея самой особенно замѣтнымъ и яснымъ въ ту минуту, когда онъ заглядываетъ ей въ лицо, и произноситъ свой глупѣйшій слова: »стало быть ты не сердись, это главное.» Какъ вы, въ самомъ дѣлѣ, начнете толковать этому воплощенію буржуазной мелкости и ограниченности, что *это* совсѣмъ не *главное*? Ему былъ поставленъ вопросъ обо всей его жизни; ему были высказаны сомнѣнія въ его личной честности; все его тунеедческое прозябаніе было подвергнуто строжайшему осужденію; а онъ, во всей этой серьезной и глубоко-торжественной сценѣ, замѣтилъ только то неудобное для себя обстоятельство, что его супруга изволить на него сердиться. Теперь ему позволили поцѣловать ручку, и весь разговоръ оказывается забытымъ, тотъ разговоръ, въ-которомъ были затронуты самыя глубокія основы его человѣческаго достоинства. Одно изъ двухъ: или обвиненія Марья Николаевны показались ему справедливыми, или же онъ считаетъ ихъ незаслуженными. Въ первомъ случаѣ, ея слова должны были потрясти его до глубины души, потому что эти слова отнимаютъ у него возможность уважать самого себя, а для всякаго, маломальски порядочнаго человѣка, самоуваженіе составляетъ необходимое условіе существованія. Во второмъ случаѣ, онъ долженъ былъ заботиться не о томъ, чтобы помириться съ нею и поцѣловать ее въ губки, а о томъ, чтобы оправдаться въ ея глазахъ, и снова завоевать себѣ уваженіе любимой женщины, которое, для всякаго порядочнаго человѣка, несравненно дороже ея любви, если бы даже позволительно было предположить, что прочная любовь возможна безъ уваженія. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, нѣжное примиреніе, для самого Щетинина, не заключаетъ въ себѣ никакого смысла и не должно имѣть никакой цѣны. Если бы онъ былъ способенъ понимать тяжесть направленныхъ противъ него

обвиненій, то ему надо было или начать совершенно новую жизнь или представить на судъ Марьѣ Николаевнѣ такіа фактическія доказательства, которыя опровергали бы всѣ ея обвиненія. Но онъ даже не знаетъ, чего отъ него требуютъ, и за что на него такъ взѣлись; онъ по неволѣ долженъ приписывать всю эту исторію раздражительности дамскаго темперамента и рѣзкой необузданности рязановскихъ разсужденій. Само собою разумѣется, что передъ грандіозностью этого тупоумія у Марьи Николаевны опускаются руки и обрывается голосъ. Если Щетининъ такъ удачно понимаетъ общій смыслъ всей коллизіи, то понятно, что Марьѣ Николаевнѣ нечего ждать отъ него совѣтовъ и помощи въ томъ дѣлѣ, въ которомъ она надѣется найти примиреніе съ окружающею жизнью. Марья Николаевна додумалась до того убѣжденія, что грамотность составляетъ первую потребность крестьянъ; поэтому, она хочетъ завести сельскую школу, и полагаетъ, что полезные труды преподаванія помирятъ ее съ веселою и сытою жизнью деревенской барыни. Она рассказываетъ свой планъ Щетинину, но не возлагаетъ собственно на него самого никакихъ надеждъ; она прямо говоритъ ему, что посоветуется съ Рязановымъ, который навѣрное не откажется ей помочь. Щетинину не хотѣлось бы, чтобы его супруга обращалась къ Рязанову, но въ то же время, онъ, Щетининъ, не умѣетъ даже заинтересоваться ея предпріятіемъ, не умѣетъ обсудить его удобоисполнимости, не умѣетъ произнести на одного такого слова, въ которомъ видѣнъ былъ бы проблескъ самостоятельнаго ума, или искренняго сочувствія, или даже самой простой житейской опытности. Ничего, ровно ничего такого, что могло бы обратить на себя вниманіе Марьи Николаевны, и вызвать между обоими супругами хоть какойнибудь обмѣнъ мыслей. Марья Николаевна уходитъ отъ него съ тѣмъ же, съ чѣмъ и пришла. Въ первый разъ, когда ей понадобился дѣльный совѣтъ, она принуждена обращаться за нимъ къ постороннему человѣку. Очень понятно, что этотъ человѣкъ приобретаетъ себѣ то уваженіе и довѣріе, котораго не могъ удержать за собою ея мужъ. Щетининъ становится для нея нулемъ. Она понимаетъ, что онъ стоитъ гораздо ниже тѣхъ горячихъ упрековъ, съ которыми она обращалась къ нему во время перваго объясненія.

VII.

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что очень многіе читатели, — наиримѣръ, всѣ любители и кліенты «Московскихъ Вѣдомостей» — назовутъ Рязанова отъявленнымъ негодяемъ, разрушающимъ семейное счастье достойнѣйшаго человѣка, а Марью Николаевну — взыбаломъ бабьимъ, неспособною оцѣнить мягкость и великодушіе нѣжнѣйшаго изъ су-

и щедрѣйшаго изъ землевладѣльцевъ. Все это въ порядкѣ вещей. Если бы эти господа читатели осмѣлились осудить Щетинина, то имъ пришлось бы произнести строжайшій приговоръ надъ своими собственными особами. На это не рѣшится почти никто. Рыбакъ рыбака видитъ издалека, и воронъ ворону глаза не выклюетъ, и тунеядецъ никогда не броситъ камня въ своего возлюбленнаго брата по тунеядству. Такъ какъ число этихъ читателей, закупленныхъ своимъ положеніемъ, очень значительно, и такъ какъ понятія, господствующія въ нашемъ обществѣ, состоятся почти исключительно изъ ихъ пристрастныхъ сужденій, то я поставленъ въ необходимость говорить довольно подробно о такихъ простыхъ истинахъ, на которыя, при другихъ условіяхъ, достаточно было бы указать мимоходомъ. Мнѣ теперь приходится доказывать то, что для мыслящихъ людей не требуетъ никакихъ доказательствъ, — именно то, что Щетининъ — совершенная дрянь, и что онъ, попавши въ фальшивое положеніе, неизбежно долженъ былъ сдѣлаться дрянью, даже въ томъ случаѣ, если бы природа одарила его не совсѣмъ дюжинными способностями. По правдѣ сказать, вся судьба человѣка зависитъ отъ того, какими средствами онъ поддерживаетъ свое собственное существованіе. Всякому извѣстно, что есть люди, которые добываютъ себѣ хлѣбъ собственнымъ трудомъ, и есть люди, которые кушаютъ хлѣбъ, добытый другими и могутъ жить, не трудясь. Права этихъ послѣднихъ признаны всѣми почтенными юрисконсультами и моралистами, и никто не можетъ ихъ притянуть за это къ суду и къ отвѣту. Точно также, если бы имъ угодно было кушать каждый день по пяти фунтовъ конфетъ, или выпивать по три стакана ерѣпчайнаго уксуса, или сидѣть круглый годъ въ закупоренной комнатѣ, или никогда въ жизни не умываться — это бы, спрашиваю я васъ, имѣло законное право насиловать ихъ наклонности? Опять-таки рѣшительно никто. Каждый взрослый человѣкъ воленъ наполнять свой собственный желудокъ какими угодно кушаньями, — продовольствовать собственныя легкія какимъ угодно воздухомъ, и покрывать свою собственную кожу какимъ угодно слоемъ пыли и грязи. Все это такъ, но существуетъ однакоже такая наука — гигиена, которая изучаетъ тѣ условія, при которыхъ человѣческій желудокъ, человѣческія легкія и человѣческая кожа находятся въ нормальномъ или здоровомъ состояніи. та наука можетъ предсказать заранѣе тѣ послѣдствія, которыя повлечетъ за собою то или другое уклоненіе отъ правльнаго образа жизни, соотвѣтствующаго ея разумнымъ предписаніямъ. Гигиена говоритъ одному: вы испортите себѣ желудокъ; другому: вы наживете чахотку; третьему: вы совсѣмъ опаршивѣте. Говоря такимъ образомъ, она никого не оскорбляетъ, не посягаетъ ни на чьи права, не насилуетъ ничьей свободы; она только показываетъ, что изъ чего выходитъ; она только разъясняетъ причин-

ную связь между известнымъ образомъ жизни и известными разстройствами организма. Раскрывая эту причинную связь, гигиена произноситъ свой строгій приговоръ, не только надъ какими нибудь эксцентрическими или болѣзненными привычками, составляющими достояніе отдѣльных личностей, но даже надъ цѣлыми организованными профессіями, которыя считаются необходимыми для благосостоянія или комфорта всего общества. Такъ, напримѣръ, она говоритъ прямо, что у портныхъ искривляются ноги, у часовщиковъ портится зрѣніе, у наборщиковъ образуются расширенія венъ въ ногахъ, у зеркальчиковъ развивается отъ ртутіи дрожаніе всѣхъ членовъ. И однакоже никто не жалуется на гигиену, что она excite à la haine et au mépris—возбуждаетъ ненависть и презрѣніе къ портнымъ, къ часовщикамъ, къ наборщикамъ, и такъ далѣе.

Если образъ жизни, занятія и привычки кладутъ свою печать на кости, мускулы, кровеносную систему и нервы даннаго субъекта, то само собою разумѣется, что вліяніе тѣхъ же условій должно распространяться также и на всю совокупность его умственныхъ отправленій. Каждая человѣческая способность и каждая человѣческая страсть, подобно каждому отдѣльному мускулу, развиваются отъ частаго упражненія, и слабеютъ или атрофируются отъ бездѣйствія. Поэтому, если можно опредѣлить заранѣе тѣ видоизмѣненія, которыя данная профессія произведетъ въ вашемъ тѣлосложеніи, то можно также обрисовать въ общихъ чертахъ тѣ перемѣны, которыя, подъ вліяніемъ этой профессіи, обнаружатся въ складѣ вашихъ понятій и стремленій. Если можно сказать навѣрное, что постоянное переписываніе бумагъ наградитъ васъ герморроемъ и сутуловатостью, то можно также выразить то печальное предположеніе, что это машинальное занятіе притупитъ ваши умственныя способности. Если можно сказать, что занятія разсылнаго развиваютъ въ немъ силу вожныхъ мускуловъ, то почему же не сказать, что занятія ростовщика развиваютъ въ немъ способность и привычку относиться равнодушно къ человѣческому горю, точно такъ же, какъ напримѣръ, занятія хирурга развиваютъ въ немъ способность и привычку смотрѣть спокойно на текущую кровь и на отрѣзанныя руки и ноги. Словомъ, если возможна гигиена тѣла, то возможна также гигиена ума и характера. Само собою разумѣется, что обѣ эти науки должны постоянно стремиться къ соединенію между собою; обѣ онѣ достигнуть своего совершенства и обнаруживать все свое плодотворное вліяніе только тогда, когда соединеніе это, о которомъ теперь невозможно и мечтать, сдѣлается дѣйствительнымъ и общепризнаннымъ фактомъ. До сихъ поръ, гигиена ума и характера находится въ совершенномъ младенчествѣ; ею занимаются только такіе люди, которыхъ никто не считаетъ за ученыхъ; для нея собираютъ матеріалы беллетристики и литературная критика; поэты и

рецензенты задумываются надъ тѣми типами, въ которыхъ выражаются особенности общественной жизни, и надъ тѣми ингредиентами, изъ которыхъ эти типы слагаются. Практическіе же люди, въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, бредутъ на авось, увлекаются обстоятельствами въ ту или въ другую сторону, и не отдають себѣ никакого отчета въ тѣхъ путяхъ, которые приводятъ ихъ къ неизвѣстнымъ, неожиданнымъ результатамъ; эти практическіе люди, въ большей части случаевъ, приобрѣтають себѣ, къ лѣтамъ мужественной зрѣлости, такіа умственные и нравственные фізіономіи, которыя внушили бы имъ самымъ отвращеніе и ужасъ, если бы они сохранили до зрѣлыхъ лѣтъ свою юношескую впечатлительность и требовательность. Какимъ образомъ приобрѣлись эти искаженные фізіономіи, этого они не знаютъ; такихъ учебниковъ, въ которыхъ можно было бы справиться о причинахъ умственныхъ и нравственныхъ убогостей, до сихъ поръ, еще никто не составлялъ. Если же вы, не будучи патентованнымъ составителемъ учебниковъ, попытаете изучить и описать важнѣйшія изъ этихъ причинъ, то легко можетъ случиться, что, въ награду за ваше безпристрастное изслѣдованіе, вы прослывете вреднымъ памфлетистомъ, желающимъ кого то exciter à la haine et au mépris ко всѣмъ практическимъ людямъ. Впрочемъ, уже давно извѣстно, что всякое новое изслѣдованіе всегда кажется сначала почтенной публикѣ неслыханно дерзкимъ посягательствомъ на какое нибудь общественное сокровище. Чѣмъ новѣе изслѣдованіе, и чѣмъ почтеннѣе публика, тѣмъ громче оказываются вопли ужаса.

Если бы порядочные люди робѣли и отступали передъ этими воплями, то никакихъ изслѣдованій не производилось бы, и всѣ старыя заблужденія наслаждались бы полною неприкосновенностью. Этого нѣтъ и не должно быть. Поэтому я начинаю теперь анализъ двухъ вышеупомянутыхъ категорій съ гигиенической точки зрѣнія. Для большей наглядности и безобидности, я придамъ этому анализу форму дружескаго разговора между мною и господиномъ Щетининнымъ, котораго я беру въ періодъ его студенческихъ стремленій и юношескихъ иллюзій.

— Чѣмъ вы занимаетесь въ университетѣ? спрашиваю я у него. Вѣдь вы, кажется, юристъ?

Да, говоритъ онъ. По правдѣ сказать, почти ничѣмъ. Я въ восхищеніи отъ нашего университетскаго товарищества, но факультетъ мой мнѣ рѣшительно не нравится.

— Отчего-жъ вы не перейдете на другой факультетъ, на такой, который вамъ нравится?

— Да куда-жъ я перейду? Въ филологи—греческаго языка не знаю; въ математики—сохрани меня Богъ. Въ натуралисты—слуга покорный! Побывалъ я у нихъ разъ въ химической лабораторіи — и закачался. Та-

кого напустили сѣрнистаго водорода, что меня три дня тошнило. А тамъ вѣдь у нихъ еще анатомія есть. Они у себя на квартирѣ крысъ потрашатъ изъ любви къ наукѣ. Посудите сами, какія же это занятія. Оно пожалуй и любопытно, да ужъ чересчуръ непріятно. Ну, въ камералисты и переходить не стоитъ. Почти тоже самое, что у насъ, только предметовъ еще больше, и въ лабораторію ходить надо. Развѣ для штуки подняться въ третій этажъ и засѣсть за бѣлуджистанскую литературу? Такъ вѣдь это именно только для штуки можно.

— Да, разумѣется. Переходить вамъ дѣйствительно некуда.

— И, главное дѣло, не зачѣмъ. Память у меня блестящая. Экзамены я сдаю великолѣпно. Значить, я свою юриспруденцію дотану до конца, какъ слѣдуетъ, а потомъ, какъ получу дипломъ, такъ сейчасъ ее и по боку.

— Совсѣмъ по боку нельзя. А служить-то какъ-же безъ юриспруденціи?

— Я служить не буду.

— Либерализмъ одолѣваетъ?

— Какой либерализмъ? Либерализмъ этому нисколько не мѣшаетъ. Не только не мѣшаетъ, а даже побуждаетъ служить. Тутъ, стало быть, дѣло совсѣмъ не въ либерализмѣ. Я не буду служить потому, что намѣренъ поселиться въ деревнѣ.

— Что жъ вы тамъ намѣрены дѣлать?

— Тамъ-то!? Да тамъ теперь самая настоящая работа и начинается. Во-первыхъ, я хочу упрочить положеніе бывшихъ моихъ крѣпостныхъ. А во-вторыхъ, буду жить тихо, скромно, спокойно, обложу себя книгами, буду понемногу улучшать хозяйство, женюсь, будемъ съ женой заниматься хозяйствомъ, музыкой, будемъ кататься на лодкѣ, будемъ много, много читать, будемъ вмѣстѣ учить крестьянскихъ дѣтей... Да, помилюте, теперь трудно и высказать, какъ много добра можно тамъ сдѣлать, какъ сильно можно подѣйствовать на все окружающее общество; вѣдь не звѣри же тамъ живутъ, а люди; вѣдь теперь и тамъ уже много молодыхъ дѣятелей, получившихъ высшее образованіе; вѣдь стоитъ только дать первый толчокъ; все это проснется и двинется... Лишь бы обстоятельства не помѣшали, — а то можно, цѣлый край пересоздать. Была бы только любовь къ дѣлу, а ея, какъ видите, достаточно.

— А вы теперь сколько получаете доходу?

— Въ хорошіе годы тысячи четыре, да только теперь эти хорошіе годы что-то рѣдки становятся. Въ прошломъ году на 2500 пришлось съѣхать.

— Ну а съ крестьянами то вы какъ-же раздѣляетесь! На выкупъ пойдутъ, или какъ?

— Что вы? Помилюте! Какой выкупъ! Мои убѣжденія не позволяютъ

мнѣ брать съ нихъ деньги за ту землю, которою они владѣютъ. Вѣдь если бѣ вы знали, какъ меня любятъ эти люди; вѣдь я, когда маленькій былъ, каждаго мужика въ лицо зналъ и по имени. Какъ я иду, бывало, по деревнѣ, мужикъ встрѣчается, и сейчасъ къ рукѣ подходитъ; я, разумѣется, не даю ни подѣ какимъ видомъ, и начинаются цѣлованія въ губы. Славное это было время!

— Стало быть землю даромъ даете?

— О, разумѣется!

— Тогда вѣдь, пожалуй, на 1500 придется съѣхать.

— Не думаю. Во-первыхъ, вамъ должно быть извѣстно, что вольнонаемный трудъ производительнѣе обязательнаго. Это — экономическая аксіома. Второе дѣло — хозяйскій глазъ. Теперь прикащики валитъ черезъ пень колоду, а ужъ тогда — извините. Ну потомъ — машинны можно завести. Въмѣсто трехпольнаго хозяйства — плодoperемѣнную систему. Кое-какія свободныя деньги у меня есть: заведу тирольскихъ коровъ. Однимъ словомъ извернуться можно. Я надѣюсь даже такъ устроить, что у меня еще больше будетъ дохода, чѣмъ прежде. Главное дѣло — энергія и любовь къ дѣлу.

— Это-то все хорошо; да только вѣдь вы сейчасъ говорили, что вы этихъ людей очень любите.

— Такъ что-же? Разумѣется, люблю. Еще бы я ихъ не любилъ! Да если бы я не любилъ ихъ лично, по воспоминаніямъ дѣтства, такъ я все-таки долженъ въ нихъ любить мое отечество. Вѣдь эта сермяга именно можетъ ударить себя въ грудь и сказать: «la patrie c'est moi». Если сермягѣ хорошо жить на свѣтѣ, значитъ, все отечество благоденствуетъ.

— Что вы яростный демократъ — это я давно вижу. А вы мнѣ вотъ что объясните — вы въ деревнѣ о чемъ будете заботиться: о сермягѣ или о доходѣ?

— Одно другому нисколько не мѣшаетъ. Сермяга получить землю, произойдутъ великія цѣлованія: *бѣтюшка, отецъ родной, озолотилъ*, и такъ далѣе. Ну, когда все это кончится, задамъ я имъ пиръ горой, а потомъ и начну доходы свои совершенствовать.

— Кто же вашу землю пахать будетъ? Все-таки та же сермяга?

— Ну, разумѣется. Не могу же я самъ тысячу десятинъ вспахать, засѣять и убрать.

— А одну можете?

— Не пробовалъ, да, я думаю, и пробовать не зачѣмъ. Буду и, вѣроятно, понимать своихъ же бывшихъ крестьянъ и они, разумѣется, будутъ у меня работать съ превеликимъ удовольствіемъ.

— Какую жѣ вы имъ цѣну будете давать? Что запросить — такъ сейчасъ вы и согласитесь?

— А вы думаете, они будутъ заправивать?

— Я думаю, ихъ прямой интересъ состоитъ въ томъ, чтобы брать за свой трудъ какъ можно дороже, а въ чемъ будетъ состоятъ вашъ прямой интересъ,—это вы мнѣ потрудитесь теперь объяснить. У васъ тутъ произойдетъ столкновение между любовью къ сермягамъ и любовью къ доходу. Которое же изъ этихъ двухъ чувствъ одержитъ перевѣсъ? А если они должны оставаться въ равновѣсіи, то какимъ образомъ вы ухитритесь устроить между ними примиреніе.

— Да что жъ тутъ мудреного? Какъ другіе хозяева дѣлаютъ, такъ и я буду дѣлать?

— Другіе хозяева не дарятъ земли, другіе хозяева не чувствуютъ никакой особенной нѣжности къ сермягѣ, другіе не говорятъ о благоденствіи отечества, другіе не собираются пересоздавать цѣлый край, и поэтому другіе могутъ торговаться съ *этими бестіями*, и дѣйствительно торгуются изъ за каждой копѣйки, и никто имъ за это не скажетъ худого слова, потому что ихъ дѣло хозяйское; но какимъ образомъ опасный человѣкъ и яростный демократъ Щетининъ будетъ торговаться съ *этими бестіями*—этого я ужъ никакъ не умѣю взять въ толкъ.

— Я не говорилъ вамъ, что буду подражать разнымъ Плюшкинымъ и Новозревымъ. Я буду дѣйствовать такъ, какъ дѣйствуютъ всѣ честные и хорошіе хозяева. Если мужикъ заломитъ цѣну совсѣмъ несообразную,—ну, тогда, разумѣется, я ему растолкую, что такъ нельзя, что это недобросовѣстно, что такимъ образомъ онъ рискуетъ остаться безъ работы. И тутъ же я ему объясню, какими выгодами онъ будетъ пользоваться, если согласится принять мои условія, составленныя въ нашемъ обоюдному удовольствію. Разговоръ со мною будетъ даже очень полезенъ для мужика; вмѣсто того, чтобы торговаться,—какъ вы выражаетесь,—съ *этими бестіями*, я просто буду читать своимъ возлюбленнымъ согражданамъ лекціи политической экономіи. Это развѣ дурно?

— Кромѣ траты времени, въ этихъ лекціяхъ не будетъ ничего дурного, но той простой причинѣ, что слушатели ваши, къ счастью для себя, не поймутъ и не захотятъ понимать ваши разсужденія.

— Въ настоящую минуту, я то же не понимаю васъ.

— Понять не трудно. Вамъ хочется убѣдить мужика въ томъ, что онъ лопитъ съ васъ несообразную цѣну, и поступаетъ недобросовѣстно. Вамъ хочется вложить въ его мужицкую голову такіа понятія, взглядъ которыхъ онъ считалъ бы своимъ священнымъ долгомъ вѣчно питаться хлѣбомъ и лукомъ, и вѣчно выбиваться изъ силъ неключительно для того, чтобы доставлять вамъ каждый день страсбургскіе пироги и бутылку лафита. Чтобы убѣдить мужика въ непреложности этого закона, надо отнять у него всякую способность размышлять; иначе онъ никакъ не повѣритъ тому, что его скромное и естественное желаніе улучшить

свое положеніе составляет несообразность или недобросовѣстность. Если бы онъ этому повѣрилъ, то онъ превратился бы въ идіота, что, конечно, было бы очень грустно. Если же онъ этому не повѣритъ, то ваше время и ваша лекція будутъ потрачены даромъ. Какъ бы ни была несообразна и недобросовѣстна та цѣна, которую слупить съ васъ мужикъ, — все-таки онъ, на эти заработанные деньги, не доставитъ себѣ ничего, кромѣ самыхъ необходимыхъ удобствъ жизни. Купить онъ себѣ сапоги, или новый полушубокъ, или дугу; поправить, можетъ быть, избу, которая, того и гляди, задавитъ его вмѣстѣ съ семьей; завести онъ лишнюю корову, такъ что ему можно будетъ чаще прежняго хлебать молоко. И оставшая его роскошь все въ томъ же родѣ. И зная это, вы все-таки будете ему доказывать, что стремиться къ новымъ сапогамъ, къ полушубку, къ поправленію развалившейся избы съ его стороны и несообразно и недобросовѣстно, потому что такими стремленіями онъ можетъ довести васъ до такой печальной крайности, что вамъ придется, вмѣсто страсбургскихъ пироговъ кунать только швейцарскій сыръ, а вмѣсто благороднаго лафита пить за обѣдомъ скромное шато-марго, или даже, — чего боже упаси! — презрѣнный медокъ. И повернется у васъ языкъ читать возлюбленнымъ согражданамъ такіа лекціи политической экономіи? А если повернется, — то будете ли вы имѣть достаточное право презирать разныхъ Плюшкиныхъ и Ноздревыхъ, которые торгуются съ *этими бестылями*? Прочтите вы мужику вашу лекцію; она, разумеется, на него не подѣйствуетъ. Вы тогда что сдѣлаете? — Вы тогда припрете мужика къ стѣнѣ тѣмъ аргументомъ, что онъ, — несообразный мужикъ, — *рискуетъ остаться безъ работы*. — Этотъ аргументъ подѣйствуетъ. Еще-бы не подѣйствовать! Аргументъ старый, испытанный, посѣдѣлый въ болахъ, но вѣчно юный, прекрасный и убѣдительный! На этомъ аргументѣ, поражающемъ рабочаго человѣка прямо въ желудокъ, построена вся европейская промышленность. Но когда вы будете употреблять этотъ убѣдительный аргументъ, вы ужъ такъ и знайте, что именно вы дѣлаете. Вы тогда не думайте, что читаете возлюбленному соотечественнику лекцію политической экономіи. Вы тогда будьте увѣрены, что вы привели человѣка въ застѣнокъ, и вытряхиваете изъ него тѣ страсбургскіе пироги и бутылки лафита, которые будутъ появляться на вашемъ столѣ.

— Богъ знаетъ, что вы говорите! И кто вамъ сказалъ, что я намеренъ торговаться. Что просить, то я и буду давать. Ну довольны ли вы наконецъ?

— Да я и прежде былъ очень доволенъ. Мое дѣло — сторона. А что *он* не будете довольны вашими доходами, — въ этомъ я могу увѣрить васъ заранѣе. Если вы не будете водить вашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ въ вышеупомянутый застѣнокъ, — они обернутъ васъ *до* *чиста* въ самое короткое время.

— То есть, какъ-же это? Небось потребуютъ съ разу по-сту рублей въ день?

— Затѣмъ-же съ разу и затѣмъ-же по-сту! Они тоже несумашедшіе. Съ разу они увидятъ только, что вы — баринъ податливый, и что васъ можно забрать въ руки. И заберутъ.

— Какъ-же это они меня заберутъ?

— Очень просто. Можно работать изо всѣхъ силъ, и можно работать спустя рукава. Можно вставать на работу въ четыре часа, и можно вставать въ семь часовъ. Можно тратить на обѣденный отдыхъ часъ, и можно тратить три часа. Можно держать рабочихъ лошадей въ чистотѣ и въ порядкѣ, и можно держать ихъ чортъ знаетъ какъ. Можно обходиться съ инструментами бережно, и можно обходиться небрежно. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мѣткость и небрежность для работника выгодны, потому что берегаютъ его силы, а для хозяина убыточны, потому что количество добываемыхъ продуктовъ уменьшается, и рабочіе инструменты портятся. Когда работникъ ведетъ дѣло лѣнливо или небрежно, тогда хорошій хозяинъ съ него взysкиваетъ. Если же вы, по либеральности вашего образа мыслей, взysкивать не намѣрены, то хозяйство ваше все пойдетъ въ разбродъ, и произойдетъ именно то, что ваши работники заберутъ васъ въ свои руки. Вы ихъ будете кормить, одѣвать, обувать, и постоянно будете оставаться въ чистомъ убыткѣ. Какъ вамъ нравится эта перспектива? И какъ вы полагаете, не поворотить ли вамъ обратное къ испытаннымъ мѣрамъ спасительной строгости?

— Послушайте! Въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ безъ взysканій обойдись въ хозяйственномъ дѣлѣ невозможно. Кое-какая дисциплина совершенно необходима. Иначе вѣдь это дымъ коромысломъ пойдетъ. Лѣнь, грубость, пьянство — просто хоть вонъ бѣги! Это даже и для нихъ самихъ скверно будетъ. Они совсѣмъ негодными сдѣлаются.

— Еще-бы, разумѣется.

— Да. Ну такъ какъ-же не взysкивать? Взysканія у меня будутъ, и стало быть, батраки мои не заберутъ меня въ руки.

— Всѣ виды взysканія можно свести къ двумъ категоріямъ: одни — тѣлесныя наказанія, другія — денежные штрафы. Мужика можно бить или дубиной или полтиной. Въ которое изъ этихъ орудій намѣрены пустить въ ходъ?

— Я совершенно неспособенъ драться съ мужиками.

— Драть мужиковъ и драться съ мужиками двѣ вещи разныя. Но я не стану привязываться къ словамъ. И такъ вы склоняетесь къ колтигѣ?

— Если мужикъ своею небрежностью нанесетъ мнѣ убытокъ, то онъ, по всей справедливости, обязанъ вознаградить меня за этотъ убы-

тожъ. Брать съ него вознагражденіе значить приучать его къ осмотрительности и къ добросовѣстности.

— Именно такъ. Напримѣръ, у васъ идетъ уборка хлѣба, и вы пользуетесь сухою погодою, чтобы поскорѣе свезти съ поля всю вашу пшеницу; вамъ каждый часъ дорогъ, потому что — того и гляди — начнутся дожди, хлѣбъ вымокнетъ, проростетъ, и убытковъ не оберешься. Каждое замедленіе работниковъ посягнетъ прямо на ваши карманы. И вдругъ вы узнаете, что работники вышли въ поле не въ четыре часа утра, а въ шесть. Разумѣется, надо взыскать съ cadaго изъ нихъ, но крайней мѣрѣ, по 5 копѣекъ штрафа за каждый упущенный часъ. Такъ или нѣтъ?

— По моему, такъ.

— Всѣ хорошіе хозяева, то есть, всѣ благоразумные люди, смотрящіе на работника какъ на машину, доставляющую намъ удобства въ жизни, — совершенно съ вами согласятся. Но есть люди безразсудные, которые, по этому поводу способны наговорить много сентиментальнаго вздора. Они скажутъ, напримѣръ, что самый жалкій и зависимый батракъ — все-таки живой человѣкъ, и что у него есть свои органическія потребности, за удовлетвореніе которыхъ штрафовать не годится. Они скажутъ, что, работая цѣлый длинный лѣтній день, мужикъ измучился, что ему напекло голову, что онъ долго не могъ заснуть съ вечера именно отъ головной боли, и что, поэтому, ему невозможно было поднаться на работу въ четыре часа. Какъ все это наввно и смѣшно? Мужикъ напекло голову — ха, ха, ха! — У мужика голова болить — ха, ха, ха! — Мужикъ утромъ спать хочется — ха, ха, ха! — И пшеницы господской изъ за этого мокнуть — ха, ха, ха! Убѣдительно васъ прошу разделить со мною мою веселость. Съ какой стати вы предоставляете мнѣ одному удовольствіе смѣяться надъ безразсудными рѣчами безразсудныхъ людей.

— Я вовсе не считаю этихъ людей безразсудными, и нисколько не намѣренъ смотрѣть на мужика, какъ на машину.

— Напрасно! Ну, такъ смотрите на него, по крайней мѣрѣ, какъ на злѣйшаго и коварнѣйшаго врага.

— И этого не хочу. Это еще гнуснѣе.

— Чего же вы, наконецъ, хотите? И какъ же вы, наконецъ, намѣрены смотрѣть на вашихъ батраковъ? Небось скажете — какъ на младшихъ братьевъ? Вотъ одолжите-то!

— Это, конечно, фраза избитая и опошленная. Много нужно храбрости на то, чтобы произнести ее серьезно. И однако же я все-таки произнесу ее: да, я твердо рѣшился смотрѣть на нихъ, какъ на младшихъ братьевъ.

— О мой добродѣтельный юноша! О мой храбрый и твердо рѣ-

шившийся либераль! Какъ живо разлетится одно изъ двухъ: или ваше родовое имущество, или ваше благопріобрѣтенное братолюбіе! Вы подумайте хорошенько: — которое изъ этихъ двухъ сокровищъ для васъ дороже? И подумавши, рѣшите заранѣе:—съ которымъ изъ нихъ вы намѣрены разстаться. И наконецъ, рѣшившись, дѣйствуйте смѣло и послѣдовательно, окончательно отложивши въ сторону несбыточныя надежды сохранить въ неприкосновенности оба сокровища разомъ. Вы не вѣрите тому, что я вамъ говорю?

— Не вѣрю.

— И намѣрены удержать и приумножить оба сокровища?

— Намѣренъ.

— Ну такъ слушайте же. Я предлагалъ вамъ смотрѣть на работника, какъ на машину. Вы отказались и прогулялись на счетъ братолюбія. Вашимъ отказомъ и вашею прогулкою вы подорвали основной принципъ наемщины, на которой должно держаться все ваше хозяйство. Наемщина не мыслима безъ двухъ условій: первое—борьба за рабочую плату; второе—борьба за исправность работы. Другими словами надо торговаться и надо взыскивать. Безъ этого не можетъ идти ни одно хозяйство, построенное на батрачествѣ. Если я смотрю на батрака, какъ на машину, мнѣ очень удобно и торговаться съ нимъ, и взыскивать съ него. Я предлагаю ему ничтожную цѣну; онъ упирается. Что это значитъ? Это значитъ, что машина, которую я тащу къ себѣ въ домъ, упирается по силѣ инерціи. Надо побѣдить это сопротивленіе энергическимъ усиленіемъ, наприимѣръ, стачкою нанимателей. Когда усиліе сдѣлано, и сопротивление побѣждено, тогда все обстоитъ благополучно. Хорошо ли работнику при ничтожной платѣ, и какимъ образомъ онъ ухитрится свести концы съ концами, и чѣмъ онъ будетъ набивать себѣ желудокъ—всѣ эти вопросы не имѣютъ ни малѣйшаго смысла, точно такъ, какъ не имѣетъ смысла вопросъ о томъ: пріятно ли машинѣ стоять у меня въ комнатѣ. Такъ же удобно совершаются необходимыя взысканія. Что я дѣлаю съ машиною, когда она начинаетъ дѣйствовать неисправно? Я смазываю ее деревяннымъ масломъ. Что я дѣлаю съ лошадыю, когда онъ не желаетъ бѣжать рысью? Я смазываю ее ловкимъ ударомъ кнута. Что я дѣлаю съ работникомъ, когда онъ работаетъ вало и небрежно? Я также смазываю его достаточнымъ количествомъ розогъ; или, при измѣнившихся обстоятельствахъ, вычетомъ изъ его задѣльной платы. Почему, отчего, зачѣмъ работникъ работаетъ вало и небрежно—объ этомъ я не спрашиваю, точно также, какъ не интересуюсь размышленіями, страстями или огорченіями лошади, нежелающей идти рысью...

— Все это чистыя теоріи и утонія. Вы меня несколько не убѣдите. Я рѣшился твердо и пойду впередъ по тому пути, который я себя выбралъ. Дальнѣйшія возраженія съ моей стороны я считаю безполезны-

ни, но мнѣ любопытно было бы знать,—такъ просто, изъ желанія по-смотреть на воздушные замки,—къ какимъ положительнымъ теоретическимъ заключеніямъ вы ведете вашу аргументацію. Вы старались доказать, что надо выбрать одно изъ двухъ: братолюбіе или приумноженіе доходовъ. Представьте себѣ, что я убѣдился вашими доводами, и, послѣ зрѣлаго размысленія, твердо рѣшился выбрать, во что бы то ни стало, чистѣйшее братолюбіе. Что же мнѣ слѣдовало бы дѣлать?

— Работать.

— Работать! Хорошо отвѣтъ! Вы скажите, что и какъ работать?

— Хорошо вопросы! Точно я могу залѣзть въ вашу шкуру, смотреть на вещи вашими глазами, думать вашимъ мозгомъ, и вообще понимать лучше васъ самихъ всѣ тончайшія особенности вашего ума, характера и темперамента? Я могу сказать вамъ только одно: къ чему вы расположены, тѣмъ и занимайтесь.

— А если я ни къ чему не расположенъ?

— Тогда у васъ братолюбія быть не можетъ; и тогда дальнѣйшій разговоръ становится бесполезнымъ.

— Почему же не можетъ быть братолюбія?

— Кто любитъ людей, тотъ хочетъ, во что бы то ни стало, приносить имъ пользу, и, слѣдовательно, чувствуетъ влеченіе ко всякой дѣятельности, способной такъ или иначе, облегчить человѣческія страданія. Если это влеченіе существуетъ, то затѣмъ остается только изъ многихъ полезныхъ отраслей труда, выбрать ту, которая соотвѣтствуетъ всего больше складу вашего ума. И такая отрасль непременно найдется, если только вы не идіотъ и не калѣка.

— Ну, положимъ, что такая отрасль нашлась. Дальше, что же?

— Дальше ничего. Будете жить, будете работать, будете приносить пользу, потомъ въ свое время умрете.

— Все это я и намѣренъ дѣлать у себя въ деревнѣ. Буду работать—то есть, заниматься хозяйствомъ; буду приносить пользу—устрою школу, больницу, образцовую ферму.

— Охота вамъ говорить о хозяйствѣ. Ну какой же вы агрономъ, какой же вы специалистъ? Попробуйте наняться къ комунибудь въ управляющіе: возьметъ ли васъ ктонибудь, и много ли дадутъ вамъ жалованья, и долго-ли васъ продержатъ? Неужто вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что будете получать ваши доходы за ваши агрономическіе труды, а не за то, совершенно независимое отъ васъ обстоятельство, что вамъ принадлежитъ извѣстное пространство земли. Вы будете жить въ деревнѣ доходами съ земли, которую обрабатываютъ за васъ другіе люди. Развѣ это значитъ жить собственнымъ трудомъ? Потомъ вы сюда еще приплели школу и больницу. Если вы сами намѣрены сдѣлаться школьнымъ учителемъ, то вамъ и книги въ руки: только въ такомъ

случаѣ надо удовольствоваться тѣмъ жалованьемъ, которое получаютъ сельскіе учителя. Больницу же вы никогда не устроите, потому что для этого вамъ пришлось бы отказаться отъ многихъ удобствъ жизни.

— Такъ, по вашему, что же и долженъ сдѣлать съ имѣніемъ?

— По моему, давно пора прекратить этотъ разговоръ. Побужайте къ себѣ въ деревню, откажитесь отъ глупыхъ фантазій, свойственныхъ петербургскому студенту, и превращайтесь поскорѣе въ образцоваго хозяина. Вы сами знаете очень хорошо, что для васъ въ жизни нѣтъ другой дороги.

СТАТЬИ ПОЛЕМИЧЕСКІЯ.

СТАТЬИ ПОЛЕМИЧЕСКІЯ.

НАШИ УСЫПНТЕЛИ.

I.

Мы переживаемъ мудреное и тяжелое время. У насъ зарождаются противуположныя партіи, и это зарожденіе,—процессъ совершенно естественный, законный и необходимый,—при нашей неопытности, при нашемъ полномъ неумѣніи жить и думать собственнымъ умомъ, кажется намъ началомъ ужасной общественной болѣзни. Добродушные и недалковыя люди недоумѣваютъ, унываютъ и приходятъ въ отчаяніе. Вотъ тебѣ и прогрессъ, толкуютъ они, вотъ тебѣ и развитіе, вотъ тебѣ и просвѣщеніе. Просвѣтились до того, что знать другъ друга не хотятъ. Сынъ сторонится отъ отца, какъ отъ взяточника и низкопоклонника. Дочь говоритъ матери, что не намѣрена стѣснять себя ея предрассудками. Подчиненный желаетъ имѣть и заявлять въ присутствіи начальника самостоятельныя убѣжденія. Ученикъ осмѣливается требовать, чтобы учитель уважалъ его чело-вѣческое достоинство. Общественныя связи разрываются, субординація исчезаетъ, нравственность гибнетъ, а литераторы, которые должны разумѣть и усовѣщевать заблуждающихся соотечественниковъ, проводятъ время въ гибельныхъ раздорахъ, и ни въ чемъ не могутъ между собою согласиться. Куда же мы идемъ? И чѣмъ все это можетъ кончиться? Кто объяснить намъ наконецъ, что хорошо, и что дурно, что полезно и что вредно, какъ надо думать, чувствовать и жить, чтобы уподобиться цивилизованнымъ народамъ и удивить Европу красотой и безобидностью нашего постепенно-прогрессивнаго развитія?

Добродушные и недалковыя люди, заливающіе такимъ образомъ свое уныніе, составляютъ во всякомъ обществѣ огромное большинство. Когда эти люди затвердятъ и начнутъ напѣвать какую-нибудь самую нехитрую пѣсенку, тогда эта пѣсенка слышится на всѣхъ перекресткахъ, во всѣхъ клубахъ и ресторанахъ, во всѣхъ гостинныхъ и пожалуй даже,

съ нѣкоторыми вариантами, во всѣхъ переднихъ. Эта пѣсенка, обыкновенно самая глупая и самая ничтожная, становится лозунгомъ и боевымъ крикомъ всѣхъ, а всѣ—это такая сила, которая увлекаетъ за собою не однихъ Репетиловыхъ. Чтобы сопротивляться голосу всѣхъ, чтобы уцѣлѣть невредимымъ среди какой-нибудь умственной эпидеміи, надо быть очень твердымъ и очень глубоко убѣжденнымъ человекомъ. Понятно поэтому, какую великую и неодолимую силу доставляетъ поголовное уныніе добродушныхъ и недалновидныхъ людей тѣмъ умствующимъ субъектамъ, которые, по своей интеллектуальной неповоротливости и трусливости, стараются затормозить всякое серьезное движеніе мысли, и которые, въ тоже время, по своему тщеславію, стремятся приобрѣсти себѣ, своими гасильническими подвигами, репутацію истинныхъ патріотовъ. Понятно, что эти философствующие и политиканствующие гасильники пускаютъ въ ходъ всѣ свои усилія, чтобы поддержать это поголовное уныніе и довести его до меланхолической мономаніи. И старанія ихъ увѣнчиваются успѣхомъ, потому что задача, за которую они принимаются, не представляетъ никакихъ трудностей. Имѣ, этимъ гасильникамъ, приходится катить камень подъ гору, туда, куда его тянетъ собственная тяжесть, значитъ, гасильникамъ остается только слегка придерживать и направлять его, чтобы онъ не сбился куда-нибудь въ сторону. Дѣло легкое, пріятное, обещающее своему виновнику десятки лавровыхъ вѣнковъ и поздравительныхъ телеграммъ, и требующее отъ него только достаточной дозы тупоумія и безтыдства. Если награды такъ обильны и лестны, а требованія такъ ничтожны и удобоисполнимы, то возможно ли сомнѣваться въ томъ, что дѣло гасильничества будетъ доведено до конца съ полнымъ успѣхомъ, отъ котораго переполнятся восторгомъ всѣ невинныя сердца алчущихъ и жаждущихъ спокойнаго умственного сна?

Быть гасильникомъ всегда пріятно и легко. Положеніе гасильника въ высшей степени прочно и почетно во всякомъ обществѣ и при всякихъ условіяхъ. Впрочемъ, я считаю удобнымъ замѣнить слово *гасильникъ* словомъ *усыпитель*. Это послѣднее слово не такъ избито, и, по моему мнѣнію, гораздо болѣе выразительно. И такъ, быть усыпителемъ пріятно и легко.

Почему?

По той, весьма простой причинѣ, что люди любятъ спать и всегда готовы превозносить того милаго человека, который помогаетъ имъ предаваться этому сладчайшему занятію, которое, даже съ нравственной точки зрѣнія, очень похвально, какъ предохранительное средство противъ грѣховъ. Кто больше спитъ, тотъ меньше грѣшитъ, а кто помогаетъ спать, тотъ, слѣдовательно, уменьшаетъ количество человѣческихъ беззаконій.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ не любить усыпителей. Умъ нашъ отъ природы расположенъ къ неподвижности. Намъ пріятно думать, что мы обладаемъ

полнымъ знаніемъ истины, намъ пріятно успокоиваться на томъ складѣ идей, къ которому мы привыкли, намъ пріятно ласкать себя тою увѣренностью, что наше міросозерцаніе, не стоившее намъ ни малѣйшаго личного труда, доставшееся намъ по наслѣдству, или приобрѣтенное въ раннемъ дѣтствѣ отъ старой няньки, — составляетъ для насъ такую надежную крѣпость, которую не могутъ разбить никакія вражескія возраженія, и въ которую не могутъ пробраться никакія лукавыя сомнѣнія. И вдругъ мы встрѣчаемъ на жизненномъ пути двухъ странниковъ, очень похожихъ другъ на друга, и оба эти странника вступаютъ съ нами въ разговоръ, сначала о прекрасной погодѣ, потомъ о красотахъ даннаго мѣстоположенія, и наконецъ, о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, о природѣ, о человѣкѣ, о жизни, объ обществѣ. Мы, конечно, выкладываемъ передъ обоими странниками весь запасъ сокровищъ, подаренныхъ намъ старою нянькою. Эти сокровища производятъ на странниковъ весьма различное впечатлѣніе.

Одинъ изъ нихъ, изъ себя невзрачный, съ дерзкимъ взглядомъ и съ насмѣшливою улыбкою на блѣдныхъ губахъ, говоритъ спокойно и презрительно: знаю я эти сокровища. Мнѣ были подарены точно такія же золотыя горы. Вамъ они достались отъ Феклы, мнѣ — отъ Матрены. Сущность дѣла отъ этого не измѣняется. Это — пыль и соръ, которые незамѣтнымъ и нечувствительнымъ образомъ забираются къ вамъ въ глаза, и мѣшаютъ вамъ ясно видѣть окружающіе предметы. Вы почти совсѣмъ слѣпы, вы не имѣете ни о чемъ правильнаго понятія, поэтому вы воображаете себѣ, что вы богаты, что вы счастливы, что вы честны, что вы умѣете размышлять собственнымъ умомъ, что вы сохраняете въ полной неприкосновенности ваше человеческое достоинство. Бросьте ваши мнимыя сокровища, промойте себѣ глаза у источника чистой истины, и вы увидите съ ужасомъ до какой степени вы нищи, убоги и жалки во всѣхъ отношеніяхъ.

Другой странникъ очень похожъ на Чичикова. Такой же степенный, кругленькій, гладенькій и благообразный. Выслушавъ рѣчь перваго путника, онъ обращается къ вамъ съ выраженіемъ самого искреннаго и глубокаго участія.

— О прекрасный и невинный юноша, говоритъ онъ самымъ мягкимъ и ласковымъ тономъ, — не слушайте ядовитыхъ совѣтовъ этого суетнаго и злобнаго интригана. Эти совѣты повлекутъ васъ въ бездну, или, по меньшей мѣрѣ, въ ближайшее полицейское управленіе, гдѣ вы, навѣрное, будете подвергнуты сначала строгому допросу, а потомъ — соотвѣтствующему выисканію. Коварный соблазнитель говорилъ вамъ, что вы нищи, убоги и жалки во всѣхъ отношеніяхъ. Это наглая ложь. Въ немъ говорила низкая зависть. Испорченный своими преступными помыслами, онъ не можетъ воротить себѣ безмятежную невинность своей ранней молодости. Поэтому, онъ желаетъ отнимать эту невинность у всѣхъ молодыхъ людей, съ кото-

рими онъ встрѣчается на жизненномъ пути. Но вы ему не вѣрите. Ваши сокровища чище и драгоцѣннѣ всякаго золота. Вы дѣйствительно богаты, счастливы и честны. Вашъ умъ работаетъ совершенно самостоятельно. Ваше человѣческое достоинство находится въ полной безопасности. Передъ вами лежитъ широкій путь, усыянный цвѣтами и ведущій къ высшимъ ступенькамъ земнаго блаженства. Умѣйте только беречь и цѣнить тѣ великія истины, которыми васъ наградила ваша почтенная, ваша достойная, ваша доблестная Фекла. Идите смѣло по широкому пути, не задумывайтесь надъ мудренными вопросами жизни, будьте увѣрены, что все рѣшено безъ васъ, и рѣшено совершенно удовлетворительно, улыбайтесь просто-душно и довѣрчиво всему, что попадется вамъ на глаза, — и вы пройдете все ваше земное поприще такъ счастливо и такъ почетно, что вы будете въ состояніи ставить себя въ примѣръ вашимъ дѣтямъ и внукамъ.

Теперь неужгодно ли вамъ сравнить рѣчи обоихъ путниковъ.

Одинъ говоритъ вамъ дерзости, называетъ васъ слѣпымъ, нищимъ, убогимъ, жалкимъ, осмѣиваетъ вашу Феклу, которая носила васъ на рукахъ и рассказывала вамъ прекрасныя сказки, посылаетъ васъ къ какому-то источнику знанія, велитъ вамъ промыть глаза, и за всѣ эти непривычные для васъ труды, общается вамъ въ будущемъ только то, что вы увидите ясно наготу вашего безобразія. Другой, напротивъ того, говоритъ вамъ самыя милыя любезности, одобряетъ всѣ ваши понятія, ставитъ Феклу на пьедесталъ, выше всякихъ Сократовъ и Аристотелей, требуетъ отъ васъ, чтобы вы слѣдовали постоянно всѣмъ вашимъ любимымъ умственнымъ привычкамъ, и общается вамъ впереди все то, что можетъ веселить сердце благороднаго человѣка.

Кто же изъ двухъ имѣетъ больше шансовъ произвести на васъ благоприятное впечатлѣніе и убѣдить васъ своею проповѣдью? Я думаю, что на этотъ счетъ едва ли можетъ существовать какое-нибудь сомнѣніе. Первый подѣйствуетъ только на тѣхъ людей, которые любятъ истину больше всего на свѣтѣ, или же на тѣхъ, которыхъ жизнь держала въ ежовыхъ рукавицахъ съ самого дня ихъ рожденія. Второй потянетъ за собою всю остальную толпу, — огромное большинство.

Пламенная и безкорыстная любовь къ истинѣ составляетъ исключительное достояніе очень немногихъ избранныхъ и богато-одаренныхъ личностей. Любить истину и переносить ея ослѣпительное сіяніе можетъ только тотъ человѣкъ, для котораго святая и великія умственные наслажденія стоятъ выше всѣхъ остальныхъ житейскихъ радостей. Такой человѣкъ размышляетъ не только для того, чтобы рѣшить такъ или иначе практическую задачу и приобрести себѣ тѣ или другія удобства, а для того, чтобы процессомъ мышленія удовлетворить одну изъ самыхъ настоятельныхъ своихъ органическихъ потребностей. Онъ размышляетъ по тому же самому произвольному влеченію, которое заставляетъ его выпить стаканъ

води или съѣсть кусокъ хлѣба. Онъ пьетъ потому, что чувствуетъ жажду, онъ ѣстъ потому, что чувствуетъ голодъ; онъ думаетъ потому, что чувствуетъ у себя въ мозгу накопленіе силы, которому надо дать выходъ. У кого потребность размышлять такъ сильна, что ее можно поставить рядомъ съ самыми важными органическими потребностями, — тотъ относится къ качеству своего мышленія съ такою же невольною строгостью, съ какою каждый изъ насъ относится къ качеству своей пищи или своего питья. Каждый изъ насъ счелъ бы для себя настоящимъ мученіемъ, если бы его заставили пить постоянно вонючую воду или ѣсть постоянно испорченную пищу. Мученіе тутъ состоитъ преимущественно не въ томъ, что мы боимся за наше здоровье, а въ томъ, что мы постоянно испытываемъ непріятное ощущеніе. Такъ точно и человѣкъ, одержимый потребностью размышлять, не можетъ терпѣть въ своемъ мышленіи никакой фальши, никакихъ искажающихъ стѣсненій, никакой посторонней регламентаціи; и это отвращеніе ко всему, что задерживаетъ свободное развитіе мысли, происходитъ вовсе не отъ той боязни, что изъ софизмовъ родятся ложные и вредные поступки, а просто потому, что оскопленная и сдвленная мысль такъ же непосредственно противна всякому мыслителю, какъ вонючая вода или гнилая пища противны всякому здоровому человѣческому организму.

Тотъ человѣкъ, которому безконечно дорогъ самый процессъ мышленія, ищетъ истины во что бы то ни стало, помимо всякихъ практическихъ соображеній, какъ бы ни были эти соображенія важны и уважительны.

Если этотъ человѣкъ задастъ себѣ какой-нибудь вопросъ, то онъ старается получить на него точный, правильный и вѣрный отвѣтъ, и, убѣдившись въ томъ, что полученный отвѣтъ соединяетъ въ себѣ всѣ эти качества, нашъ добросовѣстный мыслитель принимаетъ его за истину, хотя бы отъ этого отвѣта перевернулись вверхъ дномъ всѣ его прежнія понятія.

Истина можетъ оказаться очень неутѣшительною; она можетъ разбить множество прелестнѣйшихъ фантазій; она можетъ привести самого мыслителя въ смущеніе и въ ужасъ. Открытіе такой печальной истины можетъ стоить мыслителю многихъ мучительно-бессонныхъ ночей. Но нѣтъ нужды. Истина есть истина, и, встрѣтившись съ нею лицомъ къ лицу, мыслитель, достойный этого имени, признаетъ ее безпрекословно, и не позволяетъ себѣ ни подъ какимъ видомъ замаскировывать ея строгія черты различными робкими умолчаніями или мошенническими искаженіями.

Человѣкъ, воодушевленный такою страстною и неустрашимою любовью къ истинѣ, какова бы она ни была, задумается очень серьезно и глубоко, когда увидать, что умственные сокровища, унаслѣдованные имъ отъ Феклы, подвергаются однимъ изъ его собесѣдниковъ самому безпощадному осужденію. Что за чудеса! скажетъ онъ себѣ. Стало быть, есть возможность сомнѣваться въ томъ, что я считалъ стоящимъ неизмѣнно выше

всякаго сомнѣнія. Стало быть, существуетъ такая точка зрѣнія, о которой я до сихъ поръ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія. Надо осмотрѣть эту точку зрѣнія. Я, конечно, увѣренъ въ томъ, что она ошибочна, потому что, въ самомъ дѣлѣ, не могла же Фекла ошибаться, и не могли же, вмѣстѣ съ нею, ошибаться и папаша, и мамаша, и дяденька и тетенька, и всѣ мои гувернеры и гувернантки. Но надо все таки узнать, какъ и почему возможна такая ошибочная точка зрѣнія, откуда взялось это странное заблужденіе, чѣмъ оно укрѣпилось и какими доказательствами оно поддерживается въ настоящую минуту.

Юный любитель истины начинаетъ разспрашивать, читать, вдумываться, и наконецъ, приходитъ, разумѣется, къ тому убѣжденію, что Фекла, при всѣхъ своихъ превосходныхъ качествахъ, была очень посредственною мыслительницею.

Но толпа не придетъ къ этому заключенію, потому что толпа твердить стихи своего любимаго поэта:

Тѣмъ низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Истина сама по себѣ не имѣетъ въ глазахъ толпы никакой цѣны, и тотъ чужакъ, который вздумаетъ возвѣщать толпѣ истины, противорѣчащія ея привычнымъ понятіямъ, нарушающія ея умственный комфортъ, разбивающія ея иллюзіи, и налагающія на нее обязанность встревожиться и задуматься, — можетъ смѣло рассчитывать на всѣ тѣ мелкія, но чувствительныя непріятности, преслѣдованія, подозрѣнія и оскорбленія, которыя, въ наше филантропическое время, замѣняютъ собою мученическій вѣнецъ.

II.

Тѣ люди, для которыхъ жизнь была въ дѣтствѣ сурою мачихою, могутъ также, вмѣстѣ съ безкорыстными искателями истины, увлечься идеями смѣлаго отрицателя. Кому тяжело и больно жить на свѣтѣ, тому трудно воспитать въ себѣ особенно сильную любовь къ тѣмъ понятіямъ, на которыхъ построенъ и которыми держится угнетающій его порядокъ вещей. Измученный и озлобленный человѣкъ привыкъ съ дѣтства считать нѣкоторые положенія за неопровержимыя истины, но эта привычка образовалась въ немъ только потому, что онъ ни разу не слыхалъ ни одного противуположнаго мнѣнія. Эта привычка имѣетъ чисто-пассивный характеръ. Въ ней нѣтъ дѣятельной любви, и человѣкъ, при первой возможности, поспѣшно и съ радостью отрывается отъ этой привычки, которая не связывается въ его умѣ ни съ какими свѣтлыми и пріятными воспоминаніями. Мрачное и печальное дѣтство, наполненное лишеніями и незаслуженными

оскорбленіями, всего чаще достается на долю тѣмъ людямъ, которые принадлежать къ низшимъ и бѣднѣйшимъ классамъ общества.

Въ этихъ классахъ общества идеи отрицателей нашли бы себѣ, конечно, самый восторженный приѣмъ, но именно въ эти классы общества серьезная мысль до сихъ поръ никогда не заглядывала; во-первыхъ потому, что людямъ, ежедневно отбивающимся отъ голодной смерти самымъ напряженнымъ трудомъ, некогда заниматься размышленіями, какъ бы ни были эти размышленія серьезны и полезны; во-вторыхъ потому, что умственный сонъ низшихъ классовъ охраняется во всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ многими сотнями бдительныхъ аргусовъ.

Но вездѣ, гдѣ, такъ или иначе, по тому или по другому случаю, происходитъ соприкосновеніе между бѣдностью съ одной стороны, и серьезною мыслью съ другой, — тамъ тотчасъ же идеи отрицанія находятъ себѣ многочисленныхъ адептовъ и распространителей.

Такъ, напримѣръ, было замѣчено не разъ, что въ нашихъ духовныхъ училищахъ сформировались самые крупные и яркіе представители отрицательнаго направленія, которое и до сихъ поръ воспринимается съ особенною жадностью воспитанниками этихъ же самыхъ училищъ. Наши гасильники или усыпители старались объяснить этотъ, очень печальный для нихъ фактъ, различными недостатками господствующей педагогической системы. Система дѣйствительно плоха, и я нисколько не намѣренъ ее отстаивать. Но нельзя не замѣтить, что никакія педагогическія усовершенствованія не поворотятъ міръ назадъ къ до-коперниковской и до-галилеевской философій, и не затушаютъ также того вопіющаго противорѣчія, которое существуетъ между остатками этой философій и непоколебимыми естественно-научными истинами. Что же касается до водворенія отрицательныхъ идей въ такихъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя, по самой сущности своей, совершенно враждебны этимъ идеямъ, — то оно объясняется не какими-нибудь несовершенствами въ программѣ или въ распредѣленіи занятій, а просто тѣмъ чрезвычайно-важнымъ обстоятельствомъ, что въ этихъ именно заведеніяхъ крайняя бѣдность встрѣчается съ умственною дѣятельностью.

Бурсаки очень бѣдны, бѣднѣе всѣхъ другихъ обучающихся въ Россіи юношей, и при этомъ они, однакоже, имѣютъ возможность и желаніе читать серьезныя книги. Этого совершенно достаточно, чтобы приготовить самое полное торжество отрицательныхъ идей во всѣхъ духовныхъ училищахъ.

Дѣло въ томъ, что отрицательнымъ идеямъ, и только имъ однимъ, безраздѣльно принадлежитъ будущее. Въ настоящее время, большинство образованныхъ классовъ, во всемъ цивилизованномъ мірѣ, враждебно этимъ идеямъ. Но это ровно ничего не значитъ. Напротивъ того, именно это обстоятельство и даетъ намъ возможность замѣтить, какъ неотразимо

сильны отрицательныя идеи, и какъ ничтоженъ тотъ грязный хаосъ, который долго можетъ задерживать своимъ присутствіемъ умственное развитіе человѣчества, но который никогда не можетъ одержать окончательную побѣду, потому что никогда не можетъ произвести изъ себя ничего прочнаго, ничего живаго, ничего способнаго развиваться и совершенствоваться.

Большинство враждебно отрицательнымъ идеямъ. Это вѣрно. Но что же это значить? Это значить, только, что большинство подкуплено въ пользу *status quo*, котораго оно не можетъ находить ни справедливымъ, ни разумнымъ, и котораго оно не можетъ защищать, не впадая ежеминутно въ грубѣйшія внутреннія противорѣчія, не прибѣгая ежеминутно къ самымъ неправдоподобнымъ выдумкамъ, и не доходя на каждомъ шагу до самыхъ вопіющихъ абсурдовъ.

Большинство превозноситъ своихъ усыпителей. Не мудрено. Еще бы не превозносить тѣхъ услужливыхъ людей, которые изъ году въ годъ, и съ утра до вечера, тратятъ всѣ силы своего ума на то, чтобы заглушить въ насъ тѣ невольныя угрызенія совѣсти, съ которыми мы сами, какъ люди простые и не хитрые, не умѣемъ справляться.

Стразбургскіе пироги, конечно, очень вкусны; шампанское, бургондское, рейнвейнъ и хересъ веселятъ сердце человѣка; абонированная ложа въ бель-этажѣ италіанской оперы доставляетъ бочки эстетическаго наслажденія; карета на лежачихъ рессорахъ, запряженная парой великолѣпныхъ сѣрыхъ жеребцовъ, превращаетъ каждую дѣловую поѣздку въ пріятнѣйшую прогулку; но хорошая консервативная газета, издаваемая искусственнымъ усыпителемъ, пріятнѣе и драгоцѣннѣе cadaго изъ этихъ земныхъ благъ, взятыхъ отдѣльно; или, точнѣе, хорошая консервативная газета придаетъ всѣмъ этимъ земнымъ благамъ тотъ утонченнѣйшій вкусъ и высшій ароматъ, которые удваиваютъ, а можетъ быть, даже и утраиваютъ ихъ цѣну. Хорошая консервативная газета одухотворяетъ всѣ эти блага. Фактъ возводится ею въ священное право, и обладатель земныхъ благъ узнаетъ изъ нея каждое утро, за чашкою цвѣтнаго чаю или мокеккаго кофе, что онъ — нѣкое маленькое божество, на алтарь котораго простые и темные люди обязаны, нравственно обязаны, нести со всѣхъ концовъ свѣта превосходящіе произведенія природы и великолѣпнѣйшіе продукты человѣческой промышленности.

На обладателя земныхъ благъ можетъ иногда напасть тяжелое раздумье. На что я, въ самомъ дѣлѣ, годеиъ, что я дѣлаю? Другіе кругомъ меня трудятся, суетятся, волнуются, выбиваются изъ силъ, терпятъ лишения, страдаютъ и борятся, а я только и дѣлаю, что ѣмъ, пью, сплю, и заплываю жиромъ. Кому я приношу пользу? Кому нужно мое глупое существованіе?

Противъ такого раздумья не помогаютъ ни стразбургскіе пироги, ни

шампанское, ни опера, но хорошая консервативная газета въ пять минутъ можетъ разогнать мрачныя тучи этихъ лукавыхъ помышлений. Помилуй, другъ мой, говорить такая газета задумавшемуся обладателю земныхъ благъ. Какъ могъ ты, хоть на одну минуту, допустить въ свою свѣтлую голову странную мысль о томъ, будто ты бесполезенъ. Ты одинъ изъ самыхъ твердыхъ столбовъ общественнаго зданія. Каждый, повидимому, ничтожнѣйшій актъ твоей жизни составляетъ благодѣяніе. Вся твоя жизнь есть одно постоянное служеніе обществу. Вотъ, напримѣръ, другъ мой, ты достаешь изъ кармана платокъ. Ты думаешь, можетъ быть, что это, въ самомъ дѣлѣ, только носовой платокъ, бездушная и бессмысленная тряпка. Нѣтъ, другъ мой, это маленькій памятникъ твоей невольной заботливости о благосостояніи твоихъ младшихъ братьевъ. Платокъ этотъ вытканъ ткачемъ, подрубленъ и замѣченъ швеею, вымытъ и выглаженъ прачкою. Теперь подумай только, въ какихъ бы дуракахъ остались всѣ эти бѣдные люди, если бы тебя не было на свѣтѣ, или если бы ты, бывши на свѣтѣ, былъ такъ черствъ сердцемъ и такъ суровъ въ своихъ привычкахъ, что сморкался бы въ собственную руку, а не въ батистовый платокъ. Но, слава Создателю, ты существуешь, ты такъ великодушенъ, такъ мягкосердеченъ, такъ возвышенно уменъ, и такъ утонченно цивилизованъ, что понимаешь вполнѣ, на сколько батистовый платокъ удобнѣ собственной руки. Ты покупаешь себѣ дюжину платковъ, и довольство разливается тихими ручьями въ скромныя хижинны и мансарды честныхъ труженниковъ. Ткачъ садится за свой простой, но здоровый обѣдъ, и говоритъ растроганнымъ голосомъ, возводя къ небу свои глаза, наполненные слезами благодарности: пошли Господи многія лѣта добрымъ господамъ, что сморкаются въ батистовые платки. Швея приобретаетъ себѣ простыне, но прочныя башмаки, и, обливая ихъ радостными слезами, шепчетъ прерывающимся голосомъ: дай Господи добраго здоровья тому барину, что отдавалъ мнѣ подрубать и мѣтить платки. Ты недавно говорилъ, мой другъ, что ты заплываешь жиромъ. О, не смущайся и не тяготись этимъ обстоятельствомъ. Это не простой жиръ. Это награда за твои заслуги. Это такой жиръ, которымъ ты имѣешь полное право гордиться. Это — результатъ твоихъ теплыхъ молитвъ, которыя несутся къ престолу Создателя изъ всѣхъ хижинъ честныхъ труженниковъ, питающихся твоими благодѣяніями. Я вижу, другъ мой, что ты совершенно убѣжденъ моими доказательствами, взволнованъ и растроганъ: слезы льются изъ глазъ твоихъ, носъ твой переполняется жидкостью, и ты поспѣшно хватаешься за маленький памятникъ твоей заботливости о благосостояніи младшихъ братьевъ. Ты сморкаешься, да, ты сморкаешься, но понимаешь ли ты высокое значеніе этого поступка? Этимъ поступкомъ ты спѣшишь на помощькъ бѣдной прачкѣ, которая въ настоящую минуту нуждается въ лекарствахъ для своего больного ребенка. Еще пять, шесть такихъ же великодушныхъ поступковъ, и

твой платокъ отправится въ грязное бѣлье, и привлечетъ на тебя новыя рѣчки благословеній, и новыя слои благодатнаго жира, вымоленного для тебя твоими трудолюбивыми *protégés*.

Но все это, другъ мой, только одна сторона твоей общепользующей и до- блестной дѣятельности. Ты еще болѣе великъ и прекрасенъ, если посмо- трѣть на тебя съ политической точки зрѣнія. Тутъ ты изображаешь собою охранительный элементъ нашего общества. Тутъ ты служишь лучшимъ представителемъ нашей нравственной самостоятельности. Подкупить тебя нельзя, потому что ты богатъ. Запугать тебя тоже нельзя, потому что съ человѣкомъ, сморкающимся въ батистовые платки, принято обращаться вѣжливо. Ты сегодня пообѣдалъ хорошо, и желаешь завтра пообѣдать также хорошо, слѣдовательно ты консерваторъ. Но, съ другой стороны, ты согласенъ пообѣдать завтра еще лучше, чѣмъ сегодня, слѣдовательно, ты также и прогрессистъ. Вся твоя политика исчерпывается этимъ жела- ніемъ и этимъ согласіемъ. Твоя политика проста и ясна, какъ все великое. Ты совмѣщаешь въ высшемъ и всеобъемлющемъ синтезѣ все хорошее и ра- зумное, что когда нибудь было произведено, на свѣтъ какими бы то ни было политическими школами. И здѣсь, другъ мой, я опять долженъ воз- вратиться къ твоему благодатному жиру, на который ты жаловался съ та- кою странною неосновательностью. Этотъ жиръ, даже и съ политической точки зрѣнія, имѣетъ высокое и спасительное значеніе. Этотъ жиръ при- даетъ тебѣ ту солидность, ту медленность, ту драгоцѣнную неповоротли- вость, вслѣдствіе которой ты дѣлаешься самымъ надежнымъ хранителемъ преданій, привычекъ и установившихся отношеній; твой жиръ мѣшаетъ тебѣ увлекаться новыми идеями и модными бреднями. Нашъ государствен- ный корабль, нагруженный цѣлыми тоннами такого же благодатнаго жира, плыветъ, по милости этого спасительнаго балласта, съ подобающею мед- ленностью и съ привычною величественностью, вмѣсто того, чтобы летѣть на всѣхъ парусахъ, подвергаясь опасности наскочить на подводные камни. И такъ, другъ мой, знай это разъ навсегда: всякій разъ, какъ ты кладешь въ ротъ кусокъ вкусной и питательной пищи, способной превратиться въ частицу жира, — ты оказываешь отечеству малую, по существенно-важную услугу. Я повторяю тебѣ, что ты можешь созерцать свой жиръ съ законною гордостью. Если ты когда нибудь разжирѣешь до того, что задохнешься, то всѣ мы, твои друзья, всѣ мы, искренніе патріоты, всѣ мы, благора- зумные прогрессисты, поставимъ на твоей могилѣ великолѣпный памятникъ, и будетъ говорить о тебѣ со слезами умиленія: онъ умеръ за отечество!

Спрашиваю я васъ теперь, какой цвѣточный чай или какой мокекскій кофе можетъ, по своему вкусу и по своему аромату, выдержать сравненіе съ хорошою консервативною газетою, изъ которой обладатель всѣхъ зем- ныхъ благъ вычитываетъ каждый день столь возвышенныя и утѣшительныя соображенія.

III.

За что же, не боясь грѣха,
Кукушка хвалитъ пѣтуха?
За то, что хвалитъ онъ кукушку.

Этими бессмертными стихами Крылова объясняются многіе блистательнѣйшіе и скандальнѣйшіе успѣхи. Этими же самыми стихами объясняется также успѣхъ нашихъ усыпителей, успѣхъ очень блистательный и въ высокой степени скандальный.

Дѣло усыпителя состоитъ въ томъ, чтобы постоянно приписывать красивыя названія и искуссныя оправданія для всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ слабостей читающаго общества. Раболовство, низкопоклонство, суевѣріе, тупоуміе, самодурство, корыстолюбіе, безхарактерность, двоедушіе, все, что, въ пробуждающемся обществѣ, бываетъ принуждено прятаться и ступовываться, снова реабилитируется и возводится на пьедесталъ неуспынными стараніями ловкаго усыпителя. Читатели видятъ, что ихъ подлость и ихъ глупость могутъ смѣло поднять голову и ходить по улицамъ, требуя себѣ отъ встрѣчныхъ и поперечныхъ сочувствія и уваженія. Сначала читатели не смѣютъ вѣрить такому избытку блаженства. Они все еще боятся, что за панегирикомъ скрывается злоя и убійственная сатира. Они еще не могутъ себѣ представить, что есть возможность хвалить въ нихъ то, что они сами признаютъ въ себѣ однимъ изъ многихъ проявленій человѣческой слабости. Но, между тѣмъ, панегирикъ все продолжается, сатира ни откуда изъ за него не выглядываетъ, читатели наконецъ успокоиваются и убѣждаются въ томъ, что всѣмъ ихъ любимымъ пошлостямъ дѣйствительно воскуряется фиміамъ; тогда начинается общее и неудержимое ликованіе; всѣ кукушки даннаго общества выскакиваютъ изъ своихъ притоновъ, и начинаютъ славословить пѣтуха, зная очень хорошо, что, тѣмъ выше онъ вознесутъ эту почтенную птицу, тѣмъ больше силы и вѣса онъ придадутъ его иѣснямъ, прославляющимъ всевозможныя кукушечьи качества, привычки, ухватки, низости и мерзости. Значитъ, вознося пѣтуха, кукушки возвеличиваютъ самихъ себя. А кто же откажется говорить самому себѣ любезности и комплименты, если это можетъ быть сдѣлано воевственнымъ образомъ и подъ благовиднымъ предлогомъ.

И такъ, усыпители и читатели носятъ другъ друга на рукахъ, и плаваютъ въ морѣ блаженнаго самообожанія. Наконецъ, въ разгарѣ своего торжества, они чувствуютъ непобѣдимое желаніе призвать къ себѣ на помощь поэзію, чтобы она увѣковѣчила ихъ прекрасныя черты, сдѣлавши ихъ предметомъ эпоса. Новдревы, Чичиковы и Собакевичи, найдя себѣ такого публициста, который оправдалъ и превознесъ всѣ ихъ пошлостями,

ищутъ себѣ также и такихъ художниковъ, которые, сохраняя имъ всѣ ихъ типическія особенности, превратили-бы ихъ въ милыхъ, интересныхъ и очаровательныхъ героев романа. Мы побѣдители, мы триумфаторы, мы вожди общества, — говоритъ раздувшаяся грязь, пронизываясь вдругъ чувствомъ собственнаго достоинства. Эй, поэты, воспойте насъ, да воспойте такъ, чтобы всякій сразу понялъ, что мы—первые красавцы и величайшіе герои во всемъ подлунномъ мірѣ. За деньгами мы не постоимъ.

Поэтамъ свойственно воспѣвать триумфаторовъ и получать за то подачку съ ихъ богатаго стола. Многимъ поэтамъ было бы особенно пріятно превратить торжествующую грязь въ очаровательныхъ героевъ. Поступая такимъ образомъ, многіе поэты оказали бы очень важную услугу собственнымъ особамъ, носящимъ въ себѣ весьма достаточное количество той же величающейся грязи. Стало быть, въ побудительныхъ причинахъ для начала эпическихъ пѣснопѣній не могло быть недостатка. Охотниковъ тоже оказалось по этой части очень довольно. И однако же всѣ старанія не только остались безуспѣшными, но даже всѣ до одного повернулись противъ интересовъ торжествующей грязи. Всѣ романы, написанные для прославленія грязи и для посрамленія ея противниковъ, доказали, наперекоръ всѣмъ усиліямъ ихъ авторовъ, что грязь рѣшительно ни на что не годится, и что сила, мужество, честность, умъ, любовь къ идеѣ составляютъ исключительную и безраздѣльную собственность тѣхъ противниковъ, которыхъ авторы желали опозорить, оклеветать и стереть съ лица земли. Къ этому результату пришли и «Взбаломученное море,» и «Марево», и «Некуда». Образы и характеры сказали какъ разъ противное тому, что хотѣли сказать авторы.

Кто оказывается самымъ чистымъ и свѣтлымъ характеромъ въ «Взбаломученномъ морѣ»? — Валеріанъ Сабакъевъ

А въ «Маревѣ»? — Инна Горобецъ.

А въ «Некуда»? — Лиза Бахарева.

То есть именно самые непримиримые, самые страстные противники той ноздревщины и чичиковщины, которую господа тенденціозные романисты старались реабилитировать и взгромоздить на пьедесталъ.

Такъ какъ тенденціозные романы пишутся всегда по рецепту, то въ нихъ тотчасъ можно замѣтить, что нѣкоторыя фигуры вдвинуты въ картину для симметріи, для того, чтобы оттѣнить собою какое нибудь лицо, дѣйствительно важное и имѣющее самостоятельное значеніе.

Во всѣхъ трехъ тенденціозныхъ романахъ, украсившихъ собою въ недавнее время нашу изящную словесность, — рядомъ съ энергическими фигурами бойцовъ, навлекающихъ на себя неудовольствіе авторовъ, поставлены, ради бѣльшей поучительности, фигуры молодыхъ, но благонравныхъ особъ, на которыхъ авторы смотрятъ съ одобрительною улыбкою.

Валеріанъ Сабакъевъ оттѣняется Варегинимъ.

Илья Горобецъ — молодою и прекрасною дѣвицею Мальвиною Францевною, фамилію которой я теперь не могу припомнить.

Лиза Вахарева — своею пріятельницею, Евгенією Гловацкою.

Все благоволеніе авторовъ покоится на этихъ поучительныхъ особахъ. И между тѣмъ, при всемъ своемъ благоволеніи, авторы не могутъ изъ нихъ рѣшительно ничего сдѣлать.

Все это — образы безъ лицъ, воплощенныя правоученія, кроткія и улыбающіяся безцвѣтности, похожія до чрезвычайности на Здравосудовъ и Стародумовъ старыхъ комедій.

Все это такія фигуры, которыя могутъ обманывать читателя и прикидываться живыми только до тѣхъ поръ, пока онѣ остаются въ тѣни, на самомъ заднемъ планѣ романа, находясь въ совершенномъ бездѣйствіи, провознося благоразумныя рѣчи и выдѣлывая кроткія гримасы.

Попробуйте выдвинуть эти фигуры на первый планъ, попробуйте сдѣлать ихъ центромъ романа, заставьте ихъ самихъ чувствовать и дѣйствовать, вмѣсто того, чтобы выражать благоразумныя сужденія о чужихъ страстяхъ и поступкахъ, — и тогда картонъ и проволока, изъ которыхъ составлены эти поучительныя особы, въ одну минуту обнаружатъ свою безжизненность и неповоротливость.

Почему же однако все это сложилось такимъ образомъ? Почему господамъ авторамъ тенденціозныхъ романовъ пришлось поневолѣ воплощать въ яркихъ и привлекательныхъ образахъ только тѣ враждебныя идеи, которыми они старались нанести смертельный ударъ? И почему, съ другой стороны, имъ не удалось соорудить ни одного живаго лица изъ тѣхъ матеріаловъ, которыми они желали засвидѣтельствовать свое глубочайшее уваженіе и свою неизмѣнную преданность?

Дѣло въ томъ, что вообще, на всякой важной идеѣ несравненно легче построить довольно сносное отвлеченное разсужденіе, чѣмъ живой и занимательный разсказъ. Для разсужденія вы можете выбирать именно только тѣ стороны предмета, которыя не противорѣчатъ вашей ложной идеѣ. Вы можете ограничиться очень незначительнымъ числомъ фактовъ; вы можете оставить безъ вниманія все то, что не подходитъ подъ вашу узкую теорію; вы можете перетолковать, сообразно съ вашими видами, значеніе тѣхъ фактовъ, которые вы сами выбрали и сгруппировали; вы можете указать между этими фактами такую связь, которая вовсе не существуетъ между ними въ дѣйствительности. Всѣ эти фокусы сойдутъ вамъ съ рукъ самымъ благополучнымъ образомъ, если только вы обладаете достаточною дозою самоувѣренности и діалектической ловкости. Умышленные пропуски, натяжки, ложная группировка и ложное освѣщеніе фактовъ — все это будетъ замѣчено только тѣми немногими людьми, которые сами изучили предметъ вашего разсужденія. Такихъ людей во всякомъ обществѣ найдется очень немного, и ваша шарлатанская работа адресуется

вовсе не къ нимъ, а къ довѣрчивой и совершенно беззащитной массѣ читателей. Эта масса будетъ любоваться красотами вашего языка, и благоговѣть передъ вашею нахальною самоувѣренностью, которую она будетъ принимать за несомнѣнное доказательство вашей неисчерпаемой учености и безукоризненной добросовѣстности. Положимъ, что знатоки дѣла не будутъ молчать. Они начнутъ разбивать вашу работу и раскритикуютъ ее такъ, что въ ней не останется ни одного живаго мѣста. Вамъ и тутъ еще нѣтъ достаточнаго основанія считать свое дѣло окончательно проиграннымъ. Во первыхъ, критика опасна для васъ только въ томъ случаѣ, если она написана также общедоступно и увлекательно, какъ ваше шарлатанское разсужденіе. Очень серьезная и величественно-скучная критика останется непрочитанною, хотя бы въ ней заключались несмѣтныя сокровища знанія, мудрости, основательности и добросовѣстности. Во вторыхъ, какая бы то ни было критика можетъ убить васъ окончательно только въ глазахъ тѣхъ людей, которые имѣютъ достаточное понятіе о вашемъ предметѣ, и которые, вслѣдствіе этого, должны презирать васъ съ самаго начала, послѣ самаго перваго знакомства съ вашимъ литературнымъ фокусничествомъ. Что же касается до обманутыхъ вами профановъ, то они увидятъ только, что вы говорите одно, а критикъ вашъ — совсѣмъ другое. Кто изъ васъ говорить правду, и кто лжетъ — этого профаны опредѣлить не могутъ, потому что для этого необходимы знанія, которыхъ у нихъ не имѣется. На самую убійственную критику вы можете отвѣчать новыми софизмами, новымъ подтасовываніемъ фактовъ, новымъ извращеніемъ мыслей, и побѣда можетъ остаться на вашей сторонѣ, если только, во все время ожесточенной борьбы, ваша самоувѣренность и ваша діалектическая развязность не покинутъ васъ ни на минуту.

Всѣми этими выгодами и преимуществами вы пользуетесь въ томъ случаѣ, если вы стараетесь отуманивать вашихъ читателей отвлеченными разсужденіями.

Но дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ, когда вы дѣлаете попытку облечь вашу возлюбленную ложь въ живые образы. Тогда оказывается одно изъ двухъ: или эти образы приводятъ васъ въ отчаяніе и obligаютъ васъ во лжи своею безнадежною и неизлечимою деревянностью, надъ которою смѣются или зѣваютъ всѣ ваши читатели, отъ мала до велика; или же эти образы оживаютъ подъ вашимъ перомъ, но оживаютъ не на радость вамъ и вашей ложной идеѣ. Они оживаютъ затѣмъ, чтобы взбунтоваться противъ васъ, возвеличить то, что вы хотѣли оплевать, и оплевать то, что вы хотѣли возвеличить. Когда вы предлагаете публикѣ романъ или повѣсть, тогда вашимъ критикомъ является каждый изъ вашихъ читателей, каждый человекъ, надѣленный отъ природы самымъ простымъ здравымъ смысломъ, и успѣвшій приобрѣсти себѣ самое обыкновенное знаніе жизни. Въ отношеіи къ романамъ и повѣстямъ нѣтъ и не можетъ быть профановъ.

Каждый читатель может понять или, по крайней мѣрѣ, почувствовать, что натурально, и что не натурально, что правдоподобно и что неправдоподобно; что занимательно и что скучно. — Въ отвлеченномъ разсужденіи вы могли доказывать, сколько вамъ угодно, что душевныя свойства, украшающія Чичикова и Молчалина, необходимы для процвѣтанія, для благоденствія, даже для существованія Россіи. Вы могли объяснять очень пространно и краснорѣчиво, какими педагогическими приѣмами слѣдуетъ возвращать эти спасительныя качества въ молодомъ поколѣніи. Публика могла слушать ваши рѣчи съ благоговѣніемъ, потому что, съ одной стороны, эти рѣчи были пересыпаны патріотическими словами; съ другой стороны, они гладили по шерsti чичиковскіе и молчалинскіе инстинкты, сидящіе въ душѣ очень многихъ читателей; а съ третьей стороны, эти читатели были совершенно не приготовлены къ какимъ бы то ни было размышленіямъ о судьбахъ Россіи и объ умственныхъ потребностяхъ молодаго поколѣнія. Значить, передъ этими читателями можно было съ полнымъ успѣхомъ выкладывать на столъ всѣ тѣ инструменты, при содѣйствіи которыхъ предполагалось готовить изъ нашихъ юношей Чичиковыхъ и Молчалиныхъ. Читатели только любовались этими инструментами и выражали пламенное желаніе, чтобы они были разосланы въ достаточномъ количествѣ во всѣ губернскіе города нашего отечества.

Но вы вздумали собрать воспѣтыя вами чичиковскія и молчалинскія свойства въ одинъ образъ, вы пожелали, чтобы публика смотрѣла на этотъ образъ съ любовью и съ уваженіемъ, — и тутъ вы провалились жестоко. Ваша послушная, ваша довѣрчивая, ваша безотвѣтная публика откровенно засмѣялась, или стыдливо отвернулась прочь, вмѣсто того, чтобы согласна съ вашимъ требованіемъ, восхищаться, любить и уважать.

Чтожь съ этимъ дѣлать? Чичиковъ и Молчалинъ совсѣмъ не для того существуютъ на свѣтѣ, чтобы возбуждать въ своихъ ближнихъ восторгъ, любовь и уваженіе. Чичиковъ и Молчалинъ, какъ люди далеко не глупые, сами знаютъ это, какъ нельзя лучше, и уже давно помирились съ этимъ обстоятельствомъ, тѣмъ болѣе, что восторгъ, любовь и уваженіе не могутъ быть занесены ни въ одну изъ двухъ интересныхъ для этихъ господъ рубрикъ, ни въ рубрику движимаго, ни въ рубрику недвижимаго имущества.

Чичиковъ и Молчалинъ преуспѣваютъ, живутъ въ свое удовольствіе, откладываютъ копѣечки на черный день, и, въ то же время, обдѣлываютъ свои дѣла такъ искусно и такъ осторожно, что черныя дни никогда не являются. Но Чичиковъ и Молчалинъ, по своей благоразумной скромности, вовсе не желаютъ обращать на себя, съ какой бы то ни было стороны, и по какому бы то ни было случаю, вниманіе своихъ современниковъ и согражданъ. Чичиковъ и Молчалинъ любятъ оставаться въ тѣни и въ неизвѣстности, потому что ихъ мелкія предпріятія требуютъ для своего процвѣтанія мрака и тишины.

Предложите любому Чичикову и Молчалину взлѣзть на пьедесталъ и сдѣлать себя центромъ романа, то есть обратить на себя вниманіе публики и рассказать ей, съ какой угодно точки зрѣнія, полную и подробную повѣсть всѣхъ его чичиковскихъ или молчалинскихъ дѣйствій, чувствъ и помысловъ, — и вы увидите, что вашъ Чичиковъ или Молчалинъ съ ужасомъ и съ ожесточеніемъ начнетъ отмахиваться обѣими руками отъ вашего предложенія, какъ отъ самой оскорбительной и опасной для него затѣи.

Чичиковъ и Молчалинъ понимаютъ очень хорошо, что они мелки, низки и ничтожны, и что взгромоздить ихъ на пьедесталъ значитъ, нечаянно или умысленно, предать ихъ общему посмѣянію. Чичиковъ и Молчалинъ знаютъ, что, когда ихъ поставятъ на видное мѣсто, и освѣтятъ со всѣхъ сторонъ яркимъ свѣтомъ психологическаго анализа, — тогда надъ ихъ жалкими и мизерными фигурами засмѣются съ безпощаднымъ злорадствомъ ихъ же собственные двойники, тѣ Чичиковы и Молчалины, которымъ удалось остаться въ тѣни. Чичиковъ и Молчалинъ чувствуютъ, что никакія натяжки, никакія поэтическія вольности и идеализаціи не могутъ превратить ихъ въ красавцевъ. Поэтому, Чичиковъ и Молчалинъ просятъ поэтовъ только объ одномъ: оставьте насъ въ покоѣ, забудьте о нашемъ существованіи, не вытаскивайте на свѣтъ и не прославляйте нашихъ скромныхъ подвиговъ.

Но поэты, разогрѣтые своею любовью къ солидности, увлеченные общими порывами филистерскаго восторга, одержимые, кромя того, неизлечимою наивностью, желаютъ непременно содѣйствовать съ своей стороны посрамленію и истребленію такъ называемыхъ нигилистовъ. Мы покажемъ міру, кричатъ безтолковые поэты, что наша солидность и благонамѣренность имѣетъ также своихъ героевъ. Мы покажемъ, что наше филистерство выработало изъ себя такой типъ, къ которому можно и должно относиться съ сочувствіемъ.

И затѣмъ, несчастнаго Павла Ивановича Чичикова подхватываютъ на руки и несутъ на пьедесталъ, несмотря на его отчаянное сопротивленіе.

Очутившись на пьедесталѣ, Павелъ Ивановичъ, разумѣется, не знаетъ, куда дѣвать глаза, и готовъ провалиться сквозь землю, и сами поэты замѣчаютъ, наконецъ, слишкомъ поздно, что они сдѣлали большую глупость, которой могутъ отъ души порадоваться ихъ противники.

Неужели же однако, спроситъ читатель, тотъ типъ солидныхъ молодыхъ дѣятелей, который хотѣли воспѣть въ послѣднее время наши романисты, имѣетъ дѣйствительное сходство съ Чичиковымъ и съ Молчалинымъ?

На это я отвѣчу, что все въ природѣ ризывается, совершенствуется и благообразивается, но что внимательный наблюдатель можетъ и дол-

женъ узнавать своихъ старыхъ знакомыхъ, несмотря на ихъ новые костюмы, манеры и разговоры. Чичиковымъ бываетъ часто такой человѣкъ, который не только не торгуетъ мертвыми душами, но даже не позволяетъ себѣ ни одной, сколько нибудь двусмысленной спекуляціи. Молчалинъ остается Молчалинымъ даже тогда, когда онъ съ почтительною твердостью представляетъ своему начальнику основательныя возраженія.

Настоящая сущность чичиковщины и молчалинства состоитъ въ отсутствіи такихъ убѣжденій, которыя выработаны самостоятельнымъ умственнымъ трудомъ, которыя управляютъ всею жизнью человѣка, и отъ которыхъ человѣкъ не можетъ отречься, если бы даже, въ минуту тяжелаго страданія за любимую идею, ему пришла въ голову эта фантазія.

Молчалинымъ и Чичиковымъ слѣдуетъ признавать каждого человѣка, у котораго нѣтъ въ жизни никакой другой цѣли, кромѣ приобрѣтенія и упрочиванія личнаго довольства и комфорта.

Если понимать чичиковщину и молчалинство въ такомъ широкомъ смыслѣ, то надо будетъ признаться, что всѣ образованныя общества переполнены болѣе или менѣе яркими представителями этихъ двухъ типовъ.

При этомъ не забудьте также-заглянуть и въ зеркало, для очистки собственной совѣсти.

Большинство сытыхъ, одѣтыхъ и грамотныхъ людей проникнуто консервативною солидностью и отстаиваетъ тѣ понятія и тѣ отношенія, среди которыхъ ему приходится жить.

Почему оно ихъ отстаиваетъ? Потому ли, что оно ихъ любитъ? Потому ли, что оно убѣждено въ ихъ вѣрности и въ ихъ справедливости? Потому ли, что оно находитъ ихъ полезными для общаго благосостоянія?

Ничуть не бывало. Консервативныя тенденціи большинства объясняются тремя главными причинами, которыя дѣйствуютъ или порознь, или всѣ вмѣстѣ.

Во-первыхъ, сытая, одѣтая и грамотная толпа отстаиваетъ то, что даетъ ей доходъ. Развѣ это не чичиковщина?

Во-вторыхъ, таже толпа соображаетъ очень основательно, что преклоняться передъ существующимъ фактомъ гораздо безопаснѣе, чѣмъ бороться за неосуществленные идеями. А это развѣ не молчалинство?

Въ третьихъ, таже толпа повинуетъ силѣ привычки, и считаетъ хорошимъ то, къ чему она присмотрѣлась. Въ этой третьей причинѣ проглядываютъ очевидно умственные свойства помѣщицы Коробочки.

И такъ, Чичиковъ, Молчалинъ и Коробочка,—вотъ тѣ ингредиенты, изъ которыхъ романисты, вдохновленные «Московскими Вѣдомостями», старались построить героя, долженствующаго побѣдить и уничтожить Базарова и Рахметова.

ПОДВИГИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ.

I.

Во былое время,—когда приемы и орудія наблюденія были очень несовершенны,—многіе умные и, по тогдашнему, ученые люди объясняли себѣ самымъ неосновательнымъ образомъ происхожденіе различныхъ мелкихъ животныхъ. Аристотель думалъ, что большая часть насѣкомыхъ родится сама собою, изъ земли, изъ разлагающихся растений или изъ частей тѣла другихъ животныхъ. Плутархъ полагалъ, что почва Египта порождаетъ изъ себя крысъ. Плиній принималъ за чистую истину рассказъ Виргилія о пчелахъ Аристея, родившихся изъ трупа быка. Еще въ XVII вѣкѣ, ученый Кирхеръ утверждалъ очень серьезно, что мясо змѣи, высушенное и истолченное въ порошокъ, потомъ посѣянное въ землю и подвергнутое дѣйствію дождя, порождаетъ изъ себя червей, которые со временемъ превращаются въ змѣй. Но, въ томъ же XVII вѣкѣ, начались основательныя изслѣдованія по вопросу о размноженіи насѣкомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ. Флорентійскій медикъ, Францискъ Реди, доказалъ въ это время, что мелкіе червячки, покрывающіе разлагающееся мясо, рождаются не изъ самаго мяса, а изъ яичекъ, положенныхъ на него различными породами мухъ. Ученикъ Франциска Реди, Валлисніери, объяснилъ точно такимъ же образомъ присутствіе червячковъ въ различныхъ плодахъ. Современникъ Реди и Валлисніери, Сваммердамъ, произвелъ множество наблюденій надъ размноженіемъ пчелъ, вшей и разныхъ другихъ насѣкомыхъ. Оказалось что всѣ они происходятъ отъ подобныхъ себѣ родителей и что ни одно изъ этихъ животныхъ не возникаетъ, посредствомъ такъ называемаго *произвольнаго зарожденія*, ни изъ земли, ни изъ растительныхъ веществъ, ни изъ тѣла другихъ животныхъ. Послѣ всѣхъ этихъ и многихъ другихъ изслѣдованій, большинство ученыхъ стало относиться къ произвольному зарожденію съ крайней недоувѣрчивостію и съ полнѣйшимъ презрѣніемъ.

Напуганные смѣшными ошибками старинныхъ натуралистовъ, они ударились въ противоположную крайность и смѣло причислили всякое произвольное зарожденіе къ тѣмъ мифамъ, надъ которыми наука одержала рѣшительную побѣду. Однако, въ концѣ того же XVII столѣтія, идея произвольнаго зарожденія нашла себѣ новый пріютъ, изъ котораго ее, повидимому, не выгонять никакія дальнѣйшія изслѣдованія. Дѣло въ томъ, что, въ концѣ XVII вѣка, Левенгукъ открылъ въ каплѣ дождевой воды цѣлый міръ микроскопическихъ животныхъ растений. Вслѣдъ затѣмъ, тотъ же изслѣдователь нашелъ, что міриады этихъ простѣйшихъ организмовъ, незамѣтныхъ для невооруженнаго глаза, развиваются съ изумительною быстротою во всякомъ настоѣ, то есть, въ такой водѣ, въ которую положено какое-нибудь растительное вещество. Это свойство доставило микроскопическимъ животнымъ названіе *инфузорій*, то есть, *наливчатыхъ* животныхъ. Возникъ, разумѣется, вопросъ: откуда берутся эти мельчайшіе организмы? Одни ученые стали поддерживать то мнѣніе, что они зарождаются въ самомъ настоѣ, изъ частичекъ той матеріи, которая плаваетъ въ водѣ. Другіе высказали то предположеніе, что въ воздухѣ носятся тучи яичекъ и сѣмянъ, порожденныхъ прежними поколѣніями микроскопическихъ животныхъ и растений, что эти яички и сѣмена падаютъ изъ воздуха въ настой и развиваются въ этомъ настоѣ. Первая доктрина называется теоріею произвольнаго зарожденія или *этерогенією*. Вторая называется *панспермією*, то есть, теоріею повсемѣстнаго присутствія зародышей. Чтобы окончательно рѣшить вопросъ въ пользу той или другой доктрины, надо было устроить такъ, чтобы настою находился въ соприкосновеніи съ воздухомъ, но чтобы этотъ воздухъ былъ совершенно очищенъ отъ всякихъ органическихъ зародышей. Если, при этихъ условіяхъ, въ настоѣ все-таки разовьется микроскопическое населеніе, тогда побѣда останется на сторонѣ этерогенистовъ. Если же въ настоѣ не окажется ни растений, ни животныхъ, тогда восторжествуютъ панспермисты. Очищеніе воздуха отъ органическихъ зародышей производится на основаніи самыхъ простыхъ соображеній. Всякому извѣстно, что изъ варенаго яйца не выведется цыпленокъ и что варенный горохъ не даетъ ростка. Эти общезнѣсныя явленія выражаютъ собою общій законъ, который распространяется на весь органическій міръ и состоитъ въ томъ, что всѣ растения и всѣ животныя, всѣ сѣмена и всѣ яйца умираютъ, когда подвергаются, такъ или иначе, дѣйствію очень сильнаго жара. Кромѣ того, извѣстно, что очень сильныя кислоты также убиваютъ всякую органическую жизнь. Стало бытъ, чтобы уничтожить зародыши, заключающіеся въ самомъ настоѣ, надо его вскипятить, а чтобы уничтожить эти зародыши въ томъ воздухѣ, который будетъ прикасаться къ настою во время опыта, надо пропускать этотъ воздухъ черезъ раскаленную трубку или черезъ пузырекъ, наполненный сѣрною кислотою. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, нѣмецкій

ученный Шульце сдѣлалъ нѣсколько опытовъ по данному вопросу, пропускавъ воздухъ черезъ сѣрную кислоту. Около того же времени, Шваннъ произвелъ такіе же опыты, пропускавъ воздухъ черезъ раскаленную трубку. Въ обоихъ случаяхъ не получилось ни животныхъ, ни растений; панспермисты восторжествовали и почислили вопросъ окончательно рѣшеннымъ. Парижская академія наукъ и всѣ европейскіе университеты признали произвольное зарожденіе суевѣрною фантазіею и совершенно успокоились на опытахъ Шванна и Шульце. Такимъ образомъ, прошло двадцать лѣтъ. Въ концѣ 1858 года, отпѣтый и похороненный вопросъ воскресъ съ новою силою. Одинъ изъ авторитетовъ ученаго міра, руанскій профессор Пуше, корреспондентъ парижской академіи наукъ, повторилъ со всевозможными предосторожностями опыты Шванна и Шульце, произвелъ множество самостоятельныхъ опытовъ и микроскопическихкихъ наблюденій и, наконецъ, послѣ многолѣтнихъ трудовъ, извѣстилъ парижскую академію о томъ, что микроскопическія животныя и растенія возникаютъ и развиваются въ настояхъ при такихъ условіяхъ, при которыхъ ихъ появленіе можетъ быть объяснено только произвольнымъ зарожденіемъ. Академія взволновалась и громко выразила свое недовѣріе. Химикъ Дюма и фیزیологъ Мильнъ-Эдвардъ стали утверждать въ публичномъ засѣданіи, что зародыши животныхъ и растений попали въ аппараты Пуше изъ воздуха, что, по своей мелкости, эти зародыши могутъ пробраться въ сосуды, закупоренные самымъ тщательнымъ образомъ, и что, по своей живучести, эти зародыши могутъ съ полнымъ успѣхомъ сопротивляться жару, далеко превышающему температуру кипѣнія воды. Выдвигая противъ Пуше эти аргументы, Мильнъ-Эдвардъ счелъ даже своимъ долгомъ извиниться передъ своими товарищами по академіи въ томъ, что разсуждаетъ въ ихъ присутствіи о вопросѣ, столь недостойномъ ихъ просвѣщеннаго вниманія. Нѣсколько не смущаясь величественнымъ презрѣніемъ Мильнъ-Эдварда, Пуше подорвалъ аргументацію своихъ оппонентовъ въ самомъ основаніи. Прямыми микроскопическими наблюденіями надъ тѣми пылинками, которыя несутся въ воздухѣ, онъ доказалъ, что воздухъ не заключаетъ въ себѣ ни яичекъ, ни сѣмянъ; тѣ мельчайшія круглыя частички, которыя принимались прежними наблюдателями за яички и за сѣмяна, оказались, по изслѣдованіямъ Пуше, *des grains de fécule* и *des granules de silice*, то есть, такими веществами, которыя не имѣютъ ничего общаго съ зародышами живыхъ организмовъ. Въ началѣ 1859 года, итальянскій ученый Мантегацца пришелъ къ тѣмъ самымъ результатамъ, за которые боролся Пуше. Мантегацца видѣлъ собственными глазами, какъ возникали и развивались въ настояхъ *бактеріи*, одинъ изъ видовъ простѣйшихъ инфузорій. Онъ прослѣдилъ, посредствомъ самыхъ усидчивыхъ микроскопическихкихъ наблюденій, всѣ фазы развитія этихъ животныхъ и совершенно убѣдился въ томъ, что самыя яички формируются въ настояхъ. Академія поколебалась и, 14 марта

1859 года, предложила для конкурса на 1862 годъ тотъ самый вопросъ, который, нѣсколько недѣль тому назадъ, Мильнъ-Эдвардсъ находилъ недостойнымъ ея просвѣщеннаго вниманія. Въ августѣ того же года, вышелъ въ свѣтъ обширный ученый трудъ Пуше, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée, basé sur des nouvelles expériences.» (Этерогенія или трактатъ о произвольномъ зарожденіи, основанный на новыхъ опытахъ). Эта книга, заключающая въ себѣ около 700 страницъ и наполненная фактическими доказательствами, убѣдила всѣхъ безпристрастныхъ специалистовъ. Академія, по настоящему, оставалось только признаться въ томъ, что она ошибалась, и принять съ полною благодарностью новую теорію, какъ драгоценный вкладъ французскаго мыслителя въ сокровищницу общечеловѣческой мысли. Ни одинъ изъ академиковъ не представилъ противъ книги Пуше ни малѣйшаго возраженія. Въ теченіи шести мѣсяцевъ, теорія произвольнаго зарожденія не находила себѣ во Франціи ни одного противника. Наконецъ, въ февралѣ 1860 года, на помощь къ смущенной академіи наукъ подоспѣлъ химикъ Пастеръ. Опыты этого ученаго привели его къ тому убѣжденію, что зародыши дѣйствительно носятъ въ воздухѣ, но не повсемѣстно, и что число ихъ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста, то увеличивается, то уменьшается. Пастеръ беретъ нѣсколько стеклянныхъ сосудовъ одинаковой величины, наливаетъ въ каждый изъ нихъ небольшое количество настоя, кипятитъ ихъ и потомъ, во время кипѣнія воды, запаиваетъ узкія отверстія этихъ сосудовъ надъ огнемъ спиртовой лампы. Затѣмъ онъ переноситъ ихъ въ то мѣсто, гдѣ онъ хочетъ производить опыты надъ составомъ атмосферы, открываетъ ихъ тамъ, наполняетъ ихъ воздухомъ и потомъ опять запечатываетъ ихъ на глухо. Въ нѣкоторыхъ сосудахъ развивается органическая жизнь, а въ другихъ не развивается. Сравнивая число первыхъ съ числомъ вторыхъ, Пастеръ замѣчаетъ, что число вторыхъ становится тѣмъ значительнѣе, чѣмъ чище и спокойнѣе воздухъ того мѣста, въ которомъ совершалось открытіе и наполненіе сосуда. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ у подошвы Юры, *двѣ* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *одиннадцать* остались безплодными. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на одной изъ вершинъ Юры, на высотѣ 850 метровъ надъ уровнемъ моря, *пять* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *пятнадцать* остались безплодными. Наконецъ, изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на склонѣ Монблана, на высотѣ 2000 метровъ, *девятьнадцать* остались безплодными и только *одинъ* наполнился инфузоріями. Изъ этихъ опытовъ Пастеръ выводитъ то заключеніе, что развитіе инфузорій въ настояхъ зависитъ отъ присутствія въ воздухѣ органическихъ зародышей: гдѣ эти зародыши особенно многочисленны, тамъ и инфузорія развиваются особенно успѣшно; гдѣ этихъ зародышей почти совсѣмъ нѣтъ, тамъ и настой остается безплоднымъ. Свѣтила науки съ самою нѣжною любовью усно-

вили теорію Пастера и немедленно приняли творца этой теоріи подъ свое высокое покровительство. Отличіе Пастера отъ прежнихъ панспермистовъ состояло въ томъ, что прежніе признавали *повсемѣстное* существованіе зародышей въ атмосферѣ, а Пастеръ признаетъ только *мѣстное* ихъ существованіе. Прежніе говорили *въздѣ*, а Пастеръ говоритъ *кое-идѣ*. Поэтому доктрина Пастера, въ отличіе отъ прежней *пансперміи*, называется *полу-панспермією* (*sémi-panspérmié*) или *мѣстною панспермією* (*panspérmié localisée*). — Въ то время, когда Пастеръ своею полу-панспермією покорялъ сердца парижскихъ академиковъ, въ академію было прислано изъ Тулузы: «*Микроскопическое изслѣдованіе воздуха*», ученая работа профессора Жюли и доктора естественныхъ наукъ Мюссе. Въ этой работѣ говорилось, что въ воздухѣ нѣтъ ни яичекъ, ни сѣмянъ. Вскорѣ послѣ того, Жюли и Мюссе, посредствомъ собственныхъ опытовъ, убѣдились въ томъ, что Пуше совершенно правъ и что произвольное зарожденіе составляетъ дѣйствительно существующій фактъ. Съ этой минуты они сдѣлались постоянными союзниками Пуше въ той упорной борьбѣ, которая завязалась по вопросу о произвольномъ зарожденіи между научною истиною съ одной стороны и парижскою академією, усыновившею Пастера, съ другой стороны. Ученныя заслуги Пастера, какъ химика, не подлежатъ сомнѣнію: ученая репутація Мильнъ-Эдварса, Дюма, Флуранса, Клода—Бернара и другихъ противниковъ этерогеніи также совершенно незыблема; но, въ настоящее время, поле науки до такой степени обширно и раздѣленіе научнаго труда дошло уже до такихъ размѣровъ, что изслѣдователи принуждены выбирать себѣ не только отдѣльную науку, но еще, кромѣ того, отдѣльную часть отдѣльной науки. Можно быть превосходнымъ зоологомъ и въ то же время имѣть самыя общія и неопредѣленные понятія объ отдѣльныхъ видахъ микроскопическихъ животныхъ, объ ихъ яичкахъ и о томъ, какъ они развиваются. Кто хочетъ дойти до такого совершенства, чтобы узнавать безошибочно одну породу инфузорій отъ другой, и яички одной породы отъ яичекъ другой, тотъ, конечно, долженъ провести надъ сильнѣйшимъ микроскопомъ значительную долю своей жизни. Пастеру, какъ химику, разумѣется, объ этомъ нечего было и думать. Поэтому онъ очень удивился, когда этерогенисты потребовали отъ него, чтобы онъ показалъ и назвалъ поименно тѣ яички и тѣ сѣмяна, которыя, по его мнѣнію, носятъ въ воздухѣ. «Можно ли сказать, отвѣчалъ онъ имъ съ трогательною откровенностью: вотъ это сѣмячко, а вотъ это яичко? И это даже не все; г. Пуше хочетъ, кромѣ того, чтобы я сказалъ: вотъ это сѣмячко такой-то плесени, а вотъ это яичко такой-то инфузоріи. Право, мнѣ это кажется невозможнымъ. Можно только подмѣтить внѣшнее сходство этихъ частичекъ съ зародышами низшихъ организмовъ, вотъ и все.» — Для жестокаго Пуше этого было мало, потому что онъ самъ показывалъ своимъ слушателямъ въ Руанѣ яички и сѣмяна, называлъ ихъ поименно и слѣдилъ за различ-

ными фазами ихъ развитія. Изъ ученыхъ покровителей Пастера, ни Мильнъ-Эдвардсъ, ни Флурансъ, ни Бернаръ не занимались спеціально микроскопическою эмбриологіею, и въ то же время ни одинъ изъ нихъ не хотѣлъ откровенно признаться съ собственной некомпетентности. Изъ этого обстоятельства получился тотъ уродливый результатъ, что специалисты: Пуше, Жоли и Мюссе принуждены были подвергать свои труды суду такихъ людей, которые въ данномъ отдѣлѣ науки годились имъ въ ученики, но которые за то, въ качествѣ заслуженныхъ академиковъ, были гораздо старше ихъ по чину. Изученіе природы было, такимъ образомъ, поставлено въ прямую зависимость отъ табели о рангахъ.

II.

Пастеръ, успѣвшій вытащить заслуженныхъ академиковъ изъ того затруднительнаго положенія, въ которое поставила ихъ невозможность опровергнуть ученыи трудъ Пуше, Пастеръ, говоря я, сталъ быстро хватать одно академическое отличіе за другимъ. Въ декабрѣ 1861 академія присудила ему жекеровскую премію; черезъ годъ его выбаллотировали въ академики, и, вскорѣ послѣ этихъ выборовъ, въ послѣднихъ числахъ 1862 года, ему присудили премію за обсужденіе вопроса о произвольномъ зарожденіи. Присужденіе этой послѣдней преміи было особенно замѣчательно. Коммиссія, которой поручено было разсматривать сочиненія, представленныя на конкурсъ, была составлена изъ пяти членовъ. Вотъ ихъ имена: Мильнъ-Эдвардсъ, Флурансъ, Броньяръ, Серръ и Изидоръ Жоффруа-Сентъ-Илеръ. Первые трое были отъявленными противниками этерогеніи. Послѣдніе два не имѣли противъ нея никакихъ теоретическихъ предубѣжденій. Пуше написалъ для конкурса новую книгу подъ заглавіемъ: *Nouvelles experiences sur la génération spontanée et la résistance vitale*. (Новые опыты на счетъ произвольнаго зарожденія и на счетъ живучести организмовъ.) Это сочиненіе, однако, не попало на конкурсъ, и Пуше, въ предисловіи къ нему, объясняетъ причины этого послѣдняго обстоятельства. «Хотя, говорить онъ, въ коммисіи противники этерогеніи имѣли на своей сторонѣ большинство, я, однако, не унывалъ. Я надѣялся, что серьезный трудъ, наполненный добросовѣстными изслѣдованіями, найдетъ себѣ достаточную защиту со стороны гг. Жоффруа и Серра, которые одни только не имѣли предвзятыхъ намѣреній. — Жоффруа умеръ, и у меня остался одинъ г. Серръ, который предупреждалъ меня, что его безъ сомнѣнія, отзовутъ изъ коммисіи. Я считалъ это невозможнымъ. Однако, случилось именно такъ. Въ коммисію вступили гг. Костъ и Клодъ Бернаръ; такимъ образомъ, вся коммисія оказалась составленною изъ противниковъ этерогеніи. Я все-таки оста-

вался при прежнемъ своемъ намѣреніи. Но когда я имѣлъ честь побывать у г. Мильнѣ Эдвардса, онъ сказалъ мнѣ напрямикъ: «я даю премію г. Пастеру, потому что я видѣлъ его опыты и они совершенно убѣдили меня». Этотъ приемъ сразу поражающъ остракизмомъ всю провинцію. Я немедленно объявилъ знаменитому зоологу, что я отказываюсь отъ конкурса. Моему примѣру послѣдовали господа Жоли и Мюссе, двое самыхъ замѣчательныхъ и ученыхъ защитниковъ этерогеніи». Вотъ какія удивительныя дѣла творятся въ наше время въ знаменитѣйшей изъ европейскихъ академій. Однако, неугомонные этерогенисты оказались такими жестокосердными и неделикатными людьми, что продолжали огорчать и волновать несчастную академію различными заявленіями, которыя, очевидно, были для нея совершенно неинтересны даже въ высшей степени непріятны. Академіи не угодно было, чтобы микроскопическія животныя и растенія развивались сами собою въ настояхъ; академія уже достаточно ясно выразила свое полное отвращеніе къ теоріи Пуше и свое столь же полное сочувствіе къ доктринѣ Пастера. Этерогенистамъ, очевидно, оставалось только взглянуть на табель о рангахъ, смириться духомъ и раскаяться въ томъ, что они, помимо старшихъ чиновниковъ науки, осмѣлились дѣлать открытія и создавать теоріи. Пуше, Жоли и Мюссе поступили какъ разъ наоборотъ. Въ 1663 году, они втроемъ отправились нарочно въ Пиринейскія горы и взлѣзли на вершину Маладетты, чтобы произвести тамъ надъ стеклянными сосудами тѣ операціи, которыя были произведены Пастеромъ на Юрѣ и на Монбланѣ. На вершинѣ Маладетты, среди вѣчныхъ снѣговъ, этерогенисты вскрыли, наполнили воздухомъ и запаляли снова восемь стеклянныхъ сосудовъ. Такъ какъ высота Маладетты вовсе не уступаетъ высотѣ того пункта на Монбланѣ, на которомъ Пастеръ производилъ свои опыты, и такъ какъ воздухъ среди вѣчныхъ снѣговъ долженъ быть одинаково чистъ въ Альпахъ и въ Пиренеяхъ, то, принимая въ соображеніе результаты, полученные Пастеромъ (изъ 20 сосудовъ 19 безплодныхъ), надо было ожидать, что всѣ восемь сосудовъ Пуше, Жоли и Мюссе останутся ненаселенными. Вышло какъ разъ наоборотъ. Всѣ восемь обнаружили въ себѣ на пятый день присутствіе растительной и животной жизни. Этимъ извѣстіемъ злобные этерогенисты не преминули огорчить несчастную академію. Академія, какъ и слѣдовало ожидать, заткнула себѣ уши, зажмурила глаза и, отмахиваясь руками, стала повторять на разные лады, что ея Пастеръ отличный человекъ, что онъ сдѣлалъ множество превосходѣйшихъ опытовъ, что вопросъ окончательно рѣшенъ и что отъ добра добра не ищутъ. Зоологи: Мильнѣ-Эдварсъ и Катрфажъ, химики: Реньо и Сентъ-Клеръ-Девиль, и самъ непремѣнный секретарь академіи, Флурансъ, въ публичномъ засѣданіи стали распинаться за безукоризненность пастеровыхъ опытовъ. Злые люди сомнѣваются впрочемъ въ томъ, чтобы химики могли быть компетентными судьями въ запутанномъ фізіологическомъ вопросѣ; злые люди при-

поминають, кромѣ того, нѣкоторые опыты самого Мильнъ-Эдварса и нѣкоторыя наблюденія самого Катрфажа, которые никакъ не могутъ быть названы безукоризненными; Мильнъ-Эдварсъ держалъ настой въ безвоздушномъ пространствѣ и потомъ праздновалъ побѣду надъ теоріею произвольнаго зарожденія, опираясь на то обстоятельство, что въ этомъ настоѣ не появлялось ни животныхъ, ни растений. Катрфажъ принималъ круглыя и овальныя пылинки, попадающіяся въ воздухъ, за яички и сѣмяна, и успокоился на этомъ вѣрованіи, не подвергая его дальнѣйшему анализу. Наконецъ, злые люди не оставляютъ въ покоѣ даже непремѣннаго секретаря академіи. О немъ разсказываются во французской печати слѣдующія двѣ легенды, которыя, конечно, даютъ достаточное понятіе о злости и коварствѣ его враговъ, осмѣлившихся взводить на него такую напраслину: «Однажды, пишетъ злой человѣкъ, Викторъ Менье, одинъ этерогенистъ вручилъ одну стеклянку одному изъ членовъ академіи наукъ. Эта стеклянка заключала въ себѣ обильную растительность *aspergillus* овъ, образовавшихъ въ ней роскошный зеленый коверъ. Къ несчастью (точно ли это несчастье?), этерогенистъ забылъ сказать академику, своему судѣѣ, названіе той вещи, которую онъ ему показывалъ.

Съ стеклянкою въ лѣвой рукѣ, съ лупою въ правой, приклеившись глазомъ къ увеличительному стеклу, авторитетъ долго предавался созерцацію. Затѣмъ, ставя стеклянку на столъ: «хорошо!» сказалъ онъ. Покажите же вы мнѣ теперь эти знаменитые *aspergillus*, о которыхъ было говорено такъ много.

— Т. I. R. пріѣзжалъ ко мнѣ; онъ видѣлъ мои опыты; онъ уѣхалъ окончательно убѣжденный, говорилъ тотъ же этерогенистъ тому же академику.

— Это не авторитетъ!

— Но этерогенія, осмѣянная во Франціи, съ каждымъ днемъ привлекаетъ къ себѣ новыхъ приверженцевъ въ заграничныхъ академіяхъ и университетахъ.

— (Ударяя себя въ грудь). Нѣтъ другой академіи наукъ!

— Но вашъ товарищъ по академіи Т. С. видѣлъ и остался доволенъ.

— Ахъ! видите ли, надо, чтобы я самъ провѣрилъ ваши опыты.

— Я къ вашимъ услугамъ. Я пробуду здѣсь двѣ недѣли, мѣсяцъ...

— Нѣтъ, мои занятія... слабость моего здоровья...

Тѣмъ дѣло и кончилось. Можетъ быть, я поступаю нескромно, но я знаю навѣрное, что я не искажаю фактовъ. Возвращаясь къ г. Флурансу (точно ли мы разставались съ нимъ?), я замѣчу, что этотъ фیزیологъ въ жизни своей не сдѣлалъ ни одного опыта, относящагося къ этерогеніи.» (La science et les savants en 1864 p. 168). Однако, какія бы неправдоподобныя легенды ни распространяли злые люди, академія, проникнутая высокимъ сознаніемъ своего генеральскаго чина, сдѣлала свое дѣло очень успѣшно. Ея непоколебимая ненависть къ этерогеніи навела такой ужасъ

на огромное большинство официальных представителей французской науки, что очень многие тайные доброжелатели отверженной теории остерегаются выражать громко свои греховныя симпатіи, потому что эти симпатіи съ величайшимъ удобствомъ могутъ совершенно испортить ихъ ученую карьеру. Однажды Пуше получилъ отъ *одного изъ самыхъ замѣчательныхъ профессоровъ медицинскаго факультета* сочувственное письмо, изъ котораго онъ въ своей послѣдней книгѣ напечаталъ слѣдующій отрывокъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ классическихъ пеленокъ, и съ тѣхъ поръ, какъ я началъ размышлять собственнымъ умомъ, я примкнулъ къ приверженцамъ произвольнаго зарожденія, и въ настоящее время я дивлюсь, только тому, какимъ образомъ есть до сихъ поръ умные люди, способные удовлетвориться смѣшною выдумкою пансперміи! Но вы не надѣйтесь чтобы кто нибудь изъ панспермистовъ обратился на путь истины. Чѣмъ пристальнѣе я изучаю ходъ прогресса, тѣмъ сильнѣе я убѣждаюсь въ томъ, что только коса времени способна его осуществить, потому что только одна смерть побѣждаетъ упрямство ученыхъ». Авторъ этого письма не уполномочилъ Пуше назвать его по имени. Онъ не желаетъ ссориться съ академическимъ генералитетомъ и поэтому не осмѣливается заявить публично свое мнѣніе объ отверженномъ ученіи этерогенистовъ. «Да, замѣчаетъ по этому случаю Менѣе, есть такія научныя истины, о которыхъ неудобно говорить; кто не хочетъ жертвовать собою, тому часто приходится жертвовать истиною; кто не имѣетъ мѣста и желаетъ его получить; кто лишентъ рабочихъ инструментовъ и желаетъ пріобрѣсти казенную лабораторію; кто, по недостатку средствъ, не можетъ работать и проситъ себѣ денежнаго вспомошествованія; кто, доведя работу до конца, стремится къ преміи или къ почетному отзыву; кто, живя въ захолустѣ, мечтаетъ о томъ, чтобы его вызвали въ Парижъ; кто, будучи честнымъ человекомъ, желаетъ украсить свою петлицу видимыми знаками своихъ достоинствъ; кто, будучи кавалеромъ (почетнаго легіона) хочетъ сдѣлаться офицеромъ того же ордена; кто, непричастный къ академіи, жаждетъ получить титулъ корреспондента; кто, сдѣлавшись корреспондентомъ, стремится сдѣлаться членомъ; кто, занимая одну кафедру, простираетъ свои виды на другую и т. д.—всѣ такіе ученые осуществляютъ свои стремленія только въ томъ случаѣ, если они будутъ служить въ одно время, но не съ одинаковымъ усердіемъ, двумъ господамъ, напримѣръ, астрономіи и господину такому-то, физиологій и господину такому-то, химіи и господину такому-то, зоологій и господину такому-то, искусственному разведенію устрицъ и господину такому.» (Тамъ же р. 164).

III.

Распря между наукою и академическими генералами продолжалась уже пять лѣтъ, когда, наконецъ, въ ноябрѣ 1863 года, этерогенисты Жоли и Мюссе сдѣлали академіи слѣдующее предложеніе: «Есть возможность, писали они, рѣшить очень просто этотъ безконечный споръ. Пусть академія наукъ со- благоволитъ назначить комиссію, передъ которою г. Пастеръ и мы повто- римъ главные опыты, на которыхъ основываются, съ этой и съ другой сто- роны, столь противоположныя заключенія. Что касается до насъ то мы считали бы себя счастливыми, если бы знаменитое общество обратило серьезное вниманіе на ту просьбу, которую мы осмѣливаемся передъ нимъ выразить». — Когда это письмо было прочитано въ засѣданіи академіи, тогда Пастеръ изъявилъ, съ своей стороны, полное согласіе. Двѣ недѣли спустя послѣ этого засѣданія, Пуше также присоединился къ прошенію своихъ союзниковъ, Жоли и Мюссе. Въ декабрѣ, президентъ академіи, генералъ Моренъ, назначилъ членами комиссіи Флуранса, Дюма, Мильнъ-Эдварса, Броньяра и Балара. Любопытно замѣтить, что этотъ генералъ Моренъ, тотъ самый, который, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», мо- жетъ рѣшать безапелляціонно вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ, подо- бралъ для комиссіи такихъ людей, которые несчетное число разъ деклами- ровали противъ этерогеніи и которыхъ, слѣдовательно, личное самолюбіе сильнѣйшимъ образомъ побуждало къ тому, чтобы оправдать Пастера и об- винить Пуше, Жоли и Мюссе. — Противъ своеобразнаго распоряженія ге- нерала Морена не возражалъ ни одинъ изъ присутствовавшихъ академи- ковъ; такая манера составлять комиссіи, очевидно, начинаетъ обращаться въ привычку; комиссія по поводу конкурса была составлена точно такимъ же образомъ. Флурансу, Мильнъ-Эдвардсу и Броньяру, увѣнчавшимъ Па- стера и отстранившимъ отъ конкурса *всю провинцію* этерогенистовъ, пред- стоялъ теперь удобный случай забрать этихъ этерогенистовъ живьемъ и приковать ихъ къ триумфальной колесницѣ великаго изобрѣтателя полу- пансперміи. Можно было сомнѣваться только въ одномъ: именно въ томъ, окажутся ли этерогенисты на столько добродушными и довѣрчивыми, чтобы, по собственному желанію, отдаться въ руки тѣхъ самыхъ судей, ко- торые уже одинъ разъ заявили блистательно въ отношеніи къ нимъ все ве- личіе своего безпристрастія и своей компетентности. Можно было думать, что, увидѣвъ слишкомъ знакомыя имена: Мильнъ-Эдвардса, Флуранса и Броньяра, они примутъ такой составъ комиссіи за пріятную шутку со сто- роны генерала Морена и отвѣтять этому любимцу «Московскихъ Вѣдомо- стей», что если ему угодно шутить, то имъ нисколько не угодно тратить

время на бесполезное путешествіе въ Парижъ и на увеселеніе чиновныхъ благодѣтелей счастливаго полупанспермиста. Однако, вышло совсѣмъ не то. Этерогенисты оказались невинными дѣтьми золотого вѣка, и даже самъ Пуше, описавшій въ предисловіи къ своей книгѣ свой оригинальный разговоръ съ Мильнъ-Эдвардсомъ по поводу конкурса, даже самъ Пуше согласился подчиниться суду комиссіи, составленной генераломъ Мореномъ. Конечно, такая идилическая довѣрчивость заслуживала строгаго наказанія; и академики дѣйствительно позаботились о томъ, чтобы ихъ опрометчивые противники перечувствовали понемногу всѣ непріятности, составляющія естественное слѣдствіе ихъ непростительной неосторожности. Комиссія пригласила этерогенистовъ пріѣхать въ Парижъ въ первыхъ числахъ марта. Этерогенисты отвѣчали на это приглашеніе, что, для полного успѣха ихъ опытовъ необходима лѣтняя температура, которая не можетъ быть замѣнена въ этомъ случаѣ никакими искусственными средствами; поэтому, они попросили себѣ отсрочки до іюня. Пастеръ, конечно, не замедлилъ возликовать публично. Онъ всталъ и, въ полномъ заведеніи академіи, громко выразилъ свое изумленіе по поводу той отговорки, которую представляютъ гг. Пуше, Жюли и Мюссе. «Что касается до меня, прибавилъ онъ, то я спѣшу объявить, что я готовъ къ услугамъ академіи: лѣтомъ, весною, и во всякое другое время года, — я всегда могу повторить мои опыты.» Своею смѣлой рѣчью и своею всегдашней готовностью Пастеръ хотѣлъ оттѣнить съ самой невыгодной стороны робость и уклончивость своихъ противниковъ; друзья Пастера, разумѣется, оцѣнили вполнѣ его несокрушимую храбрость и съ великодушіемъ, достойнымъ ихъ высокаго чина, согласились дать просимую отсрочку его трепещущимъ противникамъ. Геройское мужество Пастера и позорное малодушіе этерогенистовъ объясняются совершенно удовлетворительно особенными свойствами ихъ противоположныхъ доктринъ. Представьте себѣ, что Пастеръ и Пуше производятъ одновременно одинъ и тотъ же опытъ, надъ одинаковымъ количествомъ стеклянныхъ сосудовъ, заключающихъ въ себѣ одинаковыя порціи одного и того же настоя. Спрашивается, какой результатъ долженъ получить Пуше для того, чтобы отстоять свою теорію? Очевидно, тотъ результатъ, чтобы всѣ его сосуды наполнились животными и растеніями. Если изъ сотни его сосудовъ *одинъ* останется безплоднымъ, то противники его скажутъ тотчасъ, что остальные девяносто-девять наполнились инфузоріями только благодаря случайному присутствію органическихъ зародышей въ окружающей атмосферѣ. Полупанспермія отпразднуетъ тотчасъ шумную и блистательную побѣду. Если возникновеніе органической жизни составляетъ естественное и необходимое слѣдствіе извѣстныхъ условій, то органическая жизнь должна развиваться всегда и вездѣ, когда и гдѣ оказываются соблюденными эти условія. Исключеній быть не можетъ, потому что законы природы никакихъ

исключений не допускаютъ. Поэтому понятно, что Пуше и его товарищи соглашались производить свои опыты только лѣтомъ, то есть тогда, когда соединяются всѣ условія, необходимыя для возбужденія органической жизни. — А какой же результатъ долженъ получить Пастеръ для того, чтобы отстоять свою полупанспермію? — Какой угодно результатъ. Ему рѣшительно все равно. Его теорія особенно удобна въ томъ отношеніи, что она даетъ ему возможность выигрывать процессъ во всякомъ случаѣ. Если вся сотня сосудовъ наполнится животными и растеніями, то Пуше, конечно, окажется правъ, но и Пастеръ тоже окажется правъ. Пастеръ скажетъ только, что въ воздухѣ носились, во время открыванія сосудовъ, цѣлыя тучи органическихъ зародышей. Если вся сотня останется безплодною, то Пуше будетъ разбитъ на голову, а Пастеръ восторжествуетъ. Онъ скажетъ, что воздухъ былъ совершенно чистъ. Если въ однихъ сосудахъ появится органическая жизнь, а въ другихъ не появится, то Пуше опять будетъ разбитъ на голову, а Пастеръ не будетъ знать границъ своему ликованію. Вотъ она и есть, моя полупанспермія, скажетъ онъ съ гордостью. Въ однихъ мѣстахъ попались зародыши, а въ другихъ не попались. Вы видите, такимъ образомъ, что Пастеръ непобѣдимъ и неуязвимъ. Его опыты не допускаютъ никакой неудачи, то есть, нѣтъ возможности придумать такую комбинацію, при которой эти опыты повернулись бы противъ его теоріи. Мильнъ-Эдвардсъ, въ одной изъ своихъ статей, помѣщенныхъ въ январскомъ номерѣ *Annales de Zoologie* за 1865 годъ, даетъ намъ наглядное доказательство этой истины. Онъ упоминаетъ объ опытахъ Пуше, Жоли и Мюссе на вершинѣ Маладетты и находитъ, что эти опыты ровно ничего не доказываютъ въ пользу этерогеніи и противъ полупансперміи. «Если, говоритъ онъ, мы предположимъ, что опыты гг. Пуше, Жоли и Мюссе были сдѣланы правильно, то и тогда эти опыты доказываютъ только, что въ томъ мѣстѣ и въ ту минуту, гдѣ и когда восемь сосудовъ этихъ натуралистовъ наполнялись воздухомъ, атмосфера заключала въ себѣ больше органической пыли, чѣмъ сколько ея было на вершинѣ Юры въ то время, когда тамъ находился г. Пастеръ.» (р. 36). Послѣ этого понятно, что Пастеръ обнаруживаетъ несокрушимую храбрость и вызывается повторять свои опыты днемъ и ночью, зимою и лѣтомъ, на экваторѣ и за полярнымъ кругомъ. Понятно также, что въ этомъ отношеніи этерогенисты никакъ не могутъ за нимъ угоняться. Покуражившись надъ малодушными этерогенистами въ академіи, Пастеръ, вслѣдъ за тѣмъ, употребилъ всѣ усилія, чтобы очернить, опошлить и осмѣять ихъ передъ парижскимъ *beau monde*, въ публичной лекціи, читанной по спорному вопросу въ Сорбоннѣ, 7-го апрѣля 1864 года. Онъ началъ свою лекцію съ того, что обвинилъ этерогенистовъ въ матеріализмѣ и въ атеизмѣ. Какое торжество, милостивые государи, сказалъ онъ, какое торжество для матеріализма, если бы онъ могъ утверждать, что матерія дѣйствительно орга-

низуется и оживляется сама собою; матерія, которая уже заключаетъ въ себѣ всѣ извѣстныя силы... Ахъ! если бы мы еще могли придать ей ту силу, которая называется жизнью, если бы мы могли придать ей такую жизнь, которая видоизмѣнялась бы въ своихъ проявленіяхъ вмѣстѣ съ условіями нашихъ опытовъ, то, естественнымъ образомъ, мы должны были бы придти къ обоготворенію этой самой матеріи. Къ чему тогда допускать первобытное твореніе, передъ тайною котораго мы поневолѣ должны преклоняться? Къ чему тогда идея Бога-создателя?» Доказавши добродушнымъ парижанамъ, посредствомъ такихъ восклицательныхъ и вопросительныхъ тирадъ, что Пуше и его союзники— великіе грѣшники, праведный Пастеръ началъ доказывать такими же солидными аргументами, что Пуше и его союзники— плохіе экспериментаторы, диллетанты въ наукѣ и ограниченные люди, неспособные построить ни одного правильного силлогизма. Чтобы убить этерогенистовъ насмѣшками, Пастеръ откопалъ въ лѣтописяхъ науки опыты Ванъ-Гелмонта, жившаго въ XVII вѣкѣ и утверждавшаго, съ свойственною тогдашнимъ людямъ серьезностію, что мыши рождаются отъ химическаго дѣйствія грязнаго бѣлья на хлѣбныя зерна. Этими мышами Ванъ-Гелмонта, остроумный Пастеръ настойчиво колетъ глаза современнымъ этерогенистамъ; онъ проводитъ язвительную параллель между ихъ опытами и опытами Ванъ-Гелмонта, и публика, разумѣется, приходитъ въ восхищеніе, смѣется и аплодируетъ, во-первыхъ, потому, что ей очень пріятно понимать совершенно ясно несостоятельность теоріи Ванъ-Гелмонта, во-вторыхъ, потому, что ей еще болѣе пріятно видѣть передъ собою на кафедрѣ любезнаго шутника, превращающагося, по временамъ, въ пламеннаго защитника оскорбляемой нравственности, и, въ-третьихъ, потому, что ей всего пріятнѣе, безъ всякаго умственнаго напряженія, относиться сверху внизъ къ трудамъ и размышленіямъ серьезныхъ работниковъ, подобныхъ Пуше, Жоли и Мюссе. Овладевъ такимъ образомъ, вниманіемъ и благосклонностію своихъ безхитростныхъ слушателей, искусный Пастеръ начинаетъ безбоязненно хвалить и величать самого себя, какъ разрушителя всякихъ гелмонтовскихъ фантазмагорій и предается этому сладостному занятію до самаго конца своей лекціи. Когда лекція Пастера появилась въ печати, Викторъ Менѣе принялъ на себя трудъ сосчитать, сколько разъ въ этой лекціи употреблено мѣстоимѣніе я. Оказалось, что оно встрѣчается въ ней *сто тридцать семь* разъ. Если бы Пастеру заблагоразсудилось прочитать публикѣ обширную главу изъ своей автобіографіи, то и тогда его собственная особа врядъ ли могла бы играть въ его лекціи болѣе значительную роль. Даже академическіе благодѣтели краснорѣчиваго Пастера нашли послѣ этой лекціи, что полупанспермистское усердіе ихъ protégé завлекло его слишкомъ далеко и заставило его хватить черезъ край. На нѣкоторыхъ не совсѣмъ наивныхъ слушателей Пастера, его тирады, его сарказмы, его самохвалство и весь догматическій тонъ его лекціи произвели

самое непріязненное впечатлѣніе. «Я вошелъ сюда, сказалъ одинъ журналистъ, обращаясь къ Менѣ, не имѣя никакого опредѣленнаго мнѣнія о произвольныхъ зарожденіяхъ. Я уйду отсюда съ полнымъ убѣжденіемъ, что г. Пастеръ ошибается, и я это напечатаю». Само собою разумѣется, что далеко не всѣ журналисты взглянули на дѣло съ этой точки зрѣнія и что у Пастера нашлось между пишущими и печатающими людьми достаточное количество панегиристовъ. «Надо было, писать объ его лекціи іезуитъ Муаньо въ одномъ изъ періодическихъ изданій, надо было обратиться къ спиритуализму скептиковъ и матеріалистовъ. Г. Пастеръ сознавалъ свою миссію; онъ чувствовалъ, что на немъ лежитъ обязанность спасти человѣческія души.» Ученые благодѣтели произвели Пастера въ академики; клерикальная партія провозглашаетъ его пастыремъ человѣческихъ душъ; не мудрено, что, снискавъ себѣ своею догадливостью такую сильную и разнообразную протекцію, безукоризненный Пастеръ сдѣлается со временемъ сенаторомъ и министромъ. Что же касается до его противниковъ, то, разумѣется, они не получаютъ ничего, кромѣ всемірной и вѣчной извѣстности. О такихъ неосознательныхъ пустякахъ благоразумные люди никогда не заботятся.

IV.

Въ половинѣ іюня 1864 года, этерогенисты пріѣхали въ Парижъ. Первое засѣданіе комиссіи показало имъ немедленно, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло и въ какомъ направленіи будетъ происходить все изслѣдованіе. Мильнъ-Эдвардсъ, съ свойственнымъ ему юпитерствомъ, сказалъ имъ прямо: «Вы будете дѣлать то, что мы вамъ скажемъ, и такъ, какъ мы того пожелаемъ.» Флурансъ, въ частномъ разговорѣ съ этерогенистами, увѣрялъ ихъ, что комиссія предоставитъ имъ полную свободу въ выборѣ и въ расположеніи тѣхъ опытовъ, на которыхъ они основывали свою теорію, но, въ засѣданіи комиссіи, тотъ же Флурансъ примкнулъ къ Мильнъ-Эдвардсу и къ его союзнику, Броньяру. Остальные члены комиссіи, химики Дюма и Базаръ, соглашаясь съ своими товарищами, хотѣли совершенно устранить изъ программы испытанія все, что выходило за предѣлы органической химіи и относилось къ области фізіологіи. Словомъ, комиссія требовала единогласно, чтобы этерогенисты сдѣлали опытъ Пастера и чтобы, кромѣ этого опыта, они не дѣлали ровно ничего. Но, какъ мы уже видѣли въ предъидущей главѣ, самъ Мильнъ-Эдвардсъ объявляетъ печатно, что опытъ Пастера, при какомъ угодно исходѣ, не даетъ никакого доказательства въ пользу произвольнаго зарожденія. Значитъ, при-
нуждая этерогенистовъ ограничиваться опытомъ Пастера, комиссія зара-

нѣе отнимала у нихъ всякую возможность доказать вѣрность ихъ теоріи. Коммиссія заставляла этерогенистовъ играть въ такую игру, въ которой для нихъ не было выигрыша. На это этерогенисты, разумѣется, не могли согласиться. Не отказываясь повторить опытъ Пастера, они говорили въ то же время, что этотъ опытъ самъ по себѣ ничтоженъ и что ихъ теорія основывается на множествѣ другихъ опытовъ, гораздо болѣе важныхъ и знаменательныхъ. Прежде всего говорили они, надо заняться микрографіею воздуха. Яички крупнѣйшихъ инфузорій, покрытыхъ рѣсничными волосками, на столько велики, что сильный микроскопъ даетъ намъ возможность очень явственно различать ихъ фигуру и специфическія особенности. Эти яички извѣсны микрографамъ, подробно описаны и тщательно нарисованы ими. Значить, надо прежде всего, посредствомъ тщательныхъ микроскопическихъ изслѣдованій, доказать коммиссіи, что яички *крупнѣйшихъ* инфузорій никогда не встрѣчаются въ воздухѣ. Когда это отсутствіе яичекъ будетъ доказано, тогда можно будетъ производить опыты, не пропуская воздухъ ни черезъ сѣрную кислоту, ни черезъ раскаленные трубки; кромѣ того, можно будетъ допустить, чтобы къ настою прикасались не кубическіе дюймы, а цѣлые кубическіе метры воздуха, что оказывается невозможнымъ, когда опытъ производится въ закупоренномъ сосудѣ или когда воздухъ проводится въ сосудъ сквозь узенькія трубочки, загроможденные разными химическими ингредиентами. При свободномъ притоцѣ цѣлыхъ массъ чистаго воздуха, въ настояхъ будутъ появляться *крупныя* инфузоріи, и породы этихъ животныхъ будутъ измѣняться, смотря по тому, какое вещество положено въ настой, смотря по тому, какъ велико количество всего настоя, и смотря по тому, на сколько данный настой крѣпокъ или слабъ. Форма и размѣры сосудовъ также будутъ имѣть вліяніе на характеръ микроскопической фауны и флоры. Этерогенисты хотѣли произвести въ присутствіи коммиссіи множество другихъ опытовъ, о которыхъ я не буду распространяться. Приведеннаго примѣра вполне достаточно, чтобы показать читателямъ, до какой степени далеко расходились между собою розовыя надежды подсудимыхъ этерогенистовъ и суровыя требованія академическаго ареопага. «Я химикъ, говоритъ имъ Дюма, и согласился засѣдать въ коммиссіи для того, чтобы присутствовать при химическомъ опытѣ. До остальнаго мнѣ дѣла нѣтъ.» — «Я не микрографъ», возражаетъ Баларъ, когда этерогенисты заикаются о микроскопическомъ изслѣдованіи воздуха. Одинъ изъ этерогенистовъ, Мюссе, обращается наконецъ къ самому Пастеру: «Мы надѣмся, по крайней мѣрѣ, говоритъ онъ, что г. Пастерь покажетъ намъ тѣ зародыши, которымъ онъ приписываетъ такое важное значеніе.—Я показывалъ ихъ всему Парижу, отвѣчаетъ Пастерь съ неудержимою храбростію.—Вы намъ должны ихъ показывать, возражаетъ Мюссе.— На этотъ разъ Пастерь не удостоиваетъ его отвѣта и поступаетъ въ этомъ случаѣ весьма благоразумно, потому что

показать какуюнибудь штуку знающему человеку гораздо труднее, чѣмъ показать ее всему Парижу. Кромѣ того, даже и всему Парижу Пастеръ никогда не *показывалъ* ничего похожаго на органическіе зародыши. Онъ очень много говорилъ объ этихъ зародышахъ, но говорить и показывать — двѣ вещи разныя, а Пуше, Мюссе и Жоли держатся того правила, что соловья баснями не кормятъ. Наконецъ, видя, что ареопагъ упорствуетъ въ своемъ намѣреніи остановиться исключительно на одномъ опытѣ Пастера, этерогенисты ссылаются на букву условій, заключенныхъ ими съ академіею. Въ письмѣ Жоли и Мюссе было положительно сказано, что они просятъ академію назначить комиссію, передъ которою они могли бы повторить «*главные опыты*», на которыхъ основываются съ той и съ другой стороны, столь противоположныя заключенія.» Когда Пастеръ, съ своей стороны, поддерживалъ эту просьбу этерогенистовъ, тогда онъ повторилъ буквально эти же самыя слова. Когда академія назначила комиссію, тогда она поручила ей присутствовать при тѣхъ опытахъ, которыхъ результаты считаются противными или благоприятными для доктрины произвольныхъ зарожденій. Всѣ переговоры по этому дѣлу, всѣ рѣшенія академіи напечатаны въ академическихъ отчетахъ (*Compt-s rendus*). Этерогенисты указывали на печатные документы; они говорили, что *повторить главные опыты* не значитъ сдѣлать одинъ опытъ Пастера, и притомъ такой опытъ, который они вовсе не причисляютъ къ разряду главныхъ. Наконецъ, они сдѣлали комиссіи слѣдующее предложеніе: «Мы согласны начать съ опыта г. Пастера, но, въ такомъ случаѣ, вы даете намъ обѣщаніе присутствовать при другихъ опытахъ, которые, по нашему мнѣнію, гораздо важнѣе перваго.» — Комиссія отказалась; этимъ кончилось первое засѣданіе. Черезъ нѣсколько дней, Флурансъ увѣдомилъ этерогенистовъ, что комиссія остается при своемъ прежнемъ рѣшеніи. Въ отвѣтъ на письмо Флуранса, этерогенисты изложили ему письменно ту программу, по которой они намѣрены расположить свои опыты. Тогда комиссія пригласила ихъ явиться въ Музеумъ естественной исторіи, въ лабораторію Шевреля, въ которой должно было происходить изслѣдованіе. Этерогенисты подумали, что комиссія принимаетъ ихъ программу, и со всѣми своими приборами, рисунками и инструментами отправились въ назначенное мѣсто. Второе засѣданіе комисси открылось тѣмъ, что комиссія пригласила Пастера приступить къ его извѣстному опыту. Пастеръ поставилъ передъ собой большой сосудъ, заключавшій около десяти метровъ ($\frac{4}{5}$ ведра) раствора пивной гущи, и началъ разливать этотъ растворъ въ маленькіе стеклянные сосуды съ узкимъ горлышкомъ. Пуше спросилъ въ это время, принимаетъ ли комиссія ихъ программу, и не получилъ на этотъ вопросъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Отъ нечего дѣлать, этерогенисты стали вглядываться въ манипуляціи Пастера и тотчасъ подмѣтили слабыя стороны его экспериментовъ. Во-первыхъ, растворъ былъ чересчуръ жидокъ, что составляетъ одно изъ са-

мыхъ важныхъ препятствій для зарожденія микроскопическихъ организмовъ. Во-вторыхъ, Пастеръ не взбалтывалъ большого сосуда передъ наливаніемъ жидкости въ мелкіе сосуды; понятно, что жидкость успѣла отстояться, что твердыя частицы раствора опустились на дно и что, вслѣдствіе этого, въ мелкихъ сосудахъ долженъ оказаться растворъ различной плотности, который, сообразно съ своею различною плотностью, дастъ непремѣнно различные результаты. Въ-третьихъ, Пастеръ кипятилъ жидкость мелкихъ сосудовъ совершенно произвольнымъ образомъ: одинъ сосудъ онъ держалъ надъ огнемъ двѣ минуты, другой три, третій пять, четвертый одну и такъ далѣе. — Жидкость употребленнаго раствора объясняетъ, по мнѣнію этерогенистовъ, отсутствіе органической жизни въ большей части пастеровскихъ сосудовъ, а присутствіе микроскопическихъ организмовъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сосудовъ объясняется тѣмъ, что въ эти сосуды, по небрежности экспериментатора, попался растворъ болѣе густой или подвергнутый менѣе продолжительному кипяченію. Когда этерогенисты высказали эти замѣчанія, тогда нѣкто изъ членовъ комиссіи не нашелъ противъ нихъ ни одного возраженія, что, однако, нисколько не помѣшало всѣмъ этимъ членамъ впослѣдствіи превозносить по прежнему любезнаго Пастера, какъ искуснѣйшаго и остроумнѣйшаго экспериментатора. Наконецъ, великій магикъ Пастеръ окончилъ свое переливаніе изъ пустого въ порожнее; онъ наполнилъ, вскипятилъ и запалялъ всѣ свои сосуды. Тогда этерогенисты предложили, съ своей стороны, сдѣлать нѣсколько опытовъ, которые они считали рѣшительными. Ареопажъ отвѣчалъ имъ на это, что онъ будетъ смотрѣть на ихъ опыты, когда самъ сочтетъ это нужнымъ и своевременнымъ. — «Скажите же намъ, наконецъ, принимаете ли вы нашу программу?» спросили этерогенисты. — Мильнъ-Эдвардсъ до самаго конца остался вѣренъ своему юпитеровскому характеру. «Было бы нелѣпо требовать, отвѣтилъ онъ, чтобы комиссія слушалась вашихъ приказаній.» Остальные члены комиссіи своимъ молчаніемъ подтвердили его величественное рѣшеніе. Этерогенисты раскланялись съ своими судьями и объявили имъ, что они считаютъ дѣло оконченнымъ. 27-го іюня, Пуше, Жоли и Мюссе представили академіи письмо, которое оканчивается слѣдующими словами: «Такъ какъ мы встрѣтили совершенно неожиданныя препятствія, то мы думаемъ, по совѣсти, что намъ остается только протестовать, во имя науки, и предоставить рѣшеніе нашего дѣла будущему.»

V.

Не смотря на колоссальныя усилія академіи задавить этерогенію всѣми правдами и неправдами, эта доктрина въ настоящее время принята уже многими замѣчательными учеными. Къ ней склонились, на основаніи са-

мостоятельныхъ опытовъ, Ричардъ Оуэнъ въ Лондонѣ, Шаффгаузенъ въ Базелѣ, Мантегацца въ Павіи, Кастольди въ Миланѣ, Уайманъ въ Кембриджѣ (въ сѣверной Америкѣ). Бюхнеръ и Карлъ Фохтъ распространяютъ эту доктрину въ кругу своихъ многочисленныхъ нѣмецкихъ читателей. Словомъ, истина непремѣнно пробьетъ себѣ дорогу; но любопытно замѣтить, что это пробиваніе совершается не при содѣйствіи, а помимо и вопреки усиліямъ тѣхъ людей, которые осыпаны деньгами и почестями, какъ офиціальныя хранители, искатели и распространители научной истины. Если мы оглянемся назадъ на исторію науки въ послѣдніе два-три столѣтія, то мы увидимъ, съ немалымъ изумленіемъ, что почти каждое великое открытіе, почти каждая плодотворная идея встрѣчали себѣ въ ученыхъ корпораціяхъ самое грубое не пониманіе, самое близорукое презрѣніе и самое недобросовѣстное преслѣдованіе. Гонителями новой истины оказывались постоянно тѣ личныя или коллегіальныя авторитеты, въ пользу которыхъ масса такъ называемыхъ образованныхъ обществъ такъ охотно и такъ неосторожно отказывается отъ своего естественнаго, драгоцѣннаго права вглядываться и вдумываться въ явленія природы и человѣческой жизни. — Кто въ XVII столѣтіи отвергалъ дифференціальное исчисленіе, созданное Лейбницемъ? — Парижская академія наукъ. — Кто въ это же самое время отвергалъ законы тяготѣнія, открытые Ньютономъ? — Лейбницъ. — Кто въ XVIII столѣтіи отвергалъ существованіе аэролитовъ, то есть камней, падающихъ на землю изъ небеснаго пространства? — Парижская академія наукъ. — Кто смѣялся надъ громоотводомъ Франклина? — Лондонское Королевское Общество. — Кто относился съ презрѣніемъ къ электрическому телеграфу? — Парижская академія наукъ. — Кто осмѣялъ Нейссонеля за его наблюденія надъ животными свойствамъ полиповъ? — Опять таки Парижская академія наукъ. — Та же самая академія, въ 1783 году, не обратила никакого вниманія на опыты маркиза Жюффруа, построившаго въ Лионѣ первый пароходъ; и та же академія, двадцать лѣтъ спустя, выпроводила изъ Франціи, какъ пустого прожектера, вторичнаго изобрѣтателя пароходства, Фультона. — Когда мы видимъ, такимъ образомъ, что величайшіе авторитеты умственнаго міра впадаютъ иногда въ самыя грубыя ошибки, когда мы видимъ, кромѣ того, что очень многіе изъ этихъ авторитетовъ смотрятъ на свои знанія, идеи и изслѣдованія, какъ на стадо дойныхъ коровъ, которыя доставляютъ имъ молоко и масло, то есть деньги чины и ордена, и къ которымъ, вслѣдствіе этого, не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ подпускать постороннихъ людей, когда мы видимъ, наконецъ, что академіи, зараженные кумовствомъ, nepотизмомъ и предразсудками, превращаются въ замкнутыя касты жрецовъ, — тогда мы начинаемъ понимать, до такой степени нелѣпо и неопозволительно было бы, съ нашей стороны ссылаться на авторитеты въ тѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ заинтересовано наше собственное, личное или общественное благосостояніе.

Познакомившись изъ этой небольшой статьи съ нѣкоторыми подвигами и закулисными тайнами европейскихъ авторитетовъ, читатель оцѣнить по достоинству то павное подобострастіе, съ которымъ публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», неспособный работать силами собственнаго ума, передаетъ въ руки европейскихъ авторитетовъ, генерала Морена и господина Шмида, вопросъ о нашемъ народномъ образованіи. Есть основаніе думать, что этотъ послѣдній вопросъ рѣшенъ авторитетами также добросовѣстно и безпристрастно, какъ рѣшено ими дѣло французскихъ этерогенистовъ.

ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ СОФИЗМЫ.

I.

Почти всѣмъ нашимъ журналистамъ чрезвычайно хочется быть законодателями и администраторами и чрезвычайно не хочется быть журналистами. Они очень любятъ говорить публикѣ: надо поступить такъ-то, — и очень не любятъ объяснять ей, почему именно надо поступить такъ, а не иначе. Эти особенности нашихъ журналистовъ выразились недавно въ спорахъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Защитники классицизма твердили на разные лады, что надо открыть повсемѣстно классическія гимназіи, и никто изъ этихъ защитниковъ не потрудился до сихъ поръ объяснить обществу, въ чемъ именно состоитъ превосходство классическаго образованія надъ реальнымъ. Защитники классицизма наивно убѣждены въ томъ, что все дѣло будетъ благополучно окончено, какъ только откроется значительное число классическихъ гимназій. Понимаетъ ли общество или не понимаетъ пользу этихъ заведеній, сочувствуетъ оно имъ или не сочувствуетъ—это, по ихъ мнѣнію, рѣшительно все равно, и не стоить тратить ни одной минуты времени и ни одной капли чернилъ на то, чтобы дать обществу то пониманіе и то сочувствіе, которыхъ у него нѣтъ въ настоящую минуту. —Особенно сильно проявляются эти законодательскія и администраторскія наклонности въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Считая себя, подобно «Times», шестою великою державою, г. Катковъ, очевидно, можетъ объясняться только съ правительствами, а никакъ не съ обыкновенными читателями своей газеты. «Родители, говорятъ онъ съ величественнымъ презрѣніемъ, мѣстныя общества, земскія собранія, въ которыхъ большинство никогда не слыхало ни о классическихъ, ни о реальныхъ гимназіяхъ и едва ли сѣмъбѣтъ правильно выговаривать имя этихъ заведеній, — вотъ, кромѣ самихъ учениковъ-гимназистовъ, авторитеты, на которые указываютъ, *Голосъ, День, Воронежскій Листокъ*

и пѣкоторые другіе, подобныя имъ, поборники петербургскихъ педагогическихкихъ фантазій, и имъ кажется, что они въ этомъ случаѣ дѣйствуютъ въ либеральномъ духѣ и обнаруживаютъ полное уваженіе къ потребностямъ общества.» (Моск. Вѣд. № 71). Спрашивается, для кого пишутся и печатаются «Московскія Вѣдомости?» — Для разныхъ родителей и для членовъ разныхъ мѣстныхъ обществъ и разныхъ земскихъ собраній. Если эти родители, мѣстныя общества и земскія собранія никогда не слыхали о классическихкихъ и реальныхъ гимназіяхъ, и если они не умѣютъ правильно выговорить имя этихъ заведеній, то, я думаю, прямая обязанность журналиста, распинающагося за классицизмъ, состоятъ въ томъ, чтобы разсказать этимъ людямъ объ этихъ заведеніяхъ и выучить ихъ правильно выговаривать мудренныя слова. *Шестая держава* поступила бы весьма благо-разумно, если бы она, вмѣсто того, чтобы законоподательствовать, администраторствовать и глумиться надъ невѣжествомъ своихъ читателей, посвятила себя устраненію этого невѣжества. Подобно Петру Ивановичу Бобчинскому, г. Катковъ постоянно стремится вести знакомство съ великими міра и бѣжать за экипажемъ, хоть пѣтушкомъ. Въ дѣлѣ классическихкихъ гимназій онъ очень много суетится, очень много гнѣвается и обличаетъ, — словомъ, дѣлаетъ множество смѣшныхъ эволюцій, никому и ни на что ненужныхъ, и не дѣлаетъ именно того, что онъ обязанъ дѣлать, то есть, не объясняетъ обществу пользы того образованія, за которое онъ стоитъ горой. Г. Катковъ такъ недалковпденъ, что не умѣетъ даже задать себѣ слѣдующаго вопроса: чѣмъ дѣти будутъ учиться въ будущихъ классическихкихъ гимназіяхъ? Если бы онъ сумѣлъ задать себѣ этотъ вопросъ и если бы у него достало сообразительности отвѣтить на него, какъ слѣдуетъ, и потомъ изъ этого отвѣта вывести ближайшія слѣдствія, то онъ понялъ бы, что вся судьба классицизма зависить оттого, какъ будутъ относиться къ нему тѣ родители, мѣстныя общества и земскія собранія, на которые онъ, г. Катковъ, смотритъ съ олимпійскимъ презрѣніемъ. — Тѣ люди, которые не умѣютъ выговорить имя заведенія, конечно, не понимаютъ того, какую пользу можетъ принести ихъ дѣтямъ изученіе двухъ мертвыхъ языковъ. Дѣти этихъ людей поступаютъ въ такую гимназію, гдѣ преподаются эти языки. У этихъ дѣтей рождается, естественнымъ образомъ, вопросъ: зачѣмъ заставляютъ ихъ учить эти мудренныя склоненія, спряженія, исключенія и конструкціи? Дѣти обращаются съ этимъ вопросомъ къ родителямъ и къ родственникамъ, то есть, къ членамъ мѣстныхъ обществъ и земскихъ собраній. Родители и родственники не отвѣчаютъ совѣмъ ничего или даютъ такіе уклончивые и неопредѣленные отвѣты, которые не могутъ удовлетворить пытливыхъ и умныхъ ребятъ. Ребята начинаютъ думать, что изученіе двухъ мертвыхъ и очень трудныхъ языковъ совершенно безцѣльно и бесполезно. Они продолжаютъ учиться, потому что такъ велѣно, но учатся неохотно, единственно для

того, чтобы получить хороший баллъ въ классѣ и на экзаменѣ. При такихъ условіяхъ, уроки плохо идутъ въ голову и забываются тотчасъ послѣ того, какъ они сданы съ рукъ. Когда ученикъ принимается за свои учебныя занятія съ отвращеніемъ и съ предубѣжденіемъ, тогда эти занятія не развиваютъ, а напротивъ того, притупляютъ его способности. Кромѣ того, ученикъ съ самаго ранняго возраста пріобрѣтаетъ себѣ умѣнье служить не дѣлу, а лицамъ. Его равнодушіе къ самому предмету и его желаніе отличиться передъ учителемъ — воспитываютъ въ немъ, съ школьной скамьи, одного изъ тѣхъ безчисленныхъ общественныхъ дѣятелей, которые отъ дѣла не бѣгаютъ, а дѣла не дѣлаютъ. Это бываетъ обыкновенно съ тѣми учениками, которые считаются гордостью и украшеніемъ заведенія. Большинство учениковъ, натываясь на ненавистный предметъ, котораго польза для нихъ непонятна, выбираютъ себѣ другую дорогу. Они просто пренебрегаютъ этимъ предметомъ и учатся плохо, не смотря на дурные баллы, выговоры и наказанія. Они сидятъ по нѣскольку лѣтъ въ одномъ классѣ и потомъ выходятъ изъ школы въ жизнь, ничему не выучившись и воспитавши въ себѣ глубокое отвращеніе къ наукѣ. Ловкое шарлатанство такъ называемыхъ лучшихъ учениковъ и пассивная оппозиція такъ называемыхъ худшихъ составляетъ, въ дѣлѣ распространенія прочныхъ знаній, такое серьезное препятствіе, которое не можетъ быть устранено никакими внѣшними преобразованіями гимназическихъ уставовъ. Чтобы устранить это препятствіе, надо дѣйствовать убѣдительными и увлекательными доказательствами на сознаніе того общества, среди котораго растутъ будущіе гимназисты и изъ котораго эти гимназисты почерпаютъ себѣ свои первоначальныя понятія, наклонности и предубѣжденія. Пока само общество будетъ относиться вяло и пассивно, лѣнливо и равнодушно къ основнымъ принципамъ своего собственнаго образованія, до тѣхъ поръ самые превосходные уставы будутъ оставаться мертвою буквою. Воспитывать въ обществѣ ясное сознаніе его матеріальныхъ и умственныхъ потребностей, пробуждать и поддерживать въ немъ живое и дѣятельное сочувствіе ко всему, что можетъ принести ему пользу, — вотъ самая важная и даже единственная серьезная обязанность журналистики. Но для того, чтобы успѣшно выполнять эту обязанность, и даже для того, чтобы только понять и почувствовать всю ея важность, надо обладать совсѣмъ не такими силами, какія находятся въ распоряженіи нашей *шестой державы*. Шестая держава рѣшительно поворачивается спиною къ этой обязанности и не хочетъ замѣчать ея даже тогда, когда другіе люди настоятельно приглашаютъ ее обратить на нее вниманіе. «Моск. Вѣд.», въ 71 №, выписываютъ изъ «Голоса» слѣдующія строки: «Многіе родители думаютъ, что греческимъ и латинскимъ языками ученики будутъ заниматься насильно.» Выписавъ эти слова, «Моск. Вѣдом.» начинаютъ разсуждать такъ: «и этотъ аргументъ кажется петербургской газетѣ достаточнымъ для того, чтобы въ нашихъ

гимназіяхъ не было классическихъ языковъ, а преподавалось нѣчто такое, что, не требуя серьезнаго труда, приходилось бы наиболѣе по вкусу ученикамъ гимназій.»—Чтобы замаскировать свою несостоятельность въ дѣлѣ теоретической защиты классицизма, какъ принципа, «Московскія Вѣдомости» относятся съ полнымъ пренебреженіемъ къ наклонностямъ гимназистовъ и впадаютъ въ самую грубую психологическую ошибку. Онѣ утверждаютъ, что ученикамъ гимназій можетъ нравиться только то, что не требуетъ серьезнаго труда. Это — совершенная нелѣпость, не только для гимназистовъ, но даже для самыхъ малолѣтнихъ дѣтей. Ребенку, какъ всякому человѣку вообще, противенъ и несносенъ тотъ трудъ, въ которомъ онъ не видитъ никакой цѣли. Самое легкое занятіе можетъ быть невыносимо-скучнымъ и самый напряженный умственный трудъ можетъ быть въ высшей степени пріятнымъ. Все зависитъ отъ того, затрогиваетъ ли этотъ трудъ умъ и чувство трудящагося человѣка, или оставляетъ ихъ неподвижными. Трудная работа и скучная работа—два понятія нисколько не равносильныя. Устранить изъ учебныхъ занятій элементъ серьезнаго труда нѣтъ никакой возможности и ни малѣйшей надобности, потому что серьезный трудъ закаляетъ умъ и формируетъ характеръ ученика. Но устранить изъ учебныхъ занятій элементъ скуки и принужденія—прямая обязанность раціональной педагогики, потому что скука, порождаемая безучастностью ученика къ труду, во всякомъ случаѣ, дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на его умственныя способности; а принужденіе, въ какой бы утонченной и облагороженной формѣ оно ни выражалось, во всякомъ случаѣ, развращаетъ ученика въ нравственномъ отношеніи. Что есть возможность устроить скуку и принужденіе—это доказала яснополянская школа. Въ томъ дѣлѣ, о которомъ я говорю теперь, для устраненія скуки и принужденія требуется только одно условіе: пусть защитники классицизма растолкуютъ обществу пользу и необходимость двухъ мертвыхъ языковъ. Пусть они дадутъ ясный и вполне удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ: для чего русскому юношеству слѣдуетъ начинать свое школьное ученіе съ латинской и греческой грамматики? Въмѣсто того, чтобы серьезно задуматься надъ этимъ вопросомъ, «Московскія Вѣдомости» эскамотируютъ его и кидаются по сторонамъ, то на «Голосъ», то на родителей, то на гимназистовъ, которые нисколько не виноваты въ томъ, что великій защитникъ классицизма не умѣетъ мыслить.

II.

Когда «Московскія Вѣдомости», прекративъ свои набѣги на «Голосъ», на родителей и на гимназистовъ, стараются доказать превосходство классическаго образованія надъ всѣми другими возможными системами, тогда

онѣ, бѣдностью и безсвязностью своихъ доводовъ, повергаютъ читателя въ сострадательное недоумѣніе. Между прочимъ, ихъ классическая фило-софія поучаетъ, что теорія и въ подметки не годится факту, именно по-тому, что она—теорія, т. е. потому, что она, какъ новое произведеніе че-ловѣческаго ума, еще не успѣла пустить корень въ жизнь. Когда въ XV вѣкѣ нашлись чудаки, которые хотѣли печатать книги, вмѣсто того, что-бы переписывать ихъ, тогда, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», надо было отвѣчать имъ: вы все врете! это теорія; жизнь съ ея фактами гово-ривтъ намъ, что книги должны непремѣнно переписываться. Когда, въ томъ же XV вѣкѣ, Колумбъ выпрашивалъ себѣ два корабля у испанскаго правительства, чтобы открыть цѣлый новый міръ, тогда надо было непре-мѣнно отвѣтить ему, что это—теорія, а что жизнь съ ея фактами запреща-етъ открывать новыя земли. И такой отвѣтъ, дѣйствительно былъ данъ ему многими почтенными представителями жизни и ея фактовъ. Когда, въ концѣ XVI столѣтія, Джордано Бруно своими сочиненіями и лекціями сталъ распространять систему Коперника, тогда ему доказали очень ося-зательно, что *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*. Фактъ сначала поса-дилъ теорію въ тюрьму, а потомъ сжегъ ее на кострѣ. Въ XVII столѣ-тіи Галилей былъ теорією, а папская инквизиція была фактомъ. Въ XVIII столѣтіи, сочненіе Беккарія противъ смертной казни было теорією, а пытка, висѣлица и колесованіе были фактами. Во времена Наполеона па-роходъ былъ теорією, а насмѣшка Наполеона надъ пароходомъ была фак-томъ. Въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, эманципація рус-скихъ крестьянъ была теорією, а крѣпостное право было фактомъ. И от-купъ, и закрытый судъ, и тѣлесныя наказанія въ свое время были также весьма почтенными фактами. Но *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*, твер-дятъ «Московскія Вѣдомости», и совершенно успокоиваются на этомъ ве-личественномъ приговорѣ, составляющемъ самое торжественное и катего-рическое призваніе собственной духовной нищеты и полнѣйшей неспособ-ности анализировать или опровергать какую бы то ни было теорію. Пов-торивши два раза свою бессмысленную фразу, «Московскія Вѣдомости» со-вершенно забываютъ о тѣхъ двухъ вопросахъ, съ которыхъ онѣ хотѣли было начать свое изслѣдованіе о достоинствахъ классицизма. Усыпленный пустословіемъ газетнаго болтуна, читатель также давно забылъ объ этихъ двухъ вопросахъ, и, такимъ образомъ, поднятое дѣло затихло, къ обоюдному удовольствію писателя и публики. Писатель почтительно раскланялся съ фактомъ, какъ съ важнымъ бариномъ, бросилъ презрительный взглядъ на теорію, какъ на искательницу приключеній, наполнилъ неизвѣстно чѣмъ нѣсколько столбцовъ и успокоился на томъ усладительномъ сознаніи, что далеко подвинулъ впередъ дѣло классицизма въ Россіи. Читатели, быть можетъ, не повѣрятъ мнѣ, если я имъ скажу, что я исчерпалъ все содер-жаніе передовыхъ статей, помѣщавшихся въ «Московскихъ Вѣдомо

стяхъ въ защиту классицизма. Такъ какъ и не могу и не хочу наполнять «Русское Слово» цитатами, въ которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ внутренней пустоты, то я приглашаю любопытнаго и недоувѣрливаго читателя прочесть передовыя статьи въ №№ 43, 54 и 71. Скука, которую онъ испытываетъ, послужитъ ему достаточнымъ наказаніемъ за его недоувѣрчивость. Аргументовъ вы не найдете никакихъ, кромѣ уже извѣстной вамъ пѣсенки о томъ, что *иное дѣло — фактъ, иное дѣло — теорія*. Приводятся слова двухъ авторитетовъ, но эти слова не заключаютъ въ себѣ никакого аргумента. Оба авторитета заявляютъ только свою нѣжную любовь къ классическому образованію и утверждаютъ совершенно голословно, что молодые люди, прошедшіе черезъ классическую школу, оказываются гораздо дѣльнѣе тѣхъ, которые кончили курсъ въ реальныхъ училищахъ. Если бы даже Александръ Гумбольдтъ и Чарльзъ Дарвинъ высказали эти мысли, то и тогда мы имѣли бы полное право потребовать отъ нихъ подробныхъ фактическихъ доказательствъ. Что же касается до тѣхъ авторитетовъ, передъ которыми преклоняется публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», систематически презирающій теорію, то имъ мы тѣмъ болѣе не имѣемъ ни малѣйшей надобности вѣрить на слово. Что классическое образованіе имѣетъ въ Европѣ очень многихъ вліятельныхъ и ученыхъ защитниковъ, — это мы знаемъ очень хорошо безъ всякихъ цитатъ. Если бы этого не было, то классическое образованіе не могло бы существовать. Но что между людьми учеными и вліятельными есть очень много слѣпыхъ обожателей *факта* и столь же слѣпыхъ гонителей *теоріи* это мы также знаемъ какъ нельзя лучше. Нѣтъ того важнаго научнаго открытія, нѣтъ той плодотворной идеи, которыя не встрѣчали бы себѣ самыхъ ожесточенныхъ враговъ именно въ университетахъ и въ академіяхъ. Францискъ Бэконъ съ презрѣніемъ относился къ астрономическимъ открытіямъ Галилея; Риоланъ, знаменитѣйшій профессоръ медицины въ XVII вѣкѣ, не хотѣлъ признавать кровообращенія, открытаго Гарвеемъ; знаменитѣйшіе палеонтологи тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія не обратили никакого вниманія на изслѣдованія Шмерлинга, доказывавшія одновременное существованіе члвчѣвѣка съ такъ называемыми допотопными животными. Предвзятая мнѣнія вліятельныхъ ученыхъ людей бываютъ обыкновенно очень упорны, и потому слова генерала Морена и господина Шмидта, тѣхъ двухъ авторитетовъ, которыми хвастаются «Московскія Вѣдомости», доказываютъ только то, что генераль Моренъ и господинъ Шмидтъ очень влюблены въ существующій фактъ. Мы не можемъ и не желаемъ имъ въ томъ препятствовать, но влюбляться вслѣдъ за ними, потому только, что они — генераль Моренъ и господинъ Шмидтъ, мы не видимъ до сихъ поръ никакого достаточнаго основанія.

III.

«День» также стоитъ за классицизмъ и даже очень обижается тѣмъ что «Московскія Вѣдомости», увлеченныя пылкостью своей фантазіи, причислили его къ любителямъ реальнаго образованія. Въ 16 и въ 17-омъ номерахъ «Дня» напечатана статья г. Шаврова «Классическое и реальное воспитаніе». Эта статья стоитъ неизмѣримо выше фразерства «Московскихъ Вѣдомостей». Авторъ этой статьи обнаруживаетъ, по крайней мѣрѣ, похвальное желаніе размышлять о предметѣ собственнымъ умомъ, и читателю остается только пожалѣть о томъ, что такіе доброжелательные люди, какъ г. Шавровъ, бываютъ часто чрезвычайно плохими мыслителями и, кромѣ того, не знаютъ азбуки того предмета, о которомъ они толкуютъ. Г. Шафровъ беретъ слова: *классицизмъ* и *реализмъ* въ такомъ широкомъ и глубокомъ значеніи, что читатель даже перестаетъ видѣть въ этихъ двухъ словахъ какой нибудь опредѣленный смыслъ. Какъ настоящій идеалистъ, какъ усердный ученикъ Хомякова, Кирѣевскаго и другихъ подобныхъ мыслителей, г. Шавровъ совлекаетъ съ предмета все конечное, временное и случайное, и посредствомъ этого совлеченія доводитъ дѣло до того, что классицизмъ и реализмъ становятся похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды. Выводы этого гениальнаго философскаго приѣма оказываются очень значительными. Сбросивъ съ себя оковы матеріи, г. Шавровъ можетъ называть классицизмъ, реализмомъ, а реализмъ классицизмомъ. Кромѣ того, онъ, по вдохновенію, можетъ называть то классицизмомъ, то реализмомъ такія вещи, которыя, съ нашей временной, конечной и случайной точки зрѣнія, нисколько непохожи ни на то, ни на другое. Если ему угодно быть защитникомъ классицизма, — онъ можетъ называть всякое дурное воспитаніе реальнымъ, а всякое хорошее — классическимъ. Если же ему угодно прославлять реализмъ, — то никто и ничто не помѣшаетъ ему поступать какъ разъ наоборотъ. Неудобства этого гениальнаго приѣма состоятъ только въ томъ, что, такимъ образомъ, разбиваются въ прахъ и возносятся на пьедесталь только *слова*; самыя же явленія, противъ которыхъ или за которыя слѣдовало спорить, остаются совершенно незатронутыми. — Простодушный читатель, конечно, почерпнетъ изъ статьи г. Шаврова то свѣдѣніе, что *классицизмъ* есть нѣчто прелестное, а *реализмъ* — нѣчто пакостное; но ни простодушный, ни проницательный, ни даже лукавый читатель не узнаетъ изъ этой статьи, — почему мертвые языки изучать слѣдуетъ, а естественныя науки изучать не годится. Въ самомъ началѣ своей статьи г. Шавровъ объясняетъ, что «подъ этими двумя названіями (то есть, подъ названіями классицизма и реализма) разумѣются два воспитательные типа». — «Разберите, продолжаетъ г. Шавровъ тотъ

часть же, внимательно воспитание, какое дает дикарь своему сыну или дочери, — вы непременно найдете в этом воспитании который нибудь из двух типов, хотя и в изуродованном виде». Из этих слов читатель замечает с ужасом, что г. Шавров хватается изумительно далеко и с величайшей развязностью может усмотреть классическое воспитание у готтентотов, а реальное — у папуасов. Поднявшись, вместе с г. Шавровым, сразу на такую высоту умозрения, читатель начинает краснеть за свою недавнюю близорукость, вследствие которой он всю сущность вопроса видел в том, что будут изучать наши гимназисты: греческую грамматику или физиологию? Читатель видит теперь, что, для решения вопроса о греческой грамматике, необходимо сначала окинуть философским взглядом всю историю человечества. Нечего делать, давайте окидывать. Впрочем, не желая изучать изуродованный классицизм готтентотов, г. Шавров приглашает нас обратиться вместе с ним «к тем эпохам истории, когда эти типы проявлялись в своем более совершенном виде». Переносясь, таким образом, в греко-римский мир, г. Шавров замечает о нем, что, «по своей отдаленности от нас, он может подвергаться и действительно очень часто подвергается разного рода перетолкованиям». Это замечание в высшей степени справедливо, умственно и своевременно, потому что несчастный греко-римский мир, *по своей отдаленности* от г. Шаврова, *действительно подвергается*, со стороны этого ученого писателя, таким *перетолкованиям*, от которых волосы поднимутся дыбом на головах всех историков-эллинистов и латинистов нашего отечества. — До чего мы дожили! воскликнуть эти господа. Кто нас защищает? И какими аргументами? И с какими знаниями? И это *мучный* из наших защитников! — г. Шавров твердо убежден в том, что афиняне и римляне получали классическое образование. Он слышал, что греко-римский мир называется классическим, и, *по своей отдаленности* от этого мира, отважно умозаключил, что в классическом мире все должно быть классическое, и люди, и лошади, и собаки, и лагушки, и носы, и деревья, а, стало быть, также и образование. *По своей отдаленности* от всяких исторических знаний, г. Шавров не сообразил, что греко-римский мир стал называться *классическим* только в то время, когда он был уже мертвым миром и когда он, после возрождения наук и искусств в XV веке, стал изучаться в школах или в *классах*. Когда за древним миром упрочилось название *классического* мира, тогда *классическим* стало называться то образование, которое было основано на изучении этого мира. Но образование *классического* юношества и *классическое* образование юношества — две вещи совершенно различные. То есть, молодые люди Греции и Рима учились совсем не так и не тому, как и чему учились немецкие, итальянские, французские и английские школьники XVI, XVII и следующих веков. По всей вероятности,

юный римлянинъ не имѣлъ понятія о томъ, что значить разрѣшать конструкцію *Accusativus cum Infinitivo*, за которую пороли и порютъ до сихъ поръ школьники новой Европы; по всей вѣроятности, юный грекъ никогда не ломалъ себѣ голову надъ аористами и управлялся съ ними такъ же легко, какъ мы теперь управляемся съ изумительно безалаберщиною нашего глагола, непостижимаго для иностранцевъ. Параллель между новѣйшими школьниками и древними юношами была бы возможна только въ томъ случаѣ, если бы греки и римляне изучали въ своихъ училищахъ языки санскритскій и египетскій, или вообще такіе языки, которые существовали бы только въ школахъ и для школы. Но такъ какъ греки и римляне этого не дѣлали, то не зачѣмъ и обижать свободныхъ и веселыхъ юношей древняго міра сравненіемъ съ несчастными школьниками, выбивающимися изъ силъ надъ аористами и конструкціями. — *Отдаленность* г. Шаврова отъ историческихъ знаній нисколько не мѣшаетъ ему быть добрейшимъ человѣкомъ. «Древнихъ не учили, объясняетъ онъ, но они сами учились. Дѣло воспитателей и наставниковъ у нихъ состояло, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы быть хорошими собесѣдниками для питомцевъ умѣющими поддержать въ нихъ умственную и нравственную энергію и живой интересъ къ предметамъ изученія, и опытными руководителями, способными давать должное и вѣрное направленіе уму и чувству питомцевъ. Но при этомъ они не стѣсняли и не подавляли ихъ самостоятельности и въ тоже время заботились о сохраненіи и укрѣпленіи полной гармоніи между умомъ и чувствомъ въ питомцахъ.» — Этими словами г. Шавровъ, очевидно, описываетъ намъ свой собственный педагогическій идеалъ. Идеалъ недуренъ. Къ нему стремились всегда и вездѣ люди, отдававшіе себѣ болѣе или менѣе ясный отчетъ въ тѣхъ законахъ, по которымъ совершается умственное развитіе челонѣка. Именно за то, что г. Шавровъ способенъ составить себѣ такой идеалъ, я ставлю этого писателя неизмѣримо выше того жалкаго фразера, который утверждаетъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что гимназисты не могутъ заниматься серьезною работою безъ принужденія. Но, отдавая полную справедливость добросердечію г. Шаврова, я все-таки долженъ замѣтить, что его слова нисколько не характеризуютъ собою древняго міра, а только даютъ самый общій и неопредѣленный очеркъ той задачи, которую долженъ постоянно имѣть къ виду каждый умный воспитатель или учитель. Всѣ они должны поддерживать въ питомцахъ *умственную и нравственную энергію*, всѣ должны возбуждать въ нихъ *живой интересъ къ предметамъ изученія*, всѣ должны давать *вѣрное направленіе ихъ уму и чувству*. Всѣ должны, но не всѣ *могутъ* и *умѣютъ*. Безсиліе и неумѣнье происходятъ не оттого, что метода невѣрна, и не отъ того, что предметы изученія нигде не годятся, а просто оттого, что между педагогами, точно такъ же, какъ и между людьми всѣхъ остальныхъ профессій, встрѣчается гораздо больше дюжинныхъ и ограничен-

ныхъ субъектовъ, чѣмъ умныхъ и даровитыхъ личностей. Всякую науку, которая дѣйствительно достойна этого имени, можно преподавать и очень увлекательно, и очень усыпительно. Все зависитъ тутъ не отъ педагогической теоріи, а отъ живой личности преподавателя. Слова г. Шаврова выражаютъ именно тѣ требованія, которыя могутъ быть выполнены только педагогическимъ искусствомъ, то есть, личными дарованіями педагоговъ. Но, такъ какъ въ древности были и хорошіе преподаватели, и посредственные, и совсѣмъ дрянные, то, очевидно, эти требованія выполнялись, далеко не всегда и когда они выполнялись, то характеризовали собою не древность, а только отдѣльныя личности умныхъ и добросовѣстныхъ учителей «*Педагогика, педагогъ*» — эти два слова или названія, продолжаетъ г. Шавровъ, дошедшія до насъ отъ эпохи истинно-классическаго образованія, хорошо опредѣляютъ его основную задачу.» — *Эти два слова или названія* опредѣляютъ только то, что г. Шавровъ слышалъ звонъ, да не знаетъ, гдѣ онъ. Онъ слышалъ, что слово *педагогъ* составлено изъ двухъ греческихъ словъ, пзъ которыхъ одно (^{πάις}) значитъ *ребенокъ*, а (^{αγωγός}) значитъ *веду*, — и, съ свойственною ему отважностью, умозаключилъ, что *педагоги* были въ древности *руководителями* юншества въ *умственномъ* и въ *нравственномъ* отношеніи. Но съ этою пріятною иллюзіею г. Шавровъ долженъ разстаться. Педагогами назывались въ древности не тѣ люди, которые *ведутъ* юншество по пути добродѣтели и мудрости, а тѣ *лакеи* или рабы, которые, въ буквальный, а не въ переносный смыслъ, *водили* дѣтей въ школу и при этомъ несли за ними книжки и письменныя принадлежности. Свое теперешнее, возвышенное значеніе *эти два слова или названія* получили совсѣмъ не въ эпоху того образованія, которое г. Шаврову угодно назвать *классическимъ*. Далѣе г. Шавровъ объясняетъ, что *педагоговъ въ классическомъ духѣ* одушевляли три мысли. *Первая* — «та, что человѣческая душа есть источникъ всего истиннаго, добраго и прекраснаго, а самопознаніе — путь къ этому обильному источнику.» Г. Шавровъ не замѣчаетъ того, что этой первой мысли онъ никакъ не можетъ сочувствовать. Эта мысль — ничто иное, какъ обоготвореніе человѣчества. Именно къ этой мысли пришла крайняя, лѣвая сторона гегельянской школы, и именно за эту мысль на нее сыпался всевозможный обвиненія и проклятія. Что г. Шавровъ вовсе не желаетъ приходить къ такимъ результатамъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, во-первыхъ потому, что онъ пишетъ въ «Дѣлѣ», а во-вторыхъ, потому что онъ самъ сильно вооружается противъ какого-то *безчестнаго реализма*, который, будто бы, старается *подорвать* *коренныя религіозныя отраванія* дѣтей. Но что г. Шавровъ самъ не знаетъ, что онъ пишетъ, это для меня совершенно очевидно изъ той первой мысли, которую онъ приписываетъ своимъ *педагогамъ въ классическомъ духѣ*. — Вторая мысль — «та, что лучшее средство къ образованію души и органическому ея развитію есть то же самое ея самопознаніе.» Пер-

ная мысль состояла въ томъ, что «самопознаніе есть путь къ обильному источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго.» Сличая эту первую мысль со второю мы видимъ, что вторая ровно ничего не прибавляетъ къ первой, а только повторяетъ ее другими словами. — Третья мысль, *«не менѣе вѣрная и разумная, какъ и обѣ (?) первая»*, заключается въ томъ, «что человѣкъ, съ юныхъ лѣтъ собственною самодѣятельностью достигшій самопознанія, никогда не оставитъ дѣла ученія». Въ подкрѣпленіе этой послѣдней мысли, г. Шавровъ приводитъ изреченіе: «наука обширна, а жизнь коротка», и утверждаетъ, что «это мудрое изреченіе или поговорка составилаь на почвѣ классическаго міра и отравила на себѣ искреннее убѣжденіе лицъ, дававшихъ и получавшихъ это образование.» Здѣсь мы опять имѣемъ дѣло съ недослышаннымъ и непонятымъ звономъ. До г. Шаврова дошли, какимъ нибудь случайнымъ образомъ, двѣ отрывочныя сентенціи — одна: «познавай самого себя», другая: «наука обширна, а жизнь коротка», Эти сентенціи очень понравились г. Шаврову, и изъ нихъ онъ немедленно склеилъ крошечную теорію, которую и выдаетъ въ настоящее время публикѣ, съ неподражаемымъ добродушіемъ, за картину умственной жизни греко римскаго міра. Онъ чистосердечно убѣжденъ въ томъ, что древніе греки постоянно погружены были въ самоизученіе и предавались этому пустому занятію въ теченіе всей своей жизни. Но и съ этою иллюзіею онъ долженъ разстаться. Прежде всего я скажу ему, что совѣтъ познавать самого себя былъ высказанъ Сократомъ, и что большая часть философскихъ школъ, какъ до Сократа, такъ и послѣ него, занимались очень мало изученіемъ собственной души. Іонійская и элеатская школы занимались преимущественно размышленіями о мірѣ, во вкусѣ Кифы Мокіевича и судьи Ляпкина-Тяпкина; киренейская школа, эпикурейцы и циники имѣли преимущественно практическое направленіе; наконецъ, Аристотель и александрійская школа создавали положительную науку, то есть, занимались математикою, астрономіею, физикою, химіею и медициною. Второе изреченіе на счетъ науки и жизни было произнесено Анаксагоромъ и отразило на себѣ не искреннее убѣжденіе въ необходимости вѣчно учиться, а напротивъ того, искреннее отчаініе геніальнаго человѣка, понимавшаго вполнѣ, что его вѣкъ не создалъ такихъ орудій наблюденія, которыми можно было бы вырвать у природы ея тайны. Въ своемъ необорванномъ и неперетолкованномъ видѣ, мысль Анаксагора выражается слѣдующимъ образомъ: умъ слабъ, чувства обманчивы, знаніе недостоверно, наука (то есть, область неизвѣстнаго) обширна, жизнь коротка. Если же г. Шавровъ полагаетъ, что самоизученію предавались отроки, посѣщавшіе элементарныя школы, то и въ этомъ онъ ошибается. Отроки занимались грамматикою, математикою, музыкой и гимнастикою. Школа вела своихъ воспитанниковъ совсѣмъ не къ обильному источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго, а только къ обильному

гражданских почестей. Она готовила изъ нихъ отличныхъ актеровъ; она учила ихъ хорошо говорить, декламировать и дѣлать граціозные жесты, чтобы водить за носъ глупую толпу, которая принимала ловкихъ балагуровъ и красноречивыхъ за великихъ патріотовъ и за гениальныхъ администраторовъ.

IV.

Побожившись читателю въ томъ, что самовзученіе называется классическимъ образованіемъ, г. Шавровъ начинаетъ расхваливать это образованіе. «Человѣкъ, говоритъ онъ, получившій классическое образованіе, не только самъ совершенно чуждъ всякаго рода иллюзій, всякой мечтательности и сентиментальности, но чувствуетъ какую-то антипатію къ этимъ недостаткамъ, встрѣчая ихъ въ другихъ.» Я бы могъ сказать точь въ точь то же самое о человѣкѣ, получившемъ реальное образованіе. Но такіе отзывы не имѣютъ рѣшительно никакого осязательнаго значенія. Что такое *иллюзій*? Что такое *мечтательность* и *сентиментальность*? Надо сначала условиться въ томъ смыслѣ, который мы будемъ придавать этимъ выраженіямъ. Когда я читаю «День», то въ каждой строкѣ я вижу или *иллюзію*, или *мечтательность*, или *сентиментальность*. Когда г. Шавровъ читаетъ «Русское слово», то онъ, по всей вѣроятности, не видитъ въ немъ ровно ничего, кромѣ *иллюзій*, *мечтательности* и *сентиментальности*. Спрашивается теперь, отъ какихъ иллюзій, отъ какой мечтательности, отъ какой сентиментальности избавляетъ человѣка классическое воспитаніе? Если это классическое образованіе оставляетъ нетронутыми всѣ иллюзіи, всю сентиментальность и всю мечтательность, которыя гдѣздятся въ самомъ г. Шавровѣ и которыя этотъ мыслитель считаетъ лучшимъ украшеніемъ человѣка, то можно сказать, что не стоитъ благодарности, потому что въ такомъ случаѣ окажется, что классическое образованіе совсѣмъ ничего не сдѣлало. «Съ другой стороны, продолжаетъ г. Шавровъ, онъ (человѣкъ получившій классическое образованіе) отличается особенною зоркостью и проницательностью въ пониманіи всякаго рода фактовъ и явленій жизни, умѣнѣемъ понять ихъ въ собственномъ ихъ смыслѣ и какою-то ловкостью овладѣть ими — качества, которыя дѣлаютъ его способнымъ къ дѣятельной жизни.» — Послѣ этого, остается только напечатать въ газетахъ объявленіе: нѣтъ болѣе дураковъ! или вѣрнѣйшее средство излечиваться греческою грамматикою отъ всѣхъ острыхъ и хроническихъ видовъ глупости, тупоумія и ограниченности. — Прочитавъ слова г. Шаврова о неизбѣжной зоркости, проницательности ловкости всѣхъ классиковъ, читатель можетъ составить себѣ довольно отчетливое понятіе о томъ, на сколько этотъ мыслитель способенъ разсуждать

объ иллюзіяхъ и мечтательности, и на сколько онъ способенъ цѣнить зоркость, проникательность и ловкость. Сдѣланъ ли до сихъ поръ первый шагъ для того, чтобы построить сравнительную оцѣнку различныхъ системъ образованія на твердыхъ и положительныхъ *статистическихъ* данныхъ? Если вы хотите сравнивать между собою различныя системы образованія по тѣмъ результатамъ, которые отъ нихъ получаются, то вы должны принять величайшія предосторожности для того, чтобы имѣть дѣло дѣйствительно съ результатами образованія, а не съ результатами разныхъ другихъ, совершенно побочныхъ условій. Но спрашивается, какимъ образомъ вы ухитритесь устранить эти побочныя условія? Какимъ образомъ вы, на примѣръ, убѣдитесь въ томъ, что зоркость, проникательность и ловкость даны человѣку вашею классическою школою, а не получены имъ по наслѣдству отъ родителей и не развиты въ немъ столкновеніями съ дѣйствительною жизнью, послѣ его выхода изъ школы? Разумѣется, вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи былъ бы порѣшенъ на вѣчныя времена, если бы существовала какая нибудь возможность воспользоваться въ этомъ случаѣ содѣйствіемъ статистики. Если бы, на примѣръ, можно было доказать (доказать *цифрами*), что въ такомъ то году поступило въ классическія и реальныя школы по пяти тысячъ мальчиковъ, однаково умныхъ отъ природы, и что, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, пять тысячъ классиковъ оказались гораздо умнѣе и дѣльнѣе пяти тысячъ реалистовъ, — тогда приверженцы реализма могли бы признавать себя побѣжденными. Но вѣдь стоитъ только поставить это требованіе, чтобы увидать въ ту же секунду, что оно неосуществимо. *А* — инженеръ, *Е* — профессоръ римскаго права, *В* — негоціантъ, *Г* — журналистъ, *Д* — мировой посредникъ — прошу покорно сравнивать ихъ между собою и оцѣнивать, который изъ нихъ дѣльнѣе. Это почти тоже самое, что складывать аршины съ фунтами или дѣлить ведра на минуты. Если же вы хотите сравнивать между собою людей одной профессіи, — вы наткнетесь на новое затрудненіе: одинъ могъ выбрать эту профессію по призванію, другой могъ взять ее по принужденію, подъ гнетомъ такихъ обстоятельствъ, съ которыми невозможно было справиться. На каждомъ шагу вы встрѣчаете побочныя условія и почти никогда вы не можете опредѣлить съ точностью, какую долю вліянія падо отвести каждому изъ этихъ условій въ томъ общемъ результатѣ, который вы должны занести въ вашу статистическую таблицу. Кромѣ того, сравнительная оцѣнка двухъ системъ образованія совершенно невозможна уже и потому, что по признанію самихъ классиковъ, во всей Европѣ господствовала до сихъ поръ *только одна* система, а другая стояла постоянно въ тѣни, на заднемъ планѣ, и не имѣла ни малѣйшей возможности вступить въ состязаніе съ первою. На сторонѣ господствующей системы находятся во первыхъ, всѣ фактическія выгоды и, во вторыхъ, всѣ предубѣжденія тѣхъ людей, которые берутся сравнивать результаты обѣихъ системъ. Допустимъ

даже, что генералъ Моренъ, г. Шмидтъ и г. Шавровъ говорятъ чистую истину; допустимъ, что въ настоящее время дѣйствительно воспитанники классическихъ гимназій умнѣе и дѣльнѣе юныхъ реалистовъ. Если даже это явленіе подмѣчено вѣрно, — за что никакъ нельзя поручиться, — то явленіе это объясняется очень легко и естественно, именно тѣмъ обстоятельствомъ, что классическія гимназій, какъ господствующая система, стоятъ высоко во мнѣніи общества: объ этихъ гимназіяхъ говорятъ въ обществѣ, что тамъ учиться очень трудно, но что зато и выучиться можно превосходно. Очень естественно, что постоянно слыша о нихъ такіе отзывы, родители помѣщаютъ своихъ дѣтей именно туда, если думаютъ, что ребенокъ, по своимъ дарованіямъ, выдержитъ успѣшно трудное ученіе; по той же самой причинѣ, родители слабыхъ и вялыхъ мальчиковъ боятся помѣщать своихъ дѣтей въ такую школу, въ которой имъ предстоитъ непосильная работа. Такимъ образомъ, все что сильнѣе, потянется къ господствующей системѣ, то есть, къ классицизму, который еще болѣе усилится отъ этого притока свѣжаго матеріала; а все, что послабѣе, потянется къ второстепенной системѣ, то есть, къ реализму, который, вслѣдствіе этого, еще ниже упадетъ въ глазахъ генерала Морена, г. Шмида и г. Шаврова. При такихъ условіяхъ, удивительно не то, что вліятельные и ученые обожатели существующаго факта прославляютъ классицизмъ, какъ вѣрное лекарство противъ всякой умственной немощи, а то, что эти вліятельные и ученые люди еще принуждены аргументировать противъ реализма. Что реализмъ не одержалъ до сихъ поръ и еще долго не одержитъ побѣды надъ классицизмомъ — это очень естественно: мудрено побѣдить такого врага, который слишкомъ три столѣтія тому назадъ воцарился надъ обществомъ; но что, не смотря на эти невыгодныя условія, реализмъ борется и дѣлаетъ успѣхи въ общественномъ мнѣніи — это можетъ служить самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за его внутренніе достоинства. Наполнивши около двухъ столбцовъ голословными разсужденіями на ту тему, что греческая грамматика радикально излечиваетъ всякое тупоуміе, г. Шавровъ объявляетъ, что «жизнь отдѣльнаго ли человѣка, или цѣлаго народа имѣетъ двѣ стороны, проистекающія изъ одной и той же субстанціи человѣческаго духа.» Наговоривъ разнаго вздора о субстанціи человѣческаго духа, онъ далѣе открываетъ *цѣлый родникъ нетронутыхъ духовныхъ силъ.*

По соображеніямъ г. Шаврова оказывается, что путь къ *роднику* російскихъ силъ лежитъ черезъ грамматику Востокова и христоматию Галахова. Указывая этотъ путь, г. Шавровъ, по своему обыкновенію, витаетъ въ возвышенныхъ сферахъ отвлеченнаго мышленія и не называетъ ни Востокова, ни Галахова; но я ловлю на лету мысль г. Шаврова, стаскиваю ее за крылья внизъ на землю, даю ей кровь и плоть и довожу ее до той степени опредѣленности, которая необходима для ея практическаго осу-

ществленія. За всѣ эти операціи г. Шавровъ долженъ питать ко мнѣ нѣжнѣйшую дружбу и глубочайшую признательность. Если же за весь мой неблагодарный трудъ онъ заплатитъ мнѣ холоднымъ равнодушіемъ, то мнѣ останется только вздохнуть о томъ, что классическое образованіе, надѣлившее г. Шаврова *зоркостью, проницательностью и ловкостью* и украсившее его умъ множествомъ блестящихъ историческихъ познаній, убило въ немъ, выѣстѣ съ *сентиментальностью* и *мечтательностью*, всѣ лучшія чувства человѣческой души. «Есть матеріалъ, говорить г. Шавровъ, указывая путь къ *роднику*, который, обладая наглядностью, даже пластичностью, до того нѣженъ, гибокъ, даже духовенъ, что можетъ отражать на себѣ самыя неувимыя движенія человѣческаго духа и, слѣдовательно, полнѣе, чѣмъ что нибудь другое, показывать, что такое духъ самъ въ себѣ, что такое онъ — въ своихъ внутреннѣйшихъ стремленіяхъ и сокровеннѣйшихъ направленіяхъ. Этотъ матеріалъ — человѣческое слово, языкъ». — Затѣмъ г. Шавровъ приводитъ выраженіе Бюффона: «въ слогѣ — весь человѣкъ» (*le style—c'est l'homme*) и полагаетъ, что этимъ выраженіемъ рѣшается безапелляціонно вопросъ о томъ, какъ узнать вполне достоверно внутреннюю субстанцію тридцатилѣтняго человѣка и какъ угадать будущее назначеніе тысячелѣтней Россіи. Тридцатилѣтній человѣкъ сдѣлается для васъ совершенно понятенъ, если вы изучите, съ синтаксической точки зрѣнія, всѣ его письма и записочки. А Россія немедленно раскроетъ передъ вами внутренній родникъ своихъ жизненныхъ силъ, если вы продумаете и прочувствуете достаточно глубоко грамматику Востокова, хрестоматию Галахова и еще, для большей полноты, «Историческіе очерки» г. Буслаева. Эта теорія г. Шаврова очень блестящая, но для ея окончательнаго торжества необходимо, чтобы авторъ разрѣшилъ нѣкоторые недоумѣнія, способныя поставить въ тупикъ грубыхъ эмпириковъ. Такъ, напримѣръ, не мѣшало бы ему доказать, что въ чистомъ и изящномъ латинскомъ языкѣ Саллюстія Криспа отразился весь характеръ этого человѣка, который, какъ извѣстно, своимъ живодерствомъ, източничествомъ и корыстолюбіемъ поражалъ даже своихъ современниковъ, вовсе неотличавшихся кротостью, безкорыстіемъ и честностью. Неудурно было бы также, если бы онъ объяснилъ намъ, какимъ образомъ языкъ Франциска Бекона Веруламскаго *отразилъ на себѣ самую неувимую движенія его духа*, весьма склоннаго къ вѣроломству и всегда готоваго продать за наличныя деньги. Анализируя рѣчи Мирабо, г. Шавровъ долженъ показать намъ, что этотъ человѣкъ былъ подкупленъ дворомъ. Изучая сочиненія Кювье, г. Шавровъ, по ихъ языку, долженъ угадать, что Кювье былъ мягкій честолюбецъ, превратившій себя въ послушное орудіе бурбонской реакціи. Потомъ, перейдя отъ отдѣльныхъ личностей къ цѣлымъ народамъ, г. Шавровъ долженъ объяснить раздѣлъ Польши несовершенствами польскаго синтаксиса, бѣдствія Ирландіи — особенностями вѣдѣ

скихъ склоненій и спряженій, историческую ничтожность литовскаго племени — бѣдностью литовскаго языка, который, однако, по единогласному мнѣнію всѣхъ компетентныхъ знатоковъ сравнительной филологіи, приближается богатствомъ своихъ грамматическихъ формъ къ санскритскому языку. Кромѣ того, г. Шавровъ долженъ объяснить, по какому случаю самые богатые и совершенные языки земнаго шара, — санскритскій, греческій и латинскій — сдѣлались мертвыми языками, между тѣмъ, какъ англійскій языкъ, неимѣющій почти никакой грамматики, живетъ и удовлетворяетъ собою во всѣхъ отношеніяхъ двѣ такія націи, въ сравненіи съ которыми греки и римляне оказываются недорослями и школьниками. Если въ языкѣ заключается *родникъ жизненныхъ силъ*, то какимъ же образомъ этотъ родникъ не выручилъ грековъ и римлянъ, ни тогда, когда на нихъ напали германцы и славяне, у которыхъ родникъ былъ гораздо хуже, ни тогда, когда на Византійскую имперію напали турки, у которыхъ родникъ былъ уже совсѣмъ плохъ? Всѣ эти вопросы г. Шавровъ долженъ разрѣшить непременно, потому что если онъ берется читать въ грамматикѣ Востокова *будущую* судьбу Россіи, то тѣмъ болѣе, *à plus forte raison*, онъ обязанъ прочесть въ той же самой книжкѣ все *прошедшее* нашего отечества. Если же онъ объяснить посредствомъ русской грамматики всѣ событія русской исторіи, то по разнымъ другимъ грамматикамъ онъ прочесть всѣ событія всемірной исторіи. — Особенность греко-римскаго образованія, по мнѣнію г. Шаврова, состояла именно въ томъ, что это образованіе погружало питомцевъ въ самый родникъ жизненныхъ силъ, то есть, вело ихъ къ самопознанію путемъ самаго тщательнаго изученія языка. «Развивая необыкновенную чуткость къ слову и всему выражаемому словомъ, направляя вниманіе, главнѣйшимъ образомъ, на живую связь между словомъ, мыслью и чувствомъ, оно (это изученіе) предохраняло древнихъ отъ всѣхъ злоупотребленій словомъ. Извѣстное изреченіе мудреца новѣйшихъ временъ и новѣйшаго образованія: «языкъ данъ человѣку для того, чтобы скрывать свои мысли», оправдываемое нерѣдко практикою нынѣшней жизни, въ древности показалось бы величайшею безсмыслицею». — Невѣжество и хвастовство г. Шаврова рѣшительно приводятъ меня въ недоумѣніе. Я понять не могу, какимъ образомъ можно печатно разсуждать о древности, не прочитавши ни одного древняго историка. Если бы г. Шаврову были извѣстны только первыя главы тацитовскихъ анналь, то и тогда бы онъ воздержался отъ весьма многихъ нелѣпостей. Изреченіе новѣйшаго мудреца, Талейрана, какъ-будто нарочно сказано для того, чтобы охарактеризовать поведеніе Тиверія послѣ смерти Августа. Тиверій постоянно пользовался языкомъ для того, чтобы скрывать свои мысли, и Тацитъ, въ первыхъ главахъ своихъ анналь, превосходно описываетъ ту продолжительную и тяжелую комедію, которую Тиверій игралъ съ сенаторами. Тиверій былъ великолѣпнымъ виртуозомъ притворства и лицемерія, но развѣ Тиверій былъ вырождомъ, ано-

малію, исключеніемъ изъ общаго правила? Напротивъ того, и Августъ, и Цезарь, и Сулла, и Сципіоны, и Перикль, и Пизистратъ, и все лучшее политикi древности постоянно шли къ верховному господству путемъ систематическаго лицемерія; они постоянно выражали на словахъ глубочайшее уваженіе къ тѣмъ самымъ фирмамъ и законамъ, которые они или совершенно сознательно подкапывали своими поступками. Та же самая ложь господствовала въ отношеніяхъ между сенатомъ и народомъ, между патриціями и плебеями, между богачами и пролетаріями. То же самое хроническое и организованное лицемеріе гнѣздилося въ дѣлахъ религіи; не вѣруя ни во что, образованные люди Греціи и Рима притворялись вѣрующими, отчасти для того, чтобы не раздражать черни, отчасти для того, чтобы господствовать надъ этою чернью, эксплуатируя ея суевѣріе. Вольнодумцы принимали санъ первосвященниковъ, совершали жертвоприношенія, воздѣлали волю боговъ, гадали по полету птицъ и по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. Почти все философы древности говорятъ единогласно, что господствующая религія никуда не годится, но что ея слѣдуетъ поддерживать для народа. — Такъ какъ г. Шавровъ любитъ поговорки и анекдотическія мелочи, то я напомню ему то извѣстное замѣчаніе, что авгуры, встрѣчаясь между собою, имѣли обыкновеніе опускать глаза, чтобы не раскохотаться, глядя другъ на друга. Спрашивается теперь, зачѣмъ былъ данъ языкъ всѣмъ этимъ лицемерамъ, — зачѣмъ ли, чтобы высказывать свою мысль, или зачѣмъ, чтобы ее скрывать? — Можно сказать навѣрное, что выраженіе Талейрана никому изъ великихъ лицемеровъ древности не показалось бы бессмыслицею. — «Знающіе греческій и латинскій языки, продолжаетъ г. Шавровъ, согласятся, что «болтать», т. е. говорить безъ мысли и безъ чувства, говорить для одного процесса говоренія нѣтъ никакой возможности ни на томъ, ни на другомъ языкѣ». — Разумѣется, нѣтъ возможности, потому что нѣтъ привычки. Латинскимъ языкомъ пользуются обыкновенно люди серьезные, въ серьезныхъ случаяхъ; по латини говорятъ между собою ученые во время диспутовъ и доктора у постели больного; когда же этимъ господамъ хочется болтать, шутить и балагурить, тогда они, конечно, обращаются къ тому языку, на которомъ они привыкли думать, и который, слѣдовательно, своими формами нисколько не стѣсняетъ свободного теченія ихъ мыслей. Болтать на какомънибудь языкѣ вообще гораздо труднѣе, чѣмъ диспутировать на немъ, потому что для болтовни, которая обыкновенно быстро перескакиваетъ съ одного предмета на другой, требуется самое полное и притомъ совершенно практическое знаніе языка. Что никто не болтаетъ по-гречески, это, мнѣ кажется, не очень удивительно, потому что если бы какимънибудь чудомъ, родился на свѣтъ такой своеобразный болтунъ, то ему пришлось бы пробѣжать многія сотни верстъ или миль, чтобы отыскать себѣ равносильнаго собесѣдника.

«Тѣмъ болѣе, продолжаетъ г. Шавровъ, это было невозможно, когда оба языка были живыми языками». — *Тѣмъ болѣе!* Какъ вамъ нравится это «*тѣмъ болѣе?*» Какое высокое понятіе можетъ дать одно это *тѣмъ болѣе* о мыслительныхъ способностяхъ добродушнаго г. Шаврова! Значить, онъ полагаетъ, что на мертвомъ языкѣ, существующемъ только въ школѣ и для школы, легче, да и гораздо легче болтать, чѣмъ на живомъ языкѣ, распространенномъ во всѣхъ слояхъ общества. Значить, онъ полагаетъ, что греки и римляне никогда не болтали. Значить, молодой кутила древняго міра, распивая фалернское вино съ своей любовницею, женщиною легкаго поведенія, разсуждалъ съ нею о Квинтиліанѣ или объ атомистической теоріи міра. Значить, молодые римскіе денди, собирались въ модную цирюльню или въ баню, рѣшали государственные вопросы. Значить, у этихъ денди никогда не было разговора о гетерахъ, о лошадяхъ, о собакахъ, о городскихъ сплетняхъ и скандалахъ, или же всѣ эти разговоры, обыкновенно считающіеся болтовнею, у нихъ были проникнуты мыслью и чувствомъ. Значить, Ювеналъ и Персій врутъ, упрекая тогдашнюю молодежь въ умственной пустотѣ и въ нравственной гнилости; и, значить, наконецъ, всѣ комедіи Аристофана, Плавта и Теренція взяты не изъ греческой и не изъ римской жизни, а изъ бурятской и алеутской. Надо также полагать, что римская чернь никогда не болтала о гладіаторскихъ играхъ, а всегда разсуждала о нихъ съ мыслью и чувствомъ, точь въ точь такъ, какъ въ наше время диспутируютъ ученые и совѣщаются доктора. «Тогда, продолжаетъ г. Шавровъ, было чрезвычайно трудно и говорить на нихъ что нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ говорящаго, и отсель-то произошла извѣстная поговорка: «только честный человѣкъ можетъ быть ораторомъ» (nemo orator, nisi vir bonus)». — *Отсель* или *оттол* произошла эта поговорка—этого я не знаю, но осмѣлюсь замѣтить г. Шаврову, что его слабость къ поговоркамъ и его ребяческая манера строить на поговоркахъ цѣлыя теоріи ежеминутно заставляетъ его излагать печатно самыя поразительныя нелѣпости. Если грекамъ и римлянамъ было *чрезвычайно трудно говорить что нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ*, то, во всякомъ случаѣ, достовѣрно извѣстно, что они мужественно боролись съ этими трудностями и превозмогали ихъ съ величайшимъ успѣхомъ. Весь эффектъ, произведенный латинскою поговоркою г. Шаврова, можетъ быть совершенно уничтоженъ однимъ словомъ: «*софистъ*». Извѣстно ли г. Шаврову это слово? Оно перешло въ новые европейскіе языки изъ греческаго языка. То явленіе, которое обозначается этимъ словомъ, возникло въ греческой жизни. Софистами назывались такіе мыслители, или, вѣрнѣе, такіе говоруны, которые совершенно отрицали существованіе объективной истины и которые утверждали, что можно доказать и опровергнуть одинаково сильными аргументами какую угодно мысль. Собирая вокругъ себя много толпы слушателей, увлекаая за собою цѣлыя толпы учениковъ, со-

фисты дѣйствительно доказывали и опровергали, что угодно, и передавали своимъ послѣдователямъ свое удивительное умѣнье поворачивать діалектическое оружіе, смотря по желанію или по обстоятельствамъ, то въ ту, то въ другую сторону. По всей вѣроятности, историческія изслѣдованія г. Шаврова привели его къ тому убѣжденію, что софисты говорили не по гречески, а по китайски или по готтентотски. Если же г. Шавровъ еще не пришелъ къ этому результату и даже не надѣется придти къ нему впоследствии, то онъ долженъ согласиться, что отъ всѣхъ его размышлений о «*родникъ жизненныхъ силъ*» и путешествіи къ этому роднику посредствомъ изученія языка не осталось, въ настоящую минуту, камня на камнѣ. «Такимъ образомъ, слово, продолжаетъ г. Шавровъ, было своего рода гарантіею общественной честности». Мы уже знаемъ теперь, какова была эта общественная честность, и потому можемъ составить себѣ достаточно ясное понятіе о томъ, какъ много пользы доставила древнимъ обществамъ эта *своего рода гарантія*, породившая и воспитавшая софистовъ и риторовъ, лицемеровъ и льстецовъ, шарлатановъ и комедіантовъ политическаго міра.—Изъ моего анализа шавровскихъ теорій, читатель, по всей вѣроятности, достаточно убѣдился въ томъ, что обожатель и защитникъ классицизма, г. Шавровъ, изучалъ самъ классическую древность по тѣмъ собраніямъ дѣтскихъ анекдотовъ, въ которыхъ повѣствуется о справедливости Аристиды, о безкорыстіи Фокіона, о патриотизмѣ Регула и о мужествѣ Муція Сцевоны.

V.

На предыдущихъ страницахъ я достаточно охарактеризовалъ какъ великую проникательность, такъ и глубокую ученость того бойца котораго «День» выдвинулъ противъ реалистовъ. Чтобы никто не могъ обвинить меня въ бездоказательности, я сдѣлалъ изъ статьи г. Шаврова очень много, даже слишкомъ много выписокъ. Теперь я могу подвигаться впередъ быстрѣе, поэтому я буду теперь резюмировать и опровергать только тѣ мнѣнія нашего просвѣщеннаго писателя, которыя или особенно замѣчательны по своей нелѣпости, или же дадутъ мнѣ поводъ развить мои собственные мысли о разбираемыхъ вопросахъ.—Г. Шавровъ замѣчаетъ, что у новыхъ народовъ мы видимъ постоянную борьбу консерватизма и рьянаго, ослѣпленнаго прогрессизма, между тѣмъ, какъ у грековъ и у римлянъ «не было ни консерваторовъ, ни прогрессистовъ, а всѣ были и консерваторы, и прогрессисты». При семъ удобномъ случаѣ, г. Шавровъ дѣлаетъ подстрочное замѣчаніе: «изъ новыхъ народовъ, англичане приближаются нѣсколько къ древнимъ въ этомъ отношеніи». — О, Господи! помереть можно со смѣху, читая такія историко-философскія соображенія.

По своимъ теоретическимъ убѣжденіямъ, всѣ мыслящіе греки и римляне были строгими и неумолимыми консерваторами. Величайшіе философы древняго міра, Платонъ и Аристотель, составляли планы идеальнаго государства, но эти планы, по ихъ мнѣнію, могли осуществиться не посредствомъ естественнаго и свободнаго развитія существующихъ народныхъ силъ, а только посредствомъ внезапнаго и насильственнаго вмѣшательства законодательной власти. Въ одинъ прекрасный день, законодатели должны были объявить народу, что съ этой минуты начинается существованіе новой, идеальной республики, въ которой все будетъ устроено такъ-то и такъ-то. Затѣмъ, послѣ утвержденія идеальнаго порядка, все должно было оставаться неподвижнымъ и неизмѣннымъ на вѣчныя времена. И Платонъ, и Аристотель признавали, въ области политической жизни, возможность абсолютнаго совершенства. Оба они и, вмѣстѣ съ ними, всѣ мыслящіе люди древности, не имѣли ни малѣйшаго понятія о томъ, что идеи, чувства и желанія человѣчества постоянно измѣняются, что каждое новое поколѣніе приноситъ съ собою новыя требованія, что отношенія человѣка къ силамъ неорганической и органической природы не остаются неподвижными, что распредѣленіе богатствъ между отдѣльными личностями и цѣлыми сословіями подвержено постояннымъ колебаніямъ и что, вслѣдствіе всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ, всѣ политическія учрежденія могутъ имѣть только временное и мѣстное значеніе, то есть, что эти учрежденія, порожденные силою извѣстныхъ обстоятельствъ, вмѣстѣ съ этими обстоятельствами живутъ, растутъ, видоизмѣняются, дрихлѣютъ и умираютъ. Причины этого строгаго теоретическаго консерватизма понять нетрудно.— Вся ремесленная и промышленная дѣятельность древняго міра находилась въ рукахъ рабовъ. Наука никогда не заглядывала ни на земледѣльческую плантацію, ни на скотный дворъ, ни въ мастерскую. Архимедъ прикладывалъ свои математическія знанія къ сооруженію военныхъ машинъ, но ему никогда не приходило въ голову придумать какой нибудь новый плугъ, или ручную мельницу, или верстакъ. Во все продолженіе греко-римскаго періода не было сдѣлано въ области промышленности ни одного такого открытія, которое значительно усилило бы господство человѣка надъ природою и повело бы за собою замѣтное сбереженіе человѣческаго труда. Промышленность развивалась такъ медленно и трудъ былъ постоянно такъ дешевъ, что древнему человѣку не было ни надобности, ни возможности думать о томъ, чтобы замѣнить рабочую силу раба какими нибудь стихійными силами природы. Общество безъ рабовъ для древняго человѣка было немислимо, тѣмъ болѣе, что всѣ свободные люди глубоко презирали всякій производительный трудъ. Когда промышленность не совершенствуется и когда масса населенія обречена вѣчно исправлять должность выючнаго скота, тогда, очевидно, прогрессъ общества можетъ состоять только въ томъ; что это общество будетъ обогащаться войною и грабежомъ и что отдѣльные

члены этого общества будутъ драться между собою за добычу и за политическое господство. Очень понятно, что къ *такому* прогрессу мыслящіе люди древности относились въ теоріи совершенно отрицательно. Но этотъ строгій теоретическій консерватизмъ приводилъ грековъ и римлянъ только къ тому результату, что въ ихъ гражданскихъ обществахъ сталкивались и боролись между собою не идеи и убѣжденія, а страсти и интересы. Люди, невѣрующіе въ прогрессъ, подрывали основы общественнаго зданія, когда того требовали ихъ мелкія страсти и ихъ личныя выгоды. Какой общечеловѣческій или общенаціональный смѣслъ имѣютъ всѣ тѣ микроскопическіе перевороты, которыми наполнена исторія древне-греческихъ республикъ и въ которыхъ ежедневно проливалась по каплямъ, въ теченія нѣсколькихъ столѣтій, кровь умнаго и даровитаго народа? То олигархи убьютъ тирана, то чернь передушитъ олигарховъ, съ тѣмъ, чтобы превратить демагога въ новаго тирана; то метрополія начнетъ обижать колонію, то колонія начнетъ грубить метрополію; шума происходитъ очень много, кровь и капиталы тратятся на военные грабежи, а между тѣмъ, общество нисколько не подвигается впередъ. Наконецъ, когда древнему міру приходится рѣшать дѣйствительно важныя вопросы, тогда происходитъ, въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ и въ самыхъ грубыхъ формахъ, то столкновение *крайняго консерватизма* и *ослѣпленнаго прогрессизма*, которое г. Шавровъ предоставляетъ новѣйшей Европѣ въ исключительную собственность. Является, напримѣръ, вопросъ о римскомъ пролетаріатѣ, вопросъ неотразимый, потому что, дѣйствительно, масса римскаго народа, повелителя вселенной, гнѣтъ въ физическомъ, въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Какъ же рѣшается этотъ вопросъ? — Гракхи, одинъ за другимъ, предлагаютъ проекты законовъ, очень доброжелательныхъ, но совершенно неспособныхъ устранить зло. Обоихъ Гракховъ можно назвать *ослѣпленными* прогрессистами, потому что у нихъ обоихъ было много мужества и гражданской честности, но не было ни малѣйшей теоретической подготовки. Сенаторовъ же и оптиматовъ, погубившихъ обоихъ реформаторовъ, можно совершенно основательно назвать *крайними* консерваторами, потому что они эскамотировали и задушили весь вопросъ, въ которомъ заключалась вся будущая судьба римскаго народа. Еще болѣе *ослѣпленными* прогрессистами можно назвать тѣхъ невольниковъ и гладіаторовъ, которые возмущались, въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, подъ предводительствомъ Спартака. Они были прогрессистами по неволѣ, прогрессистами изъ животнаго чувства самосохраненія; они желали разрушить и перестроить то общество, въ которомъ имъ, разумѣется, невозможно и невыносимо было жить, потому что ихъ въ этомъ обществѣ били, увѣчили, распинали и высылали на арену для потѣхи зрителей. Но *какъ* разрушить и, особенно, *какъ* перестроить, — этого они, разумѣется, не знали, такъ точно, какъ бѣшеный быкъ, вырвавшійся изъ стойла, не знаетъ, куда и зачѣмъ онъ бѣжитъ. Стало быть, названіе *ослѣп-*

ленинъ прогрессистовъ идетъ къ этимъ несчастнымъ людямъ несравненно болѣе, чѣмъ къ какимъ бы то ни было яростнымъ радикаламъ и коммунистамъ новѣйшей Европы. Увѣряю васъ, г. Шавровъ, что эти люди своею рьяностью и своимъ осмѣленіемъ превосходили даже всѣхъ ненавистныхъ вамъ сотрудниковъ «Русскаго Слова». — Но за то и Красса, побѣдившаго этихъ ослѣвленныхъ прогрессистовъ, можно назвать очень *крайнимъ* консерваторомъ. Крассъ распялъ на крестахъ десятки тысячъ плѣнныхъ мятежниковъ, значить, *крайностью* своихъ консерваторовъ, *осмѣленностью* своихъ прогрессистовъ древній міръ далеко превосходитъ новѣйшую Европу. — «Противники классическаго образованія, говоритъ г. Шавровъ, стараясь заподозрить его значеніе, любятъ указывать на тотъ историческій фактъ, что древняя цивилизація и образованность была непродолжительна и, слѣдовательно, непрочна.» Но г. Шавровъ опровергаетъ это возраженіе слѣдующимъ образомъ: «Какъ бы разумно и цѣлесообразно ни было воспитаніе со стороны своего направленія и цѣлей, но, если будетъ узокъ кругъ идей и воззрѣній у народа, тѣмъ болѣе, если эти воззрѣнія будутъ не исполнѣ истинны, — цивилизація и образованность народа не будутъ прочны и продолжительны.» Если перевести это разсужденіе г. Шаврова съ отвлеченнаго языка на конкретный, то окажется, что причиною паденія классической цивилизаціи г. Шавровъ считаетъ язычество. Положимъ, что это дѣйствительно такъ. Но г. Шавровъ забываетъ, что ни одинъ народъ, на всемъ земномъ шарѣ, не обошелся безъ язычества; ни одинъ не былъ христіанскимъ народомъ, съ самаго начала своего существованія. Почему же другіе народы *могли* совершить переходъ отъ язычества къ христіанству, а греки и римляне *не могли*? Почему для другихъ народовъ христіанство было обновляющимъ и укрѣпляющимъ элементомъ, а для греко-римскаго міра оно было смертельнымъ ударомъ? Неужели языческая религія виновата въ томъ, что римская имперія не была въ состояніи отразить варваровъ? Послѣдніе императоры были христіанами, а между тѣмъ, Аттила, Аларихъ, Гензерихъ, Радагайсъ, Одоакръ дѣлали свое дѣло по прежнему и разрывали старую имперію на части. — Жизненные силы Римской имперіи были истощены не язычествомъ, а тѣмъ уродливымъ социальнымъ устройствомъ, вслѣдствіе котораго производительный трудъ считался позоромъ для всякаго свободнаго человѣка. Когда въ предѣлы имперіи стали вторгаться варвары, тогда истощеніе силъ было уже такъ велико, что не оставалось ни малѣйшей возможности спасти древнюю цивилизацію. Но социальное устройство, погубившее классическій міръ, находилось въ самой тѣсной причинной связи съ тою системою воспитанія, которую такъ добродушно и велерѣчиво превозносить г. Шавровъ. Г. Шавровъ самъ сознается, что «древніе, въ дѣлѣ образованія, руководились духомъ узкаго аристократизма.» — «Той простой истины, продолжаетъ онъ, что на образованіе имѣетъ право каждый

человѣкъ и что чѣмъ больше разольется образованіе по массѣ народа тѣмъ образованность его будетъ лучше и выше въ качественномъ отношеніи, — они не понимали, и только избранные, только люди изъ высшихъ и богатѣйшихъ классовъ получали у нихъ образованіе, между тѣмъ, какъ большинство довольствовалось тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, какое могла доставить имъ общественная жизнь на площадяхъ, форумахъ, судилищахъ и проч.» — Большинство, во всѣхъ древнихъ государствахъ, составляли рабы, и это большинство не пользовалось даже тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, о которомъ витѣйствуетъ г. Шавровъ. Но меня, кромѣ того, изумляетъ неспособность г. Шаврова сдѣлать самое простое умозаключеніе изъ тѣхъ посылокъ, которыя содержатся въ его собственныхъ словахъ. Онъ самъ говоритъ, что, чѣмъ больше разливается образованіе въ массѣ народа, тѣмъ лучше и выше становится оно въ качественномъ отношеніи. Это положеніе онъ называетъ даже *простою истиною*. Онъ говоритъ, что древніе не понимали этой простой истины. Онъ говоритъ, что, въ дѣлѣ образованія, они руководились духомъ узкаго аристократизма. Значить, образованіе было мало разлито въ массѣ народа. А если оно было мало разлито, если большинство довольствовалось поверхностнымъ развитіемъ или, еще точнѣе, не получало совсѣмъ никакого развитія, то, прилагая къ дѣлу *простую истину* г. Шаврова, мы немедленно приходимъ къ тому неотразимому выводу, что древнее образованіе было *дурно и низко* въ качественномъ отношеніи. Если г. Шавровъ допускаетъ пропорцію: «чѣмъ больше разлито, тѣмъ лучше и выше», то онъ, по всѣмъ правиламъ здравой человѣческой логики, долженъ допустить и обратную пропорцію: «чѣмъ меньше разлито, тѣмъ хуже и ниже». Но какъ только древнее образованіе стало бы разливаться въ массу народа, какъ только оно проникнуло бы въ глубину рабочаго населенія, такъ, становясь *лучше и выше въ качественномъ отношеніи*, оно подвергнулось бы самому радикальному перерожденію и совершенно утратило бы тотъ характеръ философскаго дилетантизма, которымъ восхищается добродушный г. Шавровъ. Дѣти *избранныхъ* людей, то есть, богатыхъ рабовладѣльцевъ, имѣли полную возможность безнаказанно тратить время на восхищеніе красотами Гомера и сокровищами отечественнаго языка. Отъ нечего дѣлать, они даже, пожалуй, могли погружаться въ самозвученіе и отыскивать дорогу то къ *роднику жизненныхъ силъ*, то къ *источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго*. Но все это были барскія затѣи, совершенно недоступныя для такихъ людей, которые зарабатывали себѣ хлѣбъ собственнымъ трудомъ и которые, вслѣдствіе этого, зная цѣну времени, были принуждены тратить его разсчетливо. Такіе люди, поневолѣ, внесли бы въ школу утилитарныя цѣли, и притомъ, совсѣмъ *не тѣ* утилитарныя цѣли, которыя вносили въ нее *избранные*. — Богатые рабовладѣльцы требовали отъ школы, чтобы она превратила ихъ въ хорошихъ говоруновъ и чтобы,

такимъ образомъ, она содѣйствовала ихъ успѣхамъ на политическомъ поприщѣ. Бѣдные люди, которымъ, прежде политической карьеры, надо думать еще о насущномъ пропитаніи, стали бы требовать отъ школы, чтобы она готовила изъ нихъ дѣльных работниковъ. Они стали бы налегать преимущественно на математику, точно такъ, какъ избранные налегали преимущественно на словесность. Бѣдные люди развили бы приложеніе математики къ техническому производству точно такъ, какъ избранные развили приложеніе грамматики и риторики къ систематическому надуванію народныхъ массъ. Когда совершилось бы это *возвышеніе и умчшеніе образованія въ качественномъ отношеніи*, тогда г. Шаврову нечѣмъ было бы восхищаться.

VI.

Переходя къ характеристикѣ реальнаго образованія, г. Шавровъ объявляетъ намъ, что, *для болѣшей ясности*, онъ будетъ *раскрывать дѣло исторически*. Историческое раскрываніе дѣла начинается съ того, что спартанское воспитаніе оказывается реальнымъ. Во первыхъ, спартанцы прѣслѣдовали въ питомцахъ всѣ индивидуальныя особенности, и старались пригонять питомцевъ къ *общей нормѣ или униформѣ*. Во вторыхъ, спартанцы ненавидѣли языкъ и требовали, чтобы человѣкъ выражалъ свою мысль какъ можно короче. Въ третьихъ, они готовили своихъ дѣтей для военной жизни. Въ четвертыхъ, они ихъ очень больно сѣкли. Послѣ этого, очевидно, не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что спартанцы были реалистами. Обыкновенный наблюдатель сказалъ бы, можетъ быть, что они были просто дикарями. Но съ той высшей точки зрѣнія, на которой стоитъ г. Шавровъ, различіе между дикаремъ и реалистомъ становится незамѣтнымъ. Если бы г. Шавровъ, какъ идеалистъ, не питалъ глубокаго презрѣнія ко всѣмъ млекопитающимъ, то онъ, навѣрное, съ своей высшей точки зрѣнія, открылъ бы міру ту удивительную истину, что лошадь, которую гоняютъ на кордѣ и которую приучаютъ къ ружейному огню, получаетъ чисто-реальное образованіе. Это открытіе было бы совершенно неизбѣжно, потому что воспитаніе древняго спартанца подходитъ гораздо ближе къ воспитанію лошади, чѣмъ къ современному реальному образованію. — Продолжая *«раскрывать дѣло исторически»*, г. Шавровъ находитъ, что «схоластика — другой образчикъ реальнаго воспитанія». Затѣмъ, гувернеры и гувернантки, заставляющіе дѣтей зубрить французскіе и нѣмецкіе вокабулы и діалоги, также оказываются педагогами-реалистами. Всѣ пансіоны, гимназій и проч. учебныя заведенія, въ которыхъ преподается пестройная масса пестрыхъ и разнообразныхъ знаній, — все это реальныя заведенія. «Раскрывши», такимъ образомъ, *«дѣло исторически»*, то есть, побросавши въ одну кучу всѣ педагогическія нелѣпости и назвавши эту кучу *реализмомъ*, г. Шавровъ пригла-

шает читателя посмотреть на «питомцевъ въ реальномъ духѣ, пока они въ школѣ.» Тутъ передъ читателемъ открывается картина печальная и даже мрачная. Воспитанники ненавидятъ науку, и эту ненависть къ наукѣ переносятъ и на тѣхъ людей, отъ которыхъ они получаютъ эту науку. Когда юные реалисты находятся въ веселомъ настроеніи духа, тогда они осмѣиваютъ и передразниваютъ своихъ наставниковъ; когда же эти буйные потомки спартанцевъ и схоластики взволнованы и раздражены, тогда они встаютъ противъ своихъ наставниковъ и даже оскорбляютъ ихъ. Читатель видитъ, что мрачныя краски этой картины очень хорошо подходятъ къ той бурѣ, которую описалъ Помяловскій. Поэтому надо полагать, что въ бурсацкой наукѣ г. Шавровъ видитъ также одно изъ многочисленныхъ проявленій русскаго реализма. — Затѣмъ, г. Шаврову желательно взглянуть на воспитанниковъ реальныхъ заведеній по ихъ выходѣ изъ школы. «Что въ нихъ нѣтъ живой любви къ наукѣ, говоритъ онъ, что въ нихъ нѣтъ основательности и глубины въ воззрѣніяхъ, что они шатки въ своихъ убѣжденіяхъ и мѣняютъ ихъ скоро и легко. — все это понятно, все это естественное слѣдствіе полученнаго ими образованія, которое не развивало ихъ душевныхъ силъ. Но вотъ странная особенность, которая, больше или меньше, замѣчается во всѣхъ людяхъ, получившихъ реальное образованіе: вялые, неустойчивые, измѣнчивые, когда нужно дѣйствовать положительно, проводить въ жизни какое нибудь убѣжденіе, они чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно, идти противъ установившагося строя жизни, противъ общепринятаго порядка. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ они-прогрессисты въ пошломъ смыслѣ этого слова.» — Кисть г. Шаврова кладетъ краски густо и бойко; любопытно было бы только узнать: съ кого именно писанъ этотъ портретъ, — съ древнихъ ли спартанцевъ, или съ средневѣковыхъ схоластиковъ, или, наконецъ, съ бывшихъ товарищей Помяловскаго, или же просто, съ какихъ нибудь знакомыхъ автора, успѣвшихъ возбудить въ немъ противъ себя недоброжелательныя чувства? — Къ древнимъ спартанцамъ и къ средневѣковымъ схоластикамъ описаніе это врядъ ли подходитъ; г. Шавровъ самъ говоритъ, что спартанская и схоластическая системы воспитанія были направлены именно къ тому, чтобы поддерживать *statu quo* спартанскаго государства и папской гегемоніи. Значитъ, мудрено себя представить, чтобы воспитанники спартанскихъ и схоластическихъ школъ, по выходѣ въ жизнь, обращали всю свою энергію на борьбу противъ общепринятаго порядка. А если, такимъ образомъ, основной признакъ того портрета, который рисуетъ г. Шавровъ, не подходитъ ни къ спартанцамъ, ни къ схоластикамъ, то, мнѣ кажется, нашъ талантливый портретистъ долженъ былъ бы сообразить, что его *историческое разкрываніе* дала ни къ чему не ведетъ, ничего не раскрываетъ, ничего не объясняетъ и, во всѣхъ отношеніяхъ, оказывается безцѣльнымъ сопоставленіемъ фактовъ, не имѣющихъ между собою ни малѣйшаго сходства.

и ни малѣйшаго историческаго сродства. Далѣе, въ этомъ портретѣ, съ кого бы онъ ни былъ писанъ, есть даже грубое внутреннее противорѣчіе, вслѣдствіе котораго этотъ портретъ не можетъ быть похожъ ни на кого въ цѣломъ мірѣ. Г. Шавровъ утверждаетъ, что реалисты не умѣютъ проводить въ жизнь никакого убѣжденія, и, вслѣдъ затѣмъ, тотчасъ же говорить, что они *«чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно.»* О, святая простота! Да развѣ можно безъ убѣжденія быть чрезвычайно энергичнымъ отрицателемъ? И развѣ дѣйствовать отрицательно, съ чрезвычайною энергіею, не значить проводить въ жизни убѣжденіе, именно то убѣжденіе, что отрицаемый предметъ дуренъ?—Что же касается до слова *«прогрессистъ»*, то я еще не слыхалъ, чтобы это слово приобрѣло себѣ какой нибудь полный смыслъ; но я знаю положительно, что всякое хорошее слово можетъ быть опошлено; поэтому я считаю очень правдоподобнымъ, что слово *«прогрессистъ»* становится пошлымъ словомъ, когда оно встрѣчается въ статьяхъ такихъ гениальныхъ мыслителей, какъ г. Шавровъ. Но обращать вниманіе на это временное и мѣстное опошленіе словъ нѣтъ никакой возможности, потому что, иначе, честнымъ и мыслящимъ русскимъ писателямъ пришлось бы создавать себѣ цѣлый новыи лексиконъ. — По соображеніямъ г. Шаврова оказывается, что въ отрицательной дѣятельности воспитанниковъ реальныхъ заведеній виноватъ духъ скептицизма, обуревающий реальныя училища. Здѣсь мы опять рѣшительно не знаемъ, о *какихъ* реальныхъ училищахъ толкуетъ г. Шавровъ. Онъ, какъ дельфійская Пифія, постоянно извергаетъ безсвязныя слова, предоставляя намъ, простымъ смертнымъ, отыскивать въ нихъ какой угодно смыслъ. Мы ищемъ и ровно ничего не находимъ. Г. Шавровъ утверждаетъ, что духъ сомнѣнія полезенъ въ наукѣ, но никуда не годится въ школѣ. «Скептикъ ученый, говоритъ онъ, явленіе нормальное, но школьникъ-скептикъ—ужасная аномалія.» Изъ этихъ словъ видно, что нашъ мыслитель не имѣетъ никакого понятія ни о томъ, что такое научный скептицизмъ, ни о томъ, что такое наука, ни о томъ, чѣмъ должна быть школа. Спрашивается, *какой* скептицизмъ полезенъ въ наукѣ? Конечно, не тотъ, который ухитряется, посредствомъ разныхъ диалектическихъ тонкостей, отрицать существованіе видимаго міра или собственной особы мыслящаго субъекта. Такой метафизическій скептицизмъ одинаково безобразенъ и одинаково бесплоденъ, какъ въ школѣ, такъ и въ наукѣ. Полезенъ въ наукѣ только тотъ благоразумный скептицизмъ, который не позволяетъ изслѣдователю успокоиваться на неполномъ или неточномъ объясненіи изучаемыхъ явленій. Этотъ скептицизмъ, составляющій естественный атрибутъ каждаго здороваго и сильнаго ума, полезенъ вездѣ и всегда, и въ наукѣ, и въ политикѣ, и въ литературной критикѣ, и въ обыденной жизни. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ смотрѣть трезвыми глазами на самое явленіе, на голый фактъ, не обращая никакого вниманія на ту красивую или некрасивую формальную оболочку, въ которую наря-

дѣлосъ это явленіе по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ говорить себѣ прямо и рѣшительно: «вотъ это я понимаю, а вотъ этого не понимаю». При этомъ онъ никогда не долженъ довольствоваться такимъ объясненіемъ, которое маскируетъ данный вопросъ, вмѣсто того, чтобы дѣйствительно разрѣшать его. Эта умственная требовательность, эта превосходная способность строго различать знаніе и незнаніе, это презрѣніе къ самодовольному полу-знанію и полу-пониманію — все это такъ же ужѣстно и необходимо въ школѣ, какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ. Говоря о греко-римскомъ мірѣ, г. Шавровъ выражаетъ желаніе, чтобы образованіе развивало въ питомцахъ *умственную и нравственную самостоятельность и самостоятельность*, и чтобы преподаватели поддерживали въ ученикахъ *умственную и нравственную энергію и живой интересъ къ предметамъ изученія*. Прекрасное и похвальное желаніе! Но, къ сожалѣнію, я долженъ теперь замѣтить, что, выражая это прекрасное и похвальное желаніе, г. Шавровъ безсознательно лепеталъ такіа рѣчи, которыхъ смыслъ для него самого непонятенъ. Защитникъ *умственной и нравственной самостоятельности* желаетъ теперь выгнать изъ школы тотъ скептицизмъ, который, по его же собственному замѣчанію, полезенъ въ наукѣ. Въ чемъ же, о свѣтло «Дня», будетъ состоять *умственная и нравственная самостоятельность* ученика, въ чемъ будетъ проявляться его *умственная и нравственная энергія*, въ чемъ будетъ обнаруживаться его *живой интересъ къ предметамъ изученія*, если вамъ удастся отнять у него здоровый и естественный скептицизмъ, то есть, стремленіе понимать совершенно ясно и отчетливо изучаемый предметъ, стремленіе успокоиваться только на такихъ доказательствахъ, которыя дѣйствительно имѣютъ для ума обязательную силу?—Представьте себѣ, напримѣръ, что учитель рассказываетъ ученикамъ исторію персидскаго государства; по вашему выходитъ такъ, что ученики должны, подавивши въ себѣ духъ *ужасной анамалии*, то есть, скептицизма, сидѣть, затаивъ дыханіе, слушать съ напряженнымъ вниманіемъ, и потомъ, къ слѣдующему классу, повторить своими словами весь рассказъ учителя. Такой результатъ привелъ бы васъ въ восторгъ и вы усмотрѣли бы бездну *самодѣтельности, энергіи и живаго интереса* именно въ томъ крошечномъ фактикѣ, что ученики излагаютъ урокъ *своими словами*. Дальше этого вашъ педагогическій либерализмъ не идетъ. Всѣ либералы, подобные вамъ, умѣютъ возставать только противъ розогъ, да противъ зубренія и воображаютъ себѣ, что этими куринными протестами они не вѣсть какое благодѣяніе оказываютъ обществу и наукѣ. Такъ какъ я не имѣю чести принадлежать къ несмѣтному легіону этихъ смѣхотворныхъ либераловъ, то я осмѣливаюсь замѣтить, что, съ точки зрѣнія *самодѣтельности, энергіи и живаго интереса*, было бы очень недурно, если бы кому нибудь изъ учениковъ пришло въ голову перебить рассказъ учителя слѣдующею почтительною рѣчью: «позвольте васъ спросить, г. Н.,

какимъ образомъ до насъ дошло извѣстіе о всѣхъ этихъ событіяхъ, совершившихся слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ до нашего времени?» Учителю пришлось бы тогда заговорить о греческой исторіографіи, о сохраненіи рукописей во время среднихъ вѣковъ, объ изученіи и изданіи этихъ рукописей въ эпоху возрожденія и, наконецъ, о трудахъ изслѣдователей, очистившихъ историческую истину отъ легендарныхъ искаженій и примѣсей. Учителю пришлось бы, такимъ образомъ, ввести любознательнаго ученика въ самую лабораторію исторіи, и ученикъ, навѣрное, проникнулся бы глубокимъ уваженіемъ къ изучаемому предмету, когда объясненія учителя заставляли бы его задуматься надъ тѣмъ фактомъ, что *каждая строка* его учебника куплена трудами и бессонными ночами тѣхъ людей, которые составляютъ соль земли и цвѣтъ человѣчества. Вопросъ любознательнаго ученика, очевидно, былъ бы внушенъ ему тѣмъ самымъ духомъ скептицизма, который создалъ и усовершенствовалъ историческую критику. Между тѣмъ, я осмѣливаюсь думать, что такой любознательный ученикъ представляетъ собою не *ужасную аномалію*, а напротивъ того, отрадное исключеніе изъ очень сквернаго общаго правила. Я полагаю также, что каждый добросовѣстный и умный преподаватель очень желалъ бы встрѣчать въ своемъ классѣ какъ можно больше такихъ *ужасныхъ аномалій*. Ходъ преподаванія значительно замедлялся бы вопросами учениковъ и объясненіями учителя, но за то ученики не превращались бы въ попугаевъ, излагающихъ *своими словами* чужія мысли, нисколько переработанныя ихъ умами.

VII.

Изъ всей утомительной болтовни г. Шаврова читатель не выноситъ никакого яснаго понятія о томъ, что такое классическое образованіе и что такое реальное, и чѣмъ первое выше послѣдняго. Тѣ резоны, которые представляетъ г. Шавровъ въ пользу изученія древности, рѣшительно оказываются бессмысленнымъ наборомъ словъ. «Если, говоритъ онъ, въ кругъ классическаго образованія входитъ изученіе древности (древнихъ языковъ, литературъ, древней жизни и пр., и пр.), то отнюдь не съ тою цѣлю, чтобы сдѣлать всѣхъ воспитанниковъ греками и римлянами (А?! Неужели? А мы были увѣрены въ томъ, что древность изучается въ школахъ именно для того, чтобы воспитанники, окончивъ курсъ, отказались навсегда отъ фраговъ и сапоговъ и, облекшись въ тоги, подвязавъ подъ ноги сандаліи, приносили бы каждый день жертву Юпитеру Капитолійскому, Аполлону и Палладѣ Афинѣ. Теперь, благодаря г. Шаврову, мы успокоиваемся и начинаемъ понимать, что фраги и сапоги не подвергаются ни малѣйшей опа-

сности), а единственно съ тою цѣлью, чтобы яснѣе и полнѣе понимали они настоящую, современную жизнь, которая, состоя въ связи, хотя и отдаленной, съ древнею жизнью, во многихъ своихъ чертахъ будетъ и темна и непонятна для нихъ безъ изученія послѣдней». (Меня изумляетъ та скромная и солидная самоувѣренность, съ которою г. Шавровъ говоритъ непроходимѣйшія нелѣпости. Онъ увѣряетъ, что безъ изученія древности современная жизнь во многихъ своихъ чертахъ будетъ темна и непонятна.)

Далѣе, по мнѣнію г. Шаврова, воспитанникамъ необходимо изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современною жизнью; это требованіе заставляетъ насъ предполагать, что воспитанники уже знаютъ вдоль и поперекъ современную жизнь. Но развѣ это предположеніе оправдывается фактами? Развѣ воспитанники дѣйствительно знаютъ современную жизнь? Они не знаютъ ни законовъ того государства, въ которомъ они живутъ, ни умственныхъ интересовъ того общества, съ которымъ они связаны кровными узами, ни тенденцій той эпохи, къ которой они принадлежатъ. Куда бы вы ни привели воспитанника гимназій или даже студента университета—на фабрику, въ присутственное мѣсто, въ деревню, въ редакцію журнала, въ типографію, — вездѣ онъ окажется новичкомъ, вездѣ онъ встрѣтитъ цѣлый рядъ неизвѣстныхъ явленій, къ которымъ онъ долженъ будетъ присматриваться и привыкать. Въ этомъ незнаніи современной жизни нѣтъ даже рѣшительно ничего ненормальнаго. Та наука, которая должна заниматься изученіемъ общественной жизни, до такой степени многосложна, что она до сихъ поръ не могла даже вполне организоватьъ. Занимать воспитанниковъ изученіемъ этой еще несложившейся и неопредѣлившейся науки, значило бы сбивать ихъ съ толку. Современная жизнь до сихъ поръ можетъ изучаться только посредствомъ житейской практики; что же касается до школы, то она должна давать молодымъ умамъ не теорію современной жизни, а основательное знаніе тѣхъ простѣйшихъ наукъ, которыя уже окончательно сложились и опредѣлились. Въ ряду этихъ наукъ первое мѣсто занимаетъ математика; за нею слѣдуетъ астрономія, физика, химія и, наконецъ, вся семья біологическихъ наукъ, т. е. тѣхъ наукъ, которыя занимаются изученіемъ растительнаго и животнаго организма. Если же нѣтъ надобности изучать въ школѣ современную жизнь, то нѣтъ никакой необходимости изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современною жизнью.

И вотъ все, что г. Шавровъ умѣетъ сказать въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Я рѣшительно не знаю, какихъ несчастныхъ читателей онъ думаетъ убѣдить такими игрушечными аргументами.

VIII.

Въ одномъ изъ мартовскихъ номеровъ «Сѣверной Почты» помѣщенъ отрывокъ: «изъ записки статсъ-секретаря Танѣва, о мнѣніяхъ, высказанныхъ иностранными педагогами, разсматривавшими проектъ устройства нашихъ учебныхъ заведеній». — Иностранные педагоги склоняются рѣшительно въ пользу классицизма; надо полагать, что они, въ этомъ случаѣ, руководствуются какими нибудь очень основательными соображеніями, но, къ сожалѣнію, ихъ мнѣсія изложены въ запискѣ г. Танѣва такъ коротко, что причины ихъ наклонности къ классическимъ языкамъ остаются необъясненными. «Не вдаваясь во всѣ подробности обширныхъ соображеній, изложенныхъ по сему предмету, говоритъ г. Танѣвъ, ограничусь одними главными доводами, приведенными иностранными рецензентами въ защиту изложенныхъ ими мнѣній. Въ числѣ таковыхъ доводовъ и доказательствъ они ссылаются на Англію, Германію, Францію, Бельгію и Сѣверо-американскіе штаты, гдѣ реальному образованію указано мѣсто второстепенное, тогда какъ образованіе классическое или гуманное, состоящее въ изученіи древнихъ языковъ, помѣщено на переднемъ планѣ и признано, во всѣхъ сихъ государствахъ, главнымъ двигателемъ просвѣщенія».

До сихъ поръ мы видимъ не доказательства, а только ссылку на существующій фактъ. Иностранные педагоги стараются, однако, объяснить и оправдать существованіе этого факта. «Между прочимъ, они говорятъ, что распространеніе знанія древнихъ языковъ имѣло постояннымъ послѣдствиемъ возвышеніе уровня просвѣщенія и возрожденіе литературы и искусства».

Было бы очень недурно, если бы гг. рецензенты объяснили подробно, что они называютъ *возвышеніемъ уровня просвѣщенія*. Въ какихъ именно явленіяхъ жизни выразилось это *возвышеніе уровня*? Если бы рецензенты отвѣтили обстоятельно на этотъ вопросъ, то мы узнали бы тогда, составляетъ ли это *возвышеніе уровня* дѣйствительное благо, или же оно оказывается оптическимъ обманомъ. Если, напримѣръ, господа рецензенты видятъ *возвышеніе уровня* въ томъ явленіи, что лучшія умственные силы страны обращаются отъ различныхъ скромныхъ отраслей производительнаго труда къ блестящимъ занятіямъ поэзіею, живописью и скульптурою, то, можетъ быть, позволительно будетъ усомниться въ томъ, чтобы такое *возвышеніе уровня* было дѣйствительно полезно и желательно для общества. Такъ какъ господа рецензенты рядомъ съ *возвышеніемъ уровня* ставятъ *возрожденіе литературы и искусства*, то легко можетъ быть, что они понимаютъ *возвышеніе уровня* именно въ томъ смыслѣ, который я указалъ въ предыдущихъ строкахъ.

«Вліяніє это объясняется, по ихъ мнѣнію, указанными выше преимуществами языковъ латинскаго и греческаго и, вромѣ того, непрерывнымъ воедѣнствіемъ на духовную жизнь новѣйшихъ обществъ духа и учреждений древняго міра, которые, безъ основательнаго знанія языковъ классическихъ, служащихъ живыми проводниками въ тайны давно минувшаго, но знаменательнаго времени, не могутъ быть ни оцѣнены, ни поняты и остаются нѣмыми, бездушными памятниками какой-то отдаленной старины».

Указанныя *еще* преимущества классическихъ языковъ нуждаются, какъ мы видѣли выше, въ подробныхъ разъясненіяхъ и доказательствахъ. Безъ этихъ разъясненій и доказательствъ нѣтъ никакой возможности понять, въ чемъ состоятъ эти преимущества. Что же касается до *непрерывнаго воедѣнствія духа и учреждений древняго міра*, то желательно было бы узнать, какія именно стороны этого и этихъ учреждений могутъ, по мнѣнію господъ рецензентовъ, обнаружить благотворное и плодотворное вліяніе на міросозерцаніе и на общественную жизнь современныхъ европейцевъ. Наука находилась тогда въ младенчествѣ; социальное устройство было ниже всякой критики; промышленность была ничтожна; религіею было грубое идолопоклонство; даже всѣ отрасли искусства, за исключеніемъ скульптуры, отозав на довольно низкой степени развитія. Спрашивается, слѣдовательно чему же именно мы должны учиться у древнихъ и въ какія *тайны давно-минувшаго времени* классическіе языки должны служить намъ *живыми проводниками*? Въ какомъ отношеніи это *давно-минувшее время* считается особенно *знаменательнымъ*?

«Затѣмъ, иностранные педагоги обращаются къ практическимъ, очевиднымъ и, слѣдовательно, вполне неоспоримымъ, по ихъ мнѣнію, результатамъ классическаго образованія».

Мы сейчасъ увидимъ, что эти результаты оказываются *очевидными и неоспоримыми* именно только *по ихъ мнѣнію*, которое, въ данномъ случаѣ, никакъ не можетъ быть признано безусловно-вѣрнымъ и неопровержимымъ.

«Они указываютъ на общественныхъ дѣятелей иностранныхъ государствъ, и, прежде всего, на англичанъ, которые достигли высокой степени образованія и приобрѣли знаменитость въ государственной жизни, будучи къ тому подготовлены путемъ изученія древнихъ языковъ».

Господа иностранные педагоги дѣлаютъ, въ своемъ умозаключеніи, ту извѣстную ошибку, которая называется *post hoc, ergo propter hoc*. Англичанамъ изучаетъ въ школахъ древніе языки, потомъ этотъ же самый англичанинъ *приобрѣтаетъ знаменитость въ государственной жизни*. Подмѣтивъ совершенно вѣрно эти два факта, слѣдующіе одинъ за другимъ, господа педагоги умозаключаютъ совершенно произвольно, что эти два факта находятся между собою въ *необходимой причинной связи*. Этотъ англичанинъ, развиваясь, они, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни *потому*, что онъ изучалъ въ школахъ древніе языки. Это *потому* рѣшительно

ничѣмъ не оправдывается. Изъ того факта, что англичанинъ, изучавшій въ школѣ древніе языки, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни, можно вывести только то умозаключеніе, что изученіе древнихъ языковъ не составляетъ непреодолимаго препятствія въ дѣлѣ приобретенія знаменитости въ государственной жизни. Если же иностранные педагоги, упоминая объ англичанахъ, хотятъ сослаться не на отдѣльныя личности, а на цѣлый народъ, котораго высшія и среднія сословія дѣйствительно получаютъ строго-классическое образованіе то и тогда имъ можно доказать, что ихъ умозаключеніе несостоятельно. Господа педагоги разсуждаютъ такъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи господствуетъ классическое образованіе, слѣдовательно, классическое образованіе содѣйствуетъ ея процвѣтанію. Подражая логическимъ приемамъ господъ педагоговъ, я строю слѣдующій спллогизмъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи всѣ тяжёбныя дѣла продолжаются обыкновенно чрезвычайно долго и всегда сопряжены съ громадными издержками, слѣдовательно, такое устройство гражданскихъ судовъ, которое содѣйствуетъ продолжительности и дороговизнѣ тяжёбныхъ дѣлъ, возвышаетъ благосостояніе страны. Если анализъ сравнительнаго достоинства различныхъ образовательныхъ наукъ былъ произведенъ тѣми самыми господами педагогами, которые считаютъ процвѣтаніе Англіи *очевиднымъ и неоспоримымъ результатомъ* классическаго образованія, то я осмѣливаюсь думать, что этотъ анализъ врядъ ли можетъ похвалиться логикой защитниковъ классическаго образованія.

Затѣмъ господа педагоги разсматриваютъ тѣ «вредныя послѣдствія, которыя влечетъ за собою нерѣдко реальное образованіе».

«По ихъ мнѣнію, курсъ реальныхъ училищъ въ его прямомъ, настоящемъ смыслѣ, имѣетъ предметомъ не окончательное, учебное изученіе реальныхъ предметовъ, а лишь энциклопедическое приготовленіе къ извѣстнымъ техническимъ отраслямъ. Такой энциклопедизмъ въ изученіи предметовъ весьма обширныхъ и весьма сложныхъ ведетъ къ большей или меньшей поверхностности и знанія, и сужденія; а эта поверхностность въ дѣлѣ естествоиспытанія, составляющаго настоящій центръ тяжести всего реального курса, имѣетъ, по удостовѣренію рецензетовъ, обыкновеннымъ послѣдствіемъ уклоненіе ума отъ истины, безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту и, наконецъ, скептицизмъ въ дѣлахъ вѣры или даже полное безвѣріе».

Я никакъ не могу себѣ объяснить, какимъ образомъ изученіе латинскаго и греческаго языка можетъ спасать юношество отъ скептицизма и отъ безвѣрія. Исторія всѣхъ европейскихъ литературъ говоритъ намъ, что очень многіе скептики и атеисты знали превосходно древніе языки и древнія литературы, и что эти знанія нисколько не помѣшали имъ быть скептиками и атеистами. Ученые и поэты XV и XVI вѣковъ были страстно влюблены въ классическую древность; эта любовь была особенно сильна въ тогданней

Италіи, а между тѣмъ, именно тогдашняя Италія была и разсадникомъ скептицизма и даже полнаго безвѣрія. Опираясь на всѣ эти соображенія, я полагаю, что господа иностранные педагоги напрасно приводятъ гимназическій реализмъ въ причинную связь съ духомъ скептицизма и даже полнаго безвѣрія. Гимназическій реализмъ—самъ по себѣ, а скептицизмъ и даже полное безвѣріе—тоже сами по себѣ. Между этими явленіями нѣтъ никакой взаимной зависимости.—Другое возраженіе господъ педагоговъ противъ реальныхъ гимназій я считаю совершенно основательнымъ. Поверхностный энциклопедизмъ, дѣйствительно, очень пехорошъ, не потому, что онъ ведетъ за собою, будто бы, «безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту», а потому, что онъ засоряетъ молодые умы грудami отрывочныхъ и, слѣдовательно, неосмысленныхъ и неудобоваримыхъ знаній. Но эти неудобства поверхностнаго энциклопедизма говорятъ только противъ данной программы реальныхъ гимназій, а не противъ реализма вообще. Чтобы избавиться отъ этого поверхностнаго энциклопедизма, нѣтъ никакой необходимости хвататься за классическую древность, какъ за единственный якорь спасенія. Надо только составить новую реальную программу, въ которой преподаваніе было бы сосредоточено на математикѣ, на физикѣ, на космографіи и на химіи. «Если, говорить «Сѣверная почта», общество признаетъ реальныя училища полезными, то, безъ сомнѣнія, устроить ихъ собственною инициативою, собственными средствами.» Это мнѣніе «Сѣверной почты» совершенно основательно. Если общество дѣйствительно дорожитъ реальнымъ образованіемъ, то оно не должно ожидать, чтобы это образованіе свалилось къ нему, какъ снѣгъ на голову, въ готовомъ видѣ. Пусть само общество выработаетъ себѣ тѣ формы реального образованія, которыя соотвѣтствуютъ его потребностямъ. Если оно съумѣетъ это сдѣлать, тогда, значить, оно, дѣйствительно сознаетъ необходимость послѣдовательнаго реализма. Если же у него не хватитъ смѣлвости и энергіи, на то, чтобы рѣшить эту задачу собственными силами, тогда нечего и жалѣть о томъ, что эта задача не рѣшена новымъ гимназическимъ уставомъ. О реальномъ образованіи и о той формѣ, которую оно должно принять въ нашемъ обществѣ, я поговорю впослѣдствіи. Что же касается до классическаго образованія, то весь предшествующій анализъ приводитъ меня къ тому заключенію, что до сихъ поръ во всей нашей періодической литературѣ не было высказано ни одного убѣдительнаго аргумента въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Посмотримъ, что дастъ намъ въ этомъ отношеніи будущее.

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Издание Ф. Павленкова.

Цена за каждую часть 1 р.



ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ А. ГОЛОВАЧОВА.

(Воскресенскій пр., д. № 23 и 21.)

1866.

СТАТЪИ
ПО ВОСПИТАНІЮ И ОБРАЗОВАНІЮ.

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА.

УНИВЕРСИТЕТЪ.

I.

Осенью 1856-го года, я поступилъ въ одинъ изъ нашихъ университетовъ. Осенью 1861 года я оставилъ этотъ университетъ съ кандидатскимъ дипломомъ. Я упоминаю теперь же объ этомъ фактѣ, чтобы сразу зарекомендовать себя съ самой лучшей стороны. Если я кандидатъ, стало быть университетъ обошелся со мной очень милостиво, стало быть я не имѣю никакого основанія къ личной неприязни противъ университета, стало быть читатель можетъ довѣрять моимъ показаніямъ настолько, насколько принято въ обществѣ вѣрить порядочному человеку, рассказывающему о такомъ обстоятельстве, въ которомъ онъ не имѣетъ причины быть пристрастнымъ. Я выставилъ также цифру годовъ, чтобы показать читателю, что я еще человекъ молодой, и слѣдовательно могу говорить о своихъ студенческихъ годахъ, не поддаваясь тому сентиментальному стремленію къ идеализированію, которое обыкновенно дѣйствуетъ въ людяхъ пожилыхъ, когда эти почтенные люди въ назиданіе младшимъ братьямъ или потомкамъ перебираютъ свои юношескія воспоминанія. Не прошло еще двухъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ университета, стало быть всѣ главнѣйшіе факты моей тогдашней умственной жизни сохранились у меня въ памяти во всей своей свѣжести. Мнѣ незачѣмъ добавлять художественнымъ творчествомъ какія нибудь забытыя черты или подробности. Я заранѣе могу дать читателю торжественное обѣщаніе, что не сочиню ни одной сцены,

не выдумаю для украшенія моихъ воспоминаній ни одного разговора. Вслѣдствіе этого, воспоминанія мои теряютъ, можетъ быть, въ отношеніи къ занимательности, но эта потеря съ избыткомъ будетъ вознаграждена тѣмъ, что они выиграютъ въ отношеніи къ строгой исторической вѣрности. Все вниманіе мое будетъ сосредоточено только на одной сторонѣ студенческой жизни, именно на отношеніяхъ студента къ наукѣ и на дѣятельности профессоровъ, какъ посредниковъ между алчущими и жаждущими умами съ одной стороны, и умственной пищею, заключенною въ различныхъ фоліантахъ, съ другой стороны. Отношенія студентовъ между собою, различныя проявленія молодой умственной жизни, студенческіе кружки, ихъ горячіе споры, ихъ искреннія вѣрованія и честныя стремленія, классическое «*Gaudeamus igitur*», отъ котораго встрепенется сердце всякаго бывшего студента,—вся эта поэзія юности останется въ сторонѣ; я пишу серьезный очеркъ и хочу сохранить въ настоящую минуту полную умственную трезвость; я хочу безпристрастно взглянуть на нашу университетскую науку, и потому съ суровостью, достойною древняго римлянина, отталкиваю отъ себя все то, что подкупаетъ умъ и разнѣживаетъ чувство. Затѣмъ, попросивши у читателя извиненія за длинное вступленіе, я на всѣхъ парусахъ вступаю въ бурное и негостепріимное море моего трезваго и суроваго изложенія.

II.

И такъ я студентъ. Позади меня, въ близкомъ прошедшемъ, лежить побѣжденная груда личныхъ враговъ моихъ, груда тѣхъ учебниковъ, которыхъ сумма называется въ совокупности гимназическимъ курсомъ. Надъ этою хаотическою грудю поверженныхъ и безсильныхъ противниковъ, какъ символъ примиренія и прощенія, сіяетъ кроткимъ и умиленнымъ блескомъ первая серебряная медаль съ изображеніемъ богини мудрости и съ многозначительною надписью «преуспѣвающему». Видя, что я преуспѣвалъ и въ гимназій, читатель долженъ осязательно чувствовать, какъ возрастаетъ въ немъ уваженіе къ моей особѣ и довѣріе къ моему безпристрастію. Виѣшніе результаты моего пребыванія въ гимназій оказываются блистательными; внутренніе результаты поражаютъ непрigотовленнаго наблюдателя обиліемъ и разнообразіемъ собранныхъ свѣдѣній: логарифмы и конусы, усѣченные пирамиды и неусѣченные параллелопипеды перекрещиваются съ гекзаметрами Одиссеи и асклепиадовскими размѣрами Горация; рычаги всѣхъ трехъ родовъ, ареометры, динамометры, гальваническія батареи приходятъ въ столкновение съ Навуходоносоромъ.

Митридатомъ, Готфридомъ Будлонскимъ и нескончаемыми рядами цифръ, составляющихъ неизбежное хронологическое украшеніе слишкомъ извѣстныхъ историческихъ произведеній гг. Смараглова, Зуева и Устралова. А города, а рѣки, а горныя вершины, а германскій союзъ, а неправильныя греческія глаголы, а удѣльная система и генеалогія Іоанна Калиты! И при всемъ томъ мнѣ только шестнадцать лѣтъ, и я все это превозмогъ, и превозмогъ единственно только по милости той драгоцѣнной способности, которою обильно одарены гимназисты. Тою же самою способностью одарены вѣроятно въ той же степени кадеты и семинаристы, лицеисты и правовѣды, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная способность не что иное, какъ колоссальная сила забвенія. Лермонтовскому демону, какъ извѣстно, не было дано этой силы, и Лермонтовъ, упоминая объ этомъ обстоятельстве, прибавляетъ даже, что

«Онъ и не взялъ бы забвенья».

Не мудрено. Но откуда взять. Вся вода рѣки Леты, съ той самой минутой, какъ ее перестали пить души, вступающія въ елисейскія поля, стала расходоваться на обучающееся юношество, которое съ истинною юношескою жадностью упивается ея живительными струями. Юношество понимаетъ, что эта магическая вода представляетъ для него единственное средство спасенія. Только при помощи ея, оно выдерживаетъ свои многочисленные экзамены; и при ея же помощи оно, выдержавши послѣдній свой экзаменъ, навсегда очищаетъ свою голову отъ переполняющихъ и засоряющихъ ее ингредиентовъ. Во время учебнаго года гимназистъ удерживаетъ заразы въ своей головѣ только тотъ маленькій кусочекъ каждой учебной книги, который учитель въ ближайшій классъ можетъ потребовать къ осмотру; въ одно время въ его мозгу живутъ, независимо другъ отъ друга, кусочки разныхъ предметовъ; такъ какъ ни одинъ предметъ не вмѣщается въ мозгу въ своей цѣлости, то эти кусочки живутъ и шевелятся сами по себѣ, безъ всякой связи съ цѣлымъ, такъ точно какъ живутъ и шевелятся сами по себѣ куски разрѣзаннаго земляного червяка. Когда наступаетъ пора экзаменовъ, тактика немедленно перемѣняется; эйнъ-цвей-дрей: куски разрѣзаннаго червяка сбѣгаютъ и срастаются въ надлежащемъ порядкѣ. Начинается церемоніальный маршъ червяковъ черезъ мозги гимназистовъ; по порядку, назначенному въ росписаніи экзаменовъ, проходятъ предметы одинъ за другимъ, и самъ гимназистъ испытываетъ рядъ изумительнѣйшихъ превращеній: сегодня онъ Архимедъ, черезъ три дня — Цицеронъ, черезъ недѣлю — Гомеръ; наконецъ, весь этотъ рядъ метаморфозъ завершается тѣмъ, что увѣнчанный лаврами триумфаторъ, гордость и цѣлѣ гимназизмъ—превращается въ юнаго тельца, увозится на каникулы въ деревню и

тамъ *напумиваетъ* жиръ, утраченный во время осеннихъ, зимнихъ и весеннихъ трудовъ и передѣлокъ. Тутъ уже забывается все до послѣдней капли; растительная жизнь вступаетъ во всѣ свои права; гимназистъ стоитъ на развалинахъ своего ученаго величія, и вспоминая свою недавнюю славу, утѣшается тою мыслью, что именно такое же оскорбительное превращеніе досталось нѣкогда на долю Навуходоносора, наполнившаго всю переднюю Азію славою своего царственнаго имени и шумомъ своего побѣдоноснаго оружія. Если сила забвенія дѣйствуетъ съ непобѣдимымъ успѣхомъ во время переходныхъ экзаменовъ, то она дѣйствуетъ на выпускномъ экзаменѣ въ семь разъ успѣшнѣе. Сдавши напрымѣръ выпускной экзаменъ изъ исторіи и приступая къ занятію математикою, юноша разомъ вытряхиваетъ изъ головы имена, годы и событія, которыя онъ еще наканунѣ лелѣлъ съ такимъ увлеченіемъ; приходится забыть не какой нибудь уголокъ исторіи, а какъ есть все, начиная отъ Китайцевъ и Ассиріанъ и кончая войною Американскихъ колоній съ Англіею *). Какъ совершается это удивительное физиологическое отправление—не знаю, но что оно дѣйствительно совершается—это я знаю по своему личному опыту; этого не станеть отвергать никто изъ читателей, если только онъ захочетъ заглянуть въ свои собственные школьныя воспоминанія.

Быть можетъ, нѣкоторые педагога, ревниво оберегающіе честь своихъ гимназій, отнесутся къ моей идеѣ, какъ къ легкомысленному произведенію праздной фантазіи, и скажутъ рѣшительно и гордо, что ихъ воспитанники учатъ уроки и выдерживаютъ экзамены, не прибѣгая ни въ какомъ случаѣ къ пособію благодатнаго забвенія. Такимъ довѣрчивымъ воспитателямъ лукаваго юношества я тотчасъ укажу вѣрное средство испытать своихъ питомцевъ и убѣдиться въ практическомъ значеніи моихъ словъ. Положимъ, что сегодня, 21 мая, экзаменъ изъ географіи происходитъ блистательно. Проходить два дня, 24-го числа тѣ же воспитанники приходятъ экзаменоваться изъ латинскаго языка. Пусть тогда педагогъ, считающій меня фантазеромъ, объявитъ юношамъ, что экзамена изъ латинскаго языка не будетъ, а повторится уже выдержанный экзаменъ изъ географіи. Вы посмотрите, что это будетъ. По рядамъ распространится паническій страхъ; будущіе друзья науки увидятъ ясно, что они попали въ засаду; начнется такое-избѣненіе младенцевъ, какого не было со временъ нечестиваго царя Ирода; кто 21-го мая получилъ пять балловъ, помирится на трехъ, а кто довольствовался тремя, тотъ не скажетъ ни одного путнаго слова. Если моя статья попадетъ въ руки

*) Дальше этого пункта не простирались наши историческія познанія. Снисходя къ нашей отроческой невинности, педагоги набрасывали завѣсу на послѣднія событія XVIII столѣтія.

обучающемуся юношѣ, то этотъ юноша будетъ считать меня за самого низкаго человѣка, за перебѣжчика, передающаго въ непріятельскій лагерь тайны бывшихъ своихъ союзниковъ. Разсуждая такимъ образомъ, юноша обнаружитъ трогательное незнаніе жизни; онъ подумаетъ, что педагоги когда нибудь дѣйствительно воспользуются моимъ коварнымъ совѣтомъ. Но этого никогда не будетъ и быть не можетъ. Воспользоваться моимъ совѣтомъ значить нанести смертельный ударъ существующей системѣ преподаванія и, слѣдовательно, обречь себя на изобрѣтеніе новой системы. Конечно, наши педагоги никогда не доведутъ себя до такой печальной для нихъ катастрофы.

III.

«Чѣмъ же однако нехороша теперешняя система преподаванія?» спрашиваетъ недоумѣвающий читатель.—А кто же вамъ, м. г., говоритъ, что она нехороша, отвѣчаю я. Я вамъ докладываю только, что она имѣетъ нѣкоторыя своеобразныя достоинства, вслѣдствіе которыхъ благодать забвенія становится необходимою. Главное достоинство, отъ котораго зависятъ уже всѣ остальные, состоитъ въ томъ, что различные предметы не связываются въ общій циклъ знаній, не поддерживаютъ другъ друга, а стоятъ каждый самъ по себѣ, стараясь вытѣснить своего сосѣда. Математика наровитъ обидѣть исторію, которая въ свою очередь съ угрожающимъ видомъ наступаетъ на латинскую грамматику. Каждый предметъ бываетъ то побѣдителемъ, то побѣжденнымъ; исторія ихъ безконечныхъ раздоровъ составляетъ исторію умственной жизни каждаго гимназиста; мозгъ ученика — вѣчное поле сраженія, а пора экзаменовъ — время самыхъ истребительныхъ войнъ между отдѣльными предметами. Вуйные нравы этихъ задорныхъ предметовъ вносятся даже въ нѣдра семейства, въ группу родственныхъ предметовъ, которые въ силу своего родства должны были бы жить въ добромъ согласіи и защищать другъ друга противъ благодати забвенія. Семья математическихъ наукъ представляетъ поучительный примѣръ такихъ бѣдственныхъ междоусобій. Геометрія въ грошъ не ставитъ алгебру, и обѣ онѣ также враждебно смотрятъ на тригонометрію, какъ на какую нибудь греческую грамматику. Что же касается до арифметики, то на нее старшіе члены математической семьи и смотрѣть не хотятъ. Она — Сандрильона семейства; обѣ ней стараются забыть, и дѣйствительно забываютъ, вплоть до самого выпускнаго экзамена, на которомъ, какъ на страшномъ судѣ, должно выйти на свѣтъ все, что было затаено въ глубинѣ преступной совѣсти.

На выпускномъ экзаменѣ дѣйствительно произошла такая драматическая коллизія между арифметикою и ея старшими сестрами, такая, говорю я, коллизія, которая привела меня въ трепетъ. Намъ приходилось брать четыре билета (изъ арифметики, изъ алгебры, изъ геометріи и изъ тригонометріи),—экзаменовали насъ нѣсколько учителей разомъ, на двухъ противоположныхъ концахъ большой залы; я на одномъ концѣ преодолевалъ тригонометрію, и побѣдоносно раздѣлавшись съ синусами и тангенсами, перешелъ на другой конецъ отвѣчать изъ арифметики. Я былъ увѣренъ въ полномъ успѣхѣ, но вдругъ задумался надъ отношеніями и пропорціями, да такъ задумался, что весь экзаменъ сталъ казаться моему смущенному уму горькой и неумѣстной шуткой слѣпой судьбы. Я окончательно сѣлъ на мель, такъ что учитель, преподающій въ младшихъ классахъ, принужденъ былъ превратить экзаменъ въ лекцію и объяснить мнѣ, второму ученику седьмого класса, тѣ истины, которыя онъ внушалъ своимъ двѣнадцатилѣтнимъ слушателямъ. Кроткій ликъ моей будущей медали отуманился легкимъ облакомъ, и меня выручило только то обстоятельство, что за математику полагалась одна общая отмѣтка, составлявшая средній выводъ изъ четырехъ частныхъ балловъ. Скроменность моихъ арифметическихъ познаній прошла такимъ образомъ незамѣченной и потонула въ лучахъ моей алгебранческой, геометрической и тригонометрической славы.

Но дѣло не въ томъ. Вы взгляните въ рассказанный фактъ и тогда вы увидите, въ какую грубую ошибку впадаютъ тѣ мыслящіе люди, которые утверждаютъ, что математика развиваетъ силу мышленія и что математическія науки представляютъ непрерывную цѣпь истинъ, вытекающихъ одна изъ другой по логической необходимости. У насъ математика есть не что иное, какъ собраніе сочиненій Боско или Пинети; это рядъ удивительныхъ фокусовъ, придуманныхъ богъ знаетъ зачѣмъ, и богъ знаетъ какую эквилибристикою человѣческаго мышленія. У каждаго фокуса есть свой особенный ключъ, и эту сотню ключей надо осилить памятью, тою же самою памятью, которою осиливаются историческія и географическія имена. Доказывая геометрическую теорему, гимназистъ только притворяется, будто онъ выводитъ доказательства одно изъ другого; онъ просто отвѣчаетъ заученный урокъ; вся работа лежитъ на памяти, и тамъ, гдѣ измѣняется память, тамъ оказывается безсильною математическая сообразительность, которую вы, благодущный педагогъ, уже готовы были предположить въ вашемъ рѣзистомъ ученикѣ. Конечно, если вы перемѣните буквы чертежа, если вмѣсто треугольника ABC дадите треугольникъ LOR , то ученикъ докажетъ и по этому треугольнику, — но вы этимъ не обольщайтесь; это покажетъ вамъ только, что отрокъ заучилъ не буквы, а фигуру чертежа, потому что буквы заучиваютъ только тѣ нищіе духомъ, которые учатъ слово въ слово исторію, геогра-

фію и другіе літературніе предмети. Такія личности уже переводятся въ гимназіяхъ. А вы попробуйте измѣнить фигуру; предложите, напримеръ, вмѣсто остроугольника—тупоугольникъ, или устройте такъ, чтобы заинтересованный въ доказательствѣ уголъ глядѣлъ не въ стѣну, какъ ему вѣжливо глядѣть по учебнику геометріи, а хоть бы въ полъ или въ потолокъ. Сдѣлайте такъ, и я вамъ ручаюсь, что изъ десяти бойкихъ геометровъ пятаго класса, девять погрузятся въ безплодную и мрачную задумчивость. Они съ краской стыда на лицѣ сознаются вамъ, что «у нихъ этого нѣтъ,» и если вы немножко психологъ, то вамъ сдѣлается отъ души жалко бѣдныхъ юношей; вы поймете, что въ эту минуту ихъ законное самолюбіе страдаетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ если бы ихъ поймали на крупной шалости или уличили въ небрежности къ заданному уроку; имъ приходится признаться въ умственномъ безсиліи, въ безсиліи, произведенномъ искусственными средствами, и они сами смутно чувствуютъ, что они могли бы быть сильнѣе и что ихъ мѣстная тупость находится въ какой-то роковой связи съ своеобразными достоинствами системы преподаванія. Теперь вамъ хорошо писать панегирикъ этой системѣ, но надо помнить, что она еще не отошла въ вѣчность и что было время, когда эта система была для насъ неотразимымъ рокомъ; мы изнемогали подъ ударами учебниковъ, мы чувствовали иногда, что тупѣемъ, а между тѣмъ исхода не было; отступленіе было невозможно. Именно такую тяжелую минуту сознательности переживутъ тѣ девять геометровъ, которыхъ не понравится, чтобы уголъ отъ созерцанія стѣны перешелъ къ разсматриванію потолка. Если же они благополучно выпутаются изъ предложеннаго испытанія, тогда я не шутя совѣтую старшему педагогу, имѣющему власть, обратить все свое вниманіе на учителя математики и отиѣтитъ его въ своихъ начальническихъ соображеніяхъ, какъ опаснаго чловѣка и безпокойнаго реформатора.

Не сѣтуйте на меня, читатель, за то, что я такъ долго говорилъ о математикѣ, и не удивляйтесь тому, что я вовсе не буду говорить о другихъ предметахъ гимназическаго курса. Отъ другихъ предметовъ и требовать нечего, но математика — наука великая, замѣчательнѣйшій продуктъ одной изъ благороднѣйшихъ способностей чловѣческаго разума. Профанированіе математики есть преступленіе передъ разумомъ, преступленіе, за которое несемъ наказаніе мы, невинныя жертвы своеобразныхъ достоинствъ. Если у насъ нѣтъ въ обществѣ строгихъ мыслителей, если наши критическія статьи бываютъ похожи на соображенія Кифи Мокиевича, если наши оптимисты смакиваютъ на Манилова, а добродѣтельные либералы на Ситникова, то всѣ эти привычныя намъ чудеса происходятъ между прочимъ и отъ того, что чистую и прикладную математику мы одолѣваемъ памятью, а размышлять учимся впоследствии, погружаясь въ историческія теоріи, въ философскія системы, въ юридическія фикціи,

въ теологическія гипотезы и въ разныя другія извинительныя шалости досужаго и игриваго человѣческаго ума. Мы мыслимъ афоризмами и отыскиваемъ истину чутьемъ и инстинктомъ; исторія превратилась подъ нашими руками въ нравоучительный романъ, преслѣдующій разныя заднія мысли, иногда хорошія, часто очень дурныя, но во всякомъ случаѣ, неотносящіяся къ настоящему дѣлу; философія до сихъ поръ предъявляетъ права тираническаго господства надъ такими смиренными умами, которые совершенно неподвижны въ покушеніи мыслить; юридическая литература вся наголо состоитъ изъ причитаній о законности и вѣдѣмости, изъ причитаній, которыхъ авторы поклялись торжественною клятвою никогда не отдавать отчета ни себѣ, ни другимъ — въ томъ, что такое законность и до какихъ предѣловъ должна простираться вѣдѣмость. Натуралисты наши, послѣдователи Мильнъ-Эдвардса и Катрфажа, до сихъ поръ любятъ жизненною силою, толкуютъ о цѣляхъ въ природѣ и непритворно гордятся тѣмъ, что самый глупый человѣкъ все-таки умнѣе и привлекательнѣе самой умной обезьяны. Всѣ эти историки, метафизики, юристы и натурфилософы, составляющіе многочисленный и разнообразный классъ нашихъ филистеровъ, постоянно говорятъ и пишутъ, постоянно ссорятся и мирятся между собою, коварно соболѣзнуютъ другъ о другѣ, или дружески свидѣтельствуютъ другъ другу свое почтеніе. Но человѣческая мысль сильна; порою вся пестрая сцена, набросанная мною въ послѣднихъ строкахъ, внезапно освѣщается яркимъ лучемъ чьей нибудь неиспорченной мысли; тогда на лицахъ филистеровъ изображается недоумѣніе, безвредные споры ихъ умолкаютъ, взаимныя любезности прекращаются, въ пробившемся лучѣ мысли они всѣ чувтъ общаго врага, — составляется общій хоръ, и всѣ историки, юристы, политико-экономисты, метафизики и натурфилософы ревутъ благимъ матомъ, что новая мысль совсѣмъ даже не мысль, а просто покушеніе на ихъ личную и имущественную безопасность, и хуже того — преступное посягательство на величіе патентованной науки, которая одинаково дорога имъ всѣмъ, какъ общая кормилица и вѣчная дойная корова.

Прислушайтесь, читатель, къ этому плачу и скрежету зубовъ, прислушайтесь и подумайте: вѣдь было же время, когда всѣ эти мужи науки и брани были сами юнными геометрами; было время, когда они, съ мѣломъ въ рукахъ, стояли у школьной доски, краснѣли отъ стыда и досады и сознавали съ мучительною ясностью, что память ихъ напрягается до истощенія силъ и что, въ это самое время, непробужденная и неразвитая способность мышленія не можетъ ни на одну минуту под- держать и выручить ихъ въ борьбѣ съ неожиданными препятствіями. Теперь они это забыли; теперь на ихъ улицѣ праздники; теперь они заставляютъ краснѣть другихъ геометровъ, и работаютъ въ обществѣ и въ

литературѣ, словомъ и перомъ отстаиваютъ «своеобразныя достоинства», отъ которыхъ имъ самимъ во время оно приходилось жутко солоно. Усилія ихъ увѣнчиваются успѣхомъ: наша учащаяся молодежь, воспользовавшись плодами ученія, распадается на двѣ рѣзко обозначенныя категоріи: направо идутъ овцы, неспособныя краснѣть; налѣво козлища, весьма способныя краснѣть, шалить и лѣниться. Первые спокойно и радостно тупѣютъ, вторыя злятся и кусаютъ ногти. Изъ первыхъ выходятъ примѣрные чиновники; изъ вторыхъ широкія натуры и иногда даровитые дѣятели. Разстояніе между тѣми и другими увеличивается съ каждымъ годомъ; различіе между обѣими категоріями постоянно становится глубже; не смотря на то, бываютъ иногда и такіе случаи, что геометръ, зачисленный въ овцы и постоянно считавшій себя овцею, вдругъ открываетъ въ себѣ козлиныя свойства и наклонности, и сдѣлавъ такое открытіе, немедленно перебѣгаетъ къ своимъ естественнымъ союзникамъ. Случается и наоборотъ, тѣмъ болѣе, что овцею быть выгодно и пріятно.

IV.

Я принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно, и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ «преуспѣвающимъ». Хотя я до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о степени моего развитія, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проникательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать исторію Англіи Маколея, но чтеніе и подвигалось туго и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія естественныхъ силъ. На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшійся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ и что природѣ чловѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія.

Впрочемъ, это въ скобкахъ. Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ. Длинно такъ, и много лицъ, и ничего не сообразишь, и приключеній никакихъ нѣтъ, и шутить такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ что «Les trois mousquetaires» не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели — Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя — зачѣмъ я ихъ слушалъ... Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безприветвенными, а Гоголь писателемъ сальнымъ и въ порядочномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его также хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки охотника» ласкали, какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немислимо. Словомъ, я шелъ путемъ самого благовоспитаннаго юноши... А между тѣмъ, что-то манило меня въ университетъ, въ словахъ «студентъ, профессоръ, аудиторія, лекція» заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое и умное чулось мнѣ въ студенческой жизни; мнѣ хотѣлось не кутежей, не шалостей, а какихъ-то неиспытанныхъ ощущений, какой-то дѣятельности, какихъ-то стремленій, которыми я не могъ дать тогда ни имени, ни опредѣленія, но на которыя непремѣнно рассчитывалъ наткнуться въ стѣнахъ университета. Даже внѣшніе атрибуты студенчества казались мнѣ привлекательными: синій воротникъ, безвредная шага, двуглавые орлы на пуговицахъ — все это нравилось мнѣ, какъ «вещественные знаки невещественныхъ отношеній». Въ то время, когда я, окончивши выпускной экзаменъ, обновлялъ студенческій сюртукъ, нѣкоторые изъ моихъ молодыхъ родственниковъ облакались въ самыя очаровательныя офицерскія формы; на каскахъ ихъ развѣвались султаны, сабли гремѣли, шпоры звенѣли, эполеты блестѣли, солдаты передъ ними вытягивались, а я все-таки не завидовалъ, и мои скромныя регалии не теряли въ моихъ глазахъ ни одного процента изъ своей неизмѣримой цѣны, не смотря на ослѣпительную блистательность «ихъ благородій». — Впрочемъ, любовь моя къ университету была чувствомъ совершенно платоническимъ и даже пантеистическимъ; я любилъ университетъ и студенчество, какъ какое-то отдѣльное мірозданіе; а зналъ я это мірозданіе еще гораздо меньше, чѣмъ Данте свою Беатриче. Кромѣ того, любя этотъ невѣдомый міръ въ его совокупности, я не чувствовалъ никакого особеннаго влеченія къ тому или другому кругу наукъ; а такое влеченіе непремѣнно надо было почувствовать, потому что быть студентомъ — вообще такъ же невозможно, какъ быть птицей или рыбой. Надо быть курицей, грачемъ, ястребомъ, окунемъ, щукой или карасемъ, а мотушая

въ университетъ, надо непременно сдѣлаться студентомъ того или другого факультета. Это я зналъ, и потому, полюбовавшись на синеву воротника и на блескъ золоченаго эфеса шпаги, я въ одно мгновеніе ока произвелъ въ умѣ своемъ инспекторскій смотръ представлявшимися мнѣ факультетамъ. По математическому не пойду, потому что математику ненавижу, и въ жизни своей не возьму больше въ руки ни одного математическаго сочиненія (читатель видѣлъ выше причины суровыхъ отношеній моихъ къ этому циклу наукъ); по естественному тоже не пойду, потому что и тамъ есть кусочекъ математики, да и физика почти то же самое, что математика; юридическій факультетъ сухъ (это рѣшеніе можетъ показаться довольно отважнымъ, тѣмъ болѣе, что я тогда еще въ глаза не видалъ ни одного юридическаго сочиненія,—но я уже замѣтилъ прежде, что мы часто мыслимъ афоризмами: такъ случилось и со мною); въ камеральномъ факультетѣ нѣтъ никакой основательности. (Вотъ вамъ еще афоризмъ, который ничѣмъ не хуже предъидущаго). Управившись такимъ образомъ съ четырьмя факультетами, я увидалъ, что передо мною остаются въ ожиданіи только два: историко-филологическій и восточный (медицинскаго не было въ томъ университетѣ, въ который я собирался поступить). Развѣ на восточный... Поѣхать при посольствѣ въ Турцію или въ Персію... жениться на азіатской красавицѣ... привезти ее въ Петербургъ и посадить въ національномъ костюмѣ въ ложу, въ бель-этажѣ, въ итальянской оперѣ... Это впрочемъ пустяки... А вотъ что: вѣдь на восточномъ придется осилить нѣсколько грамматикъ, которыя пожалуй будутъ похуже греческой... Ну, и богъ съ ними!—значить, на филологическій. На томъ и покончилось размышленіе.

V.

Читатель, конечно, согласится со мною (не изъ одной только вѣжливости), что профессорамъ филологическаго факультета доставалось на долю въ моей особѣ настоящее сокровище. Я говорю не шутя. Подумайте: я былъ юнъ, понятливъ и совершенно нетронутъ. Имъ предстояло разработать дѣвственное поле; они могли обсѣменить меня всякимъ добромъ, возжечь во мнѣ всякія благородныя искры, вдунуть въ мое здоровое тѣло именно такую мысль и такую душу, которая наиболѣе приходилась имъ по вкусу. Всѣ эти обсѣмененія, возжиганія и вдуванія я принималъ бы съ благоговѣйнымъ восторгомъ, съ пламенною благодарностью, съ фанатическимъ увлеченіемъ новопосвященнаго адепта. Вмѣстѣ со мною поступили въ университетъ личности всякаго разбора: были

совершенные олухи, оставшіеся вѣрными своей природѣ вплоть до выхода изъ университета; были молодые фаты, уже испорченные велико-свѣтскимъ элементомъ; были юноши себѣ на умѣ; были юноши тупо-серьезные; были добрые ребята; были просто терпѣливые ослы; были наконецъ очень умные, — но навѣрное, ни одинъ изъ всѣхъ этихъ юношей не соединялъ въ себѣ въ большей степени, чѣмъ я, тѣ два качества, которыя профессоръ, любящій свое дѣло, долженъ считать въ своемъ слушателѣ истинною драгоценностью. Эти два качества — способность къ развитію и совершенная неразвитость — составляли все мое умственное достояніе въ то время, когда я вошелъ подъ священные своды храма наукъ. Благодаря этимъ качествамъ, каждый профессоръ могъ быть въ отношеніи ко мнѣ Христофоромъ Колумбомъ; онъ могъ открыть меня, водрузить въ меня свое знамя и обратить меня въ свою колонію, какъ землю незаселенную и никому непринадлежащую. Новая колонія обрадовалась бы несказанно и по первому востребованію, въ неслыханномъ изобиліи стала бы производить рѣпу, табакъ, сахарный тростникъ или хлопчатую бумагу, смотря потому, какія сѣмена вздумалъ бы отважный мореплаватель довѣрить ея нераспаханнымъ нѣдрамъ. Мало того, видя, что Колумбы не пристають къ ея гостепріимнымъ берегамъ, колонія сама преодолѣла свою робость и отправилась искать себѣ завоевателей и цивилизаторовъ; повторилась исторія новгородскихъ славянъ и варяго-русовъ. Но все это мы еще увидимъ. Попавши въ общество студентовъ-филологовъ, я впервые услышалъ такіа вещи, которыя заставили меня задуматься. Трое или четверо изъ нихъ уже отмежевали себѣ ту или другую науку для специальныхъ занятій; другіе говорили, что выборъ ихъ еще не установился, но что вотъ они читаютъ то и то, и при этомъ размышляютъ такъ и такъ. Говорили объ исторической критикѣ, объ объективномъ творчествѣ, объ основѣ мифовъ, объ отраженіи идей въ языкѣ, о гриммовскомъ методѣ, о міросозерпаніи народныхъ пѣсенъ; ухитрились даже спорить; къ ужасу моему, разсуждали о тѣхъ критическихъ и ученыхъ статьяхъ въ журналахъ, которыя были мнѣ недоступны, какъ полярные льды; произносили имена Соловьева, Кавелина, Буслаева, Срезневскаго и Нибура, Чичерина и Шафарика, Грановскаго и Вильгельма Гумбольдта; сумбуру именъ соответствовалъ сумбуръ идей; о родовомъ и общинномъ бытѣ толковали, а я только моргалъ глазами и даже не пытался скрыть того, какъ глубоко удручаетъ меня болѣзненное сознаніе моего вынужденнаго безгласія. Теперь я двухъ грошей не далъ бы за то, что говорилось тогда, тѣмъ болѣе, что говорившій рѣдко понималъ самого себя, а спорившіе уже рѣшительно никогда не понимали другъ друга, такъ что споръ прекращался только началомъ лекціи, или охрипlostью воюющихъ сторонъ. Но тогда... о, тогда я изнывалъ отъ своего безсилія и томился мучительною духовною

жаждою, воображая себя, что кругомъ меня люди угощаютъ другъ друга чистѣйшимъ нектаромъ. Понятно, что каждая лекція казалась мнѣ улаждающей каплею небесной росы, и понятно также, что эти росинки тотчасъ впитывались и безслѣдно исчезали въ аравійской пустынѣ моего невѣжества.

Первою изъ такихъ росинокъ была для меня лекція профессора Креозотова. Креозотовъ былъ человѣкъ замѣчательный. Надъ нимъ смѣялись въ совѣтѣ университета его товарищи профессора, надъ нимъ смѣялись его слушатели, надъ нимъ навѣрное смѣялся въ душѣ даже тотъ сторожъ, который въ университетскихъ сѣняхъ снималъ съ него шубу или пальто. Но Креозотовъ не замѣчалъ или не хотѣлъ замѣчать всѣхъ этихъ тайныхъ и явныхъ смѣховъ, и не смущаясь ничѣмъ, твердою поступью направлялся къ избранной цѣли, т. е. къ выслугѣ въ пенсіонъ полного оклада жалованія. Служилъ онъ съ упорнымъ усердіемъ, и занимая кафедру исторіи, дѣйствительно читалъ всякую исторію, какую назначать, то древнюю, то русскую, то новѣйшую. Если бы ему поручили читать специальную исторію Буковской орды или Абиссинской имперіи, то это бы его нисколько не затруднило. Даже въ такомъ экстренномъ случаѣ у него нашлась бы готовая тетрадка, написанная лѣтъ двадцать тому назадъ на такой синей бумагѣ, какую теперь нельзя найти ни въ одной бумажной лавкѣ. Служебное усердіе сопровождало Креозотова на лекцію и вмѣстѣ съ нимъ садилось на кафедру; профессорскій пафосъ его былъ разнообразенъ, какъ сама природа; онъ кричалъ отъ душевнаго напряженія, онъ изнывалъ и становился пѣвучимъ, когда герои его страдали или сходили въ могилу; онъ откидывался на спинку кресла, уводилъ ротъ въ сторону и придавалъ своей красной физиономіи шаловливое выраженіе, когда его героини спотыкались на пути добродѣтели и когда такимъ образомъ игривый эротическій анекдотъ прерывалъ собою величественное теченіе исторической жизни. Онъ лицедействовалъ на кафедрѣ, онъ разыгрывалъ, а не читалъ свои тетрадки, и какъ слѣдовало ожидать, слушатели сначала недоумѣвали, потомъ смѣялись, наконецъ переставали посѣщать его лекціи, изрѣдка показывались въ его аудиторіи, ради соблюденія приличій, и заводили между собою очередь, чтобы на нѣсколько человѣкъ имѣть для экзамена по крайней мѣрѣ одинъ полный экземпляръ Креозотовскихъ записокъ.

Ученость Креозотова была также обширна, какъ велика была его типичность. Онъ не пропускалъ ни одного магистерскаго диспута, относящагося къ филологическому факультету. На каждомъ диспутѣ онъ дѣлалъ множество возраженій и замѣчаній очень безплодныхъ, микроскопически мелкихъ, но тѣмъ болѣе показывавшихъ, что специальный вопросъ, разработанный магистрантомъ, извѣстенъ ему по источникамъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ. И это обиліе знаній лежало точно въ сундукѣ; единственнымъ ученымъ сочиненіемъ Креозотова была

какая-то славянская мифология; выпустивъ ее въ свѣтъ, Креозотовъ весь ушелъ въ свои синія тетрадки и всѣ свои духовныя силы посвящать кряхтѣнью и мимическому искусству. Мы слушали его древнюю исторію вмѣстѣ съ камералистами, но онъ объявилъ, что для насъ, филологовъ, будетъ еще читать отдѣльно исторію древней географіи. Онъ сдержалъ свое обѣщаніе. Что это такое было — этого я и выразить не въ состояніи. Тутъ уже не было ни героическихъ смертей, ни эротическихъ грѣховъ, ни мимическаго искусства. Осталось одно кряхтѣніе. Въ первый разъ, когда онъ пришелъ читать этотъ длинный списокъ собственныхъ именъ, его поразила наша малочисленность, которая тѣмъ рѣзче бросалась въ глаза, что занимаемая нами аудиторія была очень обширна. При этомъ удобномъ случаѣ, онъ разсказалъ намъ слѣдующій историческій анекдотъ. — Одинъ мудрецъ вошелъ въ небольшой городъ, въ которомъ были очень большія ворота. Увидѣвъ это обстоятельство, мудрецъ обратился къ гражданамъ и сказалъ: «я боюсь, чтобы вашъ городъ не ушелъ черезъ ваши ворота». — Неожиданно для самого Креозотова, анекдотъ этотъ оказался пророчествомъ: въ одинъ прекрасный день городъ дѣйствительно ушелъ и мудрецъ увидѣлъ только одни большія ворота. Дѣло въ томъ, что терпѣніе наше истощилось и мы стоворились пренебречь исторіею древней географіи и разойтись по домамъ. До совершенія этого георолическаго поступка, мы однако выслушали около дюжины лекцій. Креозотовъ успѣлъ приглядѣться къ нашимъ лицамъ, узналъ наши фамиліи и неоднократно разговаривалъ съ каждымъ изъ насъ. Сблизившись съ нами такимъ образомъ, онъ однажды предложилъ намъ предпринять общую работу. Я наострилъ уши. Предложеніе Креозотова состояло въ томъ, чтобы общими силами перевести съ греческаго — географическое сочиненіе Страбона. По окончаніи перевода, Креозотовъ обязывался свѣрить его съ подлинникомъ, поддѣргнуть его одной общей редакціи и издать, съ признательностью упомянуть въ предисловіи фамиліи даровитыхъ и добросовѣстныхъ переводчиковъ. Предложеніе было принято. Предусмотрительный профессоръ, захватившій съ собою экземпляръ Страбона, для того чтобы вовать желѣзо, пока оно было горячо, тотчасъ предъявилъ принесенную книгу, разрѣзалъ ее на восемь частей, по числу завербованныхъ переводчиковъ, и вручилъ каждому желающему по пяти печатныхъ листовъ довольно мелкаго греческаго текста. Я конечно ревностно началъ переводить, и потому могу объяснить читателю, что это была за работа. Представьте себѣ, что какой нибудь господинъ раскрылъ передъ вами атласъ, взялъ въ руки указку, и вода ею владѣ и впередъ по картѣ, разсказываетъ вамъ, что вотъ это мысъ А, а въ двухъ верстахъ отъ него заливъ В, а въ заливѣ этотъ впадаетъ рѣка С, а по рѣкѣ С стоятъ города D, E и F, и т. д., и все въ томъ же родѣ. Это строгое изложеніе разно-

образится порою краткимъ историческимъ намекомъ на сраженіе, происшедшее по близости, или на богослужебные обряды, совершавшіеся гдѣ нибудь въ священной рошѣ... Вотъ и все. И такихъ прогулокъ по атласу набирается листовъ до сорока, а мнѣ предстояло перевести пять листовъ, т. е. 80 страницъ. Читатель понимаетъ конечно, какъ сильно такая работа могла обогатить мой умъ, и какъ необходимо было для русской публики молучить изданіе Страбона въ русскомъ переводѣ. Чѣмъ дальше подвигалась моя работа, тѣмъ снисходительнѣе я начиналъ смотрѣть на нашихъ трехъ индипендентовъ. Дѣло, какъ и слѣдовало ожидать, раскленлось. Креозотовъ собралъ растерзанныя части своего Страбона и отдалъ ихъ въ переплетъ.

VI.

Въ то время, когда мы еще тянули лямеу, возложенную на насъ почтеннымъ профессоромъ, я въдумалъ обратиться къ Креозотову за совѣтомъ. Краснѣя отъ волненія, я покаялся ему, что желаю специально заняться исторіею, и убѣдительно просилъ его объяснить мнѣ, какъ надо поступать въ такомъ затруднительномъ случаѣ. Выслушавъ мою исповѣдь, Креозотовъ тотчасъ посовѣтывалъ мнѣ читать энциклопедію Эрша и Грубера, и кромѣ того, читать источники древней исторіи—Геродота, Фукидида, Поливія, Ксенофонта, Тита Ливія, Діодора Сицилійскаго, Діона Кассія и т. д. Я горячо поблагодарилъ его за добрый совѣтъ и немедленно побѣжалъ въ университетскую бібліотеку.

— Позвольте мнѣ взять на домъ энциклопедію Эрша и Грубера, сказалъ я нашему бібліотекарю.

На лицѣ бібліотекаря выразилось удивленіе.

— Книги, служащія для справокъ, отвѣтилъ онъ мнѣ очень вѣжливо:—на домъ не выдаются. Вы можете пользоваться ими здѣсь. Какую вамъ надобно букву?

Я не имѣлъ основанія предпочитать одну букву другой, и потому совершенно безпристрастно назвалъ букву А.

Тогда бібліотекарь повелъ меня за собою въ одну длинную галлерей и указалъ мнѣ длинный рядъ большихъ и толстыхъ книгъ, стоявшихъ на паркетѣ въ стройномъ алфавитномъ порядкѣ. Не помню, сколько ихъ было — тридцать, сорокъ, или пятьдесятъ, но знаю, что ихъ было очень много и что это зрѣлище привело меня въ трепеть; я взялъ первую книгу съ лѣваго фланга и увидалъ, что буква А далеко не исчерпывается этимъ томомъ, который однако оттягивалъ мнѣ руки. Передо мною ле-

жалъ знаменитый нѣмецкій энциклопедическій лексиконъ Ersch und Gruber, и конечно я на первыхъ страницахъ его нашелъ то, что обыкновенно находится въ такихъ книгахъ. Рѣка Aa, слово Aal (угорь), рѣка Aar, кантонъ Aargau и т. д. Собрать свѣдѣнія обо всѣхъ этихъ предметахъ было конечно любопытно, а прочесть и сохранить въ памяти всю энциклопедію Ersch und Gruber значило бы сдѣлаться восьмымъ чудомъ свѣта; но тѣмъ не менѣе чувство самосохраненія взяло верхъ надъ этими заманчивыми соображеніями. Я рассчиталъ, что мнѣ пришлось бы читать Эрша и Грубера лѣтъ десять, и потому, по окончаніи послѣдняго тома, снова принялся за первый, который въ это время успѣлъ бы еще разъ приобрести для меня всю прелесть новизны. Прочитавъ энциклопедію разъ пять отъ начала до конца, я могъ бы сказать, что жизнь моя наполнена, и что я могу умереть спокойно, совершивши въ земной жизни то, чего до меня еще не совершалъ ни одинъ здравомыслящій смертный. Совѣтъ Креозотова обогатилъ меня такимъ образомъ слѣдующими опытыми знаніями: во-первыхъ, я узналъ, что книги, служащія для справокъ, на домъ не выдаются; во-вторыхъ, я узналъ, что существуетъ нѣмецкая энциклопедія Эрша и Грубера, что она очень велика и годится для справокъ; въ-третьихъ, я узналъ, что приобретать историческія свѣдѣнія въ алфавитномъ порядкѣ и въ перемежку со всякими другими свѣдѣніями, — оригинально, но неудобно; въ-четвертыхъ я приобрѣлъ то драгоценное убѣжденіе, что профессора университета могутъ иногда подавать совѣты, приводящіе въ недоумѣніе.

Совѣтомъ своимъ Креозотовъ заронилъ въ меня ядовитое зерно скептицизма. Изъ злого семени выросла гибельная жатва. Теперь, если кто нибудь рѣшится упрекать меня въ нигилизмѣ, я тотчасъ укажу моему обидчику на Креозотова и скажу: вотъ мой первый наставникъ! Спросите у него, — пусть онъ отвѣтитъ вамъ за мою погибшую душу.

Испытавъ неудачу на энциклопедіи, я тѣмъ не менѣе попробовалъ примѣнить къ дѣлу второй совѣтъ того же коварнаго профессора. Я взялъ къ себѣ на домъ твореніе Геродота во французскомъ переводѣ и началъ его читать. Тутъ конечно никакихъ трудностей не представлялось, но дѣло было столько же бесплодно, сколько легко. Всякому человеку, имѣющему понятіе о серьезныхъ и послѣдовательныхъ умственныхъ занятіяхъ, хорошо извѣстно, что историческіе источники должны читаться съ спеціальною цѣлью изслѣдованія людьми уже развитыми, способными бросить на эпоху критическій взглядъ, и желающими провѣрить и дополнить изысканія своихъ предшественниковъ. Что же касается до птенцовъ, подобныхъ мнѣ, то имъ надо читать историческія сочиненія и изслѣдованія, въ которыхъ факты приведены въ порядокъ, сгруппированы и освѣщены критическими трудами мыслящихъ историковъ. Это я говорю для тѣхъ птенцовъ, которыхъ обуреваютъ неустое

желаніе съ юныхъ лѣтъ посвятить себя историческому изученію. Я съ своей стороны такого желанія во всякомъ случаѣ не одобряю, потому что, по крайнему моему разумѣнію, исторія вообще не такая наука, (если только она наука, что требуетъ доказательствъ), которая могла бы укрѣпить и сформировать молодое мышленіе. Но допустимъ то, чего нѣтъ никакой надобности допускать, — допустимъ, что влеченіе юности къ исторіи порывисто и неудержимо, какъ эксцентрическое желаніе беременной женщины, то и въ этомъ случаѣ перепрыгнуть съ учебника Смараглова на чтеніе Геродота значить броситься изъ огня въ полныя, или гораздо вѣрнѣе, изъ мелкаго болота въ глубокую трясину. Я поясню это параллелью. Студенту медицины необходимо въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ возиться съ трупами; но если кромсать мертвыхъ людей и животныхъ начнетъ джентльменъ, не имѣющій никакого предварительнаго понятія объ анатоміи, то онъ изъ этого кромсанія вынесетъ только впечатлѣнія дурнаго запаха: гнилой крови и разлагающагося мяса. Конечно, первый анатомъ ни у кого не учился. Да и первый портной, по справедливому замѣчанію госпожи Простаковой, тоже ни у кого не учился. «Да онъ, можетъ быть, и работалъ хуже меня», отвѣчаетъ на это простаковскій Тришка, который такимъ образомъ произноситъ безапелляціонный приговоръ надъ глубокомысленнымъ совѣтомъ профессора Креозотова. Вы скажете, можетъ быть, что параллель моя не вѣрна, потому что предполагаемый джентльменъ не имѣетъ понятія объ анатоміи, а питомецъ Смараглова до нѣкоторой степени знаетъ исторію. Ну да. Джентльменъ, войдя въ анатомическій театръ, узнаетъ голову, руку, ногу, — и питомецъ, читая Геродота узнаетъ Кира, Камбиза, Креза. Но трупы разсѣкаются не для того, чтобы убѣдиться въ существованіи головы, руки и ноги, а историческіе источники читаютъ добрые люди не для того, чтобы любоваться именами Кира, Камбиза и Креза. Значить, параллель вѣрна, и больше объ ней толковать нечего. Совѣтъ Креозотова имѣлъ въ себѣ еще одну опасную сторону, которая могла сдѣлаться гибельною для молодого человѣка, способнаго удручать плоть и мозгъ во имя величія и славы науки. Если бы Креозотовъ рекомендовалъ историческія сочиненія Грота (не того, который пишетъ въ Рус. Вѣстн.), Нибура, Моммзена, Дункера и т. п., то для студента оставался бы шансъ спасенія. У него явились бы въ мозгу идеи, обогащающіе взгляды, попытки самостоятельнаго мышленія. Прочтя двѣ-три книги, онъ могъ бы оглянуться на самого себя, могъ бы довольно правильно поставить и разрѣшить въ умѣ своемъ вопросъ: дѣйствительно ли историческія занятія составляютъ потребность его природы? Но чтеніе Геродота и Фукидида отрѣзывало всякое отступленіе. Студентъ читаетъ одного писателя, читаетъ другого, и все не становится умнѣе, и все ждетъ проясненія своего мозга, и все громоздитъ факты на факты, и

вдругъ, неожиданно-негаданно для самого себя, въ одно прекрасное утро оказывается туго-набитымъ историческимъ чемоданомъ, совершенно подобнымъ своему прототипу и возлюбленному руководителю. Для меня подобная опасность не существовала. Я никогда не могъ долго заниматься тѣмъ, что не доставляло мнѣ умственнаго наслажденія. Столпники и аскеты науки называютъ такихъ людей дилетантами и шарлатанами. Это свойство моей натуры, можетъ быть, очень дурно, но для меня оно во многихъ случаяхъ было чрезвычайно полезно. Всякій разъ, какъ я съ добродѣтельнымъ жаромъ думалъ посвятить себя какой-нибудь кретинизирующей дѣятельности, неумолимый демонъ умственнаго эпикуреизма насильно вырываетъ у меня работу изъ рукъ и деспотически сопротивлялся моему добросовѣстному стремленію, поглубить. Кончилось тѣмъ, что я махнулъ рукою и навсегда отказался отъ невозможной борьбы съ бѣсовскими прелестями. Но дошелъ я до этого результата не вдругъ, и читатель увидитъ, что не одинъ Креозотовъ снабжалъ меня совѣтами—сдѣлаться идіотомъ.

VII.

Кромѣ Креозотова, у насъ было еще двое преподавателей исторіи. Я не обращался къ нимъ за совѣтами, но слушалъ въ разные времена ихъ лекціи, и нахожу, что легкій очеркъ ихъ дѣятельности заслуживаетъ вниманія людей, интересующихся ходомъ образованія въ нашихъ университетахъ. Впервые, рекомендую вамъ приватъ-доцента Кавыляева. Онъ молодъ лѣтами, но великъ своими достоинствами. Уступая Креозотову въ эрудицію и мимической виртуозности, онъ далеко превосходитъ его утомительностью лекцій. По скромности, свойственной молодому ученому, онъ всегда выбираетъ себѣ руководителя и, прильпившись къ какому-нибудь одному историческому сочиненію, съ неизмѣннымъ постоянствомъ извлекаетъ изъ него всѣ свои лекціи на цѣлый академическій годъ. Составленные такимъ образомъ записки идутъ, безъ измѣненія, на продовольствованіе слѣдующаго курса студентовъ; и такъ какъ нѣтъ причины останавливаться на этомъ пути, то есть, основаніе надѣяться, что современемъ записки Кавыляева составятъ такую же палеонтологическую диковинку, какую въ настоящее время уже составляютъ знаменитыя синія тетрадки Креозотова. Кавыляевъ читалъ намъ исторію среднихъ вѣковъ по сочиненію Гизо: «Исторія цивилизаціи во Франціи». Выборъ самъ по себѣ очень позволителенъ, но замѣчательно, что острый и живой анализъ великаго доктринера дѣлался совершенно

незамѣтнимъ въ чтеніи маленькаго приватъ-доцента. Самая связь идей терялась въ его безучастной, апатической передачѣ. Если бы вы заставили деревенскаго дьячка прочесть вслухъ рѣчь Эдмонда Берка или графа Мирабо, то волненіе англійской палаты общинъ или французскаго учредительнаго собранія вѣроятно осталось бы бы для васъ совершенно необъяснимымъ. Именно такую горькую долю терпѣло сочиненіе Гизо въ рукахъ Кавыльева. Не думайте, что я говорю о голосѣ или дикціи, — объ этихъ мелочахъ не стоило бы заботиться; тутъ дѣло идетъ о пониманіи. Когда человѣкъ выражаетъ передъ вами свою мысль, или мысль чужую, но вполне усвоенную имъ, и слѣдовательно развивающуюся изъ головы его, а не изъ тетрадки, тогда онъ непременно оживаетъ и непременно передаетъ вамъ часть этого оживленія; тогда даже чужая мысль принимаетъ на себя отпечатокъ его личности, и приобретаетъ хоть частицу той живучести, которую она имѣла въ первобытномъ своемъ источникѣ. Гдѣ этого нѣтъ, гдѣ читающій совершенно равнодушенъ къ тому, что онъ читаетъ, тамъ чтеніе самого занимательнаго произведенія превращается въ усыпительное журчаніе. Такъ дѣйствительно и было, — и лекціи Кавыльева были гораздо невыносимѣе лекцій Крезовотова. Крезовотовъ читалъ Крезовотова, и слѣдовательно глубоко понималъ его и могъ даже изображать его въ лицахъ, а Кавылиевъ читалъ Гизо, который, при всѣхъ своихъ политическихъ и теоретическихъ заблужденіяхъ, былъ все-таки неизмѣримо великъ для Кавылевскаго пониманія; слѣдовательно... слѣдовательно, тотъ студентъ, который не желалъ среди лекцій припасть головой въ столу и унести въ царство сновидѣній, долженъ былъ тщательно обходить аудиторію Кавыльева.

Когда мы перешли на третій курсъ, тотъ же драгоценный Кавылиевъ сталъ читать намъ новую исторію, или точнѣе, біографію Лютера, началу которой онъ предпослалъ кое-какія подробности объ эпохѣ возрожденія. Руководителемъ Кавыльева былъ историкъ реформациі, Мерль д'Обинье (Merle d'Aubigné). На этотъ разъ все было одинаково хорошо. Достоинство выбора соотвѣтствовало достоинству изложенія. Минутъ множество замѣчательныхъ европейскихъ историковъ, нашъ приватъ-доцентъ отыскалъ себѣ родственную душу въ райѣ исторической литературы. Этотъ Мерль д'Обинье оказался протестантскимъ пѣтистомъ и мистикомъ. На жизнь и дѣятельность Лютера онъ смотрѣлъ, какъ на житіе святого угодника и чудотворца; въ каждомъ поступкѣ своего героя онъ усматривалъ специальное выраженіе воли божіей, и старался обратить своего читателя въ такіе же возвышеннымъ умозрѣніямъ, собралъ въ своемъ многотомномъ сочиненіи всякіе анекдоты и сплетни о Лютерѣ и его сподвижникахъ. Тутъ рассказывалось и то, по скольку разъ въ день отецъ Лютера сѣлъ маленькаго Мартина, и то, что Мартинъ въ монастырѣ дѣлалъ, и то, какъ онъ въ Римѣ ползалъ на колѣнкахъ по камен-

ной лѣстницѣ, и то, какіе сны видѣлъ курфирсть Фридрихъ мудрый, и то, какъ одна баба индульгенцію покупала, и многое множество всякихъ другихъ достопримѣчательностей. Конечно, все это, какъ черезъ водопроводную трубу, текло черезъ уста Кавыльева въ наши записки. И все это мы должны были, не краснѣя за самихъ себя и не смѣясь надъ нашимъ наставникомъ, прилично казеннымъ языкомъ излагать на переходномъ и выпускномъ экзаменѣ. И это называлось новою исторіею и должно было давать намъ понятіе о томъ, какъ сложились бытовыя и политическія формы теперешнихъ обществъ. Читатель видитъ, что ядовитое зерно скептицизма, зароненное въ мою чистую душу хитрымъ Креозотовымъ, не могло чувствовать недостатка въ питательныхъ матеріалахъ и въ благопріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ.

Въ началѣ осени 1858 года возвратился изъ двухлѣтней заграничной отлучки экстраординарный профессоръ исторіи, Ироніанскій. На него наше студенчество возлагало самыя блестящія надежды. Онъ былъ сверстникомъ Кавыльева, но уже давно обогналъ его въ своей ученой каррьерѣ. Первые лекціи его послѣ возвращенія изъ за границы привлекли въ аудиторію его множество слушателей. Студенты, пришедшіе на лекцію изъ любопытства, оставались совершенно удовлетворенными, а обязательные слушатели Ироніанскаго были въ восторгѣ отъ своего профессора, поддразнивали тѣхъ, кому приходилось дремать подъ звуки Кавыльева, и жаловались только на то, что мѣста на скамейкахъ приходится занимать заранѣе, и что въ огромной аудиторіи становится тѣсно и душно. Словомъ, успѣхъ Ироніанскаго могъ удовлетворить самое щекотливое самолюбіе. Ему даже апплодировали, и онъ, какъ нѣкогда Гизо, благодарилъ своихъ слушателей, и въ то же время просилъ ихъ никогда не выражать ему такимъ образомъ ихъ сочувствія. Сравнительное достоинство его лекцій было дѣйствительно велико. Онъ выражался языкомъ современной науки; видно было, что онъ понимаетъ то, что говоритъ, и умѣетъ высказать то, что думаетъ. Каждая лекція его заключала въ себѣ какую нибудь идею, связывающую, или по крайней мѣрѣ, пытающуюся связать между собою сообщаемые факты. Этого уже было достаточно для слушателей, привыкшихъ къ античности Креозотова и къ олимпійскому спокойствію Кавыльева. Единственный недостатокъ, который можно было замѣтить въ наружной формѣ изложенія Ироніанскаго, заключался въ его профессорскомъ щегольствѣ, въ его умственной кокетливости, въ его постоянномъ усилии говорить остроумно и изображать цивилизованнаго европейца, трактующаго *d'égal à égal* съ генералами и министрами ученаго міра. Конечно, онъ не говорилъ, что дружески знакомъ съ Маколеемъ, пилъ чай у Моммзена, или спорилъ о политикѣ съ Зибелемъ; о подобныхъ вещахъ и Хлестаковъ могъ бы рассказывать только женѣ городничаго; но неистовое желаніе ослѣпить

слушателей оригинальностью и богатством своих заграничных впечатлений, наблюдений и исследований пробивало себя широкую дорогу всякий раз, как только представлялась в том малейшая возможность. Тотчас послѣ своего приѣзда, онъ объявилъ студентамъ, что будетъ читать три раза лекціи: *publica* (общій курсъ), *privata* (частный) и *privatissima* (самый частный). Въ самомъ частномъ курсѣ онъ обѣщаль представить образчикъ исторической критики, и дѣйствительно началъ разбирать очень подробно сочиненія Лутипранда, лѣтописца X вѣка. Историческая критика Ироніанскаго не привела къ особенно плодотворнымъ результатамъ, не обнаружила въ изслѣдователѣ обширной эрудиціи и даже не показала намъ какихъ нибудь замѣчательныхъ критическихъ приѣмовъ. Ироніанскій просто рассказывалъ подробно содержаніе сочиненій и біографію автора, потомъ ловилъ Лутипранда въ противорѣчіяхъ, которыя были очень замѣтны, и уличалъ его въ пристрастіи къ Оттону, открывая такимъ образомъ обстоятельство, уже давно извѣстное и неподлежащее никакому сомнѣнію. Стало бытъ ученой заслугой тутъ не было, а собственно для студентовъ личность и дѣятельность Лутипранда не могла представлять особеннаго интереса, потому что сотни болѣе крупныхъ историческихъ личностей и болѣе выразительныхъ фактовъ оставались для нихъ въ смарагдовскомъ и зувескомъ полумракѣ. Да и зачѣмъ было разгоразживать курсъ на три отдѣленія?

И зачѣмъ было огородъ городить,
И зачѣмъ было капусту садить?..

Нельзя. Европеизмъ одолѣлъ. Гдѣ нибудь въ Боннѣ или въ Гейдельбергѣ такъ дѣлается, и въ Царевококшайскѣ давалъ такъ дѣлать. Надо же было Ироніанскому заявить, что онъ съ министрами знакомство имѣетъ. Не упускалъ также щеголеватый профессоръ случая упомянуть, какъ онъ собственно своею особою стоялъ или сидѣлъ на подлинномъ мѣстѣ того или другого мирового событія. При этомъ изливались описательныя подробности, которыя, во-первыхъ, нисколько не объясняли разсматриваемаго факта, а во-вторыхъ, съ удобствомъ могли быть отысканы въ карманномъ гидѣ. Но все это были мелкія слабости, а въ профессорской дѣятельности Ироніанскаго были и болѣе серьезныя факты. Случилось мнѣ однажды съ большимъ удовольствіемъ прослушать лекцію Ироніанскаго, въ которой онъ, стараясь опредѣлить обязанности историка вообще, въ связи съ этою темою, разбиралъ историческую и критическую дѣятельность Маколей. Конечно, Маколей представлялся ему богомъ исторіи, сошедшимъ на землю единственно для того, чтобы научить людей искусству писать историческія монографіи и критическія статьи. Не смотря на хвалебное направленіе своей лекціи, Ироніанскій оцѣнилъ однако умно и мѣтко особенности и достоинства критическаго

таланта Маколей; замѣтилъ даже слабость Маколей, какъ отвлеченнаго мыслителя; доказалъ, почему эта слабость, обнаруживающаяся въ его этюдѣ о Вѣконѣ, не вредитъ ему, какъ историку, и очень основательно подкрѣпилъ всѣ свои положенія и выводы довольно обширными и очень удачно выбранными цитатами изъ сочиненій разбираемаго писателя. Вся лекція произвела на слушателей самое стройное впечатлѣнiе, не смотря даже на то, что Иронiанскiй, ради заграничности и щегольства, называлъ Маколей — *Макаулей*. Черезъ нѣсколько времени послѣ этого, Иронiанскiй съ большимъ успѣхомъ прочелъ въ большой университетской залѣ, при значительномъ стеченiи публики, двѣ публичныя лекцiи о состоянiи французскихъ провинцiй при Людовикѣ XIV. Источникомъ своимъ онъ объявилъ сочиненiе Флешье, «*Les grands jours d'Auvergne*». Публика осталась очень довольна и дѣйствительно во всемъ, что я до сихъ поръ разсказалъ, нельзя замѣтить ровню ничего предосудительнаго. Но «мой злобный генiй» непремѣнно хотѣлъ превратить меня въ скептика. Случилось мнѣ купить одну французскую книжку: «*Essais de critique et d'histoire, par H. Taine*» (Историческiе и критическiе опыты Тэна). Въ этой хорошей книжкѣ заключались статьи о Гизо, о Мишле, о Теккереѣ, о Монталамберѣ, и между прочими о Маколей и о Флешье. Когда я добрался до Маколей, то изумленiю моему не оказалось границъ *). Читаю и глазамъ не вѣрю: она, она, моя голубушка, блестящая лекцiя Иронiанскаго о Маколей; тѣ же идеи, тотъ же порядокъ изложенiя, тѣ же цитаты, даже обороты рѣчи и образы тѣ же самые; предположить случайное сходство нѣтъ никакой возможности; самое упорное сомнѣнiе должно уступить очевидности. Зиждущiй талантъ Иронiанскаго оказывается чужимъ талантомъ, внимательное изученiе Маколей оказывается призракомъ; павлинныя перья взяты на прокатъ, да еще безъ спросу; блестящая лекцiя не что иное, какъ тайный переводъ съ французскаго. Ну, подумалъ я, посмотримъ, что такое Флешье? Подозрѣнiя мои оправдались. Обнаружилось, что публичныя лекцiи также были взяты напрокатъ, а магазинъ, снабдившiй ими цивилизованнаго европейца, былъ тщательно скрытъ отъ публики, потому-де, что совѣстно русскому профессору открыто пользоваться идеями легкаго французскаго критика, ну а тайкомъ поживиться всегда прiятно и неубыточно. Еще въ одномъ случаѣ мнѣ удалось убѣдиться въ ученой безцеремонности профессора Иронiанскаго. Въ 1860 году, ему пришлось задавать тему для сочиненiя на медаль. Онъ задалъ тему изъ исторiи послѣднихъ вѣковъ язычества и въ отчетѣ объ университетскомъ актѣ было напечатано, вмѣстѣ съ

*) Такое же изумленiе постигло меня однажды при чтенiи лекцiй г. Визинскаго объ Англiи въ XVIII столѣтiи, когда я увидѣлъ, что характеристика Мальборо кѣликомъ взята изъ романа Теккерея: «Генри Эсмондъ».

объявленіемъ этой темѣ, указаніе на два пособія, во-первыхъ, на сочиненіе Чирнера «Der Fall des Heidenthums» (паденіе язычества), во-вторыхъ, на изслѣдованіе Ироніанскаго объ Александрѣ Авонотихитѣ, одномъ изъ ложныхъ чудотворцевъ и пророковъ язычества. Я, съ свойственнымъ мнѣ добродушіемъ, послѣдовалъ этому указанію и немедленно убѣдился въ томъ, что изслѣдованіе Ироніанскаго упомянуто въ отчетѣ объ актѣ исключительно ради щегольства, потому что оно не изслѣдованіе, а очень малограмотное извлеченіе изъ указанной книги Чирнера. Между прочими красотами, я запомнилъ слѣдующее мѣсто. «Неронъ, пишетъ Ироніанскій, приказалъ перенести 500 желѣзныхъ статуй»... Желѣзныхъ статуй! Слыхали ли вы когда нибудь, читатель, чтобы въ древности или когда бы то ни было выдѣлывались желѣзныя статуи? Какъ же это? Ковали ихъ что ли? Отыскиваю соотвѣтствующее мѣсто у Чирнера и нахожу тамъ: «500 eberne Säulen». Дѣло объясняется просто. Это значитъ, по мнѣнію всѣхъ людей, знающихъ нѣмецкій языкъ: «500 мѣдныхъ колоннъ». Значитъ, Ироніанскій, кромѣ нетвердаго знанія нѣмецкаго языка, обнаружилъ еще небрежность въ работѣ и изумительное непониманіе древней техники. Изобрѣсти желѣзныя статуи, да еще цѣлыхъ пять сотъ, и сохранить до сихъ поръ репутацію ученаго человѣка, это, милостивые государи, такой пассажъ, который возможенъ только у насъ въ Россіи. И замѣьте притомъ, что эти жрецы науки, тайно переводящіе съ французскаго и неудачно переводящіе съ нѣмецкаго, взираютъ съ высоты величія на литераторовъ и журналистовъ, какъ на дилетантовъ, неспособныхъ удовлетворять серьезнымъ умственнымъ требованіямъ общества. Замѣьте, что именно эти изобрѣтатели желѣзныхъ статуй всѣхъ громче разсуждаютъ о достоинствѣ науки, — замѣйте это, и затѣмъ, слѣдуя мудрому совѣту Кузьмы Пруткова, «глядите въ самый корень вещей», ибо наружность обманчива.

VIII.

Говоря объ Ироніанскомъ и Кавыляевѣ, я невольно нарушилъ хронологическую послѣдовательность моихъ воспоминаній, и потому теперь возвращаюсь назадъ къ тому времени, когда я переводилъ Страбона и читалъ Геродота, т. е. къ началу зимы 1856 года. Ожидая себѣ умственного просвѣтленія отъ каждаго профессорскаго слова, я въ то время аккуратно посѣщалъ и записывалъ всѣ лекціи, назначенныя мнѣ по росписанію. Особенно интересовали меня лекціи профессора Телицына, читавшаго намъ теорію языка и исторію древне-русской литературы.

Въ этихъ лекціяхъ было дѣйствительно много хорошаго. Телицыну было лѣтъ тридцать съ небольшимъ; онъ любилъ студентовъ и искалъ между ними популярности; лекціи свои онъ составлялъ съ большимъ стараніемъ и всегда заканчивалъ ихъ какой нибудь фіоритурою, которая неминуемо должна была поднять въ душѣ студентовъ цѣлую бурю добрыхъ и возвышенныхъ чувствъ. Эта фіоритура всегда была приготовлена заранее, но тѣмъ не менѣе она всегда выдѣлывалась отъ души, съ полною искренностью и безъ всякой натяжки. Проговоривъ на кафедрѣ въ продолженіи полутора часа, Телицынъ всегда приходилъ въ восторженное состояніе, и тогда рулада вырывалась изъ груди его съ неудержимою силою; сходя съ кафедры, онъ всегда чувствовалъ дѣйствительную потребность сказать студентамъ что нибудь согревающее, а такъ какъ онъ профессорствовалъ уже не первый годъ, то ему было вполне позволительно, зная свою разнѣживающуюся натуру, заготовлять заранее матеріалы для той потребности, которая неминуемо возникаетъ передъ концомъ лекціи. Неужели вы упрекнете слезливаго человѣка въ театральничаньи, если онъ, отправляясь на чьи нибудь похороны и находясь при выѣздѣ изъ своей квартиры въ самомъ веселомъ расположеніи духа, набьетъ карманы своего сюртука носовыми платками? Вѣдь онъ же знаетъ, что непременно расплатится: такъ какъ же ему не принять свои мѣры? Что же за удовольствіе утирать слезы рукавами сюртука, или умолять сосѣда объ одолженіи носового платка? Такъ и Телицынъ. Развѣ хорошо было бы, если бы растроганный въ концѣ профессоръ не излилъ своего чувства въ умныхъ и красивыхъ рѣчахъ? Вѣдь это бы смѣху надѣлало, если бы онъ, оканчивая лекцію, вдругъ развелъ руками, изобразилъ бы на лицѣ своемъ глубокую любовь къ студентамъ, сдѣлалъ бы нѣсколько усилій, и вдругъ ничего бы изъ этого не вышло. А такая участь непременно постигла бы его, если бы матеріалы для фейерверка не были припасены заранее. Я до сихъ поръ помню, какъ онъ однажды, работавъ специальный предметъ лекціи, началъ говорить о величинѣ знанія вообще, и вдругъ заключилъ свою рѣчь словами Беранже: «l'ignorance — c'est l'esclavage, le savoir — c'est la liberté» (невѣжество — рабство, знаніе — свобода). Насъ такъ и подкинуло вверхъ; эффектъ вышелъ оглушительный, — а все отчего? Оттого, что въ сюртукѣ Телицына лежали носовые платки.

Вы скажете, можетъ быть, что слезливость не есть чувствительность, и что истинный талантъ пренебрегаетъ приготовленными эффектами, потому что полагается на свои силы, и всегда находитъ эффекты подъ руками въ ту рѣшительную минуту, когда онъ въ нихъ нуждается. Противъ этого я спорить не буду; считать Телицына талантливымъ профессоромъ позволительно только студентамъ перваго курса, восхищающимся кончиками его лекцій. Я съ своей стороны отстаиваю только его

искренность. Телицынъ не похожъ на Ироніанскаго; ему хочется не блеска, не щегольства, а любви, сочувствія студентовъ; онъ не пускаетъ пыли въ глаза, онъ дѣйствительно хочетъ быть и полезнымъ профессоромъ, и дѣльнымъ ученымъ; онъ напрягаетъ всѣ свои силы,—но при этомъ мы должны помнить, что размѣры человѣческихъ силъ неодинаковы. Телицынъ много читалъ, читалъ постоянно и передавалъ намъ много хорошихъ вещей на лекціяхъ,—но лекція его все-таки были мозаиками. Переварить и переработать массу матеріала въ своемъ мозгу, и затѣмъ передать слушателямъ продукты своего мышленія—этого отъ Телицына смѣшно было бы и требовать. Да и не угодно ли вамъ посмотретьъ вокругъ себя: много ли у насъ въ цѣлой Россіи людей, дѣйствительно способныхъ мыслить и пользующихся этою способностью? Куда ни помотришь, вездѣ,—или переводчики, подобные Ироніанскому, или каменщики и носильщики, въ родѣ Телицына; вездѣ или ловкіе люди очень хорошо знающіе, чего они хотятъ, или терпѣливые труженики вовсе незнающіе, зачѣмъ они трудятся. Пустили ихъ внизъ по наклонной плоскости, они и катятся по силѣ инерціи, до тѣхъ поръ, пока ихъ не остановитъ накопленіе жира или истощеніе силъ. Люди, подобные Телицыну, работаютъ или до тѣхъ поръ, пока не войдутъ въ чины и въ барствленную лѣнь, или до тѣхъ поръ, пока не разовьются въ себѣ чихотку. Телицыну предстояло, по всей вѣроятности, послѣдній исходъ. Не смотря на свои молодые лѣта, онъ уже успѣлъ приобрести очень замѣтную сутуловатость и постоянно страдалъ застоями и приливами крови; глаза его были всегда немного воспалены и всегда неопредѣленно тусклымъ взоромъ смотрѣли куда-то вдаль. Владелецъ этихъ глазъ при самомъ простомъ разговорѣ казался всегда или усиленно сосредоточеннымъ или тревожно разсѣяннымъ; можно было подумать, что онъ постоянно созерцаетъ духовными очами какую нибудь неописанную красоту, или постоянно старается уловить ухомъ какую нибудь вѣчно ускользающую отъ него райскую мелодію; а на самомъ дѣлѣ ничего этого не было. Телицынъ былъ просто вѣрующимъ жрецомъ и слѣпымъ поклонникомъ того идола, передъ которымъ онъ хотѣлъ повергнуть въ прахъ своихъ слушателей. На алтарѣ этого идола онъ съ улыбкою блаженства сжигалъ медленнымъ огнемъ свой мозгъ и свои жизненные силы. Для него слова Веранже: *«l'ignorance — c'est l'esclavage, le savoir, — c'est la liberté»* были догматомъ вѣры. Какой *savoir*? какая *liberté*? онъ объ этомъ неспрашивалъ, и былъ твердо увѣренъ, что изучить вліяніе византійскихъ писателей на проповѣди Кирилла Туровскаго или разсмотрѣть литературные приемы Нестора значитъ до извѣстной степени разсвѣять мракъ губительной *ignorance* и потрясти основы ненавистнаго *esclavage*. Телицынъ былъ лучшій продуктъ нашего университетскаго образованія; онъ именно достигъ той точки развитія, которая

составляет крайній и высшій предѣлъ педагогическихъ тенденцій нашихъ университетовъ. Пойти дальше, забрать вверхъ или въ сторону значило бы уклониться отъ той патентованной цѣли, которую самые лучшіе профессора показываютъ своимъ слушателямъ, какъ цѣль, исключительно соотвѣтствующую достоинству и назначенію человѣка.

Такъ какъ всякую систему слѣдуетъ судить именно по тѣмъ ея произведеніямъ, которыя она сама считаетъ вполне удавшимися, то вотъ я ставлю передъ читателемъ портретъ Телицына, и говорю ему: таковъ идеалъ, къ которому стремится наше университетское образованіе. Какъ онъ вамъ нравится? Чувствуете ли вы въ душѣ своей неотразимое желаніе приблизиться къ этому результату? Находите ли вы, что обновленіе Россіи будетъ совершаться быстро и радикально, если десятки тысячъ Телицыныхъ будутъ разсыяны на всѣхъ поприщахъ нашей общественной дѣятельности?—Не знаю, какъ вы отвѣтите на эти три вопроса; не скажу вамъ также, какъ отвѣтилъ бы я на нихъ теперь; но въ 1856 и въ 1857 годахъ я отвѣтилъ бы на первый вопросъ: «очень», — на второй: «чувствую» — на третій: «нахожу». Кромѣ того, я самые вопросы нашелъ бы странными и на вопрошающаго посмотрѣлъ бы какъ на обскуранта, кощунствующаго надъ святыми представителями науки. 1856 и 1857 годы были, какъ извѣстно, тѣмъ временемъ, когда наше общество во что бы то ни стало стремилось убѣдить себя въ томъ, что оно переживаетъ великую эпоху, — тогда множество старыхъ вещей перекрашивались заново и дѣйствительно принимались за новыя тѣми самыми людьми, которые собственноручно отдавали ихъ къ красильщику и принимали ихъ отъ него обратно. Приэтомъ краски часто оказывались непрочными или развѣдающаго свойства, такъ что матеріи въ скоромъ времени линяли или расплывались. Это стремленіе оболыщаться и надѣяться проявилось и въ университетѣ, гдѣ мы немедленно опредѣлили, что Креозотовъ и Кавылаевъ будутъ считаться представителями отживающаго порядка вещей, а Телицынъ кроткимъ ангеломъ прогресса и вдохновеннымъ провозвѣстникомъ лучшаго будущаго.

Если читатель приметъ въ соображеніе, что эти два года юношескихъ мечтаній матушки Россіи соотвѣтствовали именно такой же порѣ въ моей личной жизни, то онъ пойметъ, что образъ Телицына долженъ былъ произвести на меня чарующее и одурающее впечатлѣніе. Я увлекался въ одно время и чувствомъ массы и своею личною потребностью найти себѣ учителя, за которымъ я могъ бы слѣдовать съ вѣрою и любовью. Мысли о занятіяхъ исторіею замерли во мнѣ, благодаря совѣтамъ Креозотова. Въ этихъ мысляхъ никогда не было ничего серьезнаго, и я думалъ приняться за исторію только потому, что исторія — самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается въ глаза, и я схватился за нее, какъ ребенокъ хватается за пламя свѣчи. Теперь же, когда я всѣмъ

сердцемъ возлюбилъ Теплицына, теперь, когда онъ гальванизировалъ меня и товарищей моихъ дуновыми хвостиками своихъ лекцій, теперь въ дунѣ моей зародилось неудержимое желаніе посвятить себя — чему? зачѣмъ?—ну, все равно, чему бы то ни было, а только посвятить себя. *Наука, истина, сѣтъ, дѣятельность, прогрессъ, развѣтъ* — эти слова такъ и кувиркались у меня въ головѣ, и это кувирканье давалось мнѣ ужасно плодотворнымъ, хотя изъ него ничего не выходило, да и выдти ничего не могло. «Хочу служить наукѣ, хочу быть полезнымъ; возьмите мою жизнь и сдѣлайте изъ нея чтонибудь полезное для науки!» — Восторгу было много, по смыслу мало. Слово *наука* осталось для меня любезнымъ звукомъ, какъ остается она для многихъ людей, утѣшающихся всю свою жизнь тѣмъ пріятнымъ заблужденіемъ, что они ее, науку, двигаютъ впередъ. Непонимая того, что такое «наука», и даже не спрашивая себя о томъ, на какое употребленіе и какой сортъ ея родится для человѣка, я конечно не могъ понимать и того, что полезно и что бесполезно для науки. Стало быть, фраза моя измѣнилась такъ: «возьмите мою жизнь и истратите ее на что хотите». А изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что возбуждать въ молодыхъ людяхъ безпредметный восторгъ и ослѣплять ихъ блескомъ добродѣтельныхъ словъ вовсе неохватно, потому что молодые люди отъ этого глупѣютъ, но крайней мѣрѣ на время, а потомъ, когда пройдетъ ихъ глупость, они начинаютъ смѣяться надъ тѣмъ, что возбуждало, и надъ тѣмъ, кто возбуждалъ въ нихъ неосмысленное благоговѣніе. Дѣйствительная наука, плодъ внимательнаго наблюденія и трезвой мысли, по самой природѣ своей враждебна всякимъ восторгамъ, какъ бы ни были они добродѣтельны. Если бы химикъ или фізіологъ съ восторгомъ принимался за свои опыты, то зрѣлище вышло бы чувствительное, но опытъ не привелъ бы къ исконому результату, или по крайней мѣрѣ результатъ былъ бы неправильно понятъ или превратно истолкованъ. Что же касается до тѣхъ ученыхъ, которые нишуть о Несторѣ и Кириллѣ Туровскомъ, то имъ конечно восторги вредить не могутъ, потому что они опытовъ не производятъ, и еще потому, что для ихъ соотечественниковъ и для всѣхъ прочихъ людей рѣшительно все равно, къ какимъ бы результатамъ они ни пришли и до какихъ бы умозрѣній они ни дописались.

IX.

Послѣдняя лекція Теплицына передъ свѣтками 1856 года была ознаменована слѣдующимъ событіемъ. Нашъ обожаемый профессоръ сказалъ,

что для пользы науки и для назиданія студентов намъ слѣдуетъ перевести нѣсколько ученыхъ изслѣдованій и разсужденій. Тутъ онъ назвалъ между прочими статью Якова Гримма: «Ueber den Liebesgott» (О богѣ любви), — другую статью того же автора; «Ueber das Verbrennen der Todten» (О сожженіи мертвыхъ), — статью Шафарика о числительныхъ именахъ, брошюру Штейнтала: «Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldt's und die Hegelsche Philosophie» (Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философія Гегеля). Случилось такъ, что я сидѣлъ во время этой лекціи на срединѣ скамейки; товарищи мои, сидѣвшіе по обѣимъ концамъ, тотчасъ послѣ окончанія лекціи встали, подошли къ кафедрѣ и взяли себѣ тѣ работы, которыя были по легче, а на мою долю осталась только одна зловѣщая брошюра Штейнтала. Дѣлать было нечего; Телицынъ смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза и еще говорилъ съ разсчитаннымъ коварствомъ, что эту брошюру перевести особенно необходимо. Я мысленно перекрестился и протянулъ къ ней руку. Рубиконъ былъ перейденъ, и Телицынъ овладѣлъ мною. Въ брошюрѣ Штейнтала оказалось 140 страницъ, и содержаніе ея роскошно выполнило тѣ грозныя обѣщанія, которыя давало заглавіе. О философіи Гегеля распроняться нечего. Всякій читатель знаетъ по наслышкѣ, что это штука хитрая, и что понимать ее мудрено и кромѣ того бесполезно. Что же касается до Гумбольдта, то объ немъ сами нѣмцы, и притомъ его поклонники, говорятъ, что онъ неясенъ, но что эта неясность происходитъ отъ новизны и оригинальности его идей. Теперь вообразите себѣ, что Штейнталь, который о высокихъ матеріалхъ пишетъ такъ же удебопытно, какъ и всѣ прочіе нѣмцы, начинаетъ сравнивать Гегеля съ Гумбольдтомъ, и притомъ не факты, добытые ими, не результаты, къ которымъ они пришли, а методы ихъ мышленія и изслѣдованія; и это сравненіе продолжается на 140 страницахъ; и это надо было переводить мнѣ, человѣку—читавшему Макоlea съ трудомъ, и Диккенса безъ особеннаго удовольствія. На моемъ младенческомъ лицѣ было ясно видно, на сколько я способенъ судить о Гегелѣ и Гумбольдтѣ, и Телицынъ могъ это замѣтить, но Телицынъ на такіе пустяки не обращалъ вниманія и съ наслажденіемъ готовился зарѣзать юную жертву на алтарѣ своего идола.

Когда я началъ читать брошюру Штейнтала, то у меня на первыхъ пяти строкахъ закружилась голова, и я понялъ, что читатели, къ которымъ обращается авторъ, должны знать очень многое, а что я этого многого совсѣмъ не знаю. Тогда я рѣшился не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдѣльными періодами и смыслъ цѣлаго остались для меня совершенно непонятными. И я это выполнилъ. Зная отлично нѣмецкій языкъ и владея хорошо русскимъ языкомъ, я передавалъ вѣрно и отчетливо одинъ періодъ за другимъ, — и независимо отъ моей воли являлся какой-то общій смыслъ, точно также, какъ въ чтеніи Чичиков-

скаго Петрушки изъ отдѣльныхъ буквъ всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и чортъ знаетъ, что значило. Но переводилъ я долго, и потомъ самъ переписывалъ свою работу. Встрѣчаясь со мною въ университетѣ, Телицынъ не разъ говорилъ мнѣ шутя, что Штейнталь не такъ долго писалъ свою брошюру, какъ я ее перевожу. По моему, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Штейнталь, вѣроятно, понималъ, что онъ пишетъ, а я совсѣмъ напротивъ. Мѣсяца четыре ушло на мою работу; наконецъ, приди на экзаменъ Телицына, я вручилъ ему двѣ толстыя тетради, заключавшія въ себѣ переписанный набѣло переводъ ужасной брошюры. Должно быть, въ то время демонъ умственного эгоизма, о которомъ я упомянулъ выше, былъ совершенно подавленъ добродѣтельными стремленіями, возбужденными во мнѣ вліяніемъ Телицына. Переводить книгу, которую не понимаешь, это конечно самая не пріятная и самая кренинизирующая работа, какую можно себѣ представить; и между тѣмъ я довелъ эту работу до конца. Очевидно демонъ былъ низринутъ и посрамленъ, но Телицыну этого было мало. Онъ тутъ же, на экзаменѣ, попросилъ меня на выдержку прочесть двѣ-три страницы изъ моего перевода. Оказалось, что переводъ хорошъ. Телицыну пришло въ голову помѣстить мой трудъ въ нашъ студенческій «Сборникъ». Такое желаніе польстило моему самолюбію. Но тотчасъ представилось возраженіе: объемъ перевода слишкомъ великъ; а вслѣдъ за возраженіемъ явилось въ умѣ Телицына средство помирить противорѣчія: — сдѣлайте, говорить, изъ вашего перевода извлеченіе. Отъ этого предложенія меня въ жаръ бросило. Этого только не доставало. Перевелъ—ничего не понималъ, а теперь извлекай изъ того, чего не понимаешь. Что же я извлеку? А положеніе безвыходное. Сказать «не хочу» неловко, да и весь разговоръ совсѣмъ не въ такомъ тонѣ былъ веденъ. Признаться въ томъ, что переводилъ машинально, признаться публично, при студентахъ, вѣдь это значить—дуракомъ себя назвать. Нѣтъ! что будетъ, то будетъ! Всѣ эти размышленія промелькнули въ моей головѣ чрезвычайно быстро и я сказалъ Телицыну, что извлеченіе будетъ сдѣлано. Я занялся этимъ трудомъ на каникулахъ и окончилъ его успѣшно, хотя и на этотъ разъ нельзя было сказать, чтобы понималъ мысли Штейнтала. Приемы мои при этой работѣ были довольно оригинальны. Я опредѣлилъ себѣ извѣстный масштабъ, именно, чтобы три страницы перевода превращались въ одну страницу извлеченія; соображаясь съ этимъ масштабомъ, я сжималъ и сокращалъ языкъ моего перевода, такъ что извлеченіе мое оказалось просто миниатюрною фотографіею съ большой картины. Я ухитрился даже въ этомъ случаѣ работать машинально, да иначе и не могъ работать надъ такимъ сюжетомъ человѣкъ, неимѣющій никакого понятія ни о Гегелѣ, ни о Гумбольдтѣ, ни о философіи, ни о языковѣдѣ, ни объ умствен-

ной жизни Гермаин, и рѣшительно ни объ одномъ изъ тѣхъ предметовъ, о которыхъ совершенно свободно разсуждалъ Штейнталь.

Какъ вы думаете, читатель, во что превратилъ бы меня Телицынъ, если бы я лѣтъ пять поработалъ подъ его руководствомъ? Вѣдь такая операція надъ Штейнталемъ стоитъ цѣлаго года машинальной канцелярской работы; вѣдь тутъ человѣкъ не развивается, а напротивъ при-выкаетъ обращаться съ чужими мыслями, какъ съ закупоренными тюками, которые онъ перетаскиваетъ съ мѣста на мѣсто и разставляетъ въ симметрическомъ порядкѣ, не заботясь о томъ, что въ нихъ наложено. Является искусство строить фразы, привычка вставлять въ эти фразы научные термины, способность запоминать и передавать непонятныя идеи, — является попуайство и обезьянство; во всему этому присоединяется гордое самодовольство, что вотъ молъ, я сколько книжныхъ понятій усвоилъ, вотъ сколько научныхъ статей произвелъ, вотъ какую пользу великую принесъ. Когда явилось такое самодовольство, тогда человѣка слѣдуетъ признать совершенно погибшимъ; тогда критическая способность утрачена, а вмѣсто способности мыслить пріобрѣтена способность нанизывать слова и предложенія, соединять ихъ въ періоды, а изъ періодовъ составлять статьи, диссертации или книги. Работая подъ руководствомъ Телицына, я большими шагами направлялся къ такому блаженному состоянію.

Х.

Телицынъ имѣлъ полную возможность взглянуть въ меня и изъ разговоровъ со мною узнать степень моего развитія. Лѣтомъ 1857 года мнѣ пришлось ѣхать съ Телицынымъ по желѣзной дорогѣ изъ Петербурга въ Москву. Мы пробыли вмѣстѣ 30 часовъ и по крайней мѣрѣ 10 часовъ были проведены въ серьезныхъ разговорахъ. Я съ наивнымъ восторгомъ объяснялъ Телицыну, какую чудесную пережвну произвелъ во мнѣ одинъ годъ, проведенный въ университетѣ, какъ передъ моею мыслью открылись цѣлые новые горизонты, и какія теперь у меня хорошія стремленія. Телицынъ все это слушалъ съ любовью и со вниманіемъ, умилаясь и восторгаясь вмѣстѣ со мною, а это, конечно, еще болѣе поддавало мнѣ жару. Человѣкъ разсудительный и неспособный удовлетворяться пылкими рѣчами, тотчасъ спросилъ бы у меня, въ чемъ именно состоитъ пережвна, какіе горизонты и въ чему влонятся стремленія. При такомъ вопросѣ съ меня нонѣвольтъ соскочилъ бы хмѣль, и можетъ быть за пароксизмомъ восторга послѣдовалъ бы пароксизмъ унінія: пришлось бы вдругъ сознаться, что все упоеніе произведено какою ни-

будь дюжиною словъ, и что кромѣ этихъ словъ да профессорскихъ записокъ не воспослѣдовало никакого умственного приобрѣтенія; но на профессорскія записки я уже смотрѣлъ безъ особеннаго благоговѣнія, а слова, какія бы они ни были, все-таки не могли казаться мнѣ магическими талисманами. Значить, все умственное богатство мое оказалось бы просто возбужденнымъ состояніемъ мозговыхъ нервовъ, и разсудительный человѣкъ тотчасъ понялъ бы, что со мною слѣдуетъ говорить, какъ съ мальчикомъ, совершенно неразвитымъ и ничего незнающимъ, что мнѣ слѣдуетъ рекомендовать чтеніе серьезное, но вполне доступное, и что задавать мнѣ какую нибудь работу совсѣмъ не годится, потому что умъ мой долженъ питаться, а не тратить свои силы въ преждевременной производительности. Но Телицынъ ничего этого не разобралъ; всѣ мои восторги были приняты за доказательства развитости; болтовня моя о наукѣ сошла за чистую монету, и мой собесѣдникъ пресерьезно посоветовалъ мнѣ заняться спеціально теорією или философією языка.

Чтобы оцѣнить этотъ совѣтъ, надо знать, что философія языка основывается на громадномъ сравнительномъ изученіи отдѣльныхъ языковъ. Люди, посвящавшіе себя этой отрасли науки, старались по возможности познакомиться со всѣми существующими на земномъ шарѣ языками, что было совершенно необходимо, потому что цѣль философій языка (или философскаго языкознанія, или филологій) заключается въ томъ, чтобы представить ясное и вѣрное понятіе о *словѣ*, т. е. о способности человѣка выражать свои мысли и ощущенія членораздѣльными звуками. Преслѣдуя такую цѣль, необходимо знать, какъ проявляется эта способность у различныхъ народовъ, потому что безъ этого предварительнаго знанія нельзя позволить себѣ никакого заключенія, или даже правдоподобнаго предположенія объ общихъ свойствахъ изучаемой способности. Языки у различныхъ народовъ оказывались до такой степени несходными, что разныя преждевременныя теоріи о языкѣ вообще разрушались въ прахъ такими фактами, которые узнавались вновь. Оказывалось, напримеръ, что многіе языки не различаютъ существительнаго отъ глагола; оказывалось, что другіе языки состоятъ не изъ словъ, а изъ готовыхъ предложений. Все это надо было принимать въ расчетъ, потому что въ самыхъ негнѣпыхъ и неразвитыхъ языкахъ все-таки дѣйствуетъ та же способность, которая только въ болѣе сильной степени проявилась въ самыхъ богатыхъ и гибкихъ языкахъ человѣчества. Кромѣ сравнительнаго изученія языковъ, необходимо изученіе историческое. Надо же знать, какъ совершенствуется или ослабѣваетъ съ теченіемъ времени разсматриваемая способность. Конечно, филологу нѣтъ необходимости говорить и писать на всѣхъ тѣхъ языкахъ, которые служатъ ему матеріалами для сравненія. Но онъ долженъ имѣть очень опредѣленные понятія о системѣ звуковъ этихъ языковъ, о переходѣ звуковъ одинъ въ другой, объ обра-

зованіи словъ изъ корней, о грамматическомъ строѣ, о синтаксическихъ особенностяхъ; кромѣ того, онъ долженъ знать до нѣкоторой степени лексическій составъ языковъ, т. е. запасъ наиболѣе замѣчательныхъ словъ, чтобы сближать эти слова съ словами и корнями другихъ языковъ. Если ученый хочетъ ограничить свои изслѣдованія однимъ племенемъ языковъ, если такимъ образомъ изъ области философіи языка онъ спускается въ область сравнительной грамматики, то съ уменьшеніемъ объема его трудовъ должна увеличиться глубина его знаній. Нѣмецкіе филологи, занимающіеся индо-европейскою семьей языковъ, знаютъ уже во всѣхъ подробностяхъ языки санскритскій, зендскій (древне-персидскій), литовскій, греческій, латинскій, старо-славянскій, готскій и англосаксонскій. Наконецъ ученые, сосредоточившіеся, подобно Якову Гримму, преимущественно на историческомъ изученіи нѣмецкаго языка, доводятъ знаніе всѣхъ его старыхъ и новыхъ оттѣнковъ и всѣхъ иностранныхъ языковъ, соприкасавшихся съ нимъ даже въ глубокой древности, до изумительной полноты и до непостижимаго совершенства. Цѣлая, долгая жизнь дѣятельнаго и умнаго человѣка наполняется этимъ изученіемъ, и потомъ все таки-таки оказывается, что изученіе это только что затронуто, и что еще десятки людей будутъ посвящать продолженію работы свои лучшія силы.

Мы можемъ сомнѣваться въ практической полезности подобныхъ занятій, можемъ находить, что нѣсколько человѣческихъ жизней истрачиваются на нихъ непроизводительнымъ образомъ, но, во всякомъ случаѣ, мы не можемъ отказать въ полной дани уваженія тому трудолюбію, той умственной энергіи, тому глубокомыслию и остроумію, которыя несомнѣнно обнаруживаются въ этихъ утомительныхъ и кропотливыхъ изысканіяхъ. Но если мы, оставляя въ сторонѣ ученыхъ нѣмцевъ, устремимъ наши взоры на нашихъ отечественныхъ языковъзнавателей, то тутъ никакой дани намъ выдавать не придется, потому что соотечественники наши народъ смѣтливый и находятъ, что загребать жаръ своими руками горячо, а чужими даже пріятно. У насъ до сихъ поръ было сдѣлано только одно открытіе въ области филологіи, именно открытіе Востокова о юсахъ, и съ этимъ открытіемъ наши ученые нянчатся уже очень давно, потому что для нихъ конечно это невиданная диковинка. Всѣ же остальные наши ученые (а ихъ таки не мало) совершенно усвоили себѣ ту великую истину, что прочесть нѣмецкое изслѣдованіе, даже очень толстое, гораздо легче, чѣмъ учиться санскритскому и всякимъ другимъ, болѣе или менѣе непріятнымъ языкамъ. Съ этою истиною соображаются всѣ ихъ ученые подвиги. Нѣмецъ на каждой страницѣ своего труда приводитъ сопоставленія формъ и словъ, взятыхъ изъ разныхъ родственныхъ языковъ, и русскій дѣлаетъ тоже самое. Но нѣмецъ самъ разскалъ эти формы и слова, а русскій отважно переписалъ работу нѣмца

и даже не провѣрилъ ее, потому что не можетъ этого сдѣлать. Если русскій къ заимствованнымъ рядамъ формъ и словъ присоединилъ соотвѣствующія русскія слова и формы, тогда имя его упоминается съ уваженіемъ, и студентамъ говорятъ на лекціяхъ: «даровитый ученый такой-то, въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи такомъ-то, примѣнилъ блестящимъ образомъ къ нашей отечественной наукѣ методъ Якова Гримма», или какого нибудь другого туза филологіи. Конечно между нашими языкознателями есть и умные люди, понимающіе въ глубинѣ души, что ихъ экскурсіи въ нѣмецкія книги можно называть наукою только изъ вѣжливости; эти господа смотрятъ на свои работы безъ особенной нѣжности, но, какъ умные люди, они понимаютъ, что экскурсіи питаютъ и грѣбютъ ихъ, и потому они не видятъ никакой надобности ратовать словомъ и перомъ противъ обычаевъ, укоренившихся въ ученomъ мірѣ. Что же касается до большинства нашихъ филологовъ, то они такъ сжились съ существующими условіями ученой дѣятельности, что находятъ ихъ совершенно нормальными.

Къ этой многочисленной категоріи дѣятелей принадлежалъ и Телицынъ; занимаясь древнею русскою литературою и не имѣя никакихъ лингвистическихъ свѣдѣній, онъ находилъ совершенно возможнымъ читать намъ лекціи по философіи языка и приводить множество примѣровъ и сблизеній изъ санскритскаго, зендскаго и другихъ столь же извѣстныхъ ему языковъ. Мало того. Онъ даже находилъ совершенно естественнымъ и похвальнымъ вести по слѣдамъ своимъ юнаго ревнителя науки и служить ему руководителемъ въ такой отрасли знаній, въ которой онъ, Телицынъ, былъ самъ несвѣдущимъ ученикомъ. Онъ совѣтовалъ мнѣ читать сочиненія Вильгельма Гумбольдта, Гримма, Боппа, Потта, Шлейхера, — но о дѣйствительномъ изученіи языковъ не было и рѣчи. По мнѣнію Телицына, было совершенно достаточно усвоить себѣ идеи нѣмецкихъ филологовъ, а доходить до самостоятельнаго изслѣдованія или до критическаго отношенія къ благодѣтельнымъ нѣмцамъ значило мечтать о недоступной и совершенно излишней роскоши. Совѣтъ Телицына былъ такимъ образомъ діаметрально противоположенъ совѣту Креозотова. Телицынъ совѣтовалъ питаться высшими идеями, а Креозотовъ рекомендовалъ глотать сырые факты. Какъ ни различны эти два совѣта, въ нихъ есть однако, существенное сходство: оба они рассчитываютъ исключительно на память; слѣдуя тому или другому совѣту, учащійся долженъ навсегда отказаться отъ развитія критическаго смысла, потому что общая идея, построенная на неизвѣстныхъ вамъ фактахъ, представляется вамъ въ свою очередь голымъ фактомъ, который надо запомнить, но надъ которымъ размышлять невозможно. Кто знаетъ сравнимые языки, для того сравнительная филологія является осмысле-

ніемъ и приведеніемъ въ систему извѣстныхъ фактовъ; а кто ихъ не знаетъ, тотъ принимаетъ идеи науки на вѣру и закрѣпляетъ ихъ у себя въ памяти, какъ могъ бы закрѣпить какую-нибудь хронологическую таблицу. Когда происходилъ у меня этотъ разговоръ съ Телицынымъ, тогда я конечно не оцѣнилъ прелести его совѣта, и принялъ его съ тою добродушною радостью, съ которою принималъ до тѣхъ поръ все профессорскіе совѣты, думая всякій разъ, что философскій камень найденъ и что наконецъ жизнь моя окончательно посвящена великой научной дѣятельности.

XI.

Осенью 1857 года, возвратившись съ каникулъ, я отдалъ Телицыну составленное извлеченіе изъ брошюры Штейнтала. Телицынъ вполне удовлетворился имъ, и только спросилъ у меня, исполни ли я усвоилъ себѣ различіе между методомъ Гегеля и методомъ Гумбольдта. Я отвѣчалъ ему, что Гегель, вотъ видите ли, все напираетъ на чистое мышленіе, а Гумбольдтъ основываетъ свои выводы на наблюденіи и изученіи фактовъ. Если бы Телицынъ сколько нибудь вошелъ въ подробности, то я бы тотчасъ положилъ оружіе; но руководитель мой, кажется, самъ былъ поверхностно знакомъ съ мыслями Штейнтала, и потому отвѣтъ мой показался ему достаточно убѣдительнымъ. Вы спросите, читатель, отчего же я самъ не требовалъ у Телицына объясненія темныхъ мѣстъ. Да, хорошо требовать объясненія тогда, когда въ книгѣ не понимаешь двухъ-трехъ отдѣльныхъ фразъ, но когда вся книга представляется какимъ-то туманнымъ пятномъ, тогда не знаешь, о чемъ и спросить. Кромѣ того я видѣлъ, какое хорошее мнѣніе внушаетъ обо мнѣ Телицыну моя ярость къ наукѣ; жаль было разрушать такое мнѣніе, тѣмъ болѣе, что въ глубинѣ души я надѣялся на послѣдовательное и серьезное чтеніе, какъ на вѣрное средство безъ посторонней помощи разсвѣтать туманъ, скрывавшій отъ меня идеи Штейнтала и разныхъ другихъ умныхъ людей.

Расчеты мои съ Вильгельмомъ Гумбольдтомъ оказались далеко неоконченными. Однажды Телицынъ сообщилъ мнѣ, что недавно вышла въ свѣтъ подробная біографія Гумбольдта, написанная Гаймомъ, и что было бы очень хорошо, если бы я, по этой книгѣ, составилъ статью, которая въ соединеніи съ оконченною моею работою, могла бы быть помѣщена въ студенческомъ «Оборникѣ». Къ этому предложенію Телицынъ присоединилъ нѣсколько убѣдительныхъ резонансовъ: — «вы, говорить,

этим составите себя нил; вамъ, говорить, это особенно удобно, потому что вы уже знакомы съ методомъ Гумбольдта». Какъ я ни былъ наивенъ, но мысль о составленіи себя имѣи посредствомъ извлеченія изъ нѣмецкой книги показалось мнѣ смѣлою, а второму аргументу я придалъ еще менѣе значенія, потому что мнѣ были слишкомъ хорошо извѣстны мои отношенія къ методу Гумбольдта. Но предложеніе Телицына я все-таки принялъ. «Чтожъ, думалъ я, вѣдь вотъ перевелъ и извлекъ, не понимая,—авось и Гайма обработаю также удачно; да и наконецъ, все-таки я въ брошюрѣ Штейнтала присмотрѣлся къ ученому языку, такъ что есть надежда, что теперь пойму больше.» Справлялся я въ нѣкоторыхъ магазинахъ и узналъ, что книга Гайма стоитъ 5 рублей. Это мнѣ было не по деньгамъ. Я сообщилъ объ этомъ горѣ Телицыну и, по его совѣту, рѣшился читать Гайма въ публичной библіотекѣ. Началось плинфодѣланіе египетское. Почти каждый день, въ седьмомъ часу вечера, я приходилъ въ читальную залу и читалъ до девяти часовъ, пока звонокъ не объявлялъ посѣтителемъ библіотеки о томъ, что пора опочить отъ дѣла. Читая въ библіотекѣ, я отгѣчалъ на клочкѣ бумаги собственные имена и цифры годовъ. Иден и событія я удерживалъ въ памяти, и потомъ возвратившись домой, торопился въ тотъ же день обработать письменно прочитанную часть книги. Такимъ образомъ я принужденъ былъ писать статью безъ всякаго общаго плана. Мнѣ приходилось раболопно слѣдовать за Гаймомъ и резюмировать начало его книги, не зная, какова будетъ середина и къ чему приведетъ конецъ. Если бы я распорядился иначе, если бы наиримѣръ я прочелъ сначала всю книгу, а потомъ началъ бы писать свою статью, то вышла бы двойная работа. Я не могъ имѣть книгу подъ руками во время самого писанія статьи, потому что изъ публичной библіотеки книгъ не выдаютъ на домъ, а писать въ самой библіотекѣ было совершенно неудобно, во-первыхъ, потому что въ читальной залѣ, обыкновенное дѣло, довольно тѣсно, во-вторыхъ, потому что постоянный приходъ и уходъ посѣтителей не позволялъ сосредоточиваться и вдуматься въ работу. Даже простое чтеніе шло у меня довольно медленно; часто приходилось останавливаться и перечитывать по нѣсколько разъ одно и то же мѣсто, чтобы дойти до дѣйствительнаго пониманія. Если бы я вздумалъ, не приступая къ писанію, прочесть сначала всю книгу, то мнѣ потомъ пришлось бы еще разъ читать ее по частямъ, а общій самостоятельный планъ статьи не могъ бы быть составленъ и выполненъ, потому что для выполненія такого плана совершенно необходимо имѣть передъ собой во время работы весь собранный матеріалъ, всю прочитанную и придуманную книгу, а удержатъ ясно и отчетливо въ памяти всѣ черты подробной біографіи, заключающей въ себя болѣе 700 страницъ, положительно невозможно.

Итакъ я смиренно строилъ свой домикъ, кладя кирпичъ на кирпичъ

и не зная заранее, какая изъ всего этого выйдетъ фигура. Работа шла медленно, потому что за одинъ разъ я не успѣвалъ прочитать болѣе 30 страницъ; кромѣ того, требовалось часто провѣрять написанное; иногда не оказывалось возможности тотчасъ резюмировать прочитанныя страницы, и тогда являлась необходимость читать ихъ еще разъ. Если прибавить къ этому, что отъ моей квартиры до библіотеки было полчаса скорой ходьбы, и что нанимать извозчиковъ значило бы заплатить за Гайма дороже 5-ти рублей, то читатель увидитъ, при какихъ благопріятныхъ условіяхъ подвигался впередъ мой учено-литературный трудъ. Самое чтеніе требовало съ моей стороны сильнаго напряженія ума; книга Гайма была написана ясно, изящно и даже картинно, и я сознавалъ и цѣнилъ въ ней эти достоинства; но Гаймъ писалъ все-таки для образованныхъ нѣмцевъ, а не для російскихъ юношей, преуспѣвавшихъ въ гимназіи и восторгавшихся любезными звуками въ университетѣ. Гаймъ говорилъ мимоходомъ о политическомъ состояніи Европы, о литературномъ и умственномъ движеніи въ Германіи, называлъ личности и положенія, упоминалъ о партіяхъ и кружкахъ, о симпатіяхъ и антипатіяхъ, о надеждахъ и разочарованіяхъ, о конституціяхъ и реакціяхъ, предметахъ, которые извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ, но которые для меня оказывались скорбною загадкой. Мнѣ приходилось тратить бездну вниманія и остроумія, мнѣ приходилось предполагать и угадывать,—мнѣ надо было быть Шамполиономъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ не было ни одного гіероглифа. Мнѣ надо было наконецъ называть въ моей статьѣ имена и событія, невызывавшія въ умѣ моемъ никакого опредѣленнаго представленія, и надо было называть ихъ съ самоувѣренностью и въ то же время съ осторожностью, такъ чтобы читатель не замѣтилъ моихъ колебаній и не уличилъ меня въ какомъ нибудь враньѣ.

При такихъ условіяхъ, писаніе статьи очень похоже на путешествіе по тонкому льду, который на каждомъ шагу трещитъ подъ ногами,—и на мѣстѣ стоять не удобно, и съ мѣста тронуться боязно. Однако я не провалился въ моей статьѣ, но надо знать, чего мнѣ это стоило; надо знать, что, сидя въ библіотекѣ, я иногда схватывался за голову обѣими руками, потому что голова шла кругомъ отъ судорожныхъ усилій моихъ найти настоящій смыслъ шарадъ и гіероглифовъ, заключавшихся собственно для меня въ книгѣ Гайма. Надо знать, какое это непріятное чувство—видѣть передъ собой нѣсколько собственныхъ именъ, знать, что ихъ слѣдуетъ помѣстить въ статью, и чувствовать при этомъ, что можешь сказать о нихъ только то, что вычиталъ вчера въ книжкѣ; собственного мнѣнія не имѣешь; боишься употребить свой оборотъ, или свой эпитетъ, потому что можешь провратиться; и при всемъ этомъ соблюдаешь декорумъ и притворяешься передъ публикою, будто владѣешь вполне обработываемымъ матеріаломъ. Точно, будто ходишь на цыпочкахъ по

темной комнатѣ и каждую минуту ожидаешь, что стукнешься лбомъ въ стѣну или повалишь ногою какую нибудь затѣйливую мебель. И это мучительное чувство неловкости, притупляющееся современемъ отъ упражненія въ фразерствѣ, дѣлаетъ честь тому, кто его испытываетъ. Это естественное отвращеніе молодого ума къ шарлатанству и притворству. Но отвращеніе это скоро изгладилося бы и искусство составлять фразы изъ непонятныхъ терминовъ и именъ развилось бы у меня до замѣчательной виртуозности, если бы за статью о Гумбольдтѣ слѣдовали другія подобныя работы. Полюбуйтесь, читатели: кто насильно превращалъ меня въ скептика? Профессоръ Крезовотовъ, который самъ вовсе не былъ скептикомъ. Кто вовлекалъ меня въ шарлатанство? Профессоръ Телицынъ, который самъ вовсе не считалъ себя шарлатаномъ. Такимъ образомъ, два почтенные наставника внушали своему питомцу, одинъ—неуваженіе къ старшимъ, другой—неуважительное обращеніе съ наукой и съ человѣческой мыслью. Ни тотъ, ни другой не хотѣли придти къ такимъ результатамъ, а между тѣмъ выходило такъ. Должно быть, въ это дѣло замѣшивался древній фатумъ. А еще вѣрнѣе и во всякомъ случаѣ проще то объясненіе, что руководители сами нуждались въ руководителяхъ, и притомъ не сознавали этого, и были довольны собою,—стало быть, въ этомъ отношеніи стояли ниже тѣхъ студентовъ, которые чувствовали потребность совѣта и вразумленія.

XII.

Мѣсяца три продолжалось писаніе статьи; недѣли три ушло на переписываніе. Когда все было кончено, Телицынъ объявилъ мнѣ, что есть еще сочиненіе о Гумбольдтѣ, которое я также долженъ принять къ свѣдѣнію. Я замѣтилъ ему, что стало быть, придется передѣлать заново всю работу; на это онъ возразилъ, что передѣлывать незачѣмъ, а что можно прочесть эту книгу Шлезіера, — «Воспоминаніе о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ», и потомъ сдѣлать нѣкоторые дополненія и вставки. Я покорился, получилъ отъ Телицына книгу, состоящую изъ двухъ томовъ средняго сорта и дородства, и началъ дѣлать въ статьѣ своей дополненія и вставки. Много требовалось техническаго искусства для того, чтобы пришить эти новыя подробности и скрыть отъ читателя бѣлыя нитки. Въ душѣ моей начинала уже шевелиться досада противъ распоряженій моего руководителя. Видно было, что его деспотическое господство надъ моею мыслью начинаетъ колебаться. Какъ бы то ни было, работа моя была

приведена къ окончанію; выдержки изъ нея прочтены съ успѣхомъ въ собраніи студентовъ, и ихъ приговоръ рѣшилъ, что статья моя заслуживаетъ быть помѣщенной въ студенческимъ «Сборникъ».

Значить, подвигъ совершенъ и самолюбіе удовлетворено. За окончаніемъ труда всегда слѣдуетъ время отдыха, когда трудившійся оглядывается на самого себя, повѣряетъ свои силы и отдаетъ себѣ отчетъ въ той пользѣ, которую принесъ ему окончанный трудъ. Біографія и характеристика Гумбольдта, какъ человѣка и ученаго, лежала передо мною въ пяти толстыхъ тетрадахъ, и глядя на эти тетради, я припомнилъ, что въ нихъ заключена вся моя умственная жизнь за шестнадцать мѣсяцевъ. Переводъ Штейнтала былъ начатъ въ декабрѣ 1856 года, а выписки изъ Шлезіара окончены въ апрѣлѣ 1858 г. Что же далъ мнѣ этотъ упорный и продолжительный трудъ? Телицынъ смотритъ на меня какъ на дѣльнаго молодого человѣка, и даже не прочь похвалить мною, какъ своимъ произведеніемъ; многіе студенты и нѣкоторые профессора изъ не-филологовъ знаютъ мое лицо и мою фамилію; работа моя печатается въ сборникѣ. Ну, а потомъ? Мнѣніе другихъ обо мнѣ возвысилось, но чѣмъ возвысилось мое дѣйствительное достоинство? Что я узналъ? Да мало ли что! Узналъ я, что на свѣтѣ жили два брата фонъ-Гумбольдтъ—Вильгельмъ и Александръ; узналъ, у кого учился Вильгельмъ, съ кѣмъ былъ знакомъ, куда ѣздилъ, какія писалъ разсужденія и изслѣдованія; узналъ даже по нѣскольку мыслей изъ замѣчательныхъ его произведеній. Все это—знанія,—на улицѣ этого не подымеешь. Если бы я приобрѣлъ эти свѣдѣнія въ двѣ недѣли, то можно было бы сказать, что время не пропало даромъ. Но придти къ такимъ результатамъ послѣ шестнадцати-мѣсячнаго труда—это похоже на побѣду Пирра надъ римлянами. «Еще двѣ такія побѣды, говорилъ Пирръ, и мнѣ придется бѣжать изъ Италіи».—Еще полтора такіе подвига, могъ я сказать, и мнѣ придется выходить изъ университета, потому что до окончанія курса мнѣ оставалось два года, т. е. столько времени, что я подъ руководствомъ Телицына могъ довести до конца еще одну біографію, и потомъ остановиться на половинѣ третьей работы, столь же полезной для моего развитія и для будущей научной дѣятельности. Надъ этимъ стоило задуматься, и я дѣйствительно задумался. Мнѣ пришло наконецъ въ голову, что я, по милости Телицына, работалъ самымъ безалабернымъ образомъ и потратилъ пропасть лишняго труда и времени. Ктожъ такъ дѣлаетъ, думалъ я? Сначала перевести, потомъ сдѣлать извлеченія, потомъ къ извлеченію прилѣпить новую статью, потомъ въ эту новую статью вшивать вставки. Чтожъ это за руководитель? Да много ли онъ самъ-то смыслилъ? Да полно, умный ли онъ человѣкъ? Наконецъ, добросовѣстно ли онъ распоряжался моими силами? И на всѣ эти сокрушительные вопросы слѣдовали быстро и неотразимо сокрушительные отвѣ-

ты: нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Образъ Телицына сводился съ пьедестала, и на головѣ его вмѣсто сіяющаго ореола появлялся какой-то смиренный колпакъ; и его мечтательный взоръ, и его разсѣянность въ разговорѣ, и его красивыя слова въ заключеніе лекцій—все это освѣщалось иначе и пріобрѣтало другой смыслъ, очень простой и вовсе неторжественный. У него просто умъ за разумъ заходитъ, думалъ я; онъ весь ушелъ въ свои книги и говорить умѣетъ только о томъ, что вычиталъ вчера или сегодня утромъ; дальше книгъ онъ видѣть не можетъ, и самый простой вопросъ изъ практической жизни застаётъ его врасплохъ и оказывается для него неразрѣшимымъ. Нѣтъ, рѣшилъ я, такой человѣкъ не можетъ служить другому руководителемъ въ занятіяхъ.

Не смотря на это правильное умозаключеніе, я сдѣлалъ однако еще попытку въ томъ направленіи, на которое указывалъ мнѣ Телицынъ. Я началъ читать сочиненія Вильгельма Гумбольдта и думалъ собственными силами продолжать потомъ занятія по философіи языка, обращаясь по временамъ къ Телицыну за невинными библиографическими справками. Мнѣ ужъ черезчуръ тяжело было сознаться передъ самимъ собою, что почти полтора года ухлопано даромъ, и потому хотѣлось какъ-нибудь привязать новыя постоянныя занятія къ работѣ по Штейнталу и Гайму. Конечно, изъ этого не могло выдти ничего путнаго. Философскимъ идеямъ Гумбольдта не на что было опереться въ моемъ мозгу, и чтеніе не оставляло во мнѣ прочнаго слѣда, а только пріучало меня къ нѣмецкому философскому изложенію. И за то спасибо, но время все-таки тратилось безъ особенной пользы. Между тѣмъ Телицынъ, какъ молодой ученый, подающій блестящія надежды, уѣхалъ на казенный счетъ за границу. Это обстоятельство довершило и упрочило мое освобожденіе изъ подъ его вліянія. Надо сознаться, что это вліяніе было для меня вродѣ крѣпостной зависимости. Мой трудъ считался за ничто, и Телицынъ расходовалъ его самымъ нерасчетливымъ образомъ, давая совѣты наобумъ и не обращая вниманія на мои собственныя умственные потребности. Правда, что я и самъ не сознавалъ этихъ потребностей; но дѣло руководителя въ томъ и состоитъ, чтобы дать своему питомцу такое чтеніе, которое пробудило бы его самосознаніе и привело бы въ ясность его умственные требованія. Толпа студентовъ провожала Телицына на пароходъ, но когда онъ уѣхалъ, тогда критическій взглядъ на его личность и дѣятельность сталъ быстро вырабатываться въ головахъ его обожателей. Этому критическому взгляду содѣйствовали во многихъ отношеніяхъ письма Телицына изъ за границы, печатавшіяся въ одномъ московскомъ журналѣ. Я помню какъ, прочтя вмѣстѣ съ однимъ изъ моихъ товарищей одно изъ этихъ писемъ, я вынесъ изъ продолжительнаго чтенія только ту мысль, что студенты одного нѣмецкаго университета носятъ очень широкіе панталоны. Товарищъ мой, которому я

сообщилъ этотъ результатъ, нашелъ, что это дѣйствительно самое рельефное впечатлѣніе, остающееся отъ чтенія письма.

XIII.

Долго поклонялся я Телицыну, и дорого стоило мнѣ это «люболеніе твари паче бога»; но когда кумиръ мой оказался чурбаномъ, тогда уже всякое идолослуженіе сдѣлалось для меня отвратительнымъ и слѣдовательно навсегда невозможнымъ. Съ осени 1858 года я объявилъ себя независимымъ, и отношенія мои къ университету и къ профессорамъ, къ лекціямъ и совѣтамъ сдѣлались чисто отрицательными. Начинался третій годъ моего студенчества; дѣлая половина курса лежала уже позади меня—и помянуть ее было нечѣмъ. Слова, стремленія, бѣготня по корридорамъ университета, бесплодное чтеніе, не оставлявшее по себѣ ни удовольствія, ни пользы, машинальная работа перомъ, не удовлетворявшая потребностямъ ума и не дававшая даже денегъ, школьническое приготовленіе къ экзаменамъ и школьническое отвѣчаніе на экзаменахъ, скука на лекціяхъ, скука дома—вотъ и все, что пережито мною въ эти два года, вотъ и все, чѣмъ наградила меня волшебный міръ университета за мою страстную и неосмысленную любовь къ недостижимымъ и невѣдомымъ сокровищамъ мысли. Горько было не то, что пропали даромъ два года; я молодъ и дѣятеленъ; наверстать потерянное время нетрудно. А горько и страшно то, что ошибки потерянныхъ лѣтъ ничему не научили меня и не могли пригодиться на будущее время. По прошествіи двухъ лѣтъ, я не только не сдѣлалъ ни шагу впередъ въ той или другой области знанія, но я даже не зналъ, за что приняться и какъ взяться за дѣло. Дѣтская довѣрчивость моя была уничтожена, но опыта и собственнаго умѣнія руководить своими занятіями не было приобрѣтено. Я увидѣлъ, что проводники ведутъ меня въ трущобу, и ушелъ отъ этихъ проводниковъ, и остался въ лѣсу одинъ, и все-таки не зналъ, куда идти и что дѣлать. Пока я довѣрялъ проводникамъ, положеніе мое было опасно, но я былъ доволенъ и успокоенъ; когда я бросилъ проводниковъ, во мнѣ явилось чувство тревоги и боязни, но положеніе мое не улучшилось, или по крайней мѣрѣ, улучшилось только въ томъ отношеніи, что я оцѣнилъ его неудобства.

Вопросъ о выборѣ спеціальности началъ принимать въ моихъ глазахъ серьезное и угрожающее значеніе; онъ сдѣлался для меня загадкою сфинкса; разрѣшенія этой загадки стала требовать уже не одна любознательность, къ любознательности стало присоединяться чувство

самосохраненія. «Отгадай, или я тебя проглочу», говоритъ сфинксъ. Выбери специальность, говорилъ я себѣ, или клади зубы на полку. До выхода изъ университета остается меньше двухъ лѣтъ, а потомъ что? Жить по прежнему на родительскихъ хлѣбахъ? Да вѣдь надо же и честь знать. Не для этого давали мнѣ образованіе, это образованіе и безъ того уже достается тяжело родительскому бюджету. Идти на службу? Да кого же это такъ прельститъ мой кандидатскій дипломъ? Кто же это мнѣ по первому востребованію отведетъ штатное мѣсто? Да и что я такое? Образованный юристъ, или просвѣщенный администраторъ? Грамотныхъ людей и безъ меня довольно въ числѣ искателей мѣстъ, а кромѣ грамотности во всей моей филологической премудрости нѣтъ ни одной іоты, пригодной для канцелярской дѣятельности. Всякій заштатный писецъ уѣзднаго суда или квартального управленія лучше меня съумѣетъ написать и переписать входящую или исходящую. Я вотъ даже и не знаю, какъ назвать дѣловую бумагу. По ученой части пойти? Въ учителя гимназій? Это конечно хорошо, но только что же я за учитель? Какую науку я возьмусь преподавать? Что я знаю, кромѣ книги Гайма о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ? И что я успѣю изучить втеченіи этихъ двухъ лѣтъ, когда мнѣ въ это время придется еще готовиться къ выпускному экзамену и писать кандидатскую диссертацию? Вопросъ о специальности становился мрачнымъ и грозилъ сдѣлаться неразрѣшимымъ.

Нехорошо вообще, когда обстоятельства принуждаютъ насъ разсматривать одинъ предметъ съ двухъ различныхъ и почти независимыхъ точекъ зрѣнія. Нехорошо, когда является необходимость сдѣлать компромиссъ между требованіями любознательности и пахальными доводами житейскаго расчета. Совсѣмъ плохо, когда наука представляется вамъ въ одно и то же время цѣлью и средствомъ, высокимъ наслажденіемъ и хлѣбнымъ ремесломъ. Тогда ваши отношенія къ наукѣ дѣлаются похожими на отношенія пламеннаго любовника, которому повелительница его сердца платитъ за сердечный пылъ наличными деньгами и готовою квартирой. При такихъ двусмысленныхъ условіяхъ вопросъ о специальности запутывается окончательно, и вопрошающій юноша дѣлается шокимъ ремесленникомъ и негоднымъ ученымъ. У него оказывается мало денегъ и еще менѣе учености. Цѣлая долгая жизнь изнашивается въ бѣдности и неизвѣстности, и что всего обиднѣе, часто въ подобной жизни тратится по мелочамъ такая масса умственного труда и терпѣливаго мужества, такая масса, которой было бы слишкомъ достаточно, чтобы выдвинуть труженика впередъ и сдѣлать его полезнымъ для общества и пріятнымъ для самого себя. И труженикъ ни въ чемъ не виноватъ, потому что наука вообще плохое ремесло, иного она и обогатитъ, но она никогда не будетъ доставлять всѣмъ своимъ обожателямъ средства платить долги въ мелочную лавочку. И такъ поступаетъ не одна

наука; заодно съ нею дѣйствуютъ литература, коронная служба, адвокатура и всѣ другія видоизмѣненія умственного труда. Самый жалкій пролетаріатъ распространенъ между бѣдными чиновниками, между неудавшимися литераторами, между непризнанными дѣятелями науки, и распространенъ между этими людьми гораздо сильнѣе, чѣмъ между сапожниками, булочниками или портными.

Очень понятно. Изъ умственныхъ продуктовъ обществу нуженъ только первый сортъ; поэтому, осыпая деньгами и знаками уваженія отдѣльныя единицы, оно бросаетъ массѣ умственныхъ тружениковъ сухія корки хлѣба, да и то въ ограниченномъ количествѣ. Я не говорю, что оцѣнка общества всегда безошибочна, но это обстоятельство не измѣняетъ вопроса, потому что здѣсь дѣло идетъ не о дѣйствительномъ достоинствѣ умственного труда, а о степени его надежности и прибыльности. Калачъ, пара сапогъ, сюртукъ или пальто всегда нужны и всегда имѣютъ какую-нибудь цѣнность, но нелѣпое изслѣдованіе или романъ, отвергнутый журналистами или книгопродавцами, не имѣютъ никакой цѣнности и вводить ихъ обладателя въ убытокъ, потому что бѣлая бумага, на которой написано произведеніе, дороже исписанной бумаги, идущей на макулатуру. Все это истинно очень старыя и очень простыя, но ихъ не понимаетъ до сихъ поръ та часть нашего общества, которая называется образованною. До сихъ поръ самые разсудительные родители таятся изъ послѣднихъ силъ; чтобы провести своихъ дѣтей черезъ среднія и высшія учебныя заведенія и дать имъ въ руки аттестатъ или дипломъ; до сихъ поръ каждый разсудительный родитель взглянулъ бы на васъ съ гнѣвнымъ удивленіемъ, если бы вы заикнулись ему о томъ, что не худо бы его Мишеньку или Володеньку мастерству какому-нибудь обучить; да вы, какъ человѣкъ благовоспитанный, никогда и не заикнетесь. Даже смѣлые журналисты наши, порывающіеся облобызывать почву, толкующіе о томъ, что не мѣшало бы приписаться куда-нибудь, и ради сближенія и слиянія перенести розги, могущія представиться по мирскому приговору, даже эти милые патріоты не заикаются насчетъ Мишеньки или Володеньки. Имъ также кажется невдомекъ, что больше девяти-десятихъ нашего брата бѣдствуетъ, нищенствуетъ и дармождствуетъ единственно отъ того, что возлагаетъ все упованіе на аттестаты и дипломы, а ко всякому ремеслу подходитъ только тайкомъ и украдкой, урывками и самоучкой, да и то въ случаѣ голодной крайности. Но какъ же Мишеньку и Володеньку отдать въ ученіе къ сапожнику или портному, скажетъ самая разсудительная мать. Вѣдь хозяева морятъ голодомъ своихъ учениковъ. Бьютъ ихъ, чѣмъ попало и порятъ ихъ не на жалость, а на смерть. Точно такъ, ваше высокоблагородіе. Но эти недоразумѣнія между хозяевами и учениками вовсе не составляютъ неизбѣимаго закона природы. Хозяева дѣйствуютъ такъ потому, что имъ

отдаются въ ученіе Мишки и Володьки, которыхъ было принято кормить изъ хозяйственнаго разсчета, а пороть по вдохновенію. До сихъ поръ порять и скверно кормить въ семинаріяхъ и между тѣмъ, — понемногу перестаютъ пороть и скверно кормить въ гимназіяхъ, единственно потому, что гимназіи болѣе на виду у общества и болѣе интересуютъ его.

Если общество будетъ заинтересовано тѣмъ, чтобы мастера обращались человѣчно съ своими учениками, то это исполнится безъ особеннаго труда, и благодѣянія человѣчнаго обращенія будутъ естественнымъ образомъ распространены на забытыхъ и заморенныхъ Мишекъ и Володекъ. Стало быть, только умственная неподвижность мѣшаетъ родителямъ обращать своихъ дѣтей въ мастеровыхъ, и только рутинная ограниченность мысли заставляетъ ихъ навязывать дѣтямъ такую карьеру, которая чрезвычайно похожа на лотерейный билетъ. Выигралъ — ты директоръ департамента, академикъ, или извѣстный писатель; проигралъ — ты вѣчный чернорабочій съ развитыми потребностями, или просто нищій и паразитъ. Но выигрышей во всякой лотерей бываетъ чрезвычайно мало сравнительно съ общимъ числомъ билетовъ, а между тѣмъ охотники до лотерей запоминаютъ только примѣры выигрышей и не обращаютъ никакого вниманія на тысячи печальныхъ уроковъ самого поучительнаго свойства. Всякій хватается за невѣрный умственный трудъ и великодушно оставляетъ ремесленный трудъ младшей братіи. Отъ этого развивается въ обществѣ бѣдность, отъ этого чахнетъ и умственная дѣятельность, которая по самой природѣ своей должна быть свободна даже отъ вліянія матеріальныхъ обстоятельствъ. Сапожникъ можетъ писать очень хорошія поэмы въ часы свободные отъ работы; но если этотъ самый сапожникъ будетъ надѣяться, для прокормленія своей семьи, не на ремесло свое, а на свой поэтический талантъ, то ему естественно придется приневоливать себя къ творчеству, и стихи будутъ выходить посредственные; можетъ правда случиться, что талантъ его очень богатъ и что онъ способенъ творить постоянно, не истощаясь и не слабѣя; но всякій понимаетъ, что такіе таланты рѣдки и что ихъ обладатели, имѣющіе возможность прокармливать себя умственными трудами, принадлежатъ именно къ тѣмъ счастливымъ исключеніямъ, которымъ достался выигрышный лотерейный билетъ. И вотъ изъ за-ѣтихъ-то исключеній наше общество ежедневно жертвуетъ судьбою тысячъ своихъ молодыхъ членовъ, которые могли бы быть хорошими и зажиточными, образованными и дѣятельными ремесленниками, и которые, не смотря на то, дѣлаются бѣдными и бесполезными чиновниками, жалкими литераторами и смѣшными учеными.

XIV.

Въ общихъ чертахъ мнѣ пришлось передумать, во время исканія специальности, всѣ тѣ мысли, которыя изложены въ предыдущей главѣ и которыя читатель, по всей вѣроятности, считаетъ неумѣстнымъ отклоненіемъ отъ главнаго предмета моей статьи. Мнѣ было очень тяжело, и нерѣшительность моя увеличивалась вмѣстѣ съ мучительнымъ сознаніемъ, что время не терпитъ и что рѣшиться на что нибудь надо поскорѣе. Когда вамъ случается особенно торопливо одѣваться, то дѣло рѣдко идетъ удачно; вы спѣшите, и каждая отдѣльная вещь тоже спѣшить, и не дается вамъ въ руки. Я спѣшилъ заняться чѣмъ нибудь, и потому только метался изъ стороны въ сторону, хватался то за одинъ предметъ, то за другой, читалъ много, но во-первыхъ безъ толку, во-вторыхъ, съ глубокимъ отчаяніемъ, съ постоянною мыслию, что это все бесполезно и что ничего изъ этого не выйдетъ. Понятно, съ какою горячею благодарностью я вспоминалъ тогда почтенныхъ руководителей, сбившихъ меня съ толку и отнявшихъ у меня даже довѣріе къ моимъ силамъ. Отъ философіи языка я кинулся къ славянскимъ нарѣчіямъ, потомъ обрушился на русскую исторію, потомъ вдругъ принялся изучать гомеровскую мифологію, потому что мнѣ представилось, что въ головѣ моей возникла гениальная идея, великолѣпно объясняющая греческое понятіе судьбы или рока. Въ такихъ ристаніяхъ по наукамъ филологическаго факультета прошло больше года. Товарищи мои иногда бранили меня за мою нелѣпость, иногда смѣялись надъ моими постоянными тревогами, но мнѣ было не до смѣха, и я самъ готовъ былъ бранить себя самымъ горькимъ и обиднымъ образомъ. Каждый разговоръ съ товарищами приводилъ меня въ уныніе или усиливалъ мою тревогу. Отчего, думалъ я, они всѣ знаютъ, что имъ дѣлать? Одинъ изучаетъ памятники народной поэзіи, да еще началъ съ кельтскихъ пѣсней, и языку кельтскому выучился; другой занимается славянами, и совершенно доволенъ своими занятіями; третій читаетъ серьезныя сочиненія по древней исторіи и тоже не волнуется мятежными страстями. Отчего же я одинъ одержимъ фуріями? Отвѣтъ найти было не трудно, но этотъ отвѣтъ меня не удовлетворялъ. Легко было понять, что всѣ они читаютъ спокойно потому, что каждый изъ нихъ нашелъ себѣ дѣло по вкусу и постепенно втянулся въ понравившееся занятіе. Но тогда возникалъ вопросъ: отчего же это мнѣ ничто не нравится настолько, чтобы я взялся за дѣло и вработался въ него? На этотъ вопросъ слѣдовало отвѣтить такъ: подожди! найдешь и ты занятіе по душѣ, а насильно любить нельзя

ни въ женщину, ни въ науку. Этотъ отвѣтъ приходилъ мнѣ въ голову, но противъ него всегда находилось сильное возраженіе: «ищите и обрящите». Специальность не придетъ ко мнѣ сама. Я рискую цѣлую жизнь просидѣть у моря въ ожиданіи погоды, если я не буду испытывать серьезными работами свои вкусы и способности.

Въ этомъ разсужденіи было много справедливаго, но я примѣнялъ его къ дѣлу чрезвычайно уродливо. Мнѣ слѣдовало бы читать такія книги, которыя могли быть интересны и полезны для всякаго образованнаго человѣка. Историческія сочиненія, особенно по новѣйшей исторіи, политико-экономическія книги, популярныя книги по различнымъ отраслямъ права, сочиненія по естественнымъ наукамъ, наконецъ просто русскіе журналы и газеты — все это несомнѣнно содѣйствовало бы моему развитію, все это дало бы мнѣ много знаній и во всякомъ случаѣ не осталось бы для меня мертвымъ капиталомъ, если бы даже во время этихъ чтеній я не встрѣтился съ тою неизвѣстною красавицей, которой я непремѣнно хотѣлъ отдать мою жизнь и мои умственные силы. Если бы даже судьба погрузила меня въ чтеніе Русскаго Вѣстника, и такимъ образомъ сотворила бы изъ меня обожателя гг. Каткова и де-Молинали, то и за это я могъ бы сказать ей спасибо. Гг. Каткова и де-Молинали я сталъ бы обожать за идеи, крайне рутинныя, но все же новыя для меня, какъ Телицына я обожалъ за красивыя слова, годныя только на то, чтобы вызывать рукоплесканія неопытныхъ студентовъ. Прогрессъ былъ бы очевидный. Кромѣ того, увлеченіе Русскимъ Вѣстникомъ не могло быть продолжительно, потому что молодой умъ воспріимчивъ къ проявленіямъ свѣжей мысли, и потому что такія проявленія могли встрѣтиться мнѣ въ той же русской журналистикѣ, въ которой встрѣтились бы узкія и ложныя мудрованія. Словомъ, мнѣ непремѣнно надо было взглянуть за двери университета, увидать дѣйствительную жизнь, хотя бы въ журнальныхъ книжкахъ и въ столбцахъ газетъ.

Я могу сказать безъ преувеличенія, что если бы я употребилъ первые два года моего студенчества на постоянное чтеніе Московскихъ или Петербургскихъ Вѣдомостей, газетъ вовсе незамѣчательныхъ по своему литературному или политическому достоинству, то все-таки это чтеніе принесло бы моему развитію гораздо больше пользы, чѣмъ мои занятія профессорскими лекціями, Вильгельмомъ Гумбольдтомъ и переводомъ Страбона. Но ухлопавъ два года, я продолжалъ ухлопывать до конца все время моего студенчества. Я видѣлъ, что ошибся въ выборѣ занятій, но не понималъ того, что мнѣ слѣдуетъ радикально переимѣнить методъ и принципъ занятій, слѣдуетъ выйти на свѣжій воздухъ изъ душныхъ монастырскихъ стѣнъ университетской науки. Я не бралъ въ руки ни одной книги, не спросивши себя предварительно: а нужно ли мнѣ это читать для моей специальности? А не есть ли это потеря времени? Я,

напримѣръ, не зналъ Джоржъ Занда и не взялъ бы въ руки ни одного ея романа изъ опасенія потерять даромъ время, пригодное для чтенія Кракедворской рукописи или мухамеданской нумизматики Савельева. Я позволялъ себѣ прочесть Шекспира, Шиллера или Гете только потому, что эти имена упоминаются во всякой исторіи литературы; но и къ нимъ я снисходилъ очень рѣдко, потому что время дорого, и путь ко спасенію узокъ и прискорбенъ. Принимаясь за спеціальность, я всегда врѣзывался прямо въ самую сушь, въ такую сушь и глушь, которая могла имѣть смыслъ и интересъ только для человѣка, уже давно работающаго въ этой области наукъ. Кромѣ того, я обладалъ особеннымъ искусствомъ браться именно за тѣ науки, къ которымъ нѣтъ легкаго и постепеннаго доступа. Въ славянскихъ нарѣчіяхъ мнѣ приходилось начинать съ польской и чешской азбуки. Въ русской исторіи надо было преодолювать книгу Соловьева, изслѣдованія Ногодина, работы Круга, Байера, Лерберга. Можетъ быть, этого и не надо было; можетъ быть споръ о варягахъ могъ остаться для меня въ сторонѣ,—но я думалъ, что необходимо начинать сначала, и не смотря на всѣ усилія, никакъ не могъ заинтересовать себя ни чешскою азбукою, ни изслѣдованіями о Русской Правдѣ. Мнѣ приходило иногда въ голову, что я, можетъ быть, вовсе не созданъ быть ученымъ; но такая еретическая мысль наполняла меня ужасомъ и негодованіемъ. На что же я послѣ этого годенъ, и что же я изъ себя сдѣлаю? Товарищи мои также смотрѣли съ удивленіемъ на слишкомъ радикальныя сомнѣнія мои въ отношеніи къ ученой карьерѣ, они говорили даже, что это блажь и лѣнь, и я этому вѣрилъ, хотя заподозрить меня въ лѣности было мудро, и во всякомъ случаѣ несправедливо. Но студенты и профессора филологическаго факультета были уже такъ устроены отъ природы, что на поползновеніе уклониться отъ ученой дѣятельности они смотрѣли, какъ на ренегатство, какъ на умственное и нравственное паденіе. Это не помѣшало почти всѣмъ моимъ товарищамъ поступить на службу въ разные департаменты, но они до сихъ поръ утѣшаютъ себя мыслию, что они будутъ держать экзаменъ на магистра и потомъ двигать науку впередъ.

Вліяніе профессоровъ и студентовъ, вліяніе спертой университетской и особенно факультетской атмосферы постоянно толкало меня обратно къ чешской азбуцѣ и къ Русской Правдѣ; и я опять боролся, и опять изнемогалъ, и опять приходилъ въ отчаяніе, зачѣмъ я не влюбленъ въ русскія древности и въ славянское корнесловіе. Передъ глазами моими былъ поучительный образчикъ того ученаго аскетизма, къ которому я самъ стремился такъ упорно и такъ напрасно: товарищъ мой М., занимавшійся славянами, не хотѣлъ знать ничего такого, что не касалось бы славянскаго міра. Въ этомъ нежеланіи была какая-то холодная и постоянная энергія; для него дѣйствительно существовать особенный

славянский миръ, и все что выходило изъ предѣловъ этого мира, составляло для моего товарища тьму кромешную и игнорировалось имъ съ самодовольствомъ и съ гордостью зачатого специалиста. По внутреннему гимназическаго учителя русской словесности, онъ началъ заниматься славянами еще въ гимназiи, втянулся въ изученiе мельчайшихъ фактовъ, и потомъ продолжалъ тѣ же занятiя въ университетѣ, обращая на остальные науки столько вниманiя, сколько было совершенно необходимо для того, чтобы кое-какъ выдерживать переходные экзамены. Объ общемъ образованiи его судить было невозможно, потому что онъ никогда не говорилъ ни о чемъ не-славянскомъ; когда при немъ студенты вели между собою общiй научный разговоръ или философскiй споръ (что составляетъ неизбѣжную принадлежность студенческаго быта), тогда М. молчалъ или приводилъ частный примѣръ изъ славянской исторiи или мифологiи, изъ славянскаго языка или права, если споръ допускалъ подобныя вставки. Онъ вообще былъ холоденъ и сухъ; провести съ нимъ полчаса съ глазу на глазъ было тяжело и утомительно, хотя онъ всегда встрѣчалъ товарища радушно. Чтобы объяснить себѣ самому и другимъ исключительность своихъ занятiй, онъ любилъ драпироваться въ мантiю всеславянскаго патриотизма; на тетрадяхъ его красовался эпитафiя, «*Slavus sum et nihil slavici a me alienum esse puto*» (Я Славянинъ, и ничто славянское не считаю для себя чужимъ), — жалкая и смѣшная пародiя на прекрасныя слова: «*Homō sum, e: nihil humani...*» (Я человѣкъ, и ничто человѣческое и т. д.) Онъ съ пафосомъ говорилъ о величii славянскаго имени, но этотъ пафосъ никого не увлекалъ, потому что самый неопытный слушатель славянствующаго витiи могъ чувствовать и дѣйствительно чувствовалъ, что восторгъ этотъ подогрѣтъ и что воодушевленiе это искусственно. Я не понималъ славянскихъ чувствъ моего товарища, да и всѣ наши филологи вмѣстѣ со мною сомнѣвались въ ихъ искренности и даже отрицали ихъ существованiе, — а между тѣмъ мы всѣ глубоко уважали М., какъ чрезвычайно дѣльного специалиста. Въ каждомъ изъ насъ было гораздо больше жизни, чѣмъ въ нашемъ славянинѣ; каждый изъ насъ былъ умнѣе и даровитѣе его, а между тѣмъ мы не задумывались ставить его выше насъ всѣхъ, потому что онъ былъ отрѣшеннымъ отъ грѣховнаго мира специалистомъ. И я напрягалъ всѣ свои силы, чтобы дойти до того умственного кастратства, въ которомъ блаженствовалъ мой замѣчательный товарищъ.

XV.

Умственные страданiя мои увеличивались каждый разъ, когда я видѣлся и разговаривалъ съ профессоромъ Сварожичемъ, занимавшимъ

въ нашемъ университетѣ кафедру славянскихъ нарѣчій. Его слова были каплями уксуса, падавшими на мои свѣжія раны; между тѣмъ, слова эти вовсе не были порицательнаго свойства, да и все обращеніе Сварожича со мною было чрезвычайно деликатно, ласково и даже задушевно. Сварожичу было около пятидесяти лѣтъ; онъ былъ академикомъ, членомъ многихъ обществъ и пользовался очень громкою извѣстностью въ ученомъ мірѣ. Не подлежитъ сомнѣнію то обстоятельство, что онъ былъ умѣе всѣхъ профессоровъ нашего факультета. Но умъ этотъ, острый и проникательный, сухой и трезвый, былъ преимущественно разлагающаго свойства; онъ могъ преслѣдовать ошибочную гипотезу въ ея послѣднія убѣжища, онъ могъ разбивать красивую мечту безъ всякаго состраданія къ ея красотѣ, онъ разрушалъ всякую теорію, показывалъ несостоятельность всякаго рискованнаго предположенія, — и затѣмъ, окончивъ дѣло истребленія, воздерживался отъ всякой попытки собственнаго творчества. Я увѣренъ, что если бы Сварожичъ былъ химикомъ или анатомомъ, то имя его было бы гораздо извѣстнѣе, и услуги, оказанныя имъ знанію, были бы тогда дѣйствительно значительны и плодотворны. Но жизнь и умственная дѣятельность народа не могутъ быть вызваны изъ прошедшаго одною критическою силою ума. Чтобы понимать человѣка, надо умѣть поставить себя въ его положеніе, надо перечувствовать его горе и радость. Историкъ нуждается, правда, въ трезвой критикѣ, чтобы очистить факты отъ выдумокъ и случайныхъ искаженій, но настолько же, или можетъ быть, еще болѣе нуждается онъ въ силѣ воображенія и чувства. Эти послѣднія свойства часто вводятъ историка въ ошибки, и историческая картина оказывается невѣрною; но если бы не было этихъ свойствъ, тогда картины не было бы вовсе, тогда не существовала бы исторія. Историкъ, подобный Сварожичу, не ошибается никогда, потому что никогда не бываетъ историкомъ. Его критика взвѣшиваетъ каждый фактъ отдѣльно, отбрасываетъ все, что неправдоподобно, подмѣчаетъ каждое внутреннее противорѣчіе и пользуется имъ съ замѣчательнымъ остроуміемъ. Потомъ, когда весь механизмъ прошедшей жизни развинченъ и разобранъ, когда всѣ колеса, винты и гайки пересмотрѣны и вычищены, тогда вся эта груда очищенныхъ частей остается въ видѣ груды, и работникъ принимается за разборку другой машины. То, что дѣлается въ области исторіи, повторяется также въ области филологіи; языкъ также развинчивается на звуки и части рѣчи, а жизнь и духъ языка, его особенности и красоты, въ которыхъ выразились свойства народа, остаются нетронутыми и непонятыми.

Такимъ образомъ, посвящая себя историко-филологической дѣятельности, сильный критическій умъ добровольно обрекаетъ себя на ту черную работу, которая называется въ ученомъ мірѣ заготовленіемъ матеріаловъ. Черная работа полезна, но если мы возьмемъ въ расчетъ, что

чернорабочій филологъ могъ бы быть первокласснымъ химикомъ или анатомомъ, то мы невольно пожалѣемъ объ его участи и замѣтимъ про себя, что большое дарованіе тратится на малыя дѣла. Машинисту не слѣдуетъ быть землекопомъ, талантливому журналисту не слѣдуетъ быть приходскимъ учителемъ, и точно также Сварожичу не слѣдовало быть заготовителемъ матеріаловъ, когда онъ самъ могъ бы быть замѣчательнымъ дѣятелемъ въ такой наукѣ, которая требуетъ только силы и трезвости критическаго взгляда. Я увѣренъ, что самъ Сварожичъ, какъ человѣкъ умный, понималъ неестественность своего положенія, но по всей вѣроятности, онъ началъ понимать ее уже тогда, когда дорога была выбрана, когда первые и самые трудные шаги были пройдены, и когда слѣдовательно поворотить назадъ и пойти по другой дорогѣ было уже неудобно и тяжело. Онъ конечно никогда не говорилъ о томъ, что ему не нравится предметъ его занятій, онъ постоянно работалъ настолько, насколько это было необходимо для поддержанія составленной репутаціи, онъ даже увлекался иногда критическимъ процессомъ мысли, онъ ради приличія показывалъ сочувствіе къ судьбѣ и къ поэзіи славянскаго племени, — но всякій, мало-мальски внимательный наблюдатель могъ легко замѣтить, что Сварожичъ глубоко равнодушенъ къ своей наукѣ и даже невольно относится къ ней съ легкимъ отрывкомъ скептическаго презрѣнія.

Понятно, что такія отношенія человѣка къ предмету его постоянныхъ занятій должны быть мучительны; понятно также, что человѣкъ старается избавиться отъ этого мучительнаго ощущенія и достигаетъ своей цѣли; но умственное спокойствіе покупается цѣною нравственнаго достоинства. Сначала человѣкъ говоритъ себѣ: «я приношу мало пользы на этомъ поприщѣ; я здѣсь не на своемъ мѣстѣ», — и ему тяжело отъ этого сознанія; но потомъ онъ привыкаетъ къ своему ложному положенію и начинаетъ говорить себѣ: «а что за бѣда? Вѣдь люди глупы; имъ кажется, что я приношу много пользы. Меня уважаютъ. Чѣмъ же я не на своемъ мѣстѣ? Вонъ я сколько жалованья получаю!»

Такая исторія происходитъ со всѣми ретивыми молодыми чиновниками, которые начинаютъ замѣчать, что ретивость ихъ должна укоротить поводья, и которые между тѣмъ не имѣютъ духу покинуть благословенныя Палестины. Такая исторія произошла нѣкогда съ Сварожичемъ. Какъ умный человѣкъ, онъ очень радикально излечился отъ всякихъ тяжелыхъ сознаній, и, безъ малѣйшей любви къ своему дѣлу, продолжалъ профессорствовать, работать въ академіи и засѣдать во всевозможныхъ ученыхъ обществахъ. Умственный трудъ, исканіе истины сдѣлались для него службой, средствомъ получать большое жалованье, дороговъ къ чинамъ и знакамъ отличія. И дѣйствительно, служба его шла блистательно. Имя его было извѣстно даже заграничнымъ славянскимъ ученымъ, считавшимъ его въ невинности души ревностнымъ апо-

столомъ славянской науки въ единственной самостоятельной славянской державѣ.

Странное дѣло! Начиная писать эту главу о Сварожичѣ, я хотѣлъ отнести къ нему почти съ сочувствіемъ, но чѣмъ пристальнѣе я всматриваюсь въ эту замѣчательную личность, тѣмъ ниже падаетъ она въ моихъ глазахъ, и я начинаю чувствовать противъ нея такое негодованіе, какого не могли возбудить во мнѣ ни Креозотовъ, ни Телицынъ, ни даже Ироніанскій. Тутъ нѣтъ, впрочемъ, ничего необъяснимаго. И Креозотовъ, и Телицынъ, и Ироніанскій смѣшныя лиллипуты въ сравненіи съ Сварожичемъ. Глядя на нихъ, мы только смѣемся, пожимаемъ плечами и жалѣемъ о той молодежи, которая, по милости этихъ господъ, принуждена ежедневно терять по нѣскольکو драгоценныхъ часовъ. Но разсматривая умственную деморализацію Сварожича, мы страдаемъ за него самого, страдаемъ за достоинство человѣка, потому что здѣсь мы видимъ паденіе замѣчательнаго ума, оставшагося замѣчательнымъ даже въ своемъ униженіи. Паденіе Сварожича состояло въ томъ, что онъ былъ работою занимаемаго имъ мѣста, въ родѣ того, какъ итальянскій министръ Урбанъ Ратацци былъ въ 1862 году работою своего министерскаго портфеля. Если бы, для сохраненія мѣста, Сварожичу пришлось сжать въ комоеъ свое человѣческое достоинство, то онъ исполнилъ бы эту эволюцію безъ малѣйшаго тяжелаго чувства, съ ѣдкою улыбною на губахъ, потому что къ человѣческому достоинству онъ относился такъ же скептически, какъ къ своимъ умственнымъ занятіямъ. Вліяніе сильнаго ума во всякомъ случаѣ такъ велико, что вы, присутствуя при операціяхъ Сварожича надъ его человѣческимъ достоинствомъ, ни на одну минуту не почувствовали бы въ себѣ силы презирать его; вы могли бы только чувствовать сильнѣйшій гнѣвъ, вы могли бы задыхаться отъ негодованія, — но вы въ то же время понимали бы, что Сварожичъ самъ, въ минуту своего униженія, смѣется и надъ собою, и надъ тѣми личностями, передъ которыми онъ преклоняется, и надъ тѣми обстоятельствами, которыя гнутъ его въ дугу.

Конечно, такой характеръ могъ развиваться только при извѣстныхъ внѣшнихъ условіяхъ; но мнѣ кажется, что его задатки заключались именно въ неестественныхъ отношеніяхъ Сварожича къ предмету его умственной дѣятельности. Замѣчательные умы, направленные къ такому труду, который поглощаетъ всѣ ихъ силы и удовлетворяетъ всѣмъ ихъ потребностямъ, находятъ именно въ этомъ трудѣ неизбежную точку опоры для своей нравственной самостоятельности. Они влюбляются въ свои идеи, и эти идеи, становясь для нихъ дороже выгодъ и удобствъ жизни, дѣлають ихъ свободными и великими, непоколебимыми и мужественными. Вспомните старика Галилея, подумайте, почему онъ передъ папскимъ инквизиціоннымъ судомъ не побоялся произнести знаменитыя слова:

«а она все-таки вертится»?—подумайте объ этомъ, и вы увидите, какой могучій и незамѣнимый талисманъ составляютъ для мыслящаго человѣка любимыя занятія его мысли. Если у васъ есть такія любимыя занятія, то на нихъ сосредоточится вашъ умъ; и чѣмъ сильнѣе вашъ умъ, тѣмъ сильнѣе будетъ ваша привязанность къ любимымъ занятіямъ, тѣмъ свободнѣе и самостоятельнѣе вы будете держать себя въ отношеніи къ постороннимъ предметамъ. Но если у васъ нѣтъ любимыхъ занятій, то умъ вашъ естественнымъ образомъ направится на обсуживаніе практическихъ житейскихъ обстоятельствъ, и при этомъ обсуживаніи вы также естественно будете брать за мѣрку практическія потребности и удобства вашей особы; чѣмъ сильнѣе вашъ умъ, чѣмъ онъ свободнѣе отъ предразсудковъ, тѣмъ полнѣе и послѣдовательнѣе онъ разовьетъ и приложить къ отдѣльнымъ случаямъ жизни ходячую мораль: съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не судись. Та же самая сила ума, которая въ первомъ случаѣ дѣлала васъ свободнымъ и великимъ, сдѣлаетъ васъ во второмъ случаѣ маленькимъ рабомъ обстоятельствъ; или вѣрнѣе, въ первомъ случаѣ великимъ человекомъ, а во второмъ великимъ подлымъ. Вотъ почему и говорятъ, что любовь и наука облагораживаютъ человѣка. Облагораживаютъ не знанія, а любовь и стремленіе къ истинѣ, пробуждающіяся въ человѣкѣ тогда, когда онъ начинаетъ приобрѣтати знанія. Въ комъ не пробудились эти чувства, того не облагораживаютъ ни университетъ, ни обширныя свѣдѣнія, ни дипломы. Понятно также, что мѣсто любимой научной дѣятельности можетъ съ совершеннымъ успѣхомъ занять любимая литературная дѣятельность, или любимый политическій принципъ.

Сильно развитая любовь ведетъ къ фанатизму, а сильный фанатизмъ есть безуміе, мономанія, *idée fixe*; но съ другой стороны, отсутствіе любви приводитъ къ скептицизму, а скептицизмъ, проведенный въ жизнь съ неумолимою логическою послѣдовательностію, называется систематическою подлостію. И вотъ, между бездною безумія съ одной стороны, и бездною подлости съ другой стороны долженъ пробираться порядочный человѣкъ, балансируя на узкой тропинкѣ, которая часто становится до такой степени узкою, что приходится только выбирать, куда свалиться: упадешь въ безуміе—всѣ пожалѣють, упадешь въ подлость—пожалѣють немногіе, потому что большинство скажетъ: «молодецъ»! Въ первомъ случаѣ немногіе пожалѣють съ отгѣнкомъ уваженія, многіе съ чистымъ состраданіемъ, а большинство съ примѣсью презрительной насмѣшки; во второмъ же случаѣ, тѣ немногіе, которые не скажутъ «молодецъ», будутъ жалѣть съ горькимъ негодованіемъ, или съ ледянымъ презрѣніемъ, но вѣдь ихъ будетъ такъ немного!.. Остается, стало быть, затрудненіе выбора. Для Сварожича затрудненія тутъ не было; онъ не любилъ падать безъ надобности и всегда до послѣдней возможности

балансируя на узкой тропинке, но когда приходилось круто, всегда надалеко молодцом и проворно выскакивал опять на узкую тропинку. Эти падения и выскакивания производились так легко и грациозно, что они никому не бросались резко въ глаза и никому не западали глубоко въ память. Поэтому личность Сварожича назвалась и мнѣ, и другимъ личностью умнаго человека, дипломата, университетскаго Талейрана. Поэтому я приступалъ къ ея анализу сначала съ тѣмъ невольнымъ уваженіемъ, которое всегда внушаетъ къ себѣ человѣческій умъ, съ тѣмъ уваженіемъ, съ которымъ историкъ XIX столѣтія сталъ бы вглядываться въ фязіономію Талейрана. Только рѣшившись анализировать и называть вещи настоящими именами, я могъ предѣти къ тѣмъ мелестнымъ для Сварожича результатамъ, къ которымъ привело меня естественное и непредназначенное развитіе мысли. Къ подобнымъ результатамъ приходятъ, конечно, и біографы знаменитыхъ дипломатовъ вообще, и Талейрана въ особенности.

Анализъ личности Сварожича объясняетъ до нѣкоторой степени, почему слова этого профессора всегда усиливали мои умственные страданія. Умному скептику было смѣшно видѣть мои добросовѣстныя и напрасныя усилія влюбиться въ науку, а даровитому и опытному критику стоило только сказать нѣсколько словъ, чтобы разбить въ прахъ методы моихъ занятій. Какъ я не приступалъ въ дѣлу, какъ я измучался, Сварожичъ, на судъ котораго я приносилъ свои попытки и планы, сію же минуту находилъ ихъ слабую сторону и доказывалъ мнѣ съ самою ловкою улыбкою, что ничего изъ моихъ плановъ и занятій не выйдетъ. И я принужденъ былъ соглашаться, потому что противъ очевидности не спорять. А обращался я къ Сварожичу по тому же самому побужденію, по которому химикъ испытываетъ золото самыми сильными кислотами. Если Сварожичъ не найдетъ противъ этого плана возраженія, значить дѣйствительно хорошо. Но возраженіе всегда находилось, и я всегда удалялся отъ Сварожича съ цѣлымъ ворохомъ разбитыхъ иллюзій и перепутанныхъ намѣреній. Въ томъ, что онъ разбивалъ мои планы, не было, конечно, ничего дурнаго; я дѣйствительно затѣвалъ глупости и вертѣлся въ закодкованномъ кругу. Но нехорошо было то, что Сварожичъ дипломатизировалъ даже со мною, говоря о моихъ занятіяхъ и тревогахъ. Онъ указывалъ мнѣ только частныя мои ошибки, и ни разу не проронилъ ни одного слова насчетъ общихъ свойствъ университетской науки и студенческихъ занятій. Когда я въ совершенномъ отчаяніи спрашивалъ у него: да что же дѣлать? чѣмъ заниматься? тогда онъ съ необыкновеннымъ искусствомъ успокаивалъ меня на минуту нѣсколькими общими словами и такимъ образомъ уклонялся самъ отъ всякаго категорическаго отвѣта. Ему, какъ филологу и профессору, было неудобно разоблачать передъ студентомъ общую несостоятельность нашей науки;

и въ то же время ему, какъ умному человѣку, было совѣстно и противно повторить тѣ фразы, которыя изливалъ Теляцынъ, — вотъ онъ и лавировалъ, говоря съ солиднымъ уваженіемъ о какой-то отвлеченной наукѣ вообще, и въ то же время осмѣивая тонко и умно ошибки ученыхъ, учащихся и учащихъ въ частности. Сказать мнѣ просто и откровенно: бросьте нашъ хламъ, познакомьтесь съ жизнью, расширьте кругъ вашего чтенія и вашей мысли — этого ему не хотѣлось. Весь хламъ въ совокупности назывался у него великою и священною наукою, но каждый отдѣльный кусочекъ этого хлама разсматривался и оцѣнивался имъ по достоинству, и оказывался пылью и гнилью, на которой нельзя построить ни одного твердаго вывода.

Каковъ былъ Оварожичъ въ разговорахъ, таковъ онъ былъ на лекціяхъ. Относился съ глубокою недовѣрчивостію къ трудамъ всѣхъ ученыхъ, разработывавшихъ его науку, онъ не читалъ на лекціяхъ ничего чужого. Всѣ его лекціи состояли изъ сырыхъ матеріаловъ и изъ замѣчаній, составленныхъ имъ самимъ. На каждой лекціи онъ разсматривалъ представлявшіеся вопросы съ разныхъ сторонъ, приводилъ множество доводовъ *за* и *противъ*, напрягалъ ожиданія слушателей и потому не останавливался ни на чемъ. «Можетъ быть такъ, можетъ быть и не такъ» — вотъ и все, что выносили слушатели; каждая лекція оканчивалась знакомъ вопросительнымъ, и доказывала такимъ образомъ, что Сварожича забавляетъ иногда процессъ мышленія, но что предметъ, о которомъ онъ размышляетъ, всегда остается для него безразличнымъ. Говорить о судьбѣ цѣлаго народа, или разбирать различныя мнѣнія археологовъ о какой нибудь черниговской гривнѣ — для него это было все равно; было даже замѣтно предпочтеніе къ черниговскимъ гривнамъ, потому что микроскопическій вопросъ можетъ быть удобнѣе и безопаснѣе анализированъ съ разныхъ сторонъ. А поведетъ ли этотъ вопросъ къ чему нибудь? — объ этомъ собиратель матеріаловъ не спрашиваетъ, да и спрашивать не зачѣмъ. Вопросъ потѣнилъ его мысль, далъ ему возможность прочесть лекцію, доставилъ ему случай написать академическій мемуаръ; очевидно, стало быть, что вопросъ поведетъ къ очень многому...

XVI.

Въ началѣ зимы 1858 года мнѣ удалось найти себѣ работу въ одномъ журналѣ для дѣвицъ, начинавшемъ свое существованіе съ января 1859 года. Это обстоятельство конечно не относится въ университет-

ской науке, но я упоминаю о немъ для того, чтобы нагляднымъ противоположеніемъ показать читателю различіе между самой нехитрой практической работой и самыми замысловатыми кабинетными занятіями. Мнѣ было поручено вести въ этомъ журналѣ библиографическій отдѣлъ, т. е. указывать юнымъ читательницамъ на тѣ книги и журнальныя статьи, которыя могутъ обогатить ихъ умъ, невреда чистотѣ и непорочности ихъ сердца. Направленіе журнала было сладкое, но приличное, и отъ издѣлій г-жи Ишимовой онъ отличался значительно. Мы даже за эмансипацію женщины стояли, стараясь конечно, не огорчать такими сужденіями почтенныхъ родителей. Добродѣтель мы любили особенно горячо, и объ ней говорили уже совершенно смѣло, потому что добродѣтель — предметъ одинаково пріятный для дѣтей и родителей.

Сначала я взглянулъ на свою новую работу преимущественно съ денежной точки зрѣнія; мои библиографическія статейки оплачивались по 30 р. с. за печатный листъ, и доставляли мнѣ ежемѣсячно отъ 60 до 70 р. с. Для студента, бѣгавшаго въ публичную бібліотеку, чтобы не издержать пяти рублей на книгу, это была цѣлая Калифорнія. Я и ухватился за эту работу обѣими руками, и старался выполнять ее какъ можно тщательнѣй и аккуратнѣй, чтобы удержать и обезпечить ее за собою. Редакторъ мой, конечно, замѣтилъ это, остался очень доволенъ моими стараніями, и, мѣсяца черезъ два послѣ начала нашего знакомства, мы уже были увѣрены, что не разстанемся безъ особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны другъ другу. Нечувствительно забралась ко мнѣ въ голову мысль, что эта работа можетъ поддерживать меня и послѣ выхода изъ университета. Стало быть, думаю я, если даже я не отыщу себѣ прочной специальности, бѣда не такъ велика: жить можно. Чѣмъ яснѣй вырисовывалась для меня эта утѣшительная перспектива, тѣмъ сильнѣй я дорожилъ моею журнальной работой. Редакторъ поговаривалъ даже о томъ, что, когда я выйду изъ университета, онъ попроситъ меня быть его помощникомъ по редакціи. При мысли о такомъ повышеніи и благополучіи, я чувствовалъ даже головокруженіе, и отвѣчалъ, опуская глаза, что я всегда готовъ служить нашему общему дѣлу. Между тѣмъ работа начинала дѣйствовать на меня не съ одной денежной стороны: я привязывался къ ней искренно и сильно. Я писалъ свои жиденскія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіею Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собою близкую и вполне доступную цѣль этого всматриванія и вдумыванія. Мнѣ пріятно было развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполне понималъ, что я пишу, я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался

объяснить или доказать. Я не производилъ ничего новаго и оригинальнаго, но для меня это было и ново, и оригинально. Я не выписывалъ изъ книжки, я не повторялъ чужихъ словъ, — я дѣйствительно самъ размышлялъ и, доходя путемъ собственнаго размышленія до общезвѣстныхъ истинъ, я все-таки успѣвалъ сообщить этимъ истинамъ ту печать искреннаго и живого убѣжденія, которая несомнѣнно свидѣтельствуешь о томъ, что мысль дѣйствительно возникла въ собственномъ мозгу писавшаго. Поэтому, работа моя была для меня привлекательна; я увѣренъ, кромѣ того, что статьи мои, даже въ глазахъ постороннихъ читателей, не имѣли того утомительно-казеннаго характера, который имѣеть обыкновенно повтореніе идей, обратившихся уже въ общее достояніе всѣхъ образованныхъ людей. Свѣжесть и искренность убѣжденія выкупали недостатокъ новизны; читатель могъ и долженъ былъ улыбаться наивному увлеченію автора, но эта самая улыбка, полунасмѣшливая, полублагосклонная, навѣрное мѣшала читателю зѣвнуть и, можетъ быть, побуждала его дочитать до конца. Впрочемъ, что бы ни дѣлалъ читатель—зѣвалъ или улыбался,—для меня это было все равно; я былъ доволенъ и счастливъ; умственная дѣятельность моя пробуждалась, и я умилялся надъ самимъ собою, какъ умиляется молодая мать надъ колыбелью своего новорожденнаго ребенка. Занятія славянскими и русскими древностями вѣжливо отходили въ сторону, хотя я все еще признавалъ ихъ занятіями главными и существенными. Мнѣ казалось, что я работаю такъ ревностно для журнала ради корысти, изъ практическаго расчета, чтобы удовлетворить заказчика; но на самомъ дѣлѣ уже всѣ симпатіи были на сторонѣ журнальнаго труда, а филологической учености бросалось изрѣдка копѣечное подаваніе, служившее только для успокоенія моей встревоженной совѣсти. Въ журнальной работѣ сосредоточились и существенные мои интересы и источники умственнаго наслажденія, а ученые занятія остались только священнымъ долгомъ; я вѣровалъ, что надо исполнить этотъ долгъ, но не видалъ, почему надо, и не находилъ эту необходимость пріятной. Ясно, что догматъ, неподдерживаемый ни разсудкомъ, ни чувствомъ, былъ просто мертвымъ остаткомъ прошедшаго, которому предстояло рухнуть и разсыпаться въ прахъ.

Для составленія моихъ библіографическихъ обзоровъ мнѣ приходилось читать много разнообразныхъ книгъ и статей, и мнѣ нравилось не только размышленіе и писаніе, но и пестрое чтеніе, само по себѣ. Вся эта масса книгъ и статей составляла самый разнообразный сбродъ, но во всемъ этомъ сбродѣ чувствовалось то обаятельное влѣяніе жизни, безъ котораго не можетъ существовать самый мрачный изъ современныхъ журналовъ. Мнѣ пришлось прочитать много историческихъ статей Маколее, Пресвотта и Мотлея, много педагогическихъ разсужденій, нѣ-

сколько путешествій (напр. «Фрегатъ Паллада» Гончарова, по Америкѣ—Лавіера, по Африкѣ—Ливингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр. «химія вседневной жизни» Джонстона, «исторія земной коры» Куторги, «физическая географія» Гюйо, «громъ и молнія» Араго). Наконецъ въ 1859 году мнѣ пришлось говорить довольно подробно въ нашемъ журналѣ объ «Обломовѣ» и о «Дворянскомъ гнѣздѣ». Словомъ, библиографія моя насильно вытащила меня изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ, и этотъ переходъ доставилъ мнѣ грѣховное удовольствіе, котораго я не могъ скрыть ни отъ самого себя, ни отъ другихъ. Товарищи мои стали внушительно качать головами и предостерегать меня, говоря, что, конечно, журнальной работой заниматься позволительно, для приобрѣтенія матеріальныхъ средствъ, но что увлекаться ею не слѣдуетъ, потому что она отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и въ пагубный дилетантизмъ. Мнѣ указывали съ соболевнованіемъ на поучительный примѣръ Добролюбова, который, видите ли, могъ бы быть дѣльнымъ ученымъ, а вмѣсто того, сдѣлался пустымъ журналистомъ и увлекся суетою «Современника». Я съ своей стороны старался увѣрить всѣхъ въ моей невинности, отрицаясь отъ примѣра Добролюбова и говорилъ, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остатокъ прошедшаго, мертвый догматъ все еще висѣлъ надъ моей головой, и я употреблялъ послѣднія усилія, чтобы поддержать мою угасающую вѣру въ величіе и свѣтлость филологіи.

Но читатель мнѣ не вѣритъ, читатель навѣрное думаетъ, что я клеветчу. «Возможное ли дѣло, говоритъ онъ себѣ, чтобы студенты въ 1858 году смотрѣли на Добролюбова, какъ на человѣка, идущаго по ложной дорогѣ? Можетъ ли быть, чтобы они указывали на него, какъ на поучительный примѣръ, долженствующій привести молодого человѣка въ ужасъ и раскаяніе!..

О, читатель, читатель! развѣ я не вижу, до какой степени мое показаніе неправдоподобно? И развѣ я осмѣлился бы высказать такую несообразность, если бы это не была чистая истина? Но увѣренія и клятвы мои не уясняютъ дѣла, а фактъ самъ по себѣ такъ любопытенъ, что я не могу избавить себя отъ обязанности остановиться на немъ и рассмотреть его, по возможности, внимательно. Надо, во-первыхъ, замѣтить, что молодежь наша очень сильно измѣнилась въ послѣдніе три—четыре года. Уже въ 1858 и 1859 годахъ студенты, поступившіе въ университетъ, не были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университетъ, мы были робки, склонны къ благоговѣнію, расположены смотрѣть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на нишу духовную и какъ на маину небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смѣлы и развязны, и оперались чрезвычайно быстро, такъ что черезъ

какіе нибудь два мѣсяца послѣ поступленія, они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, они приглашали профессоровъ читать публичные лекціи для той же благотворительной цѣли, они устроили студенческую бібліотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цѣлѣмъ университета и солю русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ недовѣріе и провію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы, и только». Но скоро оказалось, что провія наша нигуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и уснѣшно; оказалось, что движеніе и жизнь пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ. Конечно, отсталость наша была дѣло поправимое, но чтобы поправить ее, надо было сначала признать существованіе новой жизни, надо было понять, что новые студенты непохожи на бывшихъ обожателей Телицына; надо намъ было выйти изъ нашей гордой замкнутости и пойти вслѣдъ за другими. Но всѣмъ извѣстна заносчивость молодости и гордость ученой касты. Большая часть моихъ товарищей были увѣрены въ абсолютной непогрѣшимости своего умственного направленія, и большая часть изъ нихъ по образу мыслей уже принадлежала къ ученой кастѣ, хотя объемъ ихъ свѣдѣній былъ еще очень ограниченъ. Этимъ молодымъ ученымъ, ушедшимъ уже въ книги отъ грѣховнаго міра, казалась странною самая мысль учиться чему нибудь у своихъ младшихъ товарищей; да и приходила ли имъ въ голову мысль, что эти товарищи обогнали ихъ?

Если новые студенты могли быть названы людьми дѣла, то мы, старые студенты, съ гордымъ самодовольствіемъ называли себя людьми мысли, хотя, конечно, мы не имѣли никакихъ правъ на это названіе. Новые студенты могли считать Добролюбова своимъ учителемъ, но мы относились къ Добролюбову, и къ «Современнику» вообще съ высокомеріемъ, свойственнымъ нашей кастѣ. Мы ихъ и не читали, и гордились этимъ, говоря, что и читать не стоитъ. Но съ каждымъ годомъ ряды ученой партіи рѣдѣли, отчасти потому, что ученые кончали курсъ и поступали на службу въ разные департаменты, гдѣ они очень быстро затухали подъ общій тонъ чиновничества, отчасти и потому, что нѣкоторые ученые перебѣгали на сторону новыхъ студентовъ и дѣлались сами антагонистами университетской учености.

Такимъ образомъ, университетъ сближался съ жизнью лучшей части общества, и уже теперь сближался настолько, что недоброжелательный взглядъ студента на Добролюбова кажется читателю неправдоподобнымъ извобръщеніемъ. Надо также обратить вниманіе на то, что филологическій факультетъ бываетъ обыкновенно самымъ недвижимымъ и мрачнымъ притономъ учености. Онъ въ этомъ отношеніи можетъ передеголять

даже математическій. Математикъ (если только онъ не обладаетъ совершенно исключительною умственною организаціею и замѣчательнымъ талантомъ въ своей спеціальности), не можетъ удовлетвориться одною математическою сферою наукъ; ему необходимо читать для отдыха, и потому онъ обыкновенно знакомъ съ текущею журналистикою, и съ удовольствіемъ встрѣчаетъ въ журналахъ популярныя и легкія статьи по разнымъ общественнымъ, экономическимъ и литературнымъ вопросамъ. Но филологъ, для котораго исторія можетъ быть и отдыхомъ, и серьезною работою, филологъ, у котораго голова набита эстетикою и литературными теоріями, филологъ можетъ цѣлыми годами жить въ своемъ ученомъ мірѣ; а когда ему случится выглянуть изъ него, онъ обругаетъ только всѣ идеи, противорѣчащія его привычнымъ умозрѣніямъ, и опять уйдетъ въ свою раковину.

Мы дѣйствительно видимъ, что исторіею постоянно пользуются, какъ арсеналомъ, изъ котораго вынимаются противъ всякой новой идеи заржавленные и устарѣлыя аргументы; фехтуютъ этимъ археологическимъ оружіемъ историки, юристы и гуманисты, постоянно являющіеся во главѣ всякой реакціи; очевидно, что сфера занятій формируетъ мышленіе этихъ господъ и воспитываетъ въ нихъ упорно-тупыхъ противниковъ всякаго умственного движенія. Поэтому естественно, что студенты-филологи презирали Добролюбова въ то самое время, когда его «Темное царство» читалось съ сочувствіемъ и съ увлеченіемъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Россіи. Наконецъ, надо вспомнить и то, что смерть Добролюбова очень значительно измѣнила отношенія литературы и общества къ его дѣятельности. Пока Добролюбовъ писалъ и боролся, до тѣхъ поръ его бранило большинство нашихъ журналовъ. Вліяніе его чувствовалось въ обществѣ, но оставалось непризнаннымъ. Какъ только онъ умеръ, такъ тотчасъ литературное значеніе его признали самые горячіе его противники; продолжая бранить сподвижниковъ Добролюбова, они немедленно ухитрились провести между мертвымъ и живыми раздѣлительную черту, замѣтную только для самихъ этихъ господъ, но тѣмъ не менѣе выгораживающую умершаго дѣятеля отъ всякаго скептическаго посягательства. Но въ 1858 году слышалось много голосовъ противъ Добролюбова. Война «Современника» съ серьезностью и безцвѣтностью другихъ журналовъ была въ полномъ разгарѣ, и мы, ученые люди университета, узнавая по временамъ объ отдѣльныхъ эпизодахъ этой войны, были, конечно, на сторонѣ серьезности, и съ полнымъ убѣжденіемъ величали безцвѣтность благоразумною умѣренностью.

Надѣюсь, что теперь читателю станетъ до нѣкоторой степени понятна возможность такого неправдоподобнаго факта, какъ пренебреженіе студентовъ 1858 года къ личности и дѣятельности покойнаго Добролюбова. Фактъ все-таки остается печальнымъ; но отвѣтственность за него

должны нести не студенты, и даже не профессора, а вся закуска, все устройство и направление нашего университета, и особенно факультета.

XVII.

Одинъ годъ журнальной работы принесъ больше пользы моему умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и въ библіотекѣ. Впрочемъ надо замѣтить, что лѣта мои также должны были имѣть значительное вліяніе на пробужденіе моей мысли. Лѣто 1859 года было для меня временемъ умственного кризиса; всѣ понятія, лежавшія въ умѣ моемъ съ самого дѣтства, всѣ готовые сужденія, назавшіяся мнѣ неприкосновенною основою всего существующаго въ моей собственной личности, всѣ гипотезы, имѣющія такое тираническое вліяніе на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и какъ-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мнѣ свою несостоятельность. Пока я безъ определенной цѣли читалъ памятники и изслѣдованія, до тѣхъ поръ всѣ эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которыя ясны, какъ день, неизбѣжны, какъ гранитная стѣна, и величественнѣе Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать читанное съ практическою цѣлью, тогда мысль получила такой толчокъ, котораго дѣйствія и послѣдствія я не могъ ни предвидѣть, ни рассчитать. Пробудившееся стремленіе анализировать и всматриваться не можетъ быть по нашей волѣ опять погружено въ сонъ. Каждый человѣкъ, дѣйствительно мыслящій когда нибудь въ своей жизни, знаетъ очень хорошо, что не онъ распоряжается своею мыслью, а что напротивъ того, сама мысль предписываетъ ему свои законы и совершаетъ свои отправленія также независимо отъ его воли, какъ независимо отъ этой воли совершаются бѣженіе сердца и пищеварительная дѣятельность желудка. Человѣкъ боится подойти къ тѣмъ гипотезамъ, которыя величественнѣе Казбека и Монблана, а мысль не боится — и подходитъ, и ощупываетъ эти гипотезы, и вдругъ докладываетъ, что все это пустяки. Человѣкъ приходитъ въ ужасъ, но ужасъ этотъ оказывается безсильнымъ въ борьбѣ съ мыслью; мысль осмѣиваетъ и прогоняетъ ужасъ, и человѣку остается только качать головою, стоя на развалинахъ своего міросозерцанія. Наконецъ и качаніе головою прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, въ которой мысль пользуется неограниченнымъ могуществомъ и не встрѣчаетъ себѣ нигдѣ ни отпора, ни сопротивленія. Въ этомъ царствѣ мысли живетъ

свѣтло и весело; но періодъ перехода и умственной борьбы тяжель и мучителенъ. Умственный ростъ сопровождается болѣзнями точно также, какъ ростъ физическій. У меня напряженіе ума во время переходной борьбы было такъ болѣзненно-сильно, что оно повело за собою потрясеніе всего организма.

Осенью 1859 года, я прїѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Опрокинувъ въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли. Мнѣ случилось какъ-то въ обществѣ товарищей говорить о міросозерцаніи древнихъ Грековъ, и я сказалъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпійскіе боги, по всей вѣроятности, ничто иное, какъ неизвѣстная сила законовъ природы:—Греки, продолжалъ я, не олицетворили этой силы, потому что они, какъ гениальный народъ, чувствовали, что для этой силы узко и мелко всякое олицетвореніе. Эта мысль моя, находившаяся въ самой интимной связи съ общимъ ходомъ моихъ титаническихъ идей, чрезвычайно понравилась мнѣ и даже поразила меня какимъ-то благоговѣніемъ. Я вдругъ рѣшился провѣрить и доказать эту мысль и даже превратить ея развитіе въ кандидатскую диссертацию. Но такъ какъ изучать для этой цѣли всѣхъ греческихъ поэтовъ было мнѣ не по силамъ, то я ограничился однимъ Гомеромъ, и принялся за него съ тѣмъ неистовымъ рвеніемъ, которое всегда руководило моими любимыми занятіями. Мѣсяца два я работалъ неутомимо; прочелъ восемь пѣсней Илиады въ подлинникъ и, кромѣ того, сдѣлалъ множество выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о мифологическихъ и теологическихъ понятіяхъ Гомера. Товарищи мои смотрѣли на мои труды съ недоумѣніемъ и иногда дѣлали мнѣ выговоры за то, что я оставилъ славянорусскія древности и такъ впевапно, очертя голову, бросился въ совершенно неизвѣстную мнѣ область науки. Но я объявилъ себя Прометеемъ и уже не обращалъ вниманія ни на какіе дружескіе совѣты. Вдругъ за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія и апатіи. За самонадѣянностью наступило уныніе и совершенное недоувѣріе въ свои силы. Идея о судьбѣ, казавшаяся гениальною, потеряла весь свой блескъ и представилась даже бессмысленною. Работа вывалилась у меня изъ рукъ. Даже такая обыкновенная вещь, какъ выпускной экзаменъ, предстоявшій мнѣ весною 1860 года, сталъ казаться мнѣ совершенно непреодолимою трудностью. Словомъ, періодъ переходной умственной борьбы заключился умственною болѣзнію. Прометея приковали къ скалѣ, и коршунъ сталъ клевать его печень, или, говоря языкомъ болѣе современнымъ, меня посадили въ карету и отвезли въ психіатрическую лечебницу. Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости

и сталъ воображать себѣ, что меня измучаютъ, убьютъ, или живого заруютъ въ землю. Скептицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что мнѣ говорили, все, что я видѣлъ, даже все, что я ѣлъ, встрѣчало во мнѣ непобѣдимое недоувѣріе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной инстификаціи.

Такая фантазмагорія тянулась четыре мѣсяца. Наконецъ теплая ванна, продолжительныя прогулки на открытомъ воздухѣ, ежедневныя гимнастическія упражненія, постоянныя приемы желѣза внутрь, а главное — отдохнувшія мысли убавили скептицизмъ настолько, что въ половинѣ апрѣля 1860 года я оказался въ состояніи жить съ людьми по человѣчески и пользоваться гражданскою свободою безъ опасности для себя и для другихъ. О выпускномъ экзаменѣ въ этомъ году было уже поздно думать, тѣмъ болѣе, что усиленные занятія могли еще имѣть для меня опасныя послѣдствія; я остался въ университетѣ на нынѣшній годъ и тотчасъ послѣ своего выздоровленія удалился до осени на лоно природы укрѣплять свои силы и наслаждаться возмратившимся рассудкомъ.

Послѣдній годъ моего пребыванія въ университетѣ былъ для меня очень замѣчательнъ. Я почти совсѣмъ не ходилъ на лекціи, но работалъ сильно. Послѣ пріѣзда съ каникулъ, я рѣшился писать диссертацию на медаль, на историческую тему, заданную въ томъ году Ироніанскимъ. Предпріятіе было дерзкое. Тема задана была въ началѣ февраля, въ то время, когда я еще отрицалъ солнце и луну; кто писалъ на эту тему, тотъ принялся за работу тотчасъ послѣ объявленія задачи, а я началъ изучать предметъ диссертации въ началѣ октября, между тѣмъ какъ всѣ сочиненія должны были быть представлены никакъ не позже первыхъ чиселъ января. Мѣсяцъ былъ употребленъ на чтеніе и выписки, а въ ноябрѣ я началъ писать. Дѣло шло быстро и успѣшно, отчасти на живую нитку, кое-гдѣ на авось, съ широкими взглядами и рискованными предположеніями. Я писалъ безъ черновой, потому что переписывать было бы нѣкогда, и старался обработать предметъ такъ, чтобы произведеніе мое могло быть помѣщено въ какомъ нибудь литературномъ журналѣ. Къ началу января я кончилъ свой трудъ и замѣтилъ не безъ удовольствія, что въ немъ по крайней мѣрѣ пятнадцать печатныхъ листовъ (240 страницъ). Впрочемъ недостатокъ времени помѣшалъ мнѣ развить нѣкоторыя мысли, которыя были уже совсѣмъ выработаны въ моемъ умѣ. Дѣлать было нечего; я махнулъ на нихъ рукою, написалъ на своей диссертацин эпиграфъ: «еже писахъ, писалъ», и представилъ ее куда слѣдовало.

Сильность города беретъ и даже очаровываетъ профессоровъ универ-

ситета: диссертация моя очень понравилась, не смотря на то, что вместе съ нею былъ представленъ основательный трудъ одного студента, долго изучавшаго предметъ и разработавшаго его чуть ли не вдвое подробнѣе моего. Въ совѣтѣ университета произошло разногласіе: присяжный цѣнитель нашихъ работъ, Креозотовъ, въ своемъ отчетѣ расхвалилъ обѣ диссертации и приписалъ моему труду высокое литературное достоинство, а работѣ моего соперника глубокую научную основательность. Кому же дать золотую медаль? Большинство говорило, что, по всѣмъ правамъ, золотая медаль принадлежитъ научной основательности. Но сильная партія утверждала, что слѣдуетъ дать золотыя медали и научной основательности, и литературному достоинству. Слышались даже еретическіе голоса, безусловно защищавшіе литературное достоинство. Однако здравый смыслъ и справедливость одержали верхъ. Профессора поняли, что плѣняться смѣлостью и живымъ языкомъ и пренебрегать другими, болѣе прочными достоинствами труда—не слѣдуетъ, и потому опредѣлили дать золотую медаль научной основательности, а серебряную — литературному достоинству. Положивъ такое рѣшеніе, они распечатали конверты, заключавшіе въ себѣ фамиліи авторовъ, и узнали тогда, кому принадлежитъ научная основательность и кто отличился литературнымъ достоинствомъ. Признанный обладатель литературнаго достоинства остался, конечно, очень доволенъ: единственное желаніе его состояло въ томъ, чтобы достигнуть на актѣ почетнаго отзыва, который избавилъ бы его отъ необходимости писать кандидатскую диссертацию; а вмѣсто почетнаго отзыва явилась медаль, съ изображеніемъ юноши, вѣроятно Аполлона, и съ надписью: «преуспѣвшему». Всѣ эти прелести составляли уже неожиданную роскошь.

Когда Креозотовъ увидалъ меня на выпускномъ экзаменѣ, то онъ полюбопытствовалъ взглянуть на черновой списокъ моей диссертации. Я отвѣчалъ ему, что никакъ не могу удовлетворить его желанію, потому что диссертация писана безъ черновой. Тогда Креозотовъ почувствовалъ несказанное удивленіе, съ особенною признательностью пожалъ мнѣ руку и растроганнымъ голосомъ проговорилъ, что даже Пушкинъ писалъ «Капитанскую дочку» сначала начерно. О, читатель, согласитесь, что эпизодъ о моей диссертации имѣетъ свою прелесть. Развѣ не восхитительно то обстоятельство, что для нашихъ профессоровъ обыкновенный литературный языкъ и нѣкоторая смѣлость въ расположеніи мыслей имѣютъ такую неизрѣченную сладость? Имъ, бѣднымъ старикамъ и, еще болѣе, бѣднымъ людямъ средняго возраста, до смерти надобно ихъ собственное ученое величіе; имъ скучно сидѣть на Олимпѣ, и сидятъ они на немъ только потому, что сойти съ него не умѣютъ, — серьезность и основательность имъ ни почемъ: это ихъ будничное кушанье. Но чуть что нибудь носмѣливъ и по оригинальнѣй, они тотчасъ

готовы прельститься, и принуждены строго наблюдать за собою, чтобы не поддаваться искушенію и не измѣнить величію и достоинству своего сана. Это утѣшительно: это значить, что чисто-человѣческія потребности не могутъ быть окончательно истреблены ни монашескимъ подвижничествомъ, ни ученымъ столпничествомъ. Но, съ другой стороны, это значить также, что чисто-человѣческія потребности находятся въ постоянномъ разладѣ и съ тѣмъ, и съ другимъ. А что противорѣчитъ чисто-человѣческимъ потребностямъ, то, стало быть, неестественно. А что неестественно, то, стало быть, и неразумно. Вотъ вамъ и нравовеніе.

Диссертация моя достигла также своей литературной цѣли. Сдѣлавъ изъ пятнадцати листовъ — двѣнадцать, я помѣстилъ ее въ одинъ журналъ, лѣтомъ 1861 года, и получилъ за нее до шести сотъ сребрениковъ. Журналъ этотъ былъ уже не тотъ добродѣтельный журналъ для дѣвицъ, въ которомъ я помѣщалъ свои стыдливые опыты, — журналъ этотъ былъ исполненъ суеты и гордыни, и благонравные товарищи мои, состоявшіе уже на дѣйствительной службѣ, бросили на меня прощальный взглядъ, полный укора и сожалѣнія, когда увидали, что я беззаботно и весело пошелъ по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрѣли съ глубокимъ презрѣніемъ; меня самого они рѣшительно и откровенно исключили изъ своего круга. О, читатель, и это неправдоподобно, но и это — чистая правда. Они считали меня ренегатомъ, маленькимъ Брамбеусомъ, недостойнымъ сыномъ университетской науки, обратившимся противъ своей родной матери, — и надо сказать правду, они не ошибались въ этомъ отношеніи. Могъ ли же я послѣ этого ожидать себѣ помилованія? Не могъ, и не ожидалъ, — и потому покорился рѣшенію судьбы. Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшіе филологи — люди честные, умные, вполне достойные уваженія и сочувствія, но вижу также, что мнѣ съ ними уже не сойдтись. Имъ предстоятъ двѣ дороги, и ни на одной изъ этихъ дорогъ я не встрѣчусь съ ними. Они могутъ продолжать съ успѣхомъ свою службу въ разныхъ департаментахъ и сдѣлаться черезъ нѣсколько лѣтъ просвѣщенными администраторами, или они могутъ осуществить свою университетскую мечту и сдѣлаться свѣтилами отечественной науки. Очевидно, что журналистъ, исполненный суеты и гордыни, ни администраторомъ, ни свѣтиломъ быть не можетъ; очевидно даже, что онъ и знакомства водить не можетъ ни съ администраторами, ни съ свѣтилами, потому что онъ имъ совсѣмъ не пара: стоятъ они на разныхъ плоскостяхъ *), живутъ въ

*) Тутъ плоскость употреблена въ математическомъ смыслѣ, а не въ порицательномъ.

разныхъ мірахъ, смотрятъ на вещи съ разныхъ точекъ зрѣнія и приходятъ разными путями къ противоположнымъ выводамъ и результатамъ. Стало быть, мнѣ остается только, вспоминая о моихъ добрыхъ и честныхъ товарищахъ, послать имъ на этихъ страницахъ послѣднее, дружеское «прости», и увѣрить ихъ въ томъ, что я съ своей стороны всегда готовъ и радъ съ ними сойтись и что, въ то же время, я не вижу въ тому ни возможности — теперь, ни надежды — въ будущемъ.

НАША УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

I.

Намъ постоянно случается слышать, что молодые люди, неимѣющіе почти никакихъ средствъ къ существованію, приходятъ изъ отдаленныхъ губерній въ университетскіе города, чтобы учиться, перебиваются со дня на день во время четырехлѣтняго курса, переносятъ всевозможныя лишенія, и наконецъ достигаютъ своей цѣли, то есть, благополучно, а иногда и блистательно выдерживаютъ выпускной экзаменъ. Всякому, кто бывалъ въ нашихъ университетахъ, случалось видѣть въ аудиторіяхъ молодыхъ людей бѣдно одѣтыхъ, худыхъ и блѣдныхъ, истомленныхъ бѣготнею по грошовымъ урокамъ и, не смотря на то, усердно посѣщающихъ и записывающихъ всѣ назначенныя по росписанію лекціи. Исторія Ломоносова повторяется у насъ въ Россіи каждый день, а между тѣмъ Ломоносовы такъ же рѣдки теперь, какъ были рѣдки въ прошломъ столѣтіи. Мы привыкли указывать на молодыхъ людей, приходящихъ пѣшкомъ въ университетскіе города, какъ на живыя доказательства того сильнаго стремленія къ образованію, которое существуетъ и проявляется порою въ самыхъ отдаленныхъ закоульяхъ нашего отечества и въ самыхъ забытыхъ слояхъ нашего общества. Существуетъ дѣйствительно, или не существуетъ это стремленіе—это такой вопросъ, за рѣшеніе котораго я не берусь, потому что судить объ этомъ дѣлѣ можетъ только тотъ, кто знаетъ наше общество вдоль и поперекъ, кто наблюдаетъ его долго и внимательно и кто серьезно обдумалъ свои наблюденія. Я сважу только, что прамѣры молодыхъ людей,

переносящихъ тягостныя лишенія во время своего университетскаго курса, оказываются при внимательномъ разсмотрѣннн доказательствами слабыми, односторонне понятыми и превратно истолкованными. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только предложить себѣ вопросъ: куда дѣваются эти молодые люди? Что съ ними дѣлается послѣ блистательнаго выпускнаго экзамена? Дѣлается то, что и со всѣми дѣлается: они идутъ въ чиновники, въ учителя, въ ученые, сливаются съ общеою массою и ничѣмъ замѣчательнымъ не проявляютъ свою личность и дѣятельность. А вѣдь шла въ мѣшкѣ не утайшь. Кто прошелъ сотни верстъ и пережилъ сотни полуголодныхъ дней только потому, что онъ чувствовалъ въ душѣ непреодолимое и безкорыстное стремленіе къ знанію, тотъ стоитъ цѣлою головою выше общей массы, тотъ не сольется съ ея грошовыми заботами и неудовлетворится ея куриною хлопотливостію. Кто въ глуши, среди гнетущей бѣдности, искалъ безъ устали истины и свѣта, тотъ вынесетъ свои стремленія неподавленными и неусыпленными даже изъ мертвящей аудиторіи какого нибудь Креозотова. А что эти стремленія останутся неудовлетворенными въ подобной аудиторіи, и слѣдовательно, будутъ искать себѣ удовлетворенія въ другомъ мѣстѣ, это само собою разумѣется. Стало быть, если исторія Ломоносова повторяется съ незначительными варіаціями каждый день, а между тѣмъ Ломоносовыхъ не является, то остается предположить, что повторяется только внѣшняя сторона этой исторіи. Борьбу съ лишеніями мы видимъ, энергію и терпѣніе также видимъ, — не видимъ только бездѣлицы — побудительной причины; а между тѣмъ, именно въ этой бездѣлицѣ заключаются, въ большей части случаевъ, смыслъ и разгадка всего явленія.

Если бы молодой человѣкъ шелъ пѣшкомъ въ университетскій городъ только за образованіемъ, то у насъ уже теперь было бы много дѣйствительно образованныхъ людей, и вліяніе этихъ людей чувствовалось бы въ общественной жизни. Но такъ какъ этого нѣтъ, то надо предположить, что дѣйствительнаго стремленія къ образованію молодой человѣкъ не чувствуетъ, или по крайней мѣрѣ, это стремленіе существуетъ въ немъ съ очень значительною примѣсью посторонняго вещества. Не трудно догадаться, какое это вещество. Кромѣ знаній сомнительнаго достоинства, университеты даютъ своимъ слушателямъ еще права, которыхъ достоинство уже вовсе несомнительно. Кто не идетъ въ университетъ, какъ въ храмъ науки, тотъ идетъ въ него, какъ въ преддверіе карьеры. Для бѣднаго и незнатнаго человѣка университетъ составляетъ кратчайшую дорогу къ чинамъ, къ почестямъ, къ большому жалованью, и слѣдовательно ко всѣмъ благамъ и наслажденіямъ жизни. Эта кратчайшая дорога очень крута и усѣяна многими препятствіями; поступить въ уѣздный судъ писцомъ и перебиваться въ уѣзд-

номъ городѣ копѣчнымъ жалованьемъ все-таки легче, чѣмъ идти на авось, пѣшкомъ, въ неизвѣстную даль, и потомъ четыре года жить невѣрными уроками, — но за то писцу уѣзднаго суда нѣтъ перспективы въ будущемъ, а передъ кандидатомъ университета открыта жизнь, съ ея опасностями, но также и съ ея заманчивыми надеждами. Чтобы пойти на встрѣчу лишеніямъ и грозной неизвѣстности судьбы, чтобы изъ рѣчного затишья выйти въ открытое море жизни, необходимо обладать предприимчивостью и энергіею, а предприимчивость и энергія — свойства очень почтенныя; но все-таки между этими свойствами и безкорыстно сильнымъ стремленіемъ къ образованію лежитъ цѣлая бездна. Молодые люди, пробивающіе себѣ дорогу въ жизнь энергіею, трудолюбіемъ и желѣзнымъ терпѣніемъ, заслуживаютъ полного уваженія, но образованіе тутъ ни при чемъ. Молодые люди идутъ завоевывать себѣ счастье, но не знанія; и до тѣхъ поръ, пока университеты будутъ давать своимъ слушателямъ какія нибудь права, до тѣхъ поръ, пока университетскій дипломъ будетъ открывать дорогу къ такимъ мѣстамъ, которыхъ не могутъ занять люди, неимѣющіе дипломовъ, до тѣхъ поръ всякія сладкія рѣчи и стремленія общества къ образованію будутъ относиться къ легіону нашихъ патріотическихъ самообольщеній. Въ томъ обстоятельствѣ, что бѣдному молодому человѣку, старающемуся выбиться изъ бѣдности, необходимо идти въ университетъ и добывать дипломъ, въ этомъ обстоятельствѣ, говорю я, нѣтъ ничего утѣшительнаго. Это значитъ только, что одна коронная служба считается у насъ прочнымъ обезпеченіемъ. Это значитъ, что инициатива общества крайне слаба; это значитъ далѣе, что общество собственнымъ умомъ не умѣетъ оцѣнить силы и способности своихъ членовъ и требуетъ, чтобы эти силы и способности были оцѣнены правительствомъ и засвидѣтельствованы дипломомъ. Нанимая домашняго учителя для своихъ дѣтей, отецъ семейства не можетъ самъ испытать его познанія, и потому разсматриваетъ его дипломъ или аттестатъ. Въ дѣлѣ образованія мы требуемъ отъ правительства такой же гарантіи, какой требуютъ отъ него возникающія общества желѣзныхъ дорогъ. Окончивъ курсъ образованія, мы непремѣнно желаемъ, чтобы правительство платило намъ проценты съ нашего умственного капитала, или по крайней мѣрѣ, чтобы оно своимъ ручательствомъ рекомендовало насъ почтенной публикѣ. Я не думаю, чтобы такое положеніе дѣлъ говорило особенно убѣдительно въ пользу развитости нашего общества, или въ пользу его горячаго стремленія къ образованію.

Въ 1860 и 1861 годахъ проявилось въ столичной молодежи сильное желаніе посѣщать университетскія лекціи. Въ аудиторіяхъ петербургскаго университета стали появляться посторонніе слушатели, офицеры и дамы. Фактъ самъ по себѣ хорошъ, но надо понимать его,

какъ слѣдуетъ. Въ чью пользу гово- рить этотъ фактъ: въ пользу ли общества, или въ пользу университета? То есть: пробудилась ли потребность просвѣщенія въ самомъ обществѣ, или университетъ прославился настолько, чтобы разбудить общество и привлечь его въ свои аудиторіи? Стоитъ только поставить такимъ образомъ вопросъ, чтобы тотчасъ придти къ его разрѣшенію. Очевидно, что общество пробудилось совершенно независимо отъ университета, и что пробужденію общества содѣйствовали во-первыхъ реформы, предпринятія правительствомъ, во-вторыхъ, оживленіе журналистики, которое въ свою очередь находилось въ связи съ общими реформами. Пробудившееся общество увидѣло, что ему необходимо образованіе, — а гдѣ его искать? Въ университетѣ, — не потому, чтобы въ университетѣ слышались особенно живые и свѣжіе голоса, а потому — что больше искать негдѣ. На безрыбьи и ракъ рыба. И общество хлынуло въ университетъ, и скоро счумѣло отличить менѣе усыпительныя аудиторіи. Но эти аудиторіи (за исключеніемъ развѣ одной костомаровской) все-таки не могли удовлетворить потребностямъ общества, и оно навѣрное само отхлынуло бы назадъ, если бы университетъ не предупредилъ его и не отогналъ отъ своихъ дверей непосвященную и неплатящую чернь. Стало быть, тотъ фактъ, что офицеры и дамы бывали на лекціяхъ вовсе не доказываетъ того, чтобы между обществомъ и университетомъ существовало сознательное сочувствіе. Что университетъ вовсе не сочувствуетъ обществу, это онъ доказывалъ неоднократно, словами и поступками своихъ отдѣльных членовъ и даже цѣлой корпораціи. Но и общество также не сочувствуетъ университету; оно ожидало отъ него живого и разумнаго слова, и готово было полюбить его за это слово, но ожиданія не исполнились, и общество, конечно, будетъ искать себѣ умственной пищи за предѣлами университетовъ, въ самостоятельномъ чтеніи, точно также, какъ уже всѣ дѣльные студенты работаютъ теперь надъ своимъ развитіемъ совершенно независимо отъ профессорскихъ лекцій и записокъ. Отстранивъ такимъ образомъ тѣ факты, которые люди невнимательные могли бы принять за признаки сочувствія общества къ теперешней университетской наукѣ, я приступаю прямо къ критикѣ нашего общаго и высшаго образованія.

II.

У насъ составилаь привычка различать два рода образованія: общее и специальное. Эта привычка, какъ и большая часть нашихъ при-

вычекъ, не оправдывается ничѣмъ, кромѣ давности лѣтъ, и оказывается несостоятельною при первомъ прикосновеніи анализа. Въ самомъ дѣлѣ, что такое специальное образованіе? Ничто иное, какъ навыкъ въ какомънибудь ремеслѣ, умѣнье взяться за какоенибудь дѣло, умѣнье приложить къ этому дѣлу именно тѣ приемы, которые въ данное время признаны опытомъ наиболѣе удобными. Что такое образованный специалистъ? Если отвѣчать на этотъ вопросъ такъ, какъ того требуетъ здравый смыслъ и правильное пониманіе употребляемыхъ словъ, то намъ придется сказать, что образованный специалистъ есть человѣкъ, получившій общее образованіе и потомъ изучившій какоенибудь ремесло. Если же отвѣчать на этотъ вопросъ такъ, какъ того требуетъ обыкновенное разговорное употребленіе словъ, то намъ придется сказать, что образованный специалистъ есть человѣкъ, изучившій основательно избранное имъ ремесло. Я, конечно, беру тутъ «ремесло» въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова. Подъ это понятіе подходятъ всѣ профессіи, требующія знаній и сноровки. Ремесленниками оказываются и земледѣлецъ, и портной, и медикъ, и артиллеристъ, и законовѣдъ, и педагогъ, и литераторъ. Всѣ эти занятія требуютъ извѣстнаго напряженія мускуловъ и нервовъ; въ однихъ преобладаетъ умственный трудъ, въ другихъ — физическій; одни производительны, другія непродизводительны, — но эти различія не имѣютъ для насъ въ настоящее время никакого значенія, потому что для нашего разсужденія важно только то, что всѣ они требуютъ практическаго навыка и нѣкоторыхъ знаній. Чтобы быть полезнымъ членомъ общества, необходимо работать, слѣдовательно — имѣть какое-нибудь ремесло, слѣдовательно — быть специалистомъ.

Польза, которую я приношу обществу, а слѣдовательно и самому себѣ, будетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ успѣшнѣе идетъ моя работа; а работа моя пойдетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ основательнѣе я изучилъ свое ремесло. Общество видитъ и цѣнитъ результатъ моей работы, и если результатъ оказывается хорошимъ, то общество заключаетъ, что я знаю хорошо свое ремесло, и называетъ меня образованнымъ специалистомъ. Но общество не всегда поступаетъ такъ: если я сапожникъ и шью превосходные сапоги, то оно только заваливаетъ меня заказами и называетъ меня отличнымъ сапожникомъ, а объ образованномъ специалистѣ не говоритъ ни слова; если же я горный инженеръ и хорошо разыскиваю золотonosныя жилы, то меня производятъ въ образованные специалисты, потому что я ношу эполеты, и потому что общество считаетъ невѣжливымъ назвать меня хорошимъ ремесленникомъ. Если я технологъ и управляю какимънибудь сахарнымъ заводомъ, то и тутъ я еще могу, по мнѣнію общества, носить титулъ образованнаго специалиста. Ну, а если я агрономъ и управляю чѣмъ-нибудь имѣніемъ, да еще неболь-

шимъ, тогда титулъ образованнаго спеціалиста начинаетъ колебаться, и общество начинаетъ находить, что меня удобнѣе называть хорошимъ прикащикомъ. Разрозненность сословій и чиновная іерархія перепутала всѣ наши понятія и исказила нашъ разговорный языкъ. Очевидно, что образованный спеціалистъ такой же титулъ, какъ «ваше превосходительство», или «ваше высокоблагородіе». Но послѣдніе два титула совершенно безвредны, а первый подаетъ поводъ къ недоразумѣніямъ и къ неясности представленія. Извѣстно, что неправильное употребленіе словъ ведетъ за собою ошибки въ области мысли, и потому въ практической жизни. Когда мы называемъ человѣка образованнымъ спеціалистомъ, то намъ уже кажется неправдоподобнымъ, чтобы этотъ человѣкъ былъ неучемъ и полудикаремъ. Если мы даже видимъ факты, ясно намекающіе на эти печальныя истины, то мы стараемся перевѣсить эти факты другими фактами утѣшительнаго свойства. Конечно, разсуждаемъ мы, этотъ господинъ имѣетъ много предразсудковъ; конечно, онъ имѣетъ самыя смутныя понятія о достоинствѣ человѣка, объ интересахъ общества, объ отношеніяхъ гражданина къ своимъ согражданамъ, и семьянина къ своему семейству, — но за то онъ отлично умѣетъ ввести корабль въ гавань, или подыскать статью въ сводѣ законовъ, или навести понтонный мостъ, или выстроить колонну къ атакѣ. Мы краснорѣчиво разрабатываемъ это *но*, и доходимъ до того, что основательныя ремесленныя познанія начинаютъ намъ казаться такою штукою, которая имѣетъ сходство съ образованіемъ и во многихъ случаяхъ можетъ замѣнить его, съ пользою для отдѣльнаго лица и для общества. Дойдя до такого результата, мы очевидно потеряли уже изъ виду и дѣйствительное значеніе спеціальности, и настоящую цѣль общаго образованія. Начинается погоня за двумя зайцами, которые уходятъ отъ насъ по двумъ разнымъ дорогамъ. Возникаютъ общеобразовательныя заведенія съ намеками на спеціальность; являются спеціальныя заведенія съ претензіями на общее образованіе. Наконецъ, что всего хуже, въ обществѣ укореяется мысль о томъ, что можно въ одно и то же время, одними и тѣми же уроками дѣлать Васиньку или Колиньку образованнымъ человѣкомъ и, наприѣръ, хорошимъ морякомъ, или дѣльнымъ юристомъ. Развелась пропасть разныхъ образованій: это, говорятъ, юридическое, а вотъ это — техническое, а вонъ-то — военное. Идя по этому пути, можно дойти до образованія кирасирскаго, отличающагося отъ гусарскаго и уланскаго, до образованія свойственнаго чиновнику казенной палаты, и совершенно непохожаго на образованіе сенатскаго или почтамтскаго чиновника, до образованія кожевника, неимѣющаго ничего общаго съ образованіемъ мыловара или мясника. Когда мы доведемъ свое развитіе до такого невиданнаго совершенства, то намъ останется только утѣшаться, глядя на тысячи образованныхъ спеціалистовъ. Радость наша будетъ такъ безпредѣльна, что

ми даже не замѣтимъ того, какъ общее образованіе совершенно уничтожилось и превратилось въ мифъ, потому что сотни различныхъ образованій растащили его по кусочку. Образованныхъ людей у насъ не будетъ, а такъ какъ только образованные люди составляютъ и поддерживаютъ благоустроенное гражданское общество, то и общества не будетъ, а будутъ сотни цѣховъ, находящихся между собою въ такихъ же дружескихъ отношеніяхъ, въ какихъ находятся къ прусскимъ гражданамъ прусскіе офицеры, поминутно обнажающіе оружіе противъ безоружныхъ своихъ соотечественниковъ за такія обиды, которыя понятны только этимъ храбрымъ воинамъ. Къ сожалѣнію, всякій ошибочный принципъ только въ теоріи можетъ быть доведенъ до своей нелѣпой крайности: жизнь рѣдко бываетъ логична, и обыкновенно сворачиваетъ въ сторону, когда натывается на нелѣпый выводъ, прямо вытекающій изъ принятаго ею принципа. Поэтому принципъ остается непобѣжденнымъ, скрывается на время внутрь и притихаетъ, а потомъ опять поднимаетъ голову и производитъ разныя мелкія глупости, которыя обыкновенно замазываются такими же мелкими палліативными средствами. Такъ и ползетъ жизнь черезъ пень-колоду, обходя нелѣпныя крайности, сражаясь ежеминутно съ крошечными аномаліями и безропотно уживаясь съ основной причиной этихъ аномалій.

Такимъ образомъ нельзя подвигаться впередъ быстро и успѣшно, но объ этомъ почти никто и не заботится. Объ образованіи толкуютъ всѣ, кому только есть время и охота толковать; составляются проекты; измѣняются программы, увеличивается или уменьшается число учебныхъ часовъ, передвигается порядокъ занятій, чувствуется во всемъ ходъ образованія какая-то общая нескладница, — но передѣлки производятся робко и нерѣшительно, и все въ одномъ и томъ же узкомъ кругу идей, составившемся. Богъ знаетъ когда, и охватившемъ насъ богъ знаетъ зачѣмъ. Раздаются голоса, говорящіе рѣшительно и ясно о томъ, что слѣдуетъ формировать человѣка, а не моряка, не чиновника, не офицера. Всѣ слушаютъ — и умиляются, и начинаютъ дѣйствовать, а между тѣмъ въ результатѣ оказываются только переименованія и передвиженія. Призракъ спеціальнаго образованія никакъ не рѣшается исчезнуть и до сихъ поръ мѣшаетъ нашему обществу разглядѣть дѣйствительный смыслъ и настоящую задачу образованія. Въмѣсто того, чтобы съ корнемъ вырвать ошибочный принципъ, вмѣсто того, чтобы навсегда прогнать нелѣпый призракъ, мы все хлопочемъ о томъ, чтобы заключить невозможную мировую сдѣлку между призракомъ и дѣйствительностью, какъ будто возможны какія нибудь сдѣлки между истиною и бессмыслицею, между здравымъ смысломъ и предрасудкомъ. Мы въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ служимъ богу и мамону; мы никогда не относимся къ образованію просто и безкорыстно; всякое знаніе мы забираемъ въ голову, какъ

источникъ будущихъ доходовъ; на всякую книгу мы готовы смотрѣть, какъ на руководство къ изученію повареннаго искусства, или какъ на рецептъ для соленія грибовъ и брусники; эти корыстные цѣли конечно никогда не достигаются; каждая кухарка знаетъ, что никто еще не сдѣлался поваромъ по книжкѣ; каждая деревенская хозяйка скажетъ вамъ, что человекъ неопытный при самомъ подробномъ рецептѣ испортитъ грибы и бруснику. Но лукавые виды на грибы и бруснику не даютъ намъ покоя и не позволяютъ намъ дорыться до правильного взгляда на образованіе. Да и какъ дорыться, когда мы сваливаемъ въ одну кучу воспитаніе, образованіе и изученіе ремесла? Воспитаніемъ мы очень дорожимъ, потому что нашему сердцу безконечно отрадно видѣть въ дѣтяхъ и юношахъ благонавіе и кротость. Изученіемъ ремесла мы тоже дорожимъ по своему, потому что жалованье и казенная квартира отъискиваютъ себѣ чувствительное мѣсто въ самомъ стоическомъ сердцѣ. А что такое образованіе — этого мы не знаемъ. Тамъ, на границѣ между воспитаніемъ и изученіемъ ремесла, есть какая-то неопредѣленная амальгама, какая-то переходная тѣнь, которую мы и называемъ образованіемъ и къ которой мы, по правдѣ сказать, чувствуемъ глубочайшее равнодушіе. Но такъ какъ намъ совѣстно питать такіа не-европейскія чувства къ такому великому дѣлу, какъ образованіе, то мы, ради приличнаго замаскированія, и придумали назвать образованіемъ всю кучу нашихъ педагогическихъ отправленій, т. е. и воспитаніе, и изученіе ремесла, и узенькую полоску неинтересной для насъ амальгамы. Тутъ дѣло не въ словахъ: можно, пожалуй, столъ назвать стуломъ, но зачѣмъ же садиться на столъ? Это и неудобно, и неприлично. Можно какъ угодно назвать наши педагогическія упражненія надъ дѣтьми и юношами, но зачѣмъ же сдавливать образованіе между воспитаніемъ и изученіемъ ремесла? Зачѣмъ отодвигать образованіе на самый задній планъ и выдвигать впередъ воспитаніе и специальность, которыя должны имѣть второстепенное значеніе? Воспитывать вообще слѣдуетъ какъ можно менѣе, а выборъ специальности всегда долженъ быть безусловно предоставленъ самому молодому человѣку, получившему уже хорошее и полное образованіе. Я говорю здѣсь о такой специальности, которая требуетъ сильной и постоянной умственной работы и которая даетъ всей послѣдующей жизни человѣка опредѣленное направленіе. Что же касается до простого ручного ремесла, то ему можно учить ребенка съ малолѣтства, потому что такое ремесло нисколько не мѣшаетъ общеобразовательнымъ занятіямъ, не направляетъ ума въ ту или въ другую сторону и, не вредя никакимъ другимъ умственнымъ или житейскимъ успѣхамъ, развиваетъ здоровье и всегда остается запаснымъ капиталомъ, на случай нужды или неудачи.

III.

Я сказалъ, что воспитывать слѣдуетъ вообще какъ можно менѣе. Эта мысль можетъ показаться парадоксальною, а между тѣмъ она чрезвычайно проста и совершенно неопровержима. Конечно, не я первый высказываю эту мысль, которая, какъ всѣ простыя и свѣтлыя мысли, не принадлежитъ никому въ частности, и непремѣнно приходитъ въ голову каждому человѣку, задумывающемуся серьезно и добросовѣстно надъ отношеніями взрослыхъ къ подрастающему поколѣнію. Эта мысль находится въ тѣсной связи съ знаменитою идеею Вокля о томъ, что чело-вѣчество подвигается впередъ при помощи знаній и открытій, и что нравственныя истины не имѣютъ почти никакого вліянія на быстроту и успѣшность историческаго развитія. Приложите эту мысль къ жизни отдѣльной личности, и вы увидите ясно, что ребенокъ нуждается въ знаніяхъ, а не въ нравоученіяхъ. А какъ только сообщаются какія нибудь знанія, какимъ бы то ни было образомъ, и по какому бы то ни было поводу, такъ уже начинается образованіе и самостоятельное умствен-ное развитіе будущаго человѣка. Чѣмъ раньше начинается это образо-ваніе и развитіе, тѣмъ лучше. Воспитаніе же должно продолжаться только до тѣхъ поръ, пока не начнется образованіе. Какъ бы ни были разнообра-зны приемы воспитанія, но всѣ они могутъ быть приведены къ двумъ главнымъ типамъ: къ воспитанію розгой, или къ воспитанію авторите-томъ. Въ первомъ случаѣ воспитатель говоритъ ребенку: «дѣлай это и это, или я тебя вышью. Не дѣлай того и того, или я тебя вышью». Объ этомъ случаѣ распространяться нечего. Во второмъ случаѣ воспи-татель приобретаетъ себѣ безусловное довѣріе ребенка, и потому уже просто говоритъ ему: «дѣлай это, не дѣлай того». Ребенокъ повинуется изъ любви и уваженія къ воспитателю, но въ этомъ нѣтъ ничего хо-рошаго. Воспитатель говоритъ: «это хорошо, а то дурно», и ребенокъ запоминаетъ это, — и въ этомъ также нѣтъ ничего хорошаго. Всевоз-можныя нравоученія сводятся на послѣднюю формулу, съ тою только разницею, что они бываютъ обыкновенно гораздо длиннѣе и утоми-тельнѣе. Во всѣхъ этихъ нравоученіяхъ нѣтъ ни одного аргумента, ни одного такого доказательства, которое ребенокъ могъ бы самъ провѣрить, или по крайней мѣрѣ, понять. Все дается на память и на вѣру. Стало быть, для мысли нѣтъ никакой пищи, и самостоя-тельность будущаго человѣка остается совершенно незатронутою.

Поступать такимъ образомъ съ ребенкомъ позволительно только тогда, когда онъ еще не можетъ воспринимать знаній. Если годовою ребенокъ лезетъ на горячій самоваръ, тогда конечно, его, прежде всего, слѣдуетъ оттащить въ сторону, но и тутъ можно ему позволить прикоснуться къ самовару кончикомъ пальца. Опытъ не пропадетъ даромъ. Но когда ребенокъ уже говоритъ и рассуждаетъ, тогда заставлять его вѣрить на слово совершенно недобросовѣстно. Отцы и гувернеры, матери и гувернантки обыкновенно поступаютъ такимъ образомъ потому, что имъ лѣнь объяснять ребенку причины разныхъ своихъ распоряженій, или перечислить ему возможные послѣдствія его собственныхъ поступковъ. Кромѣ лѣни, есть еще причина именно неумѣнье или даже невозможность объяснить ребенку, почему появляются приказанія или запрещенія. Въ кодексъ нашей житейской морали почти всѣ вопросы рѣшаются безапелляціонно словами: «нравственно» или «безнравственно», «прилично» или «неприлично», «принято» или «не принято». Спросите: почему? и вамъ не отвѣтятъ, потому что причины дѣйствительно не имѣются. Когда ребенокъ сталкивается съ однимъ изъ такихъ вопросовъ, то его осаживаютъ однимъ изъ вышеприведенныхъ рѣшительныхъ словъ. Онъ это запоминаетъ, и такимъ образомъ его дрессировка подвигается понемногу впередъ. У насъ принято воспитывать, т. е. дѣйствовать авторитетомъ до тѣхъ поръ, пока есть какая нибудь возможность поддержать авторитетъ. Вслѣдствіе этого, даже мужья воспитываютъ своихъ женъ, т. е. читаютъ имъ нравоученія; иногда бываетъ и на оборотъ, что также имѣетъ свою оригинальную прелесть. Теперь, я думаю, будетъ понятно, почему я говорилъ, что воспитывать слѣдуетъ какъ можно менѣе, и что воспитаніе уже въ самомъ раннемъ возрастѣ можетъ и должно уступать мѣсто образованію. Воспитаніе ставитъ воспитателя между ребенкомъ и окружающею природою, а образованіе ставитъ ребенка въ непосредственныя отношенія къ этой природѣ. Воспитаніе заставляетъ только повиноваться, а образованіе учитъ будущаго человѣка жить и распоряжаться своими силами. Я думаю, нѣтъ надобности доказывать, что образованіе можетъ и должно начинаться съ перваго проблеска мысли въ ребенкѣ, и что оно во всякомъ случаѣ, даже у насъ, начинается гораздо раньше перваго книжнаго ученія.

IV.

Я особенно настоятельно обращаю вниманіе читателя на ту мысль, что у насъ образованіе сдвлено между нравственнымъ воспитаніемъ и

и ученіемъ спеціальности. Эта мысль, къ которой мы пришли путемъ предшествующихъ разсужденій, даетъ намъ ключъ къ пониманію многихъ странныхъ явленій нашей педагогической практики. Когда ребенокъ начинаетъ ходить и говорить, то первыя старанія родителей направляются на то, чтобы покорить возникающую силу, подчинить ее посторонней волѣ, не допустить ее до сознанія того, что она сама — сила, способная крѣпнуть, развиваться, расширять свою дѣятельность и свои права. Прежде всего ребенокъ долженъ быть послушнымъ сыномъ или послушною дочерью; поэтому ему внушается ежеминутно, что онъ самъ ничтоженъ, слабъ, зависимъ, неспособенъ понимать, что ему полезно и вредно; стараются даже доказать ему, что онъ не умѣетъ различать пріятное и непріятное; но этому послѣднему посягательству на его чувства и волю ребенокъ не поддается никогда. На различіи пріятнаго и непріятнаго онъ основываетъ всю свою оппозицію противъ притязаній взрослыхъ. Онъ знаетъ очень хорошо, чего ему хочется и чего не хочется; его желанія называютъ капризами, но это его не смущаетъ; въ капризахъ проявляются первые задатки характера, и эти задатки, противъ которыхъ направлены всѣ усилія воспитателей, все-таки развиваются и въ концѣ концовъ заставляютъ признать свою законность. Вѣдь и Меттернихъ считалъ національныя стремленія итальянцевъ предосудительнымъ капризомъ, а теперь непризнаваніе итальянскаго королевства покажется всякому здравомыслящему человѣку пустымъ дипломатическимъ упорствомъ. Такъ точно бываетъ и въ частной жизни съ тѣми воспитателями, которые ведутъ ожесточенную войну съ такъ называемыми капризами своихъ питомцевъ. Эта ожесточенная война нисколько не ослабѣваетъ тогда, когда начинается книжное ученіе. Напротивъ того, книжное ученіе даетъ каждый день новые матеріалы для педагогическихъ распрей. Ребенокъ лѣнивъ, ребенокъ невнимателенъ, все это надо побѣждать и искоренять; гдѣ же тутъ думать о перемиріи? Воспитаніе широкою волною врывается въ собственное поле образованія. Знанія превращаются въ нравоученія. Учитель не спрашиваетъ объ умственныхъ потребностяхъ ребенка, не старается ихъ пробудить и не заботится объ удовлетвореніи тѣхъ потребностей, которыя уже пробудились сами собою. Всякая умственная потребность, являющаяся безъ призыва, встрѣчается, какъ незванная гостья, — а извѣстно, что незванный гость хуже татарина. Такая нескромная потребность обыкновенно считается такимъ же капризомъ, какъ и всякое другое желаніе ребенка, не входящее въ педагогическіе расчеты воспитателя. Ученіе не отвѣчаетъ на вопросы ребенка и никогда не бываетъ расположено такъ, чтобы ребенокъ самъ понималъ его необходимость. Ребенку говорится съ самаго начала, что онъ долженъ учиться для своей же пользы. Эти сакраментальныя слова: «это, душенька, для тво-

ей же пользы» хорошо известны всякому ребенку. Эти слова всегда произносятся въ заключеніи каждаго правоученія, каждой распечки, даже каждаго наказанія розгой или другимъ орудіемъ. Это послѣдній аргументъ, *ultima ratio*, послѣ котораго воспитатель говоритъ себѣ, что онъ все объяснилъ ребенку и что ребенокъ окажется неблагодарнымъ животнымъ, если не дастъ съ радостью завязать себѣ глаза и не побѣжитъ съ завязанными глазами, по голосу своего воспитателя, всюду, куда прикажутъ. И дѣйствительно, надо сказать правду, только особенно даровитые ребята оказываются неблагодарными животными. Большинство дѣтей такъ благовоспитано, что путешествіе съ завязанными глазами не представляетъ уже для нихъ ничего необыкновеннаго. Нельзя сказать, чтобы слова: «это, душенька, для твоей же пользы» особенно глубоко врѣзались въ ихъ умъ; они вовсе не думаютъ, что это ихъ польза; они не пылаютъ фанатическою вѣрою въ непогрѣшимость своихъ учителей, потому что такую фанатическую вѣру способна возбудить только высоко даровитая личность. Они просто измяты и усыплены воспитаніемъ; они привыкли кому нибудь повиноваться и не умѣютъ ни разсуждать, ни горячо вѣрить. Они смотрятъ на свои уроки, какъ мужики на барщину; «нельзя же безъ этого; добромъ не сдѣлаешь, такъ насильно заставляютъ». Они и дѣлаютъ добромъ, чтобы не вышло неприятности. Такимъ образомъ пріобрѣтается привычка, которая всегда сохраняется далеко за предѣлами дѣтства и часто сопровождаетъ человѣка до гробовой доски. Ребенокъ учитъ урокъ, потому что такъ велѣно; гимназистъ зубритъ къ экзамену, потому что такъ заведено; студентъ записываетъ безтолковую лекцію, потому что она назначена по росписанію; гимназическій учитель требуетъ отъ ученика твердаго знанія урока, потому что онъ на то поставленъ; профессоръ читаетъ безтолковую лекцію, потому что его за тѣмъ посадили на кафедру. Словомъ, одинъ толкаетъ другого, не зная куда и зачѣмъ, и другой также не знаетъ, куда и зачѣмъ толкаетъ его одинъ, — но не спрашиваетъ объ этомъ, слѣдуетъ импульсу, и зачѣмъ въ свою очередь начинается толкать невиннаго третьяго. *Regretium mobile*, котораго тщетно ищетъ механика, блистательнымъ образомъ найдено и осуществлено въ нашей педагогической и житейской практикѣ. Такъ какъ образованіе наше нисколько не обусловливается собственными потребностями ребенка, то чѣмъ же опредѣляется кругъ предметовъ, входящихъ въ его составъ? Если ребенку слѣдуетъ поступить въ казенное заведеніе, то кругъ предметовъ опредѣляется печатною программой; а если ребенокъ — дѣвочка, и если ей предстоитъ закончить свое образованіе въ родительскомъ домѣ, то кругъ предметовъ опредѣляется тѣми требованіями, которыя возбуждаютъ неопредѣленный идеалъ *jeune personne charmante et bien élevée*. Вы видите, что къ воспитатель-

ному элементу примѣшивается элементъ специальности. Иногда примѣшивается съ первыхъ дней жизни ребенка. Бываютъ родители, которые знаютъ заранѣе, что старшій ихъ сынъ будетъ фельдмаршаломъ, второй адмираломъ, а третій министромъ финансовъ. Сообразно съ этими предначертаніями располагается и воспитаніе, но такихъ родителей уже теперь немного; кромѣ того, это уже крайности, а я хочу говорить только о лучшихъ явленіяхъ нашей педагогической практики. Даже въ этихъ лучшихъ явленіяхъ элементъ специальности примѣшивается къ образованію очень рано. Что касается до женщинъ, то онѣ всѣ спеціалисты, потому что воспитываются или для свѣтской жизни, или для кухни, или для мѣста гувернантки. Но о женскомъ воспитаніи я говорить не буду. Посмотримъ, какой же кругъ предметовъ назначается и требуется печатными программами, которыя имѣютъ такое неотразимое вліяніе на ходъ образованія мальчиковъ въ достаточныхъ и просвѣщенныхъ классахъ нашего общества. Мы можемъ принять за норму программу гимназій, потому что всѣ другія программы гражданскихъ и военноучебныхъ заведеній представляютъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ классахъ, очень незначительныя отклоненія отъ программы гимназій.

V.

Перечислить отдѣльные предметы, входящіе въ гимназическую программу, очень легко, но опредѣлить, хоть въ общихъ чертахъ, планъ и характеръ нашего гимназическаго образованія совершенно невозможно, по той простой причинѣ, что плана и характера въ немъ положительно нѣтъ.

Представьте себѣ, что я держу въ рукахъ маленькую и очень простую акварельную картинку. Вы умѣете рисовать и сидите въ другой комнатѣ; передъ вами лежатъ на столѣ листъ бумаги, кисти и всѣ тѣ краски, которыми нарисована моя картинка. Я начинаю вамъ диктовать: полвершка желтой краски, три штриха зеленой, два вершка въ длину и полтора въ ширину лиловой, и т. д. Я диктую совершенно вѣрно, и систематически-послѣдовательно иду сверху внизъ, и отъ лѣвой руки къ правой, но не смотря на то, и не смотря на вашъ художественный талантъ, я позволяю себѣ усомниться въ томъ, чтобы на вашей бумагѣ изобразилась моя картина, или вообще какая нибудь другая картина. Именно такимъ образомъ диктовала намъ Европа, и особенно Германія, программы своихъ заведеній, такія программы, которыя и на своемъ-то мѣстѣ не приносили никакой пользы. А ужъ что изъ нихъ вышло

у насъ—такъ этого и разсказать невозможно. Въ послѣднее время, съ легкой руки «Русскаго Вѣстника», за подобную диктовку хотѣла приняться Англія. Являлось въ журналахъ мнѣніе, что слѣдуетъ усилить у насъ классическое образованіе, потому, дескать, что оно господствуетъ въ Англіи, а Англія держава просвѣщенная, и граждане пользуются всѣми благами общественной жизни, и ораторы ея очень замѣчательны, и государственные люди дальновидны, и ученые глубокомысленны. Покуда мы съ приверженцами классическаго образованія не будемъ ни спорить, ни соглашаться. Замѣтимъ только, что школьное образованіе въ Европѣ находится еще подъ вліяніемъ тѣхъ идей, которыя вложили въ него гуманисты, жившіе въ эпоху возрожденія и во время реформациі. Въ концѣ XV-го и въ началѣ XVI столѣтія, всѣ мыслящіе люди Европы были увлечены обожаніемъ классической древности, и это было хорошо, потому что лучше увлекаться идеями Цицерона и Платона, лучше восхищаться красотами Гомера и красивыми словами Виргилія, чѣмъ тупѣть надъ средневѣковой схоластической гнилью. Увлеченіе греками и римлянами конечно хватило черезъ край. Латинскій языкъ, постоянно оставшійся языкомъ церкви и права, вытѣснилъ народныя языки изъ литературы и науки. Даже лютеровъ переводъ библіи на нѣмецкій языкъ не положилъ предѣла тираническому господству латинскаго языка. На латинскомъ писались и стихотворенія, и богословскіе трактаты, и ученныя изслѣдованія, и политическіе памфлеты. При такомъ положеніи дѣлъ, латинскій языкъ долженъ былъ твердо укорениться въ школахъ.

Кромѣ того, все школьное образованіе должно было сложиться по образцу классической древности, съ тѣми только измѣненіями, которыя требовала христіанская религія. Такимъ образомъ и явилось на свѣтъ такъ называемое гуманное образованіе, которому противопоставляютъ образованіе реальное, и котораго жалкіе и искаженные ломотья составляютъ нашъ гимназическій курсъ. Въ Греціи и въ Римѣ образованіе было исключительно словесное. Преподавались грамматика, риторика и философія. Къ этому присоединялось кое-что изъ математики и разныя гаданія объ астрономіи. Естественныхъ наукъ не было. Наука вообще въ древнемъ мірѣ не существовала, потому что соображенія Аристотеля и Платона о мірозданіи и человѣкѣ, нравившіяся такъ сильно древнимъ и среднимъ вѣкамъ, конечно не могутъ быть названы наукою. Математика была еще мало развита, и вліяніе ея на общее образованіе было незначительно. Стало быть, грекъ или римлянинъ въ школѣ выучивался только хорошо говорить и хорошо писать. Анофеева фразерства была доведена до такой наивной крайности, до которой она не можетъ дойти въ нашъ лицемерный вѣкъ. Мы фразерствуемъ стыдливо и стараемся увѣрить всѣхъ, что говоримъ просто и дѣльно, а

грѣхъ и, глядя на него, римлянинѣ фразерствовали гордо и откровенно, потому что фразерство было и наукою, и искусствомъ, и высшимъ достоинствомъ человѣка, и лучшею доблестью гражданина, и вѣрнѣйшимъ средствомъ ворочать, по своему благоусмотрѣнію, судьбою городовъ и республикъ. Фразерство пользовалось всемогуществомъ во время лучшихъ дней греческой и римской свободы, и это всемогущество фразы было, конечно, одною изъ мрачныхъ сторонъ этого быта. Когда пала свобода Греціи и Рима, тогда фраза потеряла свою силу, потому что эта сила перешла въ македонскую фалангу и въ преторіанскую когорту. Но въ школѣ фраза продолжала господствовать, потому что больше не на чемъ было построить обученіе. Изъ римскихъ школъ фраза, потерявшая смыслъ и силу, перешла въ средневѣковыя училища, потомъ въ школы гуманистовъ, гдѣ она немножко освѣжилась отъ соприкосновенія съ литературными памятниками классической древности, и наконецъ отъ гуманистовъ къ намъ, черезъ Польшу и Кіевъ, черезъ занюхоспасскую академію и бурсы; та же самая классическая фраза забралась въ гимназіи и даже въ кадетскіе корпуса. Кое-что приставили, кое-что урѣзали, и образовался гимназическій курсъ, въ которомъ, какъ я уже говорилъ, всѣ предметы враждуютъ между собою и неутомимо преслѣдуютъ и истребляютъ другъ друга. Чтобы доискаться до какого нибудь смысла въ нашемъ гимназическомъ или общемъ образованіи, необходимо было отправиться въ историческую экскурсію и добраться до грековъ, потому что только тамъ, въ этомъ первобытномъ источникѣ, словесное или гуманное образованіе имѣло смыслъ и значеніе, а мы обнашиваемъ теперь чужіе обноски, въ которыхъ уже не видно ни цвѣта, ни покроя, ни качества матеріи. Я, конечно, оставляю, въ моемъ обзорѣ, преподаваніе закона божія всторону; судить о томъ, хорошо или дурно ведется это преподаваніе, я предоставляю специалистамъ, какъ людямъ болѣе компетентнымъ. Но, кромѣ закона божія, мы имѣемъ великое множество наукъ.

Исторія, географія, математика, физика, русская грамматика, риторика съ пѣтикой, носящія болѣе современное названіе теоріи словесности, исторія русской литературы, латинскій языкъ, въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ греческій, языки французскій и нѣмецкій. Помилуйте! Да можетъ ли быть что нибудь роскошнѣе этой программы, особенно если мы вспомнимъ, что вмѣсто греческаго языка въ большей части гимназій преподаются законовѣдѣніе и естественная исторія. (Sic!) Но замѣчаете ли вы странное явленіе. Математика и физика стоятъ совершенно одиночно въ этой роскошной программѣ, точно незванные гости, зашедшіе по ошибкѣ въ незнакомое общество. Онѣ такъ и жмутся другъ къ другу; обыкновенно учитель математики преподаетъ и физику. А въ тѣхъ классахъ гимназій, гдѣ еще нѣтъ физики, математика оказывается

совершенной сиротой, и потому поневолѣ примѣняется къ обычаямъ и манерамъ всего остального общества. Всѣ другіе предметы обращаются къ памяти учениковъ; такое обращеніе вовсе не нравится математикѣ, но съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходять, и она, скрѣпя сердце, покоряется господствующему порядку. Значить, математику и физику, какъ личности страдательныя и ни въ чемъ неповинныя, мы можемъ оставить всторонѣ. Онѣ бы и рады были помочь горю и предохранить гимназистовъ отъ угрожающаго имъ оступленія, но сила остальныхъ наукъ слишкомъ велика, такъ что противъ нихъ невозможно бороться. Вотъ, напримѣръ, исторія. У насъ принято думать, что это великая и прекрасная наука, что дѣти и юноши должны развивать свой умъ и облагораживать сердце, читая дѣянія патріотовъ Греціи и Рима и умиляясь душою надъ священными страницами отечественнаго бытописанія. У насъ принято даже говорить объ исторіи высокимъ слогомъ, что я и старался исполнить въ предыдущей моей фразѣ. У насъ, далѣе, принято негодовать противъ гг. Кайданова, Смаградова, Зуева и Устрялова; принято утверждать, что эти почтенные дѣятели написали очень плохіе учебники, и что только по милости этихъ учебниковъ не достигаются тѣ возвышенныя цѣли, къ которымъ должно вести преподаваніе исторіи въ гимназіяхъ. Кто только не бранилъ поименованныхъ господъ, кто не изощрялъ надъ ними своего копѣчнаго остроумія! «Намъ, говорятъ эти остряки, необходимы хорошіе историческіе учебники для гимназій. Это наша настоящая потребность. Пора, пора обратить на нее вниманіе». Затѣмъ слѣдуютъ знаки восклицательныя, многоточія и другія печатныя выраженія взволнованныхъ чувствъ. А между тѣмъ, все это пустяки. Учебники нигуда не годятся, это правда. Но новыхъ учебниковъ совсѣмъ не нужно; они также нигуда не будутъ годиться, потому что учебникъ исторіи для гимназій — бессмыслица, невозможная книга, неосуществимая мечта. Рациональное преподаваніе исторіи въ гимназіи также мечта, которая ни при какихъ условіяхъ осуществиться не можетъ.

VI.

Мое мнѣніе объ исторіи требуетъ доказательствъ, и я не откажу въ нихъ читателю, но предупреждаю его, что мнѣ придется доказывать это довольно долго, и что поэтому читатель не долженъ гнѣваться на меня за отклоненіе отъ главнаго предмета статьи. Въ настоящее время

исторія есть списокъ собственныхъ именъ, связанныхъ между собою разными глаголами и пересыпанныхъ цифрами годовъ: Антонъ поколотилъ Сидора въ такомъ-то году, а потомъ Сидоръ соединился съ Егоромъ, и пошелъ на Антона въ такомъ-то году, и вздуть его при такомъ-то городѣ, и выгнать его изъ такого-то царства. Потомъ Сидоръ съ Егоромъ передрались за добычу; потомъ Егоръ женился на дочери Сидора, Феклѣ, въ такомъ-то году, и получилъ за нею въ приданое такіе-то города; потомъ... Ну, и такъ далѣе,—вотъ образецъ той исторіи, которую изучаютъ наши гимназисты. Говорятъ, это нехорошо; это, говорятъ, отъ учебниковъ; слѣдуетъ ученикамъ видѣть внутреннее развитіе народной жизни, слѣдуетъ понимать историческій колоритъ событій, слѣдуетъ постигать связь между великими причинами и великими слѣдствіями... Ну да! Мало ли что слѣдуетъ! Да вѣдь все это однѣ фразы! Вы попробуйте приложить ихъ къ отдѣльному историческому эпизоду. Возьмите, напримѣръ, изъ римской исторіи, дѣятельность Гракховъ. Гимназистъ бойко расскажетъ вамъ, что Тиверій и Кай Гракхъ были украшеніемъ и гордостью матери своей Корнелии, потомъ Тиверій сдѣлался народнымъ трибуномъ и захотѣлъ раздѣлить между бѣдными гражданами общественныя земли—*ager publicus*, потомъ сенатъ перепугался и сталъ хитрить, наконецъ перехитрилъ Тиверія, и наконецъ—Тиверія убили въ народномъ собраніи. И это онъ вамъ расскажетъ по Смарагову, и конечно гораздо подробнѣе и краснорѣчивѣе, чѣмъ я вамъ рассказалъ. Ну чего жъ вамъ больше? Какого вамъ историческаго колорита? Вѣдь все, кажется, на своемъ мѣстѣ: и сенатъ, и народное собраніе, и трибунъ, и плебей, и даже по-латини *ager publicus*. Вы отъ гимназиста ничего больше требовать не можете, а между тѣмъ, это то же самое, что повѣствованіе о Егорѣ, Антонѣ, Сидорѣ и дочери его Феклѣ. Гимназистъ очевидно не понимаетъ, отчего Тиверію вдругъ вздумалось осчастливить бѣдныхъ, и отчего именно землю, а не деньгами, и откуда взялись эти бѣдные, и отчего сенату было выгодно, чтобы они оставались бѣдными, и отчего сенату удалось перехитрить Тиверія, и отчего все предпріятіе рухнуло, и отчего бѣдные никакъ не могли сдѣлаться землевладѣльцами. Словомъ, гимназистъ во всей дѣятельности Тиверія Гракха не понимаетъ ничего и понимать ничего не можетъ. Его нисколько не удивило, если бы вдругъ оказалось у Смарагова, что Тиверій настроилъ кораблей, посадилъ туда всѣхъ бѣдныхъ, поѣхалъ съ ними черезъ Геркулесовы столбы, присталъ къ берегамъ Британіи, основалъ королевство и сдѣлался родоначальникомъ династіи Гракховъ. Гимназистъ принялъ бы этотъ исходъ дѣла такъ же равнодушно и не сказалъ бы его такъ же краснорѣчиво, какъ онъ принимаетъ и рассказываетъ дѣйствительное событіе. Чтобы не было этого равнодушія и краснорѣчія, гимназисту слѣдуетъ знать и понимать такое множество

различныхъ вещей, которое рѣдко совмѣщается въ надлежащей полнотѣ и ясности въ почтенной головѣ профессора исторіи. Ему надо знать напримѣръ, что такое трудъ и капиталъ, въ какихъ отношеніяхъ они находились между собою въ древнемъ Римѣ, каково было въ римской республикѣ распредѣленіе богатства, какія причины содѣйствовали переходу имуществъ изъ рукъ въ руки и сосредоточенію ихъ въ рукахъ немногихъ семействъ, каково было умственное и нравственное положеніе богачей и бѣдняковъ; далѣе, такое же множество разнородныхъ знаній необходимо и для пониманія личнаго характера Тиверія, для оцѣнки интригъ сената, для разумѣнія тѣхъ мрачныхъ и разрушительныхъ страстей, которыя сенатъ умѣлъ возбудить въ массѣ бѣдняковъ противъ того самого человѣка, который захотѣлъ ихъ облагодѣтельствовать. Вотъ и смекайте. Вѣдь чего добраго, для пониманія одного эпизода о Гракхахъ придется гимназисту прочитать нѣсколько объемистыхъ томовъ, придется заглянуть и въ политическую экономію, и въ философію исторіи, и въ римскія древности Нибура. Какъ же вы это желаете въ учебникъ вмѣстить? Если вы внесете въ учебникъ всѣ эти знанія въ видѣ краткихъ афоризмовъ, то книга значительно увеличится въ объемѣ, а гимназисту, вмѣсто одной исторіи о Сидорѣ и Егорѣ, придется заучивать десять исторій, потому что ваши краткіе афоризмы будутъ для него голыми фактами, которые онъ будетъ брать приступомъ, на память, съ равнодушіемъ и краснорѣчіемъ. Надо вообще твердо запомнить, что тысяча прочтенныхъ страницъ можетъ оставить по себѣ ясное понятіе о предметѣ, а экстрактъ изъ этихъ тысячи страницъ, заключающій въ себѣ, напримѣръ, страницъ пятьдесятъ, не оставляетъ никакого понятія, и можетъ быть только затверженъ на память. Стало быть, приходится—или удовлетвориться разсказомъ по Смарагдову, или написать учебникъ всеобщей исторіи томовъ въ пятьдесятъ, или наконецъ, прежде изученія исторіи сообщить ученику множество юридическихъ, политическихъ и экономическихъ свѣдѣній. Но Смарагдовымъ вы удовлетвориться не хотите, и я тоже не хочу. Стало быть, напишемъ учебникъ въ пятьдесятъ томовъ. Хорошо. Но это будетъ не учебникъ, а книга для чтенія. Ну, такъ начнемъ сообщать предварительныя свѣдѣнія, а потомъ уже учиться исторіи. Опять-таки хорошо. Но тогда намъ придется въ гимназіи сообщать предварительныя свѣдѣнія, а исторію отложить на будущее время, и тогда уже читать лекціи исторіи, а не задавать уроки по учебнику.

Противъ этихъ двухъ выходовъ я ровно ничего не могу возразить. Пусть гимназисты читаютъ историческія сочиненія, если они ихъ понимаютъ и находятъ ихъ занимательными. Пусть имъ преподаютъ въ гимназіи основныя понятія о народномъ хозяйствѣ, о государственныхъ системахъ, о юридическихъ отношеніяхъ, ежели только сумѣютъ пре-

подавать эти мудренныя и щекотливыя вещи такъ, чтобы онѣ были понятны и оставались неизуродованными. Но пусть не сваливаютъ этого разнороднаго матеріала въ одинъ общій ящикъ съ надписью «учебникъ исторіи», и пусть не требуютъ отъ этого учебника такихъ чудесъ, которыя онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ совершить. Вѣдь исторія не наука; это—приложеніе всѣхъ наличныхъ знаній и всего наличнаго ума человѣка къ пониманію прошедшей жизни; поэтому, два различные человѣка на основаніи однихъ и тѣхъ же памятниковъ напишутъ двѣ исторіи совершенно различнаго достоинства; поэтому пониманіе важныхъ историческихъ событій измѣняется съ каждымъ десятилѣтіемъ, хотя бы въ это десятилѣтіе и не открылось никакихъ новыхъ памятниковъ и матеріаловъ. Самый тупой и неразвитый человѣкъ можетъ написать исторію, но она будетъ отражать въ себѣ бессмысленную фязіономію своего творца. А если напишетъ исторію гениальный и очень образованный человѣкъ, то его твореніе будетъ великолѣпно и бессмертно. Понимать исторію мы также можемъ только сообразно съ нашими умственными силами и съ шириною нашего развитія. Шекспиръ самъ по себѣ не измѣняется, но если вы читали его, когда вамъ было четырнадцать лѣтъ, и потомъ прочли его, когда вамъ минуло двадцать лѣтъ, то навѣрное первое впечатлѣніе было значительно слабѣе и смутнѣе послѣдняго. Исторія, написанная замѣчательнымъ человѣкомъ,—тотъ же Шекспиръ; а исторія, составленная какимъ нибудь Капфигомъ или г. Устряловымъ, то же самое, что романъ г. Воскресенскаго или Рафаила Зотова. Перваго рода исторію слѣдуетъ понимать, а второго рода — со всѣмъ читать не стоитъ. А чтобы понимать, надо стоять на извѣстной степени развитія. Но, если никто не принуждаетъ гимназистовъ читать историческія книги, тогда нѣтъ бѣды въ этомъ, что они возьмутъ въ руки такія сочиненія, которыя еще не вполне доступны ихъ пониманію. Не поймутъ—такъ оставятъ, а если будутъ читать, значить—находятъ удовольствіе и, стало быть, что нибудь понимаютъ. Я встаю только противъ обязательнаго изученія исторіи и противъ обязательнаго чтенія историческихъ книгъ. Эта обязательность прямо наваливаетъ на молодой умъ непосильный грузъ и, слѣдовательно, неизбѣжно ведетъ за собою отупѣніе и упадокъ мыслительной силы.

VII.

Географія, конечно, можетъ и должна быть преподаваема въ гимназіяхъ, но конечно не такъ, какъ она преподается теперь. Вину пло-

хого преподаванія сваливаютъ на учебники, и въ э ть случаѣ кресто-
вый походъ противъ плохихъ учебниковъ оказывается такою же смѣш-
ною несообразностью, какою онъ оказался въ дѣлѣ гг. Смарагдова и
компаніи. Существенный недостатокъ въ преподаваніи географіи заклю-
чается въ томъ, что политическая географія преобладаетъ надъ физи-
ческою, а этотъ недостатокъ можетъ быть устраненъ только тогда, когда
географія будетъ преподаваться въ тѣсной связи съ геологіею, бота-
никою и зоологіею. Въ нашихъ географическихъ учебникахъ стоятъ на
первомъ планѣ имена горъ, рѣкъ, озеръ, мысовъ и особенно городовъ; но
въ нихъ есть также замѣчанія о почвѣ, климатѣ и естественныхъ произве-
деніяхъ. На эти замѣчанія ни учитель географіи, ни его ученики не обра-
щаютъ никакого вниманія, и дѣйствительно, вниманія обращать не стоитъ,
потому что замѣчанія гласятъ обыкновенно, что почва плодородная, кли-
матъ благодѣтельный, или умѣренный, или холодный, произведеній мно-
го, и всѣхъ не упомянуть. Стало быть, если о плодородіи почвы отозваться
умѣренно, а о климатѣ сообразить приблизительно по градусу широты,
то дѣло сойдеть благополучно. А насчетъ произведеній учитель рѣдко
спрашиваетъ; вѣдь онъ видитъ, что ученикъ запомнилъ нѣсколько десятковъ
именъ, означающихъ горы, рѣки и города; къ чему же ему гнаться еще
за дюжиною именъ въ родѣ банановъ, пататовъ, боабабовъ, кокосовыхъ
пальмъ, орангъ-утанговъ, тапировъ, кенгуру, орниториновыхъ; для уче-
ника, незнакомаго съ естественными науками, это все такія же имена, какъ
Камбоджа, Брамипутра, Давалагирри, Чандернагоръ и т. д. А если бы
учитель взлся объяснять каждое изъ именъ, означающихъ диковинныя
растенія, или принадлежащихъ диковиннымъ животнымъ, то ему при-
шлось бы сдѣлать въ преподаваніи своего предмета цѣлый переворотъ, и
переворотъ этотъ принесъ бы очень мало пользы, потому что двѣ само-
стоятельныя науки, ботаника и зоологія, не могутъ быть сообщены уче-
никамъ между прочимъ, въ прибавленіи въ урокамъ географіи.

Ни учебникъ, ни учитель географіи не могутъ своими средствами
исправить общій недостатокъ системы. Географія прежде всего должна
быть описаніемъ земли. Она должна дать ученику рядъ картинъ, пока-
зывающихъ ему, какъ размѣщены на земномъ шарѣ минералы, растенія,
животныя и люди. Она должна объяснить ему связь, существующую
между этими произведеніями съ одной стороны и устройствомъ поверх-
ности, орошеніемъ, свойствами почвы и климатическими условіями съ
другой стороны. Словомъ, дѣло географіи показать общую связь отдѣль-
ныхъ частей; ея дѣло нарисовать общія картины природы. Но исполнить
эту важную и трудную задачу она можетъ только въ томъ случаѣ, если
отдѣльныя части будутъ уже извѣстны учащимся. Географія можетъ и
должна опираться на всѣ естественныя науки, но замѣнять ихъ собою
она не можетъ, потому что въ такомъ случаѣ ей пришлось бы обра-

тятся въ необъятную энциклопедію, наполниться множествомъ эпизодическихъ подробностей, и слѣдовательно, совершенно упустить изъ виду свою единственную законную цѣль. Стало быть, учебники наши ни въ чемъ невиноваты, они совершенно соотвѣтствуютъ общимъ требованіямъ системы, и хорошіе учебники могутъ возникнуть только тогда, когда будетъ перестроена вся система. Теперь преподаваніе географіи впадаетъ въ тѣ же роковыя ошибки, которыя я указалъ въ преподаваніи исторіи. Въмѣсто того, чтобы описывать землю, географія старается описывать государства, или другими словами, старается представить картину современной жизни человѣчества, точно также, какъ исторія усиливается представить картину прошедшей жизни человѣчества. Старанія географіи, въ этомъ случаѣ, такъ же бесплодны, какъ усилія исторіи. Могутъ ли ученики понять, что такое правительство монархическое неограниченное, монархическое ограниченное, республиканское? что такое религія римско-католическая, лютеранская и англиканская? что такое университеты, ученныя и учебныя заведенія, заводы, фабрики и мануфактуры, гавани и крѣпости, и другія слова, которыми для разнообразія пересыпаны собственныя имена городовъ? что такое каналы, доки, верфи, таможи, биржи? что такое мѣсторожденія замѣчательныхъ людей, которыхъ ими попадаетъ ученику въ первый разъ въ жизни, и что такое памятники, воздвигнутые въ честь этихъ людей или въ воспоминаніе событій, о которыхъ ученикъ также не слыхалъ никогда? Чтобы объяснить ученику различные образы правленія, надо прочесть ему сравнительный обзоръ европейскихъ конституцій; чтобы слова римско-католическій, лютеранскій и т. д. не были для него звуками, лишенными значенія, надо познакомить его съ параллельною исторіею религій; другія, приведенныя мною, слова: университеты, заводы, гавани и т. д. употребляются нами такъ часто, что мы не отдаемъ себѣ отчета въ ихъ неясности; но подумайте, возбуждаютъ ли эти слова въ умѣ ученика какія нибудь опредѣленныя представленія? Онъ присмотрѣлся къ нимъ; слово знакомо, но о томъ предметѣ, который обозначается этимъ словомъ, онъ не имѣетъ никакого понятія. Чтобы дать ему это понятіе, надо, по поводу каждаго отдѣльнаго слова, прочесть ему нѣсколько лекцій; въ географіи надо будетъ ввести множество экономическихъ, политическихъ, юридическихъ и техническихъ свѣдѣній и подробностей. А всего лучше поступить съ преподаваніемъ политической географіи также, какъ я совѣтовалъ поступить съ преподаваніемъ исторіи. Политическая географія предметъ очень сложный; поэтому слѣдуетъ преподавать ее тогда, когда ученики усвоятъ себѣ понятіе о простыхъ элементахъ, входящихъ въ ея составъ. Но политическія и экономическія свѣдѣнія вообще должны быть передаваемы юношамъ уже развитымъ и способнымъ мыслить; стало быть, всего лучше отложить о нихъ попеченіе въ гимназій и сосредото-

чить все вниманіе учениковъ на физической географіи, поддерживаемой основательнымъ изученіемъ естественныхъ наукъ.

Кстати о естественныхъ наукахъ. Многіе замѣтятъ, быть можетъ, что естественныя науки и теперь преподаются въ тѣхъ гимназіяхъ, въ которыхъ нѣтъ греческаго языка. Это замѣчаніе конечно не можетъ считаться серьезнымъ. Вы можете себѣ представить, что это за преподаваніе. Припомните только, что вмѣсто одного греческаго языка вводятся два предмета: законовѣдѣніе и естественная исторія. Стало быть, всѣ естественныя науки, вмѣстѣ взятыя, соотвѣтствуютъ половинѣ греческаго языка. Потомъ, что это за наука «естественная исторія»? Это вынегреть изъ минералогіи, ботаники и зоологіи, и вынегреть этотъ подается на столъ однимъ учителемъ. Тутъ, очевидно, можно ожидать только изобилія терминовъ и классификацій, или же, для разнообразія, бюфоновскихъ разсказовъ о трогательной вѣрности собаки и объ изумительной смышлености бобра. Такія естественныя науки, конечно, не могутъ служить опорой для физической географіи. Но даже естественная исторія все-таки лучше всеобщей исторіи и политической географіи. Вѣрность собаки и смышленость бобра по крайней мѣрѣ понятны ученикамъ, а дѣйствія Тиверія Гракха или монархическое ограниченное правленіе Англіи оказываются для учениковъ китайскою грамотою. Надо принять себѣ за неизмѣнное правило ту основную педагогическую истину, что ученику слѣдуетъ говорить только то, что его интересуетъ, или то, что онъ можетъ исполнѣ понять. Приобрѣтаемая въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ привычка встрѣчать незнакомыя понятія и свыкаться съ ними, не проникнувъ въ ихъ смыслъ, привычка читать книги, не отдавая себѣ отчета въ ихъ содержаніи, привычка скользить надъ трудностями, не желая ихъ замѣтить, эта привычка прямо ведетъ къ разслабленію и къ вялости мысли, къ неизлечимому фразерству, къ бессознательному и безысходному шарлатанству.

VIII.

О преподаваніи русской грамматики распространяться нечего. Оно идетъ недурно, и, конечно, оно совершенно необходимо, какъ естественное и неизбежное продолженіе азбуки. Остается желать ему тѣхъ улучшеній, которые понемногу проникаютъ во всякое преподаваніе, по мѣрѣ развитія и уясненія общихъ понятій о рациональныхъ педагогическихъ приемахъ. Въ грамматикѣ не можетъ быть никакихъ радикальныхъ преобразованій, и поэтому я отодвигаю ее всторону.

Но неуждно ли вамъ взглянуть на теорію словесности и на исторію

русской литературы, поглощающія въ жизни гимназистовъ отъ трехъ до четырехъ лѣтъ. Эти два предмета начинаются въ четвертомъ классѣ и сопровождаютъ учениковъ до седьмого включительно. Подъ именемъ теоріи словесности укрываются, съ несвойственной имъ стыдливостью, риторика и пѣтика, тѣ самыя науки, которыя до сихъ поръ открыто свирѣпствуютъ въ семинаріяхъ, отравляя жизнь бурсака и наполняя его несчастную голову непроходимую чепухою. Къ этимъ двумъ знаменитымъ наукамъ присоединяется кусочекъ формальной логики; есть даже покушенія на эстетику; впрочемъ, гдѣ тотъ смертный, который отважится разграничить эти науки? Кто догадается, гдѣ кончается логика и начинается риторика? Кто отличитъ пѣтику отъ эстетики? И какой здравомыслящій человѣкъ объяснитъ намъ, на что годятся всѣ эти четыре науки, вмѣстѣ взятыя? Гимназическая программа желаетъ вѣроятно, чтобы онѣ умягчали жестокія сердца буйныхъ и строптивыхъ учениковъ. Извѣстно, что изящныя искусства поселяютъ кротость и добродушіе въ суровые нравы дикарей; извѣстно, что даже животныя любятъ музыку и что камни слагались сами собою въ стѣны фиванской крѣпости подъ звуки лиры Амфіона. На основаніи всѣхъ этихъ историческихъ и зоологическихъ примѣровъ, гимназическая программа хочетъ умилишь и растрогать юныхъ питомцевъ разсужденіями объ изящномъ и о различныхъ его проявленіяхъ.

Я поневолѣ долженъ предположить въ теоріи словесности скрытую нравственную цѣль, потому что отыскать въ ея преподаваніи малѣйшую долю пользы для умственного развитія нѣтъ никакой возможности. Представленія, понятія и силлогизмы, метафоры, эпитеты, синекдохи, антитезы, опредѣленіе, опредѣленіе изящнаго, субъективность и объективность, пластическія и тоническія искусства, художественность и поэзія, трогательное и наивное, юморъ и иронія, дидактизмъ, драматизмъ, эпосъ, лирика — да если бы я захотѣлъ, я могъ бы наполнить словами десятки страницъ; и это море словъ льется сначала широкими и правильными волнами съ кафедры къ скамейкамъ, потомъ журчитъ робкими и перемежающимися ручейками отъ скамеекъ къ кафедрамъ; и въ подобныхъ занятіяхъ учитель и его ученики проводятъ еженедѣльно часа по три впродолженіи двухъ лѣтъ; и учителю несовѣстно глядѣть на своихъ учениковъ; и ученикамъ не смѣшно смотрѣть на своего учителя. Не явное ли это доказательство того чарующаго и смягчающаго вліянія, которое разсужденія объ изящныхъ предметахъ оказываютъ на самыя разнородныя организаціи? Учитель изливаетъ море словъ и, убаюканный его величественнымъ шумомъ, перестаетъ понимать то, что онъ дѣлаетъ, перестаетъ чувствовать подавляющую нелѣпость своего занятія. Ученикъ изливаетъ журчащій ручеекъ словъ и, также убаюканный его серебристымъ журчаніемъ, теряетъ свойственную гимназисту способность

видѣть смѣшную сторону вещей. Учитель и ученикъ баюкають другъ друга, и затѣмъ расходятся, успокоенные и умиротворенные.

Я прошу читателя извинить мой шуточный отзывъ о теоріи словесности; но мнѣ кажется, что объ этомъ предметѣ невозможно говорить серьезно. Вѣдь только тѣ остроумные люди, которые, при напряженіи всѣхъ своихъ умственныхъ силъ, дошли до отрицанія учебниковъ Кайданова и Смарагдова, только эти остроумные люди, говорю я, способны серьезно полемизировать противъ теоріи словесности. Я настолько уважаю моего читателя, что не причисляю его къ этимъ остроумнымъ людямъ. Поэтому я нахожу достаточнымъ напомнить читателю, что такое теорія словесности, и замѣтить ему, что этимъ предметомъ занимаются гимназисты въ продолженіи двухъ лѣтъ. Этого напоминанія и замѣчанія слишкомъ достаточно для того, чтобы произнести приговоръ надъ этою умиротворяющею наукой. Археологическое значеніе этой науки также заслуживаетъ вниманіе: мы сохранили ее со временъ Аристотеля въ полной чистотѣ и неприкосновенности. Живучесть фразерства ясно доказывается этимъ любопытнымъ обстоятельствомъ.

За теоріею словесности слѣдуетъ исторія русской литературы. Эта исторія, какъ и всѣ другія, представляетъ списокъ именъ, которыя навсегда останутся для ученика именами, ровно ничего собою незначащими. Жилъ-былъ Несторъ, написалъ лѣтопись; жилъ-былъ Кирилль Туровскій, написалъ проповѣдей много; жилъ-былъ Даніилъ заточникъ, написалъ Слово Даніила заточника; жилъ-былъ Серапіонъ, жилъ-былъ, жилъ-былъ, и всѣ они жили-были, и всѣ они что нибудь написали, и всѣхъ ихъ очень много, и до всѣхъ ихъ никому нѣтъ дѣла, кромѣ гимназистовъ и изслѣдователей старины. Когда дойдетъ дѣло до Ломоносова и Державина, тогда становится еще тошнѣе; приходится запоминать названія одъ и отрывки изъ нихъ, до которыхъ также дотыкаются только гимназисты и изслѣдователи. А ужъ когда доберутся до Пушкина, тогда надо спѣшить, потому что учебный годъ приходитъ къ концу; да и кромѣ того, гимназистамъ не полагается знакомиться съ новѣйшею литературою подробнѣе, чѣмъ съ словомъ Даніила Заточника и съ державинскою Фелицею.

Читатель мой, вы патріотъ, и я тоже патріотъ; вы всей душой любите русскую литературу, и я тоже люблю ее всей душой. Но допустимъ на минуту предположеніе, что наши высокія чувства не помрачаютъ нашего пронизательнаго ума; въ одну изъ такихъ предполагаемыхъ свѣтлыхъ минутъ, приложимъ перстъ ко лбу и подумаемъ: слѣдуетъ ли преподавать исторію русской литературы? Отрицательный отвѣтъ не замедлитъ привести насъ въ ужасъ, потому что, пока мы будемъ размышлять, свѣтлая минута пройдетъ, и отвѣтъ врѣжется въ туманъ нашихъ чувствъ, какъ злобѣщая молнія. Но если настанетъ еще свѣтлая мину-

та, тогда мы не побоймся сознаться передъ собой, что дѣйствительно сохранять отъ забвенія имена такихъ людей, которыхъ идеи и поступки не имѣютъ уже никакого вліянія на нашу умственную жизнь — трудъ тяжелый, неблагодарный, и кромѣ того, всегда безуспѣшный. Имена эти удерживаются въ памяти учащихся только до возжелѣннаго дня послѣдняго экзамена. Первые впечатлѣнія дѣйствительной жизни смываютъ безъ слѣда всѣ тепличныя растенія школы. Если случится, что молодой человѣкъ припомнить нечаянно какого нибудь Вассіана Рыло или Сильвестра Медвѣдева, или Аблесимова, Хераскова, Кострова, или два-три стиха Тредьяковскаго, Ломоносова или Державина, то онъ только улыбнется и проговоритъ про себя или вслухъ: чортъ знаетъ, чему насъ учили! И это скажетъ молодой человѣкъ, потому что у насъ всегда случается, что юноша, окончившій курсъ ученія, становится тотчасъ непримиримымъ врагомъ той системы преподаванія, которую онъ испыталъ на себѣ самомъ. Это враждебное отношеніе учащагося или учившагося къ школѣ составляетъ у насъ такое общее явленіе, къ которому мы совершенно приглядѣлись и въ которомъ мы не находимъ даже ничего ненормальнаго. А хорошо ли это явленіе? Не доказываетъ ли оно само по себѣ, независимо отъ всякихъ другихъ доказательствъ, что вся система нашего образованія нуждается въ тщательномъ пересмотрѣ, и что она можетъ освѣжиться и усовершенствоваться только вслѣдствіе радикальнаго переворота? Если бы были недовольны теперешнимъ преподаваніемъ десять, сто, тысяча воспитанниковъ и учениковъ, то причины этого неудовольствія могли бы быть случайныя, происходящія отъ собственной вины недовольныхъ. Но когда нельзя найти ни одного воспитанника, или ученика, который учился бы съ удовольствіемъ, изъ одной любви къ ученію, когда эта непріязнь къ школѣ сохраняется у людей, уже вышедшихъ изъ подъ ея вліянія, тогда дѣлается очевиднымъ, что школа не исполняетъ своего назначенія.

Однако, патріотическое чувство наше все таки оскорблено, читатель, и мы говоримъ, снова упиваясь туманомъ, что нельзя же народу забывать прошедшее своей умственной жизни. Но туманъ опять разсѣвается, и тогда мы соображаемъ, что прошедшее нашей умственной жизни всегда будетъ сохраняемо изслѣдователями. Кому надо ознакомиться съ старою русской литературы, духовной и свѣтской, тотъ найдетъ къ ней дорогу, помимо учебника Зеленецкаго, утвержденного департаментомъ народнаго просвѣщенія. А кому такое знакомство не кажется необходимымъ, того не обратитъ на путь истины даже учебникъ Зеленецкаго. Я думаю, не было еще примѣра, чтобы гимназическій курсъ русской литературы вселялъ въ кого нибудь любовь къ этому предмету. Учитель русской словесности, конечно, можетъ поддѣйствовать такимъ образомъ, но только въ томъ случаѣ, когда онъ будетъ разсуждать съ

учениками, и слѣдовательно, дѣйствовать на нихъ, какъ человѣкъ, а не какъ учитель. Наконецъ, не мѣшаешь посмотрѣть на дѣло слѣдующимъ образомъ: если мы будемъ думать, что наше умственное прошедшее можетъ сохраниться въ нашей памяти только при содѣйствіи обязательнаго ученія, то мы, стало быть, будемъ сомнѣваться въ патріотизмъ нашего юношества. Если патріотизмъ надо втолковывать въ школѣ и поддерживать экзаменами, то какой же это патріотизмъ? Вѣдь вынужденная добродѣтель теряетъ всю свою цѣну. Патріотъ поневолѣ — *le patriote malgré lui*—сюжетъ достойный Мольера и нисколько неуступающій въ комизмѣ сюжету: врачъ поневолѣ — *le médecin malgré lui*. Стало быть, нравственная сторона въ преподаваніи русской литературы оказывается несостоятельною. Что же касается до умственной стороны этого преподаванія, то несостоятельность ея не нуждается въ доказательствахъ. А что, если бы учитель, оставивъ въ сторонѣ теорію словесности и исторію русской литературы, началъ читать съ учениками лучшія поэмы и прозаическія сочиненія Пушкина, потомъ прочиталъ бы имъ всего Гоголя, кромѣ переписки съ друзьями, потомъ Кольцова, потомъ Тургенева и Островскаго, потомъ лучшія критическія статьи Бѣлинскаго и Добролюбова, потомъ нѣсколько народныхъ былинъ и пѣсенъ, нѣсколько легендъ и сказокъ? Какъ вы думаете? Вѣдь гимназисты считали бы классъ русской словесности наслажденіемъ для себя; вѣдь они съ благодарностью вспоминали бы о такомъ учителѣ до сѣдыхъ волосъ; вѣдь, пожалуй даже интересы патріотизма были бы сохраняемы, пожалуй у нѣкоторыхъ учениковъ пробудилось бы дѣйствительное желаніе узнать что нибудь о предшественникахъ Пушкина. Пожалуй могло бы изъ этого выдти много хорошаго. Но вѣдь это неосуществимая мечта. Вѣдь ученикамъ тогда нечего было бы учить наизусть, и учителя согнали бы съ кафедры послѣ перваго экзамена въ его классѣ. Вѣдь у насъ принято измѣрять и взвѣшивать плоды ученія, а такъ какъ умственное развитіе нельзя прикинуть ни на аршинъ, ни на безмѣтъ, то оно и считается мифомъ и роскошью. Намъ подавай знанія, чтобъ ученикъ говорилъ на экзаменѣ полчаса, не переводя духа, и чтобъ онъ могъ проговорить два или три часа, если только его не останавливать. Это мы любимъ, и этого мы достигаемъ.

VIII.

Языки латинскій и греческій обыкновенно преподаются въ гимназіяхъ недурно. Въ той гимназіи, гдѣ я учился, эти предметы препода-

вались отлично. Каждымъ изъ нихъ завѣдывали по два учителя, такъ что ни одинъ день не обходился у насъ безъ эллиновъ или римлянъ. Самые лѣнвые и невнимательные ученики принуждены были читать довольно правильно латинскіе стихи и спрягать безъ значительныхъ ошибокъ греческіе глаголы. Результатъ блестящій! Но къ чему это вело? Къ чему это могло вести? Можетъ быть, въ тому, что изъ тридцати учениковъ выработается со временемъ одинъ учитель латинскаго языка и одинъ учитель греческаго языка; а изъ трехъ сотъ учениковъ, можетъ быть, одинъ сдѣлается профессоромъ римской или греческой словесности. Этотъ одинъ втеченіи своей профессорской дѣятельности образуетъ двоихъ или троихъ эллинистовъ или латинистовъ, которые потомъ въ свою очередь передадутъ свѣтильникъ своей науки немногимъ избраннымъ; десятилѣтія, вѣка пройдутъ надъ нашимъ обществомъ, а свѣтильникъ эллинизма или латинизма будетъ горѣть по прежнему въ двухъ трехъ кабинетахъ, до которыхъ никому не будетъ дѣла; если бы этотъ свѣтильникъ погасъ, то никто бы этого не замѣтилъ, никто бы объ этомъ не пожалѣлъ; а между тѣмъ тысячи дѣтей и юношей постоянно тратятъ силы и время надъ грамматическими и синтаксическими трудностями классическихъ писателей, единственно для того, чтобы подливать въ этотъ тускло-горящій свѣтильникъ скудныя капельки масла.

Зачѣмъ гибнетъ это время? Къ чему тратятся эти силы? Защитники классическаго образованія приводятъ въ его пользу два главные аргумента. Во первыхъ, они говорятъ, что самый процессъ изученія древнихъ языковъ развиваетъ мыслительныя силы. Во вторыхъ, они напоминаютъ о красотахъ классическихъ литературъ и говорятъ, что чтеніе въ подлинникъ Гомера, Виргилія, Горация, Цицерона, Демосфена, Тацита, Фукидида, Платона составляетъ лучшую школу для ума, для сердца и для эстетическаго чувства. Первый аргументъ вѣренъ, но его надо расширить, и тогда практическое примѣненіе его будетъ значительно измѣнено. Не изученіе древнихъ языковъ, а вообще всякое изученіе иностранныхъ языковъ развиваетъ умъ, сообщая ему гибкость и способность проникать въ чужое міросозерцаніе. Изученіе греческаго и латинскаго языковъ труднѣе, чѣмъ изученіе языковъ французскаго, нѣмецкаго и англійскаго, но это обстоятельство вовсе не доказываетъ того, чтобы занятія перваго рода были полезнѣе для развитія ума. Трудности классическихъ языковъ, заключающіяся въ страшномъ изобиліи грамматическихъ формъ, въ сложности склоненій и спряженій, цѣликомъ ложатся на память, и усилія, необходимыя для преодоленія этихъ трудностей, вовсе не развиваютъ критическаго смысла учащагося. Обыкновенно случается такъ, что юный гимназистъ пріучается только къ мелочной внимательности, и что весь его умъ уходитъ на борьбу съ удареніями и метрами, съ временами и наклоненіями, съ предлогами и

союзами, съ конструкціями и поэтическими вольностями. Древніи языки сложнѣе новѣйшихъ вовсе не потому, чтобы мысли тѣхъ временъ были богаче нашихъ, а напротивъ—потому, что въ древности форма преобладала надъ мыслью. Для насъ литература есть серьезное дѣло, а для аристократовъ и патриціевъ древности она была художественною забавою. Мысль придумывала для своего выраженія сотни ненужныхъ оттѣнковъ, которыхъ мы теперь не понимаемъ. Самая простота грековъ такъ богата украшеніями, что для насъ она кажется напыщенностью. Илиада въ буквально-вѣрномъ переводѣ Гнѣдича поражаетъ насъ своею цвѣтистостью и высокопарностью, а между тѣмъ извѣстно, что удивительная простота рѣчи составляетъ главное достоинство Гомера. Поэтому, углубляясь въ изученіе классиковъ, мы рискуемъ увлечься преимущественно формою выраженія; мы тратимъ всѣ силы своего ума, чтобы вдуматься въ такіе оттѣнки рѣчи, которые для грека или римлянина были только капризами фантазіи, требовавшей разнообразія. Мы дѣлаемся педантами тамъ, гдѣ древній человѣкъ былъ сибаритомъ, тѣшившимся звучностью и прихотливостью своихъ выраженій. Силы, издерживаемыя на изученіе древнихъ языковъ, были бы употреблены гораздо болѣе производительнымъ образомъ, если бы мы обратили ихъ на изученіе живыхъ языковъ французскаго, англійскаго и нѣмецкаго. Въ этихъ языкахъ нѣтъ тѣхъ безплодныхъ, техническихъ трудностей, которыя заваливаютъ собою грамматики греческую и латинскую, а между тѣмъ, каждый изъ этихъ языковъ переноситъ насъ въ міросозерцаніе такого народа, который сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ греки и римляне, какъ въ области мысли, такъ и въ области практической жизни.

Но намъ говорятъ о красотахъ классическихъ литературъ, и это напоминаніе составляетъ второй аргументъ защитниковъ классическаго образованія. По правдѣ сказать, изъ всѣхъ греческихъ и латинскихъ писателей только Гомера и Тацита дѣйствительно стоитъ читать въ подлинникѣ. Всѣ остальные писатели древности не произвели ничего такого, чего бы мы не могли найти у современныхъ народовъ въ болѣе совершенной и сознательной формѣ. Но изучать два языка для того, чтобы прочесть въ подлинникѣ двѣ поэмы и четыре историческія сочиненія, о которыхъ все таки можно составить себѣ нѣкоторое понятіе по хорошимъ переводамъ,—это, воля ваша, слишкомъ удивительный подвигъ самоотверженія; этотъ подвигъ могутъ совершать люди по доброй волѣ, но зачѣмъ возлагать его на невинныхъ гимназистовъ? Пусть учится древнимъ языкамъ тотъ, кто желаетъ этого, но зачѣмъ же обязательное ученіе? Если каждому образованному человѣку необходимо прочесть въ подлинникѣ Гомера и Тацита, то я не вижу, почему не было бы необходимости читать Саади и Гафиза въ персидскомъ подлинникѣ, Магабгарату и Саконталу въ санскритскомъ, сочиненія Конфуція въ китайскомъ, коранъ въ арабскомъ,

и т. д. Навѣрное въ каждомъ языкѣ можно было бы найти такіа красоты, которыя утрачиваются или по крайней мѣрѣ блѣднѣютъ въ переводѣ. Но такъ какъ жизнь человѣческая имѣетъ предѣлы и не должна тратиться на одно преслѣдованіе различныхъ красотъ, то для образованнаго русскаго можно признать совершенно достаточнымъ, если онъ, кромѣ своего роднаго языка, будетъ знать языки французскій, нѣмецкій и англійскій. Можно сказать безъ преувеличенія, что на этихъ трехъ языкахъ онъ найдетъ всѣ сокровища человѣческаго ума и человѣческой фантазіи, какъ въ оригинальныхъ произведеніяхъ, такъ и въ превосходныхъ переводахъ со всѣхъ остальныхъ, мертвыхъ и живыхъ языковъ. Если бы гимназіи, обращающія такъ много вниманія на классическую древность, перенесли это вниманіе на языки французскій, нѣмецкій и англійскій, то общество и учащаяся молодежь сказала бы имъ большое спасибо. Конечно, многіе молодые люди употребили бы свои лингвистическія познанія только для свѣтской болтовни, но за то всѣ они имѣли бы въ рукахъ ключи отъ трехъ богатѣйшихъ литературъ. Кто изъ нихъ захотѣлъ бы, тотъ могъ бы воспользоваться этими ключами, а это много значить; намъ часто случается видѣть, что самое добросовѣстное стремленіе въ образованію остается на степени стремленія только потому, что стремящемуся приходится начинать съ французской или нѣмецкой азбуки, чтобы добраться до серьезныхъ научныхъ сочиненій. Заниматься азбукою, вокабулами и грамматикою въ двадцать лѣтъ не всякому по силамъ, и прямая обязанность школы состоитъ въ томъ, чтобы облегчить своимъ питомцамъ дальнѣйшій ходъ занятій, сообщивъ имъ тѣ элементарныя свѣдѣнія, которыя такъ легко усваиваются дѣтьми и которыя съ трудомъ и скукою приобрѣтаются взрослыми. Французскій и нѣмецкій языки преподаются въ гимназіяхъ плохо и небрежно; англійскій вовсе не преподается. Если бы уничтожить въ гимназіяхъ латинскій и греческій языкъ, то сбереженное время могло бы значительно усилить преподаваніе новѣйшихъ языковъ, и польза такой перемѣны была бы очевидна. Защитники классицизма обыкновенно приводятъ въ примѣръ Англію, воспитывающую свое юношество на греческихъ и латинскихъ писателяхъ и въ то же время преуспѣвающую на поприщѣ гражданской жизни. Аргументація этихъ господъ болѣе оригинальна, чѣмъ убѣдительна. Вотъ ихъ логика: Ивановъ — человѣкъ очень богатый. Онъ ѣздитъ обыкновенно на гнѣдыхъ лошадяхъ. Слѣдовательно, чтобы разбогатѣть, необходимо ѣздить также на гнѣдыхъ лошадяхъ. Пока мы будемъ соблазняться такой логикой, или сражаться противъ нея, до тѣхъ поръ мы навѣрное не разбогатѣемъ, на какихъ бы лошадяхъ мы ни ѣздили.

IX.

Обзоръ предметовъ, входящихъ въ гимназическій курсъ, доказываетъ очень убѣдительно наше совершенное равнодушіе къ общему образованію. Воспитательный элементъ очень силенъ въ гимназіяхъ; для сохраненія благоправія между учениками принято множество мѣръ положительныхъ и отрицательныхъ. Къ первымъ относятся различныя наказанія, о которыхъ я не считаю нужнымъ распространяться. Вторыя заключаются въ той заботливости, съ которою начальство слѣдитъ за преподаваніемъ и удаляетъ изъ него всѣ подробности, могущія повредить нравственной или умственной чистотѣ учащагося юношества. Специальный элементъ обнаруживается не такъ сильно, потому что гимназіи считаются преимущественно общеобразовательными заведеніями. Кто желаетъ изучить характеръ спеціального элемента, тотъ долженъ обратиться къ такимъ заведеніямъ, въ которыхъ къ гимназической программѣ присоединены предметы, сообщающіе всему заведенію особый колоритъ и опредѣленное познаніе. Тамъ, конечно, наблюдатель увидитъ, что спеціальныя предметы преподаются очень тщательно и отгѣсняютъ на самый задній планъ тѣ науки, которыя считаются у насъ необходимою принадлежностью общаго образованія. Даже въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ можно впрочемъ замѣтить признаки спеціализма. Они выражаются въ особеннотщательномъ преподаваніи греческаго и латинскаго языка.

Если бы программа нашего общаго образованія была составлена рационально, то можно было бы пожалѣть о томъ, что это общее образованіе такъ часто приносится въ жертву спеціализму. Но теперь не о чемъ жалѣть. Воспитательный элементъ и спеціализмъ не могутъ повредить общему образованію, потому что нечему вредить; общее образованіе не можетъ пострадать, потому что оно не существуетъ. А почему оно не существуетъ, это довольно трудно объяснить. Можетъ быть потому, что наша программа списана съ устарѣлыхъ нѣмецкихъ программъ; а можетъ быть и потому, что составители нашихъ программъ упустили изъ виду общее образованіе и заботились только о воспитаніи и о спеціальностяхъ. Какъ бы то ни было, общее образованіе оказывается у насъ именно въ данной формѣ, съ очень опредѣленнымъ литературно-историческимъ направленіемъ. Съ этой формой и съ этимъ направленіемъ свыклась разсуждающая часть нашего общества; свыкнувшись съ ними, она стала поддерживать ихъ своимъ мнѣніемъ и своими предразсудками, она приглядѣлась къ тому типу, который она называетъ образованнымъ человѣкомъ; и потому очень смѣло объявляетъ необра-

зованными тѣхъ людей, которые отвергаютъ и этотъ типъ, и ея требованія.

Я не буду говорить о тѣхъ временахъ, когда незнаніе французскаго языка, или вѣрнѣе, непривычка говорить на этомъ языкѣ, считалось рѣшительнымъ доказательствомъ необразованія. Эти времена отживаютъ свой вѣкъ, и ратовать противъ умирающихъ предразсудковъ смѣшно и бесполезно. Я замѣчу, что даже лучшая часть нашего общества до сихъ поръ носитъ съ такими странными понятіями объ образованіи, которыя она приняла по наслѣдству, безъ малѣйшей критической повѣрки. Образованный человѣкъ, по господствующему мнѣнію, долженъ имѣть понятіе... На этихъ словахъ я долженъ остановиться, потому что нѣтъ никакой возможности выразить точно и опредѣлительно, о чемъ долженъ имѣть понятіе человѣкъ, признаваемый образованнымъ. Онъ долженъ знать, что Сервантесъ написалъ Донъ Кихота, и что Донъ Кихотъ сражался съ мельницами, что Шекспиръ написалъ Гамлета, и что Гамлетъ былъ влюбленъ въ Офелію, что Беатриче была возлюбленною Данте, а Лаура возлюбленною Петрарки, что Жоржъ Зандъ проповѣдуетъ эмансипацію женщинъ, что Юлій Цезарь перешелъ черезъ Рубиконъ; что Байронъ хромалъ на одну ногу и сражался за свободу Греціи, что Людовикъ XIV сказалъ: «l'état—c'est moi,» а потомъ сказалъ: «il n'y a plus de Pyrénées», что графъ Уголино умеръ въ башнѣ съ голода, что Лютеръ бросилъ въ чорта чернильницей, что Марій сидѣлъ на развалинахъ Карфагена, что губернаторомъ острова св. Елены былъ Гудзонъ Ло, что Титъ считалъ потеряннымъ тотъ день, въ который онъ не сдѣлалъ добраго дѣла, что Парижскія тайны написаны Еженемъ Сю, что... ну, все равно, довольно и этого, чтобы видѣть требованія общества. Образованный человѣкъ долженъ знать, кромѣ того, имена всѣхъ столицныхъ городовъ на земномъ шарѣ, а изъ математики — четыре правила арифметики и названія всѣхъ математическихъ наукъ. Нельзя сказать, чтобы требованія общества были обширны и глубоки, но за то въ предѣлахъ своихъ требованій общество очень строго. О Данте оно знаетъ напримѣръ только то, что онъ любилъ Беатриче и написалъ Божественную комедію; о Петраркѣ то, что онъ итальянскій поэтъ и пѣвецъ Лауры; о Титѣ — что онъ римскій императоръ и хорошій человѣкъ; о Людовикѣ XIV — что онъ le grand roi, и что при немъ былъ le siècle de Louis XIV, ну и потомъ M-lle de la Valliere, M-me de Montespan, M-me de Maintenon. Но если вы не знаете и этихъ вещей, тогда вы человѣкъ необразованный. Вы и не требуйте отъ общества отчета, почему именно необходимо знать эти вещи, и къ чему ведетъ это знаніе. Вамъ или совсѣмъ не отвѣтить, или отвѣтить съ изумленіемъ и досадой: «ахъ, боже мой, да какъ же этого не знать? Это всѣ знаютъ. Какъ, къ чему ведетъ? Но нужно же имѣть понятіе.»

Дальше этого отвѣта общество не идетъ; оно и само не знаетъ, какъ велики предѣлы этихъ обязательныхъ знаній; не знаетъ и того, почему и съ какого времени они сдѣлались обязательными; оно только чувствуетъ непріятное ощущеніе, когда кто нибудь въ его средѣ выходитъ изъ границъ дозволеннаго невѣжества, и объявляетъ тотчасъ такого нарушителя границъ человѣкомъ необразованнымъ. Вы смѣло можете не знать ничего о физическихъ законахъ природы и можете признаваться обществу въ своемъ невѣжествѣ; но есть собственныя имена и историческія сплетни, которыя вы обязаны знать, если не желаете сдѣлаться предметомъ всеобщаго изумленія. Понятно, стало быть, что образованіе представляется обществу чѣмъ-то неопредѣлимымъ; этимъ именемъ называется что-то такое, — а что именно, неизвѣстно; да общество никогда объ этомъ и не спрашиваетъ. Ему досталось откуда-то, когда-то, по какому-то случаю, сумма какихъ-то разрозненныхъ знаній; оно къ нимъ привыкло, назвало ихъ образованіемъ, удовлетворилось ими, и теперь только иногда, точно сквозь сонъ, требуетъ частичныхъ усовершенствованій, новыхъ учебниковъ, нагляднаго преподаванія, улучшенія въ личномъ составѣ учителей. Ему даже въ голову не приходитъ спросить себя: да что же такое образованіе? чѣмъ оно должно быть, и въ какомъ положеніи находится оно у насъ? Молодые люди, выходящіе изъ учебныхъ заведеній, всегда недовольны школою, но всегда объясняютъ свое неудовольствіе мелкими и случайными недостатками: учебники плохи, учителя плохи, начальство придирчиво. Потомъ это неудовольствіе стирается другими житейскими впечатлѣніями, и молодые люди, дѣлаясь отцами семейства, совершенно мирятся съ школьными неудобствами и безтрепетно подвергаютъ имъ своихъ дѣтей. Такимъ образомъ, вліяніе общества на школу ограничивается только тѣмъ, что общество говоритъ: «надо имѣть понятіе...» а такъ какъ школа даетъ понятіе и о Гракхахъ, и о Несторѣ, и о синекдохахъ, то общество оказывается совершенно довольнымъ, и отцы каждый годъ проливаютъ слезы умиленія надъ успѣхами возлюбленныхъ дѣтей. Я теперь перейду въ университетъ, а потомъ въ заключеніе выскажу нѣсколько мыслей о томъ, чѣмъ должно быть общее образованіе.

Х.

Лучшія надежды нашего отечества сосредоточиваются на университетахъ; университетская молодежь обыкновенно вноситъ въ практическую жизнь честность стремленій, свѣжесть взглядовъ и непримире-

ную ненависть къ рутинѣ всякаго рода. Обскуранты и рутинеры всегда нападали на университеты и предпочитали имъ систему закрытыхъ заведеній; но теперь эта порода обскурантовъ и рутинеровъ переводится и обращается въ палеонтологическую рѣдкость. Ихъ уже никто не боится и съ ними никто не спорить. Теперь писатель, уважающій самого себя, не обязанъ безусловно защищать университеты; онъ можетъ спокойно разсматривать и указывать недостатки ихъ устройства. А недостатки эти очень многочисленны и крупны. Въ концѣ 1861 года появилось много статей объ университетахъ. Я теперь не имѣю ихъ подъ руками и не помню ихъ выводовъ. Можетъ быть, мнѣ случится въ чемъ нибудь сойтись съ тою или другою изъ этихъ статей, но я не вижу въ этомъ большой бѣды. Если мысли мои будутъ вѣрны, то онѣ не потеряютъ отъ того, что будутъ высказаны во второй разъ. Если онѣ ошибочны, то повторенное вранье будетъ также безвредно для публики, какъ было безвредно вранье первобытное. То обстоятельство, что у меня нѣтъ подъ руками этихъ статей, даже благодѣтельно для публики; оно сокращаетъ мое разсужденіе, потому что отнимаетъ у меня возможность возражать тѣмъ писателямъ, которые раньше меня разрабатывали вопросъ объ университетахъ.

Важнѣйшее и единственное преимущество университета передъ всякими другими высшими учебными заведеніями заключается въ томъ, что учащіеся пользуются значительною степенью свободы въ выборѣ и въ направленіи своихъ занятій. Ни талантъ профессоровъ, ни ихъ усердіе, ни ихъ умѣніе сближаться съ студентами, ничто не можетъ возбудить въ молодомъ человѣкѣ ту энергію и самостоятельность, которую возбуждаетъ и поддерживаетъ въ немъ чувство собственной самостоятельности. Въ закрытомъ заведеніи, молодой человѣкъ, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, можетъ быть только благовоспитаннымъ и прилежнымъ школьникомъ. Въ университетѣ онъ дѣлается человѣкомъ, сознательно распоряжающимся своими силами и способнымъ обращать въ свою пользу даже неблагопріятныя условія. Онъ часто увлекается, часто дѣлаетъ глупости, но надо помнить, что переходъ отъ дѣтства къ мужеству заключается именно въ томъ, что молодой человѣкъ, путемъ собственныхъ опытовъ, ошибокъ и паденій, выучивается твердо стоять на ногахъ и твердыми шагами направляться къ сознательно-выбранной цѣли. Кого заботливая рука удерживала отъ всякихъ паденій, тотъ или въ позднѣйшемъ возрастѣ наверстаетъ потерянное время, или останется на всю жизнь благовоспитаннымъ мальчикомъ, неимѣющимъ ни характера, ни оригинальности. Прощѣтаніе университетовъ всегда соотвѣтствовало той степени самостоятельности, которая предоставлена была студентамъ. Дѣятельность самыхъ талантливыхъ профессоровъ никогда не могла замѣнить собой эту драгоценную самостоятельность. Умствен-

ное развитіе похоже въ этомъ отношеніи на кристаллизацию. Главное дѣло экспериментатора, желающаго добыть правильные кристаллы, заключается въ томъ, чтобы не тревожить сосуда, въ которомъ налитъ растворъ. Главное дѣло университетскаго начальства, добросовѣстно относящагося къ умственнымъ интересамъ студентовъ, не вмѣшиваться въ ходъ ихъ занятій регламентаціею и административными распоряженіями. Если бы начальство захотѣло напимѣръ ввести на лекціяхъ переклички студентовъ и репетиции, то подобное распоряженіе повредило бы университету сильнѣе, чѣмъ выходъ въ отставку нѣсколькихъ даровитѣйшихъ профессоровъ. Эта мѣра, можетъ быть, принудила бы десятковъ кутящихъ студентовъ проводить въ аудиторіяхъ часы, тратившіеся въ ресторанахъ, но за то она, вмѣстѣ съ тѣмъ, удерживала бы сотни дѣльныхъ студентовъ на такихъ лекціяхъ, которыя не приносятъ имъ пользы. А истратить часъ времени на бесполезной лекціи гораздо хуже, чѣмъ истратить часъ на болтовню или другое развлеченіе.

Студентъ возвращается съ лекціи утомленный, и долженъ отдыхать, такъ что у полезной работы отнимается не часъ времени, а вдвое или втрое больше. Прибавьте къ этому постоянную досаду противъ нравственнаго насилія, и вы увидите, какъ некрасивы послѣдствія такого распоряженія, которое на первый взглядъ можетъ показаться довольно благообразнымъ.

Такъ какъ преимущества университета передъ другими высшими учебными заведеніями заключаются единственно въ самостоятельныхъ отношеніяхъ студентовъ къ своимъ занятіямъ, то недостатки, обнаруживающіеся въ современномъ устройствѣ университетовъ, заключаются единственно въ ограниченіи этой необходимой и во всѣхъ отношеніяхъ полезной самостоятельности. Можетъ быть, нѣкоторыя изъ этихъ ограниченій неизбѣжны въ настоящее время и находятся въ связи съ общимъ положеніемъ образованія въ обществѣ; но во всякомъ случаѣ эти ограниченія оказываются недостатками, на которые должна указывать теорія, и объ исправленіи которыхъ должно заботиться общество. Если эти недостатки существуютъ сами по себѣ, то ихъ нетрудно устранить; если же они представляются только симптомами болѣе глубокаго зла, заключающагося въ образѣ мыслей и въ складѣ жизни самого общества, то мы тѣмъ болѣе не должны съ ними мириться. Какъ бы глубоко ни укоренилось зло, оно никогда не превращается въ добро; его надо искоренить рано или поздно, и анализировать его развѣтвленія и проявленія всегда полезно и своевременно.

Основная причина всѣхъ ограниченій, стѣсняющихъ самостоятельность учащихся, состоитъ въ тѣхъ правахъ, которыя университетъ даетъ своимъ студентамъ, окончившимъ курсъ и выдержавшимъ выпускной экзаменъ. Кто получаетъ права, тотъ, разумѣется, несетъ обязанности.

Всякая обязанность налагаетъ извѣстнаго рода заботы, а всякая забота, неотносящаяся прямо къ интересамъ умственнаго развитія, мѣшаетъ этому развитію.

Права, предоставляемые студентамъ, окончившимъ курсъ, ведутъ за собою два ближайшія послѣдствія. Во-первыхъ, университетъ раздѣляется на факультеты. Во-вторыхъ, являются обязательные экзамены. Оба эти послѣдствія вредятъ очень сильно самостоятельнымъ занятіямъ студентовъ.

Раздѣленіе на факультеты обязываетъ молодого человѣка, стремящагося къ высшему образованію, выбрать тотчасъ же одинъ изъ факультетовъ. Выборъ этотъ всегда дѣлается на авось, потому что гимназія не даетъ понятія ни объ одной наукѣ. Молодой человѣкъ, кончившій курсъ въ гимназіи, не знаетъ ни силъ, ни наклонностей своего ума, не знаетъ также и того, какой работы требуетъ та или другая наука, и какія умственные наслажденія можетъ она доставить. Чаше всего случается такъ, что молодой человѣкъ дѣлается математикомъ, филологомъ, или юристомъ, смотря потому, за какіе предметы онъ получалъ въ гимназіи хорошіе баллы. Иногда онъ угадываетъ вѣрно, но это только счастливый случай. Часто бываетъ такъ, что онъ перескакиваетъ изъ одного факультета въ другой и тратитъ года два на неудачныя пробы. Большею же частью бываетъ еще хуже. Поступивши на такой факультетъ, который ему не нравится, молодой человѣкъ остается на немъ: «все равно, думаетъ онъ: — какъ нибудь дотяну; стоитъ ли кидаться изъ стороны въ сторону? Еще, богъ знаетъ, найдеишь ли на другомъ факультетѣ что нибудь лучше?» — Когда студентъ разсуждаетъ такимъ образомъ, тогда, конечно, нельзя ожидать, чтобы онъ занимался своимъ дѣломъ съ любовью; онъ записываетъ лекціи, выдерживаетъ экзамены и получаетъ аттестатъ, не почувствовавши ни разу въ жизни живительнаго вліянія любимаго труда. Удивительно ли, что такой человѣкъ, бывши рутинеромъ на студенческой скамейкѣ, окажется рутинеромъ и въ практической жизни? Въ университетѣ онъ стремился къ аттестату, а въ жизни всегда найдутся постороннія дѣли, къ которымъ можно стремиться и которыми можно приносить въ жертву интересы дѣла и собственное человѣческое достоинство.

Но вы скажете, можетъ быть, что такой человѣкъ самъ виноватъ въ своей деморализаціи, и что эту деморализацію нельзя приписывать раздѣленію университета на факультеты. Вы скажете, что этотъ человѣкъ могъ перейти съ одного факультета на другой; что онъ могъ, наконецъ, поступить въ университетъ вольнымъ слушателемъ, и уже потомъ, изучивъ свои силы и наклонности, присмотрѣвшись къ различнымъ наукамъ, сдѣлаться студентомъ и сознательно выбрать себѣ факультетъ. Ваши разсужденія справедливы, но только до извѣстной степени. Вы

берете отвлеченнаго чловѣка, глубоко проникнутаго безкорыстнымъ и сознательнымъ стремленіемъ къ образованію; вы забываете, что эти чувства, мысли и стремленія обыкновенно приобретаются и очищаются только путемъ образованія и умственного труда; вы забываете, что въ университетъ поступаютъ не мудрецы, сознательно идущіе къ завоеванію истины, а юноши, прельщающіеся всѣми искушеніями жизни. Лучшіе изъ этихъ юношей приносятъ съ собою въ университетъ только неопредѣленную любознательность, передъ которою вовсе не умоляютъ житейскіе расчеты. Отъ университетской атмосферы зависитъ— или очистить эту любознательность отъ постороннихъ примѣсей, или напротивъ, совершенно задушить ее подъ этими посторонними побужденіями. Если любознательный юноша сразу заинтересуется какою нибудь наукою, онъ станетъ выше своихъ расчетовъ и будетъ смотрѣть на нихъ съ презрѣніемъ. Если же онъ ошибется въ своемъ выборѣ, то неудовлетворяемая любознательность можетъ замереть; юноша можетъ подумать, что эта любознательность была мечтательнымъ стремленіемъ къ несуществующимъ благамъ; расчеты одержатъ рѣшительную побѣду, и юноша разсудитъ очень основательно, что переходить съ одного факультета на другой значить терять время, затруднять себѣ дорогу къ аттестату, отнимать у самого себя такіе годы, которые могутъ быть употреблены на дѣйствительную службу, ведущую къ чинамъ, къ знакамъ отличія, къ большому окладу жалованья. А поступить въ вольные слушатели? Подобная мысль не можетъ придти въ голову юношѣ, только что вышедшему изъ гимназій; для этого надобно, чтобы онъ чувствовалъ недовѣріе къ своему собственному выбору. Кто же не знаетъ, что подобное недовѣріе немислимо въ очень молодомъ и совершенно неопытномъ чловѣкѣ? Кромѣ того, поступить въ вольные слушатели значить также потерять нѣсколько времени на размышленіе и попытки, а молодость торопится жить. Мы должны имѣть въ виду не отвлеченную молодежь, а такую, какая дѣйствительно существуетъ. Эта молодежь черезъ нѣсколько лѣтъ будетъ сама смѣяться и надъ своими расчетами, и надъ своими побужденіями; одни ей покажутся мелкими, другіе—ребяческими, но и тѣ и другія въ свое время сообщали ей поступкамъ опредѣленное направленіе. Ими нельзя пренебрегать; ихъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, потому что отъ нихъ зависитъ часто сила и колоритъ умственной жизни цѣлаго поколѣнія. Этими-то мелкимъ расчетамъ и ребяческимъ побужденіямъ современное устройство университетовъ оказываетъ самую предосудительную поправку.

Говоря поступающимъ молодымъ людямъ: «выбирайте себѣ факультетъ!» университетъ самъ примѣшиваетъ идею карьеры къ идеѣ образованія и потакаетъ такимъ образомъ житейскимъ расчетамъ будущихъ Петровъ Ивановичей Адуевыхъ. Конечно, молодой чловѣкъ можетъ про-

тивустойть этимъ искушеніямъ; онъ можетъ сказать: «я не ищю правъ, я не хочу выбирать факультетъ. Я буду вольнымъ слушателемъ, выслушаю тѣ курсы, которые меня интересуютъ, и потомъ уйду изъ университета безъ всякихъ экзаменовъ и дипломовъ». Онъ можетъ это сказать и сдѣлать. На это нѣтъ ни физической невозможности, ни запретительной статьи закона. А между тѣмъ очень невѣроятно, чтобы онъ поступилъ такимъ образомъ. Искушенія слишкомъ сильны. Всѣ предразсудки общества поддерживаютъ права, дипломы, экзамены, студенчество расpredѣленное по факультетамъ. Простое слушаніе лекцій, невознаграждаемое ни чинами, ни служебными преимуществами, до сихъ поръ кажется обществу пустымъ препровожденіемъ времени. Наука величественна, образованіе полезно, но практическія выгоды болѣе осязательны. Онѣ смягчаютъ самое жестокое сердце и примиряютъ съ университетами самыя скептическія умы престарѣлыхъ родителей. На основаніи всѣхъ этихъ доводовъ, мы можемъ принять за несомнѣнную истину, что покуда въ университетѣ существуютъ права и факультеты, до тѣхъ поръ большая часть молодыхъ людей будетъ бросаться въ эти факультеты, очертя голову, и въ случаѣ ошибки, будетъ дотягивать лямку, чтобы получить дипломъ.

— Ну хорошо, говорите вы: — молодой человѣкъ поступилъ на факультетъ. Кто-же ему мѣшаетъ слушать нѣкоторыя лекціи другого факультета? — Да, никто не мѣшаетъ; онъ слушаетъ, но изъ этого слушанія ничего не выходитъ. Онъ смотритъ на постороннюю лекцію, какъ женатый человѣкъ на легкую интрижку. Передъ нимъ лежитъ извѣстная дорога; надъ головой его висятъ извѣстные экзамены; практическое значеніе имѣютъ въ его глазахъ только труды по извѣстнымъ, факультетскимъ предметамъ. Какое же значеніе можетъ имѣть при такихъ условіяхъ посторонняя лекція? Она можетъ ему понравиться, какъ понравилась бы какая нибудь театральная піеса. Она можетъ возбудить въ немъ желаніе ходить для развлеченія въ аудиторію посторонняго профессора — и только. Что же тутъ за польза? Когда наука служить намъ развлеченіемъ и не возбуждаетъ въ насъ желанія трудиться, тогда она вовсе не исполняетъ своего назначенія. Комедія или концертъ всегда развлекаютъ сильнѣе, чѣмъ лекція, — стало быть, отъ лекціи не слѣдуетъ требовать развлеченія. Но положимъ, что лекція или рядъ лекцій посторонняго профессора заинтересовали студента очень серьезно и возбудили въ немъ желаніе познакомиться покороче съ этою наукою. Такое желаніе дѣлается для него несчастіемъ. Начинается борьба между искусственно сооруженнымъ долгомъ и естественнымъ влеченіемъ. Съ любовью заниматься постороннею наукою значитъ отнимать время у факультетскихъ занятій, значитъ измѣнять интересамъ своей будущей карьеры, значитъ предпочитать пріятное полезному. Оставаться на

одномъ факультетѣ и заниматься предметомъ другого факультета значить дробить свои силы. Перейти на другой факультетъ? Но вѣдь тамъ, кромѣ одной любимой науки, придется заниматься десяткомъ наукъ вовсе непривлекательныхъ. Что же тутъ дѣлать? Положеніе драматическое, а между тѣмъ, весь драматизмъ происходитъ только отъ перегородки, поставленной между двумя факультетами и поддерживаемой обязательными экзаменами и правами. Если бы молодой человѣкъ былъ вольнымъ слушателемъ, то ему ничто бы не мѣшало слушать вмѣстѣ лекціи разныхъ факультетовъ; если бы онъ былъ вольнымъ слушателемъ, то любовь, почувствованная имъ къ какой бы то ни было наукѣ, наполнила бы его душу живѣйшею радостью и повела бы его въ серьезнымъ занятіямъ. Не было бы никакого драматическаго столкновенія. Конечно, студентъ всегда можетъ сдѣлаться вольнымъ слушателемъ. Физической невозможности нѣтъ, но нравственныхъ препятствій много. «Вотъ, подумаетъ онъ: — если я останусь студентомъ и выдержу опредѣленный экзаменъ по программѣ факультета, то получу дипломъ и права. А если сдѣлаюсь вольнымъ слушателемъ и буду заниматься тѣмъ, что мнѣ нравится, то ничего не получу. Это обидно». — И не только обидно, а даже глупо, говорятъ студенту родители, опекуны и всѣ опытные совѣтники. Да ты объ этомъ и думать не смѣй, подтверждаетъ раздражительная маменька. А отчего они все это думаютъ, говорятъ и подтверждаютъ? Отчего переходъ съ одного факультета на другой' подаетъ иногда поводъ къ семейнымъ сценамъ? Отчего такая простая вещь, какъ занятія тѣмъ предметомъ, который нравится, оказывается труднымъ подвигомъ, требующимъ отъ молодого человѣка почти ломоносовской силы характера? Все оттого, что университетъ даетъ права и составляетъ преддверіе карьеры. Если бы не было правъ, не было бы и факультетовъ. Вся учащаяся молодежь была бы вольными слушателями, посѣщала бы лекціи по собственному выбору и распоряжалась бы своимъ развитіемъ съ полною самостоятельностью.

XI.

Факультеты стараются образовывать специалистовъ, и вмѣсто того, образуютъ только одностороннихъ теоретиковъ. Студентъ, по выходѣ изъ университета, находится въ положеніи Сократа: онъ знаетъ только то, что ничего не знаетъ, но крайней мѣрѣ, ничего такого, что приложимо къ жизни и къ какой нибудь отрасли труда. Въ этомъ я и не упречаю

университетъ, совсѣмъ не его дѣло учить молодого человѣка ремеслу; но если все устройство университета видимо направлено къ тому, чтобы образовывать нѣсколько сортовъ ремесленниковъ, и если, при всемъ томъ, ремесленники не выходятъ изъ университетовъ, а формируются и обучаются уже послѣ выхода, подъ вліяніемъ практической дѣятельности, то очевидно, не достигается ни та широкая цѣль, къ которой долженъ бы былъ стремиться университетъ, ни та узкая цѣль, къ которой онъ направленъ въ настоящее время. Университетъ не даетъ намъ истинно образованныхъ людей, потому что его устройство ставитъ много препятствій на пути самостоятельнаго умственнаго развитія учащихся; университетъ не даетъ специалистовъ, потому что специалиста не можетъ образовывать школа, его образуетъ только самая работа, — что же даетъ намъ университетъ? Людей, пропитанныхъ умозрѣніями, принимающихъ теоріи за аксіомы, уходящихъ отъ жизни въ книгу, и сохраняющихъ въ своихъ фразахъ и разсужденіяхъ отпечатокъ того факультета, въ которомъ они были замѣнены. Я очень хорошо знаю, что многіе изъ теперешнихъ и бывшихъ студентовъ вовсе не подходятъ подъ эту характеристику; я знаю, что между ними найдется много людей, смотрящихъ на жизнь свѣтло и разумно, но я знаю также, что эти люди развиваются помимо университета, и что всѣ неудобства современнаго университетскаго устройства сознательно чувствуются ими и производятъ на нихъ самое тяжелое впечатлѣніе. Защитники современнаго университетскаго устройства очень недовольны теперешними студентами, и неудовольствіе это началось именно съ тѣхъ поръ, какъ студенты поняли неудовлетворительность однихъ профессорскихъ лекцій и начали искать собственными силами, въ жизни и въ литературѣ, матеріаловъ для своего развитія.

Это значитъ, что современное устройство университетовъ не удовлетворяетъ ни тѣхъ, для кого оно составлено, ни тѣхъ, кто его защищаетъ. Для первыхъ, то есть, для учащихся оно стѣснительно. Вторые, то есть, заматерѣлые профессора, находятъ его слабымъ и неспособнымъ сдерживать развитіе студентовъ въ строю — въ опредѣленныхъ границахъ. Молодая жизнь вездѣ просачивается черезъ обветшалыя плотины, затрудненія обходятся, препятствія преодолеваются, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы затрудненія и препятствія уже теперь были безвредны. Чтобы оцѣнить ихъ по достоинству, чтобы увидѣть въ нихъ не содѣйствіе, а помѣху, молодому человѣку нужно много остроумія и проницательности; чтобы вступить съ ними въ борьбу и одолѣть ихъ, нужно много энергіи и много драгоценнаго времени. Часто большая половина университетскихъ годовъ уходитъ у студента исключительно на то, чтобы убѣдиться въ ложности и бесплодности господствующаго направленія занятій. Конечно, испытывать разочарованія полезно, но, по всей вѣроятности, защитники современнаго университетскаго устройства ожидаютъ

отъ университетовъ не того, чтобы они снабжали студентовъ разочарованіями.

Не одни студенты испытываютъ на себѣ неудобства современнаго университетскаго устройства; эти неудобства падаютъ и на профессоровъ. Профессоръ университета по роду своихъ занятій мало отличается въ настоящее время отъ учителя гимназіи. Вся разница между ними заключается въ томъ, что учитель спрашиваетъ уроки во время каждаго класса, а профессоръ спрашиваетъ уроки за цѣлый годъ, на экзаменѣ. Отношенія учителя къ ученикамъ гораздо проще и откровеннѣе, чѣмъ отношенія профессора къ своимъ слушателямъ. Учитель очень хорошо знаетъ, что ученики сошлись къ нему въ классъ по звонку, безъ всякаго особеннаго желанія учиться; обыкновенно учитель не придаетъ никакого значенія желанію или нежеланію учениковъ, ставитъ имъ за нежеланіе плохіе баллы, оставляетъ ихъ безъ обѣда или безъ отпуска, и дѣло съ концомъ. Профессоръ также можетъ предполагать, что большая часть его слушателей сидитъ въ его аудиторіи по долгу службы, и задабриваетъ его своимъ присутствіемъ для предстоящаго экзамена; но какъ убѣдиться въ этомъ? Какъ отдѣлить слушателей, любящихъ его науку и его лекціи, отъ слушателей, высиживающихъ въ его аудиторіи хорошій баллъ? Какъ узнать дѣйствительныя потребности слушателей, записывающихъ съ одинаковымъ усердіемъ все, что благоугодно сказать господину профессору? Какъ заговорить откровенно съ слушателемъ, который прежде всего видитъ въ профессорѣ будущаго экзаменатора? Положеніе добросовѣстнаго профессора чрезвычайно щекотливо. Добросовѣстный профессоръ знаетъ, что официальность студентовъ въ отношеніи къ нему совершенно оправдывается: во-первыхъ, общимъ устройствомъ университета, во-вторыхъ, личностью и дѣятельностью большей части другихъ профессоровъ. Онъ—добросовѣстный профессоръ, не формалистъ, но онъ знаетъ, что по настоящему онъ обязанъ быть формалистомъ; знаетъ и то, что въ сосѣдней аудиторіи сидитъ профессоръ формалистъ, которому нѣтъ никакого дѣла до умственныхъ потребностей слушателей. Конечно, между добросовѣстнымъ профессоромъ и дѣльнымъ студентомъ могутъ установиться разумныя отношенія, независимыя отъ экзаменовъ; но для этого надобно, чтобы профессоръ и студентъ узнали другъ друга, а это вовсе не легко, потому что они поставлены другъ къ другу въ обязательныя отношенія; профессору неловко сдѣлать шагъ къ сближенію съ студентомъ, потому что онъ видитъ съ его стороны официальность и недовѣріе; студенту также неловко, потому что профессоръ можетъ подумать, что студентъ заискиваетъ въ немъ для экзамена. Такая простая вещь, какъ довѣрчивое сближеніе между человѣкомъ знающимъ и человѣкомъ желающимъ знать, становится затруднительною, — а почему? Опять-таки потому, что существуютъ права, и вслѣд-

ствіе того, обязательные экзамены. Эти экзамены, смотря по личности профессора, бывают или очень трудны, или очень легки. Если профессоръ формалистъ, то малѣйшее отклоненіе отъ записокъ принимается въ расчетъ, какъ доказательство непосѣщенія лекцій; если профессоръ не формалистъ, то онъ во всякомъ случаѣ и за всякій отвѣтъ ставитъ удовлетворительный баллъ. Въ первомъ случаѣ студентъ принужденъ зубрить, какъ гимназистъ, или какъ бурсакъ; во второмъ случаѣ онъ приходитъ на экзаменъ чтобы исполнить формальность. Очевидно, что въ первомъ случаѣ экзамены вредны, а во второмъ бесполезны. Но конечно, полное отмиженіе всякихъ экзаменовъ, и выпускныхъ и переходныхъ, возможно только тогда, когда университеты не будутъ давать своимъ слушателямъ никакихъ правъ. Поэтому, отмиженіе правъ должно быть желаніемъ всѣхъ людей, принимающихъ къ сердцу судьбу высшаго образованія въ нашемъ отечествѣ.

XII.

Мы рассмотрѣли такимъ образомъ недостатки нашего гимназическаго образованія и показали слабую сторону нашихъ университетовъ. Теперь нетрудно будетъ обозначить въ самыхъ общихъ чертахъ тѣ преобразованія, въ которыхъ нуждаются гимназіи и университеты. Въ гимназической программѣ нѣтъ общаго плана; собранія словъ и фразъ называются науками; рассказы и гипотезы вытѣсняють собою серьезныя знанія; память учениковъ работаетъ постоянно, а мыслительныя способности ихъ находятся въ бездѣйствіи. Конечно, все это должно быть передѣлано. Въ программу должно быть внесено строгое единство общаго плана; фразы, называющіяся въ своей совокупности исторіею, политическою географіею, теоріею словесности, и т. д., должны быть оставлены за штатомъ; рассказы и гипотезы должны уступить мѣсто научнымъ аксіомамъ и теоремамъ; мыслительныя способности учениковъ должны вступить въ отправленіе своихъ естественныхъ обязанностей. Всѣ эти метаморфозы могутъ быть произведены только въ томъ случаѣ, когда будетъ измѣнена самая подкладка образованія. До сихъ поръ въ нашихъ школахъ изучали преимущественно человѣка и его духовныя произведенія, а теперь надобно изучать природу. Это единственное средство выдти изъ области догадокъ и предположеній, фразъ и возгласовъ, красивыхъ теорій и бессмысленнаго зубренія. Это единственное средство ввести учениковъ въ область точнаго знанія, добросовѣстнаго изслѣдованія и живого мышленія.

Я доказалъ уже, говоря о преподаваніи исторіи и географіи въ гимназіяхъ, что изученіе человѣка и его гражданской жизни по своей слож-

ности недоступно гимназистамъ; я доказалъ также, что изученіе это въ дѣйствительности не существуетъ, и что историческія и географическія знанія гимназистовъ составляютъ самый печальный оптический обманъ. Одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы навсегда отложить попеченіе о такъ называемомъ гуманномъ образованіи; объ этомъ образованіи не стоитъ жалѣть; оно кажется удовлетворительнымъ только тогда, когда нѣтъ лучшаго; оно считалось хорошимъ тогда, когда естественныя науки были въ колыбели; оно существуетъ теперь по тому же самому, почему существуютъ многіе антики, давно осужденныя на смерть наукою и здравымъ смысломъ; существуетъ потому, что крѣпка наша рутина, велико наше невѣжество, безгранично наше равнодушіе къ умственнымъ интересамъ подрастающихъ поколѣній. Благодаря невѣчеству и рутинѣ, естественныя науки такъ оклеветаны въ нашемъ обществѣ, что совѣтъ положить ихъ въ основу нашего школьнаго образованія покажется многимъ просвѣщеннымъ педагогамъ преступнымъ посягательствомъ на умственную непорочность учащагося отрочества. За естественными науками стоитъ призракъ матеріализма, выдуманный отъ нечего дѣлать волхвами и кудесниками московской журналистики. Доказать, что матеріализмъ намъ вовсе неопасенъ, что онъ у насъ даже вовсе не существуетъ—конечно нетрудно, но это доказываніе ни къ чему не поведетъ; когда общество наслушалось нелѣпыхъ толковъ, когда оно напугано ими, тогда оно не вѣритъ доказательствамъ. Попробуйте доказать крестьянскому мальчику, что нѣтъ на свѣтѣ домового, и вы увидите, какъ блистательная аргументація ваша разобьется объ укоренившійся предразсудокъ, превратившійся уже въ инстинктивное чувство. Я очень хорошо знаю, что мои мысли о гимназическомъ образованіи и о необходимости положить въ его основу естественныя науки будутъ приняты въ обществѣ очень недовѣрчиво; я знаю, что объ осуществленіи подобной мысли смѣшно даже мечтать. Но я думаю, что между журнальною статьею и дѣловымъ проектомъ существуетъ значительная разница. Проектъ долженъ быть практиченъ и непосредственно приложимъ къ дѣлу; онъ долженъ принимать въ соображеніе взгляды, мнѣнія и даже современные предразсудки общества. Что же касается до простой журнальной статьи, то ея дѣло просто бросить въ общество ту или другую мысль. Авторъ отвѣчаетъ только за честность этой мысли и за искренность собственнаго убѣжденія. Дѣло общества принять, или отбросить эту мысль, оспаривать ее, или оставить ее вовсе безъ вниманія. Поэтому, не смущаясь добродѣтельнымъ отвращеніемъ общества къ естественнымъ наукамъ и къ матеріализму, и въ тоже время не заботясь о практической приложимости моего разсужденія, я покажу, почему именно одні естественныя науки, положенныя въ основу общаго образованія, могутъ развить умъ и сообщить учащемуся прочныя знанія.

Во-первыхъ, знанія о природѣ вполне соотвѣтствуютъ естественнымъ потребностямъ дѣтскаго ума. Первые проблески ребяческой любознательности направляются прямо на окружающія впечатлѣнія. Спрашиваетъ ли когда нибудь ребенокъ о томъ, что было тысячу лѣтъ тому назадъ? Нѣтъ, онъ и представить себѣ не можетъ такую крупную цифру и такую далекую эпоху. Стало быть, исторія дается ребенку помимо его желанія; она не отвѣчаетъ никакой потребности его ума. Спрашиваетъ ли ребенокъ: что такое красота, добро, истина? Когда ему нравится картинка или игрушка, спрашиваетъ ли онъ: почему это мнѣ нравится? Конечно, нѣтъ. Отвлеченіе и анализъ собственныхъ впечатлѣній — такіе процессы, которые совершенно несвойственны уму ребенка. Стало быть, логика, эстетика и весь хламъ теорій словесности даются ребенку помимо его желанія. Но вѣдь извѣстно, что ребенокъ постоянно пристаётъ къ взрослымъ съ вопросами. О чемъ же онъ спрашиваетъ? Конечно о томъ, что онъ видитъ. Отчего мѣсяцъ сегодня стоитъ на небѣ серпомъ, а недѣлю тому назадъ былъ круглый? Отчего собака ѣстъ хлѣбъ, а кошка не ѣстъ? Отчего бутылка съ водою лопнула на морозѣ? Отчего облака по небу ходятъ? Отчего дождь идетъ? Вотъ вопросы ребенка, и ребенокъ такъ разнообразитъ ихъ, что вамъ становится очевиднымъ, какъ они рождаются въ головѣ его подъ вліяніемъ свѣжихъ и постоянно измѣняющихся впечатлѣній.

Періодъ такой живой любознательности обыкновенно продолжается недолго; взрослые большею частью отвѣчаютъ на вопросы ребенка такъ глупо, что ребенку надоѣдаетъ спрашивать. Ему приходится думать одно изъ двухъ: или то, что на его вопросы вовсе не существуетъ удовлетворительнаго отвѣта; или то, что окружающіе его взрослые не понимаютъ нелѣпости своихъ отвѣтовъ. Въ первомъ случаѣ онъ мирится съ незнаніемъ, и любознательность его засыпаетъ; во второмъ случаѣ онъ ищетъ отвѣта, какъ искалъ отвѣта Ломоносовъ. Конечно, второй случай гораздо рѣже перваго. Но въ томъ и въ другомъ случаѣ, знакомство съ естественными науками должно привести ребенка въ восхищеніе. Разумный отвѣтъ на одинъ вопросъ порождаетъ въ умѣ десятокъ новыхъ вопросовъ, и ребенокъ приобретаетъ прочныя свѣдѣнія, даже не подовѣривъа того, что онъ началъ учиться. Если естественныя науки преподаются ребенку сколько нибудь разумно, то, конечно, удовольствіе испытанное имъ при первомъ знакомствѣ съ законами природы будетъ увеличиваться по мѣрѣ того, какъ это знакомство будетъ дѣлаться болѣе короткимъ и сознательнымъ. Знаніе природы ни въ какомъ случаѣ, ни при какихъ условіяхъ жизни, ни въ какомъ общественномъ положеніи не можетъ быть мертвымъ капиталомъ ни для ребенка, ни для взрослого человека. Всякая школьная мудрость забывается за порогомъ школы, потому что самое существованіе этой мудрости поддерживается

и обуславливается только затхлою атмосферою школы; но природа окружает человѣка вездѣ; стало быть, человѣкъ, однажды заинтересовавшійся изученіемъ ея силъ и законовъ, уже никогда не забудетъ того, что онъ о ней знаетъ, и всегда будетъ стремиться къ расширенію своихъ свѣдѣній. Только однѣ естественныя науки глубоко коренятся въ живой дѣйствительности; только онѣ совершенно независимы отъ теорій и фикцій; только въ ихъ область не проникаетъ никакая реакція; только онѣ образуютъ сферу чистаго знанія, чуждаго всякихъ тенденцій; слѣдовательно, только естественныя науки ставятъ человѣка лицомъ къ лицу съ дѣйствительною жизнью, неподраженною нравоченіями, не обрѣзанною системами, не сочиненною досужнымъ мышленіемъ философовъ. И между тѣмъ эти самыя естественныя науки до сихъ поръ считаются достояніемъ заклятыхъ специалистовъ; исторію, теорію словесности должны знать всѣ образованные люди; а законы и отправления жизни, которая проявляется во всѣхъ органическихъ существахъ, начиная отъ лишаевъ и водорослей и кончая обезьяною и человѣкомъ, эти законы писаны только для двухъ трехъ десятковъ чудаковъ, называемыхъ натуралистами. Остальному обществу, называющему себя образованнымъ, до нихъ нѣтъ никакого дѣла, — ему, по русской пословицѣ, законъ не писанъ. Конечно, такое непостижимое равнодушіе къ тому, что насъ постоянно окружаетъ и постоянно дѣйствуетъ на насъ, можетъ быть объяснено только крайнею неразвитостію, которую, безъ малѣйшаго преувеличенія, можно назвать полною умственною слѣпотой. Лечить отъ этой слѣпоты взрослыхъ уже, можетъ быть, поздно; но предохранять отъ нея дѣтей—это должно быть святою обязанностію всѣхъ отцовъ и воспитателей. Общество наше погружено въ спячку; у него нѣтъ никакихъ серьезныхъ умственныхъ интересовъ, а между тѣмъ великая книга природы открыта передъ всѣми, и въ этой великой книгѣ до сихъ поръ, трудами немногихъ замѣчательныхъ дѣятелей, прочтены только первыя страницы.

Кто-же виноватъ въ томъ, что наши достаточные и *soi-disant* образованные классы ничего не дѣлаютъ и ничѣмъ не интересуются? Виновата очевидно направленіе ихъ образованія; школа ничѣмъ не заинтересовала ихъ, и это обстоятельство даже дѣлаетъ честь ихъ природному уму, потому что въ нашихъ школахъ дѣйствительно интересоваться нечѣмъ. Если бы Александръ Гумбольдтъ учился въ русской гимназій или въ русскомъ кадетскомъ корпусѣ, то по всей вѣроятности, онъ сдѣлался бы ревностнымъ посѣтителемъ баловъ и балетовъ, вмѣсто того, чтобы быть натуралистомъ и путешественникомъ. Вѣдь Александръ Гумбольдтъ былъ барономъ и богатымъ человѣкомъ, — стало быть, нѣтъ ничего несбыточнаго въ той мысли, что, при разумномъ направленіи образованія, даже высшіе классы нашего общества могутъ перейти отъ танцевъ къ дру-

гимъ занятіямъ, болѣе достойнымъ человѣка и болѣе полезнымъ для человѣчества. Кому же удобнѣе всего разрабатывать науку, какъ не тѣмъ людямъ, которые обезпечены въ матеріальномъ отношеніи? И эти люди дѣйствительно стали бы разрабатывать науку, если бы были заинтересованы ею съ дѣтства. А заинтересовать человѣка съ дѣтства можетъ только изученіе природы.

Говорить о практической пользѣ естественныхъ наукъ, указывать на паровыя машины, на желѣзныя дороги, на электрическіе телеграфы, на микроскопъ, химическій анализъ и успѣхи физиологін—значило бы повторять фразы, встрѣчающіяся въ предисловіяхъ ко всевозможнымъ оригинальнымъ и переводнымъ книгамъ по естественнымъ наукамъ. Я воздержусь отъ этого словозверженія. Читатель самъ понимаетъ, что все матеріальное благосостояніе человѣчества зависитъ отъ его господства надъ окружающей природой, и что это господство заключается только въ знаніи естественныхъ силъ и законовъ. Но читатель, можетъ быть, не обращалъ вниманія на то обстоятельство, что эти знанія до сихъ поръ вырабатывались только десятками людей; сотни и тысячи принимали уже выработанные результаты, питались готовыми кушаньями и слѣдовательно сами нисколько не помогали странѣ. А почему они не помогали? Неужели потому, что они всѣ были неспособны помогать? Такое предположеніе совершенно неправдоподобно. Неужели наши мужики потому неграмотны, что неспособны выучиться азбукѣ? Вѣдь это уже очевидная нелѣпость. Мужики неграмотны, потому что разныя постороннія обстоятельства мѣшали имъ учиться; точно также, сотни и тысячи образованныхъ людей оставались равнодушными къ изученію природы потому, что направленіе ихъ образованія не давало имъ познаться съ азбукою естествознанія. Но между мужиками находились и находятся люди, въ которыхъ желаніе учиться такъ сильно, что оно вырывалось даже изъ-подъ гнета неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Точно также между образованными людьми попадаются личности, замѣчательныя по своей любознательности, личности, умѣющія вырваться изъ того ограниченного круга идей и понятій, въ который ставитъ ихъ господствующее направленіе общаго образованія. Эти-то немногія личности, превращающіяся въ чудаковъ и натуралистовъ, несутъ на плечахъ своихъ весь трудъ матеріальнаго прогресса человѣчества. Если бы этихъ личностей было больше, то, очевидно, завоеванія человѣчества въ области естествознанія совершались бы быстрѣе; а вмѣстѣ съ тѣмъ, и вся жизнь человѣчества представляла бы меньше лишеній и страданій, меньше гора и бѣдности. Если бы азбука естествознанія была также распространена, какъ та азбука, по которой мы учимся читать, то число изслѣдователей природы навѣрное увеличилось бы въ нѣсколько десятковъ разъ, и труды этихъ изслѣдователей сдѣлались бы также гораздо плодотворнѣе.

творнѣе, чѣмъ теперь, потому что всѣ результаты изслѣдованія обобщались и прилагались бы къ жизни несравненно быстрѣе и полнѣе тепершняго. Рутиня и предрасудки погибли бы на вѣки, потому что они держатся теперь только благодаря тому обстоятельству, что самые простые законы природы неизвѣстны даже образованному обществу.

Наконецъ, самый законъ умовъ сдѣлается тверже, когда естественныя науки будутъ положены въ основу общаго образованія. Естественныя науки важны и замѣчательны не только по предмету своего изученія, но и по своему методу. Это — науки, основанныя исключительно на наблюденіи и опытѣ. Собственно говоря, только математическія и естественныя науки имѣютъ право называться науками. Только въ нихъ гипотезы не остаются гипотезами; только онѣ показываютъ намъ истину и даютъ намъ возможность убѣдиться въ томъ, что это дѣйствительно истина. Эти науки сообщаютъ человѣку, посвятившему себя ихъ изученію, такую трезвость и неподкупность мышленія, такую требовательность въ отношеніи къ своимъ и къ чужимъ идеямъ, такую силу критики, которая сопровождаетъ этого человѣка за предѣлы выбранныхъ имъ наукъ, которая не оставляетъ его въ дѣйствительной жизни и кладетъ свою печать на всѣ его разсужденія и поступки.

По всѣмъ этимъ причинамъ я полагаю, что изученіе математическихъ и естественныхъ наукъ должно быть положено въ основаніе нашей гимназической программы. Кромѣ этихъ наукъ должны оставаться только законъ божій, русская грамматика и новѣйшіе языки. Что касается до университета, то онъ нуждается только въ отмѣнѣ правъ и ограниченій. Реформа гимназій естественно отразится на немъ, и потребности слушателей выразятся сами собою, въ томъ обстоятельствѣ, что одніа аудиторіи будутъ биткомъ набиты, а другія останутся пустыми. Въ гимназіяхъ должна *быть произведена* реформа, а университетъ *самъ себя* реформируетъ, если только будутъ устранены искусственныя препятствія. Реформа образованія должна быть начата съ низшихъ заведеній, потому что въ нихъ заключается корень нашего умственнаго безсилія. Все это теорія и мечта, скажетъ читатель, и я скажу тоже самое, и это нисколько не приведетъ меня въ смущеніе и въ раскаяніе. Я говорю о томъ, что должно быть, а не о томъ, что дѣлается теперь, и не о томъ, что будетъ дѣлаться въ будущемъ году.

ШКОЛА И ЖИЗНЬ.

I.

Представьте себѣ, что вы входите въ москотальную лавку и требуете какого нибудь снадобья для истребленія таракановъ и клоповъ; вамъ подають стеклянку, наполненную жидкостью неопредѣленнаго цвѣта; вы спрашиваете, какъ употребляется эта жидкость? Надо, отвѣчаетъ вамъ купецъ, поймать таракана или клопа и капнуть ему изъ этой стеклянки на голову. Черезъ полчаса, послѣ этой операціи, онъ непременно издохнетъ.—Выслушавъ эту инструкцію, вы, вѣроятно, подумаете, что купецъ принимаетъ васъ за идіота и смѣется надъ вами въ глаза. Вы, вѣроятно, сообразите, что жидкость, дѣйствующая такимъ образомъ, совершенно бесполезна, потому что когда тараканъ пойманъ, тогда его можно истребить безо всякой жидкости. — Не знаю, существуютъ ли на свѣтѣ москотальщики, способные давать своимъ покупателямъ подобныя наставленія, но знаю навѣрное, что очень многіе добродушные писатели, стремящіеся обновить и возродить общество силою великихъ идей, преподають своимъ читателямъ точь-въ-точь такіе совѣты касательно этого будущаго обновленія и возрожденія. Если вы хотите провести въ жизнь ваши плодотворныя идеи, говорятъ эти писатели, старайтесь реформировать воспитаніе; если хотите искоренить въ обществѣ вредныя предрассудки, старайтесь, прежде всего, охранить отъ этихъ предрассудковъ подрастающее поколѣніе. Словомъ, дѣйствуйте на школу для того, чтобы подѣйствовать на жизнь. Именно такъ: поймайте таракана, облейте его голову вашей жидкостью, и тогда онъ навѣрное издохнетъ черезъ полчаса. Добродушные писатели, мечтающіе о торжествѣ новыхъ идей посредствомъ школы, упускаютъ изъ виду только одно крошечное обстоятельство, именно то, что школа вездѣ и всегда составляетъ самую крѣпкую и неприступную цитадель всевозможныхъ традицій и предрассудковъ,

мѣшающихъ обществу мыслить и жить сообразно съ его дѣйствительными потребностями. Всѣ члены общества, питающіе искреннюю или притворную нѣжность къ традиціямъ и къ предрасудкамъ, охраняютъ школу отъ вліянія новыхъ идей такъ же старательно, какъ старая нянька охраняетъ своего питомца отъ дурного глаза. Всѣ безкорыстные или корыстные приверженцы укоренившихся заблужденій понимаютъ какъ нельзя лучше, что если новая идея заберется въ школу и успѣетъ въ ней утвердиться, тогда эта новая идея, по прошествіи двухъ-трехъ десятилѣтій, а можетъ быть и раньше, охватитъ своимъ вліяніемъ всѣ жизненные отправленія и стремленія общества. Этому они, разумѣется, будутъ сопротивляться всѣми силами, и ихъ сопротивленіе будетъ неодолимо до тѣхъ поръ, пока численный перевѣсъ будетъ находиться на ихъ сторонѣ, то есть, пока пассивное и безгласное большинство будетъ, по старой привычкѣ, считать ихъ софизмы за выраженія чистѣйшей истины. Такимъ образомъ, не трудно понять, что овладѣть школою и перестроить воспитаніе можетъ только та идея, которая давно перешла въ наступательное положеніе и одержала рѣшительную побѣду въ сознаніи самого общества, а совсѣмъ не та идея, которая, по своей крайней молодости, принуждена еще бороться за свое собственное существованіе. Когда взята уже школа, тогда борьба кончена, побѣда упрочена, тараканъ пойманъ... Взятіе школы составляетъ важнѣйшій результатъ и драгоцѣннѣйшій плодъ побѣды, а никакъ не первый актъ борьбы. Взять школу—значитъ упрочить господство своей идеи надъ обществомъ. Но мечтать о томъ, чтобы черезъ школу пробить себѣ дорогу въ жизнь,—черезъ воспитаніе пересоздать общество,—это значитъ принимать окончательный результатъ за вспомогательное средство, компрометировать свою идею безтактными попытками, обрекать самого себя на вѣчное безсиліе и тратить жизнь на маниловскія фантазіи о великолѣпныхъ мостахъ съ каменными лавками. Это еще неглѣбе, чѣмъ истреблять таракановъ по рецепту моего вымышленнаго москотяльщика. Поймать таракана все-таки возможно, хотя и нелѣпо ловить его для того, чтобы мочить ему голову; а перестроивать воспитаніе, не передѣлавши предварительно основныхъ понятій общества, — нѣтъ даже ни малѣйшей возможности.

Само собою, разумѣется, что со временемъ послѣдовательный реализмъ, то есть, строго-научный и совершенно трезвый взглядъ на природу, на человѣка и на общество, силою своей собственной разумности одержитъ непремѣнно рѣшительную побѣду надъ всѣми произвольными построеніями праздної фантазіи. Фантастическій элементъ, вытѣсненный изъ жизни и міросоверпанія общества, конечно не удержится и въ школѣ. Система воспитанія сложится по тому же принципу, которымъ будутъ проникнуты всѣ остальные отправленія общественной жизни. Къ такому порядку вещей идетъ вся образованная Европа; вслѣдъ за нашими

европейскими учителями, мы также волей или неволей тянемся къ тому же самому результату, по извѣстной пословицѣ: куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней. Этотъ окончательный результатъ неизбѣженъ, но мы придемъ къ нему еще не очень скоро. Невѣжество, умственная робость, неповоротливость и вялость нашихъ, такъ называемыхъ образованныхъ соотечественниковъ окружаютъ насъ со всѣхъ сторонъ такими непроницаемыми дѣвственными лѣсами, въ которыхъ могутъ гнѣздиться совершенно безпрепятственно, въ теченіе цѣлаго столѣтія, всевозможныя фантастическія нелѣпости. При существованіи этихъ нетронутыхъ лѣсовъ, въ которые не заглядывалъ до сихъ поръ ни одинъ лучъ строго-научнаго, положительнаго мышленія, нечего и думать о томъ, чтобы проводить въ общественное воспитаніе принципъ послѣдовательнаго реализма. Если бы даже само правительство, при всѣхъ своихъ громадныхъ средствахъ дѣйствовать на общество, взялось за эту задачу, то и тогда задача оказалась бы неразрѣшимой. Попавши въ наши учебныя заведенія, послѣдовательный реализмъ быстро принялъ бы въ себя такое множество нереальныхъ ингредиентов самого сомнительнаго достоинства, что въ общемъ итогѣ получилась бы такая же бессмысленная смѣсь *фринцузскаго съ нижегородскимъ*, какая господствовала въ свѣтскихъ манерахъ высшаго общества «временъ Очакова и покоренья Крыма». Второстепенные и третьестепенные исполнители реальнѣйшихъ предписаній оказались бы, въ большей части случаевъ, такъ же хорошо приготовленными къ своей новой роли, какъ хорошо приготовлены чины земской полиціи къ собиранію статистическихъ матеріаловъ и къ засѣданію въ статистическихъ международныхъ конгрессахъ. Имѣя въ виду эти печальныя истины, въ которыхъ могутъ сомнѣваться только очень наивные оптимисты, «Русское Слово», какъ извѣстно нашимъ читателямъ, созерцало съ невозмутимымъ равнодушіемъ великую и славную борьбу нашихъ классиковъ съ нашими такъ называемыми реалистами, которыхъ «Русское Слово», по правдѣ сказать, даже и не признаетъ за настоящихъ реалистовъ. Въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ, когда эта борьба находилась въ самомъ разгарѣ, «Русское Слово» всего только два раза коснулось вопроса о нашемъ общественномъ образованіи: въ первый разъ въ 1863 году, посредствомъ статьи: «Наша университетская наука»; во второй разъ, въ 1865 году, посредствомъ статьи: «Педагогическіе софизмы». Обѣ эти статьи держатся на чисто отрицательной точкѣ зрѣнія и посвящены систематическому разоблаченію педагогическаго шарлатанства и доморощенной бездарности. Обѣ клонятся не къ тому, чтобы исправить существующіе недостатки—такая наивная претензія заключала бы въ себѣ слишкомъ много младенческой неопытности и самонадѣянности, — а къ тому, чтобы предостеречь отъ этихъ недостатковъ тѣхъ юныхъ и довѣрчивыхъ людей, которые способны восхищаться шарлатанами и благоговѣть передъ бездарностями.

Еще въ 1863 году, «Русское Слово» выразило очень опредѣленнымъ образомъ то мнѣніе, что наши учебныя заведенія очень плохи, и очень долго останутся еще въ своемъ неудовлетворительномъ положеніи, потому что ихъ недостатки зависятъ не отъ какихъ нибудь частныхъ несовершенствъ гимназическаго устава, а отъ невѣрности того основнаго понятія, которое общество составляетъ себѣ о цѣли общаго образованія. Въ послѣдніе два года это основное понятіе не могло измѣниться и дѣйствительно нисколько не измѣнилось. Поэтому и «Русское Слово» естественнымъ образомъ остается при своемъ прежнемъ убѣжденіи. Нисколько не сочувствуя классицизму, мы однако нисколько не сокрушаемся о томъ, что гимназическій уставъ рѣшилъ вопросъ о нашемъ общественномъ образованіи въ пользу классическихъ гимназій. Если бы вопросъ былъ рѣшенъ въ пользу реальныхъ гимназій, то эти гимназіи во всякомъ случаѣ были бы реальными только по своему названію, и ихъ реализмъ могъ бы показаться вполне удовлетворительнымъ только для скромныхъ и невзыскательныхъ публицистовъ «Голоса». Намъ такой реализмъ нисколько не прельщаетъ; а такъ какъ реализмъ болѣе чистой пробы долго еще не проникнетъ въ наши школы, то мы считаемъ совершенно лишнимъ дѣломъ ратовать противъ неизбежнаго хода вещей, который можетъ быть исправленъ только дѣйствіемъ и добросовѣстною работою мысли, направленною не на спеціальный педагогическій вопросъ, а на общіе вопросы общественнаго міросозерцанія. Намъ очень жаль, что наша учащаяся молодежь можетъ тратить, пожалуй, непроязвительнымъ образомъ значительную часть того времени, которое она проводитъ въ школѣ или употребляетъ на заучиваніе уроковъ. Но съ этою тратою времени мы готовы помириться. Мы видимъ и знаемъ, что очень многіе молодые люди, по окончаніи полнаго учебнаго курса, принимаются очень серьезно за свое самообразованіе, начинаютъ свою работу, если не съ азбуки, то во всякомъ случаѣ съ арифметики, и, благодаря усиленнымъ трудамъ, успѣваютъ дѣлаться мыслящими людьми, послѣдовательными реалистами и полезными гражданами. Значитъ, заплативши въ своемъ отрочествѣ и въ своей первой молодости тяжелую дань неразвитому обществу, то есть, истративъ лѣтъ десять на бесполезныя учебныя занятія, человѣкъ еще сохраняетъ въ себѣ достаточное количество энергіи и умственной свѣжести на то, чтобы выработать себѣ самостоятельныя понятія о жизни. Значитъ, школа не убила въ человѣкѣ ни здраваго смысла, ни любознательности, ни трудолюбія. И за то спасибо. За неизмѣнимъ лучшаго, и въ ожиданіи этого лучшаго, съ существующими школами можно совершенно помириться на слѣдующемъ простомъ и скромномъ условіи: пусть школа поглощаетъ время воспитанниковъ, не давая имъ за это время прямо полезныхъ знаній, но пусть она, по крайней мѣрѣ, не посягаетъ на

ихъ здоровье. — Неприкосновенность здоровья — вотъ, по моему мнѣнію, то единственное условіе, на исполненіи котораго есть возможность настаивать въ настоящее время, имѣя дѣло съ нашими учебными заведениями. Пожалуй, можно было бы придумать очень много другихъ требованій, но навѣрное можно сказать, что большая часть ихъ, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, можетъ остаться неисполнимой.

Вы смущены, мой читатель, и, быть можетъ, даже разсержены. *Неприкосновенность здоровья* — это требованіе до такой степени кротко и скромно, что вы даже никакъ не рѣшаетесь принять его за чистую монету. Въ моихъ кроткихъ и скромныхъ словахъ вы подозреваете или дерзкую насмѣшку, или отчаянный парадоксъ, или вообще какую нибудь затаенную пакость. Развѣ, размышляете вы съ негодованіемъ, теперешнія школы посягаютъ на здоровье воспитанниковъ? И съ какой же стати, продолжаете вы, ставить такое требованіе, которое и безъ того исполняется всѣми школами безъ исключеній? Нѣтъ, рѣшаете вы, это не спроста. Тутъ что нибудь да не такъ. Навѣрное тутъ какой нибудь «крокодилъ на днѣ лежитъ» *).

Успокойтесь, читатель. Въ требованіи моемъ нѣтъ никакихъ злокачественныхъ фокусовъ, и требованіе это, къ сожалѣнію, не можетъ считаться анахронизмомъ, не только у насъ, но даже и въ западной Европѣ. Выдвигая это требованіе на первый планъ, я повторяю только слова европейскихъ медиковъ. Мало того: напирая на эту мысль, я поддерживаю такія мнѣнія, которыя очень опредѣленнымъ образомъ были выражены даже въ нашей литературѣ, но которыя, по непростительной небрежности нашихъ толстыхъ журналовъ и ежедневныхъ газетъ, были оставлены до сихъ поръ безъ вниманія всѣми наиболѣе распространенными органами нашей печати. «Давно уже, пишутъ въ «Учителѣ», замѣченъ тотъ фактъ, что школа имѣетъ на дѣтей особенное вліяніе, рѣзче выказывающееся въ физическомъ отношеніи. Вліяніе это выражается въ томъ, что прежняя свѣжесть, бодрость и цвѣтущее здоровье дѣтей смѣняются вялостью, истомленностью и болѣзненностью. Нѣкоторые даже перестаютъ расти; большинство теряетъ свою прежнюю беззаботную веселость и смотритъ какъ-то угрюмо и боязливо. Вліяніе это нерѣдко отражается и въ умственномъ отношеніи: дѣти тупѣютъ, теряютъ прежнюю даровитость и взамѣнъ ея приобрѣтаютъ какую-то болѣзненную нервную раздражительность, признакъ слабосилія. Поэтому не совсѣмъ неправы тѣ, которые говорятъ о вырожденіи человѣческаго рода подъ губительнымъ вліяніемъ школы и воспитанія. («Учитель». 1865 г. № 9, стр. 316).

Картина нарисована чрезвычайно вѣрно. Она пугаетъ насъ, когда мы встрѣчаемся съ нею въ книгѣ; но, къ сожалѣнію, въ дѣйствитель-

*) Стихъ Батюшкова.

ной жизни мы такъ приглядѣлись къ ея уродливымъ подробностямъ, что почти совершенно потеряли способность чувствовать и понимать ея глубокую и возмутительную ненормальность. Случается очень часто, что рѣзвый и веселый ребенокъ, помѣщенный въ учебное заведеніе, скучается, тоскуетъ и плачетъ въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль послѣ своего поступленія. Мы находимъ, съ свойственнымъ намъ философскимъ глубокомысліемъ, что эта продолжительная грусть, противорѣчащая всему основному характеру юнаго субъекта, совершенно естественна; мы говоримъ, что иначе и быть не можетъ, что ребенокъ тоскуетъ о своихъ родителяхъ, о своихъ ребяческихъ забавахъ, о всей обстановкѣ своей домашней жизни, съ которою ему, во всякомъ случаѣ, необходимо разстаться рано или поздно. Мы соображаемъ, кромѣ того, что ребенокъ лѣнитса, и что, вслѣдствіе этого, на его преступныя слезы не должно обращать ни малѣйшаго вниманія. Во время нашихъ глубокомысленныхъ соображеній насъ нисколько не смущаетъ то обстоятельство, что ребенокъ не былъ лѣнивъ въ родительскомъ домѣ, и что учебное заведеніе, приводящее ребенка въ соприкосновеніе съ дѣтьми его лѣтъ, должно было бы, при нормальныхъ условіяхъ, пробуждать въ ребенкѣ соревнованіе, вмѣсто того, чтобы погружать его въ плаксивую апатію. Философствуя о похвальныхъ или предосудительныхъ причинахъ дѣтскихъ слезъ, мы также не задаемъ себѣ вопроса о томъ, естественна ли, со стороны ребенка, упорная и продолжительная грусть, и можетъ ли здоровый ребенокъ оставаться, въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль, печальнымъ и неутѣшнымъ, въ томъ случаѣ, если новая обстановка его жизни не причиняетъ ему тяжелыхъ ощущеній, постоянно и ежеминутно подновляющихъ въ немъ воспоминаніе о сдѣланной утратѣ. Само собою разумѣется, что наши глубокомысленныя соображенія не находятъ себѣ никакого отпора; на всѣ наши назидательныя внушенія ребенокъ отвѣчаетъ намъ молчаніемъ или слезами; этотъ послѣдній языкъ достаточно краснорѣчивъ, но краснорѣчивъ только для того, кто умѣетъ или желаетъ его понимать. Болѣе обстоятельныхъ объясненій мы не дождемся, и не вправѣ требовать отъ ребенка. Во-первыхъ, ребенокъ не способенъ анализировать свои ощущенія; онъ чувствуетъ вообще, что ему скверно жить на свѣтѣ; но изъ какихъ отдѣльныхъ частей слагается этотъ скверный итогъ, этого онъ, разумѣется, не знаетъ. Во-вторыхъ, ребенокъ видитъ очень хорошо, что мы относимся къ его страданіямъ недовѣрчиво и недоброжелательно, потому что усматриваемъ въ этихъ страданіяхъ симптомы его порочныхъ наклонностей къ праздности, знаменитой матери всѣхъ пороковъ.—Вслѣдствіе этого, ребенокъ, разумѣется, старается отдѣлаться отъ нашихъ распросовъ, которыя, какъ ему извѣстно по горькому опыту, не приводятъ за собою ничего, кромѣ утомительныхъ нравоученій и обидныхъ упрековъ. Наконецъ, въ

третьихъ, если бы намъ удалось возбудить въ ребенкѣ откровенность, которую мы систематически подавляемъ въ немъ нашими глупо-скептическими взглядами на его огорченія, и если бы, сверхъ того, у ребенка достало умѣнья описать намъ подробно все, что онъ чувствуетъ, то и тогда наше постыдное невѣжество помѣшало бы намъ извлечь изъ откровеннаго признанія несчастнаго ребенка какую бы то ни было пользу. Ребенокъ объяснилъ бы намъ, что ему по утрамъ ужасно хочется спать, что его утомляютъ уроки, что безконечное сидѣнье въ классѣ наводитъ на него тоску, что ему хотѣлось бы побѣгать и поиграть.

Спрашивается, какое заключеніе вывели бы мы изъ этихъ словъ маленькаго страдальца?—Разумѣется, мы немедленно отдали бы должную дань почтительнаго удивленія нашей собственной необыкновенной проницательности. Такъ и есть, сказали бы мы; мы такъ и знали заранѣе. Ты, мальчуганъ, просто лѣнивь, и это съ твоей стороны весьма непохвально. — Затѣмъ полились бы изъ нашихъ устъ правоученія и упреки, которые, по всей вѣроятности, внушили бы безотвѣтной жертвѣ нашего краснорѣчія сильнѣйшее желаніе исправиться навсегда отъ неумѣстной откровенности со взрослыми.

Въ естественныхъ требованіяхъ дѣтскаго организма, по нашему остроумію и по совершенному отсутствію самыхъ элементарныхъ физиологическихъ познаній, мы видимъ обыкновенно порочныя наклонности, съ которыми необходимо вести упорную, истребительную войну. Дѣйствительно, эта курьезная война ведется неутомимо и добросовѣстно; въ большей части случаевъ, наши воинственные усилія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, потому что обезсилить, изломать и изуродовать нѣжный организмъ ребенка вовсе не трудно. Но, странное дѣло! наша блистательная побѣда надъ дѣтскимъ организмомъ нисколько не удовлетворяетъ и не радуетъ насъ. Созерцая прамые результаты нашихъ систематическихъ трудовъ, мы даже вовсе не замѣчаемъ того, что мы дѣйствительно одержали побѣду; напротивъ того, мы, въ подобныхъ случаяхъ, готовы даже признать себя побѣжденными. Когда мы смотримъ на слабого, блѣднаго, вялаго и притупленнаго юношу, мы имѣемъ полное право сказать съ законною гордостью: вотъ дѣло рукъ нашихъ. Мы заставляли его учиться, когда ему хотѣлось спать; мы заставляли его сидѣть на мѣстѣ, когда ему хотѣлось бѣгать; мы держали его въ четырехъ стѣнахъ, когда ему необходимо было дышать чистымъ воздухомъ; мы мужественно боролись со всѣми естественными стремленіями этого строптиватаго организма, и, какъ видите, мы достигли того, что этотъ организмъ, утративъ всю свою строптивость, въ настоящую минуту не стремится рѣшительно ни къ чему.

Вотъ что мы имѣемъ право сказать; но обыкновенно мы говоримъ совсѣмъ не то. Почти всегда мы чувствуемъ себя чѣмъ-то обиженными;

мы думаемъ и говоримъ, что получилось совсѣмъ не то, чего мы желали; намъ вѣжется, что какой-то враждебный и неумолимый рокъ уничтожитъ всѣ плоды нашихъ усилій; мы погружаемся въ сентиментальную задумчивость, произносимъ какой нибудь бессмысленно-покорный афоризмъ, и потомъ, не вынеся изъ полученнаго результата никакого практическаго урока для будущаго, съ удвоеннымъ усердіемъ принимаемся истреблять порочныя наклонности слѣдующаго поколѣнія, которое также имѣетъ дерзость ненавидѣть длинные уроки и любить крѣпкій сонъ, веселую бѣготню и чистый воздухъ.

«Педагоги, говоритъ *«Учитель»*, большею частью пропитанные неизлечимымъ спиритуализмомъ, видѣли въ ученикѣ только духъ; а вѣдь духъ, говорили они, безконеченъ; онъ неистощимъ въ своихъ силахъ; устаетъ только тѣло, а тѣло что такое? тѣло просто дрянъ, нестоющая вниманія. На этомъ основаніи, почтенные педагоги считали священною обязанностью своею безпрестанно понукать, подгонять и подстрекать ученика, не давая ему времени на отдыхъ; самая мысль объ отдыхѣ почиталась чѣмъ-то постыднымъ, какъ недостойная духа». (№ 9. Стр. 316).

Если исходная точка понукательной системы заключается въ спиритуализмѣ, то надо будетъ сознаться, что спиритуализмъ *почтенныхъ педагоговъ* никакъ не выдержитъ сравненія съ спиритуализмомъ ломовыхъ извозчиковъ. Эта послѣдняя категорія гражданъ заходитъ въ своемъ спиритуализмѣ такъ далеко, что даже къ бесловесной твари примѣняетъ педагогическое ученіе о неистощимыхъ силахъ духа и о дрянности тѣла. Эти крайніе спиритуалисты также считаютъ своей обязанностью безпрестанно *подстрекать* своихъ четвероногихъ учениковъ, смотря по обстоятельствамъ, то сапогомъ по мордѣ, то веревочными возжами по спинѣ. Такъ какъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что общій уровень образованія въ средѣ ломовыхъ извозчиковъ стоитъ даже еще ниже, чѣмъ въ средѣ *почтенныхъ педагоговъ* понукательной школы, то нетрудно будетъ додуматься до того заключенія, что необузданный спиритуализмъ составляетъ естественный и неизбѣжный продуктъ глубокаго невѣжества. Чѣмъ глубже невѣжество, тѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ. Можно, разумеется, умозаключать столь же безошибочно и наоборотъ: чѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ, тѣмъ глубже невѣжество. Кто желаетъ повѣрить это правило на отдѣльныхъ примѣрахъ, тому я предлагаю заняться изученіемъ нашихъ великихъ спиритуалистовъ, гг. Николая Соловьева, Каткова, Аверкіева, Юркевича, Страхова, Incognito, Косицы и многихъ другихъ, имъ подобныхъ, ученыхъ мыслителей.

Понукательная система, выработанная вѣковою дѣятельностью педагогическаго *спиритуализма*, пустила такіе глубокіе корни во всѣ отрасли общественнаго преподаванія, что уничтожить эту систему могутъ только самыя радикальныя реформы, далеко превышающія силу единичныхъ

дѣлателей педагогическаго міра. Вредное вліяніе школы на здоровье воспитанниковъ обусловливается не излишнею строгостію начальствующихъ лицъ, не придирчивостію отдѣльныхъ учителей или надзирателей, не частными и мелкими злоупотребленіями недобросовѣстныхъ экономовъ. Это все — второстепенныя неудобства; это — произвольныя уклоненія отъ основнаго принципа, уклоненія, за которыя отвѣтственность падаетъ на отдѣльныя личности нарушителей, и которыя будутъ постоянно становиться болѣе рѣдкими и случайными, по мѣрѣ того, какъ общество будетъ обращать больше и больше вниманія на свои собственные интересы. Героическій періодъ кровопролитнаго свѣченія, педагогическихъ зуботычинъ, нетопленныхъ дортуаровъ и гнилой пищи очевидно приходитъ, и, быть можетъ, даже пришелъ къ концу. Но остается другой источникъ вреднаго вліянія, источникъ гораздо болѣе глубокой, который никакъ не можетъ изсякнуть самъ собою, и передъ которымъ окажутся безсильными самыя блестящія умственныя качества и самыя трогательныя нравственныя совершенства новѣйшихъ педагоговъ, не увлекающихся *спиритуализмомъ* ломовыхъ извозчиковъ. Ни учитель, ни инспекторъ, ни директоръ не могутъ измѣнить основной программы заведенія: число учебныхъ часовъ для нихъ непривосновенно; а это число чрезвычайно велико и совершенно несообразно съ физическими и умственными силами малолѣтнихъ учениковъ. «Стоитъ только взглянуть, говорить *«Учитель»*, на недѣльную роспись учебныхъ часовъ любого учебнаго заведенія нашего времени, чтобы убѣдиться, что педагоги далеко еще не отстали отъ своей привычки гнать учениковъ, какъ почтовыхъ лошадей. Эта недѣльная роспись для семи классовъ какой нибудь гимназіи, представила бы намъ сверхъ того много еще другихъ любопытныхъ вещей. Такъ, напр., наши педагоги воображаютъ, что въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой разницы между одинадцатилѣтнимъ мальчикомъ и семнадцатилѣтнимъ юношей, и что отъ одного можно требовать столь же продолжительнаго умственнаго напряженія, какъ и отъ другого. Четыре часа въ сутки (по моему расчету выходитъ больше: отъ 9 до 2 $\frac{1}{2}$ — пять съ половиною часовъ; полчаса уходитъ на завтракъ, отъ 12 до 12 $\frac{1}{2}$; и того остается на классныя занятія *пять часовъ*) на классныя занятія положено одинаково во всѣхъ семи классахъ нашихъ гимназій, какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ, т. е. въ седьмомъ. Вѣроятно, тѣ, которые составляли программу классныхъ занятій, руководились здѣсь началомъ симетріи. Для учениковъ седьмого класса, то есть, для молодыхъ людей лѣтъ 17 и 18, разсуждали они, нисколько не тяжело будетъ просидѣть въ классѣ какіе нибудь четыре часа въ день (при чемъ имъ приходило въ голову, что люди въ разныхъ канцеляріяхъ сидятъ и больше). А если такъ, то необходимо и для всѣхъ другихъ классовъ назначить столько же: иначе выйдетъ разнокалибер-

щина, путаница; а главное, такъ на бумагѣ выходитъ какъ-то красивѣе, аккуратнѣе, когда во всѣхъ классахъ одинаковое число уроковъ. Но, по настоящему, слѣдовало бы разсуждать совсѣмъ иначе, именно вотъ какъ: если я для перваго класса, то есть, для дѣтей 11 лѣтъ, кладу въ день 4 часа на занятія, то сколько же придется положить для взрослыхъ, 17-лѣтнихъ юношей седьмого класса? По крайней мѣрѣ 16 часовъ. А сколько придется назначить часовъ на слушаніе лекцій студентамъ, людямъ, въ которыхъ еще болѣе предполагается силы выдерживать продолжительное умственное напряженіе? Уже никакъ не меньше 24 часовъ въ сутки. Дойдя до этого, можно бы было убѣдиться, какъ неудобно назначать 4 часа въ сутки на классныя занятія, и что, кромѣ того, у тѣхъ же дѣтей бываютъ каждый день занятія внѣ класса (то есть, приготовленіе уроковъ), которыя и отнимаютъ у нихъ почти цѣлый день. Тутъ мы ужъ окончательно падаемъ ницъ передъ нашей педагогической практикой, ибо совершенно не понимаемъ ее. Какъ? До поступленія въ училище дитя ничему не учится, или учится, какъ извѣстно, очень мало; и вдругъ, поступивъ въ школу, оно должно цѣлый день сидѣть за книгою!! Гдѣ же тутъ знаніе дѣла, за которое берутся педагоги-практики?» («Учитель» № 9 стр. 317 и 318).

Если бы русскіе журналисты сколько нибудь понимали свои обязанности въ отношеніи къ русскому обществу, они непременно удостоили бы этотъ фактъ своего вниманія. Но нашими пишущимъ и печатающимъ *спиритуалистамъ* нѣкогда заниматься такимъ ничтожнымъ предметомъ, какъ здоровье подрастающихъ поколѣній. Имъ, этимъ *великимъ спиритуалистамъ*, надо подавать законодательной власти драгоценныя совѣты на счетъ особаго представительства крупной поземельной собственности; имъ надо воевать за русскую народность, которую безъ нихъ непременно обидѣли бы полтора рижскіе булочника и три съ половиною ревельскіе башмачника; имъ надо собирать сплетни всѣхъ уѣздныхъ старухъ о причинѣ частыхъ пожаровъ; имъ надо прислушиваться, не заговорилъ ли какой нибудь обыватель черниговской или полтавской губерніи на малороссійскомъ нарѣчій. При такомъ множествѣ разнообразныхъ занятій, достойныхъ трудолюбивой мартышки, наши спиритуалисты, которымъ, кромѣ того, приходится еще отстаивать чистое искусство и классическую древность, не имѣютъ, разумѣется, ни малѣйшей возможности сказать родителямъ и опекунамъ серьезное слово о томъ, что подрываетъ и губитъ несложившіяся силы ихъ дѣтей и питомцевъ.

III.

Извѣстно, что лучшіе изъ современныхъ медиковъ ненавидятъ меди-

чину въ узкомъ смыслѣ этого слова; они чувствуютъ глубокое недовѣріе къ разнымъ декоктамъ, микстурамъ, пилюлямъ и всякимъ другимъ героическимъ средствамъ такъ называемой латинской кухни; они полагаютъ, что леченіе во всякомъ случаѣ составляетъ зло, и что всѣ усилія благоразумнаго человѣка должны направляться не къ тому, чтобы чинить и конопатить свой организмъ, какъ утлую и дырявую ладью, а къ тому, чтобы устроить себѣ такой раціональный образъ жизни, при которомъ организмъ какъ можно рѣже приходилъ бы въ разстроенное положеніе, и, слѣдовательно, какъ можно рѣже нуждался бы въ починкѣ. Гигіена или изученіе тѣхъ условій, которыя необходимы для сохраненія здоровья, приобретаетъ себѣ въ настоящее время преобладающее значеніе въ глазахъ каждаго мыслящаго и свѣдущаго человѣка. Совершенное игнорированіе гигиены съ каждымъ годомъ становится менѣе возможнымъ для всѣхъ разнообразнѣйшихъ отраслей государственнаго хозяйства. Медики совершенно основательно присваиваютъ себѣ совѣщательный голосъ во всѣхъ вопросахъ, относящихся до народнаго продовольствія, до производства общественныхъ работъ, до устройства мастерскихъ, фабрикъ и разныхъ другихъ промышленныхъ заведеній. Само собою разумѣется, что и школа не можетъ увернуться изъ подъ контроля медиковъ-гигиенистовъ; зародыши очень многихъ, тяжелыхъ, мучительныхъ, и, отчасти, даже неизлечимыхъ болѣзней прививаются къ организму во время дѣтства, отрочества и первой молодости; чтобы разъяснить себѣ причины этихъ болѣзней, и чтобы открыть противъ нихъ раціональныя предохранительныя средства, медики очевидно должны были подвергнуть самому тщательному анализу всю жизнь ребенка отъ самого его рожденія до его окончательной эманципации изъ подъ власти родителей, опекуновъ, воспитателей и учителей.

Мнѣнія гигиенистовъ на счетъ школьнаго обученія оказались въ высшей степени единодушными. Всѣ свѣдующіе медики, безъ исключенія, твердятъ въ одинъ голосъ, на пространствахъ всей цивилизованной Европы, что заботливые педагоги начинаютъ учить своихъ питомцевъ слишкомъ рано и учатъ ихъ слишкомъ много. Пока эти мысли медиковъ формируются въ общихъ выраженіяхъ, до тѣхъ поръ существуетъ еще нѣкоторая возможность пропускать ихъ мимо ушей и видѣть въ нихъ маловажныя проявленія излишней медицинской мнительности. Но что вы станете говорить тогда, когда медики начнутъ выставлять вамъ статистическіе факты, и когда онъ перечислитъ вамъ по пальцамъ цѣлый рядъ специфическихъ болѣзней, развивающихся именно въ школѣ именно вслѣдствіе неестественной продолжительности классныхъ занятій? Что вы скажете, когда медики заговорятъ съ вами объ искривленіи позвоночнаго столба, о школьномъ зобѣ, о хронической головной боли, о періодическомъ кровотеченіи изъ носа, о разстройствѣ пищева-

ренія, о неизлечимомъ притупленіи всѣхъ умственныхъ способностей?— Чѣмъ отразите вы аргументы медика, когда онъ начнетъ объяснять вамъ процессъ происхожденія и развитія всѣхъ этихъ болѣзней такъ наглядно и осязательно, что вы, профанъ въ анатоміи и въ физиологіи, не смотря на все ваше невѣжество, вникнувъ и вдумавшись въ его объясненія, поймете вполне роковую связь этихъ болѣзней съ тѣми условіями, въ которыхъ вы ставите вашихъ дѣтей и воспитанниковъ?

Угодно вамъ знать, напримѣръ, почему продолжительность классныхъ занятій искривляетъ позвоночный хребетъ? Извольте. Докторъ Вильдбергеръ, специально изучившій эти искривленія, немедленно удовлетворитъ вашу любознательность. Когда человѣкъ сидитъ, тогда онъ не находится въ положеніи полного покоя; туловище его поддерживается въ равновѣсіи мускулами спины, а голова мускулами затылка; напряженіе тѣхъ и другихъ мускуловъ довольно значительно, и черезъ нѣсколько времени даетъ себя знать ломотою въ спинѣ и въ шеѣ даже взрослому человѣку, которому приходится сидѣть на одномъ мѣстѣ въ теченіе трехъ или четырехъ часовъ. Ребенокъ, у котораго кости тонки и мягки, а мускулы слабы, въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, утомляется гораздо скорѣе взрослого. Что же дѣлаетъ утомленный ребенокъ? Онъ или отваливается назадъ, или прислоняется грудью къ столу, или сгорбливается, или кладетъ локоть на столъ и подпираетъ голову рукой. Первый случай сравнительно безвреденъ, но онъ не всегда возможенъ, потому что многіе остроумные педагоги, усердно заботятся о сидѣніи на вытяжку, нарочно устраиваютъ скамейки такъ, чтобы ученику не къ чему было прислониться. Такимъ образомъ, педагоги, въ простотѣ души своей, насильно заставляютъ несчастнаго ребенка принять одну изъ тѣхъ позъ, которыя непременно поведутъ за собою вредныя послѣдствія для его здоровья. Прислоняясь грудью къ столу, ребенокъ сдавитъ себѣ грудную клетку и разстроитъ себѣ органы дыханія, то есть, наживетъ себѣ грудную боль, одышку, кровохарканье и, можетъ быть, чахотку. Сгорбливаясь, ребенокъ приобретаетъ себѣ сутуловатость; это искривленіе позвоночнаго столба по дѣйствуетъ на ребра, и, приведя ихъ въ ненормальное положеніе, повредитъ всѣмъ органамъ, лежащимъ въ полости груди и живота. Такъ какъ правая рука почти у всѣхъ людей развита болѣе лѣвой, то, подпирая голову рукою, ребенокъ обыкновенно будетъ класть на столъ правый локоть и будетъ при этомъ выворачивать наружу несь правый бокъ. Вслѣдствіе этого, получится со временемъ искривленіе позвоночнаго столба въ правую сторону. Вильдбергеръ замѣтилъ, что изъ двадцати случаевъ искривленія позвоночнаго столба въ правую сторону приходится только одинъ случай искривленія въ лѣвую сторону, и эти послѣдніе, исключительные случаи встрѣчаются у тѣхъ людей, которые

называются *мышцами*. Значить искривленіе находится въ тѣсной связи съ тѣми обычными позами, которыя обусловливаются преобладающимъ развитіемъ той или другой руки. Но само собою разумѣется, что ребенку не предстояло бы ни малѣйшей надобности принимать эти уродующія позы, если бы усердные педагоги не измучивали его слишкомъ продолжительнымъ сидѣніемъ.

Теперь вы, быть можетъ, желаете узнать, что такое *школьный зобъ*?— Докторъ Гильюмъ объяснить вамъ, что это — застой крови въ щитовидной железѣ, находящейся въ верхней части шеи; этотъ застой крови происходитъ отъ продолжительнаго вертикальнаго положенія головы, сопровождаемаго утомленіемъ мускуловъ; эта болѣзнь поражаетъ именно тѣхъ учениковъ, которые радуютъ сердца педагоговъ безукоризненнымъ сидѣніемъ на вытяжку; такимъ образомъ, ученикамъ представляется пріятная альтернатива: или искривленіе позвоночнаго столба, какъ наказаніе за противузаконныя позы, или школьный зобъ въ видѣ награды за примѣрное повиновеніе всѣмъ законамъ педагогическаго этикета.— Гильюмъ производилъ свои наблюденія въ Нефшательѣ, гдѣ масса народонаселенія вовсе не страдаетъ зобомъ; оказалось, что въ Нефшательскомъ *Collège municipal*, изъ 731 ученика, 414 успѣли отрастить себѣ очень замѣтные школьныя зобы.— Вы скажете, можетъ быть, что въ Россіи ничего не слышно о школьномъ зобѣ; я отвѣчу вамъ, что вы совершенно правы; дѣйствительно ничего не слышно; но я осмѣлюсь предложить вамъ вопросъ: въ какомъ положеніи находится наша медицинская статистика? Существуетъ ли она? Кажется мнѣ, что объ ней слышно такъ же мало, какъ и о школьномъ зобѣ. Кромѣ школьнаго зоба, продолжительное сидѣніе въ классѣ производитъ еще хроническія головныя боли, происходящія отъ приливовъ крови къ головѣ. Эти приливы крови ведутъ за собою частыя кровотеченія изъ носа, которыя доставляютъ пациенту минутное облегченіе, но которыя, во всякомъ случаѣ, расслабляютъ его организмъ, и расслабляютъ именно въ то время, когда онъ еще растетъ, и слѣдовательно нуждается во всѣхъ своихъ силахъ. Наблюденіе Гильюма надъ учениками *Collège municipal* дали ему слѣдующія цифры:

Всѣхъ учениковъ 731.

Искривленій позвоночнаго столба	218
Школьныхъ зобовъ	414
Хроническая головная боль	296
Періодическія кровотеченія	155

Итого болѣзненныхъ случаевъ 1083

Если бы раздѣлить эти болѣзни поровну между всѣми учениками *Collège municipal*, то на cadaго пришлось бы почти полторы болѣзни.

Результатъ недуренъ, особенно если принять въ соображеніе, что всѣ эти болѣзни привиты къ дѣтямъ именно господствующею педагогической системою, и замѣтите, не злоупотребленіями, не нарушеніями принципа, не небрежностью воспитателей, а именно безукоризненнымъ усердіемъ, примѣрною добросовѣстностью и неуныною бдительностью. Какъ вы думаете, что сказалъ бы древній грекъ, если бы вы привели его въ этотъ великолѣпный разсадникъ слѣпыхъ, хромыхъ, калѣкъ и чающихъ движенія воды?! — Вообразивши себѣ изумленіе и негодованіе этого древняго грека, вы можете составить себѣ легкое понятіе о томъ, какъ глубоко наши педагоги вникаютъ въ духъ той классической древности, которою они начинаютъ головы своихъ изуродованныхъ питомцевъ.

Чтобы положить конецъ этому непростительному поруганію человѣческаго образа, чтобы предохранить образованнѣйшую часть человечества отъ неминуемаго вырожденія, докторъ Гейеръ считаетъ необходимымъ обуздать пламенное усердіе педагоговъ слѣдующей нормою учебныхъ занятій.

Для дѣтей отъ 7 до 9 лѣтъ. До обѣда — 2 часа занятій. Послѣ обѣда — ничего.

Для дѣтей отъ 9 до 12 лѣтъ. До обѣда—3 часа. Послѣ обѣда — ничего.

Отъ 12 до 15 лѣтъ. До обѣда 3 часа. Послѣ обѣда 2 часа.

Отъ 15 до 18 лѣтъ. До обѣда 4 часа. Послѣ обѣда отъ 3 до 4 часовъ.

Въ это расписаніе, способное привести въ неописанный ужасъ ревностныхъ педагоговъ, включены не только классныя занятія, но и тѣ часы, которые ученики должны употреблять на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Такъ какъ приготовленіе уроковъ происходитъ всегда послѣ обѣда, то изъ расписанія Гейера видно, что онъ допускаетъ уроки только начиная съ 12 лѣтъ, то есть, только съ третьяго класса нашихъ гимназій. Раньше этого возраста, всѣ учебныя занятія должны происходить исключительно въ классѣ, подъ руководствомъ самого учителя. Другой специалистъ, докторъ Шреберъ, идетъ въ этомъ отношеніи еще дальше Гейера. Онъ требуетъ, чтобы дѣти до десятилѣтняго возраста учились въ сутки не болѣе 2 часовъ, а послѣ 10 лѣтъ не болѣе трехъ часовъ. Кромѣ того, онъ замѣчаетъ, что ни одно дитя, какого бы возраста оно ни было, не должно сидѣть въ школѣ болѣе двухъ часовъ сряду. По истеченіи двухъ часовъ ученія, долженъ непремѣнно и во всякомъ случаѣ слѣдовать антрактъ по крайней мѣрѣ въ полчаса. Кто желаетъ подробнѣе ознакомиться съ идеями и наблюденіями Вильдбергера, Гильйома, Гейера и Шребера, тому я предлагаю прочитать въ 9, 10 и 11 номерахъ «Учителя» статьи подъ заглавіемъ: «Гигиеническія условія воспитанія».

IV.

Пока вышеозначенные факты лежали тихо и мирно въ брошюрахъ нѣмецкихъ и французскихъ медиковъ, до тѣхъ поръ наши журнальные и газетные мудрецы имѣли полное право не знать о ихъ существованіи. Гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, намъ добираться собственнымъ умомъ до специальныхъ изслѣдованій? — Когда эти факты переѣхали изъ французскихъ и нѣмецкихъ брошюръ въ столбцы «Учителя», тогда наши мудрецы все еще не утратили возможности игнорировать и отмаливаться. — «Учитель» — ничто иное, какъ скромный, специально-педагогическій журналъ, въ который, по всей вѣроятности, никогда не заглядываютъ журнальные и газетные исполины, постоянно витающіе въ эмпирахъ высшихъ политическихъ и полицейскихъ соображеній. Но теперь я перепечу интересные факты на страницы «Русскаго Слова», и съ этой минуты всякое игнорированіе становится невозможнымъ и бессмысленнымъ. «Русское Слово» одарено такимъ значительнымъ количествомъ нишущихъ и печатающихъ враговъ; оно пользуется такою единодушною и пламенной ненавистью журнальныхъ и газетныхъ мудрецовъ; оно читается этими мудрецами такъ пристально и внимательно, что, черезъ недѣлю послѣ выхода каждой новой книжки «Русскаго Слова», всѣ изложенныя въ ней мысли и даже всѣ отдѣльныя выраженія уже сочтены, измѣрены, взвѣшены, обнюханы, прочувствованы и приняты къ свѣдѣнію.

Принимая въ расчетъ это обстоятельство, которое не можетъ подлежать сомнѣнію ни для кого изъ читателей русскихъ журналовъ и газетъ, я могу сказать въ настоящую минуту, что вопросъ о вредномъ вліяніи школы на здоровье подрастающихъ поколѣній поставленъ на очередь, и что всѣ тѣ журнальные и газетные дѣятели, которые будутъ теперь, по прежнему, отвертываться и отмаливаться отъ этого вопроса, — обнаружатъ, передъ лицомъ всей читающей публики, свое позорное, воплотивъ сознательное и во всѣхъ отношеніяхъ непростительное равнодушіе къ самымъ важнымъ и существеннымъ интересамъ общества. Въ этомъ вопросѣ нѣтъ мѣста ни для личнаго самолюбія, ни для вражды литературныхъ или какихъ бы то ни было другихъ партій. Я-ли, другой-ли, поддержалъ и воспроизвелъ мысль «Учителя», это рѣшительно все равно; если эта мысль въ настоящее время имѣетъ практическое значеніе, то ея всестороннимъ обсужденіемъ и повсемѣстнымъ распространеніемъ обязаны, положительно *обязаны* заняться всѣ органы

русской печати. О борьбѣ противоположныхъ общественныхъ тенденцій здѣсь также не можетъ быть рѣчи. Къ чему бы вы ни предназначали людей нашихъ подроставшихъ цоколѣній, къ какой бы дѣятельности вы ихъ ни готовили, какія бы различныя понятія вы ни составляли себѣ о ихъ будущихъ человѣческихъ и гражданскихъ обязанностяхъ и интересахъ,—во всякомъ случаѣ, вы всѣ, консерваторы и прогрессисты, радикалы и ретрограды, должны желать одинаково сильно, чтобы эти будущіе русскіе люди были здоровыми, свѣжими и сильными людьми. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ разногласіе, кажется, невозможно и немислимо. Но было бы въ высшей степени смѣшно и нелѣпо надѣяться, что этотъ послѣдній пунктъ уже совершенно обезпеченъ въ настоящее время, или что онъ достанется намъ самъ собою, не требуя съ нашей стороны никакихъ трудовъ и усилій. Мы знаемъ въ какомъ положеніи находится наша педагогическая практика; мы знаемъ, какъ рѣзко противорѣчитъ она самымъ элементарнымъ началамъ гигиенической науки; мы знаемъ, какіе плоды приносятъ за границей совершенно такіе же нарушенія гигиеническихъ предписаній; не трудно кажется умозаключить, что точно также плоды постоянно развиваются и ежеминутно сорѣваются у насъ на родинѣ.

Скажите пожалуйста, что можете вы противопоставить этому неотразимому умозаключенію? Кажется, ровно ничего, кромѣ вашего непомирнаго невѣжества, вашей непробудной апатіи да извѣстной и остроумной поговорки: что русскому здорово, то нѣмцу смерть. Эта поговорка состоитъ въ самомъ близкомъ родствѣ съ столь же остроумнымъ изрѣченіемъ на счетъ закидыванія нашихъ враговъ шапками, которыя, однако, оказались, какъ извѣстно, весьма неудовлетворительнымъ оружіемъ въ сравненіи съ цилиндроконическими пулями и штуцерами Минье. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что первая поговорка каждый день играетъ съ нами по мелочамъ такую же скверную штуку, какую вторая поговорка сыграла съ нами гуртомъ, во время крымской войны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіе на такіе факты, которые каждому извѣстны и бросаются въ глаза. Подумайте, напримѣръ, много ли вы найдете въ высшихъ и среднихъ классахъ общества молодыхъ людей, которые, уже къ двадцати-пяти годамъ, не страдали бы отъ гемороя. Это такое обыкновенное явленіе, что оно даже перестало считаться болѣзью. У насъ и даже у нашихъ медиковъ составилось убѣжденіе, что геморой есть неизбежное слѣдствіе нашего климата. Легко можетъ быть, что климатъ сѣверной и средней Россіи дѣйствительно предрасполагаетъ человѣка къ геморю; но согласитесь сами, что разсуждать о непреодолимомъ дѣйствіи климата мы имѣли бы право только въ томъ случаѣ, когда бы мы, съ своей стороны, всѣмъ образомъ нашей жизни, старались бы противодействовать ра-

звитію этой болѣзни. А мы что дѣлаемъ? Мы являемся самыми постоянными и добросовѣстными союзниками того вреднаго климата, на который мы ежеминутно жалуемся и очень часто клеветаемъ. Мы воспитываемъ геморой всевозможными искусственными средствами; мы делаемъ его и въ нашихъ канцеляріяхъ, и дома за письменнымъ столомъ, и въ гостяхъ за пульками преферанса, и въ оперѣ, и въ балетѣ, и въ концертѣ, за высокими наслажденіями глазъ, ушей и души. Это все еще куда ни шло. Наши канцеляріи необходимы для процвѣтанія государства и для воплощенія идеи справедливости; наши письменные столы обогащаютъ міръ великими истинами. Пулька преферанса подаетъ поводъ къ гениальнымъ комбинаціямъ и порождаетъ въ духѣ партнеровъ трепетное волненіе; опера, балетъ и концертъ представляютъ собою «нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса». Кто способенъ предаваться такимъ возвышеннымъ помысламъ и ощущеніямъ, тому ни почему идти на встрѣчу геморою, ибо тотъ способенъ стоически презирать страданія бревнаго тѣла. Но наше усердіе въ воздѣлываніи геморою этимъ не ограничивается. Мы самымъ систематическимъ образомъ вводимъ его въ наши школы; мы обрекаемъ на служеніе геморою десятилѣтнихъ мальчишекъ, которые, по своей совершенной незрѣлости, еще не способны заниматься ни воплощеніемъ идеи справедливости, ни гениальными комбинаціями преферанса, ни даже «нѣкоторою игрою облагороженнаго вкуса». Мы насильно тинемъ этихъ безответныхъ страдалцевъ туда, куда они совѣмъ не хотятъ идти, и куда имъ совѣмъ не слѣдуетъ идти. Потомъ, продѣлавши великое множество систематическихъ глупостей надъ собою и надъ ними, мы вмѣстѣ съ ними начинаемъ жаловаться на климатъ. А когда знающіе люди говорятъ намъ, что значительная доля этого, такъ называемаго климата, составляетъ дѣло нашихъ собственныхъ, неуклюжихъ рукъ, и нашего собственнаго неразвитаго ума, тогда мы отмалчиваемся отъ этихъ нелестныхъ рѣчей или отвѣчаемъ на нихъ съ самодовольною улыбкой, которая, вѣроятно, также обязана своимъ происхожденіемъ мѣстному климату, что все это—нѣмецкія теоріи, не имѣющія для нашей русской жизни никакого практическаго значенія.

Мы можемъ взять еще другой примѣръ: поговорите съ любымъ психіатромъ, и вы услышите отъ него, что количество людей, лишающихся разсудка, съ каждымъ годомъ быстро увеличивается, какъ въ западной Европѣ, такъ и въ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ существуютъ по этому предмету какія нибудь статистическія наблюденія. Это увеличеніе оказывается, по своей быстротѣ, совершенно несоразмѣрнымъ съ ежегодною прибылью народонаселенія. Возрастающая цифра ежегодныхъ самоубійствъ наводитъ насъ также на довольно поучительныя размышленія о крайней неудовлетворительности общественнаго здоровья. Многие

медики сильно сомнѣваются въ томъ, чтобы вполне здоровый человѣкъ могъ побѣдить въ себѣ чувство самосохраненія. Конечно, было бы въ высшей степени несправедливо и нелѣпо сваливать на школу всю вину этихъ печальныхъ проявленій физической дряблости. Самая значительная доля отвѣтственности падаетъ, разумѣется, на жизнь, которая идетъ за предѣлами школы. Собственно говоря, даже вся отвѣтственность должна обрушиться на эту жизнь, потому что школа составляетъ ея пассивный продуктъ; школа не имѣетъ безъ нея никакого самостоятельнаго значенія, и школа, во всякую данную минуту, можетъ быть совершенно обновлена и переформирована во всѣхъ своихъ частяхъ благотворнымъ вліаніемъ развивающейся жизни. Но, какъ пассивный продуктъ, созданный и скрѣпленный дѣйствіемъ извѣстныхъ житейскихъ обстоятельствъ, школа все-таки, изъ году въ годъ, вноситъ свою, во все не ничтожную лепту въ общую сокровищницу физическаго и умственнаго разслабленія; кости, мускулы и нервы, высота роста и физическая сила, красота и живучесть, смѣлость и веселость, умъ и характеръ — все это съеживается, вянетъ, линяетъ и искажается отъ мертвящаго, притупляющаго, обезцвѣчивающаго и обезсиливающаго прикосновенія теперешней школы.

И что же даетъ намъ школа взамѣнъ всѣхъ этихъ тяжелыхъ утратъ?—Обширныя знанія? Широкое умственное развитіе?—Да гдѣ-жъ она, наша широкая и смѣлая умственная дѣятельность? Покажите ее: вѣдь это не такая не замѣтная вещица, которую надо искать днемъ съ огнемъ, если она дѣйствительно существуетъ въ данномъ обществѣ. И развѣ-жъ могутъ обширныя и дѣйствительно плодотворныя знанія уложиться въ такомъ мозгу, котораго естественное и здоровое развитіе нарушено вмѣшательствомъ понукательной педагогики? Развѣ способна къ широкой и упорной умственной дѣятельности такая голова, которая сидитъ на изнеможенномъ туловищѣ, и ежеминутно страдаетъ то приливами, то отливами крови?

Наша школа не можетъ похвалиться громкими именами тѣхъ дѣятелей, которыхъ она до сихъ поръ подарила нашему обществу; но, еслибы даже наша школа могла доказать, что изъ каждой сотни ея бывшихъ учениковъ формировалось по десяти Ньютоновъ, то весь этотъ рядъ блестящихъ именъ не могъ бы убѣдить безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что наше общественное воспитаніе устроено рационально. Геній людей, подобныхъ Ньютону, родится вмѣстѣ съ этими людьми: онъ, разумѣется, зависитъ не отъ школы, а отъ счастливаго стеченія благоприятныхъ условій эмбриологическаго развитія и самого первоначальнаго, чисто физическаго воспитанія. Но для того, чтобы Ньютонъ дѣйствительно сдѣлался Ньютономъ, то есть, для того, чтобы онъ совершилъ въ области мысли всѣ тѣ великіе подвиги, до которыхъ

могъ возвыситься его геній, для этого ему необходимо было имѣть въ своемъ распоряженіи значительную массу времени, то есть, необходимо было прожить, очень долго. Геніальность безъ долговѣчности возбуждаетъ много блестящихъ надеждъ, и вслѣдъ затѣмъ, еще больше страстныхъ сожалѣній; но она даетъ людямъ мало существенной пользы. Такіе геніи, которые, подобно Паскалю и Биша, умираютъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, не могутъ сдѣлаться великими преобразователями ни въ области знанія, ни въ области общественной жизни. Если же мы зададимъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ дѣйствуетъ школа на долговѣчность своихъ питомцевъ? — то, разумѣется, отвѣтъ получится самый неутѣшительный. Ослабляя здоровье воспитанниковъ, школа, конечно, сокращаетъ ихъ жизнь, то есть, во первыхъ, приближаетъ минуту ихъ смерти, а во вторыхъ, заставляя ихъ тратить много времени на леченіе различныхъ благопріобрѣтенныхъ немощей, значительно уменьшаетъ то число дней и часовъ, которое можетъ быть употреблено на полезный трудъ или на здоровое наслажденіе жизнью.

Медицинская статистика до сихъ поръ собрала еще немного матеріаловъ, относящихся къ учебнымъ заведеніямъ; но не смотря на то, въ подтвержденіе моихъ словъ, я могу привести изъ книги Мишеля Леви: «*Traité d'hygiène publique et privée*» слѣдующія цифры, заимствованныя этимъ извѣстнымъ гигиенистомъ изъ архивовъ политехнической школы. Въ теченіе 1850, 1851 и 1852 годовъ въ политехнической школѣ перемѣнялось — 586 воспитанниковъ. — Изъ этого общаго числа лечилось въ лазаретѣ — 425 человѣкъ, то есть, почти 72½ процента. — А нездоровыми чувствовали себя, въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ, не имѣя надобности лечиться въ лазаретѣ — 650 человѣкъ, то есть, 111 процентовъ; или другими словами, всѣ 586 воспитанниковъ прихворнули слегка по одному разу, а человѣкъ 60 изъ нихъ даже по два раза. Умершихъ въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ оказалось трое. «Такъ какъ гигиеническія условія соблюдены въ политехнической школѣ превосходно, прибавляетъ Леви, то эти результаты выражаютъ собою только: во 1-хъ, вліяніе индивидуальныхъ особенностей тѣлосложенія у молодыхъ людей, слабыхъ отъ природы или разстроившихъ свои силы предварительными работами; и во 2-хъ, вліяніе школьныхъ занятій». (*Traité d'hygiène*. Tome II. p. 874). Если школьныя занятія дѣйствуютъ такъ сильно даже на взрослыхъ студентовъ политехнической школы, то не трудно понять, что эти занятія должны дѣйствовать еще гораздо разрушительнѣе на дѣтей, которымъ воздухъ и движеніе необходимы для здоровья и для полнаго развитія физическихъ силъ.

V.

Съ одной стороны, гигиѣна запрещаетъ школъ обременять дѣтей непосильными учебными занятіями; съ другой стороны, общество совершенно справедливо требуетъ отъ школы, чтобы она выпускала въ жизнь не олуховъ, а образованныхъ и развитыхъ людей, способныхъ и желающихъ сдѣлаться полезными работниками. Школа, разумѣется, обязана мирить требованія общества съ предписаніями гигиѣны; это — задача очень трудная; но нѣтъ ни малѣйшаго основанія считать эту задачу неисполнимою. До сихъ поръ, школа думала только о томъ, чтобы угодить обществу; и вслѣдствіе этого, общество было постоянно недоволено школою, которая, увлекаясь порывами своего усердія, постоянно выпускала въ жизнь вальхъ и дряблыхъ людей, лишенныхъ всякой энергіи и проникнутыхъ глубокимъ отвращеніемъ къ полезному труду. Вѣда безуспѣшность ея усилій, общество дѣлало школъ строжайшій выговоръ; озадаченная этимъ выговоромъ школа удваивала свои губительныя старанія, и, разумѣется, результатъ оказывался вдвое хуже прежняго, по той простой причинѣ, что гигиеническая сторона воспитательнаго дѣла тѣмъ сильнѣе и рѣшительнѣе отгѣснялась на задній планъ, тѣмъ напряженнѣе становились добросовѣстные усилія заблуждающихся педагоговъ. Этотъ рядъ неудачъ, возраставшихъ вмѣстѣ съ усиліями, доказалъ наконецъ тѣмъ людямъ, которые способны чему нибудь научиться изъ опыта, что задача воспитанія не допускаетъ одностороннихъ рѣшеній, и что ученикъ, въ которомъ школа старается развить умственныя способности въ ущербъ физическому здоровью, оказывается, обыкновенно, не только болѣзненнымъ человѣкомъ, но еще, кромѣ того, очень плохимъ мыслителемъ.

Въ теоріи, между современными педагогами не существуетъ уже разногласія насчетъ того пункта, что гигиеническая точка зрѣнія имѣетъ преобладающую важность въ дѣлѣ воспитанія. Но, когда дѣло доходитъ до примѣненія теоретическихъ началъ къ жизни, тогда начинаются ежеминутныя отступленія отъ гигиеническихъ правилъ, отступленія, которыя или извиняются существующими потребностями общества, данными обстоятельствами мѣста и времени, или даже ничѣмъ не извиняются, потому что гигиеническая точка зрѣнія обыкновенно забывается тотчасъ послѣ того, какъ ея существенная необходимость оказалась прилично оговоренною въ теоретическомъ вступленіи.

Эти нерѣшительныя отношенія педагогики къ гигиенѣ, и вообще прак-

тической рутины въ разумной теоріи, кладутъ свою печать на все устройство современной школы. Слѣды этихъ нерѣшительныхъ отношеній можно найти въ новомъ уставѣ гимназій и прогимназій. Такъ, напримеръ, обязанности гимназическаго врача опредѣляются слѣдующимъ образомъ въ § 36 этого устава. «Обязанности врача, кромѣ пользованія воспитанниковъ и постоянной заботливости объ ихъ здоровьи, заключаются въ наблюденіи: а) чтобы въ гимназію и прогимназію не поступали воспитанники, имѣющіе тѣлесные недостатки или болѣзни, препятствующіе вступленію въ общественное заведеніе; б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдались по возможности гигиеническія условія, и в) чтобы упражненія воспитанниковъ въ гимнастикѣ соображались съ требованіями правильнаго развитія и укрѣпленія физическихъ силъ юношества. Врачъ обязанъ замѣчанія свои по симъ предметамъ представлять начальству учебнаго заведенія и предъявлять оныя педагогическому совѣту для обсужденія и внесенія въ протоколъ его засѣданій.»

Этотъ параграфъ имѣетъ, очевидно, чисто-теоретическое значеніе, подобно всѣмъ остальнымъ статьямъ закона, опредѣляющимъ обязанности различныхъ должностныхъ лицъ. Чтобы оцѣнить практическую силу подобныхъ статей, надо посмотрѣть, на сколько и какимъ образомъ онѣ приводятся въ исполненіе. Хорошо или дурно гимназическіе врачи будутъ исполнять свои обязанности—этого, разумѣется, никто не можетъ знать заранее; это такой вопросъ, котораго рѣшеніе всегда будетъ зависѣть, въ очень значительной степени, отъ личныхъ особенностей того или другого врача; но, совершенно оставляя въ сторонѣ личныя особенности будущихъ исполнителей, мы, на основаніи текста самого устава, можемъ высказать то предположеніе, что § 36 врядъ-ли гдѣ нибудь и когда нибудь будетъ исполняться совершенно удовлетворительно. Мы заглядываемъ въ штаты гимназій и прогимназій и находимъ тамъ, что врачу полагается 300 рублей годоваго содержанія. Эта цифра доказываетъ очевидно, что законъ обязываетъ гимназическаго врача заниматься постороннею практикою, и изъ этой практики извлекать себѣ самую значительную часть своего годового дохода. Можно сказать навѣрное, что порядочный медикъ, живущій въ столицѣ или въ губернскомъ городѣ, захочетъ получать въ годъ, по меньшей мѣрѣ—1500 рублей. Слѣдовательно, къ 300 рублямъ, получаемымъ изъ гимназіи, ему придется еще присоединить 1200 рублей изъ различныхъ постороннихъ источниковъ; а чтобы заработать эти 1200 рублей практикою, ему надо будетъ, въ теченіе года, сдѣлать не менѣе 400 визитовъ. Кромѣ того, порядочный-медикъ, если желаетъ оставаться порядочнымъ медикомъ, долженъ не-прежѣнно употреблять очень много времени на серьезное чтеніе для того, чтобы постоянно слѣдить за быстрыми успѣхами различныхъ меди-

цинскихъ наукъ. При такихъ условіяхъ, гимназическій врачъ, имѣющій на рукахъ значительную городскую практику, будетъ, разумѣется, заглядывать въ гимназію въ видѣ любезнаго гостя, и *постоянная заботливость* о здоровьи воспитанниковъ, которую вмѣняетъ ему въ обязанность буква устава, будетъ существовать только на бумагѣ. При такихъ условіяхъ, врачъ, конечно, не сдѣлается регуляторомъ всей внутренней жизни учебнаго заведенія; врачъ останется тѣмъ, чѣмъ онъ былъ до сихъ поръ: онъ будетъ щупать пульсы, осматривать бѣлые языки и прописывать микстуры и промывательныя; собственно гигиеническое его значеніе едва ли можетъ сдѣлаться полнымъ; намекъ на это послѣднее обстоятельство мы видимъ даже въ томъ самомъ 36-мъ параграфѣ, который опредѣляетъ обязанности врача. Мы читаемъ въ этомъ параграфѣ: «б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдались по возможности гигиеническія условія».

Слова *по возможности* составляютъ чрезвычайно сильное и выразительное ограниченіе. Законъ не знаетъ и не допускаетъ такихъ ограниченій въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ признаетъ необходимымъ то или другое распоряженіе. Законъ не говоритъ, напримѣръ, что виновные въ такомъ то проступкѣ сажаются *по возможности* подъ арестъ; онъ просто приказываетъ сажать ихъ подъ арестъ непремѣнный, потому что тутъ не можетъ быть и не предполагается никакихъ невозможностей; значить, если въ дѣлѣ гигиеническихъ соображеній употреблена оговорка «*по возможности*», то ее слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что гигиеническая точка зрѣнія считается умѣстной только тогда, когда она не противорѣчитъ педагогическимъ, или хозяйственнымъ, или вообще какимъ нибудь другимъ, высшимъ и болѣе важнымъ расчетамъ. Эта ограничительная оговорка даетъ директору гимназіи вѣрнѣйшее средство довести врача до молчанія всякій разъ, какъ только замѣчанія врача покажутся ему почему нибудь непріятными или неумѣстными. Врачъ говоритъ директору: въ такомъ то дортуарѣ несоблюдены гигиеническія условія.—Милостивый государь, отвѣчаетъ ему директоръ, они соблюдены *по возможности*. Стало быть, по закону мы съ вами оба правы: вы правы потому, что замѣтили существующій недостатокъ, а я потому, что соблюдаю гигиеническія условія.... не вполне, но *по возможности*. Въ *распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ* врачъ, по всей вѣроятности, совсѣмъ не будетъ вмѣшиваться. Если этотъ врачъ одаренъ кротостью нрава и придерживается похвальнаго правила: отъ дѣла не бѣгай, а дѣла не дѣлай, то онъ будетъ ограничиваться смотрѣніемъ бѣлыхъ языковъ во избѣжаніе всякихъ непріятныхъ столкновеній съ педагогическими властями. Если же онъ дѣйствительно знаетъ и любитъ свое дѣло, то онъ также не будетъ ни во что вмѣ-

пиваться, потому что увидеть тотчасъ свое совершенное безсиліе. Онъ увидить, что уроковъ слишкомъ много, что число ихъ неприкосновенно, не только для него, но даже и для директора, и что, слѣдовательно, какъ ихъ ни распредѣляй, а все-таки будетъ чересчуръ много, и правила гігіены все-таки окажутся нарушенными. Размысливъ такимъ образомъ, несчастный врачъ вздохнетъ, пожметъ плечами и поневолѣ примется каждый день чинить аптечными снадобьями молодые организмы, которые каждый день будутъ скрипѣть и расклевываться.

Вліяніе врача на гимнастическія упражненія воспитанниковъ, конечно, могло бы принести очень много пользы, если бы врачъ былъ въ состояніи изучить внимательно индивидуальную организацію каждого отдѣльнаго воспитанника, и если бы онъ имѣлъ возможность присутствовать каждый день при гимнастическихъ упражненіяхъ. Тогда врачъ назначилъ бы каждому воспитаннику такой комплектъ гимнастическихъ движеній, который совершенно соотвѣтствовалъ бы его тѣлосложенію и въ должныхъ размѣрахъ упражнялъ и развивалъ бы его силы по всѣмъ направленіямъ. Тогда врачъ могъ бы подмѣтить въ самомъ зародышѣ всякую ненормальность тѣлосложенія и могъ бы совершенно успѣшно противоdѣйствовать развитію этой ненормальности цѣлесообразнымъ устройствомъ гимнастическихъ упражненій. Но, такъ какъ врачу, очевидно, нѣкогда будетъ заниматься спеціальнымъ изученіемъ гимназистовъ, то, разумеется, его вліяніе на гимнастику ограничится тѣмъ, что онъ посоветуетъ въ общихъ выраженіяхъ учителю этого предмета избѣгать такихъ движеній, при которыхъ воспитанники могутъ переломать себѣ руки и ноги или свихнуть себѣ шею. Кромѣ того, гимнастика не можетъ имѣть серьезнаго вліянія на здоровье воспитанниковъ уже и потому, что она не обязательна. Къ § 40 присоединено въ уставѣ слѣдующее примѣчаніе: «къ числу учебныхъ предметовъ принадлежать также пѣніе и гимнастика для желающихъ». Гимнастика поставлена такимъ образомъ на одну доску съ пѣніемъ, которое предполагаетъ въ учащемся присутствіе особеннаго таланта, которое не можетъ имѣть никакого серьезнаго гігіеническаго значенія, и которое, слѣдовательно никакъ не можетъ считаться необходимымъ для всѣхъ. Приведенное мною примѣчаніе позволяетъ уклоняться отъ гимнастики всѣмъ тѣмъ воспитанникамъ, которые, обладая флегматическимъ тѣлосложеніемъ, чувствуютъ расположеніе къ сидячей жизни и непремѣнно превратится къ 25 лѣтнему возрасту въ Обломовыхъ, если только раціональное физическое воспитаніе не будетъ сильно и постоянно противоdѣйствовать развитію ихъ квіетистическихъ наклонностей. Мы видимъ такимъ образомъ, что въ теоріи новый уставъ выражаетъ очень строгія гігіеническія требованія, но что, въ практическихъ подробностяхъ того же устава, гігіена, по прежнему, занимаетъ очень скромное мѣсто. Къ тому же самому заклю-

ченію приводить насъ історія новаго устава, изложенная довольно подробно въ прошлогодней декабрьской книжкѣ «журнала министерства Народнаго Просвѣщенія».

Уставъ выработывался специалистами педагогическаго дѣла въ продолженіе *восьми* лѣтъ; онъ прошелъ черезъ *четыре* редакціи; каждая изъ этихъ редакцій печаталась и подвергалась самому разностороннему обсужденію, какъ въ педагогическихъ совѣтахъ, такъ и въ періодической литературѣ; вторая редакція была переведена на англійскій, французскій и нѣмецкій языки и отправлена за границу на разсмотрѣніе извѣстнѣйшимъ иностраннымъ педагогамъ и ученымъ. Всѣ замѣчанія, полученныя министерствомъ какъ отъ нашихъ, такъ и отъ заграничныхъ педагоговъ, были собраны и изданы въ нѣсколькихъ объемистыхъ сборникахъ. Одинъ изъ этихъ сборниковъ былъ разосланъ «въ учебныя заведенія и къ разнымъ лицамъ» въ числѣ 2,200 экземпляровъ; другой—въ числѣ 658 экземпляровъ; третій—въ числѣ 1,912 экземпляровъ; четвертый—въ числѣ 1,943 экземпляровъ. Министерство, очевидно, не жалѣло ни времени, ни денегъ, ни трудовъ на то, чтобы довести проектъ устава до возможной степени зрѣлости и всесторонняго совершенства. Мы не можемъ отказать гг. составителямъ устава въ глубокомъ уваженіи къ добросовѣстности и неутомимости ихъ усилій; но мы не можемъ также не отмѣтить того факта, который бросается въ глаза безпристрастному наблюдателю: въ составленіи новаго устава не участвовала и не имѣла даже совѣщательнаго голоса наука о физической природѣ и о нормальныхъ потребностяхъ человѣческаго организма. Составителями и судьями министерскихъ проектовъ были преимущественно и почти исключительно педагоги, то есть, такіе дѣятели, которые, нрвсходно умѣя водворять и поддерживать въ учебныхъ заведеніяхъ благонравіе и прилежаніе учащихся, въ тоже время обладаютъ очень недостаточными свѣдѣніями касательно тѣхъ условій, при которыхъ сохраняется и укрѣпляется человѣческое здоровье. Проекты не посылались на разсмотрѣніе физиологамъ, медикамъ и гигиенистамъ, и отсутствіе ихъ вліянія даетъ себя чувствовать во всѣхъ частяхъ и подробностяхъ новаго устава. «У насъ же, говорить, журналъ министерства Народнаго Просвѣщенія,» физическое развитіе учащихся до сихъ поръ было въ полномъ пренебреженіи.» (1864 декабрь. стр. 44). Съ этой мыслью я совершенно согласенъ; но я рѣшительно не понимаю, какимъ образомъ новый уставъ можетъ произвести въ этомъ отношеніи какую нибудь существенную перемѣну?

VI.

Въ реальныхъ гимназіяхъ новый уставъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ число еженедѣльныхъ уроковъ.

П р е д м е т ы .	К л а с с ы .							Всего недѣльн. урок. по часу съ $\frac{1}{6}$ на кажд.
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
Законъ Божій	2	2	2	2	2	2	2	14
Русскій языкъ съ церковнославян- скимъ и словесность	4	4	4	4	3	3	3	25
Французскій языкъ	3	3	3	4	3	3	3	22
Нѣмецкій языкъ	3	3	3	3	4	4	4	24
Математика	3	4	4	4	4	3	3	25
Исторія	—	—	2	3	3	3	3	14
Географія	2	2	2	2	—	—	—	8
Естественная исторія и химія . . .	3	3	3	3	3	4	4	23
Физика и космографія	—	—	—	—	3	3	3	9
Чистописание, рисованіе и черченіе .	4	4	4	2	2	2	2	20
И т о г о	24	25	27	27	27	27	27	184

Замѣчаніе «Учителя» на счетъ того, что педагоги, составляя росписанія учебныхъ занятій, руководствуются началомъ симметріи,—очевидно, совершенно непримѣнимо къ приведенной мною таблицѣ новаго устава. Симметрія нарушена въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ, число уроковъ въ различныхъ классахъ не одинаково, а во вторыхъ, во всѣхъ классахъ, кромѣ перваго, положено въ недѣлю такое число уроковъ, котораго не дѣлится на цифру дней, то есть, на шесть. Вслѣдствіе этого, у воспитанниковъ втораго класса на пять дней въ недѣлю приходится по четыре урока, а на шестой день — пять уроковъ; у остальныхъ же пяти классовъ, начиная съ третьяго, приходится на три дня по четыре урока, и на три дня по пяти. Но, отступая такимъ образомъ отъ безплодной симметріи прежнихъ росписаній, новый уставъ нисколько не приближается къ требованіямъ гигиены. — Въ первомъ классѣ, десятилѣтніе мальчики должны будутъ учиться по пяти часовъ въ день, не считая того времени, которое имъ придется употреблять на выучиваніе заданныхъ уроковъ и на разныя письменныя работы. — Во второмъ классѣ, одиннадцатилѣтніе мальчики должны будутъ, одинъ разъ въ недѣлю, просиживать за ученіемъ шесть часовъ съ четвертью. Начиная съ третьяго класса, то есть, для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ эти сеансы въ шесть часовъ съ четвертью будутъ повторяться уже по три раза въ

недѣлю. Посмотримъ, на сколько расходятся между собою, съ одной стороны, предписанія новаго устава, а съ другой стороны, гигиеническія требованія доктора Гейера.

По уставу, ученики I класса будутъ учиться въ недѣлю 30 часовъ.

По Гейеру, они должны учиться 3 часа въ день, то есть въ недѣлю 18 часовъ. Разница 12 часовъ.

По уставу, ученики II класса будутъ учиться въ недѣлю $31\frac{1}{4}$ часовъ.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница $13\frac{1}{4}$ часовъ.

По уставу, ученики III класса будутъ учиться въ недѣлю $33\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница $15\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики IV класса будутъ учиться въ недѣлю $33\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница $15\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики V класса будутъ учиться въ недѣлю $33\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница $15\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики VI класса будутъ учиться въ недѣлю $33\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница $9\frac{3}{4}$ часа.

По уставу, ученики VII класса будутъ учиться въ недѣлю $33\frac{3}{4}$ часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница $9\frac{3}{4}$ часа.

Складываю всѣ разницы и получаю:

$$12 + 13\frac{1}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} = 92$$

То есть, уставъ и Гейеръ расходятся между собою на 92 часа. Уставъ требуетъ для осуществленія своей программы по 230 часовъ въ недѣлю, а Гейеръ отпускаетъ на классныя занятія только 138 часовъ въ недѣлю. Читателю можетъ и казаться страннымъ, что цифра 18 повторяется у Гейера, начиная отъ I класса и кончая V-ымъ, и что, такимъ образомъ, десятилѣтнія дѣти уравниваются съ пятнадцатилѣтними отроками. Я напомню читателю, что это уравниваніе относится только къ класснымъ занятіямъ, то есть, къ ученію до обѣда. Для десятилѣтнихъ и одиннадцатилѣтнихъ дѣтей, Гейеръ не допускаетъ никакихъ занятій внѣ класса; а начиная съ двѣнадцати лѣтъ, онъ отводитъ имъ послѣ обѣда по два часа на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Это обстоятельство составляетъ замѣтную раздѣлительную черту между учениками первыхъ двухъ классовъ и трехъ слѣдующихъ.

Такъ какъ я разбираю разницу между уставомъ и Гейеромъ, а не

между нашею педагогическою практикою и Гейеромъ, то я допустилъ для первыхъ двухъ классовъ то предположеніе, что преподаватели не задаютъ ни какихъ уроковъ. Если бы не было этого предположенія, то, разумѣется, разница вышла бы еще гораздо значительнѣе. Однако и теперь, какъ же намъ управиться съ разницею въ 92 часа? Есть ли возможность соблюсти требованія гигиены, и, въ тоже время, выпустить изъ гимназій дѣльныхъ и развитыхъ молодыхъ людей? Я полагаю, что возможность есть; но, разумѣется, нечего и думать о томъ, чтобы въ 138 часовъ сдѣлать точь-въ-точь ту работу, на которую положено по уставу 230 часовъ. Если держаться той основной программы, которую даетъ уставъ, тогда, конечно, надо будетъ плевать на Гейера и на всю его гигиену; до сихъ поръ мы такъ и дѣлали, и нельзя сказать, чтобы такой смѣлый образъ дѣйствій доставлялъ намъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи, особенно большія выгоды и удобства.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что основная программа должна быть измѣнена, не во имя чьихъ нибудь вѣчныхъ предубѣжденій въ пользу классицизма или реализма, а просто во имя нашей общей и единодушнѣй заботливости о здоровьи учащихся поколѣній.

Измѣнить основную программу можно двоякимъ образомъ. Во первыхъ, можно оставить неприкосновенными всѣ учебные предметы, но проходить каждый изъ нихъ въ сокращенномъ объемѣ. Во вторыхъ, можно совершенно выкинуть нѣсколько учебныхъ предметовъ. Второй методъ, по моему мнѣнію, во всѣхъ отношеніяхъ лучше перваго. Гимназическій курсъ и безъ того уже даетъ намъ только жалкіе остовы многихъ однородныхъ предметовъ. Мы дотрогиваемся въ гимназій слегка до всего и не изучаемъ основательно ровно ничего. Новый уставъ направленъ именно противъ этого недостатка нашего гимназическаго образованія; но мнѣ кажется, что онъ, съ болышею пользою для дѣла, могъ бы пойти въ этомъ направленіи гораздо дальше. Система сокращенія и упрощенія курсовъ никуда не годится. Если мы изъ краткихъ гимназическихъ учебниковъ составимъ учебники еще болѣе краткіе, то, разумѣется, въ этихъ жалкихъ экстрактахъ не останется уже рѣшительно никакой образовательной силы. Надо, напротивъ того, сосредоточить вниманіе учениковъ на самомъ незначительномъ числѣ предметовъ и сдѣлать преподаваніе этихъ немногихъ предметовъ на столько глубокимъ и основательнымъ, насколько это возможно безъ нарушенія гигиеническихъ условій. Какъ это сдѣлать? спрашиваетъ любопытный и недовѣрчивый читатель. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, я представляю слѣдующую таблицу ежедневныхъ уроковъ.

К Л А С С Ы.

Предметы	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	Всего недѣльных уроковъ по часу на каждыя.
Законъ Божій.	2	2	2	2	2	2	2	14
Математика	6	6	6	6	6	6	6	42
Русскій языкъ	4	4	4	4	4	6	6	32
Французскій языкъ. . . .	2	2	2	3	2	2	2	15
Нѣмецкій языкъ	2	2	2	3	2	2	2	15
Чистописаніе	2	2	2	—	—	—	—	6
Физика и космографія . .	—	—	—	—	2	6	6	14
Итого	18	18	18	18	18	24	24	138

Эта таблица требуетъ, конечно, очень многихъ комментариевъ. — Преподаваніе закона Божія, какъ предмета совершенно неприкосновеннаго, оставлено въ томъ самомъ объемѣ, въ какомъ оно опредѣлено уставомъ. Преподаваніе математики усилено на 17 уроковъ, преподаваніе русскаго языка на 7 уроковъ, и преподаваніе физики и космографіи на 5 уроковъ. За то французскій и нѣмецкій языки ослаблены, первый на 7, а второй на 9 уроковъ. Чистописаніе, которое по уставу соединяется съ рисованіемъ и черченіемъ, сведено съ 20 уроковъ на 6, причесть, разумѣется, рисованіе и черченіе откинута прочь. Наконецъ, — о ужасъ, о позоръ! — четыре предмета подвергнуты полному изгнанію. И какіе же предметы, боже мой, какіе очаровательные предметы?! Отправлены въ изгнаніе исторія, географія, химія и естественная исторія.

Такъ какъ мои мысли подвергаются очень часто различнымъ печатнымъ перетолкованіямъ и искаженіямъ, то я тотчасъ спѣшу оговориться, что исключая исторію, географію, химію и естественную исторію изъ гимназическаго курса, я вовсе не думаю подвергать сомнѣнію необходимость этихъ предметовъ въ кругу знаній каждаго образованнаго человѣка. Я только твердо увѣренъ въ томъ, что ни гимназія, ни университетъ, ни какое-либо другое учебное заведеніе не могутъ и никогда не будутъ въ состояніи выпускать въ свѣтъ совершенно образованныхъ людей, то есть, такихъ людей, которымъ больше незначитъ было бы трудиться надъ собственнымъ развитіемъ, и приобрѣтать новыя знанія собственными усиліями. Полное банкротство всѣхъ существующихъ системъ общественнаго воспитанія объясняется въ значительной степени тѣмъ обстоятельствомъ, что изобрѣтатели и распространители этихъ системъ желали и надѣялись рѣшить посредствомъ школы тѣ задачи, которыя могутъ быть рѣшены только посредствомъ упорной, продолжительной и сознательной работы каждой отдѣльной, уже созрѣвшей и возмужалой личности надъ своимъ собственнымъ образованіемъ. Когда школа хочетъ замѣнить человѣку самообразованіе, тогда она берется совсѣмъ не за свое дѣло, и, стараясь сдѣлать для учащагося юнше-

ства черезчуръ много, не дѣлаетъ даже и того, что составляетъ ея прямую и естественную обязанность.

Самообразованіе составляетъ необходимую и въ высшей степени законную фазу здороваго человѣческаго развитія. Школа должна стремиться не къ тому, чтобы избавить человѣка отъ трудовъ самообразованія, а къ тому, чтобы сдѣлать эти труды возможными и плодотворными. Школа должна, во-первыхъ, разбудить въ человѣкѣ любознательность, и во вторыхъ, развернуть и укрѣпить силы его ума настолько, чтобы человѣкъ, выходя изъ школы въ жизнь, могъ безъ постороннихъ руководителей искать и находить разумное удовлетвореніе для своей пробудившейся любознательности. Если школа имѣетъ какое нибудь специально-практическое значеніе, то, разумѣется, она должна, кромѣ того, научить своихъ воспитанниковъ тому ремеслу, ради котораго она сама существуетъ.

Науки, преподающіяся въ каждой школѣ, можно такимъ образомъ раздѣлить на два разряда: 1) науки образовательныя, и 2) науки прикладныя. Тѣ предметы, которые не входятъ ни въ тотъ, ни въ другой разрядъ, можно смѣло считать совершенно бесполезными. — Что ни химія, ни географія, ни естественная исторія, ни всеобщая исторія не могутъ сдѣлаться для гимназистовъ прикладными науками, въ этомъ, надѣюсь, не можетъ быть никакого сомнѣнія. На химіи основаны, конечно, очень многія, въ высшей степени важныя отрасли заводской промышленности; но для того, чтобы приступить къ которой нибудь изъ этихъ отраслей, надо, разумѣется, знать химію въдесятеро подробнѣе и основательнѣе, чѣмъ будутъ знать ее воспитанники реальныхъ гимназій.

Посмотримъ теперь, можно ли приписать этимъ наукамъ образовательное значеніе, при тѣхъ условіяхъ, которыми неизбежно будетъ обставлено ихъ преподаваніе въ гимназіяхъ. На химію вмѣстѣ съ естественною исторіею положено по уставу 23 урока. Подъ именемъ естественной исторіи здѣсь подразумѣвается цѣлая, обширная группа наукъ; сюда входятъ минералогія, ботаника, зоологія, анатомія и физиологія; быть можетъ, сюда придется еще присоединить геологію и палеонтологію; такимъ образомъ, гимназистамъ предстоитъ обнять, посредствомъ 23 недѣльных уроковъ, шесть, а можетъ быть, и восемь громадныхъ и сложныхъ наукъ. На каждую науку приходится, въ первомъ случаѣ, не много меньше *четырехъ*, а во второмъ, не много меньше *трехъ* еженедѣльных уроковъ. Всѣ же шесть или восемь наукъ, въ своей совокупности, считаются не много труднѣе французскаго, и немного легче нѣмецкаго языка; это послѣднее заключеніе вытекаетъ изъ того обстоятельства, что уставъ опредѣляетъ на изученіе французскаго 22 урока, на изученіе шести или восьми естественныхъ наукъ 23, а на изученіе нѣмецкаго 24 урока.

Эта изумительная быстрота и легкость изученія составляет первый изъ тѣхъ подводныхъ камней, на которыхъ разобьется предполагаемое образовательное значеніе естественной исторіи и химіи. Второй подводный камень можно усмотрѣть въ томъ, что преподаваніе естественной исторіи начинается съ перваго класса. Скажите пожалуйста, какого рода естественную исторію можно преподавать десятилѣтнимъ ребятамъ? Одно изъ двухъ: или суровый учитель заставитъ ихъ зубрить классификацію, или же добродушный учитель станетъ увеселять ихъ рассказами о смышленности животныхъ, о вѣрныхъ собачкахъ, о хитрыхъ лисичкахъ и о трудолюбивыхъ пчелкахъ. Въ томъ и другомъ случаѣ, овчинки не будутъ стоить выдѣлки, т. е., образовательное вліяніе такой естественной исторіи будетъ равняться нулю, и дѣти будутъ совершенно напрасно просиживать въ классѣ ежедневно по $3\frac{3}{4}$ часа, которые они съ громадною пользою для своего здоровья и физическаго развитія могли бы истратить на гимнастическія упражненія, на бѣганіе, на прыганіе, и вообще на всякія игры, свойственныя и необходимыя ихъ возрасту.

Образовательное вліяніе всѣхъ естественныхъ наукъ состоитъ исключительно въ томъ, что онѣ укореняютъ въ человѣкѣ понятіе о вѣчныхъ и неизблемыхъ законахъ, управляющихъ всѣмъ мірозданіемъ и господствующихъ съ одинаковою силою надъ всѣми явленіями, доступными нашему изученію, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая самыми сложными. Это понятіе вѣчныхъ и неизблемыхъ законовъ, очевидно, можетъ имѣть интересъ и значеніе только для зрѣлаго или, по крайней мѣрѣ, для созрѣвающаго человѣка, въ умѣ котораго уже шевелются вопросы и тревожныя сомнѣнія; кому еще ни разу не случилось вглядываться и вдумываться въ явленія окружающей природы, кого никогда не волновалъ и не мучилъ нелѣпый разладъ между смысломъ естественныхъ явленій и фантастическими понятіями немыслящаго большинства, — тому еще не зачѣмъ открывать книгу естествознанія, и для того слова *законъ* и *произволь*, *необходимость* и *личная воля*, *естественное развитіе* и *необъяснимая катастрофа* оказываются еще одинаково пустыми и безцвѣтными словами, которыя ничего не затрагиваютъ, ничему не противорѣчатъ, ни съ чѣмъ не гармонируютъ и ни на что не даютъ отвѣта. Чтобы возвыситься до понятія о *законѣ*, надо познать хоть немного жизнью мысли и чувства, надо выдти изъ того міра непосредственныхъ ощущеній, въ которомъ прозябаетъ ребенокъ, и надо, наконецъ, серьезно и основательно познакомиться съ тѣмъ порядкомъ явленій, въ которомъ естественные законы обнаруживаются въ самой простой и элементарной формѣ. Свойства чиселъ, свойства величинъ, линій, плоскостей и тѣлъ — вотъ тѣ естественныя явленія, на которыхъ прежде всего должны сосредоточиваться и изощряться умственные способности ребенка.

Математика есть лучшее и даже единственное возможное введеніе къ изученію природы. Безъ геометріи и алгебры невозможно изученіе механики; безъ геометріи, алгебры и механики невозможно изученіе астрономіи; безъ геометріи, алгебры, механики и астрономіи невозможно изученіе физики и физической географіи; безъ физики нельзя взяться за химію; безъ физики и химии нѣтъ возможности приступить къ физиологіи животныхъ и растений. Разумное и плодотворное изученіе природы возможно только при соблюденіи самой строгой постепенности; надо непремѣнно начинать съ самого начала и переходить къ сложнымъ явленіямъ только тогда, когда уже вполне усвоено знаніе всѣхъ, болѣе простыхъ явленій; прыгнуть разомъ на высшую ступеньку естествознанія, не побывавъ предварительно на всѣхъ низшихъ, нѣтъ никакой возможности, и всякая попытка нарушить такимъ образомъ естественный порядокъ изученія ведетъ за собою только размноженіе фразеровъ и верхоглядовъ. Поэтому тѣ люди, которымъ дорого распространеніе реальныхъ знаній въ Россіи, должны желать особенно сильно, чтобы естественная исторія вмѣстѣ съ химіею была совершенно исключена изъ гимназическаго курса и чтобы изученіе математики въ гимназіяхъ было доведено именно до тѣхъ колоссальныхъ размѣровъ, которые опредѣлены для нея въ моей таблицѣ.

Неумѣстность естественной исторіи въ гимназическомъ курсѣ обнаруживается особенно ярко въ томъ обстоятельствѣ, что многія, чрезвычайно важныя подробности изъ жизни растений и животныхъ совершенно умалчиваются учебниками и преподавателями, потому что считаются неприличными и вредными для нравственности и даже для здоровья учащагося юношества. Всѣ половыя отношенія органическаго міра, всѣ факты эмбриологіи и дѣторожденія блистаютъ своимъ отсутствіемъ; вслѣдствіе этого въ знаніяхъ ученика оказывается огромный пробѣлъ, котораго онъ самъ, конечно, не можетъ не замѣтить и который, однимъ главнымъ фактомъ своего существованія, непремѣнно будетъ направлять его нескромную любознательность именно туда, куда по соображенію педагоговъ эта нескромная любознательность совсѣмъ не должна заглядывать. Кромѣ того, что цѣлая масса фактовъ выкидывается такимъ образомъ вонъ изъ преподаванія, даже то, что остается на мѣстѣ, оказывается, во многихъ отношеніяхъ, изуродованнымъ и обезсмысленнымъ. Извѣстно, напримѣръ, что самую раціональную классификацію животнаго царства считается въ настоящее время классификація по эмбриологическимъ даннымъ; но такъ какъ эмбриологія составляетъ для гимназистовъ слишкомъ скромное кушанье, то, разумѣется, и раціональная классификація становится невозможною.

Но и это еще не все. Преподавая малолѣтнимъ ребятамъ жалкія лохмотья великой науки, учитель въ большей части случаевъ будетъ

еще располагать и подкрасивать эту лохмотья такъ, чтобы они дѣйствовали на чувство и на воображеніе учениковъ именно съ той стороны, съ которой желательно на нихъ подѣйствовать. То, что должно было, по буквѣ устава, быть изученіемъ природы, превратится такимъ образомъ въ шатобріановскія и ламартиновскія сахарно-слезливыя медитаціи. Образовательнаго вліянія нечего ожидать отъ этихъ медитацій, потому что, какъ бы онѣ ни были умилительны, однако можно поручиться за то, что ученики отнесутся къ нимъ недовѣрчиво и насмѣшливо, такъ какъ обыкновенно относятся дѣти ко всякой хитрой и замысловатой мистификаціи, направляемой противъ нихъ тенденціозною педагогикою. Математика не требуетъ никакихъ цѣломудренныхъ умолчаній и не допускаетъ никакихъ благонравныхъ тенденціозностей. Эти важныя преимущества еще болѣе упрочиваютъ за математикою ту роль, которую она по своему естественному положенію въ ряду другихъ наукъ, неизбежно должна занимать въ первоначальномъ образованіи юности. — Для естественной же исторіи подобная роль немислима.

VII.

Если естественная исторія и химія не годятся для гимназическаго курса, то тѣмъ болѣе неумѣстны въ немъ политическая географія и всеобщая исторія. Научное значеніе политической географіи, очевидно, состоитъ въ изслѣдованіи той связи, которая существуетъ между землею и человѣкомъ. Научное значеніе всеобщей исторіи также, очевидно, состоитъ въ изслѣдованіи тѣхъ законовъ, по которымъ живутъ, развиваются и дѣйствуютъ другъ на друга идеи и учрежденія различныхъ человѣческихъ обществъ. Достаточно взглянуть внимательно на эти два опредѣленія для того, чтобы совершенно убѣдиться, до какой степени изученіе всеобщей исторіи и политической географіи не соотвѣтствуетъ ни умственнымъ силамъ, ни предварительно приобрѣтеннымъ знаніямъ нашихъ гимназистовъ.

Преподаваніе политической географіи начинается по уставу въ первомъ классѣ и оканчивается въ четвертомъ, между тѣмъ какъ преподаваніе физики и космографіи начинается съ пятаго класса; гимназистамъ приходится, такимъ образомъ, разсматривать вліяніе земли на человѣка въ то время, когда они не имѣютъ еще ни малѣйшаго понятія о различныхъ свойствахъ и особенностяхъ земли, какъ физическаго тѣла. Такъ какъ это разсматриваніе при такихъ условіяхъ совершенно невоз-

можно, то политическая географія, преподаваемая въ гимназіяхъ, неизбежно должна превратиться и дѣйствительно всегда превращалась до сихъ поръ, или въ каталогъ государствъ, городовъ, рѣкъ, горъ и всякихъ достопримѣчательностей, или въ собраніе правоучительныхъ рассказовъ о лапландцахъ и о сѣверномъ оленѣ, о бедуинахъ и о верблюдѣ, объ англичанахъ и о паровой машинѣ.

Каталогъ собственныхъ именъ и цифръ окончательно подвергнуть опалѣ всѣми современными педагогами; къ правоучительнымъ же рассказамъ педагоги, напротивъ того, питаютъ до сихъ поръ и вѣроятно долго еще будутъ питать глубокую нѣжность. Въ этихъ правоучительныхъ рассказахъ дѣйствительно нѣтъ ничего особенно вреднаго; дѣтямъ не мѣшаетъ читать подобные рассказы, когда у нихъ пробуждается охота къ чтенію и когда гигиеническія соображенія не заставляютъ взрослыхъ противодействовать этой пробудившейся наклонности. Но держать дѣтей въ классѣ и сидѣть передъ ними на кафедрѣ для того, чтобы рассказывать имъ, какимъ образомъ бедуины ѣздятъ верхомъ на верблюдахъ, значитъ превращать невинное развлеченіе въ важную и серьезную работу, которая однако, не смотря на всю торжественность обстановки, неспособна дать никакихъ важныхъ и серьезныхъ результатовъ. Когда учитель превращается въ рассказчика, тогда онъ немедленно становится бесполезнымъ, потому что роль рассказчика можетъ съ величайшимъ удобствомъ играть хорошая книга, написанная яснымъ и правильнымъ языкомъ и незагроможденная мудрыми научными терминами. Обязанность учителя состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы рассказывать ученику тѣ факты, которые ученикъ долженъ запомнить, а въ томъ, чтобы постоянно укрѣплять и развивать умственные способности ученика такими упражненіями, которыя во всякую данную минуту соответствовали бы развитію его наличныхъ силъ, и которыя съ теченіемъ времени становились бы постоянно болѣе трудными и болѣе сложными.

Ни въ географіи, ни въ исторіи нѣтъ мѣста для подобныхъ упражненій. Въ этихъ предметахъ, на сколько они доступны гимназистамъ, нечего понимать; въ нихъ надо рѣшительно все запоминать; поэтому работа учителя становится въ нихъ совершенно излишнею, и усвоеніе тѣхъ историческихъ и географическихъ фактовъ, которыхъ знаніе необходимо для образованнаго человѣка, можетъ быть цѣлкомъ предоставлено личной и самостоятельной дѣятельности каждаго отдѣльнаго ученика.

Куда какъ все это хорошо! замѣтитъ огромное большинство моихъ читателей. Ученикъ выйдетъ изъ гимназіи и не будетъ имѣть понятія о томъ, кто былъ Наполеонъ I; онъ не будетъ знать, что Рейнъ течетъ въ Германіи; услышавъ въ разговорѣ слово *Европа*, онъ будетъ спрашивать, что это за штука. На что же это въ самомъ дѣлѣ похоже!

Вѣдь въ этихъ словахъ сформулировано самое сильное возраженіе, какое только можетъ быть придумано противъ моихъ размышленій о необходимости исключить изъ гимназическаго курса исторію и географію.

Это возраженіе нисколько не кажется мнѣ неопровержимымъ. Я полагаю, что если молодой человѣкъ, вышедшій изъ гимназій, чувствуетъ очень глубоко, ежеминутно и на каждомъ шагу, крайнюю недостаточность своихъ знаній и поразительную незаконченность своего образованія — это не совсѣмъ пріятное ощущеніе не можетъ принести этому молодому человѣку ничего, кромѣ самой существенной пользы. Къ восемнадцатилѣтнему возрасту образованіе человѣка никакимъ образомъ не можетъ и даже не должно быть закончено; восемнадцатилѣтній юноша еще растетъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ умственномъ отношеніи и было бы въ высшей степени не нормально и даже вредно, если бы постоянно расширяющійся и усиливающійся умъ былъ принужденъ пробавляться тою пищею, которая была имъ усвоена и удовлетворяла его потребностямъ во время одной изъ предыдущихъ фазъ его развитія. Новая нарастающія силы требуютъ себѣ новой работы. Гимназическое образованіе, по самой сущности своего назначенія, должно быть непременно неполнымъ и незаконченнымъ; эта неполнота и незаконченность нисколько не составляетъ для него недостатка, и всякія заботы объ устраниеніи этихъ необходимыхъ и естественныхъ свойствъ гимназическаго образованія оказываются совершенно безплодными или даже наносятъ иногда существенный вредъ.

Если неполнота и незаконченность составляютъ нормальное свойство гимназическаго образованія, то спрашивается теперь, что лучше для молодого человѣка, окончившаго курсъ въ гимназій: чтобы онъ ясно понималъ и глубоко чувствовалъ недостаточность своихъ знаній, или же, что бы эта недостаточность была искусно и тщательно замаскирована отъ него самого и отъ окружающаго общества разными обманчивыми подобіями знаній? Само собою разумѣется, что первое несравненно лучше второго, потому что человѣку всегда выгодно и полезно имѣть ясное и вѣрное понятіе о своемъ положеніи, какъ бы ни было это положеніе хорошо или дурно, утѣшительно или безотрадно. Если я бѣденъ, то никакъ не долженъ считать себя богачемъ, потому что въ такомъ случаѣ я запутаюсь въ долгахъ и доведу себя до окончательнаго раззоренія. Если я — недоучившійся школьникъ, то отнюдь не долженъ принимать себя за образованнаго человѣка, потому что въ такомъ случаѣ я рискую успокоиться на лаврахъ моего невѣжества и сохранить при себѣ это невѣжество до конца моей жизни. Воспитанники нашихъ теперешнихъ гимназій знаютъ, что Наполеонъ I былъ французскимъ императоромъ, что Рейнъ течетъ по Швейцаріи, по Германіи и по Голландіи, что Европою называется та часть свѣта, въ которой мы живемъ; они знаютъ

кромѣ того множество другихъ собственныхъ именъ и отрывочныхъ фактовъ; они не осрамятся въ обществѣ какимъ нибудь поразительнымъ проявленіемъ невѣжества; но развѣ же можно, въ самомъ дѣлѣ, сказать о нихъ, что они знаютъ всеобщую исторію и политическую географію? Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, позволительно оставаться по этимъ предметамъ на всю жизнь съ тѣми знаніями, которыхъ не могутъ сообщить даже превосходные гимназическіе учебники? А между тѣмъ именно то полужнание, которое спасаетъ молодого человѣка отъ полезнаго посрамленія, именно это полужнание, говорю я, и даетъ юношѣ возможность обходиться въ жизни безъ серьезнаго чтенія и останавливаться въ своихъ знаніяхъ и въ своемъ развитіи на той скромной ступени, на которую поставила его ферула школьнаго учителя. Напротивъ того, кто не вынесъ изъ школы даже элементарныхъ понятій о Наполеонѣ, о Рейнѣ и о Европѣ, тотъ рѣшительно не можетъ обойтись безъ чтенія; пробѣлы его образованія такъ очевидны, что они пугаютъ его и не даютъ ему покоя до тѣхъ поръ, пока онъ ихъ не наполнитъ результатами собственныхъ занятій. А для наполненія этихъ ужасныхъ пробѣловъ онъ возьмется, конечно, не за гимназическіе учебники, а за научныя сочиненія по той простой причинѣ, что для взрослого молодого человѣка гораздо легче и пріятнѣе прочитать десять толстыхъ томовъ серьезной книги, чѣмъ одинъ тощій томикъ учебника.

— Однако это оригинально! возразитъ мнѣ читатель. По вашему мнѣнію, задача школы состоитъ въ томъ, чтобы не давать своимъ питомцамъ знаній и чтобы подвергать этихъ питомцевъ *полезнымъ*, какъ вы говорите, посрамленіямъ. Тогда лучше всего совсѣмъ уничтожить всѣ школы; тогда ужъ навѣрное подрастающія поколѣнія не будутъ получать никакихъ знаній; *полезное* посрамленіе ихъ будетъ самое полное, и гигиена окончательно восторжествуетъ, потому что дѣти будутъ бѣгать и кувиркаться съ утра до вечера.

Если бы я самъ не привелъ противъ себя этого остроумнаго возраженія, то его навѣрное измыслилъ бы противъ меня кто-нибудь изъ нашихъ остроумныхъ журналистовъ, хоть бы напримѣръ кто-нибудь изъ атлетовъ, подвизающихся въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я отвѣчу на это возраженіе, что школа должна давать своимъ воспитанникамъ такія знанія, которыя она можетъ сообщить имъ въ полномъ объемѣ, которыя развиваютъ и укрѣпляютъ ихъ умы, и которыя, притомъ, воспитанникамъ было бы трудно пріобрѣсти собственными усиліями, безъ содѣйствія и руководства преподавателя. По моей программѣ школа даетъ ученикамъ основательное знаніе математики и умѣнье превосходно владѣть отечественнымъ языкомъ. Кто пріобрѣлъ навыкъ обращаться легко и свободно со всевозможными алгебраическими и геометрическими выкладками и кто кромѣ того пріобрѣлъ умѣнье выражать всѣ отгѣны своихъ мыслей

яснымъ и точнымъ языкомъ, тотъ можетъ смѣло взяться за какую угодно отрасль самостоятельныхъ занятій. Фактическихъ знаній у него не много, но фактическія знанія усваиваются очень легко такимъ человѣкомъ, у котораго умъ развитъ и закаленъ въ строгой школѣ математическаго образованія. Значить, я требую отъ школы, чтобы она давала своимъ питомцамъ *основательныя* знанія, и чтобы, оставивъ окончательно заботы о разносторонности и обширности своей программы, она направляла всѣ силы воспитанниковъ на глубокое и добросовѣстное изученіе немногихъ, но строго и рационально подобранныхъ предметовъ. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ, давали ли наши гимназіи до сихъ поръ основательныя знанія по какому бы то ни было предмету? Нѣтъ, не давали, отвѣтитъ вамъ каждый знающій человѣкъ, и правительство отвѣчаетъ на этотъ вопросъ точно также, потому что оно признаетъ необходимымъ произвести въ гимназіяхъ полное преобразование. — Почему не давали? — Потому, отвѣтитъ вамъ каждый знающій человѣкъ, что за всѣмъ хотѣли угоняться. — Стало быть, что же надо сдѣлать? — Надо ограничить претензіи гимназій, надо точнѣе опредѣлить ихъ назначеніе, и избавить ихъ программу отъ вредной и безплодной многосторонности.

Именно такъ разсуждаютъ наши классики, и въ основномъ принципѣ, въ области чистой отвлеченности, я съ ними совершенно согласенъ. Но когда они хватаются за древніе языки, какъ за волшебный талисманъ, тогда я рѣшительно перестаю ихъ понимать. Ихъ нѣжность къ древнимъ языкамъ, при всей своей громадности, все таки не внушаетъ имъ такой храбрости, которая побудила бы ихъ отказаться отъ русскаго языка, отъ математики, отъ физики, отъ новыхъ языковъ, отъ исторіи и отъ географіи. Всѣ эти предметы оказываются, по ихъ мнѣнію, необходимыми, и, кромѣ того, необходимы еще языки латинскій и греческій. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы избавиться отъ многопредметности, которую они сами ежеминутно проклинаютъ, наши классики своими усиліями только увеличиваютъ эту многопредметность, ведущую за собою непремѣнно безплодную трату силъ и умственную деморализацію учащейся молодежи. Кто хочетъ дѣйствительно устроить вредную многопредметность, тотъ долженъ выбрать изъ массы гимназическихъ предметовъ самые необходимые, и на этихъ необходимыхъ предметахъ сосредоточить все преподаваніе. Какіе же предметы самые необходимые? Я думаю, отвѣчать не трудно: математика и отечественный языкъ. На этихъ двухъ предметахъ и слѣдуетъ сосредоточиться. Чѣмъ меньше будетъ посторонней примѣси, тѣмъ успѣшнѣе пойдетъ умственное развитіе учащихся. Я осмѣливаюсь думать, что въ моей программѣ посторонняя примѣси доведена до возможнаго minimum'a. Кромѣ того, я напомню читателю, что общій итогъ и распредѣленіе учебныхъ часовъ соответствуетъ буквально гигиеническимъ требованіямъ доктора Гейера.

VIII.

Программа моя можетъ вызвать еще нѣсколько возраженій, на которыя я постараюсь отвѣтить заранее.

1) Читатель можетъ изумиться и ужаснуться тому случаю, что русская исторія исключается, повидимому, изъ гимназій, вмѣстѣ со всеобщей. Русская исторія, въ настоящее время, считается такимъ необходимымъ предметомъ, что она преподается даже въ уѣздныхъ училищахъ, и чуть ли даже не въ приходскихъ. Съ легкой руки «Московскихъ Вѣдомостей», люди, неспособные размышлять собственнымъ умомъ, усвоили себѣ даже тотъ странный предразсудокъ, будто бы преподаваніе русской исторіи можетъ имѣть важное политическое значеніе, и будто оно совершенно необходимо для поддержки и укрѣпленія нашего патріотизма.

Если бы этотъ предразсудокъ не былъ результатомъ самой безотвѣтной наивности, то онъ былъ бы въ высшей степени оскорбителенъ для нашей національной чести, не говоря уже о томъ, что онъ находится въ самомъ вопіющемъ разладѣ съ самыми очевидными и знаменательными фактами нашей же собственной исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, хорошъ былъ бы тотъ народъ, котораго патріотизмъ нуждался бы въ искусственномъ подогрѣваніи и основывался бы на изученіи архивныхъ документовъ. Патріотизмъ для народа есть тоже самое, что инстинктъ самосохраненія для отдѣльной личности; человѣку свойственно любить и защищать собственное тѣло; точно также ему свойственно любить и защищать тѣхъ людей, ту землю, тотъ складъ жизни и понятій, къ которымъ онъ привыкъ и привязался съ первыхъ дней своего дѣтства. Это стремленіе любить и защищать совокупность тѣхъ предметовъ, которые составляютъ родину,—слабѣетъ и даже совершенно исчезаетъ только въ тѣхъ, сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда человѣку нѣтъ никакой возможности привыкнуть и привязаться къ тому, что его окружаетъ. Эта невозможность привыкнуть и привязаться является очевидно тогда, когда сумма страданій постоянно и въ очень значительной степени перевѣшиваетъ сумму пріятныхъ ощущеній. Тогда, разумѣется, вмѣсто привязанности развивается, смотря по обстоятельствамъ и по особенностямъ народнаго характера, или тупое равнодушіе, или затаенная ненависть къ даннымъ условіямъ жизни. Для рабовъ и для народовъ, притупленныхъ долговременнымъ угнетеніемъ, не существуетъ отечества и не можетъ быть патріотизма, потому что человѣкъ не можетъ любить то, что отравляетъ его жизнь ежедневными физическими или нравственными мученіями. Впрочемъ, надо

замѣтить, что природа человѣка чрезвычайно невзыскательна въ этомъ отношеніи и умѣетъ помириться съ такими условіями существованія, которыя, въ глазахъ безпристрастнаго наблюдателя, оказываются непрерывною цѣпью лишеній, неблагодарныхъ трудовъ и тяжелыхъ страданій. Со временъ Бориса Годунова, напримѣръ, положеніе нашихъ крестьянъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ и превращенныхъ въ собственность, было, конечно, такъ плохо, что трудно даже представить себѣ что нибудь худшее, а между тѣмъ, эти же самые крестьяне съ величайшимъ воодушевленіемъ поднимались два раза на защиту того отечества, которое такъ неудовлетворительно исполняло въ отношеніи къ нимъ свои священные обязанности. Крестьяне ходили съ Мининымъ подъ Москву, крестьяне шли толпами въ ополченіе 1812 года; конечно, ихъ воодушевленіе поддерживалось не учебниками русской исторіи и, конечно, было бы въ высшей степени безразсудно и несправедливо ожидать, чтобы внутреннія психологическія причины этого воодушевленія утратили свою силу теперь, когда положеніе крестьянъ улучшилось во многихъ отношеніяхъ.

Чѣмъ легче и вольнѣе живетъ на свѣтѣ какому нибудь народу, тѣмъ сильнѣе любитъ онъ свою родину и свои учрежденія. Единственное средство усилить патріотизмъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать правильному, здоровому и успѣшному развитію народныхъ силъ и народной производительной дѣятельности. Школа, конечно, можетъ принести въ этомъ отношеніи значительную долю пользы; но для этого она должна превращать своихъ воспитанниковъ въ здоровыхъ и мыслящихъ людей, а не въ говорунцовъ, почерпающихъ свой патріотизмъ изъ параграфовъ историческаго учебника. Мыслящій человѣкъ, выбравшій себѣ какую нибудь отрасль труда и пристрастившійся къ своей дѣятельности, любитъ свою родину особенно сильно потому, что чувствуетъ себя полезнымъ для нея и лишнимъ во всякой другой странѣ. Трудъ составляетъ самую крѣпкую и надежную связь между тѣмъ человѣкомъ, который трудится, и тѣмъ обществомъ, на пользу котораго направленъ этотъ трудъ. Поэтому, развивая въ своихъ воспитанникахъ рабочія силы и любовь къ труду, школа готовитъ изъ нихъ превосходныхъ патріотовъ, хотя бы даже эти патріоты не имѣли никакого понятія о томъ, кто такой былъ Рюрикъ и что такое онъ сдѣлалъ 1003 года тому назадъ.

Впрочемъ, даже эта послѣдняя опасность устраняется сама собою. Я замѣтилъ уже въ самомъ началѣ этой главы, что русская исторія исключена изъ моей программы только *повидимому*. На самомъ же дѣлѣ, преподаваніе этого предмета только соединено съ преподаваніемъ словесности, и это соединеніе въ высшей степени выгодно для обоихъ предметовъ. Когда исторія и словесность преподаются отдѣльно, тогда пре-

подаваніе того и другого предмета рискуеть вдатіся и дѣйствительно вдается очень часто въ односторонность, свойственную каждому изъ этихъ двухъ предметовъ. Исторія, въ подобныхъ случаяхъ, сосредоточивается на виѣшной сторонѣ событій и, упуская изъ виду умственную жизнь народа, превращается въ перечень битвъ, осадъ, мирныхъ договоровъ и смертныхъ случаевъ; исторія словесности, въ свою очередь, переполняется или мелкими біографическими фактами, неимѣющими никакого общаго интереса, или туманными эстетическими разсужденіями, неимѣющими въ себѣ никакого осязательнаго смысла. Соединеніе обоихъ предметовъ естественнымъ образомъ предохраняеть преподавателя отъ этихъ недѣльных и печальныхъ крайностей; въ случаѣ соединенія, преподаватель долженъ будетъ сосредоточить все свое вниманіе на тѣхъ сторонахъ и проявленіяхъ народной жизни, посредствомъ которыхъ исторія и словесность соприкасаются между собою и дѣйствуютъ другъ на друга. Изъ исторіи преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такіе факты, которые такъ или иначе видоизмѣняли собою народную жизнь, и, вслѣдствіе этого, налагали свою печать, на словесныя и письменныя выраженія общественнаго самознанія.

Такимъ образомъ, факты внутренней жизни оттѣснять далеко на задній планъ утомительныя и безплодныя перечисленія войнъ, трактатовъ, собственныхъ именъ, личныхъ пороковъ и личныхъ достоинствъ. Съ другой стороны, изъ груды литературныхъ памятниковъ преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такіа произведенія, которыя отражаютъ себя въ умственную фізіономію своей эпохи. При такихъ условіяхъ, имѣя постоянно въ виду историческое значеніе разбираемыхъ произведеній, преподаватель, очевидно, не можетъ удариться ни въ біографическую анекдотичность, ни въ эстетическую туманность. При такомъ методѣ преподаванія, ученики узнають изъ русской исторіи немногіе важнѣйшіе моменты, но узнають ихъ по сырымъ матеріаламъ, во всей ихъ типической неподкрашенности; изъ словесныхъ памятниковъ они прочитають также только кое-что; но за то въ этихъ немногихъ памятникахъ они найдутъ ключъ къ пониманію цѣлыхъ историческихъ эпохъ. Главная же цѣль всѣхъ этихъ чтеній и историческихъ толкованій будетъ конечно заключаться въ томъ, чтобы овладѣть вполне всѣми богатствами русскаго языка. Знаніе нашего языка для насъ безусловно необходимо; мы до сихъ поръ очень северно пишемъ, и со всѣмъ не умѣемъ говорить. Наше неумѣнье говорить уже чувствуется теперь въ нашихъ земскихъ собраніяхъ и обнаружится во всей своей красотѣ въ нашихъ будущихъ гласныхъ судахъ. Гимназистамъ надо непременно много читать и много писать по русски. — Въмѣсто того, чтобы читать какіе-нибудь пустяки, и описывать «восходъ солнца» или «морскую бурю», имъ, конечно, всего лучше читать и комментировать письменно

такіе памятники, которые, своею величественною историческою физиономіею, могут совершенно успокоить и умиротворить пылкія сердца самыхъ ревностныхъ патріотовъ.

2) Второе возраженіе относится къ географіи. — Въ нашихъ теперешнихъ гимназіяхъ, разсуждаетъ читатель, мальчикъ съ десяти лѣтъ выучивается обращаться съ географическими картами. Если же онъ не будетъ учиться географіи, то легко можетъ быть, что онъ до самого конца гимназическаго курса не увидитъ ни одной географической карты. Когда онъ примется за свое географическое самообразование, тогда это неумѣнье обращаться съ картами можетъ сдѣлаться для него серьезнымъ препятствіемъ. — При тѣхъ колоссальныхъ размѣрахъ, отвѣчу я, до которыхъ доведено въ моей программѣ преподаваніе математики, существуетъ полная возможность и даже настоятельная необходимость отвести въ этомъ преподаваніи очень видное мѣсто различнымъ практическимъ упражненіямъ. Въ числѣ этихъ упражненій должны играть довольно важную роль различныя геодезическія и топографическія операціи; ученикамъ высшихъ классовъ, начиная съ пятого, было бы очень полезно, въ лѣтнее и въ осеннее время, заниматься подъ руководствомъ учителя математики, съемкою плановъ въ окрестностяхъ того города, въ которомъ находится гимназія. Вниманіе учителя должно здѣсь сосредоточиваться, конечно, не на красотѣ отдѣлки, а на вѣрности размѣровъ и контуровъ. Когда ученики выучатся наносить на планъ главныя особенности небольшой мѣстности, тогда учителю уже не трудно будетъ объяснить имъ совершенно осязательно, какимъ образомъ наносятся на планъ цѣлыя обширныя земли и части свѣта, и какимъ образомъ на этихъ планахъ изображаются различныя и мѣстныя особенности: моря, матеріи, острова, рѣки, озера, горы и города.

3) Третье возраженіе относится къ преподаванію новыхъ языковъ. Читатель можетъ замѣтить совершенно справедливо, что на нихъ отведено слишкомъ незначительное число уроковъ. Я сознаю вполне, что число уроковъ дѣйствительно недостаточно, но мнѣ кажется, что эта недостаточность не причинитъ ученикамъ чувствительнаго вреда. Знаніе иностранныхъ языковъ необходимо каждому, кто хочетъ серьезно заниматься какою нибудь отраслью науки; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, но извѣстно также, что знаніе иностранныхъ языковъ полезно только тогда, когда оно даетъ возможность читать иностранныя книги легко и бѣгло, à livre ouvert. Кому приходится отыскивать въ лексиконѣ по пятидесяти словъ на каждую страницу, тотъ, конечно, не можетъ извлечь себѣ никакой пользы изъ своихъ лингвистическихъ знаній, потому что, читая въ день по пяти или по десяти страницъ, не скоро сдѣлаешься начитаннымъ и свѣдущимъ человѣкомъ. О людяхъ, читающихъ такимъ образомъ иностранныя книги, говорятъ даже обыкновенно

новенно, что они совѣтъ не знаютъ языка, не смотря на то, что она, быть можетъ, усвоили себѣ вполнѣ всѣ грамматическія правила и даже исключенія.

Гимназіи наши до сихъ поръ давали обыкновенно, въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, такое знаніе иностранныхъ языковъ, которое, въ практическомъ отношеніи, равняется отсутствію всякаго знанія. При выходѣ изъ гимназіи владѣютъ иностранными языками только тѣ ученики, которые выучились имъ дома, и которые уже поступили въ гимназію, умѣя говорить на этихъ языкахъ. Конечно, кто очень сильно желаетъ выучиться языку, и кто понимаетъ вполнѣ пользу такого знанія, тотъ можетъ выучиться и въ гимназіи, но, признаюсь, я не видалъ такихъ примѣровъ, и я полагаю, что они должны быть очень рѣдки, потому что обыкновенно ясное пониманіе собственной пользы пробуждается у молодыхъ людей довольно поздно, при первыхъ серьезныхъ столкновеніяхъ съ дѣйствительною жизнью. И такъ, кто желаетъ выучиться, тотъ успѣетъ это сдѣлать и при 15 урокахъ; а кто не желаетъ, тому не помогутъ въ этомъ отношеніи, лишніе 8 или 9 уроковъ. Но, такъ какъ равнодушные или нежелающіе составляютъ огромное большинство, то, разумѣется, не мѣшало бы придумать такое средство, которое влило бы въ ихъ головы практическое знаніе языковъ помимо ихъ собственнаго желанія. Мнѣ кажется, что такое средство существуетъ, но только искать его слѣдуетъ не въ гимназіяхъ, а въ воспитаніи ребенка до его поступления въ учебное заведеніе. Маленькіе дѣти, отъ 3 до 10 лѣтъ, съ изумительною легкостью запоминаютъ слова и обороты рѣчи; въ этомъ возрастѣ они могутъ въ полгода, много въ годъ, выучиться говорить на иностранномъ языкѣ. Поэтому ихъ слѣдуетъ учить языкамъ именно въ этомъ возрастѣ. Но какъ учить, когда нѣтъ средствъ нанять для ребенка французенку или нѣмку, и когда сами родители не знаютъ языковъ? Мнѣ кажется, было бы очень возможно и удобно воспользоваться, для практическаго изученія языковъ, дѣтскими садами, которые, по всей вѣроятности, будутъ размножаться у насъ довольно быстро. Въ одномъ саду пусть господствуетъ, во всѣхъ играхъ дѣтей, нѣмецкій языкъ, въ другомъ англійскій, въ третьемъ—французскій. Устроить это господство языковъ очень не трудно, если дѣтскій садъ помѣщается въ большомъ городѣ. Для этого не нужно даже ни какихъ принудительныхъ мѣръ, никакихъ приказаній говорить именно на томъ, а не на другомъ языкѣ. Кто хочетъ устроить, напримѣръ, французскій садъ, тому надо, для перваго начала, отыскать полдюжину маленькихъ французовъ, которые не знали бы никакого языка, кромѣ своего родного. Потомъ надо показать этимъ французикамъ нѣсколько забавныхъ игръ, въ которыхъ необходимо вести нѣкоторые разговоры. Потомъ, когда эти игры будутъ въ полномъ разгарѣ, надо открыть пріемъ русскихъ дѣтей

но открывать надо не вдруг; принимать дѣтей надо сначала поодиночкѣ, для того, чтобы русскіе не могли завести своихъ отдѣльныхъ игръ, и для того, чтобы они, поневолѣ присоединяясь къ веселой компаніи французовъ, поневолѣ выучивались господствующему языку. Плата за посѣщеніе сада будетъ конечно доступна даже и тѣмъ семействамъ, которые не въ состояніи нанимать иностранныхъ нянекъ или гувернантокъ. Когда же дѣти выучатся говорить на томъ или другомъ иностранномъ языкѣ, тогда 15-ти гимназическихъ уроковъ въ недѣлю будетъ совершенно достаточно для того, чтобы поддержать и систематизировать ихъ лингвистическія знанія, пріобрѣтенныя практическимъ путемъ.

IX.

Общество наше плохо знаетъ математику, и вовсе не желаетъ съ нею знакомиться, потому что питаетъ къ ней глубокое, хотя и почти-тельное отвращеніе. Увидѣвъ въ моей программѣ, что преподаваніе математики назначено каждый день, въ теченіе всѣхъ семи лѣтъ гимназическаго курса, многіе читатели затрепещутъ отъ ужаса, подумаютъ, что я желаю превратить гимназію въ смиренное заведеніе, и возблагодарятъ провидѣніе за то, что моя программа нисколько не похожа на росписаніе уроковъ, принятое новымъ гимназическимъ уставомъ.— Каждый день математика, размышляетъ читатель; это не только ужасно и безчеловѣчно, это даже просто невозможно. Это значитъ насиловать умственныя способности несчастныхъ дѣтей, и ученики навѣрное будутъ учиться изъ рукъ вонъ плохо, потому что математика, появляющаяся передъ ними каждый день, будетъ наводить на нихъ жесточайшую скуку.—Ужь не думаете ли вы, спроситъ читатель въ заключеніе своей филиппики, что вамъ удастся сдѣлать преподаваніе математики интереснымъ и увлекательнымъ?

Нѣтъ, читатель, отвѣчу я, этого я не думаю. Математика всегда, не смотря на всевозможныя усовершенствованія въ методѣ преподаванія, останется для учениковъ трудною работою; она никогда не будетъ давать никакой пищи ни чувству, ни воображенію, и поэтому ея преподаваніе никогда не сдѣлается интереснымъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы называете интересными романы Диккенса, или зоологическіе рассказы Одюбона и Брема. Но, во первыхъ, одна изъ важнѣйшихъ обязанностей школы состоитъ въ томъ, чтобы пріучить учениковъ къ серьезному и упорному труду, а эта обязанность, очевидно, останется неисполненною и окажется даже неисполнимою, если вы

постоянно, въ продолженіе всего гимназическаго курса, будете довольствоваться учениковъ исключительно интересными разсказами. Выслушивать или прочитывать интересные разсказы значить не трудиться, а сибаритничать. Предаваясь этому пріятному и непрелюдному занятію, можно невольно и нечаянно усвоить себѣ множество фактическихъ и даже полезныхъ знаній, но нѣтъ ни малѣйшей возможности придать своему уму необходимую крѣпость и гибкость, сформировать и закалить свой характеръ, и вообще приготовить себя къ столкновенію съ тѣми суровыми и серьезными сторонами умственной работы, безъ которыхъ не обходится и не можетъ обойтись никакая трудовая дѣятельность, достойная развитого человѣка и честнаго гражданина. Во вторыхъ, хотя математика и не можетъ сдѣлаться эстетически-привлекательною наукою, однако, при искусномъ преподаваніи, она можетъ постоянно доставлять ученикамъ, начиная съ самыхъ младшихъ классовъ, самыя чистыя и высокія наслажденія, особенно плодотворныя въ томъ отношеніи, что они заставляютъ учениковъ пристраститься къ голому процессу труда, не смягченнаго и не украшеннаго никакими посторонними ингредиентами.

Всякому человѣку хочется быть сильнымъ, красивымъ, ловкимъ, смѣшленнымъ, остроумнымъ, изобрѣтательнымъ. Всякому человѣку свойственно. во всякомъ занятіи, стремиться къ возможному совершенству, и радоваться, когда, мало по малу, эта желанная виртуозность дѣйствительно пріобрѣтается. Что математика, при сколько нибудь разумномъ преподаваніи, имѣетъ высокую образовательную силу, что она развертываетъ и упражняетъ превосходно умственные способности учащихся, въ этомъ не сомнѣвался еще никто изъ самыхъ заклятыхъ ненавистниковъ этой ужасной и неприступной науки. Смѣшленность учениковъ растетъ постоянно во время ихъ математическихъ занятій, это такъ же вѣрно и неизбѣжно, какъ то, что мускулы человѣка крѣпнутъ и ловкость его увеличивается, когда онъ занимается гимнастическими упражненіями. Сдѣлайте же расположить и вести ваше математическое преподаваніе такъ, чтобы ученики сами замѣчали тотъ процессъ созрѣванія, который совершается въ ихъ головахъ. Какъ только ученики почувствуютъ и поймутъ совершенно отчетливо, что они съ каждымъ мѣсяцемъ, даже съ каждою недѣлею становятся умнѣе и расторопнѣе, — какъ только дѣйствительное существованіе этого отраднаго психическаго факта сдѣлается для нихъ осязательнымъ и несомнѣннымъ, какъ только они сравнятъ свое недавнее прошедшее съ своимъ настоящимъ, и увидятъ въ послѣднемъ значительный шагъ впередъ, такъ они непременно пристрастятся къ тѣмъ умственнымъ занятіямъ, которыя дали имъ возможность сдѣлать надъ собственными особами такія пріятныя и лестныя наблюденія. Il faut souffrir pour être belle, говорятъ ко-

кетки, и онѣ дѣйствительно, съ великою стойкостью выносятъ боль отъ узкихъ башмаковъ, отъ узкихъ перчатокъ, и вообще отъ всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые такъ или иначе приближаютъ ихъ къ условному идеалу красоты. Не скверканье съ дѣтства представители обонхъ половъ, по крайней мѣрѣ, такъ же сильно дорожатъ своими умственными достоинствами, какъ глупыя и пустыя женщины дорожатъ тонкостью своей талии или малыми размѣрами рукъ и ногъ. Если послѣднія соглашаются страдать, терпѣть боль для соблюденія красоты, то какое же можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что первые будутъ съ удовольствіемъ заниматься скучными и трудными работами, когда они увидятъ, что умъ ихъ дѣйствительно крѣпнеть и совершенствуется въ этихъ работахъ?

Но само собою разумѣется, что самобытное, свободное и сильное влеченіе къ трудной и утомительной работѣ пробудится въ ученикахъ только тогда, когда они *сами почувствуютъ, сами подмѣтятъ* развивающее дѣйствіе этихъ работъ, а не тогда, когда учитель будетъ краснорѣчиво описывать имъ это развивающее дѣйствіе. Искусство учителя имейно въ томъ и должно состоять, чтобы всѣ занятія были расположены по такому плану, который естественнымъ образомъ наводилъ бы учениковъ на эти полезныя размышленія. При хорошемъ преподаваніи, ученики должны полюбить математическія занятія по той же самой психической причинѣ, по которой они любятъ различныя игры, дающія имъ возможность обнаружить передъ собою и передъ другими отвагу, силу и ловкость. Математика вся сплошь составлена изъ такихъ трудностей, которыя учащійся долженъ преодолевать силою своего ума и постояннымъ, упорнымъ и энергическимъ напряженіемъ вниманія. Эти трудности приводятъ въ ужасъ несвѣдущихъ людей, но именно этими трудностями хорошій преподаватель и можетъ воспользоваться для того, чтобы внушить ученикамъ сильное влеченіе къ математическимъ занятіямъ. Надо, чтобы каждый шагъ впередъ доставался ученику послѣ тяжелой борьбы, и чтобы, въ тоже время, эта тяжелая борьба никогда не превышала размѣровъ его наличныхъ умственныхъ силъ. При такихъ условіяхъ, математическія занятія будутъ давать ученикамъ всѣ обязательныя ощущенія настоящей борьбы; ученикъ будетъ смѣло подходить къ каждой новой трудности, будетъ съ воодушевленіемъ работать надъ ея усвоеніемъ, и, одержавши надъ нею побѣду, будетъ выносить изъ этой побѣды новый запасъ силы и веселой энергіи. Поступая такимъ образомъ, ученикъ съ молодыхъ лѣтъ выучится понимать и чувствовать ту великую истину, что суровый и утомительный трудъ доставляетъ человѣку высокое наслажденіе, если только онъ не доходить до такихъ крайнихъ размѣровъ, при которыхъ онъ можетъ подрывать физическія и умственныя силы человѣческаго организма.

Когда ученику удастся отыскать обаятельную сторону даже въ рѣшеніи алгебраическихъ и геометрическихъ задачъ, тогда можно будетъ сказать навѣрное, что этотъ ученикъ вполне способенъ принять на себя и довести до конца всякій умственный трудъ, какъ бы ни былъ онъ сухъ и утомителенъ. Обаятельная сторона, отысканная ученикомъ, заключается въ томъ, что эти задачи упражняютъ умъ и энергію; а такъ какъ эта обаятельная сторона отыщется непременно во всякомъ умственномъ, то есть, не машинномъ трудѣ, то и оказывается въ концѣ концовъ, что для ученика, воспитаннаго на математикѣ, всякій умственный трудъ будетъ привлекателенъ или, по крайней мѣрѣ, сносенъ. Такимъ образомъ, математика сдѣлается для ученика превосходною школою, не только въ умственномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. Математика не только приготовитъ ученика къ изученію естественныхъ наукъ; она не только выучитъ его мыслить правильно и послѣдовательно; она еще, кромѣ того, воспитаетъ въ немъ неустрашимаго работника, для котораго *трудъ* и *скука* окажутся двумя взаимно исключаящими другъ друга понятіями.

Для окончательнаго же успокоенія тѣхъ мнительныхъ людей, которые думаютъ, что гимназисты будутъ непременно ненавидѣть и презирать ужасную математику, я предлагаю дать каждому классу слѣдующую организацію, направленную къ тому, чтобы усилить и регулировать соревнованіе. Положимъ, что въ первый классъ поступило 50 человѣкъ учениковъ. Въ продолженіе двухъ или трехъ мѣсяцевъ преподаватели изучаютъ размѣры ихъ индивидуальныхъ способностей. По прошествіи этого времени преподаватели находятъ, что 7 учениковъ обладаютъ очень хорошими способностями, 29 — посредственными, и 14 — слабыми. Тогда они раздѣляютъ классъ на 7 группъ, наблюдая притомъ, чтобы эти группы были равносильны между собою по общей массѣ входящихъ въ нихъ индивидуальныхъ способностей. На каждую группу придется, такимъ образомъ, по одному даровитому ученику, по два слабыхъ, и по четыре посредственности. Въ одной изъ группъ окажется одна лишняя посредственность, но вліяніе ея будетъ совершенно нечувствительно; она не доставитъ ей того перевѣса надъ другими группами, который далъ бы ей лишній даровитый ученикъ, и не послужитъ ей также тѣмъ обремененіемъ, которымъ оказалась бы для нея одна лишняя бездарность. Затѣмъ, когда это раздѣленіе устроено, остается только, въ концѣ каждаго мѣсяца, выводить для каждой группы средній баллъ по всѣмъ предметамъ, и объявлять классу, что такая-то группа оказалась первою, а такая-то второю, и такъ далѣе. Этого будетъ совершенно достаточно; и можно поручиться за то, что при этой системѣ всякія наказанія за лѣность, и всякія награды за прилежаніе сдѣлаются совершенно излишними.

Въ настоящее время, во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ дѣйствуетъ болѣе или менѣе сильно начало личнаго соревнованія. Пожалуй, и это недурно; во всякомъ случаѣ, лучше дѣйствовать на дѣтей посредствомъ личнаго соревнованія, чѣмъ посредствомъ физической боли. Но нетрудно замѣтить въ системѣ личнаго соревнованія нѣсколько серьезныхъ недостатковъ. Во-первыхъ, эта система совершенно изолируетъ интересы каждой отдѣльной личности; даровитому ученику невыгодно тратить время на то, чтобы помогать бездарному; если онъ это дѣлаетъ, то онъ чувствуетъ самъ, что приноситъ жертву, и оказываетъ товарищу благодѣяніе. Словомъ, эта система направляется къ тому, чтобы формировать близорукихъ эгоистовъ или сентиментальныхъ филантроповъ, но никакъ не къ тому, чтобы развивать въ ученикахъ чувство солидарности между отдѣльными людьми и личными интересами. Придерживаясь этой системы, школа совершенно забываетъ свою обязанность готовить хорошихъ гражданъ. Во-вторыхъ, личное соревнованіе дѣйствуетъ сильно только на самыхъ лучшихъ учениковъ; для массы оно не можетъ имѣть никакого значенія. Подъ вліяніемъ личнаго соревнованія идетъ ожесточенная борьба только за первыя мѣста въ классѣ; а такъ какъ эта борьба доступна только для самого ничтожнаго меньшинства, всего для какихъ нибудь пяти-шести учениковъ, то весь остальной классъ присутствуетъ при этой борьбѣ въ качествѣ постороннихъ и лично-незаниманныхъ зрителей. Между первымъ и вторымъ мѣстомъ въ классѣ есть для ученика замѣтная разница; между вторымъ и третьимъ—тоже; между первыми тремя и остальною массою тоже; но кто попалъ въ безразличную массу, и сидитъ въ ней безвыходно, для того уже рѣшительно все равно, перейдти ли изъ класса въ классъ семнадцатымъ, или двадцать шестымъ, или тридцать третьимъ. Эти отбѣнки становятся совершенно нечувствительными, и о нихъ нисколько не заботятся ни начальство, ни общественное мнѣніе школьнаго товарищества. — Въ третьихъ, господствующая система личнаго соревнованія нехороша тѣмъ, что на практикѣ она обыкновенно приправляется различными наградами, которыя дѣйствуютъ или на тщеславіе воспитанниковъ, или на инстинктъ стяжанія, подготавливая такимъ образомъ для жизни усердныхъ искателей теплыхъ мѣстъ и видимыхъ знаковъ отличія.

Всѣ эти неудобства устраняются системою коллективнаго соревнованія. Для каждого изъ членовъ группы одинаково важно, чтобы всѣ его товарища по группѣ учились хорошо; дурные баллы, получаемые слабыми учениками, тянутъ назадъ всю группу; поэтому, лучшие ученики будутъ непременно помогать слабымъ, и будутъ помогать имъ не изъ филантропіи, а изъ желанія поддержать общее дѣло, и не дать себя въ обиду другимъ группамъ. Такимъ образомъ, въ ученикахъ будутъ незамѣтно и нечувствительно вырабатываться здоровые общественные инстинкты. Сла-

бые ученики, съ своей стороны, будутъ напрягать всѣ свои силы, чтобы не сдѣлаться для своихъ ближайшихъ товарищей невыносимымъ бременемъ и причиною позорныхъ поражений. Словомъ, всѣ—слабые, посредственные и сильные — будутъ дѣлать столько, сколько могутъ; всѣ они будутъ находиться подъ контролемъ товарищей, а этотъ контроль, разумѣется, оказывается всегда неизмѣримо бдительнѣе и строже всякой начальственной инспекціи. Такъ какъ этотъ контроль будетъ одинаково строгъ для всѣхъ какъ сильныхъ, такъ и слабыхъ, то, разумѣется, при этой системѣ вовсе не окажется той безразличной и неподвижной массы, къ которой относится огромное большинство класса, при системѣ личнаго соревнованія. Наградъ не требуется никакихъ; соперничество между группами установится само собою, и начальство будетъ только ежемѣсячно сообщать этимъ группамъ простой статистическій фактъ, къ которому нѣтъ никакой надобности прибавлять какіе-бы то ни было хвалительные или порицательные комментаріи.

—Почему же вы однако думаете, спроситъ читатель, что соперничество дѣйствительно установится? — Потому, отвѣчу я, что ребята очень любятъ хвастаться другъ передъ другомъ силою, ловкостью, храбростью, сметливостью. Какъ только познакомятся между собою два мальчика, неизуродованные чопорнымъ воспитаніемъ, такъ они непремѣнно начнутъ бороться или бѣгать взапуски, и вообще постараются превзойти другъ друга, въ томъ или другомъ воинственномъ упражненіи. А борьба между группами еще гораздо занимательнѣе, чѣмъ борьба между отдѣльными личностями. Тутъ есть и союзники, и противники, и безпристрастные судьи, спокойно и хладнокровно читающіе ежемѣсячный статистическій отчетъ, пробуждающій во всѣхъ сгруппированныхъ сердцахъ цѣлыя бури разнообразныхъ, но чистыхъ и полезныхъ страстей. Система, которую я предлагаю здѣсь, уже дѣйствуетъ въ парижской ремесленной школѣ (*école professionnelle*), и г-жа Маршефъ-Жиранъ, въ книгѣ своей: «*Des Facultés humaines et de leur développement par l'éducation*», говорить, что полезные результаты, добываемые при помощи этого дѣленія на группы, далеко превосходили самыя смѣлыя ея ожиданія.

X.

Кромѣ всѣхъ своихъ вышенсчисленныхъ достоинствъ моя программа имѣетъ еще достоинство дешевизны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить штатъ реальной гимназіи съ штатомъ такого училища,

которое было бы устроено по моей программѣ. Выписываю изъ штата реальныхъ гимназій тѣ статьи, которыя относятся собственно къ учителямъ.

1	Законоучителю полагается за	14 недѣльныхъ урок.	1,020 р. жал.
2	Учителямъ русскаго языка »	25 » »	1,860 » »
2	» математики . . . »	28 » »	2,040 » »
2	естественной исторіи . . . »	29 » »	2,100 » »
1	исторіи и географіи »	22 » »	1,500 » »
2	нѣмецкаго языка »	24 » »	1,800 » »
2	французскаго языка »	22 » »	1,650 » »
1	чистописанія »	20 » »	880 » »

Итого за 184 недѣльные урока 12,850 р. жалованья всѣмъ учителямъ.

При назначеніи жалованья учителямъ уставъ держится слѣдующаго правила: когда учитель имѣетъ 12 недѣльныхъ уроковъ или менѣе, то ему полагается за каждый урокъ по 75 р. въ годъ. Если же учитель имѣетъ больше 12 уроковъ, то за каждый урокъ сверхъ 12-ти, онъ получаетъ въ годъ по 60 р. Такъ напр. законоучитель за 12 уроковъ получаетъ $12 \times 75 = 900$ рублей, а за два урока, сверхъ 12-ти, $2 \times 60 = 120$ рублей. Всего 1,020 рублей. Прилагая тотъ же самый расчетъ къ моей программѣ, я получаю слѣдующіе результаты.

1	Законоучителю за	14 уроковъ . . .	1,020 р. жал.
2	Учителямъ русскаго языка »	32 урока	2,280 » »
3	» математики »	42 »	3,060 » »
1	Учителю физики »	14 уроковъ . . .	1,020 » »
1	» нѣмецкаго языка »	15 »	1,080 » »
1	» французскаго языка . . »	15 »	1,080 » »
1	» чистописанія »	6 »	300 р. *) »

Итого за 138 уроковъ 9,840 р. жалованья всѣмъ учителямъ.

Вычитаю 9,840 изъ 12,850 руб. и получаю 3,010 рублей экономіи. Эту экономію было бы полезно употребить слѣдующимъ образомъ:

На жалованье гимназическому врачу	1,200 рублей.
На ученическую бібліотеку	810 »
На содержаніе токарной и столярной мастерской . .	1,000 »

Итого . . . 3,010 рублей.

*) Учителю чистописанія уставъ назначаетъ меньшее жалованье на томъ основаніи, что отъ него не требуется прохожденія университетскаго курса. Я, для равнаго счета, назначалъ ему по 50 руб. за урокъ, немного больше чѣмъ назначаетъ ему уставъ.

Врачъ получалъ бы тогда всего 1,500 рублей. Тогда можно было бы вложить ему въ обязанность, чтобы онъ присутствовалъ постоянно при гимназическихъ упражненіяхъ воспитанниковъ, чтобы онъ строго наблюдалъ за надлежащею вентиляціею классныхъ комнатъ и дортуаровъ, чтобы онъ изучалъ комплекцію и темпераментъ отдѣльныхъ воспитанниковъ, и чтобы, наконецъ, онъ представлялъ ежегодно медико-статистическіе отчеты по ввѣренному ему заведенію. Тогда врачъ дѣйствительно могъ бы сдѣлаться, по крайней мѣрѣ, до нѣкоторой степени, регуляторомъ внутренней жизни въ гимназіи. При этомъ само собою разумѣется, что онъ, подобно директору, инспектору и воспитателямъ, долженъ имѣть квартиру въ самомъ заведеніи, и что каждое опредѣленіе педагогическаго совѣта должно подписываться врачомъ, для того, чтобы получать законную силу.

Крайняя бѣдность гимназическихъ библіотекъ уже давно обращаетъ на себя вниманіе учебнаго начальства. Такъ называемыя фундаментальныя библіотеки, заключающія въ себѣ ученыя сочиненія, необходимыя для преподавателей, не отличаясь своимъ богатствомъ и удовлетворительностью своего состава, могутъ однако, до нѣкоторой степени, выполнять свое назначеніе. Что же касается до такъ называемыхъ ученическихъ библіотекъ, предназначенныхъ для чтенія воспитанникамъ, то онѣ при многихъ гимназіяхъ вовсе не существуютъ, а при другихъ *находятся*, по выраженію г. попечителя казанскаго округа, *только въ зачаткѣ*. Въ казанскомъ округѣ имѣется 12 гимназій; изъ нихъ снабжены ученическими библіотеками только 7 гимназій; но читатель никакъ не долженъ думать, что эти счастливыя 7 гимназій дѣйствительно могутъ предложить своимъ воспитанникамъ богатый запасъ разнообразнаго чтенія. Самая богатая изъ этихъ счастливыхъ семи гимназій, Екатеринбургская, имѣетъ въ своей ученической библіотекѣ 505 томовъ; самая же бѣдная, Пермская, имѣетъ въ своемъ распоряженіи 77 томовъ, такъ что вся библіотека можетъ, вѣроятно, умѣститься на двухъ не очень большихъ полкахъ. Впрочемъ, легко можетъ быть, что Вятская библіотека еще бѣднѣе Пермской. Въ отчетѣ г. попечителя цифра вятскихъ книгъ не показана, но сдѣлано замѣчаніе, что «особенно нуждаются въ пополненіи полезными для чтенія учениковъ книгами библіотеки Вятская и Пермская». — Показана же цифра книгъ въ пяти библіотекахъ, и изъ этихъ пяти показаній мы получаемъ средній выводъ: 394. Сама по себѣ эта цифра не очень печальна; ученику нѣкогда прочитать въ семь лѣтъ 394 тома; онъ читаетъ въ свободныя минуты, а свободныхъ минутъ у него не очень много, потому что большая часть того времени, которое не проводится въ классѣ и не употребляется на учебныя уроки, должно быть посвящено гимнастическимъ упражненіямъ и различнымъ играмъ, требующимъ физическаго движенія. Въ первые два

или даже три года ученику вовсе не слѣдовало бы читать; если же мы распредѣлимъ чтеніе 394 томовъ на послѣдніе четыре года, то на годъ придется по 98 $\frac{1}{2}$ томовъ, а на мѣсяцъ слишкомъ по 8 томовъ; то есть, ученику придется прочитывать по одному тому въ три съ половиною дня. Стало быть, если бы книги ученическихъ библіотекъ были удовлетворительны по своему содержанію, то ученикамъ не пришлось бы терпѣть умственного голода. Но удовлетворительны ли онѣ на самомъ дѣлѣ? Г. попечитель Казанскаго округа не сообщаетъ намъ никакихъ подробностей о составѣ ученическихъ библіотекъ, но мы имѣемъ основаніе думать, что онѣ очень плохи въ качественномъ отношеніи; на эту мысль наводитъ меня слѣдующее замѣчаніе въ отчетѣ г. попечителя. «Между тѣмъ, имѣя огромное значеніе въ отношеніи развитія умственного и знаній учащихся, ученическія библіотеки не имѣютъ никакихъ постоянныхъ средствъ, которыя могли бы служить гарантіей ихъ улучшенія, такъ какъ частная благотворительность весьма ненадежный источникъ и не вездѣ, кромѣ того, она проявляется съ одинаковою щедростію. Поэтому, совершенно необходимо, въ видѣ постоянного улучшенія и пополненія ученическихъ библіотекъ, назначить опредѣленную сумму на ихъ содержаніе, хотя бы, напримѣръ, въ количествѣ 100 руб. въ гимназіяхъ и треть или четверть этой суммы въ уѣздныхъ училищахъ». Мы видимъ, такимъ образомъ, что объ улучшеніи и пополненіи ученическихъ библіотекъ заботилась до сихъ поръ исключительно частная благотворительность. Но, такъ какъ наша частная благотворительность обращалась до сихъ поръ преимущественно на монастыри и на остроги, и проявлялась обыкновенно въ раздаваніи полушекъ на церковной паперти, или въ одѣленіи арестантовъ черствыми калачами, то надо полагать, что на украшеніе ученическихъ библіотекъ эта благотворительность устремлялась только тогда, когда благотворителю доставалось по наслѣдству отъ какого нибудь стараго дядюшки или дѣдушки нѣсколько десятковъ античныхъ книгъ, совершенно негодныхъ для личнаго употребленія. Что прикажете дѣлать съ такою коллекціею? Толкучаго рынка въ провинціи не имѣется; на оклейку комнатъ подъ обои эти книги не годятся, если онѣ переплетены; чердаки и кладовыя и безъ того биткомъ набиты всякою рухлядью; очевидно остается только навалить эти книги на телѣгу и отправить ихъ въ мѣстный храмъ наукъ, чтобы получить, такимъ образомъ, за весьма дешевую цѣну, репутацію благотворителя и губернскаго Мецената.

— Вотъ прекрасное возражаетъ читатель. Развѣ допустить гимназическое начальство, чтобы ученическая библіотека сдѣлалась складочнымъ мѣстомъ всякаго стараго хлама? — Читатель мой, отвѣчу я, хламъ — выраженіе условное и эластическое. Если въ числѣ старыхъ книгъ, ненужныхъ для самого благотворителя, окажутся «La Pucelle» Вольтера,

«Les bijoux indiscrets» Дидро, *Декамеронъ* Боккаччо, «Justine» маркиза де-Садъ, и разныя другія, столь же веселенькія произведенія, то легко можетъ случиться, что гимназическое начальство съ негодованіемъ отрѣжетъ имъ доступъ въ ученическую библіотеку, въ которой подобныя пріяности дѣйствительно неумѣстны. Но представьте себѣ, что благотворитель присылаетъ въ гимназію сочиненія Сумарокова, Тредьяковского, Хераскова, Аблесимова, Кострова, Поповскаго, Озерова, Мерзлякова. Спрашивается: хламъ ли это или не хламъ? Вы скажете, быть можетъ, что это хламъ, и я съ вами не стану спорить, но гимназическое начальство не будетъ имѣть ни малѣйшаго основанія на то, чтобы исключать подобныя книги изъ ученической библіотеки. Все это — орлы русскаго парнаса, и гимназическое начальство не имѣетъ никакого права отгонять русскаго юношество отъ живительныхъ струй нашей отечественной Гиппоклены. Начальство навѣрное поставитъ полученныя книги въ шкафъ, отмѣтитъ у себя въ каталогѣ, что ученическая библіотека обогатилась такимъ то количествомъ томовъ, и воздастъ приличную благодарность усердному жертвователю. Но, такъ какъ можно поручиться головою, что ни одинъ гимназистъ не прочитаетъ, во всѣ семь лѣтъ своего пребыванія въ гимназій, ни одного тома Сумарокова или Хераскова, то очевидно, что изъ средней цифры 394 приходится вычесть всю массу тѣхъ книгъ, которыя, по своей занимательности и поучительности, равняются произведеніямъ этихъ двухъ великихъ представителей русскаго поэзіи. Легко можетъ быть, что, послѣ этого вычитанія, мы, вмѣсто 394 томовъ, получимъ чистый нуль. Очень правдоподобно, что въ ученическихъ библіотекахъ мы не найдемъ ни одного порядочнаго кругосвѣтнаго путешествія, ни одной дѣльной исторической книги, и ни одного произведенія Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, Толстаго, Помяловскаго, Островскаго и другихъ новѣйшихъ писателей, безъ которыхъ невозможно даже составить себѣ ясное понятіе о современномъ положеніи русскаго языка.

Г. Попечитель казанскаго округа желаетъ, какъ мы видѣли выше, чтобы ежегодно отпускалось на комплектованіе ученической библіотеки по 100 рублей. Скромность этого желанія доказываетъ ясно, что ученическія библіотеки не избалованы въ прошедшемъ, и что, даже въ ближайшемъ будущемъ, мудрено предсказывать имъ роскошное и блистательное развитіе. Положеніе фундаментальныхъ библіотекъ въ настоящее время гораздо болѣе утѣшительно. Между тѣмъ, какъ для ученическихъ библіотекъ годовой бюджетъ въ 100 рублей составляетъ еще отдаленную цѣль смѣлыхъ желаній, фундаментальныя библіотеки казанскаго округа израсходовали на выпускъ книгъ въ 1863 году, среднимъ числомъ по 259 рублей. Больше всѣхъ истратила 2-я Казанская гимназія, именно 381 р., а меньше всѣхъ Нижегородскій институтъ,

именно 145 р. Какъ видите, даже этотъ *minimum* почти въ полтора раза больше той суммы, которую г. попечитель проситъ для комплектованія ученическихъ библіотекъ.

Если мы представимъ себѣ учебное заведеніе, устроенное по моей программѣ, то въ этомъ заведеніи отношенія между фундаментальною библіотекою и ученическою будутъ установлены совсѣмъ не такъ, какъ они сложились въ теперешнихъ гимназіяхъ. Съ одной стороны, фундаментальная библіотека будетъ почти совершенно поглощена ученическою. Съ другой стороны, ученическая библіотека будетъ состояться изъ такихъ книгъ, которыя интересны и поучительны не только для учениковъ, но и вообще для всѣхъ людей, способныхъ читать и понимать литературныя произведенія и популярно-научныя книги. Въ чисто-ученыхъ сочиненіяхъ преподаватели моего воображаемаго заведенія будутъ нуждаться очень мало. Трое изъ нихъ преподають математику, двое—русскій языкъ, двое новыя языки, и одинъ — физику. Собственно говоря, только одинъ преподаватель физики будетъ постоянно нуждаться въ новыхъ, строго и раціонально-ученыхъ сочиненіяхъ по своему предмету. Математики могутъ быть превосходными преподавателями, вовсе не заботясь о тѣхъ мелкихъ математическихъ мемуарахъ, которые представляются каждый годъ трудолюбивыми учеными въ различные европейскія академіи. Можно сказать навѣрное, что время великихъ открытій и радикальныхъ переворотовъ окончательно миновало для математики, что теперешнее положеніе этой науки въ существенныхъ чертахъ своихъ останется непоколебимо-твердымъ на вѣчныя времена, что мелкіе мемуары современныхъ геометровъ не разрушаютъ въ этой наукѣ ничего стараго, и не построятъ въ ней почти ничего новаго, и что, вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ добросовѣстный учитель математики ни въ какомъ случаѣ не рискуетъ оказаться отсталымъ по предмету своей спеціальности. Со стороны гимназическихъ математиковъ было бы даже гораздо благоразумнѣе, если бы они заботились о расширеніи своего общаго образованія, вмѣсто того, чтобы ловить на лету и изучать отъ доски до доски незначительные математическіе мемуары. А для общаго образованія имъ будетъ всего удобнѣе обращаться къ ученической библіотекѣ, которая должна быть направлена именно къ этой послѣдней цѣли. Преподавателямъ русскаго языка необходимо слѣдить за современнымъ развитіемъ русской литературы, но въ этомъ отношеніи ученическая библіотека должна удовлетворять всѣмъ ихъ требованіямъ, потому что эта библіотека непременно должна выписывать лучшіе литературные журналы, и приобрѣтаетъ себѣ всѣ замѣчательныя произведенія современной словесности. Кромѣ того, преподавателямъ русскаго языка придется изрѣдка выписывать книги по исторіи литературы, въ родѣ «Историческихъ очерковъ» г. Буслаева, или «Памятны-

вомъ» г. Костомарова, или «Обзора славянскихъ литературъ» гг. Спасовича и Пыпина; но такія книги выходятъ вообще такъ рѣдко, что врядь ли придется, на этотъ предметъ, тратить изъ года въ годъ больше десяти или пятнадцати рублей. Для нѣмца и француза даже и того не придется истратить, потому что гимназистамъ нужно знаніе языка, а не литературъ.

И такъ фундаментальная библіотека будетъ состоять почти исключительно изъ сочиненій по физикѣ, и еще изъ лучшихъ произведеній по педагогической части. За развитіемъ педагогики, какъ науки и какъ искусства, за всѣми усовершенствованіями въ методахъ преподаванія все гимназическое начальство и весь педагогическій совѣтъ должны слѣдить пристально и неутомимо. Гимназіи должны выписывать непременно всѣ лучшіе педагогическіе журналы и трактаты, какъ русскіе, такъ и заграничные; недостатка въ денежныхъ средствахъ оказаться не можетъ; напротивъ того, должна даже оказаться значительная экономія. Уставъ опредѣляетъ для реальныхъ гимназій на учебныя пособія 800 рублей. На эти деньги по уставу должны содержаться и ремонтироваться: 1) фундаментальная библіотека, 2) ученическая библіотека, 3) физическій кабинетъ, 4) зоологическія, ботаническія и минералогическія коллекціи, 5) химическая лабораторія, 6) географическія карты, глобусы, чертежи, рисунки и модели для рисованія, 7) музыкальныя ноты.—По моей программѣ, всѣ эти статьи расхода уничтожаются, кромѣ *первой* и *третьей*. То есть, на эти 800 рублей придется ремонтировать только фундаментальную библіотеку и физическій кабинетъ. Ученическая библіотека будетъ имѣть, какъ мы видѣли выше, свой особенный годовой бюджетъ въ 810 рублей, составленный изъ жалованья упраздненныхъ преподавателей; а всѣ остальные предметы, коллекціи, лабораторія, рисунки, модели, ноты, окажутся просто ненужными по основнымъ условіямъ программы. Ясно, стало быть, что можно будетъ выписывать множество педагогическихъ сочиненій, и обставить физическій кабинетъ самымъ блистательнымъ образомъ.

XI.

Такъ какъ малолѣтнимъ ребятамъ первыхъ трехъ классовъ гораздо полезнѣе въ свободное время бѣгать, играть и возиться, чѣмъ сидѣть смирно и читать правоучительныя исторіи, то ученическая библіотека должна быть составлена вовсе не изъ дѣтскихъ, а изъ общезанимательныхъ и общедоступныхъ книгъ. Специально-дѣтская литература всегда и вездѣ

составляет и будет составлять одну из самых жалких, самых ложных и самых ненужных отраслей общей литературы. Развитие дѣтской литературы и запросъ на дѣтскія книги, несомнѣнно существующій во всѣхъ современныхъ обществахъ, объясняются просто и легко разными уродливыми особенностями, укоренившимися, во-первыхъ, въ господствующихъ системахъ первоначальнаго воспитанія, и, во-вторыхъ, въ нашихъ собственныхъ нравственныхъ привычкахъ. Не умѣя развивать правильнымъ образомъ физическія силы ребенка, совершенно забывая о томъ, что ребенокъ, для укрѣпленія своего организма, долженъ дѣлать какъ можно больше движенія, мы, съ первыхъ лѣтъ жизни, прививаемъ ребенку наклонность къ старческой усидчивости, и радуемся, глядя на нашего питомца, который не шумитъ, не кричитъ, не топчетъ ногами по комнатѣ, а сидитъ себѣ за какимъ нибудь благонравнымъ занятіемъ, въ родѣ разсматриванія картинокъ, или рисованія разныхъ каракулекъ. У такого ребенка, приученнаго уже къ сидячей жизни, и взирающаго на бѣганіе и прыганіе, какъ на занятія безмысленныя и вовсе не комфортабельныя, у такого ребенка, говорю я, очень не трудно развить неестественную и преждевременную охоту къ чтенію.

Неестественность и преждевременность этой охоты обнаружится для насъ совершенно очевидно, какъ только мы серьезно зададимъ себѣ вопросъ о томъ, что такое чтеніе, или, по крайней мѣрѣ, чѣмъ оно, по настоящему, должно быть для человѣка? — Чтеніе есть тотъ актъ, посредствомъ котораго отдѣльная личность, чувствуя свое безсиліе передъ осаждающими ее вопросами, обращается къ коллективному уму человечества, къ лучшимъ представителямъ этого ума, чтобы отъ нихъ добыть себѣ отвѣтъ на эти вопросы, неразрѣшимые для индивидуальныхъ силъ. — Только такое чтеніе имѣетъ смыслъ и приноситъ пользу, какъ самому читателю, такъ и обществу, пожинающему рано или поздно плоды этого разумаго и цѣлесообразнаго чтенія. Но развѣ семи-восьми-десяти и даже двѣнадцатилѣтніе пузыри могутъ читать такимъ образомъ? Развѣ ихъ осаждаютъ какіе нибудь вопросы? Развѣ они ищутъ какихъ-нибудь отвѣтовъ? Развѣ имъ есть какое-нибудь дѣло до коллективнаго ума человечества? — Они съ великою радостью промѣняють весь этотъ коллективный умъ со всѣми его отвѣтами на арабскія сказки Шехеразеды. Они читають просто для того, чтобы убить время, читають для того же самого, для чего предаются чтенію всѣ любители романовъ Поль-де-Кока и обоихъ Дюма, père et fils. Это чтеніе безобразно и безнравственно, какъ гнусный продуктъ позорной праздности. И это убиваніе времени вдвойнѣ безобразно и безнравственно, когда дѣйствующими лицами являются дѣти. Если взрослый болванъ читаетъ для процесса чтенія, то на него уже можно махнуть рукой. Кто сдѣлался совершеннолѣтнимъ человѣкомъ,

не выучившись цѣнить время, тотъ можетъ уже заниматься чѣмъ ему угодно, потому что, во всякомъ случаѣ, не займется ничѣмъ путнымъ. Ребенокъ, напротивъ того, только-что втягивается въ искусство убивать время, и поэтому, безцѣльное чтеніе, — эта профанція и проституція мысли, — имѣетъ еще для него развращающее значеніе, котораго оно уже больше не можетъ имѣть для окончательно-развращеннаго и кренинизированнаго взрослого. Поэтому, я огоршу читателя тѣмъ неожиданнымъ для него заключеніемъ, что такъ называемыя хорошія дѣтскія книги гораздо безнравственнѣе и, по своему вліанію на общество, гораздо вреднѣе самыхъ грязныхъ и пустыхъ романовъ французской фабрикаціи. Читатель закричитъ конечно, что это вопіющій парадоксъ, но я попрошу его взглянуть въ тотъ общезвѣстный и очевидный фактъ, что мы вообще относимся чрезвычайно легкомысленно къ чтенію, и, вслѣдствіе этого, также и къ литературѣ, и къ наукѣ, и ко всему, что можетъ расширить кругъ нашихъ идей и возвысить насъ надъ грязнымъ уровнемъ нашихъ узкихъ, мелкихъ, копѣчныхъ и ложно-понимаемыхъ интересовъ. Пусть читатель взглянетъ въ этотъ фактъ, и пусть онъ подумаетъ, не находится ли этотъ фактъ въ тѣсной причинной связи съ тѣмъ другимъ, столь же общезвѣстнымъ и очевиднымъ фактомъ, что мы начинаемъ читать слишкомъ рано, и что, вслѣдствіе нашей крайней молодости и умственной незрѣлости, мы поневолѣ приучаемся видѣть забаву въ томъ процессѣ, который, по настоящему, долженъ быть серьезною и глубокообдуманною бесѣдою человѣка съ человѣчествомъ.

Другая причина существованія дѣтскихъ книгъ заключается въ полнѣйшей дрянности тѣхъ взрослыхъ людей, среди которыхъ дѣтямъ приходится расти и развиваться. Эта дрянность имѣетъ свою положительную и свою отрицательную сторону, то есть, распространенію дѣтскихъ книгъ содѣйствуютъ, во-первыхъ, нѣкоторыя дурныя качества взрослыхъ, и во-вторыхъ, отсутствіе у тѣхъ же взрослыхъ нѣкоторыхъ хорошихъ качествъ.

Защитники специально-дѣтской литературы, прежде всего, приведутъ въ ея пользу то разсужденіе, что тринадцати или четырнадцати лѣтъ субъекты дѣйствительно нуждаются въ чтеніи, и что, между тѣмъ, имъ невозможно давать тѣ книги, которыя читаются взрослыми. Обѣ части этого разсужденія довольно вѣрны: дѣйствительно, у тринадцатилѣтнихъ дѣтей уже начинается пробуждающаяся серьезная любознательность, требующая себѣ удовлетворенія; и дѣйствительно, дрянныя книги, читаемыя взрослыми, могутъ разстроить здоровье молодыхъ людей, приближающихся къ критическому возрасту половой зрѣлости. Но развѣ же это хорошо и нормально, что взрослые читаютъ съ наслажденіемъ пакостныя книги? Развѣ же эти пакостныя книги полезны и необходимы для самихъ взрослыхъ? Развѣ было бы возможно такое извращеніе об-

щественнаго вкуса въ такомъ обществѣ, въ которомъ не было бы мѣста для праздности, для умственной пустоты, для тунеядства и для разнообразнѣйшихъ проявленій экономической эксплуатаціи?

Здоровое общество всегда порождаетъ здоровую литературу, а здоровая литература одинаково полезна для всѣхъ грамотныхъ людей, безъ различія пола, возраста и состоянія. Необходимость отдѣльной дѣтской литературы указываетъ прямо на существованіе общественныхъ болѣзней, съ которыми мы свиклись, и которыя мы стараемся удержатъ и сохранить, какъ величайшую драгоценность, и какъ источникъ любимѣйшихъ нашихъ наслажденій. Эта милая способность любить и лелѣять болѣзнь случается въ исторіи у очень многихъ народовъ: такимъ образомъ римляне любили гладиаторскія игры, испанцы — инквизицію, французы — централизацію, англичане — свою *happy constitution*, южные плантаторы — невольничество. Такъ точно и мы любимъ дѣтскую литературу; которая позволяетъ намъ, взрослымъ, оставаться пустоголовыми селадонами, и относиться къ чтенію съ точки зрѣнія пріятныхъ возбуждающихъ спецій.

Другой аргументъ въ пользу дѣтской литературы, и даже въ пользу книгъ, написанныхъ для шести и восьмилѣтнихъ ребятъ, состоитъ въ томъ, что надо приучать дѣтей къ чтенію и вообще къ умственнымъ занятіямъ съ самого ранняго возраста, потому что впоследствии эти привычки пріобрѣтаются съ большимъ трудомъ; если оставлять ребенка безъ книгъ до тѣхъ поръ, пока въ немъ пробудится любознательность, разсуждаютъ многіе родители и педагоги, то легко можетъ случиться, что эта желанная любознательность не пробудится въ немъ никогда; именно книги-то и содѣйствуютъ пробужденію его любознательности. Факты, на которыхъ построено это разсужденіе, подмѣнены совершенно вѣрно. Дѣйствительно можетъ случиться, что ребенокъ до четырнадцати лѣтъ будетъ играть въ бабки и въ лошадки, а послѣ четырнадцати лѣтъ, взявъ нѣсколько уроковъ у танцмейстера, начнетъ блистать, сначала на дѣтскихъ вечерахъ, потомъ на настоящихъ балахъ. Любознательность дѣйствительно не обнаружится ни въ эпоху бабокъ и лошадокъ, ни въ періодъ балльных похожденій. Но такая атрофія любознательности возможна только тогда, когда всѣ взрослые люди, окружающіе ребенка, не имѣютъ въ головѣ ни одной дѣльной мысли, неспособны ни на одно глубокое чувство, и не поставили себѣ въ жизни никакой серьезной цѣли. Если отецъ ребенка обратилъ всѣ свои способности на псовую охоту, дядя — на азартную игру, старшій братъ — на преслѣдованіе хорошенькихъ горничныхъ, мамаша — на куафюры и бурнусы, сестра на усовершенствованіе цвѣта своего лица, то, разумѣется, и пробуждающаяся любознательность ребенка будетъ также тратиться вся безъ остатка на усвоеніе элементарныхъ свѣдѣній по тѣмъ предметамъ.

которыми интересуются его ближайшіе родственники. Вот тут-то и выдвигается дѣтская литература, какъ противодѣйствіе той умственной пустотѣ и деморализаціи, которая постигла бы ребенка, если бы онъ съ малыхъ лѣтъ почерпалъ всѣ свои мысли и чувства исключительно изъ своихъ всенедельныхъ сношеній съ взрослыми родственниками. Это противодѣйствіе въ настоящее время полезно и даже необходимо, именно такъ, какъ полезенъ и необходимъ ядъ меркуріальнаго лекарства, истребляющій ядъ сифилитической болѣзни. Искусственность того книжнаго міра, въ который мы вводимъ ребенка, во всякомъ случаѣ есть зло; но пустота дѣйствительной жизни оказывается еще худшимъ зломъ, объ устраненіи котораго мы и можемъ только помечтать. Изъ двухъ золъ мы выбираемъ меньшее, и, по нашему обыкновенію, довольствуемся жалкими палліативами въ такомъ дѣлѣ, гдѣ требуются радикальные перевороты. Мы пичкаемъ дѣтей добродѣтельными книжками, и успокаиваемся на той надеждѣ, что эти книжки замѣнятъ имъ благотворное вліяніе честной трудовой жизни, въ которую мы не умѣемъ или не желаемъ вводить ихъ съ ранней молодости.

И такъ, дѣтская литература есть жалкая, ложная и совершенно искусственная отрасль общей литературы. Въ ученическихъ библіотекахъ дѣтскія книги совершенно неумѣстны. Ученическая библіотека должна открываться для учениковъ только тогда, когда они уже будутъ въ состояніи понимать и читать съ удовольствіемъ книги, написанныя для взрослыхъ, разумѣется, не для такихъ взрослыхъ, которые ищутъ въ книгѣ скоромныхъ описаній. Какія же книги должны входить въ составъ ученической библіотеки? Произведенія лучшихъ беллитристовъ и критиковъ, русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ, описанія замѣчательныхъ путешествій, историческія сочиненія и популярныя книги по всѣмъ отраслямъ естествознанія. Если тратить каждый годъ сполна всѣ 810 рублей, назначенныя на комплектованіе библіотеки, то, разумѣется, въ короткое время, эта библіотека будетъ заключать около пяти тысячъ томовъ. Такія библіотеки будутъ конечно очень полезны воспитанникамъ во время ихъ пребыванія въ гимназій, но онѣ могутъ принести имъ еще гораздо больше пользы послѣ ихъ выхода изъ заведенія. Если гимназистъ мало читаетъ, или даже совсѣмъ ничего не читаетъ, это еще не очень большая бѣда; его время впереди; передъ нимъ лежитъ еще университетъ, который можетъ разбудить и направить къ полезному труду его дремлющія умственныя силы; но, когда молодой человѣкъ уже кончилъ курсъ своего ученія, и когда обстоятельства забросили его въ сонное царство провинціальной благодатной жизни, тогда хорошая библіотека можетъ рѣшить для него навсегда гамлетовскій вопросъ: «быть или не быть», то есть, думать или пить запоемъ, учиться или благодушествовать за преферансомъ и за стуколкой. Каждый годъ, сотни неглухихъ и небез-

честныхъ молодыхъ людей, попавши въ кружокъ мелкаго провинціального чиновничества или мѣстной землевладѣльческой аристократіи, глупѣютъ и развращаются именно потому, что нѣтъ ни человѣка, съ которымъ можно было бы отвести душу, ни книги, которая освѣжила бы въ памяти идеи, чувства и порывы свѣтлой и чистой студенческой юности. Поэтому, было бы необходимо, чтобы каждая гимназія предоставляла своимъ воспитанникамъ право пользоваться ученическими бібліотеками до конца жизни.

На это мнѣ возразятъ, разумѣется, что это право, въ большей части случаевъ, оказалось бы ни на что ненужнымъ, потому что воспитанники Костромской гимназіи можетъ попасть куда-нибудь въ Могилевъ, а могилевскій въ Саратовъ, и такъ далѣе. Какъ же онъ изъ Могилева будетъ пользоваться костромскою, или изъ Саратова могилевскою бібліотекою? Очень просто, отвѣчу я. Для этого надо только, чтобы между всѣми ученическими бібліотеками существовали отношенія взаимности. То есть, выходя изъ гимназіи, ученикъ вмѣстѣ съ аттестатомъ, получаетъ билетъ, который даетъ ему право пользоваться бесплатно всѣми ученическими бібліотеками на всемъ пространствѣ руссiйской имперіи. Могилевскій гимназистъ будетъ читать книги въ Саратовской бібліотекѣ, саратовскій — гдѣ нибудь въ Вологодской, вологодскій — опять въ Могилевской, и такъ далѣе. При этомъ круговомъ обмѣнѣ услугъ окажется, что всѣ гимназіи даютъ чужимъ воспитанникамъ столько, сколько ихъ воспитанники получаютъ отъ чужихъ гимназій. Общество, при такомъ порядкѣ вещей, останется въ чистыхъ барышахъ, потому что многіе изъ мелкихъ чиновниковъ, прикащиковъ, конторщиковъ и т. д., окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ, будутъ читать хорошія книги, вмѣсто того, чтобы пьянствовать, играть въ карты и безобразничать.

Въ настоящее время, мѣста преподавателей въ гимназіяхъ отдаленныхъ губерній внушаютъ очень естественный ужасъ тѣмъ молодымъ людямъ, которымъ они предлагаются. Заѣдешь туда въ эту глушь, думаютъ молодые кандидаты, мохомъ обростешь, отугбешь, отстанешь отъ научныхъ занятій, бросишь чтеніе, оскотинишься, пить начнешь... Нѣтъ ужъ лучше жить въ Петербургѣ или въ университетскомъ городѣ гдѣ нибудь на чердакѣ, перебиваясь изо дня въ день грошовыми уроками, переводами или даже частною перепискою. Вслѣдствіе такихъ разсужденій молодыхъ кандидатовъ, многія провинціальныя гимназіи, подобно ирландскихъ ландлордовъ, жестоко страдаютъ абсентизмомъ. Мѣста учителей остаются незанятыми въ продолженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, такъ что многія поколѣнія учениковъ проходятъ черезъ гимназію, не получая даже смутныхъ понятій о нѣкоторыхъ предметахъ, которые, однако продолжаютъ красоваться въ программѣ и на росписаніи еженедѣльныхъ уроковъ. — Десятки лѣтъ! восклицаетъ читатель. Быть не можетъ! — А?

Быть не можетъ? Такъ вотъ же вамъ выписка изъ «журнала Министерства! Народнаго Просвѣщенія».—«Бывали случаи, что учительскія мѣста въ гимназіяхъ оставались незамѣщенными цѣлые годы и даже десятки лѣтъ: такъ напр., въ астраханской гимназіи математика, русскій языкъ, исторія и географія не преподавались по пяти лѣтъ, по невозможности пріискать учителей; нѣмецкій языкъ по той же причинѣ не преподавался 27 лѣтъ, французскій 17 лѣтъ, и латинскій 13 лѣтъ. Въ Архангельской гимназіи географія не преподавалась 8 лѣтъ, французскій языкъ 15 лѣтъ, и англійскій 11 лѣтъ, и т. д.» (1864. Декабрь. По поводу новаго устава гимназій и прогимназій. Стр. 91). «Отчетъ по управленію Казанскимъ учебнымъ округомъ на 1863 годъ» показываетъ намъ, что такіе случаи не только *бывали*, но и *бываютъ* до настоящей минуты. Во всѣхъ 12 гимназіяхъ Казанскаго округа существуютъ незанятія ваканціи; всѣхъ учительскихъ ваканцій имѣлось въ 1863 году 28, такъ что на каждую гимназію приходится по 2 1/2 вакантныхъ мѣста; въ симбирской гимназіи, напримѣръ, не замѣщены четыре кафедры: по русской словесности, по математикѣ, по естественной исторіи и по французскому языку; а въ пензенской—пять кафедръ: законовѣдѣніе, русская словесность, математика, французскій и нѣмецкій. Есть основаніе думать, что удовлетворительное положеніе ученическихъ библіотекъ, которыя, конечно не будутъ составлять запретнаго плода для преподавателей, въ значительной степени ослабило бы бѣдствія этого учительскаго абсентизма. Какая нибудь Вятка, Цермъ или Уфа потеряютъ для молодого кандидата половину своего устрашающаго и отталкивающаго вида, когда онъ узнаетъ, что въ каждомъ изъ этихъ ужасныхъ городовъ есть порядочная библіотека, которая непремѣнно каждый годъ выписываетъ по нѣскольку литературныхъ журналовъ и по двѣ или по три сотни томовъ новѣйшихъ сочиненій по самымъ интереснымъ отраслямъ человѣческаго знанія. Тогда не будетъ уже для молодого человѣка опасности заглухнуть и поглупѣть, и не будетъ, слѣдовательно, необходимости отказываться отъ учительскаго мѣста по чувству нравственнаго самосохраненія.

ХІІ.

Въ началѣ X-ой главы я назначилъ, изъ ежегодной экономіи, по 1000 рублей въ годъ, на содержаніе при гимназіи столярной и токарной мастерской. Я полагаю, что каждому человѣку, на какой бы ступени общественной лѣстницы онъ ни находился, необходимо во многихъ

отношеніяхъ знать, по крайней мѣрѣ одно ручное ремесло. Слѣдующія слова Руссо, которыя я беру изъ III-ей книги *Эмилы*, останутся на вѣчныя времена великою истиною:

«Помните, говоритъ онъ, что я требую отъ васъ не таланта; мнѣ нужно ремесло, настоящее ремесло; искусство чисто механическое, въ которомъ руки работаютъ больше головы, и которое не ведетъ къ богатству, но при которомъ можно безъ него обойтись. Я видѣлъ, что въ семействахъ, вовсе не подвергавшихся опасности остаться безъ хлѣба, отцы, для предотвращения всякихъ случайностей, давали своимъ дѣтямъ, кромѣ общаго образованія, такія свѣдѣнія, посредствомъ которыхъ можно было бы зарабатывать себѣ пропитаніе. Эти предусмотрительные отцы думаютъ сдѣлать много, и не дѣлаютъ ничего, потому что тѣ средства, которыми они разсчитываютъ обезпечить своихъ дѣтей, зависать отъ того самого богатства, выше котораго они стараются ихъ поставить. Обладатель всѣхъ этихъ прекрасныхъ талантовъ, подавши въ такую обстановку, которая не благопріятствуетъ ихъ проявленію, погибнетъ отъ бѣдности такъ точно, какъ будто бы у него не было ни одного таланта. Когда дѣло идетъ о проискахъ и объ интригахъ, тогда можно пожалуй направить ихъ на то, чтобы удержать за собою богатство, вмѣсто того, чтобы при ихъ содѣйствіи, выбиваться потомъ изъ бѣдности къ прежнему благосостоянію. Если вы занимаетесь искусствами, которыхъ успѣхъ зависитъ отъ репутаціи художника, если вы пріобрѣтаете себѣ способность исправлять такія должности, которыя получаютъ только по протекціи, — то къ чему послужить вамъ все это, когда, получивши справедливое отвращеніе къ свѣтскому обществу, вы съ презрѣніемъ будете смотрѣть на тѣ средства, безъ которыхъ невозможно добиться успѣха? — Вы изучили политику и интересы государей: это очень хорошо; но что вы будете дѣлать съ этими знаніями, если вы не умѣете, отыскать дорогу къ министрамъ, къ придворнымъ женщинамъ, къ начальникамъ департаментовъ, если вы не обладаете тайною нравиться имъ, если всѣ не найдутъ въ васъ тѣхъ качествъ, которыя для нихъ годятся? — Вы — архитекторъ или живописецъ: согласенъ; но надо доставить вашему таланту извѣстность. Развѣ вы думаете, что ваша работа, ни съ того ни съ сего, попадетъ тотчасъ на публичную выставку? О нѣтъ! дѣло идетъ совсѣмъ не такъ. Надо числиться въ академіи, надо даже пользоваться тамъ протекціею, чтобы добыть себѣ въ какомъ нибудь уголкѣ теплое мѣстечко. Отложите въ сторону линейку и кисть. Наймите извозчика и отправляйтесь стучаться то въ ту, то въ другую дверь: знаменитость пріобрѣтается именно этимъ послѣднимъ средствомъ. Но вы должны знать, что у всѣхъ этихъ могущественныхъ дверей есть швейцары или привратники, которые понимаютъ только мимику, и которыхъ уши находятся въ рукахъ. Хотите вы давать уроки по тѣмъ предметамъ, кото-

рые вы изучили, хотите сдѣлаться учителемъ географіи, или математики, или языковъ, или музыки, или рисованія? Даже и для этого надо найти себѣ учениковъ, то есть, прежде всего надо завербовать хвалителей. Знайте впередъ, что главное дѣло заключается не въ искусствѣ, а въ шарлатанствѣ, и что вы всегда будете считаться невѣждою, если будете знать только вашу специальность. — Посмотрите же какъ всѣ эти блестящіе подспорья непрочны, и какъ много вспомогательныхъ средствъ необходимо для того, чтобы извлекать изъ нихъ пользу. И кромѣ того, что съ вами сдѣлается въ этомъ позорномъ униженіи? Бѣдствія опошляютъ васъ, ничему васъ не научая; сдѣлавшись, болѣе чѣмъ когда либо, игрушкою общественнаго мнѣнія, какимъ же образомъ подниметесь вы выше тѣхъ предрассудковъ, которые будутъ располагать самовластно вашею участью? Какимъ образомъ станете вы презирать низость и пороки, въ которыхъ вы нуждаетесь, какъ въ источникѣ пропитанія? Прежде вы зависѣли только отъ богатства, а теперь вы зависите отъ богатыхъ; вы только ухудшили ваше рабство, и обременили его вашею бѣдностью; вы теперь бѣдны и при этомъ все-таки не свободны: это самое скверное изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ положеній. Но если, въ случаѣ нужды, вы обращаетесь, для добыванія насущнаго хлѣба, не къ тѣмъ возвышеннымъ знаніямъ, которыя питаютъ душу, не заботясь о тѣлѣ, а къ вашимъ собственнымъ рукамъ и къ тому, что вы умѣете ими дѣлать, тогда всѣ затрудненія исчезаютъ, всѣ происки становятся бесполезными; средство всегда готово въ ту минуту, когда надо имъ пользоваться; честность и нравственная самостоятельность перестаютъ быть помѣхами въ жизни: вамъ нѣтъ болѣе надобности подличать и лгать передъ вельможами, извиваться и ползать передъ мошенниками, угождать всѣмъ и каждому, занимать деньги или воровать, что почти равносильно, когда у васъ нѣтъ ничего за душою: мнѣніе другихъ людей до васъ не касается; никому вы не обязаны кланяться; вамъ не зачѣмъ льстить дураку, задобривать швейцара, подкупать и превозносить похвалами продажную женщину. Пускай мошенники заправляютъ крупными дѣлами, вамъ до этого нѣтъ дѣла; это не помѣшаетъ вамъ, въ вашей скромной жизни, быть честнымъ человѣкомъ и имѣть кусокъ хлѣба. Вы входите въ первую попавшуюся лавку того ремесла, которому вы учились. — Хозяинъ, мнѣ нужна работа. — Товарищъ, садитесь, работайте. Прежде, чѣмъ наступитъ часъ обѣда, вы заработаете вашъ обѣдъ. Если вы трудолюбивы и умѣренны, то не пройдетъ недѣли, какъ вы уже обезпечите вашимъ трудомъ ваше существованіе на слѣдующую недѣлю; и въ теченіе всего этого времени вы будете оставаться свободнымъ, здоровымъ, трудолюбивымъ и честнымъ человѣкомъ. Жить такимъ образомъ не значитъ терять время по пустому».

Немного велегрѣчиво, немного восторженно, немного черезчуръ пропитано мелодраматическимъ преврѣніемъ къ богатству, и столь же мелодраматическою нѣжностью къ отвлеченной *virtu*, которую такъ любилъ въ послѣдствіи покойникъ Робеспьеръ, но въ сущности, въ основной идѣ, совершенно вѣрно. Нравственная самостоятельность дѣйствительно невозможна, когда человѣкъ прикрѣпленъ наглухо къ извѣстной профессіи, и когда ему некуда отступить назадъ, въ случаѣ какихъ нибудь несправедливыхъ преслѣдованій или неисполнимыхъ требованій со стороны тѣхъ лицъ или общественныхъ кружковъ, отъ которыхъ онъ зависитъ въ условіяхъ своего существованія. Всякій умственный трудъ можетъ поставить человѣка въ такое положеніе, въ которомъ ему приходится выбирать одно изъ двухъ: или ренегатство, или *chomage*, то есть, вынужденное прекращеніе работы, и, слѣдовательно, непріятный маневръ: *зубы на помку*. Такъ какъ на свѣтѣ мало такихъ тероевъ, которые, изъ любви къ своимъ убѣжденіямъ, готовы смотрѣть въ глаза голодной смерти и такъ какъ возможность отступить назадъ къ безопасному ручному ремеслу не существуетъ почти ни для кого, то, разумѣется, ренегаты растутъ какъ грибы по всѣмъ отраслямъ умственной дѣятельности. Такая перспектива способна запугать самыхъ храбрыхъ и расположить къ уступчивости самыхъ упорныхъ. Но такая перспектива была бы очевидна и невозможна, если бы каждый членъ образованнаго сословія выносилъ изъ школы, вмѣстѣ съ умственнымъ развитіемъ и съ научными свѣдѣніями, основательное и совершенно практическое знаніе какого нибудь ручнаго ремесла.

Ручное ремесло необходимо, кромѣ того, по своему важному и несомнѣнному вліянію на общій складъ умственнаго развитія. Источникъ всего нашего богатства, основаніе всей нашей цивилизаціи и настоящій двигатель всемірной исторіи заключается конечно въ физическомъ трудѣ человѣка, въ прямомъ и непосредственномъ дѣйствіи человѣка на природу. Кто смотритъ на физическій трудъ издали и со стороны, кто не имѣетъ никакого понятія о томъ, что значить собственноручно побѣждать сопротивленіе неодушевленной матеріи, тотъ, по всей вѣроятности, останется навсегда, въ отношеніи къ самымъ важнымъ вопросамъ общественной жизни, поверхностнымъ теоретикомъ и неискуснымъ, хотя и заносчивымъ, регламентаторомъ. Бюрократы приобрѣли себѣ, съ этой стороны, всемірную и весьма печальную знаменитость; а въ сущности, что такое бюрократъ? Бюрократъ есть именно человѣкъ, смотрящій на физическій трудъ издали и со стороны, и наваливающій часто, по своему, очень естественному незнанію, на чужія плечи такія тяжести, которыя превышаютъ размѣры человѣческихъ силъ. Поэтому, вѣрнѣйшее средство положить конецъ дальнѣйшему размноженію бюрократовъ, которыхъ неудовлетворительность чувствуютъ въ настоящее время всѣ евро-

пейскія правительства, заключается въ томъ, что бы сдѣлать физическій трудъ необходимою составною частью общественнаго воспитанія.

Въ настоящее время, вся историческая будущность западной Европы зависитъ отъ того, какимъ образомъ разрѣшится рабочій вопросъ, то есть какимъ образомъ упрочится и обезпечится матеріальное существованіе рабочихъ населеній. Разрѣшимъ ли самъ по себѣ этотъ вопросъ или нѣтъ, объ этомъ можно высказывать разнородныя или даже противоположныя мнѣнія; но врядъ ли возможно мажѣйшее сомнѣніе на счетъ того пункта, что если этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ самъ по себѣ, то онъ разрѣшится не какими нибудь посторонними благодѣтелями и покровителями, а только самими работниками, когда въ ихъ рабочей силѣ, практической смѣтливости и трудолюбію присоединится ясное пониманіе междучеловѣческихъ отношеній и умѣнье возвышаться отъ единичныхъ наблюденій до общихъ выводовъ и широкихъ умозаключеній. Поэтому, одна изъ важнѣйшихъ задачъ настоящаго времени состоитъ въ томъ, чтобы совмѣстить въ однѣхъ и тѣхъ же личностяхъ научное развитіе и физическій трудъ, между которыми лежала до сихъ поръ широкая и непроходимая бездна. Только такіе люди, которые умѣютъ въ одно и то же время работать и мыслить, окажутся способными разрѣшить вопросъ о разумной организаціи труда, вопросъ, котораго названіе показываетъ ясно, что тутъ необходимо совокупное дѣйствіе мысли и рабочей силы. Благодаря младенческому состоянію нашей промышленности, рабочій вопросъ находится у насъ въ зародышѣ, и вѣроятно долго еще не приметъ въ русской жизни тѣхъ колоссальныхъ и грозныхъ размѣровъ, которые характеризуютъ его въ западной Европѣ; но съ нашей стороны было бы очень неосновательно думать, что эта чаша пройдетъ мимо насъ, и что наша общественная жизнь, въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, никогда не наткнется на эту мудреную задачу. Поэтому, глядя на нашихъ западныхъ сосѣдей, и вдумываясь въ ихъ поучительныя ошибки и страданія, мы должны заранѣе припасать тѣ матеріалы, которые требуются для удовлетворительнаго разрѣшенія этого неизбежнаго и неотвратимаго вопроса. Къ числу этихъ матеріаловъ должно отнести организацію прочной нравственной и умственной связи между лабораторіею ученаго специалиста и мастерскою простаго ремесленника. Сближеніе образованнаго общества съ чернымъ народомъ, то сближеніе, о которомъ такъ уморительно и безтолково разсуждали наши умолюбившіе *почвенники*, конечно необходимо, но только оно должно состоять не въ тупомъ уваженіи къ народной мудрости, которую совершенно справедливо осмѣиваетъ и отвергаетъ положительная наука, а въ разумной, полной, искренней и дѣятельной реабилитаціи физическаго труда, которому всѣ мы, на словахъ, свидѣтельствуемъ наше низжайшее почтеніе, и отъ котораго, однако, на дѣлѣ, всѣ мы

тицательно остраиваемся сами, и отстраняемъ нашихъ возлюбленныхъ дѣтей. Если только физическій трудъ будетъ, наравнѣ съ научными занятіями, вмѣненъ въ обязанность воспитанникамъ всѣхъ учебныхъ заведеній, то можно будетъ ручаться за то, что изъ этихъ заведеній будутъ выходить такіе люди, которые легко и свободно будутъ сближаться съ простымъ народомъ, и на которыхъ народъ не будетъ смотрѣть, какъ на чужихъ людей, неспособныхъ сознательно сочувствовать его интересамъ. Простой народъ всегда и вездѣ дѣлитъ все человѣчество на такихъ людей, которые работаютъ сами, и на такихъ, за которыхъ работаютъ другіе; первыхъ онъ считаетъ своими, а вторыхъ чужими. Кто упускаетъ изъ виду эту простую истину, тому нечего и мечтать о сближеніи съ народомъ. Ничто, кромѣ физическаго труда, не ведетъ къ искреннему сближенію.

ХІІІ.

Вводя физическій трудъ въ учебное заведеніе, надо, разумеется, постоянно имѣть въ виду требованія гигиены. Поэтому очевидно, что въ учебномъ заведеніи совершенно неумѣстны такіа ремесла, которыя вредятъ здоровью работника, или такіа, которыми надо заниматься сидя. Неудобными оказываются также тѣ работы, при которыхъ необходимо имѣть дѣло съ огнемъ или съ химическими кислотами. Ни булочниковъ, ни красильщиковъ, ни ткачей, ни кузнецовъ, ни слесарей, ни портныхъ, ни сапожниковъ, нельзя формировать въ учебныхъ заведеніяхъ. Я совершенно соглашаюсь съ Руссо, выбравшимъ для своего Эмиля столярное ремесло; дѣйствительно, трудно найти другую отрасль физическаго труда, которая соединяла бы въ себѣ такъ много удобствъ и преимуществъ, какъ съ гигиенической, такъ и съ педагогической точки зрѣнія. Столяръ работаетъ большею частью стоя, и дѣлаетъ руками сильныя и разнообразныя движенія, которыя могутъ служить превосходнымъ дополненіемъ гимнастики. Столяръ имѣетъ дѣло съ такимъ чистымъ матеріаломъ, который не даетъ отъ себя ни тяжелаго запаха, ни пыли, вредной для дыхательныхъ органовъ. Наконецъ, столяръ, менѣе всякаго другого ремесленника, рискуетъ одурѣть и сдѣлаться автоматомъ. Столяру приходится постоянно размѣрять и соображать, упражнять вѣрность глаза и вѣрность руки, дѣйствовать циркулемъ и наугольникомъ, словомъ, прикладывать къ практическому дѣлу истины элементарной геометріи.

Принимая въ расчетъ всѣ эти обстоятельства, я полагаю, что вос-

питанникамъ каждаго учебнаго заведенія было бы очень полезно, во всѣхъ отношеніяхъ, заниматься ежедневно, въ продолженіи трехъ или четырехъ часовъ, столярнымъ и токарнымъ ремесломъ. Мнѣ кажется, что назначенная мною сумма 1,000 рублей совершенно покрыла бы всѣ издержки, необходимыя для содержанія мастерской, покрыла бы ихъ даже въ первые два или три года, когда неопытные работники портили бы матеріалъ и инструменты въ самомъ значительномъ количествѣ. Возьмемъ самыя невыгодныя условія: положимъ, что въ зданіи гимназій нѣтъ мѣста для устройства мастерской, которая, конечно, требуетъ довольно просторнаго помѣщенія. Тогда надо будетъ нанять возлѣ гимназій особенную квартиру; положимъ на наемъ квартиры 500 рублей; за эту цѣну можно нанять комнатъ пять или шесть даже въ Петербургѣ, а въ губернскомъ городѣ можно будетъ нанять цѣлый большой домъ. На жалованье того столяра, который будетъ управлять работами гимназистовъ, положимъ 300 рублей. На порчу матеріала остается 200 рублей. Неужели гимназисты испортятъ дерева больше чѣмъ на 200 рублей? и неужели мастерская въ первый годъ не сработаетъ ни одной такой доски, ни одного такого простого ящика, которые могли бы пойти въ продажу? Правда, что обученіе тѣхъ мальчиковъ, которые отдаются на выучку къ хозяевамъ, продолжается очень долго, года по четыре и больше, но вѣдь это происходитъ не отъ того, что ремесло дѣйствительно трудно и головоломно, а отъ того, что первые годы ученія тратятся мальчикомъ обыкновенно на исполненіе разныхъ мелкихъ комиссій, которыя даютъ ему хозяинъ и подмастерья, и которыя, развивая быстроту его ногъ, въ то же время нисколько не знакомятъ его съ техническими тайнами мастерской. Такъ какъ воспитанники гимназій ни одного дня не будутъ состоять на посылкахъ, то, по всей вѣроятности, усвоеніе мастерства пойдетъ у нихъ несравненно скорѣе, такъ что на третій или на четвертый годъ своего существованія, мастерская будетъ содержаться своими собственными средствами, и управлять работами будетъ не наемный столяръ, а ремесленный комитетъ, составленный изъ опытныхъ и свѣдущихъ гимназистовъ старшихъ классовъ.

Въ гимназіяхъ, возражаетъ мнѣ читатель, учатся преимущественно приходящіе ученики, а время столярныхъ занятій будетъ назначено, по всей вѣроятности, послѣ обѣда, потому что утромъ происходитъ классное ученіе; стало быть, ученикамъ придется ходить въ гимназію по два раза въ день. Это неудобно. Особенно неудобнаго тутъ нѣтъ ничего, отвѣчу я. Послѣобѣденные классы бывали во многихъ провинціальныхъ гимназіяхъ. Пройти лишній разъ по улицѣ не велика бѣда для здоровыхъ ребятъ. А для тѣхъ, которые живутъ отъ гимназій слишкомъ далеко, можно устроить завтракъ и обѣдъ въ гимназій, за особенную плату. Ученики, почующіе дома, но пользующіеся завтракомъ и обѣдомъ въ

стѣнахъ заведенія, существуютъ въ настоящее время, и называются *полупансіонерами*. О нихъ упоминается и въ новомъ уставѣ, въ § 83.

Въ гимназіи, возражаетъ далѣе читатель, бываетъ иногда до 300 учениковъ, иногда даже того больше. Если вы всю эту ватагу поведете въ мастерскую, и отдадите подъ руководство одному мастеру, то вѣдь это выйдетъ столпотвореніе вавилонское. Что жъ онъ одинъ съ нимъ сдѣлаетъ? Тутъ нужно, по меньшей мѣрѣ, человѣкъ тридцать учителей.— И прекрасно! отвѣчу я. Если нужно тридцать учителей, то ихъ и будетъ тридцать. А понадобится шестьдесятъ, и шестьдесятъ найдемъ. Устроить это очень не трудно. Никто вамъ не говоритъ, что съ перваго же дня послѣ открытія мастерской, надо сразу напустить туда цѣлый легіонъ учениковъ, неимѣющихъ понятія о столярномъ ремеслѣ. Это было бы вѣрнѣйшее средство сразу испортить все дѣло, такъ, что потомъ трудно было бы и поправить. Сначала надо выбрать изъ всей гимназіи человѣкъ десять, и потомъ ждать, пока эти десять не выучатся на столько, чтобы быть помощниками мастера при управленіи работами. Когда эти десять будутъ готовы, тогда можно каждому изъ нихъ поручить по три ученика. Такимъ образомъ, въ мастерской окажется уже сорокъ работниковъ. Черезъ нѣсколько времени, къ этимъ сорока можно будетъ присоединить еще сорокъ, потомъ къ этимъ восьмидесяти еще восемьдесятъ, и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока вся гимназія не акклиматизируется въ мастерской. Сколько времени потребуется на акклиматизацію, этого я, разумѣется, не знаю. Это видно будетъ изъ опыта, и я могу только замѣтить, что въ этомъ дѣлѣ слѣдуетъ тщательно избѣгать излишней торопливости, которая можетъ все перепутать, даже дискредитировать въ глазахъ общества основную идею. Само собою разумѣется, что первые десять учениковъ должны быть выбраны изъ четырехъ младшихъ классовъ для того, чтобы они успѣли выучиться сами и выучить другихъ до выхода своего изъ гимназіи. Понятно также, что эти десять должны быть взяты въ мастерскую не насильно, а по собственной охотѣ, и что ихъ слѣдуетъ выбрать изъ лучшихъ учениковъ, для того, чтобы право работать въ мастерской считалось въ обществѣ воспитанниковъ за особенную честь. Всѣ эти предосторожности необходимы только въ самомъ началѣ дѣла, для того, чтобы у воспитанниковъ не возникало предубѣжденія противъ физическаго труда, какъ противъ излишняго бремени, наложеннаго на нихъ по прихоти начальства. Когда же занятія въ мастерской обратятся въ общую привычку, тогда, конечно, всякое различіе между лучшими и худшими учениками должно будетъ совершенно сгладиться. Легко можетъ быть, и даже правдоподобно, что многіе молодые люди, очень мало расположенные къ научнымъ занятіямъ, окажутся превосходными ремесленниками и найдутъ себѣ свое настоящее мѣсто за токарнымъ станкомъ или за верстакомъ столяра.

А каковы образцы будутъ устроена промышленная часть мастерской? Кто будетъ принимать заказы, продавать готовые изделия, и производить закупку матеріала? Высшій контроль по всемъ этимъ дѣламъ долженъ конечно принадлежать директору гимназій, вмѣстѣ съ инспекторомъ и педагогическимъ совѣтомъ. Контроль этотъ долженъ однако имѣть чисто-охранительное значеніе; онъ долженъ только заботиться о томъ, чтобы не было самовольной и недобросовѣстной растраты суммъ. Что же касается до чисто промышленныхъ подробностей дѣла, то онѣ должны находиться сначала въ рукахъ нанятаго столяра, а потомъ, когда этотъ столяръ окажется излишнимъ, въ рукахъ старшихъ и благонадежныхъ воспитанниковъ, достаточно ознакомившихся со всемъ механизмомъ этого дѣла. Выручаемыя деньги должны употребляться, прежде всего, на содержаніе мастерской, которая, въ послѣдствіи, по всей вѣроятности, будетъ поддерживать себя своими собственными средствами. Что же касается до чистыхъ барышей, то, разумѣется, они должны дѣлиться между работниками, по общему соглашенію, въ которое начальство совсѣмъ не должно вмѣшиваться.

Многіе изъ моихъ читателей давно уже начали улыбаться саркастическою улыбкою, и теперь, конечно, дойдя до того мѣста, гдѣ гимназисты превращаются въ промышленниковъ и дѣлятъ между собою барыши, эти насмѣшливые читатели помираютъ со смѣху, и называютъ меня наивнѣйшимъ строителемъ воздушныхъ замковъ. На эти насмѣшки и на этотъ самодовольный хохотъ я не буду отвѣчать рѣшительно ни слова. Я знаю очень хорошо, что очень многіе солидные люди видятъ воздушные замки и нежелѣзные утоніи въ каждой идеѣ, не вполне согласной съ общимъ строемъ ихъ закоренѣлыхъ привычекъ и неистребимыхъ предрасудковъ. Я знаю также, что этихъ почтенныхъ людей не проймешь логическими доказательствами, и что отъ нихъ не дождешься обстоятельныхъ возраженій. Совѣтую этимъ почтеннымъ людямъ углубиться въ благоговѣнное чтеніе «Московскихъ Вѣдомостей», а я пойду дальше, не обращая вниманія на ихъ остроумныя насмѣшки и восклицанія.

XIV.

Реформа гимназій, произведенная по вышеуказанному плану, естественнымъ образомъ влечетъ за собою столь же радикальную реформу университетовъ. Въ настоящее время нѣкоторые факультеты университетовъ замѣтно пустѣютъ, а нѣкоторые другіе наполняются студентами

вслѣдствіе чистаго недоразумѣнія, то есть, благодаря тому очень печальному обстоятельству, что большинство молодыхъ людей поступаетъ въ университетъ, не зная ни своихъ собственныхъ наклонностей, способностей и умственныхъ потребностей, ни общаго значенія тѣхъ наукъ, за изученіе которыхъ они принимаются. Къ пустѣющимъ факультетамъ относятся историко-филологическій и факультетъ восточныхъ языковъ. Около 1856 года, по историко-филологическому факультету, въ петербургскомъ университетѣ, кончилъ курсъ *одинъ* студентъ. Это фактъ вполне достовѣрный; онъ извѣстенъ всѣмъ студентамъ того времени, и я до сихъ поръ запомнилъ даже фамилію того молодого человѣка, который, въ продолженіе дѣлаго года, составлялъ своимъ особомъ весь четвертый курсъ историко-филологическаго факультета. Что этотъ единственный студентъ кончилъ курсъ *первымъ* кандидатомъ, въ этомъ мои читатели, вѣроятно, не усомнятся. На факультетѣ восточныхъ языковъ, если не ошибаюсь, число профессоровъ превышаетъ число студентовъ, не смотря на то, что этотъ факультетъ существуетъ только при двухъ университетахъ, и что, слѣдовательно, въ нихъ должны стесняться со всей Россіи всѣ молодые люди, желающіе обогатить свой умъ и развить свое эстетическое чувство изученіемъ арабской, турецкой, татарской, калмыцкой и многихъ другихъ, столь же богатыхъ и просвѣтительныхъ литературъ. Умственное тяготѣніе Россіи къ востоку съ одной стороны, и къ классической древности съ другой стороны, оказывается, очевидно, очень слабымъ, и я осмѣливаюсь думать, что оно съ каждымъ годомъ будетъ становиться все слабѣе и слабѣе, если только московскимъ публицистамъ не удастся придумать какой нибудь особенный снарядъ для искусственнаго оживленія этихъ угасающихъ симпатій.

Къ числу факультетовъ, наполняющихся по недоразумѣнію, относятся, безъ всякаго сомнѣнія, факультеты юридическій и камеральный. Оба эти факультета переполнены слушателями, и это обстоятельство показываетъ намъ особенно наглядно, до какой степени поверхностными и безсознательными остаются до настоящаго времени отношенія нашего общества къ наукѣ. Наука служитъ нашему обществу даже не доюною коровою, а просто благообразною вырѣскою, за которою скрывается въ совершенной безопасности старое непочатое невѣжество. — Юридическій факультетъ готовить, или, по крайней мѣрѣ, старается готовить чиновниковъ; камеральный факультетъ старается избѣгнуть, и дѣйствительно избѣгаетъ съ полнымъ успѣхомъ, всякой научной спеціальности и дѣльности. Первый — однимъ своимъ названіемъ пробуждаетъ въ честолюбивыхъ родительскихъ душахъ обаятельныя грезы о блестящихъ бюрократическихъ карьерахъ; второй изображаетъ собою диллетантизмъ, возведенный въ систему.

Именно въ этихъ особенностяхъ обоихъ факультетовъ заключается

вся ихъ притягательная сила. Тѣ люди, которые ко всякой наукѣ относятся такъ же отрицательно, какъ относился къ ней Фамусовъ,—въ то же время чувствуютъ самую глубокую нѣжность ко всякимъ аттестатамъ и дипломамъ, и поэтому очень желаютъ снабдить своихъ дѣтей такими документами, въ которыхъ было бы засвидѣтельствовано ихъ примѣрное прилежаніе. Какъ же это сдѣлать? Какъ приобрести благообразный документъ, не отдавая благовоспитанныхъ дѣтей на жертву скучнымъ и совершенно бесполезнымъ наукамъ? Благовоспитанное дитя должно непременно сдѣлаться кандидатомъ университета, но оно ни подѣ какимъ видомъ не должно вдаваться въ ученость. Оно рождено для того, чтобы блистать въ свѣтѣ, и купаться въ сливкахъ высшаго общества. Если оно измѣнитъ своему назначенію, если оно вздумаетъ погрузиться въ книжную пыль и запереться въ своемъ кабинетѣ, то его осмѣютъ его блестящіе сверстники. и тогда сердца его родителей будутъ непрестанно обливаться кровью. Какъ же устроить дѣло такъ, чтобы благовоспитанное дитя имѣло при себѣ кандидатскій дипломъ, и чтобы оно, въ то же время, не утратило охоты и способности блистать наравнѣ съ своими сверстниками? — Надо помѣстить благовоспитанное дитя на юридическій или камеральный факультетъ. Тамъ оно навѣрное ни къ какой наукѣ не пристрастится, и тамъ оно приобрететъ себѣ желанный дипломъ посредствомъ усерднаго зубренія профессорскихъ записокъ во время приготовленія къ переходнымъ и къ выпускному экзаменамъ. Если благовоспитанное дитя не принадлежитъ къ разряду безнадѣжныхъ идіотовъ или самыхъ отчаянныхъ лѣнтяевъ, то, конечно, оно завоевываетъ себѣ кандидатскій дипломъ, и отправляется, куда слѣдуетъ, служить и блистать.

Но тутъ возникаетъ вопросъ: зачѣмъ это дитя появлялось въ университетѣ? На этотъ вопросъ приходится отвѣчать, что дитя было жертвою смѣшного и печальнаго недоразумѣнія, вслѣдствіе котораго люди, глубоко презирающіе науку, съ наивною жадностью хватаются за ея внѣшніе знаки и атрибуты. Много лѣтъ тому назадъ, правительство, желая пріохотить нашихъ соотечественниковъ къ высшему образованію, представило по службѣ нѣкоторыя права и преимущества кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ университетовъ. Распоряженіе это, очевидно клонившееся къ тому, чтобы обогатить Россію развитыми и мыслящими людьми, послужило поводомъ къ громадному недоразумѣнію, которое не прекратилось до настоящей минуты. Наши университеты наполнились искателями правъ и преимуществъ, совершенно равнодушными къ знанію и способными только сдавать экзамены; наши присутственныя мѣста наполнились счастливыми обладателями дипломовъ, не усвоившими себѣ въ университетѣ ни практической опытности, ни теоретическаго развитія, ни даже твердыхъ нравственныхъ убѣжденій; а между тѣмъ наше

общество, въ лицѣ самыхъ вліятельныхъ своихъ представителей, смотрѣло съ умилениемъ на этихъ патентованныхъ недорослей, и ласкало себя тою увѣренностью, что, чѣмъ больше оно наплодитъ такихъ кандидатовъ и дѣйствительныхъ студентовъ, тѣмъ сильнѣе и успѣшнѣе разовьется оно въ себѣ самое блестящее образование. Для огромнаго большинства нашихъ учащихся юношей, четырехлѣтнее пребываніе въ университетѣ превратилось въ обрядъ, который заканчивался получениемъ диплома, и потомъ дѣйствовалъ на всю дальнѣйшую жизнь бывшаго студента именно только посредствомъ правъ и преимуществъ, связанныхъ съ дипломомъ, а никакъ не посредствомъ какихъ нибудь руководящихъ идей, воспринятыхъ въ университетѣ, и развивающихся въ житейской практикѣ. Такъ какъ вся сила образованія заключается, по мнѣнію нашего общества, въ дипломѣ, а не въ идеяхъ, и такъ какъ всѣ факультеты университета даютъ своимъ слушателямъ равносильные дипломы, то, разумѣется, наше общество, неспособное и не желающее обсуживать образовательное значеніе различныхъ наукъ, предпочитаетъ юридическій факультетъ, какъ преддверіе гражданской службы, и камеральный, какъ разсадникъ милыхъ свѣтскихъ юношей, не углубляющихся ни во что, но имѣющихъ легкое понятіе обо всемъ.

Если бы сегодня были отмѣнены права и преимущества, предоставленные кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ, то на завтрашній же день число слушателей во всѣхъ нашихъ университетахъ убавилось бы, по крайней мѣрѣ, на половину, и почти всѣ наши юристы и камералисты переселились бы изъ университетскихъ аудиторій въ различныя канцеляріи, или же преобразились бы въ кавалерійскихъ и пѣхотныхъ юнкеровъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣли бы почти совершенно, между тѣмъ, какъ на остальные факультеты отмѣненіе правъ и преимуществъ не произвело бы никакого замѣтнаго вліянія.

Почему обнаружилось бы между факультетами такое рѣзкое различіе — понять не трудно. Кто хочетъ сдѣлаться учителемъ математики — тотъ *дѣйствительно* нуждается въ математическихъ знаніяхъ. Кто хочетъ сдѣлаться натуралистомъ тотъ *дѣйствительно* нуждается въ основательныхъ свѣдѣніяхъ по различнымъ отраслямъ естествознанія. Кто хочетъ сдѣлаться медикомъ — тому *дѣйствительно* необходимы профессорскія лекціи, анатомическій театръ и клиника. Для всѣхъ этихъ людей знанія составляютъ въ жизни рабочій инструментъ, и за этимъ рабочимъ инструментомъ они и отправляются въ университетъ. Въмѣстѣ съ инструментомъ имъ даютъ въ университетѣ дипломъ; они берутъ и дипломъ, потому что, во первыхъ, нѣтъ причины не брать, а во вторыхъ, нѣтъ возможности отказаться, если бы даже и явилась подобная фантазія. Но если выдача дипломовъ прекратится, то притокъ людей, идущихъ въ университетъ за рабочимъ инструментомъ нисколько не осла-

бъетъ, именно потому, что эти люди добываютъ себѣ въ университетѣ не дипломъ, а рабочий инструментъ, который, очевидно, будетъ выдаваться имъ по прежнему.

У юристовъ и камералистовъ, напротивъ того, вопросъ ставится совершенно иначе. Кто хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, тотъ *дѣйствительно* нуждается только въ знаніи русскаго языка, въ умѣннн обращаться за справками къ своду законовъ, и въ служебномъ навыкѣ. Русскій языкъ изучается въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а практическое знакомство съ сводомъ законовъ и съ служебною процедурою приобрѣтается на самой службѣ, по французской пословицѣ *à force de forger on devient forgeron*. Въ университетѣ не имѣется такого рабочаго инструмента, который былъ бы приложимъ къ канцелярской служебной дѣятельности, и поэтому теперешніе юристы и камералисты, послѣ отмѣненія правъ и преимуществъ, сообразяють немедленно, что имъ гораздо выгоднѣе употребить на усвоеніе служебнаго навыка тѣ четыре года, которые, въ университетскихъ аудиторіяхъ, потрагнлись бы на философію права и на поучительный анализъ различныхъ юридическихъ фикцій, не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ скромнымъ обязанностямъ столоначальника и его помощниковъ.

Думаете ли вы, читатель, что русская наука и русская жизнь потеряли бы что нибудь вслѣдствіе этого основательнаго размышленія нашихъ юристовъ и камералистовъ? Если вы это думаете, то вамъ не мѣшало бы въ этомъ разувѣриться. Значительная убыль въ общемъ числѣ русскнхъ студентовъ и совершенное упраздненіе двухъ, самыхъ многочисленныхъ факультетовъ — разсѣяли бы только тотъ долговременный оптический обманъ, который до сихъ поръ скрываетъ отъ нашихъ добродушныхъ оптимистовъ нашу крайнюю умственную нищету. На самомъ же дѣлѣ не произошло бы ни малѣйшей переменны къ худшему. Кто работаетъ, тотъ продолжалъ бы работать по прежнему, а кто джентльменствуетъ, тотъ по прежнему продолжалъ бы джентльменствовать, только безъ университетскаго диплома. Васъ, читатель мой, конечно сокрушаетъ то обстоятельство, что тогда значительно убавилось бы число чиновниковъ, получившихъ университетское образованіе. Это обстоятельство не престанетъ сокрушать васъ, какъ только вы убѣдитесь въ томъ, что вы до сихъ поръ любовались призраками и удовлетворялись милыми, но пустыми звуками. Вы привыкли давать общее имя университетскаго образованія семи совершенно различнымъ системамъ образованія, которыя никакъ не могутъ взаимно уравнивать другъ друга. Одинъ студентъ занимается дифференціальнымъ исчисленіемъ и астрономіею, другой — зоологіею и ботаникою, третій хирургіею и терапіею, четвертый — славянскими древностями и трагедіями Софокла, пятый — калмыцкою грамматикою и стихотвореніями Гафиза или Фирдуси, шестой — Русскою Прав-

дою и пандектами Юстиніана; седьмой хватаетъ всего по немногу, то есть, слушаетъ однѣ лекціи съ юристами, другіа — съ натуралистами, третьи — съ филологами. Пока эти семь человѣкъ носятъ одинаковой формы сюртукъ съ свѣтлыми пуговицами и съ синимъ воротникомъ, до тѣхъ поръ вы всѣхъ ихъ называете студентами. Потомъ, когда они показываютъ вамъ большой пергаментный листъ съ большею печатью, вы всѣхъ ихъ называете кандидатами (впрочемъ, нѣтъ, одного изъ нихъ вы называете лекаремъ). Въ томъ и въ другомъ случаѣ, всѣ они въ вашихъ глазахъ совершенно равны между собою; одинаково-синіе воротники и одинаково-величественные дипломы сглаживаютъ между ними всякое различіе; оказывается такимъ образомъ, что калмыцкая грамматика и дифференціальное исчисленіе, пандекты Юстиніана и зоологія, *всею понемножку* и медицина въ вашихъ глазахъ совершенно уравниваются другъ друга.

Не трудно понять однако, что образовательное вліяніе этихъ предметовъ вовсе не одинаково, — что мыслительныя способности семи разсматриваемыхъ субъектовъ развернутся далеко неравномѣрно, и что ихъ міросозерцанія окажутся совершенно не сходными. Если вы это понимаете, то потрудитесь объяснить мнѣ, которое изъ данныхъ семи образованій вы предпочитаете всѣмъ остальнымъ? Если же вы этого не понимаете, и если всѣ семь различныхъ образованій сливаются для васъ въ одну неопредѣленную массу, къ которой вы питаете безотчетную нѣжность, то позвольте мнѣ объяснить вамъ, что васъ прельщаютъ просто непонятныя для васъ слова «образованіе» и «университетъ,» и что, если бы при университетѣ былъ учрежденъ завтра какой нибудь восьмой факультетъ, напримѣръ, геральдическій, — для изученія гербовъ, то вы и на этотъ восьмой факультетъ распространили бы вашу всеобъемлющую и расплывающуюся нѣжность. Когда вы вдумаетесь въ это обстоятельство, то вы, вѣроятно, согласитесь сами, что, при теоретическомъ обсужденіи серьезнаго дѣла, на вашу бессознательную нѣжность къ пѣвнтельнымъ словамъ не стоитъ обращать ни малѣйшаго вниманія. Если чиновники наши не будутъ знакомы съ пандектами Юстиніана и съ философіею права Гегеля, то они отъ этого нисколько не сдѣлаются хуже теперешняго. Общество же наше останется тогда въ числѣ выигрышѣ, потому что оно яснѣе теперешняго будетъ понимать свои собственныя отношенія къ наукѣ, и не будетъ называть наукою безплодную и мертвую юридическую метафизику, которую завѣщали намъ римляне и средневѣковые схоластики вмѣстѣ со многими другими, столь же драгоценными сокровищами.

XV.

Чтобы опредѣлить тѣ основанія, на которыхъ должны быть перестроены за-ново наши университеты, надо, прежде всего, отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ: что такое общее образование, на что оно нужно, чѣмъ оно полезно, въ чемъ должно состоять его вліяніе на жизнь и дѣятельность образованнаго человѣка. Мнѣ кажется, что общее образование есть скрѣпленіе и осмысленіе той естественной связи, которая существуетъ между отдѣльною личностью и человѣчествомъ. Общее образование выводитъ васъ изъ тѣснаго круга вашихъ непосредственныхъ личныхъ интересовъ, разъясняетъ вамъ ваши отношенія къ окружающей природѣ, описываетъ вамъ то мѣсто, которое вы, какъ человѣкъ, занимаете въ ряду другихъ органическихъ существъ, — характеризуетъ вамъ потребности и стремленія того народа, среди котораго вы родились и опредѣляетъ вамъ значеніе и направленіе тѣхъ историческихъ силъ и культурныхъ элементовъ, которые накладываютъ свою печать на вашу жизнь, личность и дѣятельность. Давая вамъ возможность интересоваться тѣми вопросами науки и жизни, которые занимаютъ лучшихъ и умнѣйшихъ людей вашего времени, общее образование обогащаетъ ваше существованіе такими тревогами и наслажденіями, которыя совершенно непонятны и недоступны вашимъ необразованнымъ современникамъ и соотечественникамъ. Польза общаго образования и его живительное вліяніе на отдѣльную личность заключаются именно въ этихъ тревогахъ и наслажденіяхъ, въ которыхъ выражается способность понимать все, и сочувствовать всему, что въ данную минуту волнуетъ и радуетъ весь образованный міръ. Слѣдя съ напряженнымъ вниманіемъ за общими интересами современнаго человѣчества, подмѣчая и обсуживая каждую новую побѣду разума надъ инерціею природы и надъ рутинною тупыхъ и близорукихъ людей, стараясь, по мѣрѣ силъ, упрочить и расширить вліяніе этой побѣды въ вашемъ собственномъ кругу, — вы постоянно вносите въ вашу личную жизнь все величіе и всю чистоту тѣхъ непобѣдимыхъ и неистребимыхъ идей, за воплощеніе и осуществленіе которыхъ борются, страдаютъ и умираютъ лучшие изъ вашихъ современниковъ.

Привязывая такимъ образомъ, по выраженію Некрасова, вашу лодку къ кормѣ большого корабля, вы навсегда застраховываете себя отъ нравственнаго измелченія и опошленія; умѣя понимать и любить все, что подвигаетъ впередъ дѣло человѣческаго благосостоянія и умствен-

наго совершенствованія, умѣя направлять свои мысли и симпатіи въ такія земли, гдѣ вы никогда не бывали, и даже въ такую даль будущаго, до которой вы не доживете, — вы развиваете въ себѣ способность смотрѣть со стороны, или такъ, сказать, à vol d'oiseau, на тѣ мелкія препятствія, неудачи, утраты и непріятности, изъ которыхъ обыкновенно складывается наша всѣдневная жизнь, и которыя ежеминутно заставляютъ неразвитыхъ людей охать, плакать, рвать на себѣ волосы, и выражать разными другими, столь же плоскими манерами, крайнюю растрепанность своихъ чувствъ. Вы счастливы и спокойны въ то самое время, когда ваши знакомые считаютъ своимъ долгомъ сожалѣть о васъ, какъ о несчастнѣйшемъ страдальцѣ. Вы счастливы и спокойны, потому что видите, что *большой корабль* величественно и ровно подвигается впередъ, и что ваша маленькая лодка, привязанная къ нему крѣпкимъ канатомъ, легко и свободно слѣдуетъ за всѣми его движеніями. Чистая красота и постоянно возрастающее богатство вашего умственнаго міра съ избыткомъ вознаграждаетъ васъ за тѣ внѣшнія неудобства, которыя, на гиперболическомъ языкѣ вашихъ знакомыхъ, называются огорченіями, несчастіями и страданіями. Впрочемъ, наслаждаясь гармоніею вашего умственнаго міра, въ которомъ находятъ себѣ отзвѣтъ всѣ великіе интересы современной дѣйствительности, вы, вслѣдствіе этого, нисколько не теряете способности устроить основательно и благоразумно ваши собственные личныя или семейныя дѣла. Напротивъ того, умѣя смотрѣть à vol d'oiseau на неизбежныя житейскія передрыгья, вы, именно вслѣдствіе этого умѣнья, сохраняете полное хладнокровіе и совершенное присутствіе духа, которыя и помогаютъ вамъ выпутаться изъ этихъ передрыгъ быстро, дешево и успѣшно, между тѣмъ какъ другіе люди, называвшіе васъ мечтателями, и считавшіе самихъ себя за образцовыхъ практиковъ, въ такихъ же точно передрыгяхъ унываютъ, теряются, запутываются и доводятъ себя, со всею своею практичностью, до безвыходнаго положенія.

И такъ общее образованіе даетъ всей жизни человѣка извѣстный колоритъ, извѣстный смыслъ и извѣстное направленіе; оно проникаетъ собою весь складъ его ума и глубоко видоизмѣняетъ собою весь его характеръ и образъ мыслей. Общее и спеціальное образованіе взаимно дополняютъ другъ друга: спеціальное даетъ человѣку въ руки рабочій инструментъ, а общее образованіе заставляетъ человѣка пристроить свою рабочую силу такъ, чтобы она содѣйствовала общему движенію *большого корабля*. Чтобы удовлетворительнымъ образомъ исполнить свое названіе, общее образованіе очевидно должно снабдить человѣка такими знаніями, которыя позволяли бы ему понимать труды и тенденціи передовыхъ мыслителей и дѣятелей данной эпохи. Такъ какъ смыслъ этихъ трудовъ и тенденцій въ различныя историческія эпохи бываетъ

различный, то не трудно понять, что и общее образование должно постоянно видоизмѣняться вмѣстѣ съ потребностями и обстоятельствами даннаго времени. Такъ, напримѣръ, въ XVI столѣтіи общее образование должно было заключаться преимущественно въ тщательномъ изученіи латинскаго и греческаго языковъ, потому что въ это время философія и поэзія языческой древности производили полный переворотъ въ идеяхъ и въ чувствахъ образованныхъ европейцевъ. Безъ древнихъ языковъ въ то время не было возможности привязать *лодку* отдѣльной личности къ *большому кораблю* мыслящаго человѣчества. Въ настоящее время вопросъ ставится иначе. Умственное движеніе нашей эпохи совершается, конечно, не въ области классической филологіи. Въ эту опустѣвшую область стараются затянуть насильно наше юношество именно тѣ достойные публицисты, которые систематически поворачиваются спиною къ умственному движенію нашего времени. Всѣ великія открытія, всѣ одушевленные споры и разсужденія нашего времени относятся или къ области естествознанія или къ различнымъ отдѣламъ создающейся социальной науки. Поэтому, въ наше время, естествознаніе составляетъ настоящій центръ общаго образованія. Кто знаетъ естественныя науки, тотъ знаетъ все, что долженъ знать современно-образованный человѣкъ, тѣмъ болѣе, что естественныя науки даютъ человѣку то подготовленіе, при помощи котораго онъ, уже безъ руководителя, можетъ слѣдить, въ теченіе всей своей жизни, за развитіемъ и разработкою различныхъ социальныхъ вопросовъ.

Основаніе изученію природы было положено въ гимназіяхъ, посредствомъ тѣхъ усиленныхъ математическихъ занятій, которыя составляютъ существенный смыслъ этой программы. Университетъ, очевидно, долженъ строить дальше на томъ фундаментѣ, который заложенъ гимназіею. Университетъ долженъ давать *высшее общее* образованіе, и поэтому раздѣленіе на факультеты совершенно бесполезно. Общее образованіе въ каждую данную эпоху, можетъ быть только *одно*; дробить его на части не слѣдуетъ и невозможно; а соединять въ одномъ заведеніи общее образованіе и нѣсколько специальныхъ значить сбивать съ толку такое общество, которое и безъ того не отличается своею толковостью.

Уничтоженіе факультетовъ, конечно, кажется читателю чрезвычайно радикальною и даже дерзкою мыслью; но есть основаніе думать, что это уничтоженіе совершится естественнымъ образомъ. Факультеты историко-филологическій и восточный, по всей вѣроятности, скончаются естественною смертію, не дожидаясь даже отмѣненія правъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣютъ немедленно, какъ только дипломы потеряютъ свою магическую силу; даже гласное судоустройство не удержитъ студентовъ на этихъ факультетахъ, если только университетскій дипломъ не сдѣлается необходимымъ *формальнымъ* условіемъ для каж-

даго практикующаго адвоката. Если можно будетъ заниматься адвокатурою безъ университетскаго диплома, то молодые люди, желающіе сдѣлаться адвокатами, будутъ поступать на нѣсколько времени въ ученики къ опытнымъ практикамъ, такъ точно, какъ это дѣлается въ Англіи.

Такимъ образомъ, въ университетѣ останутся математики, натуралисты и медики. Каждый медицинскій факультетъ, какъ чисто-спеціальное училище, можетъ съ величайшимъ удобствомъ отдѣлиться отъ университета и превратиться въ медицинскую академію. Затѣмъ останутся только математики и натуралисты, то есть, два отдѣленія одного физико-математическаго факультета. Такъ какъ преподаваніе математики въ гимназіяхъ по моему плану значительно усилено, то въ гимназіяхъ будутъ проходить многія изъ тѣхъ частей чистой математики, которыя теперь читаются въ университетѣ. Аналитическую геометрію можно будетъ цѣликомъ перенести въ гимназію. Что касается до дифференціального и интегральнаго исчисленія, то его, разумѣется, надо будетъ оставить въ университетѣ, если оно окажется слишкомъ мудренымъ для шестнадцати и семнадцатилѣтнихъ гимназистовъ. — Два оставшіеся факультета, математическій и естественный, сольются въ одинъ факультетъ, пожертвовавши, при этомъ сліяніи, тѣми отдѣльными науками, въ которыхъ, въ настоящее время, выражается ихъ спеціализмъ. Послѣ этого сліянія, университетскій курсъ расположится по слѣдующему плану, вполне соответствующему тѣмъ требованіямъ, которымъ, въ настоящее время, должно удовлетворять общее образованіе.

I курсъ.

- 1) Дифференціальное и интегральное исчисленіе.
- 2) Теоретическая механика.
- 3) Астрономія.

II курсъ.

- 1) Высшая физика.
- 2) Неорганическая химія.
- 3) Органическая химія.

III курсъ.

- 1) Сравнительная анатомія растений и животныхъ.
- 2) Сравнительная фізіологія растений и животныхъ.
- 3) Гигіена.

IV курсъ.

- 1) Геологія.
- 2) Географія.
- 3) Исторія.

XVI.

Въ предлагаемой программѣ я прошу читателя обратить вниманіе на два обстоятельства; во-первыхъ, на то, что науки расположены въ ней сообразно съ ихъ возрастающею сложностью, и во-вторыхъ, что вниманіе студентовъ въ теченіи каждаго курса будетъ постоянно сосредоточиваться на очень незначительномъ количествѣ наукъ, которыя, вслѣдствіе этого, конечно будутъ изучаться основательнѣе, чѣмъ онѣ изучаются теперь,—затѣмъ я сдѣлаю еще нѣсколько частныхъ примѣчаній и поясненій къ этой программѣ.

Высшею физикою я называю тѣ части этой науки, которыя не были пройдены въ гимназій, или были пройдены слегка и поверхностно, по недостатку времени; или же вслѣдствіе того, что воспитанники не были еще знакомы съ нѣкоторыми частями высшей математики. Читатель, вѣроятно удивится тому, что въ моей программѣ совѣмъ нѣтъ зоологіи и ботаники. Я полагаю, что сравнительная анатомія и сравнительная физиологія совершенно достаточно ознакомляетъ студентовъ съ устройствомъ и съ отправленіями растительныхъ и животныхъ организмовъ, а также и съ главными видоизмѣненіями, которымъ подвергаются это устройство и эти отправленія на различныхъ ступеняхъ органической лѣстницы. При этомъ, разумѣется, студенты узнаютъ также основныя черты зоологической и ботанической классификаціи; что же касается до мелкихъ подробностей этой классификаціи, то, во-первыхъ, онѣ важны и интересны только для записныхъ натуралистовъ, а во-вторыхъ, изученіе теперешней классификаціи, по всей вѣроятности, окажется скоро напрасною тратою времени, потому что идеи Дарвина навѣрное произведутъ въ ней очень глубокія измѣненія. Основательное изученіе гігіены я считаю необходимымъ, во-первыхъ, для всенедней жизни, гдѣ польза этой науки не можетъ подлежать сомнѣнію, и во-вторыхъ, для яснаго пониманія многихъ социальныхъ вопросовъ, въ которыхъ гігіеническая точка зрѣнія съ каждымъ годомъ становится болѣе важною и неизбѣжною. Вопросы о школахъ, о тюрьмахъ, о фабрикахъ, о народномъ продовольствіи, о рабочей платѣ, о числѣ рабочихъ часовъ, о народныхъ увеселеніяхъ и предрасудкахъ только тогда выступаютъ передъ нашими глазами во всей громадности своего общественнаго значенія, когда мы умѣемъ всматриваться и вдумываться въ ихъ гігіеническую сторону. Исторія, по моему мнѣнію, должна преподаваться студентамъ, уже совершенно сзрѣвшимъ въ умственномъ отношеніи, и основательно ознакомившимся

съ общимъ строемъ физическихъ, химическихъ и физиологическихъ законовъ природы. Исторія человѣчества должна преподаваться въ ближайшей и тѣснѣйшей связи съ геологіею, т. е., съ исторіею нашей планеты, и съ географіею, т. е., съ описаніемъ той сцены и тѣхъ разнообразныхъ вліяній, среди которыхъ развѣртывается физическая и умственная жизнь человѣческихъ обществъ. Цѣль преподаванія исторіи должна заключаться въ томъ, чтобы объяснить всю цѣпь извѣстныхъ намъ событій и переворотовъ коренными свойствами человѣческаго организма, подвергающагося разнообразнымъ вліяніямъ окружающей природы. Вниманіе профессора должно сосредоточиваться преимущественно на преимуществахъ различныхъ формъ народнаго труда, на колебаніяхъ народнаго богатства, и на филиаціи тѣхъ идей и учреждений, которыя накладывали на экономическій бытъ народа печать своего полезнаго или вреднаго вліянія. Не знаю, много-ли найдется профессоровъ, способныхъ читать исторію по такой непривычной программѣ, но знаю навѣрное, что молодые люди, прошедшіе черезъ ту строгую школу положительной науки, которой планъ представленъ въ этой статьѣ,—ни за что не станутъ слушать тѣхъ пріятныхъ рассказчиковъ, которые, получивши легкое литературное образованіе, по своему трогательному простодушію, считаютъ себя, въ настоящее время, замѣчательными профессорами исторіи.

Конечно, было бы желательно, чтобы то общее образованіе, котораго программу я здѣсь предлагаю, усвоивалось предварительно всѣми молодыми людьми, посвящающими себя той или другой спеціальной дѣятельности. Говоря другими словами, было бы желательно, чтобы молодые люди принимались за ученіе спеціальности не раньше, какъ послѣ выхода изъ университета, перестроеннаго на вышеизложенныхъ основаніяхъ. Но, разумѣется, желаніе это, въ полномъ своемъ объемѣ, такъ же неосуществимо, какъ другое еще болѣе смѣлое и завѣтное желаніе, чтобы общее образованіе, построенное на строго реальныхъ основахъ, сдѣлалось достояніемъ всей народной массы, безъ различія пола и состоянія. Многіе молодые люди, имѣющіе возможность дотянуть до конца гимназическій курсъ, не имѣютъ возможности поступить въ университетъ, т. е., еще на четыре года отложить свое превращеніе въ экономическихъ производителей. Надо заботиться о насущномъ пропитаніи, надо поскорѣе приниматься за хлѣбное ремесло: та же самая причина, которая, въ бѣднѣйшихъ классахъ, отрываетъ шести-лѣтняго ребенка отъ азбуки, мѣшаетъ, въ среднемъ сословіи, пятнадцати-лѣтнимъ юношамъ изучать физику или астрономію. Многимъ молодымъ людямъ придется, конечно, поступать въ спеціальныя училища или приниматься за практическую дѣятельность до окончанія полного университетскаго курса. Въ этихъ случаяхъ, которые, конечно, будутъ очень многочисленны, молодымъ лю-

дѣлать надо будетъ оставаться въ обще-образовательныхъ училищахъ до тѣхъ поръ, пока они не усвоятъ себѣ всѣхъ знаній, находящихся въ связи съ ихъ специальностью.

Рядъ примѣровъ тотчасъ пояснить исполнѣ эту послѣднюю мысль. Представьте себѣ, что въ гимназiи учатся нѣсколько юношей, которымъ домашнiя обстоятельства не позволяютъ истратить одиннадцать лѣтъ (семь въ гимназiи и четыре въ университетѣ) на общее образование. Одинъ изъ этихъ юношей хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, другой — армейскимъ офицеромъ, третiй — морикомъ, четвертый — машинистомъ, пятый — сахароваромъ, шестой — агрономомъ, седьмой — медикомъ, восьмой — профессоромъ какой нибудь отрасли естествознанiя. Будущiй чиновникъ и будущiй офицеръ могутъ опредѣляться на службу тотчасъ по выходѣ изъ гимназiи; они даже *должны* поступить такимъ образомъ, если имѣютъ въ виду исключительно экономiю времени. Во всемъ университетскомъ курсѣ они не найдутъ ни одного предмета, который бы имѣлъ прямое отношенiе къ ихъ будущимъ практическимъ занятiямъ. Собственно говоря, они могли бы даже безъ ущерба для своей практической дѣятельности, выйдти изъ питаго класса гимназiи, усвоивши себѣ, въ первыхъ пяти классахъ, основательное знанiе отечественнаго языка, и развивши свои умственныя способности математическими упражненiями на столько, что имъ уже не придется стать въ тупикъ надъ нехитрыми логическими соображенiями, которыхъ потребуетъ отъ нихъ ихъ будущая практическая дѣятельность. Напротивъ того, третiй гимназистъ, готовящiй себя въ моряки, поступитъ неразсчитливо, если сойдетъ съ обще-образовательной дороги тотчасъ послѣ окончанiя гимназическаго курса. Моряку понадобятся и астрономiя, и дифференциалы, и механика. Значить, ему слѣдуетъ прослушать первый курсъ университета, и потомъ свернуть въ сторону, въ специальное училище. Будущiй машинистъ долженъ поступить точно также. И также точно должны будутъ поступить будущiй архитекторъ, будущiй военный инженеръ, будущiй кораблестроитель. Но сахаровару слѣдуетъ идти дальше, прослушать полный курсъ химiи, и потомъ уже свернуть на специальную тропинку. Точно также слѣдуетъ поступить тому юношѣ, который хочетъ сдѣлаться горнымъ инженеромъ, или литейщикомъ, или винокуромъ. Медику и агроному слѣдуетъ прослушать еще и третiй курсъ. Наконецъ, будущему профессору какой-бы то ни было науки необходимо пройти весь университетскiй курсъ до конца, и уже потомъ, бросивъ такимъ образомъ общiй взглядъ на все поле реальнаго знанiя, исполнѣ сознательно отмежевать себѣ въ этомъ полѣ отдѣльный участокъ, никогда не упуская при этомъ совершенно изъ виду всѣхъ остальныхъ участковъ, на которыхъ трудятся другiе специалисты.

Такимъ образомъ, вся совокупность общаго и специального образо-

ванія представляется намъ въ видѣ большой дороги, отъ которой уходятъ, съ различныхъ пунктовъ въ разныя стороны, многія мелкія тропинки. Каждый юный путникъ идетъ сначала по большой дорогѣ, идетъ по ней до тѣхъ поръ, пока позволяютъ обстоятельства, потомъ проголодавшись, свертываетъ на одну изъ боковыхъ тропинокъ, которая всѣ ведутъ къ какому нибудь хлѣбному ремеслу. Эта система сворачиваній съ одной общей дороги имѣетъ два важныя преимущества сравнительно съ тою системою, при которой различныя спеціальныя образованія представляются въ видѣ многихъ самостоятельныхъ, параллельныхъ дорогъ, неимѣющихъ никакого правильнаго сообщенія съ главною, столбовою дорогою общаго образованія. Первое преимущество состоитъ въ томъ, что педагогическое дѣло страны не дробится на множество замкнутыхъ и независимыхъ другъ отъ друга операций. Между всѣми частями педагогическаго цѣлаго существуетъ живое сообщеніе и неизбежное взаимное вліяніе. Когда всѣ мелкіе спеціальныя каналы почерпаютъ все свое содержаніе изъ одного общаго большого русла, и когда они такимъ образомъ получаютъ матеріалъ, испытавшій уже значительную переработку и окрѣпшій въ этой переработкѣ, тогда, конечно, всѣ они принуждены въ своей дальнѣйшей образовательной дѣятельности подчиняться тѣмъ руководящимъ идеямъ, которыя господствуютъ въ главномъ руслѣ. А такъ какъ въ главномъ руслѣ, по самому его устройству, будетъ господствовать чистѣйшій реализмъ, безъ всякой посторонней примѣси, то этотъ же самый безукоризненный реализмъ разольется также и по всѣмъ развѣтвленіямъ мелкихъ каналовъ. Второе важное преимущество моей системы состоитъ въ томъ, что она позволяетъ молодымъ людямъ выбирать себѣ спеціальность довольно поздно, по крайней мѣрѣ, гораздо позднѣе, чѣмъ того требуетъ отъ нихъ господствующая система. Это преимущество обуславливается, во-первыхъ, строгимъ отдѣленіемъ общеобразовательныхъ наукъ отъ спеціальныхъ, и во-вторыхъ, строгимъ дѣловымъ характеромъ того общаго образованія, которое я рекомендую.

Курсъ спеціальныхъ училищъ долженъ ограничиваться чисто-прикладными науками, такъ чтобы молодому человѣку приходилось дѣлать рѣшительный шагъ, то есть, поступать въ спеціальное училище, именно въ ту минуту, когда онъ, по своимъ общимъ знаніямъ и по своему умственному развитію, способенъ прямо приниматься за изученіе избраннаго ремесла. Но, разумѣется, это откладываніе рѣшительнаго шага до послѣдней минуты можетъ производиться безъ вредной потери времени только при такомъ общемъ образованіи, которое знакомитъ юношу съ настоящими науками, необходимыми на всякомъ дѣловомъ поприщѣ, а не съ какими нибудь пріятными бездѣлушками, вродѣ рассказовъ о царѣ Горохѣ, поэмъ Гомера и Виргилія, и анекдотовъ о смысленности животныхъ. А почему именно молодымъ людямъ полезно дѣлать рѣшительный

шагъ какъ можно позднѣе — это, я думаю, очень понятно. Чтобы человекъ былъ хорошимъ работникомъ, ему необходимо любить свое ремесло; а любимъ мы только то, что соответствуетъ нашимъ способностямъ и наклонностямъ; а способности и наклонности наши выясняются постепенно по мѣрѣ того, какъ растутъ и крѣпнеть вся наша личность. Кто выбираетъ себѣ ремесло тогда, когда способности и наклонности его еще не обозначились, тотъ дѣйствуетъ на авось, и, слѣдовательно, рискуетъ ошибиться. Когда ошибка становится понятною самому субъекту, тогда начинается для него пора мучительнаго раздумья, сомнѣній и колебаній; потомъ, въ лучшемъ случаѣ, происходитъ торопливое перепрыгиваніе на какую нибудь другую специальность, которую, быть можетъ, придется перемѣнить на третью, а въ худшемъ случаѣ являются безплодные усилія помириться съ ненавистнымъ ремесломъ, сознаніе невозможности этого примиренія, и позорная рѣшимость тянуть лямку кое-какъ, и работать спустя рукава. Все это, какъ видите, очень убыточно, какъ для отдѣльной личности, такъ и для цѣлаго общества: тратится время, тратятся молодыя силы, и въ результатъ получаютъ или плохіе работники или разочарованные тунеядцы, вроде Гамлета щигровскаго уѣзда. При позднемъ выборѣ специальности, шансы ошибиться въ значительной степени ослабѣваютъ, и, вслѣдствіе этого, всѣ неудобства, вытекающія изъ ошибки, должны сдѣлаться гораздо рѣже. Всѣмъ извѣстно, что, въ былое время, у насъ готовили воиновъ, дипломатовъ, юристовъ, моряковъ, и такъ далѣе, чуть ли не съ восьмилѣтняго возраста; всѣмъ извѣстно также, что теперь правительство старается противудѣйствовать этому преждевременному втискиванію человеческой личности въ специальную форму; желательно было бы, чтобы въ этомъ послѣднемъ, противудѣйствующемъ направленіи, мы подвигались впередъ гораздо быстрѣе и рѣшительнѣе.

XVII.

— Къ чему вы написали всю эту статью? спрашиваетъ меня читатель. Неужели вы думаете, что вашу программу примутъ и осуществлять? Нѣтъ читатель. Ни одной минуты не потратилъ я на такія несбыточные мечтанія. Мнѣ хотѣлось только представить ясно и осязательно до послѣдней степени тотъ воспитательный идеалъ, во имя котораго мы относимся отрицательно къ нашей педагогической дѣйствительности. Ясность и осязательность доведены, какъ видите, до такихъ размѣровъ, что статья украсилась выкладками, цифрами и таблицами. Если выкинуть

изъ статьи объяснительныя разсужденія, и если разбить ее на параграфы, то изъ нея выйдетъ дѣловой проектъ, совершенно исполненный во всѣхъ своихъ частяхъ и подробностяхъ. Послѣ этого, я полагаю, нашимъ литературнымъ противникамъ трудно будетъ обвинять насъ въ томъ, что мы отрицаемъ для процесса отрицанія, и что мы не сьумѣли бы ничего построить на томъ мѣстѣ, которое намъ удалось бы очистить отъ существующихъ зданій готической архитектуры.

Эта статья, совершенно бесполезная въ практическомъ отношеніи, можетъ служить образчикомъ тѣхъ *положительныхъ* плановъ, которые имѣются у насъ въ запасѣ. Главныя достоинства изложеннаго мною воспитательнаго плана заключаются въ слѣдующихъ его чертахъ: 1) Гигіеническія правила соблюдены строжайшимъ образомъ. 2) Вниманіе учащихся сосредоточено на самомъ незначительномъ количествѣ предметовъ, имѣющихъ дѣйствительную образовательную силу. 3) Физическій трудъ введенъ въ составъ общаго образованія. 4) Общее образованіе поставлено въ уровень съ умственнымъ движеніемъ нашего времени. 5) Между общимъ образованіемъ и спеціальностями проведена ясная пограничная черта. 6) Спеціальности подчинены господствующему направленію общаго образованія. Приглашаю нашихъ противниковъ доказывать несостоятельность этихъ основныхъ идей.

1865 г. Августъ.

МЫСЛИ ФИРХОВА О ВОСПИТАНІИ ЖЕНЩИНЪ.

I.

Одинъ изъ замѣчательныхъ европейскихъ натуралистовъ нашего времени, Рудольфъ Фирховъ, высказалъ въ нынѣшнемъ году нѣсколько очень свѣтлыхъ мыслей о воспитаніи женщинъ. Мысли эти важны не столько по своему прогрессивному характеру, сколько по своей практичности, безобидности и осуществимости. Прогрессивныхъ мечтаній по вопросу о женщинахъ было высказано чрезвычайно много. Еслибы человечество могло подвигаться впередъ посредствомъ рисованія блестящихъ идеаловъ, то всѣ эти мечтанія были бы чрезвычайно полезны. Къ сожалѣнію, это рисованіе идеаловъ составляетъ только самую легкую и самую незначительную часть той работы, которая должна вести человечество къ его будущему благосостоянію. Если вы нарисовали идеаль, то вы должны еще, кромѣ того, показать обществу, какимъ путемъ оно должно идти къ осуществленію этого идеала. Если вы сказали обществу: «вотъ чѣмъ *должна* быть женщина!», то на васъ лежатъ еще обязанность объяснить вашимъ современникамъ, какимъ образомъ она *можетъ* придти къ указанной вами цѣли. Принимаясь за эту вторую часть задачи, вы должны брать въ расчетъ не только отвлеченную возможность, но и реальную удобоисполнимость. Есть множество вещей, совершенно возможныхъ по законамъ природы и въ то же время совершенно неисполнимыхъ при данныхъ условіяхъ мѣста и времени. Данные условія, мѣшающія осуществленію прекрасныхъ идеаловъ,—это, конечно, штука очень нелѣпая и несносная; но, будете ли вы ихъ проклинать, будете ли вы ихъ игнорировать—это рѣшительно все равно; ни ваши проклятія, ни ваше игнорированіе не сдвинутъ ихъ съ

мѣста и не припесутъ ни малѣйшей пользы вашей любимой идеѣ; вы будете, въ счастливомъ невѣденіи матеріальныхъ препятствій, ублажать себя великолѣпными теоретическими построеніями, а дѣйствительная жизнь будетъ по прежнему тащиться по своей колесѣ.

Чтобы быть настоящимъ прогрессистомъ, не на словахъ а на самомъ дѣлѣ, чтобы быть реалистомъ, а не мечтателемъ, вы должны изучать данныя условія, каковы бы они ни были. Вы должны постоянно принимать ихъ въ соображеніе, вы должны даже, скрѣпя сердце, поддаваться къ нимъ, для того, чтобы передѣлывать ихъ по своему. Вы видите, напримѣръ, что какая нибудь любимая, высоко-гуманная и прогрессивная идея ваша осмѣяна и оклеветана тѣми людьми, которые неспособны ее понять. Испытавши такое пораженіе, вы все-таки не должны останавливаться на томъ безотрадномъ заключеніи, что общество еще не доросло до пониманія своихъ собственныхъ выгодъ. Если общество, по своей неразвитости или по какимъ нибудь другимъ вѣшнимъ обстоятельствамъ, неспособно воспользоваться вашей идеею въ той формѣ, въ которой вы ее предложили сначала, то вы должны измѣнить эту форму и повторить вашу попытку, и повторять эти попытки до тѣхъ поръ, пока не добьетесь успѣха. Каждая великая и плодотворная идея обладаетъ такою гибкостью, эластичностью и живучестью, которая, рано или поздно, должна побѣдить или пережить всѣ препятствія. Для каждой великой и плодотворной идеи можно придумать такое скромное приложеніе, которое не покажется предосудительнымъ даже самому отъявленному рутинеру.

Эти общія размышленія о великихъ и плодотворныхъ идеяхъ предлагаются въ частности съ величайшимъ удобствомъ къ великой и плодотворной идеѣ рациональнаго воспитанія женщинъ. Нѣкоторые умные и честные люди высказали въ нашей періодической литературѣ ту мысль, что женщина должна быть дѣятельнымъ и полезнымъ членомъ общества, что, слѣдовательно, она должна учиться и трудиться. Другіе возражали на это, также въ нашей періодической литературѣ, что женщинѣ въ обществѣ нечего дѣлать, что ея мѣсто у семейнаго очага, что она должна быть исключительно женою, матерью и хозяйкою. Я называю этихъ возражателей людьми неумными и нечестными, потому что они прикинулись защитниками очень почтенныхъ вещей, на которыя никто не думалъ нападать. По поводу вопроса о серьезномъ научномъ образованіи женщинъ, они защищали цѣломудріе дѣвушки, которое не подвергалось ни малѣйшей опасности. По поводу вопроса объ артельномъ трудѣ, они защищали семейныя добродѣтели супруги, противъ которыхъ также никто не говорилъ худого слова. Такими дешовыми средствами они ухитрились набросить на своихъ литературныхъ противниковъ неблагоприятную тѣнь и съумѣли упрочить за собою репутацію зоркихъ и

благонамѣренныхъ блудителей общественной нравственности. Публика, при которой производились эти незамысловатые фокусы, по своему обыкновению, благодушествовала, хлопала глазами, развѣшивала уши. Женскій вопросъ, при такихъ условіяхъ, разумѣется, сѣлъ на мель, и снимать его съ этой мели стало дѣломъ почти опаснымъ.

Мнѣ кажется, однако, что вопросъ сѣлъ на мель собственно потому, что у нашихъ прогрессистовъ не хватило практической находчивости и изворотливости. Располагая нѣкоторою дозою этихъ драгоценныхъ качествъ, можно было извлечь для данного вопроса самую существенную пользу даже изъ возраженій; можно было совершенно неожиданно стать на точку зрѣнія этихъ софистовъ и разбить ихъ на голову ихъ собственнымъ оружіемъ. Эти благодѣтели нашего общества твердятъ безъ умолку, что женщина должна быть исключительно женою, матерью и хозяйкою. Прекрасно. Это очень хорошо, что они высказали свои желанія, и притомъ высказали ихъ такъ неоднократно, такъ громко и торжественно, что имъ уже невозможно отъ нихъ отпереться. Теперь остается только спросить у нихъ, желаютъ ли они, чтобы женщина была *хорошею* женою, *хорошею* матерью и *хорошею* хозяйкою. Если на этотъ вопросъ они отвѣтятъ *нѣтъ*, то, можетъ быть, даже наша бладушная публика перестанетъ пить шампанское за ихъ здоровье. Если же они, какъ и слѣдуетъ того ожидать, отвѣтятъ *да*, то прогрессисты могутъ считать свое дѣло выиграннымъ и могутъ прочесть мистификаторамъ очень блистательное и очень назидательное поученіе. Послушайте вы, благодѣтели, скажутъ прогрессисты: знаете ли вы, что значить быть *хорошею* женою, *хорошею* матерью и *хорошею* хозяйкою? Знаете ли вы, какія для этого требуются обширныя и основательныя свѣдѣнія? Знаете ли вы, какое тутъ необходимо высокое развитіе? Знаете ли вы, какія радикальныя преобразованія надо произвести во всей системѣ женскаго воспитанія для того, чтобы это воспитаніе дѣйствительно давало обществу *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ? Если вы этого не знаете, то вы — пустые фразеры. Если же вы это знаете, то вы, толкующіе безъ умолку о жонахъ, матеряхъ и хозяйкахъ, должны дѣйствовать съ нами за-одно и хлопотать еще усерднѣе насъ о серьезности о разносторонности женскаго образованія. А такъ какъ вы сами стараетесь помѣшать всему, что клонится къ образованію *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ, то вы опять-таки пустые фразеры и ничтожные мистификаторы. Тѣ люди, которымъ дѣйствительно дорого процвѣтаніе и совершенствованіе русскаго семейства и русскаго хозяйства, должны отвернуться отъ вашей лицемѣрной болтовни и прислушаться къ тому, что говорятъ честные граждане и мыслящіе наблюдатели общественной жизни.

Такою филиппикой прогрессисты могли зажать ротъ непривзваннымъ

оберегателямъ общественнаго цѣломудрія. Затѣмъ, вырвавъ изъ ихъ рукъ знамя семейныхъ добродѣтелей и убѣдивъ общество въ томъ, что эти добродѣтели не подвергаются ни малѣйшей опасности, прогрессисты могли развернуть программу того образованія, которое дѣйствительно формируетъ жонъ, матерей и хозяекъ. Эта программа, силою своей очевидной разумности, привлекла бы къ себѣ полное сочувствіе и полное довѣріе всѣхъ безпристрастныхъ и неразвращенныхъ людей нашего общества. Самые робкіе и недалеконидные умы поняли бы безъ труда ея несомнѣнную практическую пользу, и великая идея женскаго образованія и женскаго труда привилась бы къ нашему обществу именно благодаря тому обстоятельству, что она явилась къ нему въ самой скромной, элементарной и неблестящей формѣ.

По вашему мнѣнію, господа филистеры, мыслящія женщины составляютъ вредную и опасную роскошь. Вы не знаете, что съ ними дѣлать. Вы повторяете стихи вашего милаго Пушкина о семинаристахъ въ желтой шали и объ академикахъ въ чепцѣ. Вамъ нужны только жоны, матери и хозяйки. Прекрасно. Будемъ формировать добросовѣстно жонъ, матерей и хозяекъ и не будемъ вовсе заботиться о формированіи мыслящихъ женщинъ. Вы, господа филистеры, останетесь спокойны и довольны, а мыслящія женщины придутъ сами собою, и когда онѣ придутъ, тогда вы будете знать, что съ ними дѣлать и тогда вы забудете или осмѣете стихи вашего милаго Пушкина.

Всѣ эти размышленія вызваны публичной лекціей Фирхова, прочитанною 20 Февраля 1865 года, въ Берлинѣ, въ пользу общества домашняго и народнаго воспитанія. Эта лекція носитъ заглавіе: «О воспитаніи женщины для ея назначенія.» Я передамъ изъ нея тѣ мѣста, которые имѣютъ чисто-практическій характеръ.

II.

«При теперешнемъ положеніи общества, говоритъ Фирховъ, вліяніе отца на дѣтей несравненно болѣе слабо, чѣмъ въ прежнія времена, когда сословіе, занятія, ремесло отца заранѣе рѣшали вопросъ о томъ, къ какому сословію, къ какимъ занятіямъ, къ какому ремеслу будетъ принадлежать ребенокъ. Движеніе общества, становясь съ каждымъ днемъ болѣе свободнымъ, даетъ возможность даже ребенку простолюдина выбирать себѣ свое будущее назначеніе по собственному желанію; вслѣдствіе этого, на основаніи весьма понятныхъ психологическихъ при-

чинъ, сила отцовскаго вліянія уменьшается; а съ другой стороны, постоянно возрастающее раздѣленіе труда и перенесеніе рабочихъ центровъ прочь отъ домашняго очага отнимаютъ также у отцовъ и физическую возможность слѣдить постоянно за воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ, усиливается то вліяніе, которое сама природа отводитъ матери, хозяйкѣ дома».

Фирховъ приходитъ къ тому общезвѣстному заключенію, что воспитаніе подрастающихъ поколѣній составляетъ высшее назначеніе женщины.

«Забота о мужѣ, продолжаетъ онъ, стоитъ уже на второмъ планѣ. Мужъ прежде всего долженъ заботиться самъ о себѣ, и подмога жены должна быть для него именно только подмогою. Въ общемъ домашнемъ хозяйствѣ мужу принадлежать, естественнымъ образомъ, внѣшнія заботы, а женѣ—внутреннія. Обратный порядокъ вещей никогда не превратится въ общее правило, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ онъ возможенъ и даже совершенно законенъ. Но если бы этотъ обратный порядокъ сдѣлался общимъ правиломъ, если бы вообще люди попробовали осуществить ту *эманципацію женщины*, къ которой стремились нѣкоторые отдѣльные кружки со временъ французской революціи, — то это могло бы произойти только въ ущербъ семейству. Этого никогда и не отрицали послѣдовательные мыслители, занимавшіеся этой задачей. Эманципація женщины, разрушеніе семейства, гуртовое воспитаніе дѣтей съ пеленокъ, — все это неизбежно идетъ одно къ одному. По странному смѣшенію понятій, это считалось послѣдовательнымъ проведеніемъ идеи свободы. Но тутъ надо помнить одно: все, что выигрываетъ при этомъ женщина, не столько въ свободѣ, сколько въ своеволии, то теряетъ ребенокъ. Вся обезпеченность индивидуальнаго развитія, на которомъ основаны полное чувство личности и отвѣтственности и всѣ ручательства независимости, порядка и свободы, — утратилась бы совершенно при гуртовомъ воспитаніи дѣтей. Вся будущность человѣчества была бы поставлена на карту для того, чтобы осуществить произвольно-придуманную и притомъ все-таки только мнимую свободу женщины».

Видите, господа филистеры, какой благонадежный человѣкъ Фирховъ! Даже порицаетъ эманципацію женщинъ и даже за будущность человѣчества трепещетъ. И я нарочно привелъ вамъ все это мѣсто, для того, чтобы вы возликовали, и для того, чтобы, вслѣдъ затѣмъ, вы немедленно убѣдились въ преждевременности и неосновательности вашего ликования. Вы подумайте только, *какую* эманципацію женщинъ осуждаетъ Фирховъ? Развѣ ту, на которую нападали вы? Нѣтъ-съ, извините, совсѣмъ не ту. О той эманципаціи женщинъ, которая находится въ ближайшей и непосредственной связи съ французскими мыслителями XVIII вѣка и ихъ послѣдователями нашего времени, у насъ не было

никогда ни слуху, ни духу. Вспомните, что въ нашей журналистикѣ проводились по этому вопросу исключительно идеи чисто-англійскаго или англо-американскаго происхожденія. Вспомните, что краеугольнымъ камнемъ всѣхъ нашихъ прогрессивнѣйшихъ разсужденій о женщинахъ оказалась извѣстная статья солиднѣйшаго англійскаго ученаго, Джона Стюарта Милля, который такъ же похожъ на сень-симониста или на фурьериста, какъ г. Катковъ на В. Гюго. Вспомните, что самымъ крайнимъ выраженіемъ радикализма считается со стороны нашихъ женщинъ отрицаніе косы и кринолина. Вспомните, что самыя отпѣтыя изъ нашихъ озорницъ требуютъ себѣ только науки и труда. Вспомните все это—и тогда вы убѣдитесь въ томъ, что если бы вы обратились къ Фирхову съ жалобою на нашихъ прогрессистовъ и на нашихъ эманципированныхъ женщинъ, и если бы вы, въ подтвержденіе вашихъ жалобъ, представили ему самыя поразительныя факты изъ нашей жизни и изъ нашей печати, то Фирховъ пришелъ бы въ крайнее недоумѣніе и спросилъ бы у васъ съ самымъ искреннимъ изумленіемъ: да на что же вы жалуетесь? И что вы тутъ видите дурного? И гдѣ вы тутъ ухитрились откопать эманципацию женщинъ? — Легко можетъ быть, что Фирховъ, съ самымъ неподдѣльнымъ соболѣзнованіемъ, пощупалъ бы даже вашъ пульсъ и освѣдомился бы о вашемъ здоровьи.

Выгородивъ, такимъ образомъ, совершенно нашъ вопросъ о женскомъ образованіи и о женскомъ трудѣ, я могу теперь замѣтить изъ безкорыстной любви къ истинѣ, что трепетанье Фирхова за будущность чело-вѣчества составляетъ въ его лекціи такое ораторское украшеніе, которому самъ Фирховъ, какъ очень умный человѣкъ, конечно, не могъ придавать никакого серьезнаго значенія. Дѣйствительно, если эманципация женщинъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали ее нѣкоторые французскіе мыслители, идетъ въ разрѣзъ съ естественными стремленіями чело-вѣческаго организма, то она останется навсегда неосуществимою мечтою, потому что всѣ эти французскіе мыслители не имѣли и никогда небудутъ имѣть въ своемъ распоряженіи, для распространенія своихъ идей, никакихъ средствъ, кромѣ словесной и печатной проповѣди. Въ такомъ случаѣ, ихъ заблужденіе никому не опасно и ни для кого незаразительно; стало быть, незачѣмъ и трепетать за будущность чело-вѣчества.

Можно замѣтить вообще, что всеневная жизнь людей складывается всегда не по искусственнымъ теоріямъ, а по законамъ природы. Когда и что ѣсть, когда и какъ спать, какъ обращаться съ женой и съ дѣтьми, — все это такіе вопросы, на которые огромное большинство людей никогда не согласится искать отвѣта въ той или другой книгѣ. Масса будетъ жить такъ, какъ она привыкла; привычки ея, безъ сомнѣнія, измѣняются, но ихъ измѣняютъ важныя историческія событія, а не

книжныя теоріи. Введеніе картофеля, распространеніе желѣзныхъ дорогъ, примѣненіе химіи къ земледѣлію, развитіе машиннаго производства, вліяніе кооперативныхъ обществъ — вотъ нѣкоторые изъ тѣхъ явленій жизни, которыя перевоспитываютъ массу, то есть, измѣняютъ ея основныя привычки, иногда въ хорошую, а иногда и въ дурную сторону. Книжная теорія можетъ также подѣйствовать на массу, но не прямо, то есть, не такъ, что масса прочтетъ книгу и, въ одинъ прекрасный день, скажетъ: «давайте осуществлять теорію». Чтобы подѣйствовать на массу, книжная теорія должна сначала воплотиться въ жизни очень небольшого кружка самыхъ усердныхъ и вѣрующихъ адептовъ. Этотъ небольшой кружокъ сдѣлается зародышемъ чисто-практическаго движенія. Къ нему начнутъ примыкать понемногу новыя кружки, и члены этихъ кружковъ, подчиняясь указаніямъ теоріи въ своей вседневной жизни, будутъ исподоволь приобрѣтать себѣ новыя привычки. Войдя, такимъ образомъ въ жизнь, какъ воспитательный элементъ, теорія передѣлаетъ характеры и взаимныя отношенія своихъ адептовъ. Такъ поступили, напримѣръ, съ своими адептами теоріи квакерства и мармонизма. Если теорія такъ сильна по своимъ внутреннимъ достоинствамъ, что она можетъ подчинить своему господству цѣлое общество, то эти же самыя внутреннія достоинства, упрочившія за нею побѣду, устранятъ также и тѣ второстепенныя неудобства, которыя могли бы отравить ея благотворное вліяніе.

«Но меня спросятъ, продолжаетъ Фирховъ, неужели единственное назначеніе женщины состоитъ въ томъ, чтобы быть женою, матерью? Конечно, нѣтъ. Многимъ женщинамъ совсѣмъ не суждено сдѣлаться супругами и матерями, и, разумѣется, о такихъ женщинахъ нельзя сказать, что призваніе ихъ — быть *старыми тѣами*. Судьба человека и его призваніе — двѣ вещи разныя. Даже для супруги и для матери вся задача жизни вовсе не ограничивается тѣмъ, чтобы быть именно только супругою и матерью. Многимъ женщинамъ даны отъ природы самыя обширныя средства дѣйствовать на судьбу человѣчества, и я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія сомнѣваться въ томъ, что женщина способна посвящать себя разрѣшенію такихъ болѣе общихъ задачъ. Пусть каждая отдѣльная личность сама обдумываетъ и рѣшаетъ, какая дѣятельность соотвѣтствуетъ размѣрамъ ея личныхъ силъ. Современное общество отчасти уже выработало въ себѣ, отчасти еще выработаетъ, какъ естественный результатъ дальнѣйшаго развитія, ту степень индивидуальной свободы, которая необходима для того, чтобы и женскій полъ самостоятельно (*selbstthätig*) принималъ надлежащее участіе въ разрѣшеніи общихъ задачъ человѣчества».

Да, *selbstthätig*! Я не даромъ выписывалъ это нѣмецкое слово, которое доказываетъ совершенно очевидно, что Фирховъ непремѣнно

пощупаетъ вашъ пульсъ, если вы пойдете жаловаться ему на русскую эманципацію женщинъ. Вы ужъ лучше и не ходите.

III.

«Почти 200 лѣтъ тому назадъ, говоритъ Фирховъ, почтенный Фенелонъ написалъ слѣдующія слова: «женщину слѣдуетъ обучать тому, что составляетъ задачу ея жизни. Ей придется наблюдать за воспитаніемъ дѣтей, — сыновей до извѣстнаго возраста, дочерей до ихъ замужества, наблюдать за образомъ жизни, за нравственностью и за службою домо-чадцевъ, наблюдать за всѣмъ ходомъ хозяйства, за расходами и т. д. Въ этомъ заключается ея обязанность и по этимъ предметамъ она должна обладать свѣдѣніями». — «Но, продолжаетъ Фирховъ, эти слова окажутся благочестивыми желаніями, если мы сравнимъ ихъ съ общимъ состояніемъ женскихъ училищъ, какъ они существовали въ XVIII столѣтіи и какъ они существуютъ даже въ XIX-мъ. Ни высшія, ни низшія женскія школы не стремятся къ той цѣли, чтобы воспитывать *для жизни*. Онѣ, можетъ быть, развѣрываютъ умственныя способности воспитанницъ для впечатлѣній искусства и науки; онѣ, можетъ быть, доставляютъ имъ обильный запасъ знаній, выучиваютъ ихъ разнымъ художествамъ, изощряютъ ихъ въ различныхъ отрасляхъ женскаго руководя; онѣ, можетъ быть, готовятъ даже хорошихъ учительницъ. Но онѣ не образуютъ хозяекъ (Hausfrauen). Когда я говорю «хозяекъ», то, послѣ всего вышесказаннаго, я подразумеваю тутъ не только супругъ и матерей, но вообще такихъ женщинъ, которыя сознательно могутъ взять въ свои руки всѣ отрасли домашняго управленія, — такихъ женщинъ, которыя самостоятельно могутъ заниматься ухаживаніемъ за дѣтьми, попеченіями о больныхъ, кухнею, садомъ. Поэтому я оставляю здѣсь совершенно въ сторонѣ специальный вопросъ о «воспитаніи женщины для мужа»; я также не буду касаться здѣсь вопроса о «воспитаніи женщины для общества». По моему мнѣнію, какъ первый, такъ и второй вопросъ предполагаютъ непременно *воспитаніе женщины для дома*. Но *какъ* должно быть ведено это воспитаніе? Мнѣ скажутъ, что подобное воспитаніе не составляетъ задачи женскихъ школъ и пансіоновъ. Да, я долженъ признаться, что имъ не задавали этой задачи и что отъ нихъ даже не справедливо было бы требовать ея разрѣшенія. Но, тѣмъ не менѣе, сама жизнь ставитъ эту задачу. Вѣдь навѣрное же для большинства молодыхъ дѣвушекъ наступитъ когда нибудь такое время, когда

имъ придется нанять дѣтей, ухаживать за больными, завѣдывать кухней, погребомъ или садомъ. Неужто, въ самомъ дѣлѣ, можно думать, что все это дѣлается само собою, что все это изучается въ одну минуту? Сколько горькихъ опытовъ приходится тутъ пережить, какъ много тяжелыхъ заботъ приходится перенести! Какое множество браковъ было бы гораздо счастливѣе, если бы время перваго ученья было пережито раньше свадьбы! Какъ часто случается, что положеніе супруги было бы гораздо самостоятельнѣе, если бы она во время своей дѣвической жизни была лучше приготовлена къ супружеству! Много необходимыхъ свѣдѣній можно усвоить себѣ теоретически; во многому можно приготовиться посредствомъ теорій; заботы объ этой теоретической части женскаго воспитанія составляютъ, конечно, примую обязанность женскихъ школъ.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о тѣлесномъ уходѣ, собственно о *нѣженствѣ*. Никому не придетъ въ голову та мысль, что суевѣрныя прикѣты, доходящія до насъ путемъ изустнаго преданія, рисуютъ намъ, хотя бы въ самыхъ грубыхъ очеркахъ, картину жизни здороваго и больного организма. Естественное, преподаваемое въ женскихъ школахъ, подрываетъ отчасти авторитетъ этого преданія, но оно не ставитъ на ея мѣсто ничего цѣлостнаго. Конечно, анатомія и фізіологія — такіа наука, о которыхъ думали прежде, что онѣ не смѣютъ показываться въ хорошемъ обществѣ, и что молодыя дѣвушки, по возможности, не должны даже подозрѣвать ихъ существованія. Но то, что естественно, не всегда бываетъ опасно, даже въ томъ случаѣ, когда оно является въ полной паготѣ; опытъ научилъ насъ, что прикрываніе бываетъ часто гораздо опаснѣе. Кромѣ того, мы не настаиваемъ на томъ, чтобы въ женскихъ школахъ читался полный курсъ анатоміи и фізіологіи, и, конечно, всегда найдется возможность выбрать изъ этихъ наукъ тѣ отдѣлы, которые не подѣйствуютъ возмущающимъ образомъ ни на какую душу.

По тону Фирхова видно, что эту послѣднюю уступку онъ дѣлаетъ очень неохотно; и можно сказать рѣшительно, что онъ дѣлаетъ ее совершенно напрасно; онъ самъ высказалъ ту мысль, что знаніе естественнаго закона неопасно и что прикрываніе бываетъ опаснѣе наготы; эту мысль онъ долженъ былъ выдержать до конца и провести до самыхъ крайнихъ ея послѣдствій. Если только допустить систему утаиваній и закрываній, то невозможно будетъ опредѣлить заранее, гдѣ остановится маскирующая дѣятельность педагоговъ. Вѣдь тогда и о пищевареніи придется говорить съ деликатными выпусками; пока пища находится въ желудкѣ, тогда еще куда не шло; но когда она попадетъ въ такое неприличное мѣсто, какъ кишечный каналъ, тогда стыдливому преподавателю, конечно, придется потерять ее изъ виду. А ужъ о прямой кишкѣ онъ даже и подумать посовѣстится во время своего пребыванія въ стѣ-

нах женской школы. Какъ поставить что нибудь *цѣлостное* на мѣсто преданій народной медицины? И если преподавать анатомію и физиологію съ нѣкоторыми опущеніями, то зачѣмъ же отзыватьсь съ насмѣшкою о тѣхъ временахъ, когда анатомія и физиологія не смѣли показываться въ хорошемъ обществѣ? Нѣтъ, нехорошо поступилъ тутъ Фирховъ. Онъ уже чрезчуръ дружелюбно и ласково относится здѣсь къ предрасудкамъ, противъ которыхъ можетъ и долженъ сказать свое полное и откровенное слово такой авторитетъ науки, какъ Рудольфъ Фирховъ. Если такіе люди, какъ Фирховъ, будутъ церемониться и вылить хвостомъ передъ общественными предрасудками, то у кого же хватитъ рѣшимости вступить съ ними въ борьбу и, самое главное, у кого хватитъ нравственнаго авторитета на то, чтобы заставить общество выслушать и принять разумное мнѣніе, идущее въ разрѣзъ съ господствующимъ заблужденіемъ?

«Чтобы завѣдывать кухнею правильнаго хозяйства, продолжаетъ Фирховъ, надо же знать, что удобоваримо и что нѣтъ. Хозяйка обыкновенно усваиваетъ себѣ это знаніе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ посредствомъ опыта. Для этого нѣсколько членовъ семейства должны сначала неоднократно испортить себѣ желудки. Но почему именно они себѣ испортили желудки, этого хозяйка все-таки не узнаетъ, и черезъ нѣсколько времени это происшествіе повторяется снова, и набирается, такимъ образомъ, запасъ опытныхъ знаній. На сколько этотъ родъ опытовъ недостаточенъ для того, чтобы на нихъ можно было основать цѣлесообразное приготовленіе кушаній, это очень ясно видно изъ того обстоятельства, что во вседневной жизни считается удобоваримымъ все, что непроизводитъ боли въ желудкѣ или въ животѣ. А между тѣмъ, удобоваримо только то, что дѣйствительно переваривается, то есть, растворяется и *входитъ въ кровь*. Удобоваримое можетъ сдѣлаться вреднымъ, а неудобоваримое можетъ только быть потрачено даромъ. А пища маленькихъ дѣтей—какъ ошибоченъ бываетъ часто ея выборъ! И сколько кушаньевъ, которыя можно было бы ѣсть безъ вреда, подаются на столъ совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ бы это нужно было для успешнаго хода пищеваренія!»

За этотъ гениальный маневръ Фирхова читатель можетъ ему простить даже его разсужденіе о цѣломудренной анатоміи. Онъ попалъ въ слабую струну филистеровъ. Онъ понялъ, что на нихъ надо дѣйствовать желудочными аргументами. Хотя они обыкновенно прикидываются идеалистами, хотя они съ добродѣтельнымъ ужасомъ относятся къ реальному и утилитарному направленію, которое, по ихъ мнѣнію, включаетъ человѣка въ разрядъ бессловесныхъ скотовъ,—однако, на самомъ дѣлѣ, они живутъ исключительно въ желудокъ и въ немъ обрѣтаютъ себѣ весь смыслъ и всю поэзію человѣческаго существованія. Поэтому Фир-

хоть поражаетъ ихъ именно въ желудокъ. Смотрите, филистеры, говорить онъ имъ, учите вашихъ маленькихъ дочерей уму-разуму, а то у васъ, на старости лѣтъ, каждый день будетъ животъ болѣть по ихъ милости. Онѣ будутъ мстить вамъ за свое невѣжество самымъ естественнымъ и, въ то же время жестокимъ образомъ. Онѣ будутъ учиться физиологін надъ вашими почтенными особами. Онѣ будутъ производить химическіе опыты надъ вашими собственными животами. Нравится ли вамъ такая мрачная перспектива? Пріятно ли солидному гражданину и отцу семейства играть въ отношеніи къ собственной дочери ту пассивную роль, которую выполняютъ кролики и собаки на столѣ у профессора экспериментальной физиологін? Надъ этимъ, господа, стоитъ вамъ призадуматься.

IV.

«Для того, продолжаетъ Фирховъ, чтобы судить объ этихъ простѣйшихъ вещахъ, надо же, по крайней мѣрѣ, знать, какъ устроенъ желудокъ и какимъ манеромъ онъ ухитряется переваривать пищу и питье, и изъ какихъ составныхъ частей состоятъ кушанья и напитки, и что дѣлается съ этими составными частями въ человѣческомъ тѣлѣ, и на что онѣ пригодны, и такъ далѣе. Для всего этого требуется не только кое-что изъ физиологін, но также кое-что изъ химіи, изъ ботаники и многое другое. И это знаніе должно быть не внѣшнимъ знаніемъ, не собраннымъ изъ отрывочныхъ лоскутковъ, не такимъ, при которомъ надо было бы долго размышлять, чтобы додуматься до того, какъ надо дѣйствовать; это знаніе должно быть цѣльнымъ и живымъ знаніемъ, такъ чтобы оно во всякую данную минуту было подъ руками и чтобы оно постоянно само собою поддерживало и направляло работу мысли. Въ такомъ же точно положеніи находятся вопросы о согрѣваніи и о приученіи къ холоду, о вентиляціи и объ отопленіи, объ одѣваніи и объ устройствѣ постели. Всѣ эти вопросы могутъ быть обработаны теоретически и основные принципы ихъ могутъ быть изложены такъ просто, что самое посредственное пониманіе усвоить ихъ легко и запомнить ихъ отчетливо. Все это можно было бы преподавать въ каждой школѣ дѣвушкамъ старшаго возраста».

Всѣ эти совѣты Фирхова замѣчательно-хороши именно потому, что они одинаково убѣдительны, какъ для самыхъ трусливыхъ консерваторовъ, такъ и для самыхъ размахистыхъ прогрессистовъ. Консерваторы должны принять эти совѣты съ восторгомъ; женщину хотая готовить

для семейства; изъ нея хотять сформировать образцовую хозяйку; чего же лучше? Вѣдь это завѣтный идеалъ консерваторовъ; вѣдь этимъ идеаломъ они постоянно поражаютъ всѣхъ своихъ противниковъ по женскому вопросу; вѣдь только за неприкосновенность этого идеала они и сражаются съ такъ называемыми эмансипаторами женщины. Но, приводя въ восторгъ консерваторовъ, совѣты Фирхова, въ то же время, совершенно удовлетворяютъ и прогрессистовъ. Въ своихъ надеждахъ и желаніяхъ, въ своихъ взглядахъ на будущее, обѣ партіи остаются, конечно, въ непримиримомъ разногласіи. Одни надѣются, что женщина засядетъ въ кухнѣ и въ дѣтской и углубится въ научное штопанье, въ научное стиранье грязнаго бѣлья и въ столь же научное приготовленіе превосходнѣйшихъ кулебякъ. Другіе питаютъ въ своихъ преступныхъ душахъ совсѣмъ другія надежды; они не отрицаютъ ни бѣлья, ни кулебякъ, но они осмѣливаются думать, что каждый умная и образованная женщина, поддерживая порядокъ въ своемъ домѣ, съумѣетъ оставить въ своей жизни очень просторное мѣсто для такихъ идей и дѣйствій, которыя не имѣютъ ничего общаго ни съ бѣльемъ, ни съ кулебякою. Но пусть каждая партія надѣется по своему; кто изъ нихъ угадывалъ вѣрно фizioномію будущаго и кто ошибался въ своихъ расчетахъ—это видно будетъ впоследствии; спорить и горячиться изъ-за надеждъ и желаній рѣшительно не стоитъ; стоило бы спорить и горячиться только въ томъ случаѣ, если бы въ данную минуту существовали два противоположныя мнѣнія на счетъ того, какъ *надо поступать* въ разбираемомъ вопросѣ. Но двухъ противоположныхъ мнѣній быть не можетъ. Рисуйте себѣ какой угодно идеалъ—образцовую хозяйку или мыслящую женщину—это все равно: въ данную минуту наша женщина стоитъ одинаково далеко, какъ отъ перваго изъ этихъ идеаловъ, такъ и отъ второго: чтобы сдвинуть ее съ мѣста и чтобы сколько нибудь приблизить ее къ тому или къ другому идеалу, ей, во всякомъ случаѣ, надо дать образованіе. Вотъ это, значить, первый пунктъ, на которомъ должны согласиться между собою всѣ оттѣнки мнѣній. Кромѣ того, они сойдутся еще и на второмъ пунктѣ. Спрашивается: какое образованіе надо дать женщинѣ? Обожатели образцовой хозяйки скажутъ, конечно, что ей надо дать такое образованіе, которое выучило бы ее хозяйничать. А Фирховъ доказываетъ ясно, какъ дважды два—четыре, что благоразумное хозяйничаніе немислимо безъ основательной теоретической подготовки, и что эта подготовка должна состоять въ изученіи природы вообще и человѣческаго организма въ особенности. То есть, другими словами: обожатели образцовой хозяйки, если у нихъ есть въ головѣ капля здраваго смысла, должны настоятельно требовать, чтобы женщинѣ было дано обширное, серьезное и, притомъ, *реальное* образованіе. Ну, и слава тебѣ Господи! Обожатели мыслящей женщины только этого въ данную минуту и желаютъ.

Программа Фирхова превосходна въ томъ отношеніи, что она соединяетъ въ себѣ всѣ преимущества общаго и спеціальнаго образованія,—такого, которое должно выпускать женщину прямо изъ школы въ жизнь, и такого, которое должно готовить ее для болѣе серьезныхъ научныхъ занятій. Пройдя черезъ школу, устроенную по идеѣ Фирхова, одиѣ дѣвушки, одаренныя обыкновенными умственными способностями, сдѣлаются хорошими хозяйками, а другія, болѣе даровитыя, получаютъ такой толчекъ впередъ, что поймутъ ясно свое призваніе и, смотря по складу своего ума, сдѣлаются медиками, натуралистами, механиками, технологами, мыслительницами, писательницами, вообще чѣмъ угодно. Школа, готовившая ихъ преимущественно или даже исключительно для хозяйственной дѣятельности, заложить въ ихъ умныя головы, благодаря своему реальному направленію, такой прочный фундаментъ дѣльныхъ мыслей и основательныхъ знаній, который пригодится имъ на всякомъ житейскомъ поприщѣ и изощритъ ихъ умственные способности для всякой дальнѣйшей работы.

Спеціальное образованіе обыкновенно стѣсняетъ умственный кругозоръ учащагося и нерѣдко уродуетъ человѣка для того, чтобы сформировать искусснаго ремесленника. Но этотъ упрекъ совершенно неприменимъ въ тому спеціальному образованію, которое Фирховъ рекомендуетъ женщинамъ. Такое спеціальное образованіе, которое цѣликомъ основано на изученіи природы, оказывается неизмѣримо выше всѣхъ возможныхъ общихъ образованій. Если бы предложили умнѣйшему изъ прогрессистовъ составить такой планъ женскаго образованія, который, не внося ни къ какимъ спеціальнымъ цѣлямъ, долженъ былъ бы направляться исключительно къ тому, чтобы развернуть и укрѣпить всѣ умственные способности ученицъ,—то прогрессистъ, навѣрное, пришелъ бы къ тѣмъ самымъ практическимъ выводамъ, къ которымъ подошелъ Фирховъ съ другой стороны, посредствомъ анализа чисто-хозяйственныхъ потребностей, недосмотровъ и недостатковъ. Та практическая тенденція, которую Фирховъ рекомендуетъ женскимъ школамъ, имѣетъ очень важное и очень полезное значеніе для общаго развитія умственныхъ способностей. То значеніе, которое усваивается для того, чтобы потомъ прилагаться къ дѣлу, должно быть непременно живымъ и цѣльнымъ знаніемъ. Химія, ботаника и фзіологія, которыя должны каждый день являться на помощь къ будущей хозяйкѣ, стоящей передъ кухонной плитой, будутъ, конечно, изучаться не такъ, какъ изучаются теперь въ женскихъ и даже въ мужскихъ заведеніяхъ разныя науки, необходимыя только для того, чтобы придать блескъ выпускному экзамену и занять почетное мѣсто въ аттестатѣ или въ дипломѣ. Если только мысли Фирхова когда нибудь найдутъ себѣ достойныхъ исполнителей, то во многихъ европейскихъ государствахъ молодые люди мужскаго пола принуждены бу-

дуть завидовать тому образованію, которое будутъ получать прусскія дѣвушки.

V.

«Но, продолжаетъ Фирховъ, и основные принципы *духовной жизни* — преимущественно въ приложеніи къ дѣтямъ, — могутъ безъ труда быть развиты въ общихъ чертахъ. Педагогическихъ образцовъ нѣтъ достаточно; ихъ, быть можетъ, даже больше, чѣмъ діэтическихъ и гигиеническихъ образцовъ; и молодая мать стала бы смотрѣть съ болѣею смѣлостью и самоувѣренностью на своего перваго младенца, если бы она не принуждена была сознаваться самой себѣ, что онъ — ея *пробный ребенокъ*, тотъ ребенокъ, надъ которымъ она, болѣе или менѣе самостоятельно, по своимъ собственнымъ соображеніямъ, должна производить свои педагогическіе эксперименты. Нечего грѣха таить, наше домашнее воспитаніе стоитъ до сихъ поръ на томъ низкомъ уровнѣ развитія, на которомъ находилось въ прошедшемъ столѣтіи народное хозяйство. Это — чисто первобытное хозяйство. Задача нашего времени состоитъ въ томъ, чтобы ввести въ жизнь *науку воспитанія*, которая положила бы конецъ производству безконечныхъ педагогическихъ экспериментовъ и воспитанію дѣтей по неопредѣленнымъ слухамъ».

Такимъ образомъ, Фирховъ вводитъ въ свою программу еще новую черту, которая окончательно отстраняетъ отъ нея всякій упрекъ въ односторонности. Изучая химію, ботанику, анатомію, физиологію и другія отрасли естествознанія, дѣвушки должны, кромѣ того, знакомиться съ тѣми законами, по которымъ развиваются и крѣпнутъ, съ самаго ранняго дѣтства, умъ и характеръ человѣка. Теоретическая часть *науки воспитанія*, какъ понимаетъ ее Фирховъ, должна, конечно, заключать въ себѣ сводъ наблюденій, рисующій передъ ученицами полную и вѣрную картину тѣхъ психическихъ видоизмѣненій, черезъ которыя проходитъ ребенокъ, начиная отъ колыбели и кончая юношескимъ возрастомъ. Эта теоретическая часть должна быть направлена преимущественно къ тому, чтобы заставить молодую дѣвушку уважать въ ребенкѣ будущаго человѣка.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашего воспитанія состоитъ именно въ томъ, что мы слишкомъ легко и, смотря по нашему минутному настроенію, то слишкомъ игриво, то слишкомъ презрительно относимся къ мыслямъ, чувствамъ, желаніямъ и требованіямъ дѣтей. Намъ почти никогда не приходитъ въ голову, что ребенокъ есть *человѣческая лич-*

ность, не только имѣющая, но даже сознающая свои естественныя и неотъемлемыя права. Мы почти никогда не умѣемъ сообразить, что, легкомысленно нарушая законныя права ребенка, мы приучаемъ его смотрѣть съ такимъ же нахальнымъ легкомысліемъ на права другихъ людей, съ которыми ему впослѣдствіи придется имѣть сношенія. Ежеминутно оскорбляя ребенка нашею невнимательностью къ его разумнымъ желаніямъ, требованіямъ и возраженіямъ, мы ежеминутно, ни къ селу, ни къ городу, подольщаемся къ нему то ласками, то подблудами, то пряниками. Такимъ образомъ, мы какъ-будто нарочно воспитываемъ въ ребенкѣ презрѣніе къ нашему уму и нашему характеру, а потомъ, когда плоды нашей педагогической безтолковщины начинаютъ созрѣвать, мы начинаемъ вить и орать, что злонамѣренная журналистика выдумала молодое поколѣніе и посѣяла раздоръ между отцами и дѣтьми.

Всѣ эти печальныя явленія нашей всенедневной жизни происходятъ преимущественно оттого, что наше домашнее воспитаніе есть *«чисто первобытное хозяйство»*, то есть, оттого, что мы не имѣемъ никакого понятія о самыхъ элементарныхъ истинахъ опытной психологіи. Мы знаемъ, напримѣръ, очень хорошо, что пятилѣтній мальчикъ лѣтъ черезъ пятнадцать сдѣлается двадцати-лѣтнимъ юношею; но изъ этого положенія мы не умѣемъ вывести самыхъ естественныхъ и необходимыхъ послѣдствій; мы не умѣемъ понять, что въ нервной системѣ пятилѣтняго мальчика заключается, въ видѣ зародыша, весь складъ ума, весь темпераментъ и весь характеръ будущаго мужчины, и что этотъ зародышъ разовьется правильно или уродливо, разцвѣтетъ или зачахнетъ, смотря потому, будемъ ли мы своимъ вліяніемъ содѣйствовать или мѣшать его развитію, будемъ ли мы охранять лабораторію молодой мысли отъ всякихъ постороннихъ посягательствъ, или же, напротивъ того, врываться въ эту лабораторію съ нашими глупыми фантазіями и съ нашимъ грубымъ самодурствомъ.

Для того, чтобы мы дѣйствительно проникнулись глубокимъ уваженіемъ къ тому живому матеріалу, который мы имѣемъ подъ руками въ дѣлѣ воспитанія, мы нуждаемся, конечно, не въ умильныхъ наставленіяхъ о великой задачѣ воспитателя, не въ риторическихъ словосвязаніяхъ объ отвѣтственности передъ обществомъ и передъ собственною совѣстью, а именно въ томъ, чтобы мыслящіе наблюдатели нарисовали намъ полную и вѣрную картину развитія отдѣльнаго человѣка. Глядя на эту картину, вдумываясь во всѣ ея подробности, замѣчая, что одна фаза вытекаетъ необходимо изъ другой, что всѣ эти фазы неразрывно связаны между собою, что онѣ взаимно объясняютъ другъ друга и что взрослый юноша, вступающій въ дѣйствительную жизнь, есть ни что иное, какъ продуктъ и результатъ впечатлѣній, пережитыхъ имъ въ родительскомъ домѣ и въ школѣ, — каждая мать семейства пойметъ,

глубоко прочувствует и навсегда запомнить ту великую истину, что во всей человеческой жизни нѣтъ ни одной минуты, въ которую было бы позволительно относиться къ человѣку легкомысленно и безпечно, и что человѣкъ имѣетъ полное и неотъемлемое право на уваженіе своихъ ближнихъ съ самаго своего появленія на свѣтъ.

Любопытно замѣтить, что законодательство всѣхъ образованныхъ народовъ обогнало въ этомъ отношеніи нравы всеневной жизни. Во всѣхъ европейскихъ государствахъ жизнь и собственность грудного ребенка ограждены такъ же прочно, какъ жизнь и собственность всѣхъ остальныхъ гражданъ. Законъ признаетъ права человѣка съ минуты его рожденія; но тамъ, гдѣ прекращается охранительное дѣйствіе закона, — тамъ начинается полный произволъ взрослыхъ; отецъ не смѣетъ ни убить, ни обобрать своего ребенка, но онъ нисколько не посовѣстится высѣчь его безвинно, прикрикнуть на него ни за что ни про что, дать ему неисполнимое приказаніе и заставить его молчать, когда ребенокъ представляетъ ему дѣльные возраженія. А между тѣмъ, всѣ эти проявленія родительской халатности ложатся грязными пятнами и безобразными рубцами на характеръ будущаго человѣка; всѣ они отзываются болѣзненно на самихъ же родителяхъ; и всѣ они могли бы найти себѣ крѣпкую узду въ основательномъ изученіи законовъ человеческого развитія.

Мы увидимъ сейчасъ, какъ серьезно понимаетъ Фирховъ то преподаваніе педагогики, которое онъ рекомендуетъ женскимъ училищамъ.

«Конечно, говоритъ онъ, я не держусь того мнѣнія, что такая *наука воспитанія* окажется достаточною, если она будетъ преподаваться въ женскихъ школахъ только теоретически. Не думаю я также, чтобы слѣдовало предоставлять на произволъ судьбы изученіе *педагогической практики*, которая, такимъ образомъ, усвоивалась бы старшею сестрою только въ томъ случаѣ, если журавлю заблагоразсудится принести ей еще брата или сестрицу. Надо устроить такъ, чтобы *педагогическая практика* сдѣлалась одною изъ нормальныхъ составныхъ частей женскаго воспитанія».

Разумѣется, Фирховъ не ограничивается однимъ голымъ заявленіемъ существующей потребности; онъ показываетъ, какимъ образомъ можно удовлетворить эту потребность. Эта часть его лекціи составляетъ ея лучшее украшеніе. Тутъ Фирховъ подаетъ мысль дѣйствительно новую, очень оригинальную и до такой степени простую и удобоисполнимую, что остается только удивляться тому, какимъ образомъ она могла оставаться до сихъ поръ новою и оригинальною въ Германіи, въ классической странѣ педагогики. Впрочемъ, одна изъ характеристическихъ особенностей всѣхъ замѣчательныхъ умовъ состоитъ именно въ томъ, что они умѣютъ открывать новыя стороны въ такихъ предметахъ, которые

всѣмъ давно извѣстны и всѣ давно успѣли наговорить глаза. А потомъ, когда замѣчательный умъ подалъ новую мысль, тогда всѣ начинаютъ удивляться тому, какъ это они сами давнымъ-давно не додумались до такой простой и очевидной истины.

VI.

«Для того, продолжаетъ Фирховъ, чтобы большинство молодыхъ дѣвушекъ могли изучить практическую часть педагогики, надо воспользоваться тѣми учрежденіями, которыя находятся подъ руками и которыя могутъ быть созданы повсемѣстно, каждою общиною (Gemeinde) и каждымъ обществомъ (Verein). Я подразумѣваю здѣсь заведенія для храненія маленькихъ дѣтей (Kleinkinderbewahranstalten), такъ называемыя *лсам* (Krippen) и дѣтскіе сады (Kindergärten). Они совершенно приспособлены къ тому, чтобы играть въ развитіи созрѣвающего женскаго поколѣнія ту роль, которую играютъ больница и клиника въ образованіи молодого медика. Они могутъ сдѣлаться образовательными заведеніями, въ которыхъ будетъ изучаться на практикѣ воспитаніе дѣтей, какъ съ физической, такъ и съ моральной стороны. Можно пользоваться и другими заведеніями, тамъ, гдѣ они существуютъ, напримѣръ, воспитательными домами (Findelhäuser) и сиротскими пріютами, но ужъ дѣтскіе сады и заведенія для храненія маленькихъ дѣтей можно имѣть почти повсемѣстно».

Написавши эти слова Фирхова, я вспомнилъ, что очень недавно я встрѣтилъ въ одномъ журналѣ, кажется, въ «Современникѣ», извѣстіе о первомъ дѣтскомъ садѣ, заведенномъ въ Петербургѣ госпожею Люгебиль. Въ самомъ прогрессивномъ изъ русскихъ городовъ, въ Петербургѣ, только-что начинается появляться то, что, по словамъ Фирхова, встрѣчается въ Пруссіи, на каждомъ шагу, то есть, почти въ каждой деревнѣ, и ужъ навѣрное въ каждомъ изъ самыхъ маленькихъ провинціальныхъ городковъ. Славянофилы наши имѣютъ полное основаніе порадоваться тому, что мы очень упорно сопротивляемся разлагающему вліянію тлетворнаго запада.

«Всѣ эти заведенія, говоритъ Фирховъ далѣе, до сихъ поръ существовали только ради тѣхъ дѣтей, которыя туда принимались, или ради ихъ родителей; иногда съ этими учрежденіями связывались также церковныя цѣли. До сихъ поръ было упущено изъ виду, что эти заведенія могутъ быть питомниками дѣятельной добродѣтели и основательнаго знанія для женской молодежи, семинаріями хорошихъ матерей и хозяйекъ, если только воспользоваться ими для практическаго изученія пе-

дагогика подѣ руководствомъ опытныхъ учителей или учительницъ. Такимъ образомъ, къ готовому *знанію* присоединится готовое *умѣнье*. — Когда дѣвочка лежитъ еще въ люлькѣ, вы даете ей куклу, и она играетъ ею до тѣхъ поръ, пока подростетъ. Потомъ вы отдаете въ ея распоряженіе кукольную комнату и убираете эту комнату всѣми принадлежностями, какія вы только можете приобрести. Затѣмъ это дѣлается? Затѣмъ, чтобы въ играхъ ребенка подготовить будущую специальную дѣятельность женщины; затѣмъ, чтобы пробудить чувство женщины, чтобы приучить малютку къ заботамъ дѣтской комнаты. Очень хорошо! Но затѣмъ слѣдуетъ большой пробѣлъ. Куклу ставятъ въ уголъ. Весь міръ появляется передъ дѣвушкою въ какомъ-то замаскированномъ видѣ. Только въ лицѣ своего собственнаго ребенка молодая мать встрѣчаетъ снова передъ собою реальный предметъ. Неужели вы не чувствуете, что здѣсь оказывается въ воспитаніи большая ошибка, самая тяжелая изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя впадаетъ общество? Неужели вы не понимаете, что это грѣхъ — довѣрять живого ребенка такой матери, которая только въ кукольной комнатѣ приготовлялась къ исполненію своихъ серьезныхъ материнскихъ обязанностей? Да еще къ тому же такой матери, которой приходится платить дань всѣмъ запутаннымъ условіямъ современной общественной жизни, переполненной суетными удовольствіями, искаженной странными модами, подавленной превратными и суетными понятіями! Эту ошибку можно устранить только тѣмъ, чтобы, вслѣдъ за кукольною комнатою, вести теоретическую подготовку женской школы, а потомъ практическое образованіе дѣтскаго сада».

Этими цитатами я исчерпалъ все содержаніе лекціи Фирхова. Собственно новою можетъ быть названа въ этой лекціи только мысль о практическомъ изученіи дѣтскихъ нравовъ въ дѣтскихъ садахъ и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ. Но эта мысль очень плодотворна, потому что она въ высшей степени удобоисполнима. Кромѣ того, вся лекція очень замѣчательна, какъ сжатая и дѣльная программа послѣдовательнаго реализма, примѣняемаго къ воспитанію женщины. Эту программу я, въ самомъ началѣ этой статьи, назвалъ *безобидною* въ томъ смыслѣ, что она не испугаетъ никого изъ самыхъ безнадежныхъ филистеровъ. Это достоинство очень немаловажное, потому что многія превосходныя идеи остаются неосуществленными единственно по той причинѣ, что онѣ, благодаря своему яркому блеску, однимъ своимъ появленіемъ возбуждаютъ противъ себя оглушительное возраженіе. Программа Фирхова не возбудитъ противъ себя никакого негодованія.

ПОГИБШІЕ И ПОГИБАЮЩІЕ.

I.

Сравнительный методъ одинаково полезенъ и необходимъ, какъ въ анатоміи отдѣльнаго человѣка, такъ и въ соціальной наукѣ, которую можно назвать анатоміею общества.

Въ анатоміи человѣка сравнительный методъ можетъ прикладываться къ дѣлу или такъ, что сравниваются между собою одинаковые органы различныхъ животныхъ, или же такъ, что для сравненія берутся различные органы одного и того же животнаго. Въ анатоміи общества уместны и употребительны оба видоизмѣненія сравнительнаго метода. Можно сравнивать между собою соотвѣтственные учрежденія различныхъ обществъ, напримѣръ, суды Франціи съ судами Англіи, Пруссіи, Россіи и такъ далѣе; и можно также сопоставлять и разсматривать въ связи между собою различные учрежденія одного и того же общественнаго организма, напримѣръ, французскую армію и французскіе финансы, прусскую палату депутатовъ и прусское чиновничество, англійское землевладѣніе и англійскіе workhouses (рабочіе дома для нищихъ).

Въ этой статѣ я намѣренъ представить читателю сравнительно-анатомическій этюдъ, произведенный по этому второму способу. Я намѣренъ сопоставить русскую школу съ русскимъ острогомъ. Результаты получатся неожиданные и довольно поучительные. Берусь же я именно за эту задачу собственно потому, что мы имѣемъ въ нашей новѣйшей литературѣ два замѣчательныя сочиненія: «Очерки бурсы» Помяловскаго, и «Записки изъ Мертваго дома» г. Достоевскаго,—два сочиненія, изъ которыхъ можно почерпнуть самыя достовѣрныя и самыя любопытныя свѣдѣнія о русской школѣ и о русскомъ острогѣ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ.

Читателямъ покажется, быть можетъ, что, называя бурсу русскою школою, я придаю бурсѣ слишкомъ обширное значеніе. Читатели скажутъ, что гимназій, корпуса, лицей, университеты и академіи непременно должны быть признаны русскими школами, что бурсы составляютъ самую послѣднюю категорію русскихъ школъ, и что слѣдовательно, употребляя общее выраженіе *русская школа*, надо брать не низшій сортъ, а средній выводъ, который, разумѣется, долженъ оказаться значительно лучше этого низшаго сорта.—Это правда. Надо брать средній выводъ. Но тутъ есть одно маленькое затрудненіе: тотъ средній выводъ, на который указываетъ возраженіе читателей, изображаетъ собою совсѣмъ не русскую школу, а только школу русскаго привилегированнаго меньшинства. Настоящій средній выводъ, настоящая русская школа остаются неизвѣстными, по той простой причинѣ, что несоразмѣрно-громадное большинство русскаго народа обходится до сихъ поръ совсѣмъ безъ школъ. Если же мы, во что бы то ни стало, непременно желаемъ составить себѣ приблизительное понятіе о томъ, чѣмъ могла бы быть русская школа, школа открытая и доступная для большинства, то мы должны удариться въ область предположеній. Хорошо, ударимся. Положимъ, что, при сохраненіи всѣхъ существующихъ условій нашей общественной жизни, въ каждой русской деревнѣ открыто, по крайней мѣрѣ, по одному училищу. Въ какомъ же родѣ будутъ эти училища? Чему они будутъ обучать своихъ воспитанниковъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ не трудно, если только мы желаемъ оставаться въ границахъ правдоподобнаго. Самые пылкіе просвѣтители, не только у насъ, но даже и за границей, въ самыхъ пылкихъ своихъ мечтаніяхъ, осмѣливаются доходить только до того требованія, чтобы всѣ ихъ соотечественники и соотечественницы умѣли читать, писать и считать. Дальше этого нейдутъ покуда ни ихъ желанія, ни ихъ надежды. При настоящихъ условіяхъ дальше идти дѣйствительно невозможно, потому что не на что: денегъ не хватитъ. И такъ, въ деревенскихъ училищахъ будутъ читать, писать и считать. Въ бурсѣ этимъ не ограничиваются; стало быть, уровень преподаванія немедленно понижается, какъ только школа начинаетъ дѣлаться доступною для большинства. Такое же точно пониженіе допускается и въ личномъ составѣ учителей; въ бурсѣ учительствуютъ кандидаты и магистры духовныхъ академій, или по меньшей мѣрѣ люди, окончившіе курсъ въ семинаріи; въ деревенскихъ училищахъ будутъ господствовать волостные писаря, безсрочно-отпускные солдаты, пономари, и вообще такіе люди, для которыхъ буква *н* составляетъ вѣчный камень преткновенія, а дѣленіе простыхъ чиселъ — крайнюю границу человѣческой премудрости. Чѣмъ невѣжественнѣе преподаватель, тѣмъ менѣе имѣетъ онъ средствъ сдѣлать ученіе привлекательнымъ для учениковъ; а чѣмъ скучнѣе и несноснѣе ученіе, тѣмъ сильнѣе долженъ быть педагогическій терроръ, потому что, разумѣется,

только боль и страх могут сколько нибудь противодействовать тому естественному отвращенію, которое внушаютъ отрокамъ и юношамъ безсмысленные уроки, непонятные даже самому преподавателю. Стало быть, въ предполагаемыхъ деревенскихъ училищахъ должно непременно совершиться одно изъ двухъ: или водвориться терроръ, еще болѣе сильный, чѣмъ въ бурсѣ; или же, если развитію террора помѣшаютъ какія-нибудь внѣшнія гуманно-либеральныя вліянія, — все преподаваніе окажется безплоднымъ, и ученики будутъ выходить изъ школы съ тѣми же самыми знаніями, съ которыми они въ нее вступили.

Въ матеріальномъ отношеніи содержаніе учениковъ также будетъ еще хуже, чѣмъ содержаніе бурсаковъ. Какъ живутъ наши мужики, во что они одѣваются, что ѣдятъ—это, я думаю, до нѣкоторой степени извѣстно, хотя и по слухамъ, моему человѣколюбивому читателю. Какъ ни скромно, какъ ни мизерно внутреннее устройство бурсы, описанной Помяловскимъ, однако же въ этой завалищей бурсѣ есть кое-какіе предметы роскоши, неизвѣстной и недоступной огромному большинству нашихъ соотечественниковъ. Такъ, напримѣръ, бурсаки учатъ уроки при свѣтѣ дрянной лампы, которая одна освѣщаетъ большую комнату, вмѣщающую въ себѣ болѣе сотни учениковъ. Эта дрянная лампа составляетъ чистѣйшую роскошь, потому что въ мужицкихъ избахъ горитъ по вечерамъ не лампа, и даже не сальная свѣча, а лучина, при свѣтѣ которой читать книжку и заниматься наукою еще гораздо мудренѣе. Далѣе, у каждого бурсака есть кровать съ тюфякомъ, съ подушкой и съ одѣяломъ; это уже огромная роскошь: большинство нашихъ соотечественниковъ спитъ на лежанкахъ, на лавкахъ, на палаткахъ, подкладывая подъ голову зипунъ и покрываясь въ холодное время какимъ нибудь дырявымъ полушубкомъ. Если мы предположимъ, что ученики деревенскихъ школъ живутъ у своихъ родителей и приходятъ въ школу только на классное время, то окажется, что огромное большинство этихъ экстерновъ живетъ, ѣстъ и одѣвается хуже бурсаковъ, изображенныхъ у Помяловскаго. Если же мы предположимъ, что въ каждой деревнѣ устроенъ особый пансіонъ, въ которомъ постоянно живетъ учащееся юношество, то этотъ пансіонъ своею мизерностью и неопрятностью далеко превзойдетъ бурсу Помяловскаго. Кромѣ того, даже этотъ мизернѣйшій и грязнѣйшій пансіонъ для многихъ сельскихъ общинъ окажется совершенно непосильнымъ бременемъ.

На содержаніе бурсака казна отпускаетъ *немного*; значительная часть прилипаетъ обыкновенно къ рукамъ смотрителя, инспектора, эконома и училищной прислуги; остаткомъ поддерживается брешное существованіе бурсака; остатокъ этотъ составляетъ уже очень незначительную горсточку земныхъ благъ; но даже и по такой горсточкѣ наше общество никакъ не можетъ тратить ежегодно на *каждаго* изъ своихъ подрастаю-

щих членовъ. Бурсакъ живетъ очень бѣдно и грязно; но у него есть тысячи ровестниковъ, которые живутъ еще бѣднѣе и грязнѣе; между этими тысячами, составляющими большинство русскаго молодого поколѣнія, есть очень много и такихъ, которыхъ бѣдность и грязь доводятъ до преждевременной смерти. Поэтому назвать бурсу русскою школою вовсе не значитъ обидѣть русскую школу. Разсматривая внутреннее устройство бursы, мы вовсе не должны думать, что имѣемъ дѣло съ какимъ нибудь исключительнымъ явленіемъ, съ какимъ нибудь особеннотемнымъ и душнымъ угломъ нашей жизни, съ какимъ нибудь послѣднимъ убѣжищемъ грязи и мрака. Ничуть не бывало. Бурса — одно изъ очень многихъ, и притомъ изъ самыхъ невинныхъ проявленій нашей повсемѣстной и всесторонней бѣдности и убогости.

И такъ, будемъ разсматривать бурсу и мертвый домъ; проведемъ параллель между русскою школою и русскимъ острогомъ сороковыхъ годовъ.

II.

Обитатели мертваго дома, или проще каторжники, занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. Самая работа, говорить г. Достоевскій, показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы — не столько въ трудности и непрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная изъ-подъ палки». (Т. I, стр. 33). Далѣе, г. Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась бы еще болѣе ужасною и даже совершенно невыносимою, если бы ей былъ приданъ характеръ совершенной, полнѣйшей бесполезности и бессмыслицы, то есть, если бы, на примѣръ, арестанта заставили переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое, и обратно.

Спрашивается теперь, есть ли въ жизни бурсаковъ какое нибудь занятіе, соответствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый читатель, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтитъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія бурсаковъ похожи, какъ двѣ капли воды, на обязательную работу каторжниковъ. Остается только рѣшить вопросъ, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаковъ, на ту ли, которая дѣйствительно существуетъ въ мертвомъ домѣ, или же на ту, въ которой г. Достоевскій справедливо видитъ ужасный и, къ счастью, несущественный идеалъ каторжной работы? Мнѣ кажется, что работа бурсаковъ подходит довольно близко къ послѣдней категоріи, то есть, къ мучительному пере-

ливанію воды изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый. Каждому бурсаку, еще не совсѣмъ потерявшему способность размышлять, бурсацкое зубреніе должно казаться и дѣйствительно кажется занятіемъ совершенно бессмысленнымъ, совершенно бесполезнымъ, и слѣдовательно такимъ же мучительнымъ и невыносимымъ, какъ напримѣръ, безцѣльное переливаніе воды туда и обратно. Всѣ мы знаемъ очень хорошо, что бурсаки зубрятъ, или, по крайней мѣрѣ, зубрили жестоко. Но мнѣ кажется, немногіе изъ насъ отдають себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, что такое зубреніе или долбленіе. При поверхностномъ и невнимательномъ взглядѣ на предметъ можетъ показаться, что между простымъ запоминаніемъ и ожесточеннымъ вызубриваніемъ урока существуетъ только количественное различіе. Профаны могутъ разсуждать такъ: прочтите урокъ два или три раза, вы его запомните и будете въ состояніи пересказать его своими словами; а прочтите тотъ же урокъ разъ десять или пятнадцать, — и вы его вызубрите, то есть, будете знать его слово въ слово. — Профаны эти ошибаются. Запоминать и зубрить — это два совершенно различные процесса, и каждый изъ этихъ процессовъ имѣетъ свои специфическіе приемы. Тотъ неопытный и несчастный смертный, который вздумалъ бы зубрить урокъ, читая его со смысломъ и съ толкомъ отъ начала до конца, потратилъ бы даромъ *oleum et oreganum*. Запоминать, значитъ вглядываться въ мысли и отдавать себѣ отчетъ въ томъ, какимъ образомъ одна мысль связывается съ другою или вытекаетъ изъ нея. Зубрить, напротивъ того, значитъ приучать свой языкъ, свои губы, и всѣ другіе органы слова къ тому, чтобы они выдѣлывали бойко, безошибочно и въ неизмѣнной послѣдовательности тотъ длинный рядъ сложныхъ движеній, который соотвѣтствуетъ писаннымъ или печатнымъ словамъ даннаго урока. Вся штука и весь букетъ состоятъ именно въ томъ, чтобы эти движенія выдѣлывались сами собою, чтобы первое движеніе съ неодолимою силою тянуло за собою второе, третье, четвертое и такъ далѣе до самого конца, и чтобы весь этотъ рядъ движеній совершался независимо отъ размышленія; если вы, пустившись въ эти движенія, принуждены припоминать и соображать, то это значитъ, что результатъ не достигнутъ, и что урокъ непремѣнно начнетъ высказываться собственными словами, сообразно съ вашимъ личнымъ складомъ ума и съ вашимъ индивидуальнымъ оттѣнкомъ краснорѣчія. Если вы хотите что нибудь вызубрить, то вы должны, въ какіе нибудь полтора часа совершить надъ собою ту операцію, которая въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ совершается надъ фабричнымъ, приучающимся дѣлать, машинально, руками или ногами, тѣ или другія эволюціи. Навыкъ работника состоитъ въ томъ, что извѣстныя сочетанія движеній дѣлаются у него безъ напряженія вниманія, безъ постоянного участія воли и размышленія. Именно такіе навыки

приходится приобрѣтать зубрящему челѣвѣку въ самое короткое время. Если каждый день у бурсака имѣется по четыре урока, то аккуратно каждый вечеръ бурсакъ долженъ приобрѣтать себѣ по четыре совершенно различныхъ навыка, изъ которыхъ каждый не въ примѣръ сложнѣе и замысловатѣе единственнаго навыка, приобрѣтаемаго рабочимъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Приобрѣтаются эти навыки слѣдующимъ образомъ: вы дѣлаете сначала первыя десять движеній, то есть произносите первыя три или четыре слова урока, произносите нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока они у васъ срастаются между собою на глухо; къ этимъ упроченнымъ движеніямъ вы прибавляете пять или шесть новыхъ движеній, которыя черезъ нѣсколько минутъ прирастаютъ къ первымъ; затѣмъ вы оставляете въ сторонѣ образовавшуюся группу словъ, и точно такимъ же манеромъ устраняете изъ слѣдующихъ словъ урока новую группу; затѣмъ производится склеиваніе обѣихъ группъ въ одно цѣлое; когда склейка оказывается настолько солидною, что вы, нисколько не задумываясь, произносите подъ рядъ обѣ группы, тогда вы идете дальше, постоянно приклеивая къ затверженному началу урока новыя комбинаціи звуковъ. Взгляните со стороны на занимающихся учениковъ, и вы, при нѣкоторой наблюдательности, тотчасъ замѣтите, который изъ нихъ учитъ урокъ съ размышленіемъ и который зубрить. Размышляющій ученикъ читаетъ книгу глазами; губы его не шевелятся, а только изрѣдка сжимаются, когда онъ, наморщивъ лобъ и прищуривъ глаза, вдумывается, припоминаетъ и резюмируетъ прочитанную страницу; онъ иногда останавливается, повертываетъ страницу назадъ, перечитываетъ вновь тѣ мѣста, въ которыхъ заключается исходная точка послѣдующихъ мыслей; на лицѣ его видна живая смѣна ощущеній; онъ обнаруживаетъ признаки недоумѣнія, онъ чего-то ищетъ, онъ чѣмъ-то озабоченъ, онъ нахмуривается; потомъ онъ нападаетъ на слѣдъ той мысли, которую онъ искалъ, фізіономія его проясняется, въ глазахъ его проблескивается лучъ радости и живого пониманія, и юный мыслитель нашъ спокойно и весело продолжаетъ свою приостановившуюся работу.—Зубрило, напротивъ того, постоянно шевелитъ губами, и, покачиваясь всѣмъ туловищемъ, быстро вышоптываетъ одно за другимъ роковыя слова урока; чѣмъ сильнѣе становится его зубрильный пафосъ, тѣмъ яростнѣе шевелятся губы, тѣмъ громче произносятся слова и тѣмъ неукротимѣе качается туловище; зубрило шалѣетъ, глаза его мутятся, и весь онъ становится похожъ на челобѣка, опившагося дурманомъ, или на дровиша, закружившагося до помраченія разсудка.

Помяловскій, издавшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубриль и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. «Уче-

ники, говоритъ онъ, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смысла: стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... Потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ... потомъ... постигли... Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ и срамъ*. Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое выразилось въ пѣснѣ: «сколь блаженны тѣ народы». (Стр. 56).

«Что же удивительнаго, говоритъ онъ далѣе, что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикѣ, и что онъ скорѣе начнетъ играть въ плевки или продѣнетъ изъ носу въ ротъ нитку, нежели станетъ учить урокъ? Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ неиспытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются сѣти одна за другою, въ безконечномъ рядѣ, и мѣшаютъ видѣть предметы ясно; что голова его перестала дѣйствовать любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то аппаратъ, въ которомъ стоитъжать пружину.—и вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидывать слова, а въ словахъ — удивительно! — нѣтъ мысли, какъ бывало прежде». (Стр. 58). «Вонъ Данило Песковъ, продолжаетъ Помяловскій, — мальчикъ умный и прилежный, но рѣшительно неспособный долбить слово въ слово, просидѣвъ надъ книгою два часа съ половиною, поводитъ помутившимися глазами... и что же?... онъ видитъ, многіе измучились еще болѣе, чѣмъ онъ, многіе еще доканчиваютъ свою порцію изъ учебниковъ, озабоченно вычитывая урокъ и поднимая голову кверху, какъ пьющія куры. Иные чуть не плачутъ, потому что невысокій баллъ будетъ выставленъ противъ ихъ фамиліи въ нотатѣ. Одинъ, желая возбудить въ себѣ энергію, треплетъ самъ себя за волоса»... (Стр. 59).

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ г. Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ «Записокъ» отъ стр. 147 до стр. 152, г. Достоевскій описываетъ арестантскую работу, ломаніе старой барки; придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ, потомъ любезничаютъ съ калашницей и просятъ у нея того, чего мыши не ѣдятъ. Тутъ является приставъ надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урова, говоритъ, что скорѣй скорого не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполнитъ желаніе

публики и задаетъ ей урокъ». — Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются; они резонируютъ, благодумствуютъ, дѣлають кейфъ, и даже торгуются насчетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ конечно очень тяжело и незavidно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія, ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порятъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значить выучить урокъ — это я показалъ выше, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порятъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія, на долю одного бурсака можетъ придтись въ одинъ день по нѣскольку сбченій, чего съ арестантомъ уже никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и мловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурсѣ это право распределяется между многими учителями. «Когда приходилось, говорить Помяловскій, что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ же день, то одного и того же ученика сбкли нѣсколько разъ. Такъ Караса, случалось, отдирали четыре раза въ одинъ день (впродолженія всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста)». (Стр. 114). Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразятъ, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на извѣстное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, если бы арестантъ, осужденный на переливаніе воды, вздумалъ заупрямиться, и отказался бы отъ своей безплодной и мучительно-сучной работы, то его стали бы наказывать, а если бы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно также поступаютъ и съ лѣнливымъ бурсакомъ: сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, то есть, у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зубрящаго «*стидъ*» и «*срамъ*», и для арестанта, переливающего воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то же самое подвергается нѣкоторымъ невы-

годамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы допестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта въ томъ, чтобы безпакостно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда онъ постоянно извлекаетъ себѣ изъ работы немедленную выгоду, или когда самый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работою, хотя бы даже и обязательною. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла, и въ то же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергій и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно недействительною, и юношество подвигается впередъ по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли бы испугать даже обитателей мертваго дома, и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, если бы начальству вздумалось приурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды сею и овами.

III.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ мизерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ, одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остается за бурсою, по крайней мѣрѣ за тою бурсою, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе, мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и г. Достоевскаго не приложено, въ видѣ *pièces justificatives*, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ бы ни былъ дурень обѣдъ, но во всякомъ случаѣ, если только хлѣба дается въ волю, до-отвалу, то человѣкъ обезпеченъ, по крайней мѣрѣ, противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самою главною статьею питанія. И — какъ бы вы думали? — хлѣбъ въ бурсѣ выдавался счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба, сколько угодно. «Большинство, говоритъ Помяловскій, не желало

дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ оставленнымъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ: впрочемъ, и дѣлиться было не изъ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; *за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба*, изъ которыхъ одинъ сѣдался въ столовой, другой уносился въ карманъ про запасъ». (Стр. 123). По моему мнѣнію, эти скверные *два ломтя*, эта низкая плюшкинская скарედность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздухѣ*. Мнѣ кажется даже, что эта скаредность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ послѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось -гораздо благопристойнѣе.

«Впрочемъ, говорить г. Достоевскій, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Последнее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу, треть людей была бы голодная; въ артели же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ». (Стр. 35 I тома).

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу. — «Бирюлина корова! говорить одинъ арестантъ другому, — ишь отѣлся на острожномъ *чистякъ*. (I, 37)». — На волѣ не умѣли жить, говорится далѣе, — рады, что здѣсь до *чистяка* добрались (I, 41). «*Чистякомъ*, объясняетъ г. Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи, — назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси». — Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разныхъ неудобоваримыхъ гадостей, въ родѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ того обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы. Этимъ *чистякомъ* арестанты колятъ другъ другу глаза, выражая ту мысль, что-молъ ты, свинья, на свободѣ и не нюхалъ такихъ отборныхъ и утонченныхъ кушаній. Въ этихъ взаимныхъ попрекахъ, какъ вообще во всякихъ ругательныхъ выходкахъ, есть непременно своя доля преувеличенія; но для того, чтобы такой попрекъ могъ сформироваться, ему надо все-таки имѣть нѣкоторое основаніе въ общихъ и общеизвѣстныхъ фактахъ русской жизни. Арестантъ не станетъ попрекать своего товарища тѣмъ, что вотъ-молъ ты на свободѣ голый ходилъ, а теперь радъ, что добрался до казенной рубашки. Такой попрекъ не произвелъ бы никакого эффекта на острожную публику, потому что такой попрекъ совершенно неправдоподобенъ. Голыхъ людей въ Россіи дѣйствительно не имѣется, но людей, набивающихъ себѣ желудокъ раз-

ною дрянью, имѣется во всякое время очень достаточное количество. Во всякомъ случаѣ спасибо мертвому дому за чистякъ, на которомъ можно отѣѣться. Сравнивая этотъ чистякъ съ несчастными двумя лом-тами бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызывать къ себѣ нѣкоторое уваженіе, и считаться едва ли не за патриотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшалось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутого безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопление и освѣщеніе бурсы производились съ самою примѣрною бережливостію. «Въ классѣ совершенно темно, говоритъ Помяловскій, потому что начальство, изъ экономическаго расчета, зажигало лампу только въ часы занятій». (Стр. 39). «Начальство, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями». (Стр. 65). Обитатели мертвого дома не испытывали ни одного изъ этихъ двухъ неудобствъ,—ни темноты, ни холода. «Платьица или караульные, говоритъ г. Достоевскій, являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора». (Стр. 95, т. I). *Лишними свѣчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше на стр. 93, было сказано, что «каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большею частью деревянный». Но если были *лишніи* свѣчи, то, стало быть, были и не лишніи, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно, отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ острожной жизни, г. Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насѣкомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстныя причины; на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. «Дрова въ городѣ, говоритъ г. Достоевскій, продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество». (I, 139). Но каковы бы ни были причины, во всякомъ случаѣ это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и, въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертвого дома. Что же касается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и до паразитовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько не уступаютъ

другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсою. «Наконецъ — говоритъ г. Достоевскій, описывая жизнь въ гошпиталѣ, — уже послѣ вечерняго посѣщенія доктора, вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, считалъ всѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее предварительно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ же въ корридорѣ, всего только два шага отъ дверей». (II, 16). Такъ какъ рассказчикъ попалъ въ гошпиталъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было бы немислимо, если бы такой же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе рассказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго же бурсацкія спальни описываются слѣдующимъ образомъ: «Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченные яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насеквозъ, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистоты. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣрить ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало наконецъ способность чувствовать отвращеніе къ нему». (Стр. 65). Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ гошпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирають; а запирають ее для того, чтобы арестанты ночью какъ нибудь не ухитрились убѣжать. Г. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но во всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до нѣкоторой степени понятна; такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ по видимому невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя бы и совершенно бессмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить не зачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ отъ того, что, находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ; сдѣлавшись больнымъ, арестантъ напротивъ

того приходиться въ общій военный госпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулятся такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью по всей своей казармѣ; больной напротивъ того остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ госпитальѣ служить представительницею острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакою начальственной мнительностью и никакими глубокомысленными плацъ-маюрскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство... Если бы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣрное, что просителей перепороли бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думаютъ, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно къ ушату надо питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата значитъ сомнѣваться въ начальственной благодати и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непремѣнно должно отстаивать ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ г. Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. «Блохи, говоритъ г. Достоевскій, кишатъ міріадами. Онѣ водятся у насъ и зимою, и въ весьма достаточномъ количествѣ, но начиная съ весны разводятся въ такихъ размѣрахъ, о которыхъ я хоть и слыхивалъ прежде, но, не испытавъ на дѣлѣ, не хотѣлъ вѣрить. И чѣмъ дальше къ лѣту, тѣмъ злѣе и злѣе онѣ становятся. Правда, къ блохамъ можно привыкнуть, и самъ испыталъ это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучаютъ, что лежишь наконецъ словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не спишь, а только бредишь». (II, 112).

«Этихъ насѣкомыхъ (вшей), говоритъ Помяловскій, было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрять, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; члѣны стада на виду ходили въ его нестриженной и нечесаной головѣ; когда однажды сняли съ него рубашку, и вынесли ее на свѣтъ, то свѣтъ зачернился отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и гризъ ѣли тѣло бурсака». (Стр. 18).

IV.

Теперь декорации обрисованы; надо познакомиться съ физиономіями и характерами дѣйствующихъ лицъ. Такъ какъ мы замѣтили поразительное сходство въ тѣхъ условіяхъ, которыми обставлено существованіе бурсаковъ и арестантовъ, то нужно ожидать уже заранѣе, что обнаружится сходство и въ тѣхъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, которыя развиваются изъ данныхъ условій.

Гнетъ, обязательная работа, лишенія и грязь — вотъ тѣ неудобства, которыя въ большей или меньшей степени отправляютъ собою существованіе арестантовъ и бурсаковъ. Что же изъ этого должно получиться? И въ какихъ формахъ должно здѣсь выразиться то неистребимое чувство самосохраненія, которое вездѣ и всегда является самымъ сильнымъ двигателемъ отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ?

Представьте себѣ, что въ одну тѣсную кучу собрано нѣсколько десятковъ людей, которыхъ насильно держать впроголодь, и которымъ не даютъ вообще самыхъ необходимыхъ принадлежностей матеріальнаго благосостоянія. При этомъ, этихъ людей занимаютъ съ утра до вечера такими работами, отъ которыхъ нисколько не можетъ улучшиться ихъ невыносимое положеніе. Спрашивается, о чемъ должны думать эти люди, и что они должны чувствовать? Отвѣчать, кажется, не трудно. Они должны думать о томъ, нельзя ли какимъ нибудь образомъ промыслить себѣ какой нибудь лакомый кусокъ, или беремя дровъ для печки, или вообще такую штуку, которая въ данную минуту доставила бы мимолетное облегченіе организму, измученному различными лишеніями. Всѣ помыслы и всѣ желанія должны быть постоянно устремлены туда, куда указываютъ неудовлетворенныя потребности организма. Осуществленіе этихъ естественныхъ и неизбѣжныхъ желаній до крайности затруднительно. Ему постоянно мѣшаютъ тѣ люди, которые наблюдаютъ за неуклоннымъ выполненіемъ обязательныхъ работъ. Отсюда, разумеется, должна развиться глухая, но ожесточенная борьба между наблюдателями и работниками. Отсюда рождаются между тѣми и другими взаимная ненависть и взаимное недоувѣріе. Наблюдатели дѣйствуютъ открытою силою; работники, какъ люди подначальные, поднимаются на разныя хитрости; замѣтивъ эти хитрости, наблюдатели стараются ихъ проникнуть и разрушить; для этого пускается въ ходъ шпіонство; болѣе или менѣе утонченное и замысловатое. Словомъ, свирѣпствуетъ война во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ и со всѣми своими неизбѣжными нравственными послѣдствіями.

Но все это — только одна сторона дѣла. Прежде всего надо конечно обмануть наблюдателей, увернуться на нѣсколько времени изъ-подъ ихъ надзора, сбросить съ плечъ тяжесть обязательной работы, но затѣмъ, своротивъ съ дороги это препятствіе, надо еще предпринять что нибудь такое, вслѣдствіе чего получились-бы продукты, соответствующіе потребностямъ истомленнаго организма. Словомъ, надо выработать или похитить. Послѣдній способъ приобрѣтенія конечно не одобряется ни сводомъ законовъ, ни ученіемъ моралистовъ, ни даже общепринятыми житейскими обычаями. Къ сожалѣнію, надо сознаться, что организмъ, принужденный бороться съ обществомъ за свое собственное существованіе, становится обыкновенно внѣ всякихъ законовъ и обычаевъ. Органическая потребность, долго ненаходящая себѣ удовлетворенія, доводитъ желанія до такой крайней степени напряженія, что наконецъ для жаждущаго субъекта всѣ средства становятся безразличными, лишь бы только они вели къ предполагаемой цѣли. Всѣ фанатики, какъ бы ни были противоположны ихъ стремленія, сходны между собою по своей неразборчивости въ средствахъ, а фанатизмъ — не что иное, какъ любовь къ какой нибудь идеѣ, дошедшая до степени непреодолимой органической потребности. Поэтому можно сказать навѣрное, что человѣкъ, измученный голодомъ и холодомъ, будетъ для удовлетворенія своихъ потребностей работать или воровать, смотря потому, который изъ этихъ двухъ промысловъ окажется для него болѣе сподручнымъ и производительнымъ. Съ особеннымъ наслажденіемъ онъ будетъ воровать у тѣхъ людей, которые заставляютъ его голодать и терпѣть холодъ; здѣсь воровство будетъ ему казаться только необходимымъ возстановленіемъ нарушенной справедливости; легко можетъ случиться, что и другіе люди, непричастные къ этому воровству, произнесутъ объ немъ почти такое же сужденіе. Что бы вы сказали, напр., если бы голодные бурсаки пошли воровать хлѣбъ у того эконома, который выдаетъ имъ за обѣдомъ по два ломтя? Быть можетъ, вы сказали бы, что поступокъ бурсаковъ, по внѣшней формѣ своей, конечно неправиленъ, но что настоящимъ воромъ въ этомъ дѣлѣ оказывается эконома, хотя онъ и не пускаетъ въ ходъ неприличныхъ воровскихъ приемовъ. Впрочемъ я, по добротѣ души моей, не совѣтую вамъ-отваживаться на такіа рискованныя умышленія. Я предупреждаю васъ, что этотъ путь очень скользокъ и опасенъ. Чтобы не съѣхать по этому пути въ невѣдомую вамъ глубину мучительныхъ социальныхъ вопросовъ, держитесь крѣпко, держитесь руками и зубами за внѣшнюю форму человѣческихъ поступковъ. Въ данномъ случаѣ немедленно приговаривайте къ розгамъ и къ исключенію тѣхъ бурсаковъ, которые посягнули на казенный хлѣбъ, и такъ же немедленно приглашайте къ себѣ въ домъ, какъ знакомаго и друга, того искуснаго

эконома, который изъ казеннаго хлѣба умѣетъ выкраивать шелковыя платя для своей супруги и для своихъ дочерей.

Кто усвоилъ себѣ техническую сторону хищничества, и кто при этомъ постоянно голодаетъ и вябнѣетъ, тотъ непремѣнно постарается развернуть свои таланты во всей ихъ обширности, и никакъ не захочетъ ограничивать ихъ приложение узкою сферою казеннаго буфета. Кто началъ свое поприще съ набѣговъ на казенныя дрова и на казенный хлѣбъ, тотъ пойдетъ дальше, если только нужда будетъ утѣтатъ его по прежнему. Привычка и умѣнье красть ставятъ человѣка въ разрѣзъ съ законами и обычаями; попавши разъ въ это оппозиціонное положеніе, человѣку трудно остановиться; если онъ оправдалъ въ своихъ собственныхъ глазахъ кражу хлѣба у эконома, то онъ сумѣетъ оправдать кражу съѣстныхъ припасовъ въ мелочной лавочкѣ; основная причина воровства, голодъ, продолжаетъ существовать и подавляеть очень легко робкія возраженія совѣстливости, деликатности и справедливости. Лавочникъ конечно нисколько не виноватъ въ томъ, что бурсака дурно кормятъ; но вѣдь и самъ бурсакъ въ этомъ также ни сколько не виноватъ; на него наваливаютъ мученія голода ни за что, ни про что; съ нимъ самимъ поступаютъ несправедливо, и это онъ чувствуетъ; поэтому онъ и старается перебросить на перваго встрѣчнаго, хоть, напримѣръ, на лавочника, часть той подавляющей тяжести, которую онъ, бурсакъ, несетъ совершенно безвинно, по волѣ благодѣтельнаго начальства. Приучившись красть съѣстное, бурсакъ сообразить безъ особеннаго труда, что, посредствомъ обмѣна, всевозможные предметы могутъ быть превращаемы въ булки и въ калачи. Тогда начнется сплошное похищеніе всего, что имѣетъ какую нибудь мѣновую цѣнность. Постоянное упражненіе въ хищничествѣ разовьетъ въ данномъ субъектѣ именно тѣ качества и способности, которыя совершенно неумѣстны въ благоустроенномъ обществѣ. Чрезмѣрное развитіе этихъ противообщественныхъ способностей и наклонностей задушить всякое расположеніе къ правильному и спокойному труду. Данный субъектъ пустится обирать всѣхъ, своихъ и чужихъ, начальниковъ, сосѣдей и даже товарищей. Наконецъ онъ попадется; его отпорятъ и выключатъ; онъ очутится на улицѣ безъ аттестата, безъ ремесла, съ пустымъ желудкомъ и съ очень замѣчательными хищническими инстинктами и способностями.

Живи такой субъектъ въ XVI столѣтіи, онъ сгигравился бы въ запорожскую сѣчь и сдѣлался бы лучшимъ украшеніемъ тамошняго казачества. Но такъ какъ въ наше прозаческое время казаціе подвиги строго запрещены уголовными законами, то предприимчивый юноша, по выходѣ изъ бурсы, не превратится въ знаменитаго героя и будетъ тихо и скромно заниматься мазурничествомъ до тѣхъ поръ, пока его беззачинія не переполняютъ мѣры полицейскаго долготерпѣнія. Когда же, не

смотря на его похвальную скромность, его возрастающая слава обратит на себя вниманіе мѣстнаго начальства, тогда его препроводятъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ, въ одинъ изъ многихъ мертвыхъ домовъ, находящихся въ европейской или азіатской Россіи. Мертвый домъ не искушаетъ нашего юношу, который въ своемъ новомъ жилищѣ увидитъ знакомыя картины, способныя оживить въ его памяти дни его печальнаго отрочества. Если юноша окажется способнымъ окинуть все свое прошедшее общимъ философскимъ взглядомъ, то онъ, вѣроятно, сообразитъ, что мертвый домъ составляетъ для него естественное продолженіе и логическій результатъ бурсы.

V.

Въ предыдущей главѣ была проведена та мысль, что, еще очень недавно, бурса систематически направляла нѣкоторыхъ изъ своихъ питомцевъ къ мертвому дому. Въ подтвержденіе этой мысли я, правда, не могу привести никакихъ статистическихъ фактовъ, потому что подобные факты еще не собраны: мы рѣшительно не знаемъ, изъ какихъ элементовъ слагается населеніе нашихъ мертвыхъ домовъ и какъ велико число бурсаковъ, погибшихъ для общества, въ сравненіи съ общимъ числомъ юношей, обучавшихся въ былые годы въ духовныхъ училищахъ. Достоверныя статистическія цифры рѣшили бы вопросъ, но когда нѣтъ цифръ, тогда слѣдуетъ принимать въ соображеніе такіе матеріалы, какъ «Очерки бурсы» Помяловскаго, котораго до сихъ поръ еще ни одинъ бывший бурсакъ не рѣшался упрекать въ искаженіи фактовъ или въ ложности основнаго колорита. «Надобно замѣтить, говоритъ Помяловскій, характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительнымъ только относительно товарищества. Было три сферы, которыя, по нравственному отношенію къ нимъ бурсака, были совершенно отличны одна отъ другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было внѣ стѣнъ училищныхъ, за воротами его: здѣсь воровство и скандалы одобрялись бурсацкою коммуной, особенно когда дѣло велось хитро, ловко и остроумно. Но въ такихъ отношеніяхъ къ обществу не было злости или мести: позволялось красть только съѣдобное; поэтому обокрасть лавочника, разнощика, сидѣльца уличнаго — ничего, а украсть, хоть бы на сторонѣ, деньги, одежду и тому подобное, считалось и въ самомъ товариществѣ мерзостью. Третья сфера — пачальство: ученіи гадали ему злорадостно и съ мстью. Такъ сложилась

бурсацкая этика.... Теперь также понятно, отчего это въ бурсацкомъ языкѣ такъ много самобытныхъ фразъ и рѣченій, выражающихъ понятие кражи: вотъ откуда всѣ эти *сбондили, сляпсили, сперли, стибрили, обьюрили* и тому подобныя: (Стр. 83.) Нельзя сказать, чтобы эти общепризнанныя нравственныя правила бурсы отличались особенною строгостью. Но любопытно замѣтить, что эта теорія все-таки стоитъ выше той житейской практики, которую изображаетъ самъ же Помяловскій.

По теоріи, воровство относительно товарищества считается предосудительнымъ. А на практикѣ, Аксютка обворовываетъ своихъ товарищей, пользуется между ними репутаціею извѣстнаго мазурика и въ то же время не подвергается съ ихъ стороны никакимъ преслѣдованіямъ; съ нимъ обращаются, какъ съ хорошимъ товарищемъ и лихимъ удалцомъ. Самъ онъ постоянно веселъ, развязенъ и самодоволенъ, чего никакъ не могло бы быть, если бы все товарищество обращалось съ нимъ, какъ съ негодяемъ и отверженцемъ. А что бурсацкое товарищество дѣйствительно умѣетъ преслѣдовать тѣ преступленія, которыя возбуждаютъ его негодованіе, то это можно усмотрѣть изъ трагической исторіи фискаля Семенова, выведеннаго на сцену въ первомъ очеркѣ Помяловскаго. Этого Семенова въ одинъ вечеръ избили, обокрали, высѣкли и наконецъ чуть-чуть не задушили дымомъ горячей ваты. Къ этому надо еще прибавить, что съ нимъ никто не говорилъ съ той минуты, какъ его огласили фискаломъ. Сравнивая печальную судьбу фискаля Семенова съ постояннымъ ликованіемъ вора Аксютки, я прихожу къ тому заключенію, что воровство въ бурсѣ не считалось предосудительнымъ даже относительно товарищества. Что Аксютка не ограничивался похищеніемъ съѣстныхъ припасовъ—на это у Помяловскаго имѣется также достаточное количество довазательствъ. Первый шагъ Аксютки на глазахъ читателя состоитъ въ томъ, что онъ крадетъ ночью у товарища волчью шубу, которая, при поголовной бурсацкой бѣдности, должна была считаться великою драгоценностью. Что такая покража совершилась, въ этомъ нѣтъ еще ничего особенно удивительнаго и характернаго. Подобные случаи возможны даже въ самыхъ приличныхъ и благоустроенныхъ заведеніяхъ, потому что въ семьѣ не безъ уroda. Но замѣчательно то, что пропажа шубы осталась безъ всякихъ послѣдствій; описавши воровскую продѣлку Аксютки, Помяловскій уже не возвращается больше къ этому предмету; шуба канула въ воду, и на другой день въ бурсацкомъ товариществѣ объ этомъ событіи не было даже никакого разговора. Значитъ, приходится предположить, что подобные случаи очень нерѣдки, и что владѣлецъ украденной шубы, быть можетъ, ждетъ только слѣдующей ночи, чтобы наверстать свою потерю на комъ-нибудь изъ своихъ безпечныхъ товарищей. Если это предположеніе сколько нибудь основательно, то бурсацкая этика, о которой говоритъ Помяловскій, оказывается въ со-

вершенномъ разладѣ съ фактами дѣйствительной бурсацкой жизни, или, по крайней мѣрѣ, не обнаруживаетъ на эти факты никакого регулирующаго вліянія. Мнѣ кажется, настоящая бурсацкая этика состоитъ только въ томъ, что нѣкоторыми воровскими подвигами можно хвастаться во всеуслышаніе, а другіе слѣдуетъ покрывать благоразумнымъ молчаніемъ.

Оно и понятно. Если вы обокрали вашего товарища, то не можете же вы въ его присутствіи рассказать вашу продѣлку, за которую оскорбленный собственникъ можетъ тотчасъ же вступить съ вами въ рукопашный бой. Что же касается до общественнаго мнѣнія бурса, то оно по-видимому, относится совершенно равнодушно ко всякимъ неправильнымъ передвиженіямъ собственности, гдѣ бы они ни совершились и въ какихъ бы формахъ они ни обнаруживались. Тебя обокрали, говоритъ общество, — ты самъ и вѣдайся съ воромъ, самъ разыскивай его, самъ отнимай у него твою собственность и самъ наказывай его за нарушеніе твоего спокойствія. Если же у тебя на все это не хватитъ умѣнья и силы, если воръ вторично одурачить тебя или намнетъ тебѣ же бока, то намъ, постороннимъ зрителямъ, до этого не будетъ никакого дѣла, и мы сами очень добродушно будемъ смѣяться надъ твоею неловкостью и надъ твоимъ безсиліемъ.

Такъ разсуждаютъ обыкновенно всѣ первобытныя общества, и было бы очень удивительно, если бы бурса разсуждала иначе. Помяловскій рассказываетъ, что нѣкоторые бурсаки умилоствляли и задобривали подарками знаменитаго вора Аксютку, чтобы онъ пощадилъ ихъ достоиніе. Вотъ видите! А почему же тѣ же бурсаки и не думали умилоствлять и задобривать фискаловъ, несмотря на то, что фискаль, находящійся въ союзѣ съ начальствомъ, гораздо опаснѣе вора, котораго начальство, разумѣется, не станетъ поддерживать? Потому, что въ борьбѣ съ фискаломъ каждая отдѣльная личность чувствовала за собою единодушную, горячую и энергическую поддержку всего бурсацкаго общества; фискаль былъ всегда одинокимъ явленіемъ, поразительною аномаліею, гнуснымъ уродомъ, котораго безобразіе росалось въ глаза всему окружающему обществу; почти каждый бурсакъ, положа руку на сердце, могъ смѣло сказать, что онъ самъ нисколько не фискаль; поэтому всеобщее негодованіе противъ фискала было такъ неподдѣльно и неудержимо, что оно не допускало и мысли о какихъ бы то ни было компромиссахъ съ преступникомъ. Съ воромъ, напротивъ того, каждому надо было бороться одинъ на одинъ; публика въ воровскомъ поступкѣ видѣла преимущественно его изящную сторону; публика любовалась отвагою и хитростью похитителя; почти каждый бурсакъ, положа руку на сердце, долженъ былъ признаться, что онъ также способенъ учинить похищеніе; поэтому, союзъ всего общества противъ вора былъ невозмо-

женъ, и знаменитый воръ въ бурсацкомъ мѣрѣ могъ играть роль грознаго божества, умилостивляемаго посильными жертвоприношеніями.

Въ мертвомъ домѣ умилостивленій не было, но воровство процвѣтало, и такъ какъ арестанты были отгорожены отъ внѣшняго міра вѣрыими стѣнами и частоколами, то это воровство имѣло совершенно междоусобный характеръ. Воронъ очень смѣло выклеивалъ глаза ворону, или, говоря по французски, *les loups se mangeaient entre eux* (волки ѣли другъ друга).

«Вообще, говорить г. Достоевскій, всѣ воровали другъ у друга ужасно. Почти у каждаго былъ свой сундукъ съ замкомъ для храненія казенныхъ вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какіе тамъ были искусные воры. У меня одинъ арестантъ, искренно преданный мнѣ человекъ (говорю это безъ всякой натяжки), укралъ библію, единственную книгу, которую позволялось имѣть въ каторгѣ; онъ въ тотъ же день мнѣ самъ сознался въ этомъ, не отъ раскаянія, но жалѣя меня, потому что я ее долго искалъ». (I, 28).

Кромѣ воровства въ мертвомъ домѣ и въ бурсѣ процвѣтало съ безпримѣрною силою ростовщичество. «Нѣкоторые, говорить г. Достоевскій, съ успѣхомъ промышляли ростовщичествомъ. Арестантъ, заматавшійся или раззорившійся, несъ послѣднія свои вещи ростовщику и получалъ отъ него нѣсколько мѣдныхъ денегъ, за ужасные проценты. Если онъ не выкупалъ эти вещи въ срокъ, то онъ безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процвѣтало, что принимались подъ закладъ даже казенныя смотровыя вещи, какъ то: казенное бѣлье, сапожный товаръ и проч.,—вещи, необходимыя всякому арестанту во всякій моментъ.» (I, 28).

Въ томъ же томѣ, на стр. 191, г. Достоевскій даетъ намъ понятіе о величинѣ каторжнаго процента. Осторожный ювелиръ и ростовщикъ, Исай Фомичъ Бумштейнъ, подъ залогъ какихъ-то старыхъ штановъ и подвертокъ, даетъ займы другому арестанту семь копѣекъ, съ тѣмъ, чтобы тотъ черезъ мѣсяцъ заплатилъ ему десять копѣекъ. Три копѣйки на семь копѣекъ, это значитъ 43 процента въ мѣсяцъ. Въ годъ получится, стало быть, 516 процентовъ, то есть, капиталъ увеличится слишкомъ въ шесть разъ. Это очень не дурно, но, въ сравненіи съ бурсацкими процентами, это умеренно. Бурсаки и въ этомъ отношеніи умудрились перещеголять каторжниковъ. «Ростъ въ училищѣ, говоритъ Помяловскій, при негнѣпомъ его педагогическомъ устройствѣ, былъ безсовѣстенъ, наглъ и жестокъ. Въ такихъ размѣрахъ онъ нигдѣ и никогда не былъ и не будетъ. Повсе не рѣдкость, а напротивъ норма, когда *десять копѣекъ*, взятые на *медленный срокъ*, оплачивались *явнымъ образомъ* *копѣйками*, т. е. по общепринятому займу на годъ это выйдетъ *двадцать пять* (вѣрнѣе двадцать шесть) *разъ капиталъ на капиталъ.*»

(Стр. 14). На стр. 216 и 217 мы видимъ сдѣлку между Карасемъ и Тавлею. Карась въ среду проситъ у Тавли пять копѣекъ. Тавля къ воскресенью требуетъ семь копѣекъ. Но Карась оставленъ безъ отпуска и поэтому желаетъ уплатить долгъ не въ ближайшее, а въ слѣдующее воскресенье. — Тогда десять, говоритъ Тавля. И такъ капиталъ удваивается въ одиннадцать дней.

Ростовщичество поддерживалось въ бурсѣ взяточничествомъ, которое въ свою очередь было порождено остроумною выдумкою начальства, создавшаго изъ старшихъ учениковъ цѣлую систему контроля надъ младшими. Одинъ изъ этихъ старшихъ учениковъ, *цензоръ*, долженъ былъ смотрѣть за поведеніемъ своего класса; другіе, *авдиторы*, выслушивали уроки и ставили ученикамъ баллы, на основаніи которыхъ учитель производилъ надлежащіе вразумленія; третьи, *сѣкундаторы*, были сами орудіями этихъ вразумленій; на ихъ попеченіи находились розги, и они же сами, по приказанію учителя, сѣкли своихъ лѣнивыхъ или шаловливыхъ товарищей. Эти сановники занимались своимъ дѣломъ методически и съ любовью. «У печки, говоритъ Помяловскій, сѣкундаторъ, по прозванію Сушина, учился своему мастерству: въ рукахъ его отличныя лозы; онъ помахивалъ ими и выстегивалъ въ воздухъ полосы, которыя должны будутъ лечь на тѣло его товарища.» (Стр. 27). Всѣ эти владыки, цензора, авдиторы и сѣкундаторы, держались на одинаковомъ продовольствіи съ остальными бурсанами: всѣ они голодали, а между тѣмъ имъ была дана власть надъ массаами; цензоръ и авдиторы могли во всякую данную минуту подвести любого изъ своихъ товарищей подъ розги; а сѣкундаторъ могъ сѣчь бережно или во всю ивановскую; каждый изъ этихъ властителей понималъ свою силу и давалъ ее чувствовать тѣмъ подчиненнымъ, которые осмѣливались сомнѣваться въ ея сокрушительности. Подчиненные принуждены были подольщаться къ сановникамъ и откупаться отъ ихъ взысканій деньгами и различными приношеніями. «Цензора, авдиторы, старшіе и сѣкундаторы, говоритъ Помяловскій, получили полную возможность дѣлать что угодно. Цензоръ былъ чѣмъ-то въ родѣ царька въ своемъ царствѣ, авдиторы составляли придворный штатъ, а второкурсные (оставшіеся въ классѣ на второе двухлѣтіе) — аристократію». (Стр. 13). «Тавля, въ качествѣ второкурснаго авдитора, притомъ въ качествѣ силача, былъ нестерпимый взяточникъ, дралъ съ подчиненныхъ деньгами, булками, порціями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля былъ ростовщикъ».... «Необходимость въ займѣ всегда существовала. Цензоръ или авдиторъ требовали взятки; не дать — бѣда, а денегъ нѣтъ; вотъ и идетъ первокурсный къ своему же товарищу, но ростовщику; понятно, что въ этомъ случаѣ онъ ранѣе согласенъ на какой угодно процентъ, лишь бы избавиться отъ презестовыхъ грядущихъ розгачей. Кредитъ обыкновенно гаранти-

руется кулакомъ, либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на ростъ только второкурсники». (Стр. 14).

Этого источника деморализаціи въ мертвомъ домѣ не было; арестанты могли обворовывать другъ друга, но взяточничество было для нихъ невозможно, потому что ни одинъ изъ нихъ не могъ подводить своихъ товарищей подъ наказанія. Когда арестантъ занималъ у ростовщика, то онъ тратилъ эти деньги на свои собственные надобности или удовольствія, а не на то, чтобы отвратить отъ своей спины карающую десницу, вооруженную *прежестокими розгами*. Поэтому, вѣроятно, каторжный процентъ былъ впятеро ниже бурсацкаго. Неимоверная высота послѣдняго объясняется преимущественно тѣмъ страхомъ, подъ вліяніемъ котораго находились ученики въ то время, когда онъ обращался къ ростовщику.

Обирая своихъ подчиненныхъ, классные сановники въ то же время и развращали ихъ, приучая ихъ къ самому безотвѣтному рабству, и подвергая ихъ самымъ возмутительнымъ униженіямъ. «Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли, говорить Помяловскій проявилась вся при деспотизмѣ второкурсія. Онъ жилъ бариномъ, никого знать не хотѣлъ ему писались записки и вокабулы, по которымъ онъ учился; самъ не встанетъ для того, чтобы напиться воды, а кричитъ: «Эй, Катъка, пить!» Подъавдиторные чесали ему пятки, а не то велить взять перочинный ножъ и скоблить ему между волосами въ головѣ, очищая эту поганую голову отъ перхоти, которая почему-то называлась *плотью*; заставлялъ говорить ему сказки, да непремѣнно страшныя (проявленіе эстетическаго чувства!), а не страшно такъ отдуеть (проявленіе критической разборчивости!); да и тѣмъ только, при глубокомъ развратѣ Тавли, не служили для него подъавдиторные?» (Стр. 15). Въ послѣднихъ словахъ заключается довольно ясный намекъ на — какъ бы выразиться поутонченнѣе?—на сократическую любовь...

VI.

Человѣческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она можетъ сохранять свою свѣжесть и свою красоту посреди самаго гнетущаго безобразія окружающей обстановки. Чистыя и свѣтлыя личности, подобныя Добролюбову и Помяловскому, выходятъ иногда изъ бурсы, такія же личности проходятъ иногда не загрязнившись, черезъ мертвый домъ. Но и въ бурсѣ, и въ мертвомъ домѣ, на одного

устоявшего приходится всегда по нѣскольку десятковъ потшибшихъ, развращенныхъ, разслабленныхъ, растерявшихъ здоровье, энергію и умственные способности. Устоять противъ бурсы, должно быть, во всякомъ случаѣ гораздо труднѣе, чѣмъ удержаться невредимымъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурсу поступаютъ малолѣтніе ребята, которыхъ силы и способности, какъ бы онѣ ни были велики и блистательны, могутъ быть направлены и въ хорошую, и въ дурную сторону, и на полезный трудъ, и на подлое надувательство, смотря потому, какимъ вліяніемъ подчинятся формирующійся характеръ и развивающійся умъ. Въ мертвый домъ, напротивъ того, попадаютъ обыкновенно взрослые люди, которые или окончательно испорчены жизнью, или уже до такой степени закалены въ борьбѣ съ враждебными обстоятельствами, что никакія постороннія вліянія не покачнутъ ихъ убѣжденій ни вправо ни влѣво. Первыхъ уже нечего портить, а вторыхъ испортить невозможно. Къ этимъ двумъ крайнимъ разрядамъ надо впрочемъ прибавить третій, очень многочисленный разрядъ людей, попавшихъ на каторгу случайно, за какое нибудь такое преступленіе, въ которомъ нельзя подмѣтить ни радикальной испорченности, ни фанатической любви къ неопозволительной идеѣ. Къ этому третьему разряду принадлежать преимущественно убійцы, потому что убійство очень часто обуславливается такими страстями и порывами, которые во всякую данную минуту могутъ разыграться въ самомъ спокойномъ и кроткомъ человѣкѣ. Въ этомъ третьемъ разрядѣ могутъ попадаться люди самыхъ разнообразныхъ характеровъ, между прочимъ и такіе, которые, безъ какой нибудь несчастной случайности, безъ какого нибудь совершенно непредвидимаго и неотвратимаго стеченія обстоятельствъ, прожили бы непременно до глубокой старости по всѣмъ правиламъ строжайшаго благочинія. Разнообразію характеровъ соответствуетъ въ мертвомъ домѣ безконечное разнообразіе той жизни, которую вели его обитатели раньше своего соединенія подъ гостепріимною кровлею острога.

При такомъ разнообразіи стремленій, понятій, воспоминаній и надеждъ, — у взрослыхъ людей, собранныхъ въ острогъ со всѣхъ концовъ Россіи и расположенныхъ заранѣе подозрѣвать другъ въ другѣ отъявленныхъ мерзавцевъ, — не можетъ проявляться особенно сильная склонность къ взаимному сближенію. Корпоративный духъ въ острогѣ долженъ быть очень слабъ. Яркія и крѣпкія личности должны конечно подчинять своему вліянію людей безцвѣтныхъ и ничтожныхъ, такъ точно, какъ это дѣлается само собою во всякомъ обществѣ; но въ мертвомъ домѣ не должно существовать такой силы, которая прыгнала бы къ одному общему идеалу и шлифовала бы на одинъ образецъ всѣ индивидуальныя умы и характеры. Осторожное общество такъ рыхло и рассыпчато, въ немъ такъ мало однородности и компактности, что оно, какъ общество,

не может подчинить своихъ членовъ никакимъ общеобязательнымъ законамъ, запрещеніямъ или предписаніямъ. Это полное безсиліе общества особенно ярко выражается въ томъ обстоятельствѣ, что это общество даже не пробуетъ защищать себя противъ своихъ собственныхъ измѣнниковъ и шпионовъ. Во II томѣ своихъ записокъ, отъ стр. 150—168, г. Достоевскій рассказываетъ, какимъ образомъ арестанты заявляли претензію, то есть жаловались плацъ-маіору на дурное качество пищи. Большинство сговорилось между собою, выстроилось на острожномъ дворѣ, и черезъ унтеръ-офицера послало доложить маіору, что «желаетъ говорить и лично просить его насчетъ нѣкоторыхъ пунктовъ». Маіоръ пріѣхалъ и тотчасъ началъ ругаться; арестанты не произнесли ни одного слова, и претензія разстроилась, потому что многіе струсили и объявили себя довольными. Кромѣ того нѣсколько человекъ во время претензіи оставались въ кухнѣ и не хотѣли принимать въ общей демонстраціи никакого участія. Когда все дѣло кончилось, и когда маіоръ перепоролъ тѣхъ людей, которыхъ ему угодно было считать зачинщиками, тогда арестанты не обнаружили никакого неудовольствія, ни противъ тѣхъ, которые сидѣли въ кухнѣ, ни противъ тѣхъ, которые нервные объявили себя довольными и разстроили общее предпріятіе. Явная измѣна, подводившая подъ розги смѣлыхъ и стойкихъ товарищей, осталась такимъ образомъ совершенно безнаказанною. Это обстоятельство очень удивляетъ автора записокъ, потому что авторъ совершенно ошибочно примѣняетъ къ мертвому дому тѣ понятія о товариществѣ, которыя мы обыкновенно выносимъ съ собою въ жизнь изъ учебныхъ заведеній. Но эти понятія къ населенію мертвого дома совершенно непримѣнны. Гдѣ существуетъ хоть какое нибудь товарищество, тамъ непременно должны существовать ненависть и презрѣніе къ фискальству. Безъ этого условія товарищество немислимо, и солидарность между отдѣльными личностями невозможна. А въ мертвомъ домѣ не было ничего похожаго на преслѣдованіе доносчиковъ. «Что же касается вообще доносовъ, говорить г. Достоевскій, то они обыкновенно процвѣтаютъ. Въ острогѣ доносчикъ не подвергается ни малѣйшему униженію; негодованіе къ нему даже немислимо. Его не чуждаются, съ нимъ водятъ дружбу, такъ что, если бы вы стали въ острогѣ доказывать всю гадость доноса, то васъ бы совершенно не поняли». (I, 68).

Не можетъ быть, чтобы то лицо, которое само страдаетъ отъ доноса, не чувствовало ненависти противъ доносчика. Это было бы совершенно неестественно. Боль всегда вызываетъ злобу противъ причинъ боли. Но тутъ-то именно и обнаруживается разница между товариществомъ и такимъ обществомъ, въ которомъ нѣтъ солидарности. Въ товариществѣ боль одного лица отражается на всѣхъ остальныхъ; всѣ заступаются за одного, и одинъ долженъ дѣйствовать, какъ всѣ; донос-

чикъ оказывается общимъ врагомъ, и съ нимъ не смѣютъ водить дружбу даже тѣ люди, которымъ его поступокъ не внушаетъ особенно сильнаго отвращенія. Въ такомъ обществѣ, какъ населеніе мертваго дома, дѣло идетъ совсѣмъ иначе: тутъ всякій злится и мститъ собственными средствами только за свои собственные обиды. Очень можетъ быть, что многіе презираютъ и ненавидятъ доносчика, но эти чувства обнаруживаются въ разсыпную, урывками, такъ что выраженія этихъ чувствъ сливаются съ общимъ потокомъ ругательствъ, безпрестанно оглашающихъ собору различныя обители мертваго дома. Изъ того, что доносчиковъ не преслѣдуютъ, никакъ нельзя вывести то заключеніе, что всѣ арестанты—подлецы, способные сами, при первомъ удобномъ случаѣ, превратиться въ фискаловъ. Ничуть не бывало. Терпимость въ отношеніи къ доносчикамъ доказываетъ только, что между арестантами нѣтъ единодушія и взаимнаго довѣрія. Каждый держитъ себя особнякомъ и думаетъ про себя: это не мое дѣло. Сунусь я одинъ ругать или бить доносчика—а вдругъ меня никто не поддержитъ, и останусь я въ дуракахъ; надо мною же всѣ будутъ смѣяться, да и шпіонъ нагадитъ мнѣ по-своему.

При полномъ отсутствіи товарищества въ мертвомъ домѣ, каждый можетъ совершенно безпрепятственно оставаться самимъ собою, можетъ также, слѣдуя собственному влеченію, совершенствоваться или развращаться. Никому до этого не будетъ дѣла; каждый занятъ самимъ собою и каждый требуетъ только съ своей стороны, чтобы имъ какъ можно меньше занимались другіе; весь тонъ арестантскихъ разговоровъ носитъ на себѣ печать общей скрытности и несообщительности; арестанты болтаютъ, шутятъ, смѣются, ругаются, но разговоръ и брань вертятся постоянно на самыхъ незначительныхъ предметахъ, вовсе незатрогивающихъ за живое тѣхъ людей, которые разговариваютъ и бранятся; кромѣ того, смѣхъ и шутки большинству арестантовъ рѣшительно не нравятся; ровная и сдержанная угрюмость составляетъ въ мертвомъ домѣ преобладающій колоритъ именно потому, что эта угрюмость всего лучше соответствуетъ внутренней разъединенности такихъ людей, которые принуждены жить вмѣстѣ, въ одной комнатѣ, не чувствуя никакихъ взаимныхъ симпатій и не желая имѣть другъ съ другомъ никакихъ общихъ интересовъ. Въ бурсы отношенія между обществомъ и отдѣльною личностью складываются совсѣмъ не такъ, какъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурсѣ товарищество очень сильно, быть можетъ, даже сильнѣе, чѣмъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Всякое школьное товарищество есть, въ большей или меньшей степени, оборонительный или наступательный союзъ учениковъ противъ начальства. Чѣмъ свирѣпѣе начальство и чѣмъ сильнѣе ненавидятъ его ученики, тѣмъ тѣснѣе смыкаются они между собою, чтобы выручать другъ друга въ бѣдѣ и чтобы общими силами

причислять непобѣдимому врагу множество мелкихъ непріятностей. Такъ какъ свирѣпость и скаредность бурсацкаго начальства доходила до фантастическихъ размѣровъ, то союзъ противъ этого начальства былъ совершенно необходимъ для спасенія здоровья и даже, можетъ быть, жизни учениковъ. Союзъ этотъ, разумѣется, былъ очень тѣсенъ, потому что общая ненависть была велика, а общая опасность постоянно висѣла, какъ дамокловъ мечъ, если не надъ головами, то, по крайней мѣрѣ, надъ спинами всѣхъ бурсаковъ.

Начальство мертваго дома было также достаточно свирѣпо и скаредно, и спины арестантовъ находились также въ постоянной опасности, но союза однако же не было, во-первыхъ потому, что арестанты, какъ люди опытные, понимали непобѣдимость общаго врага, а во-вторыхъ потому, что слишкомъ большое разнообразіе уже сформированныхъ характеровъ и умовъ заранѣе уничтожало всякую возможность соглашенія. Бурсаки, напротивъ того, дѣзли въ неравный бой со всею неразсчитливою заносчивостью молодости; имъ прежде всего хотѣлось насолить начальству, не обращая вниманія на то, что за это соленіе будетъ расплачиваться ихъ собственная шкура; страсть брала верхъ надъ благоразуміемъ, и легко можетъ быть, что именно эти взрывы страсти спасли бурсаковъ отъ окончательнаго отупѣнія и отъ неизлечимаго идиотизма. Далѣе, заключеніе и поддерживаніе тѣснаго товарищескаго союза было особенно удобно и легко потому, что въ бурсѣ, какъ въ чистословномъ заведеніи, было очень мало внутренняго разнообразія. Въ бурсу поступали дѣти, выросшія при очень сходныхъ условіяхъ, воспитанныя въ одинаковыхъ понятіяхъ, учившіяся читать по однимъ и тѣмъ же книгамъ, игравшія дома въ однѣ и тѣ же игры, слышавшія отъ взрослыхъ одни и тѣ же правоученія, словомъ, въ бурсу поступали цѣтки одной и той же почвы, или одного поля ягоды. Имъ было уже очень не трудно спѣться между собою и выработать, при содѣйствіи начальственнаго гнета, одинъ общій идеалъ, который для всѣхъ вновь поступающихъ учениковъ сдѣлался уже строго-обязательнымъ. Хотя идеалъ былъ выработанъ при самыхъ каторжныхъ условіяхъ жизни, однако же бурсаки горячо полюбили этотъ идеалъ и стали имъ гордиться, продолжая въ то же время ненавидѣть и презирать бурсу, то есть, ту форму, въ которую ихъ возлюбленный идеалъ былъ отлитъ. Бурсацкій идеалъ имѣетъ свои хорошія стороны; его можно назвать превосходнымъ оборонительнымъ оружіемъ, посредствомъ котораго богатая и сильная натура можетъ защитить себя отъ притупляющаго вліянія бурсацкой атмосферы, созданной тупоумной рутинной. Единственная обязанность идеальнаго бурсака состоитъ въ томъ, чтобы безгранично и неутомимо ненавидѣть гнетущую силу, проводя эту ненависть во всѣ

поступки жизни и дѣйству постоянно наперекоръ всѣмъ начальственнымъ приказаніямъ и запрещеніямъ.

Суровый и дикій идеалъ бурсаковъ хорошъ именно тѣмъ, что поддерживаетъ въ своихъ поклонникахъ мужество, энергію, стойкость, расторопность, свободу сужденій, и вообще такія качества, которыя были бы безпощадно истреблены начальственной системой безгласности, рабства и чинопочитанія. Но во-первыхъ, бурсацкій идеалъ не всякому по силамъ; а во-вторыхъ, этотъ идеалъ многими своими сторонами могъ прирости къ человѣку на-глухо и совершенно изуродовать на всю жизнь умъ и характеръ даннаго субъекта. Въ бурсу поступало много дѣтей слабаго сложенія, кроткаго и уступчиваго характера; эти личности, робкія, нѣжныя, стыдливыя, чувствительныя, пріученныя къ материнскимъ ласкамъ и способны плакать на-взрыдъ отъ сердитаго взгляда или отъ насмѣшливаго слова, попадали въ бурсѣ подъ перекрестный огонь, который совершенно сбивалъ ихъ съ толку и въ короткое время превращалъ ихъ въ подлецовъ или идіотовъ, не смотря на то, что они, по своимъ природнымъ задаткамъ, могли бы сдѣлаться людьми честными и очень неглупыми. Съ одной стороны, этихъ дѣтей тиранило начальство; съ другой стороны, ихъ презирало товарищество за то, что въ нихъ не было бурсацкой суровости и воинственности. Начальство требовало отъ этихъ простодушныхъ младенцевъ того, чего оно не рѣшилось бы требовать отъ закаленныхъ или *отпѣтыхъ* бурсаковъ; изъ такихъ птенцовъ, ошеломленныхъ бурсацкими нравами, начальство, при пособіи кое-какихъ коварно-ласковыхъ словъ, очень легко могло изготовить себѣ фискаловъ. Первое фискальство можетъ быть сдѣлано случайно, вслѣдствіе ребяческой довѣрчивости, вслѣдствіе неумѣнья отпалчиваться и отпѣкиваться; но когда первый шагъ сдѣланъ, тогда душа уже продана чорту, и отступленіе становится невозможнымъ, потому что товарищество не умѣетъ прощать, и въ раскаяніе фискаловъ не вѣритъ. Тогда несчастному мальчику приходится уже, изъ чувства самосохраненія, городить ложь на ложь и подлость на подлость, до тѣхъ поръ, пока наущничество и пролазничество не сдѣлаются для него второю натурою.

Надо сказать правду, что, кромѣ начальства, въ развращеніи такихъ личностей виновато и само товарищество, которое на первыхъ порахъ отталкиваетъ и озадачиваетъ робкаго новичка своею суровостью и неумолимостью. Тѣмъ матушкинымъ сынкамъ, которымъ удастся избѣгнуть сѣтей начальства, въ бурсѣ предстоитъ также незавидная участь. Примкнувши къ товариществу, они стараются поддѣлаться подъ его замашки, напускаютъ на себя искусственное ухарство, отдаютъ себя въ полное распоряженіе настоящихъ удалцовъ, съ которыми у нихъ по натурѣ нѣтъ ничего общаго, и такимъ образомъ, отказавшись отъ всякой нрав-

ственной самостоятельности, приучаются на всю жизнь плясать по чужой дуде и носить маски, совершенно несоответствующія природнымъ наклонностямъ. Подъ ихъ напускнымъ молодечествомъ скрывается самая жалкая безцвѣтность, которая и обнаружится немедленно, какъ только эти недоразвившіяся личности выйдутъ изъ подъ вліянія товарищества и вступятъ въ дѣйствительную жизнь.

Для сильныхъ характеровъ, для настоящихъ головорѣзовъ, бурсацкій идеалъ опасенъ тѣмъ, что онъ можетъ наградить ихъ на всю жизнь буйными инстинктами и дикими привычками, совершенно неудобными въ цивилизованномъ обществѣ и до крайности тяжелыми для всѣхъ окружающихъ людей. Если бурсакъ, вырвавшись изъ бурсы на свободу, останется вѣренъ своему идеалу, — то онъ рискуетъ сдѣлаться горькимъ пьяницею, уличнымъ буяномъ, дикимъ самодуромъ въ семействѣ и неспособнѣйшимъ человѣкомъ для всѣхъ своихъ знакомыхъ и друзей. А между тѣмъ ему очень трудно отрѣшиться отъ такого идеала, передъ которымъ онъ благоговѣлъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Для того, чтобы это отрѣченіе сдѣлалось возможнымъ, бурсаку необходимо встрѣтиться съ такими людьми и съ такими идеями, которые идутъ прямо въ разрѣзъ всѣмъ бурсацкимъ преданіямъ и убѣжденіямъ. Тогда нелена спадетъ съ глазъ умнаго, даровитаго и энергическаго бурсака, которому бурса дала драгоценную способность терпѣть, злиться и выжидать благоприятную минуту. Тогда, и только тогда, здоровая бурсацкая сила, взлелѣянная всевозможными невзгодами, перестанетъ тратиться на глупые подвиги ухарства и, пристроившись къ полезному дѣлу, развернется во всю свою ширину. Это значитъ, что бурсакъ, какъ бы онъ ни былъ уменъ, даровитъ и крѣпокъ, можетъ сдѣлаться свѣтлою личностью только за предѣлами бурсы. Въ самой же бурсѣ лучшіе изъ бурсаковъ подавлены своимъ идеаломъ, а мы уже видѣли, что этотъ идеалъ очень хорошъ для борьбы, но никуда не годится при обыкновенныхъ условіяхъ мирной трудовой жизни. Не годится онъ также и для той высшей борьбы, въ которой умные и честные люди поражаютъ заблужденія и разбиваютъ софизмы своихъ недалководидныхъ или недобросовѣстныхъ современниковъ. Но хорошъ и великъ бурсацкій идеалъ тѣмъ, что онъ, какъ твердая скала, охраняетъ до поры до времени и сберегаетъ для великаго житейской борьбы такіа силы, которыя, оставаясь безъ прикрытія, непременно испортились бы въ затхлой атмосферѣ зубренія и слѣпного послушанія.

VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, читателя уже не должно удивлять то обстоятельство, что въ мертвомъ домѣ встрѣчается болѣе

привлекательных и симпатичных характеров, чѣмъ въ бурсѣ. Въ тѣхъ четырехъ очеркахъ, которые успѣлъ написать Помяловскій, выведено на сцену нѣсколько сильныхъ натуръ, одаренныхъ блестящими способностями и желѣзною волею, но эти натуры находятся постоянно въ осажденномъ положеніи, онѣ вѣчно враждуютъ не только съ начальствомъ, но и между и собою; добродушію, дружелюбію, мягкимъ и нѣжнымъ чувствамъ человѣческой природы въ бурсѣ рѣшительно нѣтъ мѣста; воѣ игры бурсаковъ — *постылые, скоромные, швычки, цитчики*, и т. д. основаны на томъ, чтобы наносить другъ другу боль самыми разнообразными средствами; во время рекреации, ученики старшаго класса, отъ нечего дѣлать, отправляются *душь приходчину*, т. е. колотить младшій классъ; идя въ баню, бурсаки норовятъ изобидѣть всякаго встрѣчнаго, и монастырскаго сторожа, и ломового извозчика, и барочныхъ мужиковъ, и уличныхъ собакъ, и даже жильцовъ тѣхъ домовъ, мимо которыхъ лежитъ ихъ путь. «Шестые ихъ, говоритъ Помяловскій, знаменуются порчею разныхъ предметовъ, безъ всякаго смысла и пользы для себя, а просто изъ эстетическаго наслажденія разрушать и наломать». «Старуха бросается отъ нихъ опрометью на другую сторону улицы и шепчетъ съ ужасомъ: «Господи! да это никакъ бурса тронулась!» «Хорошо, прибавляетъ Помяловскій, что она довадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сдѣлать ей *смазь, и верховную, и боковую, и всеобщую*». (Стр. 74). Подъ вліяніемъ тяжелой жизни, наполненной лишениями, нравственными обидами и физическими страданіями, въ бурсакѣ развивается и созрѣваетъ хроническая потребность срывать зло на правыхъ и на виновныхъ, на людяхъ и на животныхъ, и вообще на всемъ, что можно растерзать и исковеркать. Разумѣется, эта потребность сама себя питаетъ и поддерживаетъ; бурсаки всего чаще срываютъ его другъ на другѣ, и, увеличивая собственными безобразіями массу своихъ страданій, увеличиваютъ въ то же время и количество того зла, которое должно быть сорвано. Это очень откровенно и наглядно выражено Помяловскимъ по поводу избіенія приходчины. «Впрочемъ, говоритъ онъ, въ такихъ случаяхъ большинство только удовлетворяло своей потребности побить когонибудь, дать встряску, душку, волосняку, отдути, отвалить, взъереженитъ, отмордасить, чтобы чувствовать, что въ твоихъ рукахъ пыщитъ что-то живое, страдаетъ и проситъ пощады, и все это дѣлается не изъ мести, не изъ вражды, а просто изъ любви къ искусству». (Стр. 46).

Определенной вражды тутъ дѣйствительно нѣтъ, но любовь къ искусству *сраепити* и *мордасить* разлилась именно отъ того, что бурсаки истинно озлоблены на всѣхъ и на все. Теперь представьте же вы себя, какова должна быть злость той приходчины, которая должна нищать, страдать и просить пощады. Что должна чувствовать эта приход-

чина послѣ ухода истребителей? Она должна клокотать и задыхаться отъ злости, тѣмъ болѣе, что злость ея бессильна, и что многіе изъ этой избитой приходчины навѣрное въ тотъ же день уже были высечены учителями, которымъ также ничѣмъ нельзя было отмыться. Что же это за жизни! Утромъ поретъ учитель, вечеромъ дупять ученики. И куда же долженъ вылиться весь запасъ накипѣвшей злости? А разумѣется, онъ выльется въ нѣдра той же избитой и пересѣченной приходчины. Ученики начнутъ придирааться другъ къ другу; затѣются междуусобныя потасовки, и озлобленіе будетъ постоянно возрастать, вмѣсто того, чтобы успокоиваться. Было бы очень удивительно, если бы при такихъ условіяхъ, въ бурсѣ могли выработаться или только сохраниться кроткіе и любвеобильные характеры.

Самыми яркими и замѣчательными личностями въ очеркахъ Помяловскаго являются Аксютка и Гороблагодатскій. Съ Аксюткой мы уже отчасти знакомы: онъ знаменитый воръ, мастеръ своего дѣла, веселый и остроумный изобрѣтатель мазурническихъ продѣлокъ и притомъ человѣкъ, освободившійся отъ всякихъ предразсудковъ, такой человѣкъ, который крадетъ все и у всѣхъ: у лавочника онъ тащитъ булки, малиновое варенье, картофель, и при этомъ не забываетъ наплевать, для пущей игривости, въ кадушку съ капустой; у товарищей онъ крадетъ книги, бумагу, платье и тутъ же владетъ на мѣсто украденныхъ вещей камнями или грязь, чтобы оскорбить собственника не только убыткомъ, но еще и насмѣшкой; укравши у товарища мѣшокъ съ толокномъ, Аксютка, ради глумленія, самъ же подчуеетъ собственника его же добромъ; у училищнаго солдата Аксютка воруетъ голенищи и потомъ самъ же дразнить его голенищами; у своей невѣсты похищаетъ шелковый платокъ и три мѣдныхъ гривны. Впрочемъ, собственно говоря, у Аксютки даже никакой невѣсты и не было, и однако же несомнѣнно то, что онъ былъ «уволенъ въ городъ для свиданія съ своею невѣстою, Ириною Вознесенскою», у которой онъ и укралъ вышеупомянутыя вещи. А какимъ образомъ Ирина Вознесенская, въ одно и то же время, можетъ быть и не быть невѣстою Аксютки—это исторія хитрая и любопытная, которую стоитъ рассмотреть внимательно, тѣмъ болѣе, что она, съ своей стороны, бросаетъ нѣсколько лучей свѣта на причины бурсацкой дикости и наглости. Дѣло все въ томъ, что за дьячковскою дочерью, Ириною Вознесенскою, закрѣплено мѣсто ея покойнаго отца; это значить, что ея мужъ сдѣлается дьячкомъ въ томъ приходѣ, гдѣ служилъ ея отецъ; такъ какъ приходъ не можетъ долго оставаться безъ дьячка, то Ирина Вознесенская должна выходить замужъ немедленно, тотчасъ послѣ смерти отца. А чтобы найти жениха, Ирина, вмѣстѣ съ матерью, отправляются въ расадникъ жениховъ, то есть, въ бурсу, валяясь въ ноги инспектору, какъ стражу этого прекраснаго вертограда, подносятъ ему

ливалъ и скирпу, или точнѣе, ромъ, чай, сахаръ, грибы, яблоки, холстъ и серебряный рубль, и наконецъ, задобивъ цербера медовыми лепешками, умоляютъ его одолжить жениха и даже не *женита*, а *жениховъ*... «Да не озорниковъ какихъ, батюшка!» прибавляетъ старуха, продолжая выражаться *во множественномъ числѣ*. Просьба старухи показываетъ, что достоинства бурсаковъ достаточно извѣстны русскому духовенству. Инспекторъ черезъ цензора вызываетъ къ себѣ жениховъ, которыхъ оказывается пять человекъ. Двоихъ инспекторъ бракуетъ, одного за нетрезвое поведеніе, другого за несовершеннолѣтіе. Остальные трое одобряются инспекторомъ и получаютъ отъ него отпускные билеты, гдѣ прописано, что каждый изъ нихъ уволенъ въ отпускъ для свиданія съ своею невѣстою, Ириною Вознесенскою.

Такимъ образомъ Ирина Вознесенская, въ одинъ и тотъ же день, по волѣ бурсацкаго начальства, оказалась невѣстою троихъ жениховъ. Въ число одобренныхъ претендентовъ попалъ Аксютка, о которомъ инспекторъ, повидимому, думалъ, что онъ совсѣмъ не озорникъ. На другой день женихи всѣ вмѣстѣ отправляются къ невѣстѣ, но къ сожалѣнію Помилевскій пропускаетъ сцену смотринъ и прямо сообщаетъ читателю окончательные результаты. Оказывается, что претенденты раз-
межевались полюбовно: Аксютка отправился къ *своей невѣстѣ* собственно за тѣмъ, чтобы поѣсть и украсть; поэтому онъ совершенно удовольствовался угощеніемъ, шелковымъ платкомъ и мѣдными гривнами. Другой претендентъ, Васенда, имѣлъ болѣе серьезныя намѣренія, но ему не понравились ни невѣста, ни приданое, ни закрѣпленный приходъ. Третій, Азинусъ, женился.

Такимъ образомъ дѣло обошлось благополучно. Но вѣдь могло оно разыгратъ совершенно иначе. Можно себѣ представить два любопытные случаи: во-первыхъ тотъ, что ни одинъ изъ жениховъ не пожелалъ бы обвиняться съ дѣвицею Вознесенскою, а во-вторыхъ тотъ, что всѣ трое прельстились бы невѣстою, приданнымъ и закрѣпленнымъ приходомъ.

Въ первомъ случаѣ чрезвычайно интересно было бы знать, что предпринялъ бы инспекторъ. «Чтожъ вы, подлецы, — сказалъ бы онъ вѣроятно, — въ дуракахъ меня что ли оставить хотите? Нѣтъ, врете; сунулись въ женихи, такъ теперь и вѣнчайтесь, такіе-сякіе!» Но тутъ инспекторъ вспомнилъ бы, что вѣдь ихъ, подлецовъ или жениховъ, все-таки нѣсколько, и что нельзя же ихъ всѣхъ перевѣнчать съ Ириною Вознесенскою, какъ бы ни было такое наказаніе полезно и внушительно въ педагогическомъ отношеніи. Надо непременно выбрать одного, чтобы этого избраннаго сдѣлать возломъ отпущенія. Но какимъ же образомъ выбрать? Приказать имъ развѣ, чтобы они кинули между собою жребій, и чтобы Ирина Вознесенская досталась тому, кому измѣнится счастье?

Или, можетъ быть, просто принять въ соображеніе списокъ балловъ и обречь на жертву того, кто учится и ведетъ себя хуже всѣхъ остальныхъ? Женить человека за дурное поведеніе, наказать человека женитьбою—это конечно очень мило, остроумно и даже водевильно, но и тутъ есть серьезное затрудненіе. Женихъ въ церкви непременно долженъ самъ сказать «да» и очень легко можетъ случиться, что озорникъ, осужденный на женитьбу, въ пику начальству, скажетъ «нѣтъ», презирая всѣ могущія воспослѣдовать престестокіе розгачи. Чѣмъ хуже онъ ведетъ себя, и слѣдовательно, чѣмъ больше онъ заслуживаетъ наказаніе, тѣмъ правдоподобнѣе, что онъ, по озорству своему, осмѣлится отъ него уклониться. Скажетъ «нѣтъ», и кончено дѣло, хоть ты козь на головѣ теши! Что тутъ прикажете дѣлать? Не знаю, рѣшительно не знаю. Я никогда не былъ инспекторомъ бursы, поэтому никакъ не могу себя представить, чтобы я сталъ предпринимать, если бы упорство моихъ питомцевъ лишило меня возможности презентовать Ирину Вознесенскую жениха, за котораго я уже получилъ наличную плату деньгами, вещами и колѣнопреклоненіями.

Второй возможный случай также достаточно интересенъ, хотя и менѣе затруднителенъ для инспектора бursы. Спрашивается, какимъ образомъ примирить притязанія троихъ молодцовъ, которые, опираясь на свои отпускные билеты, всѣ трое захотѣли бы серьезно считать себя женихами Ирины Вознесенской? Можно было бы, пожалуй, предоставить рѣшеніе вопроса самой невѣстѣ, но какія же она можетъ имѣть основательныя причины для того, чтобы выбрать себѣ одного изъ троихъ юношей, которыхъ она видитъ въ первый разъ въ жизни? А между тѣмъ проживаться въ городѣ ей неприходится; кромѣ того, дьяческое мѣсто не можетъ стоять вакантнымъ, покуда Ирина Вознесенская будетъ изучать своихъ претендентовъ; наконецъ и бурсаковъ не станутъ же отпускать къ ней въ гости до тѣхъ поръ, пока она соблаговолитъ рѣшиться; однимъ словомъ, надо выбирать немедленно, имѣя въ виду и тотъ шансъ, что любезный супругъ, въ первый же день медоваго мѣсяца, можетъ подбить своей сожительницѣ оба глаза или стащить въ кабакъ ея зайчій салопъ, или провороваться и попасть подъ судъ. Если нѣтъ возможности сдѣлать выборъ съ полнымъ знаніемъ дѣла, если бракъ совершается при такихъ условіяхъ, при которыхъ не можетъ возникнуть чувство, способное заглушить всякія опасенія,—то невѣстѣ всего лучше оставаться совершенно пассивнымъ лицомъ до самаго конца всей исторіи. Тогда, по крайней мѣрѣ, въ случаѣ неудачи, ей можно будетъ плакаться на судьбу, а не на собственную оплошность. Можно будетъ, во время подбиванія глазъ или пропиванія салопъ, утѣшать себя тѣмъ размышленіемъ, что не было другого выхода и что все это сдѣлалось помимо ея воли. Жизнь Ирины Вознесенской,—бѣдной, некрасивой

и уже очень немолодой дочери деревенскаго дьячка, — уже давно должна была приучить ее къ той безотвѣтной и полусонной покорности, которая составляет послѣднее утѣшеніе или, по крайней мѣрѣ, послѣднее убожище забитыхъ и затертыхъ личностей, обиженныхъ природою и людьми. Для такой личности, махнувшей рукой на себя и на жизнь, каждое проявленіе энергіи и самостоятельности составляетъ очень тяжелый и даже мучительный трудъ. Поэтому Ирина Вознесенская врядъ ли согласилась бы воспользоваться правомъ выбора, если бы такое право было ей предоставлено претендентами и начальствомъ бурсы.

Но такой утонченной деликатности нельзя даже и ожидать ни отъ претендентовъ, ни отъ начальства. Инспекторъ знаетъ очень хорошо, что Ирина наглухо прикрѣплена къ своему мѣсту, безъ котораго ей нечѣмъ будетъ кормиться; знаетъ онъ также очень твердо, что судьба Ирины въ его рукахъ, и что отъ него зависитъ наградить Ириною достойнѣйшаго изъ претендентовъ, если только Ирина дѣйствительно въ какомъ-нибудь отношеніи можетъ исправлять должность награды. Этого права инспекторъ, вѣроятно, не захочетъ выпустить изъ своихъ рукъ, потому что власть и могущество, во всѣхъ своихъ малѣйшихъ проявленіяхъ, веселятъ сердце и возвышаютъ духъ всякаго начальствующаго чловѣка. Бурсаки, съ своей стороны, желя вырваться изъ бурсы и, влюбившись въ прелести прихода, приданаго и независимой жизни, во все не будутъ великодушничать и отдаваться на произволъ Ирины. Они будутъ спорить между собою, оставляя невѣсту въ пассивно-выжидательномъ положеніи, и споръ ихъ, по всей вѣроятности, будетъ рѣшенъ или какою нибудь полюбовною сдѣлкою, съ распитіемъ нѣсколькихъ косушекъ насчетъ счастливаго соперника, или, что еще правдоподобнѣе, безапелляціоннымъ приговоромъ инспектора, который въ этомъ случаѣ превратитъ Ирину въ премію низкопоклонства, искуснаго лицемерія и, быть можетъ, даже усерднаго фискальства.

Въ разсказѣ Помяловскаго всѣ эти затрудненія сглаживаются сами собою, но любопытно обратить вниманіе на тѣ причины, которыя отклонили отъ брака одного изъ претендентовъ, Васенду, имѣвшаго серьезное намѣреніе жениться. «Васенда, — говоритъ Помяловскій, — какъ чловѣкъ положительный и практическій, нашелъ невыгоднымъ закрѣпленное мѣсто, приданое и обязательства, а невѣсту черезчуръ заматорѣвшею во днѣхъ своихъ, на видъ рябомъ, длинною и черствою. Онъ рѣшился остаться въ камчатѣхъ (камчаткою назывались заднія скамейки класса, составлявшія жилище несправимыхъ глѣняевъ) до лучшей суженой» (стр. 164).

Эти слова даютъ вамъ нѣкоторое понятіе о красотѣ той сцены, которая называется *смотринами*, и въ которой живая и свободная чловѣческая личность продается и покупается съ соблюденіемъ всѣхъ тор-

говыхъ правилъ и ухватокъ толкача рынка. Эта сцена особенно мило-видна тѣмъ, что тутъ сразу даже и не разберешь, кто кого покупаетъ, кто кого продаетъ, кто кого забираетъ въ кабалу. Всѣ дѣйствующія лица (кромѣ Аксютки, пришедшаго ѣсть и красть) играютъ роль страдательную, зависимую и подневольную. Всѣ они подавлены какою-то высшею силою, которая заставляетъ ихъ насиловать самыя естественныя и неистребимыя наклонности человѣческой природы. Стоитъ только сличить то, чего хотятъ всѣ дѣйствующія лица этой сцены, съ тѣмъ, что они дѣлаютъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что всѣ они — жертвы, всѣ, кромѣ Аксютки, и что всѣхъ ихъ, кромѣ того же Аксютки, продаетъ, покупаетъ и кабалитъ, давитъ и унижаетъ вѣщная сила, неимѣющая въ данной сценѣ ни одного представителя.

Въ самомъ дѣлѣ, чего хочетъ старуха Вознесенская? Она хочетъ добыть для своей дочери смирнаго, честнаго, трезваго и работающаго мужа. А что она дѣлаетъ? Поступаетъ ли она сообразно съ своимъ желаніемъ? Напротивъ того. Она привлекаетъ къ своей дочери бурсаковъ, которыхъ она сама же считаетъ озорниками, и отъ которыхъ она навѣрное перебѣжала бы на другую сторону улицы, подобно старухѣ, попавшейся на встрѣчу бурсакамъ, во время ихъ побѣднаго шествія въ баню. Она бросаетъ свою дочь на шею такому человѣку, котораго обѣ онѣ, и старуха и дочь, видятъ въ первый разъ. Она встрѣчаетъ разомъ троицхъ гостей и передъ всѣми троицами разсыпаетъ одинаковыя любезности, потому что каждый изъ нихъ можетъ оказаться тѣмъ суженымъ, которому достанется право карать и миловать ея дочь. Положеніе старухи, какъ видите, совершенно пассивно и до послѣдней степени зависимо. Тутъ съ ея стороны нѣтъ ничего похожаго на обыкновенную ловлю жениховъ; она ловитъ то, чего ей вовсе не хочется поймать; ловитъ то, въ чемъ она боится найти несчастье для себя и для своей дочери.

Чего хочетъ эта дочь? Подобно всякой другой дѣвушкѣ, Ирина хочетъ приобрѣсти себѣ мужа красиваго, веселаго, кроткаго, расторопнаго, способнаго хорошо кормить и одѣвать ее, вообще такого, который бы понравился ей и полюбилъ ее. — А что она дѣлаетъ? Она принимаетъ съ заискивающимъ видомъ и съ стереотипною улыбкою всѣхъ уроковъ и всѣхъ негодяевъ, которыхъ за благоразсудитъ прислать къ ней въ гости инспекторъ бursы. Наружность посѣтителей можетъ ей не нравиться; она можетъ думать про себя, что они по всей вѣроятности окажутся негодьями, но все это ровно ничего не значитъ; не смотря на свое отвращеніе, не смотря на свои мучительныя предчувствія, она съ невозмутимымъ смиреніемъ должна изображать своею особою вещь, которую пришли разсматривать и оцѣнивать покупатели. Въ ея роли нѣтъ так-

же ни малѣйшей активности и ничего похожаго на завлеченіе поклонниковъ.

Чего хотять покупатели, Васенда и Азинусъ? Но во-первыхъ, какіе же они покупатели? На какіе достатки могутъ они купить человѣка? Какъ бы ни были дешевы въ наше время человѣческое счастье, человѣческая жизнь, человѣческая любовь, человѣческая совѣсть, — все же эти вещи дороже трехъ-копѣчной сайки, а Васендѣ и Азинусу даже и трехъ-копѣчная сайка обыкновенно оказывается не по карману. Васендѣ и Азинусу, для совершенія купли, надо заложить, закабалить или продать собственныя особы. Они приходятъ къ госпожѣ Вознесенской именно для того, чтобы устроить такую сдѣлку. Одно это обстоятельство уже достаточно устраняетъ всякое помышленіе о ихъ активности. Но во всякомъ случаѣ, чего же они хотять? Подобно всѣмъ другимъ молодымъ людямъ ихъ возраста, она желали бы, чтобы ихъ любила и ласкала молодая и красивая женщина. Это физиологическое влеченіе къ молодости, къ свѣжести и къ красотѣ не можетъ быть истреблено ни однимъ изъ тѣхъ талисмановъ, которыми располагаетъ бурса: ни голодомъ, ни грязью, ни розгами, ни даже тамошнею наукою. Это влеченіе несомнѣнно существуетъ въ обоихъ претендентахъ, являющихся къ Иринѣ Вознесенской. А между тѣмъ, что дѣлаютъ эти претенденты? Познакомившись съ своею *общей невѣстою*, они видятъ прежде всего, что Ирина—дѣвица, *заматорѣвшая во днѣхъ своихъ, на видъ рябая, длинная и черствая*. Тогда они оба кладутъ на одну чашку вѣсовъ каравую наружность и преклонныя лѣта Ирины, а на другую начинаютъ накладывать стаметовыя юбки, шелковые платки, заячьи салопы, коровъ и овецъ, доходы закрѣпленнаго мѣста и всѣ другія сокровища, принадлежащія невѣстѣ. Уложивши все какъ слѣдуетъ, Васенда находитъ, что первая чашка все-таки перетягиваетъ; поэтому онъ отступаетъ отъ невѣсты. Но если бы вы на вторую чашку вѣсовъ прибавили нѣсколько стаметовыхъ юбокъ, двѣ-три коровы, два-три десятка рублей годоваго дохода,—то Васенда, какъ *человѣкъ практическій и положительный*, переломилъ бы свое физиологическое отвращеніе къ рябой и черствой дѣвицѣ и, скрѣпивъ сердце, отдалъ бы себя въ кабалу за очень дешевую цѣну. Азинусъ поступилъ именно такимъ образомъ, и, разумѣется, не потому, что рябое лицо казалось ему привлекательнымъ, и также не потому, что влеченіе къ красотѣ и къ молодости въ немъ не существовало. Рѣшилъ онъ на свой неблестящій бракъ потому, что и въ бурсѣ оставаться было скверно и впереди не предвидѣлось ничего утѣшительнаго. Браки по расчету, покупки и продажи живыхъ и полнокровныхъ человѣческихъ личностей, совершаются каждый день въ самыхъ богатыхъ и знатныхъ слояхъ европейскихъ обществъ. Но эти торговныя сдѣлки имѣютъ такъ же мало общаго съ проступками Азинуса и Ва-

сенды, какъ мало общаго имѣють дѣйствія Ирины и старухи Вознесенской съ кокетствомъ богатыхъ барышень и съ маневрами богатыхъ маменекъ. Въ блестящихъ бракахъ по расчету обѣ стороны по своему остаются въ выигрышѣ; то есть, обѣ получаютъ дѣйствительно то, къ чему онѣ стремились: одна сторона покупаетъ себѣ красоту и наслаждается ею; другая за противныя старческія ласки вознаграждаетъ себя блестящими нарядами, каретой, балами и театрами, словъ мѣ всѣми прелестями утонченнаго комфорта. Но что же получаютъ другъ отъ друга monsieur и madame Азинусъ? Ни красоты, ни довольства, ни того, что наполняетъ жизнь наслажденіемъ, ни того, что дѣлаетъ пустую жизнь сколько-нибудь сносною. Оба собираются взаимно отравить другъ другу жизнь, оба предвидятъ, что не принесутъ другъ другу ничего, кромѣ заботъ, обидъ и огорченій, и оба дѣлають рѣшительный шагъ, получая отъ общества, за весь этотъ подвигъ хроническаго самоистязанія, возможность жить въ дрянной избенкѣ, одѣваться въ дрянныя ветоши и набивать животъ чуть-чуть не сѣномъ. Такой бракъ слѣдуетъ назвать не бракомъ по расчету, а бракомъ изъ-подъ пальца, и палькою является тутъ для обѣихъ сторонъ бѣдность, не та мнимая бѣдность, при которой нельзя завести себѣ собственныхъ лошадей и французскаго повара, а та настоящая, неприличная бѣдность, при которой можно голодать и заблудиться, нищенствовать и воровать, страдать отъ болѣзни и обходиться безъ медицинской помощи, безъ мягкой постели, безъ чистаго и сухаго воздуха.

«Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ, говоритъ Помяловскій большею частію оскорбляется женщина: но въ бурсацкихъ — и женщина и мужчина. Въ свѣтскихъ мужчина говоритъ: «я сытъ и есть у меня имя, иди за меня—ты будешь сыта и получишь имя;» въ бурсацкихъ же не то; женихъ кричитъ: «ѣсть нечего;» невѣста кричитъ: «съ голоду умираю» — и исходъ одинъ: соединиться обѣимъ сторонамъ.» (Стр. 131). И соединиться для того, чтобы, грызя другъ друга взаимными попреками, прожить всю жизнь впроголодь! Исходъ прелестенъ, и прелести этого исхода достаточно извѣстны бурсакамъ, насмотрѣвшимся на семейныя заботы и семейные раздоры, какъ въ домѣ своихъ родителей, такъ и у всѣхъ своихъ ближайшихъ знакомыхъ. И однакоже, вообразите себѣ, что этотъ исходъ, этотъ бракъ изъ-подъ пальца, это отвратительное взвѣшиваніе стаметовыхъ юбокъ и карявой наружности, являются въ жизни бурсаковъ радостнымъ и счастливымъ событіемъ, которое воодушевляетъ цѣлый классъ, возбуждаетъ ликованіе въ Камчаткѣ, наводитъ на всѣхъ учениковъ веселыя думы, и охватываетъ трепетомъ наслажденія все училище *«отъ двѣнадцатилѣтняго мальчика до двадцати-двухъ годовалаго парня, отъ послѣдняго лѣтняго до перваго ученика»*. Женихи считаются героями дня. Камчатка гордится ими. *Матическое слово: же-*

ниси — быстрые ласточки облетают по всемъ классамъ, сладостно волну бурсацкія души.

Все, что подчеркнуто, принадлежит Помяловскому. — Это всеобщее ликование составляет, разумеется, только слабое отраженіе гордой и непомерной радости, переполняющей сердца жениховъ, которые дѣйствительно сами считаютъ себя героями дня, и въ тяжелой сценѣ *смотринъ*, унижительной для всѣхъ заинтересованныхъ сторонъ, видятъ одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и блестящихъ эпизодовъ своей жизни. Быть женихомъ изъ-подъ палки — такая великая честь, и попасть на *смотрины* — такое несказанное благополучіе, что, забывая свой возрастъ, къ этой чести и къ этому благополучію порывается даже четырнадцатилѣтній мальчишъ, котораго забраковалъ инспекторъ и жестоко осмѣяли за эту преждевременную прыткость товарищи.

Что же все это значить? Неужели же бурсакъ неспособенъ влюбиться въ женщину? Неужели въ бурсакѣ дѣйствительно истреблено влеченіе къ молодости и красотѣ? Это невозможно, такъ точно какъ невозможно истребить въ человѣкѣ влеченіе къ здоровой и обильной пищѣ, къ теплomu и удобному платью, къ мягкой и чистой постели. Влеченіе къ удобствамъ жизни не исчезаетъ никогда, и человѣкъ всегда сохраняетъ способность отличать пріятное отъ непріятнаго, и даже различать довольно тонкіе оттѣнки въ своихъ пріятныхъ ощущеніяхъ. Но когда человѣкъ поставленъ въ такое положеніе, при которомъ самыя пріятныя ощущенія для него рѣшительно недоступны, тогда онъ по неволѣ привыкаетъ пробавляться тѣмъ вторымъ, третьимъ или четвертымъ сортомъ наслажденій, который оказывается для него сподручнымъ. Спускаясь на нижнія ступеньки общественной лѣстницы, мы находимъ тамъ такія положенія, при которыхъ человѣкъ страдаетъ съ утра до вечера, и съ вечера до утра, то отъ холода, то отъ голода, то отъ копоты, то отъ насѣкомыхъ, то отъ непомерной и однообразной работы, то отъ грубаго обращенія. Для такого человѣка облегченіе привычныхъ страданій оказывается уже наслажденіемъ, хотя намъ съ вами это наслажденіе показалось бы очень ощутительнымъ страданіемъ. Бурсакъ можетъ считать счастливымъ тотъ день, когда его не оставили безъ обѣда, не прибили и не высѣкли, но если бы насъ съ вами заставили прожить штукъ десять такихъ счастливыхъ дней, то мы считали бы себя очень жестоко наказанными. Когда общій колоритъ жизни мраченъ и грязенъ, когда глубокія, сильныя и чистыя наслажденія недоступны, тогда человѣкъ привыкаетъ считать пустою прихотью тѣ изъ своихъ собственныхъ законныхъ потребностей, которыя при данныхъ условіяхъ не могутъ найти себѣ удовлетворенія. Такія суровыя отношенія человѣка къ самому себѣ необходимы, потому что они одни даютъ ему силы переносить тяжесть безотраднаго существованія; давая волю своимъ не-

удовлетворимъ стремленіямъ, и въ то же время не имѣя возможности выбиться изъ подъ гнета тѣхъ условій, которыя мѣшаютъ удовлетворенію,—человѣкъ доучилъ бы себя до сумасшествія и до самоубійства. Но если, при данныхъ условіяхъ, человѣку необходимо насиловать, переламывать, истощать и уродовать свою природу, то во всякомъ случаѣ невозможно находить эти крутя мѣры полезными для человѣческаго совершенствованія. Осажденный гарнизонъ поступаетъ очень благоразумно, если, въ ожиданіи скорой помощи, онъ тратитъ съѣстные припасы съ самою крайнею скупостью; но эта скупость, необходимая при данныхъ обстоятельствахъ, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ на здоровье людей разрушительнымъ образомъ.

То же самое можно сказать и о бурсакахъ. Они были бы невыносимо несчастливы, если бы грязь и безобразіе ихъ существованія постоянно поражали ихъ такъ же сильно, какъ они могутъ поражать свѣжаго человѣка, смотрящаго на дѣло со стороны. — Привычка къ грязи и примиреніе съ тусклыми и мутными удовольствіями составляютъ для бурсаковъ единственное спасеніе отъ самаго убійственнаго отчаянія. Но это спасеніе достается имъ не даромъ. Они должны обезобразить себя для того, чтобы принаровиться къ условіямъ жизни, невыносимымъ для нормальнаго человѣка. Отказываясь по необходимости отъ высшихъ наслажденій, человѣческая природа бѣднѣетъ, вянетъ и черствѣетъ. Становясь непомѣрно суровымъ къ самому себѣ, называя прихотью свое собственное законное желаніе, человѣкъ приучается быть неумолимымъ въ отношеніи къ другимъ. Онъ топчетъ въ грязь чужія чувства такъ точно, какъ его собственныя чувства топтались въ грязь желѣзнымъ гнетомъ обстоятельствъ. Что скажетъ, напримѣръ, Азинусъ, когда дѣтъ черезъ двадцать, — сынъ его захочетъ жениться на любимой дѣвушкѣ, несоотвѣтствующей финансовымъ или политическимъ планамъ родителя? Азинусъ припомнитъ свои смотрины и тотъ восторгъ, съ которымъ онъ летѣлъ въ домъ совершенно незнакомой дѣвушки, и ту неустрашимость, съ которою онъ отнесся къ рыбой фізіономіи Ирины Вознесенской. — Дуракъ, скажетъ онъ своему сыну. Развѣ жъ тебѣ не все равно, что одну взять дѣвку, что другую. За тебя нашъ благочинный хочетъ свою Степаниду отдать, а ты рыло воротилъ. Глупъ ты, молодъ, мало кашнѣлъ, мало вѣнниковъ объ тебѣ изломали, — оттого и дуришь. А ты бы посмотрѣлъ, какъ я на твоей матери женился. И рожа-то у нея хуже Степанидиной была, и старше-то она была дѣтъ на семь, и добра-то за нею никакого не было, — да взялъ же я ее, да еще земли подъ собой не слышалъ отъ радости. А ты рыло воротилъ! Меня передъ благочиннымъ погубить стараешься! Ну не оселъ ли ты послѣ этого? На моемъ мѣстѣ другой отецъ съ тобой азыкомъ-то и говорить бы не сталъ. — И за тѣмъ начинается крикъ, шумъ, избіеніе непокорнаго сына, и все

это происходит от того, что человек всегда прикидывает чужія чувства и страсти на собственный аршинъ, укороченный или изломанный враждебными обстоятельствами. Разсмотрѣвши исторію Аксюткиной неѣсты, я теперь возвращаюсь къ самому Аксюткѣ и къ Гороблагодатскому.

VIII.

Великъ и славенъ Аксютка своими воровскими подвигами, но еще больше славы и величія доставляетъ ему та кровопролитная война, которую онъ ведетъ съ жестокимъ учителемъ Лобовымъ. Эта война ведется самымъ оригинальнымъ образомъ и оказывается кровопролитною для одного Аксютки. Обладая отличными способностями, Аксютка начинаетъ вдругъ превосходно учиться. Лобовъ восхищается его успѣхами и сажаетъ его на первую скамейку. Аксютка тотчасъ перестаетъ учиться и постоянно получаетъ нули въ аудиторскихъ нотахъ. Лобовъ начинаетъ его пороть и, въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль, проливаетъ его кровь за каждый невыученный урокъ. Аксютка съ непоколебимою стойкостью выдерживаетъ лобовскія внушенія и наконецъ отсылается въ Камчатку, въ страну безнадежныхъ лѣнтяевъ, которыхъ начальство уже не удостоиваетъ сѣченія. Повидимому, всего выгоднѣе для Аксютки было бы успокоиться въ Камчаткѣ и навсегда забыть о существованіи учебныхъ книгъ и учительскихъ розогъ. Но Аксютка на это рѣшиться не можетъ. Ему непременно надо лицедѣйствовать въ классѣ, обращать на себя вниманіе и изумлять товарищество своимъ героизмомъ. Попавши въ Камчатку, онъ снова начинаетъ учиться, и появляется въ нотахъ съ полными баллами. Покаялся, думаетъ Лобовъ и переводитъ Аксютку на первую скамейку. Но Аксютка обнаружилъ признаки раскаянія только для того, чтобы завязать съ Лобовымъ новую борьбу. Начинается опять рядъ нулей; надъ Аксюткой свистятъ лобовскія розги; Аксютку гонять въ Камчатку, и опять разыгрывается съ начала та же самая исторія. Наконецъ Лобовъ видитъ ясно, что Аксютка, жертвуя собственной спиной, дразнить и дурачить его для потѣхи всего лихого бурсачества. Тогда Лобовъ, улавиши Аксютку въ Камчатку, рѣшительно запрещаетъ ему учиться.

— Ты, животное, говоритъ Лобовъ, потѣшаешься надо мною; когда тебя порютъ, у тебя въ нотахъ нули, когда шлютъ въ Камчатку — пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потомъ снова бѣсить меня нулями? Врешь же! Не

бывать тебѣ на первой партѣ, и пока у тебя снова не будутъ нули, до тѣхъ поръ не ходи въ столовую.

Каково должно быть торжество Аксютки, когда Лобовъ произноситъ эти слова? Учитель признается публично, при всемъ классѣ, что Аксютка *потышется надъ нимъ*, что Аксютка *нарочно бьетъ его нулями*. Учитель рассказываетъ публично всю тактику Аксютки. Значить, учитель понялъ наконецъ и объявилъ всѣмъ ученикамъ, что Аксютка рѣшительно не боится его, Ивана Михайловича Лобова, передъ которымъ трепещетъ вся неустрашимая бурса. Лобовъ сдается на капитуляцію и проситъ себѣ только милости: храбрый Аксютка, оставь меня въ покоѣ и позволь мнѣ не пороть тебя! — Ни за что! возражаетъ Аксютка и, сидя въ Камчаткѣ, учится отлично, единственно для того, чтобы добратъся снова до лобовскихъ розогъ. Лобовъ старается истребить аксюткино прилежаніе голодомъ, но Аксютка непобѣдимъ и съ этой стороны. Онъ не ходитъ въ столовую, но воруетъ съ удвоеннымъ искусствомъ все, что можно украсть, поддерживаетъ кое-какъ свое существованіе и, на зло Лобову, продолжаетъ учиться великолепно.

Чѣмъ кончается эта изумительная борьба — объ этомъ Помяловскій не говоритъ, но довольно и того, что было рассказано до сихъ поръ. Этихъ фактовъ совершенно достаточно для того, чтобы почувствовать самое почтительное изумленіе передъ громадною силою аксюткина характера. Человѣкъ терпитъ голодъ и розги, человѣкъ самъ напрашивается на розги, человѣкъ учится и старается для полученія розогъ, и всѣ эти удивительныя эволюціи производятся съ тою единственною цѣлью, чтобы сказать себѣ и товарищамъ: «а я все-таки поставилъ на своемъ! Хочу дурачиться, и буду дурачиться, и никакой Лобовъ меня не испугаетъ».

Чѣмъ ничтожнѣе цѣль, тѣмъ изумительнѣе та настойчивость, съ которою эта цѣль преслѣдуется. Если человѣкъ, ради пустѣйшаго изъ своихъ капризовъ, добровольно и неоднократно подвергаетъ себя очень сильной физической боли, то передъ чѣмъ же отступить этотъ человѣкъ, когда въ немъ заговоритъ настоящая страсть, и когда онъ увидитъ передъ собою дѣйствительное наслажденіе? Чѣмъ вы запугаете такого человѣка, который въ бурсѣ, безъ всякихъ средствъ обороны, нарочно дразнитъ и бьетъ учителя, вооруженнаго всѣми орудіями школьнаго инквизиціи и имѣющаго полную возможность запоротъ до полу-смерти непочтительнаго ученика? Заставьте такого человѣка, какъ Аксютка, полюбить полезное дѣло, сдѣлайте найти приложеніе для его громадной энергіи, бросьте въ его свѣтлый умъ плодотворныя мысли — и этотъ училищный воръ былъ бы великимъ человѣкомъ. Гибель такихъ умныхъ, даровитыхъ, блестящихъ и энергическихъ личностей, какъ Аксютка, неизбежна, но неизбежна она только потому, что огненный потокъ великихъ

людей, очищающих и увлекающих за собою все, что способно мыслить, желать и увлекаться, — до сих пор не проложилъ себѣ дороги въ низшіе, бѣднѣйшіе и грязнѣйшіе слои нашего общества. Но пока солнышко взойдетъ, до тѣхъ поръ роса глаза выѣстъ, и многія сотни Аксютокъ сгніютъ на нарахъ мертвыхъ домовъ, въ ожиданіи очищающихъ, обновляющих и увлекающих идей.

Другой сильный характеръ бурсы, Гороблагодатскій, обреченъ также на вѣрную гибель, не смотря на то, что въ немъ имѣется гораздо больше хорошихъ качествъ, чѣмъ въ мазурикѣ Аксютѣ. Въ Гороблагодатскомъ мы видимъ самое чистое и самое прекрасное воплощеніе дикаго бурсацкаго идеала. Ненависть этого человѣка къ угнетающей рутинѣ безпредѣльна; честность его въ отношеніи къ товарищамъ безпредѣльна. «Онъ, — говоритъ Помяловскій, — не взялъ ни одной взятки, безпристрастно и справедливо отмѣчалъ подъявдиторнымъ баллы, не куражился надъ ними, часто защищалъ слабосильныхъ, любилъ вмѣшиваться въ ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо рѣшалъ ихъ; онъ постоянно солилъ ростовщикамъ и взяточникамъ. Товарищество его любило и уважало» (стр. 21). Но въ ненависти своей страстный и сильный характеръ Гороблагодатскаго доходитъ до безпощадной свирѣпости, для которой бурса, переполненная всѣмъ, что способно возмущать честнаго человѣка, — представляетъ конечно самое обширное поприще. Первый очеркъ Помяловскаго («Зимній вечеръ въ бурсѣ») показываетъ намъ, какимъ образомъ Гороблагодатскій доѣзжаетъ двухъ подлецовъ, ростовщика Тавлю и фискала Семенова.

Желая насладиться мученіями Тавли, Гороблагодатскій играетъ съ нимъ въ камушки со шипчиками. Интересъ игры состоитъ въ томъ, что выигравшій имѣетъ право щипать руку проигравшаго. Такъ какъ Тавля и Гороблагодатскій — оба силачи, то щипчики ихъ ужасны и называются съ пылу юрчиге. Отъ этихъ щипчиковъ краснѣетъ, синѣетъ, чернѣетъ и пухнетъ рука побѣжденного партнера. Гороблагодатскій проигрываетъ. Тавля закатываетъ ему сотню жесточайшихъ щипчиковъ и потомъ насмѣшливо спрашиваетъ у него, не хочетъ ли онъ сыграть еще партію. Гороблагодатскій говоритъ: «Давай!» — и выигрываетъ. — Съ пылу горячие! — провозглашаетъ побѣдитель такимъ злобѣющимъ голосомъ, что товарищамъ становится страшно. — Конца не будетъ! произноситъ Гороблагодатскій, и начинается истязаніе. Товарищи смотрятъ и молчатъ. У Тавли душа уходитъ въ пятки. Получивши сотню баснословныхъ щипчиковъ, Тавля начинаетъ отпрашиваться. «Послѣ двухъ сотъ проси пощады», отвѣчаетъ истребитель ростовщиковъ. Тавля продолжаетъ уговаривать побѣдителя, но побѣдитель велитъ ему молчать: «Скажи только слово, — говоритъ Гороблагодатскій, — еще двѣсти закачу». Тавля начинаетъ плакать. Послѣ двухъ сотъ, Гороблагодатскій приказываетъ Тавлѣ про-

ситъ прощенія и побѣждаетъ его упрямство жестокимъ шпыномъ. Истерзанный Тавля смиряется и при всей собравшейся публикѣ проситъ прощенія. Гороблагодатскому этого мало. Страданія и покорность Тавли нисколько не укрощаетъ его ненависти. Черезъ нѣсколько времени Тавля играетъ въ *постыне*. Эта игра состоитъ въ томъ, что одинъ изъ играющихъ, закрывши голову руками, подставляетъ спину подъ удары и старается угадать, кто его ударилъ. Угадалъ—тогда ложится ударившій; не угадалъ—ложись опять прежній страдалецъ. Въ этой занимательной игрѣ Тавлѣ пришлось лечь подъ удары. Тогда въ кучкѣ играющихъ примкнулъ Гороблагодатскій, а за нимъ потянулись и другіе силачи класса. Тавлѣ не повезло. Онъ четыре раза ошибся при угадываніи, и поэтому получилъ пять такихъ ударовъ, которые чуть-чуть не переломили ему становой хребетъ. Онъ сталъ протестовать: «Чтожь это, братцы? Убить что ли хотите?» Протестъ и слово *братцы* не тронули черствого сердца Гороблагодатскаго. Онъ отвѣчалъ кровавою насмѣшкою: «Значить, любимъ тебя, почитаемъ». Тавля возражаетъ: «Другихъ такъ не бьютъ». — «А тебя вотъ бьютъ!» отвѣчаетъ ему кто-то, по всей вѣроятности тотъ же его неизмѣнный доброжелатель, потому что проще, осторожнѣе и свирѣпѣе этого отвѣта трудно что-нибудь придумать. Наконецъ Тавля угадываетъ и говоритъ съ неудовольствіемъ, что онъ не хочетъ больше играть. Гороблагодатскій на прощаніе вертываетъ ему еще шпильку: «Отчего же, душа моя?» спрашиваетъ онъ добродушно и ласково.

Въ тотъ же вечеръ, во время темноты, берегающей казенное масло, бурсаки сѣкутъ очень сильно фискала Семенова. Ему даютъ семьдесятъ розогъ, и при этомъ товарищескомъ подвигѣ Тавля играетъ одну изъ главныхъ ролей. Онъ зажимаетъ рукою ротъ Семенова. Семеновъ, терпя горькую муку, кусаетъ его за руку и узнаетъ его голосъ, потому что укушенный Тавля начинаетъ ругаться. Послѣ сѣченія Семеновъ идетъ къ инспектору и доноситъ ему на Тавлю. Инспекторъ приходитъ въ классъ съ четырьмя солдатами и даетъ Тавлѣ полтораста розогъ. Тутъ повидимому всѣ симпатіи Гороблагодатскаго должны склониться на сторону Тавли, который, такъ сказать, положилъ животъ за бурсацкое отечество и потерпѣлъ мученичество за величіе и славу товарищеской общины. Но не тутъ-то было. Свирѣпость Гороблагодатскаго такъ велика, что его ненависть къ инспектору и къ его креатурѣ Семенову нисколько не мѣшаетъ ему ненавидѣть въ эту же минуту и Тавлю и радоваться его неудачѣ. Помяловскій говоритъ, что Гороблагодатскій «съ наслажденіемъ смотрѣлъ на Тавлю, который не могъ ни стать, ни сѣсть послѣ экзекуціи» (стр. 63).

Теперь читатель можетъ себѣ вообразить, до какой степени неудобно

фискалу Семенову сидѣть въ одной комнатѣ съ Гороблагодатскимъ, безпощаднымъ истребителемъ всякихъ мерзостей. Встрѣтившись съ Семеновымъ, Гороблагодатскій даетъ ему затрещину (стр. 26). Потомъ, во время игры *съ постыяе*, Гороблагодатскій схватываетъ Семенова за спину и насильно кладетъ его подъ жестокіе удары, которые валились на Семенова безъ счета, и не въ очередь, потому что его бьютъ не какъ играющаго, а какъ фискала, исключеннаго изъ всякихъ товарищескихъ забавъ и стоящаго внѣ закона. Черезъ нѣсколько времени Семенова сбьютъ. Кѣмъ придумана такая необычайная штука—это оставлено у Помяловскаго во мракѣ неизвѣстности. Но мудрено себѣ представить, чтобы такое патріотическое дѣло совершилось безъ участія Вани Гороблагодатскаго. Всего правдоподобнѣе даже то, что ему принадлежитъ первая мысль объ этой кровавой экзекуціи. Мое предположеніе совершенно соотвѣтствуетъ какъ серьезности его характера, такъ и блестящимъ способностямъ его изобрѣтательнаго ума. Когда инспекторъ, при содѣйствіи четырехъ сильныхъ солдатъ, отнялъ у Тавли возможность стоять и сидѣть, тогда Гороблагодатскій такъ сильно почувствовалъ наказаніе, данное Тавлѣ, что вознамѣрился *«идти къ Семенову и избить его окончательно»*. Но онъ раздумалъ, потому что въ головѣ его родился новый и болѣе удобный планъ мщенія. Онъ устроилъ Семенову *пфимфу*. *Пфимфою* называется въ бурсѣ свертокъ бумаги, въ видѣ конуса, набитый ватой. Трое заговорщиковъ отправились ночью, подъ предводительствомъ нашего Вани, къ постели спящаго Семенова, осторожно вставили ему въ носъ отверстіе *пфимфы*, зажгли вату съ широкаго конца и начали дуть въ этотъ конецъ. Послѣ двухъ дуновеній, Семеновъ, обожженный и прокопченный дымомъ до самой глубины легкихъ, лишился чувствъ. На другой день его замертво стащили въ больницу, гдѣ онъ никакъ не могъ объяснить причины своей болѣзни. Если Семенову послѣ этой передѣлки удалось выздороветь, и если онъ не догадался покинуть навсегда враждебную бурсу, то можно сказать навѣрное, что Гороблагодатскій не оставилъ его въ покоѣ. Изъ всѣхъ сообщенныхъ подробностей читатель видитъ ясно, что этотъ человѣкъ не могъ и не умѣлъ прощать.

Любопытно было бы узнать, какимъ образомъ Гороблагодатскій относится къ Аксютѣ. Эти двѣ личности, одинаково умны и сильны, но не одинаково честны, должны жестоко ненавидѣть другъ друга. Постоянныя столкновенія между ними тѣмъ болѣе неизбежны, что они сидятъ въ одномъ классѣ. Эта борьба между двумя самыми блестящими личностями, представителями бурсацкой цивилизаціи, наполнена самыми оригинальными и занимательными эпизодами. Къ сожалѣнію, Помяловскій не сообщаетъ объ этой борьбѣ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Аксютка и Гороблагодатскій совсѣмъ не встрѣчаются между собою, точно

будто они живут на двухъ разныхъ планетахъ. Въ первомъ очеркѣ Помяловскаго господствуетъ Гороблагодатскій; тутъ не упоминается ни разу даже имя Аксютки. Въ двухъ слѣдующихъ очеркахъ царствуетъ Аксютка; тутъ имя Гороблагодатскаго упоминается мимоходомъ, раза два или три. Если бы «Очерки бursы» были совершенно законченнымъ сочиненіемъ, то молчаніе Помяловскаго объ отношеніяхъ двухъ героев бursы оказалось бы со стороны автора очень важною ошибкою. Но такъ какъ Помяловскій хотѣлъ написать около десяти или двѣнадцати очерковъ, а успѣлъ написать только четыре, то осуждать автора за пробѣлы было бы несправедливо; и слѣдовательно остается только пожалѣть о томъ, что замѣчательный трудъ Помяловскаго не могъ быть доведенъ до конца.

По выходѣ изъ бursы, Гороблагодатскій навѣрное погибнетъ такъ или иначе. Попадетъ ли онъ въ мертвый домъ—этого я не знаю. Но что онъ не сноситъ своей буйной головы и шибко напакостить себѣ и другимъ—это врядъ ли можетъ подлежать сомнѣнію. Гороблагодатскій придетъ къ гибели конечно не тѣмъ путемъ, по которому бѣжитъ Аксютка. Гороблагодатскій останется навсегда безукоризненно-честнымъ человѣкомъ. Кто терпѣлъ голодъ, имѣлъ подъ руками возможность вѣточничать и не пользовался выгодами своего положенія, тотъ навѣрное выйдетъ чистъ и невредимъ изъ всевозможныхъ испытаній. Кого въ молодыхъ лѣтахъ не развратила бурса, того врядъ ли развратитъ послѣдующая жизнь. Но Гороблагодатскаго, честнаго, умнаго и сильнаго человѣка, загубить вынужденная праздность, дикое безобразіе пьянаго разгула и безтолковыя схватки съ мелкими проявленіями общественнаго зла. Гороблагодатскій учится въ бурсѣ хорошо. Поэтому для него есть надежда получить аттестатъ. Хорошо. Получить онъ аттестатъ, пристроится въ мѣсту, возьмется за добросовѣстное исполненіе своихъ почтенныхъ обязанностей. Но развѣ же эти обязанности, очень почтенныя, но очень скромныя, тихія и однообразныя, могутъ удовлетворить Гороблагодатскаго? Къ этимъ обязанностямъ можно только привыкнуть, въ эту идиллію можно только втянуться, а Гороблагодатскому необходимо пристраститься. Ему нужна борьба. Его кипучая природа требуетъ себѣ такой жизни, которая держала бы въ постоянномъ напряженіи всю нервную систему, такой жизни, въ которой цѣною великихъ трудовъ и тяжелыхъ страданій покупались бы минуты невыразимаго наслажденія, непонятнаго и недоступнаго для мелкихъ и вялыхъ людишекъ. Не имѣя возможности создать себѣ такую полную и дѣятельную жизнь, Гороблагодатскій, подавленный набыткомъ своихъ собственныхъ непристроенныхъ силъ, будетъ поневолѣ разгонять свою хроническую скуку тѣми нехитрыми средствами, которыя окажутся у него подъ руками. Прежде всего подъ руками окажется водка; нашъ скупающій богатырь приметъ

ее въ соображеніе, тѣмъ болѣе, что онъ и въ бурсѣ считалъ ее вѣрнѣйшимъ средствомъ отъ всѣхъ скорбей. Далѣе, въ пьяныя минуты, подъ руками будетъ оказываться жена, прибрѣтенная вмѣстѣ съ закрѣпленнымъ мѣстомъ, и слѣдовательно, врядъ ли способная внушать мужу особенно сильную привязанность. Въ этой женѣ Гороблагодатскій будетъ усматривать различные пороки, за искупленіе которыхъ онъ примется съ свойственною ему энергіею; борьба съ недостатками супруги будетъ служить Гороблагодатскому очень сильнымъ средствомъ развлеченія, но отъ этой борьбы получится немного пользы, какъ для семейнаго счастья нашего героя, такъ и для всего направленія его жизни. Живя въ какомъ нибудь бѣдномъ сельскомъ приходѣ, Гороблагодатскій будетъ встрѣчаться съ различными, очень возмутительными проявленіями насилія, произвола, несправедливости и вымогательства. Какъ честный и страстный человѣкъ, онъ будетъ протестовать, не жалѣя и не выгораживая самого себя. Протесты эти, при всей своей искренности и безкорыстности, будутъ очень узки, поверхностны и бесплодны. Гороблагодатскій, подобно всѣмъ неразвитымъ людямъ, будетъ сражаться съ виѣшними симптомами зла, съ недобросовѣстными или тупоумными личностями, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать противъ настоящихъ причинъ зла, противъ тѣхъ общихъ условій и идей, вслѣдствіе которыхъ тупоумныя и недобросовѣстныя личности могутъ играть важныя роли и отравлять жизнь своихъ умныхъ и честныхъ ближнихъ. Донъ-Кихотская борьба Гороблагодатскаго съ подлецами и съ дураками окончится полнѣйшимъ пораженіемъ нашего героя; его замнутъ, затрутъ, отрѣзать отъ должности, сошлютъ куда нибудь на покаяніе, у него отнимутъ насущный хлѣбъ; его доведутъ до самаго нищенства, и эта гибель будетъ тѣмъ болѣе ужасна, что она останется совершенно бесплодною. Тысячи такихъ безалаберныхъ гибелей проведутъ по одной лишней морщинкѣ на лицѣ тѣхъ самодовольныхъ идіотовъ, съ которыми боролись эти побѣжденные протестанты.

Чего же недостаетъ Гороблагодатскому для того, чтобы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ и занять, въ ряду мыслящихъ работниковъ то мѣсто, на которое онъ имѣетъ право по своимъ способностямъ и по желѣзной силѣ своего характера? На этотъ вопросъ я смѣло отвѣчаю, что ему недостаетъ *развитія*, или проще, *знаній*. Отвѣчаю я такъ, не смотря на то, что меня еще въ прошломъ году упрекали печатно, изъ дружескаго лагеря, въ зловредныхъ стремленіяхъ основать на умственномъ развитіи новую аристократію. Если считать такой упрекъ за что-нибудь серьезное, то его пришлось бы распространить на всѣхъ тѣхъ людей, которые желаютъ и требуютъ для народа грамотности. Сила грамотности очевидно заключается не въ тѣхъ каракулькахъ, которыя человѣкъ разбираетъ въ книгѣ или выводитъ перомъ на бумагѣ, а въ

тѣхъ знанійхъ, къ которымъ каракульки отериваютъ доступъ. Но знанія поверхностныя, шаткія или ограниченныя, неразрушающія въ умѣ человѣка ни одного стараго заблужденія и не обогащающія его новыми идеями, — составляютъ только лишній балластъ для памяти. Значить, желая для народа грамотности, мы требуемъ для него такихъ знаній, изъ которыхъ могли бы выработаться прочныя положительныя убѣжденія. Грамотность драгоцѣнна для насъ только какъ дорога къ развитію. Но если мы желаемъ народу развитія, то, разумѣется, мы считаемъ это развитіе за благо, потому что съ какой же стати мы стали бы желать народу того, что само по себѣ не имѣетъ никакого достоинства. Если же развитіе есть благо, то приходится согласиться, что меньшинство, обладающее этимъ благомъ, стоитъ въ болѣе выгодномъ положеніи и можетъ работать на общую пользу съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ то большинство, которое не приобрѣло себѣ этого сокровища.

Гдѣ же тутъ аристократизмъ?—Никто не думаетъ говорить, что всякій развитой человѣкъ честнѣе и умнѣе всякаго неразвитаго. Я говорю только, что умъ и честность развитаго человѣка приносятъ обществу и самому обладателю этихъ качествъ гораздо больше пользы и наслажденій, чѣмъ умъ и честность человѣка неразвитаго. Эту мысль, которая, по своей простотѣ и очевидности, похожа даже на общее мѣсто, можно повести дальше и выразить болѣе опредѣленнымъ образомъ. Можно сказать, что безъ развитія сильный умъ и сильный характеръ становятся не только бесполезными, но даже вредными, какъ для общества, такъ и для самаго даннаго субъекта. Посредственность уживается лучше генія съ такою обстановкою, при которомъ умъ и страсти осуждены на бездѣйствіе. Тихій и скромный бурсакъ Васенда проживетъ на свѣтѣ гораздо приличнѣе, благоразумнѣе и безобиднѣе для себя и для всѣхъ, чѣмъ даровитый и замѣчательный Гороблагодатскій, который насолитъ себѣ, насолитъ другимъ, и въ то же время, не произведетъ никакой существенной перемѣны во всемъ томъ, что стѣсняло, волновало и бѣсило его. Это неумѣнье сильныхъ натуръ мириться съ пошлостями жизни драгоцѣнно тѣмъ, что оно выводитъ замѣчательныхъ людей на лучшую дорогу, заставляетъ ихъ искать и иногда помогаетъ имъ найти тѣ знанія, при содѣйствіи которыхъ они могутъ развернуть въ полезной работѣ всѣ свои силы. Но для тѣхъ людей, которымъ выходъ на лучшую дорогу на удастся, это неумѣнье помириться становится обильнымъ источникомъ мученій и ошибокъ. Гороблагодатскій не можетъ сдѣлаться Васендою; онъ не можетъ урѣзать отъ своего ума и отъ своихъ страстей тѣ излишки, которымъ некуда дѣваться при данныхъ условіяхъ. Но если нѣтъ возможности превратить себя въ тихую и приличную посредственность, за то есть полная возможность убить въ себѣ дикимъ разгуломъ всѣ порывы къ лучшей жизни и, вмѣстѣ съ этими неумѣ-

стихия перывами, убить всё способности своего ума; словомъ, можно превратить себя въ ходячую развалину, и эту операцію продѣлываютъ надъ собою такъ или иначе почти всё замѣчательные люди, которые, нуждаясь въ знаніяхъ, сами не умѣютъ понять, чего именно имъ недостаетъ. Такими людьми почти можно успокоить свою тревогу, потому что знанія составляютъ единственный ключъ ко всякой широкой и разумной дѣятельности, какия бы она не была, теоретическая или практическая, ученая или социальная.

IX.

Бурса распоряжается съ своими даровитѣйшими воспитанниками очень безцеремонно: однихъ она развращаетъ голодомъ, на подобіе Аесютки; другимъ, неприступнымъ съ нравственной стороны, она навсегда засоряетъ головы и загораживаетъ дорогу въ образованію. Такимъ образомъ молодая жизнь, такъ или иначе, оказывается изломанною. Блестящія исключенія изъ этого правила не должны подкупать насъ въ пользу бурсы, во-первыхъ потому, что эти исключенія очень малочисленны, а во-вторыхъ потому, что всё они относятся въ такимъ личностямъ, которыя, по выходѣ изъ бурсы, сворачивали въ сторону съ торной бурсацкой дороги. Эти личности, подобныя Добролюбову и Помяловскому, развиваются и совершенствуются именно только тогда, когда стараются какъ можно быстрее и полнее забыть все то, чѣмъ натрадила ихъ алма патетъ бурса. Только эти блестящіе ренегаты бурсы и привлекли вниманіе общества на замкнутый бурсацкій міръ. Принимая этихъ ренегатовъ за образчики, общество расположено было думать, что бурса—тайнственная лабораторія, въ которой рутинныя педагогическія средства, на удивленіе почтенной публики, даютъ превосходнѣйшіе результаты и выковылаютъ *сердца изъ золота и стали*. Общество забывало, что бурсу слѣдуетъ судить по тѣмъ ея продуктамъ, которые остаются навсегда въ предначертанной для нихъ колеѣ. Объ этихъ продуктахъ я распространяться не желаю; но замѣчу мимоходомъ, что ими не совсѣмъ доволенъ былъ г. Иванъ Аксаковъ, который въ этомъ дѣлѣ можетъ быть болѣе компетентнымъ судьей, чѣмъ я.

Посмотримъ теперь, какъ дѣйствуетъ на своихъ воспитанниковъ мертвый домъ. Объ одномъ изъ обитателей этого дома г. Достоевскій говоритъ не только съ уваженіемъ, но даже съ самымъ горячимъ восторгомъ. «Его мѣсто на парахъ, говоритъ авторъ «Записокъ», было рядомъ со мною. Его прекрасное, открытое, умное и въ то же время

добродушно-наивное лицо, съ перваго взгляда привлеку къ нему мое сердце, и я такъ радъ былъ, что судьба послала мнѣ его, а не другого кого нибудь въ сосѣди. Вся душа его выражалась на его красивомъ, можно даже сказать, прекрасномъ лицѣ. Улыбка его была такъ доверчива, такъ дѣтски простодушна; большіе черные глаза были такъ мягки, такъ ласковы, что я всегда чувствовалъ особое удовольствіе, даже облегченіе въ тоскѣ и въ грусти, глядя на него». (Стр. 99). «Трудно представить себѣ, говорится далѣе о томъ же каторжникѣ, какъ этотъ мальчикъ во все время своей каторги могъ сохранить въ себѣ такую мягкость сердца, образовать въ себѣ такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не заглубѣть, не развратиться. Это впрочемъ была сильная и стойкая натура, не смотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узналъ его впоследствии. Онъ былъ цѣломудренъ, какъ чистая дѣвочка, и чей нибудь скверный, циническій, грязный или несправедливый, насильственный поступокъ въ острогѣ зажигалъ огонь негодованія въ его прекрасныхъ глазахъ, которые дѣлались отъ того еще прекраснѣе. Но онъ избѣгалъ ссоръ и брани, хотя былъ вообще не изъ такихъ, которые бы дали себя обидѣть безнаказанно и ухѣлъ за себя постоять. Но ссоръ онъ ни съ кѣмъ не имѣлъ: его всѣ любили и всѣ ласкали. Сначала со мной онъ былъ только вѣжливъ. Мало-помалу я началъ съ нимъ разговаривать; въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ выучился прекрасно говорить по русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Онъ мнѣ показался чрезвычайно скромнымъ и деликатнымъ, и даже много уже рассуждавшимъ. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновеннымъ существомъ и вспоминаю о встрѣчѣ съ нимъ, какъ объ одной изъ лучшихъ встрѣчъ въ моей жизни. Есть натуры, до того прекрасныя отъ природы, до того награжденныя Богомъ, что даже одна мысль о томъ, что они могутъ когда нибудь измѣниться къ худшему, вамъ кажется невозможною. За нихъ вы всегда спокойны. Я и теперь спокоенъ за Алея. Гдѣ-то онъ теперь?» (Т. I. Стр. 100, 101).

Этотъ Алея, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, сдѣлался бы навѣрное украшеніемъ и гордостью отборнаго кружка, составленнаго изъ самой лучшей, самой умной и самой честной университетской молодежи. Характеристика Алея возбуждаетъ собою два вопроса: во-первыхъ, какимъ образомъ такая личность дошла до каторги, а во-вторыхъ, какими средствами этотъ двадцати-лѣтній юноша могъ сохранить въ острогѣ свои превосходныя качества. Алея — младшій сынъ дагестанскаго татарина; у него было на родинѣ пять старшихъ братьевъ, которыхъ онъ, по молодости своихъ лѣтъ, повиновался безпрекословно; однажды эти старшіе братья повезли его съ собою на грабежъ. «Уваженіе къ старшимъ, говорить г. Достоевскій, въ семействахъ горцевъ такъ велико,

что мальчишъ не только не посылѣлъ, но даже и не подумалъ спросить, куда они отправляются». (I, 99). Набѣгъ удался, но потомъ вся исторія раскрылась; Алея вмѣстѣ съ братьями осудили, подвергли тѣлесному наказанію и сослали въ каторгу; впрочемъ, принимая въ соображеніе молодость его лѣтъ, судъ назначилъ Алею *только* четыре года каторжной работы; но послѣ этихъ четырехъ лѣтъ, Алею предстояло поселиться въ Сибири; возвращеніе на родину, подъ прекрасное небо Дагестана, къ матери и сестрамъ, было навсегда отрѣзано бѣдному мальчику за избытокъ его послушности, въ которой впрочемъ онъ рѣшительно не могъ отказать своимъ старшимъ родственникамъ.

Итакъ, скажемъ вмѣстѣ съ читателемъ: по дѣломъ вору мука! и перейдемъ ко второму вопросу: что поддерживало Алея на каторгѣ? — Мнѣ кажется, что его, съ одной стороны, спасалъ отъ развращенія постоянный трудъ, а съ другой стороны, что и товарищи его по каторгѣ вовсе не были такими заразительно-скверными людьми, какихъ мы, добропорядочные и сытые граждане, привыкли себѣ воображать подъ именемъ каторжниковъ или арестантовъ. — Алею трудился постоянно; у него, какъ и у большей части его товарищей, была своя работа, совершенно отличная отъ казенной или обязательной. «Между прочимъ, — говоритъ г. Достоевскій, — у него было много способностей механическихъ; онъ выучился порядочно шить бѣлье, точать сапоги, и впослѣдствіи выучился, сколько могъ, столярному дѣлу». (I, 103). Трудъ не былъ запрещенъ; но запрещалось имѣть при себѣ въ острогѣ инструменты, безъ которыхъ работа невозможна; но инструменты все-таки имѣлись, работа принимала такимъ образомъ характеръ запрещеннаго ялода. Арестанты принуждены были спасать себя отъ праздности и деморализаціи, вопреки распоряженіямъ начальства. При такихъ условіяхъ арестантская промышленность не могла развиваться; надо было ограничиваться такими отраслями труда, которыя не требуютъ большихъ и громоздкихъ инструментовъ; надо было вести работу такъ, чтобы во всякую данную минуту можно было скрыть всѣ слѣды и признаки ея; кто попадался съ инструментами или съ деньгами, тотъ терялъ все свое достоинствѣ и кромѣ того ложился подъ розги. «Но, послѣ каждаго обыска, тотчасъ же пополнялись недостатки, немедленно заводились новыя вещи, и все шло по старому» (I, 27). Борясь постоянно съ этими искусственно-созданными трудностями и опасностями, арестанты не только продолжали работать, но даже умѣли выучиваться новымъ ремесламъ. «Многіе изъ арестантовъ приходили въ острогъ ничего не зная, но учились у другихъ, и потомъ выходили на волю хорошими мастерами. Тутъ были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесари, и рѣзчики, и золотильщики». (I, 26).

Тѣхъ людей еще нельзя считать безнадежно-погибшими, у которыхъ проявляется такое сильное стремленіе къ труду. Но любопытно замѣ-

тить, что, выучиваясь ремеслу и приобретаая себѣ возможность сдѣлаться честнымъ и полезнымъ гражданиномъ, арестантъ нарушалъ приказанія начальства. Арестанта можно и должно было сѣчь за то, что онъ на будущее время старался избавить себя отъ печальной необходимости воровать и грабить. Впрочемъ арестанты, по своей скотской безчувственности, не боялись розогъ и оказывались несправедливыми, несмотря на добросовѣстные старанія осторожнаго начальства отвратить ихъ отъ ремесленной дѣятельности. Они чувствовали, что работа спасала отъ преступленій, и что безъ работы арестанты, по выраженію г. Достоевскаго, поѣли бы другъ друга, какъ пауки въ стеклянѣ. Начальственное преслѣдованіе рабочихъ инструментовъ обуславливалось, по всей вѣроятности, тѣмъ опасеніемъ, что арестанты могутъ передратъ и искалѣчить другъ друга разными ножами, молотками, шилами и другими острыми орудіями; нельзя сказать, чтобы это опасеніе было совершенно неосновательно; самъ г. Достоевскій рассказываетъ, что однажды одинъ арестантъ прернулъ своего товарища шиломъ; но опираться на такіе случаи и преслѣдовать изъ-за нихъ рабочихъ орудія, значить ипускать въ ходъ такое лекарство, которое оказывается хуже самой болѣзни.

Осуждая арестантовъ на праздность и на скуку, начальство значительно усиливало въ нихъ задорное настроеніе; если бы начальству удалось окончательно очистить острогъ отъ рабочихъ инструментовъ, то драки стали бы затѣваться каждый день и за немѣннымъ острыми орудіями арестанты ухитрились бы наносить другъ другу тяжелыя раны полѣнами или даже просто кулаками. Главное соображеніе, мѣшавшее развитію ссоръ между каторжниками, состояло въ томъ, что каждый изъ нихъ имѣлъ свои тайны, которыя могли быть раскрыты обыскомъ; поэтому всѣ старались отвращать такіе скандалы, за которыми должно было послѣдовать появленіе разгнѣваннаго начальства. Когда начиналась ругань между двумя арестантами, то масса публики тщательно наблюдала за тѣмъ, чтобы противники словеснаго предпріательства не переходили къ кулачнымъ упражненіямъ. Диспутантовъ прерывали именно тогда, когда они входили въ азартъ; все это дѣлалось потому, что каждый берегъ себя и свое собственное трудовое гнѣздо. У каждого были кое-какія крошечныя удобства, которыми онъ дорожилъ и которыя онъ могъ потерять въ случаѣ начальственнаго разгрома. Поэтому, всѣ вмѣстѣ, общими силами, унимали другъ друга и поддерживали у себя миръ и благочиніе. Эта причина, предотвращавшая безчисленное множество дракъ и скандаловъ, совершенно перестала бы дѣйствовать, если бы начальство достигло своей цѣли и конфисковало всѣ орудія, необходимыя для работы.

Страдая отъ самой безвыходной скуки и потерявши уже все, что только можно было потерять, арестанты дѣйствительно поѣли бы другъ друга, какъ пауки въ банкѣ. Другая причина, побуждавшая начальство

преслѣдовать орудія, могла состоять въ томъ предположеніи, что арестанты своими инструментами перепилиятъ желѣзныя рѣшетки, проломаютъ каменные стѣны, проруютъ подземныя галереи и наконецъ разбѣгутся на всѣ четыре стороны. Противъ этого соображенія можно возразить, что геній побѣговъ дается очень немногимъ, и что эти немногіе избранные, подобные барону Тренку или Лятюду, умѣютъ устроить побѣги при такихъ обстоятельствахъ, которыя въ глазахъ обыкновенныхъ людей считаются непреодолимыми препятствіями. Побѣждая то, что кажется непобѣдимымъ, эти люди конечно ухитрятся промыслить или даже смастерить себѣ то орудіе, въ которомъ они нуждаются. Поэтому отбирать орудія у цѣлаго острога только для того, чтобы удержатъ отъ побѣга какого-нибудь геніальнаго бѣгуна, способнаго просверлить незамѣтнымъ образомъ цѣлыя каменные горы, -- значить стѣснять и деморализировать еотни невинныхъ для того, чтобы докнать одного виновнаго, который все-таки съумѣетъ поставить на своемъ. Кромѣ того, и это самое важное, побѣгъ изъ казармы невозможенъ, потому что всѣ предварительныя операціи, перепиливаніе рѣшетокъ или ломаніе стѣнъ, должно производиться въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ самаго разнокалибернаго характера. Въ такомъ обществѣ никакой разговоръ не можетъ составиться и никакая тайна не можетъ удержаться. Г. Достоевскій описываетъ одинъ побѣгъ, окончившійся поимкою бѣжавшихъ арестантовъ; но этотъ побѣгъ устроился безъ всякихъ романическихкихъ проломовъ и подкоповъ. Двое арестантовъ просто подговорили конвойнаго ефрейтора и убѣждали вмѣстѣ съ нимъ. Рабочіе инструменты нисколько не содѣйствовали этому побѣгу.

Впрочемъ я, можетъ быть, совершенно напрасно тружусь надъ приискываніемъ общепонятныхъ причинъ, внушавшихъ начальству мертваго дома тѣ или другія распоряженія. Начальство этого мертваго дома, о которомъ пишетъ г. Достоевскій, распоряжалось часто такъ оригинально, что невозможно приискать никакихъ причинъ, кромѣ начальственнаго желанія и добродѣтельной ненависти къ нарушителямъ закона, лишеннымъ всѣхъ правъ состоянія. Такъ напримѣръ, г. Достоевскій рассказываетъ, что плацъ-маіоръ врывался въ острогъ иногда даже по ночамъ, и если замѣчалъ, что арестантъ спитъ на лѣвомъ боку или навзничъ, то на утро его наказывалъ: «Спи, дескать, на правомъ боку, какъ я приказалъ». (I, 49). Не смотря на такія нашествія, не смотря на всѣ трудности, опасности, наказанія, арестанты все-таки работали на себя, по собственному желанію и для собственной выгоды. Это обстоятельство даетъ арестантамъ огромное преимущество надъ бурсаками, у которыхъ обязательная работа была, а собственной работы никакой не было и быть не могло. Впрочемъ, въ свободные часы, когда арестанты могли считать себя до нѣкоторой степени безопасными со стороны началь-

ственных визитовъ, — казармы каторжниковъ превращались въ огромныя мастерскія. Каждый углублялся въ мирное, честное и разумное занятіе; каждый желалъ, чтобы ему не мѣшали другіе, и, вслѣдствіе этого, каждый, въ свою очередь, старался не мѣшать сосѣдямъ. Въ такія минуты мертвый домъ былъ несравненно приличнѣе и благоразумнѣе, чѣмъ бурса во время рекреациі. Вѣрнѣе было бы сказать, что мертвый домъ въ свободныя часы былъ совершенно приличенъ, между тѣмъ какъ бурса не знала, куда дѣвать свое свободное время, и доходила, въ минуты рекреационнаго мрака, до фантастическихъ нелѣпостей. «Въ классѣ такъ темно, — говоритъ Помяловскій, — что за два шага не распознать лица человѣческаго. Всякія игры прекращались въ эти часы, и бурсакъ могъ развлекаться звуками странными и разнообразными. Общее впечатлѣніе было дико. Звуки мѣшаются. Раздается крикъ какого-то несчастнаго, которому вѣроятно *въпали въ лапорокъ*; слышенъ напѣвъ на *Господи воззвахъ* *мась осьмый*; вырывается изъ концерта патетическая нота въ *верхнее ге*; кого-то еще треснули по рожѣ; у печки поютъ: «отроки семинаріи, посреда кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадимъ, тебѣ деньги отдадимъ»; слышенъ плачь; *проучетъ* какая-то тварь, т. е. ржетъ по лошадиному, выдѣлывая: и-и-го-го-го-го! Руганъ виситъ въ воздухѣ, крики и хохотъ, возлоглагольствуютъ, грогочутъ, поютъ на гласы и вкушаютъ затрецины». (Стр. 40). Тутъ же придумывается для разнообразія избіеніе приходчины.

Такихъ явленій въ мертвомъ домѣ нѣтъ, и возможны такіе эпизоды только въ бурсѣ и, въ слабѣйшей степени, въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, возможны собственно потому, что педагоги считаютъ полную праздность превосходнымъ отдыхомъ послѣ умственныхъ занятій. Полная праздность всегда порождаетъ дикія развлеченія, которыя не доставляютъ ни пользы, ни удовольствія самимъ развлекающимся субъектамъ. Этими дикими развлеченіями медленно и нечувствительно, но неизбежно уродуются умы и характеры. Заставьте человѣка выдерживать каждый день, въ продолженіе пяти или шести лѣтъ, часа по три бурсацкой рекреациі, и этотъ человѣкъ непремѣнно огрубѣетъ и ожесточится. Если бы Алей попалъ въ бурсу, то вся его грація, воспѣтая г. Достоевскимъ и устоявшая противъ вліянія мертваго дома, истрепалась и уничтожилась бы въ водоворотѣ смазей, салазокъ и затрецинъ, отъ которыхъ невозможно увернуться и за которыя непремѣнно надо расплатываться тою же монетою. Каторжники работаютъ; поэтому каждый изъ нихъ хочетъ и можетъ сосредоточиваться въ самомъ себѣ, и уединяться отъ товарищей, продолжая сидѣть съ ними въ одной комнатѣ и на однихъ нарахъ. Бурсаки напротивъ того развлекаются, т. е., оворничаютъ другъ надъ другомъ, вслѣдствіе чего обособленіе личности становится невозможнымъ.

Х.

Г. Достоевскій говоритъ, что Алея *всѣ* любила и *всѣ* ласкала. Это значитъ, что каторжники умѣли цѣнить красоту тѣхъ качествъ, которыми отличался Алей. Это значитъ, что каторжники вообще были способны любить безкорыстно чистое, свѣжее, вѣтрое и прекрасное существо. Это обстоятельство въ значительной степени помогло Алею сохранить себя во всемъ блескѣ своей нравственной чистоты. Это же обстоятельство показываетъ ясно, что товарищи Алея были не Богъ знаетъ какіе безнадежно-гнусные люди. Мыслящему читателю врядъ ли есть надобность доказывать, что преступникъ, лишенный всѣхъ правъ состоянія, все-таки не перестаетъ думать и чувствовать по-человѣчески. Но не всѣхъ читателей можно называть мыслящими, и потому говорить о человѣческомъ достоинствѣ каторжниковъ въ наше время не только необходимо, но даже и до нѣкоторой степени опасно. Если вы скажете, что каторжники не лютый звѣрь и не грязная гадина, что въ немъ не замерли лучшіе инстинкты человѣческой природы, что онъ способенъ подняться на ноги и начать новую жизнь, то суровые мудрецы, солидные моралисты и непогрѣшимые *sensores morum* сочтутъ себя оскорбленными до глубины души: они подумаютъ, что вы ставите ихъ на одну доску съ презрѣннымъ каторжникомъ; они закричатъ во все горло, что вы унижаете добродѣтель и прославляете порокъ; они обвинятъ васъ въ томъ, что вы потворствуете воровству, поощряете убійство и стараетесь подорвать авторитетъ закона, карающаго похитителей чужой собственности и чужой жизни. Въ виду такого жалкаго неразумія, заявляющаго себя публично и торжественно, съ апломбомъ и съ величественнымъ самодовольствомъ, становится необходимымъ говорить подробно, но съ нѣкоторою осторожностью, о тѣхъ истинно-человѣческихъ чувствахъ, которыя подмѣчены г. Достоевскимъ въ несчастныхъ обитателяхъ мертваго дома. Описывая человѣческія чувства каторжниковъ, я постоянно долженъ упрощать читателя, чтобы онъ не увлекался примѣромъ арестанта и не старался подражать его преступленіямъ. При такихъ условіяхъ интересы истины будутъ согласны съ требованіями осторожности, и самые строгіе цѣнители литературныхъ заслугъ не рѣшатся заподозрить меня въ посягательствѣ на чистоту и непорочность читающей публики.

Хорошія черты, собранныя г. Достоевскимъ, особенно драгоценны потому, что онѣ вырываются у него почти невольно, и что онѣ сооб-

щаетъ ихъ читателю безъ всякой предвзятой мысли. Большая часть этихъ подробностей брошена мимоходомъ, такъ что авторъ самъ не вглядывался въ нихъ; и не ставилъ ихъ въ заслугу каторжникамъ.

И такъ: *первая черта* — любовь каторжниковъ къ Алею.

Вторая черта. На каторгѣ былъ одинъ старикъ изъ раскольниковъ, безукоризненно честный и чрезвычайно добродушный. «Во всемъ острогѣ, говоритъ г. Достоевскій, старикъ приобрѣлъ всеобщее уваженіе, которымъ нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дѣдушкой и никогда не обижали его». (Стр. 61, Т. I.). «Вотъ этому-то старику мало по малу почти всѣ арестанты начали отдавать свои деньги на храненіе. Въ каторгѣ почти всѣ были воры, но вдругъ всѣ почему-то увѣрились, что старикъ никакъ не можетъ украсть». (I, 62). Это уваженіе къ старости и къ честности, это безграничное довѣріе, это слово *дѣдушка* заключаютъ въ себѣ такъ много глубоко-трогательной теплоты и задушевности, что мой добродѣтельный читатель рискуетъ увлечься и расчувствоваться, если я, соблюдая долгъ осторожности, не напомню ему о надлежащемъ презрѣніи къ клейменнымъ лицамъ и къ бритымъ головамъ.

Третья черта. «Помню, говоритъ г. Достоевскій, какъ однажды одинъ разбойникъ, хмѣльной (въ каторгѣ иногда можно было напиться) началъ рассказывать, какъ онъ зарѣзалъ пятилѣтняго мальчика, какъ онъ обманулъ его сначала игрушкой, завелъ куда-то въ пустой сарай, да тамъ и зарѣзалъ. Вся казарма, доселѣ смѣявшаяся его шуткамъ, закричала какъ одинъ человѣкъ, и разбойникъ принужденъ былъ замолчать; не отъ негодованія закричала казарма, а такъ, потому что *не надо* было *про это* говорить, потому что говорить *про это* не принято». (I, 15). Фактъ замѣчательнъ, но объясненіе, прибавленное авторомъ, ровно ничего не объясняетъ и рѣшительно не выдерживаетъ критики. Почему авторъ знаетъ, что казарма закричала *не отъ негодованія*? И что это за резонъ выраженъ словами: *а такъ*? И если рассказъ разбойника ни въ комъ не возбуждалъ негодованія и отвращенія, то почему же *не надо* и *не принято* было говорить о такихъ предметахъ? — На эти вопросы авторъ опять отвѣтитъ: *такъ*, но кто же удовлетворится подобнымъ отвѣтомъ? — Мнѣ кажется, что казарма закричала именно отъ негодованія, потому что ей показалось чрезвычайъ отвратительнымъ, во-первыхъ, умерщвленіе беззащитнаго ребенка, а во-вторыхъ, наглосебство. Слушатели почувствовали, что это хвастовство глубоко оскорбляетъ ихъ человѣческое достоинство. За кого же, дескать, этотъ осель насъ принимаетъ, если онъ думаетъ, что мы будемъ любоваться такими мерзостями? Г. Достоевскій полагаетъ, что «*про это* говорить не принято». — То есть, про что же именно? Про какое *это*? Если подъ словомъ *это* г. Достоевскій подразумеваетъ вообще убійство, то онъ

ошибается и самъ себя опровергаетъ. Въ томъ же томѣ, на стр. 182 и 183, Дучка рассказываетъ товарищамъ очень подробно, какъ онъ зарѣзалъ одного сердатаго плацъ-маіора, и всѣ его слушаютъ, и никто на него не кричитъ. Значить, объ убійствѣ говорить можно, и, значить, крикъ казармы, въ первомъ случаѣ, былъ направленъ не противъ нарушенія каторжнаго этикета, а противъ отвратительности разбойническихъ изліяній.

Четвертая черта. Арестанты любятъ докторовъ за ихъ гуманное обращеніе и вспоминаютъ со вздохами и съ умиленіемъ о тѣхъ начальникахъ, въ которыхъ замѣтны были хоть какіе-нибудь проблески добродушія. — Душа человѣкъ! Отца не надо! — говорятъ арестанты, вспоминая поручика Смекалова (II, 44), который однако наказывалъ ихъ за провинности, но только при этомъ не смотрѣлъ на нихъ, какъ на отверженцовъ, и не придирался ко всякимъ пустякамъ. «Даже, говоритъ г. Достоевскій, подъ часъ какой-то маниловщиной отзывались воспоминанія о добрѣйшемъ поручикѣ». (II, 44). Значить, самая ничтожная ласка находитъ себѣ доступъ къ сердцу арестанта. Гдѣ же тутъ закоренѣлость и неисправимость? Но при этомъ осторожность все-таки заставляетъ меня напомнить читателю, что подражать арестантамъ не годится.

Пятая черта. На канунѣ Рождества во всемъ острогѣ господствуетъ торжественная тишина. Всѣ арестанты ведутъ себя особенно чинно и спокойно. Нѣтъ ни балагурства, ни каторжной игры. Кто нарушаетъ общее строгое спокойствіе, того унимаютъ и бранятъ за неуваженіе къ празднику. Словомъ, арестанты хотятъ, чтобы у нихъ въ ихъ тѣсной и душной острожной сферѣ, было то же самое, что дѣлается въ мірѣ свободныхъ и добропорядочныхъ людей. Арестанту очень хочется поддерживать въ своихъ собственныхъ глазахъ свое человѣческое достоинство, и онъ приступаетъ къ этой задачѣ съ тѣми средствами, которыя даетъ ему въ руки его нероскошное умственное развитіе. Въ какихъ бы формахъ ни проявлялось это стремленіе уважать въ самомъ себѣ человѣка, — оно во всякомъ случаѣ показываетъ, что, не смотря на всю безвыходную грязь и тоску острожнаго прозябанія, арестантъ все-таки не хочетъ и не можетъ окончательно махнуть на себя рукою.

Шестая черта. Въ самый день Рождества изъ города привозятъ и приносятъ въ острогъ пѣлыя горы подавій, въ видѣ всевозможныхъ сдобныхъ печеній. Начинается дѣлежъ. «Не было ни спору, ни брани, говоритъ г. Достоевскій; дѣло вели честно, по-ровну. Что пришлось на нашу казарму, раздѣлили уже у насъ; дѣлилъ Акимъ Акимычъ и еще другой арестантъ; дѣлили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малѣйшаго возраженія, ни малѣйшей зависти отъ кого

нибудь; всё остались довольны; даже подозрѣнія не могло быть, чтобы подавнѣе можно было утаить или раздать его не поровну». (I, 232).

Седьмая черта. На свѣткахъ арестанты устроили театръ. «Унтеръ-офицеръ взялъ съ арестантовъ слово, что все будетъ тихо, и вести будутъ себя хорошо. Согласились съ радостью и *свято исполняли обѣщаніе; льстило тоже очень, что вѣрять ихъ слову*». (I, 241). Это все прекрасно; но ты, читатель, все-таки не забывай, что ты, въ лицѣ арестантовъ, обязанъ ненавидѣть и презирать пороки и преступленіе.

Восьмая черта. Ссылные поляки, гнушаясь арестантами, не хотѣли ходить на ихъ театральные спектакли. Наконецъ, изъ любопытства, они рѣшились одинъ разъ посмотрѣть на арестантскія затѣи. «Брезгливость поляковъ ни мало не раздражала каторжныхъ, а встрѣчены они были четвертаго января очень вѣжливо. Ихъ даже пропустили на лучшія мѣста». (I, 247). Такое спокойное и простое великодушіе могло бы сдѣлать честь даже какому нибудь очень образованному и блестящему обществу.

Девятая черта. Театромъ своимъ арестанты восхищаются, какъ дѣти. Ихъ наивная радость, превосходно описанная въ XI главѣ I тома, доказываетъ двѣ вещи: во-первыхъ то, что вся ихъ прежняя жизнь была чрезвычайно однообразна и бѣдна пріятными впечатлѣніями, а во-вторыхъ, что эти люди, не смотря на свой каторжническій санъ, представляютъ собою, въ умственномъ отношеніи, совершенно дѣвственную почву, на которой искусный воспитатель, при нѣкоторомъ стараніи, могъ бы возростить богатую жатву хорошихъ мыслей, великодушныхъ чувствъ и честныхъ намѣреній. Если для нихъ ново и драгоцѣнно самое ничтожное эстетическое наслажденіе, то, значитъ, ясно, что умъ ихъ спалъ глубокимъ сномъ во все то время, когда они совершали преступленія. А если умъ ихъ ничѣмъ не былъ пробужденъ и затронутъ съ самаго ихъ рожденія, то, спрашивается, какую же силу они могли противопоставить тѣмъ искушеніямъ, которыя осаждаютъ со всѣхъ сторонъ голоднаго и безпомощнаго бѣдняка? Далѣе, если для нихъ новы *все впечатлѣнія бытія*, то можно ли ихъ считать погибшими людьми? Погибшимъ можно назвать только того человѣка, который весь поглощенъ одною страстью, вредною для общества. Плюшкинъ, для котораго не существуетъ на свѣтѣ ничего, кромѣ денегъ, погибшій человѣкъ, хотя онъ никогда не попадетъ на каторгу. Но каторжникъ, способный отдаваться всевозможнымъ впечатлѣніямъ съ порывистою страстностью ребенка, можетъ воскреснуть и начать новую жизнь, лишь бы только общество рѣшилось дружелюбно протянуть ему руку помощи. Но вы, читатели, разумѣется подобной глупости не сдѣлаете, потому что вы обязаны помнить то огромное разстояніе, которое отдѣляетъ васъ, честныхъ людей, отъ презрѣнныхъ обитателей мертваго дома.

Десятая черта. Преступниковъ, наказанныхъ шпицрутенами, приводили обыкновенно въ госпитальную калату, и тутъ больные арестанты, принимая ихъ на свое попеченіе, ухаживали за ними самымъ тщательнымъ образомъ. «Всю ночь ухаживали за нимъ арестанты, говорить г. Достоевскій о наказанномъ разбойникѣ Орловѣ, перемѣняли ему воду, переворачивали его съ боку на бокъ, давали лекарство, точно они ухаживали за кровнымъ роднымъ, за какинъ нибудь своимъ благодѣтелемъ». (I, 89). «Молча помогали несчастному и ухаживали за нимъ, особенно если онъ не могъ обойтись безъ помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдаютъ битаго въ опытныхъ и искусныхъ руки. Помощь обыкновенно была въ частой и необходимой перемѣнѣ смоченной въ холодной водѣ простыни или рубашки, которою одѣвали истерзанную спину, особенно если наказанный самъ уже былъ не въ силахъ наблюдать за собой, да кромѣ того въ ловкомъ выдергивачи зановъ изъ болячекъ, которыя за-частую остаются въ спинѣ отъ сломавшихся объ нее палокъ». (II, 14).

Если бы я захотѣлъ приводить здѣсь всѣ хорошія черты, подмѣченныя г. Достоевскимъ въ отдѣльныхъ личностяхъ, то мнѣ еще долго не пришлось бы кончить. Но я нарочно ограничился только тѣми чертами, которыя относятся къ общей массѣ каторжниковъ, и характеризуютъ собою господствующее настроеніе. Взятые порознь, эти черты очень мелки и незначительны; но если сложить ихъ всѣ вмѣстѣ, и если дополнить ихъ тѣми нравственными свойствами, съ которыми эти мелкія черты неразрывно связаны, то получится общій результатъ, далеко не отвратительный. Говоря о каторгѣ, слѣдуетъ перевернуть извѣстную пословицу: «не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ мѣсто», пословицу, которая впрочемъ нигдѣ и никогда не оказывается вѣрною. О каторгѣ можно сказать, что тутъ не люди портятъ мѣсто, а мѣсто портитъ людей. Острогъ ужасенъ не тѣмъ, что въ немъ живутъ ужасные люди, а тѣмъ, что эти люди, совсѣмъ не ужасные, терпятъ въ немъ значительныя лишенія и стѣсненія, которыя притупляютъ ихъ умы, и портятъ ихъ характеры. Когда начальству угодно будетъ устранить нѣкоторыя изъ этихъ лишеній, тогда острогъ, превращаясь по-немногу въ мастерскую и въ ремесленную школу, утратитъ большую часть своей отвратительности, и начнетъ приносить дѣйствительную пользу тѣмъ заключеннымъ, которымъ не удалось приобрести себѣ на свободѣ ни техническихъ знаній, ни житейской сноровки. Мертвый домъ, описанный г. Достоевскимъ, заключаетъ въ самомъ себѣ задатки своего усовершенствованія. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантовъ улучшится, какъ только имъ дадутъ возможность смѣло и открыто заниматься собственною работою.

Въ бурсѣ, описанной Помяловскимъ, я не замѣтилъ такихъ задат-

ковъ развитія. Начальство можетъ конечно замѣнить розги карцеромъ, а карцеръ еще какимъ нибудь другимъ болѣе деликатнымъ наказаніемъ. Начальство можетъ улучшить столъ воспитанниковъ, истребить сырость и грязь, вентилировать комнаты, и зажигать лампы на цѣлый вечеръ. Все это конечно значительно облегчить участь бурсаковъ, но основное зло бурсы останется нетронутымъ, потому что оно неизлечимо. Это основное зло заключается въ той антипатіи, которая существуетъ между умами учениковъ и бурсацкою наукою. Эту антипатію невозможно искоренить, потому что бурсацкую науку невозможно сдѣлать привлекательною. Всѣ лучшія силы общества устремлены совсѣмъ не на тѣ занятія, которыя могутъ сформировать хорошихъ бурсацкихъ преподавателей. Общество интересуется совсѣмъ не тѣмъ, что интересовало его нѣсколько столѣтій тому назадъ. То, что оставляется безъ вниманія лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневолѣ облекается въ такія сухія и черствыя формы, которыя никому не могутъ нравиться, и которыя приходится навязывать ученикамъ насильно, посредствомъ розогъ, или посредствомъ карцера, или при содѣйствіи какихъ нибудь еще болѣе утонченныхъ и облагороженныхъ средствъ угнетенія. Ученики воспринимаютъ неохотно, забываютъ немедленно, и выносятъ съ собою въ жизнь вмѣсто полезныхъ знаній отвращеніе къ умственному труду. Очень жаль, но счастливыя времена Абеяра все-таки остаются невозвратимыми.

КОНЕЦЪ ПЯТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЯТОЙ ЧАСТИ.

	Стр.
I. Наша университетская наука.	1
П. Школа и жизнь	111
Ш. Мысли Фирхова о воспитании женщинъ	193
IV. Погибшіе и погибающіе	211

СОЧИНЕНІЯ
Д. И. ПИСАРЕВА.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

Изданіе Ф. Павленкова.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р.

ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ А. ГОЛОВACHEVA.

(Вознесенскій пр., д. № 23 и 81).

1866.

Право перевода статей „Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений“ остается за издателемъ.

СТАТЪИ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ.

ПРОЦЕССЪ ЖИЗНИ.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЯ ПИСЬМА КАРЛА ФОХТА.

(Physiologischen Briefe von Carl Vogt.)

I.

Представьте себѣ, что вамъ приходится описывать очень сложную машину съ замысловатымъ внутреннимъ устройствомъ, которое непременно должно находиться во время дѣйствія снаряда въ плотно закупоренномъ ящикѣ, чтобы не подвергнуться разлагающему вліянію атмосфернаго воздуха, чтобы не отсырѣть, не засориться и не придти въ негодность. Представьте себѣ, что эта машина приводится въ движеніе не одними механическими средствами (т. е. не только колесами, гирями, шестернями и цѣпочками), а кромѣ того, химическими соединеніями и разложеніями, совершающимися внутри снаряда. Чтобы дать читателямъ какое нибудь понятіе объ этой сложной машинѣ, вамъ поневолѣ придется описывать ее по частямъ, представлять ее въ разрѣзѣ, вынимать изъ нея отдѣльныя колеса и гири, разсматривать химическіе агенты, словомъ, разрушать ту общую связь, которая необходима для успѣшнаго дѣйствія снаряда. Вамъ придется утомлять вниманіе читателя мелкими подробностями, которыхъ необходимость нѣсколько времени будетъ оставаться для него непонятною; въ то время, когда читатель будетъ требовать отъ васъ общаго, идеи снаряда, вы будете принуждены говорить ему о дѣйствіи того или другаго блока, о свойствахъ той или другой щелочи. Въ такомъ-то непріятномъ положеніи находится фیزیологъ, пытающійся сообщить публикѣ въ популярной формѣ главные результаты новѣйшихъ изслѣдованій, касающихся человѣческаго организма. Конечно, никакая машина не можетъ интересовать насъ

такъ сильно, какъ интересуеъ насъ наше собственное тѣло. Но зато, какая же машина сложностью своего внутреннего устройства можетъ сравниться съ животнымъ организмомъ? Какая машина представляетъ наблюдателю такія, на первый взглядъ, непреодолимые препятствія? Мы хотимъ видѣть машину въ полномъ ходу, — это оказывается невозможнымъ. Какъ только мы попытаемся какимъ нибудь способомъ раскрыть дверцу, чтобы бросить любопытный взглядъ на внутреннее устройство, такъ это внутреннее устройство оказывается насильственно измѣненнымъ; гармонія нарушена, и намъ остается только догадываться, какъ было прежде, до той минуты, когда мы разорвали живую связь органическихъ тканей.

О тѣхъ временахъ, когда предразсудокъ мѣшалъ врачамъ анатомизировать трупы, нечего и говорить; въ тѣ времена фізіологія не существовала, какъ наука; тогда приходилось любознательному врачу рѣзать кошекъ, собакъ, кроликовъ, и по аналогіи возсоздавать внутреннее устройство человѣческаго тѣла; зато, тогда медицина опиралась на магію; поле этихъ двухъ наукъ не можетъ быть разграничено, и многіе знаменитые врачи за излишнюю догадливость попадали въ тюрьмы священной инквизиціи и умирали на крестахъ. Теперь измѣнились препятствія, измѣнились опасности, угрожающія фізіологу; наука далеко подвинулась впередъ, но и теперь еще она нуждается почти въ оправданіи, въ извиненіи въ глазахъ той массы, которая именно всего болѣе нуждается въ знаніяхъ, и которая, уже потому, что знаетъ грамотѣ, была бы дѣйствительно способна усвоить себѣ результаты изслѣдованія. Теперь добросовѣстный и талантливый изслѣдователь рискуетъ остаться непрочитаннымъ только потому, что онъ не забѣгаетъ впередъ фактовъ, не строитъ скороспѣлыхъ теорій, не возвышается преждевременно до синтетическихъ взглядовъ. Мы всѣ еще сильно заражены наклонностью къ натурфілософіи, къ познанію общихъ свойствъ естества, основныхъ началъ бытія, конечной цѣли природы и человѣка, и прочей дребедени, которая смущаетъ даже многихъ специалистовъ и мѣшаетъ имъ обращаться, какъ слѣдуетъ, съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ. Теоріи фізіологіи растутъ какъ грибы подъ руками плодовитыхъ писателей; медицина кидается на эти теоріи, прилагаетъ ихъ къ дѣлу, едва проверивъ степень ихъ основательности, является путаница, практическія ошибки, отъымающія сотнями смертныхъ случаевъ, сотнями и тысячами неудачныхъ леченій. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, иначе объяснить появленіе на нашихъ глазахъ разныхъ противурѣчивыхъ системъ леченія, гомеопатіи, гидропатіи, магнитическаго, электрическаго, гальваническаго леченія? Если все это не одно чистое шарлатанство, что предположить какъ-то совѣстно, то это продукты скороспѣлыхъ теорій, а скороспѣлыя теоріи — остатокъ средневѣковой методы восхо-

дѣть къ началу всѣхъ началъ, когда знаешь факты изъ пятого въ десятое, и когда почва еще колыхнется подъ ногами.

Естественныя науки не то, что исторія, совсѣмъ не то, хоть Бюкль и пытается привести ихъ къ одному знаменателю. Въ исторіи все дѣло въ воззрѣніи, въ гуманной личности самого писателя; въ естественныхъ наукахъ все дѣло въ фактѣ; еслибы Маколей ошибся сто разъ въ фактическомъ разсказѣ событій, и тогда бы его произведенія имѣли для насъ несравненно болѣе прелести, болѣе жизненной полноты и человѣческаго достоинства, чѣмъ творенія какого нибудь Капфига или Миркура, хотя бы эти господа не ошиблись ни въ одномъ годѣ, ни въ одной генеалогической подробности. Разсматривая прошедшую жизнь человѣчества, я непремѣнно становлюсь къ ея проявленіямъ въ тѣ или другія отношенія; если же у меня нѣтъ никакихъ отношеній къ прошедшимъ событіямъ, тогда становится непонятнымъ, для чего же я ихъ разсказываю. Лѣтописецъ записываетъ для того, чтобы событія не пропали для потомства. А историку такой причины въ наше время привести нельзя. Лѣтописи не пропадутъ; онѣ хранятся въ библіотекахъ и архивахъ, за замками и запорами. Стало-быть, если я беру эти лѣтописи, то для того, чтобы сказать что нибудь по поводу событій, а не для того, чтобы пересказать событія, иначе и г. Семевскаго придется зачислить въ русскіе историки. Исторія есть осмысленіе событія съ личной точки зрѣнія автора; каждая политическая партія можетъ имѣть свою всемірную исторію, и дѣйствительно имѣетъ ее, хотя конечно не всѣ эти исторіи записаны, точно также, какъ всякая философская школа имѣетъ свой философскій лексиконъ. Исторія есть и всегда будетъ теоретическимъ оправданіемъ извѣстныхъ практическихъ убѣжденій, составившихся путемъ жизни и имѣющихъ свое положительное значеніе въ настоящемъ. Объ естественныхъ наукахъ этого конечно нельзя сказать; природѣ нѣтъ никакого дѣла до того, какъ вы объ ней думаете; если вы ошиблись, она васъ помнетъ или совсѣмъ раздавитъ, какъ помнетъ или раздавитъ васъ колесо огромной машины, къ которой вы подошли слишкомъ близко во время ея полного хода. Изучая природу, вы имѣете дѣло съ слѣпыми силами, но съ силами громадными, постоянно дѣйствующими, которыя не подадутся для васъ ни вправо, ни влѣво. Управлять вы ими можете, но для этого вы должны *знать* ихъ, а не составлять себѣ объ нихъ произвольныя теоретическія понятія. Каждая естественная наука имѣетъ свои практическія приложенія; отъ степени развитія этихъ практическихъ приложеній зависитъ вся наша жизнь; сохраненіе, удобства жизни, наслажденія — все это возможно только при знаніи окружающей природы; тутъ ужъ на теоріи далеко не уѣдешь.

Цѣль естественныхъ наукъ — никакъ не формированіе міросозерцанія, а просто увеличеніе удобствъ жизни, расширеніе и расчищеніе того

русла, въ которомъ текутъ наши интересы, занятія, наслажденія, слово, все то, что мы называемъ жизнью. Для естествоиспытателя нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть міросозерцаніе. Если вы думаете, что Фохтъ, Мошотъ и другіе подобные имъ, имѣютъ міросозерцаніе, то вы сильно ошибаетесь. Эти люди просто настолько сильны умомъ, что откинули всѣ бредни, которыми наслаждались, а подъ-часть и пугали себя окружающіе ихъ взрослые дѣти въ очкахъ, въ парикахъ, съ бородами и бакенбардами. Они рѣшились каждую вещь брать въ руки, осматривать, класть ее подъ микроскопъ, опускать въ кислоту и потомъ сообщать публикѣ описанія своихъ опытовъ съ рисунками и чертежами; какъ люди, способные работать мозгомъ, они конечно видѣли нѣкоторую связь между наблюдаемыми явленіями и даже старались находить эту связь, располагая свои наблюденія въ извѣстной послѣдовательности; общихъ результатовъ они не нашли еще, потому ли, что ихъ вовсе нѣтъ, или же потому, что фактическая часть науки еще малоизвѣстна; какъ бы то ни было, по своей теоріи міра они не построили, и въ этомъ, вообразите себѣ, и состоитъ величайшая ихъ заслуга. Когда люди, расположенные строить теоріи міра, берутся за изученіе природы, то они дѣлаются Сведенборгами, или Экартсгаузенами, или же, по крайней мѣрѣ, подобно Мильну-Эдвардсу, превращаютъ природу въ спеціалиста политической экономіи. Мнѣ всегда приходило въ голову, что подобные господа положительно не поняли своихъ наклонностей и способностей. Въ нихъ творчество положительно преобладаетъ надъ любознательностью. Имъ бы слѣдовало усвоить себѣ изящную форму изложенія и писать романы, повѣсти, поэмы, лирическія мелочи, все, что угодно, только никакъ не ученыя изслѣдованія. Оно, конечно, пріятно смотрѣть на природу какъ на кучку пестрыхъ камешковъ, изъ которыхъ можно сложить красивую, пеструю мозаику, но вѣдь надо же себя поставить на мѣсто тѣхъ людей, которые желали бы видѣть, какъ эти пестрые камешки лежатъ не въ книгѣ неудавшагося поэта, а на самомъ дѣлѣ, въ живой дѣйствительности. Зачѣмъ же этихъ людей вводить въ заблужденіе заглавіемъ книги? Если-бы на оберткѣ было написано: *Фантазія такого-то о природѣ, въ стихахъ и прозѣ*, то можетъ быть эти люди и въ руки не взяли бы этого произведенія.

Да, строители теорій, или, что то же, неудавшіеся поэты надѣлали много вреда, они, напримѣръ, до такой степени извратили понятія и вкусъ публики, что публика требуетъ отъ изслѣдованій натуралистовъ—направленія. Ради Бога, господа, вникните въ безобразіе этого требованія: направленія отъ натуралистовъ. Я поясню это требованіе короткимъ разсказомъ дѣйствительнаго происшествія. Мнѣ случилось разговаривать о Мошотѣ съ однимъ знакомымъ мнѣ современно развитымъ гуманистомъ. Мой собесѣдникъ упрекнулъ Мошоту въ аристократизмъ.

Я пришелъ въ недоумѣніе и ждалъ, что-то будетъ. Помилуйте, продолжалъ гуманистъ, онъ придаетъ такое значеніе пищи, что по его теоріи видетъ такъ: кто хорошо обѣдаетъ, тотъ и силенъ, и уменъ, а тотъ, у котораго рѣдко бываетъ во щахъ кусокъ мяса, стало-быть дрянъ.... Мой знакомый долго продолжалъ говорить на эту тему, но направленіе его рѣчи уже намѣчено и потому я его оставляю въ сторонѣ. Что же касается до Молешота, его конечно защищать мудрено. Онъ виноватъ безъ оправданія! Какъ онъ смѣлъ, вопреки гуманнымъ тенденціямъ вѣка, доказывать, что мясная пища даетъ силы мускуламъ и мозгу, а растительная—заставляетъ организмъ почти исключительно заниматься пищевареніемъ! Можно было бы возразить, пожалуй, что для бѣдныхъ Ирландцевъ было бы полезнѣе, еслибы филантропы поменьше восторгались ихъ патріархальными добродѣтелями, и побольше заботились о заимѣненіи картофеля чечевицею и горохомъ. Но филантропы такого возраженія не примутъ: если вы скажете, что народъ грубъ, они обвинятъ васъ въ негуманности; если вы скажете, что порода измельчала и испортилась отъ дурной пищи и дурнаго образа жизни, они обвинятъ васъ въ кощунствѣ. Преклоняйтесь передъ народною правдою, уважайте даже народныя щи да кашу и не вѣрьте Молешоту, котораго, по выраженію г. Полонскаго, изучаетъ самъ чортъ, — вотъ что скажутъ вамъ филантропы, гуманисты, которые всѣ болѣе или менѣе подходятъ подъ типъ ушедшихъ поэтовъ.

II.

Фохтъ не поэтъ; его фізіологическія письма написаны безъ міросозерцанія; съ міромъ онъ и не имѣетъ дѣла, онъ старается описать понятнымъ языкомъ главныя органическія отправления, образующія собою тотъ страшно сложный процессъ, который мы называемъ простымъ, общезвѣстнымъ словомъ жизнь. Вся книга Фохта состоитъ изъ отдѣльныхъ подробностей и исчерпываетъ, насколько это теперь возможно, только одну сторону жизни, растительную жизнь (*das vegetative Leben*). Въ книгѣ Фохта говорится только о томъ, какъ поддерживается органическая жизнь, т. е. какъ обращается кровь, какъ совершается процессъ дыханія, какъ принимается и переваривается пища. Цѣлая, огромная сторона жизни остается еще незатронутою; о жизни животной, т. е. о воспріятіи и переработкѣ впечатлѣній, о дѣятельности нервной системы, въ этомъ томѣ еще не сказано ни слова. Говоря о различныхъ отправленияхъ растительной жизни (т. е. той жизни, которая составляетъ

общее достояніе растений и животных), Фохтъ принужденъ бороться съ рутинною и скрытымъ мистицизмомъ прежнихъ физиологовъ. Говорить-ли онъ о кровообращеніи, о дыханіи или о пищевареніи, ему вездѣ приходится еще *доказывать*, что всѣ эти процессы совершаются по простому сплеленію физическихъ и химическихъ законовъ, безъ всякаго вмѣшательства посторонней, таинственной силы. Эту таинственную силу прежніе физиологи называли жизненною силою. Гдѣ кончались предѣлы ихъ наблюденій, тамъ они, вмѣсто того, чтобы откровенно сказать: не знаю, говорили: здѣсь начинается дѣйствіе жизненной силы.

«Жизненная сила, говоритъ Фохтъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ заднихъ дверей, которыхъ такъ много въ наукѣ, и которыя всегда будутъ убѣжищемъ праздныхъ умовъ; вмѣсто того, чтобы потрудиться, да изслѣдовать то, что на первый взглядъ кажется непостижимымъ, эти умы довольствуются тѣмъ, что дивятся кажущемуся чуду. Медицина въ этомъ отношеніи особенно изобрѣтательна. Боже милостивый! Что бы случилось съ медицинскою практикою, еслибы не было подъ руками терминовъ: ревматизмъ, ипохондрія и истерія, этихъ трехъ кладовыхъ, въ которыя мы сваливаемъ все то, о чемъ не имѣемъ точныхъ свѣдѣній? Когда не знали электричества, тогда считали громъ явленіемъ сверхъестественнымъ; но чѣмъ дальше шли впередъ въ познаніи природы, тѣмъ болѣе исчезало таинственное и чудесное. То же явленіе совершалось и въ физиологін; жизненная сила есть тотъ неизвѣстный, тотъ *x*, который стоитъ вездѣ въ глубинѣ сцены и постоянно увертывается, когда его хотятъ схватить; царство этого неизвѣстнаго отодвигается назадъ и въ глубь, по мѣрѣ того, какъ наука проникаетъ впередъ съ своимъ факеломъ. Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія не было ни одного отправленія нашего тѣла, въ которомъ этотъ неизвѣстный элементъ жизненной силы не игралъ бы значительной роли:—теперь ссылка на жизненную силу для объясненія наблюдаемаго факта не имѣетъ уже никакого научнаго значенія; она будетъ просто описательнымъ выраженіемъ невѣдѣнія». И такъ, жизненной силы, какъ чего-то самостоятельнаго, неразлагаемаго, не существуетъ; послѣдній оплотъ невѣжества разрушенъ; маска сорвана съ мистицизма, и изслѣдователи смотрятъ на природу внимательно, но просто, безъ суевѣрнаго благоговѣнія, безъ институтской мечтательности.

Иные скажутъ, пожалуй, что это и есть направленіе изслѣдованія. Господа, помилосердуйте! Неужели человѣкъ, говорящій самому себѣ: смотри въ оба, не зѣвай по сторонамъ, не ври глупостей, — вслѣдствіе этого представляется вамъ адептомъ извѣстной школы? Тогда вы должны будете сознаться, что и здравый смыслъ, и нормальный глазъ тоже принадлежать не здоровымъ людямъ вообще, а приверженцамъ того или другаго ученія. Впрочемъ и это бываетъ. Когда я въ одной критической

статьѣ выразилъ сомнѣніе въ необходимости идеаловъ, то мнѣ замѣтили въ «Сѣверной Пчелѣ», что я только подставляю вмѣсто существующихъ идеаловъ свой идеальчикъ; вотъ видите-ли, отсутствіе идеаловъ и безграничная свобода личности, формулирующаяся русскою пословицею: «кто во что гораздъ» или «всякій молодецъ на свой образецъ», какъ желаемое состояніе человѣчества, показалось моему рецензенту новымъ идеаломъ. Если такъ смотрѣть на вещи, тогда конечно и Молешота, и Фохта придется считать идеалистами и адептами школы: они отрицаютъ всякія предвзятія теоріи, освобождаются отъ всякихъ предубѣжденій. Ну, чтожъ? это отрицаніе и есть, стало-быть, ихъ теорія. Спорить съ подобнымъ мнѣніемъ не стоитъ уже потому, что оно нисколько не измѣняетъ сущности дѣла, а спорить изъ-за словъ

Есть тѣмъ охотниковъ, —
Я не изъ ихъ числа.

III.

Приступимъ къ дѣлу. Въ процессѣ жизни можно замѣтить три главныхъ отправленія, тѣсно, неразрывно связанныя между собою, но между тѣмъ совершающіяся отдѣльными органами и, слѣдовательно, допускающія отдѣльное изученіе. Эти три отправленія называются кровообращеніемъ, дыханіемъ и пищевареніемъ. При остановкѣ одного изъ этихъ трехъ отправленій останавливаются и остальные; организмъ разлагается и составныя его части возвращаются въ вѣчный круговоротъ вещества. Если, положимъ, отъ холода остановилось обращеніе крови, мы говоримъ, что животное замерзло; если какое нибудь постороннее препятствіе остановило притокъ кислорода въ легкія, мы говоримъ, что животное задохнулось; если отъ недостатка питательныхъ матеріаловъ остановилось на извѣстный промежутокъ времени пищевареніе, мы говоримъ, что животное умерло съ голоду. Во всѣхъ трехъ случаяхъ прекращеніе одной изъ функций жизненнаго процесса повело за собою прекращеніе двухъ остальныхъ и, слѣдовательно, уничтоженіе органической жизни вообще. Жизнь же есть ни что иное, какъ постоянное измѣненіе матеріала при сохраненіи извѣстной формы. Я сегодня тотъ же человѣкъ, какой былъ вчера, а между тѣмъ процессы испражненія, испаренія и выдыханія выдѣлили изъ моего тѣла матеріалы, входившіе вчера въ его составъ; въ то же время процессы принятія пищи и вдыханія воздуха внесли въ мое тѣло частицы, которыхъ въ немъ не было вчера. Если я теряю способность

выдѣлять или воспринимать, я вмѣстѣ съ тѣмъ теряю способность жить; запоръ, задержаніе мочи, отсутствіе аппетита и пр. составляютъ болѣзни; если эти болѣзни не будутъ устранены медицинскими средствами или дѣйствіемъ самой природы, если потерянная способность выдѣлять или воспринимать не возвратится въ свое время, организмъ непременно разрушится, и мое я превратится въ черноземъ, войдетъ въ тѣло земляныхъ и другихъ червей, въ составъ травы, и вообще поступитъ въ полное распоряженіе общей кормилицы, матушки сырой земли, а духъ, конечно, воспаритъ, и т. д. Оно хоть и обидно для человѣческаго самолюбія; а дѣлать нечего! Какъ ни толкуй гг. гуманисты о нравственномъ и юридическомъ смыслѣ, а противъ рожа прать мудро, и съ фактами примириться необходимо. Для тѣхъ же изъ гуманистовъ, которые любятъ прислоняться къ авторитету, и утѣшаться тѣмъ, что они имѣютъ за себя великіе голоса человѣчества, будетъ безконечно полезно въ этомъ случаѣ припомнить слова Гамлета надъ черепомъ Іорика. Противъ ослзательнаго факта они еще поспорятъ, но когда увидятъ, что за этотъ же фактъ говоритъ и Шекспиръ, тогда они сложатъ оружіе.

Но къ дѣлу! къ дѣлу! Постараюсь по Фохту, въ самыхъ общихъ чертахъ, охарактеризовать процессы кровообращенія, дыханія и пищеваренія. Подробности не возможны при отсутствіи чертежей; сверхъ того, онѣ утомительны для человѣка, рѣшительно незнакомаго съ анатоміею; что же касается до легкаго очерка, то я надѣюсь, что его прочтутъ безъ скуки и неудовольствія.

Въ обращеніи крови главную роль играетъ сердце. «Все движеніе крови, говоритъ Фохтъ, зависитъ исключительно отъ дѣятельности сердца» (стр. 19). Сердце есть полый мускулъ, сжимающийся и расширяющийся; этотъ мускулъ соединяется съ двумя системами кровеносныхъ сосудовъ, расходящихся отъ сердца ко всѣмъ частямъ тѣла. Одна изъ этихъ системъ—*артеріи* несутъ кровь отъ сердца къ оконечностямъ; другая—*вены* несутъ кровь отъ оконечностей къ сердцу. Артеріи отличаются отъ *венъ* большею толщиною стѣнокъ и большею эластичностью. Если разрѣзать артерію и выдавить изъ нея кровь, она все-таки сохранитъ свою цилиндрическую форму, такъ что ее можно будетъ сравнить съ гутта-перчевою трубкою; если же сдѣлать то же самое съ веною, она сморщится и потеряетъ прежнюю форму, какъ потеряетъ ее, напримѣръ, узкій и длинный мѣшокъ, изъ котораго будетъ высыпанъ содержавшійся въ немъ порошокъ.

Сердце разгорожено продольною стѣнкою на двѣ половины, неимѣющія между собою сообщенія. Каждая изъ двухъ половинъ разгорожена поперечною стѣнкою на двѣ части, сообщающіяся между собою черезъ широкія отверстія. Верхнія части каждой половины называются *предсердіями*; нижнія — *желудочками*. Оба предсердія сжимаются въ одно

время и выпускаютъ содержащуюся въ нихъ кровь въ желудочки; затѣмъ предсердія расширяются и тогда въ одно время сжимаются оба желудочка. Кровь течетъ изъ обѣихъ полостей въ разныя стороны, и потому мы сначала прослѣдимъ за тою кровью, которая идетъ изъ лѣваго желудочка. Прямо изъ сердца кровь вступаетъ въ широкую артерію, въ *аорту*, которая на нѣкоторомъ разстояніи отъ сердца развѣтвляется на нѣсколько второстепенныхъ артерій и несетъ кровь одними сосудами въ верхнюю часть тѣла: въ шею, въ голову и въ руки, другіи — въ нижнюю часть тѣла: къ пищеварительному каналу, къ печени, къ половымъ органамъ и къ ногамъ. По мѣрѣ приближенія артерій къ поверхности тѣла, онѣ развѣтвляются болѣе и болѣе; развѣтвленія эти подъ конецъ дѣлаются такъ тонки, что ихъ нельзя разсмотрѣть простымъ глазомъ; эти тончайшія развѣтвленія, находящіяся подъ кожею на всей поверхности тѣла, и кромѣ того въ кишечномъ каналѣ, въ печени, въ легкихъ, соединяются съ другими тончайшими развѣтвленіями, которыя уже отъ поверхности тѣла поворачиваютъ назадъ къ сердцу; дошедши до поверхности тѣла, кровь артеріальныхъ сосудовъ переходитъ въ венозные сосуды, которые постепенно сходятся въ толстыя вены. Кровь изъ верхнихъ и нижнихъ частей тѣла этими толстыми венами идетъ къ правому предсердію, а изъ праваго предсердія вливается въ правый желудочекъ. Правая полость сжимается и кровь черезъ артерію течетъ въ легкія, разливается тамъ по волоснымъ сосудамъ, входитъ въ венозные сосуды, потомъ идетъ назадъ въ лѣвое предсердіе и въ лѣвый желудочекъ; и тогда снова начинается та же исторія.

Стало-быть вотъ маршрутъ крови въ тѣлѣ человѣка; изъ лѣваго сердца въ оконечности тѣла, изъ оконечностей въ правое сердце, изъ праваго сердца въ легкія, изъ легкихъ назадъ въ лѣвое сердце. Кровь идетъ по этому пути, а не по другому, на томъ основаніи, что другаго пути нѣтъ; сжатіе сердца дѣйствуетъ на движеніе крови, какъ поршень на движеніе воды въ насосѣ; кровь, выдавленная изъ сердца, поневолѣ бросается въ открытыя трубочки; сердце сжимается еще разъ и новая волна крови течетъ въ трубочки и продвигаетъ дальше прежнюю, а прежняя, въ свою очередь, толкаетъ впередъ ту часть крови, которая прошла черезъ сердце раньше. Покуда сердце будетъ сжиматься, до тѣхъ поръ кровь будетъ двигаться.

Всмотрѣвшись въ этотъ элементарный обзоръ кровообращенія, читатель будетъ въ состояніи понять приблизительно то разстройство, которое можетъ причинить организму недостатокъ крови или ея избытокъ. При недостаткѣ крови неизбѣжно медленное ея движеніе въ оконечностяхъ и у поверхности тѣла; при полнокровіи, напротивъ того, напоръ крови къ различнымъ частямъ тѣла слишкомъ силенъ и движеніе крови

вообще слишкомъ быстро. Люди малокровные отличаются блѣлою кожею, слабостью половой дѣятельности, спокойнымъ, ровнымъ, часто нерѣшительнымъ характеромъ. Люди полнокровные страдаютъ приливами, легко раздражаются, часто горячатся, сильно увлекаются, любятъ движеніе и дѣятельность, отличаются физическою силою и предприимчивостью. Горячительные напитки, гимнастическія упражненія, волненіе, возбужденное разговоромъ или событіемъ, ускоряютъ біеніе сердца, т. е. его сжатіе и расширеніе, увеличиваютъ быстроту кровообращенія и этимъ самымъ повышаютъ температуру тѣла. У кого кровь движется быстрѣе, у того всѣ отправленія дѣлаются не такъ, какъ у человѣка съ медленнымъ движеніемъ крови. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что и процессъ мысли, и весь такъ называемый нравственный характеръ въ значительной степени зависятъ отъ скорости кровообращенія.

Біеніе пульса, по которому медики опредѣляютъ состояніе своихъ пациентовъ, находится въ непосредственной связи съ сжатіемъ и расширеніемъ сердца: сердце сжимается, волна крови ударяетъ въ пульсовую артерію; артерія, какъ упругая трубочка, расширяется, и вслѣдъ затѣмъ, пропустивши волну, опять сжимается. При каждой новой волнѣ повторяется расширеніе и сжатіе; это и есть біеніе пульса. Свойства этого біенія зависятъ отъ трехъ обстоятельствъ: отъ силы сжатія сердца, отъ величины кровяной волны, и отъ эластичности артерій; эти три обстоятельства измѣняются смотря по состоянію субъекта, и слѣдовательно даютъ медику возможность ознакомиться съ положеніемъ больного. Въ оконечностяхъ тѣла, въ волосныхъ сосудахъ приливы крови отъ сердца, отзывающіеся въ артеріяхъ сжатіемъ и расширеніемъ ихъ, становятся едва чувствительными; тамъ кровь течетъ ровно; точно также течетъ она въ венахъ, и потому вены не бьются подобно артеріямъ. Волосные сосуды отличаются значительною способностью сжиматься; отъ холода они могутъ совершенно закрыться; если морозъ сильно подѣйствовалъ на вашъ палецъ, волосные сосуды его сжимаются, кровь перестаетъ проникать въ него, и весь палецъ или по крайней мѣрѣ поверхность его начинаетъ коченѣть. Возьмемъ другой примѣръ: положимъ, вы входите по поясъ въ холодную воду; волосные сосуды нижней части вашего тѣла отъ дѣйствія холода до извѣстной степени сжимаются; потокъ крови, хлынувшій къ этой нижней части, не можетъ проникнуть въ нее весь; ясно, что въ верхней части вашего тѣла окажется больше крови, чѣмъ сколько нужно; произойдетъ приливъ крови къ головѣ; во избѣжаніе этого прилива, который можетъ повести за собою непріятныя послѣдствія, обыкновенно, входя въ воду, прежде всего мочатъ голову, чтобы волосные сосуды головы также сжались и не пустили бы къ себѣ излишняго количества крови.

Во сколько времени совершается полный оборотъ крови, т. е. во

сколько времени частица крови, вышедшая изъ лѣваго сердца, обойдетъ все тѣло и возвратится назадъ въ лѣвое сердце? Тщательныя наблюденія показали, что средняя величина времени, необходимаго для полного оборота, равняется одной минутѣ. Въ сутки полный оборотъ крови совершается слѣдовательно, 1440 разъ. Этою быстротою оборота объясняется то обстоятельство, что всякій ядъ, разлагающій или заражающій кровь, въѣдается въ организмъ чрезвычайно быстро. Зачумленные частицы крови въ теченіи сутокъ 1440 разъ обѣгутъ все ваше тѣло, столкнутся со множествомъ еще здоровыхъ частицъ, передадутъ имъ долю своей ядовитости и, смотря по силѣ яда, въ нѣсколько часовъ или въ нѣсколько дней, перепортятъ всю кровь. Змѣя укусила васъ въ ногу, а между тѣмъ у васъ пухнетъ все тѣло; бѣшеная собака оцарапала руку, а между тѣмъ, если тотчасъ же не прижечь ранку, явятся признаки бѣшенства, т. е. общаго пораженія организма. На кровообращеніи основываются точно также страшныя послѣдствія сифилитической болѣзни, которая, начинаясь едва замѣтною ранкою, кончается, или, по крайней мѣрѣ, можетъ кончиться гніеніемъ всего тѣла. Возможность оспoprививанія заключается точно также въ обращеніи крови. Ничтожная частичка коровой оспы, положенная въ ранку, всасывается кровью, производитъ въ ней химическія измѣненія, порождаетъ всеобщее воспаленіе и сыпь, и наконецъ отнимаетъ у организма способность воспринимать эту заразу въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Умѣйте только узнавать свойства природы, и дѣйствительную физиономію вещей, и вы всегда будете въ состояніи воспользоваться этими свойствами по вашему благоусмотрѣнію; не передѣлывая природу по своему, вы будете ея повелителемъ. Магики, искавшіе такихъ заклинаній, которыми можно было бы держать стихіи въ своемъ распоряженіи, инстинктивно понимали силу человѣка. Они видѣли эту силу въ знаніи и въ этомъ случаѣ не ошибались. Ошибались же они только тѣмъ, что однимъ прыжкомъ хотѣли вскочить на ту лѣстницу, по которой приходится идти медленно, отдыхая на каждой ступенькѣ и тщательно оцупывая слѣдующія ступени, чтобы не оступиться и не полетѣть внизъ. Они хотѣли магическимъ словомъ или обрядомъ достигнуть того, чего современная цивилизація достигла путемъ долговременныхъ и безчисленныхъ опытовъ. Они хотѣли отгадать, и не отгадали. Молешотъ и Фохтъ ищутъ, и кое-что отыскивали, точно также, какъ много отыскивали Ньютонъ, Коперникъ, Леверрье, Гайу, Кюве, Линней, Берцелиусъ, Либихъ, Фаредъ и пр. и пр.

«Неужели же, спрашиваетъ Фохтъ въ концѣ главы о кровообращеніи, физиологін удалось такимъ образомъ смирить сердце, безпечно волнующееся въ груди человѣка, положить на него оковы, и навязать ему законы? Неужели же то участіе, которое мы ему приписываемъ въ на-

шихъ чувствахъ, оказывается вымысломъ? Когда мы, по старой привычкѣ, говоримъ, что наше сердце усиленно бьется, замираетъ отъ радости, или сжимается отъ тоски, неужели мы употребляемъ только картинныя выраженія, отдаемъ дань привлекательной мечтѣ подвижнаго воображенія? Неужели съ нами случилось то же, что случилось съ Петромъ въ сказкѣ Гауффа о Тангейзерѣ? Неужели, у насъ, какъ у Петра, вырвали изъ груди живое сердце и вставили каменное, которое, правда, бьется и приводитъ въ движеніе кровь, но не принимаетъ участія въ нашихъ радостяхъ и страданіяхъ, равномерно бьется отъ любви и отъ ненависти, какъ маятникъ стѣнныхъ часовъ? Нѣтъ! право, нѣтъ! До этихъ результатовъ не доходитъ наша механика. Она открываетъ намъ законы; она показываетъ намъ физическія силы, дѣйствующія въ сердцѣ и въ сосудахъ; но наблюденія и размысленія показываютъ также, какъ сильно приложеніе этихъ силъ зависитъ отъ высшаго руководителя, отъ нервной системы; каждое впечатлѣніе, воспринятое ею, отзывается и отражается въ скорости и въ силѣ движеній сердца и въ распредѣленіи крови. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, какъ въ минуту воодушевленія сердце бьется полнѣе, какъ въ минуту тоски или ожиданія оно судорожно вздрагиваетъ. Мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если непосредственно, самому сердцу приписываемъ это участіе. Сердце отражаетъ только впечатлѣнія и ощущенія, воспринятія мозгомъ, центральнымъ органомъ нервной системы; раздраженія, исходящія изъ этого центрального органа, дѣйствуютъ на сердце сильнѣе непосредственнаго раздраженія. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, что щеки наши краснѣютъ отъ стыда, и блѣднѣютъ отъ страха: мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если приписываемъ эти измѣненія дѣйствію крови, между тѣмъ, какъ они производятся сосудными нервами, управляющими распредѣленіемъ крови. Раздраженныя дѣйствіемъ мозга, эти нервы сжимаютъ сосуды; когда же эти нервы находятся въ бездѣйствіи и въ ослабленіи, сосуды разширяются и наливаются кровью. Но что болѣею частью вліяніе мозга на растительные процессы жизни основано на этой тѣсной связи его съ сердцемъ и его движеніями, съ расширеніемъ и сжатіемъ сосудовъ, это, кажется, не подлежитъ сомнѣнію. Впрочемъ, тоска и забота изнуряютъ тѣло. Веселое расположеніе духа, бодрый взглядъ на жизнь, умѣренность въ волненіяхъ и страстяхъ сохраняютъ здоровье и свѣжесть. Эти замѣчанія каждый можетъ провѣрить въ жизни. Причину связи этихъ явленій между собою объяснить не такъ легко. Но отъ постоянного обновленія крови зависитъ питаніе, дыханіе, вся растительная жизнь; а обновленіе и движеніе крови находится въ непосредственной зависимости отъ движенія сердца. Гдѣ недостаетъ одного фактора, тамъ и вся сумма будетъ невѣрна; если избытокъ страстей, необузданная смѣна сильныхъ ощущеній или постоянное вліяніе грустнаго настроенія

духа нарушаютъ или ослабляютъ правильную дѣятельность сердца и сосудовъ, то конечно ни обращеніе крови, ни зависящее отъ него питаніе тѣла не могутъ совершаться должнымъ порядкомъ.» (S. 30—31).

Это великолѣпное мѣсто Фохта можно принять за попытку, не отходя ни на шагъ отъ осязательныхъ фактовъ, сблизить между собою области психологіи и фізіологіи. О вліяніи сердца и кровеносныхъ сосудовъ на нервы онъ здѣсь не упоминаетъ, потому что считаетъ это обстоятельство совершенно несомнѣннымъ и очевиднымъ для всѣхъ. О вліяніи мозговыхъ нервовъ на сердце онъ говоритъ особенно подробно для того, чтобы убѣдить читателя въ томъ, что фізіологія не вырывается у человѣка живаго сердца и не отнимаетъ у этого полагю мускула способности повиноваться (чисто пассивно) распоряженіямъ мозга. Изъ словъ Фохта можно вывести чисто фізіологическое опредѣленіе понятій: мысль и чувство. Вы видите, что на движеніе сердца, на положеніе кровеносныхъ сосудовъ дѣйствуютъ исключительно чувства, напр. грусть, радость, боязнь, стыдъ, и т. д. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чувство есть такое раздраженіе въ мозговыхъ нервахъ, которое мгновенно, по крайней мѣрѣ быстро и притомъ произвольно проходитъ черезъ всѣ нервы нашего тѣла и черезъ эти нервы такъ или иначе дѣйствуетъ на обращеніе крови. Мысль, напротивъ того, есть такое раздраженіе мозговыхъ нервовъ, которое распространяется въ нихъ медленно и не дѣйствуетъ на нервы тѣла; оно совершается въ извѣстномъ порядкѣ, за которымъ мы сами можемъ прослѣдить, и для котораго у насъ даже есть готовое названіе—логическая послѣдовательность. Надо полагать и надѣяться, что понятія *психическая жизнь*, *психологическое явленіе* будутъ современемъ разложены на свои составныя части. Ихъ участь рѣшена; они пойдутъ туда же, куда пошелъ философскій камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое мышленіе и жизненная сила. Слова и иллюзіи гибнутъ—факты остаются.

IV.

Дыханіе, какъ несомнѣнный и очень важный фактъ, должно обратить на себя теперь наше вниманіе. Дыханіе совершается посредствомъ легкихъ, это мы уже знаемъ изъ общегитія; это одна изъ тѣхъ медицинскихъ истинъ, которыя находятся во всеобщемъ обращеніи, но въ которыхъ мы все-таки не отдаемъ себѣ яснаго отчета. Такъ, наприимѣръ, не всѣмъ извѣстно то, что сжатіе и расширеніе легкихъ совершается чисто пассивно. Грудная кѣтка человѣческаго скелета состоитъ изъ двѣнадцати паръ плоскихъ, въ различной степени согнутыхъ, эластич-

ныхъ костей; кости эти называются ребрами и прикрѣпляются спереди къ грудной кости, а сзади къ спинному хребту. Внутренняя сторона этого костяной клѣтки обтянута крѣпкою кожею, не пропускающею внѣшняго воздуха; нижняя часть клѣтки, смежная съ брюшною полостью, отдѣляется отъ этой полости мускулистою поперечною перегородкою, извѣстною въ анатоміи подъ названіемъ грудобрюшной преграды; верхняя часть грудной клѣтки гораздо уже нижней, и черезъ дыхательное горло сообщается съ полостями рта и носа. Въ грудной клѣткѣ висятъ на разныхъ сосудахъ и мышцахъ легкія и сердце. Легкія можно сравнить съ двумя мѣшками, сдѣланными изъ эластической матеріи. Кожа, обтягивающая стѣнки грудной клѣтки, плотно прилегаетъ къ легкимъ и даже срастается съ ихъ верхнею частью. Теперь положимъ, что грудная клѣтка увеличивается въ своемъ объемѣ: мускулы грудобрюшной преграды вытягиваютъ ее, и середина этой кожаной перегородки немного опускается къ брюшной полости; очень понятно, что объемъ грудной клѣтки становится больше и стѣнки этой клѣтки отходятъ отъ внѣшней поверхности легкіхъ. Но грудная клѣтка плотно обтянута кожею; въ ней нѣтъ атмосфернаго воздуха, потому что съ дыхательнымъ горломъ сообщается не самая клѣтка, а висящія въ немъ легкія. Стало быть, между стѣнками легкіхъ и стѣнками грудной клѣтки, въ случаѣ расширенія послѣдней, происходитъ пустота; не встрѣчая себѣ сопротивленія извнѣ и испытывая на себѣ изнутри давленіе содержащагося въ нихъ атмосфернаго воздуха, легкія расширяются до тѣхъ поръ, пока не наполняютъ собою всей грудной клѣтки; такимъ образомъ происходитъ вдыханіе. Но вотъ грудной клѣтки, расширившаяся на мгновеніе, снова сжимается и сжимаетъ легкія; очень естественно, что часть принятаго воздуха выбрасывается черезъ тѣ же отверстія, черезъ которыя онъ вошелъ; происходитъ выдыханіе. Расширять или сжимать легкія мы собственно не можемъ; мы сжимаемъ и расширяемъ грудную клѣтку, а легкія измѣняются въ объемѣ уже помимо нашей воли, по физическому закону равновѣсія газообразныхъ тѣлъ, по тому самому закону, по которому пузырь, положенный подъ колоколъ воздушнаго насоса, при вытягиваніи воздуха изъ-подъ колокола, раздувается и наконецъ лопається отъ напора содержащагося внутри его воздуха, не встрѣчающаго себѣ уравновѣшивающаго давленія извнѣ.

Кромѣ физическаго процесса въ дыханіи есть еще процессъ химическій; воздухъ не только входитъ въ легкія и выходитъ обратно; онъ самъ испытываетъ измѣненія и производитъ измѣненія въ тѣхъ частяхъ, съ которыми приходитъ въ соприкосновеніе. Каждому извѣстно, что въ комнатѣ, гдѣ слишкомъ много людей, становится душно, тяжело дышать; всякому извѣстно, что въ комнатахъ необходимо освѣжать воздухъ, лѣтомъ открывая окна, а зимою протапливая печи.

Все это происходит оттого, что мы выдыхаемъ не тѣ газы, которые вдыхаемъ, и слѣдовательно въ извѣстный промежутокъ времени можемъ химически переработать весь воздухъ, содержащійся въ комнатѣ, и сдѣлать его негоднымъ для дальнѣйшаго вдыханія. Тогда надо перемѣнить воздухъ, или задохнуться. «Давно уже, говоритъ Фохтъ, былъ извѣстенъ фактъ, что люди или животныя, запертыя въ тѣсномъ и плотно закупоренномъ пространствѣ, по прошествіи нѣкотораго времени, начинали дышать съ трудомъ; кожа людей становилась синекраснаго цвѣта, и самыя значительныя усилія вздохнуть не находили себѣ удовлетворенія. Если ихъ оставляли запертыми еще дольше, то у нихъ являлись конвульсивныя движенія, исчезало сознание, и наконецъ жизнь постепенно угасала при сильнѣйшихъ судорогахъ; словомъ, при этомъ родѣ смерти повторялись тѣ же явленія, какія случаются при удушеніи.» Причина этого явленія объяснилась вполне удовлетворительно только тогда, когда химія сдѣлала значительные успѣхи, позволившіе ей разлагать и анализировать газы. Теперь мы знаемъ положительно, что атмосферный воздухъ состоитъ изъ 21 процента кислорода и 79 процентовъ азота; мы знаемъ, что количество азота не измѣняется отъ процесса дыханія, а что кислородъ, напротивъ того, поглощается нашими легкими, которыя, взаимно воспринятаго количества кислорода, выделяютъ равное по объему количество углекислоты. Кислородомъ дышатъ всѣ животныя; въ другихъ газахъ они задыхаются, и углекислота въ этомъ отношеніи стоитъ на-ряду съ другими, т. е. рѣшительно не можетъ поддерживать животной жизни. Кислородъ имѣетъ особенное химическое сродство съ красными шариками, плавающими въ нашей крови и сообщающими ей ея яркій цвѣтъ. Эти красные шарики жадно соединяются съ кислородомъ и подъ его вліяніемъ измѣняютъ даже свой цвѣтъ; до соединенія съ кислородомъ они отличаются синекраснымъ, багровымъ цвѣтомъ, послѣ соединенія они принимаютъ яркокрасный, болѣе свѣтлый колоритъ.

При теперешнемъ состояніи науки, мы еще не въ состояніи прослѣдить всѣ химическія измѣненія, совершающіяся въ крови. Причины и назначеніе каждаго измѣненія еще не могутъ быть указаны. Мы знаемъ только, что кровь, притекающая къ легкимъ, бываетъ синекраснаго цвѣта и насыщена углекислою; въ легкихъ она выделяетъ углекислоту, принимаетъ соответствующую дозу кислорода и выходитъ изъ легкихъ, превратившись въ ярко-красную кровь. Мы знаемъ также, что это насыщеніе кислородомъ необходимо для процесса жизни; есть ядовитые газы, которые, при вдыханіи, отнимаютъ у кровяныхъ шариковъ способность соединяться съ кислородомъ. Къ числу такихъ газовъ принадлежитъ окись углерода, которую не должно смѣшивать съ углекислою. Углекислота можетъ задушить чисто пассивно; здѣсь дѣйствуетъ не

углекислота, а просто отсутствіе кислорода; человекъ, задохнувшійся въ углекислотѣ, все равно что утопленникъ; если его вытащить въ-время, то его можно оживить, вдвывая ему въ легкія воздухъ или чистый кислородъ. Окись углерода, напротивъ того, прекращая процессъ дыханія, кромѣ того химически измѣняетъ кровь и отнимаетъ у нея способность сродства съ кислородомъ. Людей, задохнувшихся въ этомъ газѣ, невозможно спасти. Съ этимъ газомъ намъ приходится встрѣчаться въ вседневномъ быту. Онъ производитъ угарь; отъ него болитъ голова, когда онъ въ небольшомъ количествѣ проникаетъ черезъ легкія въ кровь, и отъ него умираютъ люди, если онъ дѣйствуетъ на нихъ долгое время, т. е. въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ. На дѣйствиіи этого газа основанъ извѣстный, очень употребительный въ Парижѣ способъ самоубійства посредствомъ жаровни; этотъ способъ по своей дешевизнѣ доступенъ бѣднякамъ, на которыхъ всего тяжелее напираетъ суровая сторона жизни, сторона лишеній, трудовъ и страданій; сверхъ того, онъ нечувствительно приводитъ къ смерти, если только можно найти средство заснуть, подвергаясь дѣйствию убивающаго газа. Кто испыталъ ощущеніе угара, или видѣлъ его дѣйствіе на другихъ, тотъ пойметъ, какъ сильно отзывается во всемъ организмѣ, во всей нервной системѣ малѣйшее химическое измѣненіе въ составѣ крови. Какъ ни быстро развивается въ наше время химія, а она не въ состояніи еще, по несовершенству своихъ орудій, прослѣдить за этими, едва замѣтными измѣненіями, которыя ведутъ за собою очень ощутительныя послѣдствія. Многие вопросы, вслѣдствіе этого, должны еще остаться нерѣшенными. Почему, напримѣръ, кровяные шарики должны соединяться именно съ кислородомъ? На что нуженъ этотъ кислородъ въ общей экономіи животной жизни? Рѣшеніе этихъ вопросовъ принадлежитъ еще будущему.

V.

Третій процессъ, необходимый для поддержанія животной жизни, основанъ на томъ, что мы перерабатываемъ въ свое тѣло вещества, воспринимаемыя нами извнѣ, изъ окружающаго міра. Этотъ процессъ называется пищевареніемъ и отличается особенною сложностью. Говоря о пищевареніи, надо принимать въ расчетъ свойства тѣхъ предметовъ, которые мы принимаемъ въ себя, и свойства тѣхъ органовъ, которые ихъ перерабатываютъ. Дышать мы можемъ только атмосфернымъ воздухомъ; питаемся мы, напротивъ того, самыми разнообразными веществами; это конечно имѣетъ на насъ значительное вліяніе; мы

обыкновенно, приписываемъ разнымъ невѣсомымъ причинамъ то, что надо отнести насчетъ дѣйствія пищи; мы даже приходимъ въ негодованіе, когда намъ объясняютъ чисто физическими причинами то, что мы называемъ душевнымъ страданіемъ; мы улыбаемся съ видомъ недоумѣнія, когда опытный медикъ совѣтуетъ намъ, для устраненія дурнаго расположенія духа, кушать то или другое, заниматься гимнастикою или принимать слабительное. Во вседневной частной жизни мы стараемся такимъ образомъ проломить лбомъ стѣну, или, что то же самое, подчинить себѣ наши физиологическія отправления, вмѣсто того, чтобы подчиниться имъ, и, поддерживая ихъ въ самомъ нормальномъ положеніи, во всякую данную минуту располагать всѣми силами организма. Мы даже во вседневной жизни, которая однако у большей части людей вовсе не отличается преобладаніемъ высокихъ стремленій, стараемся забыть великодушное правило классической древности: «въ здоровомъ тѣлѣ здоровая мысль» (*mens sana in corpore sano*). Мудрено ли послѣ того, что когда намъ приходится имѣть дѣло съ общими вопросами, хоть бы напримѣръ, въ области исторіи, мы уже окончательно замираемъ, и соглашаемся скорѣе говорить фразы, которыхъ сами не понимаемъ, чѣмъ приводить различныя великія событія въ связь съ матеріальными причинами, полюбными выбору пищи и процессу пищеваренія.

Мои выписки изъ Мошешота *) многимъ показались парадоксальными. Фохтъ тѣмъ не менѣе, во всѣхъ отношеніяхъ сходится съ выводами Мошешота, и потому я, чтобы не повторяться, обойду то письмо его, въ которомъ онъ говоритъ о предметахъ, употребляющихся въ пищу. Приведу только двѣ-три выписки, въ которыхъ выражается взглядъ Фохта на значеніе пищи для общественной и исторической жизни. «При разведеніи картофеля, говоритъ онъ, всѣ выгоды лежатъ на сторонѣ производителя, всѣ невыгоды падаютъ на потребителя, который получаетъ пищу въ неудобной формѣ и въ неудобномъ смѣшеніи составныхъ частей; потребитель этотъ долженъ пустить въ ходъ величайшую сумму пищеварительной дѣятельности для того, чтобы добиться малѣйшаго полезнаго результата. На этомъ основаніи одинъ замѣчательный изслѣдователь говоритъ совершенно справедливо, что преобладаніе картофельной пищи доводитъ бѣдный классъ до послѣдней крайности, что ему уже некуда отступить, и не на что опереться; бѣдный поденщикъ или бѣдный мужикъ поставленъ въ необходимость разрѣшить ужасную задачу: доставить наибольшее количество работы при наименьшемъ количестве пищи плохого достоинства.»

Пріятно встрѣтить въ серьезномъ изслѣдователѣ истинно гуманнаго чловѣка; пріятно видѣть, что сухой анализъ отдѣльныхъ составныхъ

*) См. «Физиологическіе эскизы Мошешота», стр. 25.

частей человѣческаго тѣла не вытѣснилъ въ умѣ ученаго натуралиста образа полной человѣческой личности, не сдѣлалъ его невнимательнымъ къ ея затрудненіямъ и страданіямъ. Ни Молешоту, ни Фохту нельзя отказать въ здоровой, дѣльной гуманности; гуманность эта не фразиста, и не слезлива; она выражается не возгласами, не умиленіемъ надъ непорочностью простаго народа, а всѣмъ ходомъ мысли, математически вѣрными выкладками, внимательностью къ насущнымъ потребностямъ бѣдняка, и снисхожденіемъ къ тѣмъ слабостямъ, которыя порождаются его лишеніями и страданіями.

«Съ каждымъ днемъ, говоритъ Фохтъ, возрастаетъ потребленіе чая и кофе; чѣмъ больше распространяется, при увеличеніи бѣдности, картофельная пища, тѣмъ упорнѣе народъ держится за кофе, который дѣлается необходимымъ поддерживающимъ средствомъ.... Сильное возбужденіе дѣйствіе алкалоида, заключающагося въ настоѣ, заставляетъ прибѣгать къ употребленію чая и кофе, потому, что эти напитки доставляютъ возможность управляться съ пищею, принятою при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ.» Считать чай или кофе пустою прихотью, и осуждать бѣдныхъ людей за то, что они, отказывая себѣ въ необходимомъ, позволяютъ себѣ въ отношеніи къ этимъ напиткамъ нѣкоторую роскошь, было бы, какъ вы видите, неосновательно и негуманно. Извѣстная доля наслажденія до такой степени необходима для того, чтобы поддержать въ человѣкѣ бодрость, что онъ скорѣе согласится недоѣсть и недоспать, чѣмъ обойтись безъ этой микроскопической радости. Чѣмъ больше въ его обыденной жизни труда и черной заботы, тѣмъ необходимѣе для него минуты развлеченія и разгула. У кого есть всякій день сытный обѣдъ и умѣренная работа, тотъ можетъ, пожалуй, круглый годъ не отходить отъ конторки или письменнаго стола. Но для пролетарія, для поденщика, таскающаго по буднямъ кули и стѣдающаго кусокъ черстваго хлѣба, совершенно необходимо въ воскресенье или въ праздникъ пропѣть пѣсню, отхватить трепака, или даже хлебнуть чарку водки. Собственно предметы пищи, говоритъ Фохтъ, необходимы для поддержанія жизни, а наркотическія и спиртуозныя вещества увеличиваютъ наслажденіе, и доставляютъ нѣсколько счастливыхъ часовъ даже тому, кого гнететъ забота.» «Отдѣльная личность, говоритъ Бибра, принявшая слишкомъ много гашиша, бѣгающая по улицамъ и нападающая на встрѣчнаго и поперечнаго, исчезаетъ при сравненіи съ тѣмъ множествомъ людей, которые, принявъ умѣренную дозу послѣ обѣда, проводятъ нѣсколько веселыхъ и счастливыхъ часовъ. Число тѣхъ людей, которымъ кока доставляетъ возможность преодолевать самыя страшныя трудности, и даже спастись отъ голодной смерти, значительно превышаетъ количество тѣхъ немногихъ кокверовъ, которые неумѣреннымъ употребленіемъ этого наркотическаго вещества погубили свое здоровье.

Точно также одно неумѣстное лицемѣріе можетъ проклинать употребленіе кубка, прогоняющаго заботы, основываясь на томъ, что есть пьяницы, не останавливающіеся во-время и незнающіе мѣры.»

По этимъ выпискамъ можно видѣть, что Фохтъ соглашается съ Мошешотомъ какъ въ общей идеѣ, такъ и въ отдѣльных фактахъ. Онъ вмѣстѣ съ Мошешотомъ придаетъ пищѣ очень важное значеніе, и находитъ, что въ выборѣ пищи всего лучше руководствоваться инстинктомъ, т. е. естественными требованіями своего вкуса; но, такъ какъ подобный образъ дѣйствія доступенъ только людямъ обезпеченнымъ, такъ какъ бѣдняки ѣдятъ не то, чего имъ хочется, а то, что подешевле, то вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ одинаково дешевой пищи имѣетъ важное практическое значеніе. Въ рѣшеніи этого вопроса, Фохтъ опять-таки сходится съ Мошешотомъ: картофель безусловно отвергается и вмѣсто него рекомендуются стручковые растенія, горохъ, чечевица и бобы. Къ наркотическимъ и спиртуознымъ веществамъ и Фохтъ и Мошешотъ относятся очень снисходительно; обоимъ изслѣдователямъ одинаково противенъ тотъ квакерскій ригоризмъ, который превращаетъ человѣка въ рабочую машину, и запрещаетъ всякое наслажденіе, для того, чтобы не могло быть излишества. Оба изслѣдователя стоятъ на твердой почвѣ живыхъ фактовъ и смотрятъ на человѣческую личность трезвымъ взглядомъ, не исключаяющимъ ни снисхожденія, ни любви.

VI.

Теперь мнѣ остается только прослѣдить за тѣми видоизмѣненіями, которыя испытываетъ пища, проходя черезъ желудокъ и кишечный каналъ. Мы здѣсь имѣемъ дѣло съ цѣлою химическою лабораторіею, которая, работая безостановочно, превращаетъ въ кровь то, что можетъ подвергнуться этому измѣненію, и выбрасываетъ то, что не разлагается, изъ чего уже добыты всѣ нужные ингредиенты.

Прежде всего мы беремъ пищу въ ротъ, разжевываемъ ее зубами и при этомъ невольно смачиваемъ ее слюною; пища отправляется въ желудокъ въ размельченномъ видѣ и притомъ пропитанная водянистою жидкостью; черезъ это она дѣлается доступною химическому вліянію желудочнаго сока; еслибы мы глотали куски, не прожевавши ихъ, то это химическое вліяніе вовсе не могло бы имѣть мѣста, или, по крайней мѣрѣ, совершалось бы гораздо медленнѣе, и процессъ пищеваренія во всякомъ случаѣ потерпѣлъ бы нѣкоторое разстройство.

Мнѣ случилось читать въ одной статьѣ о Карлѣ V, что этотъ госу-

дарь постоянно страдалъ несвареніемъ желудка, и что это обстоятельство объясняется до нѣкоторой степени устройствомъ его черепа; дѣло въ томъ, что нижняя челюсть была сильно выдвинута впередъ, такъ что не могла плотно сходиться съ верхнею. Императоръ не могъ хорошо пережевать пищи и притомъ любилъ плотно покушать; жирные куски говядины и рыбы, едва помятые во рту, скользили въ горло и конечно комомъ залегали въ желудкѣ. Кто знаетъ, насколько это обстоятельство имѣло вліянія на эксцентрическіе поступки повелителя образованнаго міра, и даже на его удаленіе въ монастырь св. Юста? Сколько мнѣ помнится, статья, о которой я говорю, была напечатана въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1856 годъ и авторомъ ея былъ П. Н. Кудрявцевъ. Жаль, что не вездѣ и не всегда физическія причины какого нибудь явленія такъ очевидны и осязательны, какъ въ дѣлѣ Карла VI!

Размельченная пища проникаетъ въ желудокъ — простой мѣшокъ, сдѣланный изъ тонкой кожи и снабженный мускулами; внутреннія стѣнки желудка шероховаты и покрыты железками, отдѣляющими кислотавую жидкость; эта жидкость называется желудочнымъ сокомъ и играетъ главную роль въ химической переработкѣ пищи. Одинъ любопытный опытъ показалъ фізіологамъ, что желудокъ не растираетъ пищу, а только разлагаетъ ее выдѣляемымъ сокомъ. Собакамъ, уткамъ и курамъ давали проглотить маленькія жестяныя или деревянныя коробочки, въ которыхъ была положена пища; стѣнки этихъ коробочекъ были продырявлены, такъ, чтобы жидкость могла проникать въ коробочки, но чтобы самая пища не приходила въ соприкосновеніе съ стѣнками желудка; коробочки эти были привязаны на нитѣхъ, за которую ихъ можно было вытащить назадъ. Когда ихъ вытащили по прошествіи нѣсколькихъ часовъ, то въ нихъ уже не осталось пищи; все было слѣдовательно разложено желудочнымъ сокомъ и унесено въ кишечный каналъ.

Какъ кровеобращеніе нисколько не зависитъ отъ присутствія какой нибудь воображаемой жизненной силы, такъ точно и пищевареніе совершается безъ вмѣшательства этого таинственнаго агента. Химическій процессъ пищеваренія можно произвести внѣ животнаго организма, если только взять тѣ кислоты, которыя дѣйствуютъ въ желудочномъ сокѣ, смѣшать ихъ въ должной пропорціи и привести ихъ въ температуру, равняющуюся теплотѣ нашихъ внутренностей. Мясо и растительная пища, подверженныя дѣйствію такого состава въ какомъ нибудь стеклянномъ сосудѣ, измѣнятся точно также, какъ и измѣнились бы они въ человѣческомъ желудкѣ.

Работа желудка кончается тѣмъ, что пища превращается въ такъ называемую пищевую кашницу, т. е. въ болѣе или менѣе густое тѣсто, смотря по свойству принятой пищи. Эта кашница, въ которой одни частицы оказываются совершенно разложенными, другія — только размяг-

ченными, третьи совершенно нетронутыми, изъ желудка выходятъ въ тонкую кишку и подвергается дѣйствию поджелудочной железы и печени. Поджелудочная железа выдѣляетъ изъ себя прозрачную, клейкую жидкость, имѣющую свойство превращать крахмалъ въ сахаръ, сахаръ въ молочную, потомъ въ масляную кислоту, и наконецъ въ жиръ. Примѣшиваясь къ готовому жиру, эта жидкость производитъ въ немъ такое химическое измѣненіе, которое позволяетъ ему распускаться въ водѣ и вообще соединяться съ водянистыми жидкостями. Это измѣненіе необходимо для того, чтобы жиръ просачивался сквозь стѣнки кишечнаго канала и по мелкимъ волоснымъ сосудамъ проходилъ въ кровь. Печень, дѣйствующая на пищу посредствомъ выдѣляемой ею желчи, играетъ очень важную роль, какъ въ медицинскихъ сочиненіяхъ, такъ и въ обычныхъ понятіяхъ, распространенныхъ въ массѣ; печенью объясняются многія болѣзненные явленія; страданіе печени и разлитіе желчи составляютъ, по мнѣнію публики и нѣкоторыхъ медиковъ, главныя причины дурнаго расположенія духа, ипохондріи, меланхоли, и т. п. Фохтъ говоритъ, что по большей части эти объясненія ошибочны, но что во многихъ случаяхъ приходится оставить дѣло нерѣшеннымъ; нельзя отвѣчать ни да, ни нѣтъ, потому что химическая работа печени и вліяніе желчи на пищевареніе еще недостаточно разработаны. До сихъ поръ найдено, что желчь оказываетъ двойное вліяніе на пищевую кашицу. Во-первыхъ, она предохраняетъ ее отъ гніенія въ самомъ кишечномъ каналѣ. Во-вторыхъ, она, подобно соку поджелудочной железы, превращаетъ жиръ въ эмульсію, легко соединяющуюся съ водянистыми жидкостями. Надъ животными производили слѣдующій опытъ: у нихъ перевязывали каналъ, ведущій изъ желчнаго пузыря въ кишки, такъ чтобы ни одна капля желчи не могла попасть въ переваривающуюся пищу; потомъ желчный пузырь прорѣзывался съ другой стороны такъ, чтобы желчь выливалась наружу, и чтобы дѣятельность печени шла такимъ образомъ своимъ порядкомъ. Многія животныя не выдерживали операціи и умирали подъ ножомъ изслѣдователя; другія жили болѣе или менѣе долго, но всѣ безъ исключенія не могли выздороветь; они ѣли чрезвычайно много, и при этомъ постоянно худѣли, жиръ совершенно пропадалъ; а такъ какъ жиръ въ извѣстномъ количествѣ совершенно необходимъ нашему организму, то отсутствіе жира приводило за собою смерть. Эта пропажа жира объясняется тѣмъ, что жиръ, содержащійся въ пищѣ, не превращался въ эмульсію, и слѣдовательно, не имѣя возможности черезъ волосные сосуды просачиваться въ кровь, проходилъ по кишечному каналу и выходилъ вонъ, не принеся организму никакой пользы. Жиръ животный или сало, и жиръ растительный, или масло (напр. конопляное, маковое), какъ извѣстно каждому по вседневному опыту, не соединяются съ водою, между тѣмъ изъ сала дѣлается

мыло, распускающееся въ водѣ; а изъ тѣхъ же самыхъ зеренъ, изъ которыхъ выжимается масло, дѣлается молоко (коноплиное, маковое), очень легко соединяющееся съ водою. Желчный сокъ поджелудочной железы превращаетъ жиръ и сало въ мыло (т. е. въ жирныя вещества, растворяющіяся въ водѣ), а растительное масло въ растительное молоко или эмульсію. У животныхъ, у которыхъ была вырѣзана печень, эта переработка жира не могла производиться въ достаточныхъ размѣрахъ, и потому они чахли, несмотря на огромное количество поглощаемой пищи. Кромѣ того, экскременты этихъ животныхъ отличались отвратительнымъ, гнилымъ запахомъ; запахъ этотъ сообщался даже ихъ дыханію; ясно, что пища загнивала въ ихъ кишечномъ каналѣ оттого, что къ ней не было притока желчи.

Испытавъ на себѣ вліяніе сока поджелудочной железы и желчи, пищевая кашка смачивается еще кишечнымъ сокомъ и наконецъ выходитъ изъ нашего тѣла. Составныя части экскрементовъ значительно отличаются отъ составныхъ частей пищи; многія вещества, входившія въ пищу, не находятся въ экскрементахъ; зато въ нихъ находится много такого, чего не было въ пищѣ, и что входило въ составъ нашего тѣла, какъ-то желудочный сокъ, желчь, кишечный сокъ и т. п. Въ экскрементахъ организмъ выбрасываетъ то, что оказывается въ принятой пищѣ лишнимъ или нерастворимымъ, и съ этими остатками пищи соединяетъ тѣ вещества, которые ему нужно выдѣлать изъ себя, и которыя, оставаясь долѣе въ организмѣ, могли бы произвести въ немъ то или другое разстройство. А что же сдѣлалось съ тѣми частями пищи, которыя пошли въ прокъ? Говоря о химической переработкѣ пищи, мы до сихъ поръ показали только, какимъ образомъ изъ пищи выдѣляются эти полезныя части. Посмотрите теперь, какъ эти части входятъ въ общую экономію организма.

Если мы положимъ въ воду сухое органическое вещество, напр. кусокъ дерева, кожи, пузыря, то это вещество разбухнетъ, т. е. приметъ въ себя нѣкоторое количество воды. На этой способности органическихъ тканей, всасывать водянистыя жидкости, основанъ весь процессъ питания и обновленіе нашего тѣла. Сверхъ того, органическія ткани имѣютъ также способность служить проводниками между двумя жидкостями, прикасающимися къ нимъ съ обѣихъ сторонъ. Если вы нальете виннаго спирта въ пузырь и, крѣпко завязавши его, положите все это въ чашу, наполненную водою, то черезъ нѣсколько часовъ окажется, что въ пузырьѣ — разбавленный спиртъ; а въ чашѣ — вода съ слабою примѣсью спирта. Водянистыя жидкости такимъ образомъ не только всасываются въ органическія ткани, но и просачиваются насквозь. Органическая ткань даже притягиваетъ къ себѣ жидкость; въ этомъ вы можете убѣдиться слѣдующимъ опытомъ: возьмите длинную стеклянную трубку, на-

лейте въ нее спирту, завяжите ея конецъ пузыремъ и опустите этотъ завязанный конецъ въ воду: вы увидите, что жидкость въ трубкѣ начнетъ подниматься и поднимется даже гораздо выше общаго уровня воды. Последнее обстоятельство не могло бы случиться, еслибы конецъ трубки не былъ завязанъ пузыремъ. Ясно стало быть, что притягиваетъ органическая ткань.

Если мы посмотримъ вообще на устройство кишечнаго канала, то увидимъ, что его можно сравнить съ длинною трубкою, на внутренней поверхности которой находится безчисленное множество чрезвычайно тонкихъ, лимфатическихъ и кровеносныхъ сосудовъ; сосуды закрыты со всѣхъ сторонъ, но стѣнки сосудовъ состоятъ изъ органическихъ тканей, которыя не только пропускаютъ, но даже притягиваютъ жидкости; очень естественно, что между содержаніемъ кишечнаго канала, т. е. пищевою кашею и жидкостями сосудовъ совершается постоянный обмѣнъ; чѣмъ ниже пища, тѣмъ скорѣе она всасывается кровяными и лимфатическими сосудами, вносится въ общее кровообращеніе, испытываетъ множество химическихъ измѣненій, и наконецъ совершенно уподобляется крови или лимфѣ, а потомъ идетъ на обновленіе твердыхъ органическихъ тканей. Это очень неясно, а это знаю, но, чтобы представить это ясно, надо подождать дальнѣйшихъ успѣховъ физиологін, и притомъ написать статью во 100 разъ больше той, которую я теперь представляю на благосклонное вниманіе читателя.

VII.

Вотъ мы въ бѣгломъ очеркѣ посмотрѣли на три важнѣйшіе процесса растительной жизни человѣка. Что же мы изъ этого выведемъ? Благодарить ли намъ передъ мудростью природы? Любоваться ли сложнымъ устройствомъ нашего тѣла? Или, напротивъ того, находить въ этой сложности существенный недостатокъ? Вѣдь, извѣстное дѣло, чѣмъ сложнѣе машина, тѣмъ чаще она портится, тѣмъ чаще ее приходится чинить, тѣмъ бережнѣе съ нею приходится обращаться. Если принять въ соображеніе многочисленность нашихъ болѣзней, несовершенство нашей медицины, необходимость множества предосторожностей и необходимость умереть, несмотря на всѣ предосторожности, то можно, пожалуй, подумать: Богъ съ нею, съ этою красивою сложностью; съ нею такъ много хлопотъ, непріятностей и страданій! Но эти мысли будутъ совершенно неосновательны, собственно потому, что онѣ глубоко безплодны. Физическое *statu quo*, то, что мы называемъ природою, то,

чѣмъ мы любуемся, то, къ чему поэты пишутъ, или, по крайней мѣрѣ, писали воззванія и идилліи, безстрастно, безчувственно, безсознательно, неумолимо, глухо къ нашимъ благодарственнымъ возгласамъ и къ нашимъ безсильнымъ проклятіямъ. Къ-чему же становится намъ къ этой слѣпой силѣ въ какія бы то ни было нравственныя отношенія? Она не посторонится для насъ ни вправо, ни влево. Она сама по себѣ, мы сами по себѣ, но мы отъ нея зависимъ, и зависимъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше знаемъ ее. Вотъ что намъ нужно: узнавать ее, вглядываться въ нее, и постепенно овладѣвать ея тайнами, которыхъ она впрочемъ и не думаетъ скрывать, а которыя мы считаемъ за тайны только потому, что онѣ до поры до времени не попадались намъ на глаза. Старайтесь разяснить себѣ факты и законы, а потомъ, какое впечатлѣніе произведутъ на васъ эти факты и законы, какое міросозерцаніе вы себѣ со-стряпаете, и какимъ чувствомъ вы его окрасите, — любовью, ненавистью, благоговѣніемъ или презрѣніемъ, — это уже предоставляется вашему личному вкусу и до этого, кромѣ васъ, никому нѣтъ ни малѣйшаго дѣла.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЕ ЭСКИЗЫ МОЛЕШОТА.

(Physiologisches Skizzenbuch von Jac. Moleschott. Giessen 1861.)

I.

«Въ наше время было бы странно думать, что духъ не зависитъ отъ матеріи»—этими словами начинается Молепотъ свою книгу. Мы постепенно перестаемъ бояться природы и благоговѣть передъ нею; мы перестаемъ навязывать ей сознательныя стремленія и опредѣленныя цѣли; мы смотримъ на то, что у насъ передъ глазами, и стараемся быть внимательными; усилія наши направлены къ тому, чтобы усовершенствовать орудія познания, и, чтобы разсмотрѣть предметъ нашего наблюденія въ разныхъ положеніяхъ и съ разныхъ сторонъ, мы обуздываемъ дѣятельность теоретическаго мышленія, которое постоянно торопится къ общимъ выводамъ; мы хотимъ какъ можно больше видѣть, и какъ можно меньше догадываться. До сихъ поръ не придумано такого микроскопа, который могъ бы слѣдить за работою мысли въ мозгу живаго человѣка; на этомъ основаніи, изслѣдователи очень благоразумно обходятъ до времени эти интересныя отправленія человѣческаго организма, и сосредоточиваютъ свои силы на разясненіи другихъ процессовъ, болѣе грубыхъ и слѣдовательно болѣе осязательныхъ. Что можно разсмотрѣть микроскопомъ и разложить химическимъ анализомъ, то разсматривается и разлагается; что недоступно непосредственному изслѣдованію, то наблюдается черезъ сближеніе отдѣльныхъ фактовъ, подобно тому, какъ въ алгебраическихъ уравненіяхъ неизвѣстная величина опредѣляется по извѣстнымъ. Камень за камнемъ сносится на то мѣсто, гдѣ надо вы-

строить домъ; наблюденія и опыты не противорѣчаютъ другъ другу, но часто лежатъ особнякомъ, не обнаруживая между собою видимой связи и необходимаго соотношенія. Незвѣстнаго еще такъ много, что даже не обозначены общія линіи того зданія, которое выстроится современнымъ, и въ которое войдутъ, какъ строительные матеріалы, всѣ песчинки, добытыя правильнымъ трудомъ человѣческой мысли. Ни что не построено, но многое собрано, и главное, многое разрушено.

Съ тѣхъ поръ, какъ живетъ человѣчество, оно невольно старалось себѣ объяснить, что такое человѣкъ, міръ, природа и ея законы; любознательности было много, а знаній мало; поневолѣ приходилось добавлять фантазіей; возникло великое множество міросозерцаній, болѣе или менѣе поэтическихъ, великое множество образовъ болѣе или менѣе величавыхъ; отъ разныхъ остатковъ этихъ міросозерцаній приходится теперь избавляться; разные изношенные образы приходится разбивать, выметая ихъ осколки съ того мѣста, на которомъ предполагается строить новое зданіе въ современномъ вкусѣ, на прочномъ фундаментѣ. Отношеніе между человѣкомъ и окружающею природою, и, даже въ самомъ человѣкѣ, отношенія между различными частями и отправленіями его организма составляютъ рѣшительное яблоко раздора между мыслителями и фантазерами. Послѣдніе, сильные числомъ, хотятъ допустить, во что бы то ни стало, присутствіе такихъ элементовъ, какихъ въ дѣйствительномъ мірѣ никогда не было и не можетъ быть, такихъ вещей, о которыхъ, по выраженію нашего народно-эпического языка, «ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать.» Фантазеры вооружаются самымъ разнообразнымъ дрекольемъ, чтобы отстоять свое дѣло; они вносятъ свои невѣсомныя тонкости во всѣ сферы человѣческихъ знаній и искусства; натуралисты, историки и поэты часто оказываются зараженными самымъ узколюбимъ мистицизмомъ. Мыслителямъ приходится иногда тратить много времени на то, чтобы разбивать теоріи и фантазіи, и чтобы открывать глаза слишкомъ довѣрчивымъ и совершенно беззащитнымъ неспеціалистамъ; лучшіе изъ мыслителей идутъ другимъ путемъ, болѣе труднымъ, но зато болѣе плодотворнымъ; они совершенно отрываются отъ области произвольныхъ гаданій, предоставляютъ ее идеалистамъ, а сами наблюдаютъ и изучаютъ химическій составъ крови, процессъ пищеваренія, конструкцію волосъ, ногтей и прочія ничтожныя мелочи; и эти ничтожныя мелочи уже теперь повернули вверхъ — дномъ колоссальныя теоріи мировыхъ мыслителей и цѣлыхъ народовъ; эти ничтожныя мелочи уже теперь разбили оковы человѣческой мысли. Дѣло разрушенія сдѣлано; дѣло созиданія будетъ впереди и займетъ собой не одно поколѣніе.

II.

«Физиологическіе эскизы» Мошота посвящены строгому изслѣдованію нѣкоторыхъ отправленій и отдѣльных частей человѣческаго тѣла. Первый этюдъ разсматриваетъ вліяніе пищи на человѣческій организмъ, второй разбираетъ подробно тѣ видоизмѣненія, которыя производитъ въ человѣкѣ движеніе на чистомъ воздухѣ, четвертый въ популярной формѣ сообщаетъ публикѣ микроскопическія наблюденія ученыхъ надъ роговою оболочкою человѣческаго тѣла. Третій очеркъ, о которомъ стоитъ поговорить подробно въ концѣ статьи, существенно отличается отъ остальныхъ по своему характеру и предмету; онъ заключаетъ въ себѣ характеристику Георга Форстера, написанную съ замѣчательною глубиною критическаго взгляда и проникнутую самымъ честнымъ сочувствіемъ къ личности благороднаго дѣятеля. — Главною задачею моею настоящей статьи будетъ сгруппировать мысли Мошота, выраженные въ его чисто физиологическихъ эскизахъ и представить ихъ читателямъ въ ясномъ и по возможности сжатомъ изложеніи.

«Жить, говорятъ Мошотъ, значитъ сохранять форму своего тѣла вопреки непрерывному измѣненію мельчайшихъ матеріальныхъ частицъ, составляющихъ собою тѣло» (стр. 2.) Безпрерывное измѣненіе матеріальныхъ частицъ совершается посредствомъ тѣхъ выдѣленій, которыя сопровождаютъ собою процессы дыханія и пищеваренія; кромѣ того оно происходитъ путемъ испаринны, отпаденія засохшихъ частичекъ кожи, выростанія и обрѣзыванія волосъ и ногтей. Убывающія частицы нашего тѣла должны замѣщаться новыми; новыя надо вырабатывать изъ какого нибудь матеріала, а матеріалъ этотъ мы получаемъ изъ пищи, которую принимаемъ въ желудокъ, и изъ воздуха, который вдыхаемъ въ легкія. Мы, по словамъ Либиха, похожи на ходячія печи, нуждающіяся въ постоянной или по крайней мѣрѣ часто повторяющейся топкѣ. Положенное въ насъ топливо перегараетъ и, претерпѣвая разныя измѣненія, перерабатывается въ кровь. А что такое кровь? Бордѣ говоритъ, что кровь есть мясо въ жидкомъ состояніи, но Мошотъ съ этимъ не соглашается. Въ крови, по его словамъ, заключаются задатки и зародыши всего тѣла: мозгъ, нервы, кости, мясо, кожа и хрящи — все вырабатывается изъ крови, слѣдовательно въ крови есть такіа химическія составныя части, которыхъ нѣтъ въ мясѣ и которыя идутъ на построеніе другихъ тканей нашего тѣла.

Значеніе крови становится такимъ образомъ чрезвычайно важнымъ.

Химическій составъ крови даетъ намъ мѣрку для оцѣнки сравнительнаго достоинства всякой пищи; если употребляемая нами пища содержитъ въ себѣ всѣ составныя части крови и притомъ въ одинаковой пропорціи съ кровью, то эта пища можетъ поддерживать наше существованіе и сохранять наше здоровье. Тщательное изслѣдованіе химическаго состава здоровой крови должно такимъ образомъ служить основаніемъ для всякихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій о количествѣ и качествѣ пищи, необходимыхъ для надлежащаго восполненія убывающихъ частицъ организма.

Молешотъ посвящаетъ разсмотрѣнію крови цѣлую главу своего эскиза. Изъ этого разсмотрѣнія оказывается, какъ извѣстно людямъ, знакомымъ съ физиологіею, что кровь состоитъ изъ соединенія азота, углерода, водорода, кислорода, калия, натрія, кальція, магнія, желѣза, сѣры, фосфора, хлора и фтора. Если выразиться проще, можно сказать, что на 100 частей крови приходится 79 частей воды; остальные 1 часть состоятъ изъ бѣлковины (т. е. изъ такого вещества, которое по своему составу и по свойствамъ очень похоже на яичный бѣлокъ), изъ различныхъ солей, и изъ очень незначительнаго количества жира и сахара; на 1000 частей крови приходится около 4 частей жира, а количество сахара, заключающееся въ крови, еще гораздо меньше и до сихъ поръ еще не было опредѣлено. Красный цвѣтъ крови происходитъ отъ примѣси желѣза; нарушеніе этого цвѣта сопровождается собою разстройство и большую или меньшую слабость всего организма; поэтому присутствіе желѣза въ крови совершенно необходимо, хотя количество такъ незначительно, что не можетъ быть въ точности опредѣлено. Каждая изъ составныхъ частей крови потребляется организмомъ на построеніе тѣхъ или другихъ разрушающихся или устарѣвшихъ частицъ. Такъ напр. фосфорнокислая известь (соединеніе фосфора, кислорода и кальція) идетъ на ремонтъ костей, фтористый кальцій образуетъ зубы, поваренная соль — хрящи.

Для работы нашего мозга необходимъ фосфоръ и особеннаго рода фосфористый жиръ. «Какъ кровь не можетъ обращаться съ должною силою безъ притока желѣза, какъ кости не могутъ служить опорой для нашего тѣла безъ притока извести, такъ точно мозгъ не можетъ думать безъ притока фосфора и фосфористаго жира». Безъ фосфора нѣтъ дѣятельности мысли; но предполагать, чтобы у умнаго человѣка было въ мозгу много фосфора, по словамъ Молешота, неосновательно, потому что органъ одинаково страдаетъ отъ избытка какого нибудь ингредиента какъ и отъ недостатка. Каждый органъ вытягиваетъ изъ крови именно то количество матеріала, которое необходимо для ея отправленій; онъ не возьметъ себѣ лишняго, но если же случится недостатокъ, если въ крови не найдется необходимыхъ матеріаловъ, тогда конечно дѣятельность

органа должна ослабѣть, и постепенно прекратиться—(Moleschott. Lehre der Nahrungsmittel s. 100). Очень можетъ быть, что утомленіе, которое мы чувствуемъ послѣ продолжительной умственной работы, происходитъ отъ того, что фосфористый жиръ истрачивается и что мозгъ не успѣваетъ вытягивать изъ крови необходимаго количества матеріала; очень можетъ быть, что напряженіе мысли, усиліе ума связано съ усиленною дѣятельностью тѣхъ сосудовъ, которые тянутъ фосфоръ изъ крови въ мозгъ. Что это утомленіе, эти усилія и напряженія основываются на чисто *матеріальномъ* процессѣ — въ этомъ смѣшно и сомнѣваться; но сущность этого процесса совершенно не разъяснена, и потому мы хорошо сдѣлаемъ, если изъ заманчивой сферы гипотезъ снова спустимся на твердую почву положительныхъ фактовъ.

III.

Такъ какъ принимаемая нами пища должна переработаться въ кровь, то она, какъ уже было выше замѣчено, должна заключать въ себѣ всѣ тѣ составныя части, которыя были указаны въ крови; вода, бѣлковина, соли, жиръ и сахаръ непремѣнно должны входить въ нашу пищу, потому что всѣ эти спеціи необходимы для образованія крови; воды должно быть всего больше, потому что изъ нея состоятъ почти $\frac{4}{5}$ всей нашей крови; дѣйствительно, опытъ показываетъ, что самыя сухія пищи содержать въ себѣ значительный процентъ воды; мы пьемъ чай или кофе утромъ и вечеромъ; за обѣдомъ мы ѣдимъ супъ, слѣдовательно во всѣхъ этихъ видахъ поглощаемъ воду; сверхъ того мы пьемъ сколько разъ въ день чувствуемъ жажду, и утоляемъ ее напитками, которыхъ большая часть разбавлена водою; наконецъ, мы вдыхаемъ въ себя водяныя пары, носящіяся въ воздухѣ, и такимъ образомъ еще увеличиваемъ количество поглощаемой воды. Словомъ, вода есть самая важная и необходимая составная часть нашей пищи; жажда чувствуется скорѣе голода и въ меньшее время ведетъ за собою смерть; впрочемъ, всѣ составныя части крови непремѣнно должны входить въ нашу пищу; если будетъ совершенно опущенъ хоть одинъ изъ ея ингредиентовъ, то произойдетъ разстройство организма, которое рано или поздно приведетъ къ его разрушенію.

Я обратилъ вниманіе на особенную важность воды только потому, что недостатокъ ея замѣчается всего скорѣе, измучиваетъ и убиваетъ человѣка въ самое короткое время, и слѣдовательно бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ взглядѣ на дѣло. Въ строго научномъ смы-

слѣ нельзя сказать, чтобы вода была важнѣе другихъ составныхъ частей крови: всѣ онѣ необходимы для поддержанія жизни и здоровья, слѣдовательно всѣ одинаково важны; замѣчу только, что жиръ можетъ быть замѣненъ сахаромъ потѣму, что сахаръ, принимая въ кишечномъ каналѣ разныя химическія измѣненія, превращается въ жиръ. Пчелы приготовляютъ воскъ изъ цвѣточного сахара, а воскъ представляетъ существенное сходство съ жиромъ, съ тою только разницею, что еще менѣе жира содержитъ въ себѣ кислорода. Наблюденія Либиха надъ домашними животными доказали рѣшительно, что сахаръ превращается въ жиръ; знаменитый химикъ взвѣшивалъ жиръ убитыхъ быковъ и масло доставляемое коровами и вычислилъ, что эти животные не могли получить этихъ веществъ изъ своей пищи въ видѣ чистаго жира. Анализъ коровьяго помета показалъ, что въ немъ корова выбрасываетъ столько же жира, сколько его находится въ ея пищѣ. Но въ этой пищѣ (въ сѣнѣ и картофелѣ) есть много такихъ веществъ, которыя въ желудкѣ превращаются въ сахаръ; изъ сахара развивается молочная кислота, изъ молочной кислоты масляная кислота и наконецъ жиръ. Изъ этого превращенія сахара въ жиръ видно, что вещества, составляющія нашу пищу, болѣе или менѣе подвергаются измѣненіямъ, смотря потому, насколько эти вещества сродны составнымъ частямъ нашей крови. Молочная кислота ближе сахара подходитъ къ жиру; сахаръ подходитъ къ жиру ближе крахмала. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что крахмалъ не такъ скоро можетъ быть превращенъ въ жиръ, какъ сахаръ, и что сахаръ въ свою очередь перейдетъ въ жиръ медленнѣе молочной кислоты.

Но главная и важнѣйшая часть пищеваренія заключается именно въ приготовленіи крови изъ принятой пищи, слѣдовательно чѣмъ скорѣе и легче принятая пища перерабатывается въ кровь, тѣмъ успѣшнѣе совершается пищевареніе; успѣшность пищеваренія зависитъ преимущественно отъ свойства пищи, или, точнѣе, отъ степени сродства ея съ составными частями крови; удобоваримою можно назвать ту пищу, изъ которой легче и скорѣе добываются ингредіенты крови; на этомъ основаніи молочная кислота окажется удобоваримѣе сахара, сахаръ удобоваримѣе крахмала. Тѣ составныя части нашей пищи, которыя не могутъ переработаться въ кровь, оказываются ненужными и должны быть удалены, какъ постороннія тѣла. Эти-то ненужныя составныя части нашей пищи составляютъ главное основаніе испражнений, къ которымъ сверхъ того присоединяются желудочныя и кишечныя слюны и жидкости, обветшалыя частицы кожи, выдѣленія желчи, словомъ, такіе матеріалы, которые входили въ составъ нашей крови и нашего тѣла и потѣмъ устарѣли и пришли въ негодность. Чѣмъ меньше ненужныхъ частицъ содержитъ въ себѣ наша пища, тѣмъ большее количество питательныхъ веществъ она отдаетъ въ кровь; такимъ

образомъ болѣе питательною называется та пища, которая содержитъ въ себѣ наибольшій процентъ веществъ, необходимыхъ для образованія крови.— Не всѣ питательныя вещества, заключающіяся въ нашей пищѣ, могутъ быть изъ нея добыты во время ея пребыванія въ желудкѣ и въ кишечномъ каналѣ. Пребываніе это ограничено извѣстнымъ временемъ, и если, въ теченіи этого времени, желудочные и кишечные соки не успѣли химически переработать пищу, если они не успѣли обратить ее въ кровь, то пища выйдетъ изъ нашего тѣла, несмотря на то, что она въ неразложенномъ состояніи заключаетъ въ себѣ много матеріаловъ, способныхъ превратиться въ кровь.

Мясо и молоко по своему химическому составу подходятъ къ крови ближе печенаго хлѣба; печеный хлѣбъ подходитъ къ ней ближе сѣна; мясо и молоко питательнѣе хлѣба и сверхъ того удобоваримѣе хлѣба; это значитъ, что фунтъ мяса заключаетъ въ себѣ больше ингрѣдиентовъ крови, чѣмъ фунтъ хлѣба; кромѣ того ингрѣдиенты крови, заключающіеся въ фунтѣ хлѣба, должны претерпѣть нѣсколько химическихъ измѣненій, прежде чѣмъ они превратятся въ дѣйствительную кровь, и число этихъ химическихъ измѣненій больше, чѣмъ число измѣненій, которыя должны претерпѣть питательныя вещества, заключающіяся въ фунтѣ мяса. Стало быть, не говоря уже о томъ, что количество питательныхъ частицъ въ хлѣбѣ меньше, чѣмъ въ мясѣ, нужно еще обратить вниманіе на то, что это меньшее количество труднѣе добыть изъ хлѣба, чѣмъ изъ мяса, и что слѣдовательно большее количество питательнаго вещества пропадаетъ даромъ, т. е. пройдетъ черезъ пищеварительный каналъ, не разложившись. При всемъ томъ, человѣкъ можетъ жить, питаясь хлѣбомъ и водою, и совершенно обходясь безъ мяса и молока; онъ будетъ слабѣе человѣка, питающагося мясомъ, но не умретъ и даже будетъ способенъ работать. Если же вы будете кормить человѣка однимъ картофелемъ, то онъ черезъ 2 недѣли ослабѣетъ и сдѣлается неспособнымъ зарабатывать себѣ пропитаніе. Это происходитъ отъ того, что картофель непитателенъ и неудобоваримъ. Въ крови нашей заключается въ 50 разъ больше бѣлковины, чѣмъ жира, а въ картофелѣ бѣлковины почти въ 20 разъ меньше чѣмъ веществъ, образующихъ жиръ. Стало быть, чтобы вытянуть изъ картофеля то количество бѣлковины, которое необходимо для поддержанія нормальнаго состава крови, человѣкъ долженъ принять въ желудокъ огромное количество разныхъ постороннихъ и ненужныхъ веществъ. По вычисленіямъ Молешота оказывается, что здоровый работникъ долженъ сѣдать въ день 20 фунтовъ картофеля, чтобы добывать изъ него необходимое количество бѣлковины. Но органы пищеваренія не могутъ справиться съ такимъ огромнымъ количествомъ матеріала; они будутъ завалены ненужнымъ мусоромъ и, можетъ быть, совершенно остановятъ свою дѣятельность; еслибы этого не случилось, тогда прои-

зошло бы другое неудобство: крахмалъ картофеля переработался бы въ жиръ и этотъ жиръ потопилъ бы собою остальные, болѣе благородныя части нашей крови.

«Можетъ ли, восклицаетъ Молешотъ, лѣнивая картофельная кровь придавать мускуламъ силу для работы, и сообщать мозгу животворный толчекъ надежды? Бѣдная Ирландія! Твоя бѣдность рождаетъ бѣдность! Ты не можешь остаться побѣдительницею въ борьбѣ съ гордымъ сосѣдомъ, которому обильныя стада сообщаютъ могущество и бодрость! Ты не можешь побѣдить! Твоя пища можетъ породить безсильное отчаяніе, но не возбудитъ она воодушевленія, а только воодушевленіе способно отразить исполина, въ жилахъ котораго течетъ живая сила дѣятельности вмѣстѣ съ богатою кровью. Не благодари Америку за тотъ подарокъ, который увѣковѣчиваетъ твое несчастіе! Мы можемъ хвалить доброе намѣреніе Говинса, принесшаго тебѣ картофель, но ты не должна считать его своимъ благодѣяніемъ». (Ученіе о пищѣ. Стр. 119.)

Но почему же картофель, неспособный поддерживать силы человѣка, служить отличною пищею для рогатаго скота и для свиней? Почему сѣно, изъ котораго человѣческій желудокъ не вытянетъ ни одной питательной частицы, можетъ въ случаѣ необходимости, въ теченіи многихъ мѣсяцевъ поддерживать существованіе лошади? Почему человѣкъ, оставленный въ луговой степи, рискуетъ умереть съ голоду, между тѣмъ какъ эти же самыя степи кормятъ многочисленныя стада буйволовъ? Отвѣтъ на всѣ эти вопросы отыскивается въ различномъ устройствѣ органовъ пищеваренія. Эти органы у травоядныхъ животныхъ гораздо сложнѣе, чѣмъ у плотоядныхъ, потому что растительная пища сравнительно съ животною нуждается въ болѣшемъ количествѣ измѣненій, чтобы превратиться въ кровь и слѣдовательно должна дольше животной пищи пробыть въ желудкѣ и въ кишкахъ и дольше ея подвергаться дѣйствию пищеварительныхъ соковъ и кислотъ. «Пища, говоритъ Молешотъ, превратила дикую кошку въ ручную. Изъ плотояднаго животного съ короткимъ пищеварительнымъ каналомъ путемъ постепенной привычки изъ нея образовалось совершенно другое существо, которому длинный каналъ даетъ возможность переваривать растительную пищу, незнакомую ему въ естественномъ состояніи». (Уч. о пищѣ. Стр. 1.) «Человѣкъ занимаетъ средину между плотоядными и травоядными животными: зубы и челюсти, желудокъ и кишки, слюнные железы и жевательные мускулы его устроены такъ, что дѣлаютъ его способнымъ принимать и переваривать смѣшанную пищу (ibid. 180.) Вслѣдствіе этой смѣшанной пищи, кровь его также стоитъ по своему химическому составу по срединѣ между кровью чисто плотояднаго и кровью чисто травояднаго. Изъ крови вырабатываются ткани организма; свойствами крови обуславливаются свойства мускуловъ, зубовъ, желѣзокъ, костей, мозга, особенности ума и характера. Измѣните

пищу человека, и весь человекъ мало-по-малу измѣнится. Переходъ отъ мяса къ сѣну такъ рѣзокъ, что человекъ его не вынесетъ, но путемъ постепенныхъ измѣненій можно довести человека до того, что онъ сдѣлается травояднымъ животнымъ, точно также, какъ кошка изъ животного плотояднаго сдѣлалась животнымъ способнымъ варить растительную пищу. Такой переходъ потребовалъ бы многихъ поколѣній, но въ немъ нѣтъ ничего невозможнаго; сомнительно только, чтобы травоядный человекъ могъ быть вѣнцомъ созданія и человекомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Сомнительно, чтобы усовершенствованіе или вѣрнѣе усложненіе пищеварительныхъ органовъ не совершилось въ ущербъ развитію мозга.

Можно выразить смѣлое предположеніе, что разнообразіе пищи, ведущее за собою разнообразіе составныхъ частей крови, служить основаніемъ разносторонности ума и гармоническаго равновѣсія между разнородными силами и стремленіями характера. Европейецъ доводитъ разнообразіе пищи до послѣднихъ предѣловъ; какъ гражданинъ міра, онъ не ограничивается произведеніями своей родины и питается всѣмъ, что приходится ему по вкусу; какъ человекъ занимаетъ средину между животными, такъ Европейецъ занимаетъ средину между людьми; растительная и мясная пища достигаютъ возможно полнаго равновѣсія въ репертуарѣ европейской кухни образованныхъ и зажиточныхъ классовъ. Поэтому въ Европейцѣ нѣтъ той дикости, которая характеризуетъ собою племена звѣролововъ; нѣтъ и той сонливости, которую отличаютъ Индусы, питающіеся корнями и овощами; процессъ пищеваренія совершается легко и скоро; отягощеніе и лѣнь, порождаемыя сытнымъ обѣдомъ, продолжаются не болѣе часа, потому что смѣшанная пища разлагается легко и отсылаетъ въ кровь необходимый транспортъ матеріаловъ. Мозгъ тянетъ изъ крови столько фосфора, сколько понадобится; работа мысли идетъ широкимъ махомъ; возникаютъ философскія системы и художественныя произведенія, слагаются социальныя теоріи и практическія усовершенствованія, является вѣра въ силы человечества и уваженіе къ человѣческому достоинству — и что же? Если даже побудительный толчокъ къ этимъ прекраснымъ движеніямъ лежитъ въ свойствѣ нашей пищи, то конечно этимъ свойствамъ мы обязаны тѣми силами, которыя выполняютъ задуманное дѣло, и не даютъ замереть благороднымъ и высокимъ стремленіямъ. (Уч. о пищѣ. Стр. 181.)

IV.

Существеннѣйшая часть принимаемой нами пищи подвергается нѣсколькимъ, болѣе или менѣе, важнымъ измѣненіямъ, прежде нежели мы

рѣшаемся взять ее въ ротъ. Никто не ѣстъ сыраго мяса или картофеля, никто не глотаетъ цѣликомъ зерна ржи или пшеницы. Поваренное искусство, развивавшееся помимо всякой научной теоріи, заботится только о томъ, чтобы угодить болѣе или менѣе утонченнымъ требованіямъ вкуса, а между тѣмъ, большая часть его распоряженій заслуживаетъ полного одобренія со стороны возникающей науки о предметахъ пищи. Цѣлый рядъ примѣровъ можетъ подтвердить собою ту мысль, что человѣчество руководилось безошибочнымъ инстинктомъ въ выборѣ и приготовленіи своихъ яствъ.

По извѣстному непріятному ощущенію жаждущій чувствуетъ, что его организмъ нуждается въ притокѣ воды; грудной ребенокъ кричитъ, когда чувствуетъ голодъ и успокаивается, когда начинаетъ сосать грудь; въ этихъ случаяхъ очевидно дѣйствуетъ природный инстинктъ, а не опытъ. Тотъ же природный инстинктъ выражается въ чувствѣ вкуса; когда мы находимся въ здоровомъ состояніи, то намъ нравится то, чего дѣйствительно требуетъ нашъ организмъ; намъ пріѣдается одна и та же пища, потому что она вноситъ въ нашу кровь слишкомъ много однихъ ингредіентовъ и слишкомъ мало другихъ; намъ никогда не надоедаетъ хорошая говядина именно потому, что она доставляетъ намъ въ изобиліи всѣ составныя части нашей крови; намъ никогда не надоедаетъ чистая ключевая вода, именно потому, что этого матеріала всегда требуетъ наша кровь. Словомъ, организмъ нашъ заявляетъ свои требованія, по мѣрѣ того, какъ они возникаютъ, и мы по необходимости стремимся ихъ выполнить; мы чувствуемъ, что намъ чего-то хочется, и чувствуемъ, въ чемъ именно мы нуждаемся; для этого намъ нѣтъ надобности напрягать вниманіе; такъ называемыя животныя потребности и влеченія сказываются сами-собою и говорятъ громче и громче, до тѣхъ поръ, пока вы не заткнете имъ ротъ полнымъ удовлетвореніемъ. Духовную потребность вы можете отсрочить, или даже задупить въ себѣ, но бѣда вамъ будетъ, если вы вздумаете упрямиться и идти наперекоръ заявившей себя физической потребности. Разстройство организма, помраченіе умственныхъ способностей, общій упадокъ силъ, — вотъ тѣ послѣдствія, которыя неминуемо ведетъ за собою умышленная борьба съ собственнымъ тѣломъ. Тому, кто выбралъ однажды мрачную дорогу аскета, трудно повернуть назадъ и выбраться на вѣрный путь.

Неправильный образъ жизни развиваетъ органическія ткани, отклоняющіяся отъ нормы; неправильно слагающійся мозгъ порождаетъ дикія идеи и ведетъ къ нелѣпымъ заключеніямъ; эти заключенія образуютъ міросозерцаніе, въ которомъ каждый предметъ представляется въ своеобразныхъ размѣрахъ и окрашивается произвольными красками; жизнь смѣняется вѣчною галлюцинаціею; образъ жизни становится строже, потому что этого требуютъ дикія умозаключенія, и все это

фантастическое званіе завершается явленіемъ идиотизма или помѣшательства. — Къ счастью всего человѣчества, поваренное искусство никогда не шло въ разрѣзъ съ потребностями нашей физической природы; оно дѣйствовало ощупью, и попадало въ цѣль безъ иромаха, потому что старалось угодить требованіямъ нашего вкуса, а во вкусѣ всегда заявлялись дѣйствительныя нужды нашего организма. — Приведу нѣсколько примѣровъ.

Мы варимъ картофель и поступаемъ въ этомъ случаѣ очень рачіонально. Превращеніе крахмала въ сахаръ, долженствующее совершиться въ желудкѣ, значительно облегчается этою операціею. Въ сыромъ картофелѣ крахмалъ заключенъ въ видѣ маленькихъ зернышекъ въ клѣточки или пузырьки; оболочка этихъ клѣточекъ состоитъ изъ такой матеріи, которую желудочный сокъ разлагаетъ съ большимъ трудомъ. Дѣйствіе горячей воды разрушаетъ спѣшеніе клѣточекъ между собою, и крахмальные зернышки освобождаются изъ своихъ футляровъ; они приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе съ разлагающими слюзками пищеварительныхъ органовъ и превращеніе ихъ въ сахаръ и въ жиръ значительно облегчается.

Крахмалъ хлѣбныхъ зеренъ освобождается изъ клѣточекъ уже тогда, когда дѣйствіе мельничныхъ жернововъ превращаетъ ихъ въ муку. Просѣиваніе муки отдѣляетъ отъ нея отруби, т. е. мелкіе остатки клѣтчатки (Zellstoff). Печеніе хлѣба превращаетъ значительную часть крахмала въ сахаръ, и потому печеный хлѣбъ не только вкуснѣе сырой муки, но и удобоваримѣе ея.

Изъ гороха и чечевицы готовится супъ; этотъ супъ или похлебка протирается сквозь сито и шелуха гороховыхъ и чечевичныхъ зеренъ выбрасывается. Это значительно облегчаетъ работу желудка. Шелуха этихъ зеренъ состоитъ изъ очень плотной клѣтчатки, которая почти вовсе не поддается разлагающему дѣйствію желудочнаго сока. Еслибы мы стали цѣликомъ глотать горошины, какъ пилюли, то большая часть ихъ прошла бы черезъ пищеварительный каналъ совершенно неразложенною. Еслибы мы стали жевать горохъ, то зерна конечно разложились бы въ желудкѣ и въ кишкахъ, но шелуха составила бы совершенно лишнее бремя, и понапрасну засорила и распустила бы наши внутренности. Стало быть приготовленіе гороховой похлебки предлагаетъ нашему желудку питательныя вещества гороха въ очищенномъ и упрощенномъ видѣ.

Если изъ куска мяса хотять приготовить бульонъ, то это мясо кладутъ въ холодную воду, и эту воду кипятятъ вмѣстѣ съ мясомъ; если же хотять получить хорошій кусокъ варенаго мяса, то мясо кладутъ прямо въ кипятокъ. Это правило, извѣстное каждой бѣухарѣ, также имѣетъ свое разумное основаніе.

Въ сыромъ мясѣ мясныя волокна окружены особеннаго рода сокомъ, заключающимъ въ себѣ растворъ бѣлковины, различныхъ солей и азотистаго креатина (Fleischstoff). Этотъ растворъ отъ прикосновенія горячей воды свертывается и твердѣетъ; вокругъ мяса образуется корка, затрудняющая дѣйствіе воды на мясо; питательныя вещества остаются въ самомъ кускѣ и не выходятъ въ воду, и такимъ образомъ получается вареное мясо, сохраняющее весь свой вкусъ и всю питательность. Въ холодной водѣ, постепенно подогреваемой, распускается сокъ, окружающій мясныя волокна; онъ весь выходитъ изъ мяса и переходитъ въ воду, такъ что когда вода вскипитъ, то получится крѣпкій мясной наваръ и вываренный кусокъ мяса, котораго волокна легко отдѣляются другъ отъ друга и сравнительно съ прежнимъ составомъ мяса, представляютъ мало питательности.

Жареное мясо удобоваримѣе, чѣмъ сырое. По изслѣдованіямъ Мюльдера оказалось, что жареніе образуетъ уксусную кислоту, которая облегчаетъ собою пищевареніе; маринованное мясо, т. е. мясо, вымоченное въ уксусѣ, переваривается также легче сыраго мяса. Очень жирное мясо, напр. свинину, обыкновенно солятъ, потому что соленое сало переваривается легче сыраго жира. Употребленіе разныхъ приправъ: перца, гвоздики, лавроваго листа, мускатнаго орѣха, употребленіе сахара, стараго сыра, вина и ликера основано также на требованіяхъ нашего желудка; если пользоваться всѣми этими приправами съ благоразумною умѣренностью, то всѣ онѣ могутъ содѣйствовать пищеваренію, ускорять въ нашемъ тѣлѣ обмѣнъ соковъ и передвиженіе частицъ, и слѣдовательно усиливать дѣйствіе нервовъ, воспринимающихъ впечатлѣніе и выполняющихъ мысль.

На умѣренное употребленіе крѣпкихъ напитковъ Молашотъ смотритъ очень снисходительно; попытки разныхъ филантроповъ и обществъ трезвости онъ считаетъ не только практически безполезнами, но даже теоретически неразумными. Алкоголь, говоритъ онъ, замедляетъ сгараніе органическихъ тканей, такъ что работникъ, выпивающій чарку водки послѣ своего скуднаго обѣда, не такъ скоро проголодается, какъ его товарищъ, не употребляющій крѣпкихъ напитковъ. «Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, продолжаетъ онъ, что было бы жестоко отнимать у поденщика, который въ потѣ лица зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба, средство подольше удерживать въ своемъ тѣлѣ скудную пищу. Пусть дадутъ ему обильное пропитаніе, тогда онъ будетъ въ состояніи обходиться безъ водки. Пока не позаботятся о томъ, чтобы работа должнымъ образомъ прокармливала человѣка, до тѣхъ поръ будетъ казаться насмѣшкою наше желаніе устранить менѣе хорошее, не давая и не умѣя дать лучшаго. Или, можетъ быть, слѣдуетъ отнѣмать употребленіе водки, потому что оно дѣлаетъ возможнымъ злоупотребленіе? Тогда попробуйте

сначала опровергнуть тотъ упрекъ, что вы унижаете нравственное достоинство человѣка, если заставляете его отказываться отъ наслажденія, во избѣжаніе скотскаго разврата. Аскетъ, требующій строгаго цѣломудрія, насилуетъ человѣческую природу; точно также насилуетъ ее врачъ, требующій уничтоженія водки, на томъ основаніи, что на свѣтѣ есть пьяницы. Гѣте далъ новому міросозерцанію прекрасный лозунгъ: *memento vivere!* (помни, что нужно жить!). Кто проповѣдуетъ уничтоженіе водки, тотъ переноситъ насъ въ средневѣковое католичество, которое душило лучшій цвѣтъ человѣчности безобразнымъ девизомъ: *memento mori!* (помни, что нужно умереть!).» (Уч. о пищѣ. Стр. 148.)

V.

Мы видѣли такимъ образомъ, что приготовленіе пищи въ нашихъ кухняхъ основано на инстинктивно понятыхъ потребностяхъ нашего организма.

На томъ же инстинктивномъ пониманіи этихъ потребностей основано смѣшеніе нашихъ кушаній между собою, порядокъ, въ которомъ они слѣдуютъ другъ за другомъ въ обѣдѣ, и старанія разнообразить репертуаръ обѣда, такъ чтобы сегодня не повторялось то, что подавалось вчера.—Мясо напр. подается обыкновенно съ какимъ нибудь соусомъ, и соусъ этотъ состоитъ изъ какихъ нибудь овощей.

Причина объясняется очень просто. Мясо даетъ нашей крови необходимое количество бѣлковны, а овощи сообщаютъ ей тѣ вещества, изъ которыхъ образуется жиръ; сверхъ того, они содержатъ въ себѣ значительное количество солей, облегчающихъ собою перевариваніе мяса. Если же приправою къ мясу постоянно служатъ одинъ сортъ овощей, то очень понятно, что въ кровь вносится постоянно та соль, которая преобладаетъ въ данномъ овощѣ; въ другихъ соляхъ и минеральныхъ частицахъ чувствуется недостатокъ, и этотъ недостатокъ обнаруживается въ томъ, что намъ надобѣдаетъ и прѣдѣается одна и та же приправа, и мы съ удовольствіемъ принимаемъ за что нибудь новое. Напр. въ рѣпѣ мало желѣза, а въ шпинатѣ его очень много; если на вашемъ столѣ въ продолженіи трехъ дней будетъ появляться рѣпа, то на четвертый день вы съ удовольствіемъ увидите шпинатъ, именно потому, что онъ способенъ пополнить возникшій въ крови недостатокъ желѣза.

Мы видимъ такимъ образомъ, что главное назначеніе принимаемой пищи состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать въ нашемъ организмѣ необходимое количество и нормальный химическій составъ крови. Очевидно,

что не только качество, но и количество пищи должно быть въ этомъ случаѣ принято въ соображеніе. Какъ бы ни была пища питательна и удобоварима, но если ея такъ мало, что она не покрываетъ расходовъ нашего тѣла, то мы постоянно будемъ терять больше, чѣмъ будемъ получать; сводить концы съ концами будетъ невозможно, и всѣ наши жизненные отправленія будутъ страдать отъ недостаточнаго питанія. Бѣлковина, заключающаяся въ крови, постепенно перегараетъ, и, превращаясь въ мочевины, въ мочевую кислоту, въ уголекислоту и въ воду, выбрасывается изъ нашего тѣла разными каналами и путями. Жиръ и вещества, служащіе въ его образованію, также выдѣляются въ формѣ воды и уголекислоты. Съ каждымъ выдыханіемъ выходитъ изъ нашего тѣла извѣстная часть пережженной бѣлковины и пережженного жира. Каждый разъ, когда мы испражняемся, съ нашими испражненіями выходитъ желчная кислота, образовавшаяся изъ жира. Каждый разъ, когда мы выпускаемъ мочу, изъ нашего тѣла выдѣляются разныя соли и минеральныя частицы. Въ теченіи 24 часовъ различныя выдѣленія и испражненія уменьшаютъ вѣсъ нашего тѣла на $\frac{1}{4}$ часть. Этотъ ущербъ долженъ быть пополненъ, если мы на завтрашній день желаемъ сохранить ту сумму силъ, которою владѣли сегодня. Около четвертой части понесеннаго ущерба покрывается тѣмъ количествомъ кислорода, который мы вдыхаемъ въ атмосферномъ воздухѣ, остальные три четверти должны быть пополнены пищею и питьемъ.

Такимъ образомъ, чтобы не почувствовать ослабленія, мы должны въ теченіи сутокъ принимать такое количество питательныхъ веществъ котораго вѣсъ былъ немного больше $\frac{1}{10}$ части вѣса всего нашего тѣла. Если предположить, что въ нашемъ тѣлѣ 4 пуда вѣса, то вы въ теченіи сутокъ должны принимать пищи отъ 8 $\frac{1}{2}$ до 9 фунтовъ; если вы цѣлыя сутки пробудете на одномъ мѣстѣ въ совершенномъ спокойствіи, то количество выдѣленій будетъ меньше, и меньшее количество пищи будетъ въ состояніи поддержать вашу жизнь и вѣсъ вашего тѣла. Но мы ѣдимъ не для того, чтобы жить, говоритъ Молашотъ. «Наука конечно интересуется тѣмъ, при какой діетѣ человѣкъ можетъ не умереть, но человѣчеству важно знать то, при какой пищѣ мужчина способенъ работать, а женщина—кормить своихъ дѣтей». Чѣмъ сильнѣе работа, тѣмъ обильнѣе и питательнѣе должна быть пища. «Когда идетъ дѣло о лошадахъ и о конской работѣ, говоритъ Мульдеръ. тогда никто не сомнѣвается въ томъ, что пища должна соотвѣтствовать работѣ. Не сѣно, а овесъ способенъ удовлетворить потребностямъ лошадиного организма, когда лошадь должна работать какъ слѣдуетъ. А при напряженной работѣ и овесъ оказывается недостаточнымъ; тогда лошадей надо кормить бобами. Лошадямъ даютъ то, что имъ необходимо! А людямъ?» (1)

Такимъ образомъ, наибольшую практическую важность имѣетъ въ

нашихъ глазахъ количество пищи, необходимое человѣку для того, чтобы жить полною, человѣческою жизнью, чтобы работать и мыслить, чувствовать и любить, чтобы производить дѣтей и выкармливать ихъ, а не для того только, чтобы прозябать и предохранять свои органическія ткани отъ окончательнаго разрушенія. Исслѣдованія Молешота доводятъ его до слѣдующихъ результатовъ. Сумма всей пищи должна равняться 7-ми фунтамъ; на это количество приходится почти $5\frac{3}{4}$ фунтовъ воды. Твердыхъ веществъ требуется немного больше $1\frac{1}{4}$ фунта (125 золотниковъ); въ томъ числѣ должно быть около 25 золотниковъ бѣлковины, около 14 золотниковъ чистаго жира, около 80 золотниковъ веществъ способныхъ превратиться въ жиръ, и около 6 золотниковъ солей и минеральныхъ частицъ.

Молешотъ допускаетъ, что отдѣльныя личности уклоняются отъ этихъ цифръ въ ту или другую сторону, но онъ утверждаетъ, что эти цифры могутъ быть смѣло приняты въ основаніе разсчета, когда дѣло идетъ о запасеніи провіанта для вѣрности или для экипажа корабля. Жиръ, сахаръ и крахмалъ могутъ замѣнять другъ-друга въ этомъ разсчетѣ; но бѣлковина, которой требуется только 25 золотниковъ въ сутки, не можетъ быть замѣнена никакимъ другимъ веществомъ. Дешевая растительная пища, богатая крахмаломъ, обыкновенно бѣдна бѣлковиною и потому количество бѣлковины въ большей части случаевъ опредѣляетъ собою степень питательности. Бѣлковина всего дороже, потому что ея мало, и потому, что она въ достаточномъ количествѣ встрѣчается большею частью въ такой пищѣ, которая по дорогой цѣнѣ своей мало доступна рабочему классу. Изъ предметовъ растительной пищи только чечевица, бобы и горохъ содержатъ въ себѣ столько бѣлковины, что одного фунта этой пищи почти достаточно, чтобы удовлетворить въ этомъ отношеніи требованіямъ организма на цѣлыя сутки. Печенаго хлѣба надо съѣсть для достиженія той же цѣли около трехъ фунтовъ, рису болѣе 5 фунтовъ, картофеля 20 фунтовъ, цвѣтной капусты 52 фунта, а грушъ 110 фунтовъ. Питаться фруктами рабочнику нѣтъ никакой возможности; питаться картофелемъ тоже мудрено. Мясо, горохъ, или печеный хлѣбъ одни въ состояніи поддерживать силы человѣка, доставляя ему необходимый процентъ бѣлковины, и потому конечно позволительно выразить желаніе, чтобы бобы, горохъ и чечевица вытѣснили собою картофель, занимающій самое почетное мѣсто въ пропитаніи неимущихъ классовъ Ирландіи и Германіи. Такого рода измѣненіе могло бы повести за собою улучшеніе породы, укрѣпленіе народнаго здоровья и возвышеніе національнаго самосознанія. Значеніе употребляемой пищи въ развитіи историческихъ событій до сихъ поръ еще не было достаточно принято въ соображеніе, и даже Бокль выразилъ на счетъ этого предмета однѣ догадки, которыя ожидаютъ еще въ будущемъ опроверженія или подтвержденія.

Мы видѣли выше, что здоровый человѣкъ въ теченіи 24 часовъ долженъ принять около семи фунтовъ пищи; эта средняя величина измѣняется смотря по времени года, смотря по полу и возрасту субъекта и смотря по той степени напряженія, которой требуетъ отъ него его работа. Зимой мы ѣдимъ больше чѣмъ лѣтомъ, если только предположить, что дѣятельность наша остается одинаковою; зимой мы больше чѣмъ лѣтомъ выдыхаемъ углекислоты и выдѣляемъ мочи. Расходъ нашего тѣла черезъ это увеличивается, и сообразно съ этимъ долженъ увеличиваться и приходъ. Каждый замѣчалъ, что аппетитъ уменьшается во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ; въ это время организмъ нашъ собственными средствами развиваетъ меньшую степень животной теплоты, пережигаетъ меньшее количество бѣлковины и жира, и потому нуждается въ меньшемъ количествѣ топлива. Праздность значительно уменьшаетъ скорость обмѣна матеріи. Люди богатые, непривычные ни къ физической, ни къ умственной работѣ, обыкновенно не въ мѣру толстѣютъ, страдаютъ приливами крови, жалуются на недостатокъ аппетита и стараются расшевелить его искусственными средствами и замысловатыми приправами. Женщины выдыхаютъ только двѣ трети того количества углекислоты, которое выдыхаютъ мужчины; вслѣдствіе этого онѣ ѣдятъ обыкновенно меньше мужчинъ. Старики выдѣляютъ также меньше взрослыхъ мужчинъ, и этимъ обстоятельствомъ объясняется то уменьшеніе аппетита, которое обыкновенно замѣчается подъ старость. Грудной ребенокъ и юноша, не достигшій еще полнаго развитія силъ, выдѣляютъ относительно величныя своего тѣла, больше углекислоты и мочевины, чѣмъ взрослый мужчина. Кромѣ того и ребенокъ и юноша растутъ, слѣдовательно приходъ долженъ превышать расходъ, потому что только избытокъ принимаемой пищи даетъ матеріалы для увеличенія объема тѣла и для укрѣпленія всѣхъ органическихъ тканей. Стало быть, еслибы мы стали опредѣлять количество пищи, необходимое для ребенка, сравнивая размѣры его тѣла съ размѣрами нашего, то мы рисковали бы заморить его голодомъ, и во всякомъ случаѣ значительно остановили бы его ростъ. Во-первыхъ, ребенокъ выдѣляетъ сравнительно больше взрослого, во-вторыхъ, онъ растетъ, слѣдовательно по этимъ двумъ причинамъ нуждается въ большемъ количествѣ пищи, чѣмъ нуждался бы карликъ зрѣлаго возраста и одинаковой величины съ нашимъ субъектомъ. «Съ того дитя растеть», говорятъ русскія няньки, видя, что окружающіе удивляются аппетиту ихъ питомцевъ. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, данныя науки оправдываютъ народное изрѣченіе, основанное на непосредственномъ опытѣ. Если ребенокъ не приученъ къ лакомствамъ, и если онъ требуетъ себѣ простой пищи, то можно давать ему столько, сколько онъ пожелаетъ. Неиспорченная природа не потребуетъ лишняго и не создастъ себѣ искусственныхъ нуждъ. Животныя объѣдаются очень

редко и нѣтъ причины думать, чтобы ребенокъ, неизбалованный воспитаніемъ, составилъ въ дурную сторону исключеніе изъ общаго правила.

VI.

Вопросъ о сравнительной цѣнѣ съѣстныхъ припасовъ съ каждымъ десятилѣтіемъ становится существеннѣе и важнѣе. Въ западной Европѣ, въ Англіи, во Франціи и въ Германіи, при густомъ и постоянно возрастающемъ населеніи, пролетаріи обращаютъ на себя вниманіе государственныхъ людей и ученыхъ, социалистовъ и филантроповъ. Вѣдь нельзя же цѣлымъ тысячамъ работниковъ и работницъ оставаться безъ куска хлѣба, нельзя же имъ умирать голодною смертію, а между тѣмъ, нельзя же требовать, чтобы хлѣбъ, овощи и мясо составляли общую собственность, подобно тому, какъ составляютъ общую собственность атмосферный воздухъ, солнечный свѣтъ и рѣчная вода. Надо стало - быть подумать о томъ, чтобы немощіе могли собственными руками зарабатывать себѣ здоровую пищу, которая могла бы сообщать ихъ мышцамъ силу для новой работы, а ихъ мозговымъ нервамъ живую бодрость и постоянно обновляющійся притокъ надежды. Въ 1679 году Папинъ предложилъ готовить пищу изъ костей; кости эти подвергались сильному давленію, вываривались въ кипяткѣ и превращались такимъ образомъ въ клей или студень. Обстоятельства замяли проэктъ Папина, но когда французская революція выдвинула впередъ вопросъ о пролетаріяхъ, комиссія знаменитыхъ тогдашнихъ врачей получила приказаніе рассмотреть это предложеніе, остававшееся подъ спудомъ въ продолженіи цѣлаго столѣтія. Каде де-Во, Жемберна, Пелльтье, д'Арсе и другіе объявили, что кости даютъ превосходную пищу, что одинъ фунтъ костей даетъ столько навару, сколько давали шесть фунтовъ говядины, и что супъ изъ костей во всѣхъ отношеніяхъ лучше говяжьего бульона. Такъ называемый румфордскій супъ, приготовленный изъ костей, былъ даже введенъ въ госпитали и въ инвалидные дома. Но больнымъ и инвалидамъ отъ этого супа не поздоровилось, и новой комиссіи поручено было снова рассмотреть дѣло; членами этой комиссіи были между прочими Дю-Пюитренъ и Мажанди; результаты новаго изслѣдованія были вовсе неутѣшительны. Оказалось, что румфордскій супъ легко подвергается гніенію, что онъ не вкусенъ, обременителенъ для желудка и все не такъ питателенъ, какъ мясной наваръ. Новѣйшія изслѣдованія подтвердили мнѣніе второй комиссіи и теперь можно сказать рѣши-

тельно, что супъ изъ костей настолько же дороже мяснаго супа, насколько дурное сукно дороже хорошаго. Конечно, порція костянаго супа и аршинъ плохаго сукна можно получить за меньшее количество денегъ, чѣмъ порцію мяснаго навара и аршинъ хорошаго сукна, но если вы примете въ соображеніе сравнительную питательность обонихъ суповъ и сравнительную прочность обонихъ матерій, то вы увидите, что, покупая болѣе дорогую вещь, вы сберегаете деньги, потому что обезпечиваете себя отъ новыхъ тратъ на болѣе долгое время, и доставляете себѣ существенную, а не воображаемую пользу.

Въ новѣйшее время, въ 1849 году, французскій ученый Мильонъ предложилъ печь хлѣбы изъ непросѣянной муки, говоря, что отдѣляющіеся отруби уносятъ съ собою множество самыхъ питательныхъ частицъ. Комиссія, разсматривавшая вопросъ о костяхъ, бралась подарить Франціи огромное количество пропадавшей до того времени говядины. Мильонъ сулилъ Франціи такую же огромную прибыль въ сбереженіи отрубей. «Еслибы, говоритъ онъ, кто нибудь вдругъ объявилъ, что ему удалось обогатить Францію на нѣсколько милліоновъ гектолитровъ очень питательной пищи, не увеличивая трудовъ земледѣльца и не отнимая ни вершка земли у какого нибудь другаго растенія; еслибы этотъ человѣкъ сталъ утверждать, что эта пища въ сравненіи съ пшеничною мукою содержитъ въ себѣ больше клейковины и вдвое больше жира, и что остальные ея части, за исключеніемъ 10 процентовъ клѣтчатки, легко превращаются въ кровь, то можно было бы подумать, что онъ бредитъ или видитъ сонъ. А между тѣмъ эта пища дѣйствительно существуетъ, она находится въ пшеницѣ и ее удаляютъ изъ пшеницы съ большимъ трудомъ. У пшеницы отнимаютъ значительную часть ея азота, ея жира, ея крахмала, солей, вкусныхъ и пряныхъ матеріаловъ для того только, чтобы освободиться отъ нѣсколькихъ тысячныхъ долей клѣтчатки». Это краснорѣчивое воззваніе Мильона, напечатанное въ «Annales de chimie et de physique» за 1849 годъ, встрѣтило себѣ правдивое опроверженіе. «Хлѣбопашецъ и садовникъ, пишетъ Бушарда, люди постоянно работающіе и находящіеся въ постоянномъ движеніи, могутъ переваривать рѣшетный хлѣбъ; отруби, заключающіеся въ этомъ хлѣбѣ, находятъ себѣ полезное назначеніе. Но если вы дадите этотъ хлѣбъ слабому старику, то отруби, не разложившись, пройдутъ черезъ его кишечный каналъ, потому что пищеваренію помѣшаетъ плотность питательныхъ частицъ и тотъ слой клѣтчатки, въ которомъ онѣ заключены. Не экономнѣе ли будетъ въ этомъ случаѣ отдать отруби и мякину рогатому скоту, и получить отъ него взамѣнъ мясо и молоко, въ высшей степени полезныя для людей съ слабыми пищеварительными органами.»

Солдаты, получающіе въ крѣпостяхъ рѣшетный хлѣбъ, по словамъ Мошешота, часто продаютъ свой паекъ, и покупаютъ себѣ хлѣбъ, изъ

простѣянной муки. Дѣло въ томъ, что только сильный желудокъ способенъ переносить рѣшительный хлѣбъ, и каждый согласится съ тѣмъ, что пріятнѣе избѣгать разстройства, нежели лѣчиться отъ него. «Всякій, говоритъ Моленшотъ, съ большимъ удовольствіемъ понесетъ деньги къ булочнику, чѣмъ къ аптекарю.»

Эти два примѣра показываютъ ясно, что когда дѣло идетъ о пищѣ, то сравнительная дешевизна съѣстныхъ припасовъ опредѣляется не только тою суммою денегъ, которая за нихъ заплачена. Возь соломы дешевле четверти овса, но ежели вы станете кормить вашихъ лошадей соломою, то навѣрное въ концѣ концовъ останетесь въ убыткѣ. Картофель дешевле мяса, но если вы станете питаться картофелемъ, то навѣрное придете къ непріятнымъ и разорительнымъ результатамъ. Дешевымъ можно назвать то средство, которое съ наименьшими издержками ведетъ насъ къ желанной цѣли; если же, платя ничтожную сумму, мы не достигаемъ предполагаемой цѣли, то мы бросаемъ деньги на вѣтеръ, и утѣшаемся только тѣмъ, что бросаемъ ихъ мелкими клочками. Развѣ картофель можетъ быть названъ дешевою пищею? Развѣ онъ исполняетъ назначеніе пищи? Если онъ обманываетъ голодъ, то на это есть средства еще болѣе дешевыя; стоятъ только покрѣпче затянуть себѣ животъ, какъ дѣлаютъ то австралійскіе дикари, и вы этимъ средствомъ на нѣсколько часовъ укротите мучительное чувство голода; вы не дадите новой силы вашему организму, но этого не сдѣлаетъ и картофель; вся разница въ томъ, что картофельная діѣта ослабитъ и разстроитъ васъ мало-по-малу и на медленномъ огнѣ сожжетъ ваши силы, между тѣмъ какъ голодъ разрушитъ ихъ быстро и заставитъ васъ испытать острые мученія вмѣсто хронической болѣзни. Есть ли между тѣмъ и другимъ чувствительная разница? — это такой вопросъ, рѣшеніе котораго совершенно зависитъ отъ вашего вкуса, если дѣло идетъ о васъ самихъ; но если вы администраторъ или филантропъ, если вы обязаны или желаете обсуживать и рѣшать вопросы народнаго продовольствія, тогда будьте осторожны и не рекомендуйте той или другой дешевой пищи, не справившись съ тѣмъ, насколько она питательна и здорова. Гокинсъ, познакомившій Ирландію съ картофелемъ, оказалъ ей плохую услугу; его можно оправдать только его невѣдѣніемъ; привести же невѣжество въ оправданіе какого нибудь современнаго намъ дѣятеля было бы бессмысленно, потому что теперь фізіологія, діететика, гігіена возвысились до степеней науки; кто не знакомъ съ успѣхами науки, тотъ рѣшительно неспособенъ быть судьей въ какомъ бы то ни было важномъ вопросѣ практической жизни, тотъ рѣшительно неспособенъ быть благодѣтелемъ челоѣчества въ какомъ бы то ни было отношеніи.

Время случайныхъ открытій миновало; усовершенствованія вырабатываются, а не рождаются сами-собою. Микроскопъ и химическій анализъ,

вотъ орудія современнаго прогресса, и при помощи этихъ орудій Молешотъ дошелъ до одного простаго, частичнаго, но существенно важнаго результата. Онъ доказалъ, что обработка стручковыхъ растеній (чечевицы, гороха, бобовъ и фасоли) должна вытѣснить обработку картофеля. За первыми больше хлопотъ и издержекъ, но за то эти растенія даютъ такую пищу, которая во всѣхъ отношеніяхъ можетъ замѣнить собою мясо, недоступное по своей цѣнѣ бѣднымъ работникамъ западной Европы. Недостаточность картофеля, какъ главной пищи, сознается всѣми свѣдущими людьми. Съ разныхъ сторонъ слышатся предложенія замѣнить его какимъ нибудь заморскимъ еще не акклиматизованнымъ растеніемъ. Верро хвалитъ корни трюфелевиднаго растенія, прозябающаго въ средней Африкѣ и извѣстнаго подъ англійскимъ именемъ native bread (туземный хлѣбъ). Боскъ рекомендуетъ корни *Glucine Apios*, растущей въ Каролинѣ; Трекюль указываетъ на *Apios tuberosa*, находящуюся въ Миссури; Мульдеръ говоритъ объ обилии бѣлковины, заключающейся въ корняхъ *Ullico tuberosus*. Всѣ эти растенія съ мудреными названіями надо еще приучать къ европейской почвѣ, а между тѣмъ горохъ, бобы и чечевица цвѣтутъ на нашихъ глазахъ, и нуждаются только въ томъ, чтобы мы расширили масштаб ихъ обработки. Простой, чисто-житейскій совѣтъ Молешота, основанный въ то же время на тщательномъ анализѣ составныхъ частей рекомендуемыхъ имъ растеній, во всякомъ случаѣ долженъ былъ бы обратить на себя вниманіе европейскихъ агрономовъ.

Если мысль Молешота можетъ быть осуществлена на дѣлѣ, то послѣдствія этого осуществленія навѣрное будутъ имѣть самое благотворное вліяніе на улучшение народной нравственности, на развитіе народнаго богатства, на усиленіе народной дѣятельности и предприимчивости.

VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, трудно сомнѣваться въ томъ вліяніи, которое оказываетъ пища на темпераментъ, на направленіе и дѣятельность мысли, словомъ, на весь нравственный и интеллектуальный характеръ человѣка. Есть осязательные факты, способные убѣдить самаго необузданнаго идеалиста. Въ кузницахъ департамента Тарнъ рабочихъ постоянно кормили растительною пищею; по ежегоднымъ отчетамъ оказывалось, что каждый работникъ круглымъ числомъ проводилъ въ году 15 дней въ лазаретѣ. Въ 1833 году Талабо, назначенный глав-

нымъ начальникомъ этихъ заведеній, ввести мясную пищу, и здоровье рабочихъ поправилось такъ сильно, что уже только три дня въ году приходилось на болѣзни. При этомъ нужно принять въ соображеніе то, что рабочій уходилъ въ лазаретъ тогда, когда уже чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ къ работѣ, что онъ нѣсколько времени перемогался, работалъ черезъ силу, старался выходиться и переломить болѣзнь; окажется, что 15 дней лежанія въ больницѣ равняются нѣсколькимъ мѣсяцамъ ненормальнаго состоянія, мрачнаго и раздражительнаго расположенія духа. Здоровая пища въ пять разъ уменьшила число болѣзненныхъ дней; ясно, что она вмѣстѣ съ тѣмъ значительно измѣнила характеръ рабочихъ; кто впадетъ рѣже бываетъ болѣнъ, тотъ по крайней мѣрѣ вдвое веселѣе и бодрѣе, у того по крайней мѣрѣ вдвое успѣшнѣе идетъ работа и вслѣдствіе этого вдвое больше родится надеждъ и предприятий. Ирландцы, переселяющіеся въ Америку, часто представляютъ замѣчательные примѣры физическаго и нравственнаго превращенія. Изнуренный и органически испорченный картофельною діетой, Ирландецъ лѣнивъ по слабости, вслѣдствіе химическаго состава крови, и не годится у себя дома ни на какую работу. Тотъ же Ирландецъ переѣзжаетъ въ Америку, подкрѣпляетъ свои силы сочнымъ мясомъ -- и становится другимъ человекомъ; мускулы становятся тверже, работа идетъ успѣшнѣе; смѣлость, предприимчивость, веселая бодрость и самоуваженіе, естественныя слѣдствія здоровья и успѣшной дѣятельности, вытѣсняють мало-помалу прежнія, неутихательныя черты ирландскаго характера; Ирландецъ перерождается на новой почвѣ и становится другимъ человекомъ вслѣдствіе обильной и здоровой пищи. Различіе типовъ въ различныхъ условіяхъ навѣрное находится въ связи съ свойствами принимаемой ими пищи. На сколько свойства пищи имѣютъ вліяніе на особенности народнаго характера, это опредѣлять, вѣроятно, болѣе тщательныя изслѣдованія; здѣсь достаточно будетъ привести нѣсколько общихъ замѣчаній. Племена, питающіеся звѣриною ловлею, отличаются большею частью физическою силою и отвагою; тѣми же свойствами, хотя не въ такой сильной степени, одарены кочевые народы, питающіеся молокомъ и мясомъ; многіе расположены искать причины этихъ свойствъ въ образѣ жизни этихъ племенъ; но при этомъ не должно забывать, что образъ жизни развивается изъ особенностей темперамента, что темпераментъ обуславливается преимущественно химическимъ составомъ крови, и что кровь вырабатывается изъ принимаемой пищи.

Невозможно отрицать вліяніе мѣстности и климата, но невозможно также не видѣть, что эти условія дѣйствуютъ уже на нѣчто данное, на существующее тѣло, и что слѣдовательно всего важнѣе вопросъ: изъ чего составилось это тѣло? Вопросъ о принимаемой пищѣ равносильный этому вопросу и слѣдовательно всего ближе подходитъ къ

вопросу о личном характерѣ человѣка. «Пока Яванцы будутъ питаться преимущественно рисою, а суринамскіе Негры банановою пищею, до тѣхъ поръ они будутъ подчинены Голландцамъ», говоритъ Мо-лешотъ. «Безъ сомнѣнія, преобладаніе Англичанъ и Голландцевъ надъ туземцами своихъ колоній зависитъ преимущественно отъ большаго развитія мозга; мозгъ зависитъ отъ химическаго состава крови, а кровь отъ пищи. Сравните, на примѣръ, кротость Отаитянъ, питающихся плодами, съ дикостью Новозеландцевъ, упивающихся кровію своихъ враговъ.» (Физ. эск. стр. 91.)

Въ дѣйствиіи вина на организмъ и на мыслительныя способности человѣка, всего ярче обнаруживается наша зависимость отъ матеріи; нѣсколько рюмокъ крѣпкаго напитка измѣняютъ человѣка совершенно: если онъ былъ грустенъ, онъ становится веселъ; если онъ былъ сосредоточенъ, онъ становится общителенъ; шутки, остроты, откровенныя изліянія, внезапныя порывы гнѣва, неожиданныя припадки чувствительности — рядъ словъ и поступковъ, на которые тотъ же самый человѣкъ никогда бы не рѣшился при другихъ условіяхъ, становится естественнымъ въ его собственныхъ глазахъ и понятнымъ для всѣхъ окружающихъ; всѣ говорятъ: «онъ пьянъ» и извиняютъ многое, чего не извинили бы трезвому. Состояніе пьянаго человѣка рѣзко отдѣляютъ отъ нормальнаго положенія; это дѣлаютъ потому, что напряженіе силъ и нервовъ, произведенное дѣйствіемъ вина, продолжается очень не долго и вскорѣ смѣняется расслабленіемъ организма и усыпленіемъ субъекта; сверхъ того, это напряженіе рѣзко бросается въ глаза и потому невольно кажется намъ подозрительнымъ и какъ будто болѣзненнымъ. Но сравните между собою двухъ трезвыхъ людей: одинъ изъ нихъ хладнокровенъ и разсудителенъ, спорить спокойно, возражаетъ мягко, дѣлаетъ жесты умѣренные и скромные; другой горячъ и впечатлителенъ, спорить съ ожесточеніемъ, кричитъ на васъ, машетъ руками, и во всякую минуту готовъ вамъ наговорить дерзостей, въ которыхъ черезъ четверть часа будетъ просить извиненія. Еслибы эти два господина, А и В помѣнялись между собою ролями, вы навѣрное подумали бы, что А пьянъ, а В болѣнъ, и потому не въ мѣру тихъ и кротокъ. Между тѣмъ А не дѣлалъ бы ничего неприличнаго; онъ только обнаруживалъ бы ту степень страстности, съ которою вы уже совершенно освоились въ В; разница между прежнимъ А и теперешнимъ показалась бы вамъ поразительною только потому, что та возникла вдругъ, безо всякихъ переходовъ и промежуточныхъ инстанцій. Если вы сегодня видѣли 10-ти-лѣтняго ребенка, который приходится вамъ по-поисъ, и черезъ четверть часа увидите, что тотъ же самый ребенокъ приходится вамъ по плечо, то вы скажете, конечно, что его поставили на ходули; но если вы увидите того же ребенка лѣтъ черезъ пять, то васъ даже нисколько не

удивить происшедшая въ немъ переѣна, единственно потому, что вы видѣли или можете предположить промежуточные инстанціи. Еслибы, выдался постоянно съ А, вы видѣли и замѣчали, что его спокойная природа становится постепенно живѣе и страстнѣе, и еслибы, лѣтъ черезъ пять, онъ сдѣлался очень похожъ на В, то вы вѣроятно не стали бы объяснять дѣйствіемъ вина эту страстность и впечатлительность. Вы только сказали бы, припоминая прошлое, что въ характерѣ вашего знакомаго произошла значительная переѣна; эта переѣна, совершившаяся внезапно, могла бы васъ озадачить и испугать; совершаясь постепенно, она васъ будетъ радовать; вы увидите въ ней признакъ здоровья и возрастающей силы. Слабая степень опьяненія оказывается такимъ образомъ усиленіемъ и ускореніемъ кровообращенія, произведеннымъ внезапно, и вслѣдствіе этого, продолжающимся недолго. Укрѣпляющая пища, принимаемая въ изобиліи, произведетъ, при продолжительномъ дѣйствіи на организмъ, тѣ же явленія, которыя производитъ лишняя рюмка крѣпкаго вина, съ тою только существенною разницею, что эти явленія будутъ нормальнымъ достояніемъ организма, а не результатомъ временнаго возбужденія.

Наша зависимость отъ вѣчныхъ свойствъ матеріи, выражающаяся рѣзко въ дѣйствіи вина на организмъ, выражается не такъ рѣзко, но за то болѣе прочнымъ образомъ, въ дѣйствіи мясной и растительной пищи. Эту зависимость хорошо понимали поборники аскетизма; воздержаніе отъ мясной пищи было необходимо для достиженія ихъ цѣлей; надо было ослабить мускулы и разводить кровь, чтобы приучить человека къ изнуренію плоти. Всѣ мы знаемъ по опыту, что воздержаніе отъ мясной пищи уменьшаетъ половое влеченіе; противъ этого никто не споритъ, какъ противъ существующаго факта; а допуская это обстоятельство, можно ли долѣе сомнѣваться въ зависимости всего нравственнаго характера отъ химическаго состава пищи. Развѣ могутъ смотрѣть одними глазами на разнообразныя явленія жизни сильный и слабый, здоровый и больной человекъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова и аскетъ, изуродованный образомъ жизни и питанія? Краски и звуки окружающей природы, дѣйствія и личности близкихъ людей, движенія собственной мысли и собственного чувства — словомъ, всѣ материалы, надъ которыми работаетъ змѣдущая дѣятельность нашего мозга, представляются въ различномъ свѣтѣ этимъ двумъ діаметрально-противоположнымъ типамъ. Тамъ, гдѣ здоровый и сильный человекъ увидитъ только пестроту и разнообразіе явленій, привлекательную игру жизни, тамъ слабый и больной увидитъ тѣту міра сего, суетность земной красoty, неразумное и незаконное уклоненіе отъ вѣчной нормы; тамъ, гдѣ первый снисходительно улыбнется; тамъ второй нахмуритъ брови; тамъ, гдѣ первый увлечется живымъ порывомъ, тамъ второй призветъ на помощь суро-

выя требованія идеала; то, что первый пойметъ и оправдаетъ инстинктомъ сердца, силою чувства, то осудить второй педагогическимъ приговоромъ сухаго разсудка, вращающагося въ ограниченной сферѣ одностороннихъ отвлеченностей.

«Сытый голоднаго не разумѣетъ», говоритъ русская пословица, и эту пословицу въ самомъ буквальный смыслѣ можно приложить ко всѣмъ сферамъ духовной дѣятельности человѣчества. Разладъ между сытыми и голодными, между людьми наслаждающимися и людьми страдающими, продолжится до тѣхъ поръ, пока на бѣломъ свѣтѣ будутъ люди нуждающіеся въ необходимомъ, и люди упорно отворачивающіеся отъ наслажденія; обезпечить матеріальное существованіе первыхъ и побѣдить разумными доводами упорство вторыхъ — эти двѣ великія задачи, созвнанныя уже нашею эпохою, предстоить окончательно рѣшить отдаленному будущему. Уничтоженіе матеріальныхъ лишеній и связанныхъ съ ними физическихъ страданій, уничтожило бы большую часть общественныхъ золъ и преступленій. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движеніе души могутъ быть приведены въ нѣкоторую зависимость отъ неправильнаго или недостаточнаго питанія; тѣ же обстоятельства жизни, тѣ же столкновенія съ печальною дѣйствительностью производятъ совершенно различное впечатлѣніе на сытаго и на голоднаго, на здороваго и на больного. «Мы рождены изъ матеріи, говоритъ Молешотъ; растенія, вытягивающія свойственные имъ соли изъ земли, связываютъ васъ съ извѣстною почвою. Черты нашего лица и мысли нашего мозга имѣютъ такую же географію, какъ и растенія. Мы не можемъ жить безъ пищи, и потому не можемъ избѣжать вліянія матеріи, распространяющагося изъ кишечнаго канала черезъ кровь во всѣ части нашего тѣла при каждомъ кускѣ пищи, который мы проглатываемъ». (Phys. Skizz. S. 93.)

Связанный такимъ образомъ съ почвою, на которой онъ живетъ, человѣкъ господствуетъ надъ этою почвою, умѣя выбирать себѣ именно то, что ему нравится и что онъ признаетъ для себя необходимымъ. Не ограничиваясь простымъ утоленіемъ голода и жажды, человѣкъ создаетъ себѣ потребности, которыя можно было бы назвать искусственными, если бы они не проявлялись одновременно у всѣхъ народовъ земнаго шара, и если бы какой-то непосредственный инстинктъ не указывалъ этимъ народамъ на разнообразныя средства, удовлетворяющія этимъ потребностямъ. Стремленіе къ наркотическимъ веществамъ существуетъ у Аравитянъ и у Гренландцевъ, у Негровъ и у Европейцевъ, у Индусовъ и у американскихъ Индѣйцевъ. Сибирскіе двкари пьютъ настой мухомора, Турки курятъ табакъ и опиумъ, мы пьемъ чай, кофе, пиво, вино и курумъ табакъ, Индусы жуютъ бетель, Перуанцы коку, Негры готовить вино изъ пальмоваго сока, Киргизы — изъ кобылаго молока: всѣ

безъ исключенія находятъ возможность какимъ нибудь снадобьемъ привести себя въ возбужденное состояніе. Колоритъ этого возбужденія измѣняется смотря по свойствамъ принятаго вещества, смотря по силѣ приѣма и по комплекціи принимающаго субъекта.

Между тѣми галлюцинаціями, которыя возбуждаютъ опиумъ и гашишъ, и тѣмъ слабымъ возбужденіемъ, которое доставляетъ чашка крѣпкаго чаю—лежатъ множество промежуточныхъ оттѣнковъ. Сильное напряженіе нервовъ, порождаемое опиумомъ и гашишемъ, ведетъ за собою всеобщее расслабленіе и страданіе; крѣпкій чай производитъ только біеніе сердца и очень медленно разстраиваетъ нервную систему; поэтому опиумъ и гашишъ употребляютъ на востокѣ люди, готовые за нѣсколько минутъ жгучаго наслажденія заплатить годами страданій; чай и кофе, напротивъ того, пьютъ Европейцы, съ величайшею осторожностью и бережливостью тратящіе силы. Генрихъ Кенигъ говоритъ, что кофе принадлежитъ католикамъ, а чай—протестантамъ. Дѣйствительно, тщательныя наблюденія показали, что кофе развиваетъ силу воображенія, а чай изощряетъ критическую способность ума; въ сѣверной Германіи преобладаетъ чай, въ южной—кофе. Движеніе идей, начавшееся въ XVIII столѣтіи, совпадаетъ съ введеніемъ въ Европу чая и кофе во всеобщее употребленіе; правители, боявшіеся этого движенія, запирали кофейные дома, служившіе сборнымъ мѣстомъ для людей, интересовавшихся политическими вопросами; такъ распорядился Карлъ II, но эта полицейская мѣра не принесла особенной пользы династіи Стюартовъ и не остановила даже распространенія чая и кофе.

Видѣть въ употребленіи чая или кофе причину того или другаго политическаго переворота было бы конечно смѣшно, но вотъ съ какой стороны можно посмотрѣть на дѣло: еслибы народонаселеніе какого нибудь государства вмѣсто стакана чаю выпивало утромъ и вечеромъ по стакану пива, то у большей части жителей нервы сложились бы какъ нибудь иначе; не было бы той впечатлительности, той подвижности, той раздражительности, которую возбуждаетъ чай; мозговые нервы воспріимчивѣе остальныхъ нервовъ и прежде другихъ испытываютъ на себѣ вліяніе наркотическихъ веществъ; очень понятно, что въ мозговыхъ нервахъ и выразилось бы всего сильнѣе дѣйствіе пива или чая. Скорость и послѣдовательность въ развитіи идей, вліяніе воспринятой идеи на поступки, словомъ логика и практическая философія народа всего замѣтнѣе могутъ измѣниться отъ того, что одинъ наркотическій напитокъ будетъ замѣненъ другимъ. Представьте же себѣ, что въ государство это проникаетъ какая нибудь новая, общечеловѣческая идея; скоро ли она распространится, встрѣтитъ ли себѣ горячее сочувствіе, найдеть ли критическое опроверженіе, явятся ли въ отношеніи къ этой идее фанатическіе адепты или благоразумные цѣнители, все это такіе

вопросы, на которые можно отвѣчать приблизительно вѣрно только въ томъ случаѣ, если мы будемъ знать главныя особенности народной логики, или проще, если мы будемъ знать свойства мозговыхъ нервовъ отдѣльныхъ гражданъ. На положеніе этихъ нервовъ имѣютъ несомнѣнное вліяніе употребительныя наркотическія напитки. Стало быть эти же напитки имѣютъ вѣкоторую долю вліянія на судьбу той или другой великой идеи.

«Посредствомъ кофе, говоритъ Молешотъ, точно также какъ посредствомъ пароходовъ и электрическихъ телеграфовъ, пускается въ обращеніе рядъ мыслей, возникаетъ теченіе идей, прозрѣвъ и предпріятій, которые всѣхъ увлекаютъ за собою». Не одинъ историкъ-мистикъ придетъ въ негодованіе при мысли о мировомъ значеніи чая или кофе; употребляя слова: «духъ времени, требованія эпохи, настроеніе умовъ;» онъ не думаетъ и не гадаетъ, что въ основѣ всѣхъ этихъ высокихъ представленій лежатъ чисто матеріальныя причины, которыя еще ждутъ себя правильной оцѣнки. Развитіе промышленности, путей сообщенія, торговли и военного дѣла принимаются въ соображеніе и считаются существенными чертами въ прогрессѣ народностей и въ совершенствованіи всего человѣчества. Когда рѣчь заходитъ о выборѣ и приготовленіи пищи, т. е. о построеніи нашего собственнаго тѣла, тогда мы улыбаемся или дѣлаемъ гримасу, относимся къ изслѣдованію какъ къ безвредной шуткѣ или осуждаемъ его какъ неумѣстный парадоксъ. Наши историки говорятъ о тѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, которыя клонятся къ тому, чтобы доставить нашему тѣлу извѣстнаго рода комфортъ, избытокъ и частости жизненнаго наслажденія, и ничего не говорятъ о томъ, изъ чего слагалось это тѣло, и какъ съ теченіемъ времени совершенствовались и очищались эти строительные матеріалы. Эта странная непослѣдовательность извиняется съ одной стороны молодостью естественныхъ наукъ, неуспѣвшихъ еще занять свое мѣсто въ ряду руководящихъ знаній исторіи, съ другой стороны, бѣдностью историческихъ свидѣтельствъ о пищѣ различныхъ народовъ и различныхъ сословій.— Теперь интересъ къ естественнымъ наукамъ пробуждается, мелочи перестаютъ считаться бесполезными и незанимательными, анализъ подробностей разрушаетъ туманныя теоріи и звонкія фразы, и зданіе антропологін, надъ фундаментомъ котораго работаютъ люди, подобные Фохту и Молешоту, основывается на твердыхъ фактахъ, на неопровержимыхъ данныхъ непосредственнаго опыта и точнаго наблюденія.

Надѣюсь, что, прочитавъ эти страницы, наша публика согласится съ тѣмъ, что изслѣдованія Молешота о съѣстныхъ припасахъ, представленныя въ популярной формѣ, заслуживаютъ полнаго вниманія всякаго образованнаго человѣка и могутъ имѣть самое благотворное вліяніе на дѣятельность молодой, формирующейя мысли, сбрасывающей оковы ру-

тиннаго фразерства и подавляющаго мистицизма. Веселѣе жить, легче дышать, когда вмѣсто призраковъ и отвлеченностей видишь осязательныя явленія и сознаешь какъ свою зависимость отъ нихъ, такъ и свое господство надъ ними. Я беру въ руки топоръ и знаю, что могу этимъ топоромъ срубить себѣ домъ или отрубить себѣ руку; я держу въ рукѣ бутылку и знаю, что налитое вино можетъ доставить мнѣ умѣренное наслажденіе или довести меня до уродливыхъ нелѣпостей; въ каждой частицѣ матеріи лежитъ и наслажденіе, и страданіе; все дѣло въ томъ, чтобы знать ея свойства и умѣть ими пользоваться, какъ мы умѣемъ пользоваться топоромъ и виномъ; чѣмъ шире и глубже становятся наши знанія, тѣмъ полнѣе и безслѣднѣе расплываются въ ничто неуклюжіе призраки Ормузда и Аримана, пугавшіе довѣрчивое дѣтство отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ народовъ. Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизмѣняются, дробятся и разлагаются, кружатся и движутся безъ цѣли и безъ остановки, проходятъ черезъ наше тѣло, порождаютъ новыя тѣла — и вотъ вся жизнь, и вотъ исторія. Но формы для насъ дороже матеріала; мы любимъ и ненавидимъ только формы, сражаемся за формы и противъ формъ, и потому въ исторіи конечно слѣдимъ за развитіемъ и увяданіемъ формъ, а не матеріала, потому что матеріаль вѣченъ, неизмѣненъ. Это естественно, но изучая формы, надо же знать и матеріалы, хотя бы для того, чтобы опредѣлить, насколько дорогія намъ формы зависятъ отъ свойствъ матеріала, хотя бы для того, чтобы овладѣть матеріаломъ и располагать имъ по своему благоусмотрѣнію. Изученіе матеріала и изученіе формъ, естественныя науки и гуманитарныя, химія и исторія должны идти рука объ руку и сознать въ себѣ потребность соединенія, хотя самое соединеніе относится также къ области будущаго.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЯ КАРТИНЫ.

(ПО ВЮХНЕРУ) *).

I.

Знаніе природы дается людямъ съ величайшимъ трудомъ; каждое открытіе въ области естественныхъ наукъ дѣлается путемъ сложныхъ и хлопотливыхъ наблюденій; когда открытіе сдѣлано, оно обыкновенно встрѣчается всеобщимъ недовѣріемъ; чѣмъ важнѣе открытіе, тѣмъ сильнѣе бываетъ возбужденное имъ недовѣріе; для большей ясности возьму самый простой примѣръ: всѣ мы въ случаѣ болѣзни обращаемся къ доктору, и пока лежимъ въ постелѣ, довольно точно и добросовѣстно исполняемъ его предписанія; но вотъ мы укрѣпились, ходимъ по комнатамъ, черезъ окно поглядываемъ на улицу, а между тѣмъ докторъ продолжаетъ угощать насъ лекарственными снадобьями, запрещаетъ ѣсть то, что намъ особенно нравится, и ни подъ какимъ видомъ не велитъ подходить къ окну. Мы начинаемъ относиться скептически къ совѣтамъ доктора, мы съ досадою смотримъ на его предосторожности, мы въ тихомолку посмѣиваемся надъ его предписаніями и наконецъ подъ чась нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, по мнѣнію свѣдущаго медика, необходимъ для нашего окончательнаго поправленія. Въ этомъ случаѣ мы часто поступаемъ такимъ образомъ не только по естественному не терпѣнью выздоравливающаго человѣка; мы оправдываемъ свои неосторожныя дѣйствія разными аргументами, которые, конечно, не выдержи-

*) Physiologische Bilder von dr. Louis Buchner. I-er Band, 1861.

вают критики. Мы говоримъ: докторъ А, конечно, хорошій человѣкъ, но онъ странно смотритъ на вещи. Ну, можетъ ли такая пустая вещь повредить моему здоровью; онъ, какъ специалистъ, пускаетъ въ ходъ микроскопъ, когда надо смотрѣть на вещи простыми, человѣческими глазами. Тутъ, какъ вы видите, является систематическое недовѣріе къ наукѣ и къ тому самому ея представителю, который, за нѣсколько дней передъ тѣмъ, оказалъ намъ самую существенную услугу и этою услугою доказалъ намъ состоятельность и практическую пригодность своихъ теоретическихъ знаній. Недовѣріе это въ однихъ людяхъ бываетъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе, въ однихъ проявляется вспышками, въ другихъ преобладаетъ постоянно. Есть доморощенные скептики, поставившіе себѣ за правило считать всю медицину шарлатанствомъ и пробавляться, въ случаѣ надобности, собственными соображеніями и домашними средствами. Есть доморощенные фізіологи, составляющіе себѣ самыя своеобразныя понятія объ устройствѣ собственного организма. Такого рода скептики и фізіологи встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества и почти на всѣхъ степеняхъ умственнаго развитія: скептикъ-мужикъ нейдетъ въ больницу и отлеживается на печи или, въ случаѣ тяжелой немочи, отпаиваетъ себя разными травками; скептикъ-баринъ гордо отвергаетъ помощь врача и, руководствуясь собственными соображеніями, приставляетъ себѣ шивки и горчичники, пускаетъ кровь, принимаетъ слабительныя или глотаетъ крупинки какого нибудь гомеопатическаго лекарства. Собственные инстинкты, собственные, смутныя ощущенія кажутся этимъ господамъ основательнѣе и важнѣе умозаключеній медика, основанныхъ на тщательномъ наблюденіи и на предварительномъ изученіи человѣческаго организма въ здоровомъ и въ больномъ состояніи. Этотъ самородный скептицизмъ, приводящій нерѣдко къ самымъ печальнымъ результатамъ, находитъ себѣ пищу въ недобросовѣстности и невѣжествѣ многихъ врачей и даже въ несовершенствѣ самой медицины. Иногда подобное недовѣріе оказывается справедливымъ, иногда медицинѣ или медику приходится сознаться въ своемъ безсиліи, приходится сказать: мы знаемъ далеко не все; но не все и ничего двѣ вещи разныя. Область медицинскихъ свѣдѣній очень обширна, она расширяется съ каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увеличиваются и усиливаются тѣ средства, при помощи которыхъ изслѣдователи вносятъ свѣтъ въ темныя углы своей великой науки. Медицина, какъ извѣстно, есть практическое приложеніе свѣдѣній, добытыхъ въ области различныхъ естественныхъ наукъ; фізіологія и анатомія, химія и ботаника, зоологія и физика приносятъ ей свои результаты и она пользуется ими для того, чтобы, изучивъ нормальный процессъ различныхъ отправленій человѣческаго организма, понять уклоненія, происходящія иногда въ этомъ процессѣ, угадать причины этихъ уклоненій и наконецъ нати-

средства предотвращать эти уклонения, или поправлять зло, когда оно уже сдѣлано.

Если медицина, необходимая во вседневной жизни, и составляющая только практическое приложение уже добытыхъ истинъ, встрѣчаетъ себя въ массахъ такъ много незаслуженнаго недовѣрія, то легко себя представить, съ какими страшными трудностями приходится бороться тѣмъ теоретическимъ наукамъ, которыя ложатся въ основаніе врачебнаго искусства. Мнѣ кажется, можно сказать безошибочно, что теоретическія истины проникаютъ въ сознаніе общества гораздо медленнѣе, чѣмъ практическія открытія и усовершенствованія. Всякій русскій человекъ, побывавшій въ Москвѣ, знаетъ о существованіи желѣзной дороги между Москвою и Петербургомъ; всякій мужикъ, грамотный или неграмотный, садится въ вагонъ, когда ему является необходимость изъ одной столицы переѣхать въ другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ образомъ обращаетъ въ свою пользу изобрѣтеніе, сдѣланное въ XIX вѣкѣ, вполне увѣренъ въ томъ, что громъ происходитъ отъ колесницы пророка Ильи и что домовый, или, какъ онъ выражается, *хозяинъ* путаетъ по ночамъ гривы его лошадей. Такого рода суевѣріе не ограничивается неграмотнымъ сословіемъ деревенскаго и городскаго населенія: та самая милая, образованная дама, которая съ величайшимъ воодушевленіемъ толкуетъ о современной журналистикѣ, поддерживая или опровергая идеи новѣйшихъ эманципаторовъ, — блѣднѣетъ и чувствуетъ себя разстроенною при видѣ трехъ зажженныхъ свѣчей, поставленныхъ на одномъ столѣ; тотъ самый дѣльный хозяинъ, который выписываетъ для своего сахарнаго завода машины изъ Бельгіи или изъ Англіи, способенъ встать изъ-за стола, если за этимъ столомъ сидитъ тринадцать человекъ гостей. Суевѣріе, живущее такимъ образомъ помимо успѣховъ науки, покрываетъ сплошною корою общество и, въ большей части случаевъ, отнимаетъ у него возможность пользоваться результатами добросовѣстныхъ изслѣдованій и располагать свою жизнь сообразно съ тѣми истинами, которыя передовые люди добываютъ дорогою цѣною трудовъ и усилій.

Можетъ быть, ни одна наука не встрѣчала себя на пути своего развитія столько препятствій, сколько встрѣчала физиологія. Мы готовы вѣрить тому, что натуралистъ рассказываетъ намъ о цвѣтѣхъ, объ улиткѣхъ и о слонѣхъ; мы сами не давали себѣ труда вглядываться въ эти предметы, мы видѣли ихъ мелькомъ, не составляли себѣ о нихъ никакого округленнаго и законченнаго понятія, и слѣдовательно, въ запасѣ наслѣдованныхъ или благопріобрѣтенныхъ воззрѣній не имѣемъ ничего такого, чтобы помѣшало намъ согласиться съ мнѣніями естествоиспытатели; но когда тотъ же естествоиспытатель, распространяя кругъ своихъ изслѣдованій, постепенно втягиваетъ въ этотъ кругъ организмъ

человѣка, тогда мы начинаемъ прислушиваться внимательнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаемъ чувствовать разладъ между нашими понятіями и тѣми научными фактами, которые сообщаются намъ съ самою убѣдительною наглядностью. Почувствовавъ такой неизбѣжный разладъ, слушатели или читатели ведутъ себя различно, смотря по темпераменту и по устройству своего мозга; одни зажимаютъ себѣ уши или бросаютъ съ негодованіемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ по головѣ ихъ закоренѣлыя заблужденія; другіе, напротивъ того, чувствуя въ книгѣ вѣяніе свѣжаго воздуха, съ удвоеннымъ вниманіемъ погружаются въ чтеніе. Кто изъ нихъ поступаетъ благоразумнѣе—это такой вопросъ, котораго рѣшеніе надо предоставить на личное благоусмотрѣніе каждаго читателя. Я нахожу, впрочемъ, что уже давно пора выйти изъ области разсужденій и приступить къ фактамъ, которые гораздо рельефнѣе могутъ представить высказанныя мною идеи о развитіи естественныхъ наукъ и о ихъ постоянной борьбѣ съ невѣжествомъ массъ, съ суетврїемъ сантиментальной публики и съ недоброжелательствомъ различныхъ инквизиторовъ, мѣнявшихъ съ вѣками свои костюмы, названія и приемы преслѣдованія.

II.

Я намѣренъ прежде всего поговорить о крови, о такомъ предметѣ, который всякому извѣстенъ по наружному виду, и который, между тѣмъ, не вполнѣ извѣстенъ самымъ новѣйшимъ изслѣдователямъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и по своему назначенію въ общей экономіи органической жизни.

«Кровь, говоритъ Мефистофель Фаусту, есть союзъ совсѣмъ особеннаго рода», и Фаустъ, повинаясь требованію своего руководителя, подписываетъ собственно кровью пагубный контрактъ, отдающій его душу въ распоряженіе мрачнымъ силамъ ада; въ средніе вѣка такого рода контракты, заключавшіеся довольно часто, если вѣрить легендамъ, всегда подписывались кровью и вслѣдствіе этого получали свою таинственную силу; кровью подписывались священныя клятвы; заключая между собою союзъ военнаго братства, два витязя обыкновенно смѣшивали нѣсколько капель своей крови съ тѣмъ виномъ, которое они выпивали въ честь своего побратимства; кровь невинныхъ мальчиковъ употреблялась колдунами для узнаванія будущаго и алхимиками для приготовленія жизненнаго эликсира; побѣдивъ своего врага, дикарь пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себѣ силу и мужество убитаго воина; кровью

жертвеннаго животнаго обливались съ головы до ногъ Римляне, желавшіе очиститься отъ совершеннаго преступленія; вампиръ или упырь, выходящій изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ людей и вмѣстѣ съ кровью высасываетъ изъ нихъ силу и жизнь. Мы до сихъ поръ въ нашемъ разговорномъ языкѣ придаемъ крови чрезвычайно важное значеніе; о горячей, молодецкой крови поютъ наши народныя пѣсни; въ немъ кипитъ молодая кровь, говоримъ мы, желая обозначить пылкій характеръ живаго юноши.

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь...

говорить Некрасовъ о своемъ «тяжеломъ, неуклюжемъ стихѣ», и мы вполне понимаемъ это образное выраженіе, не смотря на его очевидную неточность. «Въ его жилахъ текла благородная кровь великихъ предковъ», говоритъ какой нибудь велерѣчивый панегиристъ, и мы, къ сожалѣнію, понимаемъ это выраженіе, не смотря на всю его нескладную напыщенность. Кровь играетъ, такимъ образомъ, очень видную роль въ повѣрьяхъ и сказкахъ, въ поэзіи и въ риторикѣ, словомъ, въ разнообразныхъ созданіяхъ человѣческой фантазіи. Это обстоятельство доказываетъ намъ, что люди инстинктивно сознавали важное значеніе крови для различныхъ отправленій органической жизни; это инстинктивное сознаніе выражалось и до сихъ поръ выражается въ тѣхъ медицинскихъ понятіяхъ, которыя находятся во вседневномъ обращеніи; одинъ пациентъ жалуется доктору на *полнокровіе*, другой на *мало крови*; одинъ находитъ, что у него кровь слишкомъ густа, другой убѣжденъ въ томъ, что она чересчуръ жидка, третій остротою крови объясняетъ происхожденіе разныхъ кожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новѣйшая рациональная фізіологія соглашается въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ преданіями и народными вѣрованіями, съ поэтами, говорящими о крови и съ пациентами, жалующимися на различныя свойства своей крови; она соглашается съ этими господами въ томъ отношеніи, что признаетъ несомнѣнную важность крови для существованія и для развитія всякаго организма. Затѣмъ она желаетъ счастливаго пути всѣмъ фантазерамъ, приписывающимъ крови какія бы то ни было таинственныя свойства. поворачивается спиною къ панегиристамъ, прославляющимъ благородную кровь чьихъ бы то ни было предковъ, и, вооружившись сильно увеличивающимъ микроскопомъ, кладетъ подъ его предметное стекло каплю красной жидкости, обращающейся въ нашихъ венахъ и артеріяхъ. Въ этой каплѣ, положенной подъ микроскопъ, изслѣдователь можетъ видѣть миллионы крошечныхъ шариковъ, насыпанныхъ кучами другъ на друга и плавающихъ въ безцвѣтной жидкости. Если взять каплю неразбавленной крови, то при самомъ сильномъ увеличеніи

микроскопа будетъ совершенно невозможно разглядѣть устройство отдѣльных шариковъ; поэтому, для наблюденія надъ микроскопическимъ составомъ крови, лучше всего развести взятую каплю въ такой жидкости, которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. Капля этой разсыропленной жидкости, положенная подъ микроскопъ, покажетъ, пожалуй, нѣсколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но, такъ какъ число ихъ все-таки на томъ же пространствѣ окажется значительно меньше, чѣмъ оно было въ цѣльной крови, то наблюдателю будетъ гораздо легче рассмотреть ихъ устройство. Каждый шарикъ величиною своею равняется одной трехсотой части линіи, т. е. надо положить рядомъ 5000 такихъ шариковъ, чтобы составить длину вершка; каждый изъ нихъ состоитъ изъ чрезвычайно тонкаго эластическаго пузырька, наполненнаго жидкостью; и пузырькъ, и жидкость отдѣльнаго шарика подъ микроскопомъ оказываются безцвѣтными.

Я предчувствую, что здѣсь проявится въ читателѣ самородный скептицизмъ. — Какъ же это такъ? спроситъ онъ съ улыбкою, безцвѣтные шарики плаваютъ въ безцвѣтной жидкости, а кровь, составленная изъ шариковъ и жидкости отличается темнокраснымъ цвѣтомъ. Это я знаю лучше всякаго физиолога.

— Совершенно справедливо, г. читатель, отвѣчу я. Потрудитесь только произвести слѣдующій, несложный опытъ. Положите другъ на друга листовъ 20 самаго лучшаго стекла и посмотрите тогда, покажется ли вамъ эта стеклянная гора прозрачною и безцвѣтною. Можете повторить тотъ же опытъ надъ рѣкою: вы знаете, конечно, что Нева въ самую тихую погоду не покажется вамъ массою прозрачной жидкости; зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рѣки и вы увидите, что эту воду можно будетъ назвать вполне безцвѣтною.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, что въ ней лежатъ другъ на другѣ *тысячи* безцвѣтныхъ шариковъ или пузырьковъ, заключающихъ въ себѣ невообразимо маленькую капелюку жидкости, окрашенной совершенно незамѣтнымъ оттѣнкомъ краснаго цвѣта. Чѣмъ больше шариковъ навалено другъ на друга, тѣмъ опредѣленнѣе и темнѣе становится красный цвѣтъ. Простая капля крови кажется намъ свѣтло-красною, а ведро крови покажется почти чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполне шарообразна, такъ что названіе кровяныхъ шариковъ можно допустить съ грѣхомъ пополамъ; они скорѣе похожи на чечевичныя зерна; у человѣка и у большей части млекопитающихъ эти чечевичеобразные пузырьки отличаются круглою формою; у птицъ, рыбъ и амфибій, кромѣ того, у верблюда, дромадера и ламы кровяные пузырьки имѣютъ продолговатую форму. Величина этихъ пузырьковъ у различныхъ животныхъ бываетъ различная, но величина ихъ никакъ не зависитъ отъ величины самаго животнаго. Крошечная

мышь въ этомъ отношеніи стоитъ на однихъ правахъ съ благородною лошадью. Слонъ оказывается однако вполне послѣдовательнымъ, и размеры его кровяныхъ шариковъ сообразуются съ размерами его колоссальнаго тѣла; по крайней мѣрѣ ни у кого изъ млекопитающихъ нѣтъ такихъ большихъ кровяныхъ пузырьковъ, какъ у слона.

При крайней незначительности своего объема, при гладкости и эластичности своей кожи, кровяные пузырьки свободно скользятъ вдоль стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самые тонкіе волосные сосуды и такимъ образомъ въ короткое время пробѣгаютъ чрезъ всѣ запутанныя развѣтвленія нашихъ артерій и венъ. Подвижность этихъ шариковъ или пузырьковъ подавала поводъ къ самымъ страннымъ гипотезамъ, которыя, не смотря на свою очевидную нелѣпость, находили себѣ горячихъ защитниковъ. Нѣкоторые изслѣдователи приняли эти пузырьки за микроскопическихъ животныхъ, принадлежащихъ къ классу инфузорій, одаренныхъ самостоятельною способностью движенія и завѣдывающихъ отравленіями нашей крови по собственному, свободному влеченію. Эти воображаемыя животныя получили названіе первобытныхъ животныхъ (Urthiere) и изслѣдователи, подарившіе такимъ образомъ нашей планетѣ неисчислимое количество живыхъ существъ, выразили то мнѣніе, что изъ этихъ существъ, какъ изъ первой основы всякаго органическаго бытія, образуются всѣ ткани и отдѣльныя части нашего тѣла. Овладевъ этою своеобразною идеею, философія природы, по свойственному ей стремленію искать конечныхъ выводовъ и дѣлать общія заключенія, настроила множество самыхъ удивительныхъ системъ, которыя, какъ карточные домики, валятся отъ малѣйшаго прикосновенія непосредственнаго, непредубѣжденнаго наблюденія. Очень недавно одинъ англичанинъ Тоддъ написалъ цѣлую книгу о кровяныхъ животныхъ, которыя называются у него bloodliving-animals или болѣе ученымъ терминомъ — haematozoa. Онъ приписываетъ имъ разныя электрическія и химическія свойства; онъ даже думаетъ, что электрическія силы, заключающіяся въ этихъ животныхъ, могутъ объяснить собою то половое влеченіе, по которому мужчина и женщина стремятся сблизиться между собою.

Новѣйшая фізіологія доказала самымъ нагляднымъ образомъ, что всѣ эти попытки населить кровь легіонами живыхъ существъ относятся къ области чистой фантазіи. Кровь движется въ артеріяхъ и въ венахъ точно также, какъ могла бы двигаться въ нихъ какая нибудь другая жидкость, повинующаяся давленію насоса. Что же касается до кровяныхъ шариковъ, то они не затрудняютъ ея движенія, потому что они, какъ я уже замѣтилъ, очень малы по объему, очень гладки и эластичны. Назначеніе кровяныхъ шариковъ состоитъ, по мнѣнію Бюхнера, въ томъ, чтобы, проходя чрезъ легкія, насыщаться кислородомъ и проносить этотъ кислородъ, необходимый для поддержанія органической жизни, въ различныя части

и окончности тѣла. Сами кровяные пузырьки, какъ и всѣ составныя части организма, разрушаются и выдѣляются изъ живаго тѣла, замѣняясь новыми пузырьками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какимъ образомъ, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ они разрушаются — до сихъ поръ рѣшительно неизвѣстно.

Кровь, выпущенная изъ живаго тѣла, свертывается или запекается, т. е. разлагается на свѣтлую, желтоватую жидкость и на болѣе твердую студенистую, темнокрасную массу, состоящую изъ кровяныхъ шариковъ и изъ волокнины, отдѣлившейся отъ той безцвѣтной жидкости, въ которой плавали пузырьки. Эта волокнина состоитъ изъ соединенія кислорода, водорода, углерода и азота и отличается своею способностью свертываться тотчасъ послѣ выхода крови изъ кровеносныхъ сосудовъ.

Разложеніе крови, вышедшей изъ живаго тѣла, давно уже обращало на себя вниманіе медиковъ и изслѣдователей. Самъ отецъ медицины Гиппократъ занимался этимъ вопросомъ, но не умѣлъ разрѣшить его. Дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что изслѣдователи говорили: *кровь умираетъ*, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои свойства, благодаря силамъ живаго организма, теряетъ свои отличительныя качества, покидая то тѣло, которому она принадлежала. Объясняя такимъ образомъ разложеніе крови, изслѣдователи не замѣчали того, что они только другими словами называли непонятый ими фактъ. У нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? А они на это отвѣчали: кровь умираетъ. Дѣло очевидно не подвигалось впередъ; мало того, предполагая какую-то таинственную, необъяснимую связь между кровью и тѣмъ организмомъ, въ которомъ она содержится, изслѣдователи ввели въ область своей науки несчастное понятіе жизненной силы, которое долгое время отводило глаза наблюдателямъ. То, что не могло быть объяснено физическими и химическими законами, сваливалось на жизненную силу и причислялось такимъ образомъ къ области необъяснимаго. Сердце билось вслѣдствіе жизненной силы, кровь обращалась вслѣдствіе жизненной силы, кровь свертывалась потому, что ее покидала жизненная сила. Такимъ образомъ всѣ фізіологическіе вопросы рѣшались легко и свободно, но такъ какъ жизненная сила оставалась понятіемъ совершенно неопредѣленнымъ и расплывающимся въ пространствѣ, то такая метода рѣшенія раскидывала непроницаемое покрывало на всѣ отправленія, совершающіяся внутри организма. Теперешніе фізіологи дѣйствуютъ гораздо проще; они подробно описываютъ то, что они видѣли и прямо говорятъ, что того или другаго имъ пока еще не удавалось изслѣдовать. Нерѣшеннаго много, но за то нѣтъ полурѣшеній. нѣтъ шарлатанства въ терминахъ и объясненіяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины разложенія крови еще не найдены.

Дѣйствиємъ атмосфернаго воздуха нельзя объяснить этого явленія, потому что кровь можетъ свертываться даже внутри живаго организма, въ тѣхъ кровеносныхъ сосудахъ, въ которыхъ правильное обращеніе оказывается нарушеннымъ. Отсутствіемъ движенія также не объясняется разложеніе крови, потому что выпущенная кровь разлагается и въ томъ случаѣ, если мы станемъ болтать ее въ бутылкѣ. При взбалтываніи крови окажется только, что волокнина не успѣетъ соединиться съ кровяными шариками и осядетъ отдѣльными хлопьями. Если же мы будемъ постоянно размѣшивать свѣжую кровь или бить ее гибкою палкою, то осѣдающая волокнина, пристава къ палкѣ, будетъ выдѣляться изъ крови; такимъ образомъ можно будетъ выдѣлить изъ крови всю волокнину, и тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, вовсе не свернется; впрочемъ составъ ея будетъ, конечно, значительно измѣненъ; взбивая кровь палкою, мы не препятствуемъ ея разложенію, а только чисто-механическимъ путемъ удаляемъ изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ существенно отличаться отъ той свѣжей крови, которую мы выпустили изъ жилъ животнаго; несмотря на то, эта взбитая кровь, остающаяся вслѣдствіе этой операціи въ жидкомъ состояніи, оказывается пригодною для техническаго медицинскаго употребленія: иногда, когда человѣкъ, потерявшій значительное количество крови, подвергается опасности умереть, ему разрѣзываютъ жилу и въ эту жилу впускаютъ битую кровь; такого рода операція возможна на томъ основаніи, что организмъ пациента собственными силами дополнить потребное количество недостающей волокнины и такимъ образомъ обойдется съ битой кровью также удобно, какъ будто бы она была свѣжая.

Волокнина, выдѣленная изъ крови, твердѣетъ въ видѣ студенистой массы и принимаетъ зеленовато-желтый цвѣтъ; иногда, свертываясь вмѣстѣ съ кровью, волокнина осѣдаетъ сверхъ темнокрасной массы и образуетъ надъ нею желтоватую кору. Медики придумали для этой коры особое названіе *crusta inflammatoria* (воспалительная кора) и даже дошли до того ошибочнаго убѣжденія, будто эта кора образуется надъ темнокрасною массою крови только въ томъ случаѣ, если кровь выпущена изъ жилъ пациента, находящагося въ воспаленномъ состояніи. Это ошибочное убѣжденіе часто приводило къ печальнымъ практическимъ результатамъ. Убѣжденный въ томъ, что его пациентъ страдаетъ отъ воспаления, докторъ продолжаетъ кровопусканія и такимъ образомъ постоянно отнимаетъ у больнаго тѣ силы, которыя могутъ быть необходимы для его выздоровленія. Судя по газетнымъ извѣстіямъ, мы можемъ заключить, что графъ Кавуръ умеръ именно вслѣдствіе того, что лечившіе его медики, держась ошибочнаго мнѣнія о *crusta inflammatoria*,

истощили его организмъ излишними и положительно вредными кровопусканіями.

Убѣжденіе медиковъ насчетъ того, что кора изъ волокины образуется надъ запекшеюся кровью только въ случаѣ воспаленія пациента, опровергается тѣмъ обстоятельствомъ, что подобная кора можетъ образоваться даже въ свернувшейся крови субъекта, подверженнаго блѣдной немочи (Bleichsucht). Блѣдная немочь состоитъ въ томъ, что въ общемъ составѣ крови убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. Кровь становится такимъ образомъ водянистѣе и свѣтлѣе по цвѣту. Пускать кровь больному, страдающему отъ блѣдной немочи очень опасно, потому что онъ и безъ того слабъ вслѣдствіе недостаточнаго количества кровяныхъ пузырьковъ. Медикъ, который захотѣлъ бы лечить такого больного, осмысливая по-своему образованіе *воспалительной коры*, подвергается опасности зарѣзать пациента своимъ ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ въ распознаваніи болѣзненныхъ симптомовъ. Чѣмъ обширнѣе становится научная область фізіологіи, тѣмъ сильнѣе суживается область общихъ симптомовъ. Каждый болѣзненный случай имѣетъ свои причины, свою исторію, свое развитіе; каждое явленіе, совершающееся въ человѣческомъ организмѣ, обуславливается множествомъ побочныхъ обстоятельствъ, которыя не могутъ быть разсказаны заранѣе; эти обстоятельства надо прослѣдить и сообразить на мѣстѣ; здѣсь не выручитъ общее правило; здѣсь необходимы навыкъ, знаніе множества частныхъ случаевъ и величайшая внимательность въ разсмотрѣніи даннаго казуса. Химическій составъ человѣческой крови отличается значительною сложностью; въ нашей крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ ей довольно замѣтный вкусъ, и желѣзо, которое, въ соединеніи съ кислородомъ, является причиною краснаго цвѣта крови.

Желѣзо было открыто въ крови французомъ Мери, и это любопытное открытіе возбудило множество химерическихъ идей и надеждъ. Нашлись люди, которые стали думать, что желѣзо, заключающееся въ крови, можетъ имѣть важное значеніе для промышленности, что изъ этого желѣза можно выковывать мечи, кочерги и тому подобныя общепользные инструменты. Другіе господа посмотрѣли на дѣло съ болѣе сентиментальной точки зрѣнія: слышалось желаніе, чтобы изъ крови великихъ людей выковывались послѣ ихъ смерти жетоны или медали. Всѣ эти предположенія оказались совершенно невыполнимыми.

Нашлось, что, если выпустить всю кровь изъ цѣлой сотни людей, то наберется около одного аптекарскаго фунта металлическаго желѣза. Желѣзные рудники, открывшіеся такимъ образомъ въ жилахъ людей и животныхъ, оказались на столько скудными, что никто не взялъ на

себя труда разрабатывать ихъ, и никто не выпросилъ себѣ привилегіи на эту новую отрасль промышленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человѣка заключается желѣзо, одинъ парижскій студентъ медицины выдумалъ подарить своей любовницѣ желѣзное кольцо, добытое изъ собственной крови. Предмету его любви было бы вѣроятно пріятнѣе получить въ подарокъ какую нибудь золотую вещьцу, а самому студенту было бы легче добыть деньги на покупку дорогой бездѣлушки путемъ усиленнаго труда, вмѣсто того, чтобы постоянно ослаблять себя извлеченіемъ желѣза изъ собственного тѣла. Но онъ разсудилъ иначе: ему понравилась его странная идея, и онъ принялся безо всякой надобности пускать себѣ кровь черезъ извѣстные промежутки времени. Собираніе желѣза шло очень медленно; нетерпѣніе молодого мечтателя было слишкомъ велико; онъ поторопился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много крови и умеръ, не успѣвши привести въ исполненіе своего оригинальнаго намѣренія. Если подобныя нелѣпости предпринимались вслѣдствіе того обстоятельства, что въ крови заключаются ничтожныя частички самаго дешеваго металла, то можно себѣ представить, сколько преступленій совершалось бы въ томъ случаѣ, когда бы вмѣсто желѣза въ составъ крови входило бы, напримѣръ, золото. Убійства вѣроятно, сдѣлались бы весьма обыкновенными происшествіями; охотниковъ пускать кровь себѣ и другимъ нашлось бы несмѣтное количество; эпитетъ *кровопійца*, который придается теперь слишкомъ жаднымъ роговощикамъ, принимался бы тогда въ буквальный значеніи этого слова. Игроки могли бы ставить на карту часть своей крови, точно также, какъ теперь они ставятъ на карту необходимыя деньги и вещи. Словомъ, число нелѣпостей и гадостей, совершающихся теперь, вѣроятно увеличилось бы въ десятеро.

Взглянувъ на ту бездну несчастій, въ которую погрузилось бы человечество, еслибы въ его жилахъ открылись золотыя рудники, я поневолѣ становлюсь оптимистомъ и, обращаясь къ нравственному чувству читателя, предлагаю ему торжественный вопросъ: осмѣлится ли онъ послѣ этого изъяснить малѣйшее сомнѣніе въ благости Провидѣнія?

Кромѣ твердыхъ и жидкихъ веществъ, входящихъ въ составъ крови, надо упомянуть еще о веществахъ газообразныхъ, образующихъ разныя химическія соединенія съ твердыми и жидкими составными частями крови. Въ крови нѣтъ газовъ, находящихся въ свободномъ состояніи; если нѣкоторое количество атмосфернаго воздуха попадетъ въ кровеносный сосудъ, то оно можетъ нарушить весь порядокъ кровообращенія и повести къ мгновенной смерти рассматриваемаго субъекта. Такого рода опыты производились надъ животными; имъ вбрызгивали воздухъ въ открытыя жилы посредствомъ воздушнаго насоса, и они издыхали среди сильныхъ конвульсій. Иногда случается, что воздухъ проникаетъ въ кровеносный

сосудъ пациента при большихъ хирургическихъ операціяхъ; тогда больной мгновенно умираетъ. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что газы, находящіеся въ крови, должны непременно образовать съ твердыми и жидкими веществами химическія соединенія.

Кислородъ, воспринимаемый организмомъ при вдыханіи атмосфернаго воздуха, соединяется съ кровью, протекающею черезъ легкія и, окисляя желѣзистое содержаніе кровяныхъ шариковъ, придаетъ всей крови ярко - красный цвѣтъ, которымъ она отличается при выходѣ своемъ изъ легкихъ. Углекислота накапливается въ крови во время ея прохожденія черезъ волосные сосуды, т. е. черезъ тончайшія развѣтвленія жилъ, находящіеся возлѣ поверхности тѣла; она образуется изъ соединенія кислорода, заключающагося въ крови, съ углеродомъ тѣхъ органическихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. Углекислота эта выдѣляется изъ легкихъ при выдыханіи; она придаетъ крови темный цвѣтъ, и потому кровь, пройдя черезъ легкія, получаетъ болѣе свѣтлый и яркій цвѣтъ.

Азотъ, проходящій въ кровь изъ пищи и изъ атмосфернаго воздуха, выдѣляется черезъ почки, въ формѣ мочи, въ соединеніи съ водою.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь химическій процессъ превращенія воздуха и пищи въ органическія ткани нашего тѣла. Образованіе крови происходитъ отчасти отъ принятія пищи, отчасти отъ вдыханія атмосфернаго воздуха. Люди, страдающіе чахоткою, т. е. поврежденіемъ легкихъ, худѣютъ и сохнутъ, не смотря на предлагаемую имъ питательную пищу и не смотря на то, что они часто до послѣднихъ мѣсяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппетитъ. Недостатокъ воздуха, который ослабѣвшія легкія уже не могутъ принимать въ необходимомъ количествѣ, отнимаетъ у крови притокъ кислорода и, такимъ образомъ, существенно измѣняя ея составъ, нарушаетъ нормальный процессъ питанія и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ тѣлѣ взрослого человѣка, заключаетъ въ себѣ по вѣсу около 13 фунтовъ. По мнѣнію однихъ изслѣдователей вся масса крови составляетъ одну восьмую часть вѣса всего человѣческаго тѣла; по мнѣнію другихъ — только одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительныя потери крови, если только эти потери совершаются не вдругъ, а слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ извѣстные промежутки времени. Опыты, произведенныя надъ животными, показали, что можно, не убивая самаго животного, въ нѣсколько приѣмовъ выпустить изъ его жилъ такое количество крови, которое превосходитъ вѣсъ его собственнаго тѣла. Но въ одинъ разъ достаточно, чтобы убить животное или человѣка, выпустить изъ него количество крови, равняющееся одной двадцать пятой части его вѣса.

III.

Обращение крови, необходимое для процесса жизни, совершается от сердца къ оконечностямъ и къ поверхности тѣла, и отъ поверхности обратно къ сердцу. Механизмъ кровообращенія объясняется очень просто слѣдующимъ нагляднымъ примѣромъ.

Представьте себѣ полный гуттаперчевый шаръ, въ которомъ въ двухъ мѣстахъ прорѣзаны два круглыхъ отверстія. Къ этимъ двумъ отверстіямъ придѣланы двѣ длинныя, гибкія трубочки; отверстія шара закрываются клапанами, которые оба отворяются въ одну сторону, положимъ, вправо.

Весь снарядъ, т. е. шаръ и оба колѣна трубки наполнены водою; свободные концы трубочекъ, т. е. концы непрідѣланные къ шару, спаяны между собою такъ плотно, что спайка не пропускаетъ воздуха. Если вы рукою сожмете шаръ, то вода, заключающаяся въ немъ, будетъ выдавлена и черезъ тотъ клапанъ, который отворяется наружу, потечетъ въ трубочку; но трубочка и безъ того полна водою, и потому жидкость, уступая напору вновь притекшей воды, ударяетъ въ другой клапанъ и входитъ въ шаръ. Вы еще разъ сжимаете его рукою, и опять повторяется то же самое явленіе, т. е. часть воды опять вытѣсняется изъ шарика и опять замѣняется такимъ же количествомъ воды, прилившей съ другого конца, вслѣдствіе того же самого давленія. Еслибы трубочки, по выходѣ своемъ изъ шара, раздѣлились на два канала, потомъ на четыре, потомъ на восемь, и т. д., еслибы всѣ эти развѣтвленія были спаены между собою и такимъ образомъ опять сходились бы въ одну общую трубку, сообщающуюся съ шаромъ, то отъ этого обстоятельства процессъ обращенія жидкости не измѣнился бы.

Роль гуттаперчевого шара играетъ въ тѣлѣ животныхъ и человѣка сердце, которое, сжимаясь и расширяясь, попеременно выгоняетъ изъ себя кровь въ артеріи и принимаетъ кровь, притекающую изъ венъ. Система артерій и венъ, раскинувшихъ свои отроги и развѣтвленія во всѣ части тѣла, раздробившихся на безчисленное множество микроскопически-тонкихъ волосныхъ сосудовъ и охватившихъ почти сплошною сѣтью тѣло животного подъ самою его кожею, — замѣняетъ собою въ организмѣ тѣ гибкія трубочки, о которыхъ я говорилъ въ моемъ примѣрѣ. Въ артеріяхъ и въ венахъ существуетъ сложная система клапановъ, отворяющихся только по одному направленію и потому непускающихъ обратно въ сердце ту часть крови, которая уже вышла въ артеріи вслѣдствіе его сжатія. Вслѣдствіе этого устройства клапановъ, кровь принуждена при каждомъ сжатіи сердца подвигаться впередъ по

артеріямъ; подвигаясь такимъ образомъ дальше и дальше отъ сердца къ поверхности тѣла, она наконецъ входитъ въ волосные сосуды; даль-ше идти впередъ некуда, а между тѣмъ новыя волны крови, напираю-щія изъ сердца, тѣснятъ непрежнему; волосные сосуды отъ поверхности тѣла поворачиваютъ опять къ центру и кровь, конечно, течетъ туда, куда направлены эти каналы, потому что изъ нихъ нѣтъ никакого вы-хода. Съ той минуты, какъ сосуды поворачиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ называться венами; по мѣрѣ приближенія къ сердцу, тонкія вены соединяются между собою подобно тому, какъ ручьи слія-ніемъ своимъ образуютъ рѣки; наконецъ венозная кровь, насытившаяся углекислотою во время своего путешествія по тѣлу, черезъ толстыя вены вливается въ сердце, а сердце опять сжимается и кровь опять отправляется гулять по артеріямъ.

Въ статьѣ «Процессъ жизни», написанной по поводу фізіологиче-скихъ писемъ Карла Фохта и помѣщенной въ началѣ этой части, я го-ворилъ довольно подробно о маршрутѣ крови въ тѣлѣ человека. Теперь я поговорю о дѣятельности сердца и о различныхъ особенностяхъ это-го важнаго и интереснаго органа.

Прежде всего надо замѣтить, что сердце, подобно желудку и лег-кимъ, относится къ тѣмъ органамъ, отъ которыхъ зависитъ исключи-тельно растительная жизнь. Сердце своими движеніями производитъ кровообращеніе, но оно не воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній, и не сообщаетъ нашимъ поступкамъ никакого импульса. Любовь, ненависть, желанія, надежды, волненія, страхъ, горе, радость—не имѣютъ ничего общаго съ дѣятельностью сердца и не могутъ доставить сердцу ни при-ятнаго, ни тяжелаго ощущенія. Малѣйшее нарушеніе въ дѣятельности сердца ведетъ за собою болѣзненное разстройство, которое часто окан-чивается смертію, но такого рода нарушенія происходятъ не отъ го-рести, не отъ душевнаго страданія, а оттого, что расхлябался какой-нибудь клапанъ, распухъ тотъ полный мускулъ, который называется серд-цемъ, или засорилось то или другое отверстіе, ведущее къ артеріи. Болѣзни сердца имѣютъ чисто физическія причины, и сердце наше само по себѣ также нечувствительно къ нашимъ радостямъ и страданіямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, постоянно занимающійся своею скром-ною поварскою должностію.

Впрочемъ, нельзя отрицать тотъ фактъ, что душевныя волненія мо-гутъ нарушить до нѣкоторой степени нормальную дѣятельность серд-ца. Воспринимая впечатлѣнія нервами, мы въ этихъ самыхъ нервахъ чувствуемъ ощущенія радости, горя, страха и т. д. Напряженное или раздраженное состояніе нервовъ отзывается во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, потому что нервы проходятъ въ нихъ своими развѣтвленіями, и переплетаясь тонкими ниточками съ кровеносными сосудами, могутъ

сжимать ихъ независимо отъ нашей воли. Мы часто краснѣемъ вовсе не въ попадѣ, тогда, когда не слѣдовало бы и не хотѣлось бы краснѣть; мы краснѣемъ совершенно произвольно, и это дѣлается единственно потому, что нервы, повинаясь внезапно воспринятому впечатлѣнію, мгновенно нарушаютъ нормальный ходъ кровообращенія и дольше, чѣмъ слѣдовало бы, задерживаютъ въ лицѣ ту кровь, которая должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ нибудь сильнымъ и прочнымъ впечатлѣніемъ, то они могутъ нарушить весь процессъ кровообращенія и вслѣдствіе этого измѣнить состояніе сердца, которое такимъ образомъ совершенно произвольно, пассивно и безсознательно испытаетъ на себѣ реакцію нашихъ психическихъ ощущеній. Точно также можетъ испытать эту реакцію и желудокъ; если вы огорчены, вы можете потерять аппетитъ не потому, что желудокъ сочувствуетъ вашему горю, а потому, что напряженіе вашей первой системы отнимаетъ у васъ возможность внимать скромно заявляемымъ требованіямъ вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, всѣ ощущенія воспринимаются только нервами, а нервы, получивши извѣстное сотрясеніе, могутъ нарушить или измѣнить дѣятельность такихъ органовъ, которымъ нѣтъ никакого дѣла до нашихъ ощущеній. Мы чувствуемъ боль только въ нервахъ; ни мускулы, ни кровеносные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не могутъ страдать; страдаютъ только прилегающіе къ нимъ нервы. Все это такъ, скажетъ читатель, но если сердце все оплетено нервами, то оно; конечно, способно страдать, потому что оплетающіе его нервы составляютъ одну изъ его частей.

— Конечно, отвѣчу я, это было бы совершенно справедливо, еслибы сердце дѣйствительно было оплетено нервами, но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Сердце совершенно лишено чувствительности, какъ на поверхности своей, такъ и въ своемъ центрѣ. Нервы, находящіеся въ сердцѣ, относятся къ тому разряду нервовъ, которые проводятъ движеніе, но не сообщаютъ ощущеніе. Есть люди, у которыхъ, вслѣдствіе недостаточнаго развитія грудныхъ костей, существуетъ отверстіе, позволяющее видѣть и даже ошупывать рукою сердце. Это ошупываніе не причиняетъ имъ не только ни малѣйшей боли, но даже ни малѣйшаго ощущенія. Рана, нанесенная человѣку въ сердце и ведущая за собою неизбежную смерть, заставитъ его страдать не потому, что она тронула сердце, а потому, что она по дорогѣ изломала грудныя кости и изорвала грудныя ткани.

Болезни сердца, нарушающія весь процессъ кровообращенія, приводятъ все тѣло въ состояніе ненормальной раздражительности и вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ оказать значительное вліяніе на душевное настро-

ніе пацієнта. Бывають впрочемъ и такіа болѣзни сердца, которыя, не смотря на всю свою важность, не причиняють ни малѣйшей боли, позволяютъ пацієнту веселиться и наслаждаться жизнью, и до послѣдней роковой минуты укрываются даже отъ его собственнаго вниманія. И такъ сердце—ничто иное, какъ безсознательно дѣйствующій насосъ, необходимый для того, чтобы приводить въ движеніе кровь животнаго, но совершенно нечувствительный къ впечатлѣніямъ физическаго и духовнаго міра.

Когда мы говоримъ: у такого-то человѣка доброе сердце, а у такого-то нѣтъ сердца, когда Французы говорятъ съ воодушевленіемъ: *c'est un coeur d'or, il a du coeur—cet homme*, когда Нѣмцы толкуютъ съ умиленіемъ объ *herzliche Liebe, herzlicher Kummer*, то всѣ мы, Русскіе, Французы и Нѣмцы, говоримъ такіа вещи, для которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ соотвѣствующихъ явленій. Не имѣя никакого понятія о физиології, мы замѣняемъ дѣйствительныя знанія созданіями нашей фантазіи и надѣляемъ сердце, которымъ мы почему-то особенно интересуемся, небывалыми, невозможными и неестественными свойствами, качествами, достоинствами и пороками.

Одно французское выраженіе, навсегда утвердившееся въ языкѣ, показываетъ чрезвычайно наглядно ложность тѣхъ физиологическихъ воззрѣній, которыми пробавляется публика. *J'ai mal au coeur*, какъ извѣстно, значитъ по-французски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется, такимъ образомъ, болью въ сердцѣ, между тѣмъ какъ она, очевидно, не имѣетъ съ сердцемъ ничего общаго. При тошнотѣ страдаетъ только желудокъ, и если страданія желудка переносятся такимъ образомъ въ сердце, то изъ этого можно вывести слѣдующія два заключенія: во-первыхъ, люди, соорудившіе это выраженіе, не имѣли понятія о мѣстоположеніи сердца; во-вторыхъ, они никогда не чувствовали боли въ сердцѣ, потому что перенесли на сердце ощущенія другого органа, не имѣющаго съ нимъ никакихъ сношеній и ни малѣйшаго сходства.

Жизнь, или вѣрнѣе, біеніе сердца начинается до рожденія животнаго и продолжается до самой смерти, или вѣрнѣе, сердце продолжаетъ биться даже тогда, когда всѣ остальные признаки жизни покидаютъ тѣло. Когда куриное яйцо пролежало нѣсколько дней подъ насѣдкою, то въ немъ начинаетъ обозначаться сердце въ видѣ маленькой, красной точки, находящейся въ постоянномъ движеніи.

Это движеніе сердца начинается тогда, когда еще не существуетъ ни крови, ни нервовъ; слѣдовательно, причину этого движенія, начавшагося такъ рано, надо искать въ раздражительности самыхъ мускулистыхъ частей сердца, а не въ вліяніи крови и даже не въ дѣйствіи нервовъ. Говоря такимъ образомъ, что причина движенія заключается не въ нервахъ, я не хочу сказать, чтобы нервы, проходящіе отъ мозга

къ сердцу, не имѣли никакого вліянія на темпъ этого движенія. Нервы эти, при извѣстномъ раздраженіи, могутъ замедлить или задержать біеніе сердца; потомъ, за этою мгновенною задержкою, послѣдуетъ ускоренная дѣятельность сердца, которое, однако, несмотря на свои подчиненныя отношенія къ нервамъ, бьется все-таки по собственному, внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тѣла животнаго и слѣдовательно оторванное отъ всякой связи съ нервной системою, продолжаетъ биться нѣскольکو времени. Вырѣзанныя лягушечьи сердца прыгаютъ на столѣ натуралиста въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, потомъ постепенно слабѣе и медленнѣе. Это самостоятельное движеніе вырѣзанныхъ сердецъ можетъ быть поддержано въ продолженіи нѣсколькихъ дней, если только не давать сердцамъ высохнуть и сохранять въ окружающемъ воздухѣ умѣренную теплоту. «Это, говоритъ Льюисъ, одно изъ тѣхъ зрѣлищъ, которыя наполняютъ духъ анатома какою-то невольною робостью. Онъ съ дѣтства привыкъ видѣть какое-то таинственное соотношеніе между біеніемъ сердца и жизнью организма, и вдругъ онъ видитъ это біеніе при такихъ обстоятельствахъ, которыя отгоняютъ всякую мысль о жизни и движеніи. Что же значить это біеніе? Въ немъ не видно равномерныхъ движеній жизни, не видно раздраженія испуга; его нельзя принять за дѣйствіе инстинкта. Убить и разрушить тотъ чудесный механизмъ, котораго центромъ было сердце, и вотъ рядомъ съ мертвымъ тѣломъ лежитъ этотъ органъ и продолжаетъ биться, будто самъ по себѣ хочетъ бороться со смертію.»

Сердце, переставшее биться послѣ смерти животнаго или человѣка, можетъ, посредствомъ электрическаго тока, еще разъ получить на нѣкоторое время способность сжиматься и расширяться. Подобные опыты производились перѣдко надъ сердцами повѣшенныхъ или вообще казненныхъ преступниковъ.

Если даже смерть субъекта произошла не вдругъ и была слѣдствіемъ долговременной болѣзни, то случается, что біеніе сердца не прекращается вскорѣ послѣ смерти. Знаменитому анатому Везалію, жившему въ XVI-мъ столѣтіи, пришлось дорого заплатить за открытіе этого факта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, стоявшій по своему развитію гораздо выше уровня своей эпохи, рѣшался анатомировать человѣческіе трупы въ то время, когда это дѣйствіе считалось грѣховнымъ и преступнымъ. Одинъ молодой дворянинъ, котораго лечилъ Везалій, умеръ, несмотря на всѣ его попеченія, и любовнательный медикъ, желая узнать причину смерти, выпросилъ себѣ позволеніе вскрыть его трупъ. Вскрытіе произошло въ присутствіи нѣсколькихъ зрителей, которые пришли въ неописанный ужасъ, когда увидѣли, что сердце покойника бьется медленнымъ, правильнымъ темпомъ. Везаліи обвинили въ томъ, что онъ зарѣ-

залъ живого человѣка; въ это дѣло вмѣшалась инквизиція, и Везалій съ большимъ трудомъ избѣжалъ мучительной смерти. Его принудили отправиться въ Палестину и замолить свой грѣхъ, вызванный дерзкимъ желаніемъ узнать тайны созданій Божіихъ. Репутація Везалія, какъ врача, погибла съ того времени, и ему не удалось до самой своей смерти избавиться отъ подозрѣнія въ томъ, что онъ зарѣзалъ своего пациента.

У здоровыхъ и крѣпкихъ людей сила, съ которою сжимается сердце, равняется вѣсу въ 60 фунтовъ. Если вы, сидя на стулѣ, положите одну ногу на колѣнко другой ноги, то вы увидите, что носокъ свободно ви-сящей ноги постоянно, независимо отъ вашей воли движется взадъ и впередъ; если вы повѣсите на ступню этой ноги пудовую гиру (предполагая, что вы будете въ силахъ сдерживать ее), то и эта гиря не помѣшаетъ колебаніямъ носка, которыя будутъ совершаться прежнимъ темпомъ и, попрежнему, независимо отъ вашей воли. Это колебаніе носка происходитъ отъ біенія сердца и отъ прилива крови въ артерію ноги. Если разрѣзать одну изъ большихъ артерій, то сила, съ которою брызжетъ изъ нея кровь, дастъ намъ понятіе о силѣ импульса, сообщеннаго этой крови сжатіемъ сердца. У собакъ и овецъ кровь брызжетъ даже изъ малыхъ артерій на шесть футовъ въ высоту. Скорость, съ которою волна крови идетъ отъ сердца по артеріямъ, равняется 28 парижскимъ футамъ въ секунду.

Весь рядъ явленій, относящихся къ кровообращенію, очень недавно сдѣлался достояніемъ науки. Запутанность и ложность понятій, господствовавшихъ объ этомъ предметѣ въ древности, превосходятъ всякое вѣроятіе. Греки и Римляне были увѣрены въ томъ, что наши жилы наполнены воздухомъ. Римскій медикъ Галенъ, жившій въ половинѣ второго вѣка послѣ Рождества Христова, первый доказалъ, что въ жилахъ заключается кровь, и что въ однихъ жилахъ эта кровь отличается темнокраснымъ цвѣтомъ, а въ другихъ—яркокраснымъ. Во второй половинѣ шестнадцатаго столѣтія испанскій медикъ Михаилъ Серветъ открылъ движеніе крови отъ сердца къ легкимъ и отъ легкихъ обратно къ сердцу. Религіозный фанатизмъ не пощадилъ этого замѣчательнаго человѣка, и Кальвинъ сжегъ его на кострѣ въ Женевѣ, доказывая такимъ образомъ потомству, что начало реформациі далеко не совпадаетъ съ началомъ вѣротерпимости. Несмотря на преслѣдованія и казни, несмотря на презрѣніе и невнимательность легиономысленной массы, духъ живой любознательности и терпѣливаго изученія пробивалъ себѣ дорогу, опрокидывалъ нагроможденные препятствія и дарилъ плоды своихъ трудовъ тому самому человѣчеству, которое не умѣло распознавать своихъ истинныхъ друзей и не понимало значенія ихъ дѣятельности. Въ началѣ семнадцатаго столѣтія Англичанинъ Гарвей открылъ, что движеніе крови совершается во всемъ тѣлѣ, описалъ пути, по которымъ кровь выходитъ

изъ сердца и возвращается къ сердцу. и этимъ міровымъ открытіемъ положилъ основаніе новой, истинно-научной фізіологіи, основанной на наблюденіи и не пмѣющей ничего общаго съ прежними гаданіями и фразистыми разсужденіями.

Открытіе Гарвея встрѣтило себѣ рѣзкую оппозицію со стороны ученыхъ мечтателей того времени. Медицинскій факультетъ парижскаго университета возражалъ самыми оригинальными аргументами. «Жизнь, писалъ фізіологъ Бурдахъ, потеряетъ свой идеальный блескъ, если мы рѣшимся простымъ механизмомъ объяснить теченіе крови, составляющее такую существенную часть ея проявленія.»

Закаленные натурфилософы, смотрѣвшіе на вещи умственными очами, не признали существованія кровообращенія; они остались при томъ убѣжденіи, что «кажущееся движеніе крови есть необъяснимое чудо (*mirabile dictu*), колебаніе между бытіемъ и небытіемъ.» Благодаря такому глубокомысленному и удобопонятному возрѣнію на тѣ факты, которые легко и свободно объяснялись непосредственнымъ наблюденіемъ, натурфилософія постепенно стала терять ореолъ своего величія, и въ XIX столѣтіи окончательно сошла съ того пьедестала, на которомъ она стояла вслѣдствіе невѣжества массъ и шарлатанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, что его учитель фізіологіи былъ отчаянный натурфилософъ, старавшійся кудреватыми фразами убѣдить своихъ слушателей въ вѣрности своихъ идей и постоянно бранившій тѣхъ ученыхъ, которые хотѣли тѣлесными глазами увидать вещи и процессы, доступные только умственному оку. А въ это время тѣлесные глаза разсмотрѣли волосные сосуды, соединяющіе тонкія артеріи съ тонкими венами, охватывающіе всѣ части тѣла частою, тонкою, подкожною сѣткою и такимъ образомъ замыкающіе собою тѣ пути, по которымъ кровь обтекаетъ все тѣло. При помощи микроскопа открылась для изслѣдователей возможность собственными глазами разсматривать теченіе крови въ волосныхъ сосудахъ живыхъ существъ.

«Трудно себѣ представить болѣе великолѣпную микроскопическую картину, говоритъ Бенеке въ своихъ фізіологическихъ этюдахъ, чѣмъ тѣ, которую представляетъ подъ микроскопомъ плавательная кожа живой лягушки. Постепенно суживающіеся, извивающіеся каналы, образующіе собою петли, проходятъ въ видѣ сѣтки чрезъ эту кожу; въ нихъ движется свѣтложелтоватая кровяная жидкость и въ срединѣ этихъ рѣчекъ катятся, подобно песчинкамъ на днѣ прозрачнаго ручья, красные кровяные пузырьки; въ большихъ сосудахъ ихъ очень много, въ меньшихъ они по одиночкѣ слѣдуютъ другъ за другомъ. Слой жидкости, прилегающій къ стѣнкѣ сосуда, движется гораздо медленнѣе, чѣмъ срединный потокъ, несущій въ себѣ кровяные пузырьки; если внимательно наблюдать за движеніемъ крови въ волосныхъ сосудахъ, то можно замѣ-

тить, что оно совершается гораздо медленнѣе, чѣмъ въ большихъ сосудахъ; это обстоятельство, очевидно, указываетъ на то взаимное вліяніе, которое существуетъ между кровью и органическими тканями.»

Натуралистъ Левенгукъ первый увидѣлъ обращеніе крови въ волосяныхъ сосудахъ въ хвостѣ живой ящерицы. «Тутъ, говоритъ онъ, мнѣ представилось такое восхитительное зрѣлище, какого до тѣхъ поръ еще не видывали мои глаза. Я открылъ въ различныхъ мѣстахъ болѣе пятидесяти различныхъ циркуляцій крови. Я увидѣлъ, какъ кровь чрезъ необыкновенно тонкіе сосуды идетъ отъ середины хвоста къ краямъ его, и какъ потомъ каждый сосудъ поворачиваетъ назадъ и приводитъ кровь обратно къ серединѣ хвоста, откуда она отиравается далѣе по дорогѣ къ сердцу.»

IV.

Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ прозябаніе растенія, въ существованіе животнаго, и вы увидите, что необходимымъ условіемъ всякой органической жизни, всякаго движенія, измѣненія и развитія является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ физикѣ, теплородъ не есть матерія; это — движеніе; присутствіе теплоты проявляется всегда въ движеніи того вещества, на которое она дѣйствуетъ; вездѣ, гдѣ есть движеніе, тамъ обнаруживается и теплота.

Представьте себѣ картину природы въ лѣтній день, когда теплота всего сильнѣе дѣйствуетъ на окружающіе предметы и сравните эту картину съ тѣмъ зрѣлищемъ, которое представляетъ та же самая мѣстность зимою, при сильномъ морозѣ. Въ первомъ случаѣ вы увидите растительную жизнь во всемъ ея роскошномъ развитіи, во второмъ случаѣ вы не увидите ничего, кромѣ необозримой, утомительно однообразной снѣговой равнины. Положимъ, что 7-го іюня вы захотите взглянуть на дерево, которое вы внимательно осматривали 1-го іюня; вы навѣрное найдете въ немъ замѣтную переимѣну; тамъ распустился новый цвѣтокъ, здѣсь осыпались отжившіе цвѣтки и завязались плоды. тутъ молодой побѣгъ увеличился въ длинѣ и объемѣ. Если же вы 7-го января посмотрите на снѣговую равнину, по которой вы гуляли 7-го декабря, то, вѣроятно, вы не замѣтите никакой переимѣны: вы увидите, можетъ быть, что количество снѣга увеличилось или уменьшилось, что сугробы его окрѣпли или сдѣлались рыхлѣе, что по дорогѣ образовались лужи или ледяные раскаты. Лѣтній пейзажъ измѣняется въ своихъ отдѣльныхъ

частяхъ, развивается и живетъ, подъ вліяніемъ теплоты въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинѣ; зимній пейзажъ, благодаря уменьшенію теплоты, показываетъ намъ оцѣпенѣніе органической жизни, неподвижность и утомительное однообразіе застоя. Скучныя измѣненія, которыя иногда происходятъ въ этомъ зимнемъ пейзажѣ, и которыя не имѣютъ ничего общаго съ развитіемъ органической жизни, совершаются все-таки при содѣйствіи теплоты. Если мы вообразимъ себѣ такую мѣстность, на которой круглый годъ стоитъ тридцатиградусный морозъ, то эта мѣстность никогда не измѣнится; пройдутъ цѣлыя вѣка, и она по прежнему останется холодною, пустынною и безжизненною; тѣ же снѣжные сугробы, тѣ же ледяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не измѣнившія своей фигуры, будутъ по прежнему останавливать на себѣ глаза наблюдателя. Но пусть въ эту оцѣпенѣвшую, застывшую мѣстность заглянетъ солнце, пусть начнется сильная оттепель—и черезъ день вы ее не узнаете; ледяныя утѣсы расплывутся, снѣговые сугробы осадутъ, зашумитъ вода, потекутъ мутныя ручьи; органическая жизнь, придавленная долговременнымъ холодомъ, не успѣвъ еще пробиться, но обнаружится движеніе, слышатся шумъ и плескъ воды, и мертвая тишина ледяного застоя окажется нарушенною, благодаря сильному притоку живительной теплоты. Возьмите другой мелкій примѣръ изъ вседневной жизни. Если вы хотите сохранить кусокъ мяса въ неиспорченномъ видѣ, вы кладете его въ холодное мѣсто. Холодъ останавливаетъ или по крайней мѣрѣ значительно замедляетъ процессъ гніенія.

Гніеніе ничто иное, какъ одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни въ природѣ. Гниющій кусокъ мяса разлагается на свои составныя части, поступаетъ въ общую экономію природы, и, облекаясь въ новыя формы, образуя новыя тѣла, продолжаетъ принимать участіе въ общемъ круговоротѣ жизни. Жизнь — ничто иное, какъ движеніе, переходъ изъ формы въ форму, постоянное, неутомимое превращеніе, разрушеніе и созиданіе, слѣдующія другъ за другомъ и вытекающія другъ изъ друга. Задерживая гніеніе куска мяса, холодъ исполняетъ наши желанія; но здѣсь, какъ и вездѣ, онъ задерживаетъ теченіе жизни и сковываетъ его проявленія. Когда мы беремъ съ ледника сохранившійся кусокъ мяса, когда, приготовивъ его по своему вкусу, мы съѣдаемъ его за обѣдомъ или за завтракомъ, тогда задерживающее дѣйствіе холода прекращается, и мясо, подъ вліяніемъ желудочныхъ кислотъ и теплоты нашихъ пищеварительныхъ органовъ, разлагается, входитъ въ нашу кровь, служитъ къ образованію нашихъ органическихъ тканей и такимъ образомъ снова начинаетъ принимать участіе въ движеніи вещества и въ общемъ процессѣ жизни. Вы видите, такимъ образомъ, что и здѣсь движеніе началось вмѣстѣ съ притокомъ теплоты.

Всѣ мы знаемъ изъ физики и изъ вседневной жизни, что дѣйствіе

теплоты измѣняетъ форму и свойства тѣлъ, подверженныхъ ея вліянію. Ледъ превращается въ воду, вода превращается въ паръ, металлы становятся мягкими и наконецъ переходить въ жидкое состояніе, и всѣ эти измѣненія происходятъ отъ дѣйствія теплоты. Норма этихъ измѣненій для всѣхъ тѣлъ одинакова; твердое тѣло, нагрѣваясь, становится жидкимъ и наконецъ улетучивается въ видѣ газа. Теплота расширяетъ тѣла, т. е. ослабляетъ связь между ихъ атомами; при усиленіи теплоты, связь эта становится такъ слаба, что твердое тѣло растекается; когда теплота становится еще сильнѣе, тогда, вмѣсто прежняго плотнаго сцѣпленія между атомами, является полное разединеніе, даже взаимное отталкиваніе, и прежняя твердая масса разлетается въ видѣ газа. Мы привыкли видѣть желѣзо въ твердомъ состояніи, ртуть и воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нормальнымъ и прочнымъ, потому что эти вещества находятся именно въ такомъ видѣ при той температурѣ, при которой намъ удобно и возможно жить. На самомъ же дѣлѣ, то или другое вещество находится въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состояніи, только благодаря количеству теплоты, разлитому въ нихъ и вокругъ нихъ. Еслибы мы могли искусственнымъ путемъ производить безконечно высокую и безконечно низкую температуру, то мы, конечно, могли бы получить газообразное желѣзо, жидкій кислородъ, твердый азотъ. Газообразное желѣзо получилось бы при страшномъ жарѣ, а жидкій кислородъ или твердый азотъ — при чрезвычайно сильномъ холодѣ.

Расширяясь отъ дѣйствія теплоты, тѣла стремятся занять большее пространство и слѣдовательно оказываютъ давленіе на все, что ихъ окружаетъ. На этомъ общемъ свойствѣ тѣлъ основано устройство паровыхъ машинъ; по этому же самому свойству пороховъ, вспыхивая отъ прикосновенія зажженнаго фитиля, съ огромною силою выпрывается въ видѣ газа изъ дула артиллерійскаго орудія и выбрасываетъ ту чугунную массу, которая мѣшала его выходу. Вода подъ вліяніемъ теплоты постепенно переходитъ изъ одного вида въ другой, постепенно расширяется и усиливаетъ свое давленіе; на этомъ основаніи вода, подверженная дѣйствію теплоты, можетъ, при извѣстныхъ предосторожностяхъ, быть употреблена, какъ двигательная сила; пороховъ напротивъ того, не таетъ, а мгновенно изъ твердаго состоянія переходитъ въ газообразное; поэтому расширеніе его совершается такъ быстро и въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что оно ломаетъ и коверкаетъ всѣ препятствія, словомъ, производитъ то, что мы называемъ взрывомъ. и что водяной паръ можетъ произвести только вслѣдствіе неопытности и оплошности машиниста. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, присутствуя при дѣйствіи паровой машины и при выстрѣлѣ изъ орудія, мы видимъ, что вліяніе теплоты развиваетъ извѣстное количество механической силы,

Теоретическая физика въ новѣйшее время открыла одинъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ законовъ — законъ сохраненія или неразрушимости силы. Сохраненіе или неразрушимость силы заключается въ томъ, что ни въ какомъ случаѣ никакая сила не уничтожается и не возникаетъ вновь. Передъ нашими глазами совершается постоянно переходъ силы изъ одной формы въ другую; какъ ни одна частица матеріи не пропадаетъ и не уничтожается, а только видоизмѣняется, такъ точно ни одна частица какой бы то ни было силы не утрачивается, а только принимаетъ иногда такую форму, которая скрываетъ ее отъ нашего наблюденія. «Механическая, химическая, электрическая, магнетическая сила, теплота, свѣтъ превращается другъ въ друга; величина или количество силы остается неизмѣненнымъ, не смотря на то, что самая сила проявляется въ той или въ другой формѣ.» Мы уже видѣли, говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ образомъ теплота превращается въ механическую силу. Точно также и механическая сила способна превращаться въ теплоту. Дикари добываютъ огонь, разгорая два куска дерева посредствомъ сильного тренія.

Пила, которою работаетъ дюжій ремесленникъ, разогрѣвается вслѣдствіе тренія такъ сильно, что можетъ обжечь руку своимъ прикосновеніемъ; въ Мюнхенѣ, на литейномъ заводѣ производились опыты, которые доказали, что, безъ вѣшняго нагрѣванія, однимъ треніемъ машины можно довести воду до точки кипѣнія. Температура воды возвышается даже отъ взмѣшиванія и взбалтыванія. Силою падающей воды или дѣйствіемъ вѣтра можно натопить цѣлую комнату, если приложить эти силы къ вращенію большаго деревяннаго цилиндра въ металлическомъ поломъ цилиндрѣ, тѣсно прилегающемъ къ первому. Это отопленіе будетъ происходить такимъ образомъ: металлическій цилиндръ накалится отъ сильнаго тренія и, подобно желѣзной печи, будетъ выдѣлять въ окружающіе слои воздуха количество теплоты, соразмѣрное съ силою тренія, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ продолжительностью движенія всего снаряда. Каждому извѣстно, что оси экипажныхъ колесъ дымятся и обугливаются вслѣдствіе скорой и продолжительной ѣзды, особенно въ томъ случаѣ, если между осью и втулкою нѣтъ вещества, ослабляющаго треніе, т. е. говоря простымъ языкомъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умѣютъ ударами молотка довести гвоздь до раскаленнаго состоянія. Ледъ, сдавленный гидравлическимъ прессомъ, превращается въ воду, потому что сила давленія порождаетъ то количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы растопить ледъ.

Всѣ эти примѣры сводятся къ одному общему положенію: каждой механической работѣ соотвѣтствуетъ извѣстное количество теплоты; когда теплота производитъ механическую работу, тогда исчезаетъ извѣстное количество теплоты, соотвѣтствующее произведенной работѣ; потра-

тивъ вновь эту же самую работу, можно произвести то же количество теплоты. Машинистъ разводитъ огонь подъ котломъ паровой машины; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, слѣдовательно, то количество теплоты, которое въ нихъ заключается, истрачивается; вы думаете, что эта теплота пропала? Ошибаетесь. Вода превращается въ паръ, слѣдовательно, теплота выражается въ формѣ движенія и видоизмѣненія вещества; паровая машина приходитъ въ движеніе, слѣдовательно, теплота превращается въ механическую работу; вслѣдствіе этой механической работы разогрѣваются тѣ части машины, въ которыхъ происходитъ треніе, слѣдовательно, работа опять превращается въ теплоту, которая въ свою очередь можетъ быть превращена въ работу и т. д. до бесконечности.

Законъ неразрушимости силы имѣетъ свое несомнѣнное и огромное значеніе какъ теоретическое положеніе, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней рациональнаго міросозерцанія. Практическое примѣненіе этого закона не всегда возможно.

Ясно какъ день, что въ природѣ не пропадаетъ ни одинъ клочекъ матеріи, ни одна частичка силы, по той простой причинѣ, что имъ некуда пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпредѣльнаго ящика. Но точно также ясно и то, что для насъ, для нашихъ цѣлей, интересовъ и потребностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ и матерія, и сила. Если вы прольете на полъ рюмку вина, которую вы несете къ губамъ, то она для васъ пропала, хотя природа, конечно, не потеряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ горитъ лѣсъ, то для васъ пропадаетъ то количество теплоты, которое заключалось въ деревьяхъ, пропадаетъ, не смотря на то, что воздухъ, окружающій вашъ сгорѣвшій лѣсъ, оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени; возвышенная температура этого воздуха производитъ движеніе въ воздухѣ—вѣтеръ; слѣдовательно, въ природѣ неразрушимость силы остается существующимъ фактомъ. Лѣсъ вашъ сгорѣлъ, воздухъ нагрѣлся, поднялся вѣтеръ. Химическое пзмѣненіе дерева породило теплоту, теплота породила движеніе. Это васъ однако нисколько не утѣшаетъ и вы спрашиваете съ оттѣнкомъ досады: да для чего же все это? Кому это нужно? Кому отъ этого польза? Для чего? Съ такимъ вопросомъ смѣшно даже обращаться къ явленіямъ природы. Ставить ей какія бы то ни было требованія, значить сходитьсь въ міросозерцаніи съ Ксерксомъ, бичевавшимъ Дарданельскій проливъ за поднявшуюся на немъ бурю. Въ такомъ міросозерцаніи можетъ быть много поэзіи, но очень мало здраваго смысла. О сгорѣвшемъ лѣсѣ можно пожалѣть, какъ можно пожалѣть о проигранныхъ деньгахъ, но отождествлять свои интересы съ интересами природы нельзя; природа не слѣдается бѣдѣ отъ какого нибудь пожара или наводненія, потому что всѣ частицы сгорѣшаго лѣса или затопленной земли остаются по прежнему въ полномъ и безотчетномъ ея распоряженіи. Ваше личное поло-

женіе, положеніе мильіоновъ людей можетъ сдѣлаться бѣдственнымъ и невыносимымъ, но природѣ до этого обстоятельства нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Вамъ хорошо жить — живите, не можете жить — умирайте, и она сейчасъ же распорядится съ составными элементами вашего тѣла.

Я позволилъ себѣ это отступленіе единственно для того, чтобы сдѣлать разграниченіе между жизнью природы и нашею человѣческою жизнью, изъ которой мы такъ часто, совершенно не въ попадѣ, выхватываемъ мѣрки, прилагаемыя нами, къ оцѣнкѣ физическихъ явленій. Природу надо изучать, а мы, вмѣсто того, становимся къ ней въ разныя патетическія отношенія, тратимъ время на возгласы, отуманиваемъ свой мозгъ разными фантазмагоріями, въ которыхъ одни люди находятъ красоту, другіе отраду, третьи даже смыслъ и послѣдовательность. Пора однако возвратиться къ теплотѣ.

Конечный источникъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ на землѣ, всякой дѣятельности, проявляющейся на нашей планетѣ, заключается въ лучахъ солнца; они льютъ на землю свѣтъ и теплоту, они производятъ движеніе воды въ океанахъ и озерахъ, въ рѣкахъ и бассейнахъ; они поднимаютъ въ воздухѣ водяные пары, порождаютъ облака, служатъ причиною дождя, града, снѣга; они производятъ теченія атмосферы или вѣтры; они вызываютъ изъ земли растительную жизнь и поддерживаютъ эту жизнь вліаніемъ свѣта и теплоты; они орошаютъ луга, поля, лѣса потоками той воды, которая при ихъ содѣйствіи поднимается въ видѣ паровъ и носится въ воздухѣ подъ названіями тучъ, тумановъ и облаковъ.

Животныя и люди, существующіе по милости солнечныхъ лучей, обращаютъ въ свою пользу ихъ вліаніе на почву и растительность. Травоядныя патаются растеніями, не спрашивая о причинѣ ихъ происхожденія; плотоядныя пожираютъ травоядныхъ, не заботясь о ихъ разведеніи; человѣкъ оказывается смышленіе тѣхъ и другихъ: онъ не довольствуется тѣмъ, что нечаянно перепадаетъ на его долю; онъ пользуется силами и движеніями, возникающими подъ живительнымъ вліаніемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ тѣ формы матеріи и силы, которыя кажутся ему удобными; онъ принимаетъ свои мѣры, для того чтобы эти удобныя формы сохранялись какъ можно долѣе или измѣнялись именно тогда, когда ему это необходимо. Онъ сохраняетъ запасы дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота солнечныхъ лучей оказывается недостаточною; онъ ловитъ вѣтеръ и по вѣтру распускаетъ паруса своего корабля или направляетъ крылья своей вѣтряной мельницы; онъ бросаетъ въ землю семена растеній, рассчитывая время такъ, чтобы растеніе успѣло вырѣть и принести плоды раньше наступленія холода. Не сознавая въ природѣ новыхъ силъ, человѣкъ пользуется существующимъ капиталомъ и примѣняется къ неизмѣняемымъ физическимъ законамъ. Во

всѣхъ случаяхъ, во всѣхъ отрасляхъ своей дѣятельности онъ постоянно, посредственно или непосредственно эксплуатируетъ вліяніе солнечныхъ лучей. «Сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою локомотивъ несется по рельсамъ, есть капля солнечной теплоты, заключенная въ растенія силами природы за миллионы лѣтъ тому назадъ и въ настоящую минуту превращенная въ механическую работу посредствомъ машины, приготовленной рукою-человѣка».

Еслибы лучи солнца перестали согрѣвать и освѣщать землю, то наша планета въ самое короткое время превратилась бы въ ледяную глыбу; растительность исчезла бы немедленно; вмѣстѣ съ растительностью погибли бы тѣ животныя, которыя не защищены рукою человѣка и сами по себѣ не способны согрѣваться искусственно произведенною теплотою. Человѣкъ нѣсколько времени боролся бы съ природою, запираясь въ своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остатками растительнаго царства, защищая своихъ домашнихъ животныхъ отъ разрушительнаго дѣйствія холода, и питаясь набранными запасами. Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило бы не надолго; холодъ и голодъ погубили бы человѣка вслѣдъ за другими животными, органическая жизнь остановилась бы окончательно и замерзшая земля превратилась бы въ страшную, громадную пустыню.

Отдавая себѣ такимъ образомъ ясный отчетъ въ томъ всеобъемлющемъ вліяніи, которое солнечная теплота оказываетъ на всѣ отправленія нашей жизни, мы будемъ въ состояніи понять, почему первобытныя народы, не слышавшіе ученія объ истинномъ *Боге*, поклонялись солнцу и огню, который они считали земнымъ отраженіемъ небеснаго свѣтила. Первобытныя религіи основаны на обоготвореніи силъ природы и выражаютъ собою міросозерцаніе народа въ томъ періодѣ, въ которомъ философія и наука были неразлучны съ поэзією, и въ которомъ идея представлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, фантастически разукрашенномъ образѣ. Правильный инстинктъ первобытнаго человѣка указалъ ему на ту важную роль, которую въ нашей жизни играетъ солнце; человѣкъ угадалъ связь, существующую между появленіемъ солнца на небосклонѣ и процвѣтаніемъ органической жизни на землѣ; онъ понялъ свою зависимость отъ климатическихъ измѣненій, обусловливающихъ дѣйствіемъ солнца; впечатлительный какъ ребенокъ, онъ упалъ на колѣни передъ источникомъ жизни и наслажденія; онъ заговорилъ съ нимъ своимъ языкомъ, онъ думалъ умиловить его мольбами и жертвами, а солнце обливало его по прежнему своимъ безучастнымъ свѣтомъ и согрѣвало его также безсознательно и непроизвольно, какъ согрѣвало какую нибудь полевую мышь или безчувственный камень.

V.

Когда мы прикасаемся рукою къ какому нибудь предмету, то мы чувствуемъ, что онъ тепелъ или холоденъ; мы различаемъ эти два понятія въ разговорномъ языкѣ и даже считаемъ ихъ діаметрально противоположными; на самомъ же дѣлѣ этой противоположности не существуетъ; между горячимъ и холоднымъ предметомъ существуетъ только количественное различіе; въ горячемъ предметѣ находится больше теплоты, чѣмъ въ нашей рукѣ — въ холодномъ меньше; когда мы дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота изъ этого предмета протекаетъ въ нашу руку; если же мы кладемъ руку на холодный предметъ, то теплота изъ нашей руки переходитъ въ этотъ предметъ, и мы чувствуемъ потерю теплоты точно также, какъ въ первомъ случаѣ чувствуемъ приращеніе теплоты въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Такимъ образомъ, судя о температурѣ окружающихъ предметовъ, называя каленое желѣзо горячимъ, а ледъ — холоднымъ, мы только выражаемъ отношеніе, въ которомъ находится теплота этихъ предметовъ къ теплотѣ нашего тѣла.

Средняя температура нашего тѣла колеблется между 28 и 30 градусами Реомюра; эта температура не можетъ быть ни возвышена, ни понижена, не подвергая опасности здоровья и даже жизни; на поверхности нашего тѣла, особенно въ оконечностяхъ и въ тѣхъ частяхъ, которыя не покрыты платьемъ, эта температура подвержена значительнымъ измѣненіямъ, не представляющимъ ни малѣйшей опасности. Лицо, руки и ноги человѣка, пробывшаго около часу на открытомъ воздухѣ въ зимнее время, будутъ очень холодны, когда онъ возвратится въ комнату; потомъ, когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, сжавшіеся отъ дѣйствія холода, лицо, руки и ноги сдѣлаются теплѣе, чѣмъ они были до выхода на улицу; каждый изъ моихъ читателей вѣроятно испыталъ на себѣ, какъ горитъ лицо при переходѣ изъ холоднаго воздуха въ болѣе теплый; эти измѣненія температуры, быстро слѣдующія другъ за другомъ, нисколько не вредятъ нашему здоровью, если они проявляются только въ нашей кожѣ и въ оконечностяхъ тѣла. Что же касается до степени теплоты нашей крови и нашихъ внутренностей, то она не можетъ измѣняться, не подвергая насъ опаснымъ болѣзнямъ, или не являясь слѣдствіемъ подобныхъ болѣзней.

Положимъ, говорить Льюисъ въ своей «Физиологій обыденной жизни», что въ комнатѣ виситъ птичья клетка. Атмосфера комнаты измѣняетъ степень своей теплоты, смотря по времени года и по свойствамъ каждаго отдѣльнаго дня. Лучи лѣтнаго солнца и холодный сѣверный вѣтеръ

проникають въ комнату и измѣняютъ температуру тѣхъ мѣднѣхъ прутьевъ, изъ которыхъ составлена клѣтка. Но въ это время птица, сидящая въ клѣткѣ, не становится ни теплѣе, ни холоднѣе. Ни лучи августовскаго солнца, ни пронзительный декабрьскій вѣтеръ не увеличиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще можетъ измѣниться только на одинъ или на два градуса. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Льюисъ, можетъ птица, подверженная виѣшнему вліянію измѣнчивой температуры, постоянно сохранять такую высокую степень собственной теплоты?

На этотъ вопросъ можно дать слѣдующій, прямой отвѣтъ: каждый живой организмъ заключаетъ въ себѣ источникъ самостоятельно развивающейся теплоты. Такого рода отвѣтъ обобщаетъ вопросъ, поставленный Льюисомъ, но, конечно, нисколько не рѣшаетъ предложенной задачи. Мы видимъ, что всѣ организмы развиваютъ въ себѣ извѣстную степень теплоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ совершается въ организмахъ этотъ замѣчательный процессъ.

Когда признавали существованіе особенной, необъяснимой жизненной силы, тогда на ея широкія плечи сваливались всѣ тѣ явленія, которыя изслѣдователи не могли объяснить себѣ вслѣдствіе незнанія фактовъ или лѣнності мысли. вмѣстѣ съ другими процессами былъ отправленъ въ обширную область жизненной силы процессъ развитія органической теплоты. Нѣкоторые фізіологи, совѣстившіеся прикрывать свое незнаніе пзбитою вѣвѣскою жизненной силы, пытались доказать, что животная теплота есть слѣдствіе таинственной дѣятельности нервовъ. И тѣ, и другіе вѣтали въ области гипотезъ и не могли привести въ подтвержденіе своихъ догадокъ ни одного факта, выдерживающаго серьезную, научную критику.

Въ концѣ XVIII столѣтія атмосферный воздухъ былъ разложенъ на свои составныя части и ученые того времени узнали замѣчательныя свойства кислорода. Открытіе кислорода повело къ пониманію процесса горѣнія. Изслѣдователи убѣдились въ томъ, что всякое горѣніе есть ничто иное какъ окисленіе какого нибудь тѣла или соединеніе его съ кислородомъ; когда какое нибудь тѣло соединяется съ кислородомъ, то оно сгараетъ и развиваетъ извѣстную степень теплоты; какъ бы ни совершалось это соединеніе, медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ пламени, оно все-таки сопровождается извѣстною степенью теплоты, хотя иногда эта теплота развивается такъ медленно, что мы не можемъ убѣдиться въ ея существованіи ни посредственнымъ чувствомъ, ни термометромъ.

Узнавши о существованіи кислорода, ученые прошлаго столѣтія узнали также, что кислородъ необходимъ для поддержанія животной жизни, и что процессъ дыханія заключается именно въ поглощеніи кисло-

рода, проникающаго въ легкія и соединяющагося съ кровью. Кислородъ соединяется съ кровью, и всякое соединеніе съ кислородомъ есть горѣніе медленное или быстрое, неразлучное съ развитіемъ большей или меньшей степени теплоты. Такого рода мысль еще въ концѣ XVIII вѣка пришла въ голову французскимъ ученымъ Лувуазье и Лапласу. Съ ними сошлись на этой идеѣ Англичане Блекъ и Крофордъ, и животная теплота была объяснена этими изслѣдователями, какъ слѣдствіе горѣнія, совершающагося внутри организма. Въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія Французы Дюлонгъ и Депрець дали этой идеѣ вполнѣ научную обработку; кромѣ того, знаменитый нѣмецкій химикъ Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплотѣ самыя тщательныя изслѣдованія. и дошелъ до того заключенія, что большая часть теплоты, развивающейся въ тѣлѣ животнаго, происходитъ отъ сожженія углерода и водорода въ углекислоту и въ воду. Углеродъ и водородъ заключаются въ самомъ организмѣ, а кислородъ притекаетъ изъ атмосфернаго воздуха и, соединяясь съ этими элементами, образуетъ, какъ результаты горѣнія, углекислоту и воду.

Кислородъ черезъ легкія входитъ въ наше тѣло; въ легкихъ онъ соединяется съ кровью; кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во всѣ части нашего тѣла и несетъ съ собою то количество кислорода, которое, соединяясь съ органическими тканями и пережигая ихъ, развиваетъ во всѣхъ частяхъ тѣла животнаго теплоту и потомъ выдѣляется вмѣстѣ съ пережженными веществами въ видѣ углекислоты, аммоніака и воды. Поэтому животная теплота порождается не въ однихъ легкихъ, но во всякомъ мѣстѣ, въ которомъ кислородъ соприкасается съ другими веществами, способными окисляться. Притокъ кислорода въ легкія можно сравнить съ тою тягою воздуха, которая необходима для того, чтобы поддерживать горѣніе дровъ въ печи. Тяга эта необходима для развитія теплоты въ печкѣ, но теплота развивается не въ томъ мѣстѣ, въ которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется съ углеродомъ горящаго дерева. Такъ точно и животная теплота развивается не въ самыхъ легкихъ, которыя представляютъ только дверь для прохода атмосфернаго воздуха, а во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, вездѣ, гдѣ совершается горѣніе, вездѣ, гдѣ кислородъ, заключенный въ крови, соединяется съ углеродомъ и водородомъ прилегающихъ тканей.

Постоянный обмѣнъ веществъ, составляющихъ ткани нашего тѣла, постоянное соизданіе и разрушеніе этихъ тканей при содѣйствіи атмосфернаго кислорода, являются такимъ образомъ главными и даже единственными причинами животной теплоты. Чѣмъ быстрѣе совершается этотъ обмѣнъ веществъ, тѣмъ сильнѣе развивается теплота; чѣмъ медленнѣе онъ происходитъ, тѣмъ слабѣе вырабатывается теплота. Надѣ

кроликами производился слѣдующій любопытный опытъ. Кролика обрили и вымазали лакомъ, не пропускающимъ воздуха; повидимому слѣдовало бы ожидать, что кролику будетъ очень тепло, потому что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, обнаженной кожи. Вышло однако совершенно наоборотъ; теплота кролика быстро понизилась на 14, потомъ даже на 18 градусо́въ и вслѣдъ за тѣмъ, похолодѣвши заживо, кроликъ околѣлъ. Почему же такъ случилось? А потому, что лакъ закрылъ поры кожи и потому черезъ эти поры не могли выдѣляться ни газообразныя, ни жидкія испаренія. Пережатые вещества, выдѣляющіяся чрезъ кожу, должны были оставаться въ тѣлѣ кролика и своимъ накопленіемъ замедлили общій обмѣнъ веществъ, служащій источникомъ всякой животной теплоты. Смерть вымазаннаго кролика можетъ быть замедлена только притокомъ теплоты изъ окружающаго воздуха; въ холодной комнатѣ кроликъ умираетъ скорѣе, чѣмъ въ теплой. Животныя, умирающія отъ голода, также живутъ дольше въ искусственно нагрѣтомъ воздухѣ.

Чтобы поддерживать въ нашемъ тѣлѣ то горѣніе, которое производить животную теплоту, мы должны постоянно принимать въ себя постороннія вещества, которыя пережигаются въ нашей крови или послѣ своего предварительнаго превращенія въ органическія ткани. Эти постороннія вещества, называющіяся общимъ именемъ пищи—различными процессами, совершающимися въ нашемъ тѣлѣ, перерабатываются въ плоть и кровь и развиваютъ силу теплоты, электричество, необходимое для нервовъ, механическую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, и ту особенную, неизслѣдованную силу, которой отправленія происходятъ въ мозгу. Пища и кислородъ, постоянно созидающій и постоянно разрушающій, составляютъ, по мнѣнію Молешота, единственные источники тѣхъ силъ, которыя обнаруживаются въ нашемъ тѣлѣ. Это мнѣніе можетъ быть принято какъ осизательная и неопровержимая научная аксіома.

Теплота нашего тѣла измѣняется періодически, смотря по возрасту человѣка, смотря по занятіямъ и по времени дня. У ребенка обмѣнъ веществъ совершается быстрѣе, чѣмъ у взрослога, и потому тѣло его обыкновенно на одинъ градусъ теплѣе. У старика обмѣнъ веществъ производится медленнѣе, чѣмъ у мужчины среднихъ лѣтъ, и соразмѣрно съ этимъ тѣло его на одинъ градусъ холоднѣе.

Движеніе, гимнастическія упражненія, работа, бѣганіе ускоряютъ обмѣнъ веществъ и выстѣ съ тѣмъ возвышаютъ температуру. Ускоряя горѣніе органическихъ тканей, механическая работа увеличиваетъ потребность въ пищѣ, усиливаетъ аппетитъ. Чѣмъ больше расходъ, тѣмъ больше долженъ быть и приходъ, иначе нельзя будетъ свести концы съ концами, и организмъ рано или поздно обанкротится. Въ жизни это явленіе очень обыкновенное. Тѣ сословія, которыя всего болѣе напря-

гаютъ свои физическія силы, питаются самою дешевою и, вслѣдствіе этого, самою не питательною пищею. Пролетарій, работающій съ утра до вечера, выбивающійся изъ силъ, изнемогающій подъ тяжестью труда, нуждается въ хорошемъ кускѣ мяса, въ питательномъ бульонѣ, въ dovolгoвременномъ отдохновеніи, а на повѣрку оказывается, что этому человеку, растрачивающему свои силы съ вынужденною расточительностью, приходится набивать желудокъ хлѣбомъ, капустой и картофелемъ, приходится спать кое-какъ, въ промежутки между работами. безъ хорошей постели, безъ теплаго одѣяла. Послѣдствія такого образа жизни предсказать не трудно. Преждевременная дрихлость и частыя болѣзни, безотрадная жизнь и ранняя смерть—вотъ что достается на долю голоднаго бѣдняка, работающаго черезъ силу. «Голодъ и холодъ, говоритъ Бюхнеръ, величайшіе враги человѣчества, непрерывно работающіе надъ гибелью отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ, и всегда достигающіе своей цѣли тамъ, гдѣ имъ изнутри или снаружи не можетъ быть противопоставлено достаточное сопротивленіе.»

На этой мысли великій фізіологъ сходитъ съ замѣчательнымъ по-
этомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькій, голодно

отвѣчаютъ прохожему въ «Коробейникахъ» Некрасова луга и звѣри, и мужики, у которыхъ этотъ прохожій спрашиваетъ причину ихъ бѣдствій и горестей. Этотъ страшный по своей простотѣ отвѣтъ смѣняется другимъ отвѣтомъ не менѣе выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно.

И въ этихъ двухъ отвѣтахъ сказано столько, сколько не выразишь десятию поэмами.

Голодъ и холодъ! Этими двумя простыми причинами объясняются всѣ дѣйствительныя страданія человѣчества, всѣ тревоги его исторической жизни, всѣ преступленія отдѣльныхъ лицъ, вся безнравственность общественныхъ отношеній. Вглядитесь въ дѣло внимательно и безъ предубѣжденія, и вы увидите, что въ этой мысли нѣтъ ничего преувеличеннаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего тѣла измѣняется періодически въ теченіи сутокъ. Утромъ, когда мы просыпаемся, она повышается и достигаетъ высшей степени послѣ обѣда, во время пищеваренія. Къ вечеру она понижается и доходитъ до низшей степени во время сна, послѣ полуночи. Когда мы спимъ, процессъ дыханія, кровообраще-

нія и обмѣна веществъ вообще совершаются гораздо медленнѣе, чѣмъ тогда, когда мы бодрствуемъ. Вслѣдствіе этого температура нашего тѣла понижается и мы на этомъ основаніи принуждены ночью покрываться теплѣе, чѣмъ мы покрываемся днемъ. Ночью всего легче простудиться и поэтому слѣдуетъ особенно беречься ночью сквознаго вѣтра, прикосновенія къ холоднымъ предметамъ, вліянія сырости и т. п. Кто ляжетъ спать на тюфякъ, принесенномъ съ морозу, тотъ навѣрное можетъ считать на сильную простуду и на опасную болѣзнь. Люди не умѣющие противиться тому желанію заснуть, которое проявляется почти всегда подъ вліяніемъ сильнаго холода, обыкновенно замерзають, потому что во время сна тѣло не вырабатываетъ достаточнаго количества собственной теплоты и слѣдовательно не можетъ бороться съ тѣмъ морозомъ, котораго дѣйствіе оно переносило во время бодрствованія.

Для того, чтобы организмъ взрослого человѣка находился въ нормальномъ положеніи, чтобы тѣло не увеличивалось и не уменьшилось въ вѣсѣ, не заплывало жиромъ и не доходило до худобы, необходимо соблюдать равновѣсіе между количествомъ принимаемой пищи и быстротою горѣнія органическихъ тканей. Мы видѣли выше, что пролетаріи сжигаютъ больше, чѣмъ сколько они принимаютъ извнѣ, и потому постепенно разрушаютъ свое собственное тѣло. Богатый человѣкъ, проводящій время въ бездѣйствіи, поступаетъ совершенно наоборотъ; онъ принимаетъ въ себя больше, чѣмъ сколько можетъ сжечь и накапливаетъ такимъ образомъ бесполезные и обременительные запасы жира. Такой образъ жизни не можетъ быть названъ правильнымъ и неизбежно ведетъ за собою разныя неудобства, непріятности и болѣзни, напр. уменьшеніе аппетита, расслабленіе желудка, расположеніе къ апоплексическому удару. Нормальный образъ жизни ведетъ тотъ человѣкъ, который, нѣдѣясь до сыта, работаетъ по мѣрѣ силъ; въ этомъ отношеніи умственная работа также полезна, какъ и механическая; дѣятельность мозга, подобно физическому движенію, возвышаетъ температуру тѣла и ускоряетъ процессъ горѣнія. Ученый, просидѣвшій нѣсколько часовъ за такою работою, которая требуетъ напряженія его мыслительной дѣятельности, чувствуетъ сильный аппетитъ, подобный аппетиту поденщика, коловшаго дрова или носившаго воду.

Зимою и лѣтомъ, въ холодный и въ теплый день, температура здороваго человѣка остается неизмѣнною. Между тѣмъ лѣтомъ человѣкъ не тратитъ такъ много теплоты, какъ зимою; холодный воздухъ быстро уноситъ теплоту человѣческаго тѣла и потому необходимо, чтобы этой теплоты вырабатывалось больше. Дѣйствительно, процессъ горѣнія и развитія животной теплоты усиливается въ холодное время. Человѣкъ и животное начинаютъ дышать глубже и чаще; это ускореніе совершается, вѣроятно, вслѣдствіе дѣйствія нервовъ на кровеносные сосуды; оно происходитъ

помимо воли самого недѣлимаго, такъ что путешественники, побывавшіе около полюсовъ и испытавшіе дѣйствіе сильнѣйшаго холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкія и какъ будто разрывалась грудь отъ усиленнаго дыханія. У людей и животныхъ, живущихъ въ холодномъ климатѣ, грудная кѣтка бываетъ особенно развита и легкія отличаются значительною величиною. Но, если ускоренное дыханіе ведетъ за собою, ускоренное горѣніе, то необходимо чтобы это горѣніе постоянно находило себѣ достаточно горючаго матеріала. Необходимо, слѣдовательно, чтобы во время холода человѣкъ или животное сѣдали больше пищи, чѣмъ во время жара. Такъ и бываетъ. Appetitъ усиливается зимою. Въ теплыхъ климатахъ достаточно 24 лота питательной пищи въ день, чтобы поддержать существованіе человѣка, а въ болѣе холодныхъ земляхъ для этого необходимо по крайней мѣрѣ 40 лотовъ питательной пищи. Неаполитанскій лаццарони питается макаронами и плодами и сѣдаетъ такое незначительное количество пищи, каковымъ никакъ не могъ бы прокормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы сѣдаютъ ежедневно по 10 фунтовъ мяса и по 5 фунтовъ сала или китоваго жира. Жители Исландіи, Лапландцы и Самоѣды изумляютъ путешественниковъ своимъ пристрастіемъ къ салу и къ жиру, который они пожираютъ въ огромномъ количествѣ, не обращая вниманія ни на вкусъ, ни на запахъ, ни на степень свѣжести. Это пристрастіе имѣетъ свои фізіологическія причины. Жиръ, какъ вещество, заключающее въ себѣ очень мало кислорода и очень много углерода и водорода, отлично поддерживаетъ органическій процессъ горѣнія точно также, какъ онъ отлично поддерживаетъ горѣніе лампы. Жиръ горитъ долго и своимъ горѣніемъ производитъ сильную теплоту; поэтому жиръ болѣе чѣмъ какое либо другое вещество приноситъ пользу жителямъ полярныхъ земель; онъ даетъ имъ возможность развѣвать то значительное количество животной теплоты, которое необходимо имъ, чтобы уравновѣсить охлаждающее дѣйствіе сильныхъ и продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климатѣ желудокъ усиливаетъ свою дѣятельность и одолѣваетъ такое количество пищи, которое могло бы разстроить его отправленія въ теплой странѣ. Путешественники, отправившіеся отъѣзживать остатки франклиновой экспедиціи, изумлялись тому невообразимому количеству мяса и сала, съ которымъ справлялись ихъ желудки подъ вліяніемъ полярнаго холода. Лѣтомъ или вообще въ тепломъ климатѣ выдѣленіе углекислоты уменьшается, весь обмѣнъ веществъ становится медленнѣе, appetitъ уменьшается и пищевареніе становится менѣе энергичнымъ. Бедуинъ отправляется въ дальнюю дорогу съ мѣшкомъ финиковъ подъ сѣдельною лукою. Отаитянинъ круглый годъ питается плодами своего хлѣбнаго дерева. Французы находятъ, что можно позавтракать, ограничиваясь салатомъ, орѣхами или каштанами. Подоб-

ная воздержность для насъ, жителей сѣвера, также непонятна, какъ прожорливость Гренландцевъ или Самоѣдовъ.

Не всѣ животныя обладаютъ, подобно человѣку, способностью усиливать или уменьшать выработываніе животной теплоты, смотря по свойствамъ окружающей температуры. Этой способности, заключающейся, вѣроятно, въ особенномъ устройствѣ нервовъ, нѣтъ у такъ называемыхъ *хладнокровныхъ* животныхъ, у змѣй, у лягушекъ, у рыбъ и т. п. Теплота этихъ животныхъ упадаетъ и возвышается вмѣстѣ съ окружающей температурою; это не нарушаетъ ихъ здоровья. При извѣстномъ охлажденіи они впадаютъ въ оцѣпенѣніе, которое проходитъ отъ дѣйствія теплоты. Говорятъ даже, что гусеницы, жабы и даже нѣкоторыя породы рыбъ, совершенно окоченѣвшія и затвердѣвшія отъ холода, оживаютъ, когда ихъ положить въ теплое мѣсто. Напротивъ того, всѣ млекопитающія и птицы умираютъ при извѣстной степени охлажденія и до послѣдней возможности борются противъ охлаждающаго дѣйствія внѣшней температуры. Даже тѣ животныя, которыя зимою засыпаютъ и которыя во время своего сна теряютъ значительную часть своей теплоты, не выносятъ охлажденія до нуля, т. е. до точки замерзанія воды.

Способность примѣняться къ окружающей температурѣ развивается постоянно вмѣстѣ съ другими силами животного. «Молодые воробьи, говоритъ Льюисъ, вынутые изъ гнѣзда, въ которомъ ихъ согрѣвала мать, при умѣренной температурѣ потеряли очень быстро около 11 градусовъ по Цельсію своей теплоты, такъ что ихъ тѣло оказалось только на полтора градуса теплѣе окружающаго воздуха.» Вообще, чѣмъ моложе животное, тѣмъ менѣе оно способно сопротивляться холоду быстрымъ усиленіемъ внутренней теплоты. За то для молодого животного перемены внутренней температуры не такъ опасны, какъ для взрослага. Кроме того, способность сопротивляться измѣненіямъ внѣшней температуры даже у взрослыхъ животныхъ измѣняется вмѣстѣ съ временами года. Первый жаркій весенній день дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, чѣмъ знойные дни іюля или августа. Точно также утренній морозъ, являющійся лѣтомъ или раннею осенью, кажется намъ гораздо холоднѣе такого же зимняго мороза. Опыты и наблюденія надъ животными показали, что они лѣтомъ при одинаковомъ градусѣ холода теряютъ больше внутренней теплоты, чѣмъ зимою. Организмъ привыкаетъ въ извѣстное время доставлять извѣстное количество теплоты. Потомъ когда окружающая температура постепенно сдѣлается теплѣе (при переходѣ отъ зимы къ веснѣ) или холоднѣе (отъ осени къ зимѣ), то и организмъ постепенно переимѣняетъ свою дѣятельность. Если же онъ вдругъ почувствуетъ сильное измѣненіе, онъ не успеетъ приготовиться, и вы испытаете то непріятное ощущеніе, которое причиняетъ даже здоровому человѣку внезапная переимѣна погоды. Кто живетъ въ Петербургѣ, тотъ

знаеть, чего стоятъ эти перемены, и какое громадное количество кашлей, насморковъ, ревматизмовъ и разнообразныхъ простудъ носится въ воздухѣ при быстрыхъ переходахъ отъ оттепели къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о животной теплотѣ, видно, что количество этой теплоты, постоянно выделяющееся изъ тѣла, очень значительно. По вычисленіямъ нѣмецкаго физиолога Бишофа оказывается, что взрослый человѣкъ въ теченіи 24-хъ часовъ выделяетъ такое количество теплоты, которое можетъ довести до кипѣнія 80 фунтовъ воды холодной какъ ледъ. Рождается вопросъ, на что же затрачивается это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ она употребляется на то, чтобы сообщать пищу и питью, входящимъ въ наше тѣло, ту температуру, въ которой находятся наши внутренности. Всѣ холодные предметы, употребляемые въ пищу, согреваются въ желудкѣ и въ кишкахъ и такимъ образомъ непосредственно отнимаютъ у насъ нѣкоторую часть нашей теплоты. Испражнения наши, при выходѣ изъ тѣла, представляютъ температуру отъ 29 — 30 градусовъ по Реомюру, и уносить съ собою отъ 2 — 3 процентовъ всего количества тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающій въ наши легкія при вдыханіи, обыкновенно бываетъ гораздо холоднѣе нашего тѣла; возвращаясь изъ легкихъ, онъ оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени. Это нагрѣваніе вдыхаемаго воздуха отнимаетъ у нашего тѣла отъ 5 — 6 процентовъ всей суточной потери теплоты.

Превращеніе твердыхъ веществъ въ жидкія, и жидкихъ въ газообразныя поглощаетъ извѣстное, довольно значительное количество теплоты, которая дѣлается *скрытою* и потомъ при обратномъ процессѣ, т. е. при превращеніи газообразнаго тѣла въ жидкое или жидкаго въ твердое, снова освобождается. Таяніе льда, превращеніе воды въ паръ уноситъ изъ окружающаго воздуха нѣкоторое количество теплоты и производитъ такимъ образомъ охлажденіе.

На поверхности всего нашего тѣла и на внутренней поверхности легкихъ происходитъ постоянно выдѣленіе воды въ газообразномъ состояніи; это испареніе воды поглощаетъ значительное количество теплоты и уноситъ изъ нашего тѣла отъ 14—15 процентовъ всей суточной потери. Охлажденіе кожи становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше количество выделяемой воды; это охлажденіе доходитъ до высшей степени, когда на поверхности кожи выступаютъ водяныя капли, которыя называются потомъ или испариною. Съ появленіемъ пота неразлучно сильное охлажденіе всего тѣла, такъ что выступающая испарина облегчаетъ горячечное состояніе и въ глазахъ врача является однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ выздоровленія. Люди, сильно потѣющіе лѣтомъ, мень-

ше страдают отъ жара, тѣмъ люди, лишенные этой способности или обладающіе ею въ меньшей степени. Франклинъ рассказываетъ, что жнецы въ Пенсильваніи почти вовсе не страдаютъ отъ самаго сильнаго зноя; они пьютъ воду въ огромномъ количествѣ и вслѣдствіе этого потѣютъ такъ сильно, что совокупность воды, выдѣляемой ими въ однѣ сутки, равняется по вѣсу одной пятой или шестой части всего ихъ тѣла; охлажденіе, вызываемое испареніемъ этой воды, составляетъ противовѣсъ солнечному жару и даетъ жнецамъ возможность работать, не выбываясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. Замѣчено также, что работники, занимающіеся на стеклянныхъ, фарфоровыхъ или литейныхъ заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, увеличивая такимъ образомъ количество выдѣляемаго пота, легче переносятъ тотъ страшный жаръ, въ которомъ они должны находиться во время работы.

Въ жаркій лѣтній день мы всегда чувствуемъ сильную жажду, которую всего пріятнѣе утолять холодными напитками. Эти напитки прохлаждаютъ тѣло отчасти непосредственно, отчасти тѣмъ, что возбуждаютъ усиленное выдѣленіе пота; повредить организму они не могутъ; для того чтобы значительное количество холодной воды не обременило собою желудка, достаточно прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тѣла воды имѣютъ значительное вліаніе свойства окружающаго насъ воздуха; тѣмъ суше воздухъ, тѣмъ больше онъ способенъ принимать въ себя водяные пары и тѣмъ сильнѣе онъ поглощаетъ газообразную воду, выдѣляющуюся изъ нашего тѣла. Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тѣло сильнѣе сырого воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ при 20 градусахъ тепла доставляетъ намъ столько же прохлады, сколько сырой воздухъ при 14 градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ сильный холодъ по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, рѣдкій воздухъ содѣйствуетъ испаренію воды изъ нашего тѣла; во-вторыхъ, этотъ рѣдкій воздухъ слабѣе нагревается лучами солнца и даетъ нашимъ легкимъ меньше кислорода, слѣдовательно ослабляетъ процессъ органическаго горѣнія; въ-третьихъ, въ этихъ мѣстахъ постоянно дуетъ вѣтеръ, и это обстоятельство значительно усиливаетъ холодъ. На сколько холодъ становится чувствительнѣе нашему организму при сухости воздуха, на столько же усиливается ощущеніе жара при сырости атмосферы. Совершенно сырой воздухъ при сильномъ зноѣ дѣйствуетъ на тѣло разслабляющимъ образомъ. Тѣлу некуда тратить своей теплоты; окружающій воздухъ очень тепелъ и слѣдовательно уноситъ очень мало теплоты своимъ непосредственнымъ прикосновеніемъ; сверхъ того, этотъ воздухъ насыщенъ водяными парами и слѣдовательно не принимаетъ испареній нашего тѣла; обмѣнъ веществъ, совершающійся на поверхности нашего тѣла, оказывается нарушеннымъ, и во всемъ организмѣ

является тяжелое ощущение. Сырой и жаркій климатъ разрушительно дѣйствуетъ на здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны разныя болѣзни, мѣстныя лихорадки и горячки, которыя особенно губительно дѣйствуютъ на иностранцевъ. Если посадить животное въ комнату, наполненную совершенно сырымъ воздухомъ, котораго теплота превышаетъ температуру тѣла, то животное скоро умретъ.

Мы видѣли такимъ образомъ, что теплота нашего тѣла тратится на согрѣваніе веществъ, входящихъ въ желудокъ, на согрѣваніе воздуха, проникающаго въ легкія, и на превращеніе воды изъ жидкаго состоянія въ газообразное. Этими тремя способами истрачивается около 24 процентовъ суточной потери. Все остальное количество вырабатываемой теплоты уходитъ путемъ непосредственнаго охлажденія, т. е. нагрѣваетъ собою тѣ слои воздуха, которые прикасаются къ нашему тѣлу. Окружающій насъ воздухъ постоянно гораздо холоднѣе нашего тѣла и потому, какъ только онъ дотрогивается до него, такъ извѣстное количество нашей теплоты уходитъ въ воздухъ, и мы испытываемъ ощущение прохлады или холода, смотря потому, какъ велико различіе температуры между воздухомъ и нашимъ тѣломъ. Что воздухъ дѣйствительно нагрѣвается отъ прикосновенія къ нашему тѣлу, это доказывается тѣмъ, что намъ становится жарко зимою въ нетопленной церкви, если она наполнена людьми. Такъ какъ большая часть истрачиваемой нами теплоты, именно 76 процентовъ или болѣе трехъ четвертей, уходитъ въ окружающій насъ воздухъ, то испытываемыя нами ощущенія жара или холода зависятъ почти исключительно отъ температуры этого воздуха и отъ того обстоятельства, насколько мы подвержены его прикосновенію. Желая выдти на улицу, мы смотримъ на термометръ и, соображаясь съ его показаніями, надѣваемъ то или другое платье. Выдя на улицу, мы инстинктивно, принимаемъ тѣ или другія мѣры для усиленія или для ослабленія вырабатываемаго нами количества теплоты; мы ускоряемъ походеу, если чувствуемъ холодъ, и, придавая нашимъ движеніямъ большую быстроту, усиливаемъ процессъ органическаго горѣнія. Если намъ жарко, мы, напротивъ того, идемъ медленнѣе, движенія наши становятся лѣннѣе, органическое горѣніе ослабляется и мы пассивно защищаемся противъ жара, уходимъ въ тѣнь, ищемъ вѣтерка, радуемся тучкѣ, набѣжавшей на солнце.

Въ умѣренномъ климатѣ, въ самое знойное лѣто, температура воздуха не достигаетъ той степени теплоты, на которой постоянно находятся наша кровь и внутреннія части нашего тѣла. Когда воздухъ нагрѣвается до 30 градусовъ Реомюра, мы уже не знаемъ, куда дѣваться отъ жара; мы надѣваемъ самое легкое платье, уходимъ въ тѣнистыя мѣста, купаемся по нѣсколько разъ въ день и все-таки воздухъ отнимаетъ у нашего тѣла такое незначительное количество вы-

рабатываемой нами теплоты, что мы чувствуемъ какое-то расслабленіе, вялость, неспособность къ работѣ. Намъ тяготитъ то количество теплоты, котораго намъ некуда выдѣлать. Температура воздуха, равняющаяся теплотѣ нашего тѣла, была бы для насъ *à la longue* невыносима. Животныя раздѣляютъ съ нами эти ощущенія. Всякій имѣлъ случай наблюдать, какъ лѣтомъ, около полудня, все въ природѣ затихаетъ и въ своей неподвижности ищетъ того уменьшенія внутренней теплоты, котораго нельзя найти въ прикосновеніи окружающей атмосферы. Чтобы человѣкъ, снявшій съ себя все платье, могъ чувствовать себя вполне хорошо — необходимо, чтобы температура окружающаго воздуха заключала въ себѣ отъ 22 — 25 градусоѡъ, т. е. чтобы она была градусоѡъ на 8 ниже температуры нашего тѣла. Когда же прикосновеніе между нашимъ тѣломъ и воздухомъ ослаблено, т. е. когда мы одѣты, то такая температура слишкомъ высока и дѣлается уже непріятною; тогда достаточно, смотря по возрасту и общей комплекціи человѣка, отъ 15 до 20 градусоѡъ.

Одежда предохраняетъ насъ отъ дѣйствія холода тѣмъ, что она устраняетъ непосредственное прикосновеніе воздуха. Всѣ тѣла, извѣстныя намъ въ практической жизни, могутъ быть раздѣлены на хорошіе и худые проводники теплоты. Всякій знаетъ, что если желѣзная палка съ одного конца накалена до красна, то и другой конецъ ея, не лежавшій въ огнѣ, непременно обожжетъ прикасающуюся къ нему руку. Всякому точно также извѣстно, что деревянную палку, зажженную съ одного конца, можно держать въ рукахъ, не боясь обжоба. Всѣ металлы принадлежатъ къ числу хорошихъ проводниковъ теплоты, т. е. всѣ они очень быстро принимаютъ и передаютъ температуру окружающаго воздуха. Желѣзная крыша накаляется лѣтомъ и дѣлается невыносимо холодною во время зимы. Желѣзный домъ былъ бы вслѣдствіе этого обстоятельства въ высшей степени неудобенъ, холоденъ зимою и невыносимо тепелъ лѣтомъ. Одежда, сотканная изъ тонкихъ металлическихъ нитокъ, имѣла бы всѣ эти неудобства; она лѣтомъ не предохраняла бы отъ жара, а зимою не защищала бы отъ холода. Для построенія нашихъ жилищъ, и для приготовленія одежды мы выбираемъ, по возможности, самые худые проводники теплоты. Шерсть, изъ которой дѣлаются наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой готовится огромное количество разнообразныхъ матерій, и которая толстыми слоями кладется между покрывкою и подкладкою теплыхъ одеждъ, мѣха, служащія для приготовленія пубъ, и пухъ, замѣняющій вату или хлопчатую бумагу, принадлежатъ къ числу самыхъ худыхъ проводниковъ теплоты. Это объясняется тѣмъ, что между тонкими волокнами этихъ веществъ находится нѣсколько изолированныхъ слоеѡъ воздуха, а воздухъ принадлежитъ къ самымъ худымъ проводникамъ. Чѣмъ пушистѣе какая нибудь матерія,

т. е. тѣмъ больше слоевъ воздуха находится между ея волокнами, тѣмъ хуже она проводитъ теплоту, и слѣдовательно, тѣмъ сильнѣе она защищаетъ наше тѣло отъ дѣйствія внѣшняго воздуха. Одежда помогаетъ намъ переносить такія низкія температуры, которыя принесли бы намъ вѣрную смерть, если бы мы подвергли ихъ дѣйствію свое непокрытое тѣло. Въ хорошей шубѣ мы можемъ переносить морозъ отъ 15 до 20 градусовъ, не чувствуя особеннаго страданія; та же самая температура заморозила бы насъ въ короткое время, еслибы мы не были защищены отъ ея дѣйствія плохими проводниками.

Движеніе воздуха значительно увеличиваетъ охлажденіе нашего тѣла, потому что при вѣтрѣ новыя слои воздуха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, дотрогиваются до непокрытыхъ частей нашего тѣла, напр. до лица и мгновенно уносятъ вырабатываемую нами теплоту. Такая степень холода, которая при отсутствіи вѣтра, почти вовсе не доставляетъ намъ непріятныхъ ощущеній, становится невыносимою при сильномъ движеніи воздуха. Мореплаватели, бывавшіе въ полярныхъ странахъ, говорятъ, что холодъ въ 32° по Реомюру при совершенной тишинѣ сносимъ холода въ 13° при сильномъ вѣтрѣ. Капитанъ Парри рассказываетъ, что при холодѣ въ 38° по Реомюру безъ вѣтра, можно было въ продолженіи четверти часа оставлять руки незакрытыми. Когда же поднимался вѣтеръ, то это дѣлалось невозможнымъ даже при 13° холода.

Во время жара движеніе воздуха доставляетъ пріятную прохладу, если только температура воздуха не превышаетъ теплоты нашего тѣла. Въ тропическихъ земляхъ, богатые люди проводятъ знойное время дня въ домахъ и воздухъ въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ движеніе посредствомъ большихъ вѣеровъ или опахалъ. Сверхъ того окна завѣшиваются большими соломенными матами, которыя разъ десять въ часъ обливаются водою. Потокъ разогрѣтаго воздуха, проходя черезъ мокрую занавѣску превращаетъ воду въ пары, охлаждается въ слѣдствіе этого, и, доходя до обитателей комнаты, приноситъ имъ пріятное и живительное ощущеніе прохлады. Только при подобномъ искусственномъ охлажденіи атмосферы европейцу удастся свыкнуться съ такимъ климатомъ, въ которомъ температура воздуха нерѣдко становится на 10 или 12 градусовъ выше теплоты тѣла.

Замѣчательно, что въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ человекъ можетъ выносить температуру, далеко превышающую теплоту тѣла. Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь минутъ въ сухой комнатѣ, нагрѣтой до 80° Реомюра. Тилье рассказываетъ, что одна булочница провела 10 минутъ въ топленной печкѣ, въ которой жаръ доходилъ до 90°. Льюисъ говоритъ, что знаменитый «царь огня» Шаберъ возбудилъ въ зрителяхъ величайше удивленіе, войдя въ печку, нагрѣтую выше 160° Реомюра. Мы получаемъ такимъ образомъ заключеніе, что есть люди, способные

перенести въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ температуру, далеко превышающую точку кипѣнія воды. Если вѣрить рассказу о подвигѣ Шабера, то окажется, что крайній предѣлъ жара, который можетъ вынести человѣкъ, вдвое сильнѣе того жара, который заставляетъ кипѣть воду, четверо сильнѣе теплоты нашей крови и слишкомъ впятеро сильнѣе того лѣтняго зноя, который приводитъ насъ въ разслабленное состояніе.

Изумительна также та степень холода, которую нерѣдко приходилось выдерживать путешественникамъ, пускавшимся въ полярныя экспедиціи. Холодъ ходилъ до 32, до 40, по словамъ Льюиса, даже до 60° Реомюра. Эта борьба съ холодомъ, стоящимъ слишкомъ на 65° ниже комнатной температуры и на 90° ниже температуры тѣла, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнѣе подвиговъ Шабера. Шаберь входилъ въ пещку, изъ которой онъ могъ тотчасъ выйти, а несчастные путешественники имѣли дѣло съ неумолимымъ и неотразимымъ врагомъ. Для нихъ отступленіе было невозможно; имъ надо было выдержать борьбу или умереть, какъ умеръ Франклинъ съ своими спутниками, какъ умирали многіе смѣльчаки, участвовавшіе въ неудачныхъ полярныхъ экспедиціяхъ. Испытаніе Шабера продолжалось двѣ, три минуты, а борьба полярныхъ путешественниковъ съ мертвымъ холодомъ тянулась цѣлыми мѣсяцами. Хорошее отопленіе корабля, обильная питательная пища, теплая мѣховая одежда, усиленіе моціона и произвольное усиленіе дыханія являлись главными вспомогательными средствами въ этой страшной борьбѣ человѣка съ колоссальными силами природы; и въ большей части случаевъ человѣкъ одолевалъ, т. е. успѣвалъ сохранить жизнь и даже здоровье, не смотря на разрушительное дѣйствіе низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человѣкъ способенъ выдержать температуру, стоящую на 90° Реомюра ниже и на 90° Реомюра выше температуры его тѣла. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что всѣ климаты земнаго шара доступны человѣку, и что гибкій организмъ его, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, можетъ примѣниться и къ 35-тиградусному жару тропиковъ и къ 35-тиградусному холоду Шпицбергена и Гренландіи.

Но, чтобы господствовать надъ окружающими насъ физическими условіями, надо знать тѣ законы, которымъ они повинуются. Всякая попытка нарушить физическій законъ ведетъ за собою самыя непріятныя послѣдствія. Обладая способностью переносить при извѣстныхъ условіяхъ почти всѣ естественныя температуры, существующія на поверхности нашей планеты, человѣкъ можетъ по неосторожности или по невѣденію разрушить свое здоровье очень умѣренной степенью жара или холода. Простуда является въ большей части случаевъ главною причиною нашихъ болѣзней, и простужаемся мы большею частью не оттого, что холодъ особенно силенъ, не оттого, что намъ не-откуда взять теплое платье,

а оттого, что мы не имѣемъ понятія о потребностяхъ нашего организма и потому опускаемъ необходимыя предосторожности или совершенно не въ попадь начинаемъ дѣйствовать по какой нибудь не вѣрно понятой гигиенической системѣ.

Простуда является всего легче и бываетъ всего опаснѣе въ томъ случаѣ, когда сильный холодъ дѣйствуетъ внезапно на очень теплую кожу. Особенно вреденъ бываетъ сквозной вѣтеръ или обливаніе холодною водою послѣ разгоряченія и сильнаго выдѣленія пота. Также вреденъ быстрый переходъ отъ зимняго платья къ лѣтнему. Простуда можетъ также совершиться постепенно и совершенно незамѣтно для самаго пациента; если мы носимъ слишкомъ легкое платье, не довольно тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ въ холодной и сырой квартирѣ или въ такомъ суровомъ климатѣ, который не по силамъ нашему тѣлосложенію, то мы простужаемся постепенно и мало по малу подкапываемъ наше здоровье.

Попытки приучить себя къ холоду, стремленіе укрѣпить здоровье своихъ дѣтей такъ называемымъ спартанскимъ воспитаніемъ возбуждаютъ справедливую оппозицію со стороны всякаго рачительно образованнаго медика. Можно до нѣкоторой степени притупить тѣ нервы, которые проводятъ въ мозгъ ощущеніе боли, но нѣтъ никакой возможности уничтожить вредное дѣйствіе холода на организмъ. Приучить тѣло къ холоду все равно, что приучить желудокъ къ голоду, спину къ розгамъ, легкія къ отсутствію кислорода, глаза къ полной темнотѣ. Вы никакъ не приучите воду къ тому, чтобы она не замерзала при 0° и не кипѣла, подъ обыкновеннымъ давленіемъ, при 80° Реомюра. Вспомните, что ваше тѣло въ своихъ составныхъ частяхъ повинуется тѣмъ же законамъ, которыми покоряется вода; вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце бьется, и желудокъ варитъ пищу помимо вашей воли, вспомните, что въ васъ дѣйствуютъ тѣ же физическія и химическія силы, которыя сталкиваются и переплетаются между собою въ окружающемъ мірѣ и вы убѣдитесь въ томъ, что бороться съ своими непосредственными ощущеніями значить бороться съ силами природы и противопоставлять этимъ силамъ не такія же дѣйствительныя физическія силы, а одну отвлеченную, неуловимую и неосозательную силу своей воли.

Если вы почувствовали холодъ, смѣло надѣвайте теплое платье; если существуетъ ощущеніе, то существуетъ и причина, вызвавшая это ощущеніе; не бойтесь изнѣжить себя; когда теплое платье сдѣлается излишнимъ, вамъ доложить объ этомъ то же самое ощущеніе, которое заставило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы изнѣживаемъ себя не тѣмъ, что повинuemся нашимъ ощущеніямъ, а тѣмъ, что съ дѣтства, по милости родителей и воспитателей, привыкаемъ къ искусственнымъ наслажденіямъ и создаемъ себѣ искусственныя потребности.

Если вы считаете необходимымъ имѣть за обѣдомъ полдюжины замысловатыхъ соусовъ, въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглушенъ пряностями и приправами, то эту потребность смѣло можно назвать искусственною; но если вы, какъ здоровый человѣкъ, часто чувствуете сильный аппетитъ и съѣдаете за вашимъ обѣдомъ по нѣскольку кусковъ хорошей говядины, то вамъ остается только радоваться правильнымъ отправленіямъ вашего желудка и немедленно удовлетворить всѣмъ его требованіямъ. Каждому педагогу, заведывающему матеріальною частью воспитанія, слѣдуетъ внушить строго на-строго, что онъ воленъ не баловать своихъ воспитанниковъ рагу и фрикасе, но что онъ положительно обязанъ кормить ихъ до отвала здоровую, свѣжую пищую. Держаться въ отношеніи къ продовольствію воспитанниковъ или воспитанницъ спартанской системы—въ высшей степени безчеловѣчно; если это дѣлается ради укрѣпленія здоровья дѣтей, то это обличаетъ тупоуміе и полнѣйшее невѣжество педагога; если же это дѣлается изъ личнаго, экономическаго расчета, тогда это подлѣе всякаго взяточничества. Это значитъ лишать воспитанниковъ тѣхъ силъ, которыя только что начинаютъ развиваться, и которыя необходимы имъ въ будущемъ для того, чтобы наслаждаться жизнью и по мѣрѣ силъ дѣйствовать на пользу своихъ согражданъ.

То, что я сказалъ о пищѣ, вполне прилагается и къ теплотѣ. Теплота, по выраженію Гюфеланда, другъ жизненной силы, и для здоровья человѣка ея присутствіе въ умѣренной степени также необходимо, какъ для прозябанія травы, для распусканія цвѣтка и для созрѣванія плода. Если вашъ воспитанникъ забнетъ—укройте его, вытопите комнату, перемѣните квартиру; къ холоду и къ сырости человѣческій организмъ не пріучается и экономизировать на теплотѣ также безсовѣстно, какъ экономизировать на пищѣ.

Теплота всего необходимѣе для человѣка въ началѣ и въ концѣ его жизни. Новорожденный ребенокъ выходитъ изъ такой среды, которая гораздо теплѣе комнатнаго воздуха; его надо пріучать постепенно даже къ теплой, комнатной температурѣ; съ нимъ надо обращаться бережно и нѣжно, чтобы не задавить слабо мерцающую искру жизни. Обычай Спартанцевъ и древнихъ Германцевъ купать новорожденныхъ дѣтей въ холодной водѣ изумляетъ насъ своею нелѣпостью; ни одна собака не поступитъ такимъ образомъ съ своимъ щенкомъ, ни одна птица не выгонитъ изъ теплаго гнѣзда своихъ неоперившихся птенцовъ; Спартанцы и отчасти Германцы, какъ народъ, жившій войною и грабежемъ, могли обращаться такъ неосторожно съ своими новорожденными дѣтьми собственно съ тою цѣлью, чтобы избавить себя отъ труда воспитывать слабыхъ и болѣзненныхъ младенцевъ; Спартамъ законы Ликуръ приказывали даже положительно убивать уродливыхъ или щедушныхъ дѣтей.

Надо впрочемъ замѣтить, что даже эта цѣль не достигается купаніемъ дѣтей въ холодной водѣ; во-первыхъ, совершенно здоровый и очень хорошо сложенный ребенокъ можетъ умереть отъ подобныхъ передѣлокъ; во-вторыхъ, очень болѣзненные дѣти часто превращаются, вырастая, въ очень сильныхъ и здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для дѣтей самымъ тяжелымъ и опаснымъ временемъ; справьтесь съ статистическими таблицами и вы увидите, что почти половина дѣтей, родившихся въ такомъ-то году умираетъ, не достигши пятилѣтняго возраста. Организмъ молодого существа, не успѣвшій укрѣпиться и развернуть свои силы, не успѣвшій примѣниться къ той борьбѣ съ внѣшнею природою, которая называется жизнью, погибаетъ и разрушается частью отъ невѣжества окружающихъ людей, частью отъ ихъ безпечности, частью отъ излишней внимательности и неумѣстной заботливости. Когда первые годы дѣтства пройдутъ благополучно, тогда можно постепенно укрѣплять силы ребенка тѣлесными упражненіями, можно мало-по-малу приучать его къ холоду, но при этомъ надо соблюдать извѣстную послѣдовательность и твердо помнить то обстоятельство, что есть естественныя границы, которыхъ не слѣдуетъ переступать ни въ какомъ случаѣ. Въ холодномъ климатѣ надѣвать на дѣтей шотландскій костюмъ, водить ихъ осенью или весною по улицѣ съ голыми икрами значить во всякомъ случаѣ подвергать ихъ здоровью самой серьезной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упадокъ силъ, теплота также полезна и необходима, какъ и ребенку. Въ теплое время года старики чувствуютъ себя лучше обыкновеннаго; зимою они любятъ искусственную теплоту топленной комнаты; въ нашемъ простонародѣ старики проводятъ большую часть года на печкѣ или, какъ ее называютъ въ деревняхъ средней Россіи, на лежанкѣ. Теплыя ванны, усиливающія дѣятельность кожи и уменьшающія ея сухость и жесткость, особенно полезны для стариковъ.

Люди, ведущіе большею частью сидячую жизнь, нуждаются въ большемъ притоцѣ теплоты, чѣмъ люди, часто прогуливающіеся или работающіе на открытомъ воздухѣ.

Люди холоднаго, флегматическаго или меланхолическаго темперамента больше страдаютъ отъ холода, чѣмъ люди горячіе, энергическіе, холерики или сангвиники. Во время зимняго холода 1812 года мерзли преимущественно Голландцы и Нѣмцы, несмотря на то, что Французы, Испанцы и Итальянцы, находившіеся въ арміи Наполеона, меньше ихъ были приучены къ холоду.

Вообще люди слабаго сложенія, не отличающіеся значительною энергіею жизненныхъ отправленій, т. е. сильнымъ аппетитомъ, крѣпкими легкими, хорошимъ пищевареніемъ, развитою дѣятельностью половой

системы, любить теплую температуру и не выносить холода; напротив того, люди крѣпкіе и полнокровные предпочитаютъ прохладную атмосферу и въ ней чувствуютъ себя вполне хорошо. Умѣренная степень холода, дѣйствующая на наше тѣло въ короткій промежутокъ времени, оживляетъ жизненные отправления, привлекаетъ кровь къ кожѣ и вообще къ поверхности тѣла, ускоряетъ обменъ веществъ, усиливаетъ выработываніе внутренней теплоты и дѣятельность легкихъ. возбуждаетъ нервную систему, словомъ вызываетъ во всемъ организмѣ усиленное движеніе жизни. Но продолжительное дѣйствіе холода всегда ведетъ за собою вредныя послѣдствія уже потому, что напрягаетъ въ извѣстномъ направленіи силы организма и, требуя отъ него усиленной дѣятельности, истощаетъ его этими непомѣрными требованіями.

Для здоровья человѣка всего полезнѣе умѣренный климатъ, въ которомъ нѣтъ ни слишкомъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лѣтнихъ жаровъ, ни рѣзкихъ переходовъ отъ одной температуры къ другой. Конечно, такой идеально-здоровый климатъ мудрено найти на земномъ шарѣ, но вообще можно замѣтить, что приморскія земли, въ которыхъ вліяніе морскихъ испареній смягчаетъ и лѣтній зной и зимній холодъ, пользуются самымъ умѣреннымъ и благораствореннымъ климатомъ. Это положеніе допускаетъ впрочемъ множество исключеній; конечно, сѣверные берега Сибири не отличаются пріятнымъ климатомъ, несмотря на то, что они прилегаютъ къ морю; точно также острова Борнео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здоровымъ климатомъ; находясь въ жаркомъ поясѣ, эти острова отличаются, какъ извѣстно, очень знойнымъ и сырымъ воздухомъ; растительность достигаетъ до колоссальныхъ размѣровъ, животная жизнь кипитъ красотою и силою, но человѣкъ, подавленный жаромъ, который, какъ и говорилъ выше, становится еще невыносимѣе вслѣдствіе того, что воздухъ насыщенъ водяными парами, человѣкъ, повторяю я, въ такомъ климатѣ не можетъ жить умственной жизнью и равномерно развивать всѣ стороны своего существа. Что же касается до приморскихъ земель, лежащихъ въ умѣренномъ поясѣ, то ихъ климатъ по своей мягкости значительно превосходитъ климатъ континентальныхъ земель. Счастливымъ климатомъ пользуется Англія, несмотря на свои густые туманы. Въ сѣверо-восточной Ирландіи, подъ однимъ градусомъ широты съ Кенигсбергомъ, вода рѣдко замерзаетъ зимою и миртъ растетъ на открытѣмъ воздухѣ точно также какъ въ Португаліи. «Необыкновенная сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою англійскій умъ развился и продолжаетъ развиваться по всѣмъ направленіямъ жизни и науки, представляетъ, быть можетъ, отчасти слѣдствіе этихъ благоприятныхъ климатическихъ условій».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ леченія. Когда выработываніе животной теплоты ослабѣ-

ваетъ вслѣдствіе болѣзненнаго разстройства, тогда всего лучше согрѣвать пациента искусственными средствами. Припарки, потогонное питье, теплыя ванны, отправленіе больныхъ въ теплый климатъ,—все это такіе медицинскіе приемы, которые знакомы по наслышеѣ или по собственному опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышеніе или пониженіе общей температуры тѣла даетъ медику возможность судить объ общей силѣ жизненныхъ отправленій у пациента. Жаръ или ознобъ сопровождаютъ собою большею частью каждое болѣзненное состояніе и указываютъ на ненормальное усиленіе или ослабленіе органическаго горѣнія, на неравномѣрное распредѣленіе теплоты въ различныхъ частяхъ тѣла, на болѣзненное нарушеніе въ одномъ изъ важнѣйшихъ процессовъ: въ кровообращеніи, дыханіи или пищевареніи. Все это принимается въ соображеніе свѣдущимъ врачомъ и потому небольшой термометръ, служащій для изслѣдованія теплоты больныхъ, почти всегда находится при врачѣ, изучающемъ добросовѣстно состояніе своихъ пациентовъ.

1862 г. Февраль.

ПРОГРЕССЪ ВЪ МІРѢ ЖИВОТНЫХЪ И РАСТЕНІЙ.

ВВЕДЕНІЕ.

I.

Человѣкъ, совершенно незнакомый съ естественными науками, не можетъ даже приблизительно представить себѣ, до какой степени разнообразны произведенія природы. Натуралисты до сихъ поръ не могутъ сравиться съ этимъ разнообразіемъ, и до сихъ поръ постоянно строятъ различныя классификаціи, которыя постоянно приходится передѣлывать то въ самомъ основаніи, то въ многочисленныхъ подробностяхъ.

Во первыхъ, всю природу нашей планеты дѣлятъ на три царства: минеральное, растительное и животное; но съ одной стороны, Жоффруа-Сентъ-Илеръ и Катрфажъ желаютъ, чтобы для человѣка было отведено четвертое царство, а съ другой стороны, нѣкоторые ученые утверждаютъ, что между растеніями и животными нельзя провести рѣзкую границу, потому что между ними существуетъ множество переходныхъ формъ. Разногласіе начинается такимъ образомъ съ перваго шага; за тѣмъ царства раздѣляются на отдѣлы; царство животныхъ, которое я постоянно буду имѣть въ виду въ этомъ очеркѣ, раздѣляется на два *отдѣла* — позвоночные и беспозвоночные. Къ первому принадлежать четыре класса: млекопитающіе, птицы, земноводныя и рыбы; ко второму — четырнадцать различныхъ классовъ, изъ которыхъ я назову здѣсь насѣкомыхъ, моллюсковъ, полиповъ и микроскопическихъ инфузорій. Потомъ классы распадаются на *порядки*, *порядки* — на *группы*, *группы* — на *семейства*, *се-*

мейства — на *роды*, роды — на *виды*, и наконецъ въ каждомъ видѣ различается по нѣскольку породъ; расъ или разновидностей. Вотъ тутъ-то, въ самомъ концѣ классификаціи, натуралисты-систематики испытываютъ постоянныя огорченія. Возьмемъ, напримѣръ, барана. Принадлежитъ онъ, по учебнику г. Григорьева, къ царству животныхъ, къ отдѣлу позвоночныхъ, къ классу млекопитающихъ, къ порядку двукопытныхъ, къ семейству полорогихъ, къ роду — *ovis*; видъ — *ovis aries*.

Пока идетъ дѣло о высшихъ инстанціяхъ, отъ царства до порядка, и даже до семейства, дѣло тѣхъ поръ все обстоитъ благополучно; что баранъ — животное, что у него есть позвоночный хребетъ, что его самка питаетъ дѣтей молокомъ, что у него раздвоенныя копыта, и полные рога — все это неопровержимыя истины. Но произносится родовое названіе *ovis* и начинается рядъ недоразумѣній; вы не знаете, на что указываетъ это названіе — на сходство признаковъ, или на единство происхожденія. Что за слово *ovis*? Похоже ли оно на слово *блондинъ* или *брюнетъ*, или, напротивъ того, на фамилію *Петровъ* или *Ивановъ*? Вы предлагаете этотъ вопросъ натуралисту, и онъ вамъ отвѣчаетъ, что различные члены одного рода соединены между собою только сходствомъ признаковъ. А члены одного вида? спрашиваете вы дальше. Это другое дѣло, отвѣчаетъ натуралистъ, тѣ связаны между собою единствомъ происхожденія. «Тѣ животныя, говоритъ вамъ учебникъ, которыя сходны между собою во всѣхъ своихъ признакахъ (въ строеніи своихъ органовъ, въ наружной формѣ тѣла, въ образѣ жизни и проч.) и которыя *происходятъ отъ совершенно подобныхъ себѣ родителей*, соединяются при описаніяхъ вмѣстѣ въ одинъ видъ.»

Чудесно, думаете вы. Вотъ у меня *ovis aries*; стало быть, и сынъ его будетъ *ovis aries*, и внукъ, и правнукъ, и такъ далѣе, до свѣтопреставленія. Если же я обращу взоръ свой въ прошедшее, то увижу за своимъ *ovis aries* необозримо длинный рядъ предковъ, которые всѣ точь въ точь похожи другъ на друга, и на своего общаго родоначальника, на перваго *ovis aries*, явившагося на свѣтъ безъ отца и безъ матери. Понимаю. Успокоившись такимъ образомъ, вы продолжаете читать исторію о баранѣ, но вдругъ оказывается, что вы совсѣмъ ничего не понимаете. Вамъ объявляютъ, что баранъ «представляетъ множество разновидностей, какъ-то: мериносы изъ Испаніи, съ тонкою курчавою шерстью; англійская овца, безрогая съ тонкою шерстью; венгерскій баранъ съ спирально закрученными рогами и грубою шерстью; курдючныя и жирнохвостыя овцы, замѣчательныя скопленіемъ жира въ хвостъ и въ задней части тѣла, съ хвостомъ длиннымъ, толстымъ, и съ повислыми ушами». А куда же дѣвался настоящій представитель вида? Гдѣ вашъ неизмѣнный *ovis aries*, на котораго вы надѣялись, какъ на каменную гору, и который долженъ былъ происходить «отъ совершенно по-

добыть себѣ родителей?» Онъ васъ обманулъ, онъ растаялъ у васъ въ рукахъ, и превратился во «множество разновидностей», съ которыми вы опять не знаете, что дѣлать. Вамъ представляются два возможныхъ объясненія, и оба они одинаково губительны для вида *ovis aries*. Во-первыхъ, вы можете держаться того принципа, что каждое животное происходитъ «отъ совершенно подобныхъ себѣ родителей». Тогда вы должны будете допустить, что всѣ мериносы происходятъ отъ мериноса, венгерскіе бараны отъ венгерскаго барана, курдючныя овцы отъ курдючной овцы, и такъ далѣе. Но вѣдь разновидностей дѣйствительно существуетъ великое множество. Въ одной Англіи разводится столько различныхъ породъ барановъ, что одинъ натуралистъ печатно высказалъ предположеніе, будто эти породы должны происходить отъ одиннадцати сортовъ дикихъ барановъ. Стало быть, вамъ придется, вмѣсто одной формы *ovis aries*, представить себѣ безчисленное множество самостоятельныхъ формъ, вышедшихъ изъ нѣдръ земли въ полномъ всеоружіи своихъ отгѣнковъ и атрибутовъ, точно такъ, какъ Минерва вышла изъ головы Зевеса. Очевидно, что понятіе *ovis aries* окажется совершенно неуволнимымъ мнѣемъ. Во-вторыхъ, вы можете отбросить въ сторону тотъ принципъ, что дѣти совершенно подобны родителямъ. Тогда вы увидите, что и мериносы, и венгерскіе бараны, и англійскіе, и курдючныя могли произойти отъ одной общей формы, которую, пожалуй, можно будетъ назвать *ovis aries*. Но если эта общая форма расплзлась такимъ образомъ въ разныя стороны, и испытала на себѣ множество превращеній, то какая же она, послѣ этого, неизмѣнная? А если *ovis aries* измѣнился и вчера, и третьяго дня, и въ прошломъ столѣтіи, и въ запрошломъ, то гдѣ же основаніе думать, что онъ когда нибудь былъ совершенно неизмѣненнымъ? Если мериносы, курдючныя, венгерскіе, англійскіе составляютъ развѣтвленія одной общей формы, то эта общая форма въ свою очередь представляется отросткомъ другой формы, еще болѣе общей, напримѣръ, такой, которая, въ глубинѣ вѣковъ, соединяла въ себѣ всѣхъ теперешнихъ представителей рода *ovis*. Если бы вмѣсто барана мы взяли какое нибудь другое животное, то намъ во всякомъ случаѣ представилось бы то же самое затрудненіе, и та же дилемма; встрѣчаясь съ разновидностями, намъ пришлось бы или предположить, что онѣ существуютъ отъ начала вѣковъ, или допустить, что онѣ выработались изъ одной общей формы, способной измѣняться.

Большинство натуралистовъ постоянно уклонялось отъ прямого разрѣшенія этого неизбѣжнаго вопроса. Они отвѣчали такъ, что въ отвѣтъ ихъ всегда заключалось глухое внутреннее противорѣчіе, котораго они сами не хотѣли почувствовать. Они говорили, что земля испытала во время своего существованія нѣсколько такихъ геологическихъ переворотовъ, которые всякій разъ истребляли до-тла всю органическую жизнь.

Вся наша планета перепахивалась такимъ образомъ за-ново и, послѣ каждаго подобнаго паханія, засѣвалась совершенно новыми и небывалыми видами растений и животныхъ. Эти новые виды являлись совершенно готовыми, и тотчасъ принимались за свойственныя имъ занятія. Дубъ покрывался зелеными листьями, и въ надлежащее время ронялъ свои желуди, которые въ значительномъ количествѣ истребляла дикая свинья; баранъ щипалъ траву, и пережевывалъ жвачку, волкъ съѣдалъ барана, шука глотала карасей, кукушка клала свои яйца въ чужія гнѣзда; словомъ, послѣ послѣдняго геологическаго переворота, все пошло тотчасъ тѣмъ самымъ порядкомъ, какимъ оно идетъ въ настоящее время. Но натуралисты никакъ не рѣшались утверждать, что изъ нѣдръ земли вышли готовыми не виды, а разновидности. Идеальный баранъ могъ выйти готовымъ; на то онъ идеальный, на то онъ представитель неизмѣннаго типа, на то онъ родоначальникъ всей бараньей породы; но крымскій баранъ, рѣшетилловскій, калмыцкій, двѣнадцать англійскихъ, меринскій, и такъ далѣе — все это мелкія и частныя явленія, и о нихъ никакъ не могло быть рѣчи послѣ такого великаго событія, какъ геологическій переворотъ. Это — разновидности, представляющія большія или меньшія отклоненія отъ оригинальнаго и неизмѣннаго типа. Это — игра природы, это случайное явленіе, а типъ все-таки сохраняется, и баранъ все-таки остается бараномъ, и всегда былъ таковымъ, съ той самой минуты, какъ онъ вышелъ изъ нѣдръ земли. Тутъ натуралисты понадали, очевидно, въ безвыходное противорѣчіе, и такія слова, какъ *игра природы*, или *случайное отклоненіе*, разумѣется, ничего не объясняли, и даже не представляли рѣшительно никакого ручательства въ пользу неизмѣнности основнаго типа. Поэтому, уже въ послѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія, нѣкоторые натуралисты стали догадываться, что виды могутъ перерождаться, и что во всей органической природѣ, по всей вѣроятности, нѣтъ ничего неизмѣннаго, кромѣ тѣхъ общихъ законовъ, которыми управляется вся матерія.

Однимъ изъ первыхъ выразилъ эту мысль поэтъ Гете, который, какъ извѣстно, былъ очень замѣчательнымъ естествоиспытателемъ. Но пока господствовала теорія геологическихъ переворотовъ, до тѣхъ поръ должна была держаться вѣра въ самостоятельное значеніе видовыхъ типовъ. Когда натуралисты думали, что земля нѣсколько разъ заселялась за-ново, тогда трудно было допустить предположеніе, что органическая жизнь всякій разъ начинала свое развитіе съ самыхъ простыхъ формъ, и всякій разъ, путемъ медленнаго и естественнаго совершенствованія, доходила до болѣе сложныхъ явленій. Если стихій могли производить геологическіе перевороты, подобные перемѣнамъ декорацій въ волшебномъ балетѣ, то и всѣ остальные процессы природы могли также совершаться необъяснимымъ путемъ мгновенныхъ возникновеній,

исчезаній и превращеній. При такомъ взглядѣ на прошедшую жизнь нашей планеты, прямые наблюденія надъ законами природы, какъ они обнаруживаются въ настоящее время, оказывались почти бесполезными для объясненія тѣхъ явленій, которыя совершались въ далекія геологическія эпохи. Почему вы знаете, какъ дѣйствовали эти законы тогда? — можно было сказать такому наблюдателю. Теперь жизнь природы идетъ такъ, а тогда шла совсѣмъ иначе. Теперь въ природѣ нѣтъ скачковъ, а тогда были. Разсуждая такимъ образомъ, можно было писать великолѣпнѣйшіе геологическіе романы, и прошедшая жизнь нашей планеты долго казалась намъ длиннымъ рядомъ чудесъ и колоссальною борьбою такихъ титаническихъ силъ природы, которыя теперь улеглись и успокоились на время или навсегда. Но, понемногу, въ нѣкоторыхъ пытливыхъ умахъ стало возникать сомнѣніе: нельзя ли, думали они, объяснить всѣ явленія различныхъ геологическихъ эпохъ постояннымъ дѣйствіемъ тѣхъ самыхъ причинъ, которыя до сихъ поръ, медленно, но безостановочно, каждый день и каждую минуту, измѣняютъ видъ земной поверхности. Оказалось, что можно. Теорія волшебныхъ переворотовъ стала ослабѣвать и клониться къ упадку. Наконецъ, знаменитый англійскій геологъ, Чарльзъ Ляйелль, живущій въ наше время, окончательно уложилъ въ могилу эту старую теорію, и доказалъ, что законы, управляющіе матерією теперь, управляли ею, безъ малѣйшаго перерыва, въ теченіи тѣхъ длинныхъ періодовъ, которыхъ неимѣнный рядъ называется прошедшею жизнью нашей планеты. Море медленно разрушаетъ берега свои; рѣка медленно наноситъ илъ въ своемъ устьѣ; атмосфера медленно раздѣдаетъ гранитныя вершины горныхъ хребтовъ; остатки мертвыхъ растений и животныхъ медленно разлагаются и еще медленнѣе образуютъ на землѣ новыя слои почвы; долины медленно строятъ коралловые рифы; подземныя вулканическія силы дѣйствуютъ, правда, мгновенно, но дѣйствіе ихъ всегда частично, и никогда не производитъ такого переворота, который могъ бы распространиться на всю поверхность нашей планеты. Такимъ образомъ измѣняется видъ земли теперь; такимъ образомъ формируются новыя напластованія, и точно такимъ же образомъ совершалось это дѣло тогда, когда на землѣ жили только колоссальныя ящеры, и тогда, когда существовали только низшія формы моллюсковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ расплавленное ядро земли покрылось твердою корою, съ тѣхъ поръ, какъ образовались на нашей планетѣ вода и атмосфера, словомъ, съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлалось возможнымъ существованіе растительныхъ и животныхъ организмовъ, — съ этихъ поръ, земля не испытала ни одного такого переворота, который разомъ взбудоражилъ бы всю ея поверхность, и слѣдовательно истребилъ бы на ней всѣ проявленія органической жизни. Когда перевороты удалялись такимъ

образомъ въ область поэтического творчества, тогда натуралистамъ представилась необходимость задуматься надъ рѣшеніемъ громаднѣйшаго вопроса.

Если разные трилабиты, белемниты, ихтиозавры, мастодонты, и тому подобныя исчезнувшія животныя не были истреблены мгновенною переменною декораціей, то почему же они исчезли? Если хвощи и папоротники каменноугольной эпохи не были выворочены съ корнями дѣйствіемъ разыгравшихся стихій, то почему же они уступили мѣсто другимъ растительнымъ формамъ, которыя потомъ въ свою очередь были вытѣснены новою флорой? Если идеальный баранъ не вышелъ изъ нѣдръ земли послѣ послѣдняго геологическаго переворота, то откуда же взялись крымскіе, венгерскіе, англійскіе и всякіе другіе бараны? Если органическая жизнь не обрывалась на землѣ съ той самой минуты, какъ она возникла, то, стало быть, нѣтъ никакой необходимости предполагать въ ея исторіи существованіе необъяснимыхъ скачковъ; если нѣтъ скачковъ, — стало быть, есть послѣдовательное развитіе; если есть послѣдовательное развитіе, стало быть, есть постоянные законы; а если есть законы, то надобно до нихъ добраться, не удовлетворяя своей любознательности такими удобными выраженіями, какъ игра природы, или случайное уклоненіе отъ неизмѣннаго типа. Если природа играетъ сегодня, то она, значить, играла и вчера; стало быть, она имѣетъ свойство играть, и натуралистамъ надо изучить это свойство, какъ и всякое другое. Случая въ природѣ нѣтъ, потому что все совершается по законамъ и всякое дѣйствіе имѣетъ свою причину; когда мы не знаемъ закона, и когда мы не видимъ причины, тогда мы произносимъ слово «случай», и произносимъ его всегда некстати, потому что это слово никогда не выражаетъ ничего, кромѣ нашего незнанія, и притомъ такого незнанія, котораго мы сами не сознаемъ.

Лайелль очистилъ науку отъ геологическихъ чудесъ; другимъ натуралистамъ надо было сдѣлать то же самое въ отношеніи къ исторіи органической жизни; надо было, чтобы идеальный баранъ не изображалъ собою Венеру, выходящую изъ морской пѣны въ полномъ сіяніи развитой красоты, и надо было, чтобы простые бараны не дѣлались венгерскими или курдючными, вслѣдствіе случайной игры природы. Словомъ, надо было понять существующіе законы, и такимъ образомъ устранить, по мѣрѣ слабыхъ человѣческихъ силъ, случай. Исходная точка, самое возникновеніе органической жизни до сихъ поръ остается неразгаданнымъ, потому что до сихъ поръ ни одному натуралисту не удалось приготовить въ своей лабораторіи изъ неорганическихъ или органическихъ веществъ ни одного, даже самаго простѣйшаго живаго организма; но процессъ развитія и перерожденія органическихъ формъ раз-

ясненъ въ значительной степени англійскимъ натуралистомъ, Чарльзомъ Дарвиномъ, издавшимъ въ 1859 году знаменитое сочиненіе: «On the origin of species»—(О происхожденіи видовъ). Этотъ гениальный мыслитель, обладающій колоссальными знаніями, взглянулъ на всю жизнь природы такимъ широкимъ взглядомъ, и такъ глубоко вдумался во всѣ ея разрозненныя явленія, что онъ сдѣлалъ открытіе, которое, быть можетъ, не имѣло себѣ подобнаго во всей исторіи естественныхъ наукъ. Онъ открываетъ не единичный фактъ, не железку, не жилку, не отправление того или другаго нерва; онъ открываетъ цѣлый рядъ тѣхъ законовъ, которыми управляется и видоизмѣняется вся органическая жизнь нашей планеты. И рассказываетъ онъ ихъ такъ просто, и доказываетъ такъ неопровержимо, и выходитъ при своихъ разсужденіяхъ изъ такихъ очевидныхъ фактовъ, что вы, простой человѣкъ, профанъ въ естественныхъ наукахъ, удивляетесь постоянно только тому, какъ это вы сами давнымъ давно не додумались до тѣхъ же самыхъ выводовъ.

Да, не велика мудрость Америку открыть, однако все-таки кромѣ Колумба никто не догадался, какъ это сдѣлать. Великое открытіе и умная загадка всегда просты, когда первое сдѣлано, а вторая разгадана; но чтобы разгадать загадку, надо обладать извѣстною дозою остроумія, а чтобы сдѣлать великое открытіе, надо быть гениальнымъ человѣкомъ. Для насъ, для простыхъ и темныхъ людей, открытія Дарвина драгоцѣнны и важны именно тѣмъ, что они такъ обаятельно просты и понятны; они не только обогащаютъ насъ новымъ знаніемъ, но они освѣщаютъ весь строй нашихъ идей, и раздвигаютъ во всѣ стороны нашъ умственный горизонтъ. Благодаря имъ, мы понимаемъ связь тѣхъ явленій, которыя мы видѣли каждый день, на которыя мы смотрѣли бессмысленными глазами, и которыя, однако, такъ легко было понять и объяснить себѣ. Почти во всѣхъ отрасляхъ естествознанія идеи Дарвина производятъ совершенный переворотъ; ботаника, зоологія, антропологія, палеонтологія, сравнительная анатомія и физиологія, и даже опытная психологія получаютъ въ его открытіяхъ ту общую руководящую нить, которая свяжетъ между собою множество сдѣланныхъ наблюденій, и направить умы изслѣдователей къ новымъ плодотворнымъ открытіямъ.

Значеніе идей Дарвина такъ обширно, что въ настоящее время даже невозможно предусмотрѣть и вычислить тѣ послѣдствія, которыя разовьются изъ нихъ, когда онѣ будутъ приложены къ различнымъ областямъ научнаго изслѣдованія. Лучшіе европейскіе натуралисты давно поняли ихъ важность, и весь ученый міръ раздѣлился на двѣ партіи; съ одной стороны стоятъ глубоко убѣжденные защитники новой теоріи; съ другой стороны ея противники, которыхъ возлюбленные научные предразсудки ожидаютъ себѣ неизбежной гибели.

Старыя методы и старыя классификаціи непремѣнно должны будутъ сойдти со сцены, а такъ какъ человѣку больно разставаться съ заблужденіями цѣлой жизни, то, разумѣется, противники Дарвина всѣми силами будутъ защищать свои разбитыя позиціи. Но свѣтлые умы тотчасъ становятся горячими привѣренцами истины, въ какомъ бы рѣзкомъ противорѣчьи она ни находилась съ ихъ прежними понятіями. Карлъ Фохтъ въ лекціяхъ своихъ о человѣкѣ *), изданныхъ въ 1863 г., объявляетъ себя послѣдователемъ Дарвина, и признается, что онъ въ молодости своей держался теоріи геологическихъ переворотовъ, съ которою, какъ мы видѣли, была связана теорія неизмѣнныя типовъ.

Книга Дарвина переведена уже въ настоящее время на нѣмецкій, французскій и на русскій языкъ; каждому образованному человѣку необходимо познакомиться съ идеями этого мыслителя, и поэтому я считаю умѣстнымъ и полезнымъ дать нашимъ читателямъ ясное и довольно подробное изложеніе новой теоріи. Въ этой теоріи читатели найдутъ и строгую опредѣленность точной науки, и безпредѣльную ширину философскаго обобщенія, и наконецъ ту высшую и незамѣнимую красоту, которая кладетъ свою печать на всѣ великія проявленія сильной и здоровой человѣческой мысли. Когда читатели познакомятся съ идеями Дарвина, даже по моему слабому и блѣдному очерку, тогда я спрошу у нихъ, хорошо или дурно мы поступали, отрицая метафизику, осмѣивая нашу поэзію, и выражая полное презрѣніе къ нашей казенной эстетикѣ. Дарвинъ, Лайель и подобные имъ мыслители—вотъ философы, вотъ поэты, вотъ эстетики нашего времени. Когда человѣческій умъ, въ лицѣ своихъ гениальныхъ представителей, счумѣлъ подняться на такую высоту, съ которой онъ обозрѣваетъ основныя законы міровой жизни, тогда мы, обыкновенные люди, неспособные быть творцами въ области мысли, обязаны передъ своимъ собственнымъ человѣческимъ достоинствомъ возвыситься, по крайней мѣрѣ, на столько, чтобы понимать передовыхъ гениевъ, чтобы цѣнить ихъ великіе подвиги, чтобы любить ихъ, какъ украшеніе и гордость нашей породы, чтобы жить нашею мыслью въ той свѣтлой и безграничной области, которую гении открываютъ для каждого мыслящаго существа. Мы богаты и сильны трудами этихъ великихъ людей, но мы не знаемъ нашего богатства и нашей силы, мы ими не пользуемся, мы не умѣемъ даже пересчитать и измѣрить ихъ, и поэтому, проводя нашу жалкую жизнь въ бѣдности, въ глупости и въ слабости, мы потѣшаемъ свое младенческое невѣдѣніе разными золочеными грошами, въ родѣ діалектическихъ мудрствованій, лирическихъ воздыханій и эстетическихъ удивленій.

*) «Человѣкъ и мѣсто его въ природѣ» лекціи К. Фохта (переведены на русскій языкъ).

И живутъ люди, и умираютъ люди, и считаютъ себя развитыми и образованными, и толкуютъ о музыкѣ и о поэзіи, и ни разу, вѣдь ни одного разу не удастся этимъ людямъ даже мелькомъ взглянуть на то, что составляетъ и богатство, и силу, и высшее изящество человѣческой личности. А то и взглянуть, да не поймутъ. Нечего дѣлать, надо объяснить, разбавлять мысль водою, вдаваться въ лирическіе восторги, чтобы показать, что вещь дѣйствительно хорошая, и что ея въ самомъ дѣлѣ можно и должно любоваться. По настоящему, идеи Дарвина слѣдовало бы передавать просто, ровно, спокойно, такъ, какъ излагаетъ ихъ самъ Дарвинъ, но для насъ это еще не годится, потому что нашу публику слѣдуетъ заманивать, ее слѣдуетъ покуда подкупать въ пользу дѣльныхъ мыслей разными фокусами то комическаго, то лирическаго свойства. Поэтому, если кому нибудь изъ моихъ читателей не понравится что нибудь въ изложеніи моей статьи, то я умоляю его обратить все его негодованіе исключительно противъ меня, а никакъ не противъ Дарвина. Я именно того и хочу, чтобы моя статья возбудила въ читателѣ любознательность, но не удовлетворила бы ее вполне; пусть онъ увидитъ, какъ уменъ Дарвинъ, пусть почувствуетъ, что я не въ силахъ передать то впечатлѣніе, которое производитъ чтеніе самой книги великаго натуралиста, и пусть, вслѣдствіе этого, обругаетъ меня, и возьмется за сочиненіе самого Дарвина. Цѣль моя будетъ въ такомъ случаѣ вполне достигнута. Для того, чтобы дать читателю нѣкоторое понятіе о личномъ характерѣ Дарвина, я приведу здѣсь нѣсколько строкъ изъ его введенія.

«Я находился, говорить онъ, въ качествѣ натуралиста на кораблѣ ея британскаго величества—«Бигль», когда меня въ первый разъ сильно поразили нѣкоторые факты въ распредѣленіи органическихъ существъ, населяющихъ южную Америку, и геологическія отношенія, существующія между прежними и теперешними обитателями этого материка. Эти факты, какъ видно будетъ въ послѣднихъ главахъ этого сочиненія, бросаютъ, по видимому, нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе видовъ, «эту тайну тайнъ», какъ выражается одинъ изъ величайшихъ нашихъ философовъ (Гумбольдтъ въ Космосѣ). Послѣ моего возвращенія, въ 1837 году, мнѣ пришло въ голову, что, можетъ быть, есть возможность подвинуть впередъ этотъ вопросъ, если собирать и обдумывать всѣ различные наблюденія, которыя такъ или иначе могутъ содѣйствовать разрѣшенію задачи. Только послѣ пятилѣтняго труда, я позволилъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя наведенія и составилъ краткія замѣтки. Не раньше, какъ въ 1844 году, я набросалъ тѣ заключенія, которыя казались мнѣ наиболѣе правдоподобными. Съ этого времени до нынѣшняго дня, (т. е. до конца 1859 года), я постоянно занимался тѣмъ же самымъ предметомъ. Мнѣ извинять эти личныя подробности, въ которыя я пускаюсь

только для того, чтобы доказать, что у меня не было излишней поспешности въ разрѣшеніи вопросовъ. Моя работа уже далеко подвинулась впередъ; однако мнѣ понадобится еще года два или три для ея окончанія, а такъ какъ здоровье мое вовсе не отличается крѣпостью, то я и поторопился выпустить въ свѣтъ это извлеченіе. Меня преимущественно побудило поступить такимъ образомъ то обстоятельство, что мистеръ Уэллсъ, изучающій въ настоящее время природу Малайскаго архипелага, почти совершенно сошелся со мною въ своихъ заключеніяхъ о происхожденіи видовъ. Въ 1858 году, онъ прислалъ мнѣ мемуаръ по этому предмету, съ просьбою сообщить его сэру Чарльзу Лийеллю, который послалъ его Линнеевскому обществу (Linnean Society). Онъ напечатанъ въ третьемъ томѣ журнала этого общества. Сэръ Чарльзъ Лийелль и докторъ Гукеръ, знавшіе мои работы, сдѣлали мнѣ честь подумать, что было бы хорошо издать, въ одно время съ превосходнымъ мемуаромъ мистера Уэллеса, нѣкоторые отрывки изъ моихъ рукописей. Это извлеченіе, которое я издаю теперь, необходимо оказывается неполнымъ. Я принужденъ излагать въ немъ мои идеи, не подкрѣпляя ихъ обильнымъ запасомъ фактовъ или цитатами писателей, и я поставленъ въ необходимость рассчитывать на то довѣріе, которое читателямъ угодно будетъ питать къ вѣрности моихъ сужденій».

Приведенное мною мѣсто заключаетъ въ себѣ много любопытныхъ свѣдѣній и характерныхъ подробностей. Во-первыхъ, мы видимъ, что Дарвинъ посвятилъ всю свою жизнь разрѣшенію того вопроса, который заинтересовалъ его во время кругосвѣтнаго плаванія на кораблѣ Бигль; онъ работаетъ надъ этимъ вопросомъ болѣе 25 лѣтъ (съ 1837 по 1864) и все еще не считаетъ свой трудъ оконченнымъ; когда гениальный умъ соединяется съ такимъ упорствомъ въ преслѣдованіи дѣли, и съ такою требовательностью и строгостью въ отношеніи къ собственному труду, тогда дѣйствительно человѣкъ совершаетъ чудеса въ области мысли, и тогда онъ смѣло можетъ приниматься за разрѣшеніе такой задачи, которая до него считалась «тайною тайнъ». Во-вторыхъ, Дарвинъ называетъ свою теперешнюю книгу извлеченіемъ, и очень скромно и добродушно извиняется передъ читателемъ, говоря, что онъ принужденъ быть поторопиться, и что извлеченіе, конечно, вышло очень не полное, потому что настоящая книга, капитальная часть труда, еще впереди. До такой изумительной и совершенно безыскусственной скромности могутъ возвышаться только очень замѣчательные люди; поторопился — а работалъ двадцать два года (до 1859 года); извлеченіе — а въ немъ больше пятисотъ страницъ; не полное — а весь ученый міръ приходитъ отъ него въ волненіе; извиняется передъ читателями — а самъ производитъ небывалый переворотъ почти во всѣхъ отрасляхъ естествознанія. Это было бы просто смѣшно, это было бы даже неприлично со стороны

Дарвина, если бы въ этой скромности можно было бы предположить хоть малѣйшую тѣнь искусственности. Но такъ какъ вся книга Дарвина носитъ на себѣ печать глубочайшей искренности и добросовѣстности, и такъ какъ отъ великаго до смѣшнаго одинъ шагъ, то эта скромность, которая, при другихъ условіяхъ, могла бы сдѣлаться смѣшною, въ настоящемъ случаѣ остается цѣликомъ въ предѣлахъ великаго. Въ третьихъ, любопытно замѣтить, какъ равнодушно Дарвинъ относится къ своему собственному здоровью; ему остается до окончанія громаднаго труда всего два, три года, но онъ предвидитъ тотъ шансъ, что ему, можетъ быть, и не удастся дожить до этого времени; и возможность близкой смерти вовсе не смущаетъ его, а только побуждаетъ его выпустить въ свѣтъ извлеченіе, въ которомъ заключались бы добытые имъ результаты. Это спокойствіе, это умѣнье умирать безъ жалобы и безъ болѣзни, это высшее проявленіе человѣческаго героизма совершенно понятны со стороны тѣхъ людей, которые умѣли наполнить свою жизнь разумнымъ наслажденіемъ, то есть, умѣли полюбить полезную дѣятельность больше собственнаго существованія. Дарвинъ такъ слился съ своею двадцатипятилѣтнею работою, онъ такъ постоянно жилъ высшими интересами всего человѣчества, что ему некогда и незачѣмъ думать и горевать объ упадкѣ собственныхъ силъ. Лишь бы работу кончить, лишь бы отдать людямъ съ рукъ на руки добытыя сокровища, а тамъ и умереть не бѣда. Кто не понимаетъ такого обожанія идеи и такой любви къ людямъ, тотъ говоритъ, что личности, подобныя Дарвану, совершаютъ подвиги самоотверженія, а кто понимаетъ, тотъ скажетъ, что это — вполне практическіе люди, и что они превосходно умѣютъ наслаждаться жизнью. Ихъ расчетъ оказывается вѣрнымъ во всякомъ случаѣ, и во всякую данную минуту; какъ ни прожить жизнь, а умирать все равно надо; ну, стало быть, всего лучше жить такъ, чтобы въ минуту смерти не было больно и совѣстно оглянуться назадъ; пріятно подумать передъ смертію, что жизнь прожита не даромъ, и что она цѣликомъ положена въ тотъ капиталъ, съ котораго человѣчество будетъ постоянно брать проценты; а если пріятно, то и слѣдуетъ жить въ томъ мірѣ мысли и труда, въ которомъ распоряжаются Дарвинъ, Ляйелль, Фохтъ, Бокль и другіе люди такого же разбора. Наконецъ, въ четвертыхъ и въ послѣднихъ, не мѣшаетъ обратить вниманіе на тѣ честныя дружескія отношенія, которыя существуютъ между лучшими изъ современныхъ ученыхъ. Ляйелль и Гукеръ постоянно слѣдятъ за процессомъ работы Дарвина; Дарвинъ совѣтуется съ ними, и они ему помогаютъ; Гукеръ въ продолженіи пятнадцати лѣтъ постоянно сообщаетъ ему то новыя факты, то свои критическія замѣчанія. Уэллсесъ, близко подошедшій къ самымъ выводамъ Дарвина, съ полнымъ довѣріемъ присылаетъ послѣднему свой мемуаръ, а Дарвинъ, съ своей стороны, отзывается объ

этомъ мемуарѣ съ полнымъ уваженіемъ. Видно, однимъ словомъ, что всѣ эти люди заботятся объ успѣхѣ общаго дѣла, а совсѣмъ не о томъ, чтобы высунуть впередъ собственную личность, и подставить ногу опасному сопернику. Вслѣдствіе этого, во-первыхъ, ихъ общее дѣло идетъ хорошо, а во-вторыхъ, каждому изъ нихъ достается на долю столько ученой знаменитости, сколько они не могли бы приобрѣсти, если бы работали въ разсыпную, завистливо скрывая другъ отъ друга добываемые факты, и не обмѣниваясь между собою мыслями и замѣчаніями.

Широкое умственное развитіе этихъ превосходныхъ людей дѣлаетъ ихъ особенно способными къ свободной ассоціаціи, а ассоціація, съ своей стороны, придаетъ имъ новыя силы, и еще болѣе расширяетъ горизонтъ ихъ мысли. До сихъ поръ, добровольная и совершенно естественная ассоціація нашла себѣ приложеніе только въ высшихъ сферахъ научной дѣятельности. Тамъ нѣтъ истребительной войны между конкуррентами; тамъ всѣ честные люди идутъ къ одной цѣли и дружелюбно опираются другъ на друга; за то мы и видимъ, что высшія сферы научной дѣятельности до сихъ поръ представляютъ единственное мѣсто, въ которомъ человѣкъ можетъ развернуть, сохранить и облагородить всѣ свои истинно человѣческія качества и способности; за то мы видимъ также, что наука, въ настоящемъ значеніи этого слова, развивается съ неувѣроятною быстротою и оставляетъ далеко позади себя всѣ остальные отрасли человѣческой дѣятельности. Но если люди, развернувшіе, сохранившіе и облагородившіе свои человѣческія способности, оказываются особенно расположенными къ коллективному труду, если у нихъ образуется ассоціація совершенно естественно, помимо всякихъ предвзятыхъ теорій, то, мнѣ кажется, не трудно понять, что добровольная ассоціація и развитіе индивидуальности не только не представляютъ собою двухъ непримиримыхъ крайностей, а напротивъ того, совершенно необходимы другъ для друга, и не могутъ существовать безъ взаимной поддержки. А теперь пора кончить это длинное введеніе, и отъ личности мыслителя перейти къ его теоріи.

II.

ДОМАШНІЯ ЖИВОТНЫЯ.

Многія растенія, размножающіяся быстро и успѣшно въ естественномъ состояніи, перестаютъ приносить сѣмяна, какъ только начинаютъ испытывать на себѣ заботливыя попеченія человѣка; они, по видимому,

благоденствуютъ, покрываются свѣжими листьями и цвѣтами, но ихъ цвѣточная пыль совершенно теряетъ свою оплодотворяющую силу; многія животныя также не могутъ размножаться подъ властью человѣка; они иногда совокупаются, но не производятъ дѣтей; такъ, напримѣръ, хищныя птицы, находясь въ неволѣ, кладутъ иногда яйца; но изъ этихъ яицъ почти никогда не выводятся птицы. Тѣ животныя и растенія, которыя съ незапамятныхъ временъ подчинились нашему господству, представляютъ также замѣчательную особенность въ своемъ размноженіи: дѣти ручныхъ животныхъ больше отличаются отъ своихъ родителей, и больше отличаются другъ отъ друга, чѣмъ дѣти дикихъ животныхъ; то же самое можно сказать и о растеніяхъ; поэтому, напримѣръ, пшеница до сихъ поръ производитъ еще новыя разновидности, поэтому георгинны, тюльпаны, гвоздики до сихъ поръ даютъ садовникамъ небывалыя формы, разрисованныя самыми блестящими красками; поэтому также лошади, бараны, быки, свиньи постоянно совершенствуются и крупнѣютъ, или мельчаютъ и портятся, то есть, вообще обнаруживаютъ способность и стремленіе измѣняться, и дѣйствительно измѣняются въ ту или въ другую сторону, смотря по тому, умѣетъ или не умѣетъ человѣкъ пользоваться этою измѣнчивостію сообразно съ своими выгодами. Бесплодіе однихъ растеній и животныхъ, и измѣнчивость другихъ органическихъ существъ выходитъ изъ одного общаго источника. Когда растеніе или животное попадаетъ въ руки человѣка, и когда человѣкъ, сознательно или невольно, измѣняетъ въ большей или въ меньшей степени тѣ условія, при которыхъ это растеніе или животное существовало на свободѣ, — тогда эта переменъ въ образѣ жизни производитъ особенно сильное вліяніе на всю систему половыхъ отправленияхъ. Если вліяніе это очень сильно, то половая система совершенно отказывается дѣйствовать, и животныя даже не совокупаются; если оно менѣе сильно—совокупаются, но не рожаютъ дѣтей; еще менѣе сильно—рождаютъ уродовъ; еще менѣе сильно—рождаютъ здоровыхъ дѣтей, но такихъ, у которыхъ индивидуальныя отклоненія отъ фигуры родителей оказываются болѣе значительными, чѣмъ это могло бы производиться въ дикомъ состояніи. Такимъ образомъ дѣти выходятъ не совсѣмъ похожими на своихъ родителей; внуки также получаютъ свои личныя особенности; правнуки также, и такъ далѣе; измѣнчивость и индивидуальное равнообразіе становятся прочными свойствами цѣлой породы и это случилось именно съ большою частью нашихъ домашнихъ животныхъ. Корова не такъ похожа на свою родную сестру, и жеребецъ не такъ похожъ на своего паленку, какъ напримѣръ медвѣдь на посторонняго медвѣдя, или заяцъ на совершенно неродственного зайца. Существованіе этихъ индивидуальныхъ особенностей никакъ не можетъ быть приписано прямому дѣйствию образа жизни; двѣ коровы, принадлежащія одному хозяину, съ самаго своего рожде-

нія живутъ на одномъ скотномъ дворѣ, пасутся на одномъ лугу, получаютъ одинаковое количество сѣна, муки, соли и всякаго другаго снабды; напротивъ того, два медвѣдя, не принадлежащіе никому, живутъ въ двухъ различныхъ берлогахъ, ѣдятъ, что Богъ пошлетъ, иногда голодаютъ, иногда пируютъ, но дѣлаютъ и то, и другое не вмѣстѣ, а порознь въ различное время, съ различнымъ успѣхомъ, такъ что тутъ, очевидно, представляется гораздо больше разнообразія, чѣмъ въ жизни коровъ или лошадей. Ясно, стало быть, что индивидуальныя особенности послѣднихъ могутъ быть объяснены только тѣми измѣненіями, которыя испытала въ глубинѣ вѣковъ половая система домашнихъ животныхъ; эти измѣненія съ тѣхъ поръ уже постоянно переходятъ понаслѣдству отъ одного поколѣнія къ другому, и такимъ образомъ постоянно даютъ каждому зародышу возможность довольно замѣтно отклоняться въ своемъ развитіи отъ фигуры родителей. Но если каждая корова или лошадь получаетъ свою индивидуальную фізіономію, то изъ этого никакъ не должно заключать, что она не наслѣдуетъ отъ своихъ родителей многихъ важнѣйшихъ особенностей ихъ организаціи. Въ человѣческомъ семействѣ сынъ обыкновенно бываетъ похожъ и на отца, и на мать; и въ то же время у него есть свои личныя свойства какъ въ чертахъ лица, такъ и въ складѣ тѣла, такъ и въ устройствѣ темперамента, ума и характера.

Совершенно подобныя явленія мы замѣчаемъ и въ домашнихъ животныхъ. Поэтому, если образъ жизни подѣйствовалъ въ томъ или въ другомъ направленіи на здоровье или на тѣлосложеніе животного, то произведенная такимъ образомъ перемѣна передается обыкновенно дѣтямъ, и становится болѣе или менѣе прочнымъ свойствомъ породы. Напримѣръ, если свѣситъ скелетъ дикой утки, и скелетъ домашней утки, и если потомъ сравнить въ обоихъ случаяхъ вѣсъ костей крыла, и вѣсъ костей ноги съ вѣсомъ цѣлаго скелета, то окажется, что у домашней утки кости крыла сравнительно легче, а кости ноги сравнительно тяжелѣе, чѣмъ у дикой. Происхожденіе домашней утки отъ дикой не подлежитъ сомнѣнію; слѣдовательно, измѣненіе въ вѣсѣ и величинѣ костей объясняется именно тѣмъ обстоятельствомъ, что домашняя утка постоянно ходитъ, и почти совсѣмъ не летаетъ. Нога укрѣпляется, а крыло слабѣетъ; эта особенность, сначала незамѣтная, передается отъ матери къ дѣтямъ, и у дѣтей становится сильнѣе, потому что продолжается дѣйствіе тѣхъ-же самыхъ причинъ, которыя дѣйствовали на мать; у внуковъ еще сильнѣе, и такъ далѣе; наконецъ, передаваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе, и постоянно усиливаясь, эта перемѣна организаціи доходитъ до такихъ значительныхъ размѣровъ, что выражается уже не въ однихъ мускулахъ крыла и ноги, а даже въ соотвѣствующихъ частяхъ самого скелета. Такимъ образомъ, превращеніе дикой утки въ домашнюю оказывается монченнымъ, и прибрѣтенныя особенности дѣлаются

прочнымъ и наслѣдственнымъ достояніемъ новой породы. Огромное вымя дойныхъ коровъ образовалось также вслѣдствіе особенныхъ условій жизни, и также передается по наслѣдству. Многія домашнія животныя отличаются отъ своихъ дикихъ сродниковъ всякими ушами, и это обстоятельство, по мнѣнію дѣльныхъ наблюдателей, объясняется тѣмъ, что домашнее животное рѣже дикаго чувствуетъ себя въ опасности, и слѣдовательно рѣже наостраетъ уши, такъ что мускулы уха, оставаясь въ бездѣйствіи, слабѣютъ и ухо отвисаетъ.

Но тѣ законы, по которымъ развивается живой организмъ, отличаются такою сложностью, что они до сихъ поръ остаются почти совершенно неизвѣстными. Къ области этихъ неизслѣдованныхъ законовъ относится то обстоятельство, что если въ организмѣ проявляется какая нибудь особенность, то она обыкновенно не ограничивается одною частью организма, а производитъ перемѣны въ нѣсколькихъ органахъ, и притомъ часто въ такихъ, которые, *по видимому*, не имѣютъ между собою тѣсной анатомической связи. Такъ, напримѣръ, у голубей величина клюва находится въ прямомъ соотвѣтствіи съ величиною ногъ. Чѣмъ меньше клювъ, тѣмъ меньше нога. Голубоглазныя кошки обыкновенно бываютъ глухи. Лысыя собаки отличаются неполнымъ развитіемъ зубовъ. Бѣлые бараны и бѣлыя свиньи страдаютъ отъ нѣкоторыхъ растений, которыя не приносятъ никакого вреда баранамъ и свиньямъ другого цвѣта. Въ Флоридѣ растетъ въ большомъ изобиліи растеніе *aschmannthes*; черныя свиньи ѣдятъ его совершенно безнаказанно; но, какъ только поѣстъ его свинья другого цвѣта, такъ у нея краснѣютъ кости и отваливаются копыта. Тамашніе сельскіе хозяева знаютъ очень хорошо это обстоятельство, и потому держатъ у себя только черныхъ свиней, а остальныхъ постоянно убиваютъ, чтобы онѣ не пропадали даромъ. Эти изумительныя соотношенія между развитіемъ отдѣльных частей организма до сихъ поръ еще мало изслѣдованы, и причины ихъ остаются совершенно неизвѣстными, но необходимо имѣть постоянно въ виду эти соотношенія, когда дѣло идетъ о различныхъ перерожденіяхъ органическихъ формъ. Если у цѣлой породы животныхъ измѣняется такой органъ, на который внѣшнія условія жизни не имѣютъ непосредственнаго вліянія, то такое измѣненіе можетъ быть объяснено соотношеніемъ развитія. Условія жизни измѣнили, положимъ, клювъ голубя, а измѣненіе этого органа уже потянуло за собою перемѣну въ формѣ и въ величинѣ ногъ, на которыя жизнь не оказывала прямого дѣйствія.

Изъ всего, что было говорено съ самаго начала этой главы, мы можемъ вывести то заключеніе, что наши домашнія животныя и растенія измѣняютъ свою организацію подѣ вліяніемъ очень многихъ и очень сложныхъ причинъ; между этими причинами особенно замѣчательны слѣдующія: во-первыхъ, то измѣненіе въ половой системѣ, которое усили-

васть индивидуальное разнообразіе дѣтей; во-вторыхъ, прямое вліяніе условій жизни на различные органы животныхъ и растений; въ третьихъ, соотношеніе развитія, то есть, то свойство живаго организма, вслѣдствіе котораго измѣненіе, происшедшее въ одномъ органѣ, ведетъ за собою, при развитіи зародыша, измѣненіе въ другихъ частяхъ тѣла. Наконецъ, въ четвертыхъ, чрезвычайно важно то обстоятельство, что особенности родителей передаются дѣтямъ, и что, вслѣдствіе этого закона наследственности, разныя, едва замѣтныя уклоненія отъ прежнихъ свойствъ породы, могутъ упрочиваться и усиливаться въ прямомъ нисходящемъ потомствѣ. Безъ этого закона наследственности, происхожденіе новыхъ разновидностей и породъ было бы совершенно невозможно, потому что поиндивидуальныя особенности, прирожденныя и благопріобрѣтенныя, погибали бы тогда вмѣстѣ съ тѣмъ субъектомъ, у котораго онѣ проявились.

Дѣйствіемъ этихъ четырехъ главныхъ причинъ объясняются въ общихъ чертахъ всѣ измѣненія животныхъ и растений, попавшихъ въ руки человѣка. Какъ ни разнообразны различія породы лошадей, куръ, утокъ или кроликовъ, но есть основаніе думать, что все это разнообразіе выработалось уже подъ вліяніемъ человѣка, и что всѣ наши лошади произошли отъ одной дикой породы; всѣ наши куры, утки и кролики также. Чтобы доказать возможность такихъ обширныхъ развѣтвленій, Дарвинъ беретъ отдѣльный примѣръ; онъ изучаетъ всѣ различныя породы голубей, и приходитъ къ тому заключенію, что всѣ эти породы произошли отъ дикаго голубя (*Columba livia*) и переродились въ разныя стороны уже подъ руками человѣка.

III.

О ГОЛУБАХЪ.

«Чтобы разрѣшить какой нибудь вопросъ по естественной исторіи, говорить Дарвинъ, лучше всего изучить какую нибудь отдѣльную группу. Обдумавъ основательно это дѣло, я выбралъ группу голубей, и сдѣлалъ ее спеціальнымъ предметомъ моихъ наблюденій. Я собралъ всѣ породы, какія я могъ достать. Кромѣ того, мнѣ помогали самыми любезнымъ образомъ господа Эллиотъ и Мёррей (Mittau), приславшіе мнѣ чучела изъ разныхъ странъ земнаго шара, а преимущественно изъ Персіи и изъ Индіи. Сверхъ того, я досталъ себѣ большое число сочиненій, написанныхъ о голубяхъ на разныхъ языкахъ, и нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій имѣютъ большое значеніе по своей древности. Нако-

ночь, я вступилъ въ сношеніе со многими знаменитыми любителями голубей, и приписался къ двумъ голубинымъ клубамъ (pigeons-clubs) въ Лондонѣ.

Что вы скажете о такомъ изслѣдователѣ, мой читатель? Кажется, онъ шутить не любитъ, когда принимается за какое нибудь изученіе; придется потратить на голубей пять лѣтъ жизни—онъ такъ и сдѣлаетъ; понадобится десять—онъ и десять положитъ; а вѣдь не только голуби, но даже всѣ домашнія животныя составляютъ только крошечный уголокъ того громаднаго міра явленій, который охваченъ и въ значительной степени разъясненъ свѣтлыми идеями Дарвина. Но сила этого геніальнаго человѣка заключается именно въ томъ, что, обобщая явленія, онъ не теряется въ отвлеченностяхъ, не впадаетъ въ дилетантизмъ, а постоянно упирается ногою въ твердую почву, собственныхъ наблюденій и такого изслѣдованія, которое своею основательностью и усидчивостью привело бы въ трепетъ любаго изъ нашихъ буквоѣдовъ. Широкихъ-то теоретиковъ много найдется, но за то теоріи ихъ подбиты вѣтромъ, и лопаются, какъ мыльные пузыри. А кто такимъ образомъ изучаетъ голубей, тотъ ужъ ни одного слова не говоритъ на вѣтеръ.

Разнообразіе голубиныхъ породъ оказалось изумительнымъ. Не говоря уже о томъ, что этихъ породъ чрезвычайно много, мы должны замѣтить, что многія изъ нихъ отличаются другъ отъ друга необыкновенно рѣзкими и очень своеобразными признаками и особенностями. Напримѣръ у *англійскаго голубя* (english carrier, *Columba tabellaria*) длинный клювъ съ широкими ноздрями у *курносаго турмана* клювъ такой; какъ у воробья, у *римскаго голубя*, при значительной величинѣ всего тѣла, клювъ толстый и ноги большія, а у *варварійскаго голубя*, похожаго по фигурѣ на *гольца*, клювъ очень короткій и очень широкій. Обыкновенный *турманъ* (*C. gyra*trix) имѣетъ привычку взлетать цѣлою толпою на значительную высоту, и потомъ, спускаясь внизъ, по два или по три раза кувыряться на воздухѣ. *Толстоголовый голубь* (*C. gutturosa*) изъ гордости, или по какому нибудь другому неизвѣстному побужденію, постоянно раздуваетъ свой зобъ, и доводитъ его до такихъ размѣровъ, что, по словамъ Дарвина «даже смѣшно смотрѣть». А *Columba turbita* такимъ же образомъ раздуваетъ заднюю часть своего пищевода. *Якобинецъ* (*C. cucullata*) замѣчателенъ тѣмъ, что у него на шеѣ перья заворочены кверху, и образуютъ надъ его головою что-то въ родѣ капюшона; поэтому онъ и названъ якобинцемъ, въ честь тѣхъ монаховъ, которые носили капюшоны, и которые подарили свое имя не только кроткимъ голубямъ, но и лукавымъ членамъ знаменитаго революціоннаго клуба. *Голубь-павлинъ* (*C. laticauda*) отличается необыкновенно широкимъ хвостомъ; у него въ хвостѣ отъ тридцати до сорока перьевъ, между тѣмъ какъ у другихъ голубей бываетъ ихъ отъ 12 до 14; и эти тридцать или

сопорокъ перьевъ всё торчатъ кверху вѣтромъ, и даже наклоняются впередъ, такъ что у нѣкоторыхъ субъектовъ хвостъ сходится съ головою.

Этихъ примѣровъ разнообразія будетъ достаточно; къ этому можно прибавить, что въ самомъ скелетѣ обнаруживаются очень важныя различія; вмѣстѣ съ формою и размѣромъ клюва измѣняется все строеніе черепа, число позвонковъ въ хвостѣ и въ крестцѣ, и число реберъ у различныхъ породъ бываетъ не одинаково; длина крыльевъ и хвоста сравнительно съ величиною тѣла, и относительная величина различныхъ частей ноги подвергаются очень сильнымъ измѣненіямъ. Форма и размѣры яицъ, полетъ, голосъ и инстинкты—все это расходится въ разныхъ стороны. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ породахъ самецъ и самка значительно отличаются другъ отъ друга. Можно подобрать такую коллекцію голубей, что орнитологъ, специалистъ въ дѣлѣ изученія птицъ, непременно отнесетъ ихъ къ различнымъ видамъ, и даже посоветится называть ихъ представителями одного рода. А между тѣмъ, всё эти разнокалиберныя птицы произошли отъ одного вида, который, подъ названіемъ *дикаго голубя* (rock-pigeon, *Columba livia*) до сихъ поръ живетъ и размножается во многихъ странахъ земнаго шара. Если мы предположимъ, что различныя породы нашихъ домашнихъ голубей произошли отъ нѣсколькихъ дикихъ видовъ, то, чтобы согласить это предположеніе съ существующими фактами, намъ придется запутаться въ безвыходную сѣть самыхъ рискованныхъ и несостоятельныхъ гипотезъ. Если мы не захотимъ допустить, что особенности различныхъ голубиныхъ породъ выработались медленнымъ путемъ постепенныхъ измѣненій, то намъ придется предположить, что въ дикомъ состояніи существовало, по крайней мѣрѣ семь или восемь отдѣльныхъ видовъ, изъ которыхъ одинъ отличался, на примѣръ, воробьинымъ клювомъ курносаго турмана, другой—стоячимъ хвостомъ голубя-павлина, третій—колоссальнымъ зобомъ толстогорлаго голубя, и такъ далѣе. Отчего не предположить? Предположимъ. Но спрашивается, существуютъ ли теперь эти виды въ дикомъ состояніи? Нѣтъ, не существуютъ. А куда же они дѣвались? Ответъ: исчезли, вымерли. Это уже начинаетъ быть неправдоподобнымъ. Голубь гнѣздится на скалистыхъ обрывахъ, и обладаетъ очень сильнымъ полетомъ; эти два обстоятельства такъ хорошо ограждаютъ его отъ естественныхъ враговъ, что полное истребленіе восьми голубиныхъ видовъ представляется дѣломъ чрезвычайно сомнительнымъ. Естественная исторія не знаетъ ни одного примѣра, который доказывалъ бы, что дикій голубь былъ истребленъ въ такой странѣ, гдѣ онъ прежде водился. Голуби сдѣлались домашними птицами въ глубокой древности; о нихъ упоминается въ исторіи Египта, слишкомъ за 3000 лѣтъ до Р. Х.; следовательно, намъ придется предположить, что полудикіе люди сумѣли приручить нѣсколько породъ голубей, что они сумѣли соблазнить всѣ

условія, необходимы для того, чтобы эти различные породы плодились въ неволѣ, что они выбрали для прирученія самыя странныя и причудливыя формы этихъ птицъ, и наконецъ, что всѣ выбранныя ими породы вымерли и исчезли съ лица земли, оставая на бѣломъ свѣтѣ только свое ручное потомство. Каждое изъ этихъ предположеній порознь оказывается неправдоподобнымъ, но когда мы собираемъ всѣ эти предположенія въ одинъ букетъ, тогда неправдоподобіе доходитъ до такихъ размѣровъ, что превращается въ очевидную невозможность и нелѣпность. А между тѣмъ, именно весь букетъ этихъ предположеній необходимъ для того, чтобы произвести различныя породы домашнихъ голубей отъ нѣсколькихъ дикихъ видовъ.

Но кромѣ отрицательныхъ доказательствъ, есть и положительныя. Во-первыхъ, голубиныя породы, отличающіяся рѣзкими особенностями, нигдѣ и никогда не обращались въ дикое состояніе, не смотря на то, что европейцы перевозили ихъ за собою во всѣ части свѣта; напротивъ того, простой домашній голубь, очень похожій на дикаго, довольно часто возвращается къ образу жизни своихъ предковъ и умѣетъ обходиться безъ попеченій человека. Это доказываетъ, что рѣзкія особенности этихъ птицъ выработались подъ вліяніемъ людей, потому что въ противномъ случаѣ, эти особенности не отнимали бы у данныхъ субъектовъ возможности жить на свободѣ. Попадая въ свое отечество, курносый турманъ, или голубь-павлинъ долженъ былъ бы почувствовать себя дома, и, при первомъ удобномъ случаѣ, устроить себѣ самостоятельное бытѣе. Но если онъ до сихъ поръ никогда не попадалъ въ свое отечество, то слѣдуетъ думать, что у него, и у всей его породы нѣтъ и не было другаго отечества, кромѣ голубятника. Во-вторыхъ, случается часто, что помѣсь двухъ отдѣльныхъ голубиныхъ породъ принимаетъ цвѣтъ дикаго голубя, хотя этого цвѣта не было ни у отца, ни у матери. Дарвинъ скрестилъ бѣлаго голубя-павлина съ чернымъ *барбомъ* (варварійскимъ голубемъ); метисы получились черные, воричневые и пестрые. Скрестилъ онъ другаго чернаго барба съ *спотомъ* *) (*Spot*); метисы вышли пестрые. Тогда онъ скрестилъ двухъ метисовъ, т. е., барбо-павлина съ ба-боспотомъ, и родился голубь прекраснаго сизаго цвѣта, съ бѣлымъ зобомъ, съ черными полосками на крыльяхъ и на хвостѣ, и съ бѣлымъ окаймленіемъ верховъ на этихъ двухъ частяхъ тѣла. Словомъ, по цвѣту эта помѣсь двухъ метисовъ оказалась совершенно похожою на чистую *Colomba livia*.

Во всей цѣпи органическихъ существъ случаются такія возвращенія къ характеру предковъ; въ человѣческихъ семействахъ замѣчаютъ очень

*) Spot значитъ пятно. Этиимъ именемъ называется бѣлая порода голубей съ красными пятнами на головѣ и съ краснымъ хвостомъ.

часто, что ребенокъ похожъ не на отца, или на мать, а на дѣда или на бабу; вѣроятно случается часто, что онъ бываетъ похожъ на болѣе отдаленныхъ предковъ, но это обстоятельство, разумѣется, можетъ быть замѣчено только въ тѣхъ немногихъ семействахъ, въ которыхъ сохраняются фамилные портреты. Что касается до голубей, то случай, подмѣченный Дарвиномъ, очень знаменателенъ. И барбъ, и спотъ, и павлинь были очень чистой породы; ни у кого изъ нихъ не было ни одной крапинки сизаго цвѣта; слѣдовательно, откуда же этотъ цвѣтъ взялся у метисовъ втораго поколѣнія? Если вы хотите, во что бы то ни стало, произвести домашнихъ голубей отъ нѣсколькихъ дикихъ породъ, то вамъ придется еще предположить, что всѣ эти разныя породы были окрашены, какъ дикій голубь, потому что только этимъ предположеніемъ объяснится стремленіе метисовъ къ сизому цвѣту. Но такъ какъ съ васъ должно быть довольно и тѣхъ неправдоподобныхъ предположеній, которыя я вамъ представилъ выше, то вы, вѣроятно, кладете оружіе, миритесь съ единствомъ происхожденія всѣхъ голубинныхъ породъ, и требуете только, чтобы я вамъ объяснилъ въ общихъ чертахъ, какъ выработалось теперешнее разнообразіе, и какими манерами потомки дикаго голубя приобрѣли различныя уродливыя особенности. Объясненіе будетъ представлено, какъ для голубей, такъ и для другихъ животныхъ, покорившихся человѣку.

IV.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВЛІЯНІЕ ЧЕЛОВѢКА.

Я уже замѣтилъ выше, что голуби съ незапамятныхъ временъ сдѣлались домашними птицами. По многимъ историческимъ свидѣтельствамъ видно, что они постоянно пользовались благосклоннымъ расположеніемъ человѣка, а иногда дѣлались предметомъ особеннаго вниманія. Являлась жода на голубей, являлось множество любителей, и между ними завязывалось горчее соперничество. Римскій натуралистъ Плиній говоритъ, что въ его время голуби были въ большомъ почетѣ; за иныя породы платились большія деньги, и чистота такихъ любимыхъ породъ хранилась такъ тщательно, что каждый голубь имѣлъ свое генеалогическое древо. Въ Индіи великій моголь Акбаръ-Ханъ, около 1600 года, былъ великимъ охотникомъ и специалистомъ по части голубей. Властители Ирана и Турана присылали къ нему самыхъ рѣдкихъ и отличныхъ птицъ голубиной породы. У него было до двадцати тысячъ штукъ голубей, и придворный лѣтчикъ замѣчаетъ

съ благоговѣніемъ, что его величество изволили избрѣсти особую методу скрещиванія, посредствомъ которой породы голубей улучшились изумительнымъ образомъ. Въ то время, какъ Акбаръ-Ханъ предавался своимъ невиннымъ забавамъ, страсть къ голубямъ свирѣпствовала также на другой оконечности стараго свѣта; голландцы, которымъ въ послѣдствіи суждено было предаться обожанію тюльпановъ, бредили въ то время голубями. Конечно, въ исторіи встрѣчается много другихъ примѣровъ голубеманіи, и, разумѣется, во всякое время существовало еще больше такихъ любителей, о которыхъ никогда не упомянетъ никакая исторія. Мы видѣли выше, что и теперь есть въ Англіи знаменитые любители голубей, составляющіе голубинныя клубы.

Этихъ условій совершенно достаточно, чтобы объяснить самое пестрое разнообразіе, и самыя эксцентрическія особенности въ различныхъ породахъ домашнихъ голубей. Голубей человѣкъ измѣнялъ по своему капризу, а другихъ домашнихъ животныхъ онъ измѣнялъ и до сихъ поръ измѣняетъ сообразно съ своими выгодами. Это дѣлается вотъ какъ: рождается, на примѣръ, голубь, у котораго зобъ немного больше, чѣмъ у его сродниновъ; любителю эта особенность кажется оригинальною и прелестною; мудренаго тутъ ничего нѣтъ, потому что человѣческіе вкусы гораздо болѣе разнообразны и эксцентричны, чѣмъ голубинныя породы; любитель поджигиваетъ зобастому голубю подругу, у которой зобъ также побольше, чѣмъ у другихъ; посмотримъ, думаетъ онъ, что выйдетъ. Выходятъ зобастіе птенцы. Онъ выбираетъ изъ нихъ самыхъ зобастыхъ и свариваетъ ихъ съ другими зобастыми; ну и является наконецъ, послѣ многихъ систематическихъ свариваній и послѣ тщательнаго избранія самыхъ характерныхъ субъектовъ, такая птица, на которую смѣшно смотрѣть, и для которой надо выдумать особенное названіе *columba gutturalis*, а по англійски *pouter*.

Такія особенности, которыми отличаются многія породы голубей, и которыя не доставляютъ никакой пользы ни человѣку, ни самому животному, дѣйствительно могли развиваться только тѣмъ путемъ, который показанъ въ предыдущихъ строкахъ. Только прихоть любителей произвела эти особенности, и только та же самая прихоть поддерживаетъ ихъ. Можно сказать навѣрное, что каждая очень эксцентричная порода голубей очень немногочисленна сравнительно съ какою нибудь простою породою; люди, держащіе голубей для стола, не станутъ выбирать нарочно голубей съ стоячими хвостами или съ якобинскими капюшонами, а если имъ попадутся такіе голуби, то никто не станетъ заботиться о сохраненіи этихъ характеристическихъ признаковъ; птицы будутъ совокупляться по собственному благоусмотрѣнію; вся генеалогія перепутается, и черезъ нѣсколько поколѣній стоячіе хвосты и капюшоны совершенно пропадутъ, потому что эти эксцентрическія особенности очень

непрочны. Гораздо прочнѣе тѣ особенности въ складѣ животныхъ, которыя приносятъ человѣку дѣйствительную пользу и прочнѣе онѣ именно потому, что объ ихъ поддержаніи и совершенствованіи заботятся сознательно или невольпо всѣ люди, а не двѣ, три дюжины прихотливыхъ знатоковъ и любителей. Наконецъ, всего прочнѣе тѣ особенности, которыя полезны самому животному; эти особенности поддерживаются и развиваются постояннымъ вліяніемъ всей природы, неудержимымъ дѣйствіемъ той общей и роковой силы вещей, которая всегда и вездѣ оказывается неизмѣримо сильнѣе всякихъ человѣческихъ сознательностей.

Но объ этихъ послѣднихъ особенностяхъ и объ этой силѣ вещей у насъ будетъ рѣчь впереди, тогда, когда мы отъ домашнихъ животныхъ перейдемъ къ дикимъ, то есть, изъ скотнаго двора выйдемъ въ лѣсъ, въ степь, въ море, въ различныя части свѣта, и въ глубину геологическаго прошедшаго. Покуда потолкуемъ о скотномъ дворѣ и объ огородахъ, тѣмъ болѣе, что въ этихъ скромныхъ областяхъ сельскаго хозяйства мы найдемъ чрезвычайно много поучительнаго и интереснаго. Дарвинъ не даромъ началъ свою книгу съ домашнихъ животныхъ; ему было необходимо разсмотрѣть и изучить сначала дѣйствіе законовъ природы въ малыхъ размѣрахъ, въ упрощенныхъ формахъ, и въ ограниченныхъ сферахъ. Превращенія домашнихъ породъ относятся къ превращеніямъ дикихъ породъ, какъ искры электрической машины относятся къ ударамъ настоящаго грома. Изучать различныя свойства электричества гораздо удобнѣе въ физическомъ кабинетѣ, чѣмъ подъ открытымъ небомъ, во-первыхъ потому, что не мокнешь подъ дождемъ, а во-вторыхъ потому, что не рискуешь подвергнуться участи профессора Рихмана, который, какъ извѣстно, былъ убитъ громомъ въ прошломъ столѣтіи, во время своихъ наблюденій надъ атмосфернымъ электричествомъ. Такъ точно и въ дѣлѣ Дарвина. Тутъ даже нѣтъ никакой возможности дѣлать прямыя наблюденія надъ дикими породами. Надо имѣть постоянно передъ глазами изучаемую породу, надо слѣдить за ея видоизмѣненіями въ теченіи нѣсколькихъ и даже многихъ поколѣній; а какъ только вы поставите дикое животное въ такое положеніе, въ которомъ можете постоянно слѣдить за нимъ, такъ оно, очевидно, перестанетъ быть дикимъ, и сдѣлается, или плѣннымъ животнымъ, или ручнымъ. Левъ въ клеткѣ—что-жъ это за левъ? И какіе же общіе выводы можно основать на такихъ наблюденіяхъ, при которыхъ наблюдаемый предметъ насильственно вырванъ изъ своей естественной сферы и поставленъ въ совершенно ненормальное положеніе? Да если бы даже вы и захотѣли дѣлать тутъ какіе нибудь выводы, такъ и дѣлать-то ихъ не изъ чего, потому что запасъ фактовъ будетъ очень скуденъ. Поэтому, если натуралистъ хочетъ изучать вопросъ о типахъ, о разновидностяхъ, о законахъ наследственности, о возможныхъ размѣрахъ индивидуальнаго разнообра-

зія, то онъ долженъ съ полнымъ смиреніемъ обратиться къ тому богатому запасу практическаго опыта, который собранъ у скотоводовъ, у заводчиковъ, у садовниковъ, у огородниковъ и у разныхъ другихъ скромныхъ двигателей матеріальнаго благосостоянія. У этихъ людей нѣтъ общающаго взгляда, но сырыхъ фактовъ пропасть, и умѣніе ихъ обращаться съ живымъ матеріаломъ доходить до изумительнаго совершенства, конечно только въ тѣхъ странахъ, гдѣ сельское населеніе не задушено бѣдностью, и гдѣ различныя отрасли сельскаго хозяйства не ведутся на авось. Въ Англіи и въ Германіи есть знаменитые скотоводы, которые, въ теченіи одной человѣческой жизни, произвели очень обширныя измѣненія въ нѣкоторыхъ породахъ быковъ и барановъ. «Можно подумать, говоритъ лордъ Сомервилль, что они нарисовали идеальную форму, и потомъ дали ей жизнь.» Они, дѣйствительно, смотрятъ на животное, какъ на кусокъ глины, изъ которой, при нѣкоторомъ умѣнии, можно вылѣпить самую красивую, самую полезную, или самую уродливую статую. И этотъ взглядъ основанъ цѣликомъ на практическомъ опытѣ, потому что, какъ только эти господа пускаются въ теоріи, такъ они становятся чрезвычайно робкими. Они сами измѣняютъ фигуру своихъ животныхъ, но въ то же время они рѣшительно отказываются вѣрить, что, напримѣръ, короткорогіе быки произошли отъ длиннорогихъ. Они видятъ и понимаютъ только то, что сами дѣлаютъ; поэтому, когда эти невѣрующіе практики говорятъ о превращеніяхъ, то имъ уже можно вѣрить безусловно. Одинъ изъ этихъ практиковъ, Джонъ Себрайтъ, говоритъ, что онъ въ три года беретъ создать для голуби какой угодно цвѣтъ перьевъ; а въ шесть лѣтъ, онъ можетъ переработать голову и клювъ. Вся хитрость состоитъ тутъ въ томъ, чтобы умѣть выбрать самца и самку, и чтобы повторять эту операцію съ одинаковымъ искусствомъ для втораго, для третьяго поколѣнія, и такъ далѣе.

Этотъ принципъ систематическаго выбора произвелъ и до сихъ поръ производитъ всѣ превращенія нашихъ домашнихъ животныхъ и хозяйственныхъ растений. Но выбирать вовсе не такъ легко, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въдѣ тутъ дѣло не въ томъ, чтобы распознать и отдѣлить одну отъ другой, двѣ явственно обозначенныя породы; и не въ томъ, чтобы устранить отъ завода уродливыхъ субъектовъ; это только самая простая и чисто отрицательная часть задачи. и Дарвинъ, не имѣющій понятія о тайнахъ нашего русскаго скотоводства, утверждаетъ, даже съ полнымъ убѣжденіемъ, что не существуетъ такихъ безалаберныхъ людей, которые позволили бы размножаться самымъ плохимъ экземпляромъ своего стада. Но положительная сторона дѣла оказывается несравненно болѣе трудною. Глазъ скотовода долженъ подмѣтить каждую зарождающуюся особенность, чтобы уничтожить ее въ самомъ началѣ, если она можетъ сдѣлаться

вредною, или чтобы развить и воспитать ее въ будущихъ поколѣнiяхъ, если она можетъ принести пользу. Въ Саксонiи, гдѣ процвѣтаетъ тонкорунное овцеводство, умѣнье научать и разсматривать барановъ превратилось въ науку и въ искусство. Есть тамъ такіе спеціалисты по части барановѣденiя, которыхъ владѣльцы стадъ приглашаютъ на консультаціи, и которымъ платятъ за совѣты очень порядочныя деньги. Три раза въ годъ, каждого барана ставятъ на столъ, барановѣдъ изучаетъ его во всѣхъ подробностяхъ, какъ картину, отмѣчаетъ и записываетъ его въ особенную категорію, и за тѣмъ только самыя безукоризненные бараны признаются достойными наслаждаться счастьемъ взаимной любви. Не смотря на всѣ эти хлопоты и издержки, хозяинъ остается въ большомъ барышѣ, потому что бараны дѣйствительно воплощаютъ въ себѣ идеалъ бараньяго совершенства, а всякое совершенство, при умѣнii имъ пользоваться, даетъ значительный доходъ. Но не всякій желающій можетъ сдѣлаться барановѣдомъ или быковѣдомъ; Дарвинъ всѣми силами старался разсмотрѣть такія особенности, о которыхъ разсуждали и спорили спеціалисты, и ничего не могъ увидать. «Врядъ-ли, говоритъ онъ, одинъ человѣкъ изъ тысячи обладаетъ тою вѣрностію глаза и сужденія, которыя необходимы для того, чтобы сдѣлаться искуснымъ скотоводомъ». «Немногіе люди повѣрятъ, говоритъ онъ далѣе, сколько требуется природныхъ способностей и опытности для того, чтобы сдѣлаться искуснымъ любителемъ голубей». Впрочемъ, повѣрить этому вовсе не трудно; индивидуальныя особенности обыкновенно бываютъ едва замѣтны, а только постоянное накопленіе этихъ незамѣтныхъ особенностей въ извѣстномъ направленіи можетъ современемъ повести къ замѣтному совершенствованію породы, или къ образованію новой разновидности. Если вы побываете въ хорошемъ цвѣтникѣ, въ хорошемъ огородѣ, и въ хорошемъ фруктовомъ саду, то вы непремѣнно замѣтите очень любопытное явленіе; въ цвѣтникахъ вы увидите, положимъ, множество различныхъ георгинъ; разнообразіе будетъ заключаться въ цвѣтахъ, между тѣмъ, какъ стебель и листья этихъ растений будутъ очень похожи другъ на друга; въ огородѣ вы увидите много сортовъ капусты; здѣсь листья будутъ разнообразны, а цвѣты почти одинаковы; въ фруктовомъ саду, вы увидите всевозможные виды крыжовника; на одномъ кустѣ будутъ крупныя ягоды, на другомъ мелкія, на третьемъ зеленыя, на четвертомъ желтыя, на пятомъ — красныя, здѣсь — мохнатыя, тамъ — гладкія, здѣсь — продолговатыя, тамъ — круглыя; но посмотрите на самыя кусты, на листья, на цвѣты, и вы едва отличите одинъ сортъ отъ другаго. Во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ, разнообразіе, какъ видите, проявляется именно въ тѣхъ частяхъ растенія, на которыя обращено вниманіе человѣка. Понятно, почему. Занимаясь георгинами, садовникъ выбираетъ сѣмена тѣхъ растений, которыя даютъ

особенно яркіе и красивые цвѣты; если какая нибудь новая форма проявится въ цвѣтахъ этихъ растений, то садовникъ замѣтитъ и воспи-таетъ ее; если же эта новая форма обнаружится въ стеблѣ или въ листьяхъ, то на нее даже никто и не посмотритъ. Цвѣты георгины измѣ-няются такимъ образомъ подѣ влияніемъ человѣка, а стебли и листья измѣняются уже только вслѣдъ за цвѣтами, по соотношенію въ развитіи, и эти второстепенныя измѣненія бывають обыкновенно незначительны. Въ капустѣ и въ крыжовникѣ дѣло устроивается точно также, съ тою только разницею, что вниманіе человѣка обращается тутъ, въ первомъ случаѣ, на листья, а во второмъ, — на ягоды. То же самое явленіе мож-но замѣтить и въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя человѣкъ производитъ надъ животными. Что онъ измѣняетъ, напримѣръ, въ баранѣ? Ростъ, фигуру тѣла, рога, шерсть, величину ногъ — вообще то, что бросается въ глаза, или что можно, по крайней мѣрѣ, рассмотреть. Никому въ голову не приходило измѣнить желудокъ или печень барана, да и ни-кому бы не удалось сдѣлать такую штуку, потому что, въ большей ча-сти случаевъ, нѣтъ возможности подмѣнить у живаго существа, въ устрой-ствѣ внутренняго органа, такую индивидуальную особенность, которую можно было бы развить посредствомъ систематическаго выбора. Но, ког-да устройство внутренняго органа проявляется въ какомъ нибудь внѣш-немъ признакѣ, тогда человѣкъ можетъ измѣнить и внутренній органъ. Напримѣръ, величина зоба выразилась у голубя въ привычкѣ раздувать эту часть тѣла; человѣкъ замѣтилъ и развилъ какъ зобъ, такъ и при-вычку. У свиней особое устройство пищеварительнаго канала или осо-быя химическія свойства крови выражаются внѣшнимъ образомъ въ чер-номъ цвѣтѣ щетины; обитатель Флориды замѣтилъ это обстоятельство, и, выбирая постоянно черныхъ свиней, упрочилъ за своими свиньями тѣ особенности, которыя позволяютъ имъ ѣсть корень *lachnanthes*, не распачиваясь за это удовольствіе своими копытами. Наконецъ, конно-заводство, выбирая постоянно для своихъ заводовъ самыхъ быстрыхъ скакуновъ, несомнѣнно упрочиваетъ за своими лошадьми, кромѣ крѣ-пости ногъ, особое устройство легкихъ, потому что простая лошадь за-дохнется отъ того быстрого движенія, которое безъ малѣйшаго труда вынесетъ англійскій рысакъ. Такимъ образомъ, человѣкъ, посредствомъ цѣлесообразнаго выбора производителей, можетъ измѣнить всю органи-зацію животныхъ и растений; но обыкновенно, онъ измѣняетъ только внѣшніе органы, или какую нибудь отдѣльную группу органовъ, а вну-тренніе или вообще другіе органы, не интересующіе человѣка, измѣняют-ся уже помимо его воли, въ менѣе значительныхъ размѣрахъ, по не-изслѣдованнымъ законамъ соотношенія въ развитіи.

V.

НЕВОЛЬНОЕ ВЛІЯНІЕ ЧЕЛОВѢКА.

Не прошло еще ста лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ скотоводы стали обращать серьезное вниманіе на улучшеніе породъ посредствомъ систематическаго выбора производителей. До сихъ поръ скотоводство обращено въ науку и въ искусство только въ немногихъ странахъ Европы; гдѣ существуетъ національное скотоводство, тамъ оно съ изумительною быстротою доставило уже блистательные результаты, но результаты эти не могутъ имѣть обширнаго значенія, по той простой причинѣ, что всякое рациональное занятіе еще надолго будетъ оставаться доступнымъ только для самаго незначительнаго меньшинства нашей великой и прославленной породы. Большинство людей, вслѣдствіе печальной необходимости, живетъ и дѣйствуетъ ощупью, по силѣ инерціи, безъ всякаго плана жизни и безъ всякой цѣли. Какъ оно живетъ вообще, такъ точно оно дѣйствуетъ и на тотъ міръ животныхъ и растений, отъ котораго оно зависитъ въ своемъ пропитаніи. Вліяніе этого безсознательнаго большинства обнаруживается медленно, неясно и безтолково, но за то кругъ дѣйствій этого большинства чрезвычайно обширенъ. Во-первыхъ, большинство есть все-таки стихійная сила, и въ сравненіи съ нею всякіе индивидуальныя труды оказываются крошечными песчинками; во-вторыхъ, это большинство дѣйствуетъ не какихъ нибудь восемьдесятъ лѣтъ, какъ просвѣщенные скотоводы, а нѣсколько десятковъ тысячелѣтій. Поэтому, не подлежитъ сомнѣнію, что большинство, или человѣчество вообще, съ начала своего существованія, невольно и безсознательно произвело въ животныхъ и въ растеніяхъ множество чрезвычайно важныхъ и обширныхъ измѣненій. Всякій разъ, какъ только человѣкъ имѣлъ возможность выбрать изъ нѣсколькихъ предметовъ одинъ, онъ выбиралъ непременно тотъ, который доставлялъ ему больше пользы или удовольствія. Если онъ, напримѣръ, могъ прокормить только одну собаку, то онъ, конечно, пришибалъ не ту, которая отличалась особенною вѣрностью и смѣлостью. Если у него была одна кобыла, то онъ, разумѣется, не отыскивалъ для нея нарочно самаго уродливаго и дряхлаго жеребца. Когда Арабы, застигнутые голодомъ въ пустынѣ, бывають принуждены зарѣзать и съѣсть верблюда, то они никакъ не распорядятся такимъ образомъ съ самымъ лучшимъ и съ самымъ крѣпкимъ верблюдомъ. Дикіе обитатели Огненной Земли такъ дорожатъ своими собаками, что во время голодныхъ мѣсяцевъ или годовъ, которые для всякихъ дикарей вообще повторяются очень часто, — они убивають и съѣдаютъ своихъ старухъ, а собакъ не трогаютъ, потому, говорятъ они,

что собака полезнѣе. Когда людямъ, не питающимся въ обыкновенное время человѣческимъ мясомъ, приходится поѣдать своихъ близкихъ родственницъ, тогда, разумѣется, бываетъ уже сѣдено все, что только можно было сѣсть. Собаку можно сѣсть, а если ее не сѣсть, то ее надо кормить, а это очень мудрено сдѣлать въ такое время, когда люди ѣдятъ другъ друга, и все-таки умираютъ съ голоду. Понятно, что, послѣ такой перѣдряги, уцѣлѣютъ только тѣ собаки, которыя, во первыхъ, особенно драгоценны для своихъ владѣльцевъ какими нибудь отличными достоинствами, и, во-вторыхъ, умѣютъ переносить голодъ лучше другихъ. Выборъ будетъ сдѣланъ, такимъ образомъ, не по рациональной методѣ, но за то чрезвычайно строго.

И въ древности, и во время среднихъ вѣковъ, люди голодали очень часто, нисколько не хуже теперешнихъ обитателей Огненной Земли или Гренландіи. А что въ доисторическія времена такіа голодныя полосы находили на людей еще гораздо чаще, и поражали ихъ гораздо сильнѣе, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Чѣмъ дальше въ лѣтъ, тѣмъ больше дровъ; чѣмъ дальше въ прошедшее, тѣмъ мрачнѣе становится картина человѣческаго существованія или прозябанія. Голодъ обрушивался и на людей, и на домашнихъ животныхъ; животныя травоядныя могли бы прокормиться сами, но ихъ сѣдали голодные люди, и, конечно, оставалось въ живыхъ только то, что было всего крѣпче, всего лучше, и всего необходимѣе. Эти періодическія посѣщенія голода сдѣлались гораздо рѣже, или совершенно прекратились только тогда, когда люди, размножившись, стали вести образъ жизни вполне приличный осѣдлому и земледѣльческому племени. Тутъ уже «табуны его коней» не могли пастись «вольны, нехранимы», потому что это возможно только тогда, когда «его луга необозримы», а необозримость луговъ существуетъ тогда, когда народъ находится въ переходномъ состояніи отъ кочевой жизни къ осѣдлой. Когда же кони, и всякій другой скотъ стали обитать въ покрытыхъ строеніяхъ, тогда, вмѣсто вліянія періодическаго голода, домашнія животныя стали испытывать на себѣ водонизмѣняющее дѣйствіе хозяйственныхъ распоряженій. Всякій крестьянинъ, вовсе не разсчитывая усовершенствовать породу, и вовсе не зная, что такіа усовершенствованія возможны, старался, по крайней мѣрѣ, чтобы его корова или кобыла не производила на свѣтъ уроковъ. Для этого, охъ, напримѣръ, держалъ молодыхъ самцовъ отдѣльно отъ молодыхъ самокъ. Если представлялась возможность случить корову съ хорошимъ быкомъ, или кобылу съ хорошимъ жеребцомъ, то крестьянинъ, разумѣется, пользовался этою возможностью, потому что важное значеніе хорошей породы понятно самымъ необразованнымъ людямъ, и было имъ извѣстно съ незапамятныхъ временъ. Они не умѣли ни произвести, ни даже поддержать въ полной чистотѣ хорошую породу, но все-таки,

по мѣрѣ своихъ силъ и своей сообразительности, они старались сдѣлать получше, а не похуже. То, что было очевидно дурно—отбрасывалось въ сторону; то, что было очевидно хорошо—сохранялось; и такъ какъ въ этомъ направленіи дѣйствовали не десятки людей, а миллионы, то и результаты получились очень значительные, хотя въ болѣе части случаевъ никакое научное изслѣдованіе не можетъ показать намъ, каковы были первобытныя формы домашнихъ животныхъ, и чрезъ какія постепенныя видоизмѣненія они должны были пройти, прежде чѣмъ достигли своего теперешняго положенія.

Исторія разныхъ животныхъ и хозяйственныхъ растений не сохранилась, и не могла сохраниться по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, начало земледѣлія и скотоводства относится къ такому далекому прошедшему, о которомъ говорятъ не лѣтописи, и даже не преданія, а только кое-какіе, самые скудные геологическіе остатки; жили люди, были у нихъ прирученныя животныя, остались отъ тѣхъ и другихъ кое-какія кости, — вотъ и все, что можно узнать о доисторическихъ тысячелѣтіяхъ, да и эти небогатыя свѣдѣнія мы стали приобрѣтать только въ самое новѣйшее время. Стало быть, возстановить типъ домашнихъ животныхъ и растений, какъ они были въ минуту перваго своего соприкосновенія съ человѣкомъ, и потомъ сравнить этотъ типъ съ тѣми формами, которыя живутъ теперь подъ нашею властью — эта такая работа, которую изслѣдователи наши, по всей вѣроятности, никогда не будутъ въ состояніи выполнить.

Не зная исходной точки, мы точно также не знаемъ и тѣхъ переходныхъ ступеней, черезъ которыя прошли наши животныя и растенія. Теперь, когда на этотъ предметъ обращено вниманіе мыслящихъ людей, теперь когда существуютъ выставки сельско-хозяйственныхъ произведеній, когда о скотѣ, объ огородахъ, о садахъ и о поляхъ пишутся научныя сочиненія съ самыми отчетливыми рисунками, чертежами и таблицами, теперь, разумѣется, можно замѣтить всякую перемѣну въ быкахъ, въ баранахъ, въ капустѣ, въ пшеницѣ, въ георгинахъ или въ крыжовникѣ. Но въ былое время, въ то время, которое собственно для насъ не составляетъ даже прошедшаго, — никто не обращалъ вниманія на эти перемѣны, никому не приходило въ голову рисовать портретъ съ капусты, или измѣрять быка вдоль и поперекъ. Теперь, въ образованныхъ государствахъ измѣненія органическихъ формъ рѣзче бросаются въ глаза, потому что, благодаря трудамъ дѣльныхъ специалистовъ, они совершаются очень быстро, то есть, въ теченіи нѣсколькихъ десятилѣтій, на глазахъ одного поколѣнія. Въ былое время дни совершались чрезвычайно медленно, и людямъ было такъ же невозможно замѣтить эти измѣненія, какъ невозможно, напримѣръ, замѣтить глазами движеніе часовой стрѣлки. О движеніи часовой стрѣлки человѣкъ, не знающій внутренняго устройства часовъ, заключаетъ потому, что помнитъ, на какомъ

мѣстѣ: она стояла нѣсколько времени тому назадъ, и видитъ, гдѣ она очутилась въ данную минуту. Въ вопросѣ объ органическихъ формахъ мы обыкновенно не знаемъ, гдѣ стояла стрѣлка лѣтъ пятьсотъ или семсотъ тому назадъ; но, въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, въ которыхъ у насъ есть указанія на прошедшее положеніе стрѣлки, мы постоянно видимъ, что она съ тѣхъ поръ подвинулась впередъ. Напримѣръ, англійская лягавая собака привезена въ Англію изъ Испаніи; между тѣмъ, въ Испаніи новѣйшіе путешественники ни разу не видали ни одной собаки, похожей на теперешнюю англійскую; испанскія лягавыя собаки хуже теперешнихъ англійскихъ, и послѣднія были усовершенствованы тѣмъ, что каждый охотникъ старался приобрести себѣ собаку, какъ можно лучше, хотя ни одинъ охотникъ не заботился положительно о томъ, чтобы реформировать всю породу. Англійскіе лошади происходятъ отъ арабскихъ, но онѣ теперь на столько лучше послѣднихъ, что на нѣкоторыхъ скачкахъ существуютъ постоянныя правила, по которымъ арабскіе скакуны во время состязаній должны нести на себѣ меньшія тяжести, чѣмъ англійскіе. По описаніямъ Плинія можно заключить, что груши у древнихъ римлянъ были очень дурнаго качества, а между тѣмъ, вѣдь никто же не рѣшится предположить, что лучшіе сорта нашихъ теперешнихъ грушъ найдены готовыми, гдѣ нибудь въ лѣсу, во время среднихъ вѣковъ. Въ лѣсу, разумѣется, находились всегда только такіа яблоки и груши, которыя мы и теперь называемъ дикими, и которыми никто не пожелаетъ лакомиться. Теперешнія груши произошли прямымъ путемъ отъ дрянныхъ грушъ временъ Плинія, и усовершенствовались постепенно вліяніемъ тщательной обработки; а главнымъ средствомъ улучшенія былъ выборъ сѣмянъ; всякій садовникъ, какъ бы онъ ни былъ неразвитъ, все-таки старается посѣять самыя крупныя, самыя зрѣлыя сѣмена, происходящія изъ тѣхъ плодовъ, которые отличались особенною сочностью и особенно хорошимъ вкусомъ. Даже гоголевскій Иванъ Никифоровичъ, и тотъ навѣрное собиралъ въ бумажку сѣмена тѣхъ только дѣвъ, которыя ему нравились. А если, такимъ образомъ, въ теченіи другихъ столѣтій постоянно накапливаются только самыя легкія и незамѣтныя индивидуальныя особенности, то въ общемъ итогѣ непремѣнно получаютъ наконецъ новыя породы, и цѣлыя новыя виды. Пока эти разновидности, породы и виды вырабатываются, ихъ никто не замѣчаетъ; когда же они окончательно готовы, и когда нельзя ихъ не замѣтить, тогда никто не знаетъ, откуда они взялись, и какъ они сформировались. Отсюда и возникаетъ мнѣніе, что они-де всегда существовали. Если человѣкъ чего нибудь не знаетъ, то онъ въ одну минуту или выдумаетъ что нибудь, или увѣрить себя, что тутъ и знать нечего. Не знаетъ происхожденія породы, значитъ и не было никакого происхожденія: всегда была порода, съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ;

не знает развитія породы—значить и нѣтъ никакого развитія: всѣ породы неизмѣнны и неподвижны. А живая-то жизнь сейчасъ тутъ же и прихлопнетъ человѣка, и уличить его въ бестолковомъ и самонадѣянномъ враньѣ неопровержимыми фактами. Окажется напримѣръ, что породы чрезвычайно подвижны, и что онѣ часто измѣняются передъ самыми глазами человѣка, помимо и даже вопреки его воли. Жили-были два англичанина, Берджесъ и Беклей; завели они себѣ, гдѣ пятьдесятъ тому назадъ, по стаду лейстерскихъ барановъ, съ бекузлевскаго завода; заводъ этотъ знаменитый, и оба англичанина старались только о томъ, чтобы сохранить въ чистотѣ породу своихъ стадъ, и всѣ ихъ превосходныя качества. Бараны какъ были отличные, такъ и остались отличными. Но какъ ни строги были консервативныя тенденціи госнодъ Берджеса и Беклея, однако въ результатѣ все-таки получился прогрессъ, а если не прогрессъ, такъ во всякомъ случаѣ переимѣна. У Берджеса—одни бараны, а у Беклея—другіе, точно двѣ разныя породы, и обѣ породы отличаются отъ чистыхъ бекузлевскихъ барановъ. И жили оба стада въ одномъ климатѣ, и мѣстоположеніе одинаковое, и нища та же самая, и хозяйева оба консерваторы, а все-таки такой грѣхъ случился. Чѣмъ же это объяснить? Все-таки выборомъ производителей. Берджесъ и Беклей хотѣли придти къ одной цѣли, или вѣрнѣе, оба хотѣли стоять на одномъ мѣстѣ, но такъ какъ одинъ человѣческій взглядъ никогда не сходилъ вполне съ другимъ, то и наши англичане навѣрное чуть-чуть, но расходились между собою въ манерѣ прикладывать общую методу къ дѣлу. Берджесъ обращалъ, напримѣръ, немножко больше вниманія на одну сторону бараньяго идеала, а Беклей на другую. И изъ этого «немножко», и изъ этого «чуть-чуть», въ теченіи пятидесяти лѣтъ, при полномъ сходствѣ важнѣйшихъ условій жизни, выработалась очень замѣтная разница въ результатахъ.

Послѣ этого, надо быть очень яростнымъ классификаторомъ, и очень непреклоннымъ обожателемъ неуловимаго понятія *ovis agrie*, чтобы отрицать измѣняемость органическихъ формъ, и чтобы не видѣть въ каждомъ измѣненіи исключительное дѣйствіе человѣческаго искусства. Если человѣкъ не хочетъ измѣнить, а между тѣмъ все-таки измѣняется, то очевидно, что его самого увлекаетъ непобѣдимая и роковая сила вещей. А эта сила вездѣ одна и та же; она дѣйствуетъ и на скотномъ дворѣ англійскаго сквайра, и въ дѣвственномъ лѣсу тропической Америки, и въ развалившейся клѣткѣ русскаго мужика, и въ холодной глубинѣ полярнаго океана. Законъ тяготѣнія управляетъ движеніемъ тѣхъ частицъ жира, которыя поднимаются на поверхность вашего супа, и тотъ же законъ господствуетъ надъ тѣми тысячами міровъ, которые представляются нашимъ сильнѣйшимъ телескопамъ въ видѣ неясныхъ туманныхъ пятенъ. А законъ тяготѣнія отличается отъ тѣхъ законовъ,

по которымъ совершается развитіе органической жизни, только тѣмъ, что послѣдніе гораздо сложнѣе перваго и гораздо менѣе изслѣдованы. Но всѣ законы природы, простые и сложные, изслѣдованные и неизслѣдованные, физическіе или психологическіе, одинаково непоколебимы, одинаково обширны и одинаково не терпятъ исключеній, потому что всѣ они одинаково вытекаютъ изъ необходимыхъ и вѣчныхъ свойствъ безпредѣльнаго міроваго вещества.

VI.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ.

Каждое растеніе производитъ въ теченіи своей жизни нѣсколько зеренъ; каждая самка, къ какому бы классу животнаго царства она ни принадлежала, производитъ, при нормальныхъ условіяхъ, нѣсколько яицъ или нѣсколько живыхъ дѣтенышей. Каждая порода органическихъ существъ стремится, такимъ образомъ, размножаться по геометрической прогрессіи, которая возрастаетъ болѣе или менѣе быстро, смотря по тому, много или мало птенцовъ рождаетъ самка. Если мы возьмемъ ту геометрическую прогрессію, которая возрастаетъ въ такомъ видѣ: 1, 2, 4, 8, 16, 32....., то и тутъ получатся изумительные результаты. Линней предположилъ, что какое нибудь однолѣтнее растеніе даетъ въ теченіи своей годовой жизни только два зерна, и что эти два зерна на будущій годъ взойдутъ благотворно, и въ свою очередь принесутъ по два зерна; продолжая этотъ расчетъ съ тѣми же предположеніями, онъ нашелъ, что на двадцать-первый годъ получится больше милліона растеній. Но такихъ растеній, которыя приносили бы въ годъ по два зерна, не существуетъ; всѣ приносятъ больше; а у нѣкоторыхъ органическихъ существъ быстрота размноженія доходитъ до чудовищныхъ размѣровъ. Самка налива кладетъ въ годъ до 130 тысячъ яицъ; самка окуна до 300,000; треска до 4 милліоновъ; если приложить расчетъ Линнея къ трескѣ, то есть, если предположить, что каждое изъ 4 милліоновъ яицъ благополучно разовьется и произведетъ также 4 милліона яицъ, и если продолжать этотъ расчетъ до двадцати перваго поколѣнія, то, разумѣется, получится такой рядъ цифръ и нулей, котораго никто не счумѣетъ произнести, а треска такъ сопрется въ морѣ, что ей негдѣ будетъ повернуться, и уже во всякомъ случаѣ негдѣмъ будетъ питаться. Но такое несчастье возможно только въ теоретическомъ расчетѣ; въ природѣ оно невозможно, именно потому, что всѣ органическія формы размножаются по геометрической прогрессіи; всѣ онѣ производятъ

столько дѣтей, лицъ или сѣмянъ, что если бы всѣ дѣти, лица и сѣмена, произведенныя только въ теченіи одного года, достигли полнаго своего развитія, то всѣ эти ровесники не могли бы умѣститься на всей поверхности земнаго шара. Но это предположеніе опять таки не только неосуществимо въ дѣйствительности, а даже немислимо въ теоріи, то есть, оно заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Если вы предположите, что всѣ сѣмена растений достигнуть полнаго своего развитія, то вы осудите на вѣрную смерть весь животный міръ безъ исключенія, потому что нѣтъ ни одного животного, которое питалось бы неорганическими веществами. Если вы захотите, чтобы группа травоядныхъ животныхъ развилась совершенно безпрепятственно, то вы до нѣкоторой степени обидите растительный міръ, и совершенно погубите плотоядныхъ.

Словомъ, органическая жизнь немислима безъ постоянного и ежеминутнаго истребленія живыхъ существъ; органическая жизнь есть вѣчная борьба между живыми существами, и каждая органическая форма сѣтся въ своемъ размноженіи всѣми остальными формами. Борьба эта не можетъ прекратиться ни на одно мгновеніе, потому что каждый шагъ въ жизни есть актъ борьбы. Бороться приходится за все: за пищу, за пространство, за горсть земли, за глотокъ воздуха, за частицу воды, за лучъ свѣта, за неприкосновенность собственнаго тѣла, — короче сказать за жизнь, въ самомъ обширномъ и всеобъемлющемъ смыслѣ этого страннаго слова. Кто оплошалъ въ этой борьбѣ, тотъ потябъ, того тотчасъ отдають въ ломъ, какъ серги или булавку стараго фасона; онъ умираетъ и его немедленно самымъ веселымъ и добродушнѣйшимъ образомъ поѣдаютъ другія растенія и животныя; то растеніе или животное, которому удалось оторвать себѣ кусокъ мертваго тѣла, одержало побѣду надъ тѣмъ, кому это не удалось; кто часто одерживаетъ такіа побѣды, тотъ усиливается, и получаетъ возможность еще съ большимъ успѣхомъ одолѣвать своихъ конкурентовъ; кто часто терпитъ такіа пораженія, тотъ, напротивъ того, слабѣетъ, умираетъ и своею смертію открываетъ поле для новыхъ схватокъ, которыя кончаются новыми побѣдами однихъ и новыми пораженіями другихъ. Если, напримѣръ, ястребъ поймалъ и задушилъ голубя, то онъ одержалъ побѣду не только надъ голубемъ, но и надъ другими ястребами. Какъ ни могучъ полетъ ястреба и какъ ни многочисленны тѣ птицы, которыя могутъ служить ему добычею, однако число этихъ послѣднихъ не можетъ считаться неограниченнымъ на томъ пространствѣ земли, которое ястребъ можетъ облетѣть не отдыхая. Стало быть, всякій голубь, съѣденный однимъ ястребомъ, есть кусокъ пищи, отнятый имъ у другихъ хищныхъ птицъ. Слѣдовательно, между этими птицами происходитъ постоянная борьба, даже тогда, когда у нихъ и не доходитъ дѣло до открытой драки. Если люди

яиутъ грибовъ въ одномъ лѣсу, то они, очевидно, борются между собой, хотя и не наносятъ другъ другу ударовъ. Если растеніе производить въ годъ сотню зеренъ, изъ которыхъ среднимъ числомъ только одно успѣваетъ пустить корень, то, разумѣется, это растеніе борется со всѣми своими сосѣдами за кусокъ земли, и за необходимую порцію воздуха и солнечнаго свѣта. Или оно должно задунить кого нибудь изъ сосѣдей, или сосѣди его задунать. Середины нѣтъ и нейтралитетъ невозможенъ. На дубѣ, на яблонѣ, и на нѣкоторыхъ другихъ деревьяхъ растетъ чужеродное растеніе *viscum аусирагіумъ*; оно борется за жизнь, какъ съ другими подобными себѣ растеніями, такъ и съ тѣми деревьями, изъ которыхъ оно тянетъ питательные соки; если этихъ растений на одномъ деревѣ разведется слишкомъ много, то дерево зачахнетъ и умретъ, а вслѣдъ за нимъ умрутъ и его паразиты. Птицы едятъ ягоды этого растенія и потомъ разсѣиваютъ его сѣмена въ своихъ испражненіяхъ; для *viscum* выгодно, чтобы птицы клевали его плоды; для другихъ растений того же вида или другихъ видовъ и родовъ — это также выгодно, но тѣмъ же самыми причинами; стало быть, и здѣсь завязывается борьба въ самой своеобразной формѣ; одна ягода говоритъ птицѣ: съѣшь меня! и другая тоже проситъ: пожалуйста, съѣшь меня! Очевидно, побѣда остается за тѣмъ сортомъ ягодъ, и за тѣми отдельными ягодами каждаго сорта, которыя оказываются самыми вкусными для приглашаемой птицы. Результатъ борьбы здѣсь, какъ и вездѣ, выразится въ томъ, что число побѣдителей увеличится, а число побѣжденных уменьшится.

Жить на бѣломъ свѣтѣ значить постоянно бороться и постоянно побѣждать; растеніе борется съ растеніемъ, травоядное животное борется съ растеніемъ и съ травоядными, плотоядное съ травояднымъ и съ плотояднымъ, крупныя животныя съ мелкими, напримѣръ: быкъ съ какою нибудь мухою, которая кладетъ ему свои яйца въ ноздри и разводитъ у него въ носу цѣлую губительную колонію, или человѣкъ съ крошечною американскою блохою, которая поселяется кѣмъ-то съ своимъ потомствомъ подъ ногтемъ его ноги и производитъ такимъ образомъ смертельное воспаленіе, или вообще всѣ высшія животныя съ мельчайшими паразитами, живущими въ ихъ внутренностяхъ и причиняющими очень часто опасныя болѣзни. Отдѣлки этой всемірной борьбы безконечно разнообразны; каждому недѣлимому приходится постоянно и нападать, и защищаться; и только тотъ, кто отстоялъ свое тѣло отъ гастрономическихъ покушеній разнокалиберныхъ враговъ и кто самъ поѣлъ достаточное количество другихъ враговъ, только тотъ, говорю я, можетъ оставить послѣ себя потомство, которому предстоить тотчасъ же послѣ рожденія начать ту же самую истребительную борьбу.

Родиться на свѣтъ — самая простая штука, но прожить на свѣтѣ —

это уже очень мудрено; огромное большинство органических существ вступает въ міръ, какъ въ громадную кухню, гдѣ повара ежеминутно рубятъ, потрошатъ, варятъ и поджариваютъ другъ друга; попавши въ такое странное общество, юное существо прямо изъ утробы матери переходитъ въ какой нибудь котелъ и поглощается однимъ изъ поваровъ; но не успѣвъ еще коваръ проглотить свой обѣдъ, какъ онъ уже самъ, съ недожеваннымъ кускомъ во рту, сидитъ въ котлѣ, и обнаруживается уже чисто пассивныя достоинства, свойственныя хорошей котлетѣ. И идетъ эта удивительная работа день и ночь, безъ малѣйшаго перерыва съ тѣхъ поръ, какъ «солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ». Сколько миллионъ птицъ питается, напримѣръ, зернами и насѣкомыми! Каждой птицѣ надо съѣсть въ день сотни мошекъ или сѣмечекъ, и слѣдовательно каждый разъ, какъ она разѣваетъ свой клювъ, однимъ органическимъ существомъ становится меньше.

Сила размноженія у всѣхъ органическихъ существъ очень велика, но конечный результатъ зависитъ не отъ этой силы, а отъ величины препятствій, лежащихъ на пути этого размноженія, и отъ могущества тѣхъ средствъ, которыми располагаетъ размножающаяся порода для борьбы съ этими препятствіями. Препятствія заключаются въ напорѣ другихъ органическихъ существъ, которыя также размножаются, а оборонительныя и наступательныя средства заключаются въ условіяхъ организаціи той породы, о которой идетъ рѣчь. Когда выгодное устройство этой организаціи перевѣшиваетъ препятствія, тогда порода размножается, и если перевѣсъ очень значителенъ, то и размноженіе идетъ очень быстро. Напримѣръ, въ южной Америкѣ и въ Австраліи, лошади и бикъ, привезенные европейцами, возвратились къ дикому состоянію и размножились съ неувѣроятною быстротою. Сила размноженія не увеличилась, потому что складъ коровъ и кобылъ не измѣнился, но уменьшились препятствія, существовавшія въ Европѣ; человекъ уже не рѣзалъ телятъ и быковъ для своего стола и не отвлекалъ лошадей отъ дѣторожденія своими хозяйственными распоряженіями; а еще важнѣе было то обстоятельство, что въ своемъ новомъ отечествѣ эти одичавшія животныя не встрѣтили себѣ ни многочисленныхъ и опасныхъ враговъ между плотоядными звѣрами и чужеродными насѣкомыми, ни многочисленныхъ и опасныхъ конкурентовъ между туземными формами травоядныхъ. Въ обширныхъ луговыхъ равнинахъ Ла-Платы, цѣлыя квадратныя мили почти исключительно покрыты однимъ видомъ репейника, завезеннаго изъ Европы, слѣдовательно, попавшаго въ Америку послѣ Колумба. Въ Ост-Индіи живутъ нѣкоторыя растенія, привезенныя изъ Америки, и эти растенія въ большемъ изобиліи распространены отъ Гималайскихъ горъ до мыса Коморина, то есть до самой южной оконечности полуострова. Ясно, что европейскій репейникъ, завозившій Ла-

Плату, и американское растеніе, водворившееся въ Индіи, покрыли такіе обширныя пространства въ такое короткое время не потому, что они размножаются особенно быстро, а потому, что они по своей организаціи оказались сильнѣе представителей туземной флоры. Кондоръ кладетъ пару яицъ, а страусъ штукъ двадцать, но въ нѣкоторыхъ странахъ кондоровъ больше, чѣмъ страусовъ, и тутъ нѣтъ ничего удивительнаго; страусъ кладетъ свои яйца въ землю, гдѣ ихъ расхищаютъ и люди, и животныя, а кондоръ устроиваетъ свое гнѣздо на неприступныхъ скалахъ, куда никому не захочется отправляться за добычею; за тѣмъ, важно то обстоятельство, что у страуса нѣтъ того страшнаго оборонительнаго и наступательнаго оружія, которымъ обладаетъ кондоръ; наконецъ, можно замѣтить, что страусу вредятъ его красивыя перья, изъ за которыхъ онъ терпитъ постоянныя преслѣдованія отъ неугомонныхъ людей. Буревѣстникъ кладетъ только по одному яйцу, а между тѣмъ это самая многочисленная порода птицъ. И не мудрено. Это единственное яйцо кладется на скалѣ, у самаго моря; буревѣстникъ постоянно летаетъ надъ океаномъ, очень далеко отъ берега; крылья у него сильныя, питается онъ рыбою, и не полетитъ за нимъ въ открытое море никакая хищная птица, ни для того, чтобы съѣсть его самого, ни для того, чтобы отбивать у него добычу. Но, конечно, тѣ породы органическихъ существъ, которыя не имѣютъ возможности защитить свое потомство противъ многочисленныхъ враговъ, ограждаютъ себя отъ совершеннаго истребленія только своею непоимѣнною плодовитостію; на примѣръ: рыбы большею частью бросаютъ свою икру въ воду, не принимая никакихъ предосторожностей; животныя истребляютъ ежегодно билліоны личекъ и маленькихъ рыбокъ, только что выглянувшихъ на свѣтъ; люди ежегодно ловятъ и съѣдаютъ милліоны рыбъ всякой породы и всякаго возраста; разумѣется, всѣ рыбы давно были бы истреблены, если бы онѣ не размножались съ непостижимою быстротою; если изъ 4 милліоновъ личекъ трески выведутся только 40 рыбокъ, если изъ этихъ сорока доживутъ до зрѣлаго возраста только двѣ рыбы, и если этотъ процессъ будетъ повторяться каждый годъ, то и тогда треска будетъ размножаться, потому что она живетъ гораздо больше одного года, и слѣдовательно, въ теченіи своей жизни, самецъ и самка успѣютъ произвести себѣ на свѣтъ больше одной пары. Стало быть, для того, чтобы количество трески не увеличивалось и не уменьшалось, надо, можетъ быть, чтобы изъ десятка милліоновъ личекъ выводилась и доживала до совершеннолѣтія только одна рыба; и конечно, трудно себѣ представить, чтобы изъ десяти милліоновъ случаевъ, не выдалось ни одного совершенно счастливаго. Почти то же самое мы видимъ въ нашихъ хлѣбныхъ растеніяхъ, которыя спасаются отъ совершеннаго истребленія единственно тѣмъ, что огромное количество отдѣльныхъ растений

собрано на одномъ мѣстѣ. Если бы мы захотѣли посѣять не сотни десятинъ ржи или пшеницы, а одну грядку, то птицы небесныя съѣли бы все до послѣдняго зерна; но, такъ какъ количество хлѣбныхъ колосьевъ, созрѣвающихъ въ одномъ окологдѣ, несоразмѣрно велико въ сравненіи съ количествомъ зерноядныхъ птицъ, водящихся въ томъ же окологдѣ, то кое-что остается и на долю людей. Птицы наѣдаются до отвалу, жирѣютъ, портятъ еще больше хлѣба, чѣмъ сколько съѣдаютъ, и все-таки не могутъ уничтожить всего, потому что на такой подвигъ способна только саранча, да и то на очень ограниченномъ пространствѣ.

VII.

СЛОЖНЫЯ ОТНОШЕНІЯ МЕЖДУ ОРГАНИЧЕСКИМИ СУЩЕСТВАМИ.

Такъ какъ органическія существа или поѣдаютъ другъ друга, или отбиваютъ другъ у друга пищу, или борятся между собою за порцію земли, воздуха, воды и солнечнаго свѣта, то, разумѣется, они всѣ связаны между собою самыми сложными и перепутанными отношеніями. Нѣтъ и не можетъ быть ни одного органическаго существа, которое не зависѣло бы въ своемъ существованіи отъ множества различныхъ животныхъ и растений, и притомъ часто отъ такихъ, съ которыми оно даже не имѣетъ ни малѣйшихъ непосредственныхъ отношеній. При теперешнемъ положеніи нашихъ знаній, мы ни въ одномъ отдѣльномъ случаѣ, ни для одного животного или растенія не можемъ указать точно и подробно на всѣ нити, связывающія его по разнымъ направленіямъ со всею цѣпью другихъ созданій. Важно и превосходно уже то, что современные натуралисты поняли сложность этихъ взаимныхъ отношеній между органическими существами; убѣдившись въ этой сложности и въ своемъ собственномъ невѣденіи, натуралисты поставили себя лицомъ къ лицу съ своею настоящею задачею; они вглядѣлись въ ея трудности и сообразили также, что эти трудности, которыя вовсе не могутъ считаться непобѣдимыми, преодолеваются только терпѣливымъ, внимательнымъ и совершенно непредубѣжденнымъ наблюденіемъ мельчайшихъ подробностей органической жизни. Чѣмъ больше фактическихъ наблюденій, тѣмъ ближе рѣшеніе великихъ задачъ; а для мыслящаго натуралиста поводы къ наблюденіямъ представляются на каждомъ шагѣ, и манера осмысливать эти наблюденія съ каждымъ годомъ становится болѣе рациональною и болѣе свободною отъ теоретическихъ предубѣжденій. Будущее разрѣшить множество великихъ вопросовъ, но въ настоящее время можно только сказать, что между самыми разнородными

формами органическаго міра существуютъ чрезвычайно сложныя и совершенно неизслѣдованныя отношенія. Кромѣ того, можно представить два, три примѣра, которыя покажутъ читателю, какое множество еще неразрѣшенныхъ вопросовъ задаетъ мыслящему человѣку самый простой и обыкновенный эпизодъ изъ жизни природы.

Въ Англіи, въ одномъ помѣстьѣ графства Стаффордъ, лежитъ большой пустырь, поросшій бурьяномъ. Лѣтъ двадцать пять тому назадъ, часть этого пустыря, въ нѣсколько сотъ акровъ величиною, обнесли заборомъ, и засадили шотландскими соснами. Появленіе сосенъ произвело совершенный переворотъ въ природѣ засаженнаго участка; количество бурьяна значительно убавилось, и въ молодой сосновой рошѣ поселилось двѣнадцать сортовъ растений, не встрѣчающихся на всемъ остальномъ пространствѣ пустыря; на этихъ растеніяхъ завелись тѣ наѣкомыя, которыя живутъ на нихъ обыкновенно, а вслѣдъ за наѣкомыми появились такія наѣкомоядныя птицы, которымъ прежде не за чѣмъ было залетать въ голый пустырь. Изъ этого примѣра мы видимъ, что во-первыхъ, растенія тѣсно связаны между собою, и что во-вторыхъ, каждое растеніе связано съ тѣми группами животныхъ, которымъ оно служитъ пищею. А такъ какъ одинъ сортъ животныхъ идетъ на пропитаніе другого сорта, то растеніе, черезъ группу травоядныхъ или зерноядныхъ, связывается также съ опредѣленною группою хищныхъ животныхъ, которые въ свою очередь тянутъ за собою какихъ нибудь паразитовъ, и наконецъ, рано или поздно, эта цѣпь запутанныхъ отношеній обрывается въ рукахъ изслѣдователя, но онъ никакъ не имѣетъ права утверждать, что прослѣдилъ ее до конца и что она дѣйствительно оборвалась въ живой природѣ. Какимъ образомъ связываются между собою отдѣльныя кольца этой огромной цѣпи, этого изслѣдователь также не знаетъ въ большей части случаевъ. Въ приведенномъ примѣрѣ мы даже не можемъ сказать положительно, что именно произвело перемѣну въ растительности: сосна или заборъ. Заборъ могъ имѣть очень сильное вліяніе, онъ ограждалъ растительность отъ скота, а скотъ обыкновенно производитъ въ распредѣленіи растеній самыя значительныя перемѣны. Положимъ, напримѣръ, что скотъ постоянно пасется на какой нибудь лужайкѣ, на которой растетъ двадцать сортовъ различныхъ травъ; если вы удалите скотъ, то можетъ случиться, что изъ этихъ двадцати сортовъ девять совершенно пропадутъ; скотъ, пощипывая траву, постоянно держитъ всѣ сорта ея на одномъ уровнѣ, такъ что всѣмъ достается и свѣтъ и воздухъ; какъ только прекращаются эти уравнивательныя распоряженія скота, такъ немедленно поднимаются къверху тѣ травы, которыя посильнѣе; остальнымъ становится темно и душно, и онѣ понемногу умираютъ. Но, если скотъ является невольнымъ покровителемъ слабыхъ, то онъ оказывается также опас-

нѣйшимъ врагомъ сильныхъ растений, которыхъ развитіе онъ обыкновенно дѣлаетъ совершенно невозможнымъ.

Въ графствѣ Сѣррей тянутся на большое пространство сухіе пустыри, покрытые бурьяномъ; кое-гдѣ разбросаны по этимъ пустырямъ небольшія группы старыхъ шотландскихъ сосенъ; въ теченіи послѣдняго десятилѣтія значительная часть этихъ пустырей обнесена заборами и всѣ обнесенныя мѣста поросли сами собою такимъ густымъ соснякомъ, что множество молодыхъ деревьевъ задохнулись въ чащѣ отъ тѣсноты и темноты. Въ это же время, на открытыхъ мѣстахъ не видно было ни одного дерева, кромѣ тѣхъ вѣковыхъ сосенъ, которыя стояли кое-гдѣ отдѣльными кучками. Но Дарвинъ сталъ всматриваться внимательнѣе и, раздвигая верхушки бурьяна, замѣтилъ возлѣ самой земли множество сосенокъ, которыя были до чиста объѣдены скотомъ; на одномъ изъ этихъ несчастныхъ деревьевъ Дарвинъ насчиталъ двадцать шесть годовыхъ колецъ; въ теченіи двадцати шести лѣтъ эта сосенка старалась подняться выше бурьяна и всякій разъ какое нибудь животное отгрызало ея молодой цобѣгъ. Какъ только прекратились нашествія четвероногихъ распорядителей, такъ и поднялись сосновыя рощи, и если присутствіе этихъ деревьевъ дѣйствительно ведетъ за собою рядъ существенныхъ измѣненій въ группированіи растительныхъ и животныхъ формъ, то разумѣется, на сѣррейскихъ пустыряхъ должны были повториться тѣ же самыя явленія, которыя мы видѣли въ графствѣ Стаффордъ. А исходною точкою всѣхъ этихъ переворотовъ оказывается такой простой и ничтожный фактъ, какъ удаленіе нѣсколькихъ головъ рогатаго или безрогаго скота.

Но я опять долженъ напомнить читателю, что мы здѣсь видимъ только, въ какомъ порядкѣ крупныя явленія слѣдуютъ одно за другимъ. Какъ связываются между собою эти явленія, и какіе мелкіе и мельчайшіе факты образуютъ между ними эту связь—объ этомъ мы еще ничего не можемъ сказать. Сосна измѣняетъ вокругъ себя растительность — хорошо! — но какимъ же образомъ это дѣлается? Дѣйствуетъ ли сосна своею тѣнью, какъ всякое другое дерево, или своимъ хвоемъ, который она каждый годъ роняетъ на землю, или своими корнями, которыми она разрыхляетъ почву, или своими смолистыми испареніями, которыми наполняется окружающій воздухъ? Вѣроятно, всѣ эти свойства сосны ведутъ за собою какія нибудь послѣдствія, вѣроятно, эти послѣдствія перекрещиваются между собою и взаимно дѣйствуютъ другъ на друга, а мы видимъ только отдаленные и послѣдніе результаты, которыхъ внутренняя и необходимая связь до поры до времени ускользаетъ отъ нашего пониманія. Травоядный скотъ дѣйствуетъ на растительность, но самъ онъ въ свою очередь подчиняется вліянію насѣкомыхъ. Въ Парагваѣ ни быкъ, ни лошадь не могутъ жить въ дикомъ состояніи,

потому что тамъ водится особая порода мухъ, которая губить телятъ и жеребятъ, устроивая въ ихъ ноздрахъ гнѣздо для своихъ личекъ. Муху эту истребляютъ хищныя насѣкомыя другого рода, этихъ хищныхъ насѣкомыхъ поѣдаютъ птицы; положимъ теперь, что по какой нибудь причинѣ, число насѣкомоядныхъ птицъ уменьшилось въ Парагваѣ; тогда число хищныхъ насѣкомыхъ быстро увеличится; эти насѣкомыя будутъ поѣдать большее количество вредныхъ мухъ; мухи, становясь менѣе многочисленными, не будутъ въ состояніи истреблять все молодое поколѣніе травоядныхъ породъ; быкъ и лошадь разведутся въ Парагваѣ; ихъ вліяніе произведетъ кое-какія переиѣны въ растительномъ мірѣ; эти переиѣны отзовутся на распредѣленіи насѣкомыхъ, а насѣкомыя подѣйствуютъ на тѣхъ птицъ, которымъ они служатъ пищею. Какъ только въ какой нибудь странѣ происходитъ переиѣна въ числѣ или свойствахъ одной группы, такъ эта переиѣна тотчасъ даетъ себя чувствовать по всѣмъ направленіямъ. До этой переиѣны, различныя группы держали другъ друга въ равновѣсіи, то есть каждая группа отставала свое собственное существованіе и каждая, по мѣрѣ силъ своихъ, мѣшала своимъ сосѣдямъ, родственникамъ, конкурентамъ или врагамъ размножаться далѣе извѣстнаго предѣла. Когда происходитъ переиѣна, то это равновѣсіе въ одномъ мѣстѣ оказывается нарушеннымъ и тотчасъ начинается во всей необозримой цѣпи органическихъ формъ волнообразное колебаніе, которое черезъ нѣсколько времени приводитъ къ новому равновѣсію. Но будетъ ли новое равновѣсіе совершенно похоже на старое—это невозможно сказать заранѣе. Самая незначительная переиѣна можетъ доставить нѣкоторымъ породамъ перевѣсъ надъ противниками; одніе породы сдѣлаются многочисленнѣе, а другія начнутъ ослабѣвать; борьба между этими породами будетъ продолжаться, но ослабѣвшая сторона уже будетъ не въ состояніи выдерживать натискъ размножившихся враговъ или конкурентовъ; ослабѣвая болѣе и болѣе, она наконецъ можетъ совершенно исчезнуть, а замѣтное уменьшеніе или окончательное истребленіе цѣлой породы тотчасъ поведетъ за собою новыя колебанія, которыя могутъ опять уничтожить новыя породы животныхъ или растений. Словомъ, въ экономіи природы, каждое нарушеніе установившагося равновѣсія можетъ повести за собою такія же передвиженія и веревороты, какія напримѣръ производятъ въ коммерческомъ мірѣ банкротство какого нибудь одного незначительнаго банкирскаго дома. Здѣсь также банкротство одной породы потрясаетъ существованіе многихъ другихъ, и никто не можетъ предвѣдѣть, куда распространится это потрясеніе и въ какихъ предѣлахъ оно разыграется. Но потрясенія въ экономіи природы совершаются обыкновенно медленно и безъ шума; породы не даютъ другъ другу генеральныхъ сраженій; нѣтъ ни громкой радости со стороны побѣдителей, ни стонувъ отчаянія со стороны по-

объединенных; народы торжествуютъ или вымираютъ, сами того не сознавая и даже для мыслящаго наблюдателя это торжество или вымирание становятся замѣтными не въ исходной своей точкѣ, а уже тогда, когда они почти совершились. Переворотъ танется цѣлыми вѣками, и наблюдатель никогда не можетъ сказать рѣшительно или даже приблизительно, что переворотъ закончился и что вотъ въ эту минуту всѣ породы известной страны держатъ другъ друга въ равновѣсїи.

Въ природѣ ежеминутно совершаются или могутъ совершаться тысячи мельчайшихъ явленій, которыя, то здѣсь, то тамъ, доставляютъ одной изъ сражающихся сторонъ перевѣсъ надъ другою; многія изъ этихъ явленій, по тѣмъ или другимъ неизвѣстнымъ причинамъ, могутъ остаться безъ значительныхъ послѣдствій, но за то нѣкоторыя изъ этихъ явленій могутъ сдѣлаться нервными звѣнами такой цѣпи событій, которая потянется черезъ длинный рядъ столѣтій, уничтожить множество существующихъ породъ и создать на ихъ мѣсто множество выходящихъ изъ небытія. Геологъ, разсматривающій окаменѣлые остатки животныхъ и растений, видитъ въ нихъ разрозненные листы изъ архива органической природы за цѣлые миллионы вѣковъ; онъ видитъ, что жила порода и что она исчезла, но онъ не можетъ ни видѣть, ни возсоздать силою своего научнаго анализа ту безконечно длинную вереницу мелкихъ причинъ и мелкихъ послѣдствій, которая незамѣтно измѣнила всѣ условія существованія данной породы и понемногу довела данную органическую форму до совершеннаго исчезновенія. Геологъ этого не можетъ видѣть, потому что этого не видитъ даже натуралистъ, изучающій живую природу; но такъ какъ очень немногіе люди, и притомъ только самые замѣчательные, способны просто и откровенно сказать: «не знаю», и такъ какъ эта превосходная способность начала развиваться у мыслящихъ людей только въ самое недавнее время, то геологи былыхъ годовъ, вида уничтоженіе органическихъ породъ, немедленно пускались въ геологическую философію и въ геологическую беллетристику, то есть строили системы и писали романы, въ которыхъ являлись катастрофы, катаклизмы, кризисы, перевороты, разыгравшіяся волны шаловливыхъ морей и оглушительный грохотъ совершенно неумѣстныхъ порывовъ центрального огня. И вся эта роскошь научнаго романтизма тратилась на то, чтобы стереть съ лица земли какую нибудь дюжину, или сотню, или тысячу ящеровъ, птицъ или звѣрей, которые, правда, были очень велики, но у которыхъ было все-таки множество мелкихъ враговъ и крупныхъ конкурентовъ, множество мелкихъ преслѣдователей и паразитовъ, и которые вообще могли сойти со сцены такъ же тихо, благопристойно и вѣжливо, какъ сошла, напримѣръ, въ половинѣ прошлаго столѣтія, толстая и глупая птица дѣдо, или какъ сошелъ бы зубръ, если бы его не берегли, ради рѣдкости въ Бѣловѣжской пущѣ.

Историческая память человечества простирается всего на какія нибудь пять тысячъ лѣтъ, да и то врядъ ли, потому что кто же рѣшится сказать, что мы знаемъ хорошо все, что дѣлалось на земномъ шарѣ за 3000 лѣтъ до начала нашей эры. Если бы даже мы могли утверждать, что въ теченіи этихъ пяти тысячъ лѣтъ вымерли только двѣ породы животныхъ, додо и зубръ, то и тогда мы совершенно смѣло могли бы предполагать, что всѣ животныя и растенія геологическихъ эпохъ вымерли такимъ же естественнымъ и неэффектнымъ образомъ, какъ толстая птица и теперешній обитатель Бѣловѣжской пущи. Стало бытъ, сколько бы тысячъ породъ не отыскилось въ различныхъ пластахъ земной коры, для всѣхъ найдется достаточно времени; всѣ онѣ могли развиваться, бороться между собою, побѣждать противниковъ, и потомъ въ свою очередь ослабѣвать, уменьшаться въ числѣ и вымирать, уступая натиску другихъ, болѣе развитыхъ враговъ, которые, по всей вѣроятности, находились съ ними въ болѣе или менѣе тѣсномъ, кровномъ родствѣ. Всѣ эти процессы должны были продолжаться для каждой породы десятки и сотни вѣковъ, и все-таки природа ни разу не была принуждена и не могла поторопиться прибавить шагу, произвести мгновенную перемѣну декорацій, или вообще какимъ нибудь образомъ отступить отъ того роковаго и необходимаго хода событій, который изучаютъ современные натуралисты путемъ непосредственнаго наблюденія.

Въ природѣ нѣтъ, и никогда не было цѣльныхъ и крупныхъ явленій. Громаднѣйшіе результаты достигаются всегда совокупнымъ или послѣдовательнымъ дѣйствіемъ миллионовъ мельчайшихъ силъ и причинъ, точно такъ, какъ громаднѣйшій организмъ весь состоитъ изъ накопленія микроскопическихъ клѣточекъ. Мы обыкновенно видимъ громадные результаты, и не видимъ мелкихъ причинъ, но величайшая заслуга современнаго естествознанія состоитъ именно въ томъ, что лучшіе изслѣдователи постигли вполнѣ несуществованіе крупныхъ явленій и всеобъемлющую важность мелкихъ. Микроскопъ и химическій анализъ проникли въ самое мышленіе натуралистовъ, и поэтому всякій крупный результатъ или разложенъ уже на мелкія составныя части, или будетъ разложенъ тогда, когда усовершенствуются орудія изслѣдованія, и увеличится запасъ собранныхъ наблюденій. То, что представляется крупнымъ и цѣльнымъ, все-таки не признается мыслимыми натуралистами за крупное и цѣльное явленіе; оно считается только неразложеннымъ и неизслѣдованнымъ, и до поры до времени отодвигается въ сторону, въ ту груду нетронутаго матеріала, которая еще ожидаетъ себя мыслящихъ работниковъ и архитекторовъ. Для вопроса объ органическихъ породахъ наступаетъ, кажется, рѣшительная минута. Если изслѣдователи обратятъ все свое вниманіе на разнообразныя проявленія того процесса, который называется у Дарвина борьбою за жизнь (*struggle for life*), и если они

посвятить всё свои силы на изучение той бесконечно запутанной сети отношений, которая развивается из этой борьбы, и охватывает собою весь органический миръ то они навѣрное, рано или поздно, разъяснятъ фактическими наблюденіями всё причины, видоизмѣненія, колебанія и вымиранія органическихъ породъ.

Можно утверждать рѣшительно, что для каждого органическаго существа его отношенія къ другимъ органическимъ существамъ составляютъ самый важный элементъ жизни, безусловно подчиняющій себѣ всё остальные. Даже климатическія условія всего сильнѣе дѣйствуютъ на растенія и на животныхъ не прямымъ и непосредственнымъ образомъ, а черезъ посредство другихъ растеній и животныхъ.

Въ этихъ словахъ заключаются, повидимому, неясность и противорѣчіе, но я сейчасъ объясню, въ чемъ дѣло. Если вы, переходя изъ холодной страны въ умеренную, будете замѣчать, что какая нибудь порода животныхъ или растеній становится рѣдкою, и наконецъ исчезаетъ, то вы никакъ не должны думать, что эта органическая форма исчезла отъ того, что ей въ этомъ мѣстѣ было бы слишкомъ тепло жить. Климатъ подѣйствовалъ преимущественно тѣмъ, что онъ измѣнилъ условія борьбы за жизнь. Положимъ, что растеніе *A* успѣшно выдерживаетъ легкіе морозы, а растеніе *B*, неспособное переносить морозы, растетъ гораздо быстрѣе и роскошнѣе предъидущаго. Легкіе морозы не составляютъ для *A* необходимости, и ничѣмъ не содѣйствуютъ его благосостоянію, но они убиваютъ или ослабляютъ опаснаго конкуррента *B*. Стало быть, въ нашемъ полушаріи, къ сѣверу отъ извѣстнаго градуса широты, перевѣсъ въ борьбѣ будетъ постоянно на сторонѣ *A*; можетъ быть, морозы такъ легки, что *B* не умираетъ отъ нихъ, а только теряетъ извѣстную долю своей растительной силы; если бы надо было бороться съ однимъ климатомъ, то *B* могло бы передвинуться немного за извѣстный градусъ широты, но такъ какъ за этимъ предѣломъ его ждетъ не одинъ морозъ, а морозъ + конкуррентъ *A*, то борьба уже становится не подъ силу, и *B* удаляется въ тѣ мѣста, гдѣ нѣтъ морозовъ. *A*, какъ самонадѣянный побѣдитель, пускается догонять своего врага, но тутъ дѣло принимаетъ совершенно новый оборотъ. Растеніе, *B* не ослабленное морозомъ, сильнѣе растенія *A*, и потому побиваетъ его на каждомъ шагѣ. Съ одной стороны *B* могло бы подвинуться немного къ сѣверу, а съ другой стороны *A*, навѣрное, могло бы подвинуться довольно далеко къ югу; климатъ самъ по себѣ не помѣшалъ бы ни тому, ни другому, и во второмъ случаѣ онъ можетъ еще менѣе помѣшать, чѣмъ въ первомъ; да конкурренты помѣшаютъ, и, вслѣдствіе этого, растенія *A* и *B* остаются каждое въ своей области, не смотря на постоянныя попытки выйти за ея предѣлы. Если мы еще возьмемъ въ расчетъ, что и *A* и *B* терпятъ горькія обиды отъ разныхъ грызуновъ, насѣкомыхъ, травоядныхъ и зер-

ноядныхъ, и если мы сообразимъ, что всѣ эти животныя также измѣняются вмѣстѣ съ градусомъ широты, то мы вполне поймемъ, что прямое дѣйствіе климата на *A* и на *B* играетъ очень незначительную роль въ массѣ тѣхъ причинъ, которыя прививаютъ эти два растенія къ опредѣленному мѣсту.

Безъ непосредственнаго наблюденія надъ жизнью каждой отдѣльной органической формы нѣтъ никакой возможности опредѣлить, что именно благоприятствуетъ ей въ одномъ мѣстѣ, и мѣшаетъ ей жить въ другомъ. Произнести въ этомъ случаѣ слово «климатъ» очень легко; сказать «климатъ мѣшаетъ», «климатъ содѣйствуетъ» тоже не велика хитрость; но климатъ — это огромное явленіе, которое кажется цѣльнымъ только до тѣхъ поръ, пока вы его не разложите на части. Нѣтъ, вы намъ покажите, что именно дѣйствуетъ, морозъ, сырость, вѣтеръ, непостоянство погоды, и т. д. да потомъ покажите, какъ именно дѣйствуетъ, прямо или черезъ другія существа. Вѣдь пожалуй, можно сказать, что климатъ мѣшаетъ быку развестись въ Парагваѣ, и это, строго говоря, не будетъ ошибкою. Положимъ, что быкъ живетъ и къ югу, и къ сѣверу отъ Парагвая, положимъ, что ему не мѣшаютъ жить въ Парагваѣ, ни морозы, ни жары, ни дожди, ни вѣтры; все это такъ; но вѣдь та муха, которая заводитъ у него колоніи въ ноздрахъ, живетъ въ Парагваѣ потому, что климатъ позволяетъ ей жить тамъ; вѣдь если бы ее пристукнулъ морозъ, такъ не жила бы она въ Парагваѣ, ну, стало быть, и можно сказать, что климатъ виноватъ. Но читатель, конечно, понимаетъ, что если мы скажемъ: «климатъ мѣшаетъ быку развестись въ Парагваѣ,» то мы этими словами ровно ничего не выразимъ, а только повторимъ уже извѣстный фактъ: «быкъ не живетъ въ Парагваѣ,» фактъ, которому мы должны были искать объясненіе. Если же мы скажемъ, «быку мѣшаетъ жить такая-то муха, и мѣшаетъ именно вотъ чѣмъ,» то мы дѣйствительно объяснимъ рассматриваемый фактъ, и докажемъ такимъ образомъ еще разъ, что объяснить значить именно разлагать крупное сложное явленіе на мелкія и простыя составныя части. А какъ только начинается разложеніе или анализъ, такъ непосредственное наблюденіе и прямой опытъ являются единственными возможными орудіями изслѣдованія. Никакой человѣческій умъ не выдумаетъ тѣхъ неожиданныхъ изворотовъ и перепутанныхъ комбинацій, которые обнаруживаются на каждомъ шагѣ въ отношеніяхъ между органическими существами. Вотъ вамъ примѣръ. Пчелы, бабочки, и разныя другія наѣкомыя, добывая себѣ изъ цвѣтовъ сладкіе соки, постоянно уносятъ на своемъ тѣлѣ частицы цвѣточной пыли; перелетая съ одного цвѣтка на другой, они, совершенно невольно и безсознательно, переносятъ эту пыль съ тычинокъ или мужскихъ половыхъ органовъ на пестики или женскіе половые органы; такимъ образомъ, наѣкомыя содѣйствуютъ оплодотворенію цвѣтовъ, и для нѣ-

которыхъ растений это содѣйствіе такъ необходимо, что для нихъ оплодотвореніе становится невозможнымъ безъ вмѣшательства той или другой группы насѣкомыхъ. Къ числу такихъ зависимыхъ растений относятся *viola tricolor* и различные виды *trifolium*. Двадцать цвѣтковъ *trifolium repens*, при содѣйствіи насѣкомыхъ, дали 2,250 сѣмянъ, а двадцать такихъ же цвѣтковъ, защищенныхъ отъ всякихъ посѣтителей, не дали ни одного сѣмьчка. Сто цвѣтковъ *trifolium pratense*, посѣщаемыхъ насѣкомыми, произвели 2,700 сѣмянъ, а сто защищенныхъ цвѣтковъ того же сорта не произвели ни одного сѣмьчка. Но не всѣ крылатыя насѣкомыя могутъ быть полезными посредниками для *trifolium pratense*. Бабочка такъ легка, что не можетъ расправить своею тяжестью листки вѣнчика, и поэтому она не прикасается своимъ тѣломъ къ тѣмъ мѣстамъ цвѣтка, въ которыхъ находится цвѣточная пыль. Пчела не посѣщаетъ этого цвѣтка, потому что сладкій сокъ его лежитъ слишкомъ глубоко внутри вѣнчика, такъ что пчела не можетъ добраться до него своимъ хоботкомъ. Только шмели, пользуясь сладкимъ сокомъ этого цвѣтка, помогаютъ его оплодотворенію. Если бы какая нибудь причина уменьшила въ извѣстной странѣ количество шмелей, то это обстоятельство непременно повело бы за собою уменьшеніе въ количествѣ растений *trifolium pratense*. Шмелей преслѣдуютъ съ особеннымъ ожесточеніемъ полевые мыши, разоряющія ихъ гнѣзда, и питающіяся ихъ медомъ. Полевыхъ мышей истребляютъ кошки, стало быть, цѣпь отношеній между этими органическими формами представляется намъ въ слѣдующемъ видѣ: чѣмъ больше кошекъ, тѣмъ меньше полевыхъ мышей, тѣмъ больше шмелей, и тѣмъ больше цвѣтовъ *trifolium pratense*. Читатель, конечно, не воображалъ никогда, что кошка имѣетъ значительное вліяніе на судьбу шмелей, и помогаетъ оплодотворенію цвѣтовъ. Въ этомъ случаѣ, непосредственное наблюденіе показало намъ, какимъ образомъ связываются между собою кошка, мышь, шмель и *trifolium pratense*. Тысячи и миллионы другихъ сложныхъ отношеній остаются до сихъ поръ неразъясненными, но мы не имѣемъ ни малѣйшей возможности сомнѣваться въ существованіи этихъ отношеній, или отрицать ихъ громадную важность.

Растенія и животныя размножаются въ геометрической прогрессіи; растенія и животныя постоянно истребляютъ и поѣдаютъ другъ друга; эти два ряда фактовъ очевидны для всякаго ребенка и для всякаго дилера; изъ этихъ очевидныхъ и общеизвѣстныхъ фактовъ вытекаетъ необходимость всемірной борьбы; а если тысячи и миллионы организмовъ ежеминутно борятся между собою, то, разумѣется, между ними должны существовать самыя сложные и запутанныя отношенія. Объ этихъ отношеніяхъ мы въ настоящее время не имѣемъ почти никакого понятія, но безъ этихъ отношеній вся органическая жизнь была бы невозможна

и даже нелепыми. Каждый организм живет только потому, что самъ поѣдаетъ что нибудь, и только до тѣхъ поръ, пока его самого не съѣстъ какой нибудь другой организмъ. Стало быть, каждый организмъ зависитъ во-первыхъ отъ того, что ему служитъ пищею, и во-вторыхъ отъ того, что его самого можетъ обратить въ пищу. Въ этой зависимости мы не можемъ себѣ представить ни одного организма, и поэтому очевидно, благосостояніе и размноженіе той или другой породы организмовъ зависитъ отъ того, какъ будутъ расположены ея отношенія, во-первыхъ къ пищѣ, а во-вторыхъ къ врагамъ. Чѣмъ больше пищи, тѣмъ лучше; чѣмъ больше враговъ, тѣмъ хуже. Но эти два ряда отношеній зависятъ отъ устройства самого организма. Если организмъ требуетъ мало пищи, то у него больше шансовъ быть постоянно сытымъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда бы онъ требовалъ много пищи; если организмъ одаренъ въ значительной степени оборонительнымъ оружіемъ, то для него не страшны враги. Можно было бы представить еще много другихъ условій, но достаточно и этого, чтобы показать читателю, какимъ образомъ устройство организма можетъ быть и дѣйствительно бываетъ то помѣхою, то содѣйствіемъ въ общей борьбѣ за существованіе. Не трудно понять, что всего дольше долженъ продержаться въ борьбѣ тотъ организмъ, который устроенъ всего удобнѣе для борьбы. Это положеніе совершенно очевидно, и на этомъ-то очевидномъ положеніи основывается весь прогрессъ животныхъ и растений, и вся теорія Дарвина.

VIII.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОРЪ.

Индивидуальное разнообразіе бываетъ особенно сильно у домашнихъ животныхъ и у тѣхъ растений, которыя подчинены вліянію человека. У дикихъ животныхъ и растений это разнообразіе также существуетъ, хотя выражается обыкновенно менѣе рѣзко. Нѣкоторые индивидуальныя особенности могутъ быть вредны для животнаго, или для растенія, другія могутъ быть ему полезны, третьи, наконецъ, могутъ быть безразличны. Напримѣръ, одинъ волкъ одаренъ особенно острымъ обоняніемъ, другой отличается слабымъ развитіемъ мускуловъ, а у третьяго цвѣтъ шерсти немного потемнѣе или посвѣтлѣе, чѣмъ у товарищей. Первому волку острое обоняніе будетъ въ жизни большою подмогою; оно дастъ ему возможность съ особеннымъ усиліемъ охотиться за разною добычею, и во время убѣгать отъ всякихъ преслѣдователей. Второй волкъ, отличающійся слабыми мускулами, будетъ особенно часто подвергаться голоду и разнымъ опасностямъ; захочетъ онъ утащить къ себѣ въ лѣсъ

овцу, и не одолѣеть этого дѣла — его застигнуть люди на мѣстѣ преступленія, и онъ или будетъ убитъ, или будетъ принужденъ бросить свою добычу, и бѣжать въ лѣсъ съ пустымъ желудкомъ. Наконецъ, третій волкъ будетъ жить счастливо или несчастливо, смотря по обстоятельствамъ, но цвѣтъ его шерсти, по всей вѣроятности, не будетъ для него ни помѣхою, ни пособіемъ въ жизни. Первый волкъ, вѣроятно, проживетъ дольше своихъ сверстниковъ, и, слѣдовательно оставитъ послѣ себя болѣе многочисленное потомство. Второй волкъ, вѣроятно, погибнетъ раньше своихъ сверстниковъ, и слѣдовательно, или умретъ безъ потомства, или оставитъ послѣ себя немногихъ дѣтей. Нѣкоторые изъ дѣтей перваго волка получаютъ отъ отца его острое обоняніе; эти субъекты будутъ имѣть шансы пережить своихъ братьевъ, и передать свою наследственную особенность своимъ потомкамъ. Нѣкоторые изъ немногихъ дѣтей втораго волка получаютъ отъ отца его слабую мускулатуру, но каждый изъ нихъ будетъ имѣть очень мало шансовъ прожить долго, и передать свой наследственный порокъ будущимъ поколѣніямъ. Такимъ образомъ, острое обоняніе будетъ постоянно укрѣпляться въ волчьей породѣ сильнѣе и сильнѣе, а ненормальная слабость мускуловъ будетъ постоянно выбрасываться вонъ. Что же касается до темныхъ или свѣтлыхъ оттѣнковъ шерсти, то они, какъ безразличныя качества, будутъ постоянно подвергаться колебаніямъ и измѣненіямъ.

То, что мы видѣли на отдѣльномъ примѣрѣ, можетъ быть обобщено и распространено на весь органическій міръ. Всякая полезная особенность прививается къ породѣ, и удерживается въ ней, переходя отъ одного поколѣнія къ другому. Всякая вредная особенность уничтожается. Безразличныя особенности колеблются и мѣняются. Если мы задумаемся только въ смыслъ словъ «полезный» и «вредный», и если мы припомнимъ, что, по закону наследственности, качества родителей обыкновенно передаются или всѣмъ дѣтямъ, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторымъ изъ нихъ, то мы немедленно убѣдимся въ томъ, что наше обобщеніе не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего натянутого или произвольнаго. Полезно то, что даетъ организму возможность одолѣвать противниковъ въ борьбѣ за жизнь; вредно то, что отнимаетъ у него эту возможность; слѣдовательно, полезная особенность, по самой сущности своей, придаетъ отдѣльному организму прочность, а вредная, также по самой сущности своей, сообщаетъ ему хрупкость. Прочный организмъ живетъ долго, и стало быть, успѣваетъ породить много другихъ организмовъ, также прочныхъ; а хрупкій организмъ ломается скоро, и, стало быть, не успѣваетъ населить міръ новыми хрупкими организмами. Поэтому, прочность организма, и все, что содѣйствуетъ этой прочности, принимаетъ характеръ устойчивости и долговѣчности; а хрупкость и

въ ея отдѣльные атрибуты, то есть, въ вредныя особенности, непременно должны быть явленіями временными и мимолетными.

Природа ежеминутно, въ громадныхъ размѣрахъ, производитъ надъ всѣми органическими существами ту операцію выбора, которую опытные заводчики производятъ надъ своими ручными животными. Но человѣкъ выбираетъ въ животныхъ и въ растеніяхъ тѣ особенности, которыя нравятся или приносятъ пользу ему, человѣку, а природа, то есть, совокупность естественныхъ законовъ, выбираетъ и упрочиваетъ только то, что полезно самому животному или растенію; заводчикъ обыкновенно обращаетъ вниманіе только на то, что бросается въ глаза, а для природы не существуетъ никакого различія между вѣшными и внутренними органами; если проявилась у животного индивидуальная особенность въ печенѣ или въ легкихъ, и если эта особенность полезна, то она будетъ сохранена и упрочена, точно такъ же, какъ могла бы сохраниться и упрочиться совершенно очевидная особенность, проявившаяся въ устройствѣ ногъ, роговъ или ушей. Человѣкъ не позволяетъ быкамъ или жеребцамъ драться между собою за обладаніе самками, — а въ природѣ самцы дерутся, побѣда остается за самыми сильными, и слѣдовательно, качества сильныхъ побѣдителей упрочиваются въ потомствѣ. Жизнь человѣка коротка, и вкусы его измѣнчивы, а природа дѣйствуетъ на органическій міръ въ продолженіе безконечнаго ряда вѣковъ и постоянно дѣйствуетъ по одному направленію, то есть, уничтожаетъ все, что слабо и хрупко, и поддерживаетъ все, что крѣпко и прочно.

Этотъ законъ, по которому уничтожаются вредныя особенности, и сохраняются полезныя, называется у Дарвина закономъ естественнаго выбора. Вопросъ о томъ, что полезно, что вредно, и что безразлично, рѣшается для каждаго отдѣльнаго случая прямымъ опытомъ жизни; тутъ не можетъ быть никакихъ общихъ правилъ; все зависитъ отъ того, при какихъ условіяхъ живетъ данный организмъ, какую пищу ему приходится добывать, и отъ какихъ враговъ онъ терпитъ преслѣдованія. Для волка цвѣтъ шерсти не составляетъ никакой важности. Его преслѣдуютъ люди, которымъ обыкновенно помогаютъ собаки; собаки отыскиваютъ волка чутьемъ, а не зрѣніемъ, стало быть, какъ бы цвѣтъ волка ни сливался съ цвѣтомъ окружающихъ предметовъ, его все-таки отыщутъ и затравятъ; но для многихъ птицъ цвѣтъ перьевъ можетъ быть чрезвычайно полезенъ. Соколы, ястребы, и другіе хищники съ высоты своего полета высматриваютъ себѣ добычу, и, конечно, имъ бросаются въ глаза преимущественно тѣ птицы, которыя своимъ цвѣтомъ рѣзко отдѣляются отъ окружающихъ предметовъ. Бѣлые голуби такъ часто дѣлаются жертвою хищныхъ птицъ, что въ нѣкоторыхъ странахъ любители или хозяева совсѣмъ не держатъ бѣлыхъ голубей. Многимъ породамъ дикихъ птицъ чрезвычайно полезно то обстоятельство, что

онѣ по цвѣту своихъ перьевъ совершенно сливаются съ цвѣтомъ тѣхъ предметовъ, среди которыхъ онѣ постоянно живутъ. Альпійская куропатка зимою становится совершенно бѣлою, и этотъ цвѣтъ приноситъ ей пользу, потому что она постоянно держится на свѣжнихъ вершинахъ. Шотландскій тетеревъ, живущій среди бурьяна, отличается тѣмъ буроватымъ цвѣтомъ, который свойственъ этимъ растеніямъ. Другая порода тетерева держится на торфяникахъ и сливается съ ними чернымъ цвѣтомъ своихъ перьевъ. Многія насѣкомыя, живущія на листьяхъ, отличаются зеленымъ цвѣтомъ; другія, живущія на древесной корѣ, принимаютъ бурый или сѣрый цвѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ цвѣтъ составляетъ для животнаго одно изъ важнѣйшихъ оборонительныхъ средствъ, и чѣмъ онъ важнѣе для животнаго, тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ на него естественный выборъ. По всей вѣроятности было время, когда черныи и бурый тетеревъ не составляли двухъ отдѣльныхъ породъ; тогда тетерева рождались и черные, и бурные, и пестрые, и, быть можетъ, даже бѣлые; водились они и на торфяникахъ, и въ бурьянѣ, и въ другихъ мѣстахъ. Но на торфяникахъ хищныя птицы истребляли почти всѣхъ тетеревовъ, кромѣ черныхъ, а въ бурьянѣ, почти всѣхъ, кромѣ бурныхъ; такимъ образомъ, случайное и легкое индивидуальное свойство, заключавшееся въ цвѣтѣ перьевъ, сдѣлалось, путемъ естественнаго выбора, постояннымъ отличительнымъ признакомъ цѣлой породы. И такимъ образомъ, изъ одной породы выработалось двѣ, три или больше, смотря по обстоятельствамъ жизни. Когда за нѣсколькими породами птицъ окончательно упрочился цвѣтъ тѣхъ предметовъ, среди которыхъ онѣ проводятъ свою жизнь, тогда это обстоятельство должно было, въ свою очередь, подѣйствовать на зрѣніе хищниковъ, также посредствомъ естественнаго выбора. Бурого тетерева труднѣе разглядѣть въ бурьянѣ, чѣмъ чернаго, или пестраго, или бѣлаго; поэтому, когда остались въ бурьянѣ только одни бурные тетерева, тогда стали находить себѣ добычу только тѣ соколы или ястребы, у которыхъ зрѣніе было особенно сильно. Остальнымъ хищникамъ приходилось часто голодать; ну, стало быть понятно, что особенно зоркіе хищники получили перерывъ надъ мѣтѣ зоркими, оставили послѣ себя болѣе многочисленное потомство, передали нѣкоторымъ изъ своихъ потомковъ свое исключительно острое зрѣніе, и наконецъ, мало по малу, обратили эту высшую степень зоркости въ постоянное свойство цѣлыхъ видовъ и родовъ.

Такъ могли воспитываться, и дѣйствительно воспитывались, въ теченіи вѣковъ и тысячелѣтій, всѣ органы и всѣ способности всѣхъ организмовъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что свойства родителей обыкновенно наследуются дѣтми именно въ томъ возрастѣ, въ какомъ эти свойства обнаружались у родителей. Если въ какомъ нибудь семействѣ существуетъ наслед-

ственная болѣзнь, напримѣръ, сумасшествіе, или падучая, или подагра, и т. п., то эта болѣзнь проявляется обыкновенно у всѣхъ членовъ семейства въ одномъ и томъ же возрастѣ. То же самое замѣчается во всемъ органическомъ мірѣ. Если у насѣкомаго проявляется какая нибудь особенность въ личинкѣ, въ куколкѣ, или въ бабочкѣ, то и у дѣтей этого насѣкомаго особенность эта проявится въ той же самой фазѣ развитія. Если у птицы обнаружилась особенность въ формѣ яйца, или въ цвѣтѣ того пуха, которымъ покрываются птенцы, то особенность эта такъ и будетъ обнаруживаться у слѣдующихъ поколѣній въ тѣ же самые періоды жизни.

Когда я говорилъ о домашнихъ животныхъ и растеніяхъ, то я обращалъ вниманіе читателя на то обстоятельство, какимъ образомъ проявляется разнообразіе въ различныхъ сортахъ георгины, капусты и крыжовника. Мы видѣли тамъ, что систематическій выборъ человѣка можетъ дѣйствовать или на цвѣты растенія, или на его листья, или на его плоды. То же самое можно сказать и объ естественномъ выборѣ. Если для растенія полезно имѣть, напримѣръ, такія сѣмена, которыя вѣтеръ уноситъ бы на далекія разстоянія, и которыя, вслѣдствіе этого, имѣли бы больше шансовъ упасть на незанятой клочекъ земли, то именно такія сѣмена и вырабатываются путемъ естественнаго выбора. Это и случилось съ сѣменами тѣхъ желтыхъ цвѣтовъ, которые называются одуванчиками, и которые дѣйствительно одуваются вѣтромъ въ концѣ лѣта и въ началѣ осени.

Такъ какъ процессъ естественнаго выбора вездѣ, во всемъ органическомъ мірѣ, совершается точъ въ точъ такъ, какъ я объяснилъ его въ трехъ примѣрахъ, — о волкѣ, о тетеревѣ, и о хищныхъ птицахъ, — то я уже больше не буду распространяться объ этомъ процессѣ по поводу каждаго отдѣльнаго примѣра. Я просто буду говорить: «путемъ естественнаго выбора», и надѣюсь, что читатель не будетъ затрудняться этими словами, которыя теперь уже должны быть для него совершенно понятны.

У нѣкоторыхъ животныхъ есть такіе органы, которые бываютъ имъ необходимы только одинъ разъ въ жизни. У молодыхъ птицъ клювъ оканчивается твердою роговою частицею, которою птица продавлиываетъ скорлупу своего яйца, и которая впослѣдствіи отваливается прочь. У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ остаются на всю жизнь большія и крѣпкія челюсти, которыми насѣкомое разорвало свой коконъ, и которыя послѣ этого не приносятъ уже никакой пользы. Хотя эти органы дѣйствуютъ только одинъ разъ въ жизни, однако они также подчиняются естественному выбору, потому что тотъ моментъ, когда они дѣйствуютъ, рѣшаетъ всю судьбу животного, то есть, даетъ ему возможность жить, или осуждаетъ его на смерть. Птичка съ мягкимъ клювомъ не можетъ пробить

скорлупу своего яйца, а насѣкомое, лишнее крѣпкихъ челюстей, не можетъ прогрызть свой коконъ; такая птичка и такое насѣкомое непремѣнно погибають до выхода своего на свѣтъ, и слѣдовательно, они никакъ не могутъ передать свою индивидуальную особенность слѣдующимъ поколѣнiямъ.

Здѣсь представляется намъ любопытный примѣръ того главнаго различiя, которое существуетъ между влiянiемъ природы и дѣйствиемъ человека. Курносый турманъ, отличающийся отъ другихъ голубей своимъ воробьинымъ клювомъ, цѣнится тѣмъ выше, чѣмъ короче его клювъ. Выбирая постоянно самыхъ курносыхъ субъектовъ, любители довели эту породу до такой крайности, что нѣкоторые изъ самыхъ чистѣйшихъ ея представителей уже не могутъ выгнупываться изъ яйца. Клювъ такъ коротокъ, и его роговая частица такъ слаба, что курносой птичкѣ нечѣмъ продавить яичную скорлупу. Птицѣ пришлось бы погибать, и природа очень быстро уничтожила бы неумѣренную курносость, но любители этого не допускають. Они стерегутъ ту минуту, когда птица должна выходить изъ яйца, и потомъ сами осторожно продавливаютъ скорлупу. Дѣйствуя такимъ образомъ, любители сформируютъ со временемъ такую породу птицъ, которая уже ни въ какомъ случаѣ не будетъ вылѣзать изъ яйца безъ посторонней помощи. Разумѣется, такая порода животныхъ безъ вмѣшательства человека не могла бы образоваться; какъ только влiянiе человека прекратилось бы, такъ чистѣйшiе представители этой породы погибли бы немедленно, и характерная особенность утратилась бы черезъ нѣсколько поколѣнiй, потому что эта особенность не могла бы поддерживаться естественнымъ выборомъ. Естественный выборъ можетъ развить и сохранить только тѣ особенности, которыя полезны самой породѣ, а никакъ не тѣ, которыя приносятъ выгоду или удовольствiе другому разряду животныхъ. Въ естественномъ состоянiи только тотъ организмъ живетъ долго и размножается сильно, который самъ по себѣ здоровъ и крѣпокъ, а вовсе не тотъ, который одаренъ вкуснымъ мясомъ, тонкою шерстью, звучнымъ голосомъ или прiятною наружностью. Но когда организмъ попадаетъ подъ власть человека, тогда, конечно, выдвигаются на первый планъ и получаютъ первостепенную важность именно тѣ впечатлѣнiя, которыя этотъ организмъ производитъ на своего владѣльца. Оставляется на заводъ не тотъ баранъ, который всѣхъ крѣпче, а тотъ, у котораго шерсть особенно тонка. Оставляется на заводъ не тотъ голубь, который всѣхъ нормальнѣе, а напротивъ того, часто именно тотъ, который всѣхъ уродливѣе. Оттого-то мы и видимъ почти во всѣхъ породахъ нашихъ животныхъ и растений разныя приспособленiя къ выгодамъ и прихотямъ человека. Эти приспособленiя не могли возникнуть и развиваться во время дикой жизни нашихъ домашнихъ породъ; они сформированы уже послѣ нихъ

прирученія, сформированы путем систематическаго или безсознательнаго вліянія человѣка, а это вліяніе часто расходится съ естественнымъ выборомъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ идетъ ему наперекоръ, какъ мы это видѣли въ дѣлѣ курносыхъ турмановъ.

Этимъ разладомъ между частными интересами человѣка и общими интересами всей органической жизни объясняется тотъ замѣчательный фактъ, что ни въ Австраліи, ни на мысѣ Доброй Надежды не нашлось ни одного растенія, которое стояло бы обрабатывать въ огородѣ или въ фруктовомъ саду. Дѣло въ томъ, что наши домашнія растенія испытываютъ на себѣ вліяніе человѣка въ продолженіи многихъ тысячелѣтій; поэтому они значительно уклонились отъ своего первоначальнаго типа, и уклонились именно въ ту сторону, въ которую гнулъ ихъ выборъ человѣка. Что же касается до туземныхъ растеній Австраліи и Капской Земли, то они постоянно подчинялись только естественному выбору; дикари, жившіе въ этихъ земляхъ, не имѣли на нихъ никакого вліянія, и поэтому въ нихъ не существуетъ тѣхъ приспособленій, которыми мы дорожимъ въ нашихъ овощахъ или садовыхъ ягодахъ. Эти приспособленія могли бы выработаться черезъ нѣсколько столѣтій, но кому же охота начинать работу съ начала, когда мы имѣемъ уже готовые продукты, то есть, хорошую капусту, морковь, горохъ, землянику, малину, крыжовникъ, и вообще все, что въ этомъ отношеніи доставляетъ намъ пользу или удовольствіе?

Выводъ тотъ, что каждая порода дѣйствуетъ постоянно только сама для себя, и что полнѣйшій эгоизмъ составляетъ основной законъ жизни для всего органическаго міра. Человѣкъ можетъ передѣлать капусту для себя, но сама капуста ни подъ какимъ видомъ не будетъ передѣлывать себя для человѣка. Сохраняться и размножаться въ естественномъ состояніи будутъ тѣ экземпляры, которые особенно хорошо защищены своею организаціею отъ враждебныхъ вліяній, а не тѣ, которые особенно сочны и вкусны для человѣка.

IX.

ПОЛОВОЯ ОТНОШЕНІЯ.

Случается иногда, что какая нибудь особенность проявляется и становится наслѣдственною у однихъ самцовъ, или у однихъ самокъ. Если такая особенность помогаетъ акту дѣторожденія, или вообще доставляетъ данному субъекту какой нибудь перевѣсъ надъ другими животными той же породы, то она можетъ быть сохранена и усовершенствована влія-

ніемъ естественнаго выбора. Сохраненіе и усовершенствованіе такихъ полезныхъ половыхъ особенностей объясняетъ намъ то обстоятельство, что во многихъ породахъ животныхъ самцы одарены такимъ специальнымъ оружіемъ, котораго нѣтъ у самокъ. Самцы обыкновенно дерутся между собою за обладаніе самками, и въ этой дракѣ одерживаютъ побѣду тѣ субъекты, которые вооружены лучше другихъ. Для этой борьбы такое оружіе, какъ рогъ оленя, или крючковатая челюсть самца семги, или шпора пѣтуха, оказывается полезнѣе, чѣмъ общая крѣпость тѣлосложенія. Крѣпкій и здоровый субъектъ имѣетъ шансы пережить своихъ сверстниковъ, но чтобы оставить послѣ себя потомство, и передать этому потомству свои личныя особенности, этому субъекту необходимо еще обладать хорошимъ оружіемъ, неукротимою храбростью, и задорнымъ характеромъ. Такимъ образомъ, борьба за самокъ вводитъ въ дѣло естественнаго выбора новый элементъ, который никакъ нельзя считать мало-важнымъ, потому что эта борьба существуетъ, какъ постоянное правило, почти во всѣхъ высшихъ областяхъ животнаго царства.

У млекопитающихъ задоръ самцовъ такъ великъ, что, при малѣйшемъ недосмотрѣ со стороны человѣка, быки, бараны или жеребцы вступаютъ между собою въ сраженіе; хотя, по видимому, спокойная и однообразная жизнь скотнаго двора или конюшни должна была бы значительно ослабить у нашихъ домашнихъ животныхъ первобытную пылкость характера. Драки между самцами домашнихъ птицъ также случаются каждый день, и при этомъ любопытно замѣтить, напримѣръ, разительную противоположность между смиреннымъ нравомъ курицы и неукротимою свирѣпостью пѣтуха. Это свойство характера такъ же точно выработалось путемъ естественнаго выбора, какъ фигура и оружіе пѣтуха, потому что храбрый и задорный пѣтухъ имѣлъ значительные шансы побѣдить и отогнать прочь отъ самокъ своего трусливаго или уступчиваго противника. Изъ пресмыкающихся, аллигаторы сильно дерутся между собою за самокъ; при этомъ они мычатъ и кружатся съ возрастающею быстротою, какъ Индѣйцы, танцующіе свою военную пляску. Изъ рыбъ, семги дерутся по цѣлымъ днямъ. Даже многія наѣкомыя придерживаются этого обычая. Нѣкоторыя породы птицъ вносятъ въ эту борьбу мирный элементъ артистическихъ состязаній. Самцы стараются привлечь къ себѣ самокъ мелодическимъ пѣніемъ, и это имъ удается, потому что въ противномъ случаѣ не за чѣмъ было бы соловью, канарейкѣ и многимъ другимъ пѣвчимъ птицамъ надсаживать себѣ горло именно въ то время, когда наступаетъ для нихъ пора любви. Здѣсь побѣда достается лучшему пѣвцу; естественный выборъ дѣйствуетъ на музыкальныя способности птицъ, и его дѣйствіемъ, продолжающимся цѣлыми тысячелѣтіями, объясняется, во-первыхъ, необыкновенное развитіе голоса у нѣкоторыхъ породъ, а во-вторыхъ, то обстоятельство, что

поют преимущественно, а, может быть, даже исключительно, одни самцы. Другія птицы обольщают легкомысленных самокъ красотою своего оперенія. *Каменные птитушки*, живущіе въ Гвіанѣ, и райскія птицы производятъ даже въ присутствіи самокъ что-то въ родѣ бала или турнира, единственно для того, чтобы показать своимъ дамамъ всю свою ловкость и всю блестящую красоту своихъ перьевъ. Они распускаютъ поочереды хвостъ и крылья, принимаютъ самыя необыкновенныя позы, вертятся, пляшутъ, и наконецъ, очаровавши присутствующихъ зрительницъ, предоставляютъ имъ выбирать того или тѣхъ, кто умѣлъ имъ понравиться сильнѣе прочихъ. Здѣсь естественный выборъ, очевидно, направляется на цвѣтъ и пестроту перьевъ, и его постоянное дѣйствіе объясняетъ намъ также, почему у самцовъ опереніе бываетъ обыкновенно красивѣе и ярче, чѣмъ у самокъ той же породы.

Въ мірѣ растений, конечно, не можетъ быть ни борьбы между самцами, ни выбора со стороны самки; у очень многихъ растений женскіе и мужскіе органы соединены въ одномъ цвѣткѣ; мужскіе органы вырабатываютъ цвѣточную пыль, роняютъ ее на женскій органъ, и совершаютъ такимъ образомъ актъ оплодотворенія, послѣ котораго цвѣтокъ оканчиваетъ свое существованіе и превращается въ плодъ, заключающій въ себѣ сѣмена. Здѣсь половыя отношенія, разумѣется, гораздо проще, чѣмъ въ мірѣ высшихъ животныхъ. У простѣйшихъ животныхъ и у тайнобрачныхъ растений они еще проще, но объ нихъ намъ не за чѣмъ говорить. У многихъ изъ высшихъ растений половыя органы находятся на разныхъ цвѣткахъ, такъ что одинъ цвѣтокъ имѣетъ въ себѣ только пестикъ, или женскій половой органъ, а другой — только тычинки, или мужскіе органы, вырабатывающіе цвѣточную пыль. Такое раздѣленіе органовъ выгодно для растенія, не смотря на то, что оплодотвореніе при этихъ условіяхъ не можетъ совершаться безъ посторонней помощи. Обыкновенно помогаютъ вѣтеръ и насѣкомыя. Выгода для растенія заключается тутъ въ томъ, что всѣ силы каждаго отдѣльнаго цвѣтка устремляются на одно отправленіе, вмѣсто того, чтобы дробиться между двумя различными занятіями. Здѣсь дѣйствуетъ тотъ великій принципъ раздѣленія труда, который сохраняетъ всю свою силу во всѣхъ отдѣлахъ растительнаго и животнаго царства, начиная отъ экономической дѣятельности человѣка и кончая прозябаніемъ грибовъ и водорослей. Современные натуралисты признали важное значеніе этого принципа, и приложивъ его къ объясненію многихъ явленій органической жизни, называли его *раздѣленіемъ физиологическаго труда*. У растений, соединяющихъ оба пола въ одномъ цвѣткѣ, случается иногда, что нѣкоторые субъекты представляютъ одностороннее развитіе, то есть, одинъ изъ половых органовъ развивается въ ущербъ другому. Такой цвѣтокъ, очевидно, не можетъ оплодотворять самого себя, но за то въ своей спеціальности онъ

сильнѣе своихъ нормально сложившихся сверстниковъ; то есть, или его тычинки развиты особенно хорошо, и вырабатываютъ дѣточную пыль отличнаго качества, въ необыкновенномъ изобиліи, или его пестикъ отличается особенно крѣпкою организаціею. Въ первомъ случаѣ, нашъ субъектъ съ большимъ успѣхомъ можетъ оплодотворить другой цвѣтокъ; во второмъ случаѣ, онъ съ такимъ же успѣхомъ можетъ принять отъ другаго оплодотворяющую пыль; въ обоихъ случаяхъ, нашъ ненормальный цвѣтокъ, именно вслѣдствіе своей ненормальности, исполнить свое специальное дѣло отлично; онъ оставитъ послѣ себя многочисленное и крѣпкое потомство, то есть, произведетъ много сѣмянъ, а изъ этихъ сѣмянъ вырастутъ, при благопріятныхъ условіяхъ, здоровыя растенія, и между этими растеніями нѣкоторыя наслѣдуютъ по всей вѣроятности ту односторонность, которою отличался папаша, или отличалась мамаша. Эти растенія опять произведутъ здоровое и многочисленное потомство; дѣло пойдетъ вообще обыкновеннымъ путемъ естественнаго выбора, и, такимъ образомъ, рядомъ съ растеніями, соединяющимися въ одномъ цвѣткѣ оба половые органа, возникнетъ и упрочится новая порода такихъ растеній того же сорта, у которыхъ мужской и женскій органы будутъ находиться отдѣльно, на разныхъ цвѣткахъ. Ботаника, дѣйствительно, знаетъ довольно много такихъ примѣровъ. Помѣщеніе половых органовъ на двухъ различныхъ цвѣткахъ выгодно для растеній въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, вслѣдствіе раздѣленія физиологическаго труда, а во-вторыхъ потому, что на весь органическій міръ распространяется одинъ общій законъ, который, повидимому, также находится въ связи съ принципомъ раздѣленія труда. Законъ этотъ состоитъ въ томъ, что для поддержанія плодovitости необходимо совокупленіе двухъ различныхъ индивидуумовъ. У высшихъ животныхъ и у тѣхъ растеній, у которыхъ половые органы раздѣлены, совокупленіе необходимо предъ каждымъ дѣторожденіемъ. Напротивъ того, у гермафродитовъ животнаго и растительнаго царства, то есть у тѣхъ породъ, у которыхъ оба органа принадлежать одному субъекту, дѣторожденіе производится обыкновенно безъ совокупленія. Каждый субъектъ самъ себя оплодотворяетъ, и самъ родитъ. Но, если этотъ процессъ продолжается черезъ нѣсколько поколѣній гермафродитовъ, то, наконецъ, ихъ производительная сила слабѣетъ и истощается, такъ что для возстановленія этой силы необходимо, чтобы два гермафродита одной породы взаимно оплодотворили другъ друга. Послѣ этого, гермафродитъ опять можетъ, въ теченіи нѣсколькихъ поколѣній, обходиться безъ посторонней помощи. Такъ это и дѣлается. Гермафродиты изъ класса моллюсковъ иногда совокупились, а гермафродиты растительнаго царства оплодотворяютъ другъ друга при содѣйствіи вѣтра и насѣкомыхъ, которые переносятъ цвѣточную пыль съ одного цвѣтка на другой, и даже, очень часто, производятъ помѣси

между различными породами растений, находящихся между собою въ близкомъ родствѣ. Если два растенія принадлежать къ двумъ совершенно различнымъ семействамъ, то цвѣточная пыль одного вовсе не подѣйствуетъ на женскій органъ другаго. Если два растенія принадлежать къ одному роду, но къ двумъ различнымъ видамъ, тогда они произведутъ помѣсь, которая называется *гибридомъ*, и которая будетъ такъ же бесплодна, какъ, напримѣръ, бесплодны въ животномъ царствѣ мулы и лошаки, составляющіе помѣсь лошади съ осломъ. Если два растенія принадлежать къ одному виду, но къ двумъ различнымъ породамъ или разновидностямъ, то помѣсь ихъ будетъ называться *метисомъ*, и будетъ способна размножаться. Наконецъ, если два растенія принадлежать къ одной породѣ, то они, оплодотворивши другъ друга, произведутъ такое потомство, которое будетъ здоровѣе и сильнѣе, чѣмъ потомство гермафродита, оплодотворившаго себя своею собственною цвѣочною пылью. Короче сказать, для успѣшнаго дѣторожденія *) необходимо различіе между содѣйствующими сторонами, но только до извѣстныхъ предѣловъ. Когда различіе слишкомъ мало, или совсѣмъ не существуетъ, тогда производительная сила слабѣетъ и исчезаетъ. Когда различіе слишкомъ велико, тогда производительная сила тоже слабѣетъ и исчезаетъ. Если мы взглянемъ на высшихъ животныхъ, то увидимъ тутъ съ одной стороны, что совокупленія между очень близкими родственниками портать породу, а съ другой стороны, что совокупленія между различными видами или совершенно невозможны, или даютъ бесплодное потомство. Теперь понятно, почему для растенія выгодно раздѣленіе половыхъ органовъ: — потому, что такое раздѣленіе непремѣнно требуетъ для дѣторожденія совокупнаго дѣйствія двухъ отдѣльныхъ субъектовъ, а это совокупное дѣйствіе ведетъ за собою улучшение и укрѣпленіе породы. Почему именно существуетъ этотъ общій законъ, и изъ какихъ основныхъ свойствъ органической жизни онъ вытекаетъ, этого натуралисты еще не знаютъ, и стало быть, до поры до времени, намъ приходится только отмѣтить здѣсь его дѣйствительное существованіе, доказанное множествомъ отдѣльныхъ наблюдений.

У нѣкоторыхъ растеній — гермафродитовъ, половые органы, соединенные на одномъ цвѣткѣ, устроены такъ, что цвѣтокъ самъ себя оплодотворить не можетъ, и слѣдовательно, или умираетъ безъ потомства, или обмѣнивается услугами съ своими сверстниками и сосѣдами. Такъ, напримѣръ, у *Labelia fulgens* тычинки цвѣтка созрѣваютъ и выделяютъ цвѣточную пыль тогда, когда пестикъ того же цвѣтка еще не созрѣлъ,

*) Я употребляю для краткости это выраженіе въ самомъ обширномъ смыслѣ, прилагая его и къ моллюскамъ, и къ растеніямъ, и къ высшимъ животнымъ, и вообще ко всему органическому міру.

и не может воспользоваться оплодотвореніемъ. Ясно, стало быть, что выработанная пыль или пропадает даромъ, или достается пестнику другого цвѣтка, развившагося раньше перваго. Когда же разовьется въ свою очередь пестикъ перваго цвѣтка, тогда оказывается, что тычинки уже отжили, и прекратили свою дѣятельность. Тутъ, значить, пестнику приходится или увядать безъ потомства или принимать цвѣточную пыль отъ другаго, младшаго цвѣтка. Такимъ образомъ выходитъ, что *lobelia fulgens* въ молодости своей бываетъ мужчиною, а подѣ старость становится женщиною. Настоящимъ же гермафродитомъ, то есть мужчино-женщиною она никогда не бываетъ. Тутъ, очевидно, есть противорѣчіе между конструкціею цвѣтка и его дѣятельностью. По конструкціи — онъ настоящій гермафродитъ, а по дѣятельности — однополое растение. Это противорѣчіе было бы необъяснимо, если бы мы предположили, что *lobelia fulgens* вышла изъ земли съ готовою конструкціею и съ готовою дѣятельностью, подобно тому, какъ нашъ давнишній знакомый, идеальный баранъ, неизмѣнный *ovis aries* (смотри *введение*) выпелъ изъ земли во всеоружіи своихъ атрибутовъ. Но противорѣчіе объяснится, если мы предположимъ, что естественный выборъ уже переработалъ дѣятельность цвѣтка, и еще не успѣлъ переработать его конструкцію.

Вотъ какъ было дѣло. У нѣкоторыхъ экземпляровъ *lobelia fulgens* тычинки созрѣли чуть чуть пораньше пестика; это индивидуальное отклоненіе такъ же возможно, какъ и всякое другое: оно было выгодно для цвѣтка, потому что вся масса его цвѣточной пыли устремлялась по необходимости на другіе цвѣты, то есть туда, гдѣ она могла принести величайшее количество пользы; ни одна частица этой пыли не тратилась на свой пестикъ; и стало быть, пестикъ, не засоренный своею собственною пылью, былъ въ высшей степени способенъ принять ту пыль, которая вызывала къ дѣятельности всѣ его производительныя силы. Значить и пыль, и пестикъ этихъ цвѣтковъ дѣлали свое дѣло лучше, чѣмъ тѣ же органы другихъ, совершенно нормальныхъ субъектовъ. Ну, а послѣдствія давно извѣстны читателю: крѣпкое потомство, сохраненіе выгодной особенности, сохраненіе тѣхъ субъектовъ, у которыхъ эта особенность сильнѣе развита, чѣмъ у другихъ, усиленіе особенности посредствомъ постоянного выбора, превращеніе особенности въ постоянное и коренное свойство, образованіе новой видоизмѣненной породы рядомъ съ старою, и наконецъ, совершенная побѣда новой породы надъ старою, побѣда, приводящая за собою медленное и полное вымирание старой породы—черезъ эти фазы проходить всегда естественный выборъ, и черезъ эти же фазы прошелъ онъ тогда, когда измѣнилъ дѣятельность цвѣтка *lobelia fulgens*. Точно также совершилось бы измѣненіе его конструкціи, лишь бы только представились такіа индивидуальныя отклоненія, которыя полезны для цвѣтка, и которыми, вслѣдствіе этого, можетъ овла-

дѣть естественный выборъ. Пусть читатель твердо запомнить, что безъ индивидуальныхъ уклоненій естественный выборъ ничего не можетъ сдѣлать. Онъ не производитъ этихъ уклоненій; онъ только сохраняетъ ихъ, а производятся эти уклоненія совершенно другими причинами, и притомъ такими, которыя до сихъ поръ очень мало изслѣдованы.

Х.

ОБРАЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ, ВИДОВЪ И РОДОВЪ.

Борьба за жизнь, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста, то усиливается и становится болѣе ожесточенною, то ослабѣваетъ и принимаетъ болѣе спокойное теченіе. Если, напримѣръ, лѣтняя засуха уменьшила въ какой нибудь степной странѣ количество травы, то, разумѣется, борьба между травоядными сдѣлается особенно сильною. Если въ страну врывается новая порода животныхъ или растений, то борьба, происходившая обыкновенно между туземными формами, тотчасъ оживляется, потому что пришельцы вносятъ въ эту борьбу еще новый элементъ, и еще болѣе перенутываютъ своимъ появленіемъ сложную сѣть прежнихъ отношеній между животными и растеніями. Если какая нибудь туземная форма животныхъ или растений испытываетъ то или другое измѣненіе, тотчасъ это измѣненіе отражается на общемъ колоритѣ борьбы, и борьба на время усиливается, потому что остальнымъ формамъ приходится принаровиться къ этому измѣненію, чтобы не потерпѣть отъ него существеннаго ущерба. Чѣмъ обширнѣе страна, чѣмъ она доступнѣе для чужеземныхъ растений и животныхъ, чѣмъ разнообразнѣе ея собственное населеніе, тѣмъ ожесточеннѣе кипитъ въ ней борьба за жизнь, тѣмъ чаще происходятъ періодическія усиленія этой борьбы, и тѣмъ прихотливѣе и пестрѣе перенутываются отношенія между различными органическими породами. Но чѣмъ ожесточеннѣе борьба, тѣмъ труднѣе побѣда, а такъ какъ живутъ и размножаются только побѣдители, то тѣмъ строже естественный выборъ. Та порода, которая измѣняется въ свою пользу медленнѣе, чѣмъ ея конкурренцы, терпитъ рѣшительное пораженіе, теряетъ средства къ существованію, и становится малочисленною. А какъ только она начинаетъ убывать, такъ окончательное истребленіе ея становится почти несомнѣннымъ. Во первыхъ, на малочисленную породу всякія неблагоприятныя обстоятельства, въ родѣ холодной зимы, жаркаго лѣта, голоднаго года, дѣйствуютъ гораздо разрушительнѣе, чѣмъ на многочисленную. Малочисленная порода можетъ, при такихъ условіяхъ, вымереть безъ остатка, а для многочисленной породы такой трагическій случай представляется въ высшей

степени неправдоподобнымъ. Во вторыхъ, чѣмъ малочисленнѣе порода, тѣмъ меньше существуетъ вѣроятій, что въ этой породѣ обнаружатся такіа полезныя индивидуальныя особенности, которыя строгій естественный выборъ могъ бы сохранить, развитъ и упрочить. Стало быть, если не будетъ даже никакихъ неблагопріятностей со стороны климата, то все-таки на убывающую породу будутъ постоянно дѣйствовать съ возрастающею силою тѣ самыя причины, которыя уже попятѣли ее назадъ. Конкуренты уже опередили ее, конкуренты продолжаютъ измѣняться въ свою пользу быстрѣе, чѣмъ эта отсталая порода, конкуренты съ каждымъ днемъ сильнѣе отбиваютъ у нея насущный хлѣбъ, и все это продолжается до тѣхъ поръ, пока побѣжденная порода не исчезаетъ окончательно. На большихъ материкахъ борьба за жизнь особенно сильна, разнообразіе органическихъ формъ особенно значительно, естественный выборъ особенно строгъ, и слѣдовательно, однѣ породы исчезаютъ, а другія совершенствуются гораздо быстрѣе, чѣмъ это дѣлается на островахъ или на такихъ небольшихъ материкахъ, какъ Австрія.

При ожесточенной борьбѣ, и при строгости естественнаго выбора, побѣда и жизнь достаются только тѣмъ породамъ, которыя одарены чрезвычайно крѣпкою, гибкою и измѣнчивою организаціею. Когда эти породы, выработавшія свои превосходныя свойства цѣлыми тысячелѣтіями самой напряженной борьбы, врываются въ такое мѣсто, гдѣ борьба была слаба, и гдѣ естественный выборъ, вслѣдствіе этого, не отличался строгостію, — тогда въ этомъ уголкѣ земнаго шара происходитъ что-то похожее на вторженіе Гунновъ въ римскую имперію. Туземные конкуренты разступаются во всѣ стороны, а пришельцы, сдѣлавшись въ самое короткое время полными хозяевами страны, размножаются съ небывалою быстротою, и размноженіемъ своимъ истребляютъ тѣ слабыя и неразвитыя породы, которыя не могутъ выдержать ихъ натиска.

Такимъ образомъ, европейскія растенія и животныя, въ томъ числѣ и европейскіе люди, утвердились въ Австраліи и на многихъ островахъ Тихаго Океана, быстро принаровились къ природѣ своего новаго отечества, и истребили въ этой природѣ то, что стояло поперекъ ихъ дороги. — Растительность острова Мадеры похожа, по словамъ натуралиста Освальда Гира (Heer) на ту флору, которая жила въ Европѣ во время третичнаго геологическаго періода. Въ Австраліи живетъ до сихъ поръ безобразнѣйшее и нелѣпнѣйшее млекопитающее съ утинымъ клювомъ *ornithogynchus paradoxus*, которому, по видимому, давно бы слѣдовало лежать въ какомъ нибудь напластованіи земной коры, и принадлежать къ разряду ископаемыхъ, или такъ называемыхъ допотопныхъ животныхъ. Эти два факта объясняются тѣмъ, что на Мадерѣ и въ Австраліи борьба за жизнь была слабѣе, чѣмъ на громадномъ материкѣ

старого свѣта; поэтому, тѣ формы, которыя давно истреблены въ Европѣ, до сихъ поръ могли продержаться тамъ, гдѣ естественный выборъ дѣйствовалъ съ меньшею строгостью. Къ этимъ двумъ фактамъ можно прибавить еще два факта того же самаго разряда. Во первыхъ, можно замѣтить, что почти всѣ австралійскія млекопитающія принадлежатъ къ низшему порядку этого класса, именно къ порядку сумчатыхъ (*marsupialia*), которыя когда-то жили и въ Европѣ, но, уже въ далекомъ геологическомъ прошедшемъ, сошли со сцены и обратились въ ископаемыхъ. Во вторыхъ, птица додо жила до половины прошлаго столѣтія не на материкѣ, а на островѣ Мадагаскарѣ; на материкѣ, при множествѣ враговъ и конкурентовъ, эта неуклюжая и беззащитная птица никакъ не продержалась бы такъ долго.

Стало быть, вотъ въ какой связи представляются намъ явленія органической жизни: на большихъ материкахъ живутъ разнообразныя формы животныхъ и растений; разнообразіе формъ порождаетъ разнообразіе отношеній и напряженность борьбы; а напряженная борьба ведетъ за собою строгій естественный выборъ, уничтоженіе однихъ породъ, совершенствованіе другихъ, движеніе и колебаніе въ органическихъ формахъ, и, наконецъ, въ общемъ результатѣ, возвышеніе всего уровня мѣстной органической жизни. Но это еще не все. Если разнообразіе формъ является причиною сильной борьбы и строгаго выбора, то спрашивается, откуда же взялось это самое разнообразіе? Если сказать, что это разнообразіе такъ всегда и было разнообразіемъ, то въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же было представлять въ смѣшномъ видѣ мысль объ идеальномъ баранѣ, выходящемъ изъ нѣдръ земли, подобно Венерѣ, родищейся изъ морской пѣны? Но теперь намъ не зачѣмъ смотрѣть на это разнообразіе, какъ на первобытный и безпричинный фактъ.

Всѣ разновидности, виды, роды, семейства, порядки и такъ далѣе, развились изъ одной общей формы посредствомъ той самой борьбы и того самаго выбора, которые, въ настоящее время, кажутся намъ слѣдствіями существующаго разнообразія. Какая была эта общая, первобытная форма организма—этого никто никогда не узнаетъ, потому что та эпоха, когда зарождалась на нашей планетѣ органическая жизнь, не оставила, да и не могла оставить намъ рѣшительно никакихъ геологическихъ документовъ. Въ пластахъ земной коры могли сохраниться только твердыя части организма, кости, раковины, дерево, а такой организмъ, кот рый состоитъ изъ твердыхъ и мягкихъ частей, представляетъ уже очень развитое и сложное явленіе. Такое явленіе никакъ не можетъ быть принято за исходную точку органической жизни, во-первыхъ, потому, что всѣ организмы безъ исключенія начинаютъ свое развитіе съ простой кѣлочки, въ которой, разумѣется, нѣтъ ни костей, ни раковинъ, ни дерева, а есть только слизь, да тоненькая оболочка. Стало

быть, о первобытных формах и объ исходной точкѣ органической жизни нечего и толковать, потому что гдѣ нѣтъ фактовъ, тамъ не можетъ быть ни научнаго изслѣдованія, ни даже серьезнаго разговора. Тамъ ужъ пускай дѣйствуютъ поэзія и метафизика. Но, чтобы объяснить, какимъ образомъ виды, роды, семейства и порядки могли возникнуть и развиться посредствомъ борьбы за жизнь, и посредствомъ естественнаго выбора, намъ даже нѣтъ никакой надобности забираться въ такую древность, о которой молчитъ даже геологія. Если намъ удастся только показать, что изъ одного вида могутъ развиваться два вида, что такія явленія дѣйствительно встрѣчаются въ природѣ, и что они имѣютъ себѣ основаніе въ самыхъ существенныхъ свойствахъ органической жизни, то цѣль наша будетъ вполне достигнута. Въ самомъ дѣлѣ, если только дробленіе видовъ на новые виды совершается и должно совершаться въ органической природѣ, то этому дробленію не можетъ быть никакихъ опредѣленныхъ границъ ни въ прошедшемъ, ни въ будущемъ. Если виды дробятся, сегодня, если мы видимъ причину, почему они должны дробиться, и если мы можемъ доказать, что причина эта составляетъ необходимое свойство органической жизни, то не трудно понять, что виды дробились вчера, и будутъ дробиться завтра; если же они дробились въ прежнія времена, то, стало быть, теперешніе виды составляютъ результатъ прошедшаго дробленія; стало быть, группы близкихъ между собою видовъ составляли въ былое время одну общую форму; а эта общая форма образовала въ прошедшемъ одинъ видъ, и связывалась съ другими видами въ родовыя и семейныя группы, которыя всѣ вмѣстѣ въ болѣе отдаленную эпоху имѣли своимъ родоначальникомъ также одну форму, еще болѣе общую; и такимъ образомъ, переходя постоянно отъ частнаго къ общему, къ болѣе общему, и къ еще болѣе общему, мы дойдемъ наконецъ до того предѣла, гдѣ кончаются геологическіе документы, и гдѣ, слѣдовательно, начинается *темное царство* поэзія и метафизики. Туда мы ужъ не пойдемъ, а вмѣсто того, воротимся къ тому вопросу, который составляетъ фундаментъ всего строенія.

И такъ, я повторяю вопросъ: какимъ образомъ одинъ видъ можетъ раздѣлиться на два вида? Или точнѣе: почему одному виду можетъ быть выгодно и полезно раздѣлиться на два или вообще на нѣсколько видовъ? Отвѣтъ будетъ довольно длиненъ, и начнется издалека. Борьба за средства къ существованію происходитъ съ особенною ожесточенностью между существами одной породы, или между очень близкими породами. Причина очевидна. Что ѣсть одинъ баранъ, то ѣсть и другой баранъ; что нравится одному, то нравится и другому; чего не терпитъ одинъ, того не терпитъ и другой. Быкъ и баранъ оба питаются травой, и слѣдовательно, также борются между собою, но быкъ можетъ пред-

почитать одинъ сортъ травы, а барану можетъ нравиться другой; стало быть, въ обыкновенное время, когда нѣтъ засухи, борьба быка съ бараномъ слабѣе, чѣмъ междуособная борьба въ самой породѣ быковъ, или барановъ. Съ лошадыю баранъ борется еще слабѣе, чѣмъ съ быкомъ, и чѣмъ значительнѣе становится различіе въ организаціи двухъ животныхъ, тѣмъ слабѣе дѣлается ихъ борьба между собою. Съ собакою или съ курицею баранъ уже совсѣмъ не находится въ прямомъ соперничествѣ, хотя онъ, можетъ быть, и связанъ съ ними какою нибудь запутанною сѣтью сложныхъ отношеній, въ родѣ того, какъ кошка связана съ шмелемъ и съ растеніемъ *trifolium pratense*. Но до какой степени сильна и истребительна можетъ быть борьба между очень близкими породами и между отдѣльными существами одной породы, — это доказывается многими любопытными наблюденіями. Если перемѣнять сѣмена нѣсколькихъ разновидностей пшеницы, если посѣять ихъ въ одномъ полѣ, и потомъ, послѣ каждой уборки, сѣять опять полученные сѣмена, не разбирая ихъ по сортамъ, то черезъ нѣсколько лѣтъ, нѣкоторые изъ посѣянныхъ разновидностей совершенно вытѣсняются другими, болѣе крѣпкими, болѣе плодовитыми, и болѣе соотвѣтствующими данному климату и данной почвѣ. То же самое произойдетъ, если вы будете сѣять вмѣстѣ разновидности душистаго горошка, отличающіеся другъ отъ друга только красками цвѣтовъ. Сильные въ нѣсколько лѣтъ совершенно уничтожатъ слабыхъ. Если пустить нѣкоторыя породы горныхъ барановъ въ одно пастбище съ другими, то этимъ другимъ придется терпѣть голодъ, между тѣмъ, какъ первые будутъ постоянно наѣдаться и благоденствовать. То же самое случится между различными сортами медицинскихъ пиявокъ, если вы будете кормить ихъ въ одномъ резервуарѣ. Во всѣхъ этихъ примѣрахъ берутся отношенія между отдѣльными разновидностями, потому что въ такихъ случаяхъ результатъ борьбы выражается особенно нагляднымъ образомъ; но, само собою разумѣется, что внутри каждой разновидности идетъ еще болѣе ожесточенная борьба между отдѣльными субъектами, потому что чѣмъ значительнѣе сходство, тѣмъ чаще должны быть столкновенія, и тѣмъ ежеминутнѣе должно быть соперничество; вѣдь и въ приведенныхъ примѣрахъ не разновидность идетъ на разновидность, а просто каждый отдѣльный организмъ стоитъ за самого себя, сколько хватить его силъ, и при этомъ совершенно неумышленно и безпристрастно отбываетъ хлѣбъ, какъ у того, кто похожъ на него какъ двѣ капли воды, такъ и у того, кто немного отличается отъ него складомъ тѣла или цвѣтомъ шерсти. Результатъ, то есть, торжество одной разновидности надъ другою, получается не вслѣдствіе генеральнаго сраженія, а вслѣдствіе множества ежеминутныхъ и мельчайшихъ дуэлей; да и дуэли-то большую частью такіа, въ которыхъ противники не видятъ и не знаютъ другъ друга въ глаза; весь поеди-

ноиѣ состоитъ въ томъ, что каждый, миролюбивѣйшимъ образомъ, набиваетъ себѣ желудокъ какъ можно полнѣе, и стало быть, другимъ оставляетъ какъ можно меньше съѣстнаго матеріала.

Представимъ себѣ теперь, что въ странѣ *A* порода *B* размножилась до крайнихъ предѣловъ возможнаго. Когда этотъ крайній предѣлъ достигнутъ, тогда все-таки половыя отправления породы не прекращаются. Самцы по прежнему оплодотворяютъ самокъ, а самки по прежнему рожаютъ дѣтей. Породы *B* не знаетъ политической экономіи, и не имѣетъ понятія о томъ «моральномъ самовоздержаніи», которое Мальтусъ и Милль такъ остроумно рекомендуютъ англійскимъ рабочимъ. Что же изъ этого можетъ выдти? Подъ именемъ страны я понимаю здѣсь пространство земли, окаймленное естественными границами; съ одной стороны, на примѣръ, цѣль горъ, покрытыхъ вѣчными снѣгами, съ другой — песчаная пустыня, а съ остальныхъ сторонъ — море; значить, выхода нѣтъ; выселеній быть не можетъ; стало быть, если порода *B* размножилась до тахішумъ, то каждый годъ извѣстному числу этихъ животныхъ приходится умирать голодною смертію. Оно, конечно, приходится; но вѣдь умирать съ голоду до такой степени непріятно, что каждое животное, какъ бы оно ни было глупо, будетъ все таки подниматься на всѣ доступныя ему хитрости, чтобы поставить вопросъ какъ нибудь иначе. Если ужъ никакъ нельзя прожить на бѣломъ свѣтѣ, такъ оно постарается, по крайней мѣрѣ, умереть какою нибудь другою смертію. Вѣдь мы видимъ, на примѣръ, что голодный волкъ бросается на человѣка, котораго онъ не трогаетъ во времена своего благоденствія, хотя, по видимому, сытый организмъ долженъ быть сильнѣе, и стало быть, смѣлѣе голоднаго. Видимъ мы также, что и люди во время голода набиваютъ себѣ желудокъ разными негодными веществами, и вслѣдствіе этого, умираютъ отъ болѣзней, что, все-таки, какъ-то легче, чѣмъ умереть отъ чистаго голода. Такого же рода явленія обнаружатся и въ нашей породѣ *B*. Прежде всего, отложена будетъ въ сторону всякая прихотливость и брезгливость. Положимъ, что порода *B* плотоядна; стало быть, главная часть ея задачи состоитъ не въ томъ, чтобы переварить съѣденное вещество, а въ томъ, чтобы найти это вещество, которое и бѣгаетъ, и летаетъ, и плаваетъ. Надо пронюхать, высмотрѣть, подкараулить, догнать, перехитрить и одолѣть живую добычу. Тутъ требуются и сила, и ловкость, и острота чувствъ, и смелость, и навыкъ; открѣшается, какъ видите, очень обширное поле для индивидуальныхъ способностей, и мы легко можемъ себѣ представить безчисленное множество оттѣнковъ въ развитіи каждой изъ этихъ способностей, и въ распредѣленіи ихъ между отдѣльными животными одной и той же породы. Глядя на двухъ животныхъ этой породы, поставленныхъ рядомъ, мы, конечно, не замѣтимъ этихъ оттѣнковъ; и

тотъ—волеѣ, и этотъ—волеѣ, да если еще притомъ они одного роста и одного цвѣта, то мы и рѣшаемъ, что они совершенно равны между собою; но разница выразится въ результатахъ; если одинъ съумѣетъ кормиться лучше другаго, то, значить, у него есть какое-нибудь преимущество, незамѣтное для нашихъ глазъ, но очень важное для его жизни. Само собою разумѣется, что въ нашей породѣ *B* будутъ одни субъекты очень даровитые, другіе посредственные, а третьи — умъ гораздо поплоче. Если порода *B*, до своего крайняго размноженія, имѣла привычку питаться исключительно мясомъ тѣхъ животныхъ, которыхъ сами они только что растерзали, то, послѣ размноженія, эта привычка превратится уже въ роскошь, доступную только для геніевъ первой величины. Непросвѣщенная толпа принуждена будетъ привыкать по немногу къ падали, и даже къ очень несвѣжей падали, потому что все-таки гнилое мясо лучше, чѣмъ голодная смерть. А самыми плохими субъектамъ, по всей вѣроятности, и лизнуть не придется свѣжей пищи. Разумѣется, этотъ процессъ привыканія будетъ доставаться туго, и окупаться цѣною многихъ пожертвованій. Желудки, устроенные для свѣжей пищи, не будутъ переносить падали, и многіа животныа переколыблютъ отъ разлагающагося мяса. Но нѣкоторые переживутъ; борьба за жизнь завяжется между самыми плохими субъектами, и естественный выборъ, начавши дѣйствовать въ этомъ направленіи, будетъ постоянно сохранять тѣ желудки, которыа успѣшнѣе прочихъ перевариваютъ несвѣжую пищу. Подъ вліяніемъ этой пищи, и при содѣйствіи тѣхъ привычекъ и способностей, которыхъ требуетъ ея отыскиваніе, сформируется изъ самыхъ плохихъ субъектовъ породы *B* отдѣльная разновидность, у которой проявятся со временемъ очень замѣтныа отличія отъ организациа лучшихъ представителей кореннаго типа. Естественный выборъ будетъ постоянно увеличивать эти отличія, и не трудно понять, почему это будетъ дѣлаться такимъ образомъ. Между чистыми стервятниками (извините за выраженіе; оно, впрочемъ, употребляется въ учебникахъ зоологій) и чистымъ хищникомъ будетъ существовать сначала промежуточная категорія животныхъ той же породы *B*. Эти—*мы-то мы-се* будутъ самыми обиженными созданіями. У нихъ меньше талантовъ, чѣмъ у передовыхъ геніевъ породы, и больше желудочной требовательности, чѣмъ у самой крайней сволочи той же породы. Пойдутъ они за живою добычею — въ дуракахъ останутся, и притомъ въ голодныхъ дуракахъ, потому что настоящіе, первоклассные хищники вездѣ ужъ успѣли побывать раньше ихъ; найдутся наши горемыки падали, опять бѣда выйдетъ; на нѣсколько дней животъ разболится, а то и совсѣмъ ноги протянуть придется. Ясно, стало быть, что передъ хищниками лежитъ одинъ путь развитія, а передъ стервятниками совсѣмъ другой, и чѣмъ дальше они будутъ расходиться между собою

тѣмъ лучше будетъ для тѣхъ и для другихъ. Хищнику надо работать мозгомъ, нервами чувствъ и мускулами произвольнаго движенія, а стервятнику преимущественно желудкомъ, да еще, пожалуй, нервами обонянія. Естественный выборъ такъ и будетъ дѣйствовать по этимъ двумъ направленіямъ, и постоянно будетъ сохранять лучшихъ представителей обѣихъ разновидностей, а такъ какъ самый лучший хищникъ всего мнѣе похожъ на самаго лучшаго стервятника, то ясно, что разстояніе между ними, подъ вліяніемъ естественнаго выбора, будетъ незамѣтно увеличиваться въ каждомъ новомъ поколѣніи. Связь между этими двумя крайними формами будутъ составлять съ одной стороны плохіе хищники, а съ другой стороны плохіе стервятники, между которыми невозможно будетъ провести ясную пограничную черту; но мы уже видѣли, что этимъ плохимъ формамъ приходится круто; естественный выборъ постоянно направляется противъ нихъ, и производится на ихъ счетъ, то есть, онъ именно и состоитъ въ ихъ постоянномъ истребленіи; если эти *ни-то-ни-се* будутъ мыкаться между двумя ясно очерченными разновидностями, то ихъ непремѣнно сотрутъ съ лица земли; чтобы не уничтожиться, имъ надо броситься куда-нибудь въ сторону, то есть, выйти изъ своей безцвѣтной промежуточности, найти себѣ собственную специальность и превратиться въ новую разновидность. Кто можетъ это сдѣлать, то есть, у кого есть зародышъ оригинальной способности; тотъ такъ и сдѣлаетъ; а кто не можетъ, тотъ будетъ раздавленъ между двумя опредѣлившимися разновидностями.

Такъ какъ мы предположили, что порода *B* очень многочисленна, то мы можемъ и должны допустить, что у ея отдѣльныхъ представителей найдутся зародыши многихъ разнообразныхъ способностей; тѣмъ больше въ какойнибудь породѣ отдѣльныхъ животныхъ, тѣмъ больше индивидуальныхъ особенностей, и, стало быть, тѣмъ больше шансовъ, что найдутся и такія особенности, которыя разовьются въ разныя стороны подъ вліяніемъ естественнаго выбора. Если порода *B* размножилась въ странѣ *A* до шакимовъ, то она, разумѣется, одержала побѣду надъ равными другими породами, жившими въ томъ же мѣстѣ, и составившими ей конкуренцію. Побѣда одерживается тою породою, которая обладаетъ особенно гибкою организаціею, и, вслѣдствіе этого, способна измѣняться въ свою пользу скорѣе, чѣмъ ея соперники. Гибкость организаціи заключается именно въ томъ, что каждое нарождающееся поколѣніе представляетъ множество легкихъ, но очень разнообразныхъ индивидуальныхъ отгѣнговъ. Стало быть, предположеніе наше, что въ породѣ *B* найдутся зародыши многихъ оригинальныхъ способностей, не только не заключаетъ въ себѣ никакой натяжки, но даже составляетъ необходимое слѣдствіе того основнаго предположенія, что порода *B* размножилась до крайнихъ предѣловъ.

Въ чемъ же могутъ состоять эти способности? — Да мало ли въ чемъ! — Замѣчено, на примѣръ, что однѣ изъ нашихъ домашнихъ кошекъ занимаются преимущественно ловлею мышей; другія охотятся больше за крысами, третьи ловятъ молодыхъ птицъ и раззоряютъ гнѣзда, четвертыя добываютъ кроликовъ и зайцевъ; бываютъ и такія, которыя каждую ночь отправляются на болото, и подкарауливаютъ тамъ куликовъ и бекасовъ. Всѣ эти вещи кошка дѣлаетъ безо всякой особенной надобности, потому что хозяева не дали бы ей умереть съ голода, если бы даже она совершенно спокойно сидѣла дома; дѣлаетъ она это потому, что всякому животному свойственно стремленіе упражнять ту способность, которая въ немъ существуетъ; но, когда ловля добычи перестаетъ быть развлеченіемъ, и становится дѣломъ жизни, тогда, разумѣется, каждая существующая способность совершенно выясняется и доводится до послѣдней степени напряженія. Въ Соединенныхъ Штатахъ, въ гористой мѣстности Кэтскиллъ, живутъ двѣ разновидности волковъ, которые замѣтно отличаются другъ отъ друга, какъ складомъ тѣла, такъ и специальностью занятій. Одни — похожи на борзую собаку, и преслѣдуютъ дикихъ животныхъ. Другіе, помассивнѣе и посильнѣе, занимаются домашними животными. Особенности этихъ двухъ типовъ выработаны, конечно, естественнымъ выборомъ, который дѣйствовалъ на одну и ту же породу по двумъ различнымъ направленіямъ, выбирая въ первомъ случаѣ самыхъ быстрыхъ, а во второмъ самыхъ сильныхъ волковъ. Быстрому волку было удобнѣе охотиться за дикимъ животнымъ, потому что тутъ главное дѣло состояло въ томъ, чтобы догнать: чтобы справиться съ зайцемъ или даже съ ланью, немного требуется силы; а догнавши и справившись, волкъ могъ преспокойно расположиться на мѣстѣ и обѣдать, потому что дѣло происходило въ лѣсу, или вообще въ какомъ нибудь уединенномъ и тихомъ убѣжищѣ. Напротивъ того, волку, пускающемуся на охоту за домашними животными, необходима сила, не для того, чтобы одолѣть овцу или свинью, а для того, чтобы унести ее въ безмятежное пристанище. Такъ, стало быть, и произошло раздѣленіе одной породы на двѣ разновидности, потому что естественный выборъ здѣсь, какъ и вездѣ, благопріятствовалъ крайностямъ и истреблялъ промежуточные отбѣнки.

Такого же рода особенности могли проявиться въ породѣ *B*. На примѣръ, нѣкоторые субъекты могли быть по росту гораздо меньше своихъ сверстниковъ. Это обстоятельство могло быть для нихъ полезно, потому что, при маломъ ростѣ, они могли поддерживать свою жизнь меньшимъ количествомъ пищи. Если только малорослость была полезна, то естественный выборъ могъ образовать очень мелкую разновидность, которая, вмѣсто того, чтобы преслѣдовать зайцевъ или ланей, обратила свою дѣятельность на крысъ и мышей. Такъ какъ для этой мелкой

охоты требуются свои спеціальныя качества, то естественный выборъ сохранилъ и развилъ бы зародыши этихъ качествъ, такъ что, рядомъ съ крупными хищниками и съ стервятниками, образовалась бы отдѣльная порода мышатниковъ или крысатниковъ. Нѣкоторые субъекты могли отличатся особенною гибкостью членовъ и цѣпкостью когтей; такіе стали бы взлѣзать на деревья, и поѣдать птичьи яйца или молодыхъ птенцовъ, или медъ дикихъ пчелъ, какъ то дѣлаетъ медвѣдь; или же, подобно рыси, они могли бы караулить свою добычу, сѣдя на деревѣ, и потомъ бросаться на нее сверху; опять естественный выборъ крайнихъ представителей, и опять новая разновидность, или, пожалуй, порода. Потомъ нашлись бы такіе, которые плаваютъ легче другихъ, и держатся охотно по близости воды; эти стали бы донимать болотныхъ птицъ, или лягушекъ, или, пдусовершенствовавшись въ плаваніи и нырніи, рыбъ, раковъ и моллюсковъ. Опять новая порода, похожая, на примѣръ, на выдру. Могли бы быть такіе субъекты, которые немного лучше видятъ подѣ вечеръ, чѣмъ въ серединѣ дня. Имъ было бы выгодно выходить на промыселъ тогда, когда конкуренты отдыхаютъ. Естественный выборъ благопріятствовалъ бы тѣмъ, которые выходятъ попозднѣе, то есть, тѣмъ, у которыхъ глаза всего лучше приспособлены къ полумраку. Разовьется, такимъ образомъ, особенное устройство зрительнаго аппарата, и образуется порода ночныхъ хищниковъ.

Если нѣкоторые субъекты могли привыкнуть къ падали, то другіе могли понемногу помириться съ плодами, съ зернами, съ кореньями, и съ разными другими видами растительной пищи. Опять новая порода. Я насчиталъ семь породъ, и читатель, конечно, согласится, что, раздробившись такимъ образомъ, порода *B* имѣетъ въ своемъ распоряженіи гораздо больше пищи, и, слѣдовательно, можетъ размножаться гораздо сильнѣе, чѣмъ тогда, когда она представляла одинъ не раздѣленный видъ. Въ растительномъ мірѣ мы видимъ совершенно такімъ же явленіемъ. Цѣлый рядъ опытовъ доказалъ, что если, на примѣръ, на одной десятинѣ посѣять траву одного сорта, а на другой десятинѣ такой же земли посѣять травы нѣсколькихъ, очень различныхъ сортовъ, то со второй десятины получится больше сѣна, чѣмъ съ первой. Это понятно. Тѣло травы (если можно такъ выразиться) вырабатывается изъ составныхъ частей почвы, и изъ тѣхъ газовъ, которые плаваютъ въ атмосферномъ воздухѣ. Одна трава тянетъ изъ почвы преимущественно одно вещество, а другая — другое. Гдѣ цѣлая десятина засѣяна однимъ сортомъ травы, тамъ будетъ вытнуто только одно вещество, а другое, третье, четвертое, которыя были бы вытнуты другими травами, такъ и останутся въ почвѣ. А гдѣ земля засѣяна разными травами, тамъ многія составныя части почвы пойдутъ въ дѣло, и превратятся въ траву.

Читатель конечно ясно видитъ сходство этого примѣра съ исторіею

нашей возлюбленной породы *B*. Тамъ тоже, пока всѣ питались одной пищей, до тѣхъ поръ былъ голодъ; какъ стали питаться разною пищею, такъ явилась возможность размножаться и благоденствовать. Въ акклиматизаціи животныхъ и растений замѣчены также многіе факты, представляющіе собою отдѣльныя проявленія того же самаго принципа. На первый взглядъ можетъ показаться, что въ какой нибудь странѣ должны расплодиться особенно успѣшно тѣ формы животныхъ и растений, которыя очень близки къ туземнымъ формамъ. Процессъ мысли тутъ такой: если туземцамъ тутъ хорошо жить, то должно быть хорошо и тѣмъ пришельцамъ, которые требуютъ себѣ совершенно одинаковыхъ условій жизни. На видъ такое разсужденіе довольно благообразно, но все-таки я на моего читателя надѣюсь, что ужъ онъ такимъ образомъ разсуждать не будетъ. Онъ уже понимаетъ, что борьба за жизнь и отношенія между организмами важнѣ простыхъ климатическихъ вліяній. Если травоядное вступаетъ въ такую страну, гдѣ очень много своихъ травоядныхъ, то ему предстоитъ побѣдить конкурентовъ или умереть, а побѣда будетъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ больше конкурентовъ, и чѣмъ значительнѣ ихъ сходство съ новымъ пришельцемъ. Если это чужеземное животное имѣетъ въ своей организаціи очень сильное преимущество надъ туземцами, то, значитъ, оно на нихъ непохоже, и утверждается въ странѣ, именно благодаря этому несходству. Если же у пришлой породы нѣтъ этого счастливаго несходства, то ей, по всей вѣроятности, предстоитъ полное пораженіе, потому что туземцы обыкновенно бываютъ многочисленнѣе пришельцевъ, а ужъ я говорилъ о томъ, какія огромныя преимущества доставляетъ какой нибудь породѣ ея многочисленность. Но пустимъ плотояднаго звѣря въ такую страну, гдѣ живутъ только травоядныя, и мы, конечно, увидимъ, что новый гость очень скоро сдѣлается хозяиномъ, и будетъ кататься, какъ сыръ въ маслѣ. Пустимъ насѣкомоядную птицу туда, гдѣ очень много насѣкомыхъ, и гдѣ нѣтъ на нихъ никакой грозы, и произойдетъ та же самая исторія. Пустимъ, наконецъ, растение въ такую страну, гдѣ нѣтъ ни одного представителя этого рода растений, и тогда растение это расплодится, если только не встрѣтятся непреодолимыхъ препятствій со стороны климата и почвы. Въ Соединенныхъ Штатахъ акклиматизировано 260 растений, которыя принадлежатъ къ 162 отдѣльнымъ родамъ, и изъ этого послѣдняго числа 100 родовъ не имѣютъ во всей странѣ ни одного туземнаго представителя. Стало бытъ, привились именно такія формы, которыя представляютъ чрезвычайно мало сходства съ туземною флорою.

Общій выводъ тотъ, что полнота жизни и разнообразіе формъ всегда должны идти рядомъ. Если бы весь земной шаръ былъ заселенъ только одною формою животныхъ и одною формою растений, то, какъ бы ни были эти животныя и растенія мелки, все-таки на нашей планетѣ по-

мѣшалось бы тогда меньшее число организмовъ, чѣмъ теперь, не смотря на то, что теперь есть организмы довольно крупныя. Всѣ организмы стремятся къ безграничному размноженію; стремленіе это никогда не ослабѣваетъ, и никогда не удовлетворяется вполне, потому что всѣ организмы стараются заселить собою всю землю, и слѣдовательно, всѣ тѣснить и сдерживаютъ другъ друга; но всего полнѣе стремленіе къ размноженію можетъ удовлетвориться при крайнемъ развитіи разнообразія. — Стало быть, дробленіе формъ на новыя формы составляетъ въ жизни природы необходимое явленіе. Когда дробленіе началось, тогда крайнія формы одерживаютъ перевѣсъ надъ промежуточными, и стремятся сдѣлаться еще болѣе крайними. Такимъ образомъ, легкія и индивидуальныя особенности даютъ начало прочнымъ разновидностямъ; разновидности, постоянно удаляясь другъ отъ друга, превращаются въ отдѣльные виды; виды дробятся и становятся родовыми группами; въ родовой группѣ крайнія виды развиваются обыкновенно лучше среднихъ; среднія уничтожаются; изъ одной родовой группы, вслѣдствіе этого выпаденія среднихъ видовъ, образуются двѣ отдѣльныя группы, которыя вмѣстѣ составляютъ семейство. И этотъ процессъ развѣтвленія идетъ все дальше и дальше; проходятъ миллионы лѣтъ, миллионы вѣковъ, миллионы тысячелѣтій; одни отдѣлы разрастаются и дробятся, другіе слабѣютъ и уничтожаются; исчезаютъ незамѣтно цѣлыя семейства, порядки и классы, и наконецъ получаютъ тѣ безконечно разнообразныя и рѣзко очерченныя формы, съ которыми въ настоящее время ни какъ не умѣютъ справиться классификаторы.

Читателю много кажется тутъ неяснымъ, но во-первыхъ, идеи Дарвина только что входятъ въ науку, и до сихъ поръ еще не были приложены къ разъясненію подробностей; а во-вторыхъ, если читатель думаетъ, что журнальная статья можетъ вполне раскрыть передъ нимъ «тайну тайнъ», и показать ему все естествознаніе, какъ на ладони, то онъ сильно ошибается. Если читатель уловилъ до сихъ поръ только самыя существенныя черты дарвиновскихъ идей, если онъ только заинтересовался такимъ вопросомъ, который прежде даже не былъ для него вопросомъ, то этого на первый разъ уже черезъ-чуръ достаточно.

XI.

РАЗЛИЧНЫЯ ВИДОИЗМѢНЕНІЯ.

Въ предыдущихъ главахъ мы видѣли, что всѣ животныя и всѣ растенія постоянно борются между собою за средства къ существованію. Побѣждаютъ въ этой борьбѣ тѣ животныя и тѣ растенія каждой по-

роды, которые отличаются какими нибудь выгодными, хотя, быть может, и незамѣтными особенностями своей организаціи. Побѣдители переживаютъ своихъ побѣжденныхъ единоплеменниковъ, и оставляютъ послѣ себя многочисленное потомство, а изъ этого потомства живутъ долго и размножаются сильно тѣ субъекты, которые получили въ особенно значительной степени выгодныя качества родительской комплекціи. Такимъ образомъ, выгодныя особенности тѣлосложенія сохраняются въ породѣ, и этотъ процессъ сохраненія называется, какъ мы видѣли, естественнымъ выборомъ. Если бы всѣ животныя и всѣ растенія рождались всегда совершенно похожими на своихъ родителей, т. е., если бы не было никакого индивидуальнаго разнообразія, тогда не могло бы быть и естественнаго выбора, потому что тогда не было бы никакихъ выгодныхъ особенностей, и, стало быть, нечего было бы сохранять. Естественный выборъ составляетъ, такимъ образомъ, прямое слѣдствіе тѣхъ видоизмѣненій, которые проявляются въ каждой породѣ животныхъ и растений. Когда видоизмѣненіе представилось, тогда естественный выборъ или сохраняетъ, или отбрасываетъ его, т. е. говоря другими словами, видоизмѣненный организмъ или переживаетъ своихъ сверстниковъ, или умираетъ раньше ихъ. Но чтобы видоизмѣненный организмъ могъ сдѣлать то или другое, ему, очевидно, сначала надо родиться видоизмѣненнымъ. Видоизмѣненіе должно уже существовать прежде, чѣмъ оно подвергнется дѣйствию естественнаго выбора. Какія же причины производятъ эти видоизмѣненія, и по какимъ законамъ они совершаются? Дать на этотъ вопросъ полный и удовлетворительный отвѣтъ современная наука еще не въ состояніи; но кое-какіе факты уже собраны, и нѣкоторыя общія заключенія могутъ быть сдѣланы уже въ настоящее время.

Климатическія условія, т. е. воздухъ, свѣтъ, теплота, влажность производятъ въ организмахъ нѣкоторыя измѣненія, и дѣйствуютъ обыкновенно на растительное царство сильнѣе, чѣмъ на животное. Замѣчено, что многія растенія, живущія на берегу моря, имѣютъ мясистыя листья; насѣкомыя, водящіяся по берегамъ, отличаются металлическимъ блескомъ крыльевъ и тѣла; моллюски, живущіе въ тропическихъ моряхъ и на незначительной глубинѣ, яркостью своихъ красокъ превосходятъ тѣхъ моллюсковъ, которые держатся въ глубокихъ и холодныхъ водахъ; птицы, обитающія внутри материковъ, носятъ болѣе пестрое и блестящее опереніе, чѣмъ тѣ птицы, которыя водятся на островахъ и на берегахъ. Всѣ эти особенности не только свойственны тѣмъ породамъ, которыя составляютъ коренное населеніе этихъ мѣстностей, но онѣ даже приобрѣтаются многими пришлыми породами; такимъ образомъ, если наблюдатель постепенно переходитъ отъ болѣе холодныхъ морей къ болѣе теплымъ, или отъ болѣе глубокихъ водъ къ болѣе мелкимъ, то

онъ замѣчаетъ, что одна и та же порода моллюсковъ постепенно окрашивается болѣе яркими оттѣнками. Точно также птицы одной породы становятся болѣе или менѣе яркими, смотря по тому, гдѣ онѣ живутъ, въ сухой или жаркой странѣ материка, или подъ сѣрнымъ небомъ острововъ и приморскихъ земель. То же самое происходитъ со многими растеніями и насѣкомыми; т. е., приближаясь къ морю, первыя приобрѣтають мясистые листья, а вторыя — металлическій блескъ, не смотря на то, что ихъ порода не отличалась этими особенностями, когда жила вдали отъ береговъ. Извѣстно, что у животныхъ одной породы мѣхъ бываетъ тѣмъ гуще, чѣмъ холоднѣе мѣсто ихъ жительства. Но здѣсь выѣшивается въ дѣло естественный выборъ, и поэтому результатъ не можетъ быть приписанъ исключительно прямому дѣйствию климата. Если наприимѣръ, пара медвѣдей, по какому нибудь случаю, будетъ принуждена переселиться изъ умѣреннаго климата въ холодный, то мы никакъ не можемъ утверждать, что медвѣдица, въ новомъ своемъ отечествѣ, родить всѣхъ дѣтей съ болѣе густымъ мѣхомъ, чѣмъ если бы они родились на прежнемъ мѣстѣ жительства; но тѣ медвѣжата, у которыхъ мѣхъ будетъ погуще, получаютъ преимущество надъ своими жидкошерстными братьями; первые, вѣроятно, переживутъ послѣднихъ, и такъ какъ естественный выборъ будетъ дѣйствовать такимъ же образомъ на всѣ слѣдующія поколѣнія, то и потомство медвѣдей умѣреннаго пояса рано или поздно приобрѣтетъ себѣ тотъ густой мѣхъ, который необходимъ для обитателей холодной страны. Если это приобрѣтеніе дѣйствительно совершится, то мы никакъ не будемъ въ состояніи рѣшить, какую долю вліянія тутъ надо приписать прямому дѣйствию климата, и какую — естественному выбору; т. е., потому ли мѣхъ сдѣлался густымъ, что холодный воздухъ особеннымъ образомъ дѣйствуетъ на кожу, и поощряетъ произрастаніе волосъ, или потому, что медвѣди постоянно рождались отъ густошерстныхъ родителей, которые, благодаря своему теплomu мѣху, постоянно переживали своихъ сверстниковъ, плохо защищенныхъ отъ холода? То же безвыходное затрудненіе представляется каждый разъ, когда какое нибудь видоизмѣненіе приноситъ животному или растенію малѣйшую долю пользы. Гдѣ польза, тамъ неперемѣнно дѣйствуетъ естественный выборъ, и отдѣлить его вліяніе отъ прямого дѣйствія климатическихъ условій нѣтъ никакой возможности.

Если какой нибудь органъ животного часто упражняется, то онъ развивается и усиливается; если же онъ находится въ бездѣйствіи, то онъ слабѣетъ и атрофируется, т. е. увядаетъ отъ недостатка питанія. Эти приобрѣтенныя свойства органа, т. е. его сила, или его слабость, передаются по наслѣдству, и если дѣти ведутъ жизнь, сходную съ жизнью родителей, то эта сила, или эта слабость увеличиваются, и въ такомъ увеличенномъ видѣ переходятъ къ слѣдующему поколѣнію. Говоря о

о домашнихъ животныхъ, я указывалъ читателю на сильное развитіе вымени у дойныхъ коровъ и на слабость крыльевъ у нашихъ утокъ. Подобные факты встрѣчаются и у дикихъ животныхъ, съ тою только неизбежною разницею, что какъ чрезмѣрное развитіе, такъ и атрофія органа непременно должны быть въ какомъ нибудь отношеніи полезны для самаго животнаго, потому что если бы они не были полезны, то они были бы немедленно уничтожены дѣйствіемъ естественнаго выбора, и слѣдовательно не могли бы превратиться въ постоянныя свойства отдѣльной разновидности, или цѣлаго вида. Если животное поставлено въ такія условія жизни, при которыхъ тотъ или другой органъ перестаетъ быть для него необходимымъ, то для этого животнаго положительно полезно, чтобы этотъ ненужный органъ атрофировался. Атрофія бесполезнаго органа даетъ животному возможность усилить и увеличить необходимые органы.

Читателю извѣстно, что вся масса питательнаго вещества, которое нашъ желудокъ и кишечный каналъ извлекаетъ изъ того, что мы ѣдимъ и пьемъ,— постоянно употребляется на восстановление нашего организма, который ежеминутно разрушается процессами дыханія, потѣнія, испражнения и разныхъ другихъ выдѣлений. Для организма выгодно, чтобы каждая частица питательнаго вещества приносила какъ можно больше пользы, т. е. чтобы она употреблялась именно туда, гдѣ она всего болѣе необходима, именно на тѣ органы, которые всего болѣе содѣйствуютъ общему благосостоянію всего организма. Такой органъ, который постоянно находится въ бездѣйствіи, не можетъ приносить организму существенной пользы; стало быть, организму невыгодно кормить такого дармоѣда; организму удобнѣе или перенести въ другое мѣсто то количество пищи, которое пошло бы на питаніе бесполезнаго органа, или совершенно сбросить это количество, то есть, покрыть свои неизбежныя расходы меньшею массою питательнаго вещества. Это послѣднее обстоятельство, то есть возможность сводить концы съ концами при меньшемъ количествѣ пищи, особенно важно для дикихъ животныхъ, которыя принуждены брать себѣ съ бою каждый кусокъ питательнаго вещества. Бездѣйствующій органъ атрофируется, а такъ какъ эта атрофія полезна для животнаго, то естественный выборъ поощряетъ ее, и во многихъ случаяхъ успѣлъ уже обратить ее въ постоянное свойство цѣлыхъ породъ.

Такимъ путемъ образовались породы дикихъ птицъ, неспособныхъ летать, напримѣръ страусы, казуары, пингвины, малокрылыя утки (*anas brachyptera*). Такимъ же образомъ произошло то, что многіе павозные жуки или совершенно лишены передней пары ногъ, или имѣютъ эти органы въ зачаточномъ, то есть, совершенно неразвитомъ состояніи. По той же причинѣ, глаза кротовъ и другихъ животныхъ, постоянно копающихся въ землѣ, остаются навсегда совершенно неразвитыми, а иногда

покрываются даже кожей и заростають шерстью; чѣмъ меньше глазъ, и чѣмъ плотнѣе онѣ защищены кожей и волосами, тѣмъ это удобнѣе для такихъ животныхъ, которыя никогда не выходятъ на свѣтъ; смотрѣть кроту нечего, потому что онѣ постоянно держится въ темнотѣ, а большой и открытый глазъ во время ежедневныхъ подземныхъ странствованій крота долженъ былъ бы часто засоряться и подвергаться воспаленію. Отсутствие упражненія ослабляло такимъ образомъ глазъ, а естественный выборъ сохранялъ тѣхъ кротовъ, которые всего менѣе страдали отъ глазныхъ воспаленій, и вслѣдствіе этихъ двухъ причинъ глазъ кротовъ дошелъ до своего теперешняго, зачаточнаго состоянія. Въ огромныхъ пещерахъ австрійской провинціи Карнеолиа и американскаго штата Кентукки живутъ цѣлыя особенныя породы крысъ, насѣкомыхъ, лягушекъ, раковъ и даже рыбъ, такъ какъ въ этихъ пещерахъ находятся подземныя озера и рѣки. Всѣ эти животныя, принадлежащія къ самымъ различнымъ отдѣламъ и классамъ, сходятся между собою въ томъ отношеніи, что всѣ они совершенно слѣпы. У тѣхъ, которыя живутъ поближе къ самому входу въ пещеру, глаза существуютъ, но ничего не видятъ; а у многихъ другихъ, живущихъ въ самой глубинѣ, совершенно нѣтъ органовъ зрѣнія, но за то, сильно развиты усики, щупальцы, и разныя другіе органы осязанія. Климатъ Карнеолиа очень сходенъ съ климатомъ Кентукки; пещеры той и другой страны составились изъ известковыхъ формаций, и находятся на одинаковой глубинѣ; стало быть, условія жизни въ обѣихъ пещерахъ совершенно сходны между собою; если мы предположимъ, что породы слѣпыхъ животныхъ были созданы специально для того, чтобы жить въ глубокихъ и темныхъ пещерахъ, то, разсуждая послѣдовательно, мы придемъ къ тому убѣжденію, что животныя, созданныя для одинаковыхъ условій, должны быть одинаковы, или, по крайней мѣрѣ, очень сходны между собою, и что, стало быть, обитатели американскихъ пещеръ должны быть очень похожи на европейскихъ. Но факты разобьютъ это убѣжденіе. Оказывается на самомъ дѣлѣ, что американскія и европейскія слѣпыя животныя не похожи другъ на друга; но за то существуетъ родственная связь между обитателями пещеры и тѣми зрячими животными, которыя водятся въ ея окрестностяхъ; то есть, подземный карнеолиецъ похожъ на земнаго карнеолинца, и то же самое явленіе замѣчено также—въ Кентукки. Кромѣ того, между жителями самой темной глубины, и обитателями совершенно свѣтлыхъ окрестностей существуетъ нѣсколько переходныхъ степеней и отѣнковъ, которые вполнѣ соотвѣтствуютъ постепенному переходу отъ дневнаго свѣта къ нѣчной темнотѣ, и по своей организаціи превосходно приспособлены къ различнымъ степенямъ полусвѣта или полумрака.

Существованіе этой родственной связи и этихъ промежуточныхъ отѣнковъ ясно указываетъ намъ на тотъ процессъ, посредствомъ кото-

раго населились обѣ пещеры. Обыкновенныя животныя, съ нормальнымъ устройствомъ глазъ и органовъ осязанія, подошли сначала къ отверстию пещеры, и устроили свое жилище подъ вѣчною тѣнью нависшихъ утесовъ. Эта легкая тѣнь могла содѣйствовать ихъ размноженію, потому что она спасала ихъ отъ разныхъ хищниковъ; размножившееся потомство этихъ животныхъ, выросшее въ тѣни, подвинулось немного дальше, въ царство вѣчнаго сумрака. Привыкнувъ къ сумраку, новыя поколѣнія стали подвигаться еще дальше, туда, гдѣ господствуетъ вѣчная ночь, и наконецъ дошли до той крайней глубины, гдѣ постоянно бываетъ такъ темно, какъ на поверхности земли не бываетъ темно ни въ какую ночь. Разумѣется, эти переходы совершались чрезвычайно медленно; въ каждомъ новомъ поколѣніи были вѣроятно субъекты съ разными легкими особенностями въ устройствѣ глазъ; однимъ было удобно оставаться тамъ, гдѣ они родились; другимъ было удобно подняться къ отверстию пещеры, туда, гдѣ посвѣтлѣе; наконецъ, третьимъ было удобно спуститься дальше въ глубину, чтобы уйти отъ болѣе зоркихъ враговъ и конкурентовъ. Естественный выборъ дѣйствовалъ на всѣхъ этихъ колонистовъ, постоянно сохраняя тѣхъ, которые всего лучше были приспособлены къ мѣсту своего жительства, а такъ какъ мѣста жительства пользовались освѣщеніемъ въ очень различной степени, то глаза жильцовъ атрофировались, а ихъ органы осязанія развивались — также въ очень различной степени. Такимъ образомъ, отъ совершенно зрячихъ родоначальниковъ произошли въ теченіи многихъ тысячелѣтій, сообразно съ требованіями мѣстныхъ условій, подслѣповатые, полуслѣпые, слѣпые, и наконецъ совершенно безглазые потомки, у которыхъ органы осязанія становились все лучше и лучше, по мѣрѣ того, какъ утрачивалось зрѣніе.

Если такимъ образомъ вліяніе мѣстныхъ условій, бездѣйствіе органа и естественный выборъ, тѣсно связанные между собою, и дѣйствующіе постоянно въ одномъ направленіи, могутъ превратить зрячую породу животныхъ въ слѣпую и даже въ безглазую, если они могутъ замѣнить чувство зрѣнія чувствомъ осязанія, и если, наконецъ, они могутъ произвести эти метаморфозы надъ самыми различными классами животныхъ — надъ крысами, раками, рыбами, лягушками и насѣкомыми, то, мнѣ кажется, трудно себѣ представить какую нибудь возможную границу для дѣятельности и могущества этихъ элементовъ.

Всѣ разнообразныя формы организмовъ, существующія на земномъ шарѣ, порождены вліяніемъ условій жизни и естественнаго выбора. Современная наука не можетъ показать намъ, какъ это произошло въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, потому что знанія нашихъ натуралистовъ до сихъ поръ еще очень неудовлетворительны; но за то, современная наука не можетъ также представить ни одного такого случая, котораго нельзя было бы объяснить вліяніемъ условій жизни и естественнаго

выбора. Если бы одинъ такой случай былъ извѣстенъ въ настоящее время, или если бы будущія изслѣдованія и наблюденія натуралистовъ привели со временемъ къ открытію такого случая, то вся теорія Дарвина тотчасъ взлетѣла бы на воздухъ, не смотря на то, что она объясняетъ совершенно удовлетворительно тысячи другихъ случаевъ. Эта теорія или объясняетъ всю исторію органической жизни, или не объясняетъ ровно ничего, и даже не можетъ существовать; исключеній тутъ никакихъ не допускается; если будетъ доказано, что въ природѣ былъ хоть одинъ скачокъ, то это будетъ значить, что скачки возможны, и тогда вся теорія медленныхъ видовымѣненій и естественнаго прогресса рухнетъ въ ту же минуту. Но сила теоріи Дарвина заключается именно въ томъ, что до сихъ поръ невозможно было найти ни одного несомнѣннаго скачка. Разумѣется, ни одинъ дѣльный натуралистъ, при всемъ своемъ уваженіи къ Дарвину, не станетъ слѣпо вѣровать въ его теорію, и не допуститъ, чтобы эта теорія стѣсняла его во время непосредственныхъ наблюденій. Живой фактъ всегда важнѣе самъ по себѣ, а теорія хороша только до тѣхъ поръ, пока она вполне согласна съ фактами, и объясняетъ ихъ совершенно удовлетворительно и безъ малѣйшаго насилія.

На островѣ Мадерѣ водится до 550 различныхъ видовъ жесткокрылыхъ насекомыхъ, или, проще, жуковъ, изъ этого числа 200 видовъ отличаются совершенно не развитыми крыльями, и не могутъ летать. Изъ 29 родовъ, свойственныхъ исключительно этому острову, до 23-хъ находятся въ такомъ положеніи. Напротивъ того, чешуекрылыя насекомыя острова Мадеры, или бабочки, и тѣ виды жуковъ, которые питаются цвѣточнымъ сокомъ и цвѣточною пылью, одарены очень крѣпкими и особенно хорошо развитыми крыльями. Эти два противоположныя явленія произведены вліяніемъ одинаковыхъ условій жизни и дѣйствіемъ естественнаго выбора. Вотъ какъ это сдѣлалось. На островѣ Мадерѣ дуютъ очень сильныя вѣтры, и особенно на той сторонѣ острова, которая обращена къ африканскому берегу; именно на этой сторонѣ живетъ большая часть жуковъ, лишенныхъ способности летать. Въ теченіи многихъ тысячелѣтій вѣтеръ постоянно подхватывалъ на лету и уносилъ въ море тѣхъ жесткокрылыхъ смѣльчаковъ, которые рѣшались распустить свои крылья и подняться на воздухъ; такимъ образомъ, выѣстъ съ ними, по словамъ Дарвина, тонула въ морѣ будущность ихъ расы. Для тѣхъ жуковъ, которые питались навозомъ, или корнями растеній, или древесною, или личинками другихъ насекомыхъ, летаніе составляло пустую прихоть, что-то въ родѣ прогулки для моціона; одни изъ нихъ могли любить подобныя прогулки, другіе могли быть къ нимъ совершенно равнодушны, потому что эти прогулки не имѣютъ для нихъ ничего общаго съ настоящею цѣлью жизни, то есть, съ отыскиваніемъ пищи. Естественный выборъ выражался здѣсь въ томъ, что вѣтеръ постоянно истреблялъ

тѣхъ, которые летали, и постоянно оставлялъ въ покоѣ тѣхъ, которые вели исключительно сидячую и ходячую жизнь. Крылья, оставшіяся въ бездѣйствіи у многихъ тысячъ поколѣній, ослабли и атрофировались, а у многихъ породъ жесткія надкрылья срослись даже совершенно наглухо. Напротивъ, для бабочекъ и для жуковъ, питающихся цвѣтами, летаніе было необходимымъ условіемъ жизни; для нихъ не летать значило положить зубы на полку, потому что если на каждый цвѣтокъ взползаетъ, да потомъ спускаться съ него внизъ, да потомъ переползаетъ на другой цвѣтокъ, по густой травѣ, которая для насѣкомаго должна казаться гуще, выше и страшнѣе, чѣмъ кажется человѣку непроходимый дѣвственный лѣсъ, наполненный змѣями и тиграми, если, говорю я, производить по поводу каждаго цвѣтка всѣ эти длинныя церемоніи, то, конечно, придется насѣкомому умереть съ голоду. Слѣдовательно, такъ или иначе, опасно или не опасно подниматься на воздухъ, а бабочки и цвѣтоядные жуки должны летать, во что бы то ни стало; и они дѣйствительно летали всегда, и не перестали летать на Мадерѣ; и вѣтеръ уносилъ въ море очень многихъ, и, можетъ быть, погубилъ такимъ образомъ цѣлыя породы, но сохраниться могли тутъ не тѣ субъекты, которые мало летали, а напротивъ тѣ, которыя летали больше всѣхъ, и у которыхъ, вслѣдствіе этого, крылья были особенно крѣпки и способны противиться вѣтру. У жуковъ, летающихъ рѣдко и по прихоти, крылья, по всей вѣроятности, всегда были слабѣе, чѣмъ у тѣхъ насѣкомыхъ, которыя летаютъ постоянно и по необходимости. Поэтому для первыхъ было возможно и необходимо отсиживаться отъ вѣтра, а для вторыхъ также возможно и необходимо было бороться съ вѣтромъ и иногда побѣждать его. Поэтому, естественный выборъ, дѣйствуя въ обоихъ случаяхъ посредствомъ того же самаго вѣтра, уничтожилъ крылья первыхъ, и укрѣпилъ крылья вторыхъ.

XII.

ТѢЛОСЛОЖЕНІЕ И ПРИВЫЧКИ.

Животныя, которыхъ мы видимъ каждый день, большею частью такъ хорошо приспособлены устройствомъ своего тѣла къ своему теперешнему образу жизни, что, глядя на нихъ, мы съ трудомъ рѣшаемся допустить то предположеніе, что они приспособились къ этому образу жизни постепенно. Мы видимъ, напримѣръ, что дикая утка постоянно плаваетъ по водѣ, и видимъ, что у нея между пальцами ногъ протянута перепонка, которая помогаетъ ей плавать. Мы видимъ, что летучая мышь

питается насѣкомыми, и видимъ, что между передними и задними конечностями ея тѣла протянута перепонка, которая даетъ ей возможность летать, и слѣдовательно съ особеннымъ успѣхомъ преслѣдовать крылатую добычу. Мы видимъ, что цапля отыскиваетъ свою пищу въ болотахъ, и видимъ, что у нея ноги высокія, тонкія, сухія и непокрытыя перьями, то есть, какъ разъ приспособленныя къ тому, чтобы шагать по вязкому и илистому грунту. Мы видимъ и всегда видѣли очень много подобныхъ вещей, и существующія приспособленія стали бросаться людямъ въ глаза съ той самой минуты, какъ только люди начали обращать вниманіе на то, что происходитъ вокругъ нихъ, въ мірѣ животныхъ и растений.

Добродушные натуралисты, или вѣрнѣе, натурфилософы старой школы, по свойственной имъ чистотѣ сердца, умѣли надѣ этими приспособленіями, и утверждали, что природа, заботливо охраняющая всякую тварь, одарила цаплю длинными ногами, для того, чтобы цапля могла ходить по болотамъ. Ну, что, въ самомъ дѣлѣ, кабы у цапли, да не было бы длинныхъ ногъ? Какъ бы она стала ходить по болотамъ? Пропадать бы пришлось бѣдной цаплѣ. Стремленіе къ болоту есть, а сунуться въ болото нельзя, увязнешь. А природа заботится, ну и одарила: на, молю, тебѣ, цаплюшка! Живи въ свое удовольствіе. Другіе натуралисты, похитрѣе первыхъ, очень остроумно смѣялись надъ этими соображеніями, и говорили, что все это вздоръ: не ноги даны цаплѣ для того, чтобы ходить по болотамъ, а совсѣмъ напротивъ, цапля отъ того именно и стремится къ болоту, что у нея такъ, а не иначе, устроены и ноги, и желудокъ, и весь складъ тѣла. Будь у нея другой складъ тѣла, ее и не потянуло бы къ болоту, и жила бы она совсѣмъ не по теперешнему, и всѣ привычки были бы у нея совсѣмъ другія, а вы, добродушные натурфилософы, и тогда стали бы восхищаться заботливостью природы, что, молю, вотъ какъ отменно хорошо пристроена цапля къ надлежащему мѣсту.

Если смотрѣть на тѣхъ и другихъ натуралистовъ, какъ на представителей философской доктрины, то, конечно, между первыми и вторыми можно замѣтить существенное различіе. По мнѣнію первыхъ, выходитъ такъ, что сначала существовало только отвлеченное стремленіе цапли къ болоту, а потомъ къ этому невещественному стремленію придѣлана цапля, то есть, соотвѣтствующій желудокъ, и ноги, и голова, и клювъ, и все, какъ быть должно. Вѣдь если мы отъ имени цапли, должны благодарить природу за удобныя ноги, то мы точно также должны благодарить и за крылья, и за весь скелетъ, и за каждую частицу тѣла, потому что все это подобрано одно къ одному, и все соотвѣтствуетъ стремленіямъ цапли. Ну, стало быть, и выходить, что стремленія цапли существовали тогда, когда еще не было ни ногъ, ни головы, ни крыль-

евъ, ни желудка, и вообще ни одной частицы цаплинаго тѣла. Другіе, тѣ, что похитрѣе, осмѣливаются предполагать, что, напротивъ того, цапля начала стремиться къ болоту только тогда, когда она начала существовать, то есть, когда у нея оказались уже и ноги, и крылья, и всѣ прочіе необходимые атрибуты. Стало быть, съ философской точки зрѣнія разница есть, но за то, какъ естествоиспытатели, обѣ враждующія стороны стоятъ между собою на одномъ уровнѣ, и остроумные хитрецы ничѣмъ не превосходятъ умиляющихся чистосердечниковъ. Хитрецы говорятъ: «природа дала цаплѣ длинныя ноги, и вслѣдствіе этого, цапля... и т. д.»; противники ихъ говорятъ: «природа дала цаплѣ длинныя ноги, для того, чтобы цапля... и т. д.» Значить, и тѣ, и другіе говорятъ: «природа дала», и, стало быть, единственная существенная часть вопроса остается въ сторонѣ. Не было ногъ, и вдругъ явились ноги, а откуда онѣ взялись, и какъ онѣ развивались, и почему онѣ приняли именно эту, а не другую форму — объ этомъ и разговора нѣтъ: кто жъ ихъ знаетъ, какъ, откуда, и почему? Читатель, разумѣется, понимаетъ, что «природа дала» и «кто жъ ихъ знаетъ?» — въ сущности совершенно одно и то же. Понять это не трудно, и почти всѣ натуралисты понимали это очень давно, но одни считали вопросъ неразрѣшимымъ, а другіе и пробовали разрѣшить его, да только не умѣли.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, французскій натуралистъ Ламаркъ построилъ цѣлую теорію, но въ этой теоріи все выходило какъ-то неосознательно и невразумительно: съ одной стороны — цапля, съ другой — болото, съ третьей — упражненіе органовъ, съ четвертой — законъ прогрессивнаго развитія, а со всѣхъ сторонъ оказывается, что у цапли ноги длинныя выросли. Ламаркъ чувствовалъ, что есть связь между цаплею, болотомъ и упражненіемъ органовъ, и что есть тутъ какой-то законъ развитія, но разобрать по ниточкамъ эту связь, и разъяснить подробности дѣйствія этого закона Ламаркъ былъ не въ силахъ. Во-первыхъ, онъ и по даровитости-то былъ не чета Дарвину, а во-вторыхъ, и время его было еще не то, что теперь. Восемнадцатый вѣкъ, золотой вѣкъ великой философіи, незабвенная заря чистаго человѣческаго самосознанія, вмѣстѣ съ своими громадными достоинствами, имѣлъ свою несправную и неизбѣжную философскую слабость: любилъ покойники рѣшать всякіе вопросы свысока и вообще, то есть, именно такъ, какъ при изученіи природы невозможно рѣшить ни одного вопроса. Поэтому-то, настоящее господство естествознанія началось именно тогда, когда послѣдній, выродившійся представитель великой философіи, Гегель, сошелъ въ могилу вмѣстѣ съ своею системою.

Послѣ Ламарка, другой французскій натуралистъ, Этьеннъ Жоффруа-Сентъ-Илеръ много толковалъ о вліяніи окружающей среды (*le milieu*)

ambient), но всё эти разсужденія были только какими-то предчувствіями и гаданіями, такъ что можно было сказать:

Недурень слогъ; писать умѣть;

но съ вещественной стороны теорія оказывалась и неуловимою, и несостоятельною. Непоколебимые скептики, Базаровы самого высшаго разбора, очень спокойно разрушали всё эти словесныя построенія чрезвычайно простыми вопросами и чрезвычайно законными требованіями. «Покажите, докажите, говорили они, объясните вотъ этотъ случай, разрѣшите такое-то затрудненіе», и при этихъ нехитрыхъ словахъ теоріи немедленно разлетались, какъ дымъ.

Теоретическихъ попытокъ въ такомъ родѣ было довольно много, и всё онѣ кончались неудачно, и этотъ рядъ постоянныхъ неудачъ объясняетъ намъ, почему теорія Дарвина при первомъ своемъ появленіи была встрѣчена довольно недоувѣрчиво, и засыпана со всѣхъ сторонъ очень скороспѣлыми возраженіями. Дарвинъ въ первый разъ прочелъ мемуаръ о естественномъ выборѣ въ іюлѣ 1858 года, въ засѣданіи Линнеевскаго Общества (Linnean Society). Основательнѣйшіе скептики, по всей вѣроятности, задумались надъ этимъ мемуаромъ, а Базаровы средней руки тотчасъ бросились впередъ, съ твердымъ намѣреніемъ немедленно растрепать въ куски новую теорію, и уложить ее на мѣстѣ, рядомъ со всѣми ея предшественницами. Но тутъ обнаружилось, что Дарвинъ зиждетъ свою храмину не на пескѣ, а на камени, такъ что никакія ухищренія современныхъ человѣческихъ умовъ поколебать ее не въ состояніи. Издавая свою книгу, или, какъ онъ выражается, свое извлеченіе, онъ принимаетъ въ отношеніи къ возражателямъ такую оригинальную тактику, какой послѣдніе никогда еще не видывали, и никакъ не могли ожидать. Сначала онъ отвѣчаетъ на возраженіе, а потомъ, покончивши съ нимъ дѣло, говоритъ: «нѣтъ, постойте; вы бы лучше мнѣ вотъ что возразили», и дѣйствительно, собственными своими руками ставитъ себѣ такую запятую, которая будетъ въ-десятеро послѣднѣе чужаго возраженія; и начинаетъ полегоньку сворачивать это препятствіе въ сторону, и все дѣйствуетъ яснѣйшими доводами, все выдвигаетъ впередъ осязательные факты; посмотришь, и нѣтъ препятствія, и передъ великимъ мыслителемъ опять открывается гладкая дорога. А мыслитель еще при этомъ, въ невинности души своей, на каждой страницѣ сознается, что разсужденія его очень голословны, но что дѣлать нечего, вѣдь это легкое извлеченіе, стало быть, подождите, господа, пока выйдетъ настоящій трудъ въ полномъ объемѣ. Факты всё собраны, только помѣстить-то ихъ въ книгу покуда еще нельзя. Понятно, что возражатели должны онѣмѣть отъ изумленія, и положить оружіе за долго до

ужаснаго выхода въ свѣтъ того невиданнаго левиафана, который лежитъ теперь въ портфель Дарвина.

Эта оборонительная часть книги «О происхожденіи видовъ» заключаетъ въ себѣ чрезвычайно много интереснѣйшихъ подробностей, и составляетъ собою лучшее ручательство за прочность всей теоріи. Передать всю сущность этой части я не могу: журнальная статья должна же имѣть разумные предѣлы, а Дарвинъ излагаетъ свой предметъ такъ коротко, что сокращать его еще больше значило бы предлагать публикѣ совершенно непонятныя, и, слѣдовательно, очень незанимательныя загадки. Поэтому я предупреждаю читателя, что съ этой минуты и вплоть до самаго конца моей статьи я не гонюсь за строгою систематичностью изложенія, и совершенно отказываюсь отъ невозможной задачи представить публикѣ миниатюрный фотографическій снимокъ съ книги Дарвина. Я буду выбирать только то, что особенно занимательно, и что я сумѣю представить, по возможности, подробно, ясно и наглядно. Въ первыхъ десяти главахъ читатель получилъ общее понятіе о теоріи естественнаго выбора; теперь онъ увидитъ приложеніе этой теоріи къ объясненію многихъ отдѣльныхъ и разнообразныхъ явленій; увидитъ онъ нѣсколько эпизодовъ изъ борьбы этой теоріи съ возраженіями и препятствіями; и наконецъ увидитъ оправданіе этой теоріи въ геологій, въ географіи, въ сравнительной анатоміи и въ эмбриологій. Все это будутъ только легкіе и бѣглые очерки, но я постараюсь чтобы легкость и бѣглость нисколько не вредили ясности. А за вѣрность ручается Дарвинъ, и этого, я думаю, достаточно. Ну, и съ Богомъ. Значить, такъ и пойдутъ теперь:

«Легкіе и бѣглые очерки», безъ отдѣльныхъ заглавій.

I.

Теорія Дарвина утверждаетъ, что всѣ приспособленія животныхъ къ ихъ теперешнему образу жизни выработались по немногу, путемъ постепенныхъ и незамѣтныхъ видоизмѣненій. Водяное животное могло превратиться въ земное, ходячее—въ летучее, дневное—въ ночное, и такъ далѣе; при чемъ, разумѣется, всѣ эти превращенія могли совершиться и наоборотъ. Спрашивается, какимъ же образомъ могло существовать животное во время переходной эпохи, когда оно не было вполне приспособлено, и когда оно, по своей организаціи, колебалось между двумя комплектами занятій и привычекъ? Какимъ образомъ, на примѣръ, плотоядное сухопутное животное могло сдѣлаться водянымъ?

Этотъ вопросъ поставили противники дарвиновской теоріи, а Дар-

винъ напелъ на него отвѣтъ въ явленіяхъ живой природы. Въ Сѣверной Америкѣ существуетъ, напимѣръ, животное *mustela vison*, принадлежащее къ семейству куницъ; пальцы этого *vison* соединены плавательной перепонкою; по своему мѣху, по короткимъ ногамъ, и по формѣ хвоста онъ приближается къ рѣчной выдрѣ (*lutra vulgaris*), которая постоянно питается раками и рыбою. Лѣтомъ визонъ живетъ, какъ выдра, то есть ныряетъ, плаваетъ и преслѣдуетъ рыбу; но такъ какъ въ отечествѣ визона зима продолжается очень долго, то на зиму визонъ по своему образу жизни становится настоящею земною куницею, то есть кормится крысами и другими мелкими земными звѣрьками, не смотря на свою плавательную перепонку, и на свою способность нырять. Когда негдѣ плавать и нырять, тогда по-неволѣ приходится дѣйствовать сухопутными средствами и пробавляться тѣмъ, что попадется. Если визонъ, совершенно приспособленный къ водяной жизни, можетъ однако существовать на сушѣ во все время продолжительной сѣверной зимы, то, разумѣется, ничто не мѣшало ему поступать точно такимъ же образомъ, когда онъ былъ менѣе приспособленъ къ плаванію и нырванію. Теперь рыбная ловля составляетъ его любимое и специальное занятіе, и онъ пробавляется этимъ занятіемъ всегда, когда есть возможность плавать и нырять; а прежде, когда приспособленіе только-что начинало вырабатываться, предки визона смотрѣли на рыбную ловлю, какъ на побочное и чисто-вспомогательное ремесло. Между прежнимъ и теперешнимъ состояніемъ визона можно себѣ вообразить безчисленное множество промежуточныхъ переходныхъ оттѣнковъ, и, какую бы фазу этой переходной эпохи мы ни выбрали для изученія, все-таки намъ никогда не представится такой моментъ, въ которомъ визонъ будетъ оторванъ и отъ земли, и отъ воды, и въ которомъ слѣдовательно существованіе визона сдѣлается невозможнымъ.

Теперешній визонъ, балансирующій между водою и сушею, служить живымъ образчикомъ переходнаго состоянія; стало быть, самый фактъ его существованія составляетъ разительное подтвержденіе той идеи, что переходы возможны. Но если переходы возможны, то это вовсе не значить, что всѣ переходы непремѣнно должны совершаться успѣшно. Очень многіе переходы оканчиваются въ природѣ совершенными неудачами, то есть, полнымъ истребленіемъ того вида животныхъ, который поставленъ въ необходимость сдѣлать какой нибудь переходъ. Но отчего происходятъ тутъ неудачи и истребленіе? Совсѣмъ не отъ того, что переходъ самъ по себѣ невозможенъ, и не отъ того, что животное остается въ висячемъ положеніи между двумя стихіями; а просто отъ того, что обѣ стихіи уже заняты вполне приспособленными конкурентами, то есть, такими животными, которыя сдѣлали переходъ раньше и быстрее другихъ. Если бы визона тѣснили съ обѣихъ

сторонѣ, съ воды и съ земли, очень опасные конкуренты, то породе визона навѣрное исчезла бы съ лица земли, и этотъ фактъ исчезновенія вовсе не могъ бы служить доказательствомъ противъ возможности переходовъ. Если я приду въ садъ раньше васъ, да оборву всѣ яблоки, то вамъ конечно ничего не достанется, но вѣдь это не значитъ, что вы неспособны рвать и ѣсть яблоки, а значитъ только, что васъ опередили. Такъ и тутъ, въ дѣлѣ между визономъ и его конкурентами. Не свойства воды и земли мѣшаютъ переходу, и не свойства той пищи, которую визонъ долженъ добывать себѣ на водѣ и на землѣ, а количество и качества тѣхъ родственниковъ визона, съ которыми ему приходится вступать въ соперничество. Много ихъ, и сильны они—визонъ погибаетъ; мало ихъ, и слабы они—визонъ торжествуетъ, и переходъ совершается благополучно.

Но та же самая исторія произошла бы и тогда, когда не было бы никакого перехода. Законъ постоянной борьбы господствуетъ надъ всѣми животными и растениями, во всякую данную минуту ихъ существованія. Чѣмъ больше конкурентовъ, тѣмъ сильнѣе борьба, тѣмъ строже естественный выборъ, и тѣмъ быстрѣе исчезаютъ народы, смѣняясь новыми усовершенствованными формами. Всѣ переходы совершаются точно также подъ вліяніемъ того же общаго закона борьбы. Отчего сухопутное животное начинаетъ питаться лягушками или рыбою? Да отъ того, что не достаетъ пищи на сушѣ, то есть, отъ того, что число конкурентовъ несоразмѣрно велико въ сравненіи съ существующимъ количествомъ съѣстнаго матеріала. Ну, и лѣзетъ животное въ воду, и упражняется, а естественный выборъ тотчасъ начинаетъ покровительствовать тѣмъ, которые бойчѣе другихъ распоряжаются въ новой стихіи. Но когда животное ступило въ воду, то вѣдь это не значитъ, что оно такъ съ разу и отказалось отъ суши. Водная охота служитъ только подспорьемъ, и пріобрѣтаетъ для животнаго важное самостоятельное значеніе только гораздо позднѣе, по прошествіи многихъ и многихъ поколѣній, воспитанныхъ постояннымъ упражненіемъ, и очищенныхъ непрерывнымъ дѣйствіемъ естественнаго выбора.

Отвѣтивъ на возраженіе противниковъ, Дарвинъ, по своему обыкновенію, говоритъ имъ: а вы бы лучше у меня вотъ что спросили: какимъ образомъ четвероногое животное, питающееся насѣкомыми, могло превратиться въ летучую мышь? Эта штука будетъ гораздо похитрѣе. А между тѣмъ, и тутъ можно отыскать переходныя формы, хотя и не въ самомъ порядкѣ рукокрылыхъ, или летучихъ мышей, но за то, въ семействѣ бѣлокъ, въ которомъ также развито умѣнье летать, или, по крайней мѣрѣ, порхать. Обыкновенная бѣлка обладаетъ только способностью прыгать, и ея широкій, пушистый хвостъ, развиваясь по воздуху, помогаетъ ей во время прыганія. За обыкновенною бѣлкою слѣ-

дуютъ такіа породы бѣлокъ, у которыхъ задняя часть тѣла расширена и кожа не совсѣмъ плотно прилегаетъ къ бокамъ. Широкое основаніе хвоста и кожистые мѣшки по бокамъ слегка поддерживаютъ эту бѣлку на воздухѣ, и позволяютъ ей дѣлать болѣе значительные прыжки, чѣмъ дѣлаетъ простая бѣлка. Это расширеніе хвоста и эта мѣшковатость кожи увеличиваются въ различныхъ бѣличьихъ породахъ съ такою полною постепенностью, что простая бѣлка связывается съ летучею бѣлкою непрерывною цѣпью промежуточныхъ экземпляровъ, которые отличаются другъ отъ друга только самыми незначительными особенностями. Крайнее звѣно этой цѣпи бѣлокъ называется по-русски *летягою*, а по-латыни—*Sciuropterus*—что значить, въ буквальномъ переводѣ, бѣлокрыль или крылатая бѣлка. Эти два названія показываютъ довольно ясно, что это за животное. Его переднія ноги соединены съ задними, и даже съ основаніемъ хвоста, широкою перепонкою, покрытою волосами, и образовавшеюся посредствомъ постепеннаго отвисанія боковой кожи. Эта перепонка въ минуту прыжка вытягивается, превращается въ парашютъ, и поддерживая бѣлку на воздухѣ, даетъ ей возможность перелетать съ дерева на дерево, на изумительныя разстоянія. Всѣ эти породы бѣлокъ, одаренныя въ различной степени способностью прыгать и порхать, могли сохраниться въ живыхъ до нашего времени, только благодаря тому обстоятельству, что всѣ онѣ живутъ отдѣльно, въ различныхъ мѣстахъ земнаго шара. Если бы мы могли свести всѣ эти породы въ одну страну, то между ними началась бы самая ожесточенная борьба за пропитаніе, и, разумѣется, перевѣсъ остался бы за тѣми, которыя проворнѣе и расторопнѣе другихъ. Летяга, дѣлающая колоссальныя прыжки, по всей вѣроятности, перешеголяла бы всѣхъ своихъ соперниковъ, и, рано или поздно, размножилась бы такъ, что заморила бы ихъ всѣхъ голодною смертію. Кромѣ того, летательный снарядъ доставилъ бы летягѣ еще другія преимущества, которыя также имѣли бы вліяніе на результатъ борьбы. Летяга лучше другихъ бѣлокъ могла бы отдѣливаться отъ преслѣдованій разныхъ хищниковъ, и она меньше другихъ была бы подвержена опасности падать на землю и расшибаться при неудачномъ или плохо рассчитанномъ прыжкѣ. Перепонка ея, дѣйствуя, какъ парашютъ, смягчаетъ всякое паденіе, а для животного, которое постоянно лазить и прыгаетъ по деревьямъ, это обстоятельство, конечно, не можетъ считаться маловажнымъ. По всѣмъ этимъ причинамъ можно предположить, что только одна летяга сохранила и размножила бы свою породу, а всѣ остальные породы бѣлокъ исчезли бы съ лица земли, и тогда летяга осталась бы для насъ живою загадкою, въ которой намъ пришлось бы придѣлывать ключъ, посредствомъ разныхъ предположеній, очень неубѣдительныхъ для непреклонныхъ скептиковъ и для завзятыхъ гонителей всякой теоріи.

Такого рода живыя загадки встрѣчаются намъ на каждомъ шагѣ, и ихъ существованіе вовсе не должно насъ удивлять, потому что мы знаемъ, что уничтоженіе промежуточныхъ степеней составляетъ въ природѣ обыкновенное правило, прямо вытекающее изъ самого принципа естественнаго выбора, а сохраненіе этихъ степеней возможно только въ немногихъ случаяхъ, при исключительныхъ, и слѣдовательно рѣдко встрѣчающихся, обстоятельствахъ. Есть, напримѣръ, одно животное, которое называется шерстопрыломъ (*galeorhynchus rufus*); его обыкновенно причисляли къ летучимъ мышамъ. Но въ новѣйшее время нашли, что его слѣдуетъ перевести въ порядокъ четвероногихъ или обезьянъ и въ семейство лемурувъ. Его теперь такъ и называютъ галеопитекомъ или летучимъ лемурумъ, и Дарвинъ также держится этого мнѣнія. Летательная перепонка галеопитека протягивается отъ угла челюсти до хвоста, и охватываетъ собою, какъ переднія, такъ и заднія оконечности; но у галеопитека она покрыта волосами, а у настоящихъ летучихъ мышей она совершенно голая. Кромѣ того—и это гораздо важнѣе перепонка не захватываетъ пальцевъ галеопитека, и эти пальцы, оставаясь свободными на рукахъ и на ногахъ, вооружены когтями; напротивъ того, у летучихъ мышей остаются свободными и вооружаются когтями только пальцы заднихъ оконечностей и большой палецъ переднихъ. Остальные же пальцы переднихъ оконечностей даже совсѣмъ непохожи на настоящіе пальцы, они ничѣмъ не вооружены, — непомѣрно вытянуты въ длину, и наглухо вдѣланы въ летательную перепонку; по своей фигурѣ и по своему значенію они напоминаютъ тѣ прутики, на которые натягивается матерія зонтика. Когда летучая мышь разставляетъ руки и ноги, и растопыриваетъ свои длинные пальцы, тогда весь летательный снарядъ развертывается, и животное можетъ начать свое воздушное путешествіе. Когда же руки и ноги опущены, и пальцы сложены, тогда летательная перепонка, какъ широкая и длинная мантия, облегчаетъ все тѣло. Что же касается до галеопитека, то его перепонка растягивается безъ содѣйствія пальцевъ, посредствомъ особаго мускула, заключеннаго въ самой перепонкѣ.

Во всемъ семействѣ лемурувъ, кромѣ галеопитека, нѣтъ ни одного животнаго, которое могло бы хоть кое-какъ поддерживаться на воздухѣ. Переходныхъ степеней не сохранилось никакихъ, но это ровно ничего не доказываетъ. Значить, были да сплывы. Во-первыхъ, самъ галеопитекъ, ничтоинное, какъ переходная степень между настоящими лемурами и настоящими летучими мышами; это обстоятельство выразилось даже въ томъ недомѣннѣ, по которому натуралисты принуждены были перетаскивать его изъ одной категоріи въ другую. А во-вторыхъ, галеопитекъ не живетъ, подобно бѣлкѣ, почти на всемъ пространствѣ земнаго шара; стало быть, живя въ ограниченной области, онъ могъ выработать себѣ летательную

способность до высокой степени совершенства только подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы всѣ низшія промежуточныя степени постоянно уничтожались; въ противномъ случаѣ, т. е., если бы плохіе и посредственные прыгуны не истреблялись вліаніемъ ежеминутной борьбы, тогда отличные прыгуны постоянно совокуплялись бы съ ними, и такимъ образомъ постоянно портили бы свою породу. А если бы порода портилась, то прыгуны никогда не могли бы сдѣлаться летунами.

Требовать отъ теоріи естественнаго выбора, чтобы она во всѣхъ случаяхъ представляла живые образчики переходныхъ инстанцій, значитъ требовать отъ нея самоуничтоженія. Не станете же вы требовать отъ вѣялки, чтобы она оставляла мякину рядомъ съ зернами. Тогда она не будетъ вѣялкой, или будетъ находиться въ бездѣйствіи. А естественный выборъ та же вѣялка: что онъ сохраняетъ—то живетъ и плодится; что онъ выбрасываетъ—то умираетъ; и мякиною оказываются постоянно всякіе промежуточные типы. Вѣдь и бѣлки, образующія непрерывную цѣпь градацій, не могутъ быть названы промежуточными типами; каждая изъ нихъ въ своемъ отечествѣ составляетъ торжествующій, крайній и передовой типъ, который живетъ изъ поколѣнія въ поколѣніе только потому, что не встрѣчаетъ себѣ болѣе крайнихъ соперниковъ; въ сравненіи съ чужеземцами, этотъ типъ можетъ стоять на очень низкой степени развитія; но это ничего не значитъ; у себя дома онъ впереди всѣхъ, и въ этомъ заключается его сила и причина его существованія. А если онъ ниже чужеземцевъ, то это зависитъ отъ мѣстныхъ условій жизни и отъ силы мѣстной борьбы; естественный выборъ не вездѣ же дѣйствуетъ одинаково; вѣдь и вѣялки бываютъ разныя; одна очищаетъ зерна самымъ строгимъ образомъ, а другая валить пополамъ съ мякиною. Стало быть, переходъ отъ четвероногого животнаго къ летучей мышѣ возможенъ, и даже не подлежитъ сомнѣнію, а несуществованіе переходныхъ формъ не только не противорѣчитъ идеямъ теоріи, но даже, напротивъ того, составляетъ прямое слѣдствіе ея основныхъ принциповъ. Впрочемъ, кому угодно думать, что летучая мышъ свалилась на землю, подобно аэродиту или подобно крупному граду, тому, разумѣется, никакая теорія препятствовать не можетъ, не смѣетъ и не должна.

II.

Понятія наши о привычкахъ и нравахъ животныхъ чрезвычайно смутны; изъ какихъ источниковъ почерпаются зоологическія свѣдѣнія, бродяція въ массѣ грамотнаго общества—это даже и вообразить себѣ

мудрено. Какъ ни удивительно такое предположеніе, а все-таки я осмѣлюсь замѣтить, что басни добродушнаго Лафонтена и почтеннаго дѣдушки Крылова оказываютъ очень значительное вліяніе на то понятіе, которое мы составляемъ себѣ о характерѣ самыхъ обыкновенныхъ и самыхъ извѣстныхъ птицъ и звѣрей. Въ самомъ дѣлѣ, откуда явились у насъ идеи о царственномъ величіи льва и орла, объ умственной неповоротливости медвѣдя, о коварствѣ лисицы, о кротости овцы и о многихъ другихъ курьезахъ животной психологій. Вглядитесь въ эти идеи, и вы увидите, что въ основаніи ихъ лежитъ Крыловъ, Лафонтенъ, или какой нибудь другой источникъ равносильнаго достоинства. Разумѣется, вы при этомъ зрѣлищѣ улыбнетесь, и даже отчасти сконфужитесь; но, вмѣстѣ съ вами, и сильнѣе васъ должны сконфужиться наши просвѣщенные журналисты, которые такъ долго и такъ безтолково удобряли и засѣвали своими издѣліями наши умственные нивы. Они-то, сердечные, чего смотрѣли? Вѣдь о скотахъ безсловесныхъ всегда писать было возможно; вѣдь тутъ даже и обстоятельствами нельзя отговориться. Они, пожалуй, иногда и писали, но никто не знаетъ, для кого они писали, и сами они этого не знаютъ, и, по всей вѣроятности, даже никогда объ этомъ не думали. Русская публика благополучно изучаетъ природу по баснямъ Крылова, и по сборникамъ анекдотовъ о смысленности кошекъ и собакъ, а русскій журналъ (это вы «Отечественныя Записки»!) вдругъ бацъ двѣ статьи о томъ, что французскій профессоръ Мильнъ-Эдвардъ совсѣмъ не такъ, какъ слѣдуетъ, излагаетъ сравнительную анатомію. Или вдругъ выхватятъ статью изъ «Westminster Review» и подносятъ нашимъ читателямъ. Все равно, молъ, сойдетъ: что они, сиволаные, смыслятъ? Человѣку простаго хлѣба хочется, человѣкъ голоденъ, а ему предлагаютъ: не хочешь ли, ангелъ мой, зельтерской воды съ лимономъ? И «ангелъ мой» морщится, а все-таки сидитъ голодный, потому что откуда же взять? Люди, изучающіе природу путемъ непосредственныхъ наблюденій, разумѣется, не вѣрують въ непогрѣшимость такихъ авторитетовъ, какъ Крыловъ, Лафонтенъ, сказаніе о лисѣ Рейнеке, или повѣствованіе Шехерезады; но человѣческій умъ устроенъ до такой степени оригинально, что даже очень дѣльные и знающіе люди часто совершенно невольно и безсознательно подчиняются въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ господству тѣхъ понятій, которыя посятся въ обществѣ, какъ умственные міазмы, и которыя попали туда богъ знаетъ откуда и когда, и укоренились въ немъ богъ знаетъ по какой причинѣ и на какихъ основаніяхъ. Какъ понять, напримѣръ, такое соображеніе Изидора Жоффруа Сентъ-Илера? Онъ говоритъ самымъ догматическимъ тономъ, что *растеніе живетъ; животное живетъ и ощущаетъ, а человекъ живетъ, ощущаетъ и мыслитъ*. Выходитъ, стало быть, что животное не мыслитъ; и такую феноменальную нелѣпость говорить

ученый, пользующійся европейскою извѣстностью, и дѣйствительно заслужившій эту извѣстность очень многими добросовѣстными и дѣльными фактическими наблюденіями. Очевидно, Сентъ-Илеръ этотъ не могъ изловить такое открытіе въ своихъ непосредственныхъ наблюденіяхъ; онъ заразился этимъ открытіемъ со стороны, какъ заражаются люди сибирскою язвою, или тифозною горячкою.

У многихъ другихъ натуралистовъ встрѣчаются также очень разнообразныя признаки умственного зараженія, иногда довольно легкаго, а иногда совершенно безнадежнаго. Къ числу самыхъ упорныхъ миазматическихъ поврежденій принадлежитъ та повсемѣстно распространенная идея, что животныя рѣшительно неспособны развиваться и совершенствоваться въ умственномъ отношеніи. Всякій разсуждающій человѣкъ, ученый и неученый, скажетъ вамъ, не запинаясь, точно математическую аксіому произносить, что и обезьяны, и собаки, и журавли, и лягушки, и муравьи, и всякая тварь жили пять тысячъ лѣтъ тому назадъ, точь въ точь такъ, какъ они живутъ сегодня. Если вы спросите: а почему же вы такъ, милостивый государь, думаете?—то «милостивый государь», даже засмѣется: вотъ прекрасно! Почему? Да это ясно, какъ день! Это само собою разумѣется. А по вашему-то какъ же: у нихъ стало быть есть исторія, существуетъ собачья цивилизація, журавлиный прогрессъ, лягушечья революція!

Когда миазматическая идея вооружается насмѣшкою, то удары ея становятся неотразимыми, потому что такая насмѣшка всякому по плечу, и всякому доставляетъ удовольствіе. Всякій понимаетъ соль этой насмѣшки, сочувствуетъ вашему остроумному собесѣднику, и хохочетъ надъ вами, какъ надъ пошлымъ дуракомъ. Если же вы, не боясь насмѣшки, все-таки остаетесь на вашей позиціи, и продолжаете спрашивать: почему? и если вашъ собесѣдникъ, кромѣ остроумія, располагаетъ еще кое-какими знаніями, то онъ выдвинетъ противъ васъ слѣдующіе аргументы, которые изумятъ васъ своею бѣдностью и необѣдительною. Во-первыхъ, египетскіе памятники, во-вторыхъ — Аристотель, въ третьихъ — Плиній старшій. Это вотъ что значить: на разныхъ египетскихъ памятникахъ вырѣзаны изображенія животныхъ, совершенно сходныхъ съ тѣми породами, которыя существуютъ въ настоящее время. Аристотель, современникъ Александра Македонскаго, написалъ естественную исторію, въ которой говоритъ о внѣшнемъ видѣ многихъ животныхъ, и сообщаетъ кое-что о ихъ образѣ жизни. Плиній написалъ такое же сочиненіе, только гораздо похуже, въ первомъ столѣтіи послѣ Рождества Христова. И это все. И на этомъ фундаментѣ покоится наше твердое убѣжденіе о неподвижности умственныхъ способностей въ мірѣ животныхъ.

Но вѣдь что же это, въ самомъ дѣлѣ, такое? На памятникахъ не

могутъ же быть изображены всѣ животныя земнаго шара, и памятники не могутъ дать намъ ни малѣйшаго понятія ни объ образѣ жизни изображенныхъ животныхъ, ни объ ихъ умственномъ развитіи. Это разъ. А второе то, что на памятникахъ представлены также люди, и нѣкоторые изъ этихъ человѣческихъ фигуръ совершенно похожи на теперешнихъ негровъ, а другіи—на евреевъ. Надо, стало быть, выводить заключеніе, и что люди остаются неподвижными. Положимъ однако, что мы достоверно знаемъ, какимъ образомъ извѣстное племя негровъ жило во времена какого нибудь египетскаго царя Менеса или Мерида; положимъ, что оно живетъ теперь совершенно такъ, какъ жило тогда. Красиво-ли будетъ, если мы выведемъ заключеніе, что обычай человѣчества не измѣняются? А если некрасиво, и если нельзя заключать отъ части къ цѣлому, то есть, отъ одной расы къ цѣлому виду или роду, то на какомъ же основаніи мы кладемъ этотъ логическій законъ подъ столъ, когда заходить рѣчь о мірѣ животныхъ, который однако неизмѣримо обширнѣе и разнообразнѣе, чѣмъ человѣчество.

Значить, памятники въ сторону. Аристотель и Плиніи на первый взглядъ могутъ показаться поущественнѣе памятниковъ, потому что ихъ сочиненія охватываютъ большое количество животныхъ формъ, и сообщаютъ кое-какія свѣденія о нравахъ и объ умственныхъ способностяхъ. Но, какъ только мы посмотримъ на дѣло чуть-чуть повнимательнѣе, мы тотчасъ убѣдимся въ полной несостоятельности обоихъ мудрецовъ классической древности. Новѣйшіе писатели, напримѣръ, Александръ Гумбольдтъ въ «Космосѣ», и уже знакомый намъ Изидоръ во введеніи къ своей «общей біологіи» (*Histoire naturelle générale des règnes organiques*) хвалятъ Аристотеля за то, что онъ не вѣритъ тѣмъ баснословнымъ рассказамъ о природѣ, которые въ его время были въ ходу между его легкомысленными земляками. Эти похвалы губительнѣе всякаго порицанія. Если приходится говорить человѣку большое спасибо за то, что онъ отвергаетъ существованіе сиренъ, фениксовъ или пигмеевъ, то какъ же требовать или ожидать отъ этого же самаго человѣка такихъ тщательныхъ и усидчивыхъ наблюденій, которыя могли бы послужить надежнымъ матеріаломъ для исторіи умственныхъ отправленій животнаго царства? О Плиніи и говорить нечего, потому что его даже и за то нельзя похвалить, за что хвалятъ Аристотеля. Теперешніе натуралисты проводятъ по цѣлымъ часамъ надъ какимъ нибудь муравейникомъ, и повторяютъ такіе сеансы каждый божій день, въ теченіи многихъ и очень многихъ лѣтнихъ сезоновъ, и все-таки, при этомъ страшномъ напряженіи вниманія, считаютъ себя школьниками въ дѣлѣ изученія природы и сознаются въ томъ, что психологическіе вопросы животнаго царства до сихъ поръ даже не могутъ быть поставлены надлежащимъ образомъ. Во времена Аристотеля задача была такъ же громадна и запутана, какъ и теперь,

а между тѣмъ великій Аристотель никогда не углублялся въ изученіе муравейниковъ; онъ писалъ и о политикѣ, и о логикѣ, и о риторикѣ, и между прочимъ, о естественной исторіи; онъ воспитывалъ Александра Македонскаго, и онъ же основалъ цѣлую громадную философскую школу перипатетиковъ. Положимъ, что онъ очень великъ; его величіе пускай при немъ и остается на вѣчныя времена; но если мы вздумаемъ обращаться къ такому всеобъемлющему генію за свѣдѣніями о нравахъ мелкой твари, то наша довѣрчивость приведетъ насъ къ очень неутѣшительнымъ результатамъ. Недурно также припомнить, что Америка и Австралія были совершенно неизвѣстны Аристотелю, а Индія, Китай, Сибирь, почти вся Африка и весь сѣверъ Европы были извѣстны только по нелѣпѣйшимъ сказкамъ. Каковы были пробѣлы въ зоологическихъ свѣдѣніяхъ классической древности, это достаточно видно изъ того факта, что ни греки, ни римляне не знали ни одного вида высшихъ обезьянъ, ни орангъ-утанга, ни гиббона, ни шимпанзе, ни гориллы. Наконецъ, надо же взять въ толь разъ навсегда, что какихъ нибудь пять тысячъ лѣтъ ровно ничего не значать въ томъ неизмѣримомъ океанѣ тысячелѣтій, который отдѣляетъ нашу эпоху отъ зарожденія органической жизни на земномъ шарѣ. Представьте себѣ, что вы разстались на мѣсяцъ съ любимой женщиною; вы изучили всѣ черты ея лица, вы замѣтили бы въ немъ малѣйшую перемѣну, а между тѣмъ, вы возвращаетесь черезъ мѣсяцъ, всматриваетесь, и не замѣчаете ровно ничего. Попробуйте утверждать на этомъ основаніи, что время не измѣняетъ человѣка. А въ жизни органической природы пять тысячъ лѣтъ навѣрное значать меньше, чѣмъ одинъ мѣсяцъ въ жизни человѣка. Стало быть, историческія свидѣтельства, по очень многимъ причинамъ, не могутъ дать намъ никакихъ матеріаловъ для рѣшенія вопроса о движеніи умственныхъ способностей въ мірѣ животныхъ. Геологія также молчитъ, потому что никакой скелетъ не можетъ намъ рассказать, какъ жилъ и мыслилъ его обладатель. Гдѣ же искать отвѣта? Да все тамъ же, въ осмысленномъ наблюденіи живой природы. Живая природа, въ томъ видѣ, какъ она существуетъ теперь, даетъ намъ очень много указаній на тотъ процессъ развитія, посредствомъ котораго она возвысилась до своего теперешняго положенія. Надо только смотрѣть и понимать.

III.

Утѣшимъ въ первый и послѣдній разъ обожателей Аристотеля и научнаго благонавія; откажемся отъ дарвиновскаго лукавства; допустимъ, что лагушечій прогрессъ и собачья цивилизація не существуютъ и не

могутъ существовать. Посмотримъ, что изъ этого выйдетъ. Если переходы отъ одного рода привычекъ къ другому совершенно невозможны въ царствѣ животныхъ, если необозримый рядъ предковъ каждаго животнаго жилъ всегда точь въ точь такъ, какъ въ настоящее время живеть ихъ потомокъ, то это значить, что извѣстный комплектъ привычекъ связанъ на вѣчныя времена роковыми и необходимыми узами съ извѣстнымъ устройствомъ организма. Утѣшать, такъ утѣшать! Положимъ, что и устройство организма неизмѣнно и непоколебимо. Если существуетъ неразрушимая связь между устройствомъ организма и всѣми привычками, то, разумѣется, всѣ животныя одного вида должны имѣть совершенно одинаковыя привычки, отъ которыхъ они не могутъ отклоняться ни на волосъ, ни подъ какимъ видомъ, и ни при какихъ условіяхъ. Если вы только допустите, что животное, въ минуту сильнаго голода, можетъ взять въ ротъ кусокъ такой пищи, которую не ѣли его отцы, дѣды и прадѣды, то весь принципъ неизмѣнныя привычекъ будетъ потрясенъ въ самомъ основаніи. Если гнетъ сильной необходимости можетъ произвести въ привычкахъ малѣйшее отклоненіе, то рѣшительно никто не можетъ поручиться, что этотъ гнетъ не дѣйствовалъ на каждое поколѣніе, и что изъ множества мелкихъ отклоненій не составилось, въ концѣ концовъ, совершенное превращеніе. Стало быть, для поддержанія любезнаго принципа, надо твердо стоять на томъ, что всѣ теперешнія ласточки одного вида живутъ, какъ одна ласточка, всѣ медвѣди—какъ одинъ медвѣдь, всѣ лягушки—какъ одна лягушка, и такъ далѣе, распространяя это правило: «всѣ, какъ одинъ» на всѣ отдѣльныя виды бессловесной твари. Хорошо, будемъ стоять. Кромѣ того, животныя, близкія другъ къ другу по тѣлосложенію, должны имѣть сходныя привычки. Это условіе такъ же необходимо для поддержанія принципа, который весь держится на томъ основномъ положеніи, что привычки составляютъ роковой и неизмѣнный результатъ организаціи. А если организація составляетъ единственную причину привычекъ, то невозможно допустить чтобы сходныя причины привели за собою несходныя слѣдствія. Стало быть, мы получили два закона:

I. Всѣ животныя одного вида живутъ, какъ одно животное.

II. Сходные виды имѣютъ сходныя привычки.

Изъ этихъ двухъ законовъ не можетъ быть ни одного исключенія, и если такое исключеніе встрѣтится, то весь принципъ неизмѣнныя привычекъ окажется мифомъ. Посмотримъ теперь на живую природу. Она одна можетъ рѣшить споръ между научнымъ благоправіемъ и дарвиновскимъ лукавствомъ. Если не найдется исключенія, то мы навсегда откажемся отъ собачьяго прогресса. Въ противномъ случаѣ, великій принципъ принужденъ будетъ сложить оружіе, и признать себя нелѣпостью.

Долго разсуждать тутъ нечего. Исключеній пропасть, и оба основныя закона трещать по всѣмъ направленіямъ.

Животныя всевозможныхъ породъ на каждомъ шагѣ позволяютъ себѣ такія выходки, которыя очень рѣзко отличаются отъ обыкновенныхъ и постоянныхъ привычекъ цѣлаго вида. Одинъ разъ наблюдателю удастся подмѣтить такую выходку, но придется ли ему во второй разъ сдѣлать то же наблюденіе, этого никакъ нельзя сказать заранее, потому что выходка эта, можетъ быть, совсѣмъ не повторится по прошествіи значительнаго промежутка времени, а можетъ быть, повторится тотчасъ же, или на другой день. Все зависитъ отъ того, какъ сложатся для животнаго разныя мелкія обстоятельства его всендневной жизни. Напримѣръ, въ Сѣверной Америкѣ, натуралистъ Гирнъ видѣлъ, какъ черный медвѣдь плавалъ по рѣкѣ съ разинутою пастью, и глоталъ водяныхъ насѣкомыхъ. Это упражненіе продолжалось нѣсколько часовъ, но какой же благоразумный человѣкъ рѣшится утверждать, что такія занятія свойственны медвѣдью, что они находятся въ строгой зависимости отъ его организаціи, и что всѣ предки этого оригинала всегда занимались подобными промыслами. Кить постоянно поступаетъ такимъ образомъ, и киту очень удобно это дѣлать: у него пасть усажена роговыми пластинками, въ которыхъ насѣкомыя и всякая мелюзга задерживаются для съѣденія; а въ верхней части головы у него продѣланы отверстія, черезъ которыя онъ выбрасываетъ воду, набранную въ ротъ вмѣстѣ съ мелкими животными. Не мѣшаетъ также замѣтить, что кить, во время такой охоты, чувствуетъ себя совершенно дома, между тѣмъ, какъ медвѣдью приходится въ этомъ случаѣ отправляться въ чужую стихію за очень мелкою и неудобною добычею. Можно себѣ представить, сколько онъ во время этого занятія проглотилъ воды безъ всякой надобности, и безъ малѣйшаго желанія; сколько разъ вода захлестывала ему ноздри, и сколько разъ пойманныя насѣкомыя ускользали изъ его пасти, въ то время, когда онъ фыркалъ и отплевывался. Повторить ли онъ свое плаваніе, это, конечно, зависитъ отъ того, понравилась ли ему первая попытка; но, если животное можетъ дѣлать попытки, и, въ случаѣ удачи, повторять ихъ, то куда же, послѣ этого, укроется принципъ неизмѣнныхъ привычекъ? Разныя птицы очень часто дѣлаютъ то, что несвойственно ихъ породѣ, и что совершенно свойственно какой нибудь другой породѣ, вовсе на нихъ непохожей. Мухоловка (*Muscicapa*) обыкновенно прыгаетъ по деревьямъ, и питается насѣкомыми; но Дарвинъ видѣлъ не разъ, какъ одна изъ птицъ этого рода, *Saurorhagus sulphuratus*, подобно коршуну, держалась въ воздухѣ на одномъ мѣстѣ, съ распростертыми крыльями, потомъ дѣлала быстрый поворотъ, и вслѣдъ за тѣмъ останавливалась такимъ же образомъ надъ другою точкою. Коршуну, какъ хищнику, очень удобно

такимъ образомъ высматривать себѣ съ высоты добычу, состоящую изъ птицъ и мелкихъ звѣрьковъ; но для мухоловки, питающейся насѣкомыми, такой способъ в все не можетъ быть полезенъ; стало быть, тѣ субъекты, за которыми Дарвинъ подмѣтилъ эту замашку, руководствовались какими нибудь особенными соображеніями, неизбѣжными тѣсной связи съ обыкновенными потребностями и привычками всей породы. Дарвину случалось также видѣть, что *Saugophagus sulphuratus* стоитъ надъ водою, караулить мелкую рыбу, и потомъ вдругъ кидается на нее, выбравъ удобную минуту; а между тѣмъ мухоловка нисколько не приспособлена къ водяной охотѣ. Стало быть, она сама себя приспосабливаетъ; а принципъ опять таки страдаетъ, по случаю ея нескромности. Синица (*Parus major*) также позволяетъ себѣ разныя непослѣдовательности; обыкновенно она прыгаетъ по вѣткамъ деревьевъ, и питается ягодами, зернами и насѣкомыми; но иногда она лазить, какъ пищуха; иногда она своимъ клювомъ бьетъ мелкихъ птичекъ по головѣ до смерти, и вполне подражаетъ въ этомъ отношеніи хищному сорокопуту (*Lanius*), который однако вовсе не похожъ на нее, и принадлежитъ даже къ совершенно другому семейству. Иногда, та же самая беззаконная синица разбиваетъ мелкіе орѣхи, ударяя ихъ по нѣскольку разъ объ дерево, и въ этомъ случаѣ она беретъ примѣръ съ орѣховки (*Nucifraga*), которая также принадлежитъ къ другому семейству.

Принципъ, принципъ! Каково ты себя, другъ мой, чувствуешь? Но это еще все цвѣточки, а настоящія-то ягоды заключаются въ томъ фактѣ, что цѣлыя породы, находящіяся между собою въ самомъ близкомъ родствѣ, и очень похожія другъ на друга по складу тѣла, имѣютъ такія *постоянныя* привычки, въ которыхъ самый усердный обожатель принципа не усмотритъ даже ни малѣйшаго сходства. Дятель (*Picus*), всѣмъ устройствомъ своего тѣла, превосходно приспособленъ къ тому, чтобы лазить по деревьямъ, выстукивать насѣкомыхъ изъ-подъ коры ударами клюва, и ловить ихъ языкомъ въ узкихъ трещинахъ и углубленіяхъ. Вотъ какъ описываетъ его учебникъ зоологіи: «Клювъ прямой, коническій; языкъ длинный, заостренный, роговой, прикрѣпленный къ подвижнымъ язычнымъ костямъ, можетъ съ быстротой выдвигаться изъ рта. Хвостъ съ жесткими перьями, служащими опорой при лазеніи.» Къ этому описанію можно прибавить, что и нога этой птицы, по устройству пальцевъ и когтей, превосходно принаровлена къ обыкновеннымъ привычкамъ огромнаго большинства дятловъ, которые, дѣйствительно, постоянно карабаются по стволамъ и толстымъ сучьямъ деревьевъ, стучать въ нихъ клювомъ, и выливаютъ изъ нихъ разныхъ насѣкомыхъ. Но и между дятлами втрѣчаются неблагодарные вольнодумцы, для которыхъ всѣ эти милости заботливой природы остаются мертвымъ капиталомъ. Въ Сѣверной Америкѣ одна порода дятловъ питается пре-

имущественно плодами, а другая, одаренная длинными крыльями, летает вслѣдъ за насѣкомыми и ловить ихъ на воздухѣ, вмѣсто того, чтобы выстукивать ихъ изъ подъ древесной коры.

Ага! скажете защитникъ принципа, длинныя крылья! Оттого-то они и летаютъ за насѣкомыми, что у нихъ длинныя крылья. На это восклицаніе можно отвѣтить, что защитникъ принципа, какъ утопающій, хватается за соломинку, которая такъ и останется у него въ рукахъ. Во первыхъ, длинныя крылья вовсе не мѣшаютъ этимъ дятламъ карабкаться по деревьямъ; а во-вторыхъ, крылья обыкновенныхъ дятловъ вовсе не коротки и не слабы, такъ что обыкновенный дятелъ очень легко и удобно могъ бы ловить насѣкомыхъ на лету, если бы того требовали мѣстныя обстоятельства. А почему именно крылья длиннѣе у того дятла, который больше другихъ летаетъ, на этотъ вопросъ теорія лукаваго Дарвина даетъ, кажется, совершенно удовлетворительный отвѣтъ. Она произноситъ въ этомъ случаѣ только двѣ пары словъ: «упражненіе органовъ» и «естественный выборъ.» Читатель долженъ понимать, что этого вполне достаточно.

Дятелъ *Colaptes*, живущій въ Мексикѣ, и описанный Соссюромъ, самымъ необыкновеннымъ образомъ извращаетъ свои естественныя дарованія. Онъ выдалбливаетъ своимъ крѣпкимъ клювомъ углубленія въ стволахъ очень твердыхъ деревьевъ, и складываетъ въ эти углубленія запасы зеренъ, обезпечивающіе его продовольствіе. *Colaptes*—дятелъ, и нашъ европейскій *Picus*—также дятелъ; у одного крѣпкій клювъ, и у другого также крѣпкій клювъ. Спрашивается, почему же одинъ — устроиваетъ себѣ амбары, а другой—выстукиваетъ насѣкомыхъ? Отвѣчать не трудно, но только отвѣтъ будетъ губителенъ для принципа неизмѣнныхъ привычекъ. Александръ Гумбольдтъ былъ человѣкъ, и Наполеонъ I былъ также человѣкъ. У одного былъ здоровый мозгъ, и у другого былъ также здоровый мозгъ. Почему же одинъ написалъ «Космосъ», а другой соорудилъ 18-ое брюмера, разстрѣлилъ герцога Англенскаго, выигралъ нѣсколько десятковъ сраженій, очень упорно преслѣдовалъ идеологию, и наконецъ, какъ малолѣтній ребенокъ, отдался въ руки сначала негодяю Фуше, а потомъ англійской олигархіи? Не потому ли, что обстоятельства были не одинаковы? Вліянія, дѣйствовавшія на этихъ двухъ людей, окружавшія ихъ съ самой минуты рожденія и направлявшія каждый ихъ шагъ и каждую ихъ мысль въ ту или въ другую сторону, были различны, и отъ того выработались два различные характера, а въ общемъ выводъ получились уже совершенно несходные результаты. На молодого Бонапарте и на молодого Гумбольдта дѣйствовали идеи вѣка, политическія событія, отношеніе этихъ событийъ къ ихъ отечеству, семейныя обстоятельства, денежное положеніе того и другого,—словомъ, огромная масса такихъ условій, которыя не имѣли ровно ничего общаго съ внут-

реннимъ строеніемъ ихъ мозга и всего ихъ организма. Если бы какой нибудь великій анатомъ изучилъ во всѣхъ подробностяхъ мозгъ покойнаго Гумбольдта и покойнаго Наполеона, и если бы оказалось, что вѣсть, химическій составъ, устройство всѣхъ извилинъ, величина всѣхъ внутреннихъ желудочковъ, словомъ всѣ мельчайшія особенности совершенно сходны въ обоихъ мозгахъ, то я не думаю, чтобы какой нибудь здраво-мыслящій человѣкъ нашелъ это обстоятельство особенно удивительнымъ, не смотря на то, что эти двѣ даровитыя личности занимались въ жизни совершенно различными предметами. Было бы даже гораздо удивительнѣе, если бы мозгъ Мюрата былъ въ такой же значительной степени похожъ на мозгъ Наполеона или если бы въ черепѣ профессора Креозотова заключался совершенно такой мозгъ, какимъ обладалъ Александръ Гумбольдтъ. А между тѣмъ Мюратъ сдѣлалъ вмѣстѣ съ Наполеономъ почти всѣ его компаніи, и даже считался въ свое время великимъ кавалерійскимъ генераломъ. А Креозотовъ, подобно Гумбольдту, постоянно предавался ученымъ занятіямъ.

Возьмемъ другой примѣръ. Передъ вами лежатъ на столѣ двѣ бритвы; одна настоящая англійская, другая—чисто отечественная, и при томъ изъ самыхъ плохихъ. Какъ тою, такъ и другою бритвою вы можете сдѣлать множество разнообразнѣйшихъ эволюцій: выбрить себѣ бороду, или перерѣзать себѣ горло, или срѣзать себѣ мозоль, или разрѣзать лимонъ, или очинить карандашъ. И все это можетъ быть произведено обѣими бритвами, почти съ одинаковымъ успѣхомъ, потому что трудно себѣ вообразить такую дрянную бритву, которая съ перваго же разу оказалась бы несостоятельною. Если вашъ родственникъ хватить себя по горлу вашею англійскою бритвою, а вы будете употреблять свою русскую бритву какимъ нибудь другимъ, менѣе кровопрлитнымъ образомъ, то я не думаю, чтобы изъ этихъ двухъ фактовъ можно было вывести хоть малѣйшія заключенія о сравнительномъ достоинствѣ обоихъ инструментовъ. Оба эти факта зависятъ отъ той обстановки, въ которой находились обѣ бритвы, и отдѣльные элементы этой обстановки не имѣютъ рѣшительно ничего общаго съ качествами русской и англійской стали, или русской и англійской фабрикаціи бритвъ. Но, разумѣется, никакая обстановка не можетъ принаровить бритву къ такому употребленію, которое совершенно несовмѣстно съ ея фигурою, или съ свойствами ея матеріала. Если вамъ понадобится написать письмо, вы никакъ не напишете его бритвою. Хотя бы вамъ до-зарѣзу необходимы были сапоги, вы ни за какія блага не ухитритесь надѣть бритву на ногу. Вы можете умирать съ голоду въ комнатѣ, переполненной бритвами, и все-таки вамъ не удастся разжевать, проглотить и переварить хоть одну бритву. То же самое можно сказать о Наполеонѣ и о Гумбольдтѣ. Если бы Наполеонъ захотѣлъ снести яйцо, то, по всей вѣроятности,

вся его гениальность не доставила бы ему желаннаго успѣха. Простая курица перешагала бы въ этомъ отношеніи великаго завоевателя. А Гумбольдту легче было бы написать другую книгу, подобную Космосу, чѣмъ собственными средствами своего организма выработать одинъ квадратный вершокъ паутины, или одинъ золотникъ воска. Глупѣйшій изъ пауковъ и лѣнивѣйшая изъ рабочихъ пчелъ превзошли бы въ этихъ дѣлахъ одного изъ даровитѣйшихъ работниковъ нашего столѣтія.

Между простымъ и безжизненнымъ орудіемъ, подобнымъ братѣ, и тѣмъ удивительно-сложнымъ органомъ, который называется человѣческимъ мозгомъ, лежитъ громадное разстояніе. Можно сказать, что вся природа помѣщается въ этомъ промежуткѣ. Однако, не смотря на эту громадность разстоянія, можно замѣтить, по крайней мѣрѣ одну общую черту въ дѣятельности бритвы и въ дѣятельности мозга. Именно, результатъ дѣятельности въ обоихъ случаяхъ не зависитъ вполне и исключительно отъ собственныхъ качествъ бритвы и мозга. Результатъ этотъ складывается изъ двухъ элементовъ; изъ качествъ самого орудія и изъ качествъ всѣхъ окружающихъ предметовъ, одушевленныхъ и неодушевленныхъ, съ которыми данное орудіе соприкасается во время своей дѣятельности. Каждый кусокъ неодушевленной матеріи подчиняется этому общему закону наравнѣ съ организмомъ человѣка. Организмъ животнаго ближе къ организму человѣка, чѣмъ кусокъ неорганическаго вещества, а между тѣмъ защитники неизмѣнныхъ привычекъ ухитрились выдумать, что весь міръ животныхъ составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила. Они думаютъ, что если ужъ дятлу даны способности лазить и долбить, то онъ такъ и будетъ поступать всегда и вездѣ, хотя бы онъ даже попалъ въ такое мѣсто, гдѣ нѣтъ деревьевъ и гдѣ очень мало насѣкомыхъ. Бороться съ такими идеями даже какъ-то неловко и совѣстно, и я прошу читателя извинить мое длинное отступленіе отъ настоящаго дѣла. Мнѣ хотѣлось только показать, какимъ образомъ многія изъ нашихъ обиходныхъ понятій рѣшительно противорѣчатъ не только осязательнымъ фактамъ живой природы, но даже основнымъ законамъ здороваго человѣческаго мышленія. Если въ нелѣпостяхъ могутъ быть какія нибудь градаціи, то надо будетъ сознаться, что идея о неизмѣнности животныхъ привычекъ составляетъ болѣе значительную и несообразную нелѣпость, чѣмъ извѣстная русская теорія о трехъ китахъ, поддерживающихъ нашу планету.

Когда мы всматриваемся въ дѣло, тогда мы ясно видимъ, гдѣ смыслъ и гдѣ бессмыслица. Но въ томъ-то и горе наше великое, что намъ очень рѣдко приходится всматриваться въ наши идеи, и выбивать приѣмами строгой критики ту пыль и моль, которая завелась въ нашей умственной рухляди и перепортила все естественное богатство нашего превосходнаго кавказскаго мозга. Мозгъ-то хорошъ, да дряни въ

нѣтъ много. Чтобы покончить исторію о дятлахъ, я сообщу читателю, что въ безлѣсныхъ равнинахъ Ла-Платы живетъ дятель *Colaptes campestris*, который никогда не взлѣзаетъ на деревья, по той простой причинѣ, что не на что взлѣзать. Клювъ его не такъ твердъ и прямъ, какъ у простаго дятла, во-первыхъ, по недостатку упражненія, а во-вторыхъ, потому, что естественный выборъ пересталъ поддерживать спеціальныя качества этого орудія. Въ 'безлѣсной странѣ, гдѣ нечего долбить, дятлу бесполезенъ твердый и прямой клювъ, и поэтому строгость естественнаго выбора въ этомъ отношеніи ослабѣла.

Здѣсь мы можемъ проститься съ неизмѣнными привычками и съ ихъ остроумными защитниками, опирающимися на египетскіе памятники и на сочиненія классическихъ мудрецовъ. Возиться съ ними очень скучно, и я увѣренъ, что они уже давно опротивѣли моему возлюбленному читателю, свободному отъ всякихъ предразсудковъ, или, по крайней мѣрѣ, искренно-желающему отъ нихъ свободиться. Чтобы окончательно сразить противниковъ Дарвина, достаточно произнести одно слово, указывающее на цѣлый, длинный рядъ неопровержимыхъ фактовъ. Это слово: *акклиматизация животныхъ*. Объ ней я однако распространяться не буду.

IV.

Привычки животныхъ измѣняются вмѣстѣ съ условіями жизни, а для того, чтобы условія жизни измѣнились, вовсе не нужно нажимать на землю какія нибудь ужасы, въ родѣ наводненія или землетрясенія. Если порода благоденствуетъ и размножается, то самая эта безмятежность, самое это довольство, рано или поздно, приведутъ за собою перемѣну; порода размножится такъ, что явится несоразмѣрность между количествомъ пищи и числомъ потребителей; многимъ субъектамъ придется искать новой пищи и приспособляться къ новымъ промысламъ; вотъ вамъ и перемѣна. Пока искатели новой пищи не выработаютъ себѣ новыхъ приспособленій, до тѣхъ поръ мы будемъ замѣчать разладъ между тѣлосложеніемъ животнаго и его образомъ жизни. Разладъ этотъ во всякомъ случаѣ будетъ продолжаться очень долго, потому что всѣ видоизмѣненія совершаются въ органическомъ мірѣ чрезвычайно медленно и незамѣтно. А большая или меньшая продолжительность этого разлада будетъ зависѣть отъ большей или меньшей гибкости даннаго организма, отъ большей или меньшей напряженности борьбы и отъ большей или меньшей строгости естественнаго выбора. Т. е. здѣсь, какъ и

вездѣ, результатъ будетъ обуславливаться свойствами субъекта и особенностями всѣхъ окружающихъ обстоятельствъ.

Если это разсужденіе вѣрно, то оно должно оправдываться фактами дѣйствительной жизни. Если оно вѣрно, то есть основаніе думать, что нѣкоторыя породы животныхъ въ настоящую минуту должны представлять живой образчикъ такого разлада между устройствомъ тѣла и свойствами привычекъ. Слѣдовательно, если мы найдемъ, что такія породы дѣйствительно существуютъ, то мы будемъ имѣть полное основаніе сказать, что разсужденіе было построено вѣрно. — Дятлы, летающіе за насѣкомыми, питающіеся плодами и живущіе въ совершенно безлѣсныхъ равнинахъ, показываютъ уже довольно замѣтный разладъ между тѣлосложениемъ и привычками. Но есть и другіе примѣры, гораздо болѣе поразительные. Буревѣстники проводятъ большую часть своей жизни на лету, между небомъ и моремъ, вдали отъ береговъ. У всего этого семейства птицъ крылья превосходно развиты. Между тѣмъ, въ тихомъ проливѣ Огненной Земли живетъ буревѣстникъ *Puffinuria Berardi*, который превосходно плаваетъ и ныряетъ, но чрезвычайно рѣдко, и по видимому, неохотно поднимается на воздухъ. По привычкамъ своимъ, онъ очень похожъ на пингвина или на чистика, т. е. на такихъ птицъ, которыя совершенно лишены способности летать, и употребляютъ свои крылья на водѣ вмѣсто веселъ, а на сушѣ вмѣсто переднихъ ногъ. Особенности его образа жизни произвели уже довольно значительныя измѣненія въ устройствѣ его тѣла, но въ немъ еще легко узнать типъ настоящаго буревѣстника. Оляпка (*Cinclus aquaticus*) постоянно добываетъ себѣ пищу подъ водою, ныряетъ, цѣпляется ногами за камни, и бѣгаетъ по дну рѣки, разгребая воду крыльями. Между тѣмъ, оляпка принадлежитъ къ земному семейству дроздовъ, и, разсматривая ея трупъ, самый опытный наблюдатель не отыщетъ въ немъ ни малѣйшаго намека на ея своеобразныя привычки. Стало быть, разладъ существуетъ во всей своей силѣ. У гусей перепонка между пальцами приспособлена для плаванія, и мы, разумѣется, привыкли считать гуся совершенно водяною птицею; а между тѣмъ есть нѣсколько породъ дикихъ гусей, которыя, сохраняя перепонку, никогда не входятъ въ воду. Фрегаты (*Chyropetes aquila*) постоянно летаетъ надъ моремъ, удаляется отъ береговъ на огромныя разстоянія и, не смотря на то, почти никогда не опускается на воду. Изъ всѣхъ натуралистовъ, только одинъ Одюбонъ видѣлъ, что фрегатъ опустился на воду, а между тѣмъ у фрегата четыре пальца соединены перепонкою. Но въ этой перепонкѣ, которая отлично годится для плаванія, есть глубокія выемки, указывающія на то, что нога фрегата начала измѣняться, сообразно съ его образомъ жизни. У гагары и у лысухъ пальцы только оторочены перепонкою, хотя эти пальцы постоянно держатся на водѣ. Опять разладъ и противорѣчіе. Длинные

ноги голенастыхъ птицъ такъ отлично приваровлены къ путешествіямъ по болоту, что ничего лучше желать не остается и требовать нельзя; между тѣмъ, съ одной стороны, водяная курочка, принадлежащая къ этому порядку, постоянно плаваетъ по водѣ, вмѣсто того, чтобы бродить по вязкому берегу; а съ другой стороны, коростель, принадлежащій къ одному семейству съ водяною курочкою, и даже поставленный съ нею рядомъ въ учебникѣ зоологій, также презираетъ болото, и держится обыкновенно въ хлѣбныхъ посѣвахъ и въ высокой травѣ, вмѣстѣ съ перепелками и куропатками.

Изъ всѣхъ этихъ фактовъ мы видимъ, что организація животнаго вовсе не связана на-глухо именно съ однимъ, тѣсно опредѣленнымъ образомъ жизни. Конечно, организація ставитъ нѣкоторыя границы для дѣятельности животныхъ, но эти границы оставляютъ животному очень широкій просторъ, и со временемъ могутъ быть раздвинуты еще шире, если представится настоящая необходимость и если окружающія обстоятельства дадутъ на то малѣйшую возможность. Разумѣется, рыба не можетъ построить себѣ гнѣзда на деревѣ; воробей не можетъ вырыть въ землѣ тѣ норы и галлерей, которыя сооружаетъ кротъ; тигръ не можетъ питаться травой, какъ баранъ; а страусъ не можетъ гоняться за голубями, какъ ястребъ. Между рыбою и птицею, между воробьемъ и кротомъ, между тигромъ и бараномъ, между страусомъ и ястребомъ существуютъ очень глубокія различія въ организаціи; однако, нѣтъ никакого основанія думать, чтобы между этими очень различными организаціями лежала непроходимая бездна, чрезъ которую природа, то есть постоянное дѣйствіе разнородныхъ и очень сложныхъ обстоятельствъ, не была бы въ состояніи проложить узкую тропинку или широкую дорогу. Въ природѣ возможны самыя полныя превращенія и самыя удивительныя переходы, но только эти превращенія и переходы никогда и ни подъ какимъ видомъ не могутъ совершиться круто и внезапно. Вся исторія органической жизни состоитъ въ томъ, что различныя формы животныхъ и растений постоянно обособлялись, и съ каждымъ тысячелѣтіемъ, дробясь на новыя разновидности, все сильнѣе и рѣзче удалялись другъ отъ друга; вслѣдствіе этого, въ настоящую минуту различныя отдѣлы, классы и порядки животнаго царства гораздо дальше отстоятъ другъ отъ друга и гораздо глубже и явственнѣе разграничены между собою, чѣмъ это было въ прошедшія геологическія эпохи. Однако, не смотря на эти глубокія границы, не смотря на то, что всякія промежуточныя формы постоянно вытѣсняются крайними представителями отдѣловъ, классовъ и порядковъ, мы и теперь можемъ указать на тѣ пути, по которымъ могли бы совершиться самыя далекіе и неожиданныя переходы; во многихъ случаяхъ мы встрѣчаемся даже съ живыми формами, которыя, какъ верстовые отолбы, стоятъ по срединѣ этихъ путей, и ясно говорятъ

намъ, самымъ фактомъ своего существованія, что было время, когда эти заброшенные пути были бойкими столбовыми дорогами, и когда органическая жизнь, направляясь къ своему теперешнему положенію, медленно и величественно совершала по этимъ путямъ свое непредвѣльное развитіе. Такимъ образомъ, цѣлые два порядка животныхъ связываютъ классъ млекопитающихъ съ классомъ рыбъ; во-первыхъ, ластоногія (Pinnipedia), то есть моржи, тюлени, морскіе львы и морскіе коты; а во-вторыхъ, китовыя (Cetacea), то есть киты и дельфины. Летучая рыба намекаетъ на возможность перехода отъ рыбы къ птицѣ, и напоминаетъ о тѣхъ страшно далекихъ временахъ, когда вся наша планета была покрыта водою, когда главнѣйшими представителями органической жизни были моллюски и хрящевыя рыбы, и когда эти рыбы, самыя совершенныя изъ тогдашнихъ живыхъ существъ, подъ вліяніемъ борьбы за жизнь и естественнаго выбора, стали постепенно перерождаться въ крылатыхъ гадовъ и въ птицеобразныхъ животныхъ, или вѣрнѣе, въ рыбообразныхъ птицъ. Австралійскій утконосъ стоитъ на границѣ между млекопитающими и птицами; а сумчатая животная, изъ которыхъ одни, по устройству своихъ зубовъ, приближаются къ жвачнымъ (кенгуру), другія къ грызунамъ (вомбаты), а третьи къ плотояднымъ (двуутробка), показываютъ намъ, какъ развивалось въ прошедшемъ то глубокое различіе, которое существуетъ теперь между этими тремя, рѣзко разграниченными порядками млекопитающихъ.

Все животное царство распадается на два громадные отдѣла, на позвоночныхъ и беспозвоночныхъ. Различіе между этими двумя отдѣлами до такой степени глубоко, что между животными этихъ двухъ отдѣловъ даже нельзя производить никакихъ сравненій; невозможно сказать, и бесполезно было бы спрашивать, какое животное стоитъ выше въ цѣли созданий: какая нибудь рыба или пчела. Типы ихъ не имѣютъ между собою ни одной точки соприкосновенія, и развились совершенно самостоятельно и независимо другъ отъ друга. Эти два отдѣла животнаго царства обозначились, по всей вѣроятности, въ самой глубокой древности, недоступной даже для геологіи; какія формы предшествовали этому раздѣленію—этого мы никогда не узнаемъ, хотя, конечно, можно предполагать, что жили тогда животныя, до нѣкоторой степени похожія на теперешнихъ инфузорій, если не по своей величинѣ, то, по крайней мѣрѣ, по простотѣ своей организаціи. Однако, не смотря на то, что различіе между позвоночными и беспозвоночными такъ глубоко и такъ сильно упрочено своею неизмѣримою древностью, — не смотря на это, существуютъ и теперь нѣкоторыя формы, служащія живымъ намекомъ на прежнее, уже совершенно утратившееся родство между этими двумя отдѣлами. Амфиоксы или ланцетная рыба принадлежатъ къ позвоночнымъ животнымъ, а между тѣмъ ее очень долго принимали за моллюска; у нея нельзя отличить

головы и головного мозга; поэтому, когда ее причисляли къ моллюскамъ, то ее ставили ниже головоногихъ и брюхоногихъ моллюсковъ, у которыхъ ясно обозначена голова. Даже между царствами животнымъ и растительнымъ, которыя должны были отдѣлиться другъ отъ друга еще раньше, существуютъ нѣкоторыя промежуточныя формы, которыя никакъ не могли возникнуть послѣ того, какъ это раздѣленіе уже совершилось. Полипы очень долго считались растеніями, и только въ половинѣ прошлаго столѣтія окончательно перечислены въ категорію животныхъ, не смотря на то, что у большей части полиповъ до сихъ поръ не доказано существованіе нервной системы. Губки очень недавно включались въ растительное царство, а теперь ихъ также перевели въ разрядъ животныхъ, хотя тутъ и рѣчи не можетъ быть о нервной системѣ. Любопытно замѣтить, что эти промежуточныя формы, занимающія теперь самое низшее мѣсто въ царствѣ животныхъ, занимали также одно изъ низшихъ мѣстъ въ ряду растеній. Это—живые остатки того далекаго прошедшаго, когда органическая жизнь находилась въ зачаточномъ состояніи, и когда всѣ зародыши и всѣ родоначальники теперешнихъ, безконечно разнообразныхъ типовъ, были похожи другъ на друга и сливались между собою въ общемъ хаотическомъ броженіи безцвѣтности и безформенности. Это—выкидыши органической природы, оставшіеся въ живыхъ, не смотря на свою недодѣланность. Очень понятно, что выкидышъ самаго высшаго животного менѣе развитъ въ своей организаціи, чѣмъ вполне сложившееся животное низшаго разряда. Поэтому и не трудно понять, что такія формы, какъ полипы и губки, всегда будутъ занимать послѣднее мѣсто въ цѣпи органическихъ существъ, къ какому бы царству ни относили ихъ классификаторы.

Всю эту экскурсію по различнымъ областямъ органическаго міра я веду къ тому, чтобы выразить нѣсколько мыслей, имѣющихъ самое прямое и непосредственное отношеніе къ нашему главному предмету. Развиваясь по разнымъ направленіямъ изъ одного общаго источника, и подчиняясь въ своемъ разностороннемъ развитіи господству одинаковыхъ законовъ, до сихъ поръ еще мало изслѣдованныхъ, органическая природа сохранила, и по всей вѣроятности, сохранитъ навсегда, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, ту гибкость, измѣнчивость и подвижность, которыя привели ее къ ея теперѣшнему, роскошному и цвѣтущему разнообразію. Мы не имѣемъ ни малѣйшаго основанія думать, что щука, тигръ, воробей, страусъ и всѣ вообще современные намъ организмы составляютъ собою тотъ окончательный результатъ, къ которому направлялось все развитіе живой природы. Множество подмѣченныхъ фактовъ доказываютъ намъ, напротивъ того, что въ органической природѣ все идетъ по старому, и что формы передѣлываются или до поры до времени остаются неподвижными, смотря потому, какъ дѣйствуютъ на нихъ

всѣ остальные формы, съ которыми имъ, такъ или иначе, приходится вести борьбу за существованіе. Есть ли въ органическомъ мірѣ такіа формы, которыя были бы совершенно неизмѣнны и неподвижны по самой своей природѣ, этого мы не знаемъ; но если такіа формы существуютъ, то онѣ, при первой встрѣчѣ съ неблагоприятными обстоятельствами, будутъ непремѣнно истреблены, потому что онѣ, вслѣдствіе своей неподвижности, не будутъ въ состояніи выдержать случившуюся перемѣну и принаровиться къ новымъ условіямъ жизни. Очень многія, а можетъ быть и всѣ, погибшія формы погибли именно отъ того, что тѣ или другія измѣнившіяся обстоятельства потребовали отъ нихъ такого быстрого и значительнаго измѣненія въ привычкахъ и въ организаціи, которое въ данную минуту было для нихъ невозможно. А такъ какъ сила вещей неотразима и не даетъ никакихъ отсрочекъ, то она ихъ и скрутила до совершеннаго уничтоженія. Если бы тигру предстояла альтернатива—питаться травой или умереть съ голоду, онъ бы умеръ, но это вовсе недоказываетъ, что между плотояднымъ и травояднымъ лежитъ непроходимая бездна. Можетъ быть, переходъ возможенъ, но только никакъ не вдругъ. Наша домашняя кошка приходится тигру очень близкою родственницею; до своего знакомства съ человѣкомъ, она питалась исключительно мясомъ, а теперь всякій знаетъ, что ее можно кормить молокомъ и хлѣбомъ: Моленотъ, писавшій свое «Ученіе о нищѣ» въ то время, когда о теоріи Дарвина не было ни слуху, ни духу, говоритъ положительно въ введеніи къ этой книгѣ, что у дикой кошки кишечный каналъ короче, чѣмъ у домашней, и что это измѣненіе, приближающее домашнюю кошку къ травояднымъ, произошло въ ея организмѣ подъ вліяніемъ растительной пищи. Воробей также долженъ былъ бы погибнуть, если бы ему для спасенія жизни необходимо было приняться за подземныя работы крота; но и тутъ существуетъ возможность перехода и сближенія въ привычкахъ. Воробей питается ягодами, зернами и насѣкомыми; смотря по обстоятельствамъ, онъ можетъ питаться или исключительно однимъ изъ этихъ кушаній, или всѣми тремя заразъ. Положимъ, что обстоятельства принуждаютъ его питаться насѣкомыми; положимъ, что воробьевъ очень много; тогда каждое насѣкомое пріобрѣтаетъ въ ихъ глазахъ значительную цѣну; тогда воробей очень охотно будетъ клевать земляныхъ червей и очень тщательно будетъ заботиться о ихъ добываніи; онъ будетъ разрывать землю лапками и, по всей вѣроятности, это упражненіе, соединенное съ дѣйствіемъ естественнаго выбора, укрѣпитъ его когти и вообще приспособитъ его члены къ этому новому занятію. Очень можетъ быть, что воробьи, постоянно копающіеся въ землѣ, утратятъ въ значительной степени юркость своихъ движеній и крѣпость своихъ крыльевъ, но, разумѣется, это можетъ произойти только въ томъ случаѣ, если этихъ воробьевъ не будутъ

преслѣдовать опасные враги. Если же найдутся такіе враги, то они, вѣроятно, будутъ постоянно истреблять неповоротливыхъ воробьевъ, и тогда юркость и способность летать, поддерживаясь естественнымъ выборомъ, останутся, по прежнему, постоянными свойствами этой породы. Сдѣлаются ли эти воробьи когда нибудь подземными животными, этого я ей Богу, не знаю, и мнѣ очень боязно и неловко высказать такое предположеніе, но моя робость происходитъ, по всей вѣроятности, отъ недостатка твердыхъ знаній и научнаго развитія. Дарвинъ разсуждаетъ гораздо смѣлѣе, хотя обыкновенно бываетъ на оборотъ; то есть, обыкновенно ученики и аденты преувеличиваютъ идеи учителя, и доводятъ ихъ иногда до уродливыхъ крайностей. Здѣсь же ученикъ остается позади учителя, даже въ дѣлѣ умственной храбрости. Вотъ что говоритъ Дарвинъ по поводу медвѣдя, подражавшаго киту. «Даже въ такомъ исключительномъ случаѣ, я не вижу ничего невозможнаго въ томъ, что если бы насѣкомыхъ было постоянно вдоволь и если бы въ той же сторонѣ не находилось уже лучше приспособленныхъ сомскателей, отдѣльная порода медвѣдей могла бы сдѣлаться, черезъ естественный выборъ, все болѣе и болѣе водною, ихъ пасть все болѣе и болѣе увеличиваться, пока не сложилось бы существо такое же уродливое, какъ китъ». Если Дарвинъ позволяетъ медвѣдю превратиться почти въ кита, то, пожалуй, почему бы и моему воробью не превратиться, не говорю «въ крота» — а въ подземное, и, разумѣется, совершенно не летающее, и не совсѣмъ зоркое животное? Pourquoi pas? Однако я все-таки не рѣшусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться; онъ знаетъ, что не навреть. А я на этотъ счетъ, при сильной склонности моей къ широкимъ умозрѣніямъ, побаиваюсь за себя ежеминутно.

Можетъ быть, примѣръ мой о воробѣ выбранъ очень неудачно, но я за него и не держусь. Дѣло не въ примѣрѣ, а въ основной идеѣ, которая, во всякомъ случаѣ, остается неприкосновенною. Дѣло въ томъ, что окружающія обстоятельства совершенно полновластно господствуютъ надъ привычками животныхъ, а черезъ ихъ привычки — надъ ихъ тѣлосложеніемъ. Когда животное получаетъ при рожденіи извѣстный запасъ способностей и орудій, то какія именно изъ данныхъ способностей оно разовьетъ въ себѣ преимущественно, и къ чему именно пристроить оно свои орудія — это будетъ зависѣть вполне отъ чисто внѣшнихъ условій жизни. Привычки животныхъ составляютъ именно приложеніе къ дѣлу жизни врожденныхъ способностей и орудій; а каково будетъ приложеніе это, — разумѣется, зависить отъ того, къ чему станешь прикладывать. Въ настоящее время очень рѣзкіе переходы, по всей вѣроятности, не могутъ совершаться даже постепенно; на примѣръ, рыба въ птицу, медвѣдь въ кита, страусъ въ орла превратиться не могутъ, даже въ цѣлыя сотни тысячелѣтій; но это происходитъ не отъ какихъ нибудь не-

преодолимыхъ препятствій въ организаціи рыбъ, медвѣдя или страуса, а преимущественно, или даже исключительно, отъ того, что и рыба, и медвѣдь, и страусъ, съ самыхъ первыхъ шаговъ своего превращенія встрѣчаютъ непреодолимое препятствіе со стороны отлично приспособленныхъ конкурентовъ, то есть со стороны настоящихъ птицъ, настоящихъ китовъ и настоящихъ орловъ. Поэтому, прогрессъ медвѣдей, рыбъ и страусовъ будетъ, вѣроятно, состоять только въ томъ, что они постоянно будутъ становиться все болѣе и болѣе медвѣдями, рыбами и страусами, то есть, подчиняясь естественному выбору, будутъ постоянно развивать въ своей породѣ тѣ спеціальныя орудія и способности, которыя до сихъ поръ доставляли имъ побѣду надъ конкурентами и врагами въ борьбѣ за существованіе. Но никто не можетъ сказать заранее, что это прогрессивное развитіе будетъ постоянно упрочивать существованіе этихъ породъ и постоянно одерживать побѣду надъ всѣми враждебными обстоятельствами, способными повредить этимъ породамъ, или даже совершенно стереть ихъ съ лица земли. Никто не можетъ поручиться и за то, что отъ чистаго типа медвѣдей, щукъ или страусовъ не отдѣлится, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, какойнибудь боковой отростокъ, который проложитъ себѣ совершенно своеобразный путь для своего дальнѣйшаго развитія. Наконецъ, и то можетъ случиться, что какіянибудь внѣшнія условія заставятъ медвѣдя, страуса или рыбу отказаться отъ употребленія того или другаго органа, и такимъ образомъ понятятъ ихъ назадъ, вмѣсто того, чтобы подвигать ихъ впередъ. Регрессивное развитіе такъ же возможно въ природѣ, какъ и прогрессивное, лишь бы только оно, въ данномъ случаѣ, было выгодно для данной породы, то есть лишь бы только было возможно вмѣшательство естественнаго выбора: безкрылые жуки, слѣпые обитатели пещеръ, и самъ страусъ, лишенный способности летать, являются живыми продуктами такого регрессивнаго развитія.

Въ природѣ нѣтъ ни малѣйшаго стремленія къ идеальному совершенству, и направленіе развитія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляется только вліяніемъ мѣстныхъ и временныхъ обстоятельствъ. Одни органы доводятся до изумительнаго совершенства, напримѣръ, глазъ у всѣхъ высшихъ животныхъ, другіе органы атрофируются до совершеннаго безсилія, напримѣръ крылья у многихъ птицъ; одни породы торжествуютъ и улучшаются, другія отступаютъ назадъ, третьи совсѣмъ вымираютъ; на каждомъ шагѣ сложныя отношенія между организмами запутываются въ самые неразрѣшимые гордіевы узы, и на каждомъ шагѣ эти узлы развязываются, или разрубаются, смотря по обстоятельствамъ. И привычки, и органы, и типы, все подвержено измѣненію, все можетъ быть перестроено или разрѣшено. И эта вѣчная, тихая и безпристрастная ломка составляетъ собою всю исторію органической

жизни. Намъ очень трудно понять, до какой степени значительны и сложны могутъ быть результаты этой незамѣтной ломки; нашъ умъ отказывается вѣрить тому, чтобы, напримѣръ, глазъ хищной птицы или мозгъ европейца могъ выработаться путемъ медленныхъ измѣненій изъ какого нибудь безформеннаго накопленія органическихъ дѣточекъ. Но недоувѣрчивость нашего ума ровно ничего не значить. Умъ нашихъ прапрадѣдовъ также отказывался вѣрить тому, что солнце стоитъ на одномъ мѣстѣ, а земля вокругъ него бѣгаетъ. Наши умственные привычки такъ же подвижны и измѣнчивы, какъ и всякія другія привычки живыхъ организмовъ. Вотъ что говоритъ Дарвинъ о происхожденіи глаза: «Предположеніе, чтобы глазъ, со всѣми его неподражаемыми аппаратами для приспособленія къ разнымъ разстояніямъ, къ разнымъ количествамъ свѣта, для поправленія сферической и хроматической аберраціи, могъ сложиться въ силу естественнаго выбора — такое предположеніе, сознаюсь, можетъ показаться въ высшей степени нелѣпнымъ. Но если можно доказать, что существуютъ многочисленныя постепенности между совершеннымъ, сложнымъ глазомъ и глазомъ несовершеннымъ и простымъ, при чемъ каждая степень совершенства полезна организму, ею одаренному; если, даѣе, глазъ хоть сколько нибудь подверженъ видоизмѣненіямъ, и эти видоизмѣненія наслѣдственны, въ чемъ нельзя сомнѣваться; и если какое-либо видоизмѣненіе этого органа можетъ сдѣлаться полезнымъ организму при измѣняющихся жизненныхъ условіяхъ, — то, по законамъ логики, возможность образованія совершеннаго, сложнаго глаза путемъ естественнаго выбора, какъ ни безсильно сладить съ нею наше воображеніе, не можетъ быть отвергнута.» — И дѣйствительно оказывается, что въ живой природѣ существуетъ безконечное разнообразіе зрительныхъ аппаратовъ; въ отдѣлѣ позвоночныхъ животныхъ замѣтно очень немного степеней; но за то у беспозвоночныхъ, въ отрядѣ членистыхъ животныхъ, то есть, у насѣкомыхъ, червей, пауковъ и раковъ, зрительный аппаратъ проходитъ по всѣмъ фазамъ своего развитія. Лѣстница эта начинается съ зачаточныхъ глазъ, которые способны только различать свѣтъ отъ темноты; отсюда отправляются въ одну сторону простые глаза, состоящіе изъ хрусталика и роговой оболочки; а въ другую сторону идутъ сложные или граненные глаза. Эти сложные глаза такъ разнообразны, что натуралистъ Мюллеръ нашелъ необходимымъ распредѣлить ихъ на три главные класса и на семь подраздѣленій. Наконецъ, эти двѣ системы, то есть, сложные и простые глаза соединяются между собою, и образуютъ еще новыя формы. Кажется, трудно даже требовать, чтобы было соблюдено еще больше постепенности въ развитіи, и чтобы каждая ступенька этого развитія была отмѣчена еще нагляднѣе. То же самое можно сказать и о мозгѣ. У птицъ онъ еще совершенно гладокъ; у млекопитающихъ начинаются из-

вылины и углубленія; у обезьянъ они особенно сильно развиты; у шимпанзе, у орангутанга, у гориллы они болѣе значительны и разнообразны, чѣмъ у низшихъ обезьянъ; у негровъ болѣе, чѣмъ у высшихъ обезьянъ; у европейцевъ еще болѣе, чѣмъ у негровъ. Постепенность соблюдена вполнѣ. Кромѣ того, если мы посмотримъ на исторію человѣчества, то мы и въ ней увидимъ, сквозь безконечную сѣть перепутанныхъ событій, очень медленное совершенствованіе человѣческаго мозга, какъ того спеціальнаго орудія, которое доставляетъ человѣку побѣду въ общей борьбѣ за существованіе. Налагая свою печать на человѣческую дѣятельность каждаго отдѣльнаго поколѣнія и каждаго историческаго періода, это совершенствованіе измѣняетъ также форму самаго органа и величину его вмѣстимости; тщательныя измѣренія многихъ череповъ доказали, что въ общемъ результатъ объемъ этого костянаго ящика замѣтно увеличился у обитателей Парижа съ XII столѣтія по XIX. Если мы припомнимъ, что XII столѣтіе было цвѣтущею эпохою феодализма, крестовыхъ походовъ, папскихъ экоммуникацій и разныхъ другихъ неподражаемыхъ проявленій человѣческаго остроумія, то мы конечно согласимся, что результатъ этихъ тщательныхъ измѣреній не долженъ казаться намъ особенно неожиданнымъ. Если же масса и достоинство человѣческаго мозга совершенствуется до настоящаго времени, то мы имѣемъ полное право заключать по аналогіи, что этотъ процессъ совершенствованія производился также въ до-историческомъ и до-мифическомъ прошедшемъ.

V.

На языкѣ всѣхъ образованныхъ народовъ существуютъ такіа слова, которыя каждый здравомыслящій человѣкъ долженъ употреблять всегда съ крайнею осмотрительностью. А еще гораздо лучше было бы совсѣмъ не употреблять ихъ; но, къ сожалѣнію, это почти невозможно. *Умъ, чувство, инстинктъ, талантъ, гений, темпераментъ, характеръ* и разныя другія выраженія, относящіяся къ психической жизни животныхъ организмовъ, — все это очень опасныя и неудобныя слова. Они заслоняютъ собою живые факты, и никто не знаетъ навѣрное, что именно подъ ними скрывается, хотя каждый ежеминутно произноситъ эти слова, и приэтомъ всегда старается этими непонятными словами что-то такое выразить и что-такое объяснить. Вопросъ объ умственныхъ способностяхъ всѣхъ животныхъ, стоящихъ ниже человѣка, совершенно затемненъ разными непонятными словами, которыя приносятъ особенно много вреда, потому что всѣ къ нимъ прислушались и привыкли, и всѣ воображаютъ, будто въ этихъ знакомыхъ словахъ заключается очень опредѣленный смыслъ. Вамъ ежеминутно

натурно случается слышать, что собака любить хозяина по инстинкту, кошка преслѣдуетъ мышей по инстинкту, ласточка вьетъ гнѣздо по инстинкту, пчела устроиваетъ восковую ячейку по инстинкту. Куда какъ это хорошо и удобно! Все по инстинкту! А что такое инстинктъ — это всѣмъ понимаетъ; это вотъ — когда собака любитъ хозяина, кошка преслѣдуетъ мышей, ласточка и т. д.; вотъ это и есть инстинктъ. Поняли вы теперь, почему собака любитъ хозяина, почему кошка и т. д.? Ну, какъ же не понять. Вы знаете Петра? — Нѣтъ не знаю. — Да это тотъ, что женатъ на Авдотѣ. — Да я и Авдотю не знаю. — Ахъ, Боже мой, да это та, что замужемъ за Петромъ. — А! Ну, теперь знаю и Петра, и Авдотю. Давно бы вы мнѣ такъ объяснили. Благодарю васъ покорно за то, что научили меня уму-разуму! Мы почти всегда разсуждаемъ такимъ манеромъ, т. е. неизвѣстнаго Петра объясняемъ неизвѣстною Авдотєю, а потомъ, когда прислушаемся, во время объяснительнаго разговора къ обоимъ неизвѣстнымъ именамъ, то начинаемъ считать ихъ извѣстными, и вопросъ оказывается рѣшеннымъ. На сколько подобное рѣшеніе вопросовъ можетъ быть полезно для нашего умственнаго развитія, — объ этомъ пусть разсуждаетъ мой просвѣщенный читатель, какъ ему самому будетъ угодно. Я же, съ своей стороны, перейду къ изображенію нѣкоторыхъ фактовъ изъ той дѣятельности животныхъ, которую мы такъ превосходно объяснили словомъ: *инстинктъ*.

Извѣстно, что наша европейская кукушка кладетъ свои яйца въ гнѣзда другихъ птицъ; эта другая птица очень добросовѣстно высиживаетъ подкидышей наравнѣ съ своими собственными дѣтьми, а высиженный подкидышъ, при первой возможности, выживаетъ, т. е. просто выбрасываетъ изъ гнѣзда своихъ благопріобрѣтенныхъ братцевъ и сестрицъ. Подобная исторія повторяется каждый годъ, и порода кукушекъ постоянно процвѣтаетъ, благодаря своей догадливости и безцеремонности. Если мы предположимъ, что этотъ инстинктъ кукушки возникъ въ ея породѣ мгновенно, то одно это предположеніе повалитъ всю теорію медленнаго развитія, потому что одинъ скачекъ, какъ бы ни былъ онъ самъ по себѣ незначителенъ, будетъ доказывать возможность скачковъ, а эта возможность находится въ радикальной и непримиримой враждѣ со всякимъ простымъ и естественнымъ объясненіемъ существующихъ явленій. Поэтому необходимо отыскать въ живой природѣ причины этого инстинкта и тотъ путь постепенныхъ измѣненій, по которому онъ долженъ былъ пройти къ своему теперешнему положенію. Причины дѣйствительно найдены и путь развитія можетъ быть указанъ съ приблизительною вѣрностью. Кукушка несетъ яйца не каждый день, а черезъ два и черезъ три дня; если бы она сама высиживала ихъ въ собственномъ гнѣздѣ, то старшія яйца уже превратились бы въ птенцовъ, въ то время, какъ младшія находились бы еще въ своемъ первобытномъ состояніи. Это

было бы очень неудобно во многихъ отношеніяхъ. Живые птенцы своими движеніями могли бы помѣшать развитію младшихъ братьевъ, пожалуй, даже могли бы продавать скорлупки ихъ яицъ; для птенцовъ требуется пища, а между тѣмъ мать не можетъ отлетѣть отъ яицъ, которыя постоянно нуждаются въ ея теплотѣ; такимъ образомъ, всѣ заботы о прокормленіи старшихъ дѣтей должны упасть на отца, а, кажется, самцы во всемъ мірѣ животныхъ управляются съ такими дѣлами не такъ удачно, какъ самки. Но эти неудобства не составляютъ еще непреодолимаго препятствія, и американская кукушка, которая также кладетъ яйца не ежедневно, свиваетъ свое собственное гнѣздо, и сама заботится о своемъ потомствѣ, не смотря на эти неудобства. Гораздо важнѣе то, что европейской кукушкѣ приходится очень рано отлетать въ теплый климатъ; это неудобство уже не можетъ быть устранено, и, вслѣдствіе этого обстоятельства, кукушка, свившая свое собственное гнѣздо, была бы принуждена оставить большую часть своихъ дѣтей въ самомъ безпомощномъ состояніи. Стало бытъ, подкидываніе яицъ въ чужія гнѣзда дѣлается вовсе не по беззаботности, а, напротивъ, именно по любви къ дѣтямъ, и вслѣдствіе желанія устроить ихъ судьбу какъ можно благополучнѣе. Положимъ теперь, что древняя прародительница нынѣшней европейской кукушки устроивала свои дѣла такъ, какъ устроиваетъ ихъ теперешняя американская кукушка; высидѣвъ своихъ дѣтей, она собирается летѣть въ теплый климатъ; въ это время она чувствуетъ потребность снести яйцо, и въ это же время она видитъ чужое гнѣздо. О высиживаніи этого запоздалаго яйца ей нельзя и подумать; она находится на отлетѣ, ей уже становится холодно, или, — что все равно, — та пища, которая для нея необходима, дѣлается уже очень рѣдкою въ это время года; стало бытъ, ей предстоитъ альтернатива, или уронить яйцо на полъ, или положить его въ то гнѣздо, которое она видитъ. Въ этомъ случаѣ, та естественная, или инстинктивная, или какая вамъ угодно, заботливость, которую всѣ матери обнаруживаютъ къ своему потомству, должна оклонить запоздавшую кукушку къ тому, чтобы бережно положить свое послѣднее яйцо въ чужое гнѣздо, вмѣсто того, чтобы совершенно небрежно бросить его на землю. Очень правдоподобно, что это подкинутое яйцо будетъ счастливиѣе и разовьется лучше своихъ братьевъ, высиженныхъ самою матерью, которая принуждена была во время высиживанія возиться постоянно съ голодными птенцами разныхъ возрастовъ. Если подкидыши будутъ постоянно превосходить другихъ птенцовъ кукушки здоровьемъ и крѣпостью, то они постоянно будутъ ихъ переживать и расплодятся сильнѣе ихъ. Вѣроятно, эти подкидыши, или по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ получаютъ по наслѣдству отъ своей матери ту догадливость, которая побудила ее воспользоваться чужимъ гнѣздомъ. Та кукушка, въ которой

эта догадливость будет особенно развита, сообразить, что, если можно положить въ чужое гнѣздо одно яйцѣ, то отчего же не распорядиться такимъ же образомъ и со всѣми остальными; сообразить она это тѣмъ скорѣе, чѣмъ неудобіе ей будетъ нанячиться съ птенцами разныхъ возрастовъ и съ недосиженными яйцами; а такъ какъ неудобство это довольно значительно, то и соображеніе, по всей вѣроятности, явится на выручку довольно быстро. Соображающая кукушка будетъ имѣть преимущество передъ несоображающею, потому что потомство первой, благодаря добросовѣстнымъ стараніямъ разныхъ обманутыхъ матерей изъ другихъ птичьихъ породъ, будетъ развиваться и выкармливаться лучше, чѣмъ потомство второй кукушки, болѣе усердной, но менѣе остроумной. Но мы уже давно знаемъ, что преимущество, какъ бы оно ни было незамѣтно, всегда доставляетъ со временемъ своему обладателю полную побѣду въ истребительной борьбѣ за существованіе. Поэтому, мы можемъ сказать навѣрное, что чрезъ нѣсколько десятковъ или сотенъ лѣтъ, типъ добродѣтельной кукушки будетъ совершенно вытѣсненъ типомъ кукушки практической. Можетъ быть, инстинктъ подкидыванія найдетъ себѣ поддержку въ томъ обстоятельствѣ, что подкидывающая мать сама выросла въ чужомъ гнѣздѣ, и поэтому считаетъ именно эти гнѣзда естественнымъ пріютомъ молодой кукушки. Можетъ быть, тутъ дѣйствуютъ воспоминанія дѣтства. У Дарвина есть одно мѣсто, которое, по видимому, намекаетъ на возможность такихъ воспоминаній. «Аналогія, говорить онъ, побуждаетъ насъ заключить, что птенцы *высиженные и вскормленные такимъ образомъ чужими родителями*, наследуютъ въ большей или меньшей степени ту ненормальность инстинкта, вслѣдствіе которой ихъ мать отказала имъ въ своихъ попеченіяхъ». Я подчеркнул тѣ слова, въ которыхъ я вижу возможность намека, но такъ какъ этотъ намекъ выраженъ очень легко и не совсѣмъ ясно, то я и не рѣшаюсь настаивать на своемъ предположеніи о возможности кукушкиныхъ воспоминаній.

Не думаю однако, чтобы мы имѣли основаніе совершенно отвергать существованіе этихъ и многихъ другихъ проявленій умственной жизни въ мірѣ животныхъ. Когда мы видимъ, со стороны какого нибудь животного, рядъ поступковъ, направленныхъ къ извѣстной цѣли, и исполнѣ достигающихъ этой цѣли, то мы обыкновенно, по нашей всеобъемлющей мудрости, утверждаемъ сплеча, что животное не знаетъ, къ чему именно влονται его поступки, что оно дѣйствуетъ совершенно безсознательно, подобно тому, какъ шарманка выпускаетъ изъ себя одну ноту за другою, не имѣя ни малѣйшей возможности слѣдить за развитіемъ мелодіи. Можетъ быть, это сравненіе животного съ шарманкою въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно вѣрно; можетъ быть даже, это сравненіе прилагается также удачно къ нѣкоторымъ дѣйствіямъ человека. Напримѣръ,

половое влеченіе клонится къ размноженію породы; а между тѣмъ, влюбленный юноша всего менѣе думаетъ о предстоящихъ обязанностяхъ отца; каждый его поступокъ, каждое слово, каждое помышленіе ежеминутно стремится къ этой неизбежной развязкѣ, а въ то же время, самая развязка, быть можетъ, даже пугаетъ его, какъ значительное приращеніе заботъ и непосильныхъ расходовъ. Здѣсь человѣкъ, очевидно, изображаетъ собою шарманку. Но когда молодая женщина, чувствуя приближеніе срока своей беременности, старается приготовить для будущаго ребенка пеленки и рубашечки, тогда никто не скажетъ, что она поступаетъ безсознательно, по неизвѣстному ей импульсу. Можетъ быть, жизнь кукушки представляетъ намъ такія же явленія, отчасти шарманочныя, отчасти нешарманочныя. Но какое явленіе отнести къ одной категоріи, какое—къ другой?—это, мнѣ кажется, вопросъ чрезвычайно затруднительный, и даже не всегда разрѣшимый. Когда юная и дѣвственная кукушка въ первый разъ въ жизни отдаетъ любимому самцу лапку и сердце, то знаетъ ли она, что за актомъ любви послѣдуетъ кладка яицъ? Можно ли дать на этотъ вопросъ опредѣленный отвѣтъ? И возможенъ ли тутъ вообще такой отвѣтъ, который отвѣчалъ бы разомъ на всѣ отдѣльные случаи этого вопроса? Можетъ быть, одна кукушка знаетъ, а другая не знаетъ, смотря по тому, какъ великъ, или какъ малъ запасъ ея житейской опытности. Но мы видимъ, что американская кукушка, подобно всѣмъ другимъ птицамъ, свиваетъ себѣ гнѣздо тотчасъ послѣ того, какъ началась нормальная дѣятельность ея половой системы. Дѣйствуетъ ли она въ этомъ случаѣ, какъ шарманка или нѣтъ? Что побуждаетъ ее къ этому дѣйствію? Тутъ можно выразить только два предположенія: или ей пріятно строить гнѣздо; то есть, удовлетворивъ своему половому влеченію, она чувствуетъ потребность успокоиться, усѣсться на мѣстѣ, какъ можно комфортабельнѣе, и поэтому старается окружить себя тѣми удобствами, которыя ей можетъ доставить ея кукушечья ловкость и сметливость. Или же, она устраиваетъ гнѣздо съ опредѣленною цѣлью, т. е., поступаетъ такъ же сознательно, какъ поступаетъ молодая женщина, заготавливающая колыбель и пеленки. Никакого третьяго предположенія допустить нельзя. Найдите мнѣ хоть одинъ примѣръ, чтобы какое нибудь животное, находящееся въ совершенно здоровомъ состояніи, добровольно принимало на себя, безъ всякой опредѣленной цѣли, трудъ, не доставляющій ему въ данную минуту ни малѣйшаго наслажденія. Но первое предположеніе наше оказывается несостоятельнымъ. Если бы птица чувствовала потребность устроить удобный пріютъ лично для себя, то европейская кукушка, находящаяся въ самомъ ближайшемъ родствѣ съ американскою, также свивала бы себѣ гнѣздо; мы знаемъ, напротивъ того, что она этого не дѣлаетъ, и что она устраиваетъ свои дѣла такъ, какъ это удобно для

ея будущихъ дѣтей. Это значить, что шарманка, смотря по обстоятельствамъ, играетъ то «la donna e mobile,» то «Marlborough s'en va-t-en guerre;» и сама оцѣниваетъ обстоятельства, и выбираетъ именно ту пьесу, которая всего болѣе соотвѣтствуетъ требованіямъ времени и мѣста. Согласитесь, что такая дипломатирующая шарманка въ значительной степени похожа, на примѣръ, на опытнаго редактора, выбирающаго для своей книжки именно тѣ статьи, которыя въ данную минуту могутъ понравиться большинству читающаго общества. Согласитесь также, что, имѣя дѣло съ такою благовоспитанною шарманкою, мы не имѣемъ никакого разумнаго основанія утверждать съ плеча, что въ ней не совершается никакого особеннаго процесса, или, что въ ней совершается такой процессъ, который не имѣетъ ничего общаго съ размышленіемъ. Произнести слово *инстинктъ* очень не трудно, но вѣдь мы уже давно знаемъ эту исторію: Петръ женатъ на Авдотѣ, а Авдотѣ замужемъ за Петромъ. Отъ этого дѣло не подвигается дальше, ни назадъ, ни впередъ.

Много другихъ вопросовъ приходится задавать себѣ по поводу кукушкиныхъ поступковъ. Если она неслась въ нынѣшнемъ году, то вспомнить ли она до будущаго года тотъ рядъ причинъ и слѣдствій, который составляетъ собою актъ дѣторожденія во всей его сложности и во всѣхъ различныхъ фазахъ его развитія? — Этотъ вопросъ сводится на другой вопросъ, болѣе общій: способна ли вообще кукушка, или какая нибудь другая, близкая къ ней птица, накоплять въ своемъ умѣ прямые указанія своего личнаго опыта? Если мы отвѣтимъ на этотъ вопросъ: «способна,» то мы этимъ отвѣтомъ окончательно допустимъ возможность птичьяго прогресса, въ самомъ обширномъ значеніи этого слова. Мы допустимъ не только прогрессъ породы, совершающійся въ теченіи тысячелѣтій, посредствомъ естественнаго выбора, — но и прогрессъ отдѣльнаго субъекта, совершающійся въ теченіи дней и мѣсяцевъ, посредствомъ разнообразныхъ впечатлѣній, — словомъ тотъ прогрессъ, который называется воспитаніемъ, и который достается на долю каждому изъ насъ въ родительскомъ домѣ, въ школѣ и въ жизни. Если же мы отвѣтимъ: «неспособна,» то я рѣшительно не знаю, какимъ образомъ мы объяснимъ, на примѣръ, слѣдующій общій фактъ, извѣстный каждому ружейному охотнику, безъ исключенія. Когда вы приходите съ ружьемъ въ такую мѣстность, въ которой не было сдѣлано ни одного выстрѣла въ теченіи многихъ лѣтъ, то вы можете смѣло идти прямо къ птицѣ, останавливаться въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, и совершенно открыто прицѣливаться; птица не полетитъ, и даже будетъ смотрѣть на васъ съ нѣкоторымъ любопытствомъ. Когда же вы, пользуясь этою первобытною невинностью птицъ, пострѣляете въ этой благословенной мѣстности недѣли двѣ, три, тогда птицы сдѣлаются гораздо болѣе осторожными, и вамъ придется подкрадываться, и употреблять раз-

личными хитрости. Вамъ тогда всякій мужикъ скажетъ, что птица напугана, и вы, вѣроятно, не найдете въ этихъ простыхъ словахъ ровно ничего удивительнаго; а между тѣмъ, что значить «напугана»? Значить, составила себѣ понятіе объ опасности, которая прежде была ей неизвѣстна; значить — присоединила новый опытъ къ своему прежнему запасу житейскихъ опытовъ. Если это не прогрессъ, то я, послѣ этого, рѣшительно не знаю, что такое прогрессъ. Но, если кукушка можетъ приобрѣтать себѣ опытность посредствомъ личныхъ впечатлѣній, то не можетъ ли она также кое-чему научиться, глядя на старшихъ кукушекъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно мы не можемъ. Если же такая передача опыта изъ поколѣнія въ поколѣніе дѣйствительно существуетъ, то намъ необходимо будетъ въ каждомъ поступкѣ кукушки отдѣлять элементъ врожденности отъ элемента воспитанія.

Тоже самое можно сказать о каждомъ поступкѣ каждого другого животного. Пока намъ не удастся ясно разграничить эти два элемента, до тѣхъ поръ всѣ наши понятія объ умственныхъ отправленияхъ животныхъ будутъ въ высшей степени сбивчивы и неудовлетворительны. Въ самомъ рельефномъ фактѣ, который извѣстенъ намъ изъ обычая кукушки, въ инстинктѣ подкидыванія, намъ, или по крайней мѣрѣ, мнѣ представляется очень много неясныхъ сторонъ, требующихъ значительнаго количества изслѣдованій и наблюденій. Напримѣръ, кладетъ ли кукушка свои яйца въ первое попавшееся гнѣздо, или она обнаруживаетъ предпочтеніе къ гнѣздамъ извѣстныхъ породъ? Если это предпочтеніе существуетъ, то какимъ именно образомъ оно выражается? Выбираетъ ли кукушка то или другое гнѣздо, смотря по его формѣ? Или она кладетъ свои яйца къ такимъ птицамъ, которыхъ яйца до нѣкоторой степени похожи на кукушечьи? Вѣдь если бы кукушка подкинула ихъ, напримѣръ, къ курицѣ, то врядъ ли это было бы особенно удобно для кукушечьяго потомства, потому что насѣдка, при всемъ своемъ добродушіи, никакъ не могла бы принять кукушечье яйцо за свое собственное. Конечно къ курицѣ кукушка не можетъ подкинуть, но вѣдь есть и между лѣсными птицами такіа, которыхъ яйца очень рѣзко отличаются отъ кукушечьихъ. Или, наконецъ, кукушка выбираетъ гнѣзда тѣхъ птицъ, которыя по мельче и по слабѣе, и которыхъ, слѣдовательно, подкинутый птенецъ можетъ со временемъ вышвырнуть изъ родительскаго пріюта? Все это вопросы въ высшей степени интересные, и если бы они были удовлетворительно разрѣшены прямыми наблюденіями, то умственная жизнь кукушки разъяснилась бы для насъ въ значительной степени.

Я не ручаюсь за то, что эти вопросы вполне удачно поставлены, но, мнѣ кажется, насъ не должно смущать то обстоятельство, что они, повидимому, предполагаютъ въ кукушкѣ очень обширное развитие мы-

слительной дѣятельности. Наслѣдственная сообразительность, личный опытъ, вліяніе старшихъ птицъ, а главное—постоянный контроль естественнаго выбора, сохраняющаго только самыя полезныя инстинкты, все это вмѣстѣ можетъ дать намъ самыя изумительныя результаты. Грей и нѣкоторые другіе наблюдатели доказали, что европейская кукушка не совсѣмъ утратила свою материнскую нѣжность и свою заботливость о птенцахъ. Въ какой специальной формѣ проявляются эти свойства и какимъ образомъ они уживаются съ инстинктомъ подкидыванія — если только мы не примемъ самаго подкидыванія за вынужденное видоизмѣненіе материнской любви — этого Дарвинъ не сообщаетъ; а такъ какъ мои личныя зоологическія свѣдѣнія совершенно ничтожны, то и я ровно ничего не могу сообщить читателю о материнской нѣжности кукушки.

Можетъ быть, и даже вѣроятно, всѣ вопросы, на которые навели меня поступки этой птицы, давнымъ давно поставлены и разрѣшены различными натуралистами, но наше читающее общество объ этомъ ровно ничего не знаетъ, и я также ровно ничего не знаю. Выписалъ же я всѣ эти вопросы, приведшіе мнѣ въ голову, конечно, не для того, чтобы принести пользу естествознанію; такая претензія была бы смѣшна и глупа до послѣдней степени; а для того, чтобы показать подобнымъ мнѣ профанамъ, какая бездна непонятныхъ для насъ подробностей заключается въ каждомъ мельчайшемъ фактѣ, совершающемся ежеминутно передъ нашими глазами, въ каждомъ изъ тѣхъ безчисленныхъ фактовъ, которые мы, по своей крайней неразвитости, считаемъ совершенно простыми и незаслуживающими нашего просвѣщеннаго вниманія.

VI.

Самка американскаго страуса (*Rhea americana*), подобно кукушкѣ, несетъ яйца не каждый день, а черезъ два и черезъ три дня. Вслѣдствіе этого, нѣсколько самокъ составляютъ между собою ассоціацію, и общими силами устрояють на землѣ нѣсколько гнѣздъ; за тѣмъ каждая изъ участвующихъ самокъ кладетъ въ первое гнѣздо по нѣскольку яицъ, и, когда гнѣздо такимъ образомъ наполнится, то высиживание поручается одному изъ самцовъ. Черезъ два или черезъ три дня, такимъ же образомъ наполняется второе гнѣздо, за тѣмъ третье, и такъ далѣе, до самаго конца носки. Повидимому, этотъ инстинктъ въ настоящее время еще не успѣлъ окончательно сформироваться и установиться; многіе страусы роняютъ свои яйца, гдѣ случится, такъ что Дарвинъ, находясь на охотѣ, въ одинъ день видѣлъ на равнинѣ

штухъ двадцать брошенныхъ и испорченныхъ яицъ этой породы. Инстинктъ ассоціаціи вырабатывается именно посредствомъ истребленія этихъ яицъ. Та самка, которая постоянно будетъ усыпать своими яйцами равнины Южной Америки, разумѣется, не оставитъ послѣ себя ни одного потомка, и слѣдовательно, никому не передастъ по наслѣдству свои безпорядочныя привычки. Напротивъ того, тѣ самки, которыя всего болѣе расположены къ составленію полезныхъ ассоціацій, выкормятъ себѣ самое многочисленное потомство, и въ этомъ новомъ поколѣніи повторится та же самая исторія. Такимъ образомъ, число безпечныхъ самокъ будетъ постоянно уменьшаться, а число самокъ, одаренныхъ общественными инстинктами, будетъ также постоянно возрастать, до тѣхъ поръ, пока стремленіе къ ассоціаціи не сдѣлается непремѣннымъ свойствомъ каждаго отдѣльнаго страуса, подобно тому, какъ оно сдѣлалось свойствомъ пчелы и муравья.

Нѣкоторые насѣкомыя поступаютъ совершенно такъ, какъ европейскія кукушки. Въ семействѣ пчелъ есть много паразитовъ, которые всегда кладутъ свои яички въ гнѣзда другихъ пчелиныхъ породъ, и это извращеніе инстинктовъ связано у нихъ съ измѣненіемъ въ организаціи. У этихъ чужеядныхъ пчелъ нѣтъ на ногахъ того снаряда, посредствомъ котораго самостоятельныя пчелы собираютъ цвѣточную пыль, необходимую для пропитанія вылупившихся личинокъ. Многія породы осъ также воспитываютъ свое потомство на чужой счетъ. Въ этомъ отношеніи оса *Tachytes nigra* особенно замѣчательна потому, что у нея инстинктъ паразитизма въ настоящее время только что развивается, и до сихъ поръ находится еще въ неустановившемся состояніи. Обыкновенно она сама трудится для своего потомства, но при удобномъ случаѣ она воруетъ. Это насѣкомое принадлежитъ къ многочисленной группѣ тѣхъ осъ, которыя ведутъ одинокую жизнь, и устрояютъ въ землѣ гнѣздо для своихъ личинокъ; когда гнѣздо готово, тогда оса наполняетъ его съѣстными припасами; для этого она отправляется на охоту за разными насѣкомыми, которыхъ она побѣждаетъ болѣею частью посредствомъ нечаяннаго-нападенія. Оса внезапно кидается на свою добычу, и, пользуясь первою минутою ея испуга, схватываетъ ее своими острыми челюстями за голову; потомъ направляетъ заднюю часть своего тѣла подъ ея животъ и наноситъ ей рану своимъ жаломъ, находящимся въ связи съ ядовитою желѣзкою. Ядъ осы дѣйствуетъ на раненое насѣкомое мгновенно, но не убиваетъ его, а только погружаетъ въ совершенное оцѣпенѣніе, такъ что оно теряетъ способность стоять, ходить, или вообще дѣлать какое бы то ни было произвольное движеніе. Оса переноситъ побѣжденное насѣкомое въ свое гнѣздо, и продолжаетъ совершать такіе же подвиги до тѣхъ поръ, пока не наберется достаточный запасъ парализованной добычи. Тогда она кладетъ свои яички,

и затѣмъ перестаетъ заботиться о ихъ дальнѣйшей участи. Изъ яичекъ выходятъ личинки—маленькіе, безногіе червячки, которые тотчасъ принимаются за истребленіе съѣстныхъ припасовъ; съѣстные припасы эти свѣжи и мягки, потому что пораженные насѣкомыя живы, и могутъ прожить въ гнѣздѣ оси нѣсколько недѣль или даже нѣсколько мѣсяцевъ. Они, вѣроятно, чувствуютъ, какъ личинка въѣдается въ ихъ тѣло, но не могутъ оказать ни малѣйшаго сопротивленія своему слабому и ничтожному врагу. Въ гнѣздо оси попадаютъ такимъ образомъ, для продовольствія ея потомства, личинки или гусеницы разныхъ бабочекъ, мухи, мелкіе кузнечики, а иногда даже пчелы, пауки и тараканы, которыхъ оса побуждаетъ послѣ упорной и опасной борьбы. Оса *Tachytes nigra* обыкновенно поступаетъ точно также, но, если ей случается найти гнѣздо, вырытое и уже наполненное трудами другой оси, то она кладетъ свои яички, и ея личинки поѣдаютъ то, что было назначено для потомства законной хозяйки. *Tachytes nigra* находится, стало быть, въ переходномъ состояніи, и балансируетъ въ настоящее время между двумя различными складами привычекъ. Во многихъ другихъ семействахъ ось чуждадыне инстинкты окончательно установились, и проявляются въ самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ. Одни, напримѣръ, хризмиды или золотныя оси тайкомъ кладутъ свои яички въ гнѣзда пчелъ или другихъ осъ. Другія, напримѣръ, ихневмониды, прокалываютъ кожу живыхъ гусеницъ или даже взрослыхъ насѣкомыхъ, и кладутъ яички прямо въ ихъ тѣло, такъ что личинки этихъ осъ ѣдятъ живое существо, которое вмѣстѣ съ ними ходитъ, бѣгаетъ и летаетъ, до тѣхъ поръ, пока непрошенныя гости не заберутся слишкомъ глубоко, и не положить конецъ всякому бѣганію и летанію. Наконецъ, третьи, напримѣръ *Hemiteles* и *Chrysolampus*, очень маленькія насѣкомыя, распоряжаются еще хитрѣе: они кладутъ свои яйца въ такую чуждадную личинку, которая сама сидитъ подъ кожей живаго насѣкомаго. Такимъ образомъ личинка оси *Bracop* наѣдается жиромъ гусеницы, а въ это самое время ея собственный жиръ истребляется личинкою *Hemiteles*; точно также личинка *Aphidius* ѣстъ живую тлю, и сама съѣдается за живо личинкою *Chrysolampus*. При этомъ надо замѣтить, что *Hemiteles* и *Chrysolampus* никогда не воспитываются иначе, а такъ какъ эти насѣкомыя очень многочисленны, то само собою разумѣется, что въ природѣ должны встрѣчаться на каждомъ шагу трехъ-этажныя строенія самой оригинальной архитектуры. Первый этажъ — гусеница или тля; второй — личинка *Bracop* или *Aphidius*; и третій — личинка *Hemiteles* или *Chrysolampus*.

Карамзинъ въ «Письмахъ русскаго путешественника» сообщаетъ читателямъ, что онъ однажды написалъ въ своемъ дневникѣ: «Любезная природа!» и заплакалъ отъ сладостнаго волненія. Если бы Карамзину случалось иногда созерцать въ природѣ трехъ-этажныя зданія вышеописан-

гланной конструкціи, то, по всей вѣроятности, волненіе его было бы мѣ-
вѣе сладостно, и, можетъ быть, ему удалось бы понять, что любезность
природы совсѣмъ не такъ велика, какъ это можетъ показаться русскому
путешественнику, одаренному чувствительнымъ сердцемъ, и не обременен-
ившему свой умъ полезными знаніями. Впрочемъ, человѣческое остро-
уміе такъ неистощимо, знакомство человѣка съ природою такъ неудо-
влетворительно, и замѣчательные умы, способные обнять и осмыслить
всю совокупность собранныхъ наблюденій, такъ рѣдѣя, что, кажется,
нельзя выдумать той идиллической негѣлости, которая не нашла бы
себѣ глубокомысленныхъ защитниковъ даже между современными евро-
пейскими натуралистами. Дарвину приходится иногда сталкиваться съ
такими соображеніями, которыя смѣло могутъ стать рядомъ съ «любез-
ною природою» Карамзина.

«Предъидущія замѣчанія, говоритъ онъ, даютъ мнѣ поводъ сказать
нѣсколько словъ о протестѣ, поднятомъ въ послѣднее время нѣкото-
рыми натуралистами противъ утилитарнаго ученія, по которому каждая
подробность строенія сложилась для блага одареннаго ею организма.
Эти натуралисты полагаютъ, что многія черты строенія созданы лишь
для того, чтобы прельщать глазъ человѣка, или просто для разнообра-
зія.» (Русскій переводъ стр. 161).

Совершенно справедливо разсуждаютъ эти остроумные натуралисты.
Враспѣ вносятъ драматическое «разнообразіе» въ безцвѣтную жизнь гусени-
цы, а Hemiteles «прельщаетъ глазъ человѣка» поучительнымъ зрѣлищемъ
правосуднаго наказанія. А теперь мы снова обратимся къ менѣе философи-
ческимъ соображеніямъ. Хризиды и другія осы, воспитывающія свое потом-
ство въ чужихъ гнѣздахъ, обыкновенно дѣйствуютъ очень осторожно, под-
крадываются къ гнѣзду во время отсутствія хозяйки, и стараются по-
ложить свои яички такъ, чтобы хозяйка не замѣтила ихъ послѣ своего
возвращенія. Но та пчела или оса, которой принадлежитъ гнѣздо, также
держитъ ухо востро, твердо помнить наружность и обычаи чужаедныхъ
породъ, и при всякомъ удобномъ случаѣ, расправляется съ ними очень
круто. Вслѣдствіе этого происходятъ часто самыя драматическія столк-
новенія между двумя чадолюбивыми матерями, изъ которыхъ одна тру-
дится для своихъ дѣтей, а другая также для своихъ дѣтей рѣшается
на воровство, сопряженное съ опасностью жизни.

«Золотая оса *Hedychrum regium*, говоритъ Карлъ Фохтъ въ своихъ
«Зоологическихъ письмахъ», кладетъ свои яйца въ гнѣзда обыкновен-
ной стѣнной пчелы (*Osmia muraria*). Эти гнѣзда устроиваются на ста-
рыхъ стѣнахъ, часто на значительной высотѣ, и строительница напол-
няетъ ихъ запасомъ меда и цвѣточной пыли. Эта пища, собранная
пчелою для ея собственной личинки, съѣдается заблаговременно чужае-
дными личинками золотой осы, если только послѣдней удастся подкр-
днуться

свои лички въ гнѣздо. Одна золотая оса высмотрѣла гнѣздо такой стѣнной пчелы и, оборотившись задомъ къ этому гнѣзду, только что хотѣла просунуть заднюю часть своего тѣла въ отверстіе ячейки, чтобы положить въ не свое личко, какъ вдругъ стѣнная пчела прилетѣла домой съ грузомъ цвѣточной пыли, бросилась на своего врага съ особеннымъ жужжаніемъ и схватила осу своими острыми челюстями. Золотая оса, по обыкновенію своей породы, въ ту же минуту свернулась въ клубокъ. Пчела напрасно пыталась нанести ей рану сквозь твердый панцирь, и когда ей усилія въ этомъ отношеніи остались безплодными, тогда она, наконецъ, откусила у нея всѣ четыре крыла у самого корня и потомъ бросила ее на землю; послѣ этого пчела съ замѣтнымъ безпокойствомъ обыскала свое гнѣздо и, убѣдившись, что личка нѣтъ, улетѣла опять на промыселъ. Стѣнная пчела полагала, безъ сомнѣнія, что, откусивъ у золотой осы крылья, она отвала у нея возможность снова добраться до гнѣзда. Но расчетъ этотъ былъ невѣренъ. Какъ только стѣнная пчела оставила свое гнѣздо, золотая оса, лежавшая на землѣ, развернулась, прямо по стѣнѣ поползла къ гнѣзду и положила въ него свое личко» (*Zoologische Briefe. I-er Band. S. 554 и 555 **).

Осторожность, хитрость, неустрашимая твердость характера, умѣнье свертываться въ клубокъ и чужедный инстинктъ—все это идетъ одно къ одному, и все это должно было развиваться въ одно время. Всѣ эти особенности ума и тѣлосложенія порождены гнетущею необходимостью, усовершенствованы постояннымъ упражненіемъ, и упрочены безпрерывнымъ дѣйствіемъ естественнаго выбора. Каждое отдѣльное существо такой чужедной породы живетъ на свѣтѣ только вслѣдствіе удачнаго обмана, совершеннаго его матерью надъ какимъ нибудь другимъ насѣкомымъ. Понятно, стало быть, что только самыя хитрыя осы успѣваютъ пристроить своихъ личинокъ, и что искусство обманывать должно постоянно совершенствоваться, потому что бдительность обираемыхъ породъ также развивается посредствомъ естественнаго выбора. Золотая оса постоянно совершенствуетъ стѣнную пчелу, подобно тому, какъ Карлъ XII усовершенствовалъ стратегическія способности Петра Великаго. Здѣсь, какъ и вездѣ, прогрессъ составляетъ прямое слѣдствіе борьбы и соперничества.

VII.

Инстинкты кукушки, американскаго страуса и чужедныхъ насѣкомыхъ могутъ быть названы очень простыми, если мы сравнимъ ихъ съ

*) «Зоологическія письма» К. Фохта переведены на русскій языкъ.

тѣми сложными проявленіями умственной дѣятельности, которыя представляются намъ въ общественной жизни пчелъ и муравьевъ. Но мы уже видѣли, что происхожденіе самыхъ сложныхъ и совершенныхъ органовъ объясняется теоріею естественнаго выбора такъ же удовлетворительно, какъ и происхожденіе самыхъ простыхъ особенностей тѣлосложенія. Глазъ животнаго гораздо сложнѣе, чѣмъ нога или хвостъ, а между тѣмъ, и глазъ, и нога, и хвостъ, и всѣ другіе органы совершенствовались постепенно, и притомъ такъ, что каждое улучшение или усложненіе органа было полезно тому существу или, вѣрнѣе, той породѣ, у которой это усложненіе или улучшение проявлялось и упрочивалось. Вся разница между исторіею глаза и исторіею какого нибудь другаго, болѣе простаго органа, заключается только въ томъ, что глазъ испыталъ большее количество видоизмѣненій, и что, слѣдовательно, на его формированіе потрачено болѣе времени, то есть болѣе значительное число животныхъ поколѣній.

То же самое можно сказать и объ инстинктахъ; чѣмъ проще инстинктъ, тѣмъ скорѣе онъ могъ выработаться; чѣмъ сложнѣе инстинктъ, тѣмъ дольше ему надо было выработываться. Но, какъ бы ни былъ усложненъ какой нибудь инстинктъ, никогда его сложность не можетъ служить убѣдительнымъ аргументомъ въ пользу необъяснимыхъ скачковъ и противъ теоріи медленныхъ видоизмѣненій. Отказаться отъ этой теоріи при встрѣчѣ съ очень сложнымъ явленіемъ органической жизни значить вообще отказаться отъ всякой попытки объяснить и понять происхожденіе этого явленія, или, другими словами, значить отрѣзать въ данномъ направленіи всякій дальнѣйшій путь научнаго изслѣдованія. Когда вамъ говорятъ, что первый муравей произошелъ на свѣтъ со всѣми своими лапками, челюстями, усиками и инстинктами, словомъ, совершенно въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ его потомки являются передъ вами въ настоящую минуту, тогда, разумѣется, у васъ заранѣе отнимаютъ навсегда всякую надежду узнать что бы ни было о томъ, какимъ образомъ муравей возникалъ и развивался. Теорія Дарвина не посягаетъ такимъ образомъ на будущіе успѣхи науки; она отрываетъ передъ мыслителемъ тотъ единственный путь, который можетъ современемъ ввести человѣческій умъ въ самыя таинственныя и недоступныя лабораторіи природы; но, если бы мы стали требовать отъ этой теоріи чтобы она теперь, тотчасъ же, объяснила намъ все то, чего мы не понимаемъ, и чтобы она кромѣ того, подкрѣпила всѣ свои объясненія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, осизательными фактами, то такія требованія обнаружили бы только крайнее ребячество нашей мысли, которая все ожидаетъ, что когда нибудь жаренные рябчики сами собою свалятся къ ней въ ротъ. Встрѣчаясь съ инстинктами или умственными способностями животнаго царства, теорія Дарвина, болѣе, чѣмъ гдѣ либо, при-

нуждена ограничиваться совершенно общими и чисто гипотетическими объяснениями, не потому, что она не въ силахъ справиться съ фактами, а напротивъ, потому, что фактовъ собрано слишкомъ мало, и еще потому что для прошедшихъ временъ не существуетъ совсѣмъ никакихъ фактическихъ данныхъ. Мы можемъ дѣлать очень много предположеній на счетъ того, что сложные инстинкты развивались такъ и такъ и проходили черезъ такіа-то и такіа-то фазы, но показать эти фазы въ живой природѣ не всегда бываетъ возможно; а отыскать въ геологическихъ остаткахъ какіе нибудь намеки на минувшее существованіе этихъ фазъ мы рѣшительно не въ состояніи. Объ умственныхъ способностяхъ исчезнувшихъ породъ мы не можемъ имѣть ни малѣйшаго понятія; мы также не можемъ знать, каковы были инстинкты теперешнихъ животныхъ за нѣсколько тысячелѣтій до нашего времени; и наконецъ, совершенно неосновательно было бы ожидать, что живая природа представитъ намъ въ настоящую минуту такой непрерывный рядъ родственныхъ животныхъ породъ, по которому мы могли бы прослѣдить всѣ переходныя фазы въ развитіи всѣхъ существующихъ инстинктовъ, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая самыми сложными. Мы уже знаемъ давно, что усовершенствованная порода всегда вытѣсняетъ и истребляетъ неусовершенствованную, а для сохраненія породы развитые инстинкты имѣютъ такое же важное значеніе, какъ, напримѣръ, крѣпкіе мускулы, острые когти или зоркіе глаза. Здѣсь, какъ и вездѣ, органическая природа идетъ впередъ и, самымъ процессомъ своего движенія, замечаетъ за собою свой слѣдъ. Въ дѣлѣ развитія инстинктовъ, это замечаніе производится еще гораздо полнѣе, чѣмъ въ дѣлѣ развитія органовъ. Въ большей части случаевъ, слѣдъ замеченъ вполне, и тогда, разумѣется, никакой Дарвинъ не можетъ доказать, что тутъ дѣйствительно совершалось движеніе, и что оно проходило именно черезъ точки А, В, С, D и такъ далѣе. Но за то ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не можетъ также доказать, что движеніе въ этомъ мѣстѣ не существовало. На этомъ основаніи Дарвинъ, говоря о простыхъ и сложныхъ инстинктахъ, принимаетъ строго-оборонительное положеніе и не ищетъ здѣсь никакихъ новыхъ подтвержденій для своей теоріи. Онъ доказываетъ, что здѣсь, какъ и вездѣ, его теорія не встрѣчаетъ себѣ непобѣдимыхъ и необъяснимыхъ препятствій.

VIII.

Если вы посмотрите на восковой сотъ обыкновенной пчелы, то правильность и изящество его архитектуры приведутъ васъ въ изумленіе,

и вы еще болѣе удивитесь, когда узнаете, какъ превосходно это восковое строеніе приспособлено къ своей цѣли.

«По свидѣтельству математиковъ, говоритъ Дарвинъ, пчелы практически разрѣшили трудную геометрическую задачу и придали своимъ ячейкамъ ту форму, при которой, съ крайнимъ сбереженіемъ драгоценнаго воска, онѣ могутъ вмѣстить наибольшее количество меда. Было высказано мнѣніе, что искусный работникъ, снабженный приличными орудіями для работы и измѣренія, лишь съ большимъ трудомъ могъ бы построить восковыя ячейки надлежащей формы, между тѣмъ какъ это дѣлается въ совершенствѣ толпою пчелъ, трудящихся въ темномъ ульѣ» (Русскій переводъ. Стр. 181).

Теорія естественнаго выбора задаетъ себѣ въ этомъ случаѣ вопросъ: какимъ путемъ строительное искусство пчелы пришло къ своему теперешнему совершенству? Противники всякихъ рациональных объясненій немедленно возражаютъ, что вопросъ этотъ самъ по себѣ неумѣстенъ, потому что никакого пути тутъ не было, и пчела, какъ есть пчела, такъ и была всегда пчелою, со всѣмъ своимъ строительнымъ искусствомъ и съ полнымъ его совершенствомъ. Переспорить этихъ господъ нельзя и разсуждать съ ними бесполезно. Но мы посмотримъ теперь, какія условія необходимы для того, чтобы въ строительномъ инстинктѣ пчелы можно было допустить возможность развитія. Прежде всего надо замѣтить, что, по самой сущности дѣла, теорія естественнаго выбора въ настоящемъ случаѣ не можетъ представить никакихъ фактическихъ доказательствъ. Если мы скажемъ защитнику этой теоріи: «покажите намъ рядъ восковыхъ сотовъ, принадлежащихъ въ разнымъ геологическимъ эпохамъ и представляющихъ въ своемъ строеніи различныя степени совершенства»; то подобное требованіе трудно будетъ назвать вполне законнымъ и благоразумнымъ, и отъ насъ въ такомъ случаѣ можно будетъ ожидать, что мы вдругъ прикажемъ антикварію представить намъ въ подлинникъ супъ или соусъ, приготовленный поваромъ Лукулла или, пожалуй, Сарданапала. Если мы пожелаемъ видѣть передъ собою сотни видовъ различныхъ живыхъ пчелъ, которыя всѣ строили бы свои ячейки различнымъ образомъ, такъ, чтобы различная архитектура этихъ ячеекъ показала намъ, какииъ образомъ совершенствовался строительный инстинктъ пчелы, то желаніе это будетъ очень замысловато, но, во всей вѣроятности, неисполнимо. Люди во время оно шили себѣ платье изъ древесныхъ листьевъ, а потомъ изъ звѣриныхъ шкуръ, и пользовались жилами животныхъ вмѣсто нитокъ, а рыбьими костями вмѣсто иголокъ. но въ настоящее время трудно найти живыхъ портныхъ такого сорта, не только въ Петербургѣ, но даже въ Москвѣ. Если бы даже и родился такой художникъ, то прожилъ бы онъ, во всей вѣроятности, недолго, потому что сильная конкуренція болѣе лукавыхъ

товарищей подорвала бы его торговлю и уморила бы его голодною смертию. Породы недоучавшихся или отсталыхъ пчелъ постоянно должны были испытывать на себѣ тѣ бѣдствія, которыя постигли бы въ наше время ископаемаго мертвца. Поэтому и сохраниться до нашихъ временъ имъ было несовсѣмъ удобно. Но мы знаемъ, что естественный выборъ можетъ дѣйствовать только на тѣ органы или инстинкты, которыхъ совершенствованіе полезно для данной породы. Слѣдовательно, мы можемъ спросить: въ какомъ отношеніи измѣняя и правильная архитектура ячеекъ приносить пчеламъ дѣйствительную пользу? Ну, вотъ, слава Богу! договорились мы, наконецъ, до настоящаго дѣла. На этотъ вопросъ защитникъ теоріи обязанъ найдти отвѣтъ *рано или поздно*, потому что врядъ ли пчела стала бы учиться и развиваться для того, чтобы вносить въ природу элементъ *разнообразія*, или для того, чтобы *премещать* глазъ человека красивою формою шестигранныхъ ячеекъ. Но и здѣсь я поставилъ слово *рано или поздно* потому, что мы, при теперешнемъ состояніи нашихъ фактическихъ знаній, даже на дѣльнѣе вопросы не имѣемъ права требовать отъ натуралиста немедленнаго отвѣта.

Что инстинктъ долженъ быть полезенъ — это ясно; но чѣмъ именно полезенъ — это во многихъ случаяхъ остается до сихъ поръ неизвѣстнымъ, потому что животныхъ очень много, а натуралистовъ очень мало. Впрочемъ, въ вопросѣ о строительномъ инстинктѣ пчелъ намъ нѣтъ надобности откладывать рѣшеніе въ долгій ящикъ. Извѣстно, что восковой сотъ необходимъ для пчелы, какъ колыбель молодого поколѣнія и какъ кладовая для сбереженія меда. Извѣстно также, что пчелы выдѣляютъ воскъ изъ своего организма очень медленно и въ незначительномъ количествѣ; чтобы выдѣлить одинъ фунтъ воска улей пчелъ долженъ съѣсть отъ двѣнадцати до пятнадцати фунтовъ сухаго сахара; а такъ какъ пчелы, вмѣсто сухаго сахара, ѣдятъ обыкновенно жидкій сахарный сиропъ, заключающійся въ цвѣтахъ, то имъ, для выдѣленія одного фунта воска, надо съѣсть несравненно больше пятнадцати фунтовъ цвѣточного сиропа или нектара. Воскъ достается пчелѣ очень дорого, тѣмъ болѣе, что пчелы, занимающіяся выдѣленіемъ этого вещества, вмѣсто того, чтобы вылетать изъ улья за добычею, должны, въ теченіи многихъ дней, сидѣть на одномъ мѣстѣ и ѣсть готовую пищу. Стало бытъ, чѣмъ больше потребуется воска на сооруженіе ячеекъ, тѣмъ меньше будетъ приготовлено меда, а для пропитанія пчелъ во время зимы необходимъ очень значительный запасъ этой пищи, и если запасъ окажется недостаточнымъ, то улей погибнетъ. Ясно, стало бытъ, что бережливость въ обращеніи съ воскомъ прямо рѣшаетъ для колоніи пчелъ вопросъ о ея дальнѣйшемъ существованіи. Пчеламъ, подѣ страхомъ голодной смерти, необходимо было разрѣшить на практикѣ ту мудреную геометрическую задачу, о которой говорить Дарвинъ, то есть имъ необходимо было

отыскать для своихъ ячеекъ такую форму, при которой наименьшее количество воска вмѣщало бы въ себя наибольшее количество меда. Вѣроятно, пчелы, въ теченіе многихъ и многихъ тысячелѣтій, медленно и ощупью подвигались впередъ къ рѣшенію этой задачи ихъ жизни; а въ это время естественный выборъ, дѣйствуя здѣсь на коллективныя единицы, постоянно сохранялъ только тѣ общины пчелъ, которыя въ этомъ отношеніи имѣли какое нибудь, хотя малѣйшее, преимущество надъ другими. Такимъ образомъ, польза строительнаго инстинкта пчелы доказана и, слѣдовательно, отысканъ тотъ путь, по которому этотъ инстинктъ, подъ вліяніемъ естественнаго выбора, долженъ былъ подвигаться впередъ къ своему теперешнему совершенству.

Кромѣ того, теорія Дарвина можетъ здѣсь выдвинуть въ свою пользу такія пояснительныя подтвержденія, которыхъ мы, по настоящему, даже не имѣемъ права отъ нея требовать. Въ настоящее время существуютъ еще насѣкомыя, у которыхъ строительное искусство находится въ различныхъ, менѣе совершенныхъ фазахъ своего развитія. Шмели употребляютъ для храненія меда свои старыя коконы—это низшая степень архитектурной техники. Иногда они придѣлываютъ къ коконамъ короткія восковыя трубочки—вторая степень. Иногда они строятъ изъ воска отдѣльныя ячейки, округлыя и очень неправильныя—третья степень. Въ Мексикѣ живетъ насѣкомое *Molipona domestica*, которое по строенію своего тѣла занимаетъ средину между шмелемъ и пчелою.

«Она строитъ, говоритъ Дарвинъ, почти правильныя восковой сотъ изъ цилиндрическихъ ячеекъ, въ которыхъ развиваются личинки, и кромѣ того, нѣсколько крупныхъ восковыхъ ячеекъ для храненія меда. Эти послѣднія ячейки почти шарообразны, приблизительно одинаковой величины и скучены въ неправильную массу.» (Стр. 182.)

Между шмелемъ и мелипоною, съ одной стороны, и между мелипоною и пчелою, съ другой стороны, недостаетъ очень многихъ переходныхъ степеней. Кромѣ того, ни шмель, ни мелипона ни въ какомъ отношеніи не могутъ считаться прямыми предками пчелы; они могутъ быть названы только ея боковыми родственниками, остановившимися на низшихъ степеняхъ развитія. Не смотря на то читатель, конечно, согласится, что простые инстинкты шмеля и усложняющіеся инстинкты мелипоны въ значительной степени помогаютъ намъ понять, какимъ образомъ могло сформироваться сложное и вполнѣ развитое архитектурное искусство обыкновенной пчелы. Готтентоты или алеуты также не могутъ считаться прямыми предками современныхъ англичанъ; а между тѣмъ, образъ жизни существующихъ дикарей въ значительной степени разъясняетъ намъ многія подробности изъ далекаго прошедшаго цивилизованныхъ народовъ. Но если бы какія нибудь обстоятельства погубили весь родъ шмелей и мелипонъ, или всѣхъ дикарей, живущихъ

на земномъ шарѣ, то и тогда мы едва ли бы имѣли разумное основаніе думать, что пчела всегда была отличнымъ архитекторомъ, или что англичане всегда пользовались неприкосновенностью жилища. Хотя шмели и мелипона очень интересны для натуралиста, а дикари — для антрополога, однако они ничѣмъ не застрахованы противъ уничтоженія, и во всякое время могли исчезнуть съ лица земли такъ же легко, какъ и всякая другая порода. Исчезновеніе ихъ, очевидно, нисколько не могло бы подорвать теорію Дарвина и не имѣло бы ничего общаго съ постановкою вопроса объ инстинктѣ пчелы, или объ исторіи англійской конституціи.

МУРАВЬИ.

I.

Все рабочее населеніе ульевъ и муравейниковъ состоитъ изъ бесплодныхъ самокъ, которыя значительно отличаются отъ своихъ родителей по устройству тѣла, и еще сильнѣе расходятся съ ними въ направленіи инстинктовъ и въ образѣ жизни. Родители, или вообще самцы и плодовые самки совсѣмъ не работаютъ, а бесплодныя самки, напротивъ того, трудятся постоянно, и при этомъ далеко превосходятъ самцовъ и плодовыхъ самокъ своей породы развитіемъ умственныхъ способностей и специальной технической ловкостью. Спрашивается, какимъ же образомъ могли выработаться эти свойства рабочихъ пчелъ и рабочихъ муравьевъ? — Ни одно изъ этихъ насѣкомыхъ не можетъ имѣть потомства, и, слѣдовательно, никому не можетъ передавать по наслѣдству особенности своего тѣлосложенія и своего инстинкта. Всѣ счастливыя индивидуальныя отклоненія, всѣ результаты упражненія и развитія, все это умираетъ вмѣстѣ съ каждымъ отдѣльнымъ субъектомъ, и не можетъ обратиться въ постоянное качество всей породы. Каждый рабочий муравей, отличающійся отъ своихъ сверстниковъ особенною ловкостью, или силою, или догадливостью, имѣетъ, конечно, преимущество надъ другими субъектами; въ силу этого преимущества онъ можетъ ихъ пережить; надъ его личностью обнаружится такимъ образомъ дѣйствіе естественнаго выбора. Но во всякомъ случаѣ, дальше его личности это дѣйствіе не пойдетъ, потому что этотъ муравей все таки умретъ безъ потомства, хотя бы онъ прожилъ сто лѣтъ, и хотя бы онъ былъ гениемъ первой величины. На породу муравьевъ это долготѣіе и эта гениальность не могутъ имѣть никакого вліянія, потому что муравьи слѣдующаго поколѣнія родятся не отъ этихъ дѣятельныхъ и даровитыхъ субъектовъ, а отъ обыкновенныхъ и постоянно праздныхъ самцовъ и самокъ. Повиди-

ному, тутъ представляется для теоріи естественнаго выбора неопредѣлимое затрудненіе; повидимому, тутъ не можетъ быть постепеннаго улучшенія или очищенія породы, потому что отдѣльныя поколѣнія этой породы разбобщены между собою, то есть, не происходятъ другъ отъ друга; а между тѣмъ, только постоянное накопленіе мелкихъ усовершенствованій, передаваемыхъ изъ одного поколѣнія въ другое, могло бы объяснить намъ то громадное и своеобразное развитіе умственныхъ способностей, до котораго дошли въ настоящее время рабочія пчелы и рабочіе муравьи. Если же намъ придется допустить, что эти способности возникли мгновенно, безо всякаго подготовленія и историческаго развитія, то теоріи Дарвина можетъ считать свое дѣло окончательно проиграннымъ, потому что, здѣсь, повидимому, живой фактъ возмущается противъ теоріи, и самымъ своимъ существованіемъ уличаетъ ее въ несостоятельности.

Дарвинъ сознается въ своей книгѣ, что инстинкты бесполныхъ насѣкомыхъ долго казались ему неопровержимымъ возраженіемъ, окончательно гибельнымъ для теоріи естественнаго выбора и медленныхъ видоизмѣненій. Однако, онъ не отчаялся въ успѣхѣхъ, и дѣйствительно отыскалъ ключъ къ пониманію этой живой загадки.

Рабочій муравей не можетъ имѣть дѣтей — это несомнѣнно; но у этого рабочаго муравья есть отецъ и мать, которые могутъ имѣть очень многочисленное потомство; стало быть, у рабочаго муравья будетъ много братьевъ и сестеръ; братья всѣ будутъ способны къ половой дѣятельности, а изъ сестеръ однѣ будутъ бесплодны, подобно нашему рабочему, а другія будутъ плодовиты, подобно своей родной матери. Если всѣ эти братья и сестры, плодовитые и бесплодные, разбредутся въ разные стороны, каеъ только сдѣлаются способными добывать себѣ пищу безъ помощи родителей, — то произойдетъ очень простая исторія. Бесплодныя самки умрутъ безъ потомства, плодовитыя — народятъ кучу дѣтей; въ этомъ второмъ поколѣніи повторится та же простая исторія: бесплодныя умрутъ, плодовитыя обзаведутся семействами. То же самое случится и въ третьемъ, и въ четвертомъ поколѣніи, и въ двадцатомъ, до тѣхъ поръ, пока бесплодныя самки совершенно переведутся. Съ каждымъ поколѣніемъ бесплодныя самки будутъ становиться рѣже, потому что естественный выборъ будетъ постоянно направляться противъ ихъ матерей. Положимъ, напримѣръ, что самка *A* родитъ постоянно бесплодныхъ дочерей; ясно, что потомство этой самки въ слѣдующемъ же поколѣніи совершенно прекратится, и что способность рождать исключительно бесплодныхъ дѣтей рѣшительно, по самой сущности своей, не можетъ сдѣлаться наслѣдственною. Другая самка *B* родитъ и бесплодныхъ и плодовитыхъ, а третья *C* исключительно плодовитыхъ. Ясно, что у *C* окажется болѣе многочисленное потомство, чѣмъ у *B*. Число

дѣтей будетъ, пожалуй, одинаково у обѣихъ, но число внучатъ будетъ уже различно, и съ каждымъ новымъ поколѣніемъ различіе будетъ увеличиваться въ пользу *C*, если только обѣ самки, и *B*, и *C*, передадутъ свои личныя особенности всему плодовиному потомству. Но, при одинаковыхъ условіяхъ, быстро размножающаяся порода должна непремѣнно, рано или поздно, вытѣснить и истребить породу, размножающуюся медленно. Такимъ образомъ, самки, подобныя своей прародительницѣ *B*, то есть, имѣющія способность рождать иногда бесплодныхъ, уничтожатся, и, вслѣдствіе этого, бесплодіе перестанетъ существовать, если только оно не будетъ поддерживаться какими нибудь искусственными средствами. Все это произойдетъ въ томъ случаѣ, когда плодовые и бесплодные братья и сестры будутъ расходиться въ разныя стороны и жить совершенно независимо другъ отъ друга. Но въ дѣйствительности дѣло приняло совершенно другой оборотъ, потому что въ породѣ муравьевъ проявилось стремленіе къ общественной жизни за много тысячелѣтій до тѣхъ временъ, когда въ младенческихъ обществахъ человѣка начали формироваться первые очерки мифическихъ сказаній. Когда это стремленіе проявилось, то есть, когда молодые члены семейства рѣшились останаться на всю жизнь вмѣстѣ съ родителями, и общими силами стали заботиться объ удовлетвореніи своихъ общихъ потребностей, тогда одинокіе муравьи должны были уничтожиться, потому что борьба и соперничество съ обществами во всѣхъ отношеніяхъ оказались имъ не по силамъ. Если плѣ дѣло на драку, то одинокого колотили или убивали; если приходилось заготавливать запасъ пищи, то десять членовъ ассоціаціи, помогая другъ другу, добывали больше пищи, сохраняли ее лучше, и съ большимъ усѣхомъ защищали ее противъ выѣшнихъ враговъ, чѣмъ пятнадцать одинокихъ личностей, дѣйствовавшихъ въ разсыпную; когда надо было нянчить и кормить молодое поколѣніе, то и въ этомъ дѣлѣ общество обнаруживало свое превосходство надъ разрозненными единицами. Принципъ раздѣленія труда и соединенія силъ даетъ себя знать вездѣ, гдѣ составляется общество, и гдѣ появляется коллективный трудъ. Кто составляетъ общество, и кто трудится—люди или муравьи—это рѣшитель о все равно. Законы труда и свойства ассоціаціи остаются неизмѣнными при всѣхъ условіяхъ. Когда общежительные инстинкты муравьи окончательно упрочились, тогда въ положеніи бесплодныхъ самокъ произошла существенная переиѣна *).

Надо замѣтить, что въ мірѣ животныхъ бесплодіе часто соединяется

*) Легко можетъ быть, что бесплодіе совершенно не существовало во время одинокой жизни муравья, и порождено именно складомъ его общественной жизни; но объ этомъ я поговорю впослѣдствіи, а теперь я излагаю дѣло такимъ образомъ, чтобы рельефнѣе выставить противоположность между одинокими и общежительными періодами муравьиной исторіи.

съ самыми разнообразными измѣненіями въ тѣлосложеніи. «Намъ даже извѣстны, говоритъ Дарвинъ, въ разныхъ породахъ скота особенности въ рогахъ, сопряженныя съ искусственнымъ несовершенствомъ мужскаго пола: воли извѣстныхъ породъ имѣютъ рога болѣе длинныя, чѣмъ коровы и быки тѣхъ же породъ.» (Стр. 191). Извѣстно также, что оскопленіе человѣка ведетъ за собою измѣненія въ голосѣ, въ развитіи волосъ на бородѣ, въ цвѣтѣ лица, и во всемъ складѣ характера. Если же безплодіе производится не насильственнымъ истребленіемъ половыхъ частей, а медленнымъ и глубокимъ вліаніемъ развитія и воспитанія даннаго субъекта, то, разумѣется, надо ожидать, что различіе между безплоднымъ и плодовитымъ животнымъ окажется гораздо значительнѣе, чѣмъ различіе между воломъ и быкомъ, или между свиномъ и мужчиною. Замѣчено вообще, что напряженная дѣятельность мозга рѣдко уживается съ напряженною дѣятельностью половой системы. Люди, сильно работающіе умомъ, рѣдко оставляютъ послѣ себя многочисленное потомство, и Джонъ Стюартъ Милль весьма усердно и настоятельно совѣтуетъ женщинамъ побольше размышлять, чтобы поменьше предаваться пагубному занятію дѣтороженія. Во всемъ мірѣ животныхъ можно также замѣтить то общее явленіе, что животное размножаетъ свою породу тѣмъ быстрѣе, чѣмъ несовершеннѣе строеніе его мозга. У безплодныхъ муравьевъ половые органы остаются на всю жизнь въ томъ зачаточномъ положеніи, въ какомъ они находились у муравьиной личинки, только что вылупившейся изъ яйца. Стало быть, есть основаніе думать, что мозгъ безплодной самки развивается въ ущербъ половой системѣ, и что, вслѣдствіе этого, безплодное насѣкомое всегда становилось немногимъ умнѣе плодовитаго, безъ всякаго содѣйствія естественнаго выбора. Когда у муравьевъ и у пчелъ укоренились общежительныя привычки, тогда это легкое умственное превосходство безплодныхъ субъектовъ получило очень важное значеніе для благосостоянія каждаго отдѣльнаго общества.

II.

Представимъ себѣ, что въ какой нибудь мѣстности существуетъ нѣсколько сотенъ, или нѣсколько тысячъ муравейниковъ, населенныхъ самцами, самками и безплодными субъектами. Эти муравейники, конечно, ведутъ между собою такую же ожесточенную и разнообразную борьбу, какую до составленія обществъ вели между собою отдѣльные муравьи.

Муравейники нападаютъ другъ на друга, отбиваютъ другъ у друга пищу, похищаютъ другъ у друга куколки, и во всѣхъ этихъ столелове-

нѣхъ, прямыхъ или косвенныхъ, то есть, выражающихся въ видѣ открытой драки или въ видѣ глухой борьбы за средства къ существованію, — во всѣхъ этихъ столкновеніяхъ, говорю я, побѣда остается на сторонѣ сильнѣйшаго муравейника, точно такъ, какъ она прежде оставалась на сторонѣ сильнѣйшаго муравья. Побѣжденные муравейники погибаютъ, и причины ихъ гибели такъ же разнообразны, какъ въ свое время были разнообразны причины гибели отдѣльныхъ муравьевъ. Одинъ муравейникъ погибаетъ подъ ударами сосѣдняго общества, заключающаго въ себѣ большое количество сильныхъ, храбрыхъ или хитрыхъ насѣкомыхъ. Другой ослабѣваетъ отъ голода, потому что его жители уступаютъ сосѣдямъ въ умѣньи добывать себѣ пищу. Третій размывается дождемъ, потому что жители не умѣютъ строить такіе своды и крыши, которые могли бы устоять противъ дѣйствія водяныхъ капель. Въ четвертомъ число жителей постоянно убавляется отъ плохого воспитанія личинокъ, или отъ того, что самки слишкомъ ревностно исполняютъ спасительный совѣтъ Джона Стюарта Милля. Въ то же время, рядомъ съ этими слабыми, голодными и угнетенными обществами, существуютъ общества сильныя, сытыя и угнетающія другихъ. Спрашивается, на чемъ же основано различіе между первыми и вторыми? Очевидно на томъ, что вторыя располагаютъ большою массою сильныхъ мускуловъ и дѣятельныхъ мозговъ. Для благосостоянія муравейника необходимо, чтобы число его жителей не уменьшалось, чтобы эти жители умѣли добывать себѣ много пищи, чтобы они умѣли построить себѣ удобное и прочное жилище, чтобы они заботливо ухаживали за своими личинками, — и наконецъ, чтобы они, во всякое время, могли встрѣтить и отразить нападеніе своихъ враждебныхъ единоплеменниковъ и сосѣдей. Если въ муравейникѣ слишкомъ много бесплодныхъ самокъ, то число жителей уменьшается, вслѣдствіе этого, общество рано или поздно, погибаетъ естественною или насильственною смертію. Если въ муравейникѣ совсѣмъ нѣтъ бесплодныхъ самокъ, или если ихъ слишкомъ мало, то оказывается недостатокъ въ умственныхъ силахъ и въ технической ловкости; вслѣдствіе этого, сосѣдніе муравейники приобрѣтаютъ перевѣсъ, и со временемъ губятъ это отстающее общество. Такимъ образомъ, естественный выборъ постоянно сохраняетъ тѣ общества, которыя строже своихъ соперниковъ поддерживаютъ у себя должное равновѣсіе между дѣятельностью мозга и дѣятельностью половой системы, то есть между количествомъ бесплодныхъ и количествомъ плодovitыхъ жителей. Но отчего же зависитъ поддержаніе этого должнаго равновѣсія?

Дарвинъ говоритъ, что оно зависитъ отъ различныхъ особенностей въ тѣлосложеніи плодovitыхъ субъектовъ. Если самка муравья рождаетъ бесплодныхъ дѣтей, то конечно, причина этаго явленія заключается въ томъ или другомъ свойствѣ ея организма; это свойство, по

добно всякому другому, подвержено индивидуальным колебаниям, то есть, у одной самки развито сильнѣе, у другой — слабѣе, и некоторыя изъ этихъ колебаній выгодны для муравейника, а другіе не выгодны. Какое это свойство, и какія въ немъ могутъ быть колебанія, этого мы не знаемъ, но наше незнаніе нисколько не должно насъ смущать или изумлять. Мы также не знаемъ, напримѣръ, почему у одной четы супруговъ рождаются постоянно мальчики, у другой — дѣвочки, а у третьей — и дѣвочки, и мальчики. Однако, не остроумно было бы утверждать, что это дѣлается безъ причины, и еще неостроумнѣе было бы произносить по этому поводу бессмысленное слово «случай», выражающее то, что въ дѣйствительности не существуетъ нигдѣ, и не существовало никогда. Не трудно понять, что причина должна заключаться въ тѣлосложеніи родителей, или въ обстоятельствахъ ихъ жизни и ихъ взаимныхъ отношеній.

Уничтожая одни муравейники и сохраняя другіе, естественный выборъ, черезъ это уничтожаетъ вредныя, и сохраняетъ полезныя колебанія, проявляющіяся въ тѣлосложеніи плодовыхъ субъектовъ. Рано или поздно полезныя колебанія упрочиваются, и вслѣдствіе этого, плодовые самки будутъ постоянно рождать плодовыхъ и бесплодныхъ дѣтей въ надлежащей пропорціи. Точно такимъ же образомъ, естественный выборъ постоянно благоприятствуетъ тѣмъ муравейникамъ, въ которыхъ живутъ самые умные, самые дѣятельные и самые ловкіе работники. Такіе муравейники процвѣтаютъ и отличаются особенною долговѣчностью, а вмѣстѣ съ этими муравейниками сохраняются и упрочиваются тѣ половыя особенности самцовъ и самокъ, которыя сообщаютъ бесплодному потомству умъ, дѣятельность, и ловкость.

И такъ, естественный выборъ дѣйствуетъ не на тѣхъ животныхъ, которыя сами обладаютъ умомъ, дѣятельностью и ловкостью, а на тѣхъ, которыя составляютъ причину этихъ свойствъ, то есть, на родителей рабочихъ насѣкомыхъ, и вообще на все плодовитое населеніе муравейника или улья. Такимъ образомъ, развитіе и совершенствованіе становятся возможными и даже неизбежными.

«Моя вѣра, говоритъ Дарвинъ, въ могущество выбора простирается до того, что я не сомнѣваюсь, что можно было бы постепенно образовывать породу, въ которой воли имѣли бы постоянно необыкновенно длинныя рога, лишь тщательно наблюдая, какіе быки и коровы производятъ самыхъ длиннорогихъ воловъ, не смотря на то, что ни одинъ волъ не могъ бы передать своихъ признаковъ породѣ».

Такъ, полагаю я, было и съ общественными насѣкомыми; легкое видоизмѣненіе въ строеніи, въ инстинктѣ, сопряженное съ бесплодіемъ нѣкоторыхъ изъ членовъ общины, было для нее выгодно; слѣдственно, плодовые самцы и самки той же общины благоденствовали и передавали своему плодовитому потомству расположеніе къ произведенію без-

плодныхъ членовъ, видовзмѣненнѣхъ подобнымъ образомъ. И я полагаю, что этотъ процессъ повторялся, пока не обозначилось между плодовитыми и бесплодными самками одного вида то разительное различіе, которое представляютъ многія общественныя насѣкомыя. Я подчеркнул слово *общественныя*, потому что въ немъ заключается весь смыслъ этого явленія, и единственный ключъ къ его пониманію. Если бы нормальное безплодіе, и связанное съ этимъ безплодіемъ развитіе особенныхъ инстинктовъ существовало въ такой породѣ животныхъ, которая ведетъ одинокую жизнь, то подобное явленіе оказалось бы совершенно необъяснимымъ, и одного такого примѣра было бы достаточно, чтобы навсегда погубить теорію Дарвина. Но такихъ явленій не подмѣтилъ до сихъ поръ ни одинъ натуралистъ, и, слѣдовательно, теорія естественнаго выбора остается неприкосновенною и необъяснимою.

III.

Теперь уже намъ не трудно будетъ прослѣдить въ общихъ чертахъ дальнѣйшее развитіе муравьиной породы. Въ общественной жизни муравьевъ встрѣчается много замѣчательныхъ явленій, и всѣ эти явленія нисколько не противорѣчатъ теоріи естественнаго выбора.

«Во многихъ видахъ муравья, говоритъ Дарвинъ, безплодыя особи разнятся, не только отъ плодovitыхъ самоцовъ и самокъ, но и между собою, распадаясь такимъ образомъ на двѣ или даже на три касты. Эти касты, сверхъ того, обыкновенно не представляютъ переходовъ между собою, но такъ же рѣзко разграничены, какъ любые виды одного рода, или, точнѣе, роды одного семейства. Такъ у *Eciton* есть безплодыя рабочіе и войны съ чрезвычайно разнородными челюстями и инстинктами; *Stenobothrus* рабочіе лишь одной касты снабжены очень страннымъ щитомъ на головѣ, употребленіе котораго совершенно неизвѣстно; у мексиканскаго *Mutopocystus* рабочіе одной касты никогда не оставляютъ гнѣздо; ихъ кормятъ рабочіе другой касты, и у нихъ безмѣрно развитое брюхо, выдѣляющее родъ меду, замѣняющаго выдѣленіе тлей или дойнаго скота, содержиимаго*) нашими европейскими муравьями.» (Стр.192)

Факты эти не представляютъ никакихъ серьезныхъ затрудненій для теоріи естественнаго выбора, и доказываютъ только, что тѣлосложеніе муравья отличается вообще замѣчательною гибкостью и измѣнчивостью.

*) Ухитрился же г. переводчикъ назвать три причастія и три придаточныя предложенія одно на другое: 1) „выдѣляющее“..... 2) „замѣняющаго“..... и 3) „с содержиимаго“!....

Раздѣленіе рабочаго населенія на касты объясняется очень просто. — Положимъ, что существуютъ въ близкомъ сосѣдствѣ между собою нѣсколько муравейниковъ вида *Eciton*. Дѣйствіе происходитъ въ глубокой древности. У *Eciton* еще не успѣли образоваться двѣ касты рабочихъ и воиновъ, а существуетъ только одна каста безплодныхъ самокъ, которыя немного умнѣе и дѣятельнѣе своихъ родителей и плодовитыхъ сестеръ. Въ это время, въ муравейникѣ *A*, обнаруживается въ тѣлосложеніи нѣсколькихъ безплодныхъ самокъ легкое уклоненіе, вслѣдствіе котораго челюсти ихъ становятся немного покрупнѣе, а характеръ немногo позадорнѣе, чѣмъ у другихъ муравьевъ того же вида. Эти задорные и зубастые муравьи заводятъ драку съ сосѣднимъ муравейникомъ *B*, и, благодаря своимъ челюстямъ и своей храбрости, одерживаютъ рѣшительную побѣду. Муравейникъ *B* окончательно разоряется; часть жителей погибаетъ въ сраженіи, и побѣдается побѣдителями; остальные разбѣгаются по окрестностямъ, и умираютъ отъ голода и отъ разныхъ лишеній, потому что они уже разучились вести ту одинокую жизнь, которую въ былое время вели ихъ предки. Та же жестокая участь постигаетъ общества *C*, *D*, и *E*. Муравейникъ *A* торжествуетъ и процвѣтаетъ, свирѣпствуетъ въ своемъ околodѣ, и постоянно обжирается трупами и куколками побѣжденныхъ враговъ. Но, въ одинъ прекрасный день, онъ сталкивается съ муравейникомъ *F*, и, къ своему крайнему изумленію, встрѣчаетъ такой энергическій отпоръ, какого ему до той минуты не случалось испытывать нигдѣ; оказывается, что самки муравейника *F* также произвели на свѣтъ храбрыхъ и зубастыхъ дѣтей, которые уже успѣли показать свою удалъ муравейникамъ *G*, *H* и *K*. Такимъ образомъ, муравейники *A* и *F* остаются нераззоренными, и, въ случаѣ войны, отражаютъ другъ друга съ одинаковымъ успѣхомъ. Но равновѣсіе между ними продолжается только до тѣхъ поръ, пока въ одномъ изъ нихъ не обнаружится дальнѣйшее развитіе храбрости и зубастости *). Кто обогналъ противника въ этомъ отношеніи, тотъ и побѣдилъ. Малѣйшее выгодное измѣненіе въ тѣлосложеніи воинственныхъ рабочихъ рѣшить вопросъ, кому изъ этихъ завоевательныхъ республикъ жить, и кому умирать. Борьба можетъ тянуться десятки лѣтъ, потому что общества муравьевъ, подобно обществамъ пчелъ и государствамъ людей, существуютъ постоянно, до тѣхъ поръ, пока ихъ не разрушитъ стеченіе какихъ нибудь неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Муравейники *A* и *F* разрастаются и основываютъ множество колоній, потому что старое помѣщеніе становится слишкомъ тѣснымъ для уве-

*) У муравьевъ нѣтъ зубовъ, и читатель, конечно, понимаетъ, что выраженія: «зубастый» и «зубастость» употребляются, для большей краткости, вмѣсто словъ: «одаренный сильными челюстями», и «сильное развитіе челюстей».

личинного числа жителей. Гдѣ жили прежде общества *B*, *C*, *D*, *E*, *G*, *H* и *K*, тамъ поселяются потомки зубастыхъ и воинственныхъ муравьевъ *A* и *F*. Эти потомки всё зубасты и воинственны, но въ одномъ изъ этихъ новыхъ обществъ, въ какомъ нибудь муравейникѣ *Z*, обнаруживается особенное развитіе этихъ героическихъ качествъ. Тогда *Z* потребляетъ всё коконны *A* и *F*, вмѣстѣ съ обѣими метрополіями, и разросшись въ свою очередь, на ихъ развалинахъ самъ основываетъ свои коконны, еще болѣе храбрыя и зубастыя. Черезъ нѣсколько времени, та же самая исторія повторяется въ потомствѣ муравейника *Z*. Тотъ, кто сильнѣе, постоянно торжествуетъ, и, такимъ образомъ, общій уровень муравьиного могущества постоянно возвышается, потому что все, что стоитъ ниже этого уровня, ежедневно и ежеминутно уничтожается, то оружіемъ враговъ, то голодомъ, то разными другими причинами. Сами герои, или вѣрнѣе, героини не могутъ передать свои достоинства потомству, но у героинь есть родители и плодовые сестры, которыя, явившись героинями въ одномъ муравейникѣ, и пользуясь плодами ихъ побѣдъ, благоденствуютъ, и постоянно производятъ на свѣтъ новыхъ поколѣній завоевателей.

Теперь намъ надо еще объяснить, почему и какимъ образомъ рядомъ съ кастою воиновъ сохранилась и развилась каста работниковъ. Отвѣчать на этотъ вопросъ очень не трудно. Работники были такъ же необходимы для существованія общества, какъ воины были необходимы для отраженія враговъ. Пока герои совершали чудеса храбрости, личинки могли умереть съ голоду и куколки могли измокнуть подъ дождемъ, если въ муравейникѣ не было дѣятельныхъ и расторопныхъ субъектовъ, воспитывающихъ молодое поколѣніе, и предохраняющихъ его отъ всякой напасти. Положимъ, что въ муравейникѣ *M* все безплодно: самки одарены воинственными наклонностями и соответствующимъ тѣлосложениемъ; въ муравейникѣ *N*, напротивъ того, все безплодно: самки относятся къ кастѣ мирныхъ работниковъ, а въ третьемъ муравейникѣ *O* есть и воины, и работники. Ясно, что послѣдній муравейникъ переживетъ своихъ одностороннихъ сосѣдей; *N*, по всей вѣроятности, будетъ завоеванъ и разорентъ, а *M* ослабѣетъ и погибнетъ отъ того, что немому будетъ заботиться о личинкахъ и куколкахъ. Мы видѣли выше, какимъ образомъ естественный выборъ можетъ привести дѣло къ тому результату, что въ каждомъ муравейникѣ будетъ находиться именно столько безплодныхъ и столько плодовыхъ самокъ, сколько того требуетъ благосостояніе общества. Когда этотъ результатъ будетъ достигнутъ, тогда естественный выборъ, продолжая дѣйствовать по прежнему, тѣмъ же самымъ способомъ устроитъ такъ, что изъ числа безплодныхъ одна часть будетъ одарена однимъ тѣлосложениемъ, а другая — другимъ. Сначала разница между этими двумя типами будетъ очень невелика, но,

если для общества выгодно, чтобы эта разница увеличилась, то незначительная она и увеличится, потому что долговечнѣе другихъ будутъ оказываться тѣ муравейники, въ которыхъ работники и воины сильнѣе отличаются другъ отъ друга. Можетъ случиться, что эти двѣ касты въ свою очередь раздробятся на новыя касты, и эти подраздѣленія также сдѣлаются постоянными, если только они окажутся полезными для муравейника въ данную минуту, и при данныхъ условіяхъ мѣстности. Такимъ путемъ произошли—цитѣ на головѣ у *Cryptocerus*, и медоточивое брюхо у *Muttesocystus*.

IV.

Естественный выборъ постоянно сохраняетъ всякое видоизмѣненіе въ организаціи рабочаго муравья. Но спрашивается, какія именно причины производить эти видоизмѣненія? Зависать ли они вполне отъ тѣлосложенія родителей, или же тутъ дѣйствуютъ какія нибудь другія вліянія? Попробую отвѣтить на этотъ вопросъ, но предупреждаю читателя, что отвѣтъ мой будетъ выраженъ въ формѣ догадокъ, сомнѣній и предположеній.

Какъ у пчелъ, такъ и у муравьевъ, каждая самка кладетъ яйца трехъ родовъ, сначала для будущихъ рабочихъ, потомъ для самцовъ, и наконецъ для плодovitныхъ самокъ. Изъ этихъ яицъ выходятъ личинки, и въ первое время своего существованія личинки рабочихъ несколько не отличаются отъ личинокъ плодovitныхъ самокъ.—Существуетъ ли въ личинкѣ расположеніе сдѣлаться со временемъ безплоднымъ или плодovitнымъ насѣкомымъ, этого мы не знаемъ, но достоверно извѣстно, что это расположеніе, если оно существуетъ, можетъ быть переработано воспитаніемъ. Воспитаніе имѣетъ въ этомъ случаѣ огромное значеніе. Это доказывается тѣмъ, что муравьи и пчелы содержатъ будущихъ рабочихъ совсѣмъ не такъ, какъ будущихъ самокъ: нища, помѣщеніе, уходъ—все совершенно различно. Пчелы, всегда соблюдающія въ расходованіи воска крайнюю бережливость, строятъ для будущихъ самокъ или матокъ отъ шести до десяти ячеекъ такой величины, что на каждую изъ нихъ тратится во сто разъ больше воску, чѣмъ на ячейку простой рабочей. Разумѣется, пчелы не стали бы этого дѣлать безъ надобности. Кромѣ того, извѣстно, что, въ случаѣ необходимости, пчелы могутъ сформировать себѣ новую матку изъ такой личинки, которой сначала назначено было сдѣлаться рабочей.

«Если на бѣду, говоритъ Карлъ Фохтъ, старая матка останется въ живыхъ до тѣхъ поръ, пока молодыя матки начнутъ выходить изъ куколокъ, то она ихъ умертвитъ безъ милосердія, и рабочія не будутъ

сопротивляться этому поступку. Но, такъ какъ старая царица *) въ это время уже неспособна класть яйца, то общество разсѣвается послѣ ея смерти; или же рабочіе формируютъ себѣ новую царицу, то есть переносятъ рабочую личинку, которой еще не минуло трехъ дней, въ царскую ячейку, и кормятъ ее царскою пищею; при такихъ условіяхъ ея половныя части развиваются, а при простомъ рабочемъ содержаніи онѣ остаются въ зачаточномъ состояніи». (*Zoologische Briefe* I-er B. S. 684).

Муравейникъ никогда не терпитъ недостатка въ плодovitыхъ самкахъ, и поэтому муравьямъ нѣтъ никакой надобности формировать себѣ самку изъ рабочей личинки. Но за то, случается довольно часто, что плодovitая самка муравья работаетъ сама надъ построениемъ ячеекъ, и это обстоятельство доказываетъ, что разстояніе между истинными плодovitыхъ и бесплодныхъ муравьевъ не такъ громадно, какъ можно было бы подумать, глядя на обыкновенный образъ жизни тѣхъ и другихъ.

«Основаніе новыкъ муравьиныхъ обществъ, говоритъ Фохтъ, происходитъ слѣдующимъ образомъ: въ августѣ, послѣ полудня, громадные рои крылатыхъ самцовъ и самокъ оставляютъ гнѣзда, и совокупляются на воздухѣ. Самцы умираютъ почти тотчасъ послѣ совокупленія; большую часть самокъ рабочіе ловятъ и уводятъ назадъ въ муравейникъ, гдѣ самки кладутъ яйца преимущественно во время весны будущаго года. Оплодотворенныя самки, не пойманныя рабочими, прежде всего сами обрываютъ себѣ крылья, слабо прикрѣпленныя къ ихъ тѣлу, а потомъ устрояютъ въ землѣ галлерей, и присоединяютъ къ ней комнатки, въ которыхъ онѣ кладутъ яйца для рабочихъ. Какъ только эти рабочія разовьются, такъ онѣ начинаютъ помогать матери въ ея работахъ, проводятъ вѣстѣ съ нею зиму, и съ весны ведутъ хозяйство дальше, между тѣмъ, какъ самка, подобно пчелиной маткѣ, занимается, съ этого времени, исключительно кладкою яицъ, и соблюдаетъ при этомъ ту же очередь, то есть, кладетъ сначала рабочія яйца, потомъ мужскія, и наконецъ женскія». (*Zool. Br.* I-er B. S. 686, 687).

Оказывается такимъ образомъ, что воспитаніе можетъ сдѣлать изъ рабочей личинки пчелиную матку, и что обстоятельства жизни могутъ на время превратить праздную самку муравья въ очень усердную работницу. Рожденіе, воспитаніе и обстоятельства жизни—вотъ тѣ три элемента, которые создаютъ тѣлосложеніе и весь характеръ взрослого насекомаго. Но рѣшить, что именно вложено самкою въ яичко, и что дано впоследствии воспитаніемъ личинки—это такая задача, которая въ настоящее время превышаетъ силы естествоиспытателей. Дарвинъ, по видимому, расположенъ думать, что вліяніе матери очень значительно, то

*) Извѣстно, что пчелиная матка называется также царицею; по-нѣмецки ее даже всегда называютъ Königin—королева.

есть, что почти всѣ свойства и особенности будущаго насѣкомаго заключены въ яичкѣ, и находятся въ немъ въ ту минуту, когда это яичко отдѣляется отъ тѣла матери. Склонность Дарвина къ этому мнѣнію выражается въ томъ, что онъ, говоря объ инстинктахъ и тѣлосложеніи бесплодныхъ насѣкомыхъ, постоянно напираетъ на половую систему ихъ родителей, и совершенно оставляетъ въ сторонѣ воспитаніе личинокъ. Не противорѣча идеямъ великаго натуралиста, а, въ этомъ случаѣ, позволяю себѣ обратить вниманіе читателя на ту сторону дѣла, которую Дарвинъ отодвинулъ на второй планъ.

Половые части личинки, по словамъ Карла Фохта, «находится въ совершенно зачаточномъ положеніи, и выражаются преимущественно во внутреннихъ органахъ, приготовляющихъ семя, или яички, но эти органы чрезвычайно малы, и съ трудомъ могутъ быть отысканы» (Zool. Br. I-er B. S. 551). «Во время кукольнаго періода, говорятъ онъ далѣе, формируются изъ жирнаго тѣла личинки преимущественно половыя части, такъ что большая часть насѣкомыхъ способны въ оплодотворенію тотчасъ послѣ своего выхода изъ кокона» (S. 552).

«Червовидныя личинки бабочекъ, мухъ, жуковъ и т. д., говоритъ Дарвинъ, гораздо ближе схожи между собою, чѣмъ полныя насѣкомыя, хотя личинки, какъ зародыши дѣятельные, приспособлены къ разнымъ образамъ жизни.» (Стр. 347). «Въ силу такихъ особыхъ приспособленій, говоритъ онъ далѣе, сходство между личинками или дѣятельными зародышами сродныхъ животныхъ значительно затемняется.» (Стр. 348.)

Мы видимъ изъ этихъ двухъ мѣстъ, что Дарвинъ считаетъ *личинку* дѣятельнымъ *зародышемъ* насѣкомаго, то есть, *зародышемъ*, ведущимъ свою самостоятельную жизнь, и развивающимся на свободѣ, а не въ тѣлѣ своей матери. А на страницѣ 7-й Дарвинъ говоритъ, такъ: «опыты Жоффруа-Сентъ-Илера доказываютъ, что вліяніе неестественныхъ условій на *зародышъ* производить уродливости, и между уродливостями и уклоненіями нельзя провести рѣзкой границы. Теперь, читатель мой, потрудитесь вывести общія заключенія изъ всѣхъ этихъ выписокъ. У *личинки* половыя части находятся въ зачаточномъ состояніи — стало быть, разовьются ли эти части, или останутся онѣ навсегда неразвитыми — это такой вопросъ, который рѣшается во время жизни личинки, а не въ ту минуту, когда самка кладетъ яичко. *Половыя части насѣкомаго* вырабатываются изъ жирнаго тѣла личинки въ то время, когда личинка находится уже въ состояніи куколки; стало быть, для того, чтобы эти части выработались, необходимо известное количество жирнаго вещества, а это жирное вещество, разумѣется, добывается личинкою изъ пищи, и личинка обыкновенно бываетъ очень прожорлива именно потому, что ей надо накопить матеріалы для будущихъ видовымѣненій. Но если личинку будутъ кормить скупо, то она, конечно, ничего не

набоянть, и половнымъ частямъ не изъ чего будетъ сформироваться. У животныхъ, ведущихъ одинокую жизнь, личинка всегда есть столько, сколько сама пожелаетъ, а у общественныя животныхъ личинку держать въ заперти, и ее кормить взрослыя насекомыя, руководствуясь при этомъ своими особенными соображеніями. Въ этомъ обстоятельствѣ можно видѣть одну изъ причинъ, почему бесплодіе проявляется постоянно только у общественныя насекомыхъ. Если личинка есть *дѣятельный зародокъ*, и если *вліяніе естественныхъ условий производитъ съ зародкомъ уродливости, или уклоненія*, то, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что воспитаніе личинки можетъ произвести въ тѣлосложеніи будущаго насекомомаго самыя обширныя и глубокія измѣненія. Припомните наконецъ, какимъ образомъ пчелы формируютъ себѣ новую матку изъ рабочей личинки, и тогда вы, вѣроятно, не найдете слишкомъ смѣлымъ мое предположеніе, что бесплодіе рабочихъ пчелъ и рабочихъ муравьевъ есть явленіе чисто искусственное, выработанное складомъ ихъ общественной жизни, и постоянно поддерживаемое тѣмъ воспитаніемъ, которое старыя насекомыя даютъ огромному большинству новорожденныхъ личинокъ. Послѣдователи Мальтуса желаютъ, чтобы въ человѣческихъ обществахъ рабочіе также были до нѣкоторой степени бесплодны, и это обстоятельство доказываетъ, что общественная жизнь, дойдя до извѣстной степени развитія, обыкновенно сталкивается съ роковымъ вопросомъ: куда дѣвать избытокъ населенія?—Муравьи и пчелы отвѣтили на этотъ вопросъ тѣмъ, что нашли возможность постоянно убивать производительныя способности у огромнаго большинства своей породы. Муравьямъ и пчеламъ это извинительно; потому что у нихъ нѣтъ ни паровыхъ машинъ, ни химическаго анализа, ни рациональной агрономіи, а главное, нѣтъ такихъ мыслителей, какъ Ньютонъ, Либихъ или Дарвинъ. Люди могли бы рѣшить вопросъ иначе, но мало ли что они могли бы сдѣлать. *Si vieillesse savait, si jeunesse pouvait!*...

V.

Дѣйствія естественнаго выбора нисколько не стѣсняются моимъ предположеніемъ на счетъ искусственнаго происхожденія бесплодія. Естественный выборъ во всякомъ случаѣ истребляетъ или сохраняетъ весь муравейникъ съ родителями и воспитателями; стало быть, отъ кого бы ни зависѣло тѣлосложеніе молодаго поколѣнія, отъ родителей или отъ педагоговъ, причина этого тѣлосложенія все-таки будетъ истреблена или сохранена, смотря потому, вредно или полезно это тѣлосложеніе

для данного общества. Теорія естественнаго выбора остается такимъ образомъ въ полной безопасности, но высказанное мною предположеніе интересно для насъ въ другомъ отношеніи.

Прогрессъ въ органическомъ мірѣ дѣйствительно существуетъ. Этотъ фактъ не подлежитъ сомнѣнію. Но совершается ли этотъ прогрессъ совершенно независимо отъ воли и сознанія отдѣльныхъ животныхъ, или же, напротивъ того, нѣкоторые животныя своими сознательными усиліями содѣйствуютъ тѣмъ измѣненіямъ, которыя переживаетъ ихъ порода? Этотъ вопросъ вѣроятно кажется читателю очень страннымъ, а между тѣмъ онъ возникаетъ въ нашемъ умѣ совершенно естественно, когда мы вглядываемся въ жизнь высшихъ насѣкомыхъ, подобныхъ пчелѣ и муравью. Читатель все-таки смѣется, и никакъ не хочетъ вѣрить, чтобы муравей могъ сознательно участвовать въ прогрессѣ своей породы; но мнѣ кажется, что читатель въ этомъ случаѣ ошибается. Если безплодіе рабочихъ и раздѣленіе ихъ на различныя касты производится исключительно различными особенностями въ тѣлосложеніи плодовыхъ самокъ, то видоизмѣненія муравьиной породы или ея прогрессъ происходятъ совершенно независимо отъ воли и сознанія самихъ муравьевъ. Если же, напротивъ того, безплодіе и касты, составляютъ, въ большей или въ меньшей степени, результатъ воспитанія, то прогрессъ находится въ рукахъ самихъ муравьевъ, или другими словами, *муравьи сами дѣлаютъ свой прогрессъ*. Если судьба личинокъ зависитъ отъ воспитателей, если воспитатели могутъ произвести значительныя измѣненія въ комплекціи будущаго насѣкомаго, если отъ нихъ зависитъ поворотить развитіе личинки въ ту или въ другую сторону, сдѣлать изъ личинки плодovitую самку или воина, простаго рабочаго или дойную корову (*Mutheocystus*), то, разумѣется, все будущее благосостояніе муравейника во всякую данную минуту зависитъ цѣликомъ отъ его взрослого населенія. Въ такомъ случаѣ, умъ и опытность рабочаго муравья не умираютъ вмѣстѣ съ нимъ. Все, что онъ получилъ отъ природы, все, что онъ приобрѣлъ воспитаніемъ, все, что ему передали старшіе муравьи, все, что онъ видѣлъ и испыталъ въ своей собственной жизни, все это прилагается къ дѣлу воспитанія личинокъ, все это передается потомъ молодому муравью, и все это становится навсегда двигательнымъ элементомъ въ прогрессѣ породы. Каждое поколѣніе собираетъ свой запасъ опытности, каждая личность вноситъ въ этотъ запасъ свою крупинку, и все это вмѣстѣ присоединяется къ общему капиталу, и производитъ прочное приращеніе въ умственномъ и матеріальномъ богатствѣ общества и породы. Читатель сердится или смѣется. Онъ увѣренъ въ томъ, что я зафантазировался, и что критическія способности моего ума перестали слѣдить за движеніями моего пера. Читатель хочетъ напомнить мнѣ, что я все-таки говорю о муравьяхъ, а не

о людях; но я сама твердо помню это обстоятельство, и внимательно взоромъ наблюдаю за шалостями моего легкомысленнаго (о, даже слишкомъ легкомысленнаго!) пера. Но что же васъ, читатель мой, смущаетъ? Вы, вѣроятно, думаете, что у муравья не можетъ быть индивидуальныхъ мыслей, что онъ не способенъ наложить запасъ личной опитности, и что онъ не въ состояніи дѣлиться съ своими согражданами — своими опущеніями, соображеніями и воспоминаніями. Да, муравей, конечно, — животное маленькое и невзрачное. Неловко какъ-то приписывать такому ничтожеству разныя высшія способности и отправления. А между тѣмъ, вы, мой читатель, все-таки потрудитесь преодолѣть ваше замѣнательство, и прочтите слѣдующій простой рассказъ Карла Фохта, человѣка, совершенно нерасположеннаго фантазировать и умиляться.

«Одинъ изъ моихъ друзей, говоритъ Фохтъ, сдѣлалъ слѣдующее наблюдение. Муравьи объѣдали у него вишни съ одного дерева. Чтобы отвадить ихъ, онъ вынулъ стволъ дерева кругомъ на вершокъ въ ширину густымъ табачнымъ нагаромъ изъ трубки, собраннымъ нарочно для этой цѣли. Муравьи, взбиравшіеся на дерево толпами, поворотили назадъ, когда дошли до этого клейкаго и вонючаго кольца. Тѣ, которые были на деревѣ, и хотѣли спуститься внизъ, не осмѣлились перешагнуть черезъ кольцо; они взглянули опять наверхъ, и съ вѣтокъ свалились на землю. Дерево скоро освободилось отъ своихъ посѣтителей. Но черезъ нѣсколько времени муравьи полезли толпами вверхъ по стволу. Каждый изъ нихъ несъ въ челюстяхъ кусочекъ земли, и съ величайшею осторожностью начали они накладывать на табачный нагаръ одинъ комокъ возлѣ другаго, такъ что мало по малу образовалась настоящая монетная дорога, которую они укрѣпили и расширили съ величайшею старательностью. Потомъ, когда составила полоска шириною въ полвершка, колонна муравьевъ съ полною безопасностью могла снова взбираться на дерево, которое дѣйствительно покрылось немедленно толпами опустошителей.» (Zool. Br. I-er. B. S. 555).

Если животныя дѣйствуютъ постоянно по инстинкту, и если всѣ инстинкты представляютъ только рядъ машинальныхъ привычекъ, полученныхъ каждымъ животнымъ при самомъ рожденіи по наслѣдству отъ предковъ, то надо предположить, что всѣ муравьи, посѣщающіе вишневые деревья, имѣютъ наслѣдственную привычку хватать въ челюсти кусочки земли, какъ только они увидятъ или обнюхаютъ на деревѣ какую нибудь гадость. Можно было бы возразить на это остроумное предположеніе, что цѣлыя сотни или тысячи поколѣній муравьевъ могли прожить на бѣломъ свѣтѣ, не встрѣтивши ни на одномъ деревѣ клейкаго кольца изъ табачнаго нагара, но если мы уже рѣшились объяснять все наслѣдственными привычками, то насъ не должно смущать это выраженіе. Мы

скажемъ, что у тысячи повадѣній этотъ инстинктъ существовалъ, но не проявлялся, а потомъ, когда другъ Фокса сдѣлалъ муравьямъ неприятность, этотъ скрытый инстинктъ тотчасъ и развернулся. Намъ отвѣчать, что такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, каждому муравью приходится таскать съ собою милліарды разныхъ скрытыхъ инстинктовъ, потому что на каждый отдѣльный случай должно существовать въ этой ходячей аптекѣ особенное, готовое лекарство. Но мы и тутъ нисколько не струсимъ: ну, и пускай таскаютъ милліарды инстинктовъ! Инстинктъ есть иѣчто невѣсомое, и, стало быть, для муравья такая обуза не можетъ быть обременительною. Если же у моего читателя не достанетъ храбрости, чтобы побѣждать всѣ препятствія подобными соображеніями, то онъ непремѣнно долженъ будетъ допустить, что у муравьевъ рождаются индивидуальныя мысли, которыя отъ одной личности переходятъ въ массу, и потомъ приводятся въ исполненіе соединенными усиліями всѣхъ муравьевъ, усвоившихъ себѣ новую идею. Въ самомъ дѣлѣ, трудно же предположить, чтобы всѣмъ муравьямъ, наткнувшимся на табачную трясику, въ одну минуту пришла въ голову одна и та же мысль, и, чтобы всѣ они, не сговариваясь между собою, тотчасъ побѣжали бы за комками земли. Тутъ, мнѣ кажется, можно допустить только два предположенія: или какой нибудь особенно умный муравей самостоятельно выдумалъ эту уловку въ ту самую минуту, когда встрѣтилось затрудненіе; или же онъ припомнилъ сходный эпизодъ изъ своей жизни, и пустилъ въ ходъ свою опытность, примѣняя ее къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, личный умъ или личная опытность обогатили общество муравьевъ новымъ знаніемъ или новою идеею, а такой прогрессъ, мнѣ кажется, было бы очень несправедливо называть невольнымъ и безсознательнымъ. Но, если мы только допустимъ, что муравей можетъ что нибудь придумать, и сообщать свою выдумку своимъ товарищамъ, то намъ придется совершенно отказаться отъ нашихъ нелѣпыхъ предвзятыхъ идей о машинальности тѣхъ сложныхъ и вполне цѣлесообразныхъ поступковъ, которые совершаются муравьями и другими животными для блага общества и для сохраненія породы. Когда мы, оставивъ въ сторонѣ наши предубѣжденія, посмотримъ на нѣкоторыя явленія общественной жизни муравьевъ, тогда передъ нами раскроется замѣчательный смыслъ этихъ явленій, и тогда мы поймемъ, что сознательный прогрессъ и чисто историческое развитіе составляютъ неотъемлемое достояніе всѣхъ высшихъ породъ животнаго царства. Надо только видѣть въ каждомъ явленіи то, что въ немъ дѣйствительно заключается, а не то, что вложено въ наши бѣдныя головы добродушными руководителями нашего счастливаго младенчества и нашей довѣрчивой юности.

VI.

Въ муравейникахъ мексиканскаго *Mutnecocystus* живутъ въ особенныхъ ячейкахъ толстобрюхіе рабочіе, выделяющіе на пользу общества сладкій сокъ, подобный меду. Специально развитое брюхо этой касты, подобно всѣмъ органамъ всевозможныхъ животныхъ, произошло не вдругъ; оно выработалось постепенно, посредствомъ медленныхъ видоизмѣненій, происшедшихъ въ организаціи обыкновеннаго *Mutnecocystus*. Какъ и по какой причинѣ проявился первый зародышъ такого видоизмѣненія—этого мы не знаемъ, потому что вообще причины и законы всѣхъ видоизмѣненій до сихъ поръ почти совсѣмъ не изслѣдованы. Когда выгодное видоизмѣненіе проявилось, тогда началось дѣйствіе естественнаго выбора, и произошла та обыкновенная исторія, которую читатель знаетъ уже наизусть. Но, мнѣ кажется, что, кромѣ естественнаго выбора, тутъ дѣйствуетъ еще одинъ элементъ, именно сознательное вліяніе самихъ рабочихъ муравьевъ на тѣлосложеніе воспитываемыхъ личинокъ. Личинка, какъ «*дѣтальный зародышъ*», одарена чрезвычайною гибкостью тѣлосложенія, а рабочіе муравьи, занимающіеся воспитаніемъ молодаго поколѣнія, какъ важнѣйшимъ дѣломъ всей своей жизни, навѣрное довели до изумительнаго совершенства свое умѣнье пользоваться этою гибкостью. Они, навѣрное, умѣютъ распознавать всѣ мельчайшія личныя особенности въ организаціи личинки; они знаютъ, какъ развить эти особенности, или какъ остановить ихъ развитіе; они знаютъ во всѣхъ подробностяхъ, какъ дѣйствуетъ та или другая температура, то или другое помѣщеніе; и всѣми этими знаніями, которыя непременно должны были накопиться у нихъ въ теченіе тысячелѣтій, они пользуются въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ такою напряженною внимательностью, какою не можетъ похвалиться ни одинъ изъ педагоговъ самолюбиваго человѣчества. Поэтому, когда въ муравейникахъ *Mutnecocystus* проявились задатки медоточиваго брюха, рабочіе пустили въ ходъ всѣ свои знанія, и всю свою старательность, чтобы развить до крайнихъ предѣловъ эту полезную особенность. Естественный выборъ сдѣлалъ также свое дѣло, но приписывать ему одному весь полученный результатъ было бы не совсѣмъ основательно. Медоточивое брюхо не составляетъ для муравейника крайней необходимости, такъ что, въ этомъ случаѣ, естественный выборъ не могъ отличиться особенною строгостью. У огромнаго большинства муравьиныхъ породъ нѣтъ толстобрюхихъ рабочихъ, выделяющихъ сладкій сокъ, и однако же эти муравьи живутъ очень благополучно, и пользуются сокомъ тѣхъ или

травяных вшей, которые совершенно справедливо могут быть названы дойными коровами муравьев.

Когда мы видимъ, что человекъ подчинилъ своему господству то или другое животное, тогда мы говоримъ, что это подчиненіе произведено силою человѣческаго ума. Если мы отложимъ въ сторону наши предубѣжденія, то мы должны будемъ высказать тоже самое сужденіе, когда увидимъ, что муравей подчинилъ своему господству тлю. А что это подчиненіе дѣйствительно существуетъ, въ этомъ читатель убѣдится изъ слѣдующихъ свидѣльствъ Карла Фохта и Дарвина.

«У настоящихъ тлей, говоритъ Карлъ Фохтъ, находятся на задней части тѣла двѣ прямыя трубочки, изъ которыхъ вытекаетъ сладкій сахарный сокъ, съ жадностью пожираемый муравьями. Каждый муравейникъ имѣетъ нѣкоторымъ образомъ свою область деревьевъ, кустовъ и травъ, на которыхъ сидятъ по листьямъ и по стволамъ колоніи тлей. Муравьи заботливо ухаживаютъ за этими колоніями, и даже иногда перетаскиваютъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Можно видѣть, какъ муравьи ласкаютъ этотъ двойной скотъ, тихо гладятъ, и постукиваютъ его своими щупальцами до тѣхъ поръ, пока не выступитъ изъ трубочекъ медовый сокъ, который съ жадностью поглощается муравьями.» (Zool. Vr. I-er B. S. 568, 569).

На страницѣ 685 той же книги, отношенія между тлями и муравьями описаны еще подробнѣе: «Лѣтомъ, говоритъ Фохтъ, рабочіе муравьи добываютъ пищу не только для самихъ себя, но и для личинокъ, для самокъ и для самцовъ, которые всѣ ничего не дѣлаютъ. Они кормятъ ихъ всевозможными органическими веществами, но преимущественно сладкими растительными соками, которые доставляютъ имъ тли... Муравьи обращаются съ тлями крайне заботливо, пересаживаютъ ихъ съ засохшихъ вѣтвей и побѣговъ на свѣжіе, живые листья, и до тѣхъ поръ ласкаютъ ихъ щупальцами, пока онѣ не выпустятъ медоваго сока. Большая часть муравьиныхъ породъ строятъ отъ своего гнѣзда крытые проходы, настоящія искусственныя дороги, къ тѣмъ деревьямъ и кустамъ, на которыхъ находятся колоніи ихъ дойнаго скота; другіе даже приносятъ въ свои гнѣзда такихъ тлей, которые питаются корнями растений, и эти тли проводятъ зиму въ муравейникѣ.»

А вотъ личное наблюденіе другаго натуралиста, доказывающее, что тли дѣйствительно могутъ быть названы въ отношеніи къ муравьямъ ручными животными. «Я удалилъ, говоритъ Дарвинъ, всѣхъ муравьевъ отъ группы изъ дюжины тлей, сидѣвшихъ на щавелѣ, и не допускалъ къ нимъ муравьевъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ. По прошествіи этого времени я былъ убѣжденъ, что тлямъ уже хочется выдѣлать свой сокъ. Я нѣсколько времени смотрѣлъ на нихъ въ лупу, но ни одна изъ нихъ не выдѣлала сока. За тѣмъ я принялся трогать и щекотать

нихъ волоскомъ, по возможности тѣмъ же способомъ, какъ щекочутъ ихъ муравьи своими усиками; но ни одна изъ нихъ не выпустила соку. Вслѣдъ затѣмъ я допустилъ къ нимъ муравья, и по дѣятельности, съ которою онъ забѣгалъ вокругъ нихъ, было очевидно, что онъ тотчасъ замѣтилъ, на какое богатое стадо онъ попалъ. Онъ тотчасъ принялся щекотать усиками брюшко сперва одной тли, потомъ другой, и каждая тля, какъ только ощущала прикосновеніе усиковъ, тотчасъ подымала свое брюшко, и выдѣляла прозрачную каплю сладкаго сока, которую жадно глоталъ муравей. Даже самыя молодыя тли поступали также, доказывая тѣмъ, что это — дѣйствіе инстинктивное, но не слѣдствіе опыта. Но такъ какъ выдѣленіе чрезвычайно липко, то тлямъ, вѣроятно, полезно отдѣливаться отъ него, и поэтому тля, вѣроятно выдѣляетъ сокъ инстинктивно, не для одного блага муравья.» (Стр. 171).

Къ этому можно прибавить, что тлямъ вообще очень полезно находиться подъ покровительствомъ муравьевъ, и что, именно вслѣдствіе этого, самыя молодыя тли, по наслѣдственному инстинкту, обращаются съ своими покровителями такъ довѣрчиво, какъ, напримѣръ, щенокъ или теленокъ обращается съ человѣкомъ.

Если мы сравнимъ обычай поро-ы *Myrmec. cystus* съ дѣйствіями другихъ муравьевъ, покорившихъ тлей, то мы увидимъ, какъ это даровитое насѣкомое (муравей, а не тля) умѣетъ соображаться съ обстоятельствами. Гдѣ представилось внутри самой породы выгодное видоизмѣненіе, тамъ муравьи довели его до крайнихъ предѣловъ и извлекли изъ него всевозможную пользу для своего общества. Гдѣ такого видоизмѣненія не случилось, тамъ муравьи устроили свои дѣла иначе и доставили себѣ удобства жизни силою собственной изобрѣтательности. Изъ того, что сообщаетъ Фохтъ, можно вывести заключеніе, что муравьи ведутъ свое скотоводство гораздо рациональнѣе, чѣмъ какіе нибудь киргизы или лапландцы, у которыхъ скоть — у первыхъ лошади, у вторыхъ сѣверные олени — зимуютъ подъ открытымъ небомъ и кормятся чѣмъ богъ пошлетъ. Разумѣется, это скотоводство муравьевъ развивалось также послѣдовательно и постепенно, какъ и всѣ остальные отрасли ихъ общественнаго быта; и навѣрное, опыты и соображенія отдѣльных личностей, понемногу входившіе въ сознаніе массъ, и превращавшіеся въ прочную привычку, составляютъ единственное основаніе теперешняго господства муравьевъ надъ тлями. Кому нибудь изъ муравьевъ надо же было *открыть* тотъ фактъ, что тля даетъ сладкій сокъ; потомъ это *открытіе* должно было распространиться и обобщиться. Прогрессъ совершился вполне сознательно, и если вы съ этимъ не согласитесь, то вы должны будете предположить, что сама природа, создавая муравья, вложила въ его мозгъ понятіе о тлѣ и о ея сокѣ. Отчего бы не ска-

затѣ въ такомъ случаѣ, что и въ нашего мужика вложено самою природою понятіе о яровомъ и озимомъ хлѣбѣ?

VII.

У Eciton и у многихъ другихъ муравьевъ личинки, осуждаемыя на безплодіе природою или воспитаніемъ, развиваются по двумъ различнымъ направленіямъ: однѣ становятся воинственными амазонками, а другія заботливыми и трудолюбивыми хозяйками. Если бы одна изъ этихъ кастъ развилась въ ущербъ другой, то есть, если бы появилось слишкомъ много работниковъ, или слишкомъ много воиновъ, то благосостояніе общества пострадало бы отъ такой перемѣны, потому что въ первомъ случаѣ муравейнику стала бы угрожать опасность со стороны вышнихъ враговъ, а во второмъ случаѣ домашнія работы и воспитаніе дѣтей пришли бы въ упадокъ. Если бы это нарушеніе равновѣсія между кастами проявилось въ очень значительныхъ размѣрахъ, то оно могло бы окончательно погубить общество или породу. Вѣроятно, очень многіе муравейники или даже цѣлыя виды муравьевъ погибли вслѣдствіе этого обстоятельства. Но натуралистамъ извѣстны двѣ породы, у которыхъ это равновѣсіе совершенно нарушено, и которыя, не смотря на то, существуютъ и размножаются; въ основаніи ихъ общественной жизни лежитъ чисто искусственное учрежденіе, играющее очень важную роль въ исторіи человѣчества. Эти двѣ породы сдѣлались совершенно воинственными, *завели себѣ рабовъ* и на нихъ сложили значительную часть хозяйственныхъ и педагогическихъ заботъ. Рабство находится у этихъ двухъ породъ на двухъ различныхъ степеняхъ развитія. У кроваваго муравья (*Formica sanguinea*), порабащающаго черныхъ, господа работаютъ вмѣстѣ съ рабами; напротивъ того, у рыжеватаго (*Formica rufescens*), захватывающаго бурныхъ, господа ровно ничего не дѣлаютъ, и даже разучились ѣсть безъ помощи рабовъ. Всѣ эти факты доказаны прямыми опытами и самыми тщательными наблюденіями Петра Губера, Смита, Дарвина и другихъ первоклассныхъ натуралистовъ. Безплодная самка рыжеватаго муравья умѣютъ только вести войну, раззорять чужіе муравейники и захватывать рабовъ.

«Безплодные субъекты кроваваго и рыжеватаго муравья, говоритъ Карль Фохтъ, встрѣчающихся въ нашихъ мѣстахъ, сами не работаютъ, но предпринимаютъ настоящіе военные походы, нападаютъ на гнѣзда другихъ муравьевъ и похищаютъ оттуда куколки рабочихъ. Большею частью тактика ихъ состоитъ въ томъ, что они внезапно бросаются на сосѣдній муравейникъ, и когда его обитатели начинаютъ обороняться, тогда главная масса нападающихъ даетъ формальное сраженіе, между

тѣмъ, какъ отдѣльныя отряды обходятъ крылья непріятеля, и опустошаютъ его гнѣздо. Послѣ такой борьбы поле сраженія бываетъ покрыто трупами; обѣ стороны кусаютъ другъ друга съ величайшимъ ожесточеніемъ; раненные и неспособные къ борьбѣ, подъ прикрытіемъ друзей удаляются изъ свалки въ безопасное мѣсто. Похищенные куколки развиваются въ жилищѣ похитителей и исправляютъ тамъ рабскія обязанности, т. е. принимаютъ на себя всѣ хозяйственныя работы, кормятъ своихъ праздныхъ господъ и ухаживаютъ за ихъ личинками. Такимъ образомъ возникаютъ тѣ смѣшанныя общества муравьевъ, въ которыхъ существуютъ четыре разряда обитателей: самцы, самки и воины (такъ называемыя амазонки) одного вида и трудящіеся рабы другого вида.» (Zool. Br. I-er B. S. 686).

Дарвинъ объясняетъ происхожденіе рабовладѣльческихъ учрежденій тѣмъ, что куколки, захваченныя для съѣденія, случайно развились въ муравейникѣ своихъ похитителей. Муравьи, вышедшіе изъ этихъ куколокъ, по влеченію своего врожденнаго инстинкта, принялись за работу. Это обстоятельство оказалось выгоднымъ для общества, и за тѣмъ началось обыкновенное дѣйствіе естественнаго выбора. Эта гипотеза Дарвина очень правдоподобна, но нельзя не замѣтить, что Дарвинъ здѣсь, какъ и вездѣ, оставляетъ совершенно въ сторонѣ сознательную дѣятельность самихъ муравьевъ. Почему дѣлаетъ это Дарвинъ — этого я не знаю. Можетъ быть потому, что онъ не хочетъ входить въ подробности, немѣняющія приаго отношенія къ его теоріи; а можетъ быть и потому, что онъ пишетъ для англійскаго общества, которое любитъ, чтобы «всякій сверчокъ зналъ свой шестокъ», и которое, слѣдовательно, не желаетъ, чтобы ничтожный муравей осмѣливался пускаться въ слишкомъ остроумныя размышленія. Какъ бы то ни было, я считаю не лишнимъ постоянно выдвигать эту сторону дѣла впередъ, и освѣщать ее, какъ можно ярче. Похищенные куколки развились, и новорожденные муравьи начали работать; — прекрасно, но вѣдь эти муравьи не фигурѣ и по цвѣту были совершенно не похожи на воинственныхъ владѣльцевъ муравейника; почему же хозяева оставили ихъ въ живыхъ, между тѣмъ, какъ тѣ же хозяева имѣли обыкновеніе убивать на войнѣ и съѣдать послѣ побѣды соотечественниковъ этихъ муравьевъ? Стало быть, кому нибудь изъ хозяевъ пришло въ голову, что эти плѣнники своею работою могутъ принести больше пользы, чѣмъ своею смертію. Потомъ еще кому нибудь пришло въ голову, что можно захватить нѣсколько куколокъ нарочно для того, чтобы сформировать изъ нихъ плѣнныхъ работниковъ. Потомъ, когда эти двѣ мысли распространились и обобщались, воинственные муравьи быстро сообразили, что можно сложить на плѣнниковъ значительную долю тѣхъ домашнихъ работъ, которыми, до того времени, по необходимости и съ крайнею неохотою занимались

сами хозяева. Тогда одно занятіе за другимъ стало переходить въ руки рабовъ. Хозяева отдали всё свои помышленія войнѣ и грабежу, и наконецъ, избаловались до такой невѣроятной степени, что рабы принуждены въ настоящее время кормить своихъ взрослыхъ и воинственныхъ повелителей, какъ маленькихъ личинокъ.

Рыжеватые муравьи, подобно людямъ, постоянно стремились совершенно сознательно къ тому, что въ каждую данную минуту казалось имъ выгодно или удобствомъ; и, подобно людямъ, они не умѣли смотреть вдаль, и потому, въ общемъ результатѣ, эти стремленія къ близкой выгодѣ и къ близкому удобству привели ихъ къ окончательной и неисправимой деморализаціи. Если мы сравнимъ исторію рыжеватаго муравья съ исторіей многихъ рабовладѣльческихъ государствъ, то мы увидимъ поразительное сходство въ расположеніи причинъ и слѣдствій. И здѣсь, и тамъ — сначала война, потомъ рабство, и наконецъ деморализація. Это доказываетъ намъ, что какъ только обрывается общество, такъ начинается немедленно неотразимое господство социальныхъ законовъ, которые, подобно всѣмъ остальнымъ законамъ природы, дѣйствуютъ совершенно безстрастно, и не допускаютъ никакихъ исключеній.

Отношенія между рыжеватыми муравьями и ихъ бурными рабами доказываютъ намъ, кромѣ того, что инстинкты муравья чрезвычайно гибки, не только въ цѣлой породѣ, но и въ каждой отдѣльной личности. Въ самомъ дѣлѣ, всмотритесь въ это обстоятельство: рабы всё безплодны и каждое новое поколѣніе рабовъ набирается посредствомъ новаго похищенія куколокъ. Каждая похищенная куколка родилась въ свободномъ муравейникѣ и провела въ немъ весь личиночный періодъ своей жизни. Стало быть не отъ своихъ родителей, ни отъ своихъ первыхъ воспитателей, куколка не могла получить ни одной частицы тѣхъ специальныхъ инстинктовъ, которые потребуются отъ нея въ рабовладѣльческомъ муравейникѣ. Изъ куколки выходитъ взрослое насекомое, и принимается за работу; это, конечно, наследственный инстинктъ, усиленный воспитаніемъ личинки. Но кормить взрослыхъ муравьевъ — развѣ это наследственный инстинктъ, и развѣ онъ могъ быть привитъ личинкѣ такими воспитателями, которые, оставаясь свободными, сами кормятъ только личинокъ. При переселеніяхъ изъ одного муравейника въ другой, бурные рабы рыжеватаго муравья берутъ своихъ господъ въ челюсти и переносятъ ихъ на новоселье. Этотъ обычай также не существуетъ въ свободномъ муравейникѣ и, слѣдовательно, тутъ также не можетъ быть рѣчи о наследственности. Какимъ же образомъ эти особенные обычаи сформировались и поддерживаются? Тутъ можетъ быть только одинъ отвѣтъ. Когда первыя поколѣнія бурныхъ рабовъ вышли изъ похищенныхъ куколокъ, тогда рыжеватые рабовладѣльцы сами принялись за

воспитаніе этихъ новорожденныхъ муравьевъ, и переработали ихъ естественныя наклонности сообразно съ своими собственными требованіями. Потомъ взрослые и вышколенные рабы стали помогать своимъ господамъ въ воспитаніи новичковъ, съ которыми эти старыя рабы были связаны, какъ единствомъ происхожденія, такъ и одинаковостью общественнаго положенія. Наконецъ, когда господа совсѣмъ облѣнились, рабы приняли на себя всю эту заботу, вмѣстѣ со всѣми остальными хозяйственными распоряженіями. Это доказываетъ намъ, что муравей можетъ воспитать другаго муравья, не только въ физическомъ смыслѣ кормленія, какъ рабочіе воспитываютъ личинокъ, но и... но и... въ умственномъ и социальномъ.

Между первымъ поколѣніемъ господъ и первымъ поколѣніемъ рабовъ не могли существовать тѣ отношенія, которыя существуютъ теперь между этими двумя классами въ рабовладѣльческихъ обществахъ. До появленія первыхъ рабовъ рыжеватый муравей самъ работалъ; не могъ же онъ, тотчасъ послѣ ихъ появленія, вдругъ выдумать, что онъ самъ не въ состояніи даже ѣсть. Такой штуки не выдумаетъ сразу ни муравей, ни человѣкъ. Внѣдствіи, это нововведеніе также не могло появиться вдругъ, потому что всякій недѣльный обычай вводится только нечувствительно, такъ, что къ нему присматриваются и привыкаютъ понемногу. Обычай устанавливается самъ собою, а не выдумывается. Стало быть, каждое новое поколѣніе господъ и рабовъ медленно и незамѣтно измѣняло что нибудь въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Дни шли за днями, недѣли за недѣлями, и одинъ день былъ не похожъ на другой, и одна недѣля еще менѣе была похожа на другую. Молодые рабы перенимали привычки старыхъ, но потомъ, во время своей жизни, измѣняли эти привычки, и въ этомъ измѣненіи видѣ передавали ихъ новому поколѣнію, которое въ свою очередь производило въ нихъ перемѣны.

Мудреное, очень мудреное животное этотъ муравей! Личный умъ, индивидуальная изобрѣтательность, разнообразіе характеровъ и наклонностей, цѣлесообразное воспитаніе, смѣна поколѣній, ведущая за собою смѣну обычаевъ, развитая общественная жизнь съ ошибками и уклоненіями, умѣнье пользоваться обстоятельствами, способность участвовать сознательными усиліями ума въ прогрессѣ собственной породы—все это мы находимъ у муравья, и все это вмѣстѣ несомнѣнно обезпечиваетъ за нимъ первое мѣсто въ громадномъ отдѣлѣ членистыхъ или суставчатыхъ животныхъ. Но для насъ должны быть еще гораздо важнѣе тѣ общія мысли, на которыя наводитъ насъ весь этотъ длинный, и, между тѣмъ, чрезвычайно отрывочный и неполный очеркъ муравьиного жита-бытья. Прочитавши эти страницы, читатель, быть можетъ, убѣдится въ томъ, что прогрессъ дѣйствительно существуетъ въ мірѣ животныхъ и растений.

Въ заключеніе я представлю бѣглий очеркъ геологическихъ, географическихъ, эмбриологическихъ и анатомическихъ доказательствъ теоріи Дарвина.

ГЕОЛОГИЧЕСКІЕ ДОКУМЕНТЫ.

I.

Если вы имѣете нѣкоторое понятіе о геологіи, но если понятіе это довольно поверхностно, то вы, читатель мой, по всей вѣроятности, думаете, что геологія можетъ и должна рѣшить безапелляціонно вопросъ о достоинствѣ теоріи Дарвина. Въ самомъ дѣлѣ, если всѣ формы животныхъ и растений измѣнялись постепенно и чрезвычайно медленно, то въ различныхъ пластахъ земной коры должны находиться несомнѣнные слѣды и очевидныя доказательства этихъ послѣдовательныхъ измѣненій. Если на примѣръ, волкъ, шакалъ и лисица произошли отъ одного вида, послужившаго родоначальникомъ всему собачьему семейству, то геологи и палеонтологи, то есть историки нашей планеты и ея органической жизни, должны показать намъ скелетъ этого родоначальника, и кромѣ того, скелеты его потомковъ, постепенно принимающихъ на себя фигуру волка, шакала и лисицы. Требованіе это повидимому, очень естественно и законно; кость можетъ сохраняться очень долго, а лишь бы только найти двѣ-три кости животного — и палеонтологи тотчасъ опредѣлятъ, къ какому виду оно принадлежало, и какова была его внѣшняя фигура. Уже Кювье по одной кости животного умѣлъ восстанавливать весь портретъ исчезнувшей породы, а послѣ Кювье палеонтологія и сравнительная анатомія сдѣлали много новыхъ успѣховъ. Поэтому я повторяю, что требованіе на счетъ родоначальника собачьей породы, и насчетъ его видовизмѣняющихъ потомковъ, можетъ показаться вполне справедливымъ, не только какому-нибудь профану, вроде меня или моего читателя, но даже и натуралисту, не успѣвшему взглянуть въ дѣйствительныя затрудненія такого запроса. Очень дѣльные люди до сихъ поръ пристають къ Дарвину съ такими требованіями и возраженіями. Если, говорятъ они, различныя породы животныхъ развиваются одна изъ другой, то покажите намъ скелеты или, по крайней мѣрѣ, кости всѣхъ переходныхъ формъ. А если не покажете, то значить, породы не измѣняются, значить, исчезнувшія животныя и растенія не находятся въ родственной связи съ теперешними органическими формами, и значить, вся ваша теорія есть ничто иное, какъ произведеніе блестящей, но бесполезной фантазіи.

Все это приставаніе и весь этотъ процессъ доказательствъ очень

неосновательны. *Во первыхъ*, только Европа и Соединенные Штаты изслѣдованы до сихъ поръ въ геологическомъ отношеніи хоть сколько нибудь удовлетворительно. Азія, Африка, Южная Америка и Австралія, то есть, слишкомъ четыре пятыхъ всего существующаго материка, совершенно не тронуты. *Во вторыхъ*, даже изслѣдованныя части чуть не каждый годъ изумляютъ геологовъ новыми фактами, которые производятъ радикальные перевороты въ постановкѣ и въ разрѣшеніи самыхъ важныхъ и самыхъ интересныхъ вопросовъ. *Въ третьихъ*, кости, раковины и вообще всѣ твердыя части животныхъ и растительныхъ организмовъ, не смотря на свою твердость, все-таки разлагаются и могутъ быть сохранены въ цѣлости только благодаря стеченію особенно благоприятныхъ и чисто исключительныхъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ оказывается, что современная геологія знаетъ только ничтожную частицу изъ всей массы существующихъ органическихъ остатковъ; а эти существующіе остатки въ свою очередь составляютъ также очень ничтожную частицу изъ всей массы существовавшихъ организмовъ. Пройдутъ десятки вѣковъ прежде, чѣмъ геологи откроютъ всѣ окаменѣлости, лежащія въ различныхъ пластахъ земной коры, подъ различными географическими широтами и долготами. Легко можетъ быть, что *все* существующія окаменѣлости никогда не будутъ открыты и собраны, но, если бы даже это и случилось, то и тогда было бы совершенно неосновательно воображать себѣ, что музей, обладающій всѣми этими палеонтологическими сокровищами, можетъ дать мыслящему натуралисту полное и отчетливое понятіе обо всемъ историческомъ развитіи органической жизни. О теперешнемъ же положеніи нашихъ палеонтологическихъ коллекцій нечего и говорить. Ученые, занимающіеся геологіею, обнаруживаютъ изумительную проникаемость, и довели точность своихъ научныхъ приемовъ и строгость своихъ наблюденій и умозаключеній до неслыханной степени совершенства, но, не смотря на это обстоятельство, геологія и палеонтологія, по недостаточному количеству наличныхъ матеріаловъ, находятся еще въ полномъ младенчествѣ, и, какъ подростки, постоянно измѣняютъ свою фязіюномію.

Ото дѣтъ тому назадъ, геологія и палеонтологія не существовали. Вольтеръ былъ человѣкъ очень не глупый, но, когда онъ начинаетъ разсуждать объ исторіи нашей планеты, то вамъ кажется, будто вы слышите судью Ляпкина-Тяпкина или Кифу Мокиевича. Ему говорятъ, напримѣръ, что въ альпійскихъ горахъ найдены окаменѣлыя раковины такихъ животныхъ, которыя въ настоящее время живутъ въ Средиземномъ морѣ, у береговъ Сиріи; а онъ по этому поводу, представляетъ соображеніе, что эти раковины занесены туда какими-нибудь пилигримами, которые сначала посѣтили Палестину, а потомъ отправились въ Римъ изъ Германіи или изъ Франціи. Шли они черезъ Альпы, ну и обро-

нили раковину, взятую съ сирійскихъ береговъ Средиземнаго моря. Такое легкое и живое объясненіе предлагалось Вольтеромъ въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія; Вольтеръ не былъ спеціалистомъ, но его нельзя назвать профаномъ; онъ очень хорошо понималъ великое значеніе естественныхъ наукъ, и слѣдилъ за ихъ успѣхами съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ; поэтому ясно, что во второй половинѣ XVIII вѣка самые образованные люди не имѣли понятія объ исторіи земнаго шара и даже не подозрѣвали возможности возсоздать основныя черты этой исторіи по различнымъ пластамъ земной коры, и по различнымъ окаменѣlostямъ, заключеннымъ въ этихъ пластахъ. Выводя на сцену своихъ пилигримовъ, обронившихъ раковину, Вольтеръ даже не задаетъ себя вопроса о томъ, на какой глубинѣ открыта эта раковина, въ какой почвѣ она лежала, какіе слѣды оставила на ней эта почва. Всѣ эти вопросы для него не существуютъ, и онъ даже сомнѣвается въ томъ, чтобы можно было отличить морскую раковину отъ прѣсноводной или сухопутной. Когда же нѣкоторые ученые осмѣливаются высказать потихоньку скромное предположеніе, что, можетъ быть, Альпы были, въ доисторическія времена, покрыты моремъ, тогда Вольтеръ схватываетъ себя за бока и начинаетъ хохотать самымъ искреннимъ и неумолимымъ смѣхомъ.

Такимъ образомъ, можно сказать, что геологія родилась послѣ Вольтера, послѣ Бюффона, послѣ французской революціи, то есть, въ началѣ нынѣшняго столѣтія. У этого новорожденного ребенка явилось тотчасъ множество дѣтскихъ болѣзней: первые геологи, и во главѣ ихъ, великій Кювье, стали толковать о катаклизмахъ и переворотахъ, и начали изъ открытыхъ костей и раковинъ строить хитрѣйшіе планы и системы мірозданія. Тридцать лѣтъ тому назадъ, Кювье говорилъ, что нѣтъ и не можетъ быть ни ископаемыхъ обезьянъ, ни ископаемыхъ людей, и приводилъ въ пользу этого мнѣнія даже теоретическія основанія. Эти основанія очень хороши и убѣдительны, но къ сожалѣнію, нашлись ископаемыя обезьяны и даже ископаемые люди.

«Только двадцать лѣтъ тому назадъ, говоритъ Карлъ Фохтъ въ своихъ лекціяхъ о человѣкѣ, учился я у Агассиза слѣдующимъ истинамъ: Первичныя образованія, палеозойскія формаціи — царство рыбъ; въ это время нѣтъ пресмыкающихся, и не могло ихъ быть, потому что это было бы противно плану мірозданія; — вторичныя образованія (тріасъ, юра, мѣль) — царство пресмыкающихся; нѣтъ млекопитающихъ, и не могло ихъ быть, по той же самой причинѣ; — третичныя пласты — царство млекопитающихъ; нѣтъ людей и не можетъ ихъ быть; — нынѣшнее твореніе — царство человѣка. Куда дѣвалась теперь эта теорія со всеми своими исключительностями? Пресмыкающіяся въ девонскихъ пластахъ, пресмыкающіяся въ каменномъ углѣ, пресмыкающіяся въ діасѣ — прощай царство рыбъ! — Млекопитающія въ юрѣ, млекопитающія въ пурбекскомъ

известнахъ, который причисляется нѣкоторыми учеными къ нижнимъ слоямъ мѣловой формаци — до свиданія царство пресмыкающихся! — Люди въ верхнихъ третичныхъ пластахъ, люди въ наивысшихъ слояхъ — приходи въ другой разъ царство млекопитающихъ! (2-й томъ, стр. 269).

Открытие ископаемыхъ людей было особенно жестокимъ ударомъ для заносчивости равностныхъ систематиковъ, и ударъ этотъ нанесенъ имъ очень недавно, всего лѣтъ пять тому назадъ. Особенно сокрушительно для нихъ то обстоятельство, что открытие это сдѣлано не въ Австраліи, не въ Африкѣ, даже не въ Азій, а именно въ Европѣ, да еще во Франціи и въ Англіи, то есть, какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были изслѣдованы тщательнѣе, чѣмъ всѣ остальные мѣстности земнаго шара. Если въ такихъ нѣвѣстныхъ странахъ возможны до настоящей минуты новыя открытія колоссальной важности, то, повидимому, систематикамъ остается только замолчать или публично признаться въ томъ, что бѣдность матеріаловъ еще не позволяетъ геологамъ и палеонтологамъ заниматься сооруженіемъ системъ, и приносить какіе-бы то ни было приговоры на счетъ различныхъ особенностей органической жизни въ отдаленномъ прошедшемъ. Даровитѣйшіе изъ современныхъ геологовъ, и во главѣ ихъ знаменитый Чарльзъ Ляйелль, истребитель катаклизмовъ и переворотовъ, вполне сознаютъ безсиліе своей науки, и никакъ не рѣшаются поражать теорію Дарвина тѣмъ возраженіемъ, что наши палеонтологическія коллекціи не представляютъ безчисленнаго множества переходныхъ формъ. Они очень хорошо понимаютъ, что въ геологіи отрицательныя доказательства не имѣютъ ни малѣйшей силы. Геологъ говоритъ: «такое-то животное существовало въ такую-то эпоху, потому что въ такой-то формаци находятся его кости», — это дѣло. Но геологъ не можетъ сказать: «такое-то животное не существовало въ такую-то эпоху, потому что въ такой-то формаци *нѣтъ* его костей», — это была бы чепуха. *Нѣтъ* на языкѣ геологовъ значить: *мы не нашли*. Чтожъ изъ этого слѣдуетъ? Не нашли сегодня, можете найти завтра. А если даже и совсѣмъ не найдете, то и это еще ничего не доказываетъ. Животное могло существовать, а кости его могли не сохраниться. Кости, раковины и другіе органическіе остатки сохраняются въ теченіе цѣлыхъ геологическихъ эпохъ только тогда, когда они покрываются очень толстымъ наносомъ минеральныхъ частицъ, такимъ наносомъ, который можетъ ихъ защищать отъ разрушительнаго дѣйствія воздуха, воды, различныхъ кислотъ. Гдѣ нѣтъ такого наноса, тамъ самая твердая кость разлагается и уничтожается безъ слѣда, хоть, конечно, на такое уничтоженіе требуется нѣсколько столѣтій. Но такіе предохранительные наносы образуются преимущественно изъ тѣхъ минеральныхъ частицъ, которыя осаждаются на дно морей, озеръ и рѣкъ. Чтобы кость сохранилась, она должна попасть въ одно изъ такихъ во-

довѣстилищъ и покрытыя минеральнымъ осадкомъ, прежде нежели ее истребитъ разрушительное дѣйствіе воды и водяныхъ животныхъ. Поэтому не трудно понять, что во всѣхъ пластахъ земной коры остатки морскихъ и прѣсноводныхъ животныхъ встрѣчаются въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ кости млекопитающихъ и птицъ, то есть, такихъ животныхъ, которыя живутъ и умираютъ на сушѣ. Кость какого нибудь мамонта или медвѣдя можетъ сохраниться только тогда, когда она случайно попадетъ, уже послѣ смерти животнаго, въ ложе рѣки или озера; или же тогда, когда она, такъ или иначе, будетъ занесена въ такую пещеру, въ которой известковая вода, просачиваясь черезъ разныя щели, образуетъ на полу и на стѣнахъ твердую кору сталагмитовъ и сталактитовъ. Эта кора понемногу покроетъ занесенную кость, и предохранитъ ее отъ разложенія. Нѣкоторыя породы исчезнувшихъ животныхъ извѣстны намъ исключительно по тѣмъ костямъ, которыя сохранились въ такихъ пещерахъ; эти животные такъ и называются *пещерными*, напримѣръ, пещерный медвѣдь (*Ursus Spelaeus*), пещерная гиена (*Hyena Spelaea*). Понятно, что только очень незначительное количество костей могло сохраниться такимъ путемъ. Огромное же большинство погибло безъ остатка, то есть, пошло опять въ общій круговоротъ жизни, и превратилось въ составныя части новыхъ растений и новыхъ животныхъ. Иначе и быть не можетъ, и только Кифа Мокіевичъ способенъ былъ бы вообразить себѣ, что кости всѣхъ животныхъ, существовавшихъ съ самаго начала органической жизни, могутъ сохраниться въ цѣлости. На земномъ шарѣ, въ теченіи невидѣннаго ряда тысячелѣтій, жили и умирали неистиснимые миллионы и миллиарды животныхъ; ихъ кости, въ общей сложности, составляютъ такую груду, которая навѣрное въ нѣсколько тысячъ разъ превышаетъ объемъ всей нашей планеты. Ясно стало быть, что кости умершихъ поколѣній постоянно идутъ на сооруженіе костей живущихъ организмовъ. Недавно въ Англіи случился очень извѣстный примѣръ такого употребленія костей. Замѣчено было, что честерскій сыръ начинаетъ терять свои превосходныя качества. Стали изслѣдовать причину: оказалось, что въ молокѣ тамошнихъ коровъ не достаетъ нѣкоторыхъ составныхъ частей; эти составныя части получаютъ изъ пищи; стали анализировать пищу, и нашли наконецъ, что вся бѣда происходитъ отъ истощенія почвы тѣхъ луговъ, на которыхъ пасутся честерскія коровы. Розыскали, чего именно не достаетъ въ почвѣ, и пополнили этотъ недостатокъ слѣдующимъ образомъ. Разрыли ватерлоосное поле, привезли на нѣсколькихъ корабляхъ кучи человѣческихъ и лошадиныхъ костей, смолотли все это на паровыхъ мельницахъ, и этимъ костянымъ кормомъ уснажили истощившіеся луга. Честерскій сыръ немедленно испра-

вился, но сама природа съ незапамятныхъ временъ дѣлаетъ то, чему наши химики выучились только въ нынѣшнемъ столѣтіи.

«Кажется, говорить Лийелль, въ планъ природы не входитъ сохранять продолжительное свидѣтельство о значительномъ количествѣ растений и животныхъ, которыя жили на поверхности земли. Напротивъ, новидимому ея главная забота состоитъ въ доставленіи средствъ избавить удобную для жительства поверхность земли, покрытую или не покрытую водою, отъ этихъ мириадъ плотныхъ скелетовъ и огромныхъ стволовъ, которые, безъ этого, вскорѣ бы запрудили рѣки и засыпали долины. Чтобы избѣгнуть этого неудобства, она прибѣгаетъ къ теплотѣ солнца, къ влажности атмосферы, къ растворяющей силѣ угольной и другихъ кислотъ, къ зубамъ хищныхъ, къ желудку четвероногихъ, птицъ, пресмыкающихся и рыбъ, и къ дѣйствию множества безпозвоночныхъ животныхъ.» (*Лийелль. Древность человѣка. Русскій переводъ г. Ковалевскаго. Стр. 136.*)

Къ немалому огорченію геологовъ и палеонтологовъ, всѣ эти разрушители, крупныя и мелкіе, неодушевленные и одушевленные, исполняютъ свою обязанность превосходно, и уничтожаютъ все, что только можетъ быть уничтожено. Осушеніе Гаарлемскаго озера, произведенное голландскимъ правительствомъ въ 1853 году, обнаружило въ полномъ блескѣ изумительную силу всѣхъ этихъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ враговъ геологіи и палеонтологіи. Озеро это покрывало поверхность въ 45,000 квадратныхъ акровъ; на его водахъ произошло много кораблекрушеній, и много морскихъ битвъ, въ которыхъ погибли сотни голландскихъ и испанскихъ матросовъ; антикваріи нашли въ ложѣ этого озера обломки судовъ и оружіе шестнадцатаго вѣка, но во всемъ озерѣ не нашлось ни одной человѣческой кости. Неправда ли, какъ остроумно было бы придавать этому отрицательному доказательству значеніе серьезнаго аргумента? А геологъ, приводящій какое бы то ни было отрицательное доказательство, никогда не можетъ быть увѣренъ въ томъ, что онъ не попадаетъ въ такой же точно просакъ. Въ Сѣверной Франціи, въ долинѣ Соммы, въ дилувіальныхъ или намывныхъ пластахъ, рядомъ съ костями мамонтовъ и другихъ угасшихъ животныхъ найдено множество кремневыхъ орудій самой грубой работы. Кто дѣлалъ эти топоры и ножи?—Люди современные мамонту. А гдѣ кости этихъ людей?—Костей нѣтъ. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Да ровно ничего не слѣдуетъ. Надо ждать, пока найдутся кости. Подождали. И дѣйствительно, въ той же самой формациі отыскалась человѣческая челюсть. Ну, а если бы эта челюсть не нашлась, тогда что? — И тогда ничего бы не воспослѣдовало. Все-таки топоры и ножи не могли обтесаться сами собою, и мамонты также ихъ не могли обтесать, значить, присутствіе или отсутствіе человѣческихъ костей нисколько не измѣняетъ сущности дѣла. Очень пріятно, если человѣческія кости найдутся, потому что

тогда можно будет сдѣлать кое-какія заключенія объ анатомическомъ строеніи этого первобытнаго племени, но хоть бы не осталось ни одной человѣческой кости, все-таки существованіе человѣка въ эпоху мамонтовъ оказывается несомнѣннымъ и неопровержимымъ фактомъ.

«Между тѣмъ, говоритъ Ляйелль, отсутствіе всякаго слѣда костей, принадлежащихъ народонаселенію, оставившему столько готовыхъ и неоконченныхъ орудій, представляетъ поразительный урокъ относительно того значенія, которое мы должны придавать этимъ отрицательнымъ доказательствамъ, приводимымъ въ пользу несуществованія нѣкоторыхъ классовъ земныхъ животныхъ въ данную эпоху прошедшаго. Это — новое и замѣчательное доказательство крайняго несовершенства, нашихъ геологическихъ данныхъ, несовершенства, о которомъ даже тѣ, которые постоянно работаютъ на этомъ поприщѣ, съ трудомъ могутъ составить себѣ вѣрное понятіе». (Стр. 135).

«По нашему знанію геологій иныхъ странъ, кромѣ Европы и Соединенныхъ Штатовъ, говоритъ Дарвинъ, и по тѣмъ переворотамъ въ нашихъ геологическихъ воззрѣніяхъ, которые произошли отъ открытій послѣднихъ двѣнадцати годовъ, мнѣ кажется, что ни имѣетъ столько же права дѣлать общіе выводы о послѣдовательномъ появленіи организмовъ на земномъ шарѣ, сколько имѣлъ бы натуралистъ, посѣтившій на пять минутъ пустынный берегъ Австраліи, право разсуждать о количествахъ и свойствахъ ея естественныхъ произведеній.» (Стр. 242).

«Развивая метафору Чарльза Ляйелля, говоритъ Дарвинъ въ другомъ мѣстѣ, я считаю нашу геологическую лѣтопись за исторію міра, веденную непостоянно и написанную на избѣчивомъ нарѣчій. Изъ этой исторіи намъ доступенъ лишь послѣдній томъ, относящійся къ двумъ-тремъ странамъ. Изъ этого тома лишь тамъ и сямъ сохранилась краткая глава, и изъ каждой страницы лишь нѣсколько безсвязныхъ строкъ.» (Стр. 246).

Такимъ образомъ, для насъ становится ясною та истина, что геологія не имѣетъ никакого права, и ни малѣйшей возможности произносить надъ теорією Дарвина, въ ту или въ другую сторону, окончательный приговоръ. Мы должны только рассмотреть вопросъ, примиряются ли съ теорією Дарвина тѣ немногіе *положительные* факты, которые составляютъ прочное и незыблемое достояніе современной геологій.

II.

Рыбы появляются въ первый разъ въ девонскихъ пластахъ, принадлежащихъ къ первичной, то есть, къ древнѣйшей формациі. Прежде

всѣхъ другихъ рыбъ появляются такъ называемыя *ганонды* рыбы, которыхъ число и разнообразіе постоянно увеличиваются, и наконецъ достигаютъ высшей степени развитія въ юрскихъ пластахъ, составляющихъ средину вторичной формаціи. Затѣмъ, въ мѣловыхъ слояхъ, лежащихъ надъ юрскою почвою, ганонды начинаютъ слабѣть и исчезать; этотъ постепенный упадокъ возрастаетъ въ третичныхъ пластахъ, и, наконецъ, въ настоящее время, порядокъ ганондныхъ рыбъ, наполнявшій своими разнообразными представителями всѣ воды юрскаго періода, заключаетъ въ себѣ всего семь родовъ, живущихъ только въ немногихъ рѣкахъ, гдѣ борьба за существованіе не такъ сильна, какъ въ морѣ. Такая строгая постепенность въ появленіи, въ размноженіи и въ вымирании породъ находится въ полномъ согласіи съ теоретическими требованіями Дарвина. Но рыбы другаго порядка, *костистыя*, въ этомъ отношеніи ведутъ себя совершенно неприлично. Онѣ появляются внезапно, цѣлою группою видовъ и родовъ, въ нижнихъ ярусахъ мѣловой эпохи. Вотъ видите, говорятъ Агассизъ, Пикте, Седжвикъ и другіе палеонтологи, видите: онѣ появляются внезапно. Гдѣ же ихъ постепенное развитіе? Значить онѣ *отъ вдругъ* были созданы въ началѣ мѣловаго періода. И совсѣмъ не «значить». Тутъ опять пущено въ ходъ отрицательное доказательство, и мы должны строго разграничить область дѣйствительныхъ фактовъ отъ области произвольныхъ толкованій и предположеній. Въ чемъ состоитъ голій фактъ? Въ томъ, что многія породы костистыхъ рыбъ жили во время мѣловаго періода, и оставили свои кости и слѣды въ мѣловой формаціи. Затѣмъ начинаются предположенія, противъ которыхъ Дарвинъ, съ своей точки зрѣнія, можетъ выставить много другихъ предположеній, гораздо болѣе естественныхъ и правдоподобныхъ. *Во первыхъ*, костистыя рыбы могли жить задолго до начала мѣловой эпохи въ моряхъ и рѣкахъ тѣхъ странъ, которыя до сихъ поръ не исследованы въ геологическомъ отношеніи. Такихъ морей и рѣкъ слишкомъ достаточно, потому что геологи до сихъ поръ не знаютъ почти ни одной ископаемой рыбы, жившей въ южномъ полушаріи. Стало быть, въ этихъ неисследованныхъ мѣстностяхъ, порядокъ костистыхъ рыбъ могъ преспокойно возникнуть, усилиться и раздѣлиться на множество ясно обособленныхъ семействъ, родовъ и видовъ; потомъ, проживши такимъ образомъ въ южныхъ водахъ сотни тысячелѣтій, онѣ могли наконецъ, во время мѣловаго періода, проникнуть и въ тѣ моря, которыя омывали тогдашніе берега Европы. *Во-вторыхъ* намъ необходимо помнить, что отдѣльныя геологическія формаціи ложились другъ на друга не иначе, какъ съ громадными антрактами. Если сегодня кончилось накопленіе юрскихъ слоевъ, то съ завтрашняго дня никакъ не можетъ начаться напластованіе слѣдующей мѣловой формаціи. Если бы дѣло происходило такимъ образомъ, то не было бы никакой возможности

отличить мѣлъ отъ юры. Различныя геологическія эпохи отличаются одна отъ другой особенностями тѣхъ органическихъ остатковъ, которые заключены въ ихъ пластахъ. Стало быть, конецъ одной геологической эпохи и начало другой наступаютъ тогда, когда появляются слѣды новой флоры и новой фауны *), то есть, когда во всей совокупности растений и животныхъ обнаруживается рѣзкое и сильное измѣненіе, а такіа измѣненія производятся только многими сотнями тысячелѣтій.

Вотъ примѣръ изъ книги Ляйелля «Древность человѣка»: «Мы уже видѣли, говоритъ Ляйелль, что всѣ растенія и прѣсноводныя и морскія раковины «лѣснаго слоя» и рѣчно-морскихъ пластовъ Норфолька совершенно тождественны съ видами нынѣшней европейской фауны и флоры, такъ что, если на подобнаго рода слой отложилась бы морская или прѣсноводная формація настоящаго періода, она бы расположилась соотвѣтственными слоями, и содержала бы, какъ ту же фауну безпозвоночныхъ, такъ и ту же флору. Расположенные такимъ образомъ пласты назывались бы одновременными въ обменовенной геологической номенклатурѣ, не только какъ принадлежащіе къ той же эпохѣ, но и какъ относящіеся къ тому же подраздѣленію части одной и той же эпохи, хотя на самомъ дѣлѣ они и были бы раздѣлены промежутокъ времени въ нѣсколько сотенъ тысячъ лѣтъ.» (Стр. 275).

Въ геологическомъ отношеніи лордъ Пальмерстонъ, и самъ сэръ Чарльзъ Ляйелль могутъ быть названы современниками мамонтовъ и пещерныхъ медвѣдей, но животныя юрской эпохи не могутъ быть названы современниками животныхъ мѣловаго періода. Стало быть, антрактъ между юрою и мѣломъ, то есть, между двумя пластами, лежащими непосредственно одинъ на другомъ, несравненно длиннѣе, чѣмъ тотъ промежутокъ времени, который отдѣляетъ XIX столѣтіе отъ эпохи мамонтовъ. Какъ великъ антрактъ между двумя геологическими формаціями, этого никто не можетъ сказать даже приблизительно. Что происходило въ этомъ антрактѣ—этого также никто не знаетъ. Костистыя рыбы въ это время могли возникнуть и развиться, или онѣ могли переселиться въ сѣверныя моря изъ южныхъ, а потомъ, когда началось напластованіе мѣловой формаціи, эти рыбы оказались уже многочисленными и разнообразными. Въ третьихъ, вопросъ о костистыхъ рыбахъ, благодаря новымъ открытіямъ, начинаетъ подвергаться той участи, которую уже испытать въ наше время вопросъ объ ископаемыхъ обезьянахъ и объ ископаемыхъ людяхъ. Пикте открылъ недавно, что костистыя рыбы существовали, даже въ *Беронъ*, раньше мѣловой эпохи. Кромѣ того, есть какія-то рыбы, гораздо болѣе древнія, о которыхъ между палеон-

*) Не знаю, есть ли надобность пояснять, что фауною называется совокупность животныхъ, а флорою совокупность растений. На всякій случай поясняю.

тологами идетъ споръ, неразрѣшенный еще до настоящей минуты. Одни говорятъ, что эти рыбы—костистыя, другіе находятъ, что это—ганойды или хрящевыя рыбы. А для теоріи Дарвина очень благопріятно именно то обстоятельство, что характеръ этихъ спорныхъ рыбъ оказывается неясно обозначеннымъ. Вотъ она и есть — переходная форма, отошедшая прочь отъ одного порядка, и еще не возвысившаяся до другаго. Но, разумѣется, натуралисты, абсолютно не желающіе признавать никакихъ переходовъ, всегда съумѣютъ обойти это неприятное слово. Если переходная форма слабо уклонилась отъ первобытной, они скажутъ, что это разновидность, *varietas*. А уклонилась носильнѣе — ну, значитъ — это новый видъ — *species*, возникшій совершенно самостоятельно. Перехода нѣтъ, но его нѣтъ въ словахъ, а на дѣлѣ-то онъ все-таки существуетъ. Оттого и происходитъ, напримѣръ, такая исторія: въ верхнихъ пластахъ третичной формаціи, находится множество раковинъ, почти совершенно сходныхъ съ тѣми раковинами, которыя живутъ въ прѣсныхъ и морскихъ водахъ нашего періода. Большинство натуралистовъ говорятъ, что это одни и тѣже раковины; но другіе первоклассные авторитеты, напримѣръ, Пикте и Агассизъ, утверждаютъ, что между третичными и нынѣшними раковинами существуетъ видовое различіе. И тѣ, и другіе правы: различіе, дѣйствительно, существуетъ, а раковины, то есть, породы моллюсковъ тѣже самыя; потомокъ не вполне похожъ на своего предка, точно также, какъ англійская лошадь не вполне похожа на арабскую, какъ теперешняя груша не вполне похожа на грушу временъ Плінія, или какъ курносый турманъ не вполне похожъ на дикаго голубя. Моллюски понемногу переродились, но сотни тысячелѣтій произвели въ нихъ меньше перемѣны, чѣмъ десятки лѣтъ производятъ въ домашнихъ животныхъ. Только такимъ медленнымъ перерожденіемъ моллюсковъ и можно объяснить то странное несогласіе, которое возникаетъ по поводу ихъ раковинъ между опытными специалистами. Если бы была возможность опредѣлить совершенно точно различіе между разновидностью и видомъ, то натуралисты давно установили бы неизблемую границу между этими двумя понятіями. Но нельзя установить эту границу, потому что она не существуетъ въ живой природѣ, а признавать ея несуществованіе значитъ принять теорію Дарвина со всѣми ея неизбежными выводами. Многіе порядки животныхъ появляются въ геологическихъ формаціяхъ также внезапно, какъ костистыя рыбы, но, во всѣхъ этихъ случаяхъ, внезапность появленія не даетъ намъ права заключать, что эти порядки внезапно возникли. Полное недоувѣріе къ отрицательнымъ доказательствамъ должно служить намъ необходимою защитой противъ всякихъ геологическихъ иллюзій.

III.

По теоріи Дарвина, всѣ положительные факты, добытые современною геологіею, объясняются совершенно удовлетворительно. При всякомъ другомъ взглядѣ на органическую жизнь, значеніе и общая связь этихъ положительныхъ фактовъ остаются совершенно непонятными. Если мы посмотримъ на царство животныхъ въ его теперешнемъ положеніи, то мы замѣтимъ, что нѣкоторыя группы рѣзко отдѣляются другъ отъ друга, но пробѣлъ, существующій между этими группами, пополняется въ значительной степени, или даже совершенно исчезаетъ, когда мы начинаемъ изучать живыя формы въ связи съ ископаемыми организмами. Семейство травоядныхъ китовъ (*Sirenia*) очень ясно отдѣляется отъ толстокожихъ животныхъ (*Rachidermata*), то есть, отъ слоновъ, тапировъ, носороговъ, бегемотовъ и свиней; но вымершія породы *динотеріевъ* и *токеодонтовъ* становятся какъ разъ посрединѣ между китами и слонами. По формѣ тѣла и заднихъ оконечностей динотерій былъ китомъ, а по устройству зубовъ и хобота онъ называется близкимъ родственникомъ слона. Толстокожіе рѣзко отличаются отъ жвачныхъ. Какое сходство, въ самомъ дѣлѣ, можно найти между свиньею и овцею, между слономъ и оленемъ, между носорогомъ и верблюдомъ? Но исчезнувшее семейство *аноплотеридовъ* составляетъ переходъ отъ толстокожихъ къ жвачнымъ, и классификаторы не знаютъ, навѣрное, къ какому порядку должно быть отнесено это семейство.

Такимъ образомъ китъ, слонъ и баранъ оказываются дальними родственниками, и родство ихъ можетъ быть доказано даже тѣми скудными средствами, которыми располагаетъ современная палеонтологія. Ящеры рѣзко отдѣляются отъ птицъ, но въ юрскомъ періодѣ жили крылатые ящеры (*pterodactylia*), и въ солонгофскихъ пластахъ найдена даже ящерица, покрытая перьями. По словамъ Дарвина, можно было бы наполнить цѣлыя страницы доказательствами, что «вымершія животныя занимаютъ середину между нынѣ живущими группами.» И особенно интересно то обстоятельство, что всѣ эти доводы можно цѣлкомъ заимствовать изъ сочиненій великаго палеонтолога Оуэна, который на теорію Дарвина смотритъ съ ужасомъ и отвращеніемъ. Другой первоклассный ученый, Баррандъ, также горячій противникъ дарвиновскаго легкомыслія, говорить, что безпозвоночныя животныя прошедшихъ геологическихъ періодовъ «принадлежать къ однимъ порядкамъ, семействамъ и родамъ съ нынѣ живущими, но не были въ тѣ времена разграничены на такія рѣзкія группы, какъ нынѣ.»

Если всѣ видовыя формы были сначала мелкими разновидностями, и

если каждая равновидность возникла и развилась из незамѣтной индивидуальной особенности, то причина этого явленія, подмѣченнаго Оуэномъ, Баррандомъ и всѣми другими палеонтологами, совершенно понятна. Но если каждый видъ возникаетъ отдѣльно, и остается неизмѣннымъ вплоть до своего исчезновенія, то невозможно объяснить себѣ, почему животныя древнихъ формаций вообще не такъ рѣзко раздѣлены на видовыя, родовыя и семейныя группы, какъ животныя текущаго періода. Такъ случилось—конечно; но почему же случилось именно такъ, а не иначе, въ теченіе неизмѣримаго ряда тысячелѣтій, и въ каждой изъ тридцати шести, извѣстныхъ намъ, громадныхъ, геологическихъ эпохъ? На этотъ вопросъ противники Дарвина не могутъ дать никакого отвѣта, а Дарвинъ даетъ отвѣтъ совершенно правдоподобный, и что всего важнѣе, этотъ правдоподобный отвѣтъ разрѣшаетъ совершенно удовлетворительно множество другихъ вопросовъ, поставленныхъ положительными фактами геологій и многихъ другихъ отраслей естествознанія. Такой отвѣтъ, приложенный ко множеству самостоятельныхъ вопросовъ, и согласный со всею совокупностью различныхъ фактовъ, независимыхъ другъ отъ друга, такой отвѣтъ, говорю я, по своему всеобъемлющему значенію, уже теряетъ характеръ простой гипотезы.

Если мы будемъ сравнивать между собою фауны и флоры различныхъ геологическихъ эпохъ, то мы увидимъ, что чѣмъ дальше одна эпоха отстоитъ по времени отъ другой, тѣмъ сильнѣе отличаются другъ отъ друга ихъ флоры и фауны. Напримѣръ, животныя и растенія третичныхъ формаций ближе подходятъ къ теперешнимъ породамъ, чѣмъ животныя и растенія вторичныхъ пластовъ, а вторичныя, въ свою очередь, представляютъ съ теперешними больше сходства, чѣмъ первичныя. Чѣмъ древнѣе пластъ, тѣмъ страннѣе и непривычнѣе для нашихъ глазъ формы животныхъ и растеній; чѣмъ новѣе пластъ, тѣмъ знакомѣе кажутся намъ фигуры ископаемыхъ организмовъ. Если мы возьмемъ три формации, лежащія одна на другой, напримѣръ, силурскую, девонскую и каменноугольную, то мы увидимъ, что органическія формы средней эпохи, девонской, составляютъ нѣкоторымъ образомъ переходъ отъ древнѣйшихъ, силурскихъ формъ къ болѣе новымъ, каменноугольнымъ. Это обстоятельство также можетъ быть объяснено только но идеямъ Дарвина. Если всѣ органическія формы медленно и постепенно развивались изъ общаго начала, если каждая новѣйшая форма оказывается, въ буквальномъ смыслѣ слова, дочерью другой формы, болѣе древней, если, такимъ образомъ, каждая геологическая эпоха составляетъ только отдѣльную сцену одной общей, громадной драмы, не перерывавшейся ни разу, съ самаго своего начала,—тогда понятно, почему эти сцены находятся въ связи между собою, и почему, напримѣръ, вторая сцена служитъ переходомъ отъ первой къ третьей. Но если каждый видъ возникаетъ самъ по

себѣ, безъ всякаго отношенія къ тѣмъ формамъ, которыя жили раньше его появленія, и если, такимъ образомъ, каждая геологическая эпоха оказывается совершенно законченнымъ пьесомъ, съ своею особенною завязкою и развязкою, — тогда для насъ становится необъяснимомъ причина той несомнѣнной связи, которую мы замѣчаемъ между органическими произведеніями отдѣльныхъ геологическихъ эпохъ.

Противники Дарвина представляютъ себѣ исторію органической жизни въ слѣдующемъ видѣ: сначала созданы животныя и растенія силурской эпохи; потомъ они уничтожаются, и создаются животныя и растенія девонскаго періода; потомъ эти уничтожаются въ свою очередь, и создаются животныя и растенія каменноугольной формаціи, и такъ далѣе, вплоть до нашихъ временъ. Спрашивается почему же организмы девонскихъ слоевъ болѣе похожи на силурскія формы, чѣмъ, напримѣръ, на теперешніе виды животныхъ и растеній? Потому, что девонская эпоха слѣдуетъ непосредственно за силурскою? Но какая же связь существуетъ между простою хронологическою послѣдовательностію и типическими особенностями организмовъ? Если силурская эпоха отдѣлена отъ девонской непреходимою бездною, то не все-ли равно, одна-ли такая бездна лежитъ между ними, или двадцать безднъ? Если бы девонскія организмы возникли совершенно независимо отъ силурскихъ, то имъ не было никакой надобности и никакой причины представлять съ послѣдними какое-бы то ни было родственное сходство.

Клифъ доказалъ, что ископаемыя млекопитающія, находящіяся въ австралійскихъ пещерахъ, обнаруживаютъ тѣсную, родственную связь съ сумчатыми животными, населяющими Австралію въ настоящее время. Оуэнъ доказалъ, что ископаемыя млекопитающія, отысканныя въ Ла-Платѣ и въ Бразиліи, сродны съ южно-американскими животными нашего времени. Оуэнъ подмѣтилъ, кромѣ того, родственное сходство между ископаемыми и живущими птицами Новой Зеландіи. И наконецъ, тотъ же Оуэнъ, «распространилъ тоже обобщеніе и на млекопитающихъ стараго свѣта». Вотъ сколько незабвенныхъ услугъ этотъ драгоцѣнный Оуэнъ, самъ того не желая, оказалъ своими великими учеными трудами той теоріи, которую онъ ненавидитъ! Всѣ эти открытія очевидно идутъ въ пользу Дарвина.

Почему же, въ самомъ дѣлѣ, вымершія породы извѣстной страны представляютъ сходство съ тѣми органическими формами, которыя живутъ именно въ той же самой странѣ? Почему, напримѣръ, ископаемыя животныя Австраліи похожи на живыхъ обитателей той же Австраліи, а не на жителей Европы, или Азіи, или Америки? Отвѣтъ напрашивается самъ собою. Австралійскія животныя похожи на австралійскихъ, ново-зеландскія на ново-зеландскихъ, южно-американскія на южно-американскихъ, и такъ далѣе, — потому что живыя формы этихъ мѣстно-

стей составлять прямое, нисходящее потомство ископаемыхъ организмовъ. Это потомство переродилось сообразно съ измѣняющимися требованиями вѣчной борьбы за существованіе; но основныя черты общаго типа еще не успѣли изгладиться. Другаго отвѣта тутъ и быть не можетъ, и, такимъ образомъ, даже геологія, при всей недостаточности своихъ матеріаловъ, выдвигаетъ въ пользу Дарвина три ряда многозначительныхъ фактовъ.

ГЕОГРАФИЧЕСКІЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

I.

Почему слоны и носороги живутъ въ Азіи и въ Африкѣ, и не живутъ въ тропическихъ частяхъ Америки и Австраліи? Почему бенгальскій тигръ замѣняется въ Америкѣ ягуаромъ? Почему въ южной Америкѣ живетъ лама, а не верблюдъ? Почему обезьяны стараго свѣта принадлежатъ къ семейству узконосыхъ, и короткохвостыхъ, а обезьяны новаго свѣта, напротивъ того, отличаются широкими носами и длинными хвостами? Можно поставить тысячи подобныхъ вопросовъ, и на всѣ эти вопросы натуралистъ постоянно будетъ отвѣчать: «не знаю». Климатическія условія въ этомъ случаѣ не объясняютъ ровно ничего. Экваторъ проходитъ черезъ Африку, Азію и Южную Америку; въ этихъ трехъ частяхъ свѣта можно отыскать множество такихъ мѣстностей, въ которыхъ солнце жжетъ съ одинаковою силою, и воздухъ въ одинаковой степени насыщенъ водяными парами. Сходство въ климатическихъ условіяхъ будетъ полное, а между тѣмъ различіе растеній и животныхъ будетъ чрезвычайно значительно. Австралія также лежитъ въ жаркомъ поясѣ, но тропическій климатъ, конечно, не объясняетъ намъ, почему въ Австраліи живутъ утконосы и двуутробки, и почему чернѣ австралийскаго человѣка похожъ на рѣдку хвостомъ въверху.

Великобританское королевство есть группа острововъ, лежащихъ въ сѣверномъ, умѣренномъ поясѣ, и японская имперія есть также группа острововъ, лежащихъ въ сѣверномъ, умѣренномъ поясѣ, но жизнь англичанина не похожа на жизнь японца, и никому не проходитъ въ голову находить это послѣднее обстоятельство удивительнымъ. Говорятъ, что исторія выработала въ Великобританіи *habeas corpus*, а въ Японіи манеру лишать себя жизни посредствомъ взрыванія живота. Ну да, исторія; и также самая исторія выработала цѣлкій хвостъ широконосаго американскаго саламу, и безхвостость узконосаго, азіятскаго orangoutang.

Та исторія, которая сформировала государственныя учрежденія Англіи и Японіи, составляет только новѣйшій и очень короткій періодъ той всемірной исторіи, которая создала и постоянно продолжаетъ создавать всѣ существующія формы растеній и животныхъ нашей планеты. Въ исторіи человечества только тѣ народы могутъ дѣйствовать другъ на друга, которые имѣютъ между собою какіе нибудь сношенія; точно также въ исторіи органической жизни только тѣ растенія и животныя дѣйствуютъ другъ на друга, которыя такъ или иначе находятся между собою въ соприкосновеніи. Азіятскіе народы развивались особнякомъ отъ европейскихъ; африканскіе—особнякомъ отъ тѣхъ и отъ другихъ; а народы Америки и Австраліи до конца XV-го вѣка еще гораздо рѣзче были отчуждены отъ народовъ стараго свѣта. Тоже самое явленіе «*особнячества*» въ еще болѣе сильной степени обнаруживается въ историческомъ развитіи органическихъ формъ. Жизнь возникла и развивалась самостоятельно на различныхъ точкахъ земной поверхности. Всѣ животныя и всѣ растенія каждой обширной географической области, омаиленной естественными границами, составляютъ одно органическое цѣлое, въ которомъ отдѣльныя части связаны между собою перепутанными сѣтями самыхъ сложныхъ взаимныхъ отношеній. Внутри этого цѣлаго совершается историческое развитіе всѣхъ отдѣльныхъ частей, то есть, всѣхъ видовъ растительнаго и животнаго царства. Каждая отдѣльная часть, то есть, каждый видъ, стремится къ тому, чтобы какъ можно влѣтѣе приладиться къ этому цѣлому; каждый видъ борется съ другими видами *данной области*, и шлифуется посредствомъ этой борьбы, то есть, приобрѣтаетъ тѣ особенности въ тѣлосложеніи, которыхъ требуютъ *мѣстные условія*. Колоритъ и направленіе борьбы зависятъ отъ *этихъ мѣстныхъ условій*, то есть, всей совокупности тѣхъ органическихъ формъ, которыя населяютъ данную мѣстность. Сообщая борьбѣ то или другое направленіе, эти мѣстныя условія вырабатываютъ типическія особенности каждаго отдѣльнаго вида, который, такимъ образомъ оказывается непремѣнно продуктомъ извѣстной географической области. Эти готовые продукты различныхъ географическихъ областей изъ своего отечества распространяются въ разныя стороны, и, наконецъ, останавливаются въ своемъ распространеніи на тѣхъ естественныхъ границахъ, черезъ которыя не можетъ перейти ни животное, ни растеніе. Самыми непродоходимыми границами оказываются океаны, и поэтому три материка: Старый Свѣтъ, Америка и Австралія чрезвычайно рѣзко отдѣляются другъ отъ друга по характеру своихъ туземныхъ организмовъ. Африканскій слонъ конечно могъ бы найти себѣ въ тропической Бразиліи удобный климатъ и обильную пищу; бенгальскій тигръ, попавши въ Бразилію, не превратился бы тамъ въ агуара; котомство *уконосога* и безхвостаго орангутанга, перевезеннаго въ южную Америку, во всей

вѣроятности не приобрѣло бы себѣ тамъ широкой носовой перегородки и длиннаго хвоста. Но, такъ какъ всѣ эти животныя не имѣютъ никакой возможности перебраться черезъ океанъ, то всѣ они и остаются исключительными обитателями Старога Свѣта.

Но развѣ не могла порода тигровъ, слоновъ и орангутанговъ возникнуть одновременно, и въ Старомъ Свѣтѣ, и въ Новомъ?—На этотъ вопросъ можно отвѣчать рѣшительно: нѣтъ, не могла. Для этого было бы необходимо, чтобы, въ теченіи многихъ сотенъ тысячелѣтій, на двухъ различныхъ точкахъ земной поверхности, борьба за существованіе совершалась при одинаковыхъ условіяхъ. Такое требованіе совершенно неосуществимо, и поэтому каждый натуралистъ, принимающій видовыя формы за продукты борьбы и естественнаго развитія, непремѣнно приходитъ къ тому заключенію, что каждая видовая форма могла возникнуть *только въ одной* географической области. Факты подтверждаютъ это теоретическое предположеніе. Натуралисты не знаютъ ни одного примѣра, чтобы какое нибудь дикое млекопитающее водилось на двухъ совершенно отдѣльныхъ материкахъ. На океаническихъ островахъ, лежащихъ далеко отъ материка, нѣтъ ни дикихъ млекопитающихъ, ни лягушекъ, ни жабъ, ни ящерицъ. Почему? Потому, что всѣ эти животныя не могутъ переселяться за море. Лягушки, жабы и ящерицы сами погибаютъ отъ морской воды, и даже ихъ икра не выдерживаетъ прикосновенія этой стихіи. Стало быть, лягушка, жаба или ящерица можетъ попасть на островъ только при помощи человѣка. Человѣкъ нечаянно помогъ лягушкамъ пробраться на Мадеру, на Азорскія острова и на островъ св. Маврікія, и лягушки такъ отлично принаровились къ мѣстнымъ условіямъ, и размножились такъ успѣшно, что ихъ многочисленность становится для жителей этихъ острововъ тягостнымъ наказаніемъ. На тѣхъ океаническихъ островахъ, на которыхъ нѣтъ земныхъ млекопитающихъ, живутъ однако летучія мыши, то есть, именно такіа млекопитающія, которыя, подобно птицамъ, могутъ переправляться черезъ морскіе проливы. Эти факты доказываютъ намъ, что каждый океаническій островъ населялся тѣми растеніями и животными, которыя, такъ или иначе, могли пробраться на него съ соотвѣднаго материка. Поэтому, населеніе этихъ острововъ болѣею частию очень бѣдно, то есть, на нихъ живетъ, сравнительно съ ихъ пространствомъ, очень незначительное количество видовыхъ формъ. Присутствіе летучихъ мышей на океаническихъ островахъ не должно насъ изумлять; извѣстно, что двѣ породы изъ этого семейства перелетаютъ нѣсколько разъ въ годъ съ береговъ Сѣверной Америки на Бермудскіе острова, находящіеся въ шести стахъ миляхъ отъ материка. Путешественники видали иногда, какъ летучія мыши носатся днемъ надъ Атлантическимъ океаномъ, въ очень далекомъ разстояніи отъ береговъ. Поэтому вовсе не трудно пред-

положить, что какая нибудь континентальная порода летучих мышей залетѣла на островъ, осталась на немъ, размножилась и потомъ видоизмѣнилась, такъ что образовалась новая порода, свойственная исключительно данному острову. Съ точки зрѣнія Дарвина этотъ фактъ понятенъ. Но, если мы отвергнемъ теорію преемственности видовъ, то намъ останется только изумляться, почему же это, въ самомъ дѣлѣ, для Новой Зеландіи полагаются двѣ породы летучихъ мышей, и совсѣмъ не полагается ни крысъ, ни зайцевъ, ни собакъ, ни кошекъ. И почему же мать-природа не помѣстила лягушекъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ всѣ условія жизни оказываются для этихъ животныхъ въ высшей степени благоприятными?

II.

Во многихъ случаяхъ бываетъ очень трудно объяснить, какимъ образомъ совершилось переселеніе животнаго или растенія съ одной точки земной поверхности на другую. Вѣтры, морскія теченія, птицы, рыбы въ очень значительной степени помогаютъ переселеніямъ растеній и даже нѣкоторыхъ животныхъ. Дарвинъ сообщаетъ много любопытнѣйшихъ наблюденій на счетъ этихъ случайныхъ способовъ переселенія. Но до сихъ поръ предметъ этотъ разработанъ очень недостаточно. Ботаники не знаютъ даже, долго ли сѣмена различныхъ растеній могутъ противиться вредному дѣйствію морской воды? Между тѣмъ, вѣтеръ каждый годъ ломаетъ вѣтки и уноситъ ихъ въ море; тамъ онѣ попадаютъ въ теченіе, и плывутъ въ даль, и потомъ выбрасываются на какой нибудь берегъ. Послѣ такого плаванія, могутъ ли зрѣлыя сѣмена, находившіяся на этихъ вѣткахъ, пустить корень, и произвести здоровое растеніе? Понятно, что этотъ вопросъ имѣетъ важное значеніе. Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ растеній, Дарвинъ бралъ вѣтки съ зрѣлыми сѣменами, вложилъ ихъ въ морскую воду на нѣсколько сутокъ и даже недѣль, а потомъ сѣялъ ихъ, и отмѣчалъ результаты этихъ опытовъ. Многія вѣтки тотчасъ отиравались ко дну; другія держались на водѣ очень долго, но потомъ сѣмена ихъ оказывались негодными; третьи выдерживали испытаніе вполне. Погруженіе, продолжавшееся 28, 42, и даже, для нѣкоторыхъ 137 дней, нисколько не вредило ихъ сѣменамъ, которыя, при первой возможности, тотчасъ пускали корень и производили здоровыя растенія: Зеленныя вѣтки отирались ко дну очень быстро; но тѣже самыя вѣтки, высушенныя на солнцѣ, держались на водѣ очень долго. Напримѣръ, сухая вѣтка орѣшника продержалась на водѣ 90 дней, и потомъ орѣхи этой

вѣтки, положенныя въ землю, пустили корень. Сухая вѣтка спаржи съ зрѣлыми ягодами плавала 85 дней, и сѣмяна пустили корень. Изъ всѣхъ своихъ опытовъ Дарвинъ выводитъ то заключеніе, что изъ 100 растеній десять могутъ плавать по морю около четырехъ недѣль, не теряя жизненной силы своихъ сѣмянъ. По физическому атласу Джонстона, средняя быстрота атлантическихъ теченій равняется 33 милямъ въ сутки. — $33 \times 28 = 924$. Это значитъ, что нѣкоторыя растенія могутъ переплыть въ 28 сутокъ морской рукавъ шириною 924 мили; потомъ, если волна выброситъ ихъ на берегъ, и если морской вѣтеръ занесетъ ихъ въ удобное мѣсто, сѣмяна этихъ растеній могутъ пустить корень, и основать такимъ образомъ новую колонію, вдали отъ прежняго отечества.

Море часто выбрасываетъ на берега океаническихъ острововъ цѣлыя деревья, и на коралловыхъ островахъ Тихаго Океана туземцы приготавливаютъ инструменты и оружіе исключительно изъ тѣхъ камней, которые попадаютъ между корнями этихъ деревьевъ. Камни эти получаютъ въ такомъ значительномъ количествѣ, что начальники этихъ островитянъ сочли удобнымъ превратить эту статью мѣстной торговли въ свою регалию. Эти камни часто держатся такъ плотно между корнями, что частицы земли, лежащія иногда за камнями или между ними, совершенно защищены отъ воды, и не могутъ быть размыты, не смотря на значительную продолжительность плаванія. Въ этихъ частицахъ земли заключаются иногда сѣмяна различныхъ растеній, которыя такимъ образомъ могутъ переселяться на чрезвычайно далекія разстоянія. Дарвинъ видѣлъ, между корнями пятидесятилѣтняго дуба, кусокъ земли, совершенно обросшій деревомъ; изъ этого куска появились ростки трехъ сѣмянъ, пробывшихъ пятьдесятъ лѣтъ въ такомъ тѣсномъ заключеніи.

Тѣла мертвыхъ птицъ помогаютъ иногда переселеніямъ растеній, потому что многія сѣмяна долго сохраняютъ свою жизненность въ зобу этихъ птицъ. — Живыя птицы въ этомъ отношеніи оказываютъ самыя значительныя услуги. Косточки многихъ ягодъ и плодовъ проходятъ черезъ кишечный каналъ птицы совершенно нетронутыми. Кромѣ того, такъ какъ зобъ птицы не выдѣляетъ желудочнаго сока, то всѣ зерна, находящіяся въ ея зобу, и не понавшія еще въ желудокъ, совершенно способны пустить корень. Пища птицы остается въ зобу отъ пятнадцати до восемнадцати часовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда птица наѣлась досыта. Предположимъ теперь, что птица наглоталась различныхъ зеренъ, и полетѣла. Ее подхватываетъ вѣтеръ, не даетъ ей справиться, и уноситъ ее въ открытое море; птица неавогдѣ летитъ во вѣтру, и, по словамъ Дарвина, скорость ея полета, при такихъ условіяхъ, можетъ доходить до 35 миль въ часъ, такъ что она легко можетъ пролетѣть миль пятьсотъ прежде, чѣмъ сѣдѣнныя ею зерна перейдутъ изъ ея зоба въ желудокъ. Наконецъ, она видитъ берегъ, и опускается въ со-

вершённомъ изнеможеніи, но соколы и ястребы имѣютъ непозволительную привычку подстергать утомленныхъ птицъ; одинъ изъ такихъ хищниковъ бросается на нашего странника, и раздираетъ его; часть сѣмянъ выпаливается изъ разорваннаго зоба, и можетъ немедленно пустить корень. Далѣе, многія хищныя птицы глотаютъ цѣликомъ свою добычу, и потомъ, по прошествіи двѣнадцати и даже двадцати часовъ, выбрасываютъ черезъ клювъ комки разныхъ непереваренныхъ веществъ. Въ этихъ комкахъ часто находятся сѣмена, способныя пустить корень. Нѣкоторые зерна овса, пшеницы, проса, конопли, клевера и свекловицы пустили корень, пробывши отъ 12 до 20 часовъ въ желудкѣ разныхъ хищныхъ птицъ. Два сѣмечка свекловицы пробыли въ желудкѣ хищной птицы двое сутокъ и четырнадцать часовъ (всего 62 часа) и все-таки пустили корень. Эта хищная птица могла въ это время залетѣть Богъ знаетъ куда, а хищныхъ птицъ много, и онѣ каждый день истребляютъ зерноядныхъ птицъ, и каждый день выбрасываютъ комки непереваренныхъ веществъ. Вліяніе этихъ птицъ на судьбу растений должно быть очень значительно. Хищныя птицы, питающіяся рѣчною рыбою, такъ же точно дѣйствуютъ на распространеніе водяныхъ растений, потому что рыба глотаетъ сѣмена, а птица глотаетъ рыбу. — Къ лапамъ птицъ пристають иногда частицы глины и ила, въ этихъ частицахъ часто заключаются мелкія сѣмена. Цапли, кулики и другія болотныя птицы особенно сильно должны содѣйствовать этимъ способомъ распространенію прѣсноводныхъ растений. Эти птицы постоянно бродятъ по вязкому грунту, и перелетаютъ часто на чрезвычайно значительныя разстоянія. Съ береговъ cadaго пруда онѣ непремѣнно уносятъ частицу мѣстной грязи, а эта грязь заключаетъ въ себѣ обыкновенно громаднаго количества сѣмянъ. «Я въ февралѣ, говоритъ Дарвинъ, взялъ три столовыя ложки ила изъ трехъ разныхъ подводныхъ точекъ на краю маленькаго пруда. Этотъ илъ, высушенный, вѣсилъ всего $6\frac{3}{4}$ унцій; я держалъ его прикрытымъ въ моемъ кабинетѣ въ теченіе шести мѣсяцевъ, вырывая и считая всѣ всходящія растенія; растенія эти принадлежали къ разнымъ видамъ, и всѣхъ ихъ было 537; однако вязкій илъ весь поимѣщался въ чайной чашкѣ.» — Дикія утки, и другія птицы, плавающія по рѣкамъ и перелетающія съ одной рѣки на другую, могутъ переносить съ собою прѣсноводныхъ моллюсковъ. Возможность такихъ перенесеній доказана прямымъ опытомъ. Дарвинъ повѣсилъ въ аквариумъ утиную лапу въ томъ положеніи, въ какомъ держитъ ее утка, плавая по водѣ; къ этой лапѣ присосалось множество молодыхъ моллюсковъ, только что вылупившихся изъ яицъ. Дарвинъ вынулъ лапу, и началъ ее оттирать; моллюски не пошевелились; послѣ этого лапа пролежала внѣ воды больше двѣнадцати часовъ, и моллюски остались въ живыхъ. Стало бытъ, утка очень легко могла бы перелетѣть вмѣстѣ съ ними за нѣ-

сколько десятковъ миль, и потомъ опустить ихъ въ какойнибудь другой прудъ, отстоящій очень далеко отъ мѣста ихъ рожденія. Этими и многими другими причинами, еще не достаточно изслѣдованными, объясняется то обстоятельство, что одни и тѣже виды прѣсноводныхъ моллюсковъ попадаются въ различныхъ рѣкахъ, не имѣющихъ между собою никакого водянаго сообщенія.—Сами собою моллюски эти, живущіе исключительно и постоянно въ водѣ, очевидно не могутъ перебраться сухимъ путемъ изъ одной рѣки въ другую.—Кромѣ птицъ, моллюскамъ помогаютъ въ этомъ дѣлѣ нѣкоторые насѣкомыя. «Сэръ Чарльзъ Ляйелль, говоритъ Дарвинъ, извѣщаетъ меня, что однажды былъ пойманъ *Dytiscus* (плавунецъ — водяной жукъ) съ прѣсноводною раковиною *Ancylus*, крѣпко присоавниюся къ нему; а водяной жукъ *Colymbetes*, принадлежащій къ тому же семейству, однажды залетѣлъ на корабль Бигль; когда этотъ корабль находился въ 45 миляхъ отъ ближайшаго берега.»—Очень можетъ быть, что этотъ *Colymbetes*, при попутномъ вѣтрѣ, пролетѣлъ бы еще дальше, а съ нимъ вмѣстѣ путешествовалъ бы и тотъ моллюскъ, который присосался бы къ его тѣлу.—Въ природѣ существуютъ, вѣроятно, многіе другіе способы переселенія, и будущіе натуралисты, конечно, сдѣлаютъ по этому предмету много неожиданныхъ открытій.

III.

Въ Великобританіи и въ Ирландіи водятся тѣже дикія млекопитающія, которыя живутъ во Франціи, въ Германіи и въ Швеціи. Это обстоятельство было бы необъяснимо, если бы мы не обратили вниманія на тѣ значительныя измѣненія морскаго уровня, которыя совершились во время новѣйшихъ геологическихъ эпохъ. Западныя и сѣверозападныя части Европы то поднимались, то опускались во время всего послѣ-пліоценоваго періода, примыкающаго непосредственно къ той эпохѣ, къ которой относится все историческое существованіе человѣческихъ обществъ. Во время поднятія почвы, всѣ британскіе острова соединялись въ одну массу, и срастались съ европейскимъ материкомъ; Ламаншъ исчезалъ совершенно, и, можетъ быть, даже все Нѣмецкое море превращалось въ сушу, такъ что Великобританія на югѣ сливалась съ Франціею, а на востокѣ съ Норвегіею и Даніею. Темза въ это время становилась притокомъ Рейна. Потомъ, когда почва опускалась, Великобританія, оторванная отъ материка, разрывалась, кромѣ того, на множество мелкихъ острововъ. Всѣ эти колебанія уровня совершаются чрезвычайно медленно, такъ что Великобританія была соединена съ материкомъ въ теченіе

многихъ тысячелѣтій, и всѣ континентальныя животныя имѣли полную возможность населить эту землю, и размножиться въ ней, во время періода поднятія. Такъ какъ, во время послѣ-пліоценовой эпохи, теперешнія породы животныхъ были уже сформированы, то эти колебанія уровня объясняютъ намъ совершенно удовлетворительно, почему одиѣ и тѣже породы млекопитающихъ населяютъ и материкъ Европы, и Британскіе острова.—Несмотря на эти послѣдовательныя повышенія и пониженія, главныя массы твердой земли постоянно оставались на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ онѣ находятся въ настоящее время. Подробности въ очертаніяхъ материковъ измѣнялись значительно, но при всемъ томъ, Старый Свѣтъ былъ постоянно отдѣленъ отъ Америки обширными океанами. Среднія и южныя части этихъ двухъ материковъ лежали очень далеко другъ отъ друга, а сѣверныя части, напротивъ того, находились почти въ непосредственномъ соприкосновеніи; словомъ, въ главныхъ чертахъ, эти двѣ громадныя массы твердой земли занимали постоянно тоже положеніе, въ какомъ мы ихъ видимъ теперь. Прямныя переселенія животныхъ и растений изъ Франціи въ Соединенные Штаты или съ мыса Доброй Надежды въ Ла-Плату были невозможны во время всѣхъ геологическихъ эпохъ, о которыхъ мы имѣемъ какія нибудь свѣдѣнія. Двѣ послѣднія геологическія эпохи пліоценовая и послѣ-пліоценовая дѣйствовали на расселеніе животныхъ и растений не только колебаніями уровня, но еще, кромѣ того, значительными колебаніями климатическихъ условій. Въ пліоценовой эпохѣ былъ одинъ періодъ гораздо теплѣе теперешняго; потомъ началось медленное охлажденіе, и во время послѣ-пліоценовой эпохи, холодъ, достигши своего крайняго развитія, сдѣлался до такой степени силенъ, что наступилъ такъ называемый *ледовой* или *ледниковый* періодъ; въ это время климатъ былъ гораздо холоднѣе, чѣмъ теперь; потомъ температура опять начала повышаться, и наконецъ, послѣ различныхъ, менѣе значительныхъ колебаній, достигла до своего теперешняго положенія.

Посмотримъ, какимъ образомъ эти климатическія измѣненія должны были дѣйствовать на расселеніе животныхъ и растений. Возьмемъ сначала теплый періодъ пліоценовой эпохи, и постоянно будемъ имѣть въ виду то обстоятельство, что главныя очертанія великихъ материковъ во все это время не испытали никакихъ существенныхъ видоизмѣненій. Когда климатъ былъ гораздо теплѣе теперешняго, тогда жители сѣвернаго умѣреннаго пояса могли жить за полярнымъ кругомъ, а организмы, свойственныя холодному поясу, жили въ тѣхъ земляхъ, которыя лежатъ возлѣ самаго полюса, подъ сплошною корою вѣчнаго льда, подавляющаго, въ настоящее время, всякое проявленіе органической жизни. Въ настоящее время, сѣверныя оконечности Старого Свѣта и Америки населены совершенно одинаково, именно потому, что эти оконечности

находятся въ самомъ ближайшемъ сосѣдствѣ. Но теперь въ Старомъ и въ Новомъ свѣтѣ одинаковы только чисто полярныя формы, напимѣрь, сѣверный олень, бѣлый медвѣдь, песцы, морскіе бобры, киты, и тому подобныя животныя, свойственныя исключительно холодному поясу. Во время теплаго періода пліоценовой эпохи, на обоихъ материкахъ были одинаковы, *во первыхъ*, полярныя формы, жившія въ то время въ тѣхъ странахъ вѣчнаго льда, которыя теперь совершенно лишены обитателей, и даже недоступны самымъ любознательнымъ и неустрашимымъ изслѣдователямъ; и, *во вторыхъ*, тѣ животныя и растенія умѣреннаго пояса, которыя, въ то время, жили въ теперешней области сѣверныхъ оленей, бѣлыхъ медвѣдей и морскихъ бобровъ. Беринговъ проливъ, по всей вѣроятности, исчезалъ иногда, подобно Ламаншу, и тогда всякія переселенія изъ сѣверной Азіи въ сѣверную Америку становились очень удобными. Началось охлажденіе. Вѣчные льды обложили полюсъ, и медленно потѣснили къ югу полярную фауну и полярную флору. Полярныя животныя и растенія, подвигаясь къ югу, прогнали въ умѣренный поясъ тотъ комплектъ растеній и животныхъ, который во время теплаго пліоцена жилъ за полярнымъ кругомъ. Эти послѣднія, въ свою очередь, стали напирать на тѣхъ, которыя жили южнѣе, и этотъ напоръ различныхъ органическихъ существъ, вмѣстѣ съ постепеннымъ пониженіемъ температуры, далъ себѣ почувствовать всему міру животныхъ и растеній, вплоть до самаго экватора. Все живое двигалось отъ обоихъ полюсовъ къ жаркому поясу. Но растеніямъ и животнымъ, населявшимъ тропическія земли, отступать было некуда. Во первыхъ, они были стиснуты съ двухъ сторонъ, и во вторыхъ, имъ уже негдѣ было искать еще болѣе теплаго климата. Они должны были столпиться на самомъ экваторѣ, забиться въ самыя жаркія долины, и наконецъ погибнуть, если холодъ и пришельцы изъ умѣренныхъ поясовъ продолжали преслѣдовать ихъ въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ. Наступаетъ ледовой періодъ. Вѣчные льды занимаютъ оба холодные пояса, и значительную часть обоихъ умѣренныхъ. На всѣхъ горахъ земнаго шара лежатъ громадныя ледники, спускающіеся очень далеко въ окрестныя долины; по морямъ плаваютъ ледныя горы, которыя заходятъ даже въ жаркій поясъ, и тамъ, поддаваясь дѣйствію теплоты, таютъ и уничтожаются, роняя на дно моря, на отмели или на берега каменныя глыбы, принесенныя изъ далекихъ полярныхъ или умѣренныхъ земель. Растенія и животныя, свойственныя въ наше время исключительно холодному поясу, наполняютъ всю среднюю Европу, доходитъ до Альповъ и до Пиринеевъ, и даже проникаютъ въ Испанію. Тѣже самыя полярныя формы живутъ, во время ледоваго періода, во всей умѣренной территоріи Американскихъ штатовъ. Къ югу отъ этихъ полярныхъ жителей происходитъ самая ожесточенная борьба. Холодъ согналъ къ тропикамъ самое разнокалиберное населеніе,

то есть все, кромѣ полярныхъ формъ, все, что во время теплаго періода пліоценовой эпохи, жило отъ береговъ Баффинова моря до крайней оконечности Огненной Земли. Тутъ, около тропиковъ, на протяженіи какихъ нибудь пятидесяти или шестидесяти градусовъ, толнятся, во первыхъ, жители теперешнихъ умѣренныхъ поясовъ, во вторыхъ, жители теперешняго жаркаго пояса, и наконецъ, въ третьихъ, жители того жаркаго пояса, который во время теплаго пліоцена былъ гораздо жарче теперешняго. Можно себѣ представить, какая тутъ происходитъ давка, и какъ плохо приходится въ этой давкѣ тѣмъ жителямъ прежняго жаркаго пояса, которые больше всѣхъ другихъ страдаютъ отъ холода, и поэтому меньше всѣхъ другихъ способны давать отпоръ многочисленнымъ конкурентамъ. Большая часть этихъ прежнихъ жителей погибаетъ, и жаркій поясъ, во время крайняго развитія холода, представляетъ намъ слѣдующій составъ населенія: по горамъ и по плоскимъ возвышенностямъ животныя и растенія умѣренного пояса, а въ самыхъ жаркихъ долинахъ фауна и флора теперешняго жаркаго пояса. Холодъ начинаетъ убывать, и, вмѣстѣ съ постепеннымъ возвышеніемъ температуры, начинается обратное движеніе всего живаго отъ экватора къ обоимъ полюсамъ. Ледники таютъ; вершины невысокихъ горъ совершенно освобождаются отъ ледяныхъ громадъ, а на высокихъ горахъ ледники отодвигаются къ самымъ вершинамъ, позволяя растеніямъ проникать въ долины, въ ущелья и на склоны горныхъ хребтовъ. Растеніямъ и животнымъ холоднаго пояса въ средней Европѣ становится слишкомъ тепло; они отступаютъ туда, гдѣ похолоднѣе, то есть, съ юга на сѣверъ, и, кромѣ того, снизу вверхъ, изъ долины на гору. Растеніямъ и животнымъ умѣренного пояса между тропиками становится также неудобно; во первыхъ, жарко, а во вторыхъ, тропическія формы не даютъ имъ пощады; онѣ выходятъ изъ знойныхъ долинъ, побѣждаютъ пришельцевъ, и заставляютъ ихъ бѣжать; куда же бѣгутъ растенія и животныя умѣренного пояса? Туда, гдѣ прохладнѣе. Если растеніе не перешло черезъ экваторъ, то оно уходитъ въ сѣверный умѣренный поясъ; если же оно, во время крайняго развитія холода, успѣло перешагнуть черезъ экваторъ, то оно уже не поворачиваетъ назадъ, а идетъ дальше къ югу, переходитъ за тропикъ Козерога, и утверждаетъ въ южномъ умѣренномъ поясѣ. Наконецъ, если растеніе живетъ у подножія горы, то оно взлѣзаетъ на гору; если эта гора слишкомъ низка, то растеніе погибаетъ, когда теплота усиливается; если же гора достаточно высока, то растеніе, по мѣрѣ усиленія теплоты, лѣзетъ все выше и выше, и наконецъ успокаивается на той высотѣ, на которой оно находитъ себѣ умѣренный климатъ, неблагоприятный для его тропическихъ конкурентовъ. Такимъ образомъ, высокія горы жаркаго пояса населяются растеніями умѣренной полосы, а высокія горы умѣренного пояса—растеніями

полярныхъ мѣстностей. Такъ оно и есть въ дѣйствительности. На Шотландскихъ горахъ, на Альпахъ и на Пиринеяхъ живутъ одинаковыя растенія, родственныя съ тѣми формами, которыя находятся на сѣверѣ Скандинавіи. На Бѣлыхъ горахъ, въ Соединенныхъ Штатахъ, живутъ растенія, родственныя съ растеніями Лабрадора. Тоже самое родство замѣчается между растеніями южныхъ Сибирскихъ горъ, и растеніями сѣверной Сибири. Кромѣ того, всѣ эти горныя растенія, находящіяся на такихъ различныхъ точкахъ земной поверхности, не только сходны и родственны между собою, но часто бываютъ даже совершенно тождественны, такъ что ботанику случается иногда встрѣтить ту же самую породу въ Испаніи и въ Сѣверной Америкѣ, не смотря на то, что растительность долинъ въ этихъ мѣстностяхъ, вовсе не одинакова, и все не похожа на растительность горныхъ хребтовъ. Натуралисты прошлого столѣтія думали, что эти горныя растенія возникли разомъ на нѣсколькихъ точкахъ земнаго шара, но теперь, благодаря успѣхамъ новѣйшей геологіи, дѣло объясняется гораздо проще. На высокихъ горахъ тропической Бразиліи живутъ нѣкоторыя чисто-европейскія растенія. На Абиссинскихъ горахъ встрѣчаются также растенія, родственныя отчасти съ европейскими, отчасти съ такими, которыя живутъ на мысѣ Доброй Надежды. Нѣкоторыя растенія, завезенныя на мысѣ Доброй Надежды человѣкомъ, также родственны съ европейскими. На Гималайскихъ горахъ, на нѣкоторыхъ другихъ горныхъ цѣпяхъ Остѣ-Индіи, на высокихъ горахъ острова Цейлона, и на вулканическихъ вершинахъ Явы водятся также растенія, принадлежащія къ европейскимъ родамъ. Всѣ эти факты объясняются очень легко, какъ необходимыя послѣдствія ледоваго періода. Одни растенія сѣвернаго умереннаго пояса перебрались черезъ экваторъ, и ушли на югъ, на мысѣ Доброй Надежды, а другія утвердились на высокихъ горахъ, когда усилившаяся теплота выгнала ихъ изъ тропическихъ долинъ.—Растенія и животныя Соединенныхъ Штатовъ представляютъ признаки кровнаго родства съ растеніями и животными средней Европы; и это понятно; во время теплаго пліоцена эти органическія формы жили въ сплошныхъ земляхъ, составляющихъ теперь сѣверныя оконечности обоихъ великихъ материковъ; потомъ, когда началось охлажденіе, эти формы пошли къ югу и разошлись; одни вступили въ борьбу съ фаунами и флорами Старога Свѣта, другія съ фаунами и флорами средней и тропической Америки. Одни видоизмѣнились въ одну сторону, другія—въ другую; образовалось между ними значительное различіе, но признаки кровнаго родства еще сохранились. Чѣмъ дальше мы подвигаемся на югъ, тѣмъ эти признаки становятся слабѣе, такъ что тропическая природа Америки уже нисколько не похожа на тропическую природу Азіи или Африки. Такимъ образомъ мы видимъ, что всѣ главные факты въ распредѣленіи

организмовъ по лицу земли находятся въ полномъ согласіи съ идеями Дарвина. Многія второстепенныя подробности представляютъ до сихъ поръ неразъяснимыя затрудненія, но мы должны помнить, что наука наша не закончена, что кругъ нашихъ знаній расширяется ежедневно, и что открытія и наблюденія будущихъ натуралистовъ должны пополнить то, чего не успѣютъ сдѣлать наши современники. Тогда устранятся и тѣ неизбѣжныя затрудненія которыя каждая новая и плодотворная идея всегда встрѣчаетъ на своемъ пути.

ЭМБРИОЛОГІЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМІЯ.

I.

Различныя части тѣла у зародышей представляютъ между собою гораздо больше сходства, чѣмъ у взрослыхъ животныхъ. Напримѣръ, у человѣческаго зародыша нога похожа на руку, у зародыша летучей мыши задняя оконечность похожа на переднюю, которая впоследствии должна превратиться въ крыло. Кроме того, зародыши различныхъ животныхъ, принадлежащихъ къ одному классу или отдѣлу, въ раннія фазы своего развитія, бываютъ очень похожи другъ на друга. Въ началѣ своего существованія, зародыши птицъ, млекопитающихъ, ящерицъ, змѣй, рѣшительно ничѣмъ не отличаются одинъ отъ другаго. Видно только, что это зародышъ позвоночнаго животнаго, но какого класса — это неизвѣстно. Потомъ, въ болѣе поздній періодъ развитія, видно, что это млекопитающее — или птица, или ящерица, но еще нельзя опредѣлить къ какому порядку или семейству относится это возникающее существо. Потомъ обозначаются признаки семейства, рода и вида. Новорожденный жеребенокъ уже отличается отъ новорожденного осленка, но тѣ подробности тѣлосложенія, которыя характеризуютъ лоховую и скаковую лошадей, англійскую и донскую, рысака и вятку, обозначаются уже черезъ нѣсколько времени послѣ рожденія животнаго. Въ младенчествѣ у многихъ животныхъ проявляются такія особенности, которыя свойственны цѣлой группѣ родственныхъ формъ, и которыя потомъ исчезаютъ, замѣняясь чисто видовыми качествами. Напримѣръ, у молодыхъ птицъ изъ семейства дроздовъ первое опереніе испещрено крапинками, хотя впоследствии цвѣтъ перьевъ у различныхъ видовъ этой группы отличается значительнымъ разнообразіемъ. Въ семействѣ кошекъ большая часть породъ носитъ полосатую или пятнистую шкуру; левъ и пума, принадлежащіе также къ группѣ кошекъ, отличаются отъ своихъ род-

ственниковъ одноцвѣтностью мѣха, но новорожденные львы и пумы очень часто бываютъ испещрены полосками и пятнами, которыя потомъ сглаживаются.

Сходство между зародышами различныхъ позвоночныхъ животныхъ существуетъ совершенно независимо отъ тѣхъ условий, при которыхъ эти зародыши развиваются. Млекопитающее развивается въ утробѣ матери, птица подъ скорлупою яйца; лягушка, въ видѣ головастика, ведетъ самостоятельную жизнь въ водѣ, и не смотря на то, у всѣхъ этихъ животныхъ, во время ихъ зачаточнаго состоянія, артерій изгибаются совершенно одинаковымъ образомъ вокругъ жаберныхъ скважинъ, которыя впослѣдствіи исчезаютъ безъ слѣда. Головастику жабры необходимы, потому что онъ живетъ въ водѣ, и дышетъ этими жабрами; но зародышу птицы, млекопитающаго, змѣи или черепахи жабры ни на что не нужны ни въ какое время, а между тѣмъ жаберныя скважины все таки существуютъ, и возникаютъ у всѣхъ этихъ животныхъ единственно для того, чтобы потомъ исчезнуть, не доставивъ организму ни малѣйшей пользы; чѣмъ объяснить такой капризъ природы? Намъ приходится поставить два вопроса: во первыхъ, почему зародыши болѣе похожи другъ на друга, чѣмъ взрослые животныя? И во вторыхъ, почему у зародыша существуютъ нѣкоторые органы, совершенно бесполезные для самаго зародыша, и не имѣющіе ни малѣйшаго отношенія къ образу жизни взрослаго животнаго? По идеямъ Дарвина эти вопросы разрѣшаются очень удовлетворительно. Родители передаютъ дѣтямъ по наслѣдству, во первыхъ, тѣ черты тѣлосложенія, которыя родители сами приняли отъ своихъ предковъ, и во вторыхъ, тѣ особенности, которыя родители выработали себѣ въ теченіе своей жизни. Можно сказать, что родители передаютъ дѣтямъ родовое и благопріобрѣтенное имущество своего организма. Особенность, проявившаяся у родителя въ извѣстномъ возрастѣ, большею частью проявляется и у сына въ томъ же самомъ возрастѣ. Извѣстно, напримѣръ, что многія наслѣдственныя болѣзни, эпилепсія, сумасшествіе, и такъ далѣе, обнаруживаются у нѣсколькихъ нисходящихъ поколѣній аккуратно въ томъ же самомъ возрастѣ. Положимъ теперь, что какое нибудь животное, совершенно приспособленное къ водяной жизни, по немногу пріучается къ преслѣдованію такой добычи, которая живетъ на сушѣ. Такіе примѣры извѣстны въ живой природѣ. Угорь часто выходитъ изъ воды, и отправляется въ хлѣбныя поля, иногда на нѣсколько дней. Ракъ *Birgus latro* по ночамъ выходитъ на берегъ, взлѣзаетъ на кокосовыя деревья, и своими огромными клешнями раскалываетъ кокосовыя орѣхи для своего продовольствія. Рыба *Anabas scandens* ползаетъ по землѣ, и взбирается на деревья, опираясь при этомъ на твердые костяные лучи своихъ нижнихъ плавниковъ.

Если подобныя явленія возможны теперь, при существованіи огром-

наго количества ящерицъ, змѣй, млекопитающихъ, птицъ, и другихъ опасныхъ конкурентовъ, то, разумѣется, эти явленія должны были встрѣчаться очень часто во время одно, въ тѣ геологическія эпохи, когда на земномъ шарѣ не было никакихъ позвоночныхъ животныхъ, кромѣ рыбъ. И такъ, мы можемъ предположить, что, въ одну изъ этихъ отдаленныхъ геологическихъ эпохъ, какое нибудь рыбообразное животное *A* повадилось вылѣзать изъ воды и питаться растеніями и насѣкомыми, живущими по берегамъ моря или рѣки. Каждое животное изъ породы *A* начинало эти упражненія только тогда, когда силы его были уже достаточно развиты, слѣдовательно, не тотчасъ послѣ своего выхода изъ яйца, а напримѣръ, черезъ годъ или черезъ полтора. Прогулки по землѣ развивали въ тѣлѣ этого животнаго извѣстные мускулы, направляли теченіе питательныхъ соковъ преимущественно въ тѣ части тѣла, которыя подвергались усиленному напряженію, и кромѣ того, прогулки эти дѣйствовали измѣняющимъ образомъ на систему дыхательныхъ органовъ. Тѣ отдѣльныя животныя породы *A*, у которыхъ эти медленные измѣненія совершались особенно успѣшно, имѣли надъ своими сверстниками преимущество, и, въ силу этого преимущества, оставляли послѣ себя болѣе многочисленное потомство. Это потомство получало отъ нихъ видоизмѣненное и усовершенствованное тѣлосложеніе, но эти выгодныя измѣненія проявлялись у дѣтей въ томъ возрастѣ, въ которомъ они проявились у отцовъ. Рядъ выгодныхъ измѣненій привелъ къ тому результату, что животное *B*,—прямой потомокъ животнаго *A*,—получилъ наконецъ одну пару оконечностей или лапъ. Этотъ рядъ видоизмѣненій въ жизни породы происходилъ чрезвычайно медленно: *A* доживши до полутора года, началъ ползать по землѣ, и измѣнилъ свою организацію самымъ незамѣтнымъ образомъ; дѣти *A*, въ полуторагодовомъ возрастѣ наследовали это измѣненіе, и увеличили свое наследство собственными упражненіями; внуки въ томъ же возрастѣ получили это увеличенное наследство, и увеличили его еще больше. Такъ точно поступили и правнуки, и праправнуки, и всѣ остальные поколѣнія. Но если бы, напримѣръ, двадцатое поколѣніе начало рядъ своихъ видоизмѣненій въ полтора года, и если бы эти видоизмѣненія происходили въ немъ такъ же послѣдовательно и медленно, какъ они совершались во всѣхъ девятнадцати предыдущихъ поколѣніяхъ, то на весь этотъ процессъ, можетъ быть, не хватило бы жизни этихъ животныхъ. Тѣ потомки, которые получаютъ особенности своихъ дѣдовъ и отцовъ въ болѣе раннемъ возрастѣ, будутъ имѣть очевидное преимущество надъ тѣми потомками, у которыхъ эти особенности проявляются какъ разъ въ томъ возрастѣ, въ которомъ онѣ проявились у предковъ. Вслѣдствіе этого преимущества, въ потомствѣ животнаго *A* установится слѣдующій процессъ развитія. Молодыя животныя выходятъ изъ яицъ въ первобытной рыбообразной формѣ;

проживаютъ въ такомъ видѣ нѣсколько мѣсяцевъ, и потомъ, получивъ пару окончностей, превращаются въ животное *B*, и начинаютъ ползать по сушѣ. Это ползаніе продолжаетъ дѣйствовать на ихъ тѣлосложение такъ, что отдаленные потомки *B* имѣютъ уже двѣ пары окончностей, и вслѣдствіе этого получаютъ отъ натуралистовъ отдѣльное видовое названіе *C*. Тутъ и процессъ развитія усложняется. Изъ яйца выходитъ *A*; потомъ у него вырастаетъ одна пара окончностей — она называется *B*; потомъ другая пара и животное *C* готово. Не останавливайтесь на точкѣ *C*, идите дальше, и вы получите развитіе лягушки. Сначала головастики или рыбообразное животное *A*, потомъ одна пара окончностей — *B*; потомъ другая — *C*; потомъ толстый рыбій хвостъ пропадаетъ и жабры замѣняются легкими — вотъ вамъ и лягушка готова.

Развитіе лягушки представляетъ намъ просто портретную галлерею тѣхъ предковъ, отъ которыхъ это животное ведетъ свой родъ. Родоначальникъ лягушечьей породы былъ рыбою, — оттого и происходитъ рыбообразная фигура головастика. Тутъ дѣйствуютъ законы наслѣдственности. Всѣ превращенія, которыя совершились въ породахъ птицъ, млекопитающихъ, и другихъ животныхъ, съ той минуты, когда эти животныя уклонились отъ чистаго рыбаго типа, всѣ эти превращенія мало по малу стѣснились въ одну кучку, и уложились цѣлкомъ въ непродолжительную жизнь зародыша. Многія черты этихъ превращеній при этомъ, конечно, изгладились и исказились, но несмотря на то, даже и теперь, жизнь зародыша представляется наблюдательному натуралисту въ видѣ краткой исторіи и родословной таблицы всей породы. Даже тѣ естествоиспытатели, которые твердо убѣждены въ неизмѣнности видовыхъ формъ, даже они, говорю я, сами подмѣчаютъ и признаютъ изумительное сходство, во первыхъ, между зародышами высшихъ животныхъ и взрослыми фигурами низшихъ, и во вторыхъ, между зародышами теперешнихъ животныхъ и взрослыми фигурами исчезнувшихъ организмовъ.

Дарвинъ объясняетъ дѣло просто и понятно. Птица и млекопитающее организованы выше рыбы; эти высшія формы принаровлены къ особеннымъ условіямъ жизни, эти принаровленія до нѣкоторой степени изгладили черты основнаго типа, но въ зародышѣ эти черты остались въ большой неприкосновенности, потому что всякія принаровленія полезны и необходимы только взрослому животному, которое добываетъ себѣ пищу, и защищается отъ враговъ собственными силами. Пока кондоръ сидитъ въ яйцѣ, ему не нужны сильныя крылья и острое зрѣніе; пока тигренокъ находится въ утробѣ матери, ему бесполезны зубы и когти. Поэтому естественный выборъ совершенствуетъ только взрослыхъ, и касается зародыша на столько, на сколько этотъ послѣдній долженъ измѣниться по своей связи съ будущею формою взрослаго животнаго.

Рыбы, и птицы, и млекопитающія произошли по прямой линіи отъ рыбъ древнѣйшихъ геологическихъ эпохъ, силурской и девонской. Рыбы меньше удалились отъ этого первобытнаго типа; птицы и млекопитающія удалились отъ него гораздо больше, и при этомъ разошлись въ разныя стороны. Но зародышъ птицъ и млекопитающихъ, не имѣя надобности приравливаться къ различнымъ условіямъ жизни, сохранилъ черты своего девонскаго или силурскаго предка, а такъ какъ этотъ предокъ до нѣкоторой степени похожъ на теперешнюю рыбу, то и зародышъ высшихъ, позвоночныхъ формъ такъ же похожъ на эту низшую форму. По этой же самой причинѣ зародыши различныхъ животныхъ одного отдѣла похожи одинъ на другаго. Только долгое время упражненіе многихъ поколѣній и постоянное дѣйствіе естественнаго выбора въ теченіе многихъ тысячелѣтій создали у различныхъ животныхъ ноги, крылья и разныя другіе сложные органы. У предковъ всѣ эти подробности и утонченныя затѣи вовсе не существовали, а когда они возникли, то возникли въ самой грубой и элементарной формѣ, такъ что можно было повернуть эти куски органическаго вещества куда угодно, и на крыло, и на плавникъ, и на ногу. Въ породѣ эти куски шлифовались и обтачивались въ теченіе цѣлыхъ геологическихъ эпохъ, а въ отдѣльномъ животномъ, то есть, въ зародышѣ, они шлифуются въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Крапчатое перо молодыхъ дроздовъ достается имъ по наслѣдству отъ общаго родоначальника дроздоваго семейства. Также точно объясняются полоски или пятна на шкурѣ новорожденнаго льва и пумы.

Большая часть насѣкомыхъ выходитъ изъ яйца въ видѣ личинки или червяка; различныя личинки очень сильно отличаются одна отъ другой, потому что многія изъ нихъ сами должны добывать себѣ пищу, и, слѣдовательно, должны быть приспособлены къ различнымъ условіямъ жизни. Но, не смотря на то, форма червяка ясно обозначена у всѣхъ личинокъ. Это доказываетъ, что черви были родоначальниками насѣкомыхъ, подобно тому, какъ рыбы были родоначальниками пресмыкающихся, птицъ и млекопитающихъ. Нѣкоторыя животныя воставлены въ такія условія жизни, при которыхъ сложное и утонченное устройство организма становится для нихъ бесполезнымъ, обременительнымъ и даже вреднымъ. Кроту, копающемуся въ землѣ, червяку, живущему въ кишечномъ каналѣ другаго животного, или чужеядному раку, присосавшемуся на всю жизнь къ тѣлу рыбы, совершенно безполезны органы зрѣнія. Такіе безполезные органы утрачиваются; взрослое животное приспособляется къ условіямъ жизни, но эти перемѣны, по обыкновенію, не относятся къ зародышу. Поэтому, зародышъ сохраняетъ черты прежняго типа, и вслѣдствіе этого, организація его оказывается выше и совершеннѣе, чѣмъ тѣлосложеніе взрослаго животного, испытывающаго регрес-

сивную пережину. Семейство усоногих раковъ (*Certhipedia*) очень замѣчательно по этимъ своеобразнымъ отношеніямъ между зародышами и взрослыми формами. «Ихъ личинки, говоритъ Дарвинъ, въ первой степени своего развитія имѣютъ три пары ногъ, одинъ очень простой глазъ, и ротъ въ видѣ хобота, посредствомъ котораго онѣ обильно питаются, потому что растутъ быстро. Во второмъ, соответствующемъ кукольному стадію бабочекъ, онѣ имѣютъ шесть паръ самаго изящнаго устройства, два великолѣпныхъ сложныхъ глаза, и чрезвычайно сложные усики; но ротъ закрытъ и такъ устроенъ, что онѣ не могутъ питаться. Ихъ отправление въ этомъ стадіи состоитъ въ томъ, чтобы, посредствомъ высокоразвитыхъ органовъ чувства, отыскать удобное мѣсто для дальнѣйшихъ превращеній, и чтобы дойти до этого мѣста, при помощи своего высоко-развитаго, плавательнаго аппарата. По совершеніи окончательнаго метаморфоза, они прикрѣплены на всю жизнь. Ихъ ноги превращаются въ хватательные органы; они снова пріобрѣтаютъ хорошо устроенный ротъ, но усики пропадаютъ, а ихъ два глаза снова замѣняются однимъ мелкимъ, весьма простымъ глазнымъ пятнышкомъ. Нѣкоторыя личинки усоногихъ раковъ при послѣднемъ метаморфозѣ понижаются еще сильнѣе: онѣ превращаются въ такое существо, которое Дарвинъ называетъ «дополнительнымъ самцомъ»; это—простой мѣшокъ, у него нѣтъ ни рта, ни желудка, ни органовъ чувства; онъ живетъ очень недолго, совсѣмъ не принимаетъ пищи, и занимается исключительно оплодотвореніемъ того болѣе развитаго существа, къ которому онъ прикрѣпленъ. Усоногіе раки до такой степени измѣнились подъ вліяніемъ своей сидячей жизни, что Кювье, знавшій только взрослыхъ животныхъ этой группы, относилъ ихъ къ классу моллюсковъ. Но настоящій типъ, указывающій на дѣйствительное происхожденіе этихъ животныхъ, сохранился въ личинкахъ или зародышахъ и когда различные фазы ихъ развитія были открыты и прослѣжены, тогда натуралисты немедленно причислили усоногихъ къ классу раковъ. Этому открытію въ значительной степени содѣйствовалъ самъ Дарвинъ, написавшій объ усоногихъ ракахъ великолѣпную монографію въ двухъ томахъ.

II.

У очень многихъ животныхъ существуютъ неразвитые органы, которые не приносятъ имъ ни малѣйшей пользы, подобно тому, какъ окно нарисованное на стѣнѣ зданія, не даетъ ни одного луча свѣта обитателямъ этого зданія. Въ классѣ млекопитающихъ, почти всѣ самцы, носятъ на груди или на животѣ зачаточные сосцы. У птицъ кости кры-

ла замечиваются небольшою косточкою, которая называется крылуш-
комъ (alula ala spuria), и составляет зачаточный палецъ. Эта косточка
совершенно закрыта перьями крыла, и нисколько не помогаетъ полету
птицы. У многихъ змѣй развито и приспособлено для дыханія только
одно лѣвое легкое, правое совершенно бесполезно и находится всегда
въ полномъ бездѣйствіи, однако оно существуетъ въ зачаточномъ состо-
яніи, и змѣя, въ теченіи всей своей жизни таскаетъ въ своемъ тѣлѣ
этотъ негодный мѣшочекъ. У другихъ змѣй есть зачатокъ тазовыхъ ко-
стей и заднихъ оконечностей. Чѣмъ вы объясните существованіе этихъ
бесполезныхъ органовъ? Зачѣмъ природа приставила къ тѣлу живот-
ныхъ эти негодныя и бессмысленныя бреложи? Въ военныхъ мундирахъ
всѣхъ европейскихъ державъ есть очень много бесполезныхъ висюлекъ
и разводовъ, но, если вы только справитесь объ историческомъ проис-
хожденіи этихъ штучекъ, то вы увидите, что почти всѣ онѣ въ свое
время имѣли нѣкоторый смыслъ и опредѣленное, утилитарное назначе-
ніе. Эполеты, аксельбанты, темляки, шнуры— все это возникло изъ по-
ходныхъ или боевыхъ потребностей солдата, и только впоследствии
превратилось въ бесполезное украшеніе. Но вѣдь извѣстное дѣло, что
человѣкъ иногда дѣйствуетъ по внушеніямъ свободной фантазіи, и что,
напротивъ того, въ природѣ все производится по неизмѣннымъ законамъ,
такъ что каждая ничтожная мелочь обусловливается какою нибудь не-
обходимою причиною. Если человѣкъ, въ самыхъ произвольныхъ своихъ
созданіяхъ, въ покровѣ и украшеніи своего платья, руководствуется ре-
альными побужденіями, стремленіями къ удобству и безопасности, то
смѣшно и дико было бы думать, что цѣлыя породы живыхъ органи-
змовъ постоянно носятъ на своемъ тѣлѣ приставки и привѣски, не
имѣющія достаточной причины существованія. Причина, разумѣется,
есть, и читатель ее знаетъ; она одинакова, какъ для украшеній воен-
наго мундира, такъ и для неразвитыхъ органовъ живаго тѣла. Эта
причина — наслѣдственность. Эполеты были сначала придуманы для
того, чтобы защищать плечо отъ сабельнаго удара; теперь они ровно
ничего не защищаютъ, но ихъ носятъ по старой привычкѣ. Въ при-
родѣ роль старой привычки играетъ сила наслѣдственности, и орга-
ны, существующіе въ настоящее время въ зачаточномъ или нераз-
витомъ состояніи, были прежде развитыми и дѣятельными, и при-
носили предкамъ теперешнихъ животныхъ существенную практиче-
скую пользу. Зачаточные сосцы самцовъ, по всей вѣроятности, ука-
зываютъ намъ на то обстоятельство, что самецъ и самка сформирова-
ны по одному общему типу, и самецъ вслѣдствіе этого, сохранилъ сос-
цы, потерявшіе въ его организмѣ всякое практическое значеніе. Я
долженъ признаться читателю, что это предположеніе принадлежитъ
лично мнѣ. Дарвинъ приводитъ фактъ, но не даетъ ему отдѣльнаго

объясненія; онъ объясняетъ вообще значеніе зачаточныхъ органовъ; въ каждомъ изъ такихъ органовъ онъ видитъ или остатокъ прошедшаго, или зарожденіе будущаго, то есть или этотъ органъ былъ дѣятельнымъ, и потомъ утратилъ свою силу, или же онъ формируется вновь и по немногу увеличивается дѣйствіемъ естественнаго выбора. Зачаточный палецъ птицъ, заглухшее легкое, тазовая кость и заднія оконечности змѣй объясняются очень просто. Предокъ птицы пользовался своимъ пальцемъ вполне, а предокъ змѣи дышалъ обоими легкими, и, быть можетъ, былъ похожъ на ящерицу, по устройству таза и заднихъ лапъ. У кита, когда онъ находится въ утробѣ матери, вырастаетъ въ каждой челюсти около сотни зубовъ, которые впоследствии выпадаютъ, и замѣняются въ верхней челюсти роговыми пластинками, извѣстными подъ названіемъ китоваго уса. Киты зубы совершенно бесполезны, но предку этого животнаго они, по всей вѣроятности, были необходимы. У нѣкоторыхъ жуковъ жесткія надкрылія слѣпны наглухо, такъ что летаніе невозможно; однако, подъ сросшимися щитками все таки лежатъ крылья, которыми никогда не приходится выглянуть на свѣтъ и развернуться. Ясное дѣло, что предки этихъ жуковъ летали, и что органъ еще уплѣлся, когда отправление уже прекратилось. Тоже самое можно сказать о неразвитыхъ глазахъ нѣкоторыхъ кротовъ и слѣпыхъ обитателей темныхъ пещеръ. Иногда бываетъ, что ослабѣвшій органъ приживляется къ какому нибудь новому назначенію. Напримѣръ, плавательный пузырь рыбы обыкновенно употребляется на то, чтобы рыба, сжимая или расширяя его, могла подниматься или опускаться въ водѣ. Но у нѣкоторыхъ рыбъ этотъ пузырь сдѣлался такъ малъ, что пересталъ помогать имъ во время плаванія; за то онъ сдѣлался дыхательнымъ органомъ, такъ что на него можно смотрѣть, какъ на возникающее легкое. Крыло пингвина слишкомъ слабо, чтобы поддерживать тѣло этой птицы на воздухѣ, и теперь оно служитъ пингвину весломъ во время плаванія и нырванія. Если каждый видъ переродился сообразно съ условіями жизни и борьбы, тогда всѣ зачаточные, возникающіе, заглухшіе или искаженные органы становятся понятными, какъ необходимые продукты великаго закона наслѣдственности. «Зачаточные органы, говорить Дарвинъ, могутъ быть сравнены съ тѣми буквами слова, которыя, сохранившись въ письмѣ, но утратившись въ произношеніи, служатъ намъ намеками на этимологию этого слова». Это сравненіе отличается чрезвычайною мѣткостью, и въ высшей степени удачно характеризуетъ значеніе зачаточныхъ органовъ для мыслящаго натуралиста.

Мы видѣли, что зародки различныхъ животныхъ одного класса очень похожи одинъ на другаго; сходство это ослабѣваетъ, по мѣрѣ того, какъ животное зрѣетъ и складывается, но любопытно замѣтить,

что, даже въ зрѣломъ возрастѣ, животныя одного класса оказываются построенными по одному общему плану. Это единство общаго плана уже давно подмѣчено натуралистами, и оно никакъ не можетъ быть объяснено сходствомъ въ условіяхъ жизни. Можно ли найти какое нибудь сходство между жизнью крота, лошади, моржа и летучей мыши? Всѣ эти животныя превосходно приспособлены къ самымъ различнымъ положеніямъ и занятіямъ, всѣ они одарены тѣми органами, которые необходимы для ихъ продовольствія и для обезпеченія ихъ существованія, всѣ ихъ органы чрезвычайно различны, и между тѣмъ эти органы все такъ построены по общему плану. Рука обезьяны приспособлена къ хватанію и ощупыванію предметовъ; лапа крота — къ раскапыванію землѣ; передняя нога лошади — къ простой ходбѣ; ласть моржа — къ плаванію; крыло летучей мыши — къ летанію; и между тѣмъ, всѣ эти оконечности состоятъ изъ подобныхъ костей, расположенныхъ въ одинаковомъ, относительномъ порядкѣ; во всѣхъ этихъ оконечностяхъ мы видимъ одинаковое число главныхъ сочлененій или суставовъ, и во всѣхъ ихъ мы различаемъ совершенно ясно плечевую кость, локтевую, запястье и пясть. Относительная величина и форма этихъ отдѣльныхъ составныхъ частей измѣняется до безконечности, но всегда самыя части остаются расположенными въ томъ же порядкѣ. Оуэнъ и другіе первоклассные анатомы утверждаютъ единогласно, что это единство плана, сохраняющееся, не смотря на различныя условія жизни, рѣшительно не можетъ быть объяснено какими нибудь особенными цѣлями природы.

Если мы возьмемъ одно отдѣльное животное, и будемъ внимательно изучать различныя части или органы его тѣла, то мы и здѣсь замѣтимъ также очень любопытное явленіе. Мы увидимъ, что нѣкоторыя части, непохожія другъ на друга по своей фигурѣ, и приспособленныя къ различнымъ отправленіямъ, построены также по одному общему плану. Напримѣръ, переднія и заднія оконечности состоятъ изъ одинаковыхъ костей, расположенныхъ въ одинаковомъ порядкѣ, не смотря на то, что, во своихъ отправленіяхъ, рука не похожа на ногу, и крыло летучей мыши не похоже на ея лапу. Черепъ позвоночныхъ животныхъ состоитъ изъ большаго количества различныхъ костей, которыя срастаются вполнѣ только въ зрѣломъ возрастѣ и притомъ срастаются такъ, что швы остаются замѣтными. Кажется, для крѣпости черепа, и для большей сохранности головного мозга было бы удобнѣе, чтобы черепъ состоялъ изъ одной цѣльной кости, или по крайней мѣрѣ, изъ наименьшаго количества составныхъ частей. На это разсужденіе можно возразить, что черепъ млекопитающаго, благодаря многочисленности своихъ составныхъ частей, не сросшихся въ плотную массу, можетъ сниматься въ минуту рожденія, и что это сжатіе облегчаетъ выходъ животнаго

изъ утробы матери. Это разсужденіе справедливо, но оно не можетъ относиться ни къ птицамъ, ни къ ящерицамъ, ни къ черепахамъ, ни вообще ко всѣмъ тѣмъ позвоночнымъ, которыя вылупливаются изъ яйца. Здѣсь сжатіе черепа ни на что не нужно, а между тѣмъ, у всѣхъ этихъ животныхъ костяная коробка, вмѣщающая головной мозгъ, состоитъ изъ множества соотвѣтственныхъ или *гомологичныхъ* частей самой странной формы. Вглядываясь въ эти части черепа, сравнивая ихъ съ частями спиннаго хребта и изучая положеніе этихъ частей у различныхъ зародышей, натуралисты пришли къ тому убѣжденію, что черепъ составленъ изъ видоизмѣненныхъ позвонковъ спиннаго хребта. Гёксли при этомъ замѣчаетъ, что было бы точнѣе выразиться такъ: не позвонки превратились въ кости черепа, а кости и позвонки выработались параллельно изъ какого нибудь общаго элемента. Такой процессъ совершается дѣйствительно у зародыша. У многихъ раковъ переднія пары ногъ превращены въ челюсти, и называются жевательными ногами. Тутъ опять та же исторія. У первобытнаго типа этого класса не было ни настоящихъ ногъ, ни настоящихъ челюстей; его тѣло было раздѣлено на рядъ члениковъ, снабженныхъ наружными придатками; одни изъ этихъ придатковъ приспособились къ передвиженію тѣла съ мѣста на мѣсто, другіе къ измельченію пищи, третьи превратились въ жабры или органы дыханія. Все это понятно, но чтобы понять всѣ эти факты, необходимо утвердиться въ томъ убѣжденіи, что видовыя формы способны измѣняться, и что онѣ, съ начала органической жизни, уже испытали множество превращеній.

Заключеніе.

Работа моя окончена, и я могу сказать, по чистой совѣсти, что она стоила мнѣ очень много труда, и что, не смотря на то, она все-таки очень неудовлетворительна. Если бы я обладалъ литературнымъ талантомъ Вольтера и знаніями Александра Гумбольдта, то эти громадныя средства были бы только что достаточными для того, чтобы вполне удовлетворительно изложить теорію Дарвина для русской публики, не имѣющей никакого понятія о естественныхъ наукахъ. Но развѣ же у насъ на Руси есть люди съ талантами Вольтера, съ знаніями Гумбольдта и съ добросовѣстнымъ стремленіемъ посвящать всѣ свои силы на умственную пользу во тѣмъ ходящихъ согражданъ? А если нѣтъ такихъ образцовыхъ популяризаторовъ, то, стало быть, идеи европейскіхъ гонимовъ должны оставаться для нашей публики тарабарскою грамотою? Такъ, что-ли? Или, можетъ быть, слѣдуетъ ѣсть не деревянною ложкою, когда не на что купить серебряную? Мнѣ кажется, что благоразумнѣе

обратиться къ деревянной, чѣмъ голодать, въ тщетномъ ожиданіи се-ребряной. Поэтому я и рѣшился изобразить своею особою такую дере-вянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить подъ столъ, когда на этотъ столъ явится благородный металлъ. Въ моей статьѣ о Дарвинѣ есть, по всей вѣроятности, недомолвки, неясности, неудачныя выраженія; можетъ быть, есть даже и фактическіе промахи. Что же дѣлать? Я не специалистъ, и читалъ я до сихъ поръ очень мало по естественнымъ наукамъ. Стараюсь выразиться яснѣе, я, можетъ быть, впадалъ въ ошибки. Но я все-таки повторяю: что же дѣлать? Вы по-смотрите, какъ поступаютъ съ нашею публикою наши специалисты. Та-кого невниманія къ потребностямъ публики, такого неуваженія къ са-мымъ скромнымъ, законнымъ и неизбѣжнымъ желаніямъ читателей, вы не встрѣтите нигдѣ за предѣлами любезнаго нашего отечества. Поду-маешь, что специалистъ живетъ гдѣ нибудь на звѣздѣ Оріона, и оттуда ведетъ свою рѣчь въ пространство ээира, вовсе не заботясь о томъ, услышитъ ли его кто нибудь, или пойметъ ли его тотъ несчастный слушатель, до котораго случайно долетятъ эти блуждающіе звуки. По моему мнѣнію, полезнѣе прочесть статью вполне понятную, хотя и съ нѣкоторыми ошибками, чѣмъ набивать себѣ голову совершенно безукор-изненными диссертациями, недоступными человѣческому пониманію.

Чтобы получить понятіе о подвигахъ нашихъ специалистовъ, намъ не надо далеко ходить за примѣрами. Достаточно взглянуть на то, въ какомъ видѣ книга Дарвина явилась передъ русскою публикою. Эту книгу «перевелъ съ англійскаго профессоръ московскаго университета С. А. Рачинскій». Значить, специалистъ! Раскрываете книгу—ни одного слова отъ переводчика. Дарвинъ вводится безъ рекомендаціи. Зачѣмъ переведена эта книга, какое значеніе она имѣетъ въ наукѣ, какъ смот-рѣть на нее «профессоръ московскаго университета»—все это остается для русскаго читателя глубокою тайною. Читаете далѣе, ни одного по-яснительнаго примѣчанія: должно полагать, что мы, русскіе читатели, отлично знаемъ ботанику и зоологію, такъ что можемъ на лету ловить и понимать всѣ мимоходныя указанія, которыми переполнена книга Дарвина. При этомъ г. профессоръ, выражается такимъ языкомъ, кото-рый можетъ показаться русскимъ только истинному специалисту. Далѣе переводъ наполненъ такими плоскими ошибками, которыя непросителенъ профессору университета. Приведу три примѣра. На стр. 178 говорится о рабовладѣльческомъ инстинктѣ муравьевъ: «рабы черны и на поло-вину мельче своихъ красныхъ господъ», а на стр. 180 уже оказывается что эти черные рабы сдѣлались бурными. Эта нелѣпость создана рус-скимъ переводчикомъ. У Дарвина говорится, что рыжеватый муравей (*Formica rufescens*) захватываетъ въ плѣнъ бураго (*F. fusca*), а кровавый (*F. sanguinea*) — чернаго. Г. Рачинскій все это заблагораз-

судить перенутать. На стр. 228 Дарвинъ рассказываетъ, будто онъ «извлекъ изъ лапы куропапки *двадцать два зернышка* сухоглинистой земли». Что за несмысленная чепуха! Кто же это измѣряетъ глину зернышками? Загадка объясняется просто: въ подлинникѣ стояло слово *grain*, и надѣ было перевести *двадцать два грана*; тогда всякій аптеварскій ученикъ пойметъ, что это значить. А г. профессоръ хватилъ *двадцать два зернышка*, и вложилъ свое остроумное изобрѣтеніе въ уста несчастнаго Дарвина.—На стр. 290 говорится, что «горы Шотландіи и Уэльса, съ ихъ исчерченными склонами, отполированными поверхностями и шатающимися валунами свидѣлствуютъ о ледяныхъ потокахъ, нѣкогда наполнявшихъ ихъ долины». Въ двухъ строкахъ двѣ нелѣпости. Что это за *шатающіеся* валуны? *Шатающіеся*—это, видите-ли, переводъ слова *эпратическіе*. Еггате значить бродить, шататься; ну и чудесно! Пускай валуны *шатаются*!—А *ледяные потоки*—это что такое? Это красивое выраженіе, замѣняющее, по мнѣнію г. специалиста, слово *ледники*. Но послѣдній курьезъ въ русскомъ переводѣ Дарвина лучше всѣхъ остальныхъ. Въ этой книгѣ много опечатокъ, и при томъ такихъ, которыя искажаютъ смыслъ, напримѣръ, «метафорическихъ» вмѣсто «метаморфическихъ» (стр. 284), «старого свѣта» вмѣсто «новаго свѣта» (стр. 275), и другія въ томъ же родѣ. Но это еще ничего. Опечатки вездѣ бываютъ, а любопытно вотъ что. Къ книгѣ приложенъ списокъ опечатокъ. Въ этомъ списокѣ я не нашелъ ни одной изъ тѣхъ опечатокъ, которыя бросались мнѣ въ глаза во время чтенія. Тогда я полюбопытствовалъ посмотреть, есть-ли въ книгѣ тѣ опечатки, которыя изобличаютъ списокъ. Оказалось, что нѣтъ, и при томъ ни одной. Къ книгѣ приложенъ интересный списокъ опечатокъ, заключающихся въ какой-то другой книгѣ. И даже нельзя сослаться на ошибку переплетчика. Списокъ напечатанъ на одномъ печатномъ листѣ съ текстомъ и съ алфавитнымъ указателемъ. Вотъ у насъ какія чудеса дѣлаются, и вотъ въ какомъ нарядѣ появляется предъ русскою публикою великое твореніе гениальнѣйшаго изъ современныхъ мыслителей.

Послѣ этого, любезные соотечественники, вы, ей богу, даже къ *деревянной ложкѣ* должны отнести съ снисходительною нѣжностью. А впрочемъ, мнѣ совсѣмъ не нужна ваша снисходительность. Я совсѣмъ не хочу, чтобы вы по моимъ статьямъ учились естествознанію, я хочу только, чтобы мои статьи шевелили вашу любознательность, доводили до вашего свѣдѣнія слабый отголосокъ великихъ движеній европейской мысли, и разгоняли хоть немного вашу умственную дремоту. А теперь довольно говорить о *деревянной ложкѣ*. Обратимся еще разъ къ Дарвину, и скажемъ пѣсколько словъ о томъ впечатлѣніи, которое произвели его идеи на Европу. Впечатлѣніе сильное, и, вѣроятно, оно еще долго будетъ усиливаться, по мѣрѣ того, какъ защитники различныхъ

оттѣнковъ мысли будутъ пристальнѣе вглядываться въ громадное мировое значеніе этихъ идей. Нѣмецкіе филистеры уже пустили въ ходъ слово «*Дарвинисты*», придали этому слову ругательное значеніе, и усиливается доказать, что теорія Дарвина, во первыхъ, пустая мечта, а во вторыхъ, самая безнравственная штука. Главные доводы этихъ милашекъ давно извѣстны, и ихъ могли бы высказать съ нарочитымъ успѣхомъ Пульхерія Ивановна и купчиха Кабанова. Иногда тенденціи этихъ почтенныхъ русскихъ женщинъ, проходя черезъ уста нѣмецкихъ филистеровъ, прикрываются благообразною мантией: мы дескать ратуемъ за строгую точность науки, и требуемъ отъ нея, чтобы она не пускалась въ обаятельныя мечтанія и красивыя гипотезы. Таковыми филистерскими тенденціями пропитана рѣчь доктора Шписа, читанная въ прошломъ году въ какомъ то Зинкенберговскомъ обществѣ естествоиспытателей. Эта рѣчь, напечатанная отдѣльною брошюрою, называется: «о границахъ естествознанія». Такихъ рѣчей будетъ говорено много, и такихъ брошюръ будетъ писано по поводу Дарвина еще больше, и все это будетъ читаться и слушаться съ удовольствіемъ такими людьми, которые пресерьезно считаютъ себя мыслителями и естествоиспытателями. Я думаю даже, что и у насъ въ Россіи, великій естествоиспытатель г. Страховъ прочтетъ эти творенія съ наслажденіемъ, и самъ произведетъ нѣчто въ такомъ же родѣ. Но въ Западной Европѣ есть люди и другаго закала. Въ Англіи творецъ новѣйшей геологіи, Чарльзъ Ляйелль, склонился къ теоріи Дарвина. Гексли работаетъ въ томъ же направленіи. Гукеръ, Уэллсъ, Батсъ пришли къ тѣмъ же результатамъ. Изъ нѣмцевъ Карлъ Фогтъ, бывшій прежде приверженцемъ Агассиза, перешелъ рѣшительно на сторону Дарвина. Фогтъ—пожилой чело-вѣкъ, извѣстный ученый — отказывается отъ всего своего прошедшаго, и прямо сознается, что аргументы Дарвина переубѣдили его. Во второмъ томѣ своихъ лекцій о чело-вѣкѣ, вышедшихъ въ концѣ прошлаго года, онъ отводитъ слишкомъ тридцать страницъ на разсмотрѣніе идей Дарвина, и высказываетъ на этихъ страницахъ много дѣльныхъ фактическихъ замѣчаній, которыя могутъ служить превосходнымъ подтвержденіемъ новой теоріи. Въ введеніи ко второму тому, Фогтъ замѣчаетъ, между прочимъ, что два первоклассные ботаника, Альфонсъ Де-Кандоль и Ноденъ, въ послѣднее время, двумя совершенно самостоятельными путями, пришли къ одинаковымъ выводамъ, чрезвычайно благопріятнымъ для идей Дарвина. Де-Кандоль изучалъ различные виды дуба, а Ноденъ занимался скрещиваніями видовъ и разновидностей растительнаго царства. Оба убѣдились въ томъ, что различные виды возникли и до сихъ поръ возникаютъ одинъ изъ другаго посредствомъ медленныхъ измѣненій.

Фогтъ совершенно согласенъ съ тою мыслью Дарвина, что геологія,

при теперашней бѣдѣ своихъ наличныхъ матеріаловъ, не имѣть ни малѣйшей возможности проносить окончательный приговоръ надъ теорією перерожденія видовъ. Фогтъ самъ приводитъ нѣсколько любопытныхъ примѣровъ, доказывающихъ, какъ преждевременны были попытки геологовъ построить систему мірозданія изъ немногихъ собранныхъ имъ обломковъ. Теорія Дарвина сильна именно тѣмъ, что она можетъ существовать помимо геологическихъ доказательствъ, опираясь на факты *живой* природы.

Въ 1863 году извѣстный филологъ Шлейхеръ издалъ небольшую брошюру, подъ заглавіемъ: «Теорія Дарвина и языковѣдѣе». Онъ доказываетъ, что идеи Дарвина могутъ быть примѣнены къ историческому изученію языковъ. Языки также расходятся въ различныя стороны отъ немногихъ коренныхъ родоначальниковъ; они также дробятся на нарѣчія или говоры, соотвѣтствующіе разновидностямъ органическаго міра; эти говоры обособляются и превращаются въ отдѣльные языки — это виды органическаго міра. Языки опять дробятся и порождаютъ новые языки, при чемъ многіе изъ старыхъ говоровъ и языковъ вымираютъ, какъ вымерли, на примѣръ, санскритскій, греческій, латинскій и древне еврейскій. Для насъ брошюра Шлейхера особенно любопытна, какъ разумное слово посторонняго человѣка, не имѣющаго личнаго пристрастія ни къ одному изъ двухъ лагерей современныхъ натуралистовъ. Глубокое уваженіе Шлейхера къ естественнымъ наукамъ заслуживаетъ полнаго вниманія: «Я горячо желаю, говоритъ онъ, чтобы метода естественныхъ наукъ постоянно болѣе и болѣе прививалась къ изслѣдованію языковъ. Быть можетъ, слѣдующія строки убѣдятъ кого-нибудь изъ начинающихъ филологовъ пойти въ ученіе къ дѣльнымъ ботаникамъ и зоологамъ для усвоенія надлежащей методики. Даю ему слово, что онъ въ этомъ не раскается. Я, по крайвей мѣрѣ, знаю очень хорошо, чѣмъ я обязанъ изученію такихъ произведеній, какъ научная ботаника Шлейдена, фізіологическія письма Карла Фогта, и др. Я знаю, какъ они помогли мнѣ понять сущность и жизнь языка. Вѣдь изъ этихъ книгъ я узналъ впервые, что такое *исторія развитія* (Entwicklungsgeschichte)».

Далѣе Шлейхеръ съ замѣчательною вѣрностью взгляда опредѣляетъ настоящій смыслъ той неразрывной связи, въ которой идеи Дарвина находятся съ общимъ движеніемъ человѣческой мысли нашего времени. «Наблюденіе, говоритъ онъ, составляетъ фундаментъ современнаго знанія. Кромѣ наблюденія допускается только неизбежный выводъ, основанный на томъ же наблюденіи. Все, что построено на однихъ гадательныхъ соображеніяхъ, все, что создано мыслью въ пустомъ пространствѣ, считается въ лучшемъ случаѣ остроумною забавою, но для науки все это — бесполезный хламъ. Наблюденіе учитъ насъ, что всѣ живые организмы, вообще входящіе въ кругъ удовлетворительнаго изслѣдова-

нія, измѣняются по опредѣленнымъ законамъ. Эти измѣненія ихъ, эта жизнь составляютъ ихъ настоящую сущность. Мы знаемъ ихъ только тогда, когда знаемъ сумму этихъ измѣненій, когда знаемъ всю ихъ сущность. Другими словами: если мы не знаемъ, какъ вещь образовалась, то мы совсѣмъ не знаемъ этой вещи. Положивши наблюдение въ основу нашего знанія, мы тѣмъ самымъ упростили за исторією развитія и за научнымъ изслѣдованіемъ жизни организмовъ то важное значеніе, которое они имѣютъ теперь для современнаго естествознанія.—Важность исторіи развитія (эмбриологіи) для изученія индивидуальнаго организма не подлежитъ уже возраженіямъ. Сначала исторія развитія проникла въ зоологію и въ ботанику. Ляйбелль, какъ извѣстно, изобразилъ также жизнь нашей планеты, какъ рядъ постепенно совершавшихся видоизмѣненій; онъ доказалъ, что и здѣсь, какъ въ жизни другихъ естественныхъ организмовъ не существуетъ скачковъ. И Ляйбелль также ссылается прежде всего на наблюдение. Такъ какъ наблюдение новѣйшаго періода земной жизни — періода, правда, очень короткаго, показываетъ только постепенныя измѣненія, то мы и не имѣемъ рѣшительно никакого права предполагать для прошедшаго другой порядокъ жизненныхъ явленій. Той же точки зрѣнія держался и я при изслѣдованіи жизни языковъ, которая также доступна непосредственному наблюденію только въ своихъ послѣднихъ, новѣйшихъ, и сравнительно, очень короткихъ періодахъ. Этотъ короткий періодъ въ нѣсколько тысячелѣтій доказываетъ намъ съ неопровержимою достовѣрностію, что жизнь словесныхъ организмовъ идетъ вообще по опредѣленнымъ законамъ, подвергаясь постепеннымъ измѣненіямъ, и что мы не имѣемъ ни малѣйшаго права предполагать, чтобы когда-нибудь это дѣло совершалось иначе. Дарвинъ и его предшественники *) сдѣлали шагъ впередъ, въ сравненіи съ другими ботаниками и зоологами: не только недѣлимия имѣютъ жизнь, но и виды, и роды; и они также образовались постепенно, и они также подвергаются постояннымъ видоизмѣненіямъ по опредѣленнымъ законамъ. Подобно всѣмъ современнымъ изслѣдователямъ, Дарвинъ также опирается на наблюдение, хотя оно, по самой сущности дѣла, распространяется только на короткий періодъ времени, также какъ и наблюдение надъ жизнью земли, и надъ жизнью языковъ. Такъ какъ мы дѣйствительно можемъ замѣтить, что виды не совсѣмъ неизмѣнны, то измѣняемость ихъ, хотя и въ незначительныхъ размѣрахъ, можетъ считаться доказанною. Обстоятельство, само по себѣ случайное, именно, краткость періода, подлежащаго достовѣрнымъ наблюденіямъ, составляетъ причину, почему измѣненія видовъ вообще представляются незначительными.

*) Окенъ, Гете, Ламаркъ, Этьеннъ, Жоффруа-Сентъ-Илеръ.

Надо только, согласно съ результатами другихъ наблюденій, допустить, что живныя существа населяли нашу планету въ теченіе очень многихъ тысячелѣтій, и тогда мы успѣемъ постигнуть, какимъ образомъ постоянныя медленныя видоизмѣненія, подобныя тѣмъ, которыя дѣйствительно подлежатъ наблюденію,—привели за собою существованіе теперешнихъ видовъ и родовъ. Вслѣдствіе этого, ученіе Дарвина, дѣйствительно, представляется мнѣ, какъ необходимый результатъ тѣхъ основныхъ положеній, которыя признаны современнымъ естествознаніемъ. Это ученіе основано на наблюденіи, и составляетъ попытку изобразить исторію развитія. Что Ляйелль сдѣлалъ для исторіи земли, то выполнилъ Дарвинъ для исторіи обитателей земнаго шара. Слѣдовательно, ученіе Дарвина не случайное явленіе, не порожденіе прихотливаго личнаго ума, а напротивъ того, это законное и естественное дитя нашего столѣтія. Теорія Дарвина была настоятельною потребностью времени».

Вотъ какими глазами смотреть на произведеніе Дарвина люди умныя и совершенно безпристрастныя.

1864 г.

КОНЕЦЪ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

	Стр.
I. Процессъ жизни (по. Фохту)	1
II. Физиологическіе эскизы Моешота	25
III. Физиологическія картины Бюхнера.	52
IV. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній.	97

ИЗДАНИЯ В. КОВАЛЕВСКОГО.

Продаются во всехъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ:

Ч. ЛЯЙЭЛЛЬ. *Древность человека*. Цѣна 2 р. 50 к.

А. БЕЛЛИЕРЪ. *Гистологія или учене о тканяхъ*. Цѣна всего сочиненія съ приложеніемъ Микроскопа ФРЕЯ 4 р. с. Студентамъ дѣлается уступка 20 %.

Б. ФОХТЪ. *Зоологическіе очерки или старое и новое изъ жизни людей и животныхъ*. Т. I. Съ портретомъ автора, гравированнымъ на стали и 55 рисунками въ текстѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

Д. С. МИЛЛЬ. *Разсужденія и изслѣдованія*. Часть I. Статьи историческія. Цѣна 75 к.; Часть II, Вып. I и II. Статьи политическія и экономическія. Цѣна 1 р. 50 к.

ГЕРМАННЪ. *Краткій учебникъ физиологіи человека*, просмотрѣнный и дополненный профессоромъ Сяченовымъ. Ц. 2 р.

Первая, общая часть сочиненія ФРЕЯ: *Микроскопъ и Микроскопическая техника*. Цѣна отдѣльно отъ Беллиера 60 к.

ГЕКСЛИ. *Начальная основанія Сравнительной Анатоміи*. Съ рисунками въ текстѣ. Цѣна 2 р. 50 к.

Г. МОЛЬ. *Анатомія и физиологія растительной клетки*. Перев. съ нѣмец. Цѣна 90 к.

А. БРЭМЪ. *Жизнь Животныхъ*. 18 вып. «Млекопитающихъ» и 7 вып. «Птицъ». Цѣна выпуску 25 к. Подписная цѣна на всѣ 64 вып. 11 р.

Памятная книжки аналитической химіи. Шарля Жерара. Перев. Варавина. Цѣна 50 к.

Химія кухни. ОТТО УЛЭ. Вып. I и II. Цѣна 40 к.

В. ГРИЗИНГЕРЪ. *Патологія и терапія душевныхъ болѣзней*. Пер. со втораго изданія. 1861 г. Ц. 2 р. 50 к.

Ф. СТИВЕНСЪ. *Уголовное судопроизводство Англіи*. Пер. и ред. профессора В. Спассовича. Цѣна 2 р.

Г. ЛЬЮИСЪ. *Исторія философіи, со времени зарожденія ея до нашихъ временъ*. Пер. подъ редакціей проф. В. Спассовича. Ц. 2 р. 50 к.

БИЛРОТЪ. *Общая хирургическая патологія и терапія*. Пер. со 2-го, значительно пополненнаго изданія. Съ 95 рис. въ текстѣ. Подъ редакціей д-ра Н. Гейнаца. Ц. 3 р. 50 к.

Руководство къ Зоологіи съ 360 рисунками. Ц. 75 к.

ШТЕЙНГАУЗЕНЪ. *Краткое руководство къ женскимъ болѣзнямъ*. Пер. съ нѣм. В. Манассеина. Ц. 1 р. 50 к.

Кто виноватъ? Романъ въ двухъ частяхъ. Цѣна 1 р.

Исторія чаинки чая Съ рисунками. Цѣна 1 р. 30 к.

БЮНЕ. *Учебникъ физиологической химіи*. Перев. подъ редакціей профессора И. Сяченова. Цѣна 1-го вып. 1 р. съ билетомъ на 2 остальные 2 р. 50 к.

Льсь. Соч. РОСМЕССЛЕРА, пер. подъ редакціей проф. гѣсоведства О. К. Арнольда и проф. технологіи Н. Е. Попова. Цѣна 4 р.

Печатаются:

Б. ФОГТЪ. *Зоологическіе очерки или старое и новое изъ жизни людей и животныхъ*. Т. II.

Д. С. МИЛЛЬ. *Разсужденія и изслѣдованія*. Часть III. Статьи философскія.

Ч. ЛЯЙЭЛЛЬ. *Учебникъ элементарной геологіи*. Перев. съ англ. 770 рис.

ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

И. С. БАЛЛИНОЙ,

въ Харьковѣ, на Екатерининской улицѣ, № 12.

Изданіе книгъ и нотъ. — Покупка, продажа, приѣмъ и отдача на комиссію, выписка и высылка иногороднымъ книгъ, нотъ, музыкальныхъ инструментовъ и принадлежностей и проч. — Подписка на журналы и газеты.

Библиотека для чтенія книгъ, журналовъ и нотъ для жителей г. Харькова и иногородныхъ.

Коммисіонерская контора для провинціальныхъ торговцевъ книгами и нотами, издателей книгъ и нотъ, публичныхъ и общественныхъ библиотекъ, учебныхъ заведеній и проч.

ОТДѢЛЕНІЯ МАГАЗИНА: Въ Харьковѣ на Николаевской площади въ домѣ Ковалева. Въ Курскѣ на Московской улицѣ въ домѣ Исакова. На Коренной армаркѣ.

ИЗДАНІЯ БАЛЛИНОЙ.

ТИНДАЛЪ. Теплота какъ родъ движенія. Переводъ и примѣчанія. А. П. Шимкова. 3 р.

— Лучи свѣта и теплоты. Переводъ А. П. Шимкова.

ФАРАДЕЙ. Силы природы и ихъ взаимныя отношенія. Переводъ и дополненія. А. П. Шимкова. 75 к.

ЛИЗЕГАНГЪ. Курсъ практической фотографіи. Переводъ и примѣчанія Котельникова. 75 к.

Н. И. КОСТОМАРОВЪ. Кремуцій Бордъ. 75 к.

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ (псевдонимъ). Разказы о землѣ и о небѣ. 15 к.

КОВАЛЬСКІЙ (М. Ф.). Арифметика для первоначальнаго обученія (цѣлыя числа). 30 к. для уч. 20 к.

МИЕЛОНИЧЪ. Ученіе о звукахъ древнеславянскаго языка. Переводъ и примѣчанія Д. Лавренка. 1 р. 50 к. (осталось 150 экземпляровъ).

П. ЛАДОВСКІЙ. Арифметика курсъ 1-й 25 к.

— — — 2-й 75 к.

— — — 3-й 40 к.

Коробки съ подвижными азбуками 50 к., 60 к., 75 к.

Иногородные, выписывающіе книгъ на 3 р. и болѣе, за пересылку не платятъ.

Книгопродавцамъ дѣляется наибольшая уступка, по возможности независимо отъ общей суммы покупки. Покупающіе на значительную сумму, учебныя заведенія и библиотеки тоже пользуются значительными уступками.

ГОТОВИТСЯ КЪ ИЗДАНІЮ.

П. Ж. ПРУДОНЪ. Теорія податей. Переводъ В. Садовскаго.

При главномъ книжномъ магазинѣ Баллиной 1) главные склады изданій Заленскаго и Любарскаго, Харьковскихъ и другихъ провинціальныхъ изданій; 2) большіе склады дѣтскихъ книгъ, азбукъ, прописей, учебныя для высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, народныхъ книгъ, учебныхъ пособій; 3) большой выборъ литературныхъ новостей по всѣмъ отраслямъ знанія.

751570

